ХАЛЛДОР ЛАКСНЕСС

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
ИСЛАНДСКИЙ КОЛОКОЛ



Самостоятельные люди. Исландский колокол

Халлдор Лакснесс

Аннотация
Лакснесс Халлдор. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ИСЛАНДСКИЙ КОЛОКОЛ
А. Погодин. Новые саги о судьбах народа Исландии
Самостоятельные люди. Героическая сага
Часть первая. Исландский пионер
Глава первая. Колумкилли
Глава вторая. Земля
Глава третья. Свадьба
Глава четвертая. Летучие облака
Глава пятая. Тайна
Глава шестая. Сны
Глава седьмая. Сердечная болезнь
Глава восьмая. Суховей
Глава девятая. Поездка в «лес»
Глава десятая. Перед походом в горы
Глава одиннадцатая. Сентябрьская ночь
Глава двенадцатая. Совет врача
Глава тринадцатая. Поэтесса
Глава четырнадцатая. Прощание

Глава пятнадцатая. Поиски
Глава шестнадцатая. Римы
Глава семнадцатая. Возвращение домой
Глава восемнадцатая. Утиредсмири
Глава девятнадцатая. Жизнь
Глава двадцатая. Хлопоты
Глава двадцать первая. Носильщики
Глава двадцать вторая. Метель
Глава двадцать третья. Надгробное слово
Глава двадцать четвертая. Огонь мороза
Часть вторая. Свободные от долгов
Глава двадцать пятая. Зимнее утро
Глава двадцать шестая. День
Глава двадцать седьмая. Вечер
Глава двадцать восьмая. Литература
Глава двадцать девятая. Корова
Глава тридцатая. Сильные мира сего
Глава тридцать первая. О песне
Глава тридцать вторая. О мире
Глава тридцать третья. Тиранство
Глава тридцать четвертая. Важные события
Глава тридцать пятая. Гость
Глава тридцать шестая. Бьяртур строится
Глава тридцать седьмая. Маленький цветок
Глава тридцать восьмая. Битва
Глава тридцать девятая. Смерть весной

Часть третья. Тяжелые времена
Глава сороковая. У порога дома
Глава сорок первая. Крысы
Глава сорок вторая. Левая щека
Глава сорок третья. Разговор со сверхъестественными силами
Глава сорок четвертая. Молебствие
Глава сорок пятая. О душе
Глава сорок шестая. Справедливость
Глава сорок седьмая. Правая щека
Глава сорок восьмая. О чистейшее пламя
Глава сорок девятая. Лучшие времена
Глава пятидесятая. Поэзия
Глава пятьдесят первая. Бог
Глава пятьдесят вторая. Час желаний
Глава пятьдесят третья. Неизбежное
Глава пятьдесят четвертая. Когда у тебя есть цветок жизни
Глава пятьдесят пятая. Весенние дни
Глава пятьдесят шестая. Старшая сестра
Глава пятьдесят седьмая. Мальчик и страны
Глава пятьдесят восьмая. Хозяйка Редсмири терпит поражение
Глава пятьдесят девятая. Это я
Часть четвертая. Годы благоденствия
Глава шестидесятая. Когда убили Ферди-

нанда
Глава шестьдесят первая. Вопросы веры
Глава шестьдесят вторая. Билет
Глава шестьдесят третья. Сир и гол утес…
Глава шестьдесят четвертая. Беседа о сказочной стране
Глава шестьдесят пятая. Америка
Глава шестьдесят шестая. Политика
Глава шестьдесят седьмая. Верховая лошадь
Глава шестьдесят восьмая. Современная поэзия
Глава шестьдесят девятая. Когда человек не женат
Глава семидесятая. Проблема процентов
Глава семьдесят первая. Великаны осенью
Глава семьдесят вторая. Когда идеалы претворяются в жизнь
Глава семьдесят третья. Собаки, души и т. д
Глава семьдесят четвертая. Конец саги. Чужой хлеб
Глава семьдесят пятая. Русский царь пал
Глава семьдесят шестая. Кровь на траве
Исландский колокол. Роман
Часть первая. Исландский колокол
Глава первая
Глава вторая

Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая. Приключение у немцев
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Часть вторая. Златокудрая дева
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая

Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Часть третья. Пожар в Копенгагене
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая

Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Примечания
Самостоятельные люди
Исландский колокол

Аннотация

Лакснесс Халлдор (1902–1998), исландский романист. В 1955 Лакснессу была присуждена Нобелевская премия по литературе. Прожив около трех лет в США (1927–1929), Лакснесс с левых позиций обратился к проблемам своих соотечественников. Этот новый подход ярко обнаружился среди прочих в романе «Самостоятельные люди» (1934–35). В исторической трилогии «Исландский колокол» (1943), «Златокудрая дева» (1944), «Пожар в Копенгагене» (1946) Лакснесс восславил стойкость исландцев, их гордость и любовь к знаниям, которые помогли им выстоять в многовековых тяжких испытаниях.

Перевод с исландского А. Эмзиной, Н. Крымовой.

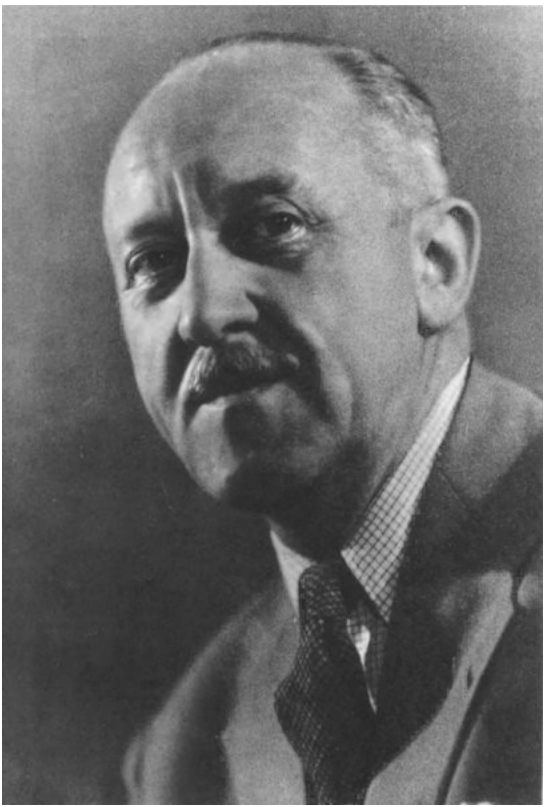
Вступительная статья А. Погодина.

Примечания Л. Горлиной.

Иллюстрации О. Верейского.

Лакснесс Халлдор
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ИСЛАНДСКИЙ КОЛОКОЛ



А. Погодин. Новые саги о судьбах народа Исландии

Во время одного из своих посещений Советского Союза Халлдор Лакснесс в разговоре с несколькими московскими скандинавистами выразил удивление по поводу того, что его «Исландский колокол» был переведен на русский язык и завоевал значительную популярность. Поясняя свою мысль, писатель сказал, что, по его мнению, роман, столь глубоко исландский по своему характеру, вряд ли может быть понят в других странах и, тем более, вызвать сколько-нибудь широкий интерес. Действительно, «Исландский колокол», как и «Самостоятельные люди» и другие лучшие произведения Лакснесса, — это подлинно национальные, подлинно исландские произведения. В своем творчестве он с большим художественным мастерством показал величие и своеобразие исландского национального характера, представил героическую и трудную историческую судьбу родного народа, раскрыл его необыкновенно богатое культурное наследие. Но, конечно же, это нельзя рассматривать как помеху признанию его

книг в других странах. Наоборот, мировая известность лауреата Нобелевской премии Халлдора Лакснесса и объясняется прежде всего тем, что в его творчестве нашли отражение величие духа небольшого народа, его вековое стремление к свободе, национальной независимости, социальной справедливости.

В предлагаемой читателю книге Лакснесс представлен двумя его романами. Именно эти произведения — «Самостоятельные люди» и «Исландский колокол» — по традиции, и при этом с полным основанием, называют вершинами его творчества.

Роман «Самостоятельные люди» (1933–1935) был написан еще совсем молодым писателем — ко времени выхода в свет первой книги Лакснессу исполнился только тридцать один год. Но это был уже сложившийся художник с вполне определенными взглядами, четкой и ясной идейной и эстетической программой.

Можно сказать, что эта четкость и ясность целей и действий были по-настоящему выстраданы Лакснессом, стали итогом его долгих и мучительных поисков. Позади у писателя остался длительный и сложный период философских и художественных блужданий, попыток найти

ответы на терзавшие его вопросы, радостных открытий новых истин и следовавших вскоре горестных в них разочарований. В частности, длительное и весьма серьезное воздействие на молодого Лакснесса оказал католицизм. В 1923 году он даже принял католическую веру и обосновался в монастыре ордена бенедиктинцев Сен Морис де Клерво в Люксембурге.

К этому периоду относится «Великий ткач из Кашмира», законченный в 1925 году и ставший первым из лакснессовских романов (если не считать забытый роман «Дитя природы», написанный Лакснессом в шестнадцатилетнем возрасте). В этой книге молодой писатель, по его же собственному выражению, полностью обнажил свою душу, вынес на суд людской свои сомнения, духовные терзания. История героя романа, Стейдна Эдлиди, — это во многом и история самого Лакснесса. Стейдн мучительно пытается найти смысл жизни, найти ту истину, которой должен служить человек. Он разочаровывается в мирской жизни, в любви, в искусстве и приходит к вере, вере беспредельной и безотчетной. Но было бы неправильным сводить все содержание романа лишь к утверждению веры, к отказу от земного начала. Решение, к которому в конце

концов приходит герой, связано с такими страданиями, что оно не может быть разумным, не может быть истинным. Религиозное обращение — это не постижение смысла жизни, а проявление отчаяния, неспособности и невозможности постичь его. «Решение проблемы в „Ткаче“, — писал несколько лет спустя сам Лакснесс, — не дает никакой надежды».

Вторая половина 20-х годов была для Лакснесса периодом решительной переоценки ценностей, коренных изменений в мировоззрении. Эти перемены нашли отражение в публицистическом сборнике «Книга народа» (1929). В ней он подвергает резкой критике свой собственный путь, предшествующее творчество, говорит о стремлении «начать все сначала — на новой земле, под новым небом». Он пишет об опыте русской революции, как о примере для всех народов, заявляет о признании социалистических идеалов. Однако говорить о действительной последовательности его социалистических убеждений вряд ли возможно. «Книга народа» свидетельствует, что мировоззрение писателя было в значительной мере эклектичным, он оперирует в ней как марксистскими положениями, так и идеями модных в то время буржуазных философов, например,

Шпенглера. Но при всем при том книга не может не привлекать своей искренностью и страстностью, решительностью и бескомпромиссностью. Весь современный капиталистический мир должен быть разрушен, и на обломках прошлого должно быть воздвигнуто совершенно новое общество — этой идеей пронизана вся «Книга народа». Для молодого писателя не так уж важно то, каким должно быть это новое общество, для него самое главное — борьба, «классовая борьба — борьба высшей формы жизни против ее врагов». Этой цели должна служить и литература, и эту цель, соответственно, Лакснесс ставит и перед своим творчеством.

Первым крупным произведением «нового Лакснесса» стал роман «Салка Валка» (1931–1932). Это рассказ о жизни молодой рыбачки из маленького поселка, затерявшегося где-то на далеком океанском берегу. Уже с самых ранних детских лет в ее характере начинают формироваться решительность, независимость, неспособность мириться с несправедливостями жизни. Она видит, как страдает и мучается ее мать, и она решает, что ее судьба должна быть совершенно иной. И она, сирота, обреченная, казалось бы, самой судьбой на весьма незавидную участь, стойко переносит

те удары, которые обрушивает на нее жестокая действительность. Она борется не только за самое себя, за свое место в жизни, но и за других таких же, как она сама, тружеников. В маленьком рыбацком поселке, уклад жизни которого кажется вечным и незыблемым, возникает острый социальный конфликт. Организуется союз рыбаков, начинается забастовка, направленная против купца, держащего в своих руках весь поселок. В гуще этой борьбы находится Салка Валка с ее неуемной энергией, решительностью, бескомпромиссностью. Очень поэтично и бережно показывает Лакснесс богатый внутренний мир своей героини, описывает историю ее большой и трагической любви.

Роман «Салка Валка» был первым шагом Лакснесса к теме, над которой писатель думал уже давно и к которой долго не решался подойти. Он решил предпринять попытку раскрыть в романе самую суть, самое содержание исландского национального характера. Роман «Самостоятельные люди» был задуман как произведение остро полемическое. Дело в том, что в исландской литературе, как, впрочем, и в литературах некоторых других стран, бытовало вневременное, внеисторическое представление о крестьянине как о

ядре нации. Такая романтизированная трактовка скрывала то расслоение, которое происходило в крестьянской среде в эпоху капитализма, те исторические изменения, которые претерпевало крестьянство.

Показательно сравнение «Самостоятельных людей» с «Соками земли» Гамсуна. Тематическая близость двух романов не раз отмечалась исследователями творчества Лакснесса. И Гамсун и Лакснесс рассказывают о судьбе крестьянина, который приходит на необжитую землю и вступает в тяжелую борьбу за жизнь, самостоятельность, благополучие.

Однако Лакснессу были чужды те ницшеанские, расистские теории, которые оказали значительное влияние на гамсуновский роман, и он решает проблему совершенно по-иному. Об этом принципиальном различии сам Лакснесс писал так: «Иногда говорят, что „Самостоятельные люди“ являются в какой-то степени подражанием „Сокам земли“ Гамсуна. Это справедливо лишь постольку, поскольку в них поставлены те же вопросы, что и в „Соках земли“, хотя ответ на них прямо противоположен ответу Гамсуна. Я не хочу утверждать, что все социальные и иные выводы в „Самостоятельных людях“ правильны,

но одной из причин возникновения книги была моя убежденность в том, что социальные выводы Гамсуна в „Соках земли“ в целом ошибочны».

Весьма существенное воздействие на позицию Лакснесса в новом романе имели его впечатления от первой поездки в Советский Союз, во время которой он обращал особое внимание на решение в нашей стране крестьянского вопроса. Лакснесс говорил по этому поводу: «В реалистическом отношении советских людей к вещам, при котором пустые поэтические мечтания не уводят наблюдателя в сторону, меня сразу же привлекли некоторые основные положения, в том числе простое, но четкое деление крестьянства на классы: кулаки, середняки, бедняки. Это решение, в очевидности которого потом убеждаешься сам, открыло для меня всю проблему и дало мне возможность ясно рассмотреть ее в социальном плане».

Роман «Самостоятельные люди», опубликованный в 1933–1935 годах, снабжен подзаголовком «Героическая сага». Действительно, роман органически связан с большой национальной литературной традицией, с исландскими сагами. «Самостоятельные люди» — это глубоко поэтическая сага о жизни простого исландского

крестьянина Гудбьяртура Йоунссона. Много лет он работал батраком у богатого хозяина, мечтая о том дне, когда он сможет осесть на собственной земле, стать «самостоятельным человеком». Наконец этот день настает — Бьяртур приходит на принадлежащую ему пустошь, чтобы начать борьбу за осуществление своей мечты.

С самого начала повествование носит и обобщенно-символический характер и в то же время подчеркнуто конкретный. Автор ведет рассказ и о судьбе исландского крестьянства в целом, и об индивидуальной судьбе Бьяртура из Летней обители. Не случайно писатель не указывает вначале ни времени, когда происходит действие книги, ни места, где поселился Бьяртур. Герой книги — прямой наследник многих поколений мужественных исландцев, смело боровшихся с суровой природой, людей решительных, непокорных, бескомпромиссных. «Человек, — пишет Лакснесс о Бьяртуре, — подставляет лицо свежему весеннему ветру, и чудится ему, что под сияющим солнцем развеваются гривы коней — они промчались здесь в далеком прошлом, а в ветре слышится давно отзвучавший топот копыт... Столетие за столетием кони вытаптывали на берегу реки тропу, и по сей день по этой

тропе ходят люди. Вот и он, исландец тридцатого поколения, мужественный и неустрашимый, вчера еще батрак, а сегодня хуторянин, идет этой тропой вместе со своей собакой». Бьяртур, исландский крестьянин, предстает как продолжатель дела героев древних саг, и его труд-подвиг вполне соизмерим с подвигами героев этих преданий.

Но при всей своей совершенно очевидной приподнятости, символичности образ Бьяртура по-настоящему конкретен и специфичен, даже, быть может, подчеркнуто заземлен. Автор подробно описывает ужасающе примитивный быт своего героя, его повседневный упорный труд, постоянную борьбу за кусок хлеба, крайнюю нищету. Проходят годы, но изнуряющая работа не приносит почти никаких ощутимых результатов. Однако Бьяртур не сдается, он верит в свои идеалы, свои мечты о самостоятельности, свободе. Все эти понятия он трактует по-своему: «Свобода куда важнее высокого потолка. Восемнадцать лет я гнул спину ради свободы. У кого собственная земля — тот и есть самостоятельный человек в пашей стране, тот сам себе хозяин. Если я продержусь зиму и сумею прокормить овец и аккуратно из года в год выплачивать долг, то скоро разделаюсь с ним, и овцы останутся при мне. Свобода — вот

то, к чему мы стремимся в нашей стране. Кто никому не должен — тот король. Кто прокормит своих овец — тот будет жить, как во дворце».

Служение этим принципам перерастает у Бьяртура в настоящий фанатизм. Ни за что на свете он не согласится изменить своим убеждениям, усомниться хотя бы на минуту в своей мечте о самостоятельной жизни. Он знает, что приблизить осуществление этой мечты может только труд, труд каждодневный, неустанный. Он, хозяин земли, может рассчитывать только на самого себя, на свои сильные руки, на плоды своей собственной работы. Он неизменно самым резким образом отвергает любые предложения о какой-либо помощи, поскольку она могла бы умалить его чувство собственного достоинства, веру в свою самостоятельность. Он все время повторяет, что он хозяин на собственной земле, что он ни в чем не нуждается, что он чувствует себя равным любым богатеям.

В жертву своей мечте о самостоятельности Бьяртур способен принести все что угодно. Он готов голодать, чтобы сэкономить на еде и иметь возможность внести еще несколько грошей в счет долга. В поисках пропавшей овцы — частицы его достояния — он подвергает себя опасностям,

которые чуть было не стоили ему жизни. И уж, конечно же, он готов трудиться до полного изнеможения изо дня в день на протяжении многих лет. При этом Бьяртур вовсе не считает, что он совершает нечто особенное, для него такой образ жизни вполне естествен и, больше того, представляется ему единственно возможным.

Бьяртур просто не понимает, что у людей могут быть какие-то иные желания, жизненные потребности. Забота об овцах для него куда важнее заботы о своих близких. Отправляясь на поиски пропавшей овцы, он без всяких колебаний оставляет в одиночестве жену, которая вот-вот должна родить. Гибель жены, умершей в его отсутствие во время родов, ничуть не поколебала его жизненных принципов. Его второй жене, часто болевшей, было необходимо молоко, но Бьяртур без всяких колебаний забивает корову для того, чтобы оставить больше корма для овец — символа его самостоятельности, и обрекает тем самым жену на смерть.

Так постепенно Лакснесс раскрывает глубокую и трагическую противоречивость своего героя. Его преданность идее оборачивается безрассудным фанатизмом, твердость и последовательность — бессмысленной жестокостью,

самоотречение — равнодушием и безразличием к страданиям и горю других. Его поступки одновременно вызывают преклонение и отвращение, уважение и страх.

Противоречивость образа героя лакснессовского повествования имеет самое непосредственное отношение к исландской литературной традиции. Сам Лакснесс в одной из своих статей об исландских сагах указывал, что герои саг принципиально отличны от героев произведений западноевропейских литератур. Он писал, что в этих литературах герои «всегда истинные и безукоризненные христиане, и было бы непростительным нарушением традиции сделать героя хромым или горбатым, и, несмотря на то, что они действуют в самой различной обстановке, они выражают основную божественную догму… Их действия можно охарактеризовать как хорошие, правильные, красивые и т. д., а если они делают ошибочный шаг, то они уходят в себя и каются». В исландских же сагах, указывал писатель, все обстоит совершенно иначе — в них, «что было бы совершенно невозможно в других литературах, лучшие люди… всегда совершают худшие поступки, а худшие люди не раскаиваются и не искупают свою вину, но зато совершенно

неожиданно действуют замечательно».

С глубокой психологической достоверностью и убедительностью раскрывает Лакснесс чувство Бьяртура к Аусте Соуллилье, чье рождение стоило жизни его первой жене. В обращении с ней он как-то очень своеобразно нежен — неумело, непривычно и в то же время очень трогательно. Глубокой любовью платит ему и Ауста, каждое объятие отца для нее великое счастье: «Она прильнула к нему и почувствовала, что во всем мире нет более могучей силы. На его шее, между воротом рубахи и бородой, было одно чудесное местечко; ее горячие губы дрожали от слез, она потянулась к этому местечку и нашла его. Так — вдруг — исчезают порой все невзгоды жизни. Одно мгновенье в сумерках — и все прошло».

Но по мере того, как Ауста подрастает, мир Летней обители, мир отца становится для нее тесным. Она инстинктивно тянется к чему-то светлому, прекрасному, еще ею самой совершенно не осознанному. Мир красоты, поэзии и любви открывает перед ней несчастный бедняк учитель, который по просьбе Бьяртура появился в Летней обители для того, чтобы немного позаниматься с Аустой и ее младшими братьями. И вскоре в ней загорается какое-то странное чувство к учи-

телю. Она даже не осознает, что же произошло, она помнит лишь, что «через нее прошел ток». «Почему человека вообще пронизывает ток? Это сама жизнь — и тут уже ничего не поделаешь, ведь ты же живая».

Известие о беременности дочери было тяжким ударом для Бьяртура, вернувшегося домой после длительной отлучки. И он тут же словно перечеркивает все, что его связывало с Аустой, его «цветочком», как он раньше любил ее называть. И он поступает так, как только и мог поступить человек с его характером, его принципами (вспомним: «лучшие люди совершают худшие поступки»). Ничего не спрашивая, ничего не выясняя, он бьет дочь по лицу и тут же изгоняет ее из дома.

Характерно для лакснессовского стиля описание этой сцены, одной из кульминационных в книге. Вся она занимает лишь несколько строчек — спокойные, почти бесстрастные слова о том, как Бьяртур, увидев дочь, ударил ее по щеке, сказал ей две короткие фразы и закрыл за нею дверь. Ни одним словом писатель не определяет своего отношения к происходящему, не дает никаких оценок действиям Бьяртура. Такое подчеркнуто сдержанное описание событий, насыщенных

глубоким драматизмом, — типичная особенность лакснессовской манеры повествования, также роднящая его стиль со стилем саг, в которых всегда без Каких бы то ни было комментариев сообщалось лишь о том, что происходит.

Но сдержанность отнюдь не говорит о недостатке выразительных средств. Сразу же после этой сцены следует новая, описанная так же спокойно, но непременно заставляющая задуматься о глубине и сложности характера Бьяртура. Той же ночью Бьяртур, этот, казалось бы, совершенно бездушный человек, принимает ягнят у одной из овец. И сколько же настоящей нежности, заботливости в его движениях, когда он начинает поить их теплым молоком с перышка. Даже овца словно бы оценила эту нежность: «Овца подошла совсем близко к Бьяртуру. Вот он сидит и держит в своих объятиях ее трех ягнят. Она доверчиво ткнулась носом в его некрасивое лицо, как бы благодаря его, дохнула в его бороду теплой струей воздуха и тихонько заблеяла». Так что же, жесток или нежен Бьяртур, зол он или добр? Лакснесс не дает ответа на этот вопрос, не предлагает читателю никаких выводов. Он все больше и больше углубляет образ своего героя, раскрывает его сложность и подлинно трагическую проти-

воречивость.

Лишь ближе к концу книги писатель выводит свое повествование из вневременного плана, и читатель узнает, что речь идет о двадцатом столетии. Четвертая книга романа открывается сценой в Летней обители, где собравшиеся крестьяне говорят о войне, которая «началась с того, что убили какого-то беднягу иностранца по имени Фердинанд», и которая «избавила народ от нужды», «повысила спрос на рыбу и рыбий жир». Показательно восприятие крестьянами докатившегося до них эха крупных мировых событий. Им, всю жизнь проведшим в тяжкой борьбе с нуждой, в общем-то нет дела до того, кто и почему где-то далеко-далеко воюет: «Сами они всю жизнь свою воевали, и их война была посерьезней мировой, да и причина ее поважнее, чем убийство Фердинанда… Мы, исландцы, не придаем значения королям, мы ценим только королей гор; все мы равны перед богом, и пока крестьянин называется самостоятельным человеком, а не слугой другого — он сам себе король».

«Благословенная мировая война» приближает, казалось бы, осуществление мечты Бьяртура о независимой, самостоятельной жизни. Его хозяйство разрослось, у него больше двух сотен

овец, коровы, лошади, он, бывший батрак, теперь сам нанимает работников. Он, наконец, строит новый дом, о котором когда-то, давным-давно, мечтал со своим «цветочком», Аустой Соуллильей. Похоже на то, что Бьяртур с его жестокими, фанатическими принципами был действительно прав и что жертвы, которые принес он сам, и зло, которое он нанес своим близким, были оправданы. Нет, возмездие в саге о Бьяртуре так же неотвратимо, как и в древних сагах. Но, в отличие от преданий прошлого, это возмездие не результат вмешательства высших сил, а закономерный итог развития событий.

Бьяртур оказывается одинок. Он сам фактически был виновником гибели обеих своих жен. Он сам изгнал из дома Аусту. Замерзает под снегом его сын Хельги. Покидает дом мечтавший о большом мире сын Нонни. И Бьяртур остается лишь с одним из своих сыновей — Гвендуром. И постепенно к нему приходит расплата — горечь одиночества, ощущение бесполезности всего того, чему он отдал жизнь.

Очень характерно изменение его отношения к Аусте Соуллилье. После того, как он ночью выгнал ее из дома, он даже сыновьям своим, очень любившим старшую сестру, не позволил поми-

нать ее имя. Лакснесс не говорит ничего о том, что происходит в душе Бьяртура, он лишь рассказывает, как Бьяртур, когда Гвендур направляется в город, просит сына передать Аусте привет и сочиненное им стихотворение об «одиноком и голом утесе», который стоит в безрадостной стране, где даже «цветок единственный опал».

Рушится и мечта Бьяртура о самостоятельности. То благополучие, которого он достиг такой дорогой ценой, оказывается иллюзорным. Его Летняя обитель продается за долги, и Бьяртур, уже старый, измученный жизнью, пожертвовавший своими близкими во имя своей фанатической мечты, покидает эти места таким же нищим, каким он пришел сюда двадцать лет назад.

Многозначительны те страницы романа, где рассказывается о встрече Бьяртура в городе с рабочими-забастовщиками. Он узнает от них о том, что в России рабочие и крестьяне «взяли все то, что капитализм украл у них, и создали новое общество, где никто не может наживаться на труде другого». Бьяртуру трудно понять этих людей, но, быть может, все же они правы? И он оставляет с рабочими своего сына: «Ему тоже будет хорошо среди них. Разве они не стоят того, чтобы стать владельцами своей страны и управлять ею?».

По это путь других людей, возможно, и Гвендура, но не Бьяртура. Его история закончена, закончена «сага о человеке, который в течение всей своей жизни, днем и ночью, засевал поле своего врага». Как и древние предания, эта сага заканчивается трагически, но, в отличие от судеб героев этих преданий, в жизни Бьяртура роковую роль сыграло не предопределение, а вполне конкретные социальные условия. «Бедный крестьянин, — писал Лакснесс в одной из статей, — никогда, во веки веков не выбьется из нужды. Он будет жить в нищете, пока человек человеку не защитник, а злейший враг».

Через восемь лет после завершения «Самостоятельных людей», в 1943 году, Лакснесс выпускает роман «Исландский колокол». За ним последовали «Златокудрая дева» (1944) и «Пожар в Копенгагене» (1946). Эти книги образовали трилогию «Исландский колокол». Ее замысел складывался у писателя уже давно, еще до «Самостоятельных людей» и даже до «Салки Валки». Он собирал старые документы, думал над проблемами и образами будущей эпопеи, об исторических судьбах исландского народа. Однако к активной работе над книгой он долго не приступал, так как он, по его же словам, опасался необъятности

проблемы, ее особой ответственности.

То, что «Исландский колокол» был создан именно в первой половине 40-х годов, было обусловлено событиями того времени. В те годы резко активизировалось движение исландского народа за полное отделение от Дании. Как известно, датчане на протяжении многих веков были полновластными хозяевами острова, и, хотя в 1918 году была провозглашена самостоятельность Исландии, она оставалась связанной с датским королевством личной унией, так что о подлинном суверенитете страны говорить было еще невозможно. Вековая мечта исландцев сбылась лишь в 1944 году, когда после проведенного в стране референдума уния с Данией была расторгнута. Однако дело осложнялось тем, что с 1940 года в Исландии размещались иностранные войска, сначала английские, затем американские, и их присутствие было тяжким бременем для небольшого народа. Вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Исландии, распространение низкопробной «индустрии развлечений» стали факторами, оказывающими самое пагубное воздействие на жизнь страны, на ее самобытную культуру.

Так что совершенно естественно, что вопросы

государственной самостоятельности, национального достоинства, исторических и культурных ценностей были для того времени крайне актуальными в Исландии. Лакснесс, принимавший самое активное участие в движении за независимость страны, за сохранение ее культурного наследия, рассматривал создание книги о судьбе народа, его борьбе, его подвиге как свой писательский долг. Он, подобно многим крупным писателям других стран, обращается в сложный, переломный для своей страны момент к ее историческому прошлому, создает настоящую сагу о страдании и подвиге родного народа.

На идейное содержание книги, ее образы и ситуации явственное влияние оказали те события, которые переживала Исландия в 40-х годах. И то, что третья книга трилогии, «Пожар в Копенгагене», во многом носит совершенно иной характер по сравнению с двумя первыми, объясняется сложностью и противоречивостью этих событий, тем воздействием, которое они оказали на Лакснесса. Но об этом несколько позже.

Время действия в «Исландском колоколе» — XVII–XVIII века. Это был период тяжелейших испытаний в истории исландского народа, когда гнет датского владычества был особенно

невыносимым, когда действия чужеземных властителей ставили под угрозу самое существование исландцев как нации. И то, что, несмотря на самые трудные испытания, порабощенный народ сохранил веру в свободу, высокое чувство национального достоинства, сберег свое замечательное культурное наследие, было подлинным подвигом исландского народа.

В трилогии Лакснесс рассказывает о многих подлинных событиях тех далеких лет. Судебное дело Йоуна Хреггвидссона, которое лежит в основе сюжетной линии, — это действительный исторический факт. Большинство главных персонажей «Исландского колокола» имели свои реальные прообразы. Но писатель весьма свободно обращается с событиями и историческими лицами — он меняет время тех или иных событий, сталкивает людей, которые на самом деле и не могли даже встречаться, и т. д. Лакснесс, как он сам об этом говорил, вовсе не ставил своей задачей создать последовательное, строго соответствующее фактам повествование об определенном историческом периоде и его героях. Он видел свою цель в том, чтобы воспроизвести главное содержание той эпохи, к которой он обратился, рассказать о том, каким был исландский

народ в те времена, раскрыть величие его духа.

В «Исландском колоколе», как и в «Самостоятельных людях» — и даже с еще большей очевидностью, — прослеживается воздействие национальной литературной традиции. Здесь еще более последовательно, чем в «Самостоятельных людях», выдержана внешняя объективность, бесстрастность повествования. Только описание событий, воспроизведение речи действующих лиц и ничего больше — никаких авторских отступлений, картин внутренних переживаний героев, оценок и комментариев. Как отмечал один из исследователей творчества Лакснесса, писатель, «подобно авторам саг, делает вид, что не говорит ничего, что не могло бы быть подтверждено свидетелями». Сам Лакснесс по этому поводу говорил, что в «Исландском колоколе», как и в сагах, «мысли и чувства передаются в речи и воспроизводятся в физической реакции: действие не происходит в тайниках души». И с помощью «физической реакции» Лакснесс действительно мастерски проникает в «тайники души» героев, передает их мысли и чувства.

В центре повествования находится крестьянин Йоун Хреггвидссон, с историей которого связаны и истории других основных персонажей книги:

Арнаса Арнэуса и Снайфридур, Солнца Исландии. Это настоящий сын своего народа, истинный исландец. В нем совершенно неистребимо чувство национального и личного достоинства. Не случайно Йоун к месту и не к месту поминает героев старых преданий, причем говорит он о них как о реальных лицах, которых он считает своими прямыми предками.

Но Йоун — отнюдь не праведник, не идеальный герой без единого пятнышка. Он — вспомним опять слова Лакснесса о героях саг — совершает такие поступки, которые могут вызвать только осуждение. Ему ничего не стоит при случае что-нибудь украсть, он, не задумываясь, лжет, если находит ложь выгодной, жестоко и презрительно обращается со своими домашними. Такое «снижение» образа героя носит вполне очевидный характер. Тем самым автор дает понять, что Йоун — это самый заурядный человек, ничуть не отличающийся какими-то особенными достоинствами от других терпящих нужду исландцев. Но как раз прозаичность, подчеркнутая заурядность и придают образу Хреггвидссона обобщенно-героический характер. Несмотря на все свои пороки, низменные черты, этот простой человек проносит через испытания чувство собственного

достоинства, веру в себя и свой народ.

Йоун, на чью долю выпало столько физических мук и духовных унижений, считает себя независимым человеком, хозяином своей судьбы. Он, считающий себя потомком таких древних героев, как Харальд Боезуб и Гуннар из Хлидаренди, не рассчитывает на благодеяния богатых и власть имущих. Он смотрит на них как на извечных врагов простого человека, и, несмотря на всю приниженность своего положения, он не только не боится их, но, наоборот, презирает: «То, чего человек не найдет у себя, он не найдет нигде. Мне плевать на великих мира сего, если они судят неправедно, и мне тем более плевать на них, если они судят праведно, ибо это значит, что они трусят». Глубокой убежденностью в своих силах проникнуты слова Йоуна: «Я не верю ни в какую справедливость, кроме той, которую творю я сам».

Вера в себя, внутренняя сила духа не покидают Йоуна в самые тяжелые минуты. Он безмятежно спит в ночь накануне того дня, когда его должны были казнить. Когда к нему в дом являются стражники, чтобы доставить его на суд, он сию же минуту садится на лошадь, не потратив и секунды на сборы или на прощание с домашними.

Он спокойно отправляется в путь, хотя знает, что его вновь будут судить по обвинению в убийстве и что ему опять грозит смерть от руки палача. Точно так же уверенно, без всяких колебаний, он направляется в далекую Данию через страны, о которых он никогда и слыхом не слыхал. Он просто уверен в том, что ему, исландцу, все по силам, что он сможет все вынести, и поэтому он ничего не боится. Йоун не совершает никаких героических поступков, он лишь ведет борьбу за сохранение собственной жизни, но эта борьба превращается в книге Лакснесса в символ той тяжелой и неравной борьбы, которую исландский народ вел за свое существование как нации.

Мы сталкиваемся в книге и с другими простыми исландцами, братьями Йоуна по духу. Это бродяги, нищие, бедные крестьяне, каждому из которых в «Исландском колоколе» отведено всего лишь несколько строк: это или короткие реплики этих людей, или одна-две фразы, сказанные о них автором. Но эти характеристики с помощью «физической реакции» настолько емки, что читатель узнает главное об этих людях. Это главное заключается в том, что все они, подобно Йоуну Хреггвидссону, в любой обстановке остаются людьми, остаются истыми исландцами,

сохраняющими чувство национальной гордости, национального достоинства, веру в свои силы. Так, один из толпы осужденных, слепой нищий, говорит: «Мы с вами чернь, ничтожнейшие существа на земле. Будем молиться о ниспослании счастья каждому могущественному человеку, который хочет заступиться за нас, беззащитных. Но правосудия не будет до тех пор, пока мы не станем людьми». Сколько внутренней силы в словах крестьянина, не пожелавшего уступить приказу королевского чиновника и приговоренного за это к порке: «Исландский народ будет жить вечно, если только перестанет уступать… Если бы я уступил хотя бы только один-единственный раз, если бы все всегда и всюду уступали, уступали купцу и фугту, призракам и дьяволу, чуме и оспе, королю и палачу — где бы тогда нашлось прибежище для исландского народа? Даже ад был бы слишком хорош для него».

Раскрывая судьбу крестьянина Йоуна Хрегг-видссона, Лакснесс одновременно рассказывает и о судьбах других героев книги. Это люди совсем другого круга, другого образа жизни: Арнас Арнэус, блестящий ученый, приближенный датского короля, и Снайфридур, прозванная Солнцем Исландии, — дочь верховного судьи

Исландии. Понятно, что они думают иначе, чем Хреггвидссон, что у них другие проблемы, и пропасть, отделяющая их от него, очень глубока. Но тем не менее и Арнас и Снайфридур — настоящие исландцы, и их личные судьбы, устремления неотделимы от судеб их родины.

Если Йоун Хреггвидссон — воплощение жизненных сил исландского народа, его вечности и неистребимости, то деятельность Арнаса как бы символизирует вечность национального духовного начала, величие исландской культурной традиции. Цель своей жизни он видит в собирании и сохранении текстов древних саг, несколько веков назад записанных на коже. Он не жалеет для этого ничего — ни денег, ни времени, ни своего личного счастья. Его фанатизм может выглядеть каким-то чудачеством, прихотью богатого человека, и может показаться странным то, что именно его Лакснесс сделал одним из главных персонажей исторического повествования о судьбах исландского народа.

Нет, деятельность Арнаса Арнэуса была настоящим подвигом, крайне необходимым его народу. Исландия — страна высокой древней культуры, являющейся достоянием всего народа, где чуть ли не каждый второй крестьянин слагает стихи.

Сочиняет их и Йоун Хреггвидссон, а столетиями позже стихи писал и Бьяртур Йоунссон. На протяжении веков для исландцев саги о великом прошлом их страны, о подвигах ее героев были неисчерпаемым источником мужества, веры в себя, в будущее своей родины. Сам Лакснесс так писал об этом в одной из своих статей: «На протяжении долгих, мрачных столетий эти повести были единственным, чем владел народ, который стоял на краю гибели, и, переживая больше страданий от нищеты и обособленности, чем, вероятно, любой другой европейский народ, терпеливо ждал часа свободы. Вера в героев, которых не могли заставить отступить ни раны, ни смерть и которые были непобедимы, эта вера в мужество была нашей верой. И в бедствиях времен именно она представляла собой ту жизненную силу, которая побеждала нашу смерть… Поэтому саги стали тем зерном, которое должно было жить, тем ростком в скованной морозом земле, который должен был дать побеги новой национальной весной. Во времена наибольшего унижения саги учили нас, что мы герои, люди, высокие по рождению. Сага была нашей неприступной крепостью, и именно благодаря ей мы стали сегодня независимым народом».

Особые черты исландского национального характера раскрываются в Снайфридур. Ей присущи нежность и мужество, страстность и бескомпромиссность, безудержность чувства и высокое ощущение долга. Это образ одновременно глубоко лирический и подлинно героический. Очень бережно и осторожно раскрывает Лакснесс историю прекрасной любви Снайфридур и Арнаса Арнэуса. Вспыхнувшее в них обоих чувство необыкновенно красиво и поэтично. Она нашла в нем воплощение своих самых прекрасных мечтаний и порывов, навеянных чтением книг. Он видел в ней «одну из тех женщин, ради которых отдавали свои жизни герои, она бессмертна, эта женщина древних саг», и Снайфридур и Арнасу казалось, что их ждет впереди совершенно небывалое счастье.

Но им не суждено обрести это счастье. Как ни велика любовь Арнэуса к Снайфридур, стремление посвятить свою жизнь борьбе за спасение культуры родного народа оказывается все же сильнее. Он сознательно жертвует своим счастьем, своей любовью, чтобы отдать всего себя, всю свою жизнь этому благородному делу. В этой трагедии раскрывается вся глубина патриотизма Арнаса Арнэуса. Раскрываются и новые

— гражданские, героические — черты в характере Снайфридур. Полны величия слова, которые она передает в далекий Копенгаген покинувшему ее возлюбленному: «Если только мой повелитель может спасти честь Исландии, пусть даже ценой бесчестья его златокудрой девы, образ его будет неизменно окружен сиянием в ее глазах».

Очень своеобразно решает Лакснесс дальнейшую судьбу героини, создавая ситуации, в которых с наибольшей полнотой раскрывается ее сильный, подлинно исландский характер. Узнав, что такое настоящее счастье, она решительно отвергает все компромиссы с судьбой. Казалось бы, она, дочь верховного судьи, могла бы выйти замуж за знатного, достойного человека и постепенно забыть о своем горе. Но для нее это было бы сделкой с совестью, попранием ее жизненных принципов. И она решительно отказывается от имитации счастья: «Женщине, знавшей замечательного человека, просто хороший человек кажется жалким… Лучше самый последний, чем средний!»

Именно в этих словах, необыкновенно точно передающих главное содержание характера Снайфридур, и следует искать ключ к пониманию ее решения выйти замуж за Магнуса

Сигурдссона. Эта созданная писателем ситуация может на первый взгляд показаться надуманной, неестественной. Действительно, желание Снайфридур, Солнца Исландии, нежной, чистой, тонкой, необыкновенно гордой женщины, выйти замуж за грубого, жестокого человека, пьяницу, мота, развратника выглядит необъяснимым, парадоксальным.

Но так кажется только окружающим. Для самой же Снайфридур такой шаг вполне естествен и логичен. Она делает его именно потому, что знает, какие страдания принесет ей этот брак. Жизнь с Магнусом, с «последним», — это полярная противоположность имитации счастья, жизни со «средним». Брак с Магнусом — это вовсе не поражение, не унижение для Снайфридур. Унижением и поражением для нее был бы брак с «просто хорошим человеком», и решение выйти замуж за Магнуса — это, наоборот, ее победа, ее возвышение, ее месть судьбе, символ ее бескомпромиссности, верности своим жизненным принципам.

Лакснесс сближает трагедию своей героини с трагедией всего исландского народа. Именно личное горе Снайфридур способствует тому, что она начинает понимать и большое общена-

родное горе. Она сознает, что те страдания, на которые ее обрекла судьба, просто ничтожны в сравнении с страданиями родины. Намеренно взяв на себя мученическое бремя, она называет себя счастливой, отвергает сострадание тех, кто называет ее несчастной: «Если есть в Исландии счастливая женщина, то это я. Ибо я тку ковры с изображением героев минувших времен, вышиваю покровы на алтари… и коплю серебро у себя в ларе. К тому же господь сделал меня бесплодной, а это, пожалуй, величайшее счастье, какое только может выпасть на долю исландской женщины».

Трагедии Йоуна Хреггвидссона, Снайфридур, Арнаса Арнэуса — это трагедии тех, кто не сдается. Не сдается исландский народ, не сдаются герои книги, продолжающие — каждый по-своему — свою борьбу. Такой народ, таких людей победить нельзя — этой идеей проникнуты две первые книги лакснессовской трилогии. Напомним, что они были созданы в 1943–1944 годах, то есть в годы подъема движения за национальную независимость и осуществления этой вековой мечты исландского народа. И, несмотря на то, что в них показана вся глубина национальной трагедии, обо эти книги по существу оптимистичны, так как они утверждают непобедимость исландского

народа, прославляют его свободолюбие и волю к борьбе.

Однако в третьей книге, «Пожар в Копенгагене», тон повествования, как уже отмечалось выше, значительно изменяется, как изменяется и характер героев. Они во многом теряют то, чем они велики, — свою волю к борьбе, несгибаемую веру в свои силы.

В романе возникает новая тема — тема продажи Исландии иностранной державе. Необыкновенно страстна речь Арнэуса, обращенная к представителю немецкой купеческой компании, которой датский король предложил купить Исландию и которая предложила Арнэусу стать ее наместником в Исландии, то есть полным властителем страны: «Если маленький беззащитный народ при всех своих несчастьях так счастлив, что имеет достаточно сильного врага, то время вступит в союз с этим народом. А если он в нужде своей прибегает к защите тролля, тот проглотит его в мгновение ока… Когда на берегах Исландии вырастут немецкие торговые города и рыбацкие поселки, то много ли пройдет времени, пока там, скажем, появятся также и немецкие крепости, и наемные войска? Какова же будет судьба народа, создавшего славные книги? Исландцы в лучшем

случае станут жирными слугами в немецком вассальном государстве. А жирный слуга не может быть великим человеком. Избиваемый же раб — великий человек, ибо в сердце его живет свобода».

Постановка этой темы была обусловлена исторически. В те годы исландские власти, несмотря на массовые протесты общественности, дали согласие на пребывание американских войск в стране и в мирное время. Лакснесс в своей публицистике того времени горячо протестовал против фактической продажи страны, против новой угрозы ее независимости, ее культуре. И тревога Арнаса Арнэуса о последствиях чужеземного владычества прямо перекликается с настроениями общественности в середине 40-х годов, с настроениями самого Лакснесса, который с большой горечью переживал опасные для родины события.

В «Пожаре в Копенгагене» мало что осталось от исторического оптимизма, столь характерного для первых книг трилогии. Иными стали и Йоун, и Арнас, и Снайфридур. Йоун Хреггвидссон уже далеко не тот бесстрашный, хитрый крестьянин, который никогда не терял присутствия духа и смеялся в лицо своим палачам. Теперь это ста-

рый, очень усталый человек, который уже ничего не ждет от жизни, ни во что не верит, ни на что не надеется.

Устает от борьбы и Арнас Арнэус. Жизненные испытания сломили его, и он по существу становится лишь сторонним наблюдателем происходящих событий. «Судьба, — говорит он, — сильнее воли человека, как об этом можно прочитать в исландских сагах». То, как изменился Арнэус, с особой силой раскрывается в сцене пожара в его библиотеке. Он даже не хочет ничего предпринять, чтобы попытаться спасти те бесценные книги, собиранию которых он посвятил свою жизнь и ради которых он пожертвовал всем, чем мог пожертвовать. Больше того, он даже не пускает в дом тех исландцев, которые поспешили сюда, чтобы сохранить памятники народной культуры. Это уже не былой самоотверженный борец за избранное им дело, это потерпевший крушение, пассивный человек, равнодушный свидетель своего собственного поражения.

Подобно Йоуну и Арнасу, сдается и Снайфридур. Около двадцати лет она боролась с судьбой, мстила ей за выпавшие на ее долю страдания. Но и она устает от этой борьбы и избирает тот путь, который она раньше так решительно осуж-

дала и отвергала, — путь компромисса, согласия на поддельное счастье. Она становится женой «среднего», «просто хорошего» человека, то есть совершает шаг, который раньше для нее был равносилен поражению и унижению.

Третья книга лакснессовской эпопеи несколько снижает общий пафос трилогии — утверждение жизненности исландского народа, неизбежности его конечного торжества над силами зла и угнетения. Дело здесь не только и не столько в том, что писатель, создавая сагу об исторических судьбах Исландии, следовал традициям древних саг, в которых роковые силы неизбежно берут верх над героями, хотя и это обстоятельство сыграло свою существенную роль. Прежде всего причиной была острая реакция Лакснесса на те тяжелые для его страны события, которые она переживала в годы работы над «Пожаром в Копенгагене». Ему казалось, как он об этом говорил, что исландский народ не проявил необходимой воли к борьбе и сопротивлению, к защите только что завоеванной независимости, что он во многом утратил волю к свободе, стремление к самостоятельности. Так, в одной из статей, написанной после заключения соглашения с США о военных базах, он с горечью сравнивал исландский народ с «бо-

калом, который уже не издает никакого звука, когда по нему ударят». Это смятение и разочарование, как мы видели, сказались на последней книге трилогии. Но они не умаляют значение того вклада, который внес в литературу Лакснесс своим «Исландским колоколом», этой сложной, противоречивой и прекрасной сагой о героической и трагической судьбе исландского народа.

Самостоятельные люди
Героическая сага

Перевод Н. Крымовой и А. Эмзиной
Редакция перевода К. Телятникова

Часть первая
Исландский пионер
Глава первая
Колумкилли

Как гласит исландская летопись, в стародавние времена в Исландии поселились выходцы с Запада. После них остались кресты, колокола, а также разные орудия колдовства. Из латинских источников известны имена тех, кто прибыл сюда в первые годы папства[1]; их предводителем был Колумкилли, ирландец, знаменитый заклинатель духов. В ту пору земля Исландии славилась необычайным плодородием. Позднее сюда явились северяне, и первым поселенцам пришлось

[1] Примечания: 1
Годы папства. — С начала XI в. и по 1550 г. в Исландии господствовала католическая церковь. ***(Прим. Л. Г.*** *— здесь и далее примечания Л. Горлиной).*

бежать. В летописях сказано, что Колумкилли в отместку заклял пришельцев и наслал на них всякие напасти; земля исландская стала скудеть, пошли недороды…

Шло время. Северяне отпали от истинной веры и стали поклоняться идолам по примеру других племен. В Исландии все перевернулось вверх дном. Над богами северян теперь глумились, многие нашли себе новых богов и божков, завезенных сюда из восточных и западных стран. По преданию, тогда же воздвигли храм в память Колумкилли — в той долине, где потом был построен на пустоши большой хутор Альбогастад. После того как к 1750 году нечистая сила разрушила хутор, окружной судья Йоун из Утиредсмири-Рейкдаля заинтересовался этой высокогорной долиной, где, по слухам, поселилось привидение. Он и сам был очевидцем весьма странных происшествий и рассказал о них в известном донесении «О дьяволе из Альбогастада». С середины зимы и до самой троицы привидение издавало ужасные вопли, и тогда народ бежал с хутора в поселок. Привидение дважды прокричало на ухо судье Йоуну свое имя, а на все его вопросы отвечало «то непристойными латинскими стихами, то грубой бранью».

Наиболее известное из сохранившихся преданий о привидении относится к тем далеким временам, когда судьи Йоуна еще и на смете не было, и совсем нелишне напомнить о нем тем, кто со временем посетит эти прибрежные долины, пройдется по заросшим тропам, протоптанным некогда конями, и, может быть, залюбуется древним холмом на болоте, где в старину стоял хутор.

В последние годы жизни епископа Гудбранна[2] на хуторе Альбогастад жили муж и жена. Имени мужа мы не знаем, а жену звали Гунвер, или Гудвер. Говорили, что эта женщина отличалась необузданным нравом, занималась колдовством, и лучше было держаться от нее подальше. Муж, человек слабовольный, во всем подчинялся жене. В первое время семья их жила небогато, батраков у них было мало. Предание говорит, что, когда у Гунвер рождались дети, она заставляла мужа губить новорожденных младенцев. Он относил их на гору и клал там под плоский камень — и по сей день еще в весеннюю пору, когда снег начинает таять, слышно, как они плачут. А то он

[2] Примечания: 2

Епископ Гудбранн Торлакссон жил с 1542 по 1627 г., был епископом в Хоуларе, перевел на исландский язык Библию и опубликовал ее в 1584 г. *(Прим. Л. Г.)*

топил детей в озере, с камнем на шее, и теперь даже в морозные лунные ночи доносятся из озера их стоны; говорят, что это предвещает непогоду.

С годами Гунвер пристрастилась к человеческой крови и мозгу. Рассказывают, что своим детям, которых не убивала, она вскрывала жилы и высасывала из них кровь. За домом она велела поставить хижину и там возжигала огонь в честь дьявола Колумкилли.

Говорят, что однажды муж ее решился бежать и объявить жителям поселка всю правду о колдунье, но та погналась за ним и, поймав на перевале у Редсмири, побила его камнями и надругалась над трупом. Кости мужа Гунвер отнесла к себе в хижину, а мясо оставила на перевале птицам. В поселке она сказала, что он погиб, когда отыскивал овец в горах.

После смерти мужа Гунвер разбогатела, завела хороших коней, и в приходе поговаривали, что богатство это наколдовал ей Колумкилли.

В поселок в ту пору приезжало много народу из других мест: летом, чтобы ловить рыбу под ледником, а весной, чтобы запастись вяленой рыбой.

Со временем люди стали замечать, что Гунвер ведет себя подозрительно и что лошадей у нее

становится все больше и больше. Поговаривали, что хотя Гунвер и посещает церковь, но даже в троицын день после службы в редсмирской церкви не поднимает глаз к небу и солнцу.

Наконец пошел слух, будто муж Гунвер умер не своей смертью и что она убивает людей — кого из-за денег, а кого ради крови и мозга. Около Альбогастада в южной части долины есть маленькое Озеро Пиявок — в нем Гунвер топила свои жертвы. Обычно она убивала своих гостей ночью, закалывала их, когда они спали, перекусывала им горло и разрезала мясо на куски, а костями играла вместе с Колумкилли. Случалось, она гнала человека до самой пустоши, всаживала в него сверкающий нож и убивала; силой она могла потягаться с любым мужчиной, да и дьявол Колумкилли помогал ей в злодействах. До сих пор на склоне пустоши люди видят кровавые следы на снегу, чаще всего перед рождеством.

Трупы она уносила в долину, привязывала камень и топила в озере; затем она забирала себе добро убитых — одежду, лошадь, деньги. Все дети Гунвер были слабоумными — они то забирались на крышу и лаяли по-собачьи, то сидели на камне у порога, жутко оскалив зубы. Дьявол отнял у них дар речи и разум. И по сей день вечерами

тамошним детям поют песенку:

Как заманит Гунвер в гости
пешехода на беду,
загрызет и кинет в омут —
дидли-дидли-ду.
Кровь! — поток вдоль дорог,
спи, сынок, с нами бог.

Как заманит Гунвер в гости
верхового, злобный бес,
вдруг сверкнет ее клинок —
и тидли-тидли-тесс.
Кровь! — поток вдоль дорог,
спи, сынок, с нами бог.

Как заманит Гунвер в гости
божью душу, адский дух,
выест мозговые кости —
дидли-дидли-ух.
Кровь! — поток вдоль дорог,
спи, сынок, с нами бог.

Как заманит Гунвер в гости,
проклянешь свою судьбу:

вырвет руки,
вырвет ноги,
вырвет бок —
мяса клок, —
и фидли-фидли-бу.
Кровь! — поток вдоль дорог,
спи, сынок, с нами бог!

Старый дьявол Колумкилли
так учил ее в аду:
кровь красна —
ох, вкусна!
Костный мозг —
теплый воск! —
и бай-бай и дидли-ду.
Кровь! — поток вдоль дорог,
спи, сынок, с нами бог![3]

Но пришло время, и злодейства Гунвер открылись; люди узнали, что у нее на совести много убийств. Она убивала мужчин, женщин, детей, а по ночам поклонялась дьяволу Колумкилли.

---

[3] Примечания: 3
Стихи в «Самостоятельных людях» переведены В. Тихомировым.

На окружном тинге[4] Гунвер приговорили к смерти и в первое воскресенье после троицы четвертовали у ворот редсмирского кладбища. Гунвер приняла смерть мужественно и, умирая, прокляла людей страшным проклятием. Ее тело, разрубленное на куски, положили в мешок, отнесли на перевал, к западу от Альбогастада, и там зарыли, насыпав над ним высокий курган, который можно видеть и поныне. Курган этот весь зарос травой, и его называют курганом Гунвер. Когда путник впервые минует перевал, он бросает камень на курган; это предохраняет от всяких бед: некоторые бросают камень всякий раз, как проходят мимо, — они надеются купить себе этим мир и покой.

Но если Гунвер при жизни отличалась свирепым нравом, то после смерти она и вовсе не знала удержу. Она являлась на хутор и воскрешала свои жертвы — мужчин, женщин, детей, так что в темные осенние ночи от нее просто житья не было на Альбогастаде. Верная своим привычкам, она мучила и живых и мертвых: по ночам на хуторе раздавались громкие крики и стоны, будто сонмы неприкаянных душ жаловались на свои мученья,

[4] Примечания: 4

Окружной тинг — местное народное собрание, на котором решались все важные вопросы. *(Прим. Л. Г.).*

потому что не могли найти себе покоя. Иногда от земли поднимались клубы серных паров, и люди задыхались, а собаки, охваченные неистовой злобой, грызлись друг с другом. Иногда Гунвер такое творила на крышах, что балки трещали; ни один дом, даже самый прочный, не мог выдержать ее неистовых ударов и бешеной ночной скачки. Она носилась верхом на людях и животных, ломала хребты коровам, сводила с ума женщин и детей, пугала стариков, и ее было не унять ни крестным знамением, ни колдовскими чарами. Предание гласит, что в конце концов с нею справился редсмирский пастор, человек большой учености, которому удалось заставить ее бежать. Она бежала в горы; и там перед ней расступилась скала и открылось ущелье, которое и поныне чернеется на вершине горы. Одни говорят, что она приняла образ тролля и поселилась в скале, другие, что она и по сей день живет в озере.

Да разве неизвестно, что какое-то страшилище и в самом деле обитало в здешнем озере с незапамятных времен? Многие видели его и могут в том поклясться, даже те, кто не верит в привидения. Некоторые уверяли, что нечистая сила разрушала хутор Альбогастад три раза, а иные — что даже семь раз. Вот почему ни один крестьянин

не решался там остаться, и хутор опустел. А при окружном судье из Рейкдаля его присоединили к Утиредсмири, и он стал зимним пристанищем для овец, отчего и получил название «Зимовье»; впоследствии там держали ягнят.

Глава вторая
Земля

На низком холме, среди болот, стоит старый полуразвалившийся дом.

Быть может, этот холм только наполовину создан природой. Быть может, крестьяне, которых давным-давно нет на свете, из поколения в поколение строили себе жилье в этой долине у ручья, и один хутор вырастал на развалинах другого. Но вот уже сто с лишком лет, как на этом месте находится овечий загон, и все сто с лишком лет там блеют овцы и ягнята.

От холма к югу тянутся обширные болота, в которых торчат покрытые вереском бугры. С редсмирского перевала стекает в болото небольшая река; другая река берет начало в озере и бежит через долину по восточной части пустоши. К северу от загона поднимается крутая гора, склоны которой усеяны камнями, и земля между ними

поросла вереском. Кое-где вздымаются острые скалы; в одном месте, напротив загона, утес раскололся, и весной из расселины длинной, узкой струей низвергается водопад. А когда южный ветер взбивает пену и несет ее вверх, то кажется, будто вода течет не вниз, а на вершину горы. Под скалой разбросаны валуны. Загон расположен на пустоши, на месте хутора Альбогастад, и долгое время его называли «Зимовьем».

Возле овчарни течет маленький ручей, огибая полукругом выгон. Прозрачный, холодный, он никогда не пересыхает. Летом лучи солнца играют в его резвых водах, а на берегу лежат овцы и жуют жвачку.

Синее небо, озеро, по которому плавают лебеди, река, спокойно текущая по болоту, а в ней играют форели — все сияет, блестит, радуется, и у всего своя песня под солнцем.

Долина окружена горами и пустошью. На западе — узкий перевал, а по ту сторону — Утиредсмири, Редсмири, или просто Мири, усадьба старосты местного прихода. Он же был до сих пор владельцем всей этой горной долины.

Ниже Редсмири хуторов и селений становится больше. Восточная часть пустоши, где пролегает дорога к Фьорду, находится в пяти часах нетороп-

ливой езды от города. К югу тянется волнистая гряда холмов; постепенно повышаясь, холмы сливаются с горой Блауфьедль, — когда смотришь на нее снизу, то кажется, будто она вросла в самое небо; снег на вершине горы редко тает прежде Иванова дня. По ту сторону Блауфьедля снова начинается пустошь. Весной долину обдувают теплые ветры.

Когда весенний ветер врывается в долину, а солнце ярко озаряет прошлогоднюю траву на речном берегу, озеро и белых лебедей, когда оно выманивает из болота весенние побеги, трудно поверить, что в этой мирной плодородной долине когда-то творились страшные злодейства. Люди едут верхом по берегу реки, по тропинкам, протоптанным конями за долгие века, и свежий весенний ветер гуляет по освещенной солнцем долине. В такие дни солнце прогоняет тени прошлого.

Новое поколение не хочет и знать о привидениях, которые терзали людей встарь. Сколько раз нечистая сила разрушала хутор Альбогастад на пустоши, а он вновь отстраивался наперекор злым чарам. Столетие за столетием бедняки поднимались из поселка на холм между озером и скалой, чтобы попытать счастья, и бросали вызов

силам, заколдовавшим эту землю и взалкавшим крови человеческой. И все вновь и вновь то один, то другой бедняк начинает трудиться на холме, назло дьяволу, посягающему на его жизнь. История долины — это повесть о самостоятельном человеке, который один на один борется с привидениями, появляющимися каждый раз под новыми именами. То это сатана, полубожество, предающее проклятью всю страну. То ведьма, ломающая кости своим жертвам. То какие-нибудь чудовища, обрекающие людей на безумие. То беснующийся призрак, который до основания разрушает хутор. А по сути дела это все один и тот же призрак, из поколения в поколение, столетие за столетием преследующий человека. «Нет, не покорюсь», — говорит человек упрямо.

И вот однажды, через полтораста лет после того, как в последний раз был разрушен хутор, человек отправился в Альбогастад. Минуя перевал у кургана Гунвер, он яростно сплюнул: «Не дождешься ты от меня камня, ведьма проклятая, нет!» И он не бросил ей камень.

Он с трудом движется вперед, соразмеряет свои движения с напором ветра, приноравливается к неровной земле. За ним бредет желтая собака, дворняжка, с острой мордой, грязная. В шерсти

у нее так много блох, что она то и дело с нетерпеливым визгом ложится на землю и катается между кочками. Собака ест траву — как видно, ей не хватает витаминов. И уж во всяком случае, совершенно ясно, что ее донимают глисты. Человек подставляет лицо свежему весеннему ветру, и чудится ему, что под сияющим солнцем развеваются гривы коней — они промчались здесь в далеком прошлом, а в ветре слышится давно отзвучавший топот копыт… Столетие за столетием кони вытаптывали на берегу реки тропу, и по сей день по этой тропе ходят люди. Вот и он, исландец тридцатого поколения, мужественный и неустрашимый, вчера еще батрак, а сегодня хуторянин, идет этой тропой вместе со своей собакой. Взгляд его скользит по долине, освещенной весенним солнцем. Собака подбегает, прыгает на него и тычется мордой в шершавую руку. Так она и стоит, виляя хвостом, а человек задумчиво на нее смотрит; ее покорность и преданность и сознание силы, он приобщается на мгновенье к мечте человека — мечте о власти, он подобен полководцу, опирающему свои войска, и он твердо уверен в их повиновении. Проходит некоторое время, собака усаживается на берегу, в транс, у ног хозяина, вопросительно смотрит на него. Он

говорит: «То, что ищешь в человеке, находишь в своей собаке».

Человек размышляет вслух все о том же, даже когда сворачивает с тропинки и шагает по болоту в сторону загона. Его не оставляет одна и та же мысль: собака находит то, что ищет, в человеке. Ищите и обрящете. Он нагибается и, нащупав корни осоки в болоте, измеряет их длину своими толстыми пальцами и выдергивает один корень из мха, затем вытирает его о штаны, кладет в рот и жует, как овца, и даже думать начинает, как овца. Осока горькая, но он долго пережевывает ее, ощущая горечь во рту. Многим овцам эта трава спасла жизнь, многим отощавшим за долгую голодную зиму. Она горькая, а все же слегка отдает медом. Весной осока спасает жизнь овцам, а осенью овцы спасают жизнь людям. Человек продолжает размышлять о траве. Так он доходит до загона. Человек стоит на вершине самого высокого холма, как стоял здесь некогда первый поселенец, выбирая место для будущего жилья. Оглянувшись по сторонам, он мочится, сначала повернувшись лицом на север — в сторону горы, затем на восток — где болота, озеро и река, спокойно текущая по болоту, и на юг, где простирается пустошь и где Блауфьедль, еще

покрытый снегом, замыкает горизонт. И солнце сияет над пустошью.

На южной стороне холма две овцы из Утиред-смири щиплют молодую траву, и он прогоняет их, хотя это овцы его хозяина, — впервые прогоняет с собственного выгона: «Это моя земля!»

Но вдруг он впадает в раздумье: да ведь за землю-то еще не заплачено сполна, и цыкает на собаку, чтобы она не смела гоняться за овцами.

Стоя на собственном участке, человек продолжает разглядывать расстилающийся вокруг него мир, — тот мир, который он покупает. Скоро этот мир озарит летнее солнце. Он говорит собаке:

— «Зимовье» — неподходящее название для такого хутора. Да и не название это вовсе. И «Альбогастад на пустоши» тоже не подойдет. Потому что оно отдает суеверием и напоминает времена папства. Черт возьми! Не хочу я, чтобы название моего хутора напоминало об ужасах прошлого. Меня зовут Бьяртур[5] — Ясный, и пусть мой хутор называется «Летняя обитель».

И Бьяртур из Летней обители расхаживает по собственной земле, рассматривает заросшие травой развалины, полуразрушенную стену загона

---

[5] Примечания: 5

Бьяртур — светлый *(исл.). (Прим. Л. Г.).*

и мысленно все это сносит и строит новый хутор, точь-в-точь как тот, где он родился и вырос, на восточном краю пустоши.

— Не в величине дело, — говорит он громко собаке, словно заподозрив, что она чересчур занеслась в своих мечтах. — Скажу тебе, что свобода куда важнее высокого потолка. Восемнадцать лет я гнул спину ради свободы. У кого собственная земля — тот и есть самостоятельный человек в нашей стране, тот сам себе хозяин. Если я продержусь зиму, сумею прокормить овец и аккуратно из года в год выплачивать долг, то скоро разделаюсь с ним, и овцы останутся при мне. Свобода — вот то, к чему мы стремимся в нашей стране, Титла. Кто никому не должен — тот король. Кто прокормит своих овец — тот будет жить, как во дворце.

Титла, точно откликаясь на его речь, радостно лает; она описывает круги вокруг человека, ложится, как охотничья собака, уткнувшись мордой в землю, будто выслеживая хозяина, и затем снова начинает кружить.

— Ну, ну, — говорит Бьяртур серьезно. — Не фокусничать! Разве я кружусь и лаю? Или тыкаюсь носом в землю? Разве я балуюсь или подстерегаю кого-нибудь? Нет, такими фокусами я бы не

добился самостоятельности. Восемнадцать лет я работал в Утиредсмири — на старосту, на поэтессу, на Ингольва Арнарсона Йоунссона, которого, говорят, теперь послали в Данию. Думаешь, это я для собственного удовольствия бродил по южной стороне пустоши и лазил по горам, разыскивая хозяйских овец в зимнюю стужу? А однажды ночью мне пришлось зарыться в сугроб. И не этим добрым людям я обязан тем, что на следующее утро выполз из снега живым.

Тут собака успокоилась, уселась на землю и стала выбирать блох.

— Всякий скажет, что я работал не покладая рук. Вот почему я в срок заплатил первый взнос за этот клочок земли — утром на пасху, как было договорено. Теперь у меня есть двадцать пять овец, нестриженых и суягных. Многие начинали с меньшего, чем я, а еще больше таких, которые всю жизнь остаются в кабале и никогда не заведут себе отару. Мой отец жил до восьмидесяти лет и никак не мог разделаться с долгом в двести крон, которые в молодости получил от прихода на лечение.

Собака взглянула на него с сомнением, будто не совсем доверяя его словам, потом хотела было залаять, но раздумала и лишь протяжно зевнула,

широко раскрывая пасть.

— Тебе этого не понять, конечно, — говорит человек. — Собачья жизнь невеселая, а человечья, пожалуй, и того хуже. Однако же я надеюсь, что моей милой Розе, если она проживет двадцать три года в Летней обители, не придется в сочельник потчевать батраков костями старой клячи, — поэтесса-то из Утиредсмири не постыдилась в прошлом году подать работникам такое угощенье в канун рождества.

Собака опять начала усердно выкусывать блох.

— Ясное дело, что у таких хозяев собака вся запаршивеет и станет жевать траву. У них даже экономка за двадцать лет ни разу не видела ключей от кладовой. Да и лошади старосты, сдается мне, если бы эти несчастные скоты вдруг заговорили, могли бы порассказать кое-что. Об овцах и толковать нечего: ведь как мучились все эти годы! Хорошо еще, что у них, бедных, нет своего суда на небесах, а то некоторым хозяевам не поздоровилось бы.

С горы по загону бежал ручей: сначала по прямой, как бы нарочно для хутора, а затем сворачивал на запад и полукругом обегал холм, прокладывая себе путь в болота. В двух местах образовались порожки высотой по колено, а кое-

где лужи — глубиной тоже по колено. Дно ручья было устлано мелкими камешками и песком. Ручей петлял и с каждой новой петлей журчал по-новому, но не печально, — он был веселый, звонкий, как сама юность; в его мелодии было много разнообразных нот, и он, как истинный скальд[6], неустанно пел свою песню, не смущаясь тем, что сотни лет никто его не слушает. Человек осматривал все с большим вниманием. Остановившись у верхнего порожка, он сказал: «Здесь будем вымачивать соленую рыбу»; а у нижнего: «Здесь можно будет стирать белье». Собака ткнулась мордой в воду и стала лакать ее. Человек лег плашмя на берег и тоже напился; немного воды попало ему в нос.

— Прекрасная вода, — сказал Бьяртур из Летней обители и взглянул на собаку, вытирая лицо рукавом. — Мне даже кажется, что это освященная вода.

Вероятно, ему пришло в голову, что этим замечанием он проявил слабость перед нечистой силой, — он вдруг повернулся лицом к весеннему ветру и сказал:

— К слову сказать, мне все равно — освящена

---

[6] Примечания: 6

Скальд — поэт (исл.). *(Прим. Л. Г.).*

вода или нет. Я не боюсь тебя, Гунвер. Плохо тебе придется, ведьма, если ты будешь мешать моему счастью! Привидений я не испугаюсь. — Он сжал кулаки и окинул сердитым взглядом расщелину в горе, перевал на западе, озеро на юге и произнес себе в бороду, вызывающе, словно герой древней саги:

— Этому не бывать!

Собака вскочила и, делая огромные прыжки, понеслась за овцами, бродившими у подножия холма; она старалась куснуть их за ноги, так как ей показалось, что Бьяртур рассердился. На самом же деле он только был одержим духом нового времени и полон решимости стать свободным человеком своей страны, самостоятельным, как люди предыдущих поколений, селившихся здесь до него.

— Колумкилли! — сказал он и презрительно рассмеялся, обругав сначала собаку. — Сплошное вранье! Этой чепухой какой-нибудь шутник заморочил головы старым бабам.

Глава третья

Свадьба

К дням переезда[7] дивная исландская трава так пышно разрастается, что хоть тут же коси ее; овцы начинают поправляться; густая зелень прикрывает падаль на болоте. В эту пору года жизнь кажется прекрасной; и именно в эту пору хорошо жениться.

Старые развалины уже очищены от крысиных гнезд, построен новый дом, — это хутор Бьяртура, Летняя обитель. Натаскали камней, нарезали дерну, возвели стены, положили балки, поставили стропила, покрыли крышу, законопатили мхом все щели в стенах, сложили плиту, вывели дымоход — и дом готов, и он уже врос в ландшафт.

Свадьбу сыграли на хуторе Нидуркот, у родителей невесты; и большинство гостей явилось с таких же хуторов, прижавшихся к подножию гор или лепившихся на южной стороне перевала. Возле каждого хутора бежит по лугу маленький ручеек, ниже простирается болото, которое пересекает плавно текущая река. Если идти от хутора к хутору, может показаться, что все они называ-

---

[7] Примечания: 7

Днями переезда называют несколько дней в начале июня, в течение которых происходит передача ферм новым владельцам и арендаторам. *(Прим. Л. Г.).*

ются одинаково, что здесь живут одни и те же люди. Ничуть не бывало! Например, старик Тоурдур из Нидуркота много лет мечтал поставить маленькую водяную мельницу у ручья — там, где было сильное течение, — чтобы молоть ячмень для окрестных крестьян и кое-что подрабатывать на этом. И он построил мельницу, но к тому времени в Исландию стали вместо немолотого зерна ввозить готовую муку, и люди охотно ее покупали. Весенней порой, когда сумерки сразу же сменяются рассветом, дети Тоурдура играли возле мельницы: синее небо тех дней запомнилось им на всю жизнь. У старика было семеро детей, и все они покинули родные места. Два сына утонули в далеких чужих морях; один сын и дочь уехали в Америку, в страну, которая находится чуть ли не на самом краю света. Впрочем, наверное, нет больших расстояний, чем те, что разделяют бедных родственников в одной и той же стране; две дочери вышли замуж и жили в рыбацком поселке: одна осталась вдовой с кучей детей, другая, у которой муж был чахоточный, находилась на иждивении прихода… Такова жизнь.

Младшая дочь, Роза, дольше всех жила дома. Наконец и она поступила служанкой к старосте, в Утиредсмири. На хуторе остались только родите-

ли и старуха, поселившаяся у них, да еще восьми десятилетний старик, за содержание которого платил приход.

Сегодня Роза выходит замуж; служить ей больше не придется. Завтра и она навсегда покинет родительский дом. Останется только мельница у ручья… Такова жизнь.

Хотя Бьяртур с детства жил в большом поместье, но большинство его знакомых были бедняки из дальних поселков. Они никогда не занимались торговлей, они ходили за овцами, как и он, работали круглый год и так жили до самой смерти. Немногие поднимались на такую ступень благосостояния, что строили себе деревянный дом, похожий на ящик, с крышей из гофрированного железа. В таких домах вечно гуляет сквозняк и заводится сырость; от сквозняков наживаешь себе ревматизм, а от сырости — туберкулез. Большинство крестьян почитало за счастье, если им удавалось подновить стены своей хижины хотя бы раз в пять лет, правда, и они мечтали: ведь на каждом хуторе живет мечта о лучшей доле. Столетиями надеялись они, что неким таинственным образом одолеют нужду, обзаведутся прекрасной усадьбой и станут зажиточными хуторянами. Вековая крестьянская мечта. Некоторые полагают,

что она исполнится только на небесах.

Люди здесь жили ради своих овец и торговали во Фьорде с купцом Тулиниусом Йенсеном (Бруни) — все, кроме старосты, который продавал своих овец в Вике; и так как он сам назначал цену за них, говорили, что он, как видно, совладелец торговой фирмы. Получить кредит у Бруни считалось большой удачей. Правда, как только купец открывал крестьянину счет, тот уже денег не видел, — зато он мог быть почти уверен, что под крылышком у купца как-нибудь протянет зиму и получит ржаную муку, второсортную рыбу и кофе на пропитание семьи. Весной так и так приходилось есть только раз в день. Ну а тем, кто пришелся ему по душе, Бруни даже помогал купить землю; и крестьянин становился владельцем хутора, — вернее, числился таковым по налоговым квитанциям и приходским спискам, а после смерти его имя заносили в церковные книги для сведения составителей родословных.

Эти люди не чувствовали себя рабами и выделялись из общей массы бедняков. Они полагались только на себя, и самым крупным их капиталом была самостоятельность. Они верили в свои силы, высоко ценили предприимчивость и, подвыпив, читали наизусть древние саги и стихи. Они об-

ладали железной волей, и им не были страшны никакие препятствия. Но никто не назвал бы их бездушными материалистами, которые заботятся только о хлебе Насущном. Они знали наизусть много старинных стихов с искусными рифмами и аллитерациями[8], а некоторые даже сами складывали стихи — о друзьях, о своей трудной жизни, об опасности, о природе, о надеждах на более светлые дни — тех надеждах, что сбываются только в царствии небесном, и даже о любви (стихи о любви считались непристойными). Бьяртур тоже умел сочинять стихи. Крестьяне знали много историй о забавных стариках и старухах, уже выживших из ума, или чудаковатых пасторах. У них самих духовный пастырь был большой чудак, но не дурень и не мошенник. И они знали много прекрасных историй о пасторе Гудмундуре. И кроме того, они были особенно благодарны этому пастору за превосходную породу овец, которую он вывел в своем приходе и которую так и называли: «породой пастора Гудмундура». Пастор же никогда не уставал повторять в своих проповедях, что его прихожане слишком ревностно заботятся об овцах и забывают о всевышнем. Тем

[8] Примечания: 8

Аллитерация — повторение одинаковых или близких согласных звуков. *(Прим. Л. Г.).*

не менее он оказал крестьянам большую услугу — его бараны были хотя и не очень крупными, но крепкими и выносливыми, поэтому крестьяне уважали пастора и прощали ему больше, чем другим людям.

По мнению пастора, не только овцы отвращали людей от бога и мешали им мыслить разумно и заботиться о спасении души, которое заключается только в боге, — от истинной религии отвращала крестьян и хозяйка Утиредсмири, которую многие величали «фру». Теперь речь пойдет о ней.

Эта фру была дочерью богача из Вика. Она училась в тамошней женской школе и вышла замуж за богатого хуторянина Йоуна, чтобы насладиться радостями сельской жизни. Эти радости описывались в иностранных книгах, особенно у Бьёрнстьерне Бьёрнсона[9], которого она читала в доме своего отца, а затем в женской школе. Когда она забеременела, ей во сне явился пионер Ислан-

[9] Примечания: 9

Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1832–1910) — крупнейший норвежский писатель и общественный деятель, автор необычайно популярных повестей из крестьянской жизни. *(Прим. Л. Г.).*

дии — Ингольв Арнарсон[10] и попросил назвать ребенка его именем. Фру принесла мужу в приданое землю стоимостью в десять тысяч, а потом еще и свою долю наследства — в виде движимого имущества. Она уверяла, что любит живущих в долине крестьян больше всего на свете, и при всяком удобном случае доказывала им, что нет большего счастья, чем жить и умереть среди полей и лугов. Фру излучала духовный свет на весь округ: учредила местный женский союз и была его председательницей, посылала в столичные газеты статьи и стихи о красотах сельского бытия, а также о тех душевных и телесных благах, которые может дать только жизнь на лоне природы. Она считала кустарный промысел единственным имеющим право на существование в Исландии, и сама весьма искусно ткала на примитивном деревянном станке. Поэтому она была выбрана делегаткой на столичный съезд женских союзов. Там обсуждался вопрос о кустарном промысле и тех моральных ценностях, которые порождает лишь сельская жизнь и которые одни лишь

[10] Примечания: 10

Ингольв Арнарсон — норвежец, первый поселенец Исландии, прибыл в Исландию из западной Норвегии примерно в 874 г. О его приезде в Исландию подробно рассказывается в «Книге о заселении страны», представляющей собой собрание рассказов о каждом первопоселенце Исландии и о его потомках в нескольких поколениях. *(Прим. Л. Г.).*

могут спасти исландский народ от опасностей, угрожающих ему в нынешние тяжелые времена.

Только такая женщина способна оценить переменчивую красоту времен года и синих гор, которыми она любуется из окна своего дома в Утиредсмири. Фру умела говорить об этой красоте на собраниях с не меньшим воодушевлением, нежели туристы, приезжавшие сюда на летние каникулы. Работу на лоне природы она считала полезным физическим упражнением, к тому же выполняемым среди неописуемых красот родной земли; она даже завидовала бедным крестьянам, у которых, по ее мнению, было так мало забот и к тому же грошовые расходы. Ее муж влезал в долги из-за крупных построек, мелиорации и покупки сельскохозяйственных машин, не говоря уж о расходах на жалованье батракам в такие тяжелые времена, — а крестьянам для полного счастья нужно было только вставать на часок раньше и заканчивать работу на часок позже. Зажиточные люди редко бывают счастливы, — а бедняки счастливы всегда, за редким исключением. Когда какой-нибудь бедный крестьянин вступал в брак и селился в долине, она «духовно соединялась» с ним и даже «целовала его следы». Для свадебного пира Бьяртура она дала большую

палатку, где можно было спокойно пить кофе и произносить речи.

Крестьяне собрались сначала во дворе: кто стоял у дверей, кто — прислонившись к стене дома. Они нюхали, сильно морщась, табак и беседовали с женихом. Говорили о том, о чем здесь всегда говорится весной, — о болезнях овец. Ленточный глист испокон веков был одним из злейших врагов крестьянина, и только потому, что собак теперь стали правильно лечить, зло это пошло на убыль. Но недавно появился новый вид глистов, ничуть не менее опасный, — легочный глист. И хотя о ленточном толкуют по-прежнему много, об этой новой напасти с каждой весной говорят все больше.

— Я всегда говорю, — сказал Тоурир из Гилтейги, — если ты в зимнее время уберег овцу от поноса — бояться нечего. Пусть даже глисты у нее из носа торчат, и то не страшно, если желудок в порядке. Раз желудок в порядке, значит, она переварит весеннюю траву. Если я не прав, скажите.

— Да, верно это, — сказал жених, — то же самое, слово в слово, говорил Тоурарин из Урдарселя, который сейчас при смерти. Уж он-то хорошо в этом разбирался. Когда ягнята болели поносом, он пользовал их жевательным табаком. Помню,

несколько лет тому назад, когда я однажды заночевал у него, он мне сказал, что в иную зиму давал своим ягнятам целую четвертку табаку. И что лучше сэкономить на кофе, не говоря уж о сахаре, чем на табаке для ягнят.

— Меня, правда, никогда не считали примерным хозяином, — сказал Эйнар из Ундирхлида, сочинитель псалмов и поминальных песен, — но я замечаю, что хуже всего приходится тем, которые только и думают что о своем пропитании; судьба как будто смеется над ними. И мне сдается, что если кормом не спасешь ягнят, то табаком и того меньше. Не знаю, может быть, жевательный табак и помогает, если беда стряслась, но ведь табак табаком, а корм кормом.

— Тут что ни слово, то правда, — вмешался Оулавюр из Истадаля; он говорил быстро, пронзительным голосом. — Корм — это самое главное. Но корм корму рознь, не правда ли? Это каждому ясно. Вот и ветеринары твердят об этом в газетах. Есть такие корма, в которых прячется проклятый микроб, от него и заводятся глисты. Микроб остается микробом, и ни один глист еще не являлся на свет без микроба. Это всякому ясно. А где же этот микроб, если не в корме, спрошу я вас?

— Не знаю, что тебе на это сказать, — заметил

Тоурарин. — Мы осторожно подбираем корм для овец и осторожно учим детей закону божьему. И вдруг откуда-то берется червь. Так бывает и с животными, так бывает и с людьми.

А женщины сидели в доме и сплетничали о Сдейнке из Гилтейги, которая вела хозяйство в отцовском доме. Она как раз родила ребенка на той неделе. Кое-кто из женщин вызвался ходить за ней, — ведь все они охотно предлагают свои услуги, когда рождается внебрачный ребенок, по крайней мере, на первую неделю, пока еще не проведали, кто отец. У бедняжки были очень тяжелые роды, и ребенок-то слабенький — неизвестно даже, выживет ли он. Понемногу они разговорились и стали вспоминать о своих родах и недугах, а потом о болезнях детей. Теперь люди не могут похвастать здоровьем, хотя в последнее время уже не слышно о таких страшных болезнях, как оспа и чума, а все какое-то вечное недомогание — зубная боль, сыпи, болезнь сердца, отеки на суставах, ушибы, одышка, часто с кашлем, боль в груди, боль в горле, не говоря уж о страшном урчании и вздутии в кишках. Но нет, пожалуй, более изнурительной для души и тела болезни, чем «нервы».

Хозяйка Утиредсмири, спасаясь от этих разго-

воров, вышла во двор к мужчинам, но, услышав, о чем идет речь там, попросила их замолчать, и мужчины подчинились ей. Хозяйка — представительная женщина, в очках, широколицая, величественная, ни дать ни взять — римский папа на фотографии. Ей хотелось бы, сказала она, чтобы здесь обсуждалась тема, более соответствующая этому чудному весеннему дню, и она указала рукой на свои любимые синие горы, на яркое небо, на луга, которые скоро зазеленеют. Среди них ведь два скальда, известных во всем округе, — сам жених и Эйнар из Ундирхлида. И среди них находится еще Оулавюр из Истадаля — большой поклонник науки, член союза «Друзья народа». Ведь какие прекрасные, возвышенные мысли могут посетить людей весной на лоне природы!

Но никогда еще скальды так упорно не отказывались читать свои стихи, как в присутствии этой женщины. Хотя она и уверяла их в своей пылкой дружбе и беспрестанно восхищалась их образом жизни, улыбка ее была до того холодна, как будто между ними и ею лежало студеное море. Уж очень по-разному мыслили оба скальда и хозяйка Утиредсмири. Она любила великих поэтов и наслаждалась от всего сердца сельской идиллией.

Она неколебимо верила в бога, правящего миром, была убеждена, что он живет в каждой вещи и что призвание человека — помогать господу во всех его делах, а о потусторонней жизни говорить не хотела. Подобные мысли пастор осуждал как прямое язычество. Эйнар относился к жизни критически, а о земляках своих сочинял песни только после их смерти; в религии он искал утешения, рассчитывая, что уж в будущей-то жизни бог поддержит бедняка. Но пастор запретил на похоронах своих прихожан петь поминальные песни Эйнара — не мог же он допустить, чтобы простые крестьяне, несведущие в богословии, соперничали с признанными псалмопевцами. Бьяртур был привержен древнему духу народа, заключенному в народной поэзии, и более всего ценил тех, кто полагался на собственную силу и могущество, как Берноут или Борнейяркаппи, викинги из Йомсборга[11], и другие герои древности. Правилам стихосложения он учился у старинных поэтов и не считал стихи стихами, если в них не было внутренних рифм…

---

[11] Примечания: 11

Викинги из Йомсборга, или, как их еще называли, йомсвикинги, жили в конце X в. в крепости Йомсборг, расположенной у устья Одера. Йомсвикинги отличались храбростью, необузданностью и презрением к смерти. Об их подвигах рассказывается в «Саге о викингах из Йомсборга» и в других сагах. *(Прим. Л. Г.).*

К дому подъехал пастор. Он сошел с коня, пыхтя и отдуваясь. Это был статный человек, огромного роста, с сизым лицом, седыми волосами, неприветливый и резкий. Никогда он ни с кем ни в чем не соглашался. Поэтесса первая попалась ему на глаза, но это не улучшило его настроения.

— Не возьму в толк, зачем я вам понадобился? — сказал он. — Ведь кое-кто здесь гораздо лучше меня сумеет держать речь перед народом.

— Да, да, — сказал, ухмыльнувшись, Бьяртур и взял его лошадь под уздцы. — Но нам хочется узаконить нашу любовь.

— Какая там любовь… — пробормотал пастор и быстро пошел к дому. Ему хотелось выпить кофе до церемонии. Пастору некогда: сегодня суббота, и надо еще окрестить ребенка и поспеть в церковь, приписанную к его приходу, ту, что немного севернее, в Сандгиле. — Ни слова не скажу сверх того, что написано в требнике. Довольно с меня свадебных речей. Женитесь впопыхах, а что нужно людям для истинно христианского брака, о том вы и понятия не имеете. К чему это приводит? Я обвенчал уже двенадцать пар, и все они теперь на иждивении прихода. И для таких-то изволь произносить проповеди! — Он нагнулся под притолокой и вошел в дом.

Вскоре жена старосты привела в палатку невесту, одетую в национальный костюм. Она слегка косила и была очень смущена. Вслед за ней пришли женщины, затем мужчины с собаками. Последним явился пастор в измятом облачении; он только что напился кофе.

Розе исполнилось двадцать шесть лет. Это была круглолицая румяная девушка, молчаливая, с косинкой, пухленькая, среднего роста. Она уставилась на свой передник и упорно не поднимала глаз.

В палатке поставили маленький столик, служивший алтарем. Возле него стоял пастор, перелистывая требник.

Все молчали. Только певчие перешептывались. Грубые, фальшивые голоса нестройно затянули свадебный псалом. Женщины утирали глаза.

Пастор пошарил в кармане, вынул часы, завел их прямо перед носом жениха и невесты, а потом начал обряд венчания, читая молитвы по требнику. Псалмов больше не пели. Пастор, выполняя свой долг, поздравил молодую чету и спросил жениха, пошел ли кто-нибудь за лошадью: времени у него в обрез. Бьяртур обрадованно помчался за лошадью, а женщины окружили невесту и кинулись целовать ее.

Пора было подумать о кофе. Расставили столы и скамьи, гостей попросили садиться. Жена старосты подсела к молодым. Как только пастор исчез, внесли на блюдах сладкие пироги с дорогостоящим изюмом и воздушный хворост; мужчины нюхали табак и разговаривали о скотине. Подали кофе. Поначалу было довольно тихо. Гости деловито прихлебывали кофе, кто выпил четыре чашки, а кто и все восемь; косточки от изюма хрустели у всех на зубах.

Бьяртур сиял, он был весь радушие и гостеприимство.

— Налегайте на кофе, — сказал он. — Не побрезгайте нашим печеньем.

Наконец все напились всласть. Снаружи доносился свист кроншнепов, у них тоже была пора любви. Поднялась хозяйка Редсмири, величавая, как римский папа, выделяясь среди гостей и лицом, и внушительной фигурой, она засунула руку в карман платья и достала исписанные листки.

В эту торжественную минуту, когда соединяются два сердца, она не может не сказать несколько слов. Может быть, не ей, а другим надлежало бы излить свет на новобрачных, которые теперь вступают в новую жизнь, чтобы исполнить свой долг перед родиной и перед всевышним, самый

почетный из всех. Но коль скоро призванные богом уклоняются от своей священной обязанности, что ж, ей ничего не остается, как произнести небольшую речь. Она просто обязана ее произнести. Ведь молодожены для нее — почти что родные дети, они преданно служили в ее доме, жених — целых восемнадцать лет. И она не может представить себе, что они вступят на священную стезю супружеской жизни, не услышав в виде напутствия нескольких воодушевляющих слов. Такова уж она по натуре: никогда не упустит случая восхвалить крестьянина и его душевную красоту. Правда, сама она выросла в городе, однако ж волею судьбы сделалась женой крестьянина и нисколько об этом не жалеет, ибо природа — это высшее из всего, что создал бог, а жизнь, прожитая на лоне природы, — жизнь совершенная, по сравнению с нею всякая иная лишь прах и тлен.

— Городские жители, — сказала фру, — что знают они о покое, которым одаряет нас мать-природа? И покуда не снизошел на них этот покой, люди ищут утешения в суетном и преходящем. Они беспокойны, живут минутой, холят собственное тело, заботятся о внешности, интересуются модой и предаются пустым развлечениям.

Зато селяне живут среди полей и лугов, дышат чистым, свежим воздухом, и в их тела и души вливается незримая сила жизни. Мир, которым проникнута природа, испещренный цветами, ковер под ногами селянина порождает в нем чувство красоты, чувство почти благоговейное. Приятно отдохнуть здесь среди дуновений земли, насладиться тишиной. Низины, водопады и горы становятся незабвенными друзьями юности. Сколь они могучи и прекрасны, наши горы. Ничто не трогает так сильно и нежно струны сердца, как их возвышенный и чистый облик. Горы обороняют нас в наших долинах, и они же призывают нас дарить защиту всему, что слабее нас. Найдется ли, — вопрошала фру, — покой блаженнее, чем в горных долинах, где цветы, эти, да позволено мне будет так выразиться, очи ангелов, смотрят в небо и словно бы зовут человека склониться перед могуществом матери-природы, перед ее красотой, мудростью и любовью? Да, в этом подлинное и всеобъемлющее величие.

Рыцари средних веков защищали слабых. Почему и нам не поступать столь же достойно? К слабым поэтесса причисляла всех тех, чьи способности невелики и кто нуждается в помощи.

— А ухаживать зимой за животными — разве

это не прекрасно? И когда я говорю об этом, то мысленно благодарю тебя, Бьяртур, за наших овец в Утиредсмири. Доброе славное дело выполнял ты в нашем доме, когда был пастухом. В одном старинном стихотворении сказано: «Возлюби пастуха, как свою плоть и кровь».

Пастух рано встает по утрам и выходит на холод, чтобы позаботиться о бессловесных животных. И он не ропщет, нет! Им движет сочувствие. Снежная метель укрепляет и закаляет его. Он находит в себе силы, о которых даже не подозревал. В борьбе со стихией в нем рождается доблесть. От всего сердца радуется он тому, что переносит трудности ради беспомощных созданий.

Сколь чудесна жизнь среди природы. Это наиболее благоприятная почва для воспитания людей. Крестьяне — оплот национальной культуры. Первый их завет — серьезное, обдуманное выполнение долга на благо родине и людям.

Поэтесса читала свою речь убедительно и горячо. В палатке было жарко, и пот стекал с ее широкого лба по румяным щекам. Она достала платок и отерла лицо.

— Не знаю, знакомы ли вы с религией персов. Так вот, они верили, что бог света и бог мрака постоянно враждуют между собой, и на долю людей

выпало помочь богу света — обрабатывать поля и возделывать землю. Это как раз то, чем занимаются крестьяне. Они, так сказать, помогают богу, они сотрудничают с богом, выращивая растения, животных, людей. Более почетной задачи нет на этой земле. Поэтому я хочу обратиться ко всем здешним крестьянам и прежде всего к нашему жениху со следующими словами.

Вы, крестьяне и крестьянки, работающие весь день, не зная отдыха, восчувствуйте, какое великое и благое дело вы совершаете. Вы участвуете в созидательной работе творца, и он взирает на вас благосклонным оком. И не забывайте, что именно он дарует вам плод.

После этого фру обратилась с несколькими словами к Розе, «этой хорошо воспитанной, спокойной девушке из Нидуркота, которую мы все так любили и так чтили в течение двух лет, пока она была нашей помощницей в Утиредсмири».

— Наша невеста — будущая хозяйка Летней обители. Хозяйка! Не зря это почетное имя дается женщине, которая управляет домом. Наши предки понимали, что она изливает на домочадцев свою материнскую любовь и заботится не только об их теле, но светом материнской любви озаряет всю их жизнь. Каждая женщина, которой выпада-

ет честь стать хозяйкой дома и матерью, должна думать о том, что эти обязанности возвышенны и всеобъемлющи, что они приносят благословение в третьем и четвертом поколении, да, пожалуй, и в тысячном. Весьма ответственно быть женой и хозяйкой. Весьма ответственно знать, что тебе даровано счастье выполнить самую великую и благородную из всех задач.

Многие женщины скажут, что невозможно так построить свой дом, чтобы все и всегда сияло в нем улыбкой. Но надо вдохнуть силу в самую незначительную мелочь, чтобы она могла радовать, как ангел-миротворец, сердца близких; надо создать в стенах дома такой мир и лад, чтобы в душе у каждого изгладились ненависть и горечь, чтобы каждый нашел в себе силы для великого подвига, — и тогда все в доме почувствуют, что сам бог ведет их через весну вечных идеалов; все почувствуют себя чистыми, свободными, храбрыми, ощутят свое родство с богом и любовью. Это воистину трудная и ответственная задача. Но это твоя задача, мать и хозяйка, — та задача, которую велит тебе выполнить сам бог. В тебе есть силы для этого, если даже ты сама не сознаешь их. Ты можешь это совершить, если веришь в любовь. Не только в той женщине, которая живет

на солнечной стороне жизни и получила хорошее образование, но и в той, которую мало чему учили и которая прозябает на теневой стороне, которая ютится под низкой кровлей в тяжких условиях, — и в ней живет эта сила. На всех вас лежит печать того же благородства, ибо все вы созданы богом.

Сила женщины, возносящей свой дом и свой очаг на вершину земного счастья, так велика, что она уравнивает низкие лачуги с высокими дворцами. И те и другие одинаково светлы, одинаково теплы. В этой силе и заключено истинное равенство.

Помни, Роза, что ты каждый день рождаешь движение волн, которое распространяется до самых границ сущего; эти волны уходят в вечность. Есть волны света, всюду несущие блеск и тепло, есть волны мрака, приносящие горе, обдающие ледяным холодом сердце народа.

Воспринимай любовь в ее наиболее совершенном образе — в образе безропотной жертвы, — любовь вкупе с самыми возвышенными и благородными чувствами души человеческой. Помни, какую власть имеет любовь над всем низким и нечистым в жизни. Задумайся же о силе любви, способной превратить хижину во

дворец, бедность в роскошный сад, студеную зиму в вечное лето.

Новобрачные и гости прослушали речь в молчании, которое прерывалось лишь сопением нюхавших табак крестьян, жужжанием двух больших мух под навесом да пением птиц снаружи. И только когда фру села, люди осмелились прочистить носы. Восхищенные женщины перешептывались. Потом опять стало тихо.

Гости сидели и тупо смотрели перед собой, разомлевшие от жары, от большого количества кофе, завороженные сверкающей на солнце белизной стен и однообразным жужжанием мух.

Хродлогур из Кельда, старый крестьянин с большим носом и седой бородой, спросил у Бьяртура:

— Скажи-ка, Бьяртур, правда ли, что у вас на Утиредсмири этой весной на овец напала вертячка?

При этих его словах все встрепенулись, те, кто разомлел от жары и обмяк или кто немного замечтался. Стали припоминать случаи заболевания вертячкой в окрестностях этой весной. Насчет ленточных глистов было тут же отпущено несколько весьма нелестных замечаний. И все сошлись на том, что за последние два года очистка желудка у собак проводилась в их местах не очень

тщательно, да попросту кое-как. Некоторые были склонны обвинять в этом Короля гор[12], который был и пономарем, а при содействии пастора пробрался еще и на должность собачьего лекаря.

— Во всяком случае, осенью я сам очищу желудок своей собаке и за собственный счет, — сказал жених.

Все согласились, что здоровая собака — первое условие благополучия, и удивительно, до чего люди беспечно относятся к микробам даже в хороших хозяйствах.

— Если бы люди умели остерегаться микробов, — сказал Тоурир, у которого был по этой части богатый опыт, — то нам и бояться нечего было бы. Но беспечность — корень всякого зла. Если бы все понимали, как важно бороться с микробами, то и собаки были бы здоровы. А раз они больны — пеняй на самого себя.

Разговор долго еще вертелся вокруг этой темы, каждому хотелось вставить слово. Эйнар не очень-то полагался на вмешательство человека в такие дела; ведь весь мир обречен на гибель, и никакие лекарства, никакие доктора не в состоянии этого изменить. А в наше время это особенно

---

[12] Примечания: 12

Король гор — крестьянин, возглавляющий осенний сбор овец, когда овец с горных пастбищ перегоняют на зиму в овчарни. *(Прим. Л. Г.).*

ясно видно. Кроме того, собака остается собакой, микроб микробом и овцы овцами. Оулавюр не согласился с этим. Он сказал, что ленточный глист, от которого у овец делается вертячка, а может заболеть и человек, появляется оттого, что собак лечат не по правилам. Если бы их правильно лечили, желудки у них были бы в полном порядке.

Глава четвертая
Летучие облака

На следующий день Бьяртур повез молодую жену домой. Он посадил ее на Блеси и повел лошадь под уздцы, так как она была еще плохо объезжена, упрямилась и брыкалась. На спине он нес узел с периной Розы; свадебные подарки, уложенные в два мешка, были приторочены к седлу, — там были кастрюля и ковш, которые громыхали друг о друга. И лошадь от этого звука всякий раз вздрагивала и шарахалась в сторону, но Бьяртур повисал на поводьях, точно якорь. Титла плелась сзади и беспечно принюхивалась к весенним запахам, как все собаки в погожие дни. Каждый раз, когда Блеси вздрагивала, собака яростно бросалась на нее, стараясь куснуть за задние ноги, и еще больше пугала и лошадь и

женщину. Бьяртур бранил то лошадь, то собаку, и всю дорогу через перевал Роза от него ничего не слышала, кроме брани.

Когда они приблизились к кургану Гунвер, Роза хотела сойти и бросить ей камень: она думала, что это принесет счастье.

— Гунвер требует камень, она примечает всех, кто идет через перевал.

— Нет, — сказал Бьяртур. — Это не может принести счастья. И не хочу я заискивать перед привидением. Пусть себе лежит, старая ведьма.

— Я все же хочу сойти и бросить камень, — сказала жена.

— На кой черт ей твой камень? Не видать ей камня ни от меня, ни от моих близких! Сдается мне, что для нас важнее выплатить наш долг живым, нежели тем, кто отправился в преисподнюю сотни лет назад.

— Разреши мне сойти, Бьяртур, — просила жена.

— Пустое суеверие, — ответил муж.

— Бьяртур, я должна бросить камень.

— Пастору и тому я, насколько помню, сполна уплатил за венчание, хотя он и не сказал речь. Так что я никому ничего не должен.

— Бьяртур, если ты не разрешишь бросить ка-

мень, с нами приключится какая-нибудь беда.

— Я думал, довольно с нас и того, что мы верим в бога и в пастора Гудмундура. Так нет же — еще и в дьявола верь! Ведь ты свободная женщина.

— Дорогой мой Бьяртур, — молила женщина, едва не плача. — Я так боюсь, что стрясется беда, если я не брошу ей камень. Это же старинное поверье.

— Черт с ней, с проклятой ведьмой! Пошевеливайся, Блеси. Заткни пасть, Титла.

Женщина, как испуганный ребенок, обеими руками вцепилась в гриву лошади. И губы у нее задрожали совсем по-детски. Больше она не посмела сказать ни слова и молча ехала дальше. Когда они спустились через перевал к болоту и вдали показалась Летняя обитель, Бьяртур остановился и показал жене на новый хутор. Домик прижался к низкому холму, одетому яркой зеленью, и потому казался веселым, приветливым. Позади высилась гора, а перед домом стлалось болото и сверкало озеро. По болоту плавно струилась речка. Дом был еще темный: пласты дерна, из которых он был сложен, не успели зазеленеть.

— Вот он, — сказал Бьяртур; он задолго предвкушал радость этой минуты: как он покажет жене хутор издали, вот отсюда, с горы, и она вскрик-

нет от удовольствия, а то и от восторга. Но Роза скользнула по долине равнодушным взглядом, на ее лице лежала тень огорчения и страха. Может, она недовольна тем, что крыша еще не зеленая?

— Нельзя ожидать, что она сразу покроется зеленой травой, — сказал Бьяртур. — Вот увидишь, на следующее лето ты уж вряд ли различишь, где крыша и где выгон.

Она ничего не ответила.

— А хорош дом, — настаивал он.

Она спросила:

— Почему ты мне не разрешил сойти с лошади у кургана?

— Да ты никак все еще дуешься оттого, что не бросила камешка этой ведьме? — спросил Бьяртур.

Женщина продолжала смотреть на гриву лошади безучастно и упрямо. И вдруг на долину и на всю пустошь пала тень. Это был один из тех дней раннего лета, которые так же изменчивы, как лицо человека; белые облака бегут по небу быстро, как мысли, и тени опускаются над землей, заслоняя всю долину, хотя вершины гор еще освещены солнцем. Так как жена молчала, Бьяртур снова взял в руки поводья и, кликнув без особой надобности собаку, повел лошадь вперед;

свадебные подарки снова загромыхали в перекинутых через седло мешках.

Дорога теперь шла по откосу вдоль ущелья, где река Редстад пробивалась через перевал. На долину упало несколько дождевых капель. Тогда жена нарушила молчание.

— Бьяртур! — сказала она.

— Ну, чего тебе? — спросил он, повернувшись к ней.

— Ничего, — ответила Роза. — Позволь мне сойти с лошади. Я хочу домой.

Бьяртур остановился и взглянул на жену.

— Да ты в уме ли, Роза? — прикрикнул он.

— Я хочу домой, — повторила она.

— Куда домой?

— Домой.

— Не знал я за тобой таких причуд, Роза, — сказал Бьяртур, продолжая вести лошадь.

Слезы брызнули из глаз женщины. Нет ничего сладостнее для сердца, чем плач, рвущийся из самой груди.

Молодожены продолжали спускаться в долину. Собака тихо плелась сзади. Когда они приблизились к самому хутору, Бьяртур повел лошадь к дому прямо через болото. Это было топкое, глубокое болото, в одном месте лошадь увязла почти

по грудь. Пытаясь выбраться из топи, лошадь рванулась и сбросила женщину. Роза перемазалась в грязи и глине. Бьяртур помог ей встать и отер с нее грязь своим платком.

— Женский пол всегда слабее мужского, — назидательно заметил он.

Роза перестала плакать и остальной путь прошла рядом с мужем. Она присела у ручья, протекавшего через хутор, и замыла свою юбку, а Бьяртур снял седло и стреножил лошадь. Тени в долине исчезли; солнце снова засияло над маленьким выгоном.

Дом и овчарня были под одной кровлей. В стене дома, сложенной из пластов дерна, выделялась деревянная дверь с двумя столбами по бокам — это был попросту низкий лаз с таким высоким порогом, что при входе пришлось нагнуться. В овчарне было темно, холодно, пахло плесенью и сыростью. Когда открывался люк, сверху проникал слабый свет. Вдоль стен стояли кормушки. В дальнем конце боковой стены был выход на сеновал, который еще предстояло построить. Лестница в семь ступенек вела наверх в жилую комнату, и Бьяртур первый поднялся по ней, чтобы показать, какая она крепкая и надежная. Жена поднялась за ним следом и осмотрелась; оконце

в доме показалось ей очень уж маленьким.

— Можно подумать, что ты выросла во дворце, — сказал муж. — Если тебе нужно солнце, так его снаружи полно.

— Жаль, что у нас нет таких больших окон, как в Редсмири, — сказала Роза.

— Может быть, тебе еще кое-чего жаль в Редсмири? — резко ответил Бьяртур.

— На что ты намекаешь? — спросила жена. — Как тебе не стыдно!

Это была небольшая комната, такая низкая, что Бьяртур чуть не упирался головой в потолок. Две кровати, сколоченные из таких же досок, как пол и потолок, крепились к стене, а стол был прибит гвоздями к подоконнику. По левую сторону от входного люка стояла маленькая плита, а над ней, в скате крыши, было второе оконце со стеклом величиной в ладонь. За окном, на выступе крыши качались на ветру несколько стеблей травы. Стены были толстые и не давали проникнуть сквозь стекло ни единому лучику света — разве что солнце светило прямо в окно.

На кровати, что была ближе к столу и предназначалась для супружеской четы, уже лежал тюфяк, набитый мхом. Пол под кроватью был земляной. Рядом стоял ящик с провизией, которую

запас Бьяртур, — ржаная мука, сахар лучшего сорта от Бруни и немного пшеничной муки для оладий — на какой-нибудь особый случай; и кто знает, если хорошенько поискать, то, быть может, в ящике нашлось бы немного изюму. На самом дне лежал мешок превосходной вяленой рыбы. Круси из Гили подарил им на свадьбу вьюк овечьего кизяка — Бьяртур в позапрошлом году вытащил из болота его жеребенка. Но кизяк надо беречь, а пока довольствоваться вереском и мхом, да и торфу на болотах вдоволь, только копни.

Роза в измазанном грязью платье сидела на супружеской кровати; веки у нее покраснели, она смотрела на свои большие руки, беспомощно опущенные на колени.

— Тебе здесь не нравится? — спросил Бьяртур из Летней обители.

— А ты думаешь, я ждала лучшего? — отозвалась его жена.

— Одно, во всяком случае, хорошо: у кого есть такой хутор, тому незачем надсаживаться весь день, как батраку, — сказал он, — Я всегда думал, что ты разумная девушка и дорожишь самостоятельностью. Ведь в жизни самое главное — самостоятельность. Мое мнение такое, что без нее и жизнь не в жизнь. Несамостоятельный

человек — это еще не человек. Это все равно что человек, у которого нет собаки.

— Нет собаки? — как-то безучастно переспросила Роза, шмыгнув носом.

Бьяртур некоторое время стоял у оконца, молча глядя на гору, отдаваясь своим мыслям.

— Земля в этой долине прокормит нашу отару, — сказал Бьяртур.

Жена вытерла нос тыльной стороной ладони.

— Там, где живет овца, и человек проживет, — продолжал Бьяртур. — Мой отец правильно говорил: человек и овца — это почти одно и то же.

— Мне снился страшный сон, — прошептала Роза.

Бьяртур искоса презрительно посмотрел на нее.

— Ну и что же? Сны снятся оттого, что кровь приливает к голове, или лежишь неудобно, или под тобою свалялся тюфяк. Мне вот весной приснилось, когда я разбирал развалины, что гора открывается и из нее выходит женщина, чертовски красивая, надо тебе сказать.

— Да, — вставила жена. — Уж таковы мужчины. И во сне за юбками гоняются.

— Я, конечно, не верю в сны, — продолжал

Бьяртур. — Но этот-то наверное означает, что осенью нам удастся неплохо продать ягнят.

— Говорят, здесь, на глазах у всех, бродит Гунвер, — сказала жена. — В позапрошлом году лошадь где-то поблизости вдруг испугалась неведомо чего и понесла среди бела дня.

— Не хочу я ничего слышать об этой проклятой Гунвер, — перебил ее муж.

— А ведь многие все же из-за нее бежали с пустоши.

— Бездельники какие-нибудь, — ответил Бьяртур. — Уж они найдут, на кого свалить вину, когда у них руки-крюки.

— По-твоему, выходит, что зла совсем нет на свете?

— Этого я не говорил. И на море и на суше, к примеру, бывает смертельная опасность. И что же из того? Либо ты погибнешь, либо спасешься. Ну а у тех, кто верит в привидения, нечистую силу и всякую нежить, у тех, я думаю, с кровью не все в порядке.

— А как же собаки — они ведь многое чуют, — сказала женщина.

— Собака есть собака, — возразил Бьяртур.

— Но ведь ты говорил, что собака знает все на свете.

— Никогда я этого не говорил. Я только считаю, что собака — единственное животное, которое понимает человека. Но собака есть собака, а человек есть человек, как говорит Эйнар из Уиндирхлида.

— Все ясновидящие твердят, что в долине живут привидения.

— Наплевать мне на ясновидящих, — сказал Бьяртур. — Дьявол побери тех, кто не способен сладить с собственными чувствами! И видится им всякая чертовщина, как тому полоумному бродяге, с которым недавно так носились во Фьорде. Дескать, он впадает в какой-то там транс и несет околесицу насчет того света — про Иисуса Христа, про Кари из Бердлы[13] и Христиана Девятого[14]. А потом он подделал подпись окружного судьи и угодил в тюрьму.

— Я уверена, ты даже в бога не веришь, Бьяртур, — задумчиво промолвила Роза.

— О вере моей говорить не будем, — отвечал

---

[13] Примечания: 13

Кари из Бердлы — норвежец, живший в конце IX — начале X в., прадед знаменитого исландского скальда Эгиля сына Скаллагрима. Сыновья Кари, из которых один был скальд, служили при дворе норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого. О Кари из Бердлы рассказывается в «Саге об Эгиле». *(Прим. Л. Г.).*

[14] Примечания: 14

Христиан IX (1818–1906) — король Дании. *(Прим. Л. Г.).*

Бьяртур, — а вот что порода овец, которую вывел пастор Гудмундур, самая лучшая во всей округе, вот это так верно!

— Неужели ты и перед сном не читаешь молитв?

— Отчего же, читаю. Если рифма там хороша, прочитываю иногда перед сном одну-две, пока сон не сморит. Вернее, раньше прочитывал, пока у меня не было стольких забот. Но «Отче наш» никогда не читал. Это же не стихи. И я не верю в дьявола, так чего ради мне молиться. Да что об этом толковать. Давай-ка лучше выпьем кофе.

— Слушаю тебя — и оторопь берет, — сказала Роза. — После таких слов все божьи ангелы от нас отвернутся. По-твоему, на свете только то и есть, что видишь собственными глазами. Вот ты какой человек!

— У меня есть пять чувств, — ответил Бьяртур. — И я не понимаю, на что мне нужно еще шестое или седьмое.

— Есть люди поважнее тебя, и то они верят в добро и зло.

— Может быть, — сказал Бьяртур. — Я догадываюсь, кого ты имеешь в виду. Весной, в Мири, он то и знай толкался среди бабья и приманивал вас всякими россказнями о привидениях.

— Кого это «нас»? — спросила она, подняв глаза; и впервые в ее косящем глазе вспыхнула искорка. — На что ты намекаешь?

Бьяртур, напевая старинную песенку, стал искать котелок, ибо он был твердо намерен вскипятить воду для кофе. На лестнице он обернулся к жене и бросил на ходу:

— А разве кое-кто не гулял кое с кем? Меня это не удивило бы.

Глава пятая
Тайна

На первый взгляд замечание, которое бросил Бьяртур, не содержало в себе ничего определенного и тем более значительного, и все же мало что так повлияло на жизнь молодой четы в Летней обители, как этот брошенный на ходу намек, и особенно то, что послужило поводом к нему.

— Нет, — сказала Роза. — Это неправда.

Она упрямо отвернулась к стене, убитая, несчастная.

— Кто он? — спросил Бьяртур.

— Это неправда.

— На твоем месте я бы сказал.

— Ты же не рассказываешь про себя.

— Отчего же. Могу и сказать. У меня нет тайн.

— Я не хочу слышать об этом.

— Все вы в день свадьбы тихони — воды не замутите, а кто вас знает, с кем вы путались. Нам, мужьям, достается не любовь, а какие-то остатки, вроде трупа, у которого коршуны уже глаза выклевали.

— А ты-то сам — ангел?

— Не тот ли нахал из Тиннстада?

— Спроси у него.

— Или этот болван из Фьорда, который помогал пахать?

— Может быть, и он.

— Ну уж и не тот ведь бабник-учитель, с которым прижила ребенка Сдейнка из Гилтейги?

— Ты, я вижу, решил перебрать всех бабников в приходе?

— А я и не удивлюсь, если ты с ними со всеми путалась. В тихом омуте черти водятся.

Роза в гневе поднялась и страстно крикнула:

— Бог мне свидетель, что если я в чем-нибудь и каюсь, то не в том, что путалась со всеми, а в том, что вышла за такого человека, который ставит овец выше людей и верит в собаку. Как жаль, что у меня не хватило духу повернуть сегодня назад и вернуться к родителям!

— О, я сразу смекнул, когда ты хотела вернуться домой, что не старой ведьмы ты испугалась, — сказал муж. — Ты думаешь, что я дальше своего носа не вижу. Только не воображай, что я собираюсь у тебя что-нибудь выпытывать. Не нужно быть колдуном, чтобы понимать женщину. Такая уж у вас повадка: любите тех, которые вами тешатся, а выходите за тех, которые вам постылы.

— Ты врешь! — сказала Роза.

— Вот отчего ты ходила такая сонная этой весной, когда он вернулся из сельскохозяйственной школы, и вот как ты понимаешь самостоятельность и свободу. Ты думала, что его род выше моего, потому что его отец был скрягой и отказывал себе в человеческой еде! Давился какой-то смазкой из рыбьего жира с дегтем; разбавлял водку и продавал товарищам. И на свой легкий заработок покупал старых разбитых кляч, а на рынке, когда барышничал, ставил им горчичник под хвост, так что они припускали во весь опор. Если кому так повезло, что у него отец ростовщик и мошенник, тут уж нетрудно прослыть большим человеком и тешиться по ночам с девчонками, а потом отсыпаться целый день.

— Ты врешь, врешь! — в бешенстве повторяла женщина.

— И для этого черта я гнул спину восемнадцать лет, восемнадцать лет жизни я убил на то, чтобы у него были кровные лошади, чтобы он учился, колесил по свету! Ради этого черта ты терпела брань старосты за то, что не так, видишь ли, проворно выносила ночные горшки. А теперь еще того не хватало, чтобы я вырастил его ублюдка в своем доме!

И Бьяртур из Летней обители довел себя до такого бешенства, что вскочил с постели и сдернул перину с полуголой жены; казалось, еще немного и он прибьет ее. В страхе, став на колени, она обвила руками его шею и поклялась всем святым, что никогда ни один мужчина не тронул ее, и уж никак-никак-никак не… «Боже всемогущий, покарай меня, если я вру! Я всегда знала, что этот хутор проклят: семь раз дом разрушали привидения и дьявол! Что толку, что ты называешь хутор Летней обителью, если ты хочешь убить меня, жену свою, в свадебную ночь и отдать мои кости Колумкилли…»

Горько плача, Роза бессвязно молила его о пощаде, пока Бьяртур над ней не сжалился, ибо знал, что женский пол гораздо слабее мужского. И тогда он взял щепотку табаку и улегся спать.

Свадебная ночь. Летняя ночь.

Так началась их совместная жизнь.

Глава шестая
Сны

Утрами, на рассвете, когда Бьяртур вставал, ему было жаль будить жену — она так спокойно спала… Одеваясь, он смотрел на нее и говорил себе:

— Она как цветок.

И многое прощал ей.

Все же его удивляло, что она, спавшая таким невинным сном, должно быть, любила других мужчин и не хотела признаться в этом. Она такая тихоня, такая робкая!.. Раньше он думал: «Вот девушка, которая блюдет себя и не позволяет мужчинам вольничать. Я женюсь на ней и куплю себе землю». Теперь он женат на ней. У него есть земля. И что же? Оказывается, она любила других мужчин, и никто об этом не знал. Во сне она была счастлива, но, когда просыпалась, он подмечал в ее взгляде тень тоскливого разочарования, поэтому он не мог заставить себя разбудить ее. Они говорили мало и порой не решались взглянуть друг на друга. Словно они уже были женаты двадцать пять лет и не замечали один другого. Завернув за угол дома, Бьяртур по старой при-

вычке крестился на восток, но не придавал этому никакого значения. Собака, которая спала под окном, соскакивала с завалинки, бросалась к нему с радостным лаем и виляла хвостом, будто они встречались после долгой разлуки. Она кружила вокруг него, тявкала, бежала за ним до края выгона, чихала, терлась мордой о траву и провожала его на луг, который Бьяртур уже начал косить.

Было раннее утро, тянуло прохладой, вода на озере сверкала, как зеркало. На островке свила себе гнездо пара лебедей; гоголи и крохали плавали небольшими стаями; кряквы и каменушки предпочитали более глубокую воду, гнезда же вили на берегу. Иногда крестьянин невольно останавливался, любуясь богатым оперением селезней. Несколько куликов, летевших с востока, завидев Бьяртура, шумно здоровались с ним. Около озера морские ласточки высиживали птенцов и мечтали о червяках. Дикие гуси величаво расхаживали парами вокруг озера, их шеи высовывались из травы. «Птицы счастливее людей: у них есть крылья. Серая гусыня, одолжи мне свои крылья!» Жалобно кричала чомга, унылая, надоедливая птица… Бьяртур из Летней обители взялся за косу и начал косить.

Сперва он чувствовал какую-то вялость во всем

теле. Он уже не был таким бодрым, как бывало, по утрам лет десять — двенадцать тому назад, когда ему все было нипочем. В то время он не нуждался ни в сне, ни в отдыхе. Завтрак свой он обычно съедал на лугу стоя, опершись на рукоять косы. И только в последние пять лет Бьяртур узнал, что такое усталость. Теперь день частенько начинался с того, что у него ныло и покалывало то тут, то там. Но, как бы то ни было, он законный владелец земли о чем объявлено на тинге. Через двенадцать лет он выплатит весь долг за землю до последнего эйрира. Всего он проработает к тому времени тридцать лет. Он — король в своем государстве, и птицы с их прекрасным оперением и звонкими песнями — его гости. Дома спит его жена, его собственная законная жена, пусть даже кто-нибудь до него и владел ею и не он, Бьяртур, был первым. По утрам он облекал свои мысли в стихи, по никому не читал их. В это время его собака распугивала птиц на болоте, так, для забавы. Иногда ей удавалось поймать бекаса или вальдшнепа. Она съедала добычу и, усевшись на лугу, покусывала и вылизывала себя, потом настороженно всматривалась в даль и наконец устраивалась где-нибудь на кочке, свернувшись клубком. Солнце поднималось все выше, тени

становились короче, а к полудню небо часто затягивало тучами, и тогда по долине гулял холодный, сырой ветер. Пора было завтракать; самое лучшее время дня уже миновало. Одно утро не было похоже на другое. Каждое утро было новым утром. И это тоже. Но шел час за часом, птицы пели все меньше, и оттенки Блауфьедля бледнели и тускнели. Что ж, день походил на взрослого человека, зато утро всегда было юным.

Бьяртур мечтал, что жена, когда он придет домой, приветливо его встретит, напоит кофе и, может быть, захочет послушать новые стихи о солнце или о буре; но она, видно, была не совсем здорова, во всяком случае, не настолько, чтобы радоваться стихам; к тому же она вообще не понимала поэзии.

Он подарил ей цветастое платье, очень подходящее для хорошей летней погоды, она же, как назло, носила старое платье из холстины, в котором доила коров в Редсмири, или потертую шерстяную юбку и изношенную, в заплатах, кофту. И всегда она недомогала. Порой у нее кружилась голова — так сильно, что она присаживалась на минуту, а иногда ее мутило. По утрам муж и жена пили сладкий черный кофе с ржаным хлебом. Прежде Роза проворно убирала

сено и вообще была расторопной работницей, а теперь она подолгу стояла, опершись на грабли.

— Какая же ты бледная! — говорил Бьяртур.

А она молчала.

— Могла бы и поживее шевелить граблями, — говорил Бьяртур.

Никакого ответа. Закусит губу и молчит. За час до завтрака она уходила домой варить рыбу, но иногда ей не удавалось растопить плиту. И тогда она приносила мужу на луг холодную рыбу, холодный кофе и черный хлеб.

— Перестанешь ты экономить этот чертов сахар? — ворчал Бьяртур. О сладостях он обыкновенно говорил с пренебрежением.

После еды он шел к берегу реки и ложился отдохнуть, всего на несколько минут. Роза сидела на траве и задумчиво рвала мох.

По воскресеньям Бьяртур поднимался на гору за вереском или шел на пустошь — поглядеть на овец для собственного удовольствия; он сразу узнавал, откуда каждая овца и какой она породы. И еще ему доставляло особое удовольствие сбрасывать в ущелье большие камни.

Жена стирала белье в ручье у нижнего порожка. Однажды в воскресенье Бьяртур долго отсутствовал и пришел домой весь сияющий. Он

спросил у жены, не догадывается ли она, что он видел. Он видел свою овцу Белорожку, к югу от родника, с замечательным ягненком!

— Готов побиться об заклад, что осенью ягненок будет весить все тридцать фунтов.

Но жена не выказала ни малейшей радости.

— Хороша порода пастора Гудмундура, — заметил Бьяртур. — Это не бродяги, они не рыщут по пустоши без смысла и толку, нет, они находят то, что им нужно, и уж дальше не идут. Умные овцы. Я решил завести барана этой породы.

— Да, да, — сказала жена. — Это и есть подходящая для тебя порода.

— Не понимаю, — сказал Бьяртур.

— Я только сказала, что это хорошо, — ответила жена.

Она не разделяла его радость, потому что была равнодушна к его затеям и продолжала о чем-то упорно думать.

— Бьяртур, — сказала она, помолчав. — Мне хочется мяса.

— Мяса? — спросил он удивленно. — Среди лета?

— У меня слюнки текут, когда я вижу овцу.

— Слюнки? — повторил он. — Может, у тебя горло болит?

— Этой соленой зубаткой даже собаку не накормишь.

— Не кажется ли тебе, дорогая моя, что с тобой что-то неладно?

— В Редсмири нас два раза в неделю кормили мясом.

— Не поминай ты при мне эту треклятую конину! — По воскресеньям нам всегда давали баранину, даже летом давали! А конина — очень хорошее мясо.

— Для работников резали только старых овец и кляч. Это мясо годится только для подневольных людей.

— А где же другое?

— Свободный человек может удовольствоваться рыбой. Самостоятельность выше всего.

— По ночам мне снится кровяная колбаса. Мне кажется, я беру ее руками, горячую, прямо из котла, и сало так и течет, сочится из нее… Иногда это ливерная колбаса, иногда кровяная… Иисусе, помоги мне!

— Это к непогоде, — объяснил Бьяртур, — Сало означает прояснение; видно, проглянет солнце. Может быть, хорошая погода продержится, пока не кончится самая горячая страда.

— И еще мне снится молоко.

— Молоко? Среди лета? Не к снегу ли?

Этот сон показался Бьяртуру совершенно необъяснимым.

— Мне приснилось, что я в Редсмири, пропускаю молоко через сепаратор в кладовой. Из одной трубки течет снятое молоко, из другой — сливки. И будто сливки льются мне прямо в рот.

— Охота тебе запоминать всю эту проклятую чепуху. Ведь она же ровно ничего не значит, — сказал Бьяртур; он решил не обращать внимания на ее сны.

— Днем, когда я не сплю, я все сижу и думаю о молоке. На лугу, когда убираю сено, я думаю о молоке. И о мясе.

Бьяртур задумался и наконец ответил:

— Дорогая Роза, боюсь, у тебя с сердцем неладно.

— Бьяртур, скажи, мы никак не можем завести корову? — продолжала жена.

— Корову? — переспросил вконец озадаченный Бьяртур. — Корову?

— Да, — упрямо повторила Роза, — корову.

— Теперь мне уже совершенно ясно, что у тебя началась болезнь сердца. Вот так же было с моей покойной матерью. У нее появились какие-то странные желания, потом она стала слышать

голоса. Сначала мы обратились к знахарке, но когда это не помогло, пошли к доктору. Если у тебя это не пройдет, скажи мне, чтобы я мог, пока не поздно, взять у Финсена какие-нибудь капли покрепче.

— Не хочу никаких капель. Хочу корову.

— А где у нас выгон? Я думал, ты сама видишь, сколько травы у нас на этом чертовом холме. И сама хорошо знаешь все эти голые кочки, по которым мы каждый день ходим, когда косим траву. Откуда же нам взять сено для коровы? — У реки растет осока.

— Кто ее скосит? Кто принесет? Как мы довезем ее до дому? Ты думаешь — мы богачи. Мы бедные крестьяне, первый год хутором владеем. Откуда нам взять деньги на корову? Ты не в своем уме.

— А я думала, ты свободный король, — сказала она.

— Мало у нас разве соленой рыбы? Мы сами себе хозяева и только-только устраиваемся на собственном хуторе. Гнилой, тухлой рыбы мы не едим, как работники в Мири. Едим душистую соленую зубатку. И привозная картошка кончилась совсем недавно. Хлеба нам хватает. Сахару вдосталь. А что у тебя ржаные галеты заплеснели, так ты сама виновата! Надо было их есть на

перемену, не заплесневели бы. Галеты — это все же печенье, дорогая моя. Да к тому же привозное печенье.

— Мой отец наверняка даст нам трех кляч привезти осоку.

— Я не желаю попрошайничать и ни к кому ни за чем не пойду, разве только при крайней нужде и за полную плату, — сказал Бьяртур. — И давай на этом покончим! Пустое это дело для бедных крестьян — болтать о корове. Наше дело разводить овец и от овец богатеть! Не хочу больше слушать чушь всякую!

— А если у меня будет ребенок?

— Мой ребенок будет кормиться материнским молоком. Мне на первом году отварную рыбу в соску клали, да с рыбьим жиром — и ничего, вырос.

Роза посмотрела на него испуганно. Она вдруг так вся переменилась, что ему стало неловко, и он сказал, как бы извиняясь:

— Ты же сама видишь. Сначала надо главное сделать — освободить хутор от долгов. Ведь больше половины ягнят пойдет старосте в счет платы за землю. Так что не будем очертя голову залезать в долги и резать овец ради коровы. В будущем году мы разведем небольшой огород для моей

милой.

И он похлопал ее по плечу, как похлопывают лошадей.

Глава седьмая
Сердечная болезнь

Здоровье Розы все ухудшалось, и Бьяртур решил взять у Финсена для нее лекарство. По вечерам Роза кормила его холодной соленой рыбой и хлебом, а для себя варила густую овсяную кашу. Комната наполнялась дымом, так как растопка была плохо высушена. Бьяртур очищал рыбу от костей, аккуратно накладывал один кусок на другой, и у него получалось нечто вроде бутерброда. Он ел, исподлобья поглядывая на жену. Год тому назад это была краснощекая девушка, которая к вечеру мылась, наряжалась и заливалась звонким смехом, когда ее что-нибудь забавляло. Теперь она стала замужней женщиной и ходила в старом холстинковом платье, в котором прежде доила коров. Лицо вялое, серое, румянец сбежал со щек, глаза потускнели, фигура стала бесформенной. Так быстро завял этот цветок. А ведь у них всего было вдоволь — и рыбы, и хлеба, и каши, и лишь недавно кончилась картошка и

галеты, а ведь галеты — это привозное печенье. «Можно подумать, что она по ком-то сохнет», — говорил Бьяртур, словно бы обращаясь к самому себе; пусть слышит, он не боится. Ясно было одно: он был ей до того неприятен, что она ложилась спать, только когда он засыпал, а если он в это время просыпался, она быстро поворачивалась к нему спиной. Если же он шептал ей что-нибудь на ухо, Роза делала вид, будто ничего не слышит, и лежала неподвижно, как труп. От всего этого Бьяртуру становилось не по себе. Его мучила непонятная слабость, он чувствовал себя усталым и ругался про себя: восемнадцать лучших лет он угробил на старосту и старостову семью, а теперь, когда он стал наконец самостоятельным человеком, он не может насладиться супружеским счастьем. Ночью Бьяртуру приснилась бешеная корова, и он испугался, как бывало в детстве. И проснувшись, пробормотал еще полусонный: «Лучше умереть, чем купить корову». Теперь по утрам, крестясь по старой привычке, он говорил: «Во имя отца, и сына, и святого духа! Я лучше умру, чем куплю корову. Во веки веков, аминь!» А жена его варит кашу и все подкладывает хворост в плиту; ветки потрескивают, и дым валит все сильнее.

— Побереги хворост, дорогая, — говорит Бьяртур. Но она не слушает и подкладывает еще и еще.

— Ну, тебе самой и собирать его, дорогая моя.

Наконец каша сварилась, и Роза наложила себе полную миску. Неужели она съест такую пропасть каши? Роза запустила руку в ящик с леденцами, отломила себе большой кусок и съела вместе с кашей. Бьяртур искоса смотрел на нее, удивляясь, как она может есть кашу с леденцами. Не то чтобы он жалел для нее леденцов — наоборот, он гордился тем, что его собственная жена ест его собственную овсянку, пусть даже с леденцами. Но когда она опять взялась за кастрюлю, снова наполнила миску и отломила еще кусок леденца, он всполошился. Две миски каши, полные доверху! И это съедает женщина! Да еще с сахаром. И еще берет сахару! Его все больше изумляли непостижимые капризы ее сердечной болезни. Вчера ей захотелось мяса и молока, сегодня она уплела две миски каши и уйму леденцов, а завтра ей, может, слона захочется? Но он ничего не сказал жене и только, как обычно, когда попадал в затруднительное положение, принялся читать про себя стихи со сложными рифмами. Он напевал их с ударением на внутренней рифме, в

середине стиха. Это был монолог его души. После ужина Роза собрала несколько пар грязных чулок и пошла стирать к ручью. Бьяртур же лег спать.

На следующее утро, когда он проснулся, Розы не оказалось рядом с ним. Такого еще не бывало. Он наскоро оделся и побежал вниз.

«Роза!» — кричал он с площадки перед хутором. Затем обошел весь хутор и крикнул в сторону горы: «Роза!» Это красивое имя не вызвало даже отголоска.

Встало солнце, на землю легли длинные тени, превратившие маленький хутор в замок. Но на западе было темно. Лето было на исходе, и птицы уже пропели свои самые сладостные песни; теперь они коротко и торопливо посвистывали, будто только сейчас поняли, что такое время.

— Титла! — крикнул Бьяртур. Собака не отзывалась… На завалинке ее не было; она тоже, как видно, изменила ему. Стряслась беда. Но Бьяртур не сдастся! Он погрозил горе сжатым кулаком и стал звать попеременно то жену, то собаку.

— Если даже меня разрежут на куски, я не сдамся. Роза! Титла!.. На куски, на мелкие куски! — бормотал он.

Наконец он услышал лай. Это была Титла. Она бежала с запада, с перевала. Бьяртур ринулся ей

навстречу.

— Где она? — спросил Бьяртур.

Собака была вся в грязи, тяжело дышала, язык свисал изо рта; она прыгнула на грудь хозяину и ткнулась открытой пастью прямо в лицо, затем повернулась и побежала на запад, прямо через болото, по топкой грязи. Бьяртур кинулся за ней. Время от времени собака останавливалась и ждала его; он догонял ее, и тогда она бежала дальше. Это была умная собака. Солнце заволокло облаками, потянуло прохладой, — собирался дождь. Титла показывала дорогу, а Бьяртур несся за ней, как собака на сворке. Остановились они лишь на перевале, у кургана Гунвер.

Чутье не изменило собаке. Там, на траве возле кургана, спала жена Бьяртура в стареньком холстинковом платье, с платочком на голове, по колено в грязи и в спущенных чулках, как та бродяжка, которую нашли на перевале мертвой, с узелком под головой. Бьяртур разбудил ее. Она растерянно озиралась по сторонам и дрожала так, что зуб на зуб не попадал. Бьяртур заговорил с ней, она не отвечала; попыталась было встать, но не смогла. Неужели привидение притащило ее сюда во сне?

— Что с тобой, Роза? Куда ты собралась?

— Уходи прочь!

— Ты пришла сюда во сне? — спросил он.

— Оставь меня в покое!

— Ведь не затащили же тебя сюда?

Несмотря на свое презрение к суевериям, Бьяртур склонен был допустить, что привидение сыграло некоторую роль в этом деле. Он поставил Розу на ноги, подтянул ей чулки. Она дрожала от холода и говорила с трудом; от слабости у нее подкашивались ноги. Бьяртур отвел ее на тропинку.

— Попробуй стать на ноги, Роза, милая, — сказал он.

Тогда Роза промолвила:

— Мне так хотелось молока!

— Да, — ответил Бьяртур. — Это все твоя болезнь.

Итак, она собралась в Утиредсмири за молоком и одновременно воспользовалась случаем, чтобы отдать долг Гунвер.

Значит, не злая сила зазвала ее сюда, если не считать злой силы, которая жила в ее сердце. Молока ей захотелось! Но о таком унижении Бьяртур даже слышать не хотел: чтобы жена владельца Летней обители отправилась на чужой хутор попрошайничать!

— Я и не думала попрошайничать, — сказала

она.

— Что это у тебя? — спросил он.

Роза быстро схватила свой узелок и зажала его под мышкой, словно боясь, что его отнимут.

— Это мое, — сказала она.

Бьяртур настаивал, и тогда выяснилось, что это было немного шерсти от овцы Кодлы, принадлежавшей Розе. Кодла была ее вкладом в хозяйство, единственной ее собственностью, приобретенной за двадцать шесть лет жизни, полной сурового труда, долгих рабочих дней и коротких часов сна. Роза хотела предложить хозяйке Утиредсмири эту шерсть за бутылку молока, но, дойдя до перевала, почувствовала сильную усталость; ноги у нее всегда были слабые. Она положила камень на курган Гунвер и заснула.

— Будущим летом мы отберем шесть-семь овец и будем их доить.

Озябшая, вконец изнуренная женщина почувствовала себя очень плохо. Ее сильно тошнило, по дороге у нее началась рвота, и Бьяртур поддерживал ее голову. Пошел дождь; сначала он падал крупными, редкими каплями, потом зачастил. Роза совершенно обессилела. Дождь полил как из ведра, и Бьяртур перетаскивал ее на руках через лужи и топкие места.

— Когда же наконец распогодится? — говорил Бьяртур. — Хорошо, если небо прояснится, но не дай бог задует ветер с моря и пойдут ливни, тогда держись!

Иногда погода сводила на нет работу нескольких дней. Капризы неба невозможно было предугадать. Шла своего рода мировая война: Бьяртур командовал, как полководец, и армия повиновалась ему, — маленькая армия, самая маленькая, какую знает история больших войн; армия без молока, без мяса, без свежей пищи. Они не успели еще заскирдовать сено, как вновь начался сильный дождь.

В один из таких ненастных дней Роза сгребала сено возле протоки у озера. В протоке, где было много травы, грязи и ила, извиваясь, двигалось что-то живое. Она поддела это движущееся существо ручкой граблей и вытащила из воды большого угря, длиною с локоть. Он взлетел над ее головой и упал позади нее, извиваясь в только что скошенной траве, словно гигантский червь. В Розе пробудился охотничий инстинкт. Угорь, естественно, чувствовал себя на суше скверно. Роза же твердо решила поймать и съесть угря, хотя и немного побаивалась Бьяртура, потому что знала, что он выбранит ее за это. Она достала

свой карманный нож и схватила рыбину. Угорь выскальзывал и даже один раз обвился вокруг ее руки, но все же она перерезала его пополам. Теперь у нее стало два угря; оба они удирали в разные стороны, и она никак не могла поймать их. Наконец она сдернула с головы косынку, тщательно завернула в нее обе половины и оставила их на бугорке; косынка трепыхалась там до самого вечера. Когда она стала собираться домой, чтобы приготовить ужин, узелок уже скатился с бугорка вниз.

— Тебе, милая, хвороста не жалко — тратишь его на такую гадость, — сказал Бьяртур и озабоченно взглянул на жену, у которой, по его мнению, было больное сердце. Куски угря все еще корчились в кастрюле, свертываясь в кольца, пока не сварились. Роза вынула их из кастрюли и спросила:

— Хочешь рыбы?

— Ну ее к черту! Стану я есть каких-то червей! Ведь это же водяной червь.

— Ну что же, мне больше останется, — ответила Роза и принялась есть, а муж с отвращением смотрел на нее и не понимал, как можно проглотить подобную гадость. Она съела угря целиком.

— Это, думается мне, электрический угорь. Он

все равно что какое-нибудь морское чудовище, а ты его ешь.

— Да, — сказала жена и принялась за уху.

— Вот уж не думал, что моя жена будет глотать какую-то дрянь, когда в доме всего вдоволь.

— Уж если что и дрянь, то это твоя гнилая зубатка, которой ты кормишь меня все лето, — сказала Роза.

Бьяртур решил не затевать ссоры с больной женой на ночь глядя. Он начал раздеваться, почесывался, бормотал стихи из рим[15] о Хрольве Пешеходе[16] и о Гримуре Морском Тролле[17].

Глава восьмая

---

[15] Примечания: 15

Римы — длинные стихотворные повествовательные произведения с очень сложной поэтической формой. Первые римы появились в Исландии в начале XIV в. Сюжеты рим, пересказывающие, как правило, известные прозаические произведения, в том числе и саги, часто содержат элементы фантастики. В римах обычно воспевались легендарные герои, великаны, боги и короли. После того как в Исландии в XIV в. утвердилось лютеранство, в римах стали использоваться и библейские сюжеты. *(Прим. Л. Г.).*

[16] Примечания: 16

Хрольв Пешеход — герой одноименной саги, получивший свое прозвище потому, что ни одна лошадь не могла выдержать его тяжести. В саге рассказывается о его приключениях в Дании и в землях восточных славян. *(Прим. Л. Г.).*

[17] Примечания: 17

Грим Морской Тролль — один из противников Хрольва Пешехода. *(Прим. Л. Г.).*

Суховей

Дождь прошел, но с севера задул бешеный ветер. Сухая погода — да что от нее толку! Ветер вырывал из рук сено и разметывал во все стороны. Часть попала на нескошенную траву, часть в воду; половина трехнедельного труда пошла прахом. Три дня Бьяртур и Роза подбирали сено и складывали в маленькие копешки. Затем ветер улегся, и тучи снова сгрудились. Лучшая летняя пора миновала. Теперь надо как можно скорее, пока погода не переменилась, перевезти сено во двор. Некогда возиться дома со стряпней, чтобы набивать себе брюхо, да и спать не время — надо трудиться изо всех сил, чтобы перехитрить стихию. Для Бьяртура из Летней обители это была борьба за свободу. Когда они собрали сено, Бьяртур начал метать его в копны. Наступил вечер, ведь лето было уже на исходе, и дни стали короче. Когда совсем стемнело, Бьяртур отправился на поиски лошади, чтобы свезти сено домой. Он оставил жену около копны, чтобы она немного вздремнула. Блеси он нашел среди редсмирских лошадей; пока он оседлал ее и вернулся, уже начало светать. Роза спала под копной. И они снова начали увязывать сено, потом поели холодной

рыбы, запивая ее водой из родника. Все небо заволокло тучами, каждую минуту мог хлынуть дождь. Надо было торопиться, чтобы успеть перевезти сено. Бьяртур велел жене отправиться с сеном домой и быстрее вернуться.

Роза пробиралась через болото пешком с нагруженной лошадью; свалив сено, тут же садилась в седло и отправлялась на луг за новой поклажей. Сухая погода все еще держалась. Ветер разогнал тучи; выглянул молодой месяц. Это подбодрило Розу. После многих часов тяжелого труда лунное сияние казалось ей сказкой. Чудилось, будто аульвы[18], которые счастливей людей, выходят из своей пещеры под горой и любуются месяцем. Но потом, ночью, луна уже не радовала ее, не вызывала мечтательного настроения, не приносила покоя; голод и усталость брали свое. Сколько раз за ночь перебиралась Роза через болото, ведя лошадь с поклажей! Она не чувствовала под собою ног, спотыкалась, падала; на обратном пути, сидя в седле, она клевала носом, а когда лошадь

[18] Примечания: 18

Аульвы, или так называемые скрытые жители, — сказочные персонажи исландского фольклора. Внешне аульвы отличаются от людей только отсутствием вертикальной впадинки на верхней губе, но зато они обладают могущественной силой. Живут аульвы в холмах и скалах, обычно они невидимы, но иногда они показываются людям, и такая встреча может принести человеку несчастье. *(Прим. Л. Г.).*

останавливалась пощипать траву, просыпалась.

— Не будь такой соней, ведь мы на себя работаем, — говорил Бьяртур.

Роза ничего не отвечала, у нее даже язык не ворочался. Она смотрела на отражение луны в ручье, где скользило несколько водяных курочек, грациозно кивавших головками. Счастливые птахи никуда не торопились и радовались лунному свету. И до того они были милы, что Розе хотелось съесть их. Светало. Лошадь замедляла шаг, ее движения становились все более тяжелыми. Луна спряталась за черными тучами; душистый запах, который вчера еще поднимался от сена, словно бы исчез; Роза уже не чувствует, ступает ли она по воде или по земле. Весь мир расплылся, и не осталось ничего, кроме невыносимого чувства тошноты и какой-то горечи во рту. Время от времени, через короткие промежутки, ей приходилось останавливаться: ее рвало желчью; она вытирала холодный пот со лба и пыталась проглотить горькую слюну. Вот какова была эта мировая война.

Небо становилось все светлее, а тучи все чернее и чернее. Роза еще раз повела лошадь домой. Бьяртур уже сложил последнее сено — победа близка. Но Роза не радовалась ей. Да и кто ра-

дуется, одерживая большие победы в мировой войне! Она дошла до полного изнеможения. Ей захотелось напиться; она легла на мшистый берег ручья и свесилась, чтобы зачерпнуть в ладони воды. Ей почудилось, будто любящие руки подхватили ее и нежно сжимают, а она все глубже и глубже погружается в ласковые (объятия — навсегда, на веки вечные, подобно ее бабке, которая умерла блаженной смертью и завещала ей свою единственную перину. Она падает, падает, видит, как ее отражение в воде стирается и земля летит вместе с нею в пространство, точно ангел, уносящий нас, когда мы умираем, — и она вновь чувствует чудесный осенний запах земли. Наконец земля приникла к ней щекой, словно мать, а вода шепнула ей что-то на языке любви — и вдруг все исчезло.

Глава девятая
Поездка в «лес»

Воскресный день. Начался дождь. Бьяртур нашел жену у ручья. Насквозь промокшая, Роза спала, припав щекой к земле. Груда сена лежала поперек ручья. Седло свалилось, подпруга лопнула, а лошадь мирно паслась на лугу. Ро-

за тревожно озиралась вокруг, как человек, уснувший мертвым сном и вдруг разбуженный каким-нибудь негодяем. Она молча слушала брань мужа. У нее сильно болела спина. Бьяртур стал прикрывать дерном сено, чтобы защитить его от дождя. Роза поплелась домой и там опять заснула, даже не подогрев кофе.

К обеду вновь прояснилось. Бьяртур, запыхавшись, вошел в дом, разбудил жену и велел ей сварить кофе. К ним с востока, через болота, едут верхом какие-то люди; несколько всадников мчатся галопом по берегу, они уже близко. Это прогуливаются какие-то оболтусы из поселка. Нашли время!

— Я не могу показаться на людях, — сказала жена.

— Если они придут на хутор, придется сварить им кофе, — ответил Бьяртур. — Тебе нечего стесняться.

Он пригнулся, всматриваясь в незваных гостей; по мере того как они приближались, он узнавал и всадников, и их лошадей. Это были сыновья и дочери богатых крестьян, три дочки пастора, сезонные рабочие из Утиредсмири и с ними агроном Ингольв Арнарсон Йоунссон на своем сером жеребце.

Когда Бьяртур оглянулся, жена уже исчезла. Молодые люди решили прокатиться верхом, а девушки — собрать на пустоши спелых ягод. Это называлось прогулкой «по лесу». У них была с собой провизия, и они намеревались устроить привал «прямо в лесу». Ингольв Арнарсон не вошел в дом и только послал спросить у Бьяртура, не разрешит ли он ему поохотиться на болоте и порыбачить, а девушкам — погулять под горой и поискать ягод.

Бьяртуру было лестно, что у него просят разрешения. Он сказал, что женщинам самим лучше знать, зачем они здесь рыщут; и раз они уже здесь, ему не жаль ягод, пусть себе на здоровье собирают их. Сдается ему, что не одни ягоды они ищут. Если сын старосты решил поймать парочку несчастных форелей в озере или же загубить в воскресный день несколько ни в чем не повинных пташек, которые порхают на болоте, — что ж, пусть себе, он не возражает.

— Но, — прибавил Бьяртур, — не грех было бы агроному зайти на хутор и поздороваться со мной. Ведь в свое время я нередко помогал ему застегивать штаны. Я-то всегда добросовестно выполнял свой долг перед его отцом и не боюсь смотреть в глаза людям, не считаясь с тем, мо-

гут или не могут они смотреть в глаза мне. Но куда, черт побери, девалась Роза?! Непонятно. Они такие церемонии разводят, эти бабы, — никогда не выйдут к гостям в чем есть, им надо принарядиться. Ну что ж, заходите, она рано или поздно покажется. Добро пожаловать в Летнюю обитель! У нас хватит этой чертовой кофейной жижи, а если хорошенько поискать, то найдется и немножко сахару.

Все поблагодарили и отказались от кофе, но кое-кому хотелось заглянуть в дом. Многие из этих парней и девушек жили на богатых хуторах, и для них было развлечением, согнувшись в три погибели, протиснуться через узкую дверь в Летнюю обитель и почувствовать сильный густой запах земли, плывущий из мрака. Одни поднялись по скрипучей лестнице, а другие довольствовались тем, что, не сходя с лошади, заглянули в окошко, такое низкое, что до него можно было дотянуться рукой. Некоторые девушки настойчиво справлялись о Розе. Они хотели взять ее с собой за годами; ее искали повсюду, звали, аукали. А Роза все теснее и теснее прижималась к земляной стене, под кормушкой лошади, и молила бога, чтобы ее не нашли в этом убежище. Наконец Бьяртуру надоела вся эта кутерьма — он сильной рукой

вытащил жену из-под кормушки и сказал, что это ни на что не похоже! Чего же ей стесняться? Ведь она его законная жена.

— Я хочу, — сказал он, — чтобы моим гостям подали кофе, пока он есть у нас в доме. Нельзя же быть такой нелюдимой. Здоровайся с гостями, жена.

Он потащил Розу наверх. Она была в том же поношенном холстинковым платье и старом платке, накинутом на плечи, вся в земле и в пыли, в плесени, приставшей к ворсу платка.

— Вот она.

Гости вдруг стали серьезными и поздоровались с ней.

Нет, спасибо, кофе им не хочется. Девушки взяли Розу за руку и повели ее к ручью. Здесь они уселись с ней на бережку и сказали, что этот прелестный ручеек возле самого дома — большая радость, он такой милый и приветливый. Затем они спросили у нее, как ей живется; и она ответила:

— Хорошо.

Они спросили, почему у нее отекло лицо.

— От зубной боли.

Девушки спросили, нравится ли ей жить на пустоши. Роза смущенно шмыгнула носом и, не

поднимая глаз, сказала, что здесь очень привольно. Гости осведомились насчет привидений, и Роза ответила, что никаких привидений нет. И гости ушли.

Молодежь бродила по лугам до самого вечера. Их веселые голоса, смех и песни то и дело доносились с горы до хутора. С болота слышались выстрелы. Бьяртур сегодня отдыхал, все последнее время он работал и днем и ночью. Он спал, а жена сидела у окна и прислушивалась к выстрелам; она пристально глядела на болото и в страхе ждала каждого нового выстрела, как будто боялась, что этот выстрел ранит ее, и только ее; он ранит ее в самое сердце — и только в сердце. Оказалось, Бьяртур не так уж крепко спит и сквозь дрему наблюдает за женой. Он увидел, как она вздрагивает, и спросил:

— Может быть, тебе уже приходилось слышать эти выстрелы?

— Мне? — спросила жена и растерянно поднялась. — Нет.

— Эти люди, вся семейка, не могут видеть ничего живого, чтобы не попользоваться им, не загубить, — сказал Бьяртур и опять заснул.

Когда спустились сумерки, гости опять вернулись на хутор; они ждали охотника, который

решил гоняться за дичью до тех пор, пока совсем не стемнеет. Девушки вернулись с наполненными до краев кружками, каждая отсыпала немного своих ягод для Розы, так что получилась целая кружка, которую они оставили хозяйке Летней обители.

— Что ты? Ведь ягоды с твоей собственной горы, милая! — сказали они ей, когда она стала отказываться от подарка.

Гости рассыпались небольшими кучками и затеяли разные игры на выгоне Бьяртура. Гора отвечала громким эхом на их смех и возгласы. Вечер был тихий, озеро зеркально гладкое; в воздухе роилась мошкара. На небе повис молодой месяц; над долиной царил покой.

— В поселке, видно, не очень-то надрываются в сенокосную пору, — полюбопытствовал Бьяртур. — Хотел бы я посмотреть, как вы будете вытаптывать траву у старосты и как запляшут ваши хозяева весной, если я останусь без сена и попрошу у них немного в долг.

Но пасторские дочки и работницы из Мири не давали Бьяртуру ворчать, всячески стараясь развеселить его. Они втянули его в свой кружок и стали играть в пятнашки. Девушки ловили его, и он, в душе осыпая проказниц проклятиями,

сам стал ловить их, говоря, что ведь ловил же он когда-то пугливых ягнят; прежде чем погнаться за какой-нибудь девушкой, он истово поплевывал на руки. Девушки отвели Бьяртура в сторону и попросили его прочитать им какие-нибудь стишки, да позатейливей. Тут уж Бьяртур совсем растаял, он не останавливался до тех пор, пока не прочел им все непристойные строфы из рим о Хрольве Пешеходе, начиная с той, где Эльвир обвиняет Хрольва в противоестественной страсти к Вильяльму (тут девушки, прячась друг за друга, захихикали), и кончая той, где Ингеборг выливает на Мендула свой горшок (тут девушки уже залились громким смехом). Они попросили Бьяртура сочинить им стишок про них самих. Бьяртур ответил, что как раз сегодня, когда они собирали ягоды на склонах, ему пришло в голову несколько строк, но не было времени отделать их; все же первое четверостишие более или менее искусно зарифмовано:

Мой тонкорунный, вишь, лужок,
Сигги юной, слышь, смешок,
ягод у Гунны — ишь! — мешок,
а вот у Рунны — лишь дружок.

Там, за кустами, неспроста

ищет ягодку она —
хмельнее рейнского вина,
слаще ягод ее уста.

Чем черничник не пуховик!
Кто-то к чьим-то устам приник:
ах, безбожник, ах, озорник,
к спелым ягодкам он привык.

Стихи были встречены с восторгом и вызвали взрыв смеха. Один из парней даже записал их.

В самый разгар веселья явился сын старосты Ингольв Арнарсон Йоунссон. Он улыбался холодной самодовольной улыбкой — той самой улыбкой, которая постоянно играла на лице его матери и от которой ее стихи становились еще менее понятными и доступными. Через плечо Ингольва была переброшена бечевка, — на одном конце висели гуси и утки, на другом — форели. Он передал обе связки пастуху и велел приторочить их к седлу, затем поздоровался с Бьяртуром, все с той же холодной улыбкой и раздражающе покровительственным видом, свойственным всей его семье.

— Отец здорово, по-моему, оплошал, когда он, можно сказать, подарил тебе Зимовье со всеми

его богатствами. Сколько я тебе должен за право охоты?

— О, это уже было бы чересчур — требовать с вас налог за ваши же подарки, — ответил Бьяртур. — Действительно, как ты сам говоришь, этот клочок земли, который я позволил себе назвать Летней обителью, — если ты еще этого не знаешь, — такой клад, что я не нуждаюсь в той дохлятине, за которой ты гоняешься на моем хуторе, маленький Инге. Моим овцам больше по вкусу сено с этих берегов. Но, может, вы-то, на Мири, кладете в кормушки птицу и рыбу? Это было бы новшеством.

— Ну и характер у тебя, черт возьми! — сказал Ингольв Арнарсон, надменно улыбаясь; он вытащил из связки несколько уток и форелей и бросил их к ногам Бьяртура.

— Я бы просил тебя не оставлять этого на моем выгоне, — сказал Бьяртур. — И предпочел бы, чтобы ты сам отвечал перед богом за живность, которую убил в воскресный день.

Но тут в дело вмешались девушки, они умоляли его ни в коем случае не отказываться от уток и рыбы, хотя бы ради Розы, и прибавили:

— Ведь это же превосходнейшая дичь.

— В мое время в Утиредсмири курятина счи-

талась непригодной едой, зато конина была в почете, — сказал Бьяртур. — А если дичь там теперь в ходу, то я попрошу вас взять с собою эту падаль для старосты и не дарить ее чужим.

— Но я уверена, — сказала одна из девушек, — что Роза обрадуется дичи. Она вряд ли видела много свежей пищи этим летом.

— Для нас, бедных крестьян, самое главное — корм для животных, — сказал Бьяртур. — Не важно, чем питаются люди летом, если только овцам хватает корма на зиму.

Все рассмеялись, услышав этот ответ. К жизненной мудрости бедного крестьянина они отнеслись довольно легкомысленно. Многие из них состояли в Союзе молодежи, председателем которого был Ингольв Арнарсон Йоунссон, и они верили в свою страну. Их девиз был: «Все для Исландии!», «Исландия для исландцев!». И вот они стоят лицом к лицу с человеком, который стал самостоятельным сельским хозяином, тоже верил в свою страну и к тому же доказал это на деле. Они, правда, посмеивались над его образом мыслей, и все же этот человек, стоявший на собственном, в тихий воскресный вечер, готовый довести до конца, наперекор всему миру, свою борьбу за свободу против враждебных сил, есте-

ственных и сверхъестественных, — этот человек произвел на них впечатление. Они подождали еще немного, пока работники привели коней, и никто даже не обиделся на Бьяртура за его самодурство.

Ингольв предложил им спеть.

— Мы с Бьяртуром старые друзья и почти что молочные братья, — сказал он. — Я немало соли съел с ним и знаю, что в глубине души мы понимаем друг друга. Я, по крайней мере, высоко ценю Бьяртура, и Розу не меньше. Они показали, что мужество первых поселенцев еще живет в современном исландце. Да здравствует же исландский крестьянин!

Он уговорил своих спутников спеть, и они затянули песню.

Пусть тяжек твой труд, но, единством сильны,
все вместе мы станем, отчизны сыны,
заветам отцовским навеки верны,
трудиться и биться на благо страны.

Все решили, что в этой песне воспевается Бьяртур, именно он. Ура исландскому пионеру, обитателю горной долины, этому отважному сыну Исландии! Ура Бьяртуру из Летней обители

и его жене! Гости пели одну за другой патриотические песни:

Гор царица, мать-земля,
ты по крови мне родная,
ведь тобою вскормлен я, —
что мне чуждые края! —
ты, мой край, — душа моя,
я — душа родного края.

Да здравствует молодая Исландия, ура! Эхо отвечало с гор, и раскаты его звенели в тишине летнего вечера, пока гагара на озере не умолкла от удивления. Наконец работники собрали лошадей. Несколько женщин вошли в дом попрощаться с Розой, но она опять исчезла. Когда все уже садились на лошадей, Ингольв Арнарсон предложил спеть еще раз. С болота, как привет хозяевам Летней обители, летели звуки песни, славившей сельскую жизнь:

Да! Здесь, на пустоши, мой дом,
где жизни радость я познал
весенним днем, когда огнем
согрело солнце гребни скал.
А мой народ — он смел и горд,

в беде надежен, в дружбе тверд, —
да! счастлив я, земля моя,
что здесь, на пустоши, мой дом.

Веселые голоса не смолкали допоздна, а когда болото кончилось и всадники погнали своих лошадей по твердой земле, стал слышен цокот копыт. Летние сумерки спустились на долину и пустошь. Крестьянин стоял один на своем выгоне; затем он пошел спать.

Откуда-то появилась Роза. Она ни о чем не спросила мужа.

— Внизу у реки лежит подарок для тебя, — сказал Бьяртур.

— Для меня?

— Да, птица и рыба.

— От кого?

— Пойди и посмотри. Может быть, ты узнаешь *его* метку.

Роза воспользовалась случаем, чтобы ускользнуть из дому, и спустилась к реке. Там действительно лежала *его* птица, *его* рыба. Ей казалось, что еще слышны голоса людей, певших здесь. Песни еще звучали в ее ушах, разносясь над болотом.

Стая встревоженных уток пролетела низко-

низко над самым краем выгона.

— Вам нечего больше бояться, — прошептала молодая женщина. — *Его* уже нет.

Она долго стояла у ручья в сумерках и прислушивалась к песням, уже отзвучавшим, к выстрелам, уже отгремевшим, и думала о невинных птицах, убитых *им*.

Скоро наступит осень.

Глава десятая
Перед походом в горы

Накануне похода в горы Бьяртур решил сбрить отросшую за лето бороду. Нельзя умолчать о том, что он ненавидел эту церемонию и во время бритья жестоко ругался; но увильнуть было нельзя: приближался овечий праздник. И еще одна неприятность предстояла ему. Жена Бьяртура боялась оставаться на хуторе в его отсутствие: ничего не поделаешь — сердечная болезнь. Он должен был целых три дня провести в горах в поисках овец, а оттуда, вместе с другими крестьянами, погнать в город ягнят, назначенных для продажи. Жена заявила, что она ни за что на свете не останется на хуторе одна, и просила его не брать с собой собаку. Он сказал ей, что пойти

в горы без собаки — все равно что подняться на горную вершину без ноги. Роза перестала настаивать. Ну, значит, ей остается одно, заявила она, отправиться в Утиредсмири: не будет она торчать здесь, в этой дыре, где водится нечистая сила. Но для Бьяртура уже одна мысль о том, что он или его жена станет искать помощи в Утиредсмири, была нестерпима. Кончилось тем, что он обещал поймать годовалого ягненка, которого недавно видел в маленькой отаре овец, поблизости от хутора, и оставить его с ней. Побрившись, он отправился искать овцу, поймал ее с помощью собаки и к вечеру привел домой. Он привязал ее на краю выгона и назвал Гудлбрау — Камнеломка. Но вечером Роза никак не могла заснуть: овца без конца блеяла на выгоне, людские капризы были ей непонятны.

Пастухи со своими собаками прискакали на хутор еще до рассвета. Бьяртур стоял в дверях. Штаны его были заправлены в чулки, и это придавало ему праздничный вид. Сияя от удовольствия, он обошел всех гостей, поздоровался с ними, пригласил выпить кофе. Многим хотелось осмотреть его жилье, кое-кто взобрался наверх, в наполненную дымом комнату; за людьми бросились собаки, но лестница была слишком крута, и

они, тявкая, скатывались вниз.

— Вот мой дворец, — сказал Бьяртур. — Пока что я выплачиваю свой долг исправно.

— Многие начали с меньшего и стали солидными людьми, — сказал Король гор, который сам начал с малого и теперь выбился в люди: занимал должность приходского пономаря и собачьего лекаря; а если представится случай, он, пожалуй, пройдет и в приходский совет.

— По преданию, Йоун из Хусавика начал хозяйничать на клочке земли, полученном у дьявола, — неосторожно выпалил молодой человек, привыкший к лучшим условиям жизни.

— Ну, ребята, выходите живей, — сказал Король гор. Ему хотелось поскорее выпроводить из дому молодежь, которая все время потешалась над ним: когда они ехали в гору, эти парни неслись за ним по пятам и подгоняли его, а на болоте держались впереди, обдавая его брызгами. У него вовсе не было охоты садиться пить кофе с кем попало; он любил посидеть с солидными людьми, для которых ему было не жаль глотка водки, а тут возись с разной мелкотой — хуторянами, которым, за отсутствием работников, приходится самолично отправляться на поиски овец. Среди этого мелкого люда был и старый Тоурдур из Ни-

дуркота, тесть Бьяртура из Летней обители. Этот старик потерял многих детей, а от оставшихся в живых не видел никакой радости; пережил он и крушение единственной своей мечты — о собственной мельнице, — но не ожесточился, не озлобился на судьбу, как это обычно бывает. Нет, он все принимал с философским спокойствием и благочестивой покорностью. Запах дыма в доме его милой дочери показался ему каким-то особенным, и он даже прослезился. Роза помогла ему подняться по лестнице и прижалась лицом к его обветренной щеке, заросшей седой всклокоченной бородой.

— Мать просила сердечно кланяться своей дочке и передать ей эту малость, — сказал Тоурдур и протянул ей маленький сверток, завязанный в носовой платок; там было по полфунта сахару и кофе.

Роза не могла оторваться от отца. Она прильнула к его груди, вытирая глаза краешком передника. В ее поведении было столько детской сердечности и непосредственности, что Бьяртур смотрел на нее с изумлением: ему казалось, что он видит ее такой впервые. В один миг она стряхнула с себя уныние и подавленность — теперь это была девочка, не стеснявшаяся проявлять

свои чувства.

— Отец, милый, дорогой! — говорила она. — Как же я соскучилась по тебе!

Бьяртуру даже в голову не приходило, что она хотела повидаться с отцом, ждала его. Увидев, как она по-детски ласково прильнула к нему, он не мог отогнать неприятного подозрения, зародившегося еще в ночь после свадьбы, — что власть его, власть короля пустоши, не так уж безгранична, как он воображает.

Мужчины уселись, достали свои табакерки и начали говорить о погоде очень серьезно, со знанием дела и в тех всегда одинаковых выражениях, в каких обычно обсуждается эта тема. Они сделали общий обзор погоды сначала за зимние месяцы, потом за весенние, после чего заговорили об овцах, ягнятах и шерсти и, наконец, о летней погоде. Перебирали неделю за неделей, один поправлял другого, так что за точность можно было ручаться. Они вспоминали о каждом сколько-нибудь значительном отрезке времени, когда стояла сухая погода, подробно останавливались на периодах дождей и бурь, припоминали, кто что предсказывал и как, наконец, все пошло своим чередом, вопреки всем предсказаниям. Каждый из них в одиночку пережил свою миро-

вую войну против беспощадных стихий. Каждый старался убрать и свезти на лошади домой сено, сухое или попорченное дождем; у одних сено еще не было убрано, у других его унесло ветром, у третьих оно уплыло по реке.

Кроме Короля гор, все они были бедные крестьяне, не имевшие возможности держать батраков; обычно они довольствовались помощью своих детей-подростков, стариков, слабоумных и других немощных членов семьи.

— Да, я хозяйничал пятнадцать лет без батраков, — сказал Король гор, которого сейчас причисляли к крестьянам среднего достатка. — И, по правде говоря, это были мои лучшие годы. Жалованье работникам — это такой расход, который может кого угодно разорить.

По мнению Эйнара из Ундирхлида, что бы там ни говорили богачи, но если у тебя нет никакой подмоги, ни одного работника, то это не жизнь и никогда жизнью не будет. Это собачья жизнь для тела и голодная смерть для души.

— Тебе-то, Эйнар, жаловаться нечего, — сказал Круси из Гили, — до тех пор, пока твой Стейни дома.

Но Эйнар находил, что это слабое утешение: разве все они не требуют платы, будь то свои или

чужие? Кроме того, земля не может тягаться с морем, и Стейни, наверное, уйдет туда же, куда удрали остальные.

— Не успели они подрасти — уж и след простыл. Земля — это земля, а море — это море. Возьмем, к примеру, покойного Тоурарина из Урдарселя. У него было три сына, все дюжие молодцы. Не успели они стать на ноги, как уже отправились в море. Один утонул, а двое очутились в Америке. Ты думаешь, они прислали хоть несколько строк матери этой весной, когда умер их отец? Нет, и не подумали. Даже не прислали ей нескольких крон в утешение. Теперь старуха с дочерью уступили свой хутор пастору, за что он обязался содержать их.

Эйнар предполагал, что с ним будет то же самое. Два сына уже расстались с ним, а третий вышел из повиновения. Но Круси из Гили считал, что дети — это еще полбеды. Хуже всего иметь дело со стариками. Никто не поверит, сколько они могут съесть. Его отец умер год назад, в возрасте восьмидесяти пяти лет.

— И, как вам известно, меня заставили содержать тещу; за это мне снизили налоги. Ей теперь стукнуло восемьдесят два. Она совсем впала в детство. Нам этим летом пришлось спрятать от

нее всю кухонную утварь: она помешалась на том, что рассовывала по углам все, что попадется ей под руку.

— А до чего же она была расторопна в свое время, — заметил Тоурдур из Нидуркота.

— Ну, вам, добрые люди, нечего печалиться, — сказал Тоурир из Гилтейги, отец Сдейнки, той самой, что прошлой зимой сделала своего отца дедушкой без всякого предупреждения. — Сыновья-то сами о себе позаботятся, куда бы их ни забросила судьба. Да и старики — это еще полгоря, хотя некоторые и заживаются на свете дольше, чем положено, а все-таки наступает и их черед умирать. Но дочери, дочери, люди добрые! Вот с кем хлопот не оберешься! Не завидую я тем, у кого они есть в такие тяжелые времена. Вы думаете, что они хотят носить шерстяные чулки, которые вяжут дома из хорошей пряжи? Да нет! Им бы только щеголять в шелковых да грызться с родителями круглый год.

— Многие все же и от дочерей видят радости, — возразил Король гор. — Ведь приятно, когда в доме слышится их смех и щебет.

— Что же тут приятного? Если не можешь им насыпать полный карман денег, чтобы они сорили ими в городе, так они требуют, чтобы их

отпустили в услужение на юг. Если родители на это не соглашаются, так уж дочка себя покажет! Начинается, с того, что она требует тонких бумажных чулок. А что это за чулки? Одно надувательство! И вот выбрасываешь деньги на такую дрянь, которая нисколько не греет, хотя эти чертовы чулки достаточно длинны, доходят до самого паха. Ну а если спускается петля, тогда какая им цена? В мое время считалось вполне достаточным, если чулок у женщины доходил до панталон, это не ставилось ей в вину. Тогда женщины были не такие бесстыжие, и не в обычае у них было носить такие короткие юбки, как в наше время.

— Да, — согласился Король гор. — Но хорошо уж и то, что на юбки теперь уходит меньше материи, чем раньше.

— И чем это кончается? Я знаю из достоверного источника, что им уж и бумажная ткань не годится. Я слышал, что одна девушка купила себе даже… что бы вы думали? Пару шелковых чулок, — заметил Тоурир.

— Шелковых чулок?!

— Точно говорю вам: шелковых чулок! Из чистой шелковой пряжи. Могу назвать эту девушку: это средняя из пасторских дочек, которая была в

прошлом году в Рейкьявике.

— Мало ли что люди болтают, — пробормотал в бороду Тоурдур из Нидуркота.

— У моей Сдейнки много недостатков, но врет она не больше, чем другие. И она клянется, что собственными глазами видела эти чулки. Сначала женщины из щегольства и по глупости перестают носить нижние юбки, потом надевают бумажные чулки до самого паха, — такая пара чулок стоит почти столько же, сколько ягненок. А потом начинают укорачивать юбки. И раз уж завелось такое бесстыдство, то недолго ждать, чтобы пошла мода на шелковые чулки. А там уж совсем не будут носить юбок.

— За последние семь лет я не мог купить себе пары штанов, — пробормотал Тоурдур. — И к чему эта мода может привести? Ни к чему, кроме чахотки. Если народ потерял совесть, если уже нет честных женщин — чего и ждать. Многим отцам дорого обойдется такое легкомыслие, их от этого в три погибели согнет.

Кто-то заметил, что пасторским дочкам недурно живется…

— Конечно, — сказал Тоурир. — Да и самому пастору разве плохо? Он начинает год с того, что казна отсыпает ему полторы тысячи крон ни за

что ни про что, разве только за разные чудачества. Вот это жизнь! Не то что у нашего брата.

— Не может этого быть, — сказал Тоурдур из Нидуркота, — чтобы ему платили полторы тысячи крон. Должно быть, только пообещали.

— Я своих слов обратно не беру, — сказал Тоурир.

— О, у этого старого хрыча есть свои хорошие стороны, — сказал Бьяртур; ему не нравилось, когда плохо отзывались о пасторе, которого он в глубине души очень уважал за выведенную им породу овец. — Замечательные у него бараны, у этого старого чудака, несмотря на то, что он ученый. Мне бы больше хотелось заполучить одного из его баранов, чем всех трех дочерей, даже если бы мне дали полторы тысячи крон в придачу. Кстати, вы не слышали, какие этой осенью в городе цены на мясо?

Король гор рассказал все, что слышал, но полагаться на слухи никак нельзя, когда дело касается цен. Хродлогур из Кельда, арендатор одного из хуторов старосты, сказал, что он, как всегда, продаст своих ягнят Йоуну из Мири, — ведь ему все равно придется платить аренду Йоуну, — но разницу старый плут выплатит наличными. И хотя он дает низкую цену, все же лучше синицу в руки,

чем журавля в небе. Во Фьорде денег никогда не получишь, там ты вечно остаешься в долгу.

Бьяртур не отрицал, что неплохо иногда иметь в руках наличные деньги, только если уж речь идет о том, кому задолжать, то он того мнения, что лучше быть в долгу у Бруни, — ведь при сделках со старостой деньги видит только сам староста, уж он умеет нажиться на тех, кому Бруни не хочет открывать кредит. Он дает здесь, на месте, две трети той цены, что Бруни давал во Фьорде. А сколько он получает за живых овец на юге, в Вике? По крайней мере, вдвое против того, что предлагал Бруни. Он продает овец сотнями, тогда как другие продают по двадцать штук, и сам назначает цену торговой фирме в Вике.

— Вряд ли это правда, — усомнился Тоурдур из Нидуркота, который вообще не верил в большой размах. — Это же какой риск! Дорого придется платить людям, которые погонят всех этих овец на юг через пустошь и поселки. Часто по дороге еще и потери бывают.

Король гор утверждал, что кредит у Бруни многих спас. Бруни всегда заботился о том, чтобы его клиенты держались на ногах: разве кто-нибудь слышал, чтобы Бруни отказал в кредите тем, кому доверял? Правда, он не любит платить наличны-

ми в нынешние тяжелые времена, и много лет никто не получил от него ни гроша, к тому же он скуповат на хорошие товары, зато его клиенты редко терпят нужду, разве уж в особых случаях, весной, когда без этого никак не обойдешься. Впрочем, Король гор выразил мнение, что вообще не все зависит от денег: многие вышли в люди, хотя денег в глаза не видывали.

— Пока я не забыл… — сказал он, — окружной судья спрашивал меня на тинге весной, нет ли у меня подходящего человека, который знал бы толк в лечении собак.

— Все это правильно, — сказал Бьяртур. — За собаками надо следить. Ты, может быть, слышал, как я на своей свадьбе говорил, что сам буду лечить собаку, если твоя дрянная микстура не поможет?

— Никто не посмеет сказать, что лекарство, которое я получил от самого окружного врача, не годится, — перебил его Король гор сухим тоном. — Оно приготовляется по всем правилам науки. Но, конечно, нельзя поручиться, что это лекарство всегда правильно применяется. Вот почему окружной судья и считает нужным дать мне надежного помощника.

Крестьяне сошлись на том, что необходимо

принять срочные меры, ибо даже в Утиредсмири прошлой весной были случаи вертячки.

— Да, я обдумаю это дело, — сказал Король гор тоном человека, вполне сознающего возложенную на него ответственность. — Это работа важная, но довольно противная, как и вообще работа врача. Тут нужен дельный человек. Очень может быть, что мне удастся добиться у судьи хорошей платы для моего помощника, но пока я ничего еще не могу обещать.

— Поставить разве на это дело старосту? — сказал Бьяртур, у которого воспоминание о Мири занозой сидело в душе. — Сдается мне, что он будет подходящим помощником собачьего лекаря.

Это предложение было принято как шутка и не встретило отклика у гостей, они только поморщились и насмешливо фыркнули.

В эту минуту вошла Роза и принесла кофе. Чашек было мало, так что гостям пришлось пить в две смены.

— Пейте, — сказал Бьяртур, — вам нечего опасаться, что у вас животы разболятся от жирных сливок, но кофейных зерен мы не пожалели.

— Не попробовать ли нам датских сливок, — сказал Король гор и достал из нагрудного кармана баклажку; он откупорил ее, и на застывших бес-

цветных лицах крестьян засияла блаженная улыбка. — Я всегда рад угостить приятелей, когда мы отправляемся в горы, — продолжал Король гор, наливая немного водки в каждую чашку. — Кто знает, может быть, эти же приятели чем-нибудь порадуют в поселке и меня. В последние годы крестьян душили тяжелые налоги, уж вам-то это хорошо известно. Но может случиться, что в недалеком будущем беднота получит своего представителя в приходском совете. Больше об этом сейчас не будем говорить.

— Угощайтесь печеньем, друзья, — просил Бьяртур. — Да не жалейте этого чертова сахара. Роза, налей еще чашку нашему Королю гор.

— Да, да, друзья, — сказал Король гор, когда баклажка обошла всех. — Вы, наверное, сочинили какие-нибудь стихи во время сенокоса, хотя погода была и неважная.

— Да, приятно было бы сейчас послушать хорошие стихи, — поддержали его остальные.

— Я-то, — вставил Эйнар, — как вам известно, не любитель замысловатых стихов. В тех пустячках, которые я сочиняю на случай, я предпочитаю держаться правды, а не мудрить над рифмой.

Ни для кого не было секретом, что Бьяртур из Летней обители невысоко ценил поэзию Эй-

нара, — сам-то он был воспитан на старинных стихах и всегда пренебрежительно относился к писанию псалмов и к новомодной поэзии, так же как и вообще ко всем нелепым фантазиям.

— Отец мой, — сказал он, — очень любил стихи и мастерски складывал их; от него я еще в молодости научился правилам стихосложения. С тех пор я этих правил и держусь, несмотря на всякие новомодные выдумки современных скальдов, например, хозяйки Утиредсмири. Я унаследовал от своего отца сборники стихов — целых семь; и должен сказать, что в те времена в нашей стране были мастера, они уж строго придерживались размера, — им не надо было больше четырех строк для одной строфы; их стихи можно читать на разные лады, и они от этого никогда не теряют смысла. Они не занимались воспеванием грусти, тоски и всякими слезливыми излияниями; сочинять псалмы они предоставляли пасторам. Это был народ, который ни на что не жаловался, не бил себя в грудь. Возьмите римы об Ульваре[19], в которых описываются великие битвы, битвы отважных. Вот это были герои! Они не ползали на коленях перед женщиной, как современные

[19] Примечания: 19

Римы об Ульваре были написаны поэтом Торлаукуром Гудбрандссоном, умершим в 1707 г. *(Прим. Л. Г.).*

поэты, но, услышав о какой-нибудь знаменитой красавице, даже если она жила на краю света, отправлялись в путь и ради нее покоряли страны и народы; после них оставались горы трупов.

Крестьяне вечно спорили о поэзии, и каждый оставался при своем мнении: одни любили старинную поэзию и ее героический дух, в то время как другие воспевали все человеческое или божественное. Они так увлекались этими спорами, что никогда не успевали прочитать свои стихи.

— Кто любит замысловатые стихи, часто становится спесивым и ставит себя выше тех, кто пишет для души, — сказал Эйнар.

На это Бьяртур ответил, что он никогда не считал себя великим скальдом, но терпеть не может, если стихи состряпаны кое-как; пусть это будет хотя бы четверостишие, но с искусной рифмовкой.

— Если бы я был скальдом, — сказал он, — я бы ни за что не согласился пустить в народ стихи, в которых было бы меньше трех внутренних

рифм[20].

Король гор видел, что от его горячительного напитка страсти у скальдов разгорелись, но, так как обсуждать здесь подобные вопросы не было времени, решил положить конец спору и сказал:

— Думаю, что вы не станете пенять на меня, если я вмешаюсь в ваш спор. Хотя я ни разу в жизни не сложил ни единой песни, но, по-моему, надо бы, чтобы поэты всегда держались золотой середины между любовью к истине и рифмой. Пусть бы они всегда укладывали в рифмы правду, за которую они могут постоять, и никогда не воспевали бы правду, если она не может уложиться в рифмы.

— Правда, которая не укладывается в рифму, не есть правда. Рифма, если она правильна, уже сама по себе правда, — сказал Бьяртур.

— Вот уж чего я не могу понять, — возразил Эйнар. — Удивляюсь даже, что слышу подобные слова от таких умных людей. Ведь рифма остается только рифмой, а правда — правдой.

---

[20] Примечания: 20

...стихи, в которых было бы меньше трех внутренних рифм. — Бьяртур говорит о специфически исландских стихах с чрезвычайно сложным стихотворным размером, в частности, о сльехтюбёнде — хореическом четверостишии с аллитерацией пятого и седьмого слогов первой и третьей строки с первым слогом соответственно второй и четвертой строк. *(Прим. Л. Г.).*

Оулавюр из Истадаля рассеянно прислушивался к этим спорам: он питал слабость к рассуждениям научного свойства, любил решать сложные проблемы и потому не мог отказать себе в удовольствии сделать свой вклад в беседу, хотя бы и незначительный.

— Да! Действительно, много есть на свете странных явлений! — ловко вставил он. — Говорят, что пасха в будущем году приходится на субботу…

На некоторое время все замолчали.

— На субботу? — наконец задумчиво проговорил Король гор. — Не может быть. Пасха всегда начинается в воскресенье.

— Да, так и я всегда думал, — торжествующе сказал Оулавюр. — Но я прочел это в календаре союза «Друзей народа». Там черным по белому написано, что пасха придется на субботу.

— Это, видно, ошибка, — сказал Король гор.

— Ошибка в календаре? Быть этого не может. Неужели посмеют допустить ошибку в календаре? Но вот до чего я додумался… Мне помнится, что я прочел в одной старой книге, у пастора Гудмундура, когда ночевал у него несколько лет тому назад, что солнце, случается, иногда немного запаздывает. И если это правильно, то, значит, и время должно отставать. Где-то в Библии сказано,

что однажды солнце вообще остановилось[21].

— Дорогой Оулавюр, — сказал Бьяртур. — Ни одной живой душе не говори, что ты веришь в это. Надо осторожно подходить к тому, что говорится в книгах. Я никогда не полагаюсь на книги, да, а уж меньше всего на Библию. Никто ведь не может проверить того, что написано в книге. Книги могут врать, сколько душе угодно. Ведь ты-то сам там не был… Если бы, например, время действительно отставало хоть изредка на какой-нибудь денек, то кончилось бы тем, что пасха пришлась бы на рождество.

— Я придерживаюсь только того, — сказал Король гор, — что говорится в истории. Иисус восстал из мертвых в воскресенье утром — значит, пасха должна начинаться в воскресенье, отстает ли время или идет вперед.

— Не знаю, — отозвался Бьяртур, — когда он воскрес. Кто при этом присутствовал? Несколько женщин, думается мне. Как можно положиться на истеричных женщин? К примеру, на Утиредсмири несколько лет тому назад была работница

---

[21] Примечания: 21

…что однажды солнце вообще остановилось. — В Библии в Книге Иисуса Навина (гл. 10, ст. 13) рассказывается, что, когда израильтяне побеждали врагов Гаваона, Иисус Навин воззвал к Господу, и по его просьбе: «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». *(Прим. Л. Г.).*

с юга. Ей показалось, что она слышит плач младенца, брошенного на горном склоне. Это было летом, поздним вечером, и она слышала, как он громко и жалобно плакал. А что оказалось? Это была просто дикая кошка, черт ее возьми!

— Ладно! — пробормотал Король гор, которому не хотелось спорить на такие отвлеченные темы. — Раз уж Бьяртур вспомнил о дикой кошке, я хочу спросить вас, что вы думаете насчет лисы?

— Думать мало, надо что-нибудь делать, — ответили ему. — Не поговорить ли со старостой?

— О, старосту не очень беспокоит эта хитрая бестия, — сказал Бьяртур. — В прошлом году он продал двадцать лисьих шкур, и ему за них хорошо заплатили.

Другие высказали мнение, что лиса еще наделает бед. Она нападала на овец прошлой осенью, то же самое будет и нынешней. Крестьяне ругали и проклинали ее на все лады. Король гор авторитетно заявил, что лиса, без всякого сомнения, принадлежит к злейшим врагам человека. А старик из Нидуркота под конец заявил:

— Лиса бесчинствовала в прошлом году, бесчинствовала весной — а теперь ждите ее осенью.

Кофе был выпит. Король гор закупорил свою баклажку и положил ее в карман. Стало так свет-

ло, что уже можно было различить овец.

— Да, — сказал Король гор, поднимаясь. — Я часто бывал на пустоши, но никогда еще меня так не принимали. Хорошо попасть к гостеприимному хозяину в холодный зимний день. Нас угостили на славу. Теперь можно и за овечками погоняться.

Но Бьяртур утверждал, что не в гостеприимстве дело.

— Главное, — сказал он, — это самостоятельность. Жив ли ты, подохнешь ли, до этого нет дела никому, кроме тебя самого! Вот это, по-моему, и есть самостоятельность. И эта жажда свободы — она в крови у всякого, кто находился в подчинении у другого.

— Да, — сказал Король гор. — Мне это понятно. Исландцы — это народ, любящий самостоятельность и свободу. В Исландии в свое время жили свободные хёвдинги[22], которые готовы были скорее умереть на воле, чем служить чужому королю. Это были богатыри, вроде Бьяртура. Бьяртур и подобные ему люди — это и есть свободолюбивые исландцы, на которых опирается и всегда будет опираться исландская самостоятель-

---

[22] Примечания: 22

Хёвдинги — родовая знать, выделившаяся из среды бондов. *(Прим. Л. Г.).*

ность. Роза, видно, не хиреет здесь в долине. Я никогда не видел ее такой цветущей. Как ты себя чувствуешь здесь, на пустоши, Роза?

— Здесь, конечно, очень привольно, — ответила Роза, шмыгнув носом.

— Да, — сказал Король гор; после водки у него появилась какая-то величавость в обращении, как у богатого крестьянина. — Если бы тем духом, который царит в этом доме, было проникнуто все наше поколение, то Исландии не пришлось бы тревожиться за свое будущее.

— Так, — сказал старый Тоурдур из Нидуркота. — А не пора ли нам отправляться? Мне еще надо взобраться на мою старую клячу.

Он стоял у самой двери. И трудно было пройти мимо этого дряхлого старика, прожившего долгую, бедную мечтами жизнь, не сказав ему несколько слов в утешение. Король гор ободряюще похлопал его по плечу и заметил:

— Да, старина Тоурдур! Для всех нас жизнь — что-то вроде лотереи.

— Что такое? — недоуменно спросил старик. Он не понял этого сравнения — у него только один раз в жизни был лотерейный билет. Несколько лет тому назад хозяйка Редсмири пожертвовала жеребенка для розыгрыша в пользу кладбищен-

ского фонда. Розыгрыш кончился тем, что сам староста выиграл собственного жеребенка.

— Отец, дорогой, — сказала Роза, провожая его во двор. — Смотри хорошенько укройся сегодня ночью в горной хижине.

— Я, право, не знаю, зачем мне гонять этих пугливых ягнят в горах и на пустоши? Мне уже под восемьдесят, и я еле-еле ковыляю у себя на хуторе, — сказал он, положив на лошадь поводья.

Мужчины разобрали своих собак, возившихся на склоне горы. Овца, привязанная к забору у края выгона, блеяла, глядя на людей и собак. Старик поцеловал дочь и попытался взобраться на лошадь. Роза держала ему стремя. На седле у Тоурдура лежала черная овчина, чтобы мягче было сидеть и само седло бы не портилось. Дочь провела рукой по морде лошади, старой Глайси, которую она помнила еще жеребенком. Сколько было тогда радости на хуторе! Это было восемнадцать лет назад. Все дети в Нидуркоте жили тогда еще дома. А теперь все разбрелись по белу свету. И вдруг прибежал Самур, высунув язык после драки. Он узнал ее и, забыв все перипетии боя, бросился к ней с радостным визгом. Роза не могла не забежать в дом за куском рыбы для собаки своего отца.

— Я бы попросила тебя, отец, оставить мне Самура на ночь, если бы не знала, как он тебе нужен. Мне кажется, что овечка, которую оставляет мне Бьяртур, не очень-то меня утешит.

Подошел Бьяртур, ведя в поводу Блеси. Он мимоходом поцеловал жену и сделал кое-какие распоряжения, затем вскочил в седло и кликнул собаку. Все уехали. Роза провожала их взглядом. Ее отец ехал последним, ссутулившись и ударяя ногами по бокам старой Глайси, которая тяжело шлепала по грязи.

Глава одиннадцатая
Сентябрьская ночь

Вскоре начал накрапывать дождь. Небо было обложено тучами, и дождевые капли становились все крупнее и тяжелее. Это был настоящий осенний дождь, он наполнял глухим шумом весь мир и нагонял жуть: казалось, этим низвергавшимся из мирового пространства водам не будет конца; дождь затягивал даль сплошной серой пеленой и наводил тоску на целый край. Этот дождь, однообразный и ровный, поливал увядшую болотную траву, взбаламученное озеро, серые песчаные отмели, угольно-черную гору; он

поливал хутор, заслоняя от него весь мир. Глухой, безнадежный, непрекращающийся шум проникал, казалось, во все уголки дома, закладывая уши, обволакивая все далекое и близкое, — как грустная будничная повесть о самой жизни; повесть, которая течет ровно, без взлетов и падений и которая все же захватывает своей ширью и глубиной. И на дне этого глубокого, как бездна, шумящего океана — маленький домик, и в нем женщина, у которой больное сердце.

Роза взялась было за штопку чулок, но у нее не было ни малейшего желания работать, и она неподвижно сидела у окна, завороженная этим шумом, бездумно смотрела на серый туман, окутывавший долину; как ребенок, разглядывала она образовавшиеся на подоконнике лужицы. К вечеру начался сильный ветер, он гнал дождь шумящими белыми потоками, точно стадо овец. Потоки, пенясь, бежали по болоту, вздымались, как океанский прибой, падали и разбивались.

Овца на выгоне перестала блеять и, насколько позволяла привязь, отошла от столба, согнувшись, низко склонив голову и выставив на ветер рога. Розе было жаль овечку, которую постигла такая горькая участь: ее оставили в плену, в полном одиночестве. Роза решила отвести ее под

кровлю. Гудлбрау, увидев женщину, пыталась убежать, но была крепко привязана. Роза взяла в руки веревку и по ней добралась до овцы, поймала ее за рога и поволокла домой. Она втолкнула ее в темный хлев и заперла дверь. В доме Гудлбрау не успокоилась: стряхнув с себя воду, она заметалась по хлеву, но, почувствовав, что вырваться на волю невозможно, начала так громко блеять, что эхо отдавалось по всему хутору. Роза решила успокоить овцу и дала ей немного воды, но овечка не стала пить. Тогда Роза принесла ей сена. Гудлбрау не дотронулась и до сена, — она в испуге убежала от женщины и, забившись в угол, смотрела на нее недоверчивыми глазами, блестевшими в темноте зеленым огоньком, потом ударила по полу копытом, как бы угрожая женщине. Роза наконец дала ей рыбы и хлеба, а когда Гудлбрау и к этому угощенью не притронулась, оставила овцу в покое. Та продолжала громко блеять.

Время шло. Спустились сумерки. Роза сварила кашу и съела ее. Уже совсем стемнело. Роза старалась поддерживать огонь в плите, — было холодно и сыро, в двух местах вода с крыши просачивалась в комнату; кроме того, в доме не было света, а ведь только при свете огня или

хотя бы тлеющих угольков чувствуешь себя в безопасности. Роза долго сидела возле плиты, оставив дверцу полуоткрытой, чтобы виден был огонь. Она решила побаловать себя: сварила кофе, присланный ей в подарок матерью, съела пять кусков сахару вместо одного — все из того же кулька: ведь это был ее собственный сахар; попивая кофе чашку за чашкой, она пристально смотрела на угольки и старалась прогнать страх перед ночью, только ожидавший случая овладеть ею, поползти дрожью по спине. Роза намеренно оживляла в памяти радостные воспоминания, и временами ей было совсем хорошо. Овца наконец успокоилась и легла. Но дождь по-прежнему хлестал в окно, ветер завывал все сильнее и сотрясал дом до основания. Было уже так поздно, что Роза боялась отойти от плиты: ей мерещилось, что тьма наполнена злыми духами. Она поджала под себя ноги, спрятала руки на груди: ей казалось, что, если она вытянет их, кто-то за них ухватится. Долго она просидела так, и ей уже удалось побороть страх, но тут овце надоело лежать, она поднялась и заблеяла еще отчаяннее; из темноты доносились пронзительные, режущие звуки. Казалось, будто Гудлбрау чего-то вдруг испугалась. Некоторое время овца металась из угла в

угол, словно кто-то ее преследовал. Дважды овца останавливалась, ударяя об пол копытом. Розе почудилось, что кто-то дунул кому-то в лицо. Кому? Может быть, никому…

Наконец Роза подкралась к лестнице и крикнула вниз:

— Овечка, не бойся!

Но когда она услышала свой голос, раздавшийся во мраке безмолвного дома, сердце у нее забилось: она даже не узнала собственного голоса. Неподвижно стоит Роза на краю люка. Да, да, несчастье, которого она ждала этой ночью, надвигается. По спине у нее поползла дрожь страха, который сковал ее и пронзил острой мучительной болью: внизу кто-то был, он напал на овцу, злобно схватил ее за глотку, так что она перестала блеять, отшвырнул к стене. Кто-то, что-то… Наконец опять раздалось блеянье, полное ужаса, отчаяния, еще большего отчаяния, чем раньше.

Нет, Роза не упала в обморок; она только все подкладывала хворост в огонь. Этот хворост, этот синеватый, потрескивающий огонь были ее единственной надеждой; нельзя допустить, чтобы огонь потух.

«Может быть, ничего и не было», — подумала Роза, подкладывая хворост в плиту онемевшими

пальцами.

Кто-то, что-то… может быть, никого и ничего. Глядя на эти угольки, на огонь своего маленького очага, — огонь, горящий в честь свободы, самостоятельности, — она твердо решила успокоиться. Нет никаких привидений, никаких Колумкилли! На пустоши есть только добрый бог свободы — тот бог, который возвышает человека над собаками (может быть). Кто знает, через двадцать три года и она, пожалуй, будет женой старосты, как хозяйка Утиредсмири. «Жизнь — своего рода лотерея», — сказал Король гор ее отцу. Благослови бог этого доброго старика! Как бы он только не схватил воспаление легких в этой лотерее. Ему идет уж восьмой десяток, а он всю ночь проведет в горной хижине… Нет, ей не хочется даже думать об этом. Ей не хочется думать о плохом — только о хорошем, красивом. «Гор царица, мать — земля!» Да, земля — наша мать.

Роза давно уже не пела. Сейчас, в потемках, у очага, она затянула эту красивую песню. Молодая женщина впервые запела с тех пор, как пришла на пустошь. Но оказалось, что ее голосовым связкам не под силу такая красивая песня. Как ни старалась она передать мелодию, у нее перехватывало дыхание, сдавленный от страха голос

спотыкался на каждой ноте; и чем дольше она пела, тем быстрее билось ее сердце. Еще никто никогда не пел патриотическую песню с таким чувством. С пением сливалось блеяние овцы, охваченной таким же страхом: ме-е-е…

Да, никогда еще ни одна патриотическая песня не получала более яркого выражения в звуках.

Наконец в блеяние овцы ворвалась нота отчаяния, стона, почти хрипа. Роза даже начала сомневаться: овца ли это блеет? Это уже было не блеяние, а жалобный стон. Может быть, какое-нибудь чудовище хочет замучить ее? Возня и беготня продолжались с небольшими перерывами. Кто-то хватался за лестницу и шумел возле дверей, все балки трещали. Затем наступило затишье, если не считать ударов бури в окно. Роза уже надеялась, что буря немного улеглась, а овца наконец успокоилась; но когда сердце стало биться ровнее, вдруг послышался сильный стук в наружную дверь, отдавшийся во всем доме. Неистовство бури возобновилось, снова раздались грохот, скрип и скрежет, как будто все рушилось.

Розе сначала казалось, что весь этот грохот доносится с горы, затем почудилось, будто рухнула передняя часть дома. Потом снизу донесся такой визг, что ей стало ясно: кто-то душит овцу.

Роза вцепилась в край кровати, дрожа от ужаса и призывая бога, как человек, молящийся в свой смертный час. Наконец она начала снимать с себя платье, но не смела совсем раздеться, так как ей казалось, что малейший шум может разбудить привидения, затаившиеся во мраке. Она осторожно забралась под перину и тщательно укрылась, чтобы ниоткуда не дуло, даже натянула перину на голову. Долго лежала Роза, дрожа всем телом, с острой болью в сердце; никакие воспоминания уже не могли ей помочь. Страх был сильнее, чем пережитые ею радости. Она пыталась думать о далеком рассвете. Человек никогда не теряет надежды. Даже тогда, когда, казалось бы, спасенья уже нет. Нет такой темной и длинной ночи, в какую люди не надеялись бы, что рано или поздно все-таки наступит рассвет.

Так Роза лежала и тряслась от ужаса долго-долго, наконец она впала в какую-то дремоту, которая не была ни сном, ни отдыхом, а скорее походила на трудную поездку, которую совершаешь против своей воли через весь мир, — мир, где нет ни пространства, ни времени. Она вновь переживает самые невероятные события далекого прошлого и вновь видит людей, с которыми была когда-то знакома. Самое удивительное в этих

видениях то, что они необычайно отчетливы. Роза вновь слышит давно забытый голос — голос, никогда не имевший для нее никакого значения, — и вновь видит давно забытую морщинку на лице, случайно промелькнувшем в ее жизни. Все лица, возникавшие перед ней, въедались в ее мозг, как раковая опухоль. Ей чудились, например, гости, побывавшие здесь утром, в таких подробностях, что это граничило с бесстыдством. Чем яснее и точнее представали перед ней эти образы, тем больше они пугали ее; они так упрямо врезались в сознание, что уже не было никакой возможности отделаться от них. Они витали в сонной полутьме рассвета, с застывшими лицами, — как покойники, которые являются нам во сне; они приходят и ведут себя как живые, и все же вы знаете, что это сон, что они умерли и уже давным-давно похоронены; их унылая мрачная улыбка — это улыбка покойника; их жуткий разговор — это разговор покойников; их маски — как ледяная пелена, скрывающая ужас перед неизбежной гибелью. Некогда они мечтали выбиться в люди, но ни один здравомыслящий человек никогда этому не верил. Бьяртур рассчитывал, что он через двадцать три года станет старостой. «Но я-то где буду тогда?» — думала Роза. Ее отец

тоже мечтал стать зажиточным крестьянином, может быть, даже и старостой; он построил мельницу у ручья. Но где он сегодня ночью? Сегодня ночью старик, которому далеко за семьдесят, слабогрудый, с ревматизмом, с больными ногами лежит где-то в глухом пустынном месте, в горах, а мельница у ручья давным-давно поросла мхом. А где овечьи кости, которыми играли дети в Нидуркоте? В детстве она воображала большие стада, коров с тяжелым выменем, веселые табуны жеребцов, резвившихся на ее собственных горных пастбищах. И она мечтала стать такой же умной и талантливой, как жена старосты, и жить в большом красивом доме. А где она живет теперь? Где ее стада? Где ее талант? Она еле научилась писать. И у нее всего одна овца. Ребенком, в хижине мельника, она была богата; она надеялась, что у нее будут коровы и точно такие же кони, о каких говорится в стихах и песнях. У ручья была своя особая мелодия. У мельницы, которая никогда не работала, — своя особая прелесть, прелесть, с которой ничто в жизни не могло сравниться. Она видела перед собой овечьи кости на берегу возле хижины и ракушку, которую отец нашел в море. Она любила эту ракушку: это была драгоценность — дороже всех ценностей на свете; она не давала

ее ни сестрам, ни братьям, она никому не разрешала играть своей ракушкой… Куда могла деться ее ракушка?

— Ме-е…

Этот пронзительный звук сразу разбудил ее. В ее ушах он отдался какой-то странной отчаянной нотой.

Со сна ей мерещилось, будто овцу уже убили, и вот теперь, через три часа, ее воскресил сам дьявол. Этот хриплый крик, доносившийся словно из-под земли, не мог исходить от живой твари. Это был крик одной из тех загубленных душ, о которых говорится в Писании. Все дьяволы и призраки пустоши вселились в эту овцу, призраки детей, брошенных под скалой в каменистой пустыне; бедняг, которых убивали, чтобы высосать их мозг, или каких-нибудь папистов — тех, кто ненавидит бога и Иисуса и мечтает только об одном: чтобы все живое было обречено вместе с ними на вечные муки.

Так прошла ночь.

Наконец женщина осмелилась выглянуть из-под перины. Она увидела в комнате бледную полоску света. К своему несказанному облегчению, она поняла, что ночь на исходе, что даже после самой долгой, самой ужасной ночи наступает

день. Ветер стих, но дождь все еще лил, оглашая весь мир своим нескончаемым шумом. Гудлбрау продолжала блеять. Постепенно становилось светлее, и настроение у Розы менялось, — ночные ужасы отступили перед занимающимся днем. Но вот стало совсем светло, и Роза перестала бояться овцы; теперь она ненавидела ее, считая своим злейшим врагом. Блеяние Гудлбрау все больше раздражало Розу. Нет, Роза во что бы то ни стало заткнет глотку этому дьяволу! Пусть только станет еще светлее — это придаст ей храбрости, и ничто не помешает ей тогда справиться с этой проклятой овцой. Наконец ей стало невтерпеж. Она соскочила с постели, даже не подумав одеться, и, с голыми руками, с полуприкрытой грудью, стала ходить по комнате. После бессонной ночи она была бледнее обычного, глаза ее дико сверкали. Роза пошарила на стене под скатом крыши и достала косу Бьяртура, завернутую в кусок мешковины; подойдя к окну, она взглянула на лезвие и проверила на волосе, отточено ли оно, затем спустилась вниз. Гудлбрау испуганно металась от одной стены к другой. Роза стала гоняться за ней, спотыкаясь о грабли и мотки веревок, упавших на пол во время ночной суматохи. Она уже не боялась. Ничто не могло поколебать ее

решимость. С трудом ей удалось схватить овцу. Тогда она взяла веревку и потащила Гудлбрау во двор; овца упиралась и фыркала. Роза поволокла ее через выгон к ручью, туда, где он впадает в болото; здесь она повалила овцу и связала ей ноги. Стало уже совсем светло.

Роза не торопилась. Как опытный мясник, она раздвинула шерсть на шее овцы. И та, почуяв смерть, судорожно билась под руками женщины, кричала, раскрыв рот и раздувая ноздри, отчаянно рвалась из своих пут. Но Розе в эту минуту были недоступны жалость и сострадание, она села верхом на овцу, стараясь покрепче зажать ее ногами. Наконец она поднесла косу к шее животного и начала резать. Коса не очень-то годилась для этой цели, хотя лезвие было отточено, но орудовать ею как ножом было неудобно, — следовало остерегаться, чтобы не поранить себя. Потом она взяла косу обеими руками и продолжала пилить глотку овцы до тех пор, пока теплая струя крови не брызнула ей в лицо. От потери крови овца понемногу ослабела и перестала сопротивляться, уже не поднимала головы — просто лежала неподвижно и хрипела. Наконец Роза угодила в шейный позвонок. Лезвие входило между хрящами все глубже и глубже. Роза почувствовала, как

по телу овцы в последний раз прошла судорога; теперь шевелился лишь ее хвост. Позвонок открылся, внутри его белел спинной мозг, — Роза перерезала его. Овца слегка вздрогнула, и все было кончено. Женщина отделила голову от туловища и дала крови стечь в ручей. Однако на траве все-таки осталась лужа крови. Роза села у ручья, вымыла руки и лицо и тщательно вытерла косу о мох. Ее начало знобить, она почувствовала усталость и, не отдавая себе отчета в том, что сделала, поплелась домой, чтобы одеться. В комнате Роза уселась на кровать. Возбуждение улеглось, и, придя в себя, она почувствовала приятную слабость, сковавшую все тело. В комнату проникал серый свет утра. Роза натянула перину на голые плечи и сразу уснула.

Был уже день, когда Роза проснулась. Что ей приснилось? Она провела рукой по лицу и по глазам, как бы для того, чтобы порвать нить между сном и явью, отделить сновидение от действительности. Ей приснилась хозяйка Утиредсмири. Она, Роза, сделала нечто ужаснувшее весь приход: перерезала глотку хозяйке. Взглянув в окно, она вспомнила, что всего-навсего убила овцу, повинную в том, что она боялась ночного одиночества не меньше, чем ее хозяйка. Но Роза

не почувствовала угрызений совести, она только удивилась. Ей не хотелось думать о женщине, которая после бессонной ночи встала сегодня утром с этой же кровати с косой в руке, как сама смерть. Роза оделась и повязала голову платком. Она поняла, что теперь надо замести все следы и скрыть этот проступок от Бьяртура. Она спустилась к берегу, где лежала овца, и толкнула ее ногой. Туша. Туша? У Розы вдруг каждая жилка дрогнула от алчного желания, от радости. Здесь ведь и потроха и мясо… мясо!.. Теперь она наконец поняла, что сделала: она добыла мясо, которое сможет положить в свою кастрюлю. Мечта, которой она жила все лето, ее самая сокровенная мечта наконец сбылась.

У Розы потекли слюнки, она почувствовала сильный голод и блаженное предвкушение сытости. Надо только разделать овцу и поставить на огонь кастрюлю. Она достала свой карманный нож, наточила его о брусок и принялась за овцу. Ей никогда не приходилось самой свежевать овец, но она часто присутствовала при убое и примерно знала, как это делается. Роза отделила внутренности, вынула нутряное сало, стараясь не раздавить желчь, и промыла требуху в ручье. Она еще не совсем покончила с этим делом, но ей

не терпелось, — она побежала в дом и поставила кастрюлю на плиту. Потом Роза набила овечью кишку салом, приготовила ливерную колбасу и положила все это в кастрюлю вместе с сердцем и почками. Вскоре по всей комнате разнеслось благоухание вкусного варева. Пока оно кипело в кастрюле, Роза кончила разделывать овцу и все убрала, так что даже вороны ничего не могли найти; затем она привязала толстую кишку к косяку двери, вычистила ее, а туловище разрубила пополам и засолила в ящике.

Пока она этим занималась, поспело кушанье, варившееся в кастрюле.

Может быть, никогда еще за праздничным столом богатого хуторянина не подавали такого лакомого блюда. По крайней мере, ни одно лакомство со времен Гудмунда Богатого[23] никогда и ни у кого не вызывало такого блаженного ощущения, какое испытывала Роза, уплетая за обе щеки готовую колбасу неописуемого жирно-соленого вкуса, мягкое, мясистое сердце барашка, тающие ну языке почки с их специфическим привкусом и толстые ломти ливерной колбасы — такой

[23] Примечания: 23

Гудмунд Богатый жил в Исландии в начале XI в., прославился своим могуществом и смелостью, о нем рассказывается в «Саге о людях со Светлого озера» и в других сагах. *(Прим. Л. Г.).*

жирной, что с них стекало сало. Она выпила наваристый целебный суп. Она ела, ела долго, долго, с такой жадностью, что казалось, никогда не насытится. Это был ее первый счастливый день с тех пор, как она вышла замуж. Потом она сварила кофе, подаренный ей матерью, положила в него много сахару и выпила.

После обеда она опять впала в блаженную дремоту. Сначала она сидела у плиты, сложив руки на коленях, но вскоре почувствовала, что уже не может сидеть, улеглась в постель, заснула и спала долго, долго.

Глава двенадцатая
Совет врача

Бьяртур вернулся с овцами на четвертый день к вечеру и опять отправился в путь вместе с другими крестьянами — на этот раз в город. Ему удалось пригнать с пастбища почти всех своих овец, и теперь он отобрал для продажи двадцать ягнят. Двенадцать пошли в счет долга за землю старосте, а за остальных он получил у купца мешок ржаной муки, несколько фунтов пшеничной, соленую рыбу, кофе, сахар, овсянку и немного нюхательного табаку; привез также потроха двух

ягнят. Ему пришлось трижды проделать путь в город, чтобы не нанимать лошадей. Он мало спал, ездил днем и ночью. Но он предпочитал сделать три рейса, — тогда как зажиточные крестьяне делали только один, — лишь бы не залезать в долги из-за расходов по перевозке. Когда Бьяртур вернулся домой, изнуренный ночной ездой, насквозь промокший под осенними ливнями, по колено забрызганный грязью на размытых дорогах, его порадовал свежий, цветущий вид жены; она была как репка, поспевающая осенью. По-видимому, Роза забыла и думать о привидениях и отпустила овцу, которую он оставил дома ей в утешение.

В городе Бьяртур не преминул побывать у врача, памятуя, что сердечная болезнь упряма и может вспыхнуть снова; осторожность никогда не мешает. Он достал из кармана склянку, которые отпустил ему доктор Финсен, и подал ее жене.

— В этих пилюлях большая сила, говорят. В них вся наука вложена. Это не то что лекарство для собак. Они у тебя прочистят все нутро, и тогда уж никакая болезнь не страшна. В них есть какой-то сок, он всасывает в себя все вредное, и в кишках уж не может быть никаких колик, а крови они

придают особую силу.

Роза приняла подарок и взвесила склянку на руке.

— Сколько, ты думаешь, я отдал за нее? — спросил Бьяртур.

Этого Роза не знала и не могла знать.

— Ты знаешь, что сказал мне старик Финсен, когда я взялся за кошелек? «Пустяки, говорит, оставь, дорогой Бьяртур. Что за счеты, ведь мы принадлежим к одной и той же партии». — «Что такое? — говорю я. — Никогда еще мне не оказывали такой чести: чтобы врач считал меня членом своей партии! Я же простой крестьянин и только первый год владею собственным хутором». А он мне: «Кстати, дорогой Бьяртур, чего мы с тобой держались на последних выборах?» — «Держались? Члену альтинга лучше знать, чего он держался. Что же касается меня, то я держался того, чего держусь и сейчас; пустое это дело для батрака или малоимущего крестьянина путаться в государственные дела, в управление страной. Я считаю, — и каждому это ясно, — что правительство всегда за богатых и сильных, а не за мелкий люд, так что голытьбе нет никакой прибыли оттого, что она водится с сильными мира сего».

«В этом ты не совсем прав, дорогой Бьяртур, —

говорит он мне, как ровня ровне. — Правительство существует прежде всего для народа. И если у народа не хватит ума, чтобы голосовать, и притом голосовать правильно, то может случиться, что в правительство проберутся безответственные люди. Об этом мы все должны помнить. И в том числе те, кто небогат». — «Да, — говорю (у меня, знаешь ли, не было охоты спорить со стариком). — Ты, Финсен, конечно, человек ученый».

И я всегда думал, что нам повезло: наш представитель в альтинге — доктор. И правда, старик он ученый, это сразу видно, стоит только посмотреть на его тонкие докторские руки и золотые очки.

«А я, говорю, привык платить за всякую покупку, и, на мой взгляд, свобода народа и самостоятельность в том и заключаются, чтобы ни у кого не одалживаться, быть самому себе хозяином. Поэтому попрошу вас, дорогой Финсен, не стесняться и взять деньги за эти чертовы пилюли. Я ведь знаю, что это хорошие, полезные пилюли, раз я получаю их из ваших рук».

Но старик и слышать не хотел о деньгах. «Зато, говорит, вспомним друг о друге осенью, встретимся в надлежащем месте и в надлежащее время, чтобы проголосовать. Времена, говорит, тяжелые, очень тяжелые времена, и много трудных задач

стоит перед альтингом. Нужны благоразумные люди, чтобы их разрешить, облегчить мелкому люду его нестерпимые тяготы и бороться за независимость Исландии».

И вот он встает, этот благородный почтенный человек, хлопает меня по плечу и говорит: «Непременно кланяйся своей жене и скажи ей, что я посылаю ей эти пилюли на пробу. Это самое надежное средство против жидкостей в организме и особенно хорошо укрепляет сердце».

Глава тринадцатая
Поэтесса

Осенью в Летнюю обитель часто заходили гости, потому что дорога из поселка в город ведет через долину. Ежедневно длинные караваны навьюченных лошадей шли по берегу реки на восток по пустоши: люди зажиточные разъезжали туда и обратно верхом, оставляя свой обоз на попечение батраков. Иногда богатые крестьяне являлись среди ночи, пьяные, будили Бьяртура и его жену, говорили много и громко о поэзии, о девчонках. Они горланили искусно сложенные смешные куплеты, патриотические гимны, непристойные песни, комические псалмы и ве-

селились всю ночь; под конец их рвало, и только тогда они ложились спать в постель супружеской четы. Сюда являлись и жены богатых крестьян верхом на хороших лошадях. Они сворачивали с пути и пересекали болото только для того, чтобы поцеловать свою милую Розу из Летней обители. Среди них была сама жена старосты из Утиред-смири, она тоже ездила в город на своей лошади Соути. На фру было платье для верховой езды, такое широкое, что в нем могла бы уместиться половина прихода, на голове шляпа с вуалью; она подымала вуаль на нос и целовала свою дорогую Розу. Фру оказала ей честь, выпив у нее четыре чашки кофе. Ей показали запас съестного. Она считала, что соленой рыбы им хватит до рождества, а ржаной муки — пожалуй, до Нового года, если Роза будет экономна. Фру сказала, что заселение новых земель — явление весьма достопримечательное, недаром оно пользуется таким успехом в народе. Оно проникнуто духом первых поселенцев, от него зависит счастье народа в будущем не меньше, чем зависело в прошлом. Это движение ведет к развитию «частной инициативы», и оно одно может одержать верх над нездоровыми веяниями, которые сейчас усиливаются в прибрежных городах. Суть не в том, что

человека хотят физически и духовно принизить до уровня собаки. Фру считает потерянными людьми тех, кто покидает землю, и уверена, что их ожидает только гибель. Как может человек додуматься до того, чтобы покинуть благословенные цветы, растущие в долинах, или синие горы, указующие человеческому сердцу путь к небу? А те, кто селится на хуторах, — это истинные помощники бога: они поддерживают и укрепляют добро и красоту. Крестьянин в долине — опора исландского народа в прошлом, настоящем и будущем.

— Да, — сказала Роза, — хорошо быть самостоятельным. Свобода — это самое главное.

Эти слова очень понравились поэтессе. Роза прекрасно выразила свою мысль. Весь внешний блеск городской жизни меркнет перед такой простотой и ясностью мышления. Вот перед нами женщина, которая ищет высших идеалов, и никакое привидение не собьет ее с этого пути; ведь она хорошо знает, что толки о привидении на пустоши — это чистейший вымысел невежественных и малодушных людей, живших в древние времена. Поэтесса сказала, что кофе у хозяйки Летней обители необычайно вкусный, но особенную зависть у нее вызывает эта маленькая

комната, где все всегда под рукой. Совсем другое дело — большой дом; никто не знает, сколько ночей обитатели большого дома проводят без сна. Она сказала, что у нее в доме не меньше двадцати трех комнат, — Роза может засвидетельствовать это. Живет там более двадцати человек, всё люди разных возрастов и разного нрава, как водится. Надо смотреть за ними, следить за недобросовестными слугами, улаживать неизбежные недоразумения и пытаться скрасить и согреть жизнь людям.

— Настоящее счастье, — сказала она, — не в том, чтобы иметь большой дом, — нет. Куда лучше маленький хутор, маленький клочок земли, маленький дом. А почему? Я скажу тебе, дорогой друг, словами поэта: «Где любовь да совет, там и радость и свет». Потом являются милые детки, — и с ними новые радости. Когда ты ждешь, моя дорогая, разреши мне спросить?

При этом неожиданном вопросе Роза так смутилась, что отвела глаза в сторону и не могла придумать ответа. А когда жена старосты захотела пощупать ее живот, она шарахнулась в сторону, как будто в этом прикосновении было что-то непристойное, отбежала и посмотрела на свою гостью таким странным диким взглядом,

что это никак не вязалось с дружелюбным тоном их беседы. Что это было: страх, ненависть, смущение или все вместе взятое? Одно лишь ясно читалось в этом взгляде: «Не тронь меня»; и еще торжествующая гордость: «Не бойся, я никогда не буду искать у тебя помощи».

Как бы ни объяснила себе этот взгляд мать Ингольва Арнарсона, одно верно: она слегка растерялась. Разговор о ребенке она оборвала, но не знала, что ей еще сказать. Не решаясь взглянуть на молодую женщину, фру смотрела в окно, но, к сожалению, Блауфьедль был окутан туманом, и у нее не нашлось повода сказать, что горы вздымают свои вершины к небесам. Фру была до того сконфужена, что даже забыла предложить хозяйке Летней обители свою помощь в настоящем и будущем. Наконец она заявила, что в жизни все зависит от того, находит ли свое призвание человек или нет. Одно мудрое изречение — и она опять вошла в свою колею:

— Нет сомнения, что муж и жена, поселившиеся на пустоши, нашли себя. Я заметила, что бедные люди счастливее так называемых богатых. Ибо что такое богатые люди? Это люди, владеющие большим состоянием, но по сути дела у них только и есть, что одни заботы. И в конце концов они

покидают этот мир такими же бедными, как все остальные. У них лишь больше хлопот о пропитании и меньше настоящей, живой радости. Про себя скажу: каждый эйрир, который нам удается наскрести, уходит на плату работникам. Я уже три года мечтаю о новом платье, но у меня нет ни малейшей возможности сделать его.

— Да-а, — безучастно сказала Роза.

— Мне очень хочется помочь другим, — сказала фру. — Но в такие тяжелые времена приходится сдерживать себя чаще, чем хотелось бы.

— У нас на пустоши всего достаточно, — ответила Роза.

Услышав это, фру чрезвычайно обрадовалась: на таком образе мыслей основана независимость народа.

— Я не знаю, — сказала она самодовольно, — известно ли тебе, дорогая Роза, что много лет весь приход сильно противился тому, чтобы мой муж продал землю твоему Бьяртуру. Как ты, наверно, знаешь, Бьяртур долго и упорно добивался этого. Но в приходе были того мнения, что Бьяртур никогда не сумеет прокормить жену и только наживет на этой бесплодной пустоши целый выводок детей. За последнее время стало обычным явлением, что целые семьи переходят

на иждивение прихода; те немногие, у которых что-нибудь есть, все же не в состоянии платить большие налоги, а бремя, которое наваливают на нас, так называемых зажиточных людей, становится все более и более невыносимым. И вот прошлой зимой у нас в Мири люди начали чесать языки насчет тебя и Бьяртура. Приблизительно в это время как раз и состоялось заседание приходского совета. И тогда я решила вступиться и сказала: «Не беспокойтесь вы за Бьяртура. Если дочь нашего дорогого Тоурдура из Нидуркота не способна найти свое призвание на хуторе и помочь в этом Бьяртуру, то, значит, и мне уже надо, не теряя времени, перейти на иждивение прихода. Если в нашем приходе есть действительно надежный и трудолюбивый человек, то это наш Тоурдур из Нидуркота, — ведь он всегда первый платит свои налоги. Я так и вижу его перед собой, как он приходит к моему мужу с деньгами в кармане, кладет свою шапку под стол, расстегивает английскую булавку, которой заколот нагрудный карман, и вынимает кошелек, завернутый в два носовых платка — красный и белый. Такие люди никогда не будут бременем для других. Так вот Бьяртур — его-то я знаю, как самое себя, — он не гонится за приключениями или за наживой, не

подхалим, — это надежный, честный человек, который никому ничего не должен. Таких людей не приходится брать на иждивение прихода, такие люди — это плоть и кровь народа».

Роза на это ничего не ответила. Ведь фру поручилась за Бьяртура вскоре после того, как застала с кем-то свою служанку — в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время. Тем не менее от внимания Розы не ускользнуло, что жена старосты была разочарована, заметив, как равнодушно Роза выслушала весь ее рассказ о том, какое участие она, фру, приняла в судьбе Бьяртура и как именно она настояла, чтобы Бьяртуру разрешили купить хутор. Вскоре после этого гостья встала и, поблагодарив за кофе, поцеловала дорогую Розу, опустила вуаль и вскочила на свою Соути.

Глава четырнадцатая
Прощание

После второго похода в горы Бьяртур зарезал старую овцу и посолил мясо в бочонке; он решил приберечь его для воскресных дней и других праздников, какие будут в течение зимы, но иногда он неожиданно получал по воскресеньям

кусок удивительно сочного, нежного мяса и находил его необычно мягким для старой жилистой овцы. Гудлбрау ему так и не удалось отыскать, даже во время второго похода, и Бьяртур стал беспокоиться, высказывал разные предположения и догадки. Он считал наиболее вероятным, что овца, когда ее привязали, обезумела от страха и, вырвавшись на волю, помчалась на юг, в сторону Блауфьедля, так что теперь ее не сыщешь. Он часто спрашивал жену, когда она видела овечку в последний раз, но Роза твердила, что Гудлбрау убежала и скрылась из виду на болоте.

Крестьяне поднялись в горы в третий раз, и Бьяртур собрал всех овец, кроме Гудлбрау. Ему это показалось весьма странным, и он встревожился — совсем как в старой притче о заблудшей овце.

— Такая великолепная овца, — говорил он. — Прекраснейшее животное, с изогнутыми рогами, широкими бедрами, осторожное, мясистое, порода пастора Гудмундура. А взгляд какой! Твердый, недоверчивый: я, мол, самостоятельная овца и в человеке не нуждаюсь… Такие овцы выглядят в горах, как королевны. Они, правда, пугливы, но не убегают неведомо куда, а ищут лучшего и находят его.

Вечером, укладываясь спать, Бьяртур сказал:

— Пусть бы мне приснилась Гудлбрау!

— Но ты же не веришь в сны, — заметила жена.

— Я верю, во что хочу, — резко ответил Бьяртур. — В то, что разумно. Но я не верю в такие сны, от которых наживаешь сердечную болезнь и теряешь бодрость. — Он сердито повернулся к стенке.

Однажды утром он проснулся с таким чувством, будто его желание исполнилось.

— Сдается мне, что Гудлбрау еще жива и с ней ничего не стряслось, — сказал он. — Мне приснилось, что я вижу ее перед собой в маленьком ущелье, где трава еще не завяла. Если бы только припомнить, где это было. Во сне мне казалось, что это знакомое ущелье, что я там бывал раньше, но, как я ни старался, я никак не мог подняться на гору, чтобы узнать, где же нахожусь. Думается мне, что оно, где-то вблизи теплых источников, на юге от Блауфьедля. Овцу-то я узнал. Это была моя Гудлбрау.

— Вот как, — сказала жена, подавая на стол хлеб и остатки воскресного обеда — ребрышки той самой овцы, которая приснилась Бьяртуру.

Была поздняя осень, ливни перемежались с мокрым снегом; холмы уже покрылись белой

пеленой. Пустошь тоже местами побелела, гора надела снежную шапку. Но холода еще не наступили, овцы оставались на подножном корму. Отара Бьяртура паслась вместе с редсмирской, на западе от хутора. На несколько дней выглянуло солнце, снег на горе близ хутора растаял, только на севере ущелья были еще покрыты изморозью.

— Сегодня хороший день для моей Гудлбрау, где бы она ни находилась, — сказал Бьяртур.

Вдруг ударил мороз. Однажды утром оказалось, что болото уже затянуло ледком. Увядшая трава покрылась инеем. Даже на ручье появилась тонкая кромка льда; под ней играли пузырьки воздуха. Какой он был ясный, прозрачный, этот ручеек, струившийся меж обледеневших берегов. Роза стояла на берегу и слушала, как он журчит. Ее ребенок вырастет возле этого ручья, как она выросла у ручья возле мельницы.

Бьяртур сказал ей:

— Милая моя, приготовь мне еды на три дня, пойду-ка я да поброжу по южной части пустоши.

Это было через две недели после первого зимнего дня.

— Оставь эти глупости, — сказала жена. — Я уверена, что овца свалилась в какую-нибудь дыру.

— Свалилась? — переспросил сильно задетый Бьяртур. — Моя Гудлбрау? Овца породы пастора Гудмундура? Словно какой-нибудь несчастный отощавший ягненок? Да ты не в своем уме!

— Ну, тогда она, значит, заболела чумой, — ответила Роза.

— Нет, — сказал Бьяртур. — Не заболела она чумой. И довольно болтать вздор.

— Но ведь на дворе зима. Не знаешь, какой ожидать погоды.

— О, мне не раз случалось обходить пустошь зимой, даже позже, чем теперь; притом ради чужих овец. Никто меня тогда не жалел, да и не за что было жалеть.

— Обо мне ты совсем не думаешь.

— Под периной всегда хорошая погода.

— Как тебе не стыдно!

— Ну, тут и толковать не о чем, — непреклонно сказал Бьяртур. — Как говорится в Библии: одной заблудшей овце больше радуются, чем ста незаблудшим.

— Ну, а если овца погибла от чумы?

— У меня совесть будет нечиста, если я не выясню, жива она или погибла. Может быть, ты хочешь, чтобы меня замучила совесть?

— А если я заболею, пока тебя не будет?

— Ты не заболеешь. Во всяком случае, это случится еще не скоро.

— Что будет, если ты погибнешь в метель?

— Ну, довольно, — сказал Бьяртур. — Я уже сыт по горло этими бреднями. Все это сердечная болезнь. Что бы ни случилось, у тебя все-таки будет утешение, что овцы дома, поблизости от тебя. Накорми собаку как следует. Заверни несколько кружков кровяной колбасы и немного ливерной; недурно будет, если нальешь мне в бутылку холодного кофе, да покрепче.

Роза задумалась на минуту: все же в ее власти одним словом решить, пойдет он или останется. Но она была слишком горда, чтобы воспользоваться этой властью. Вместо этого она прибегла к угрозам — малодейственное средство, чтобы удержать мужа дома.

— Если ты меня оставишь одну, я отправлюсь в поселок.

— В поселок? Нет, ты не захочешь опозориться. Ты ведь самостоятельный человек.

— И все-таки я пойду, — произнесла Роза.

— Пойдешь, пожалуй, если заупрямишься. Овцы упрямы, но куда им до женщин.

— Ты знаешь, что я жду ребенка.

— Я знаю только, что мой ребенок должен ро-

диться после Нового года. А до чужих детей мне дела нет.

— Он давно начал шевелиться.

— Может быть, но это меня не касается.

Что бы жена ни говорила, Бьяртур не уступал ей ни на пядь. Он надел две пары теплых чулок и шерстяную куртку; видя, что жена не собирается готовить ему на дорогу еду, он стал укладывать ее сам. Роза села у плиты, к нему спиной. Ей даже в голову не пришло сознаться, что она зарезала овцу. Бьяртур медлил, возился, будто ждал, что Роза образумится, пробормотал несколько стихов. Но она не образумилась и продолжала неподвижно сидеть.

— Ну, — сказал он. — Я что-то замешкался, время не ждет.

Роза сидела, опустив голову, и не двигалась.

Он еще раз проверил ремни на башмаках, поворчал, стал постукивать костяшками пальцев о потолок и стропила, словно опасаясь, что дом может рухнуть, пробормотал еще несколько строк какой-то поэмы…

— Ну, теперь пора, — сказал Бьяртур.

Никакого ответа, никакого движения.

— Разве оставить тебе собаку, — сказал Бьяртур. — Вряд ли я соберу много овец.

Молчание.

— Я, значит, оставляю собаку, и, прошу тебя, не вздумай никуда уходить. Ты всякому будешь только в тягость, а ведь ты самостоятельная женщина.

Молчание.

— Да чего ты, черт возьми, сидишь как неживая? — крикнул Бьяртур; у него лопнуло терпение. — Успеешь намолчаться в могиле.

Он спустился вниз, кликнул собаку, и та немедленно сообразила, что хозяин отправляется в путь. Титла сначала обрадовалась, что будет сопровождать его, но когда ее позвали в дом, что-то заподозрила и не захотела идти. Больше всего она боялась остаться дома взаперти в отсутствие хозяина.

— Сюда, на место! — крикнул Бьяртур. — Вам, женскому полу, лучше держаться друг возле дружки.

Собака продолжала увертываться, прибегая ко всевозможным уловкам: виляла хвостом, крутила головой, скулила. Бьяртур побежал за ней и наконец нашел ее на замерзшей траве. Она визжала как ребенок, но быстро сдалась, легла на брюхо, мордой в землю, и, завидев приближавшегося хозяина, зажмурилась. Когда Бьяртур

подошел ближе, она легла на спину и, вся дрожа, вытянула лапы. Бьяртур взял ее под мышку и отнес в дом. Здесь он схватил ее за шиворот и, поднявшись на лестницу, бросил через край люка в комнату. Вот она лежит на полу и уже не упорствует, но все еще дрожит.

— Смотри, Роза, — сказал Бьяртур, — вот собака. Запри-ка ты ее, а то она побежит за мной следом. Прощай, дорогая моя! И не срами меня перед этим чертовым старостой, не бегай по хуторам.

Он взял с собой узелок с едой, палку и на прощание поцеловал жену.

— До свидания, моя Роза, — сказал он.

Когда жена почувствовала в его словах тепло, сердце у нее быстро оттаяло, и слезы брызнули из глаз еще прежде, чем она успела встать и поцеловать его.

— Прощай, — шепнула она, вытирая рукавом лицо.

Собака все лежала на краю люка, вытянув лапы.

Бьяртур спустился по скрипучей лестнице, закрыл за собой люк, захлопнул наружную дверь и быстрым шагом направился через покрытое инеем болото к пустоши.

Глава пятнадцатая
Поиски

Бьяртур из Летней обители лучше других знал все отдаленные уголки горных пастбищ, где еще можно было найти овец после облавы в горах. Он вырос на восточном склоне громадной пустоши, а в юные годы пас овец на западном. Теперь, став самостоятельным крестьянином, он жил в одной из долин, много раз им исхоженной; он знал ее вдоль и поперек, изучил ее запахи, ее птиц, бродил по ней и в метель, и в погожие дни в поисках овец, которые тесно привязали его к этой долине. Но для Бьяртура пустошь имела еще и более сокровенный смысл: она была его матерью, его храмом, его миром — тем самым, чем море неизбежно становится для моряка. Когда он один ходил по пустоши в ясные морозные дни ранней зимы, подставляя лицо чистому горному ветру, ему становились понятнее песни о родине, он чувствовал себя выше мелочных будней поселка и наслаждался тем чудесным ощущением свободы, которое по силе своей нельзя сравнить ни с чем, разве только с привязанностью овец к

родным горам, — ведь они так и умерли бы здесь, в горах, если бы собаки не загоняли их в поселок. В такие осенние дни, когда Бьяртур шел от ручья к ручью, от перевала к перевалу, будто его путь лежит через самую вечность, ничто не омрачало гордого взгляда скальда. Ничто так не развивает поэтический дар, как одиночество в горах. Он мог часами ворочать и переворачивать одни и те же слова, пока ему не удавалось уложить их в стихи, — здесь ничто не отвлекало мысль от поэзии. Сегодня, когда он опять встретился на пустоши с ветром, своим старым другом, неприятные мысли о прощании с женой уже не мешали ему наслаждаться той истинной свободой, которой дышала природа. Нет ничего более заманчивого, как отправиться осенью на пустошь, далеко-далеко, и никогда Блауфьедль так не очаровывает своим блеском, как в эту пору. Крылатые летние гости пустоши почти все улетели, только белая куропатка еще здесь, — она низко летает над замерзшим болотом, клохчет и мигает любопытными глазками. Утки почти все улетели на незамерзающие озера или моря: ведь на пустоши все озера и реки уже покрылись ледяной коркой. Одни вороны носятся с карканьем, и их жуткий крик часто служит признаком того, что где-то

поблизости лежит издыхающая или уже мертвая овца. Снега было еще мало, но каменистая почва, на которой никогда не росла трава, уже обледенела. Вот за бугорком мелькнула лиса, а немного позже Бьяртур заметил на мягком снегу следы нескольких оленей.

Бьяртур в этот день побывал в двух долинах: в одной из них, помнилось ему, были покрытые вереском холмы, где могли прятаться овцы, а в другой, вокруг горячего ключа, — поросшее зеленью болото. Но нигде он не обнаружил ни одного живого существа, лишь в южной части долины, пониже болот, увидел семью диких уток, плававших в речке, в свободной ото льда полынье.

Уже вечерело, стало плохо видно. Бьяртур решил держать путь на Блауфьедль: там он знал удобное местечко для ночлега. А завтра он будет продолжать поиски в горах, особенно на южной стороне, где долины более защищены от холода; известны были даже случаи, когда овцы паслись там всю зиму. Уже в начале вечера выглянул месяц, залив своим голубоватым светом хребты и долины; лед, полузанесенный песком, засверкал, как золото. На пустоши стояла совершенная тишина. И в этой тишине, в этом свете, среди этой природы был совершенен и человек, ис-

кавший то, что придавало смысл и содержание его жизни.

Поздно вечером Бьяртур дошел до места своего ночлега — пещеры у подножия Сдрутфьедля. Он сел у входа и поужинал при свете луны. В пещере на мелких камнях лежал большой плоский валун, издавна служивший местом отдыха для путников. Бьяртур сунул себе под голову узелок с провизией и улегся спать. Он был единственным путником, в течение многих лет посещавшим эту пещеру осенью. Бьяртур умудрялся спать в любую погоду на камне без всякого ущерба для своего здоровья. Это место очень нравилось ему. Проспав некоторое время, он проснулся. Его знобило. Озноб этот всякий раз прохватывал его в пещере, но был нестрашен: Бьяртур знал, как избавиться от него. Надо было встать, схватить валун обеими руками и поворачивать его до тех пор, пока не согреешься. Ночью приходилось вставать трижды и поворачивать камень по восемнадцать раз. Во всяком другом месте это считалось бы большим, неудобством, ибо валун весил не менее пятидесяти фунтов, но Бьяртуру казалось, что перевернуть валун пятьдесят четыре раза в течение одной ночи — самое естественное дело; ему вообще нравилось передвигать большие камни. Озноб

как рукой снимало, он ложился и снова засыпал с узелком провизии под головой. Проснувшись в четвертый раз, он чувствовал себя отдохнувшим и бодрым, — в это время обычно уже начинало светать, — и немедленно отправлялся в горы, обыскивая все ущелья, а затем, согревшись ходьбой, садился на камень и ел кровяную колбасу.

Бьяртур перебрался через проход в горах и к обеду спустился в долину Рейкья. Земля здесь в некоторых местах теплая, и ее песчаная поверхность дымится, но горячих источников нет. Немного ниже тянутся пустоши, местами окрашенные в красный цвет железистой водой, и к ним спускаются с горных склонов луга, поросшие вереском и травой. Нередко сюда забираются овцы. На этот раз здесь не было ни одной живой твари, кроме птицы, названия которой Бьяртур не знал. Она поднялась с теплого местечка, где приютилась; вероятно, это была одна из тех птиц, которые живут возле горячих источников.

В самой долине было несколько целебных ключей, и Бьяртур направился к ним, чтобы вволю напиться. Он верил, что эта вода изгоняет из тела все вредные жидкости, очищает кровь и печень, предупреждает заболевания, и считал необходимым, по крайней мере, один раз в год напиться

этой воды.

Бьяртур решил отправиться на восток, чтобы обыскать все известные ему ущелья, которые спускались к протекавшей на пустоши реке Йекуль, и переночевать в горной хижине на восточном краю пустоши. Путь предстоял далекий. Мороз был не сильный, но небо заволокло тучами. Попозже, днем, выпал густой снег. Бьяртур шел по западному берегу Йекули; по ту сторону реки уже тянулись пастбища другого округа. Овцы редко переходят эту реку — многоводную, глубокую, с сильным течением от самых истоков и до ледника. Но река делала много излучин, заросших кустарником, — здесь овцы часто прятались до глубокой зимы.

В долине, на пути между поселком и ледником, некогда стоял хутор. С давних пор в нем никто не жил, так как, по слухам, здесь водилась нечистая сила. Река текла быстро и теперь, в метель, казалась темной; она неслась с шумом, который был слышен издалека. За густой снежной завесой темнота была еще гуще, чем обычно. Снег падал большими белыми хлопьями и вскоре покрыл плотной пеленой всю землю. Идти стало труднее. Мороз крепчал, и казалось, что весь этот холод несет с собой замерзающая, быстро бегущая Йе-

куль.

Бьяртур понял, что в потемках бесполезно искать овцу. Пурга все усиливалась, ландшафт становился угрюмее. Он начал волноваться за своих ягнят, которые паслись дома и могли погибнуть, если их застигнет метель. Но вернуться сейчас домой через пустошь только затем, чтобы позаботиться о ягнятах, он считал неразумным, — наступает ночь, надвигается вьюга, а сам он устал от долгой ходьбы по горам. И он решил, что самое благоразумное держаться своего первоначального плана — идти левым берегом Йекули по направлению к горной хижине и там заночевать. Но человек не всегда знает, где он очутится в ближайшее время; иногда какая-то, казалось бы неправдоподобная, случайность разрушает самые точные расчеты. Так было в ту ночь и с Бьяртуром из Летней обители. Как раз когда он собрался пересечь одно из многочисленных ущелий, прорезавших склоны гор, он вдруг заметил несколько легконогих животных, прыгающих по краю ущелья, невдалеке от него. Они остановились у самого берега. Бьяртур увидел, что это олени — один самец и три самки. Некоторое время они топтались по берегу — самец у самой реки, а самки позади, как бы под его защитой; все

повернулись рогами к ветру, задом к человеку, так как ветер дул с реки.

Бьяртур остановился на краю ущелья и стал внимательно рассматривать оленей. Они все время меняли положение, но так, что он видел их только сзади. Это были великолепные животные, очевидно еще совсем молодые. Бьяртур подумал, что ему как будто повезло. Неплохо бы поймать хоть одного оленя, лучше всего самца, так как, судя по размерам, в нем должно быть много мяса. Ведь оленина — самое лакомое блюдо из всех, что подаются на барский стол. Если даже Бьяртур не отыщет овцы, его вылазка оправдает себя, — стоит только поймать оленя. Но если он поймает самца, как его убить, чтобы кровь не вытекла на землю? Ведь из оленьей крови можно приготовить превосходную колбасу. Лучше всего было бы привести оленя домой живым. И Бьяртур стал шарить в карманах, чтобы достать два предмета, столь необходимых для путника: нож и кусок веревки. Он нашел и то и другое — толстый моток веревки и складной нож — и подумал про себя: «Теперь я наброшусь на самца и свалю его; проткну ему нос ножом, продену в отверстие веревку и сделаю из нее узду. Тогда будет нетрудно вести его за собой через пустошь, по крайней

мере, до того места, которое легко заметить. Там я его привяжу и оставлю, а сам пойду в поселок за подмогой. Отсюда до Летней обители всего день пути для пешехода». Выработав план нападения, Бьяртур, согнувшись, стал красться через ущелье и вскоре подошел к оленям, стоявшим на узкой полоске земли между ущельем и рекой.

Он осторожно вскарабкался на край ущелья и увидел, что между ним и оленями не больше двенадцати футов. В нем заговорил инстинкт охотника, у него даже сильнее забилось сердце. Он вскарабкался еще выше по склону, до самого верха, медленно подкрался к самцу и, ступив на полшага вперед, набросился на него и схватил за один из рогов у самого основания. При неожиданном появлении человека животные вздрогнули, подняли голову, навострили уши. Самки галопом понеслись сквозь метель вниз к реке. Олень сначала хотел бежать с висевшим на его рогах Бьяртуром, но Бьяртур уперся, и олень не мог высвободиться; как он ни мотал головой, ему не удалось стряхнуть с себя человека. Вскоре Бьяртур заметил, что хватка его недостаточно крепка, — рога оленя как будто смазаны чем-то скользким, и ему не удержать их. Олень был слишком проворен, и Бьяртур не мог

найти другой точки опоры. Под конец он даже начал сомневаться, удастся ли ему справиться с оленем, — ведь рога — опасное оружие, и если они вонзятся ему в кишки, это будет сомнительным удовольствием. Так началось единоборство между оленем и Бьяртуром. Однако олень явно находился в более выгодном положении, чем его противник. Он даже протащил Бьяртура по берегу на порядочное расстояние. Вдруг Бьяртур вспомнил прием, который научился применять к необъезженной лошади еще в детстве: побежать рядом, а затем вскочить ей на спину. Бьяртур так и сделал. В следующее мгновение он уже сидел верхом на олене, держась за его рога, — позже он рассказывал, что на легконогих оленях ездить верхом труднее, чем на любом другом из известных ему животных: он потратил немало сил, чтобы не свалиться на землю. Но эта прогулка верхом продолжалась недолго. Пробежав некоторое расстояние со своей неприятной ношей и не будучи в силах стряхнуть ее с себя, олень быстро сообразил, что надо решиться на самые отчаянные меры. И вот он совершает быстрый скачок в сторону, бросается в Йекуль и сразу выплывает на такую глубину, где ему легче плыть.

Да! Бьяртур отправился разыскивать овцу, а

получилось из этого целое приключение: сидит он по пояс в воде в Йекули, и не на лошади, а на таком ретивом скакуне, на каком мчались самые знаменитые искатели приключений. Гордился ли Бьяртур этим приключением? Нет, ему это и в голову не приходило. У него не было досуга размышлять о своеобразии и необычности своего путешествия: все свое внимание он сосредоточил на том, чтобы сохранить равновесие и удержаться на спине оленя; изо всех сил вцепившись в рога оленя, он старался возможно крепче прижать ноги к его бокам. Бьяртур жадно глотал воздух, в глазах у него темнело. Некоторое время оленя относило течением вниз; казалось, что он и не думает выходить на берег. По другую сторону реки берег поднимался высокой кручей и лишь изредка был виден сквозь туман. Бьяртуру чудилось, что он несется на утлой лодке, без весел, посреди океана. Иногда течение захлестывало оленя, и тогда вода доходила Бьяртуру до подбородка; она была нестерпимо холодна. У Бьяртура закружилась голова, и он не знал, что произойдет раньше — потеряет ли он сознание, или олень нырнет в реку. И в том и в другом случае всему конец. Так они плыли по реке Йекуль.

Глава шестнадцатая
Римы

Наконец Бьяртур почувствовал, что олень собирается выйти из воды, и, осмотревшись, сообразил, что они держатся довольно близко к восточному берегу реки, всего на расстоянии нескольких локтей от закраины льда. Некоторое время они еще плыли вдоль обледенелого берега, который везде высился крутой стеной над скользкой ледяной кромкой, так что выбраться на него казалось невозможным. Бьяртур понял, что умнее всего будет выждать, пока олень приблизится к берегу, соскочить с его спины и сделать попытку выкарабкаться на лед: оставаться в холодной воде было уже невозможно. Но он отдавал себе полный отчет в том, что этот прыжок смертельно опасен. Наконец олень очутился на расстоянии локтя ото льда, и Бьяртур воспользовался случаем: выпустил рога и соскочил в воду. Здесь Бьяртур расстался с оленем. Больше он его не видел и с тех пор питал отвращение к этой породе животных.

Бывали минуты и тогда и позже, когда Бьярту-

ру казалось, что олень был не кто иной, как сам дьявол Колумкилли.

По краю ледяная полоса была некрепка, лед трещал под тяжестью Бьяртура, которого чуть не унесло вместе с отломившимися кусками. Но так как, по-видимому, ему было написано на роду еще пожить, то ему удалось уцепиться за более надежный лед и наконец выбраться из воды. Он весь дрожал, у него зуб на зуб не попадал; на нем не было сухой нитки. Долго оставаться на этой узкой кромке льда было небезопасно, и Бьяртур старался поскорее подняться на берег. Это тоже было рискованно, так как крутой берег сильно обледенел, и если бы у Бьяртура соскользнула рука или нога, то конец мог быть только один. Так как Бьяртур ослабел после вынужденного купания, ему с большим трудом удалось вскарабкаться по крутому. И вот он стоит, цел и невредим, на восточном берегу Йекули — на пастбище, принадлежащем другому округу. Он снял свою куртку, отжал ее, затем начал кататься по снегу, чтобы обсушиться, и снег показался ему теплым по сравнению с водой Йекули. Время от времени он вставал и усердно размахивал руками, чтобы согреться. Вскоре он понял, какую шутку сыграл с ним олень, проволочив его по реке. Во-первых,

Бьяртур лишился ночлега в горной хижине на западном берегу. Но это было не так важно, — больше его беспокоило то, что он вдруг очутился на восточном берегу Йекули, тогда как путь его пролегал по западному берегу. У Бьяртура была лишь одна возможность перебраться на другой берег реки: сделать большой крюк в противоположном от дома направлении и спуститься к парому. Но оттуда, по крайней мере, пятнадцать часов ходьбы до ближайшего хутора в долине Йекули. Даже если он будет шагать и днем и ночью, это приключение отнимет у него не меньше двух суток — это в такую-то погоду! А его ягнята еще не в загоне.

У Бьяртура ныло все тело, хотя он не хотел признаться себе в этом, а мокрая одежда плохо защищала бы его от мороза, если бы он решил закопаться в снег. По мере того как снежинки становились все более острыми и колючими, мороз крепчал. Снегу наметало все больше и больше. Его верхняя одежда так задубела, что холод не мог добраться до белья, пока он находился в движении. Ресницы и борода заиндевели. В узелке осталось полтора кружка кровяной колбасы, совершенно замерзшей. Палку он потерял. Не было видно ни зги. Тьма так сгустилась, что

казалось, ее можно резать ножом. Ветер дул с востока, прямо в лицо. Бьяртур вновь и вновь спотыкался о кочки, проваливался в канавы, где снега намело почти по пояс. Снежинки носились вокруг Бьяртура, как зола по ветру. Одно было у него преимущество: сбиться с пути он уже не мог, так как слева от себя слышал тяжелый, угрюмый шум несущейся реки.

Чем хуже он себя чувствовал, тем сильнее ругался, и все время вспоминал о знаменитых битвах, которые воспеваются в римах старинных поэтов. Он беспрерывно бормотал сквозь зубы самые сильные строфы, особенно выделяя описания таких демонических героев, как Гримур и Андри. Долго ему казалось, что он сражается с Гримуром; ему чудилось, будто он уже давно воюет с этим проклятым дьяволом из Трольгама. Но теперь бой будет решающий. Он мысленно проследил весь отвратительный жизненный путь Гримура, начиная с того мгновения, когда гадалка Гроуа застала его на берегу. Бледный от злости, он замышлял коварные козни. Бьяртур описывал его словами скальдов — этого злобного демона, этого колдуна. Вот он рычит, по пояс уйдя в землю, изо рта у него пышет пламя. Человеку не под силу его одолеть:

Вышел оборотень в ночь
добывать харчи,
человечинки не прочь
он пожрать в ночи,
выпить кровь и вынуть душу,
поглодать мосол —
вспенил море, вздыбил сушу,
в адской пляске дик и зол.

К этому черту у Бьяртура не было ни малейшего сострадания. Каждый раз, когда Бьяртур падал в канаву, он не сдавался, а с удвоенной энергией выкарабкивался и шел дальше, стискивая зубы и осыпая проклятиями Гримура, его извергающую пламя пасть. Он твердо решил не успокаиваться, пока не загонит Гримура в самый далекий закоулок ада, пока не пронзит его мечом, пока тот не начнет извиваться в смертных судорогах под пляску земли и моря.

Вновь и вновь казалось ему, что он покончил с Гримуром, отправил его в ад и напутствует его бессмертными словами поэта. И все же на следующем привале метель снова с неослабевающей силой била в лицо Бьяртуру, она впивалась когтями в его глаза и лицо, злобно выла ему в уши

и пыталась свалить его на землю. Борьба продолжалась, он бился один на один с чудовищем, которое так бушевало, что сотрясалась земля:

Головой диавол тряс,
гром и вой — землетряс,
камни взвыли — чертов пляс,
морда в мыле выше глаз…

На сей раз Андри воевал против Гарека:

…по колени рта оскал,
в снежной пене зубья скал —
Андри прыгал, скакал,
Андри Гарека искал.

Вихрь, пламень, свист, шип,
сталь о камень — скрежет, скрип:
Гарек меч занес — и сшиб
медный чан с гранитных глыб.

Только Андри нипочем,
он орудует мечом,
колдовской силой горд,
рвется в бой безглавый черт.

И так далее, снова и снова.

Нет, нет, не удастся этим дьяволам уйти от заслуженной кары. Кто когда-либо слышал, чтобы Гарек, или Хрольв Пешеход, или Берноут потерпели поражение в решающей битве? Точно так же никто не посмеет сказать, что Бьяртура из Летней обители одолели чудища, сколько бы раз он ни падал с кручи и ни скатывался в канаву. «Я буду бороться до последнего вздоха, как бы ни свирепствовал ветер!» Наконец он остановился и прислонился к ветру, как прислоняются к стене, но ни ветер, ни он не могли сдвинуть с места друг друга. Тогда Бьяртур решил лечь в снег и отдохнуть; он начал искать защищенное место в глубоком ущелье. Руками он вырыл себе углубление в сугробе, съежившись уселся в нем и стал сгребать снег, чтобы закрыть отверстие. Но снег был недостаточно плотный, он никак не держался, а у Бьяртура не было ничего под рукой. Получилось плохое убежище, снег тотчас же обвалился. Бьяртур не мог долго оставаться в сугробе — его пронизывал холод, он начал коченеть, все тело его застывало, и, что еще хуже, им овладевала сонливость, которой он не мог превозмочь, — тот заманчивый сон в снегу, который делает такой легкой смерть во время метели. Главное — не поддаваться искушению, которое

манит нас в страну тепла и покоя. Обычно Бьяртур, чтобы не поддаться соблазну и не задремать на снегу, читал или пел во весь голос все непристойные стихи, какие он запомнил с детства, но обстановка не располагала к пению, и голос у него часто срывался, а сонливость продолжала окутывать его чувства и сознание туманной дымкой. Перед мысленным взором Бьяртура проходили образы людей, пережитое им самим и вычитанное в старинных поэмах, дымящаяся конина на большом блюде, блеющие овцы в овчарне, переодетый богатырь Берноут, легкомысленные пасторские дочки в шелковых чулках. И наконец он незаметно для себя растворился в другом человеке и превратился в Гримура Гордого, брата Ульвара Силача. Король, отец этих братьев, уже стариком женился на молодой королевне. Женщина, которой было скучно в постели по ночам, затосковала. Но вот однажды она обратила свой взор на королевича Гримура Гордого, затмевавшего всех мужчин в королевстве своей красотой, силой и мужеством. Молодую королеву охватила такая любовь к этому замечательному юноше, что она не могла ни есть, ни спать. Наконец она решила навестить Гримура в его спальне ночью. О старце-короле, отце Гримура, она говорила с

ним зло и насмешливо:

Что пользы мне от королевства! —
король обрек меня на девство,
ворочается еле-еле
старик бессильный на постели.

Но Гримуру это посещение не пришлось по вкусу, и еще меньше понравились ему такие бесстыдные речи. Он долго пытался образумить свою мачеху.

Мол, он никак не может встать,
пред очи светлые предстать,
преподнести достойный дар,
мол, нынче сам он слаб и стар.

Раньше, чем Гримур Гордый успел опомниться, случилось вот что:

От вожделения шалея,
монаршей чести не жалея, о
на в постель к нему упала
и забралась под одеяло.

Только теперь Гримур Гордый понял, как непозволительно ведет себя королева. Вскочив, он гневно оттолкнул женщину:

Озлясь, потомок королей
пощечину отвесил ей,
державца благородный сын
жену-блудницу спинул с перин.

Упала королева на пол,
из глаз притворный стыд закапал,
но он вскричал: — Напрасный труд!
Свинье под стать подобный блуд!

— Черт тебя побери! — крикнул Бьяртур. Он теперь стоял, выпрямившись в сугробе, оттолкнув от себя развратную королеву, несмотря на все ее искусные уловки. Слыханное ли дело, чтобы герои поэм решались на блуд, на прелюбодеяние. Ведь это всегда кончается тем, что они празднуют труса в битве. Все эти молодцы чувствуют себя великими героями в объятиях женщины, а в бою они последние трусы. Никогда никто не услышит о Бьяртуре из Летней обители, что он на поле битвы повернулся спиной к своим врагам, чтобы развлекаться с какой-нибудь дрянной королевой. Бьяртур рассердился. Он отчаянно барахтался в снегу и изо всех сил хлопал себя руками; он не успокоился до тех пор, пока не превозмог той коварной истомы, когда тело просит блаженного

покоя, зовет сдаться, сложить оружие.

Некоторое время Бьяртур продолжал двигаться, чтобы согреться, и наконец засунул себе под одежду кружок замерзшей кровяной колбасы. Он согрел ее на своем теле и, зажав в кулак, стал есть во мраке беспощадной зимней ночи, со снегом в виде приправы.

Это была бесконечно длинная ночь. Редко приходилось ему читать так много стихов в течение одной ночи. Он прочел все стихи своего отца, все старинные поэмы, известные ему, все собственные искусно сложенные песни — те, что можно читать взад и вперед, на сорок восемь ладов, — целую серию непристойных куплетов, один псалом, которому его научила мать, и все те шуточные стихотворения, которые испокон веков были известны в тех краях, — о старостах, купцах и судьях. Время от времени он вылезал из сугроба и хлопал себя по груди и плечам, пока не начинал задыхаться.

Он так боялся замерзнуть, что решил покинуть свой сугроб. Должно быть, утро уже приближалось, и мало радости было провести целый день в снегу, без пищи, вдали от человеческого жилья. Он снова пустился в путь. Сначала он шагал, подняв голову и держась против ветра, но, взо-

бравшись на перевал над ущельем, уже не мог устоять на ногах и стал продвигаться ползком, на четвереньках, скатываясь по каменистым склонам в ущелья и овраги. На нем уже не было рукавиц, и пальцы у него совершенно онемели.

Следующей ночью, когда жители Бруна, ближайшего хутора в долине Йекули, давно спали, — вьюга свирепствовала уже больше суток, — случилось, что хозяйка проснулась от шума возле окна — какого-то стона и стука. Она разбудила мужа, и они решили, что это стучит разумное существо, хотя на таком отдаленном хуторе меньше всего можно было ожидать гостей в пургу. Человек это или дьявол? Хозяева накинули на себя одежду и с лампой в руках пошли к дверям. Когда они открыли наружную дверь, к их ногам с сугроба свалился человек, — если его можно было назвать человеком; закованный в ледяной панцирь, он вкатился к ним, как снежный ком, и лицо его было покрыто коркой льда. Весь в снегу, он сел на корточки, прислонился к стенке и голова его бессильно упала на грудь, — будто какое-то чудище загнало его в эту дверь, потеряв надежду окончательно доконать его. Свет лампы падал на гостя. Он тяжело дышал, из груди вырывались хриплые стоны; он пытался

откашляться и сплюнуть. Хозяин спросил у гостя, кто он и откуда пришел. Человек попытался подняться и назвал свое имя: Бьяртур из Летней обители. К этому времени сын хозяина тоже встал. Отец и сын хотели отвести гостя в комнату, но он отказался от помощи.

— Я сам пойду, — сказал он.

Бьяртур лег поперек кровати хозяйского сына и сначала не отвечал на вопросы, только что-то бормотал, как пьяный, и пыхтел, как пыхтит бык, прежде чем замычать. Наконец он проговорил:

— Я хочу пить.

Хозяйка подала ему миску молока, литра в полтора. Он поднес ее ко рту и выпил. Возвращая ей миску, Бьяртур сказал:

— Большое тебе спасибо, мать.

Это была пожилая женщина. Лампа в ее руках, молоко, которое она поднесла ему, — все напомнило ему мать. Теплыми руками она счистила лед с его бороды и бровей, стянула с него задубевшую одежду, умело отыскала отмороженные места, — пальцы на его руках и ногах были совершенно бесчувственными, а обмерзшая кожа горела. Однако особых повреждений как будто не оказалось. Когда его ледяной панцирь растаял, он улегся нагишом в теплую постель мальчика и

с головой укрылся периной; редко он чувствовал себя так хорошо. Когда женщина вышла, чтобы приготовить еду, отец и сын подсели к гостю, растерянно глядя на него, будто не веря в это диковинное явление и не зная, что сказать. Наконец заговорил гость. Он спросил из-под перины хриплым голосом:

— Овец с пастбища убрали?

Хозяева ответили, что овцы уже в овчарне, и сами спросили его, как это он очутился здесь, на пустоши, в такую убийственную для человека погоду?

— Для человека? — сварливо спросил Бьяртур. — Подумаешь, какая важность! Мне всегда казалось, что главное — овцы.

Они продолжали расспрашивать его.

— Я, знаете ли, отправился на пустошь ради собственного удовольствия — поискать одну из своих ярок. Вот я и поднялся на перевал.

Немного помолчав, он прибавил:

— Здорово задувало сегодня.

— В прошлую ночь было не лучше, — сказали они. — Ну и погодка! Настоящий ураган!

— Да, — согласился Бьяртур. — И прошлой ночью было ветрено.

Хозяева спросили, где он ночевал, и Бьяртур

ответил:

— В снегу.

Особенно им хотелось узнать, как он перебрался через Йекуль. Но об этом Бьяртур не хотел говорить.

— Хорошего мало, когда в такую погоду ягнята еще на пастбище, — угрюмо сказал он.

Они ответили, что на его месте не стали бы заботиться об овцах, а благодарили бы создателя, что он остался жив.

— Сразу видно, — ответил Бьяртур, — что вы люди зажиточные. А я еще только борюсь за свою самостоятельность. Восемнадцать лет я проработал, чтобы обзавестись этим маленьким стадом, и если оно погибнет под снегом, то уж лучше мне самому там погибнуть.

Когда женщина принесла ему ужин в постель, он наелся до отвала, откинулся на подушку и тут же заснул. Раздался громкий храп.

Глава семнадцатая
Возвращение домой

На пятый день под вечер Бьяртур перебрался через болото. Он был удручен, считал свой поход позорно неудачным; об участи оставшихся на

пастбище овец думал то с надеждой, то со страхом. В довершение всего он не видел на хуторе даже маленького огонька, который приветствовал бы его возвращение. Дом был занесен, никто не отгреб снег от окна и дверей. В сугробе не было лаза. Труба не дымилась. Он добрался до дома, очистил окно от снега и крикнул:

— Роза, подай мне лопату через дверь.

В комнате отчаянно завыла собака. Это был единственный ответ на его слова. Бьяртур продолжал звать жену. Собака прыгнула на окно и стала царапать лапой по стеклу. Бьяртуру пришло на ум, что, может быть, жена заболела. Ему стало не по себе, он стремительно ринулся к сугробу, завалившему дверь, и изо всех сил стал руками разгребать снег. Это была трудная работа, но наконец ему удалось освободить дверь настолько, что он мог пролезть сквозь щель.

Когда Бьяртур поднялся по лестнице, собака вскочила как бешеная и бросилась к нему с таким воем, будто ей наступили на хвост. В эту пору рано темнеет. В комнате царила кромешная тьма. Окна были засыпаны снегом. Бьяртуру пришлось двигаться ощупью. Он еще не сделал и шага по полу, как его нога натолкнулась на какой-то мешок. Он выругался — как обычно, когда спотыкался.

— Что за черт!

Бьяртур долго искал спички, и когда наконец нашел их, оказалось, что лампа выгорела, стекло почернело от копоти. Когда он заправил лампу и фитиль впитал в себя масло, он сразу увидел, что случилось: споткнулся он, оказывается, о свою жену. Она лежала на полу без признаков жизни, в луже застывшей крови. Видно, она поднялась для какой-то надобности с постели, но у нее не хватило сил опять добраться до нее, и она упала. В руках у нее было мокрое от крови полотенце. Глядя на труп, Бьяртур понял, что произошло. Когда он окинул взглядом постель, собака вдруг вскочила, и он увидел, что из-под ее брюха выглядывает крошечное желтое личико, с закрытыми глазками, сморщенное, как у старика. По этому личику проходила слабая судорожная дрожь; изредка несчастное маленькое существо издавало чуть слышный писк или хрип.

Собака старалась прикрыть маленькое тельце, которое она взяла на свое попечение и которому отдала единственное, что у нее было, — тепло своего голодного, отощавшего, грязного тела. Когда Бьяртур подошел ближе, чтобы посмотреть на маленькое существо, собака оскалила зубы, будто этим хотела показать, что хозяин не имеет

на него никаких прав. Мать, перерезав пуповину, закутала свое бедное дитя в какую-то шерстяную тряпку. Она, видно, поднялась с постели, чтобы приготовить воду и выкупать новорожденного; на плите стояла кастрюля с водой, давно остывшей, так как огонь потух. Но благодаря теплу собаки в этом детском тельце еще тлела искорка жизни.

Бьяртур поднял с пола труп жены и положил его на пустую кровать, стоявшую напротив супружеской. Ему стоило немалых усилий выпрямить тело Розы, так как оно закоченело в том положении, в каком она умерла. Руки упрямо отказывались лечь на груди крест-накрест, помутневшие глаза не хотели закрываться, особенно правый, косящий: все то же упрямство. Но еще труднее ему казалось разжечь искру жизни, оставшуюся в теле новорожденного младенца, — что было гораздо важнее. Он, этот самостоятельный человек, был озадачен. Здесь требовались опытные руки, скорее всего, женские, сам он даже не смел прикоснуться к этому тельцу. Неужели ему придется звать на выручку чужих? Последний его наказ жене был не искать помощи у чужих — ведь для самостоятельного человека это то же самое, что сдаться на милость злейшего врага. И теперь ему,

Бьяртуру из Летней обители, придется самому претерпеть это унижение. Он твердо решил уплатить все, что с него спросят.

Глава восемнадцатая
Утиредсмири

— Куда только меня не заносило в последние дни! — проворчал себе под нос Бьяртур из Летней обители, стучась вечером в дверь кухни на Утиредсмири.

— Ну, вот и ты наконец, — сказал работник, открывший ему дверь; он был в одних носках и держал кусок только что свалянного, еще дымившегося сукна; в Редсмири процветали ремесла. — Мы уже думали, что ты умер.

— Умирать я не собирался, — сказал Бьяртур. — Я ходил искать овцу.

— Да ты что, спятил? — спросил работник.

— У меня пропала в горах овечка.

— Похоже на тебя — бросить здесь, внизу, всех своих овец и подняться в горы за одним ягненком.

— Что ж, может быть, я и оплошал, но ведь в Библии написано, что одна овца, найденная в горах, дороже, чем сто на хуторе, — сказал Бьяртур,

у которого была слабость к тем библейским изречениям, где речь шла об овцах. — Да и недаром ведь живешь рядом с богатыми: авось в непогоду выручат.

Так и оказалось: в тот вечер, когда разгулялась метель, редсмирские пастухи забрали овец Бьяртура вместе со своими. Староста приказал им отвести всю отару в Летнюю обитель на следующее же утро и выяснить, не случилось ли чего с Бьяртуром.

— Овцу-то ты нашел?

— Я, черт возьми, не видел на пустоши ни единой живой твари, если не считать птички над горячим источником к югу от Блауфьедля, — сказал Бьяртур. — Ну, а как ягнята? К сену привыкают?

— Да, принюхиваются понемногу, — сказал работник и обнадежил Бьяртура: пусть не беспокоится, его ягнята скоро научатся управляться с сеном.

Так они болтали, пока в дверях не появилась экономка Гудни: она узнала по голосу хозяина Летней обители и пригласила его в кухню. Не хочет ли он поесть каши или, может быть, конины, спросила она. Бьяртур соскоблил с себя снег перочинным ножиком и отряхнул шапку о дверной

косяк. Кухня была большая, она же служила и людской. Работники занимались каждый своим делом — кто валял сукно, кто обрабатывал конский волос; девушки возились с шерстью. Собаки растянулись на полу. Все здесь были старыми знакомыми Бьяртура, даже собаки. Бьяртур был очень голоден. Работники говорили о неожиданной пурге и о том, как она отразится на овцах.

— Зима, видно, будет лютая, если уже теперь, задолго до рождества, завернули такие холода..

— Как Роза?

— Гм... — пробормотал Бьяртур, у которого рот был полон каши. — Ну и ветер хлестал на восточном берегу Йекули, хоть случалось мне бродить по пустоши и не в такую метелицу.

— На восточном берегу? — удивленно спросили работники. — Так мы тебе и поверили, что ты был на том берегу Йекули.

— А почему бы и нет? Ведь реку можно перейти вброд, даже на пустоши, не все же такие домоседы, как вы.

— Как же ты шатаешься в непогоду по пустоши, когда бедная Роза, говорят, в таком положении?.. — сказала жалостливая экономка.

— Не суй свой нос в чужие дела, Гудни, — с презрительной усмешкой ответил Бьяртур. — Я

сам себе хозяин. Разве ты этого не знаешь? — И он бросил кость одной из собак. — А как хозяйка, уже легла?

Жена старосты приплыла из внутренних покоев, статная, дородная, пышногрудая. Она испытующе посмотрела на Бьяртура сквозь очки, как бы вделанные в толстые румяные щеки, улыбаясь своей холодной, надменной улыбкой — улыбкой, создававшей, несмотря на все ее высокие идеалы и уменье слагать стихи, прочную стену между поэтессой и теми, чье благополучие меньше всего связано с романтикой.

Бьяртур вежливо поблагодарил ее за кашу и конину.

— Ты вряд ли послал за мной, чтобы поблагодарить за ложку каши, — сказала фру, не упоминая о конине.

— Нет, конечно, — ответил Бьяртур. — Мне хотелось бы попросить тебя об одной маленькой услуге. Видишь ли... Нельзя ли нам поговорить с глазу на глаз?.. Я, знаешь, должен еще поблагодарить тебя и твоего мужа за овец. Спасибо, что ваши работники подобрали их, пока я был в горах.

Хозяйка сказала, что он ведь хорошо знаком с порядками на этом хуторе и ему известно, что

уход за животными ее не касается, этим занимаются другие.

— Знаю, — сказал Бьяртур. — Я решил прийти за овцами завтра. Думается мне, что они не объедят старосту. А если весной ему не хватит сена — что ж, долг платежом красен, пусть возьмет у меня.

— Ты бы лучше рассказал мне, как поживает дорогая Роза.

— Вот в том-то и загвоздка. Для этого я и послал за тобой. У меня к тебе дело, хотя и пустяковое.

Фру посмотрела на Бьяртура: у нее явилось подозрение, что он ее о чем-то попросит, — и ее душа мгновенно умчалась от него, как звезда, в холодные бесконечные пространства; здесь же, на земле, осталась только застывшая улыбка.

— Я надеюсь, что и муж может слышать наш разговор? Ради твоего же блага, — решительно сказала фру.

— Да нет, — сказал Бьяртур, — староста такими пустяками не занимается.

Фру повела Бьяртура в комнату старосты, самую маленькую в этом большом доме. Супруги уже давно отказались от общего ложа, и фру спала со своей младшей дочерью Одур. Каморка старосты напоминала убогое жилище, в каком обычно

ютится какой-нибудь несчастный иждивенец прихода, с той только разницей, что одна стена была занята книжной полкой, загроможденной томами правительственных распоряжений в черных переплетах; на корешках белели наклейки с указанием года. Кровать, сколоченная из нестроганых досок, была прибита к стене, как у бедняков, и покрыта старым одеялом из некрашеной шерсти. На полу стояла синяя фаянсовая плевательница в форме песочных часов; над кроватью висела самодельная полка, и на ней пылились разрисованная миска, грубая глиняная чашка и баночка с мазью от ломоты в костях; у стены стоял маленький самодельный столик из нестроганого дерева, на нем — вполне современный письменный прибор, а под окном — большой ящик. К столу было придвинуто старое, потертое кресло без чехла, перевязанное веревками там., где лопнули пружины. На стене висели ярко раскрашенное изображение Христа, портрет русского царя Николая и календарь, на котором была напечатана фамилия купца из Вика.

Староста Йоун лежал на постели, заложив руки под голову. Очки сползли у него на самый кончик носа — он только что читал газету. Староста поздоровался с гостем, издав какой-то неопреде-

ленный звук через нос; рот он боялся открыть, чтобы не вылилась драгоценная табачная жижа. Староста усвоил привычку долго жевать один и тот же кусок табака, чтобы извлечь возможно больше сока из каждого волоконца. Одет он был почти нищенски — в бесформенную заплатанную куртку, всю в пятнах, застегнутую у ворота английской булавкой; к тому же она сейчас была выпачкана землей, и к ней пристали клочки шерсти — признак того, что он только что побывал в овчарне. Штаны, такие поношенные, что ткань вокруг заплаты расползлась и висела бахромой, были заправлены в коричневые шерстяные чулки, а стоптанные башмаки из лошадиной кожи сильно воняли, подтверждая предположение, что он недавно обошел все овчарни. Бьяртур из Летней обители казался куда более представительным, чем этот староста.

Неужели не было никаких примет, которые отличали бы старосту от неотесанного крестьянина? Такие приметы были. Несмотря на его нищенский вид, не могло быть никакого сомнения в том, что этот человек стоит выше других и вершит чужие судьбы. Он сжимал губы, чтобы не выпустить струю табачной жижи: да, он своего не упустит — выжмет сок до последней капли из

всего, что попадет к нему в руки. Необыкновенно ясные, жесткие, холодные серые глаза, правильные черты верхней части лица, широкий лоб под шапкой густых темных волос, начавших седеть только на висках, резко очерченные челюсти и подбородок, бледный цвет лица — признак сидячей жизни, и в особенности тонкие, красивой формы руки, белые и мягкие, несмотря на явную их запущенность, — все это указывало на сильную натуру, более сложную, чем у тех, кто вынужден собственным трудом добывать себе скудное пропитание.

Бьяртур протянул руку своему бывшему хозяину, и староста, как обычно, не говоря ни слова, подал ему два пальца, а остальные три крепко зажал в кулак. За двадцать лет знакомства со старостой Бьяртур выработал особые приемы обращения с ним. Эти приемы вытекали из подневольного положения, в котором находился Бьяртур, вынужденный постоянно обороняться от подозрительного хозяина, — такое положение со временем превращается в страстную жажду отстаивать свое право перед сильным и переходит в борьбу, которая долгие годы ведется с неослабевающим напряжением. О том, чтобы идти на примирение, в таких случаях и речи

быть не может.

Жена старосты попросила гостя присесть на ящик, тут же заметив, что сидеть в кресле никто, кроме старосты, не умеет.

— Тьфу! — с негодованием сказал Бьяртур. — Зачем мне сидеть? У меня будет достаточно времени сидеть, когда я состарюсь, — И прибавил — Я только что говорил хозяйке, милый Йоун, что если зимой тебе не хватит сена, из-за того что твои работники приютили моих овец на две ночи, то ты можешь получить у меня целый воз весной.

Староста осторожно приподнял голову с подушки, чтобы табачная жижа не потекла ни внутрь, ни наружу, и ответил, почти не открывая рта:

— Заботься о собственных делах, парень.

В этом самодовольном и соболезнующем тоне, хотя он и не был открыто оскорбительным, Бьяртуру всегда слышалось, что его относят к последним подонкам человечества, что ему вменяют в вину какое-то преступление, — именно этот тон разжигал его воинственность, стремление к свободе, дух самостоятельности.

— Заботиться о своих делах? Да, будь уверен, я позабочусь о своих делах. Пока еще я ничего не должен тебе, старина, кроме того, что следует по

нашему уговору.

Жена старосты предложила Бьяртуру приступить к делу сразу, если он собирается поговорить с ними, — ведь время уже позднее.

Бьяртур уселся на ящике, как ему было предложено в самом начале, произнес: «Гм», — слегка почесал затылок и скорчил гримасу.

— Дело в том... — начал он, покосившись на хозяйку, как обычно, когда собирался нащупать почву. — Дело вот в чем. У меня в горах пропала овца.

Наступила долгая пауза, и фру посмотрела на него сквозь очки. Потеряв терпение, она спросила:

— Ну и что дальше?

Бьяртур вынул свою табакерку и насыпал на ладонь щепоть.

— Звали ее Гудлбрау, — сказал он. — Прошлой весной ей исполнился год, бедняге. Замечательное животное. Похожа была на вашего Гедлира, это порода пастора Гудмундура. Я всегда стоял за эту породу. Хорошие овцы! Я оставил Гудлбрау жене для утешения и развлечения, когда отправился в первый поход. Овечка сбежала, но при облаве ее почему-то не нашли. Тогда я сказал себе: не лучше ли тебе самому отправиться на юг

через пустошь и поискать маленькую Гудлбрау? Мало ли овец я нашел на юге в горах, уже после облавы, и притом для других, как вам хорошо известно; и не далее чем в прошлом году.

Староста продолжал вопросительно смотреть на него; он никак не догадывался, куда клонит Бьяртур.

— Так вот, значит, отправился я на юг, через пустошь, побывал наверху, на Блауфьедле, в долине Рейкья и затем еще пошел на восток, через Йекуль.

— На восток? Через Йекуль? — удивленно спросила фру.

— Не стоило бы об этом говорить, найди я там какую-нибудь живность. Но, черт меня побери, кроме птички, — она была, видно, из тех, что живут на горячих ключах, — я не видел ни одной живой твари, не считая оленя, которого я не причисляю к животным. На этот поход у меня ушло ровным счетом пять дней и четыре ночи. И что, вы думаете, я застал по возвращении сегодня вечером?

Супруги не могли отгадать эту загадку, да и неохота им было ломать голову. Жена старосты предложила Бьяртуру рассказать наконец, что же случилось.

— Н-да, ты ведь так ценишь поэзию, так я хочу прочитать тебе стишки, — пустяк, который сам собой пришел мне в голову, когда я увидел, что творится на моем чердаке.

И Бьяртур прочитал стихи, делая ударение, по своей привычке, на внутренней рифме:

Овечки я найти не смог —
с мороза околела;
у печки я нашел цветок,
а роза облетела.

Староста медленно повернул голову в сторону Бьяртура и вопросительно поднял брови. Открыть рот и произнести какие-нибудь слова он все еще остерегался. Зато жена старосты спросила:

— Надеюсь, это не следует понимать так, что с Розой стряслась какая-нибудь беда?

— Не могу сказать, стряслась ли с ней беда. Как посмотреть. Но на моей земле она уже не живет.

— Наша Роза? — взволнованно спросила фру. — Ты говоришь, что Роза умерла? Такая молодая женщина?

Бьяртур тщательно втянул в себя понюшку, поднял глаза, слезившиеся от табака, и гордо сказал:

— Да. И умерла в одиночестве.

Услышав эту новость, староста поднялся, спустил ноги на пол и сел на край кровати, все еще продолжая жевать свою жвачку: он считал, что еще не время выплюнуть драгоценный сок.

— Но это еще не самое худшее, — сказал Бьяртур философски. — Смерть — это тот долг, который мы все заплатим, даже вы от него не отвертитесь. На это у всех хватит уменья. Зато так называемая жизнь не всегда нам по средствам… Новая жизнь то и дело появляется на свет, и глупо допытываться об отце, хотя в некоторых случаях интересно знать, кто обязан заботиться о ребенке. И поверьте мне, что не по поводу смерти жены я пришел сюда, — ведь ее уже не воскресишь — но ради бедняжки, которая еле дышит под брюхом у собаки, я пришел к тебе, уважаемая фру. Мне надо… Я хочу кое о чем спросить тебя.

— В чем, собственно говоря, дело, милейший? — спросила фру, и ее улыбка была так же холодна, как и глаза за стеклами очков.

А староста нагнулся над плевательницей и одной струей выпустил слюну до последней капли. Кусок табаку, лежавший во рту, он засунул кончиком языка за щеку, вскинул очки на переносицу и посмотрел на гостя пронзительным взглядом.

— Хотела бы я знать, на что ты намекаешь? — продолжала поэтесса. — Если ты говоришь, что твоя жена умерла от родов и что ребенок жив, скажи это просто, без обиняков. Мы постараемся помочь тебе, как мы помогли многим другим, не думая о плате. Но одного мы требуем: чтобы ни ты и никто другой не являлся сюда с какими-то странными намеками, бросающими тень на меня и на мой дом.

Староста, увидев, что жена взяла это дело в свои руки, успокоился и начал зевать; как всегда, когда у него не было табачной жижи во рту, на него нападала сонливость, взгляд его блуждал, ему становилось скучно. Зато фру не успокоилась, пока Бьяртур не рассеял ее опасения. Да, Бьяртур пришел не за тем, чтобы установить, кто отец ребенка, ожидавшего его в Летней обители.

— Я лучше умею говорить о ягнятах, чем о детях, уважаемая фру, — сказал он извиняющимся тоном. — Но я пришел спросить у тебя, не следует ли, по-твоему, дать несколько капель теплого молока этой крошке, если только она доживет до утра? Я, конечно, заплачу столько, сколько вы потребуете.

Когда недоразумение выяснилось, фру заявила, что ее самая большая и последняя радость в жиз-

ни, даже в эти тяжелые времена состоит в том, чтобы подать руку помощи слабому, укрепить немощного, поддержать просыпающуюся жизнь. Сердце ее целиком принадлежит крестьянину, не только в радости, но и в горе.

Глава девятнадцатая
Жизнь

Жена старосты не ограничилась пустыми обещаниями — в тот же вечер она послала в Летнюю обитель свою экономку Гудни, которая отправилась в путь верхом, в сопровождении Бьяртура. Она захватила с собой молоко в бутылках, примус и пеленки для новорожденного. Бьяртур шел впереди и протаптывал тропку для лошади.

Зловоние — это первое, что отметила Гудни в Летней обители. В овчарне земляные стены отдавали сыростью, пахло испорченной соленой рыбой. Наверху в нос ударял трупный запах и чад от лампы, — фитиль опять высох, и огонек, догорая, чуть-чуть мерцал. Экономка отдала распоряжение проветрить комнату, прикрыла распростертый на кровати труп одеялом и подошла к ребенку. Собака не хотела отдавать его, — сама голодная и иссохшая, она заслоняла

новорожденного своим телом, как мать, но никто и не подумал оценить ее преданность. Она даже порывалась укусить экономку. Пришлось взять за шиворот воющую собаку и выкинуть ее на лестницу. Теперь ребенок уже не проявлял никаких признаков жизни. Гудни поворачивала его во все стороны, опускала головой вниз, отнесла его к двери и выставила наружу, лицом против ветра, — но все напрасно: маленькое сморщенное существо, явившееся на свет незваным и нежеланным, казалось, уже потеряло мужество и охоту отстаивать свои права в этом мире.

Экономке, овдовевшей в молодости, не хотелось верить, что ребенок умер. Она хорошо знала, что значит рожать на хуторе, в горах, под вой метели. Гудни поставила на примус кастрюлю с водой — второй раз уже кипятили воду для новорожденного. Когда вода согрелась, женщина выкупала младенца, погрузила все тельце в теплую воду, так что торчал только один носик, и на некоторое время оставила его лежать. Бьяртур спросил, не собирается ли она сварить ребенка, но Гудни даже не слышала его вопроса. Жизнь к новорожденному не возвращалась. Тогда Гудни подняла младенца за ножку и стала вращать его в воздухе головой вниз. Бьяртур забеспокоился.

Он внимательно следил за всем происходящим, и ему казалось, что пора перестать мучить ребенка, — он решил просить пощады для этой крошки.

— Ты что, хочешь вывихнуть ей бедро, чертовка?

Тогда Гудни, только сейчас, по-видимому, заметившая его присутствие, сказала:

— Убирайся. Я запрещаю тебе входить сюда, пока не позову. Бьяртура впервые выгоняли из собственного дома. При иных обстоятельствах он возражал бы против такой нелепицы и попытался бы вбить в голову Гудни, что ничего ей не должен, но теперь он, как побитая собака, покорно ушел той же дорогой, что и Титла, стараясь сделать это незаметно. Он не знал, чем ему заняться в потемках. Он был изнурен всеми пережитыми мытарствами и чувствовал себя таким несамостоятельным, таким лишним на этом свете. Ему даже думалось, что живые, по сути дела, иногда скорее могут оказаться лишними, нежели мертвые. Вытащив из стога охапку сена, он разостлал его на полу и улегся, как пес. Все же он, наконец, у себя дома.

Утром Бьяртура разбудил детский плач. Когда он поднялся наверх, экономка сидела на его су-

пружеской кровати с младенцем на коленях. Она расстегнула кофту, чтобы теплом своей груди согреть ребенка; а против нее на кровати лежала мертвая жена Бьяртура, мать новорожденного. Гудни завернула в тряпочку клочок шерсти и приладила эту соску к горлышку бутылки: она учила ребенка сосать. Бьяртур остановился среди комнаты и смущенно смотрел на эту сцену, — в нем было задето чувство стыдливости; но потом его бородатое обветренное лицо и воспалившиеся на ветру глаза осветились улыбкой.

— Вот твоя дочь. Цела и невредима! — сказала Гудни, гордясь тем, что пробудила жизнь в этой малютке.

— На то похоже, — сказал Бьяртур. — Бедняжка!

Он с удивлением рассматривал слабое, хрупкое создание, лежавшее на коленях у Гудни.

— Нельзя же было ожидать, что она сразу станет на ноги, — произнес он, почти извиняясь. — До чего, скажите на милость, жалок человек, когда видишь его, как он есть!

— Ах ты, малютка, — сказала экономка, ласково гладя ребенка. — Какое имя придумает тебе отец?

— Ну, уж так или иначе, а отцом я ей буду, этой

крошке, и она получит красивое имя.

Гудни промолчала; она сунула ребенку в рот соску и начала баюкать его. Бьяртур некоторое время смотрел на них, что-то про себя обдумывая, наконец решительно произнес:

— Ну, все в порядке, — и дотронулся до детского личика своей сильной заскорузлой рукой, повергшей во прах самого дьявола.

— Ей будет дано имя Ауста Соуллилья[24].

Он гордился тем, что у этой крошки нет никого на белом свете, кроме него, и твердо решил делить с ней и горе и радость.

— И больше об этом говорить не будем, — сказал он как бы про себя.

Хлопот у него был полон рот. Овцы еще оставались в Утиредсмири. Надо было позаботиться о похоронах, о гробе, о пасторе, о носильщиках, о поездке в город, о поминках.

— Я вот что хотел сказать, милая Гудни: не поможешь ли ты мне замесить тесто? Надо испечь пирог для поминок. Положи туда изюм и те большие черные штучки — сливы, или как вы их там называете. Экономию не наводи. Я заплачу. Оладий напеки столько, чтобы все могли вволю

---

[24] Примечания: 24

Ауста Соуллилья — Ауста — любовь, Соуллилья — солнечная лилия *(исл.). (Прим. Л. Г.).*

наесться. А кофе — самый крепкий, черный как деготь. Я не желаю, чтобы на поминках моей жены гостей потчевали какой-нибудь бурдой.

Глава двадцатая
Хлопоты

Все считали непреложной истиной, что в Летней обители вновь бесчинствует привидение, и Гудни, чтобы не оставаться там одной, послала за работницей. О смерти Розы возникли таинственные слухи, чем дальше от Летней обители — тем таинственнее. Все принимали эти слухи на веру — ведь пустынная местность, где стоял хутор, исстари пользовалась дурной славой. Раз в первый же год жизни на хуторе приключилась такая беда, то и дальнейших событий все ждали с большой опаской. Председатель приходского совета, повстречавшись с Бьяртуром в поселке, в разговоре с ним как бы между прочим заметил, что у него-де в любое время может освободиться место работника, а также намекнул, что трудности, ожидающие Бьяртура на хуторе, рано или поздно могут отразиться на всем приходе. Бьяртур уже вдовец, с грудным младенцем на руках, — и что же дальше? Поговаривают, что

можно было бы упросить хозяев Утиредсмири взять на воспитание ребенка, даже без обычной платы, но с тем условием, что земля будет им возвращена.

— Я бы сказал, что это называется дешево отделаться.

Бьяртур подумал, что если хозяева Редсмири обратились к нему с предложением, пусть даже окольным путем, то на это, видно, есть причины.

— Может статься, — сказал он, — что вы, начальство, называете это дешево отделаться — послать своих детей на воспитание в Утиредсмири. А по-моему, это совсем не дешево. Я ведь сам был на воспитании у редсмирцев целых восемнадцать лет. А теперь я человек самостоятельный, свободный подданный нашей страны, я выполняю свой долг перед людьми и богом, так уж сам буду воспитывать своих детей, а не отдавать их на воспитание в Редсмири.

— Может ведь случиться и так, — сказал председатель приходского совета, — что ты, при всем желании, не сможешь разделаться с долгами, особенно если тебе придется нанять работниц, чтобы косить траву на пустоши. И что же останется тогда от твоей самостоятельности? А с другой стороны, в услужении тебе жилось бы

прекрасно.

— Восемнадцать лет мне понадобилось, чтобы собрать стадо и добиться права на покупку земли. Я построил себе дворец — пусть не королевский из мрамора и порфира, но все же дворец, и на таком фундаменте, который закладывался восемнадцать лет. Пока я не должен ни приходу, ни купцу и выплачиваю старосте взносы за свою землю — мой дом такой же дворец, как твой или старосты. Мне никогда не было дела до детей старосты, и я не подымал шума из-за того, чье имя они носят. Но зато я требую, чтобы и староста не совал свой нос в мои дела и оставил в покое моего ребенка, как бы я его ни окрестил. Передай привет ему и всем остальным.

В тот же день Бьяртур отправился в Стадур к пастору, которого уважал за великолепную породу овец, выведенных им в приходе. Бьяртура попросили пройти в комнату, насквозь прокуренную; там пастор большими шагами расхаживал взад и вперед, занятый подготовкой к проповеди и своей хозяйственной отчетностью; он останавливался очень редко и садился еще реже. Это был седой тучный старик, с сизым носом, сварливый и деловитый, он вечно куда-то торопился и напускал на себя важный вид. Пастор происходил из

старинного знатного рода. В молодости у него был приход на юге, но большую часть своей жизни он прожил здесь. Время шло, и пастор стал состоятельным человеком и рачительным хозяином, хотя в присутствии крестьян всегда презрительно отзывался о земных благах и скрывал свои познания в сельском хозяйстве. Пастор вообще был скуп на слова, как большинство людей, у которых много дела; он считал вздором все, что говорил его собеседник, был строг в суждениях и обо всем имел собственное мнение, от которого отступался, как только другие соглашались с ним. К людям пастор относился крайне недоверчиво, от него редко можно было услышать хороший отзыв о ком бы то ни было, кроме датской королевской фамилии, которую он наделял всевозможными талантами и добродетелями, особенно принцессу Августу; ее портрет висел в его рабочем кабинете. Эта принцесса давным-давно умерла. Пастор невысоко ценил нравственность своих прихожан, и если говорил о ней, то туманно, обиняками. Он предполагал, что за время его пребывания в приходе здесь совершилось много тайных преступлений. По общему мнению, пастор Гудмундур никогда не отказывал в помощи попавшим в беду. Ему одинаково невтерпеж было

слушать, когда кого-нибудь ругали или хвалили. Обычно он с большой серьезностью говорил о религии с людьми, не твердыми в вере. Но когда он беседовал с верующими, его речи не отличались особым благочестием. Проповеди его казались бессвязными, иногда совершенно непонятными, и прихожане не очень-то доверяли тому, чему учил их пастор Гудмундур.

— А, ты опять шатаешься по хуторам? — сказал пастор своим обычным сварливым тоном и, проносясь мимо Бьяртура с молниеносной скоростью, подал ему руку. На ходу он усердно попыхивал трубкой, так что дым стлался над его головой, как облако пыли над скачущей лошадью.

— Разве у меня есть такая привычка — шататься по хуторам? — спросил Бьяртур. — Но я не стану скрывать, что был в поселке и встречался с председателем приходского совета.

— Тьфу, председатель приходского совета, — презрительно сказал пастор и, пробегая мимо печки, плюнул в ведро с углем.

— Потолковали мы с ним. И я спросил себя: в ком из нас двоих больше любви к свободе? Вот я и надумал завернуть к пастору.

— К свободе? — переспросил пастор; он остано-

вился и пристально взглянул на Бьяртура своими маленькими глазками, требуя объяснения.

— Я разумею свободу для бедняков.

— По-моему, свобода не нужна ни богачам, ни беднякам, — торопливо заметил пастор и помчался дальше.

— Видишь ли, — сказал Бьяртур, — между мной и приходским советом та разница, что я всегда требовал свободы, они же хотят всякого пригнуть к земле.

— Нет никакой свободы, кроме той, которая дана нам Спасителем, пострадавшим за нас, — сказал пастор скороговоркой, безразличным тоном, как нетерпеливый купец, заявляющий какому-нибудь малозначительному покупателю, что у него нет никакой другой материи, кроме парусины. — Дело обстоит так, как написано у древних. — И он привел цитату на каком-то иностранном языке, а затем спросил: — Что такое свобода? Да, я так и знал, что ты сам об этом понятия не имеешь. Не подумай, будто я возражаю против того, что ты живешь на собственном хуторе в горах, это для тебя самое подходящее место. Как говорят древние… — Тут последовала еще одна цитата на каком-то непонятном языке.

— Я не буду спорить с тобой о древнееврейском

языке, мой дорогой пастор, — сказал Бьяртур. — Мне все равно, что говорят другие, но сдается мне, что в овцах я разбираюсь не хуже любого. Я знаю, что твои бараны принесли большую пользу в этих краях.

— Будь они прокляты! — сказал пастор на ходу. — Большую пользу? Да — тем, кто поклоняется собственной утробе и гордится тем, чего надо стыдиться.

— Гм, помнится мне, что в Библии овцы называются божьими агнцами.

— Нет, это не так, — ответил пастор. — Я отрицаю, что овца в Библии названа божьим агнцем. Я не говорю, что овцы не созданы богом, но я решительно отрицаю, будто бог к овцам благосклоннее, чем к другим животным. — Помолчав, он прибавил с оттенком упрека: — Гнаться за овцами по горам и пустоши — к чему это? Какой в этом смысл?

— Скажу тебе начистоту, что если говорить откровенно, от сердца, то мы с тобой не очень расходимся во мнениях насчет овец. Гораздо меньше, чем можно ожидать от такого неуча, как я. Правду говоря, пастор Гудмундур, зашел я к тебе для того, чтобы потолковать об одной вещи, которую я долго обдумывал и даже во сне

видел. Я хочу спросить у тебя… не продашь ли ты мне по осени одного из твоих барашков. С божьей помощью я заплачу за него наличными. И во всяком случае, я, с божьей помощью, сделаю перечисление на твой счет у купца.

Бьяртур изо всех сил пытался найти золотую середину между благочестием и служением «собственной утробе» для того, чтобы не дать пастору повода к нападкам. Но это не помогло. Пастора никакими увертками нельзя было умаслить.

— Перечисление? — раздраженно спросил он. — Я не хочу никаких перечислений с бога на дьявола. Договорись с моим старшим работником.

— Я бы не хотел разговаривать с твоим работником раньше, чем договорюсь с тобой.

— Если хочешь кофе, — сказал пастор, — то лучше скажи сразу. Но водки у меня нет, бог мне свидетель.

— Я никогда еще не выплевывал кофе, даже без водки. Таких, как я, которым пришлось прожить жизнь без водки, очень много.

Пастор вышел в кухню распорядиться насчет кофе. Через некоторое время он вернулся, продолжая непрерывно дымить так, что вокруг его головы собрались густые клубы дыма.

— Ты получишь только цикорий, — сказал пастор. — Кстати говоря, я что-то раньше никогда не замечал, чтобы ты заботился о спасении души. Все вы слоняетесь в горах не только по беспечности, — нет, вы закоснели в грехе. И еще думаете, что вам ничего не стоит обвести людей вокруг пальца.

Одна из нарядных дочерей пастора внесла большой медный кофейник с ароматным кофе, разрисованные фарфоровые чашки, пирожные нескольких сортов, сахар и сливки. Дочка пастора поблагодарила Бьяртура за сердечный прием, который она и ее друзья встретили в Летней обители: она еще не забыла стихов, которые он сочинил прошлым летом. Она даже прочла их в честь Бьяртура. Пастор нехотя прислушивался к ним и что-то бормотал про себя.

— Тьфу, — сказал он. — Все это одна пачкотня, ведь на латинский язык этого не переведешь. Уходи, Гунса, тебе нечего здесь делать.

Как только девушка вышла, пастор нагнулся и открыл ящик письменного стола, сильно закашлявшись от табачного дыма. Он достал флягу, наполненную до самого горлышка водкой, и почти со злобой налил целый стакан в кофейник, а затем разлил кофе по чашкам. Бьяртур ни слова

не сказал из уважения к пастору и к водке. Они принялись пить кофе. После третьей чашки Бьяртур начал потеть.

— Пей, дружище, — сказал пастор. — Для чего же женщины угощают тебя кофе в такую погоду?

— Я уже выхлебал три чашки, — вежливо сказал Бьяртур.

— Ну, не знаю, я никогда не пью меньше тридцати в день, — ответил пастор, продолжая наливать кофе то в чашку Бьяртура, то в свою, пока они не выпили по шесть чашек каждый, опорожнив весь кофейник. У Бьяртура со лба и висков капали крупные капли пота. Он рассматривал роспись на чашках и обронил замечание:

— Недурны собой эти бездельницы. — Он имел в виду японочек, изображенных на чашках. — Я знаю, что немало воды утечет, пока и в Летней обители появятся чашки с такими улыбающимися девицами. И вот, дорогой пастор, — сказал он, отирая пот рукавом, — в какую я попал передрягу… Жена моя, та самая, с которой ты нас обвенчал весной, недавно умерла.

— Как это случилось? — подозрительно спросил пастор. — Я ведь здесь ни при чем.

— Конечно, ни при чем. Не это я хотел сказать, — ответил Бьяртур, полностью снимая с

пастора ответственность за все происшедшее. — Она умерла естественной смертью, видно, от потери крови. Я хорошо понимаю, как это все случилось. Но куда делась Гудлбрау, годовалая ярка, той породы, что ты вывел… Вот это уму непостижимо! Она была привязана на выгоне и исчезла. Это случилось осенью, во время первой облавы… Я оставил ее с покойной женой, чтобы той было веселее…

— Ничего я об этом не могу сказать, — холодно ответил пастор. — Я-то ведь овец не краду; и прошу тебя: не путай меня в такие дела.

— Надо мне вообще что-нибудь надумать, — рассудительно сказал Бьяртур. — По крайней мере, насчет жены.

— Я тут же могу посватать тебе другую. Девушка — мягкая как воск, делает все, что ей говорят. Но с ней мать — старая ведьма. Так что соображай, на что идешь. Старуха знает наизусть весь псалтырь.

— Но я все же думаю раньше похоронить эту, — скромно сказал Бьяртур.

— Ох, терпеть я не могу похорон, — заметил пастор.

— Дело в том, что никто не хочет оставаться на хуторе, пока не похоронена покойница. Ведь

глупости людской, суеверию нет конца.

— Вы могли бы временно, до весны, сами похоронить ее. Я даже не подумаю подняться в такую погоду на высокую гору. Я изможденный старик, от рождения слабогрудый, и может даже статься, что у меня рак печени. Да и не доказано еще, какой смертью умерла твоя жена. Вы-то, жители долины, всегда можете отговориться тем, что ваши жены отправились на тот свет, пока вы гоняли овец по горам. Я же знаю, что женщины нуждаются в уходе не меньше, чем овцы. Я бы мог порассказать всякую всячину о многих и многих смертях в этой округе… за эти тридцать лет, что прошли с тех пор, как меня занесла сюда нелегкая. И я доказал бы это, если бы не жалел своих прихожан. К тому же я слишком стар и слаб, чтобы связываться с нашими гнилыми властями. Ведь крупных воров, поджигателей, убийц они никогда и пальцем не тронут.

— Но все же ты хоронил и тех, кто умер более странной смертью, чем моя Роза.

— Да, пожалуй что так, — тяжело вздохнул пастор. — Но я же смертельно болен.

— Ведь я всего-навсего прошу тебя прийти в Редсмири в субботу, если погода будет сносная.

— В редсмирской церкви сломалась лопата,

ей-богу, — сказал пастор, придумывая всевозможные отговорки. — Я не ручаюсь за участь покойницы — ни в Судный день, ни в будущей жизни, — если вместо лопаты будет какой-то несчастный обломок. И ты, верно, потребуешь от меня, чтобы я сказал несколько слов. Но я не понимаю, зачем держать речь о покойнице в такую погоду? К тому же много не скажешь.

— Длинной речи и не требуется, — сказал Бьяртур.

— Может быть, речь скажет редсмирская старуха? — предложил пастор. — Говорила же она весной, почему же ей не говорить осенью?

— Не стану от тебя скрывать, — ответил Бьяртур, — что нет у меня доверия к ее речам. И скажу я тебе, что, может быть, все сложилось бы гораздо лучше, если бы весной речь произнес ты, хотя, по правде говоря, я вообще не верю никаким речам, и меньше всего длинным.

— Но если уж я буду говорить, то скажу длинную речь, — ответил пастор. — Ведь когда начинаешь высказываться, то конца нет тому, о чем следовало бы поговорить, — об отношениях людей друг к другу, к приходу…

— Как смотреть на это. Некоторые думают, что чем меньше слов, тем меньше ответственности.

Но мне, впрочем, все равно, о чем ты будешь говорить, лишь бы только не сказал ничего плохого. Главное, чтобы речь была произнесена пастором в положенное время, на положенном месте. А то еще пойдут толки, начнут чесать языки, скажут, что я-де не мог позволить себе заказать речь, — а я такой обиды не стерплю, пока могу называться самостоятельным человеком. Жена моя тоже была самостоятельной женщиной.

— Сколько же ты можешь заплатить за эту речь?

— Да... На этот счет хотелось бы мне с тобой договориться. Я такого мнения, что мне еще причитается с тебя речь — с весны-то. Сдается мне, что я мог бы сейчас получить ее. Это было бы не слишком рано.

— Нет, — решительно ответил пастор. — Не стану я произносить речь о жене, которая с мужем только и прожила что одно лето, и вдруг взяла да умерла. Благодари бога, что я не дал хода этому делу. Мы поступим лучше: бесплатно я произнесу свадебную речь. Но говорить похоронную речь вместо свадебной — этого я не хочу. На такую сделку я не пойду.

— Думается мне, дорогой пастор, что и по случаю похорон я имею законное право на речь. Если

Роза не дожила до седых волос, то она все же была мне женой, и хорошей женой, как полагается христианке.

— Разве она была христианкой? — сердито спросил пастор; он не любил слушать похвал кому бы то ни было.

— Да, — сказал Бьяртур; впрочем, он готов был пойти на некоторые уступки, чтобы задобрить пастора. — Может быть, не совсем, но на свой лад она была христианкой.

— Это уж совсем ново, что люди в этих местах стали истинными христианами, — запальчиво сказал пастор. — В Рангарвальском округе — вот где был благочестивый народ. На каждом втором хуторе можно было найти хоть одного святого или пророка. Здесь же я тридцать лет прожил в изгнании и за все это время ни разу не видел подлинно христианских чувств, искреннего покаяния перед богом. Одни лишь преступления, ужасные преступления... Четырнадцать убийств, брошенные дети, а уж о вытравлении плода я и не говорю.

— Ну, об этом мне ничего неизвестно. Знаю я одно: жена моя была хорошая женщина. В душе она верила в бога и людей, хотя и не выставляла этого напоказ. Если ты намерен сказать о ней

речь, то уж скажи что-нибудь хорошее, ибо я свою жену очень ценил.

Такт запрещал пастору Гудмундуру опровергнуть эту преувеличенную похвалу простой женщине, которая прожила с мужем всего лишь одно лето и умерла. Он ограничился тем, что указал красноречивым и назидательным жестом на портрет принцессы Августы:

— Если ты хочешь видеть особу, которая могла бы служить образцом женщины, принцессы и человека, то вот она — перед тобой. И не плохо будет, если вы об этом подумаете, вы, жалкие людишки. Вы же всегда считали ниже своего достоинства склонять свою вшивую голову перед благостью святого духа, хотя вы стоите ступенью ниже, чем собственные ваши овцы, которые по вашей милости мрут от голода и от глистов каждую весну, дарованную вам богом. А вот детей короля Христиана будили каждое утро в шесть часов, в любую погоду, чтобы они вступали в общение со Спасителем. Молились они во дворцовой часовне, молились до тех пор, пока у дворцового священника от голода не сводило судорогой горло. Вот оно как.

Тут Бьяртур не мог удержаться от смеха.

— Ха-ха-ха! Это похоже на случай с собакой

в Редсмири: она никак не могла оторваться от конины.

— Что такое? — спросил пастор серьезно; от удивления и недоумения он даже остановился с открытым ртом, высоко подняв брови.

— Дело было так, — сказал Бьяртур. — В Редсмири жил один парень из города — нестоящий парнишка, на уме у него были одни каверзы. Он задумал подружиться со всеми собаками во дворе, в том числе и с моей. Я всегда любил собак, а это был на редкость преданный пес. И умный. Ха-ха-ха.

— Я не понимаю тебя, — сказал пастор, все еще неподвижно стоявший в той же позе.

— Не удивительно, — ответил, смеясь, Бьяртур. — Я тоже понял только тогда, когда у собаки пошли горлом куски конины величиной с кулак. Вот какие дела!.. Этот чертов парень всю зиму умудрялся красть в кухне конину, чтобы ввести в соблазн собак.

— Мне тошно слушать это! — крикнул пастор. — Ради всего святого, убирайся.

— Хорошо, дорогой пастор, — серьезно сказал Бьяртур. — Никто ведь не отвечает за свои мысли. Я надеюсь, от этого никому не будет вреда. Большое спасибо за кофе. Я давно не пил такого

вкусного. Значит, договорились насчет осеннего барашка и всего прочего?

— Надеюсь, я еще до весны умру. Умру и избавлюсь от всего этого сброда. Прощай.

Но Бьяртур вовсе не хотел так расставаться с пастором. Он переминался с ноги на ногу и наконец набрался храбрости:

— Что я хотел сказать, пастор Гудмундур. Если я правильно расслышал, ты упомянул об одной женщине, скорее даже о двух.

— Что такое? — раздраженно спросил пастор. — Ты хочешь взять их к себе? Не думай только, что я так уж спешу избавиться от них.

— Что это за люди?

— Живут между небом и землей, милостями господними, а раньше жили на север от пустоши Сандгил, — это в том приходе, что приписан к моему. Отец ее умер от какой-то внутренней болезни. Все, что у них было, — это семнадцать тощих овец, кой-какой старый домашний скарб и две дряхлые клячи, которых они привели сюда осенью. Да, это все. Они убиты горем. Старик держал хутор сорок лет и не сумел ничего отложить про черный день. Уж очень плохо родила там земля.

— Гм! Значит, у них есть клочок земли? — спро-

сил Бьяртур.

— Да, земля у них есть, — ответил пастор и, внезапно повернувшись к двери, открыл ее и крикнул: — Сейчас же пришлите сюда Финну и старуху Халберу. Здесь есть человек, который хочет взять их к себе.

Через некоторое время в дверную щель протиснулись две женщины. Мать вязала на ходу. Это была старуха в светло-коричневом чепце; брови у нее были высоко подняты, как это нередко бывает у замкнутых людей. Она не подняла глаз, а смотрела, тряся головой, только искоса, как будто поглядывая на кончик своего носа. Дочь была женщина лет сорока, неуклюжая, кривобокая. Но ее лицо скрашивало выражение мягкости и нежности, которого не хватало ее матери. Обе остановились почти у самого порога, близко друг к другу, так что дверь невозможно было закрыть.

Старуха продолжала вязать, а дочь смотрела на мужчин большими глазами, в которых светилась надежда. По-видимому, она когда-то отморозила себе щеки, и на них осталась синеватая краснота. У нее явно было в эту минуту сердцебиение.

— Вот человек, который намерен снять с нас тяжелый крест, — сказал пастор. — Он хочет

взять вас к себе. У него только что умерла жена, бог этому свидетель. Он совершенно убит горем.

— Да, понятно. Бедняга! — пробормотала старуха, не поднимая глаз, а дочь Финна с глубоким сочувствием смотрела на этого несчастного человека.

— Если я не ошибаюсь, это мать и дочь из Урдарселя, вдова покойного Тоурарина и его дочь, — сказал Бьяртур, подавая руку обеим женщинам и сердечно благодаря их за гостеприимство, оказанное ему лет пять тому назад, осенью, когда он ловил в горах овец старосты. Да, он хорошо помнит своего друга Тоурарина, этого славного, дельного человека. Никто не умел так ловко обращаться с больными овцами, как он; уж скорее он оставил бы своих домашних без сахара и кофе, чем ягнят без жевательного табака. Кажется, он метил своих овец, надрезая правое и левое ухо до самого хряща. И еще ему вспоминается, что у Тоурарина была светло-коричневая собака, редкостная, — она видела в темноте так же, как при дневном свете, и была чуть ли не ясновидящая. Трудно достать такого пса.

Все было правильно. Финна сияла от благодарности. Она была глубоко тронута тем, что гость так хорошо запомнил виденное. Сама-то она пом-

нила все происшедшее в тот день так ясно, будто это было вчера. Ведь у них побывал ни более и ни менее как скотник из Редсмири. Не так уж часто у них ночевали гости, а еще реже — из барских поместий. Мать и дочь тогда шептались о том, что нелегко угодить человеку, явившемуся из Утиредсмири, ведь он привык к хорошей жизни. Что бы такое придумать? Халбера предложила испечь лепешки на тлеющих угольках, а дочь сказала: «Да нет, неужели ты думаешь, что он будет есть лепешки, испеченные на торфе? Он-то, человек из Утиредсмири!»

— Ты помнишь, мама?

Но старуха ответила, что она все забыла. Она ничего не помнит — ни прошедшего, ни настоящего. Помнит только то время, когда росла на юге, и несколько псалмов. Она стала такая дряхлая, и если бы этот божий человек, пастор, не сжалился над ними, когда всемогущий прибрал к себе Тоурарина…

— Разве я не говорил вам, что Бьяртур из Летней обители хочет взять вас к себе? — нетерпеливо перебил ее пастор. — Он весной купил прекрасную землю в долине. Это поселенец нового типа: он решил ввести у себя те новшества, о которых все рассуждают в альтинге и пишут в столичных

газетах.

— Я не очень считаюсь с тем, что пишут в столичных газетах, но я уверен, что уж если кто ценит свободу и хочет стать самостоятельным человеком, тому Летняя обитель сулит хорошее будущее.

Старуха сказала хриплым голосом:

— Дорогой Бьяртур, в мое время вряд ли поверили бы, что твоя жена умерла своей смертью. Уже давным-давно об этом холме и овечьем загоне идет дурная слава, так рассказывали мне старожилы.

— Тьфу! — сказал пастор в сердцах. — В Урдарселе тоже было полно всяких чудовищ. Дважды я заблудился там на горе, и оба раза в ясную погоду, в воскресный день. Бог мне свидетель!

— Да, иногда бывали всякие видения перед тем, как к нам приезжали некоторые гости. Но зато соседи у нас были хорошие — все сорок лет, что я там прожила. Это знает бог и люди.

— Мать хочет сказать, что у нас никогда не было никаких привидений — разве только перед приездом некоторых гостей, — сказала дочь в пояснение. — Зато у нас были хорошие знакомые на пустоши, которые часто помогали нам.

— Ну, какие уж там хорошие, раз они не значат-

ся в церковных книгах.

— А все же мы с ними выпили немало чашек кофе. Беседовали, мечтали, — сказала дочь. — И сахар там не экономили.

— Да, там нас неплохо угощали: и кофе был, и всякая снедь, — подтвердила старуха с достоинством.

Пастор все ходил по комнате и сердито фыркал. Бьяртур же заметил, что в природе есть много странного.

— Вполне можно поверить, что существуют аульвы, даже если они и не значатся в церковных книгах. Они никому не делают вреда, скорее даже добро, но считать, что есть привидения и нечистая сила, глупо и вряд ли подобает христианину — это, по-моему, остатки папского суеверия.

Бьяртур всячески старался убедить женщин, что им незачем бояться нечистой силы.

Глава двадцать первая
Носильщики

В субботу утром на дороге к хутору показались носильщики со своими собаками. Их было четверо, все старые друзья: Король гор, Эйнар из Ундирхлида — скальд, Оулавюр из Истадаля —

любитель невероятного и сверхъестественного; и, наконец, отец умершей — старый Тоурдур из Нидуркота. Они шли не рядом, а на большом расстоянии друг от друга, будто случайно очутились на одной дороге. Первым прибыл на хутор Король гор, другие, поодиночке, — следом за ним, и позади всех — Тоурдур из Нидуркота. Все они оделись по-праздничному и заправили штаны в чулки.

На Блауфьедле лежал глубокий снежный покров. Стоял трескучий мороз. Начиналась поземка. Овец в эту пору уже кормили в овчарне.

Бьяртур был не из тех, кто дает волю своему горю; он с царским радушием приветствовал своих гостей:

— Прошу пожаловать в мои палаты, друзья. Мороз здорово пробирает, но я вас утешу: женщины уже варят кофе.

Гости достали ножи и принялись соскабливать с себя снег.

— Да, погода неважная, — заметил Тоурдур. — Снег какой-то липкий, пристает к подошвам.

Старик, кряхтя, уселся у наружной двери; кости у него так сильно хрустели, что казалось, они вот-вот рассыплются. Он весь съежился. Лицо у него посинело, жидкая бороденка висела сосульками, веки были красные, а радужная оболочка

от старости совсем выцвела.

Гроб стоял на полу посреди овчарни, на пластине дерна. Он весь был в клочьях шерсти, — они прилипли к смолистому дереву, когда овцы ринулись наружу, чтобы напиться воды из проруби в ручье.

Старик коснулся гроба синими узловатыми руками, как бы пробуя, прочен ли он; а может быть, это была ласка… Он осторожно и тщательно очистил дерево от приставшей к нему шерсти. Одна часть овчарни была выделена для овцематок, а другая разгорожена пополам — для ягнят и для лошади. Запах лошадиной мочи забивал все остальные запахи, так как сток был в неисправности. На чердаке хлопотали две женщины: одна смотрела за малюткой, другая возилась с огнем; они чисто выскоблили пол и потолок. Собак не пустили в дом из уважения к покойнице. Вообще же мужчины вели себя, как обычно, и вопрос о погоде обсуждали не менее оживленно и деловито, чем всегда: рожок с нюхательным табаком переходил из рук в руки. Эйнар из Ундирхлида передал Бьяртуру соответствующее случаю поминальное стихотворение, написанное на скомканном клочке бумаги, Бьяртур, скорчив насмешливую гримасу, прочел заглавие, — он не

одобрял направления, которого держался его друг в поэзии; повертев бумажку в руках, он равнодушно сунул ее за стропила. Старик из Нидуркота вытирал красные глаза платком, покрытым табачными пятнами. Когда гости пришли к выводу, что зюйд-вест, видно, задул надолго, Тоурдур высказал мнение, что он продержится всю зиму, и больше в разговоре не участвовал: он был в том возрасте, когда человек уже теряет всякую веру в погоду. У него ничего не осталось в жизни, кроме лачуги возле мельницы, но он не озлобился — ему просто было трудно говорить: как только он собирался открыть рот, к горлу подкатывал какой-то ком. У Тоурдура был странный вид, будто он вот-вот захихикает, точно слабоумный; его лицо, казалось, треснуло изнутри и может распасться на куски при малейшем напряжении, даже при самом обычном замечании о погоде.

Оулавюр сказал, что за дождливым летом идет морозная зима; оно и понятно: ведь в природе сырость и сухость уравновешивают друг друга. Король гор заметил, что раз холода начались так рано, то к рождеству будет оттепель и мягкая погода продержится долго, как это случилось однажды зимой, шесть лет тому назад. Он вообще уверен, что, как ни рано ударили морозы, зима

будет умеренная и незачем прежде времени горевать.

Эйнар заявил, что он обычно определяет погоду по предчувствиям и снам. Чует он, что зима будет суровая и сено надо расходовать бережно. Но зато можно ждать хорошей весны: он видел во сне цветущую девушку с юга, правда, она была довольно далеко.

— Ну, когда снятся женщины, ничего хорошего не жди, — сказал Бьяртур, отказываясь обольщаться ложными надеждами. — На женщин нельзя положиться и наяву, а уж во сне и говорить нечего.

— Но если вообще верить снам, — заметил Эйнар, — так те, в которых снятся женщины, не хуже других.

— Еще бы! — вмешалась экономка из Редсмири. — Как это не полагаться на женщин? Стыдно ему говорить такие вещи, когда его жена лежит в гробу.

— Давайте забудем на время сны, — сказал Король гор, который всегда был готов мирить этих двух выдающихся скальдов. — Помните, о чем мы говорили, когда собрались здесь осенью? Скажу вам, пока не забыл, что я получил от Финсена новое лекарство. Я передал ему жалобы местных

жителей и твои, Бьяртур, — и он выписал нам особенное лекарство — специальное. Теперь уж он головой ручается, что это снадобье избавит собак не только от ленточных глистов, но основательно прочистит им и кровь и нервы.

Все заметили, что это очень кстати. Лиса — большое зло, а глисты и того хуже. Каждый из них может рассказать о своей собаке одно и то же; глисты ни одной не пощадили. И люди и животные в опасности. Все просили Короля гор положить этому конец.

— Да, конечно, вы скоро получите от меня циркуляр, как в прошлые годы. Хотелось бы мне провести лечение во время выборов в альтинг, — тогда вы возьмете с собой на выборы своих собак, с тем чтобы уж заодно сделать и то и другое. Для хуторянина, у которого нет помощников, очень важно сразу провернуть два дела.

— А как с помощником собачьего лекаря? — спросил Оулавюр из Истадаля, мечтавший, как и многие другие, о жирном кусочке и почете, которые принесла бы ему эта должность. — Не говорил ли ты осенью, что окружной судья почти что уже порешил назначить помощника в наш округ?

— Как тебе сказать, — важно ответил Король

гор. — Времена-то тяжелые, так под силу ли округу взять на себя новые расходы? И еще, знаешь ли, сдается мне, что, если назначат помощника в наш приход, пока я занимаюсь этим делом, это уже будет недоверие, — и не только ко мне, но и к доктору Финсену, и даже, пожалуй, к правительству, которое снабжает нас лекарствами. Мне-то что, я только был бы рад уступить место другому. Я так и сказал судье: либо я откажусь от этой должности, либо целиком за нее отвечаю.

— Я всегда говорил, — сказал Оулавюр, не слишком разочарованный. — Если бы на лекарство с самого начала не пожалели науки, собаки были бы в порядке.

— Как я уже сказал, — ответил Король гор, — лекарствами снабжают нас власти.

— Уж власти-то нас, конечно, не надуют, — поспешил вставить старик из Нидуркота, полный беспричинного доверия.

— Правильно, — продолжал Король гор. — Я придерживаюсь такого мнения, что власти наши — те, что были у нас в последние годы, — действовали на благо народу. А в альтинге у нас был отличный представитель. Ведь доктор всегда готов делать для нас все — как врач, как человек, как депутат.

Наступила маленькая пауза; мужчины задумчиво опустили глаза и смотрели на свои широкие огрубелые руки, чувствуя, что разговор перейдет на политику.

— Сдается мне, что кое-кто смотрит на это дело по-другому, — возразил Эйнар. — Одно ясно: кто не торгует с купцом во Фьорде, тот не будет голосовать за фьордского кандидата.

— Да, все мы знаем нашего старосту, — сказал Бьяртур. — Он готов купить даже правительство, если бы оно продавалось, и перепродать его с барышом, если бы только нашелся покупатель.

Экономка, хлопотавшая возле плиты, прошептала:

— Стыд и срам слушать, как он говорит о своем благодетеле, почти что приемном отце! Не удивительно, что за такими людьми беда бежит по пятам.

Было совершенно ясно, что политические взгляды Эйнара нельзя признать здравыми, и Король гор решил вывести его на правильный путь.

— Скажи на милость, Эйнар, присылал ли тебе когда-нибудь Финсен счет за те лекарства, которые получила в свое время твоя покойная мать?

Эйнар вынужден был согласиться, что он еще

должен врачу чуть ли не за двести пузырьков.

— Да, еще немного, и уж можно бы купить корову, — сказал Король гор.

Эйнар вдруг осекся: ведь ему пришлось заложить корову и половину своих овец, чтобы заплатить долг старосте. Кончилось тем, что он сказал: «Корова есть корова, лекарство есть лекарство, а правительство — правительство». Вообще же он думает на следующих выборах отсидеться дома.

Когда заговорили о политике, Оулавюр из Истадаля слушал рассеянно; он был совершенно равнодушен к этой теме. Ребенок проснулся, начал плакать, и экономка встала, чтобы покачать его. Оулавюр был из тех людей, что не перестают дивиться крохотным существам, — если их можно назвать существами, — которые появляются на свет вместо исчезающих.

— Как подумаешь об этом, так ум за разум заходит: вдруг появляется новое маленькое тельце, новая душа. Откуда все это пришло и почему? Я частенько об этом задумываюсь, и днем и ночью. А ведь насколько было бы проще, если бы одни и те же люди жили бы себе да жили, — тогда, может быть, еще можно было бы надеяться, что простой человек когда-нибудь доживет до хоро-

шей жизни.

Но даже экономка из Редсмири не могла, или не хотела, разобраться в этом вопросе. И Оулавюр из Истадаля продолжал:

— Говорят, что новорожденный младенец, если его пустить в воду, поплывет, — вот что меня больше всего удивляет. Ты когда-нибудь пробовала, Гудни?

Нет, экономка никогда не делала таких попыток и сухо посоветовала Оулавюру держать свои сведения при себе. Если бы ему вздумалось испробовать их на собственных детях, то как еще на это посмотрят люди. Оулавюр ответил, что пусть она не беспокоится: он, Оулавюр, не очень-то любит возиться с грудными младенцами.

— Но мне не раз доводилось топить щенят, — прибавил он, — и я могу вам рассказать на этот счет интересные вещи. Я отрезал им голову на берегу реки своим карманным ножом и затем бросал тело в реку. И что же вы думаете? Плывет такое тело или нет?

Этот вопрос отвлек внимание всех собравшихся от рассуждений о политике и о выдвижении двух кандидатов — одного из Фьорда, другого из Вика. Женщины считали, что щенки, разумеется, шли ко дну. Эйнар предполагал, что они, может

быть, и держались на воде. Король гор высказал мнение, что они плавали под водой.

— Да нет, — ответил Оулавюр, гордясь тем, что он переключил мысли всех присутствующих на научную тему. — Скажу я вам, они плавают точно так же, как обыкновенные живые собаки с головой и со всем, что полагается. Вот провалиться мне!..

— Много есть непонятного, — вставил Бьяртур, — кто же против этого будет спорить. Вот, к примеру, что я вам расскажу, хотите — верьте, хотите — нет. Случилось это с моим покойным отцом в молодости, когда он стоял возле хутора, на откосе, у самой двери дома. Собирался он зарезать теленка и, зажав его между ног, как обыкновенно, перерезал ему глотку. И спрошу я вас, как спросил Оулавюр, что, по-вашему, сделал теленок?

Все гости заранее сдались, за исключением Оулавюра, которого выручила склонность к научному мышлению, и он ответил:

— Мне думается, что теленок без головы прыгнул прямо на выгон.

— Молодец, Оулавюр, — сказал Бьяртур. — Ты почти отгадал, но не совсем. Дело в том, что в долине Рейкья, у самого хутора, был горячий

источник и в нем плес глубиной по пояс, там стирали белье и разные вещи, даже шерсть. И представьте себе, теленок без головы выскочил у отца из рук, пустился вниз по склону и угодил прямо в источник.

— Ну откуда же мне было знать, что у вас под холмом горячий источник, — не без обиды в голосе вставил Оулавюр.

Но как раз в эту минуту принесли долгожданный кофе, и поучительный разговор о чудесах природы окончился. Кофе был вкусный — такого кофе никому не пришлось бы стыдиться, даже людям, занимающим высокое положение в обществе. От такого кофе ударяет в пот.

— Пейте, друзья, пейте!

А к кофе были поданы толстые ломти рождественского пирога с крупными изюминками, жирный хворост и оладьи, густо посыпанные сахаром.

— Кушайте, друзья, кушайте!

Мужчины жадно набросились на лакомства. К черту все эти споры и мнения. Они молча пили чашку за чашкой, слышались только чавканье, хруст, хлопанье и громкое сопенье, когда они нюхали табак.

— Может быть, не скоро мне придется опять уго-

щать вас, — сказал Бьяртур из Летней обители.

Наконец они до отвала наелись и напились, утерли губы тыльной стороной руки или рукавом. Стало тихо. Это была та особая тишина, которая рано или поздно наступает на похоронах. Гости лишь изредка прочищали себе глотки, покашливая, как в церкви, и бессмысленно таращили глаза.

— А панихиды здесь, дома, не будет?

— Нет, — сказал Бьяртур, — мне не удалось уговорить этого идола-пастора подняться сюда. Все какие-то чертовы причуды… Впрочем, не все ли равно.

— Матери хотелось, чтобы при выносе пели что-нибудь божественное, — робко сказал старик. — Я взял с собой псалтырь.

— К чему это, дорогой Тоурдур? — спросил Бьяртур.

— Это было наше дитя. Христианское дитя, — грустно ответил Тоурдур.

Когда Бьяртур увидел, какое значение отец придавал этой церемонии, он уступил.

Блеси стояла под седлом, привязанная к дверному косяку. Это была тяжелая лошадь, с длинной мордой; она время от времени подергивала нижней губой, пофыркивала, будто разговаривая

сама с собой, и прядала ушами. События, происходившие в доме, казалось, отражались в ее выразительных глазах. Собака, поджав хвост и дрожа всем телом, выла под лестницей.

Овцы уже возвращались с водопоя домой; некоторые протискивались мимо лошади в овчарню; и, подойдя к кормушкам, тыкались в них носом и разочарованно блеяли, видя, что они пусты. Все больше овец входило в овчарню; их ждало то же разочарование. Другие кучками стояли за дверью и вызывающе смотрели на чужих собак. Казалось, что это толпятся провожающие; это придавало похоронам впечатление многолюдности, участия, которое так много значит в подобные дни среди снегов, покрывающих пустошь, среди замерзших болот.

Все собрались вокруг гроба. Старый Тоурдур из Нидуркота вынул псалтырь своей жены, завернутый в носовой платок, и начал отыскивать место, где была загнута страница.

— Нет ли здесь кого-нибудь с хорошим голосом, чтобы начать?

Книга переходила из рук в руки, но никто не знал мелодии. Все присутствующие редко бывали в церкви и забыли, на какой мотив поют псалмы. Книга вернулась к старику, и он сам стал

пробовать голос.

Одна овца, глядя на него, громко заблеяла. И вот старик запел над своим любимым ребенком. Он пел двадцать пятый псалом, где говорится, как вынесли покрытого ранами Христа, чтобы упокоить его. Тоурдур все это знал наизусть и пел, не глядя в книгу, тусклым, хриплым голосом; правильно передать мелодию он не умел и все время сбивался с тона. Все присутствующие поняли, что он фальшивит.

Лошадь навострила уши и зафыркала; собака все время вторила пению жутким воем, как будто ее мучили; овцы, оставшиеся без корма, продолжали блеять и снаружи и в овчарне.

Старик пропел последнюю строфу резким, почти пронзительным голосом: «Воистину, ты сын божий», — и слезы беспрерывно стекали из его воспаленных глаз на жидкую бороденку. Он плохо выговаривал слова, шамкал беззубым ртом, и временами пение его было лишь слабым дрожанием голосовых связок и челюстей. Он напоминал ребенка, который не умеет говорить и лишь плачет — долго, неутешно плачет. Стало тихо. Мужчины смущенно смотрели друг на друга. Старик прикрыл лицо своим красным платком, он содрогался всем телом. Тогда Гудни

из Редсмири шепнула:

— Не прочитать ли «Отче наш»?

Король гор, поддерживавший старика, чтобы тот не упал, тоже шепотом сказал:

— Гудни говорит, что следовало бы тебе прочитать «Отче наш».

Старик с плачем прочел «Отче наш», не переставая дрожать, не выпрямляясь, не отнимая платка от лица. Больше половины слов утонуло в его рыданиях. «Отче наш, иже еси на небесех…», так далеко от нас, что никто не знает, где ты. Почти нигде… «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», хоть какие-нибудь крохи, чтобы съесть их во славу твою; и прости нас, если мы не можем платить купцу и нашим кредиторам. «Не введи нас во искушение», чтобы нам не захотелось быть счастливыми, «ибо твое есть царствие небесное».

Трудно было найти более подходящее место для чтения этой прекрасной молитвы. Казалось, что Спаситель сочинил ее как раз для данного случая. Мужчины склонили голову — все, кроме Бьяртура. Ему никогда и на ум не пришло бы склонить голову перед нерифмованной молитвой.

Вынесли гроб, поставили на лошадь, обвязали поперек веревками и поддерживали его спереди и сзади.

— А с лошадью кто-нибудь поговорил? — спросил старик. И так как это еще не было сделано, он взял в руки ее уши и шепнул ей, по старому обычаю, веря, что лошадь понимает такие вещи: — Ты будешь везти покойницу… Ты будешь везти покойницу…

И похоронная процессия двинулась в путь.

Король гор шел впереди и старался найти безопасные, наименее занесенные снегом места. Эйнар из Ундирхлида держал лошадь под уздцы. Оулавюр и Бьяртур шагали один в ногах покойницы, другой в головах, а старик ковылял сзади со своей узловатой палкой в руках, в громадных рукавицах.

Заплаканные женщины стояли у дверей и смотрели, как процессия исчезает за завесой вихрящегося снега.

Глава двадцать вторая
Метель

Через перевал они двигались очень медленно. Лошадь время от времени увязала в глубоком снегу на откосах, и мужчинам приходилось внимательно следить за тем, чтобы гроб не свалился на землю. В Редсмири они прибыли уже

в сумерки. Пастор давно пришел; лицо его было совершенно непроницаемо, но, по-видимому, он очень спешил. Несколько человек ждали похорон и последующего угощения. Пастор тотчас же распорядился отнести гроб в церковь. Зазвонили колокола. Совсем тихо звучал этот звон среди застывшего зимнего ландшафта, словно это дребезжала детская погремушка. Люди вошли в церковь, кроткие и тихие перед лицом смерти, которая нигде не кажется такой неодолимой, как здесь, в холодных белых просторах, на закате зимнего дня, под слабый звон колоколов. Жена старосты не присутствовала на похоронах: она плохо себя чувствовала и сидела дома, прополаскивая нос теплой соленой водой, — это считается верным средством от простуды. Зато староста разгуливал по церкви, правда, в старых брюках, на которых уже не держались заплаты; но по случаю похорон он надел воскресный пиджак. Как обычно, он сел вблизи алтаря и старался не открывать рот во время церемонии. Блеси привязали к церковной ограде; Титлу в церковь не пустили, и она, вся дрожа, ждала на пороге.

Явился пастор. Он надел помятый талар с белым воротником, — не такой уж это был торжественный случай, чтобы надевать брыжи.

Несколько человек запело: «Я живу и знаю», каждый на свой лад. А старик сидел у дверей. Он перестал плакать, казалось, слезы его иссякли. Пастор, стоя у гроба, дважды доставал часы, словно у него не было времени для таких пустяков. Когда пение кончилось, он надел очки и прочел по старому, истрепанному требнику молитву. Это была какая-то плохонькая, завалящая молитва, как и следовало ожидать в такую погоду; к тому же пастор охрип. Затем он сказал краткую речь, хотя и грозился произнести длинную. Он напомнил, что злые духи подстерегают человеческий род; о неверии он говорил далеко не в мягких выражениях.

— Многие забывают о всемогущем боге и гоняются в горах за глупыми овцами. Что такое овцы? — спросил он. — Овцы — это большее проклятие для исландского народа, чем лиса и ленточный глист, вместе взятые. В овечьей шкуре прячется коварный волк, которого в этих местах зовут альбогастадским дьяволом, или Колумкилли. Люди гонятся за овцами — это блуждающий огонь. Есть только одна-единственная истинная овца — и то есть агнец божий. Вот урок, который мы можем вынести из того, что случилось.

Затем пастор в нескольких словах описал жиз-

ненный путь покойницы, у которой, по сути дела, и не было никакого жизненного пути. Это доказывает, сколь ничтожна жизнь отдельных лиц, хотя они и значатся в церковных книгах. И он задал вопрос:

— Что же такое отдельно взятая личность вообще? Ничто!.. Имя, в лучшем случае — дата. Сегодня — ты, а завтра — я. Давайте же все соединимся в молитве богу, который стоит над каждой отдельной личностью, в то время как наши имена выцветают в церковных книгах.

Не было ни слезливых нот, ни чувств, ни игры на струнах сердца. Одна лишь молитва «Отче наш», наводящая сон, и наполовину проглоченное «аминь». Этот пастор со своими противоречиями был такой же загадкой, как сама страна, он был верующим только из протеста против бездушных людей, не думавших ни о чем, кроме овец и собак. Он улучшал породу овец из презрения к овцам — этот исландский пастор из старинной народной легенды. Уже одно его присутствие было утешительно и служило порукой в том, что все в порядке.

Вынесли гроб.

Его опустили в землю на двух веревках; и народ немного задержался у края могилы. Три

крестьянина, обнажив головы, спели в снежном урагане: «Как одинокий цветок». Этот холодный день словно стал днем поминовения Хатльгрима Пьетурссона[25]. Титла стояла рядом с Бьяртуром, поджав хвост, и выла, будто ее поколотили; она не переставала дрожать. Затем пастор, не говоря ни слова, бросил горсть земли на гроб и угостился основательной понюшкой табака у Короля гор, своего пономаря. Носильщики рьяно схватились за лопаты и с молниеносной быстротой стали засыпать могилу. Люди понемногу разошлись.

Глава двадцать третья
Надгробное слово

На мотив: «Блажен, у кого в сердце Иисус».

Все у нас не слава богу!
Или нас покинул бог?
Наше тело, как дорогу,
топчет времени сапог,

---

[25] Примечания: 25

Хатльгрим Пьетурссон (1614–1674) — пастор и поэт, автор знаменитых «Страстных псалмов», или, как их еще называют, «Гимнов страстей Господних», которые издавались около сорока раз. Кроме псалмов, Хатльгрим Пьетурссон писал также римы и сатирические стихи. *(Прим. Л. Г.).*

жизнь уходит понемногу,
смерть приходит точно в срок.

Свет иной сияет в мире,
он едва заметен тут, —
знайте, в солнечном эфире
все спасенные живут,
славословия поют
в горних сферах мирозданья,
и, не ведая страданья,
там, святые, слез не льют.

Ты, душа, ищи блаженства!
Горний ждет тебя дворец,
где людей несовершенство
ты забудешь наконец, —
исцелит тебя творец.
Только здесь, на этом свете,
хуже псов живем мы, дети,
ибо нас забыл отец.

Эйнар Йоунссон из Ундирхлида

Глава двадцать четвертая
Огонь мороза

Бьяртур вернулся в Летнюю обитель только на следующий день. Собака бежала за ним в радостном ожидании. Хорошо возвращаться к себе домой. Каждый раз, когда Титла оказывалась впереди Бьяртура, она оборачивалась, смотрела на него с выражением безграничного доверия и, описав большой круг, снова возвращалась к нему: она так почитала своего хозяина, что не решалась идти впереди него. То, что ищет собака, она находит в человеке. Бьяртур наклонялся вперед, навстречу бьющей ему в лицо метели, и вел за собой на поводу Блеси, то и дело окидывая взглядом свою собаку — жалкое создание, замученное блохами и глистами. А ведь из этих карих глаз смотрит сама преданность — та преданность, которую ничто не может поколебать. Несчастье, потеря доброго имени, угрызения совести — что бы ни обрушилось на Бьяртура, ничто не может погасить этот огонь веры. В глазах этой жалкой собачонки Бьяртур всегда будет самым великим, самым лучшим, несравненным. То, что человек

ищет в человеке, он находит в глазах собаки.

До чего, черт возьми, трудно вести сегодня Блеси. Ведь на спине у нее живой человек.

Живой человек? Кто это?

Это старуха из Урдарселя, закутанная в платок, она сидит на лошади боком. Пожитки двух женщин приторочены к седлу. Финна идет сзади, по следам лошади; лицо у нее посинело от мороза; она неуклюже шагает, высоко подбирая подол.

Никто не проронил ни слова. Маленькая процессия молча двигалась по направлению к Летней обители: люди и животные, пять душ. Багровое солнце в это северное зимнее утро, которое так похоже на вечер, переходило с одного холма на другой. Вероятно, был уже полдень. Лучи солнца золотили густую снежную завесу над пустошью, и она казалась сплошным морем огня, великолепным золотым костром, струящимся пламенем и искрящимся дымом, который тянулся с востока на запад по бесконечному снежному пространству. Путники шли своей дорогой, сквозь это золотое пламя мороза, которое можно сравнить лишь с волшебными чарами старинной поэзии.

Женщины, остававшиеся на хуторе, встретили вновь прибывших с безмолвной вежливостью и сразу же потребовали у Бьяртура молока, которое

он обещал привезти из поселка. Им приходилось наполнять соску кашей, сваренной на воде, и этим кормить ребенка. Приготовив кофе для вновь прибывших, они решили, что их дело уже сделано, и стали собирать свои пожитки. Отклонив предложение Бьяртура проводить их через перевал, они попрощались со всеми все с той же равнодушной вежливостью. Ребенок остался на руках у Финны, которая впервые покормила его из бутылочки. А старуха принялась шумно возиться в доме.

Задав корм овцам, Бьяртур улегся, хотя было еще рано. Он почувствовал смертельную усталость: ведь он не отдыхал с той самой ночи, которую провел дома, рядом с Розой, перед тем как отправиться на поиски Гудлбрау. Он был рад, что перед уходом все же попрощался с женой. Да, Бьяртур пережил удивительное приключение и только сейчас почувствовал, что оно наконец завершилось. С тех пор как он ушел из дома, он спал неспокойно. В поселке каждый раз, когда он укладывался и начинал засыпать, ему вдруг казалось, что на него сыплется снег, что блаженное оцепенение сковывает его ноги и ползет вверх, по бедрам, к самому животу. И он в ужасе вскакивал, уверенный, что если заснет, то замерзнет

в сугробе. Среди ночи он вдруг просыпался с непристойной песенкой на устах или шуточным куплетом, в которых высмеивался староста или купец. Он готов был вскочить с постели и размахивать руками, чтобы согреться.

Но сегодня вечером он наконец почувствовал себя в безопасности.

Лампу из экономии потушили, и лишь на полке, над кроватью старухи, мерцал крошечный огонек коптилки. Мать и дочь долго сидели вместе при этом слабом свете и разговаривали вполголоса. Снизу изредка доносилось блеяние овцы, Блеси переминалась с ноги на ногу в своем тесном стойле и фыркала в кормушку. Собака лежала у стены под плитой и время от времени вставала, чтобы почесаться, ударяя при этом задними лапами по стенке, зевала и снова свертывалась клубочком. Слышно было короткое дыхание ребенка, лежавшего на другой кровати и порой издававшего жалобный писк, будто он собирался заплакать. Но он засыпал, так и не заплакав.

Наконец женщины перестали шептаться. Финна подошла к постели и разделась. Бьяртуру слышно было, как она расстегивает кофту и снимает юбку. Нижняя юбка была ей узка, и она с

некоторым трудом стянула ее через голову. Затем она легла в постель рядом с ребенком и что-то еще сняла с себя под периной. Он слышал, как она расстегивает пуговицы и стаскивает белье. Под периной она почесалась и зевнула, издавая протяжный горловой звук.

Старуха еще долго сидела на краю кровати при свете мерцающего огонька, упираясь локтями в колени и засунув указательный палец в беззубый рот. Она смотрела вниз, через люк, и что-то бормотала, затем дважды подошла к краю люка, что-то ворча себе под нос и сплевывая. Потом она начала читать древнее заклинание.

Адский лис, остановись!
Чур! Чур, колдун проклятый!
Наше место свято! Брысь!
Тут Исус стоит распятый.
Прочь, Куркур!
Помоги, Спас!
Колумкилли, чур!
Господь, храни нас!
Прочь, Рагерист, —
наш дом чист.
Прочь, Маледикт.

Спаси, Бенедикт.

Прочитав заклинание, старуха перекрестилась и сказала: — Мы предаемся в руки божьи. Спокойной ночи! Закрыв люк, она легла. И все заснули.

Лёнарватн — Барселона
Лето 1933 года
(по наброскам 1929 г.)

Часть вторая
Свободные от долгов
Глава двадцать пятая
Зимнее утро

Медленно, медленно занимается день на севере.

От того мгновения, когда он начал просыпаться, и до того, когда поднял свои тяжелые веки, сквозь бесконечно долгое утро проходит не только час за часом, проходит век за веком, мир за миром, как в видениях слепого; одна действительность сменяет другую. И вдруг все исчезает: рассвело. Вот как долог путь между зимним утром и днем. И даже утро тянется без конца. Первый слабый луч на горизонте и дневной свет, проникающий в окно, — это как два различных начала, два

истока. И если так долго тянется утро, то когда же наступит вечер? Вехи дня — утро, полдень, послеобеденные часы — все это где-то впереди, вдалеке, как страны, куда мы мечтаем поехать, когда вырастем; а вечер так же далек, как смерть, о которой вчера рассказали младшему сыну; смерть, отнимающая у матери детей, которых потом хоронят в саду у старосты; смерть, уносящая туда, откуда никто не возвращается, как в бабушкиной сказке; смерть, которая придет и за тобой, когда ты состаришься и вновь станешь ребенком.

— Значит, умирают только маленькие дети? Почему он так спросил?

Потому что отец его вчера спустился в поселок с умершим младенцем; он нес его на спине, в ящике. Пастор и староста похоронили дитя. Пастор велел вырыть яму в саду у старосты и пропел псалом.

— Когда-нибудь я опять стану маленьким? — спросил семилетний мальчик.

Его мать пела ему удивительные песни и рассказывала о чужих странах. Теперь она была больна и лежала в постели. Она устало ответила ему:

— Когда человек стареет, он становится совсем

как маленький ребенок.

— Он умирает? — спросил мальчик.

В его груди как будто лопнула струна, одна из тех тонких струн детства, которые рвутся еще раньше, чем ты понял, что они могут звучать. И эти струны больше уже не звучат. Остается только смутное воспоминание об очень далеких временах, когда еще были целы эти струны.

— Мы все умрем.

Немного позже в этот день он опять заговорил о том же, на этот раз с бабушкой.

— Я знаю кого-то, кто никогда не умрет.

— Вот как, глупыш ты этакий! — сказала бабушка, слегка отвернувшись, как она обычно делала, когда с кем-нибудь разговаривала. — Кто же это?

— Отец, — сказал мальчик не совсем уверенно и продолжал вопросительно смотреть на бабушку.

— Нет, он тоже умрет, — сказала старуха безжалостно, даже со злорадством и фыркнула носом.

Но мальчик не успокоился, он спросил:

— Бабушка, а разливная ложка умрет?

— Да, — сердито ответила старуха; ей показалось, что мальчик над ней потешается.

— Бабушка, а черный горшок?

— Что мертво, то уж мертво, дитя мое, — сказала она.

— Нет, — возразил мальчик, — они не мертвые. По утрам, когда я просыпаюсь, они часто разговаривают.

Тут он выболтал тайну, которой никто, кроме него, не знал. Ранним утром, когда все еще спят, кастрюли и сковороды принимают человеческий образ. Он ведь просыпается раньше всех и слышит, как они разговаривают между собой — глубокомысленно, со степенным видом, как полагается кухонной утвари. Впрочем, он не случайно назвал в первую очередь разливную ложку — это вещь важная, ею пользуются изредка, когда варят мясной суп. Бывает, что она подолгу висит, чисто выскобленная, на стене, по, когда ее снимают, ей предназначается важная роль. Поэтому мальчик с особым почтением относился к этой ложке и мог сравнить ее только с женой старосты. А черный горшок — не кто иной, как сам староста, — ведь у старосты вечно рот набит жевательным табаком, вот и горшок — он всегда полон каши; дно у него пригорает, а снаружи он покрыт сажей и копотью; в нем вечно кипит и бурлит — наверно, в желудке у него горит огонь, и жена нужна ему для того, чтобы помешивать в нем, а иначе он начал бы перекипать через край. Да и другие вещи в темноте превращались

в людей, знатных или незначительных: ножи — в свирепых крестьян, которых он боялся, а чашки — в пухленьких девочек с розами на фартучках. Эти чашки смущали мальчика, и днем, за едой, он избегал дотрагиваться до этих особ; он даже старался не смотреть на них — а вдруг они догадаются, что он знает об их приключениях. Ночью это были важные особы, а днем — неряшливые, грязные, жалкие, точно глупые гости, которые сидят и сопят и боятся шевельнуться. Он хорошо знал их ночную жизнь и поэтому жалел их днем, когда они все сносили безропотно.

Но одна вещь была ему дороже всего и одинаково хороша и днем и ночью; своим великолепием она затмевала всех, рядом с ней другие вещи выглядели ничтожным хламом, она была тщательно уложена на дно сундука, и дети видели ее только тогда, когда в доме бывали важные гости, на рождество и на троицу. Им никогда не позволяли дотронуться до этой вещи — так ею дорожили. Это было блюдо для пирогов — подарок, полученный матерью от жены старосты из Утиредсмири… Самое красивое блюдо в мире. На нем был нарисован чудесный дом, наполовину скрытый цветущим кустарником. К дому ведет гладкая дорожка, а по бокам трава и кусты. А кто

стоит на дорожке в синем платье, в белой шляпе, с цветами в руках и с солнцем в душе? Он хорошо знал, кто это, но никому об этом не рассказывал. Это Одур, дочь старосты, которая уезжала на юг осенью, а возвращалась весной, — совсем как птичка. А дом за кустами — это дом Одур, там, в далеких странах. И когда-нибудь Нонни не будет маленьким мальчиком, который спит в бабушкиной постели.

Некоторое время он сидит молча на краю бабушкиной кровати и вяжет стельку для своей обуви, но вскоре ему становится невтерпеж.

— А я все-таки знаю что-то такое, — говорит он, опуская вязанье и глядя на бабушку, — что никогда-никогда не умрет.

— Что ж это такое?

— Никогда! — говорит он.

— А все-таки, что же это, милый мой?

— Ни за что не скажу.

Он два раза накинул нитку на левый указательный палец и вытянул петлю. Может случиться, что он опять выболтает какой-нибудь секрет. Но есть одна вещь выше жизни и смерти, ночной свободы и унижений дня. Никто никогда не узнает о ней. Это тайна драгоценного блюда. Самое большое разочарование, которое может претер-

петь человеческая душа, — это проснуться, когда другие спят, в особенности рано утром. Только проснувшись, человек понимает, насколько сновидения лучше действительности. Часто мальчику снились монеты в пятьдесят эйриров, в крону и даже в две кроны, — и все это исчезало, как только он просыпался. Он ел большой ложкой мясной суп с жирным мясом — таким жирным, что сало текло ручейком по пальцам. Он ел из необъятно большого блюда толстые ломти рождественского пирога — такие толстые, что он доставал из них целые изюмины величиной с человеческий глаз. Вот какое счастье могут дать человеку сны. Но как ни старался мальчик, он не мог опять заснуть и вновь увидеть во сне все эти прекрасные вещи или деньги, серебряные монеты, точно такие же, какие его отец отдавал старосте в счет долга за хутор. А ведь на те деньги, которые мальчик видел во сне, он мечтал купить себе изюму, печенья и ножик или веревку.

Проснувшись, он бывал очень голоден. Он мечтал о виденном во сне, как собака о хорошей кости. Но ему было строго запрещено будить кого-нибудь и просить хлеба. Отец грозился связать его и оставить в сарае с баранами пастора Гудмундура, один из них иногда бодался всю

ночь. Даже подумать страшно! Никого Нонни так не боялся, как «пастора Гудмундура». Этот баран, который терпеть не мог людей, иногда преследовал Нонни даже по ночам, врываясь в его сны. И мальчик бежал от него из одного сна в другой, смертельно боясь этого чудовища… Баран, хотя отец и гордился им, казался Нонни каким-то сверхъестественным уродом, точно так же как мясной суп и рождественский пирог были сверхъестественно прекрасны. Видно, даже во сне человеку может угрожать опасность.

Чтобы забыть о голоде, Нонни начинал прислушиваться к обычной ночной перекличке горшков и сковородок в шкафах и на полках. О чем они болтали? Не так легко для маленького мальчика проследить нить разговора взрослых. Они говорили о делах прихода, и каждый старался вставить слово, чтобы обратить на себя внимание; жаловались на бедняков, которых должен был содержать приход, на этих старых хрычей, которые для всех были такой обузой; горько жаловались на распущенность молодых женщин, на стремление молодежи уходить в города, на тяжелые времена, высокие цены на зерно, новую породу глистов, которая теперь одолевала овец вместо солитера. По мнению

разливной ложки, все шло бы иначе, если бы больше внимания уделялось пению и музыке. Поразительно, до чего все эти кастрюли, сковороды и ложки в своих речах походили на взрослых людей. Мальчика восхищала не столько сила их разума, сколько опыт, знания и бойкость речи — они так и сыпали названиями городов и сел, рассказывали о свадьбах, сыгранных где-то в далеких хуторах, слагали стихи, крепко бранились и делились сплетнями, дошедшими сюда из города. Бывали у них и перепалки, иногда по пустякам: кто-нибудь скажет, что фисгармония в церкви хрипит или что с купцом из Вика легче иметь дело, чем с купцом из Фьорда. У одних были незаконные дети, другие не верили в национальную независимость; были и такие, которые утверждали, будто горшок только на то и годен, чтобы наполнить его конским навозом. Одни находили, что стихи надо писать так:

Упаси меня, Исус,
помоги мне, боже святый,
я, твой раб, простерся ниц
пред тобой, господь распятый.

А другим нравились такие стихи:

Сира римса помса прамс
пийра лимса фийра
кийра симса ромса рамс
рийра димса нийра.

Боже мой, не рассвело ли наконец?

Он тихонько поднимал голову, чтобы привидения, скрывавшиеся во мраке, не заметили его.

Чем ближе к утру, тем яснее становилось, что у кухонной утвари иссякал запас мудрости, которой хватало только на ночь. И по мере того как их разговор замирал, мальчик начинал улавливать другие голоса. Внизу просыпались овцы и, поблеяв немного, облегчались после сна; некоторые становились на задние ноги, тыкались рогами в кормушки, толкали друг друга. Как только мальчику становилась слышна их возня, в его душе просыпалась надежда.

Но из всех сигналов утра самым верным был храп отца.

На рассвете, когда мальчик просыпался, звуки этого храпа были долгими-долгими и глубокими-глубокими. Эти звуки принадлежали еще не утру, а ночи. Они не имели никакого отношения к миру, в котором мы живем и бодрствуем; это было путешествие в чужие края — сквозь

бесконечное пространство, неизмеримое время, среди странных существ. Да, кони, на которых несутся всадники во время этих походов, мало похожи на коней нашего мира, и вся жизнь в этом ночном мире не похожа на обыкновенную дневную жизнь.

Но по мере того как приближалось утро, храп отца постепенно терял свою звучность, звонкие грудные ноты мало-помалу становились глуше, передвигались в горло, из горла — в рот и нос, затем перескакивали на губы со свистом или беспокойным пыхтением — цель близка, кони бьют копытом от радости, что пронеслись целыми и невредимыми сквозь глухо шумящие пространства бесконечности. И вот уже раскинулись родные края.

У остальных дыхание было совсем иное. В нем не было той силы, того великолепия, что в отцовском храпе, да и бега времени в нем не чувствовалось. Например, дыхание бабушки. Можно ли было, прислушиваясь к нему, вообразить, что рядом с мальчиком лежит и спит живое существо? Она дышала так тихо и шевелилась так редко, что иногда думалось — уж не перестала ли она вовсе дышать? Но если мальчик склонялся над ней и начинал внимательно вслушиваться,

он улавливал какие-то признаки жизни, с ее губ время от времени слетал слабый вздох. В течение многих часов она лежала как мертвая, а потом жизнь поднималась в ней на поверхность, подобно тем маленьким пузырькам, что поднимаются через долгие промежутки со дна стоячих луж, — эта жизнь проявлялась в странном бормотании, ворчании, шепоте, лепете, в обрывках непонятных и страшных псалмов, вестников другого мира. Ведь у нее, как у всех, был собственный мир, неведомый другим, — мир молитв и гимнов, тех длинных утомительных стихов, которые так ненавидел его отец, мир беспощадного и милосердного бога, долготерпеливого отца и грозного судьи, карающего ужасами ада. Об этом мире она никогда не распространялась и на вопросы о нем отвечала словами другой молитвы, еще более непонятной. Несмотря на то что бабушка пела так много псалмов и так много знала о радостях вечной жизни, она никому не навязывала своих верований. Правда, она учила Нонни молиться перед сном, а молитва — язык ее мира; но для Нонни молитвы были так же далеки от действительности, как то, что чудилось ему в храпе отца. И эта чужая жизнь, рисовавшаяся ему в бабушкиных гимнах, в словах, бессознательно

срывавшихся с ее губ, нагоняла на него такой же страх, как болота с их мутной, ядовитой водой, с их тиной и мохнатыми странными растениями и водяными жуками.

Против постели родителей стояла кровать, где спали трое старших детей: Хельги и Гвендур — в изголовье, Ауста — в ногах. А сонное дыхание Хельги, плач и скрежет зубов Аусты — к какому миру принадлежал этот язык сна? Язык без слов и значения, в котором нет ничего, кроме бессмысленной ярости; плач без слез и стонов — одна только острая, колющая боль, словно через тело девушки проникала из одного мира в другой какая-то страшная весть. Ни один из этих миров, ни один из этих голосов не подчинялся законам дня или чувствам нашего обычного мира.

Где же находилась его мать в эти зимние утра, когда никого не оставалось дома, все были далеко, каждый в своем сне, и маленькую комнату в Летней обители окутывали тени других миров, где совершалось так много чудес?

Спит ли она или лежит с открытыми глазами? Означают ли ее стоны, заглушаемые храпом отца, что она уже бодрствует, или даже во сне ее не коснулась целительная рука забвения? Как ни тосковал мальчик по дневному свету, лежа в оди-

ночестве, в окружении холодных, чужих миров, которые даже не знали о его существовании, еще сильнее тосковал он по объятиям матери.

Однажды ночью, должно быть, еще задолго до того, как начал брезжить зимний день, мальчик был далеко, в собственном мире сна. Тяжелая и все же сладостная полуночная дремота еще крепко сковывала его, но он не мог отдаться ей, кто-то звал его. Кто зовет его? Вначале этот зов доносился издалека, и он не обращал на него внимания; ему казалось, что это весть, идущая из чужих стран. Постепенно звук приближался, послышались стоны и вздохи, все ближе и ближе; ему чудилось, что *оно* уже в поселке, подходит еще ближе, и вот *оно* уже здесь, в комнате. Этот звук исходит от кровати матери. Нонни совсем проснулся. Он лежит в бабушкиной постели. В комнате горит маленькая, жалкая свечка, и бабушка, согнувшись, возится возле кровати родителей, все возится и возится; а на краю кровати сидит отец, держа мать за руку. Дети на другой кровати залезли под перину, но изредка выглядывают оттуда широко раскрытыми, полными ужаса глазами. Они боятся смотреть друг на друга и прикидываются спящими. Сегодня ночью его матери очень плохо. Она стонет все громче и

громче, все жалобнее и жалобнее, она кричит, плачет… Это страдания всего мира. Мальчику хочется встать и спросить, но он не спрашивает, только съеживается в постели. Бабушка уже возится возле плиты, стараясь растопить ее, — это ее вековечная борьба с огнем: в течение многих поколений бабушка мучилась, разжигая топливо, чтобы согреть воду. Проходит некоторое время. Мальчик опять начинает засыпать, шепчущие голоса опять раздаются где-то в другом краю. Его отец шумно спускается по лестнице. Где это он? В редсмирской церкви или, может быть, еще более отдаленной? Нет, он дома. Но вот он закрывает люк и уходит.

Как только отец закрыл за собой люк, мать заплакала еще жалобнее. И опять будто холодная лапа с острыми когтями хватает мальчика за сердце. Почему так бывает, что те, кто тебе дороже всего на свете, так страдают, и ты ничего не можешь сделать для них?..

В мозгу мальчика невольно возникает мысль, что во всех мучениях матери виноват отец — он ведь всегда считал, что владеет и распоряжается ею. У него, видно, совесть нечиста, раз он так внимателен к ней теперь, даже держит ее за руку, — этого он раньше никогда не делал, — и

бежит в поселок среди ночи.

Непостоянно и ненадежно любящее сердце. И все же только в нем одном можно найти сочувствие. Но сон сильнее самых благородных чувств любящего сердца. В самый разгар страданий матери свет начинает меркнуть, шум закипающей воды отдаляется, замирает треск огня, старческое ворчание бабушки, шепот, бормотание молитв — все это растворяется в легкой дремоте, в сновидениях, когда когтистая лапа перестает терзать его, — начинаются сновидения без страсти и мук, ласковые, как жизнь у аульвов; и вот опять его сковывает сладостная тяжесть полуночи, а его сознание постепенно просачивается, как песок, в бездну сна и погружается в забвение.

Вчера отец отнес новорожденного в поселок, чтобы похоронить его.

А мать? Успокоилась ли она? Примирилась ли, как и дети, с беспросветным однообразием зимних дней? Или она просто скрывала свое отчаяние, зная, что пощады не будет и человеческому сердцу нечего ждать сочувствия? У детей страх появлялся и исчезал, а страдания матери не прекращались ни на миг.

Мальчику казалось, что никогда еще люди не спали так долго, как в это утро. Овцы уже

давно зашевелились, вскочили, слышно было, как они бодаются. Отец, судя по его храпу, скоро проснется. Кухонная утварь умолкла, почуяв приближение дня. Окно, сквозь которое проникал бледный синеватый свет, казалось медленно раскрывающимся оком зимнего дня. Неужели все они боятся проснуться? Мальчик начал тихонько стучать в стену. Несмотря на запрещения и угрозы, он всегда делал это, если утро тянулось слишком долго. Когда и это не помогло, он принялся попискивать, сначала как мышонок, затем все громче и отчетливее; звук был такой, словно собаке наступили на хвост. Наконец он завизжал еще громче; теперь казалось, будто зюйд-вест врывается в открытую дверь.

— Ну, хватит дурить!

Это сказала бабушка. Все же мальчик добился своего. Старуха начала что-то бормотать, потом сделала попытку подняться и наконец вылезла из постели со всеми теми стонами, которые всегда сопутствуют этому подвигу. Она надела кофту и юбку из сурового полотна, затем принялась искать спички. В неверном свете лампы он видел ее с непокрытой головой, видел ее обветренное, изрезанное морщинами лицо с острым подбородком и впалым ртом, худую шею, жидкие серые

пряди волос — и боялся ее; он считал, что утро наступало только тогда, когда она повязывала голову шерстяным платком.

И вот она повязала голову. Ее медленные движения и блуждающий взгляд были для него как привет нового дня, привет возвращающейся действительности. Вот что означало для него это старое замкнутое лицо, выглядывавшее из-под платка, бормотанье, сопенье, воркотня. Она смотрела вниз, как бы косясь на собственный нос. И все возилась, пыхтела без конца, стараясь разжечь огонь. Скоро отец начнет почесываться, откашливаться, плеваться, возьмет щепоть табаку, наденет штаны. Пора задавать корм овцам.

Началась та часть утра, когда реальная жизнь полностью вступает в свои права. Приятно было думать, что, по крайней мере, одно остается неизменным изо дня в день: отчаянная возня бабушки с огнем. Растопка всегда была одинаково сырая. Хотя старуха дробила куски торфа на тонкие пласты и клала самые сухие из них поближе к хворосту, от этого все равно не было никакого толку, слышалось только слабое потрескиванье; сырой, въедливый дым забирался во все углы и залезал даже в нос и рот, так что становилось трудно дышать. Мальчик прятал голову под

перину, но дым и туда забирался. Свет стенной лампы спускался все ниже. Но как бы долго ни длилось обязательное бормотание бабушки, оно было предвестником вожделенного утреннего кофе. И как бы густы ни были клубы дыма, как бы сильно ни въедались в глаза, нос, горло и легкие, все же они предшествовали тому аромату, который наконец наполнит душу бодростью и верой, — аромату молотых зерен под струей кипящей воды из чайника.

Чем дольше не разгорался огонь в плите, тем больше времени было для предвкушения этой радости, тем сильнее была сама радость. Чтобы убить время, Нонни начинал разглядывать скошенный потолок. Правда, он разглядывал его каждое утро и заранее знал результат, но все же он неизменно начинал это исследование, как только открывал глаза. Особенно зорко он следил за двумя сучками: если дым уменьшался и огонь разгорался настолько, что он мог разглядеть эти сучки во всех подробностях, значит, все в порядке и вода скоро согреется. Но что же такое эти два сучка? Это были два человека, два брата, у них было по одному глазу в середине лба, и оба были круглолицые, как его мать. Как это могло случиться, что они похожи на мать? Дело в том,

что это братья матери, они уехали за море и там добились всего, чего хотели, задолго до того, как он родился.

— Удивительно, чего только не видит этот ребенок, — сказала мать, когда он однажды с глазу на глаз рассказал ей о том, что ему представляется по утрам. Они шептались о различных вещах, о которых никто не должен знать, — о песнях, о далеких краях.

— Если уехать далеко-далеко, — спросил он, сидя на краю ее кровати и держа ее за руку, — можно тогда получить все, чего желаешь?

— Да, дружок, — сказала она устало.

— И стать всем, чем только хочешь?

— Да, — ответила она рассеянно.

— К весне, — сказал он, — я поднимусь на гору, которая напротив хутора, чтобы узнать, видны ли оттуда другие страны.

Молчание.

— Мама, в прошлом году я однажды видел водопад в ущелье, и ветер погнал его наверх, обратно через горы.

— Милый ты мой, — сказала мать, — я видела тебя во сне.

— Ну и что же?

— Мне снилось, что аульва взяла меня к себе в

скалу, дала мне кувшин молока и велела его выпить. А когда я выпила, она сказала: «Будь доброй к маленькому Нонни, потому что он будет петь для всего мира».

— Как это так? — спросил он.

— Не знаю, — ответила мать.

Тогда он прильнул к груди своей матери, и ему уж не надо было ничего на свете, — ничего, кроме материнского сердца, которое сильно билось.

Наконец он встал.

— Мама, почему я должен петь для всего мира?

— Это сон, — сказала она.

— Я должен буду петь для пустоши?

— Да.

— И для болота?

— Да.

— И даже для горы?

— Так сказала аульва, — ответила мать.

— Значит, мне придется петь в редсмирской церкви, — сказал он задумчиво.

— Как будто так, — ответила мать.

Он опять прижался к ней, очарованный этим предсказанием, и долго раздумывал над окрылявшими его словами.

— Мама, — спросил он наконец, — ты научишь меня петь для всего мира?

— Да, — прошептала она. — Весною. — И устало закрыла глаза.

Его взгляд скользил от сучков на стене к кухонной утвари, стоявшей в шкафу и на полках, к суповой ложке, висевшей на стене, к горшку на полу; они все поглядывали на него как ни в чем не бывало. Но когда он замечал блеск хрупких и чувствительных чашек, похожих на пестро одетых девиц, его охватывало такое благоговейное чувство, что он давал обещание не проговориться о них никому ни единым словом; из вежливости он даже закрывал один глаз, а другим смотрел на них, как бы говоря: и я тоже не такой, как кажется на первый взгляд: он подразумевал песни, которые ему предстояло спеть, и далекие страны — такие далекие, как далек вечер зимнего дня от утра.

Наконец послышался тот знакомый шум чайника, который оповещает, что вода скоро закипит. К этому времени мальчик обычно бывал так голоден, что, казалось, мог бы наброситься даже на сено, даже на торф или кизяк. Не удивительно, что он с такой тоской думал о ломте хлеба, который ему дадут. Какой это будет ломоть? Отрежет ли его бабушка от целого каравая или от половины? Не будет ли он совсем тонким с

одной стороны? А чем она его намажет? Положит ли она рыбий жир с салом на середину, так что корочка останется сухой, как было вчера? Он никогда не мог наесться этим лакомым жиром, который оставляет такой острый вкус во рту. Надо отдать справедливость бабушке, она обычно не скупилась и большим пальцем правой руки намазывала толстый слой жира. Зато она очень экономно обращалась с сахаром и откалывала от сахарной головы маленькие неровные кусочки; и случалось, что как раз ему доставался самый маленький… Обо всем этом он размышлял не без тревоги и страха.

По комнате распространялся аромат кофе. Это была самая торжественная минута утра. Вдыхая этот аромат, можно было забыть все невзгоды, в душе загоралась вера в будущее. Может быть, он и на самом деле уедет в далекие края, в далекие страны? В один прекрасный день, как это ни кажется невероятным, наступит весна, запоют птицы и на склонах гор появятся лютики. И может быть, мама поправится, когда дни станут длиннее, как в прошлом и позапрошлом году.

В то самое мгновение, когда струя кипящей воды начинает литься в кофейник, громко раздается первое слово за день — вступительное

слово, которое бабушка всегда произносит как заклинание, чтобы разбудить спящую глубоким сном Аусту. Это заклинание повторялось каждое утро; и хотя Аусте оно всегда казалось новым, мальчик давно выучил его наизусть и запомнил на всю жизнь.

— Ну не стыдно ли? Это же безобразие. Почти что взрослая девушка. Нечего сказать! И что у них в голове, у этаких?

Неужели можно было ожидать, что спящий проснется от такой слабой взбучки? Со стороны могло показаться, что бабушка просто бормочет какую-то молитву вперемежку со старым псалмом.

Ауста, конечно, продолжала спать, забившись в угол кровати, с открытым ртом и запрокинутой назад головой. Одна рука лежала под ухом, а другая, полуобнаженная, на перине, — будто она во сне ждет, что кто-нибудь положит в эту руку счастье. На сорочке, возле шеи, была заплата. Бабушка продолжала свое заклинание:

— И голова-то пустая у таких вот, безмозглых. Какой толк может выйти из них? — Она любила говорить об Аусте во множественном числе. — Ведь у них нет даже целой рубашки на теле… (Громче.) Соула, пора взяться за вязанье, девушка!

Скоро завтрак, а там и обед.

Мальчики не переставали удивляться бабушкиным представлениям о времени.

Теперь струя воды красиво, с глухим шумом падает в кофейник, дымится, распространяя густой аромат. Ауста по-прежнему спит, а старуха продолжает будить ее.

— Ничего путного из тебя не выйдет. Будешь всю жизнь сама себе в тягость.

Ауста Соуллилья все еще спит.

— Неужели ты думаешь, что я поднесу тебе кофе в постель, как барыне, — тебе-то, тринадцатилетней девчонке? Скоро ведь уж четырнадцать будет. А там и конфирмация. Но до этого я еще велю отцу выпороть тебя.

Эта заутреня не производила никакого впечатления на Соулу. И лишь тогда, когда старая Халбера подходила к кровати и принималась трясти Аусту, тогда — но не раньше — девочка открывала глаза. Она открывала их с трудом, испуганно мигая и растерянно озираясь. Наконец она приходила в себя, закрывала лицо локтем и сопела.

Ауста была темноволосая бледная девочка с удлиненным лицом и тяжелым подбородком; она чуть-чуть косила на один глаз; брови и ресницы

у нее были темные, а глаза серые, как сталь. Это было единственное лицо на хуторе, имевшее живые краски и отчетливую форму, и поэтому мальчик часто смотрел на свою сестру, как будто удивляясь — откуда она явилась. Она была очень бледна. На ее длинном, как у взрослого человека, лице лежал отпечаток заботы, почти что жизненного опыта. Сколько мальчик помнил себя, Ауста всегда была его старшей сестрой. Хотя ее плечи и груди не напоминали своими линиями полураспустившийся цветок — либо они уже распустились, либо никогда не были бутонами, — в них еще отсутствовала мягкая округлость, свойственная зрелой женщине. Ауста не была ребенком, но далеко не была еще взрослой.

— Вот сюда я ставлю твой кофе, Соуллилья, — сказала бабушка и поставила ее чашку в самый дальний угол комнаты. — Я ни за что не подам ее тебе ближе.

Девочка продолжала почесывать себе голову, зевать и причмокивать. Она вытаскивала юбку из-под подушки и надевала ее под теплой периной. Высунув голые длинные ноги из-под перины, она натягивала толстые нитяные чулки и без всякого стеснения клала ногу на ногу. Когда мальчик начинал рассматривать ее еще не развившееся

тело, то лишний раз убеждался, что хоть она и старшая сестра, но что касается телосложения, то по сравнению с ними, братьями, это существо низшего порядка.

Однако время размышлений кончилось: в эту минуту бабушка подает ему кофе и будит старших братьев.

Теперь мальчик собственными глазами мог увидеть, от какой части каравая отрезан его ломоть, намазан ли он весь, включая корочку, достался ли ему большой или маленький кусочек сахара. В окне уже брезжил рассвет. Зимнее утро еще раз поднимало свои тяжелые веки.

Начинался день.

Глава двадцать шестая
День

В этой семье обычно ели молча, почти торжественно, как бы совершая таинство. Каждый наклонялся над тарелкой, стоявшей на коленях, очищая рыбу от костей с таким сосредоточенным вниманием, с каким работает часовщик; кашу ели не отрываясь, держа миску у самого подбородка. До чего же быстро управлялся отец с огромной миской каши! Старуха ела возле плиты,

повернувшись ко всем спиной. На завтрак всегда подавали горячую овсяную кашу, кровяную колбасу, ломоть хлеба, остатки вчерашней соленой рыбы и подогретый кофе с куском сахара. Вкуснее всего был сахар. Мать ела, как птичка, полусидя в постели; она доставала одну из восьмидесяти склянок, присланных ей членом альтинга, и принимала лекарство. Лицо у нее было серое, вялое, большие глаза лихорадочно блестели. Во рту у нее появились какие-то болячки, и жевала она с трудом. Иногда мальчику становилось не по себе оттого, что отец уписывает такую пропасть каши прямо на глазах у матери, а она едва-едва притрагивается к рыбе и с отвращением глотает ее. Никогда дети не мечтали так страстно о куске хорошего мяса или толстом ломте ржаного хлеба, как после еды.

Бьяртур сразу же после завтрака ложился на самый край постели — это была привычка, сохранившаяся с детства. Несколько минут он сильно храпел, затем вскакивал с видом человека, которому угрожает смертельная опасность, и шел в хлев взглянуть на скотину. Бьяртур пристроил к дому овчарню и стойло для барана, но ягнята и двухлетки находились в загоне под жилой комнатой. Старшие мальчики чистили кормушки,

выгребали навоз, ломали лед на ручье, прокладывали вокруг дома дорожки, которые снова заносило снегом. Овцам приходилось взбираться на восемнадцать ступенек, выдолбленных в снегу, чтобы перевалить через сугроб. Людям тоже. Под окном выкапывали нечто вроде канавы, чтобы дневной свет мог проникнуть в комнату.

Только тогда, когда отец и старшие мальчики уходили в овчарню, на хуторе по-настоящему начинался день, и тянулся он бесконечно долго; вечер казался таким далеким, что даже брало сомнение, наступит ли он. В дом проникал скудный свет — ведь оконца были маленькие, а сугробы высокие. Две кровати на день застилались, а в третьей неподвижно лежала мать. Иногда она поворачивалась в постели — очень медленно, с полузаглушенными стонами: у нее были пролежни. Роды, как и раньше, сопровождались у нее болезнью, укладывавшей ее в постель каждую зиму месяца на три. В прошлом году она родила ребенка и пролежала четыре месяца. Этот ребенок умер.

На кровати, у окна, сидела Ауста и вязала кофту. Ноги ее не доставали до пола, зато она могла время от времени прислониться к стене и подремать.

Бабушка доставала прялку и начинала прясть. Во всем доме слышалось жужжанье, наполнявшее долгие дни. Колесо прялки — как колесо времени, что мчит нас далеко-далеко, каждого к своему пределу.

Теперь Нонни можно было немного поиграть. Он выгонял скотину на пастбище: то есть расставлял на всех кроватях кости, изображавшие животных. Овец он поместил под стропилами — значит, на вершине горы и по отлогим склонам; бараньи челюсти, изображающие коров, он привязал к ножкам плиты. К коровам маленький Нонни относился иначе, чем Бьяртур из Летней обители: у него их было десять. Затем он отправлялся в далекое путешествие; конями ему тоже служили кости.

Он ведь знает дорогу в чужие края, лежащие по ту сторону гор и болот, он гонит своих коней к фьордам; путь долгий и трудный. В этой комнате можно совершать далекие путешествия, если держаться правил, которые известны только ему одному. Даже края кровати — это опасные горные тропы с ущельями, снежными сугробами и привидениями. Иной раз ему приходится даже ночевать в дороге (под столом у окна). Только с наступлением весны, когда снег тает и мать на-

чинает поправляться, перед ним раскрываются настоящие просторы, а воображаемые просторы комнаты исчезают, они так обманчивы, что маленькое расстояние — величиной с ладонь — между «коровником» Нонни и люком разрастается в огромное пространство, которое он с трудом преодолевает.

В городе Нонни разговаривает с врачом и лавочником. Он закупает огромное количество изюма — ведь в его доме питаются только сластями: изюм в кадках, изюм в ящиках, изюм в мешках, белый сахар. У доктора имеется около пятисот пузырьков с лекарствами — почти столько же, сколько овец у старосты в Утиредсмири. Но странно, мальчик не покупает лекарств — ни одной капли. И, значит, не обещает, как отец, голосовать за врача на выборах в альтинг в благодарность за полученные снадобья. Нонни не знает ничего более горького и противного, чем лекарства этого доктора; в его душу даже закралось подозрение, что они-то и мешают матери выздороветь. Уж не покупает ли их отец специально для того, чтобы извести мать, и уж не заодно ли он с доктором? Нонни терпеть не может этого доктора и не будет голосовать за такого человека в альтинг. Зато он подаст голос за лавочника — в благодарность за

изюм. Врач рассердился и грозит обратиться к судье, но мальчик ни капельки не боится, он обещает врачу уступить ему старую собаку, которую изображает камешек. Доктор отчаянно бранится.

— Из-за чего такой шум, бог ты мой? — спросила бабушка.

Но мальчик не сразу ответил ей. Ведь мир, из которого пришла бабушка, устроен совсем иначе: там другие правила, другие расстояния. Когда она его бранит — это значит, что с севера идет метель.

— Раз ты даже сам с собой ссоришься, придется угостить тебя ремнем.

— Бабушка, — сказал мальчик, — ведь тебя вовсе нет здесь. Ты — метель. А я нахожусь в дороге.

— Ты совсем одурел, — ответила бабушка. — И не стыдно тебе? Такой большой парень занимается среди бела дня всякими глупостями, а вязать еще не научился.

Мальчик прерывает разговор с важным господином во Фьорде и говорит:

— Ай-ай-ай, что я вам говорил! Она напустила бурю!

Он торопливо прощается и быстро-быстро мчится домой по извилистым тропинкам, пере-

секающим комнату во всех направлениях. Но на половине пути его настигает бабушка — вернее, буря, внезапно разразившаяся над пустошью. Он замерзает — и игра кончается. Бабушка усаживает его на кровать и дает ему вязать. Уныло накидывая нитку на палец, он начинает вязать. Это все та же стелька, над которой он бьется уже целую неделю и которая еще даже наполовину не закончена. Как будто ничто не двигается с места, все тянется и тянется, и ничему не видно конца — ни вязанью, ни дню, ни жизни в отцовском доме. И вдруг эта мысль нагоняет на него сон. Он вспоминает, что уже погиб в пургу на пустоши.

— Бабушка, я привидение, — говорит он, зевая.

— Ты, маленький негодник, кажется, еще не слышал сегодня хорошего псалма.

Да, в самом деле — теперь он вспомнил, что сегодня еще не слышал псалмов. Но это еще не самое худшее, что могло с ним случиться. Часто его бабушка бывала так занята этими «хорошими псалмами», так усердно распевала их, что забывала бранить его за плохую работу. И случалось, он засыпал над вязаньем, если бабушка пела что-нибудь особенно хорошее:

In dulci jubilo —

сердцем мы жаждем,
impre saepio —
радости дождь нам,
богородица gremio.
Alfa hesido!
Alfa hesido!

Исусе parvuli —
иже еси,
o pura optime
на небесех,
prinsinn glorii,
наши души спаси!
наши души спаси!

O Peturs Karitas!
O Cari Ponitas!
на суде предстоящем
per nostra crimina
прощенье обрящем.
Selorum gaudia
и спасенье души!
и спасенье души!

Да воздастся дающим! —
в райских кущах живущим,
божьи слуги поют
славу Cantica,
и святые живут
в горних Kuria,
души праведников,
души праведников.[26]

Это продолжалось долго. Псалмы никогда не кажутся такими длинными, как в дни детства… Никогда их язык не бывает так: чужд душе. К старости, наоборот, время, проведенное в пении псалмов, лечит слишком быстро. В этих священных, древних, пересыпанных латынью стихах, которым старуха научилась у своей бабушки, таился ее второй мир. Жужжанье прялки под их ритм было ее музыкой, которой она отдавалась, пока низкий потолок комнаты не сливался с горизонтом вечности, нитка обрывалась, руки опускались на колени, а прялка умолкала. И песня кончалась. С последним отзвуком этой песий, еще дрожавшим в душе и на губах, она

[26] Примечания: 26

Этот псалом взят из старого исландского сборника духовных песен 1747 г. Латынь в исландском тексте сильно искажена. *(Прим. Л. Г.).*

принималась искать нитку на веретене; найдя и послюнив ее, она продевала кончик в отверстие и будила мальчика.

— Разве так вяжут? — говорила она. — Стыд и срам! Вчера петли были редкие, как в рыбацкой сети, а сегодня они так стянуты, что иглу не просунешь. Мы уж дошли до четвертой стельки, а ты все еще не научился вязать. Накинь нитку два раза на палец, дуралей ты этакий, или я все распущу.

Надо найти какую-нибудь уловку, чтобы спастись от этого обязательного ежедневного нагоняя, но незаметно для бабушки. Способы могу быть разные. Иногда старуху можно упросить запеть новый псалом или рассказать сказку, но самое верное — отвлечь ее внимание. Сегодня ему повезло. Ауста откинулась к стенке, опустив подбородок на грудь, уронила спицы на колени и уснула.

— Бабушка, — говорит мальчик негодующе, — смотри-ка, Ауста спит.

Так мальчику удалось привлечь внимание бабушки к Аусте, этой соне, у которой и тело какое-то странное, — она же только наполовину человек.

— Ну что за безобразие, — говорит бабушка.

Но когда Аусту разбудили с обычными причитаниями, все началось сначала.

День как будто не продвинулся вперед ни на пядь. Мать стонала так же жалобно, как прежде. O pura optime, drag on postea.

Drag on postea…

Колесо опять завертелось, и мальчик вспомнил, что он в течение долгого времени был привидением.

— Привидения… — замечает он. — Они ведь что хотят, то и берут, не правда ли?

— Что за чепуха!

— Они могут делать все, что им угодно.

— Вяжи, вяжи.

— Бабушка, расскажи мне сказку о привидениях.

— А чего ради?

— Ну хотя бы только об одном-единственном привидении.

— Что я могу рассказать о привидениях? Ведь я старуха, у меня уж ноги не ходят и память отшибло.

Немного погодя она начала бормотать что-то себе под нос. Это походило на первое дуновение бури, которая исподволь усиливается. Ее сказки были все на один образец. Во время голода, после

извержения,[27] люди ели кожу; они совсем отощали и вши въедались им в тело. Ее бабушка еще хорошо помнила эти времена. Однажды французская шхуна, — это случилось на юге, — разбилась о песчаный берег во время урагана, вся команда погибла; богатый крестьянин украл все, что прибило к берегу, в том числе ящик с деньгами и бочку красного вина. Капитан и повар стали привидениями, они преследовали вора и его род до девятого колена. До сих пор они являются внукам и правнукам крестьянина, об этом рассказывают много легенд. Два брата побывали в городе, один отправился домой утром, а второй на следующий день. Путь был долгий, через горы. Поднялась сильная вьюга. Первый брат дошел до горной хижины. А в тех местах водилась нечистая сила. Ночью привидение стучало в стенку и в крышу хижины, но брат вытащил камни из пола и заложил двери. Привидение кричало страшным голосом, — парень навалил еще больше камней и послал привидение ко всем чертям.

Утром был трескучий мороз, но метель прекратилась. Парень убрал камни и открыл дверь.

---

[27] Примечания: 27

Во время голода, после извержения. — Имеются в виду тяжелые годы голода и эпидемий после извержения вулкана Гекла в 1783-м и землетрясения в 1784 г. *(Прим. Л. Г.).*

И прямо в его объятия упал мертвый брат: он замерз. После смерти он стал привидением и являлся брату. Бесконечные пространства с высокими снежными сугробами, бездонные пропасти, в которые легко свалиться, замерзшие реки с прорубями, куда падают люди и течение подо льдом несет их к самому морю, а потом они становятся привидениями, стучат в окна, произносят заклинания. Чудовища нападают на людей у подножия утесов, разрушают дома и пугают женщин, которые одни остаются дома. Черт Колумкилли, говорят, бессмертен. Ведьма Гунвер жила на этом хуторе, она заключила договор с Колумкилли и убивала людей. Есть много бесконечных рассказов о том, как ее четвертовали в воскресенье после троицы, у входа в редсмирскую церковь и разрезали на куски. Ни один богобоязненный человек не должен посещать могилу Гунвер: «Она-то и сломала мне ногу, бедро и кисть руки». В песне о Колумкилли говорится: «Кровь! — поток вдоль дорог, спи, сынок, с нами бог…»

Вдруг Бьяртур просунул голову в люк и сказал:

— Поставь воду, Халбера, идут гости.

Старуха отодвигает свою прялку, останавливается на полуслове и нехотя отвечает:

— Так я и знала. Только и делают, что слоня-

ются по всей округе. Сегодня утром были плохие приметы.

— Соула поможет тебе испечь оладьи, сделай кофе покрепче. Тот, кто едет к нам сегодня, без дела сюда никогда не являлся. Поторапливайся.

Немного погодя в отверстии люка показалось остро очерченное лицо старосты в рамке густых, тронутых сединой волос. На нем была толстая куртка для верховой езды, шарф, длинные, выше колен, вязаные чулки и сапоги из тюленьей кожи. Его хлыст был украшен тремя блестящими серебряными кольцами.

Он завернул к Бьяртуру по дороге в город, куда ехал в сопровождении одного из своих батраков. Здороваясь, староста протянул два пальца и что-то пробормотал себе в бороду. Ауста освободила для него место на кровати мальчиков, а Бьяртур уселся на краешке своей постели, возле жены. По комнате разнесся аромат первых оладий.

— Так, так, старина Йоун, — сказал Бьяртур с оттенком сострадания в голосе. — Ты, видно, решил проверить состояние дорог?

— Дороги хороши, нечего их и проверять, — ответил староста сонным голосом, поглаживая подбородок; он зевнул и окинул взглядом комнату.

— Вот как! А я помню время, когда ты говорил, что болота опасны для лошадей при глубоком снеге, — сказал Бьяртур, никогда не уступавший старосте, — в особенности если лошадей у тебя просил я. Но, конечно, хозяину лучше знать, что его лошадям под силу, а что нет.

— Ну, я не так-то часто разъезжаю по пустоши без цели, ради собственного развлечения, — многозначительно сказал староста. — И ведь лошади-то мои.

Бьяртур в ответ на этот намек заметил, что и богатые и бедные всегда имеют в виду какую-нибудь цель, едут ли они по городу или по пустоши, но все же он, Бьяртур, должен сказать, что снегу за последнее время на пустоши хватает. «Не знаю, как у вас там, внизу».

Староста сказал, что снегу у них не больше, чем полагается в зимнее время. Он вынул серебряную табакерку, отмерил пальцем основательный кусок жевательного табаку, откусил его и, тщательно уложив остаток в табакерку, осторожно захлопнул крышку. Затем он уселся на кровати поглубже, не боясь вшей.

— Ладно, ладно, старина, — примирительно сказал Бьяртур, — пусть так. А что у вас слышно нового?

Староста ответил, что лично у него никаких новостей нет, а что касается людей, ему ничего неизвестно.

— Не слышно ли чего про глисты или про понос у овец?

— У моих? — спросил староста.

— Ну, обычно ты сначала говоришь о себе, насколько я тебя знаю.

— Не все ли равно, есть ли у них глисты или нет, при нынешних-то ценах? Эти несчастные овцы стали теперь простой обузой.

Бьяртур позволил себе выразить подозрение, что богатеи лукавят, когда жалуются на своих овец.

— Думай что хочешь, — сказал староста.

— Распорядился ли ты очистить пастбища от снега?

— У меня еще достаточно сена.

— И у меня тоже, — сказал Бьяртур.

Теперь староста уже совсем развалился на кровати; он усердно жевал табак, и у него набралось столько слюны во рту, что он избегал длинных фраз. Его полузакрытые глаза блуждали по комнате и остановились на Аусте, которая пекла оладьи.

— Бывало, что и тебе приходилось обращаться

к другим за самым необходимым, — заметил староста.

— Ну, уж тут виновата твоя жена — она отказывалась получать с меня деньги за ту каплю молока, которую я брал у нее для детей, пока они были маленькими. Ну, а земля — за нее-то я не должен тебе ни гроша, как известно богу и людям, хотя на это ушло двенадцать лет.

— Похоже на то, что тебе все еще не хватает земли.

— Как?

— Сдается мне, что не далее чем вчера ты пришел ко мне с какой-то ношей на спине. Если не ошибаюсь — в четвертый раз. Непонятно, зачем ты купил у меня землю здесь, наверху, если ты намерен занять все мое кладбище?

— Может быть, вы у себя в Редсмири победили смерть? — спросил крестьянин.

Но староста ничего не ответил на этот выпад.

— Что мне сказать, если я повстречаю в городе судью?

— Что его овца, которую я вытащил из болота в прошлом году на Иванов день, была шелудивая.

Староста в ответ лишь пожевал табак и затем пустил его изо рта струей, упавшей на пол, у самых ног Бьяртура.

— Сколько лет девчонке? — спросил он, не сводя глаз с Аусты.

— Четырнадцатый пошел. Сдается мне, что бедняжка родилась незадолго до того, как я сделал первый взнос за землю.

— Как это на тебя похоже! Хозяйствовать на хуторе четырнадцать лет и не завести ни одной коровы.

— Да если бы меня не мучила совесть, что я должен во что бы то ни стало расплатиться за этот клочок земли, я, конечно, мог бы купить корову и нанять батрака. Но я всю жизнь стоял на том, что свобода и самостоятельность дороже, чем скотина, и что незачем залезать ради нее в долги.

Староста запыхтел.

— Как же ее зовут? — спросил он.

— Ауста Соуллилья.

— Что это значит?

— Это значит, скажу я тебе, старина, что никогда, пока я живу на этом хуторе, она не будет зависеть от других, ни телом, ни душой. А теперь не будем об этом больше говорить.

Но презрение старосты к самостоятельности Бьяртура из Летней обители не знало границ.

— Можешь ее послать ко мне зимой. Моя жена охотно учит читать и всему, что нужно. Мы будем

ее кормить хоть месяц.

— У нас достаточно еды в Летней обители. А всякая чепуха, которой вы учите в Редсмири, может быть, и полезна, но только для тех детей, которых вы признаете своими.

Староста наклонился вперед, опять сплюнул на пол и с сонным видом, подавляя зевок, провел рукой по лбу и щекам.

— Я забочусь о своих, а ты о своих, — прибавил Бьяртур, не глядя на плевок.

— Твоя жена все болеет, — сказал староста. — Сколько тебе пришлось заплатить за ее лекарства зимой?

— Это совсем другое дело. Я и не думаю отрицать, что мне не повезло с женами, как с первой, так и со второй. У обеих оказалось больное сердце. Это уж воля божья или злая судьбина. Но это никого не касается.

Староста, никогда не обижавшийся на резкие ответы — ему даже нравился такой тон, — начал почесываться: видимо, его донимали вши. Он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Да нет, я в это не вмешиваюсь. Но жена моя считает, что ребенка надо непременно учить. Ведь у нас вышел закон об обязательном обучении. А мое мнение на этот счет всем известно: вся

эта волынка с учением — проклятье для простого народа.

— У меня такое мнение: кто принадлежит к простому народу, пусть и обучает простой народ, а богатые — богатых. Так и передай фру в виде привета от меня.

— Никакой мне от этого прибыли нет — обучать народ, — ответил староста. — А вот там, на юге, этого требуют. Да, что я еще хотел сказать?.. Женщины у нас внизу прямо помешались на том, что тебе надо завести корову.

— Я сам себе хозяин.

— А что мне сказать, если судья вздумает вмешаться в это дело?

— Передай ему, что мы здесь, на пустоши, самостоятельные люди.

— Да, и сами себе могилу роете, — фыркнул староста.

Но прежде чем Бьяртур успел найти подходящий ответ, у плиты раздался тягучий, надтреснутый голос:

— Правильно говорит староста: это не жизнь. Я прожила в Урдарселе сорок лет, и у нас всегда была корова. И все эти сорок лет мне не приходилось просить у бога чего-нибудь еще.

— Послушай, — сказал староста, как будто слу-

чайно вспомнив о чем-то. — Я могу продать тебе корову, ей семь лет, она к лету отелится. Надежная скотина. Молока она дает не так уж много, но зато долго будет доиться.

«Опять начинается канитель», — подумал Бьяртур, изучивший старосту с давних пор. Не впервые он спорил с ним. Убеждать его — это все равно что биться головой о каменную стену. У старосты есть привычка: всегда начинать с того, на чем он остановился. От своего он ни за что не отступится. Трудно сказать, раздражало ли Бьяртура это качество старосты или восхищало. Но тут произошло нечто такое, что заставило Бьяртура замешкаться с ответом.

Его больная жена сделала попытку подняться на локте, посмотрела на мужчин и кротко прошептала:

— Дай-то бог!.. — И опять легла.

Когда этот вздох пронесся, Бьяртур наконец ответил старосте:

— Вряд ли ты предложил бы мне корову в прошлом или позапрошлом году, старина. Тогда еще было неизвестно, уплачу ли я в срок последний взнос.

— Я мог бы тебе дать сено для нее, — продолжал староста.

— Благослови тебя бог, — снова раздался вздох жены Бьяртура.

— Ты же получаешь свои лекарства от Финсена, — сказал Бьяртур, — ты никогда не терпела недостатка в них.

Староста, прославившийся в округе тем, что лечил гомеопатией иждивенцев прихода, попросил разрешения взглянуть на лекарства, которые Бьяртур приносил своей жене от Финсена, местного врача из Фьорда, депутата альтинга. Финна отдернула занавеску у шкафчика, висевшего в углу, над ее постелью, открыв большую и красивую коллекцию склянок всех размеров и цветов, размещенных на трех полках. Многие из этих склянок были уже пусты. Староста взял в руки несколько бутылочек, вынул пробки и понюхал. На них была одна и та же надпись, выведенная по-ученому, с завитушками, как это делают врачи: «Гудфинне, дочери Тоурарина. Принимать три раза в день, через равные промежутки. Для внутреннего употребления». Понюхав с презрительным видом две-три бутылочки, староста поставил их на место.

В это время налили кофе, и Бьяртур гостеприимно предложил гостю и его спутнику налечь на оладьи. Старуха продолжала возиться у печки

и что-то бормотала. Ауста, слышавшая все, что было сказано насчет коровы и учения, засунув палец в рот, почтительно глядела, как староста глотал испеченные ею оладьи. Глаза мальчиков раскрывались все шире по мере того, как уменьшалась гора посыпанных сахаром оладий. Их лица все вытягивались и вытягивались; на блюде показались розы и девушка из сказки. Неужели им ничего не оставят?

— Что я еще хотел сказать?.. — заметил староста. — Возможно, что мой сын Ингольв будет здесь, в долине, по делам.

— Вот как, — сказал крестьянин. — Что же, я ему не загорожу дорогу. Говорят, он стал на юге большим человеком.

— Уполномоченный потребительского общества, — уточнил староста.

— А! Это уже кое-что.

— Не знаю, известно ли тебе, — сказал староста, — что цена на шерсть в три раза больше того, что Бруни платил вам в прошлом году. И похоже на то, что он не меньше нажился на мясе этой осенью.

— Что до меня, — сказал Бьяртур, — то, покуда я могу платить тебе и лавочнику все, что полагается по закону, мне все равно, в чем вы, богачи,

обвиняете друг друга — в обмане ли, в воровстве ли. Так повелось со времен первого поселенца по сегодняшний день.

— Все вы трусы, — говорит староста. — Живете и умираете с верой в того, кто больше с вас дерет.

— Говорят, что и ты не так уж тороват: платишь гроши за то, что покупаешь живым весом. Как говорил мне осенью лавочник, ты нажил пять — восемь крон на каждом ягненке, которых продал на юге, в Вике. Да и то ли еще говорят.

У старосты было странное свойство: если его обвиняли в воровстве или убийстве, он никогда не выходил из себя. Наоборот, это даже как будто было ему по вкусу. Но он не терпел, чтобы его обвиняли в одном лишь преступлении — в том, что он наживает деньги. Такого поклепа он никак не мог вынести, и язык у него развязывался. И теперь в один миг с него слетел сон, он весь подался вперед, лицо у него передернулось, глаза заблестели, от его ледяного спокойствия и следа не осталось, да и языку он дал полную волю.

— К счастью, я лучше знаю свои дела, чем лавочник из Фьорда. Я могу показать бумаги, в любое время, и всякому станет ясно, что мои закупки овец принесли мне больше убытку, чем

крестьяне потерпели от лисиц здесь и во всей округе за несколько десятков лет. Ты веришь лавочнику, что я осенью покупаю овец ради собственного удовольствия. А на самом деле, если я покупаю овец у крестьян нашего прихода, то лишь из жалости. А что такое жалость? Хочешь помочь чужой беде, — а ведь, казалось бы, какое мне дело? Впутываешься, как дурак, в чужие дела, чтобы спасти несчастных людей от голода, или от долгов, или от банкротства — и все ради прихода. Мне-то что от этого за корысть? Пусть бы перешли на иждивение прихода, а приход на иждивение округа, а округ на иждивение государства — и пусть бы все вместе шло к черту. Я, что ли, приглашал их к себе? Нет, я никого не зову к себе, но они все-таки приходят. И как же быть? Один явился за зерном, другой за сахаром, третий за сеном, четвертому нужны деньги, пятому нюхательный табак. А у меня, может, и жевательного не осталось для самого себя. Шестому нужно и то, и другое, и третье, а седьмой требует, чтобы ему даже крошили табак, как будто это моя прямая обязанность. Бруни воображает, что у меня склад подарков, куда всякий может прийти и получить что угодно на даровщинку. Почему, смею спросить, сам Тулиниус Йенсен не превращает

свою торговлю в банк, выдающий безвозвратные ссуды? Нет, передай Бруни от меня, что круглый год ко мне приходят люди, которых он раздел донага, а затем еще запретил им брать по собственному счету хотя бы горсть муки для своих голодных, отощавших детей. А что возьмешь с таких разоренных крестьян осенью? Каких-нибудь несчастных ягнят, которые не годятся даже на то, чтобы служить приманкой для лисицы.

После такого взрыва староста начинает шарить по карманам в поисках табакерки, но он редко берется за табак раньше, чем переубедит своего противника или же махнет на него рукой.

— Уже пора, — говорит он, так и не откусив кусок табака, — и давно уже пора всем крестьянам, которые хоть чего-нибудь да стоят, посовещаться друг с другом и уразуметь, в чем их выгода, и здесь, и в других местах. И тогда такому слабому человеку, как я, с маленькими средствами и большой ответственностью, не придется разоряться ради людей, которых лавочник почти что уморил голодом. Потом, в благодарность, тебя еще и вором ославят.

— Прежде говорили, что если ты начинаешь заботиться о других, то тут что-то неладно, — заметил Бьяртур.

— В одном ты можешь быть уверен: что уж я могу приготовить для твоей Финны лучшее снадобье, чем эта никудышная водичка с камфорой, которую ты получаешь у Финсена. Он и Тулиниус одного поля ягоды. Насколько мне известно, эта братия в альтинге ничего не добилась, кроме постройки причалов для торговых океанских пароходов. И уж они нагрели руки на этом деле: получили субсидии на постройку двух причалов, но не успели их построить, как их размыло волнами. А теперь эти господа твердо решили выжать из казны еще сто тысяч крон — для постройки мола, который должен выходить в открытое море, как защита для разрушенных причалов. А кто оплатит все эти сооружения, которые выбрасывают в море, как мусор? Конечно, мы, крестьяне, — ведь из нас выжимают последние соки прямыми и косвенными налогами. Да, мы, исландские крестьяне, чтобы не попасть в кабалу к купцам, должны объединиться для защиты своих интересов — так же, как это сделали в Тингее уже лет тридцать тому назад.

Он поднялся, выпрямился и начал закутывать шею шарфом.

— Да, да, девочка, — сказал он, остановившись возле Аусты; его глаза смотрели так ласково, в

резких чертах его лица было столько силы, что она покраснела до корней волос; сердце у нее бешено забилось. — Мне хотелось бы подарить тебе две кроны. Для молодой девушки большое удовольствие купить себе носовой платочек, — он достал из кошелька настоящую серебряную монету и подал ей. Она всегда боялась старосты, а особенно в эту минуту.

Не удостоив мальчиков даже взглядом, он стал застегивать куртку.

— Корова обойдется тебе всего в сто пятьдесят крон. А в цене на сено — сойдемся.

Глава двадцать седьмая
Вечер

Приближается вечер. После песен и сказок, услышанных за день, мальчик чувствует себя неуверенно, он боится пошевелиться, он весь съеживается от страха перед нечистой силой и молча вяжет. Бабушка и сестра стоят спиной к нему, занятые весьма ответственным делом — приготовлением пищи; они священнодействуют. Хворост шипит и не желает загораться, комната наполняется дымом, от которого щиплет в горле. Это и есть поэзия дня; она живет в этом дыму, где

мальчику видятся бушующие снежные вихри, опасные ущелья и призраки, посылаемые нам per nostra crimina[28]. Со двора изредка доносятся голоса ссорящихся братьев, но от этого Нонни не становится легче, его охватывает тоска; он вяжет все небрежнее, петли ложатся кое-как, а указательный палец левой руки давно уже онемел. В сумерках стены комнаты как будто раздвигаются, их разделяют огромные пространства, и чудится, что человеку уже не под силу преодолеть их. Даже мать уже где-то далеко-далеко, и кажется, что к ее груди уж никогда не прильнешь, и боишься, что она безвозвратно исчезнет в волнах тумана. Ведь в этом тумане — поэзия жизни, поэзия смерти…

Во время ужина дети чувствовали себя скованными. Стояла ледяная тишина. Все украдкой поглядывали на Бьяртура, затем друг на друга. Ауста еле прикасалась к еде. Старуха мямлила что-то про себя, не подымая глаз. Все досыта наелись соленой рыбы, покончили с картошкой, и никому уже не хотелось оставшейся от завтрака каши. Ауста убрала со стола; от волнения она сильно косила. Старшие братья зло шептались, а мать, тоже шепотом, останавливала их:

---

[28] Примечания: 28
За наши преступления *(лат.)*.

— Ну, ну, дети, милые!

Старуха взяла с полки свое вязанье и громко сказала, точно продолжая начатую сказку:

— Мычи, мычи, Букодла, если только ты жива.

— Что такое? — недовольно спросил Бьяртур.

— Возьми волос из моего хвоста и положи его на землю, — прошамкала, уткнувшись в вязанье, старуха; в тишине казалось, будто это потрескивает мороз.

Мальчишки начали драться.

Ауста вдруг подошла к отцу с тарелкой в руке и сказала:

— Отец, я хочу учиться.

Ледяные оковы распались.

— Я-то не учился, пока не начал ходить к пастору, как было положено. Только тогда я прочел «Сагу про Орвара Одда[29]» и стал зубрить катехизис, — ответил Бьяртур.

— Отец, я хочу учиться, — настойчиво сказала девушка, наклонив голову и опустив глаза; ее голос и губы слегка дрожали, как и хрупкая тарелка в ее руке.

---

[29] Примечания: 29

Орвар Одд, или Одд Стрела — легендарный норвежский герой, получивший это прозвище из-за своих магических стрел. Путешествовал в Бьярмаланд, страну на побережье Белого моря, в Гардарики (Русь), Финмарк, Святую землю и всюду совершал славные подвиги. «Сага об Орваре Одде» была записана в Исландии в XIII в. *(Прим. Л. Г.).*

— Ладно, девочка, я как-нибудь прочту с тобой стихи о Берноуте, и ты их выучишь.

Девушка прикусила губу и сказала:

— Я не хочу учить стихи о Берноуте.

— Странно, — ответил Бьяртур. — А чему же ты хочешь учиться?

— Хочу учиться закону божьему.

— Этому можно научиться у старой Халберы.

— Нет, — сказала девушка. — Я хочу отправиться в Редсмири, как сказал староста.

— Это для чего же?

— Чтобы узнать о боге.

— Слышать не хочу такие глупости, — сказал Бьяртур из Летней обители.

— А я все равно хочу в Редсмири.

— О! Вот как, девочка! — сказал Бьяртур. — Но, видишь ли, скорее я буду воспитывать редсмирских детей, чем редсмирцы будут воспитывать моих.

— Я хочу в Редсмири.

— После моей смерти, — сказал он.

— В Редсмири… — еще раз повторила она.

— Твоей покойной матери тоже хотелось уйти в Редсмири, но она не поддалась, она предпочла умереть. И умерла. Вот это был человек! Утиредсмири остается Утиредсмири. Я пришел туда,

когда мне было восемнадцать, и потом я не мог разогнуть спину в течение тридцати лет. И до сих пор я еще с ними не покончил. Теперь они навязывают мне корову. Твоя мать умерла вот в этой самой комнате, но подачек не принимала. Она была самостоятельная женщина.

Теперь, через тринадцать лет после смерти своей первой жены, Бьяртур очень гордился ею. Он был влюблен в ее образ, такой, каким он сохранился в его памяти, и забыл о всех недостатках Розы. Но когда он увидел, как дрожат плечи его дочери, как она плачет, нагнувшись над посудой, ему подумалось, что женский пол все-таки слабее мужского, и женщины нуждаются в утешении. Ведь он ни к кому не питал такой нежности, как к этой косоглазой девочке. Он дал ей такое красивое имя, подолгу смотрел на нее по воскресеньям, а летом защищал от дождя — и все без лишних слов. И он пообещал ей, что завтра же начнет учить ее читать, чтобы редсмирцы ни к чему не могли придраться. У него было семь книжек с прекрасными стихами.

— А весной, как знать, мы, может быть, сами купим себе книгу, где написано об Орваре Одде. И даже носовой платочек…

Молчание.

— Ты бы лучше отдала мне ту серебряную монету, девочка. Это иудин сребреник.

Никакого ответа.

— Кто знает, может быть, в сундуке найдется для тебя красивое платье. Да… Оно завернуто в мою праздничную куртку. Надо только подрасти к весне.

— Мычи, мычи, корова, — пробормотала старуха, нагнувшись над веретеном и губами втягивая нитку в отверстие.

— Я запрещаю тебе говорить такую чепуху при детях, Халбера, — сказал Бьяртур.

— Возьми волос из моего хвоста и положи на землю. Из глаз Аусты все еще капали слезы.

— Думается мне, — сказал Бьяртур, — что, раз ты уже такая большая, пора подарить тебе овечку. У меня есть красивая, желто-коричневая, она немножко похожа на тебя.

Он смущенно смотрел на стройную фигуру девочки, у которой была своя мечта в этой снежной долине и которая так безутешно плакала… Он подошел к ней и стал гладить ее, этот цветочек.

— К весне, — сказал он, — я возьму тебя с собой в город. Это намного лучше, чем идти в Мири. Там ты увидишь море и заодно посмотришь свет.

И когда он прикоснулся к ней, она вдруг пе-

рестала грустить и забыла свои печали. Он так редко ласкал ее... Она прильнула к нему и почувствовала, что во всем мире нет более могучей силы. На его шее, между воротом рубахи и бородой, было одно чудесное местечко; ее горячие губы дрожали от слез, она потянулась к этому местечку и нашла его. Так — вдруг — исчезают порой все невзгоды жизни. Одно мгновение в сумерках — и все прошло.

Зажгли свет.

Маленький мирок, где кое-как перебивались люди, затерянные в снежных пустынях, снова зажил своей обычной жизнью. Бьяртур стал строгать доску для стойла. В его бороде застряли крошечные стебельки мха и обрывки стружек: время от времени он произносил нараспев какие-то стихи. Старшие братья чесали шерсть. Они были непохожи друг на друга. Старший — курчавый, с длинными руками; характер у него был сложный и замкнутый. Средний брат был плотного телосложения; он отличался горячим и вспыльчивым нравом — черта, обычно свойственная простодушным людям. Старший часто корчил гримасы за спиной отца. Днем он забегал домой и царапал стол гвоздем, поглядывая на мать с глупым и упрямым видом; сидя он всегда

то сдвигал, то раздвигал колени. Средний брат обычно, борясь со сном, таращил глаза и даже вставлял в них спички — это была его выдумка; он работал до тех пор, пока не валился с ног от усталости. Братья чесали шерсть и поминутно толкали друг друга локтями; дело могло кончиться дракой.

Ауста связала еще один ряд. Ну ее! Подумаешь! Ведь она только полчеловека, ей многого не хватает; из-за всякого пустяка она ревет, — никому даже на ум не приходит реветь от того, от чего у Аусты появляются слезы… Наконец-то она перестала плакать. А матери сегодня нисколько не лучше, так же, как вчера и позавчера. Может быть, она поправится от лекарства, которое приготовит староста?

Жужжанье прялки несется сквозь пространство и время.

Маленький Нонни больше не думает о вечере, не чувствует его, хотя вечер уже наступил. Люди и кухонная утварь понемногу растворяются во мраке. Комната становится огромной и бесформенной. Трудно представить себе что-нибудь нелепее комнаты, которая растягивается словно резиновая. Даже жужжанье бабушкиной прялки уже не кажется близким — оно как далекое завы-

вание ветра, проносящегося мимо неведомых гор; щека бабушки под чепцом скрывается в каких-то облаках, неизвестно откуда взявшихся. А Соулу послали в Утиредсмири, чтобы она узнала о боге? Или она получила корову? Да нет! Это собака около люка: она зевает, чешется и царапает задними лапами стену, а потом свертывается клубочком.

Мать его — это только воспоминание о какой-то песне, песне для всего мира, о том, что он куда-то стремился весь день, но сейчас позабыл куда. О, поскорей бы очутиться там, поскорей! Близится время, когда все его мечты сбудутся, хотя пока еще ни одна не сбылась.

И так наступает вечер — прежде, чем замечаешь, что длинный день уже кончился. Вечер приходит с целой вереницей образов, которые растворяются и тают. И человек тоже растворяется, он уже вне времени, он исчез вместе с другими растаявшими образами.

Бабушка развязывает маленькому Нонни ботинки.

Глава двадцать восьмая

Литература

Век небось я подруги нежной
не забуду по гроб,
кос колосья и белоснежный
высокий лоб.

Взгляд мой ищет, но девы чистой
нет близ меня,
была она чище, чем свет лучистый
светила дня.

Лоб белокожий — как озаренный
светом утес,
помню я тоже, будто точеный,
правильный нос.

Вроде белила на щечках румяных —
алость и белизна,
кровь растопила снег на полянах,
будто весна.

Прелести девы — я воспевал их! —
кто воспоет?
Милые — где вы? — две ямочки малых

и алый рот.

Румяные щеки и кос колосья,
высокий лоб
я, одинокий, помню — небось я
помню по гроб.

Камень грубый сокрыл отныне
навек тебя.
В тоске сугубой, в мирской пустыне
живу, скорбя.

Обучение Аусты Соуллильи началось с этой любовной песни, взятой из рим о викингах из Йомсборга. Когда она, читая по слогам, одолела первую строфу, Бьяртур откинулся на спинку стула и, полузакрыв глаза, спел ее, а потом объяснил ей непонятные места. Она заучивала наизусть все прочитанные ею строфы и тихонько напевала их, когда оставалась одна. Все эти любовные песни были обращены к одной и той же девушке по имени Роза. Ауста никогда не спрашивала, кто была эта девушка, про которую поэт сложил такие, как казалось ей, красивые стихи, но она видела ее вместе с отцом, любила ее вместе с ним и глубоко прочувствовала наивные слова, напоминавшие благочестивые изречения, выре-

занные на веретене бабушки.

У нее вообще были смутные представления о том, как создавались стихи и как их печатали. Голос отца и любовь, жившая в душе давно умершего писателя, вызывали у нее представление о чем-то возвышенном и прекрасном. Глядя на себя в ведро с водой, она по-детски мечтала стать похожей на ту прекрасную женщину, которой уже давно не было на свете…

Учиться стало труднее, когда от любовной песни они перешли к римам. Здесь уже пояснений Бьяртура было недостаточно, чтобы связать между собою некоторые непонятные места. И неискушенная читательница растерянно блуждала в беспросветном тумане непонятных и трудно произносимых слов, между которыми, казалось, не было никакой связи; герои — викинги, их походы и битвы — все это было выше ее скудного воображения. А когда дело дошло до любовных похождений викингов, то отец читал их только про себя и смеялся: «Ну и бабники!» — закрывал книгу и говорил, что молодежи вредно, да и неприлично слушать подобные вещи. Наконец викинги повели себя настолько легкомысленно, что пришлось вовсе отказаться от этой книжки. Тогда Бьяртур достал римы о Берноуте, то было

более подходящим чтением для молодежи.

— А почему мне нельзя знать о любовных похождениях? — спросила девочка.

— А?

— Мне так хочется почитать о них.

— Стыдись, — сказал отец и дал ей затрещину. Он не разговаривал с ней весь день. И с тех пор она никогда уже не говорила во всеуслышание о таких вещах. Когда она прочла римы о Берноуте до того места, где переодетый герой проникает в покой принцессы Фаустины, она покраснела. Берноут говорит:

Ваша милость в моем сердце впечатлела
знак любви, как в мягкой глине, —
мне покоя нет отныне.

А принцесса отвечала: — Я мечтала
скрыть от вас, но где взять силы, —
Вы мне тоже очень милы.

И так принцесса и рыцарь просидели всю ночь до восхода солнца. Ауста ничего не сказала, ни единого слова. Она даже не поднимала глаз, но по вечерам, укладываясь спать, она накрывалась периной с головой, и маленькая комната в

Летней обители исчезала. Красавица Фаустина сидела в своем покое, думая о рыцаре, который всех победит, и ждала его возвращения. Долго-долго тянулось время ожидания во Фригии после того, как Берноуту пришлось бежать от злобных козней короля на остров Борнеарх, куда были посланы самые подлые негодяи в мире, чтобы убить его. Фаустина одиноко сидела в своей опочивальне, а он боролся один на далеком, чужом берегу против бесчисленных тайных убийц, один против всех.

Там, на пашне битвы, был
в рукопашной смел он —
сам напавших он рубил,
и, бесстрашный, пел он.

Бил по латам ливень стрел,
в щит-ограду градом,
но булатом Торлейф пел, —
сметая ряд за рядом.

Яр и лют кровавый труд,
правый суд, расправа,
трупов тут — пруди хоть пруд,
а Торлейфу слава!

Это поет отец.

Ауста выглядывает из-под перины: Бьяртур еще сидит на своей кровати, после того как все улеглись, чиня какую-то утварь. Никто уже не шевелится, вся комната спит, — он один не спит, он поет, сидя в одной рубашке, плотный, широкоплечий, с сильными руками и спутанными волосами. Брови у него косматые, крутые, они нависают над глазами, как утесы в горах. На его крепкой шее, под бородой, — мягкое местечко. Девочка долго украдкой смотрит на него: это самый сильный человек в мире и самый великий скальд, он может ответить на все вопросы, знает все саги, никого и ничего не боится, борется со всеми на далеком, чужом берегу, независимый и свободный — один против всех.

— Отец, — прошептала она из-под перины.

Она была уверена, что этот герой Берноут, — он и никто иной; и она должна сказать ему это. Но он не слышит.

— Отец, — шепчет она вновь и не узнает собственного голоса. Нет, она не посмела сказать ему это. Когда он посмотрел на нее, дрожь прошла по всему ее телу; она забилась под перину, и сердце у нее громко застучало. Может быть, он опять дал бы ей пощечину, как было при чтении рим о

викингах из Йомсборга? Хорошо, что она ничего не сказала.

Бьяртур пошел в овчарню, чтобы проведать ягнят; в овчарне он что-то напевал. Ауста слушала с напряженным вниманием и считала его шаги, когда он вновь поднимался по лестнице, мурлыча все ту же мелодию; у нее все еще сильно билось сердце.

Песнь мою равнять негоже
с древней несравнимой,
но пою, как встарь, все то же —
о своей любимой.

Когда Ауста опять выглянула из-под перины, отец потушил свет. Ночь.

Глава двадцать девятая
Корова

В тихий сияющий снежный день, в начале марта, произошли события, которые запоминаются на всю жизнь. Их значение поймет только тот, кто сам пережил нечто подобное. На западе по склону горы двигалось что-то большое и таинственное. Мальчики, которые теперь тоже познакомились

с сагами, подумали, что это рать, идущая в бой. Это была немалая новость для зимы, когда даже человек, с палкой бредущий по дороге, — редкое явление. Рать медленно передвигалась по долине. Маленький Нонни и Ауста взобрались на сугроб у дверей дома. Даже бабушка поднялась на восемнадцать ступеней, прорытых в сугробе, и приставила руку к глазам.

— Это корова, — сказала она.

— Да, это, наверное, корова! — закричали мальчики.

Последним вышел Бьяртур, весь в сенной трухе. Он был вне себя от злобы: нет здесь места для коровы! Он не станет отнимать сено у овец и бросать его корове; у него нет ни малейшей охоты выгонять из стойла лошадь, которой он больше обязан, чем любому другому животному, кроме собаки. Бьяртур исчез и не появлялся до тех пор, пока его не позвали.

Шествие двигалось шаг за шагом через болота; за коровой везли корм на санях, запряженных одной лошадью. Это была корова.

— Да, это, наверное, корова, — сказали мальчики.

Корова была не крупная. Из попоны, которой ее укрыли, высовывалась серая в белых пятнах

голова, глаза смотрели удивленно и подозрительно. Вымя было подвязано шерстяным платком, чтобы сосцы не волочились по снегу. Гудни, экономка из Редсмири, сама снарядила в зимний поход через гору это животное, не привычное к путешествиям. Из ноздрей коровы в тихий морозный воздух поднимались клубы пара, шерсть под мордой заиндевела. Дым, шедший из трубы, и запах жилья возбуждали ее любопытство; она шевелила ушами, втягивала воздух, пыхтела и пыталась замычать, как бы в виде приветствия, но веревка вокруг ее шеи была затянута слишком туго.

Старуха, опираясь на палку, проковыляла навстречу прибывшим.

— Благословенная тварь, — прошамкала она, — добро пожаловать! В добрый час!

Корова обнюхала старуху и, будто сразу узнав ее, вновь попыталась замычать.

— Благословенная тварь, — опять пробормотала старуха; другие слова не шли ей на ум, но так приветливо она редко к кому обращалась. Она погладила заиндевевшую морду, и корова издала урчащий звук, шедший из глубины ее глотки. Они тотчас же поняли друг друга. Тем не менее незнакомая местность пугала корову.

Ее движения были неуверенны, она беспокойно перебирала ногами, слегка дрожала, дышала тяжело, пыхтела и фыркала.

Бьяртур спросил у прибывших, чего они хотят. Как чего? Сдать ему корову. Откуда? От кого? Конечно, от старосты.

— Да будет он проклят за такой дар! — сказал Бьяртур словами саги и пригрозил наточить нож.

— Это уж дело твое, — ответили ему.

— Не удастся старосте сбить меня с ног. Если он за тридцать лет не сумел этого сделать, то теперь и корова ему не поможет, — сказал Бьяртур.

Кончилось дело тем, что корову водворили в стойло старой Блеси. Пол в сарае устлали торфом. Лошадь поставили рядом, за перегородкой, где раньше был загон для слабых ягнят. Бьяртур тщательно законопатил все щели, сквозь которые мог проникнуть воздух или свет. Ему и раньше приходилось ухаживать за коровами, и он знал по опыту, тысячелетнему опыту народа, что чем лучше они защищены от этих стихий, тем больше дают молока.

Когда посланцы уже собирались уходить, Бьяртур попросил их подождать и, пошарив в кровати, вытащил старую варежку, спрятанную

под периной его жены.

— Передайте привет старосте и скажите, что до сих пор я ему не должен был ничего сверх договоренного. Если он рассчитывает осенью наложить руку на моих ягнят, то ошибается. Беру вас в свидетели, что, если цена ему не подходит, он должен забрать эту животину завтра же, а не то я буду считать себя вправе зарезать ее хотя бы в тот же вечер.

Это был дерзкий вызов.

Бьяртур показал, что он свободный, самостоятельный человек, не зависит ни от старосты, ни от других и, если на то пошло, готов расплатиться наличными. Но люди отказались принять деньги, у них на это не было полномочий. Они даже не знали, ждет ли староста уплаты за эту животину, может быть, за нее уже уплачено. Уплачено? Да, кем-то другим. Кем-то другим?

С ума они спятили или за всем этим скрывается заговор? Он, значит, все же зависит от кого-то? Может быть, они решили, что он не может купить корову по бедности? Ну нет, друзья, он ни в чем не нуждается, и денег у него достаточно. Правда, он такого мнения, что незачем держать коров в ущерб овцам, но, если уж это необходимо, он может купить коров столько, сколько понадобится,

и заплатить за них чистоганом. В своем хозяйстве он с самого начала взял дальний прицел и отлично знает, на что израсходует свои деньги в будущем. На что именно?

— Если вам велено спросить, то я, может быть, выстрою себе дворец и кругом разобью фруктовый сад. Будьте здоровы!

Корова очень скоро стала другом всех обитателей Летней обители, кроме Бьяртура; его любимицами были собака и старая Блеси. В тот вечер, когда старуха поднялась наверх с ведром молока и дети получили по чашке теплой драгоценной влаги, а Финна — мать — целую кружку, — вот тогда можно было считать, что в долине на пустоши наступили новые времена. Все ожило. В этих душах, придавленных беспредельной снежной пустыней, словно расцвела весна. Прекратились даже вечные перепалки между старшими братьями, они перестали награждать друг друга бранными прозвищами и угрожать побоями.

Ауста закончила свою кофту и тут же, не мешкая, набросила на спицу петлю и принялась за пару новых панталон — со всем тем рвением, предусмотрительностью и оптимизмом, которые требуются, чтобы взяться за такую работу.

Даже в бабушкиной памяти ожили вдруг более красивые псалмы и более понятные; латинские слова попадались в них реже. Привидения в ее сказках стали намного добрее, чем раньше. Она вдруг вспомнила об одном призраке, жившем на юге. Он вел себя совершенно спокойно, если ему ежедневно давали пищу, как всем домочадцам. Рассказы о людях, засыпанных снегом, не были такими страшными, как раньше. Случалось даже, что людей, упавших в пропасть, на третьи сутки спасали; невероятно — но после этого они жили еще долго, несмотря на перелом обеих ног. Не прошло и недели — это было самое удивительное, — как Финна начала вставать с кровати и пыталась, опираясь на кого-нибудь, сделать несколько шагов по комнате. Она стала разговаривать, спрашивала о топливе — и все это на целых три недели раньше, чем в прошлом году. Она даже спросила о чулках. Они все были дырявые. Тогда Финна нашла свою штопальную иглу, села на постель и принялась чинить их. Однажды утром она встала раньше всех и начала растапливать печь своими ловкими руками, — в это утро в комнате было намного меньше дыма, хворост начал потрескивать раньше и кофе закипел скорее. А на следующее утро Бьяртур застал

жену в коровнике: Финна уже покормила корову и стояла возле, поглаживая ее и разговаривая с нею.

— Я не знал, что эту чертову животину надо обслужить раньше всех, — заметил Бьяртур и пошел кормить овец.

Но с тех пор так и повелось, что жена каждое утро вставала кормить корову. Она носила ей воду, заботилась о том, чтобы пол в хлеву был сухим и ровным. А уж корова сумеет отблагодарить за такой уход. Финна умело и легко доила ее и подолгу разговаривала с ней. Финна обнаружила прирожденное чутье и поступила наперекор тысячелетнему опыту народа — время от времени она оставляла открытой дверь и в хорошую погоду вынимала кусок дерна, которым было заткнуто отверстие в крыше. Старая Блеси была очень недовольна соседством этой скучной коровы, она стала нервной, раздражительной, — зачем ей такое общество на старости лет? Хватит с нее того, что она видит «барана Гудмундура» и его брата в загоне, по другую сторону канавы; они бодаются и брыкаются всю ночь. Выражая им свое презрение, Блеси часами простаивала, прядала ушами и ждала случая стащить клок редсмирского сена через загородку из кормушки

коровы. По ночам, если ей не спалось, она старалась укусить корову. Финне пришлось прибить еще одну перекладину к перегородке.

— Сколько добра она нам делает, — сказала женщина с любовью и уважением.

— Надеюсь, что ты сама заплатишь батраку, который накосит для нее сена осенью, — сказал Бьяртур. — Мне бы пришлось зарезать какую-нибудь овцу, чтобы оставить на зиму сено для этой проклятой животины, но я не намерен этого делать.

— Я знаю, что бог позаботится о нашей Букодле, — ответила Финна со слезами на глазах и погладила корову с еще большей нежностью… Эта женщина понимала бога по-своему и нашла его в корове, как народы Востока, — ведь там верят, что божество воплощается в корову, и чтят ее как священное животное.

В тот год весна была дружная, снег быстро стаял, и Бьяртур выгнал уже овец на болото, — там они найдут себе свежий корм: побеги осоки — знаменитую весеннюю траву, которая исцеляет все болезни, если только животное ее переварит. Овцы были в лучшем состоянии, чем обычно, хотя весной они никогда не бывают особенно крепкими, даже после мягкой зимы. Они бродили

по болотам вялые, вытянув худые шеи с грязной, всклокоченной шерстью, — глядеть не на что, просто слезы.

Бьяртур сам пас овец, боясь, что они могут завязнуть в трясине и нужно будет вытаскивать их; но в эту весну лишь немногие из них безвольно выжидали, пока их извлекут из болота, даже если они увязали по колено.

Снег растаял во всех ложбинах. Солнце озаряло блеклую сухую траву и вздувшийся ручей. С юга прилетели первые друзья пустоши; зуек, обдуваемый теплым ветерком, уже щебечет где-то робкую весеннюю песню. Оттаявшее болото пахнет свежей весенней травой и прелью. Болтливый кулик провожает стадо овец до самого хутора: ему непременно надо рассказать веселую историю, и он никак не может ее закончить — хи-хи-хи-хи!

Маленький Нонни вытаскивает свои игрушки — овечьи кости и рога — на склон горы. Ручей так разлился, что стал величиной с море; можно подумать, что далекий мир начинается уже по ту его сторону. Но когда весь снег на горах стаял, ручей опять стал маленьким. Может быть, он впал в уныние? Ничуть не бывало. Ясный и веселый, он несся по чистому песку и мелким

камешкам, среди берегов, покрытых увядшей, желтой растительностью. Тысячи лет он несся с вечно новой радостью, каждую весну он рассказывал коротенькие саги на своем наивном языке, лишь немного варьируя мелодию.

А на берегу сидит мальчик и слушает голос тысячелетий. Мальчик и вечность — два друга, и над ними безоблачное, безбрежное небо.

Да.

Глава тридцатая
Сильные мира сего

Староста возвращался из города домой. Он, как и в прошлый раз, был не один, но на этот раз его спутники оказались вполне под стать такой важной особе: это двое его детей, только что прибывших с юга, — уполномоченный Ингольв Арнарсон и двадцатилетняя красавица Одур, получившая современное образование. На выгоне люди разбрасывают навоз, но, завидев их, все останавливаются и, опершись на вилы, удивленно смотрят на невиданное зрелище. Бьяртур идет навстречу гостям, бросив своих овец и беспомощных, только что родившихся ягнят. Девушка сидит на лошади, она не хочет

спешиться и ступить в эту грязь, но староста слезает с коня на землю, правда, неохотно, а вслед за ним — уполномоченный в больших сапогах. Староста здоровается, как обычно, подавая в лучшем случае два пальца. Совсем иначе приветствует хозяев Ингольв. Он, причастный к миру власть имущих, у которых так много возможностей, не чурается простого люда, не считает ниже своего достоинства пожать руку Бьяртуру из Летней обители, даже похлопывает его по плечу и чуть ли не готов обнять его. Видно, эта повадка у него от матери. Он уж теперь не тот легкомысленный юнец, новоиспеченный агроном, который по праздникам забавлялся пальбой по невинным птичкам на чужих болотах или гарцевал на лошади с молодцами из Союза молодежи, распевая патриотические песни. Нет, с годами он приобрел солидную и подкупающую манеру держаться и тот жирок, который необходим, чтобы придать вес и убедительность словам оратора на собрании. Он научился выразительно размахивать руками, выпячивать грудь и откидывать назад голову. Бьяртур же из Летней обители был таков, каким видела его Ауста Соуллилья, — у него не было ни малейшего почтения к важным особам, даже к тем из них, кто запросто обходился с про-

стым народом. Надо сказать, рядом с ним эти господа казались какими-то нелепыми, почти уродами, не то шестипалыми, не то трехглазыми.

— Могу ли я помочь фрекен сойти с лошади, а то этак и ноги одеревенеют, — вежливо сказал Бьяртур; но молодая девушка без всякой помощи соскочила с лошади на камни у двери. Она была в рейтузах и сверкающих сапожках, крепкая и сильная, как молодое деревцо, выросшее на защищенных от ветра южных склонах. Сразу было видно, что она немало попутешествовала, многое видела и знала. Нарядная, цветущая, стояла она у низкой двери, на каменном пороге того дома, за который Гудбьяртур Йоунссон вместе с его детьми, живыми и мертвыми, двенадцать лет выплачивал долг, да еще восемнадцать надрывался до этого: она-то живет среди цветов, в доме, к которому ведет гладкая, расчищенная тропа.

— Спасибо, — сказала она, — нам надо спешить. Мне хочется поскорее домой.

Однако староста выразил желание заглянуть в дом, вместе с сыном. Им надо потолковать с хозяином. К сожалению, всегда находятся какие-нибудь дела. Когда они поднялись наверх, благополучно миновав лужу у самых дверей, Одур

всевозможными уловками пыталась помешать им усесться на кровати, чтобы не набрать вшей. Но староста был не брезглив: эка невидаль, он к этому привык. Он развалился на той же самой кровати, на какой обычно сидел, когда приходил сюда. Ингольв Арнарсон Йоунссон устроился на сундуке и стал оглядывать комнату, откинув назад голову, сияющий, как солнце, но с холодной улыбкой, напоминающей улыбку его матери. Молодая девушка села на стол. Староста так глубоко погрузился в свои мысли, что не слышал вопросов о состоянии овец и погоды, неуверенным движением он вынул кошелек, — у него слегка дрожали пальцы, особенно когда дело касалось денег; на его лице тогда появлялось выражение какой-то благоговейной, почти фанатической серьезности и вместе с тем сознание ответственности. Открыв кошелек и заглянув в него, он слегка откинул голову и вытянул нижнюю губу, чтобы удержать во рту табачную жвачку.

— Я давно собирался вернуть тебе деньги за корову, которые ты послал мне зимой через моих работников. Мне за нее заплатили другие.

— Ну-ну, кому это вздумалось хвастать тем, что он делает подарки Бьяртуру из Летней обители? Заплатили другие? Я никого не просил платить

мои долги. К черту всех тех, кому взбредет в голову выплачивать мои долги!

— Однако этот долг все же уплачен.

— Я не принимаю милостыни ни от кого ни на небе, ни на земле. Будь это сам Спаситель, он не имеет права платить за меня долги, я ему это запрещаю.

— Какой там Спаситель! Это Союз женщин, — сказал староста.

— Этого только не хватало! — отозвался Бьяртур и стал всячески поносить Союз. — Ведь они хотят превратить честных людей в своих должников и рабов, чтобы потом этим всюду бахвалиться. Можешь быть уверен, что я когда-нибудь зарежу эту корову и разрублю ее на мелкие куски, — она лишает аппетита моих детей, они просто чахнут — даже драться у них нет сил. Да и женщины мои стали строптивыми. Словом, от нее одни только ссоры и раздоры.

— А говорят, будто твои дети и жена с весны даже поправились.

Однако это замечание не успокоило Бьяртура. Он всегда подозрительно относился к заботам посторонних о его благополучии.

— А какое дело тебе или Союзу женщин до меня и моей жены, смею я спросить? Или до моих де-

тей? Пока я ничего не должен ни тебе, ни Союзу женщин. Запомни раз навсегда, что ни тебе, ни Союзу незачем совать нос в мои дела да еще заботиться о моей семье. Жена и дети принадлежат мне, живые и мертвые. Хиреют они или поправляются — это касается только меня. Скорее все кочки в Летней обители поднимутся до неба и все ямы превратятся в саму преисподнюю, чем я отступлюсь от своих человеческих прав, от своей самостоятельности.

Староста не нашел, что возразить на такую бурную речь; насколько можно было судить по его бесстрастному лицу, это его ничуть не задело, — ведь он и сам был человек самостоятельный, с размахом и в душе еще меньше Бьяртура верил в благотворительность и христианские чувства. Он засунул кучу бумажек обратно в кошелек все с тем же торжественно-серьезным видом и заметил, что эта пустячная сумма будет возвращена кому следует. «Я не собираюсь тебе ее навязывать».

Таким образом было покончено с благодеянием, которое вообще могло бы служить примером христианского милосердия. Казалось бы, что теперь сильные мира сего откажутся от своего намерения совершить чудо и приручить этого

самостоятельного крестьянина. Но, увы, нет! Уполномоченный предложил Бьяртуру угоститься из серебряной табакерки мелко нарезанным ароматным нюхательным табаком и начал обхаживать этого независимого простолюдина.

— Да, да, старина, — сказал он. — Тебя, я вижу, голыми руками не возьмешь.

Оба заложили в нос по щепоти табаку.

Затем уполномоченный спросил Бьяртура из Летней обители, не ждал ли он его по одному маленькому дельцу.

— Ждать не ждал, но и пути не заказывал.

— Тебе, может быть, известно, — начал уполномоченный, — что в Англии среди ткачей возникло движение, которое было на руку и крестьянам, попавшим в кабалу к купцам. Оно распространилось и в Исландии, еще в прошлом столетии: в округе Тингей крестьяне, вконец разоренные купцами, организовали потребительское общество. Это было начало кооперативного движения в Исландии. И теперь такие потребительские общества организованы по всей стране, они обеспечивают крестьянам справедливые цены при покупке и продаже. Эти потребительские общества теперь превращаются в крупнейшие торговые предприятия и вытесняют купцов.

Бедные крестьяне в округе Тингее, последовавшие примеру английских ткачей, сами стали блестящим образцом для молодого исландского общества.

В нашем поселке считается, что торговля во Фьорде мало выгодна для вас, крестьян: там ваши продукты покупают по дешевке, по тем ценам, которые устанавливают сами купцы, вам же они продают товары по наивысшей цене. Это грабеж, и за год вас обворовывают на громадные суммы.

Уполномоченный подсчитал, что на деньги, выколачиваемые за год из местных крестьян, можно купить хороший дом, даже два или, по крайней мере, хорошо оборудованную электрическую установку для каждого хутора.

— Думается мне, что это электричество вам же впрок и пойдет, — сказал Бьяртур.

— Все эти деньги торговый дом Бруни кладет в собственный карман, хотя львиная доля идет на расходы Тулиниуса Йенсена и его семьи, которая постоянно ездит в Данию — и поразвлечься и подлечиться. Но детям купца при всем желании не удается промотать то, что выкачивает эта фирма из бедных, измученных людей.

— Ты тоже побывал в Дании, маленький Инге, — заметил Бьяртур.

— Всем известно, что управляющий выстроил себе во Фьорде настоящий дворец, даже с какой-то причудливой башней, и израсходовал много тысяч крон на перестройку помещений фирмы.

— Да, — сказал Бьяртур, — почему бы старому хрычу не построить себе башню, раз ему этого хочется?

— К тому же, как известно, врач блюдет интересы этой фирмы в альтинге, он добился того, что казна дает ей уйму денег на постройку причалов и молов. А вся суть в том, что врач является совладельцем рыбных промыслов той же фирмы во Фьорде. Хотя мы и живем в плодородном крае, все же нельзя отрицать, что в делах общественных мы сильно отстали от других округов. Но теперь настали новые времена. На юге люди, болеющие за народ, ясно видят, до какой нищеты доведено крестьянство. И они хотят убедить крестьян, по примеру округа Тингей, сплотиться против этой банды разбойников. Ведь они загребают в собственный карман все, что могут урвать у отдельных лиц и у государства. Вот вы вытягиваете из себя последние жилы — вы, несчастные крестьяне на маленьких хуторах, у вас даже нет порядочной одежды, а продуктов так мало, что во многих местах к весне наступает настоящий

голод. Денег вы в глаза не видите годами, если не считать нескольких крон, которые вам удается скопить невероятными усилиями…

— В Летней обители денег достаточно, — возразил Бьяртур.

— …может быть, несколько крон в год. Ты ведь сам знаешь, дорогой Бьяртур, что это правда, и совершенно бессмысленно утверждать, что ты как сыр в масле катаешься. Я спрашиваю тебя как честного человека: что ты скажешь об этом грабеже народа?

— Гм… По правде сказать, у меня нет охоты смотреть, как вы, богачи, грызетесь между собой. Не очень это красиво. Я не вмешиваюсь в дела купца: мне-то что, меня это не касается, я от него плохого не видел. Я знаю, что мои овцы хорошо перенесли зиму, от долгов я свободен перед богом и людьми, денег у меня достаточно, да и на здоровье я и моя семья не жалуемся, и редсмирцам мы в этом не уступим. Они-то ведь тоже не бессмертны. Во всяком случае, мои дети намного здоровее, чем дети купца во Фьорде, хотя, по твоим словам, их ежегодно отправляют за море лечиться. У нас на пустоши ни у кого нет охоты меняться местами с кем бы то ни было.

— Ну, спокойнее, мой дорогой Бьяртур…

— Я не «дорогой Бьяртур». Меня зовут Гудбьяртур Йоунссон, крестьянин из Летней обители.

— Ну, хорошо, Гудбьяртур Йоунссон, — сказал уполномоченный с холодной улыбкой. — А меня зовут Ингольв Арнарсон. И, как свидетельствует мое имя, я из рода пионеров.

— Да, в тебе намешано всего понемногу, — согласился Бьяртур.

— Я хочу, чтобы эта страна была освоена. Люди прозябали здесь, морили голодом себя и свою скотину целое тысячелетие, но все еще не освоили ее. Скажу тебе вот что: в нашей стране есть две партии, которые не могут жить в мире и будут бороться, пока одна из них не победит. На одной стороне консерваторы и реакционеры — от них крестьянству житья нет; в этой партии купцы, судовладельцы, чиновники, врач. Вторая партия хочет помочь крестьянам, платить им настоящую цену за их продукты, продавать им все необходимое, не наживаясь на них. А для этого надо создавать потребительские общества. Затем мы хотим снабдить крестьян дешевой рабочей силой. Для этой цели надо уничтожить капитализм в приморских городах, тогда рабочие волей-неволей вернутся в деревню. И, наконец, необходимо снабдить крестьян деньгами, — для

этого мы намерены учредить сельскохозяйственный банк, через который государство будет давать крестьянам ссуду по низким процентам. И тогда они смогут строиться, проводить электричество, покупать сельскохозяйственные машины в любом количестве. Это наша программа, программа новых пионеров Исландии. Наступают новые времена, когда исландский крестьянин станет свободным человеком в свободной стране. Мы хотим, чтобы исландский крестьянин занял подобающее ему положение, чтобы ему оказывали почет и уважение, которых заслуживает это сословие. Ведь оно призвано помочь самому создателю в борьбе с силами мрака.

— Да, слыхал я эту песню, — сказал Бьяртур, почесываясь.

— Но должен же ты, дружище, наконец понять, что тебе указывают путь, дают способ заработать деньги.

Нет, именно этого Бьяртур не понял. В его голове никак не укладывалась мысль, что богатые крестьяне и сыновья богатых крестьян хотят помочь ему разбогатеть. Он не возражал против того, что они учреждают союзы женщин и потребительские общества для самих себя, — пусть себе учреждают сколько их душе угодно.

— Но ведь я не прошу помощи у богачей, им придется долго дожидаться, пока я начну плясать под их дудку. До сих пор всегда было так: вы загребали деньги и в союзах и без союзов, но уж когда несли потери, то немалые; и вы никогда не заманите меня в эти союзы, — отвечай потом за ваши убытки. Только в этом году — впервые за тридцать лет — я избавился от долга старосте. Кто знает, может быть, я еще сумею построить себе хорошую овчарню и отдельное помещение для ягнят. Овец у меня стало больше, а не меньше, в стаде семьдесят маток, нестриженых и суягных, да еще двадцать годовалых ярок. И все это потому, что я никогда не заводил себе корову. И дайте срок, я смогу купить не меньше коров, чем у вас в Редсмири, и построить себе жилой дом только ради удовольствия, хотя никакой надобности в этом нет — балки в моем доме почти все крепки, хотя, может быть, крыша кое-где протекает. Но войти в союз вместе с богачами против купца, который поступал со мной честно с тех пор, как я имею с ним дело, — а этому уже двадцать лет…

— Да, но кончится все это тем, что ты перейдешь на иждивение прихода, дружище, — прервал его Ингольв Арнарсон.

Бьяртур вскочил и заговорил уже бессвязно и

запальчиво — что он свободный исландец, что ему, черт побери, совершенно безразлично и... и что пусть его заживо разрубят на мелкие куски, как это сделали с Гунвер у ворот кладбища в Утиредсмири, — но она же не сдалась, прокляла их, и все сбылось. А Союз женщин или потребительское общество — нет, на это он, Бьяртур, не пойдет!..

— Ну, отец, Инги, хватит, едем домой. Неужели вы не видите, что зря теряете время? Я уеду одна, а вы оставайтесь, если вам нравится заниматься вздором.

Это сказала дочь старосты. Ей стало невтерпеж. Она не была упряма, как ее отец и брат, и не понимала, чего ради они, сильные мира сего, тратят столько сил на уговоры этого крестьянина и хотят во что бы то ни стало спасти его. Да ну его, пусть делает глупости, вольному воля! Неизвестно, сколько времени они бы еще сидели здесь, не возьмись она за это дело.

— Эту девчонку зовут Ауста Соуллилья, — обратился староста к сыну, показывая на дочь крестьянина, которая стояла на выгоне, опираясь на грабли, и удивленно смотрела на отъезжающих. — Ей пошел четырнадцатый год.

— Верно, — ответил уполномоченный и, при-

держав лошадь, взглянул на девочку, — я и забыл. Здравствуй, Ауста! Да ты уж совсем большая.

— А платочек ты себе купила? — спросил староста. — Ведь я этой зимой дал тебе денег.

— Эта монета, — крикнул Бьяртур, стоявший у порога, — упала в болото и потонула. Случайно, разумеется. Впрочем, не важно. Видишь ли, эти деньги были таковы…

— Проклятый ты упрямец, — заметил староста.

— Да скорее же, — крикнула дочь старосты уже с болота. — Нам надо домой.

— Да, Ауста Соуллилья, — сказал уполномоченный, — славная ты стала девчонка. До свиданья! До свиданья!

Глава тридцать первая
О песне

Спозаранка чибис поет,
песней ржанка встречает день,
и ручей журчит, и форель плывет,
и орлана скользит над водою тень.

Все певцы уже прилетели с юга домой, на болото; молочно-белая прошлогодняя трава сливается со свежей зеленью, проглянувшей в ложбинах и

на холмах. Пришла весна, пора выпускать корову. Об этом говорили уже целую неделю, но Финне хотелось выбрать для этого праздника светлый, теплый день. И светлый, теплый день наконец наступил: хлев открыли, и корову выпустили. Нетвердо держась на ногах, широко раздувая ноздри, пыхтя и фыркая, она высовывает голову во двор и мычит. После мрака и зловония зимы — свет и благоухание весны!

Перемена слишком неожиданна, и корова не может сразу приноровиться к ней. На площадке перед хутором она приветствует весну громким мычанием, затем неуверенно делает несколько шагов, как бы не доверяя земле. Вбирая большими глотками весенний воздух, она опять замычала было — и вдруг перестала. Не снится ли ей все это? Она так часто мечтала во мраке и смраде хлева о погожих днях, о зеленых лужайках, и ей не верилось, что это наконец сбылось. Корова рысью побежала по откосу. Больше она уже не могла сдерживать свою радость. Да, вот это приволье, настоящее приволье! Подняв хвост, она перешла на галоп, хотя чувствовала себя еще скованной и неловкой после зимнего затворничества, и помчалась к болоту. Она описывала большие круги и петли, мычала и фыркала, — это был

танец весны. Дети побежали за ней со смехом и криками, пока корова не остановилась в болоте, по колени увязая в грязи и тяжело дыша. Только к полудню она успокоилась и начала щипать траву. В первые дни корове милостиво разрешали пастись на выгоне. Тем не менее Бьяртуру жалко было каждого клочка травы, чуть ли ни каждой былинки. Хотя травы на выгоне было достаточно, чтобы прокормить корову, но ведь сено — самый драгоценный корм для овец на зиму. Он по-прежнему неприязненно относился к Букодле, которая вторглась на его хутор и перевернула все вверх дном. Собака следовала примеру хозяина. Эта старая собака была большим консерватором и отнюдь не отличалась таким умом, как ее мать, умевшая принимать новорожденных детей и спасать им жизнь. Титла любила сидеть на камнях у порога, угрюмая, сонная, но всегда достаточно бдительная, чтобы следить за всеми движениями коровы, потом вдруг подкрасться, атаковать ее сзади и куснуть за ногу. Корова оборонялась, пытаясь брыкнуть или боднуть собаку, даже пускалась за ней в погоню, но быстро сдавалась: собака была гораздо проворнее и увертливей. И вот они стоят друг против друга: собака, задрав вверх морду и оскалив зубы, время от времени

лает, а корова трясет головой и фыркает.

— Никак эта чертова скотина не может оставить в покое собаку, — говорил Бьяртур; он всегда был на стороне собаки.

Бьяртур очень огорчался, что дети все с меньшей охотой ели так называемую второсортную рыбу — соленую зубатку, сайду и треску — и прошлогоднюю, несвежую кровяную колбасу. Он считал неприличным, что его жена благословляла животное, по милости которого дети потеряли естественный аппетит к пище, так дорого обходившейся ему.

Однажды корову погнали в горы, в поросший травой лог. Свежая мурава пробивалась сквозь прошлогодние увядшие стебли, болото оделось зеленью, вся долина зазеленела. Но корове было не по себе в этом пустынном месте, она пыталась убежать на запад по склону горы. На другой день старших мальчиков послали пасти Букодлу, но ее не радовало их общество, — она тосковала по коровам, с которыми стояла в хлеву в Утиредсмири. Часами она мычала, вытянув голову в сторону поселка, и наконец, не обращая внимания на мальчиков, убежала. Началась настоящая охота. Корову догнали в канаве посреди горного склона, накинули ей на шею веревку и повели домой. Она

стояла перед домом, обессиленная и покорная, жилы на ее челюстях вздулись, она яростно хлопала ушами и не переставала мычать, пока к ней не вышла Финна. Она погладила корову и стала рассуждать с ней о человеческой жизни. Как хорошо иметь друга, который может успокоить и утешить тебя в трудную минуту, когда некуда податься. На следующий день Финна решила, что она сама будет пасти корову и возьмет с собой маленького Нонни. Наступили чудные дни. Они однообразны, а это и есть признак хороших дней. Они навсегда запомнились мальчику; никаких происшествий — живешь, дышишь, и больше ничего тебе не нужно.

Вскоре на выгоне проглянула гусиная травка, раскрылись ароматные цветы черники, красные и белые. В молодом кустарнике жужжали пчелки. На пустоши птицы уже снесли первые яйца, хотя в воздухе все еще звучали песни любви. Между буграми текли ручьи, а вокруг зеленели лощинки, на которых паслась корова. Здесь высились скалы, где жили аульвы, зеленели горные склоны, и весь день лился солнечный свет. Потом поднялся туман, солнца не было целых два дня. В тумане бугры и кочки казались больше, чем были на самом деле, а горы словно исчезли. Мох на

кочках стал более ярким, аромат все усиливался, трава увлажнялась росой, нити драгоценного жемчуга протянулись по траве и по земле.

Туман был легким, прозрачным, сквозь него проглядывало небо, но горизонт придвинулся и навис прямо над лощиной. Кочки, казалось, дотянулись до самого неба, к нему поднимались аромат, зелень и песни. И ты словно живешь в облаках. Корова плавным движением захватывала языком стебли травы и тянулась за ветками ивы, склонившейся над ручьем. Мальчик расположился на краю лощины, возле матери, сидевшей с вязаньем в руках. Они прислушивались к корове, к траве, к ручью — ко всему.

«Жил-был человек. Однажды он заблудился в тумане на дороге между двумя хуторами, и вдруг ему показалось, что ручьи текут вверх, на гору. Наконец он очутился среди скал и острых камней, которым, казалось, конца не будет. Скалы были вышиной с гору и стояли торчком. Выхода оттуда человек этот нигде не видел. Тогда из тумана к нему вышла женщина в голубом платье и белом чепце. „Иди за мной“, — сказала женщина. Не говоря ни слова, она привела его к себе домой, на маленький хутор, где все было чисто и красиво. Она подала путнику мясной суп с луком, и он

ел, сколько ему хотелось, а затем еще жирное мясо и кофе. А потом она вывела его на дорогу. Туман рассеялся, и человек узнал место, где он находился. Он решил было поблагодарить свою спасительницу, но женщина исчезла, хутор как сквозь землю провалился, — на его месте стояла самая обыкновенная скала. Человек пошел домой. Не было больше острых камней, и все ручьи текли вниз».

«Жил-был другой человек. Темной весенней ночью он шел к себе домой и очень утомился. На душе у него было тяжело: он разругался со старостой и купцом, и, может быть, ему уже ничего не оставалось, как перейти на иждивение прихода. Он не мог выплатить свои долги, купец отказал ему в кредите, а староста грозился отобрать у него дом. Может быть, его семью переселят куда-нибудь за счет прихода. Детей отправят в разные стороны — кого куда, будут морить их голодом по будням и угощать колотушками по воскресеньям. Дома его ждут, а он придет из поселка с пустыми руками. Он был так горд, что не мог просить помощи у других. Да, тяжел был его шаг, но много других, никому неведомых людей шли в этот час по земле таким же тяжелым шагом. Что ему было делать?

И вдруг он увидел свет среди скал.

Как часто он проходил мимо этих скал, при свете дня и в потемках! Он не понимал, откуда вдруг взялся этот свет среди скал, и подошел поближе. Перед ним был маленький хутор. У входа стоял человек; он очень понравился прохожему. Это был хозяин хутора — аульв. Он говорил немного, но приветливо, скромно, серьезно. Таковы все аульвы, — у них нет забот, они ищут добро и находят его. В скалах крестьянину подали кофе, очень сладкий, со сливками. И не успел он опомниться, как уже выложил аульву все, что было у него на душе. На прощание аульв сказал ему: „Завтра, когда проснешься, выйди за порог и оглянись“.

Крестьянин пошел домой. Там все уже легли спать. Крестьянин не посмел рассказать о своих неприятностях. Наутро, когда он встал, то увидел за порогом большие запасы всякой снеди — муку в кулях, сахар в ящиках, великолепную рыбу в мешках, — такой рыбы здешний народ и не едал; был даже сироп в кувшине».

«Жил-был маленький мальчик. Он рос у чужих людей, живших в долине на пустоши. Его не брали в церковь вместе с другими. У него не было ни брата, ни сестренки: он жил в разлуке со своими. Как-то летом, в воскресенье, все принарядились

и отправились в церковь, каждый верхом на лошади, а он стоял и смотрел им вслед. Он видел, как на тропинках, вдоль реки, клубится за ними пыль, а он остался один, со стариками. Как ты думаешь, легко ему было? Мальчик заплакал и ушел с хутора наверх, к скалам у подножия горы. Тяжело ему было думать, что в человеческой жизни плохое так часто берет верх над хорошим. Но как ты думаешь, что он услышал у подножия горы, среди скал? Он услышал чудесное пение. Кто бы это мог петь? Не один голос пел, не два, не три — пел целый приход. Это была церковная служба. Никогда мальчик не слышал таких псалмов. Откуда доносилось это пение? Вдруг мальчик увидел, что волшебная скала уже не скала, а церковь, она открыта и освещена солнцем; в церкви сидят аульвы, а пастор стоит перед алтарем в зеленом облачении. Мальчик входит в эту волшебную церковь. Он никогда не видел таких людей — таких красивых и счастливых. Вот что значит жить в мире и согласии, украшая жизнь песней. Когда псалом кончился, пастор взошел на амвон. Мальчику никогда не приходилось слышать такой замечательной волнующей проповеди, да и после он уж ни разу не слышал ничего подобного. Он запомнил ее

навсегда, втайне думал о ней и старался жить по тем законам, которым она научила его, но что это была за проповедь, он никому не рассказывал. Может быть, в ней говорилось о том, что, рано или поздно, в жизни всегда побеждает добро. Затем пастор опять подошел к алтарю и начал служить обедню. Он пел таким мягким, теплым голосом, каким никогда не поют наши земные пасторы. Мальчику казалось, что чья-то ласковая рука легла ему на сердце. Когда спели последний псалом, все встали и вышли. И мальчик тоже. Он оглянулся, — людей не было, церковь исчезла, осталась лишь волшебная скала, крутая и голая, как всегда, и слышен был только свист птиц, которые вылетали из расщелин. Мальчик больше никогда не видел, чтобы волшебная скала открывалась. Но все пережитое здесь запомнилось ему, и это воспоминание всегда утешало его, когда он чувствовал себя обездоленным. Он был скромным человеком и не жаловался на свою судьбу».

С белого, окутанного туманом неба, где солнце пряталось, как сладостное обещание, на волосы матери падали, пока она рассказывала, тысячи сияющих жемчужин. Закончив сказку, она сжимала губы с такой торжественной серьезностью, будто это было откровение свыше, и

осторожно проводила рукой по петлям своего вязанья. Кругом, казалось, была разлита какая-то возвышенная тайна, дышалось легко и спокойно. Лучшей подругой матери была аульва, знавала она и брата аульвы, но это было очень давно, дома, в Урдарселе.

— Неужели я спустила петлю? — спросила она и вздохнула. — Ну, не беда. Да, это было давно, и теперь уже все это не важно. Что было, то прошло, и никогда не вернется.

Но Нонни казалось, что все это очень важно. И он предложил отправиться к ее друзьям и самим стать аульвами, пока отец и Ауста будут во Фьорде.

— Мы возьмем с собой Букодлу, — сказал он.

— Нет, — ответила женщина задумчиво. — Слишком поздно. А кто позаботится о бабушке?

На это мальчик не мог ответить. Он продолжал разглядывать лицо матери. Ничего прекраснее не было на свете. Ни с чем не могли сравниться ее доброта, нежность, грусть — все, что отражалось на этом лице. И позже, когда он вспоминал эти дни, перед ним прежде всего оживали ее черты, и ему казалось, что он слился с синими горами и вместе с ними пережил счастье созерцания возвышенной красоты. Все его существо отдыха-

ло, благоговея перед той силой, которая сливает большое и малое в единый поток красоты и скорби, — и больше уж нет никаких желаний; даже под бременем неодолимых бед, даже в неизбывной тоске он все же думал, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить.

Друг, когда смолкает скрипка,
заползают птицы в норы,
и тропа в тумане зыбка,
а вокруг ущелья, горы,

мне тогда в пути сияет
край родной, как рай земной, а
в пути мне помогает
соотечественник мой,

тот, чья боль и мне созвучна,
будто звук струны скрипичной,
и со мною неразлучна
песнь его, мотив привычный.

А когда колок собьется
и порвется вдруг струна,
песнь его не оборвется —
мной продолжится она.

Мать научила его петь. Когда он вырос и услышал песню моря, он почувствовал, что нет большего счастья, чем возвращаться мыслью к песням матери. В этих песнях жили самые дорогие и самые заветные мечты человечества. Бугорки, на которых сидела мать, вырастали в горы, упиравшиеся в небо. Пернатые певцы удивленно слушали ее пение — прекраснейший гимн жизни.

Глава тридцать вторая
О мире

Ночь накануне Ивана Купалы. Кто искупается в реке, может загадать желание.

Молоденькая стройненькая Ауста спускается берегом ручья к болоту и босиком шлепает по теплой грязи. Завтра она пойдет в город и собственными глазами увидит мир.

Давно уже Ауста Соуллилья предвкушала эту радость, мечтала о ней днем, а вечерами, еще с зимы, засыпала с мыслью о поездке. Сотни раз, и во сне и наяву, ей мерещился город. Последние ночи Ауста даже боялась заснуть и лежала не смыкая глаз в ожидании будущего блаженства. Дневные часы сегодня пролетели, как далекий

ветер. Кончики пальцев у девушки онемели, лицо горело, она не слышала, о чем говорят. Ауста связала себе нижнее белье из тонкой сероватосиней шерсти и берегла его для этой поездки, по воскресеньям она доставала его и не могла им налюбоваться; и еще связала коричневую юбку с двумя полосками — красной и синей. А сегодня вечером отец открыл сундук — единственное хранилище, запиравшееся на ключ, — и вынул пестрое платье, завернутое в его праздничную куртку.

— Ты, пожалуй, еще слушком худа, но все же пора тебе носить материно праздничное платье. Пусть моя дочь, когда покажется на людях, не ударит лицом в грязь.

Ауста покраснела от радости, ее глаза засияли. Это была торжественная минута. Правда, ткань уже износилась, вытерлась и поредела от времени, но ни моль, ни сырость не тронули ее. По платью разбросаны яркие заморские цветы, на груди — пышные оборки. Хотя Ауста за последние месяцы сильно развилась и фигура ее стала девически округлой, все же она оставалась долговязым подростком и была слишком худощава, чтобы платье пришлось ей впору; оно свисало с узких плеч, и талия была не на месте.

— Ну не чучело ли? То самое, что торчит на лугу в Редсмири, — сказал Хельги.

И отец выставил его из комнаты.

Впрочем, платье очень шло к ней. Из благодарности Ауста бросилась обнимать отца, нашла местечко под его бородой и прижалась к нему лицом. Ее губы стали полнее; если смотреть на нее со стороны окна, нижняя губа немного выдается, она похожа на красивый завиток; вокруг рта у нее легла складка, как у взрослого человека. Бедная девочка… Его борода щекотала ее веки.

Теплая грязь забрызгала ее голые икры и громко чавкала под ногами. Сегодня ночью Ауста искупается в росе. Она как будто впервые почувствовала свое тело. В речных заводях стояли цапли и кланялись ей. Ни одна птица на болотах не бывает так вежлива накануне Иванова дня, как цапля. Пробило двенадцать, уже пошел первый час. Весенняя ночь царит в долине, как юная красавица.

Спуститься ей или не спуститься? Ауста мешкает, крадется на цыпочках — и вот уже день. Светлый туман поднимается из болота, плывет по склону и, словно кисеей, опоясывает середину горы, скромно прикрывая ее лоно. На зеркальной поверхности озера обрисовывается силуэт како-

го-то странного существа, может быть, водяного.

Ложбина у самой реки — сюда-то и ведет след двух неуверенных ножек по росе. Птицы на некоторое время замолкли. Ауста сидит на берегу и прислушивается. Она сбрасывает с себя изношенное будничное платье — под этим небом, что может стереть воспоминание о зимнем мраке целой жизни, под небом Ивановой ночи. Юная богиня этой ночи, уже освещаемой солнцем, совершенная в своей полудетской наготе. Нет в жизни ничего прекраснее ночи накануне того, что еще должно свершиться, ночи и ее росы. Тело и душа сливаются в одно, и это единое чисто в своих желаниях. Ауста вымыла голову в реке и тщательно причесалась; ноги опустила в воду, пальцы зарылись в песчаное дно. Странные водяные птицы плавают вокруг нее, описывая какие-то круги, они вежливо поворачиваются к ней, когда она меньше всего этого ждет, и низко кланяются. Никто во всем мире не кланяется так учтиво.

Девушка продрогла и пробежалась по берегу — след ее петлял, как петляют улицы в столицах мира. Вся она была безлично-легка, она будто возникла из росы, как сам туман; странное это было пятно на зеленом влажном ландшафте

ночи. Немного пробежавшись, она согрелась.

Проснулись птички, и небо засверкало всем богатством своих красок. Через час солнце запылает в росинках на львином зеве и роса исчезнет на солнце — священная роса Ивановой ночи.

С первыми солнечными лучами Бьяртур соскакивает с постели, берет большую щепоть табаку и начинает одеваться. Неужели Ауста Соуллилья проспала в этот великий день? Нет, уж этому не бывать! Она встала, протирая глаза, чтобы смахнуть видения бессонной ночи. Она смотрит на отца, пока он одевается. Бьяртур пошел за лошадью, а Ауста достала свое новое белье и надела его на чистое тело, которое она сегодня впервые искупала, которое она впервые открыла, словно оно только что было ей дано; потом надела юбку, новые шерстяные чулки, обулась в башмаки из овечьей кожи. Наконец, она нарядилась в красивое платье, память о матери. Она металась по комнате, и сердце у нее сильно билось от тревоги и лихорадки. Мачеха варила кофе. Бабушка тоже поднялась с постели, — по обыкновению, она засунула указательный палец в рот.

— Не забудь фуфайку, бедняжка. Что, если погода переменится? В такой одежонке промокнешь.

Как это похоже на бабушку! Как будто Аусте

могло прийти в голову показаться на людях в таком тряпье, изорванном и грязном.

— Не успеешь оглянуться, как хлынет дождь.

— На небе нет ни облачка, — сказала Ауста.

— Не доверяйся хорошей погоде. Потом спохватишься, да поздно будет.

Но в ясное утро веришь всему хорошему. Солнце сияет над зеленой долиной, и синие горы мечтательно и беспечно покоятся в синем небе, как дети в богатом доме, сияющие и счастливые, будто ни одна тень никогда не упадет на это спокойное солнце на глубоком вечном небе. Вытащить в такое утро старую потрепанную фуфайку для защиты от непогоды — то же самое, что позволить дурной мысли прокрасться в душу. И Ауста попрощалась со своей ворчливой бабушкой.

И вот она отправляется в путь, в широкий мир, вместе с отцом. Старая Блеси тащит повозку с шерстью. Когда они вышли на дорогу, отец разрешил Аусте сесть на мешки; сам он шел впереди и вел лошадь. Было прекрасное утро. Никогда еще Ауста не ждала так много от наступающего дня, она будто вырвалась на волю. Перед ней открывались все новые просторы, и казалось, что серые будни ее жизни остались позади. Никогда

еще весенний ветер не щекотал ее ноздрей такой свежей душистой прохладой, никогда пение птиц не казалось таким далеким, даже эхо звучало по-новому и голоса казались иными. Птицы и те были не такие, как в долине, они пели для другого мира. Бугры, окаймлявшие дорогу, изменили свою форму, да и покров их был уже не тот. Изменились очертания гор, а давно знакомые горные вершины отступили или рассыпались цепью холмов. Ручьи текли в другом направлении, чем в долине, неведомые растения, прячась в лощинах, обдавали незнакомым ароматом неопытную путешественницу. Аусту немилосердно трясло и подбрасывало на тележке, — дорога была плохая, но она жадно вбирала в себя малейшие подробности этого дня и этого пути; все окружающее казалось ей таким же новым, как в первое утро после сотворения мира.

Они поднимались извилистой дорогой по заросшему вереском склону, и на каждом гребне их встречали невиданные ранее птицы, провожавшие их звонкими песнями до следующего гребня. И так они добрались до самой пустоши. Был полдень. Растительность становилась беднее, задул холодный ветер. Перед молодой девушкой раскинулась пустошь, однообразная

и серая. Птицы попадались все реже, ручьев не видно было. Вдали сверкало на солнце озеро. Волнами шли глинистые, голые, словно чисто выметенные ветром увалы с грудами камней и пятнами зелени — мха или другой скудной растительности. Здесь лежали, греясь на солнце и жуя травку, овцы и ягнята; они убегали, завидя путников. Девушка слезла с тележки и, чтобы согреться, шла рядом с отцом в своем широком пестром платье. Холодное одиночество пустоши объяло обоих путников, и они молчали. Чувства Аусты притупились от монотонных повторений ландшафта, она проголодалась и перестала отмечать неизвестное и радоваться ему.

Девушка все ожидала, что на следующем повороте ее ждет какая-нибудь перемена, новый вид, — между тем без конца мелькало все одно и то же. Озеро давно осталось где-то позади. Аусте устала ждать чего-то особенного. Вдруг дорога повела вниз, по краю глубокого ущелья, на дне которого текла река. Девушка посмотрела на восток через ущелье, ожидая увидеть еще один гребень. Но она ничего не увидела, будто мир на ее глазах провалился и вместо него осталось лишь продолжение бездонного неба, только какого-то нового, синего оттенка. Или небо на горизонте

опирается на сверкающую стену из сине-зеленого стекла? Эта новая синева под небом, казалось, вмещала в себя все тайны далей. На минуту Ауста остановилась, захваченная этой беспредельной ширью. Ей почудилось, что она дошла до самого конца мира.

— Отец, — спросила она нерешительно. — Где мы?

— Мы дошли до восточного края пустоши. А это море.

— Море, — шепнула ошеломленная Ауста, не отрывая глаз от синей пелены, стлавшейся на востоке. По телу ее поползла леденящая дрожь восторга при мысли, что ей дано такое счастье и она стоит на восточном краю пустоши и смотрит туда, где кончается земля и начинается океан. Мировой океан.

— А на той стороне нет ничего? — спрашивает она наконец.

— Там чужие страны, — отвечает Бьяртур, гордый тем, что может объяснить непонятные для нее подробности этой картины. — Страны и королевства, о которых написано в книгах.

— Да, — шепчет она восторженно.

Только потом Ауста поняла, какой глупый задала вопрос, ей-то следовало знать, что именно по

этому морю плавали, добывая себе славу, юные герои, о которых пишут в книгах, и что далеко-далеко за этим морем лежит сказочная страна. Ей посчастливилось увидеть море, омывающее волшебные страны. Это море — путь к чудесному и невероятному. А когда они расположились отдохнуть на самой вершине склона, на восточной стороне, она уже забыла про голод и продолжала смотреть на море, онемев от восхищения перед этим чудом. Никогда она не могла себе представить, чтобы море было таким бескрайним.

К востоку пустошь понижалась еще круче. Вскоре замелькали крыши города и темно-коричневые огороды с прямыми как стрела дорожками между грядками. Город представлялся Аусте чем-то необыкновенным, но она даже не думала, что так много зданий — больших и нарядных зданий, вроде великолепного дома в Утиредсмири, — могло выстроиться рядышком на небольшом отрезке улицы. Запах дыма, поднимавшийся из этих домов, казался ей почти ароматным — не то что чад и смрад от скверного торфа в Летней обители. Немного погодя они поравнялись с первыми домами, лепившимися по склону, и им навстречу стали попадаться путники — кто шел пешком, кто ехал на телеге, кто верхом на

лошади. Среди прохожих было несколько нарядно одетых молодых людей, с папиросой в зубах, в галстуке и воротничке — в будний-то день! Должно быть, это большие весельчаки: глядя на нее, они разражаются смехом и тут же, пройдя несколько шагов, забывают о ней.

— Кто эти молодые люди? — спросила она.

Но ее отец вовсе не был от них в восторге.

— Вертопрахи, только и знают, что папиросы сосать.

Они вышли на замощенную улицу, по обе стороны которой тянулись дома с занавесками и цветами на окнах. «Чего только не растет на свете», — подумала Ауста. Вот идут под руку две молодые девушки, обе в зашнурованных ботинках и пальто, одна в красной, другая в синей шляпе, и такие щеголихи, что издали она приняла одну из них за Одур из Мири; а когда они подошли ближе, ей показалось, что и вторая точь-в-точь как Одур. И Ауста совсем запуталась.

Это были две обыкновенные городские девушки; проходя мимо, они захихикали. Видно, здесь, во Фьорде, смех и веселье не редкость.

Но отец даже не обратил на них внимания.

— Девушки? — переспросил он. — Какие-нибудь бесстыдницы, из тех, что бездельничают и

висят на шее у своих родителей.

Дома стояли все теснее, между ними уже не оставалось места даже для двора — разве для чахлого огородика; о выгоне и говорить нечего. На улице толпились местные жители и приезжие, вьючные лошади и экипажи, на воде виднелись суда. Ауста устала спрашивать — столько нового она видела. Голова у нее шла кругом, она как во сне неслась куда-то. Всюду сновали незнакомые люди, они даже не здоровались друг с другом. Она не успела опомниться, как уже стояла рядом с отцом у прилавка в магазине Бруни; перед ней разложены все товары, какие создает мировая культура, — белоснежные, как крылья ангела, чулки, с полсотни дождевых плащей, чашки с выпуклыми цветами, керосинки, жевательный табак. За прилавком стоят хорошо одетые, представительные мужчины, они что-то записывают и показывают покупателям золотые цепочки. Ауста совсем растерялась, она стояла в своем слишком широком платье, спущенных чулках, грязных башмаках и смотрела куда-то в пространство, ошеломленная всем этим великолепием. К ним подошел кладовщик, любезный и внушительный; он взвесил шерсть, привезенную Бьяртуром, и два раза взглянул на Аусту.

— А я и не знал, что у Бьяртура есть дочь, почти невеста. Пожалуй, как раз может подойти моему Манги, — сказал он.

Но Бьяртур ответил, что об этом еще рано говорить: девочка будет конфирмоваться не раньше чем будущей весной, — просто она такая рослая. От этих неожиданных намеков девушка из долины вся зарделась; она была благодарна отцу за то, что он свел разговор на ее рост и худобу. Ауста еще не знала, что в городе люди часто болтают такое, что в долине сочли бы необдуманным.

Затем Ауста вошла вместе с отцом в контору к самому купцу. Она всегда считала, что купца зовут Бруни, но теперь выяснилось, что у купца еще более удивительное имя — Тулиниус Йенсен. Она так оробела, будто ее позвали к алтарю редсмирской церкви во время службы. Но на отца все это не производило никакого впечатления, он вообще ничему не удивлялся, — даже тогда, когда Тулиниус Йенсен обнял его, он не выказал ни тени удивления. Нет, видно, объятия великих людей отцу не в новость.

— Рад видеть добрых, верных друзей в такие тяжелые времена, когда дружба стала редкостью. Ты, конечно, слышал о собрании?

— Кое-что слышал, — сказал Бьяртур. — Дошла

и до меня молва обо всех этих затеях с союзами. Весной у меня в Летней обители даже побывали по этому случаю гости. Но я до сих пор держусь обычая жить собственным умом, а не по чужой указке, хотя бы и редсмирской.

— И хорошо делаешь. Уполномоченный Ингольв Арнарсон Йоунссон стал своего рода начальством в этом так называемом потребительском обществе. Несколько дней тому назад на пароходе прибыла первая партия дрянных товаров, и все крестьяне, которые только могли развязаться со мной, ринулись к ним. Но посмотрим, что они запоют через несколько лет, когда начнут распределять долги богачей между маленькими людьми и наложат арест на их землю. Вот так было с членами потребительского общества в Раппсвике в прошлом году.

— Не знаю, — сказал Бьяртур. — На чужие доходы я не зарюсь и не желаю отвечать за чужие убытки.

Купец утверждал, что от потребительских обществ народу никакой пользы не будет, одно разоренье, как и от других монополистических обществ, которые для того только и существуют, чтобы убивать инициативу отдельных лиц, их свободу и самостоятельность.

— Зато моя лавка для тебя всегда открыта со всем тем, что в ней есть, дорогой Бьяртур. Кстати, дочка у тебя подросла прехорошенькая.

— Да нет, она еще маленькая, даже не конфирмовалась. Но она у меня умница. Умеет читать. Знает старинные саги. Скажи, что такое «древо щита»[30], маленькая Соула. Покажи свои знания.

— За это хвалю, — сказал купец, когда девочка объяснила, что такое «древо щита». — В наше время мало кто среди молодежи знает «Эдду»[31]. Я расскажу об этом своей маленькой Сванвите. Она ведь читает только по-датски.

— Хм, по-датски, — сказал Бьяртур без особого восторга. — Может быть, это хорошо для больших людей, но у нас в долине народ питает больше доверия к старинным поэтам к покойному Магнусу Магнуссону[32] из магнусовых лесов. В Исландии больше таких не будет. Правильно

---

[30] Примечания: 30

Древо щита — воин. *(Прим. Л. Г.).*

[31] Примечания: 31

«Эдда» — «Старшая Эдда» — сборник древних скандинавских мифологических и героических песен, записанных в Исландии в XIII в. Пергамент со списком этих песен был найден в 1643 г. епископом Скаульхольта Брюньольвом Свейнссоном. *(Прим. Л. Г.).*

[32] Примечания: 32

Магнус Магнуссон (1763–1840) — поэт, крестьянин, кузнец, написавший 257 рим. *(Прим. Л. Г.).*

сказал старик:

Ученый муж слагает вроде
стих певучий без запинки,
только уж простонародье
пишет лучше — по старинке.

Пускай купец послушает введение к его лучшей поэме, Соула, маленькая моя.

Ауста тотчас послушно начала читать двенадцатую песню из рим о Берноуте. Низко опустив голову, краснея до корней волос и задыхаясь, она так быстро пролепетала ее, что невозможно было даже разобрать отдельные слова. Дойдя до середины, она перепутала порядок строк, у нее перехватило дыхание, она все сильнее волновалась, пока совсем не лишилась языка; и ей хотелось провалиться сквозь землю.

— Превосходно, — сказал купец. — Замечательно! Вот это я называю мастерством! — И спас ее тем, что протянул ей в утешение обе руки.

Он уверен, что она будет необыкновенно способной девушкой. Ему хочется подарить ей по этому случаю блестящую монетку в десять эйриров — пусть купит себе красивый носовой платочек. Видно, все большие люди любят дарить носовые платки. Затем он открыл дверь и

вежливо выпроводил гостей из лавки, которую он только что предоставил в их распоряжение со всем, что в ней было.

Остаток дня они провели в беготне, делали покупки. Ауста купила себе свой первый носовой платок, на нем были набиты в виде каймы цветы; и не только платок, но и нитку небесно-голубых бус, — она сейчас же надела их на шею, чтобы быть похожей на городскую-девушку; носовой платок она держала в руке, потому что у нее не было кармана.

Но и это еще не все.

— Я вспоминаю, что однажды зимой обещал купить тебе сагу об Орваре Одде, — сказал отец, и они отправились в книжную лавку.

Ее хозяин, глубокий старик, уже с трудом держался на ногах; он кое-как ковылял, опираясь на палку. И все же он славился тем, что шел в ногу со временем. Его книжный магазин помещался в закутке, отгороженном на чердаке ветхого дома, который прятался где-то на задворках, позади других строений. Подниматься приходилось по темной скрипучей лестнице, которой, казалось, конца не будет. Старик был занят тем, что варил себе на керосинке свежую рыбу. Пар наполнял всю комнату, и полки, оседавшие под тяжестью

книг, расплывались, исчезая, как скалы в тумане. Взяв палку, старик отошел от кастрюли и поздоровался со своими гостями.

— Можно купить здесь книгу? — спросил Бьяртур.

— Смотря какую, — ответил хозяин.

— Для моей Соулы, — сказал Бьяртур. — Девчонка пристрастилась к книгам, и я обещал ей зимой купить сагу об Орваре Одде. Я плачу наличными.

— Бог с тобой, человече, — сказал торговец. — Прошло уже больше тридцати лет, с тех пор как я продал последний экземпляр этой книги. В нынешние времена люди стоят уже на другой ступени культуры. Зато у меня есть истории о «Золотых копях Соломона», где рассказывается о герое по имени Умслопогаас. Он был в своем роде великий человек, на мой взгляд, — не менее великий, чем Орвар Одд.

— Что-то не верится, — сказал Бьяртур. — Это уж какие-нибудь новомодные бредни. И никто не убедит меня, что парень, о котором ты говорил, может сравняться с Орваром Оддом, который был ростом в добрых двенадцать датских локтей.

— Да, старина, люди на месте не стоят, они шагают вровень с веком, а нам, книгопродавцам, никак нельзя не считаться с этим. Разве ты не

согласна, маленькая фрекен, что надо поспевать за своим временем? Поди-ка сюда, милая, и просмотри эту современную литературу. Вот роман, известный всему миру, — о человеке, которого убили в карете; вот ученый труд о безнравственности папства — о том, как в средние века дурные люди, монахи и монахини, склоняли друг друга к порочной жизни; теперь я покажу тебе книжку, почти что не разрезанную, — это модная новинка, маленькая фрекен. Может быть, она подойдет вам?

Хотя торговец был уже дряхлый старик, Ауста все же краснела до корней волос, когда он величал ее «фрекен». Даже в самых своих смелых мечтах она не могла вообразить, что кто-нибудь назовет ее так. А еще меньше она могла себе представить, что с ней будет говорить о литературе такой человек, как этот старик. Но когда она взглянула на титульный лист лежавшей сверху книжки, у нее чуть не остановилось сердце — так она была поражена. То странное, значительное, неназванное, о чем никто не говорил ей, но о чем она смутно догадывалась, знакомясь с римами о викингах и наблюдая жизнь животных, — об этом были написаны целые книги: «Тайны любви, добрые советы касательно отношений между

мужчинами и женщинами».

«Отношения? — подумала девушка, дрожа от страха, как будто ожидая, что отец даст ей пощечину. — Как это понять? Отношения между мужчинами и женщинами… Лишь бы отец не увидел заглавия». Редко книга так сильно возбуждала любопытство девушки, и редко девушка так пугалась книги. Даже если бы здесь никого не было, она никогда не осмелилась бы купить ее. Но заглавие так сильно захватило ее, что, хотя она быстро отвела глаза и прикинулась, что не заметила книги, она уже не обращала внимания на другие. Разумеется, отец тоже увидел эту книгу и рассердился, как всегда в таких случаях.

— Мерзкие любовные истории, которые стряпают на юге, на пагубу женщинам, — сказал он.

— Женщинам они очень нравятся, — возразил книгопродавец. — За последние пять лет я продал тридцать экземпляров этой книги, если не больше. И до сих пор на нее есть спрос. Одними убийствами или наукой не отделаешься, людям хочется читать о любви. Высок был ростом Орвар Одд, в целых двенадцать локтей, но любовь локтями не измеришь.

Как и следовало ожидать, Бьяртур затеял спор с торговцем о духе современности и мастерстве

прошлых веков. Ауста же стояла в полной растерянности, пока вода в кастрюле с рыбой не побежала через край. Посещение книжной лавки кончилось тем, что Бьяртур купил сказку о принцессе Белоснежке и подарил ее дочери.

— У него, должно быть, штук семь незаконнорожденных детей, судя по тому, чем он торгует, — сказал Бьяртур, когда они благополучно спустились по темным скрипучим ступеням, которые вели к «Тайнам любви».

Бьяртур, наклонившись вперед, ступал неуклюже и тяжело. Он не привык ходить по городским улицам. Ауста шла за ним, пытаясь делать такие же большие шаги, тоненькая, робкая, в слишком широком пестром платье, зажав платочек в потной руке, с бусами на шее. Все прохожие смотрели на них.

Вечером они пошли ночевать на постоялый двор. Это было большое здание, над чердаком возвышался еще один чердак, крытый некрашеным листовым железом. Ну и дом! Крик, рев, разноголосый гомон, хлопанье дверей, громыханье кухонной утвари, девичий визг, ругань, лай собак! Это, должно быть, и есть мирской разгул.

Чего только не бывает, верно, в таком доме за один день! Этот шум пробудил в ошеломленной

девушке ощущение одиночества и собственной незначительности; ей казалось, что она стоит вне жизни. Этот дом чем-то напоминал ей книгу о «тайнах любви», полную очарования, но недоступную. Как счастливы те, кто может жить здесь, в этой обольстительной суете жизни, среди шумного веселья кухни. Она чувствовала себя ненужной, лишней и присела на скамейке, в углу столовой, не подавая голоса и не жалуясь; отец же вступил в разговор с другими посетителями, большею частью такими же крестьянами, как и он, — о состоянии пастбищ, с торговле, о глистах. Одно только утешило ее: эти крестьяне не смотрели на нее таким странным взглядом, как важные городские жители. Многие и вовсе не взглянули на девушку. Она устала и проголодалась, отупела от разнообразия впечатлений. У нее даже не хватало сил поправить вязаную стельку, вылезавшую из башмака; она смотрела в одну точку, зажав в руке скомканный, грязный платочек. Но вот в комнату вошла рослая девушка, красивая, румяная, голубоглазая и пышногрудая. Уж на ней не болталось бы цветастое платье Аусты! Она с завидным спокойствием выплыла из шума и гомона кухни, держа в руках огромное дымящееся блюдо свежей рыбы, и попросила всех к столу.

Худенькая Ауста Соуллилья решилась взглянуть на нее только искоса. Девушка была так же бойка, как и красива. Она развязно осведомилась у Аусты, чья она дочь, и посадила ее рядом с отцом. Она следила за тем, чтобы каждый получил положенную порцию.

Занявшись рыбой, крикливые постояльцы утихомирились.

Языки снова развязались только перед сном. Опять заговорили о торговле и о глистах. Явились и новые ночлежники; они очень странно держали себя — пели ни с того ни с сего и спотыкались на ровном полу; казалось, что они вывалялись в грязи. Пахло от них чем-то кислым, вроде дрожжей, глаза у них были воспаленные. Ауста испугалась: ей показалось, что они как-то странно смотрят на нее, к тому же некоторые порывались облапить ее. Отец сказал, чтобы она не пугалась, — это просто пьяные. А они продолжали приставать к ней, спрашивая, у кого же это такая молоденькая, хорошенькая жена. Бьяртур сердито ответил, чтобы они оставили ребенка в покое, ей всего тринадцать лет, и она даже еще не конфирмована. Мужчины божились, что ей уже, черт побери, пора замуж. Одного из них вырвало прямо на пол. Никто не сердился на этих

чудаков, и спор о торговле продолжался как ни в чем не бывало. Мнения, как это всегда бывает, разделились: одни хвалили тех, кто спасал крестьян от купцов, а другие — самих купцов, хотя они причиняли крестьянам вред. Утверждали, что народ должен основать потребительские общества, как это сделали крестьяне в Тингее уже тридцать с лишним лет назад. Аусте казалось, что они слишком уж нападают на купцов, называя их кровопийцами и ворами, — ведь недаром же ее отец защищает купца. Но она не могла понять, за что ее отец так плохо отзывается об Ингольве Арнарсоне; это же тот красавец и добряк, который так приветливо поздоровался с ней нынешней весной. А староста, отец уполномоченного, два раза дарил ей по две кроны — так просто, ни за что. Ей хотелось, чтобы отец перестал враждовать с сыном старосты, — ведь у него на лице написано благородство и он готов все сделать для крестьян.

Спор становился все более ожесточенным, и Ауста под конец совсем перестала понимать, кого же ей надо любить — купца или уполномоченного потребительского общества; она старалась держаться возможно ближе к отцу. Один из хуторян уверял, что купцы не только воры, но и

убийцы. Он знал немало примеров, когда люди терпели жестокую нужду оттого, что Бруни отказался открыть им кредит. Он мог бы назвать по имени людей, которые по милости купца умерли голодной смертью только за последние годы. Зато потребительское общество — это торговое предприятие самих крестьян, там даже бедняки могут быть уверены, что их не оберут и не уморят. Другой же возразил, что потребительским обществом заправляют уже не бедные крестьяне, как это было вначале в Тингее, — теперь его прибрали к рукам богачи; потому-то староста из Мири и распинается за потребительское общество. Неужели найдется такой простак, который поверит, что он радеет о бедных крестьянах? Нет, вся суть в том, что он сам чуть не вылетел в трубу, его лавка в Вике захирела, потребительское общество отбило у него покупателей, вот он и решил взять свое — нажиться на Фьорде. Нет, крестьянину от потребительского общества толку будет не больше, чем было в свое время от купца. Так же его будут душить долги. А тут еще монополия… Разве вы не читаете газет, черт вас возьми?

— Я никому ничего не должен, — сказал Бьяртур из Летней обители.

Но оба споривших крестьянина влезли в долги.

У них, конечно, были коровы, а раз корова есть — без долгов не обойтись. На такого человека, как Бьяртур, они и внимания не обратили: ведь спор шел лишь о том, у кого лучше быть в долгу; и страсти разгорались все сильнее. Наконец один из спорящих сказал, что нечего ждать разумных суждений от человека, когда он даже не способен выполнять свой долг перед женой; а второй, призывая в свидетели всех присутствующих, заявил, что жена первого обманывает мужа с батраком уже двенадцать лет и он даже не является отцом собственных детей.

— Ну, хватит говорить пакости, — прервал их Бьяртур, — вы бы хоть ребенка постеснялись. — Хотя сама Ауста ничего непристойного в этом не видела и ничуть не интересовалась тем, чьи это были дети. Бьяртуру ответили, что здесь не детский сад, и какого черта он вообще расположился с девчонкой среди взрослых мужчин, — ведь они толкуют о серьезных делах. Слово за слово, дошло до точных указаний места и времени, когда такая-то изменила мужу с таким-то: «...на ней еще в тот день были красные панталоны». Тут уже слов оказалось недостаточно, оставалось перейти к зуботычинам. Ты сказал «красные панталоны»? Ну, так вот, получай — теперь у

тебя будет красный нос и синяк под глазом. Тут Ауста Соуллилья поняла, что здесь действительно речь шла о серьезных делах. Груды трупов, о которых рассказывалось в сагах, бледнели перед картиной, которую она видела теперь, — потасовкой на постоялом дворе из-за пары красных панталон. Значит, действительно существуют плохие люди. Дерущихся стали разнимать, даже Бьяртур принял в этом участие. И дело кончилось всеобщей свалкой — все барахтались на полу посреди комнаты. Аусте казалось, что ее отца сейчас убьют; она вскрикнула и громко заплакала. Куча дерущихся медленно двигалась. Под конец двух врагов, начавших драку, удалось разнять и выставить на свежий воздух; их взялись мирить и угощали табаком. Бьяртур и другие вернулись в комнату, но девочка вся тряслась от плача, как ни успокаивал ее отец.

— Отец, — всхлипывала она. — Я хочу домой! Милый отец, отпусти меня домой!

Но он просил свою маленькую дочку перестать плакать.

— Эти дурни только забавляются. Выпили, вот и горячатся. Раздевайся и ложись спать. Мы сэкономим двадцать пять эйриров, если возьмем только одну койку.

Койки были приделаны к стене в два этажа. Девушка взобралась на одну из нижних, сняла пестрое платье, но нижнюю юбку сбросить с себя не решилась.

Миротворцы продолжали обсуждать подробности и причины драки со всевозможных точек зрения. По всей комнате начали шептаться, приводить случаи супружеских измен, упоминались факты, которые, по общему мнению, переходят все границы. Ауста хотя и не прислушивалась к шепоту, но не спала. Она никак не могла успокоиться, ее охватила дрожь — ведь события, описываемые в поэмах, произошли у нее на глазах в такой непоэтической, неприглядной форме.

У нее отлегло от сердца, когда она увидела, что мужчины собираются спать. Они начали сморкаться, расшнуровывать обувь, стягивать штаны. Отец тоже сел на край койки; прочистил нос, расшнуровал обувь, снял штаны. Ауста нетерпеливо следила за всеми его движениями — ей казалось, что он раздевается бесконечно долго. Она успокоилась только тогда, когда он улегся рядом с ней. Никогда еще она не испытывала такого горячего желания, такой непреодолимой жажды прижаться к нему, как теперь, после этой

драки. Она не могла унять дрожи, сотрясавшей все ее тело; зубы ее все еще стучали.

Мужчины, по христианскому обычаю, пожелали друг другу спокойной ночи. Когда они стали укладываться, под ними заскрипели койки.

— Подвинься, девочка, здесь черт его знает как тесно. — Ауста старалась прижаться к самой стенке. — Ну, вот, хорошая моя, повернись к стенке — и спать.

И она повернулась к стене.

Но Аусте не спалось. Стена холодная — не оттого ли ее так трясет? Перина слишком узка, и отец почти всю ее натянул на себя; тепло, исходящее от него, греет ей только спину. Ее все знобило. Мужчины скоро заснули, захрапели, но Аусте не давал спать холод, шедший от стены. Время шло. Она все еще не спала. Наконец она открыла глаза. Окна занавешены, в комнате полумрак. Должно быть, уже далеко за полночь. Ее колени торчали из-под перины, и ей казалось, что сквозь щели в перегородке дует. Отец даже не пожелал ей спокойной ночи, а ведь он знал, в каком она была страхе. Кругом храпели чужие мужчины — в большом таинственном доме, в большом мире, — в том мире, который она так жаждала увидеть, что даже не могла заснуть накануне.

Теперь, очутившись в этом мире, она вдруг испугалась его — так испугалась, что от страха снова не могла спать. Она была окружена скверными людьми, у которых жены носят красные панталоны. Как же она может спать здесь одна, в этом чужом, непонятном мире?

Одна? Нет, нет, нет, она не одна. Пока отец с ней, она никогда, никогда не будет одинока, — пусть даже он забыл пожелать ей спокойной ночи. Лишь бы он лежал рядом с ней, живой. Милый отец, отец, милый отец, твоя маленькая Ауста тут, рядом. Она и сама не знала, почему ей вдруг вспомнилось белое мягкое местечко на его шее, между бородой и воротом рубашки, — местечко, от которого рассеивались все страхи, как только она прижималась к нему губами. И оттого, что все храпели, а она одна не могла уснуть, оттого, что ее знобило и она была так счастлива тем, что отец лежит рядом — он, защита от всех зол, он, который может все-все и никому ничего не должен, который никогда ничему не удивляется, который умеет отвечать на все вопросы, он, король Летней обители и поэт, — она начала медленно поворачиваться в постели, так медленно, что не слышно было ни малейшего скрипа, так медленно, что никто не заметил бы, шелох-

нулась ли она, — потихоньку, чуть-чуть, потом остановится, потом еще чуть-чуть. В доме стояла тишина, слышался только ночной храп, будто из другого мира, и гомон птиц, щебетавших на улице, высоко над большим городом; наконец она совсем повернулась к отцу. Нет, она не одинока в этом мире, она лежит с открытыми глазами у его сильной груди; она подвинула голову на подушке — и вот, закрыв глаза, уткнулась лицом в его бороду и прильнула губами к его шее, — это он голыми руками бился с чудовищами в ту самую ночь, когда она родилась.

Вначале ей казалось, что отец спит и ничего не замечает. Время шло. Она прислушивалась к его дыханию и глухим сильным ударам сердца. Но по его движениям, слишком тихим и осторожным, она поняла, что он не спит. Ей стало стыдно. Только бы он не поднялся и не ударил ее за то, что она посмела повернуться, — ведь он велел ей лежать лицом к стенке. В своей беспомощности она прижалась к нему еще крепче. Прошло еще некоторое время. Их сердца быстро отстукивали удары друг против друга. Она уже не шевелилась, прикидываясь спящей, уткнувшись лицом в его шею. Понемногу, незаметно для нее, его рука придвинулась к ней, должно быть нечаянно, он

только чуть-чуть изменил положение. Пуговица от ее панталон неожиданно отстегнулась, и в следующее мгновение Ауста почувствовала на себе его теплую сильную руку.

Она никогда еще не испытывала ничего похожего. Весь ее страх исчез, дрожь, сотрясавшая теперь ее тело и душу, была уже совсем иная, чем раньше, и на губах появилось ощущение голода, как бывает у человека, который давно не ел, и садится за стол, уставленный снедью. Но голод этот вызвали в ней его движения. Ничто, ничто не может помешать ей приникнуть к нему; и она обеими руками крепко обхватила его, упоенная этим безличным властным инстинктивным порывом, который на мгновение заставил ее забыть обо всем. Может быть, это и есть неведомая прелесть мира?

И тут — тут произошло то, чего она никогда не могла забыть, что набросило черную тень на ее только что пробудившуюся молодость! В тот самый миг, когда она забыла обо всем на свете, кроме него, он оттолкнул ее и встал с постели; быстро натянул чулки и штаны, завязал ботинки, надел куртку — и вышел. Он закрыл за собой дверь, она слышала его шаги в коридоре, внизу хлопнула входная дверь — и он исчез. Она была

одна-одинешенька среди храпящих мужчин, она лежала в полном оцепенении, без единой мысли в голове. Но он не вернулся. Понемногу в ее душе стала расти обида. Что она сделала? Что случилось? Она ничего не понимала, но смутно чувствовала, что произошло нечто ужасное. В сто раз хуже того, что было зимой, когда он влепил ей пощечину из-за непонятного отрывка из саги; что-то такое, чего он никогда в жизни не простит ей. Что она ему сделала? И почему именно она сделала это? Но откуда она могла знать, что это ужасное, незабываемое кроется в невинном желании приникнуть к его шее? Что же произошло с ней? «Милый мой отец, что я тебе сделала? Неужели я такая дурная?» Слезы потекли по ее щекам, она горько заплакала и уткнулась лицом в подушку, боясь разбудить храпящих мужчин. Видно, отец отправился домой и прогонит ее, если она последует за ним.

Наконец слезы ее иссякли, она села и оглянулась, полная отчаяния. Да, он ушел. А она осталась, одинокая и беспомощная в этом скверном мире. Кто теперь даст ей поесть, когда она проголодается? Она подумала, что, может быть, ей разрешат остаться у отца Манги — у кладовщика, который вчера взвешивал шерсть. Или

набраться храбрости и пойти к самому купцу? Не приютит ли ее уполномоченный, сын Йоуна, который был с ней так ласков весной? Не придя ни к какому решению, она в отчаянии встала, надела свое платье и башмаки; она заметила, что ее ожерелье порвалось и бусы рассыпались по постели, — не все ли равно, на что ей бусы, раз отец покинул ее. Жизнь ее загублена, она одна на всем свете.

Ауста тихонько прокралась к двери, выбралась в темный коридор и вскоре оказалась за порогом. Светлая весенняя ночь стояла над безлюдным городом. Моросил дождь, туман добрался до середины горных склонов. Ауста не знала, который час. Должно быть, до утра далеко — на улицах ни души. Морские птицы кричат над фьордом, — это не похоже на обычное пение птиц. Ауста пошла куда глаза глядят.

Она не могла и представить себе мир таким безлюдным, а город таким пустынным. Ни души. Завеса холодного дождя висит над улицами и домами. Многие строения покосились, кое-где выбиты окна; краска на железных кровлях облупилась, с них сорвало ветром целые листы, дождь смыл штукатурку с просмоленной бумаги, и она висит со стен лоскутами. Повсюду — на

заборах, на частоколах — зловонные рыбьи кости и головы. На склонах, спускающихся к морю, вяло жуют жвачку коровы. Кошка перебежала улицу и исчезла. Ни нарядных мужчин, ни красивых женщин. Пустота и безмолвие…

Она брела неуверенным шагом, беспомощная, по главной улице, в сторону горы. Дождь мочил ее волосы, платье быстро промокло — но ей было все равно. Вдруг сквозь туман проступили очертания мужчины с лошадью. Подойдя ближе, она увидела, что это отец.

— Что ж это такое? Почему ты не спишь? — спросил он.

Она опустила голову и отвернулась, не отвечая ему.

— Подожди здесь, — сказал он, — я пойду за повозкой.

Она села на камень. Дождь поливал ее волосы и шею. Пальцы у нее окоченели, но она продолжала сидеть, вялая, озябшая, голодная, сонная. Наконец в ночной тишине послышалось громыхание колес: это приближался отец с запряженной лошадью.

— Можешь сесть, если хочешь, — сказал он.

Но Ауста предпочла идти пешком.

Отец повел лошадь в гору по крутой извилистой

дороге. Девушка шла сзади. Дождь усиливался. На самом верху он повис тяжелой плотной завесой. Ауста давно уже насквозь промокла, вода стекала с волос на спину и на грудь. Вдруг она вспомнила о своем носовом платке, которому она так радовалась и который ей так любезно подарили сильные мира сего. Куда же девался носовой платок маленькой Аусты Соуллильи? Она потеряла его. Но это не важно. Ей все равно. Ничего ей не нужно. Поскользнувшись на размякшей дороге, она упала. Когда она поднялась, платье оказалось измазанным в грязи и разорванным.

— Пусть лошадь отдохнет здесь, на перевале, — сказал отец. — Да и мы подкрепимся.

Вчерашнее неоглядное море исчезло за пеленой дождя и тумана, да и вся низменность с большим городом, раскинувшимся на ней, скрылась из глаз. Впереди поднималась гряда холмов, терявшаяся в тумане. Дорога, которую еще оставалось пройти, казалась холодной и бесконечной. Девушка невесело думала об однообразной и долгой, как вечность, веренице дней, ожидавшей ее.

Они сели на мокрый придорожный камень. Отец повернулся к ней спиной. На коленях у него лежала сумка со снедью. Он подал Аусте через плечо черствый кусок хлеба с рыбой — остатки

вчерашнего обеда. У нее не было никакого аппетита, хотя совсем еще недавно она чувствовала голод. От дождя эта сухая пища стала еще более невкусной, и она с отвращением проглатывала каждый кусок. Отец не говорил ни слова, и они сидели спиной друг к другу, а дождевые капли стучали по камням. Проглотив два-три куска, она почувствовала приступ тошноты, встала и отошла на несколько шагов. Ее вырвало, сначала проглоченной с таким трудом пищей, потом желчью.

Позади них лежала пустошь.

Глава тридцать третья
Тиранство

Это лето осталось памятной вехой в истории хутора: Бьяртур впервые нанял рабочую силу. Впоследствии, упоминая о каком-нибудь событии, домашние Бьяртура говорили, что это было за столько-то лет «до того лета, когда здесь жила чертовка Фрида», или же: «столько-то лет спустя после того, как нелегкая принесла сюда Фриду».

Кто же такая Фрида?

С наймом Фриды дело было так. Теперь, когда на хуторе завелась корова, требовалось больше

рабочих рук, чтобы запасти сена на зиму. Точно так же, как Бьяртуру навязали, по настоянию редсмирцев, корову, так и работницу водворили у него под их же натиском, — конечно, прежде чем согласиться, Бьяртур, не стесняясь в выражениях, высказал все, что он о них думал. И в Летней обители появилась Фрида.

Староста, у которого хватило бы ума на целый поселок, сумел, конечно, выбрать для Бьяртура такую работницу, которая была бы ему по карману. Фрида давно уже получала пособие от прихода. Это была препротивная старуха и такая сварливая, что охотников держать ее у себя находилось мало. Она постоянно ссорилась со своими хозяевами и хуже всего отзывалась о тех, у кого служила в данный момент. Она считала их «голытьбой», и это было близко к истине. Мысли свои она обычно выражала вслух. У нее было немало всяких хворостей, и она постоянно принимала лекарства, чтобы поддержать свое здоровье, а если они кончались, укладывалась в постель, — уж эту-то роскошь, говорила Фрида, она может себе позволить. Сначала лекарства для нее покупались у доктора Финсена, за счет прихода; под конец старосте это прискучило; он находил, что такие счета могут разорить его

налогоплательщиков, и начал сам варить ей лекарственные снадобья. Он считал себя знатоком по части медицины, в особенности когда дело касалось иждивенцев прихода, и пользовал их бесплатно. Изготовляемое им лекарство было нестерпимо горьким; выдавая его, староста всегда ворчал, но не скупился и вручал Фриде целую бутыль, иногда даже две сразу. Обычно старухе не платили за работу деньгами, разве только в разгар страдной поры, но этим летом староста устроил так, что Бьяртур получил преимущественное право на ее услуги и должен был платить ей несколько крон в неделю, из них половину — шерстью.

Фрида верила в какого-то Иисуспетруса и взывала к нему в своих молитвах. В Летней обители, где людям почти не о чем было говорить друг с другом, старая Фрида казалась каким-то чужеродным телом. У Бьяртура была привычка, находясь во дворе, разговаривать с женой через дверь, обращаясь как бы в воздух, неизвестно к кому. Оставалось невыясненным, слышала ли его Финна, находясь в доме. Это были замечания о погоде, о работе по дому или хозяйственные распоряжения. Все это говорилось в безличной форме и ответа не требовало. Старшие мальчики

украдкой толкали друг друга за спиной отца, но если Бьяртур это видел, им доставалось, он не скупился на затрещины и тумаки. Сидеть без дела детям не полагалось.

— Хельги, как тебе не стыдно, оставь мальчика в покое! — Виноватым Бьяртур всегда считал Хельги, а «мальчиком» называл Гвендура.

Бабушка сидела и, покачиваясь, что-то бормотала. Ауста Соуллилья смотрела вопрошающими глазами, глазами взрослой девушки, словно сквозь стену или сквозь небо. Она ни с кем не делилась своими мыслями, подобно Бьяртуру, который втихомолку сочинял стихи и потом, ко всеобщему удивлению, читал их своим гостям.

И вдруг этот самостоятельный хутор, где все держались особняком и каждый таил свои мысли про себя, захлестнуло неистовым потоком слов. Болтая, пришла на хутор со своим узлом на спине старая Фрида; она без передышки проболтала весь день, пока не улеглась спать с бабушкой и Нонни. Эта болтовня лилась безостановочно, как в ненастье льется из-под стрехи дождевая вода. Сгребая сено на лужайке, она разговаривала сама с собой. Мальчики, подкравшись к ней, прислушивались. Старуха болтала о делах прихода, о ведении хозяйства на хуторе, судачила о том, кто

с кем изменяет мужу или жене, кто истинный отец незаконнорожденного ребенка; ругала богатых крестьян за то, что они морят голодом овец, почтенных жителей поселка честила ворами, шельмовала старосту, пастора, даже судью, поносила все начальство и многое замечала там, где другие видели только вязкое болото. Всегда верх был ее, людей она охаивала за глаза. Речь свою она обычно уснащала проклятиями и больше всего возмущалась позорным притеснением людей, «тиранством». В своих разговорах, во сне и наяву, она постоянно возвращалась к этой теме, говорила ли сама с собой, с людьми, случайно проходившими по полю, с собакой или овцами или с невинными певуньями-пташками. Она жила в состоянии вечного и безнадежного протеста против «тиранства», и поэтому в ее взгляде было что-то злое, дерзкое, вызывающее, как у тех страшных животных неопределенной породы, которых подчас видишь во сне: обличье их трудно разглядеть, но близость их ощутима. Бабушка поворачивалась к Фриде сгорбленной спиной и еще глубже уходила в себя, точно погружаясь в вековечное молчание пустоши. Финна время от времени мягко вставляла лишенные содержания односложные слова. Хельги слушал прищурив-

шись, с коварной ухмылкой и иногда вечером прятал юбку старухи или украдкой бросал камешек ей в кашу. Бьяртур, которому основательно от нее попадало, никогда не отвечал «проклятой старой ведьме» и проходил мимо нее с презрительным видом, а Гвендур подражал ему в этом, как и во всем другом. Но маленький Нонни, широко открыв глаза, прислушивался к болтовне старухи и пытался связать ее слова воедино. Он часто становился поблизости от нее, чтобы лучше видеть, как она шевелила языком и губами, и восхищался количеством и силой выбрасываемых ею слов. Она говорила с ним, как с взрослым мужчиной, не выбирая ни выражений, ни темы.

«Однажды зимой, в сильную метель, королева сидела у себя во дворце у окна и вышивала…» В ночь перед уборкой сена Ауста Соуллилья сидела на камне, читая книгу. Так, сидя у порога, она читала за полночь, а кончив, начала сначала. Когда она прочла ее второй раз, уже всходило солнце. И она долго смотрела на юг, через пустошь, еще раз мысленно переживая все, о чем говорилось в сказке. Вновь и вновь она шла по следам Белоснежки через семь гор, ее спасал повар, она нашла приют в доме гномов. На нее обрушивались всевозможные беды, но под ко-

нец являлся прекрасный принц и увозил ее в свое королевство в стеклянном гробу. Ауста так горячо сочувствовала маленькой Белоснежке, ее горестям и радостям, что на глаза у нее навертывались слезы, грудь вздымалась, — но не от горького, тягостного чувства, а от сладкого волнения, какое бывает, когда хочется умереть за хорошее и прекрасное. Так близка и понятна была Аусте сказка, что сквозь слезы она видела принца, как живого, видела и себя в стеклянном гробу. Слуги короля несли ее, они споткнулись, и кусочек яблока выскочил у нее из горла. Она поднялась, взглянула на принца, и они поздоровались друг с другом. Ей показалось, что они знакомы давно-давно, испокон веков; и после всех страданий, выпавших на долю Белоснежки, она стала королевой. Впервые Ауста была вся захвачена волшебной силой поэзии, показывающей человеческую судьбу так правдиво, с таким сочувствием и великой любовью к добру, что мы сами делаемся лучше и начинаем яснее понимать жизнь: мы верим, мы надеемся, что добро победит в жизни каждого человека.

Бьяртур, наняв работницу, не изменил своим привычкам крестьянина-одиночки и по-прежнему много работал; он, как всегда, вставал среди

ночи, а следом за ним поднимались его взрослые помощники Финна и Фрида. Они работали до утра натощак. Детям разрешалось спать, пока не сварят кофе. Старуха возилась у печки. Будить внуков было нелегким делом и летом и зимой; что это за дети, она таких и не видывала; ее причитаний они не слышали, она пыталась вытащить их из постели силой, но это было то же самое, что тянуть резинку: как только ее слабые руки переставали тормошить детей, они засыпали еще крепче. Их веки были точно свинцом налиты. Наконец они вылезали из постели и начинали одеваться, но глаза у них вновь смыкались, дети словно теряли равновесие и опять сваливались на подушку. Частенько старуха шлепала их по лицу мокрой тряпкой, чтобы они наконец подняли эти непослушные веки. Каждое утро бабушка твердила, что из них никогда ничего путного не выйдет.

Когда дети наконец вставали, на них порой нападала такая тошнота, что они не могли ни пить, ни есть. Только через час после начала работы у них появлялся аппетит, всякие лакомства начинали дразнить их воображение. Дети плелись на болото с котелком кофе для взрослых, они шли неуверенной походкой, как

овцы, больные вертячкой. Ноги плохо слушались их, в коленях покалывало, все тело жаждало отдыха. Как чудесно было бы упасть на землю между двумя кочками, ведь падать никому не запрещено. Не беда, что ты вымокнешь, что в следующее мгновение надо будет сделать усилие и подняться, — зато побудешь минуту в объятиях блаженного сна. Иногда детям становилось так плохо, что холодный пот выступал у них на лбу; иногда они, согнувшись, останавливались на болоте: их рвало, а пот застывал, как лед. Выпитый кофе выливался обратно, но уже не сладким, а горьким, и после этого рот наполнялся какой-то странной жидкостью. У детей часто по утрам болели зубы, иногда даже в течение всего дня; во рту и в носу они ощущали невероятно дурной вкус и запах.

Старшим мальчикам дали по косе, а Нонни помогал женщинам сгребать траву, чтобы они не отставали от косцов. Дети работали по шестнадцать часов в день. Два перерыва для еды и один для кофе; после обеда короткий сон под открытым небом. В погожие дни, под сияющим солнцем, отчаянная, непосильная тяжесть труда забывалась и мысли летели вперед, находя отраду в мечтах о будущей, более свободной жизни, в

другом счастливом краю. Эти извечные мечты о счастье облагораживали раба еще на самой заре человечества. В такие ясные дни кажется, что и солнце на твоей стороне. Но этим летом, к сожалению, было очень мало хороших дней, когда дети, равномерно взмахивая косами, уносились в страну грез. Лето было дождливое. А когда промокнешь до нитки на болотистом лугу, не так-то легко забыть действительность и уйти в мечты. Детям нечего было надеть для защиты от дождя, как не во что было нарядиться по праздникам. Дырявая фуфайка, рубашка из холстины или реденького ситца — вот и вся их одежонка. В эти тяжелые времена не стоит расходовать шерсть на что-либо, кроме самого необходимого. У Бьяртура была кожаная куртка, которую он надевал в торжественных случаях, например, на собрания овцеводов или при поездках в город осенью. Во всем доме только эта вещь и заслуживала название одежды. Бьяртур никогда не надевал эту куртку во время работы, она была лишь символом его самостоятельности. Но иногда, если дождь лил с самого утра без всякой надежды на просвет, случалось, что Бьяртур протягивал куртку дочери. Ауста принимала ее и поглядывала на отца, не поднимая головы; вот и все. Зато старая

Фрида, хоть и состояла на иждивении прихода, владела толстой грубошерстной курткой, была у нее и парусиновая юбка. В это лето дождь без конца поливал трех маленьких беззащитных работников и женщину, пролежавшую зимой четыре месяца в постели. Каждое волокно их лохмотьев насквозь промокало, платки и шапки у каждого превращались в мокрый бесформенный ком, волосы тоже, вода ручьями стекала по шее и лицу, окрашиваясь в цвет их головных уборов, и струилась по спине и груди. Так они часами стояли в лужах топкой грязи, в тине, — казалось, что потоки воды, извергавшиеся из туч, неиссякаемы. Мокрая трава уныло хлюпала под косами, которые становились все тяжелее и тяжелее; время не двигалось, будто и оно прилипало к телу, как промокшая рубаха.

Летняя страда; птички молчат, только кулик суетится где-то поблизости и рассказывает свою странную бесконечную сказку: хи-хи-хи несется над полем. Счастливые птички — вода не проникает сквозь их мягкое густое оперенье. Даже болтовня старой Фриды заглушалась шумом дождя. Часами дети слышали только урчание в собственных желудках. Они не только промокли, не только отчаянно устали, но были зверски

голодны и не питали никаких надежд на благодетельное вмешательство аульвов.

— Да, никуда не уйдешь от тиранства. Не так уж важно, что он убивает меня, этот дьявол. Беру в свидетели бога и людей, что я давно уже насмерть замучена, живу только милостью прихода. Но я еще не докатилась до того, чтобы оставаться без верхней одежды, несмотря на все обманы, притеснения и нищету. Попомни мои слова, мальчик, он так замучает твою бедную мать, что она не доживет до будущего лета. Проклятый тиран!

И так без конца, одно и то же.

И в самом деле, нельзя было отрицать, что даже среди лета мать часто хворала и не могла работать, а что касается детей, то из носу у них непрерывно текло.

— Но я сама виновата. С какой стати я соглашаюсь, чтобы староста, эта бестия, каждое лето устраивал меня у каких-то вшивых нищих, да к тому же еще сквалыг, у которых даже кофе не похож на кофе. Что ни день, живая или мертвая, жри соленую зубатку или прошлогоднюю солонину, от которой все нутро горит. И уж до чего кисла — дух занимает! А попросить в воскресенье кусочек мяса — Иисуспетрус! Это у них считается грехом, вроде убийства.

Тиранство — это слово было как капля, что непрерывно падает на камень и понемногу долбит его. И эти капли без конца падали и падали в душу детей.

— Я ли их не знаю, этих проклятых нищих. Я-то, которая была их рабой, их подстилкой чуть не полвека. Впервой, что ли, я их вижу? Растрясли последние крохи ума и все готовы отдать ради больных вертячкой овец. Черта всегда можно узнать по его копытам. Все они хотят стать богатыми, спеси у них хоть отбавляй: они, конечно, не перешли на иждивение прихода, они, видите ли, самостоятельные люди! Самостоятельность! Слыхала я, как же, эту песенку! Но где же тут, я вас спрашиваю, самостоятельность? Не в кишках ли у овец, когда они дохнут от голода у хозяев на руках? Знаю я их богатства, мальчик мой, — помои вместо кофе и тухлая вареная рыба! Вот Колумкилли и высасывает мозг из их несчастных, замученных ребят, о которых они будто бы заботятся.

Дети долго прислушивались к этой болтовне, точно к однообразной присказке, которая, если ее постоянно повторять, в зубах навязнет. Отец говорил, что нечего обращать внимания на слова разных полоумных. Казалось, что на пустоши

вдруг появилась новая напасть — что-то вроде псалмов, только их слушали без всякого благоговения. А по воскресеньям можно было корчить рожи Фриде.

Дети привыкли безоговорочно признавать авторитет отца. Он был высшей властью на хуторе, от него исходило все. В их маленьком мире он был неодолимой судьбой. Они не считали его виновником всех бед и напастей, его единовластие в корне пресекало всякую критику с их стороны; еще меньше они могли дружно и настойчиво противиться его распоряжениям, и все-таки у мальчиков давно уже назревало смутное недовольство и безмолвная неприязнь к отцу; немалую роль здесь сыграла длительная болезнь матери и рождение мертвых детей, — в этом они подсознательно винили отца. Дух возмущения еще не пробуждался в них, однако под этими бесконечными дождями, которые не прекратились и в августе, болтовня Фриды наконец перестала им казаться каким-то бедствием, они поняли, что в ней есть своя правда; в них зародилось зерно возмущения против холодных ливней, против непрерывно хлещущих потоков воды, от которых старые лохмотья прилипали к молодому телу, которые убивали всякое чувство

радости в их душе за долгий шестнадцатичасовой день, безнадежный и беспощадный. Раньше они не думали о том, что их тяжкая участь имеет какую-то объяснимую причину. В болтовне этой старой ведьмы скрывался справедливый протест против давящего ярма жизни. Это был голос, зовущий к борьбе за освобождение, и этот призыв пришел, хотя и в таком странном обличье, на помощь их подсознанию. Хельги почему-то уже не хотелось дразнить старуху, корчить перед ней рожи по воскресеньям, и он стал не так быстро выполнять приказания отца. Если раньше он гримасничал за его спиной, то теперь открыто делал это при нем. А маленький Нонни заявил, что знает, отчего захворала его мать: отец не хотел купить ей пальто.

Неужели в этой пустыне не было ни одного оазиса? Да, такие оазисы были: время еды — соленая рыба, каша на воде и несвежая кровяная колбаса. Вот и все радости жизни. Корова еще не отелилась. Первый луч надежды вспыхивал, когда отец отдавал долгожданный приказ Аусте идти домой готовить обед, — казалось, что эта минута никогда не наступит. Мальчики заметили, что чем чаще они поглядывали на отца, тем дольше он оттягивал желанное мгновение.

Наконец Ауста Соуллилья отправлялась домой готовить обед. Она шла быстрым шагом — ведь и она тоже давно дожидалась, чтобы отец позволил ей прервать жестокую повседневную битву, отбросить грабли, отправиться домой и развести огонь. Огонь! Как только он разгорался, Ауста снимала с себя мокрое платье и сушила его над плитой; иногда она разрешала себе отломить крошечный кусочек сахара и положить его под язык. Опустив в кастрюлю рыбу, она садилась погреться у огня.

Не карай нас, господи!
Дай грешащим безобразней
содомлян, которых ты
огненной подвергнул казни,
дай узнать нам божий страх,
дай покаяться в грехах,
смерть дай встретить без боязни.

Бабушка, сидя над вязаньем и не поднимая глаз, бормотала псалом. Девушка не знала ни бога, ни его дел, зато она наслаждалась в эти минуты, когда во дворе хлестал дождь, чувством безопасности и покоя. Усталость, тяжелая мокрая трава, тинистое болото, ненастье, унылые крики

водяных птиц — все это на мгновение забыто. Мало-помалу каша в кастрюле закипает, по комнате разносится запах соленой рыбы; пламя в плите разгорается все ярче.

А у мальчиков на лугу косы давно уже затупились, мускулы обмякли, как лоскутья; они вяло и без толку ударяют косой по мокрой зелени, от нее лишь летят брызги и отскакивают комочки земли, в лучшем случае — ломаются сухие былинки. «Ауста, должно быть, заснула на хуторе и забыла про кашу».

Какое это было приятное зрелище, когда она показывалась на краю выгона с котелком в руках!..

Трапеза на лугу... Как и всякая истинная радость, она казалась особенно сладкой в минуты ожидания. Меню было установлено раз навсегда: соленая рыба, ржаной хлеб, кровяная колбаса и в виде приправы — нескончаемый дождь, обильно поливавший эту пищу. Зато хозяин Летней обители никому не кланялся и не поддавался ни на какие уговоры, хотя и купец, и уполномоченный потребительского общества за последние полгода наперебой старались заручиться его расположением. Под дождем соленая рыба пахла еще сильнее, чем обычно, и этот запах держался долго-долго, — казалось, он пропитывал и одежду

и руки. И детям еще больше хотелось есть, когда они поднимались с копны после еды.

Какая бы ни была погода, Бьяртур после обеда отходил в сторонку, ложился на стог и тут же засыпал. Поворачиваясь во сне с боку на бок, он часто скатывался прямо в лужу и сейчас же просыпался. Это ему даже нравилось; он считал, что мужчине полагается поспать среди дня каких-нибудь несколько минут, — а заспавшись, он всегда приходил в дурное настроение. Женщины после еды забивались под стог. Под стогом было сыро, и они зябли. Поднявшись с онемевшими пальцами, с ломотой в ногах, они снова брались за грабли и косы. Бьяртур, слыша их жалобы на сырость, всегда удивлялся: что это за дуры? Не все ли им равно — сухо или мокро? И зачем такие люди на свет родятся!

— Непременно им надо быть сухими — вот еще проклятые прихоти! Больше половины своей жизни я мок под дождем, и ничего со мной не случилось.

Глава тридцать четвертая

Важные события

Однажды, вечерней порой, когда сенокос уже почти кончился и дни стали короче, косцы увидели, что по увалам — не тропой, а открытым полем — идет человек, ведя в поводу вьючную лошадь. Он спускался к восточному берегу озера. Что-то странное было в этом путнике. Должно быть, за ним погоня? Зачем он скитается здесь, по чужой земле? Не аульв ли это? Во всяком случае, это необыкновенный человек. Даже Бьяртур перестал косить и, опершись на косу, провожал взглядом прохожего, презирающего дороги. Что ему нужно? Путник осматривал берега озера и самое озеро, даже, казалось, воздух над ним. Может быть, это иностранный ученый или земельный спекулянт с юга? Задумал спекульнуть чужой землей? Наконец путник снял поклажу с лошади и отпустил ее бродить по болоту, на восток от озера. Что за черт!.. Затем он полукругом обошел озеро и направился к хуторянам. Все ожидали не шевелясь. Загадка. Тайна… Что может быть необычнее, чем незнакомец на болотах! Дети даже забыли про свою усталость, а ведь они работали уже пятнадцать часов.

Незнакомец не был похож на других людей. С

непокрытой головой, в коричневой рубашке и вязаной безрукавке, смуглый, сухопарый, чуть-чуть сутулый; лицо у него было тонкое, свежевыбритое, глаза умные. Иностранец он, что ли?

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! — осторожно ответили ему.

А старая Фрида рывком схватила грабли, выражая этим свой протест.

— Шляются здесь! Прикатили из чужих краев… Оставались бы у себя дома… Или они уже там навели такой порядок, что могут разъезжать?

— Хозяева Летней обители? — спросил незнакомец, подойдя ближе.

— Как сказать, — не особенно приветливо ответил Бьяртур и, подняв косу, сделал несколько шагов навстречу гостю. — Считается, что это моя земля. Кто б ты ни был, не пойму я, что толку слоняться по чужой земле и что-то высматривать.

Неизвестный ни с кем не поздоровался за руку, как было принято. Он остановился в нескольких шагах, огляделся в мутном свете сумерек, спокойно достал из кармана трубку и табак.

— Прекрасная долина. Одна из самых красивых…

— Прекрасная?.. — переспросил Бьяртур. — Это уж смотря по тому, гниет ли сено или нет. Ты

кем-нибудь послан сюда?

Послан? Нет, он никем не послан. Но уж очень хороша эта долина, и он просит разрешения разбить свою палатку там, на восточном берегу озера.

— Да, моя земля тянется на юге в глубь пустоши, на севере до самых гор, на западе до половины перевала и на востоке до оврагов. Вся низменность моя.

Незнакомец сделал какое-то невнятное замечание насчет того, что всю эту землю можно было бы превратить в сплошную пашню.

— Пашня или не пашня, — возразил Бьяртур, — но земля моя, и я не хочу, чтобы чужие люди бродили по ней и совали свой нос не в свои дела. Вот уже скоро четырнадцать лет, как я построил этот хутор на развалинах, а с хозяином Редсмири я полностью рассчитался. Мне говорили, что здесь раньше водилось привидение, но я не боюсь ни привидений, ни людей… У меня хорошие овцы.

Незнакомец понял и одобрительно кивнул:

— Хороший почин для крестьянина-бедняка.

— Не знаю. Не буду хвалиться. Но одно уж верно: живется мне не хуже, чем другим одиночкам здесь в приходе. Скорее даже лучше, чем многим. Я не залез в долги, оттого что не подпускал дар-

моедов к своему сену — до самой этой зимы, пока кое-кто не навязал мне скотину. Но, конечно, я и в мыслях не держу равняться с богачами: мне только сдается, что для себя-то я достаточно богат, и поэтому никому не позволю вмешиваться в свои дела и не имею охоты вступать в разные союзы.

Незнакомец сразу объяснил, что если он сказал «Хороший почин», то вовсе не разумел под этим, что все хотят стать крупными землевладельцами; да он и сам не собирается вести дела с богатыми крестьянами — он предпочитает, чтобы его деньги попали в руки малоимущему крестьянину.

Бьяртур решил, что этот человек носится с какими-то новыми торговыми планами. Поэтому он сказал гостю, что решил вести торговлю с одним лишь купцом; в тяжелое время этот купец многим помогает продержаться. И хотя Йоун из Мири сколачивает потребительское общество и сулит прибыль на товарах в хорошие годы, Бьяртур все же считает, что большую часть прибыли загребает он сам: ведь у него каждую осень бывает триста пятьдесят ягнят, а крестьянам, у которых всего по тридцать — сорок, достаются крохи. А в плохие годы? Если общество прогорит, отвечать придется крестьянам, и не только за себя, но и за других. А что касается дела, старина…

Незнакомец поспешил объяснить Бьяртуру, что у него даже в мыслях не было портить его хорошие отношения с купцом. Он просто любит побродить в летнее время с ружьем или удочкой.

— Так как я слышал, что ты не интересуешься ни дичью, ни рыбной ловлей, то я подумал, что, может быть, ты разрешишь мне порыбачить здесь, за плату, конечно.

— Да тут и не водится стоящей рыбы, — сказал Бьяртур. — Разумным людям некогда заниматься такими пустяками: ведь от того, что добудешь здесь на болотах, будь то птица или рыба, для овец нет никакого толку. Может быть, это годится для овец богатых крестьян или для их сыновей. Я имею в виду сына редсмирского старосты, которого теперь величают уполномоченным, — так он на то и воспитывался в религии персов. Он теперь главный воротила в потребительском обществе, которое сколотил вместе с отцом, — все равно как мадам устроила здесь Союз женщин, чтобы навязывать ни в чем не повинным людям ненужную им скотину. Этот молодчик не может видеть никакой живности, чтобы не свернуть ей голову.

Старая Фрида с обычной своей бесцеремонно-

стью крикнула издали:

— Как не стыдно этим проклятым вшивым нищим поносить тех, кто выше их! А сами давят все и всех, живое и мертвое, кроме разве вшей, которые ползают по ним.

Незнакомец выпустил струю дыма в ее сторону, не зная, какую позицию занять ему в этом вопросе.

— Не обращай внимания на эту чертову богаделку. Не впервые она мелет вздор, — сказал Бьяртур во избежание всякого недоразумения.

Незнакомец счел возможным повторить теперь свою просьбу.

— Ладно уж, если ты не занимаешься земельной спекуляцией и не послан сюда никаким союзом, — что ж, разбивай себе палатку на несколько дней. Только не слишком топчи мою траву. Но спекулянтов мне здесь не нужно и членов всяких обществ тоже. Я считаю, что эти общества на пагубу маленьким людям. А земля моя непродажная. Я и моя семья живем здесь тихо и мирно, ради наших овец. Нам хорошо, если овцам хорошо; и нам всего хватает, покуда у овец есть все необходимое. Кончилось бы только это проклятое ненастье.

Когда незнакомцу удалось наконец убедить

Бьяртура в том, что он не земельный спекулянт и не член союза, начались переговоры. Это был самый обыкновенный южанин, дачник, — из тех, что приезжают летом отдохнуть и развлечься. Кто-то ему сказал, что здесь много рыбы, а кто именно — он запамятовал. Ему хотелось бы побыть здесь несколько дней; у него все есть, он ни в чем не нуждается. В доказательство он вынул бумажник с кредитками. Целая куча настоящих денег! У южан ведь под рукой банки: говорят, что эти бумажки они употребляют чуть ли не в отхожем месте. Несмотря на презрение Бьяртура к деньгам, эта толстая пачка произвела на него впечатление, он даже предложил приезжему помочь ему развернуть палатку; но тот отказался: он и сам управится с ней. Попрощался он так же небрежно, как поздоровался, и ушел, оставив после себя удивительный запах и синий дым, который мало-помалу рассеялся по лугу в спокойном вечернем воздухе. Приезжий так мало говорил, так коротко поздоровался и у него было так много денег, что от этого у всех разыгралась фантазия. Такой человек, такой благородный господин, далекий, как сказочный принц, — и вдруг стал соседом обитателей хутора. Его близость была как сияние праздника посреди будней, как

луч солнца в ненастный день, как яркое пятно на вечно сером фоне, она подстегивала уснувшую мысль, оживляла тоскливую жизнь. В эту ночь Аусте снилось, что кусочек яблока выскочил у нее из горла.

На следующий день отелилась корова. Так за одни сутки на пустоши произошло два крупных события.

Корова в последние недели очень мучилась, бедняжка. И Финна, которая знала и понимала это состояние, никому не доверяла выпускать ее утром и загонять вечером. Никто, кроме нее, не делал это так бережно, никто не дожидался так терпеливо, пока корова протиснется через узкую дверь хлева, задевая боками о косяки. Финне в голову не приходило даже хлестнуть корову хворостиной, когда та тяжело шлепала по грязи. Корова останавливалась, пыхтя и кряхтя, шевелила ушами, мычала. Они расставались в лощине у ручья.

Финна, поглаживая корове бока, говорила:

— Скоро у нас будет теленок, с большой головкой, с растопыренными слабыми ножками… Ничего, все обойдется. Вечером мы увидимся. Спокойнее, спокойнее. Будем думать друг о друге.

Затем Финна отправлялась домой, а корова

жевала, медленно двигая челюстями и морща нос от удовольствия, так как трава вдоль ручья была сочная и вкусная.

В этот вечер Финна не нашла коровы на обычном месте. Ей это показалось странным. Тем более что корова успокаивалась по мере того, как приближалось время отела; она давно уже не делала попыток убежать. Женщина шла от холма к холму, дальше и дальше, к самой горе, и все звала Букодлу. Наконец корова ответила ей из маленькой лощинки у ручья. Она промычала в ответ только один раз, и Финна тотчас же нашла ее. Корова отелилась. В этот вечер Финне было с ней очень трудно: корова не слушалась хозяйки, все время топталась вокруг теленка, обнюхивала, облизывала его, тихонько мыча, и не замечала никого и ничего вокруг. Финне все это было понятно. Когда рождается детеныш, он становится между матерью и всем тем, что она любила прежде. Корова была поглощена счастливым чувством материнства, которое заглушило в ней любовь к человеку; будто в этот день исполнились все желания Букодлы, ей уже ничего больше не нужно было, и сочувствие со стороны чужих казалось излишним. Финне с большим трудом удалось загнать ее домой.

Все, кроме Бьяртура, устремились навстречу корове. Дети бежали впереди, им не терпелось рассмотреть серого, в крапинках, теленка, похожего на мать. Это был бычок. Ауста Соуллилья в знак приветствия поцеловала его в выпуклый лобик, а корова, тихо мыча, наблюдала за ней. В этот вечер собака, как она ни была глупа, ни разу не делала попытки куснуть корову за задние ноги, даже не залаяла на нее, — зажав хвост между ног, она вежливо отступала, когда корова пыталась броситься на нее, и с уважением рассматривала новое семейство. Старая бабушка приковыляла, держась поближе к стене и опираясь на сломанную ручку от граблей, — ей хотелось приласкать теленка и корову. Даже старая Фрида была мягкосердечнее, чем обычно.

— Бедняжечка, — сказала она и прибавила: — Иисуспетрус!

Тут из дома вышел Бьяртур.

— Вот что, — сказал он. — Надо наточить ножи.

— Так я и думала, проклятый убийца! — крикнула старая Фрида.

Жена только посмотрела на него умоляющим взглядом и, проходя мимо него к дверям, произнесла почти шепотом:

— Бьяртур, дорогой мой!

Корову привязали к стойлу, а теленка уложили рядом. Поздно вечером, когда все уже собирались спать, а женщины умиленно говорили об отеле и все были счастливы, что на хуторе появилось молодое существо, что все обошлось благополучно, и искренне радовались за корову, Бьяртур снова завел разговор о теленке:

— Жаль, что до воскресенья мне некогда будет свезти тушу во Фьорд.

На следующий день семья ела сыр из молозива. Наступили хорошие дни. Стоило теперь посмотреть на эту корову, которая до сих пор была такой одинокой. Как быстро и легко шагала она по утрам со своим теленком, который, спотыкаясь, бежал рядом с ней. Корова уже не нуждалась ни в утешении, ни в ласке. Она старалась поскорее убежать от детей — они были влюблены в бычка и без конца теребили его. Корова беззаботно паслась вместе с теленком под горой и уходила очень далеко, — казалось, она уже не зависит от людей. А ведь раньше она так нуждалась в покровительстве Финны. Теперь она избегала людей. По вечерам, когда Финна приходила за ней, Букодла смотрела на нее так, будто не узнавала ее, и Финна вовсе не обижалась: она хорошо знала,

что такое материнская радость, как высоко она поднимает над жизнью, все другое становится мелким и незначительным. Да, Финне была понятна эта радость. Хотя корова по вечерам давала слишком мало молока, она не говорила об этом Бьяртуру из страха, что он распорядится запереть теленка на весь день; она не могла примириться с мыслью, что корову после длительного одиночества лишат радости ощущать возле себя теленка.

Воскресное утро. По воскресеньям все обычно просыпались поздно, кроме Бьяртура, который вообще не делал различия между днями и в праздник вставал так же рано и занимался разными поделками и починками. В это утро он просунул голову через люк и спросил, что случилось, не перемерли ли здесь все.

— Вот как, ты уж и по воскресеньям притесняешь нас? — спросила старая Фрида.

— Телячья требуха лежит у дверей, — объявил Бьяртур. — Если хотите, чтобы ее смыло дождем, — дело, конечно, ваше. Я-то сам уезжаю с тушкой.

В этот день Финна даже не могла встать, она повернулась лицом к стене, ей нездоровилось. Старая Халбера, Фрида и дети встали. Потроха теленка, еще теплые, лежали за порогом в корыте,

а Бьяртур уже ехал по болоту на восток верхом на старой Блеси; поперек седла лежала телячья тушка, предназначенная на жаркое купцу.

— Так он вас всех перережет, — сказала старая Фрида и, громко бранясь, принялась убирать требуху.

Дети стояли перед домом, засунув палец в рот; они смотрели и слушали.

Теленок Букодлы… Они помнили его взгляд — такой же, как у всех детей. Он смотрел на них, еще вчера прыгал здесь, на выгоне, поднимая обе передние ножки, а затем обе задние. У него был круглый лоб, как у всех телят; Ауста говорила, что он трехцветный. Теленок бродил уже по откосам, принюхивался к тимьяну, а когда шел дождь, прятался под боком у матери.

Это было унылое воскресенье. Корова не переставая мычала в хлеву. Пытались выгнать её в поле, но она сразу вернулась и, мыча, стояла у порога; она как бы взывала к дому. Гора отвечала на ее рев глухим отзвуком. Из больших глаз коровы текли крупные слезы, — коровы тоже плачут.

Целую неделю Финна не решалась смотреть на Букодлу, и ее доила старая Фрида. Ничего нет беспощаднее человека. Как могут оправдаться люди перед бессловесными животными? Первые дни

всегда самые тяжелые. И большое счастье, что преступление и горе со временем забываются, так же, как и любовь.

Глава тридцать пятая
Гость

Дождь продолжает лить. Ауста Соуллилья готовит обед. Сняв с себя мокрое платье, она кладет его сушиться на горячую плиту; от него идет пар. Ауста, босая, в старой разорванной юбке, чистит рыбу. В кастрюле начинают подниматься пузырьки.

Вдруг снизу доносятся шаги. Дверь открывается, и кто-то проходит через хлев. Слышно, как потрескивает лестница, как открывают крышку люка. Вот показался человек, он оглянулся по сторонам; на нем зюйдвестка, широкое толстое пальто с воротником, пряжками, ремешками, пуговицами и высокие брезентовые сапоги, — ни один ливень его не проймет; голубые глаза смотрят ясно, приветливо. Он показался Аусте очень молодым. Гость поздоровался, девушка не посмела ответить, она всегда молча подавала руку, — но гость не протянул ей руки. В своем широком толстом пальто он занимал много места в

их маленькой комнате, и Ауста боялась, как бы он не стукнулся головой о потолок. Старуха тоже не ответила на его приветствие, она перестала вязать и искоса смотрела на гостя. У него в руках были две вязки — с форелями и с белощекими казарками.

— Свежая провизия, — сказал он. — Для разнообразия.

Его белые зубы сверкали, как жемчуг, на мужественном загорелом лице, а голос показался Аусте необычно звонким.

— Соула, — хрипло произнесла старуха. — Предложи гостю присесть.

Но Ауста не посмела предложить ему сесть. Юбчонка на ней такая старая, руки у нее такие длинные, к ногам пристала грязь; ее рваные панталоны лежали на плите и дымились… Она боялась взглянуть на гостя и даже на форели, переливавшие всеми красками. Он, видно, думает, что им нечего есть. Что же ей сказать ему? Что сказал бы отец?..

— Давайте бросим несколько форелей в кастрюлю, — сказал гость и взял нож. У него была узкая смуглая рука, чистая, без мозолей, без ссадин; ножом он орудовал умело и мигом очистил несколько форелей; молоки и икру положил в

миску, а чищеную рыбу в кастрюлю.

— Прекрасная рыба, — заметил он. — Около четырех фунтов. — И показал форели бабушке. — Отличная рыба.

— Да-да, — ответила старуха. — Может, и так, если кто привык к ней. Нельзя выбирать еду для других по своему вкусу. Я не переношу свежей рыбы, а уж та, что водится в пресной воде, мне и вовсе не по вкусу. Я никогда не переносила свежую пищу, очень она крепка. У меня от нее даже сыпь выступает.

Но гость сказал, что вряд ли от этого может быть сыпь: свежая пища полезна для здоровья.

— Откуда вы? — спросила старуха.

— С юга.

— Так я и думала. Бедняга, — сказала она с тем сочувствием, которое старики обычно проявляют к людям, приехавшим издалека.

Ауста Соуллилья только стояла и смотрела, как гость разделывает форель, какие у него ловкие руки. Движения были скупые и уверенные, все делалось как будто само собой, и в то же время правильно. На щеке, обращенной к Аусте, лежал как будто отблеск улыбки, хотя он не улыбался. Он был очень красив и очень добр. Он положил форели в кастрюлю, наполнив ее до краев, потом

попросил у нее сала. Аромат кипящей свежей форели наполнил комнату. Большой это человек. Никто не узнает, о чем Ауста мечтала с тех пор, как он появился в здешних местах.

Гость достал трубку, набил ее и закурил. Распространился медвяный запах таволги, только еще слаще, еще приятнее. В сладком аромате раскрывается целый мир. После ухода гостя этот запах еще долго держался.

— До свидания, — сказал гость и исчез; он закрыл за собой наружную дверь.

Ауста быстро подошла к окну, чтобы посмотреть, как он бежит под дождем в своем широком пальто и зюйдвестке. Нет, такому человеку дождь не страшен. Какая легкая у него походка! Девушка вдруг почувствовала, что у нее закружилась голова и забилось сердце. Она подождала у окна, пока сердце успокоилось.

Теперь только старуха вспомнила, что она хотела спросить гостя об одной вещи, раз он прибыл с юга, но она так одряхлела, что уже ничего не может запомнить.

— А ты, Соула, постыдилась бы — даже не предложила кофе этому бедняге.

Но Ауста Соуллилья не слышала, что ей говорят. Она как-то странно чувствовала себя: с голыми

руками, голыми худыми ногами, в старой юбчонке — настоящий урод.

— Птица? — спросил Бьяртур вечером, пренебрежительно глядя на вязку, оставленную гостем. — Никто еще не разжирел от стреляной птицы.

— Не сварить ли ее? — спросила жена.

— Я слыхала, что знатные люди едят птицу, — сказала Халбера.

— Говорят, что французы едят даже лягушек, — сказал Бьяртур.

Он не дотронулся до птицы, но все же, как видно, не сердился на гостя за рыбу и птицу и в следующее воскресенье утром, после завтрака, сказал:

— Принимать от чужих подарки, как нищие, на это вы горазды, а вот послать этому несчастному парню каплю молока в воскресный день — тут уж у вас смекалки не хватает.

Кончилось тем, что Аусту Соуллилью послали с кувшином молока на восточный край пустоши. С ней пошел маленький Нонни. Он умыл лицо, руки и причесался. Глаза Аусты — один правильный, другой с косинкой — казались очень большими и очень темными. Она надела туфли из овечьей кожи и платье своей покойной мате-

ри, выстиранное и починенное после поездки в город; оно очень полиняло и не особенно радовало глаз — жалкая тряпка. Но, к счастью, сама Ауста повеселела с тех пор, как отелилась корова. Это было заметно даже по цвету ее лица.

Брат и сестра с кувшином молока шли по болоту на восток. Ауста Соуллилья волновалась и не говорила ни слова. Три дня как уже было сухо; еще не совсем распогодилось, но большую часть сена все же успели убрать. Сегодня даже проглянуло солнце. Правда, трава на болоте пожухла и солнечный свет потерял тот нежно-голубой оттенок, в который его окрашивает весна. Ржанки уже собирались стайками; бекас притаился в траве, в одиночестве, будто каясь в грехах прошлой жизни, и вдруг вылетел у Аусты из-под ног, так что она невольно вздрогнула от испуга. Не слышно песен — только звенит песня сердца.

Вокруг палатки было пусто. Брат и сестра остановились в ожидании, смущенные. Они недоумевали: как постучаться в этакое жилье без дверей и даже без косяков? Но наконец набрались храбрости и заглянули в палатку. Приезжий вылез из мешка, мохнатого внутри, и взглянул на них сонными глазами.

— Вы ко мне?

— Нет, — сказала Ауста Соуллилья и, поставив возле палатки кувшин с молоком, схватила брата за руку и побежала.

— Эй, — окликнул он их. — Что мне с ним делать?

— Это молоко, — сказал маленький Нонни на бегу.

— Стойте, — крикнул вдогонку приезжий.

И дети не решились ослушаться, — остановившись, они посмотрели на него пугливо, как зверьки.

— Да подойдите же, — позвал он. Но дети ни за что не осмелились приблизиться; они только стояли и смотрели на него. Человек снял крышку с кувшина, поднес его ко рту и, осторожно отпив маленький глоток, вытер губы рукой и сплюнул.

— Погодите, мы будем есть жаркое, — сказал он.

Дети еще постояли, глядя на него, затем сели рядышком на бугорок, не зная, что могло бы означать «жаркое»; они ждали, что будет дальше. А человек принялся готовить еду возле палатки, босоногий, в штанах и рубашке. Дети следили за ним удивленными глазами.

Он крикнул им, не глядя в их сторону:

— Можете подойти поближе, это не опасно.

Немного погодя, когда он отвернулся, они воспользовались случаем и подошли ближе. Приезжий сказал, что бояться им нечего, они могут войти в палатку, и старался не глядеть в их сторону, чтобы не спугнуть их. Они последовали за ним в палатку — сначала мальчик, а потом девочка; оба прислонились спиной к стояку. Никогда у них еще не было такого приключения. Пахло табаком, фруктами, одеколоном. Ауста следила за движениями коричневых, как кофе со сливками, рук: как они разжигали примус, клали масло на сковородку. Он положил трех выпотрошенных уток, и вскоре аромат жареного мяса смешался с другими запахами. На его мягкой смуглой щеке лежал отблеск улыбки. Ауста была очень рада, что он не смотрит на них.

— Вы умеете играть? — спросил он, не поднимая глаз.

— Нет, — ответили дети.

— О-о, — удивленно протянул он. — Почему же нет?

— Всегда надо заниматься делом, — ответил Нонни.

— Почему?

Этого они не знали.

— А ведь забавная штука — играть, — сказал

он; но они не понимали: имеет он в виду себя их или людей, живших в их приходе. У девочки зарделись щеки от страха, что он посмотрит на нее или обратится лично к ней.

— Почему вы не стреляете птицу? — спросил он.

— Отец не хочет, — ответил мальчик, впрочем, он не помнил, чтобы отец когда-нибудь говорил об этом.

— А что вы сделали с птицей, которую я подарил вам на днях? Сварили? Надо было зажарить ее в масле.

— У нас нет масла.

— Почему?

— Отец не хочет купить маслобойку.

— А чего же хочет ваш папа? — спросил человек.

— Овец, — ответил мальчик.

Гость с удивлением посмотрел на детей; казалось, он только теперь понял, что это — беседа и что в ней даже есть содержание.

— Овец? — переспросил он с ударением, как будто не узнавая знакомого слова. Он перевернул уток, и оказалось, что та сторона, которая лежала на сковородке, стала коричневой. Растопленное масло сильно зашипело. Палатка наполнилась

чадом.

— Значит, он хочет овец, — сказал человек будто про себя и покачал головой. Дети почувствовали, хотя и не поняли почему, что хотеть овец не совсем правильно. И Нонни решил рассказать Хельги, что этот большой человек, видно, не совсем согласен с отцом.

Ауста рассматривала его с ног до головы — его пояс, пальцы на его ногах; рубашка была из коричневой материи, с открытым воротом; девушка никогда не видела подобной. Он ведь мог иметь все, что хотел. Его дом — не тот ли это сказочный дом, который нарисован на красивом блюде? Нет, не может быть: ведь перед тем домом — молодая девушка; его же дом стоит одиноко в лесу, как на красивом календаре, который в позапрошлом году упал на землю и овцы затоптали его. Одиноко в лесу. Он живет здесь один. В его доме много комнат, и они еще красивей, чем в Редсмири. У него есть диван, который еще красивее, чем диван в Редсмири. Это о нем говорится в сказке о Белоснежке.

— Как тебя звать? — спросил он, и сердце чуть не остановилось в ее груди.

— Ауста Соуллилья, — сказала она быстро, до смерти испуганная.

— Ауста… что? — спросил он.

Но она уже не смела повторить свое имя.

— Соуллилья, — ответил за нее маленький Нонни.

— Удивительно! — сказал он, взглянув на девушку, как бы с целью убедиться, что она действительно солнечная лилия. И ей стало досадно, что у нее такое глупое имя. Но он лишь улыбнулся ей; он простил ее, в его глазах было что-то доброе, очень доброе и нежное — то самое, по чем тоскует и вечно тосковала ее душа. И она впервые увидела это в его глазах… и, может быть, никогда больше не увидит. Увидела — и поняла: да, это было то самое.

— Теперь мне понятно, почему эта долина так прекрасна, — сказал приезжий.

На это Ауста Соуллилья совсем уж не умела ответить. Долина прекрасна? Она долго ломала над этим голову. Что он имеет в виду? Она слышала, что бывает прекрасная шерсть, прекрасная пряжа, а чаще всего — прекрасные овцы. Но долина?.. Долина — ведь это просто болото, вязкое болото; стоишь в нем по щиколотку в воде, а в протоках еще глубже; в долине есть озеро, где, говорят, живет водяной; есть маленький хутор на низком холме, гора с голыми скалами наверху

и очень мало солнца. Она оглядела долину, посмотрела на болото — на это гадкое болото, где она все лето ворошила грязное сено, промокшая до нитки, несчастная. День здесь как будто длится вечно: нет ни утра, ни вечера, — и вдруг эта долина прекрасна. «Теперь я понимаю, почему эта долина так прекрасна». Почему же? Нет, это не потому, что ее зовут Ауста Соуллилья. Если долина прекрасна, то лишь потому, что сюда пришел удивительный человек.

Жаркое все шипело.

Приезжий предложил им выйти наружу. Они сели на берегу озера. Было около трех часов дня, в долине дул теплый ветерок. Приезжий растянулся на траве и смотрел в небо, а они смотрели на него, разглядывали пальцы на его ногах.

— Вы что-нибудь знаете? — спросил он, глядя в небо.

— Нет, — ответили они.

— Видели вы когда-нибудь привидения?

— Нет.

— А умеете что-нибудь делать? — снова спросил приезжий.

Детям показалось, что как-то неловко без конца отвечать нет на все его вопросы, и не хотелось прямо сказать, что они ничего не умеют. Что же

умеет делать Ауста Соуллилья? Она стала вспоминать, но так ничего и не припомнила.

— Нонни умеет петь, — сказала она.

— Спой же, — предложил приезжий.

Но мальчик в эту минуту, должно быть, забыл, как взяться за это дело.

— Сколько у меня пальцев на ногах?

— Десять, — выпалил мальчик, не сосчитав их предварительно, и сейчас же подумал, что зря он так поторопился: почем знать, может быть, у южанина их целых одиннадцать. Ауста отвернулась. Какой смешной вопрос! Она не могла удержаться от смеха. Оглянувшись, она заметила, что приезжий как-то странно посмотрел на нее и громко расхохотался. До чего же ей стало стыдно! Но она не могла удержаться.

— Так я и знал, — торжествуя, сказал мужчина. Он поднялся с травы, чтобы посмотреть, как она смеется. В смехе ожило и расцвело все ее существо, в глазах вспыхнула лукавая искорка, — она сдалась. На лице у нее появилось девически-мягкое выражение.

Надо было приглядеть за утками. Вокруг палатки разносился чудный аромат. У детей текли слюнки при мысли о такой вкусной, душистой снеди. Мужчина достал жестяную банку с слад-

кими фруктами и вылил ее содержимое в миску. Он так был поглощен приготовлением еды, что не мог уделять внимания детям. Ауста вдруг рассердилась на маленького Нонни за то, что он такой глупый и скучный.

— Почему ты не пел, дуралей, раз уж пошел со мной? — спросила она.

А вечером, сидя на пороге дома, Ауста горько сожалела, что не рассказала приезжему сказку о Белоснежке, которую знала почти наизусть с начала до конца. «Это было однажды зимой…» Она чуть-чуть не начала ему рассказывать эту историю, но побоялась, что он неправильно поймет ее. Как бы то ни было, она теперь каялась, думая о том, что осталось несказанным. Она все смотрела в сторону палатки, которую можно было различить в сумраке на берегу озера. Ауста решила лечь не раньше, чем все заснут, — и вдруг увидела человека, шедшего по западной стороне болота — как будто в поселок. Это был он.

В Летней обители уже ложатся спать, а он идет куда-то на запад, через перевал. Куда же он собрался так поздно? Может быть, он ходит туда каждый вечер? Хотя она раньше не замечала этого. Разве он не говорил, что долина прекрасна? Что он имел в виду? Ничего? Сказал в шутку, а

она поверила? Если долина прекрасна, почему он тогда уходит на запад, через перевал? Скоро ночь, становится холодно…

Ауста не видела его два дня, не слышала, как он стреляет. Затем он пришел. Час был поздний. Все уже собирались ложиться. Хорошо, что она еще не успела снять юбку. Человек просунул в потемках голову через люк и сказал: «Добрый вечер!» Из кармана он достал светящуюся коробку, а женщины стояли вокруг в нижних юбках. В его трубке тлел огонек. Он попыхивал трубкой, и душистый табачный дым в одно мгновение наполнил чердак.

— Я уезжаю, — сказал он.

— Что это ты так торопишься? — спросил Бьяртур. — Мне казалось, что вам, южанам, некуда спешить. Ведь я тебя, приятель, не гоню.

— Да, но все же я уезжаю.

— Недавно ты угостил детей дичью, — сказал Бьяртур.

— О, какие пустяки, — ответил гость.

— Да, — согласился Бьяртур. — Это пустяковая снедь. Силы в ней нет никакой. Этакое едят разве в голодовку. Ты тут в болотах, видно, здорово отощал, бедняга?

— Нет, я прибавил в весе.

— Ну, мы тут любим еду покрепче, — сказал Бьяртур, — соленую, кислую. Кстати, ты, надо думать, знаешь толк в постройках. Я, видишь ли, задумал строиться.

Тут старая Фрида не сдержалась.

— Строиться? — перебила она его. — Да, не мешает тебе перестроить свой разум! И заодно покрасить его, снаружи и внутри.

Да, он решил строиться. Но разумнее было бы не говорить об этом при всяких слабоумных богаделках, паразитках, от которых так и пышет злобой.

— Так ли, сяк ли, — я всегда буду рад видеть тебя на своей земле, днем, и ночью.

Гость поблагодарил его за гостеприимство и уверил, что он еще вернется в эту прекрасную долину.

Бьяртур ответил, как и при первом разговоре:

— Прекрасная? Ну, это уж смотря по тому, какое будет сено.

Гость начал прощаться.

Тут случилось нечто необыкновенное. Бабушка, казалось, затаила какую-то мысль: она, никогда не ощущавшая потребности вступать с кем-либо в разговор, задержала руку гостя в своей слабой руке, которую он пожимал на прощанье, и что-то

порывалась сказать ему.

— Правильно ли я поняла, что этот человек пришел с юга? — спросила она.

— Да, — громко ответил Бьяртур, избавив гостя от излишнего беспокойства. — Конечно, этот человек с юга. Мы тебе это говорили много раз.

Старуха сказала, что она могла и ослышаться, ведь она уж так стара и дряхла.

— Да, — заметил Бьяртур. — Ты идешь под гору, это всякому видно.

— Мне бы хотелось напоследок спросить этого человека… Я-то сама тоже с юга… У меня там сестра. Может быть, он знает или встречал ее на юге?

— Да нет, — крикнул Бьяртур. — Быть этого не может. Он ее не видал.

— Откуда, черт возьми, тебе это известно? — вмешалась старая Фрида.

Но гость пожелал расспросить бабушку подробнее, может быть, он случайно и повстречался с ее сестрой. Как ее звать?

Он осветил старуху карманным фонарем, а она напряженно всматривалась в него своими выцветшими, блуждающими глазами. Ее сестру звали Одрун.

— Одрун? Она живет в Рейкьявике?

— Нет. Она нигде не живет. У нее никогда не было своего дома. Она всегда жила у господ, в Меддаланде; мы оттуда родом.

— Э, — прервал ее Бьяртур, — откуда ему знать таких людей? Разную мелюзгу…

— Когда я получила от нее последнюю весточку, она служила у каких-то хозяев в Мирдале, возле Вика, и лежала больная, — ногу сломала. По ее просьбе мне написали письмо. Я получила его по почте, тому уж лет тридцать. Нас было только двое.

— Да она, верно, давно на том свете, — сказал Бьяртур.

— Тьфу! — возмутилась старая Фрида и снова ринулась в бой: — На наше счастье, не ты распоряжаешься богом и людьми.

Гость объяснил, что он не знает Одрун, потому что никогда не бывал в Меддаланде.

— О, из Меддаланда она давно уехала, — сказала старуха. — Но она все же находится где-то на юге.

— Так, так, — сказал гость.

— Долго идут вести издалека, — заметила старуха.

— Да, — откликнулся гость.

— Вот я и хочу просить тебя: поклонись ей от

меня, если тебе случится ее встретить. Скажи ей, будь уж ласков, что мне, слава богу, живется хорошо, не считая того, что я одряхлела и телом и душой, как сам видишь. И скажи ей, что тринадцать лет тому назад я потеряла Тоурарина. И мальчики мои давно уехали в Америку. Я теперь живу здесь с замужней дочерью.

— Да ему это известно! — крикнул Бьяртур.

На прощание гость еще раз пожал бабушке руку и обещал передать от нее весточку Одрун, когда будет на юге. Он попрощался и с другими. Попрощался и с Аустой.

— Ауста Соуллилья, — сказал он и погладил ее по щеке, как ребенка. — Красивое имя в красивой долине, — прибавил он. — Я уверен, что никогда его не забуду.

Ауста лежала без сна и молилась богу, не зная его, и все думала о том, что он никогда не забудет ее имени. Никогда… Она радовалась будущему лету, когда он опять приедет. Затем ее стали одолевать сомнения: зачем же он в тот вечер ходил через гору, куда-то на запад?

На следующее утро, когда они встали, палатки уже не было. Шел проливной дождь, чувствовалось приближение осени. От унылого шума дождя начинало казаться, что этим потокам во-

ды, лившимся из другого мира, не будет конца. Лишенный ритма, подъемов и падений, дождь лил беспрерывно и монотонно, с одинаковой силой, неодолимый в своей мощи, окутывая тоской и унынием весь край.

Аромат табака еще долго держался в комнате. Ауста почувствовала его, когда пришла домой готовить. Однако он мало-помалу выдыхался и наконец исчез.

Глава тридцать шестая
Бьяртур строится

Староста Йоун из Утиредсмири, как правило, продавал своих овец, кому хотел, и по цене, которую сам назначал, тогда как крестьяне, задолжавшие Бруни, были точно на привязи. Староста единственный во всей округе позволял себе вслух выражать свою ненависть к Тулиниусу Йенсену. Он покупал овец у крестьян, гнал их на север по пустоши и продавал за большие деньги в Вике, где он был совладельцем тамошнего торгового дома. Но время шло, и постепенно увлечение потребительским обществом стало повальным. Отделение общества было учреждено и в Вике. Оно процветало, а торговый дом в Вике

прогорел, несмотря на помощь старосты, — вот как опасны могут стать такие союзы для отдельных лиц в тяжелое время, как бы сильны ни были эти лица. Можно было ожидать, что Йоун из Мири обрушится изо всех сил на объединения мелких крестьян, — ведь одно из них разорило торговый дом в Вике. Но что же случилось? Староста вызывает из Рейкьявика своего сына, уполномоченного, и вместе с ним основывает потребительское общество во Фьорде. И в это общество он не только втягивает всех свободных от долгов крестьян из ближайших мест, но и бедноту, задолжавшую Бруни. Он дает людям деньги на самых выгодных условиях, лишь бы они расплатились с купцом и вступили в потребительское общество. «Нам, крестьянам, надо держаться друг за друга», — говорит он. Он, всегда стоявший особняком, вдруг стал ратовать за единство! Такого рода люди знают, на чем играть. Если, дескать, исландские крестьяне не желают быть под сапогом у купца, пусть примут меры и сообща защищают свои интересы. Потребительское общество платит крестьянам справедливые цены за их продукты и дешево продает им необходимые товары. В сущности, это не деловое предприятие, а благотворительное общество,

основанное крестьянами для взаимопомощи. Человек, продающий примерно тридцать ягнят, при хороших ценах на мировом рынке может получить шестьдесят крон прибыли. А у кого есть триста — четыреста ягнят, наживет, пожалуй, и тысячу крон. Малому ребенку должно быть понятно, как выгодны такие союзы, — для бедного и богатого. Никто никого не обжулит.

Но осенью прибыло письмо от Бруни, который сообщал своим клиентам, что он только что вернулся из поездки за границу, где сделал необычайно удачные закупки и заключил выгодные торговые сделки, и может пообещать своим клиентам на будущее небывалые преимущества. К письму был приложен прейскурант. Цены оказались более низкими, чем в потребительском обществе. Никогда торговля не была такой выгодной, как той осенью. Когда Ингольв Арнарсон похлопывал по плечу крестьянина, Тулиниус Йенсен гладил его по шее. Когда Ингольв Арнарсон обнимал клиента, Тулиниус Йенсен его целовал. Дух христианства в торговле перешел границы разумного и привычного. Никто не заикался о долгах; людям навязывали дорогие городские товары, точно это был залежавшийся хлам. Этак годика через два все станут зажиточ-

ными крестьянами.

Бьяртур, воспользовавшись случаем, купил лес и железо.

— Да, можешь построить себе хоть двухэтажный бетонный дом, — сказал Тулиниус Йенсен, обнимая его. — А если у тебя туго с деньгами, не стесняйся, пожалуйста. Я к твоим услугам.

— Будем строиться, — говорили дети в Летней обители с радостным нетерпением; они гадали, будет ли дом двухэтажный, как в Утиредсмири, или одноэтажный, как у Короля гор, — во всяком случае, у них, кроме жилой комнаты, будет еще и парадная. Предстоящая стройка окрыляла их фантазию, но как только они осмеливались задать вопрос Бьяртуру, он резко обрывал их, не желая посвящать в свои планы: «Делайте свое дело». И они подчинялись, но в своем воображении открывали все новые и новые достоинства в этом еще не построенном доме. Ауста рисовала себе большую кухню, плиту со многими конфорками, шкафы и полки для посуды; она заранее радовалась, воображая, как летом будет приходить домой и готовить обед. И вдруг дверь открывается, и в светлую просторную кухню входит гость в широком пальто, с вязками птицы и рыбы. Он подает ей свою дружескую руку, — у

некоторых людей бывают такие дружеские руки, что помнишь их всю жизнь, до самой смерти. Так она думала про себя. «Но, — думала она, — если отец построит парадную комнату, откуда же нам взять картины и диван?»

С поля убирали последние остатки мокрого сена. Ауста прилежно сгребала сено, а отец складывал его; ей приятно было работать вдвоем с ним, — ничто не могло сравниться с его похвалой. И вот уже убрана последняя охапка. Они сели на копну, мокрые, грязные. Бьяртур взял щепоть табаку; Ауста положила свои большие, уставшие от работы руки на мокрые колени и разглядывала ноги, промокшие по щиколотку. У нее был высокий лоб. Нет, эти лобастые — не в его родню: у них лбы низкие и широкие. Да и брови ее, изогнутые дугой и темные, указывали на другое происхождение; как и точеный подбородок, строгий по форме, очерченный круглой линией, завершавшей овал щеки. Сколько прелести в изгибе полной, румяной нижней губы… Вот она взглянула на него, и он увидел ее глаза. Правый глаз был удивительно ясный, юный, почти счастливый, совершенно безмятежный; но из левого глаза, косившего, смотрела совсем другая душа, другие чувства — неразгаданные, хрупкие

и нежные, мечты, сдерживаемые страхом, как у скованного пленника, выданного врагам; глаз ее матери — той, что умерла с невысказанными словами на устах, жила в страхе и нежданно исчезла; той, на которой он был женат, не обладая ею. Она была юная, как цветок. Бьяртуру показалось, что он смотрит сквозь завесу времени в глубь давно минувших дней. И вдруг он почувствовал усталость, как будто осень дохнула ему в лицо, или, вернее, его лицо почти расплылось в бесцветном и бесформенном осеннем тумане. Стоишь, всматриваешься в себя — и какой чужой кажется собственная жизнь!

— Отец, — сказала Ауста. — Я так рада, что ты строишься.

И тут она увидела его лицо, лицо, которого он никогда не показывал, которого никто-никто не знал и не видел, которое не отражалось даже в его искусных стихах: лицо его души. Никто, никто не видел его, кроме нее. Его стихи были такие затейливые, что от этого мельчало их содержание. И то же самое было с его жизнью. Как ей хотелось броситься ему на шею и уткнуться лицом в то местечко под бородой. Он поднялся и провел мокрой рукой по волосам дочери.

— Когда-нибудь отец построит большой дом

для цветка своей жизни, — сказал он. — Только не этой осенью.

Нет, не этой осенью.

Этой осенью он удовольствовался тем, что построил овчарню с жестяной крышей вместо старой землянки, которую соорудил десять лет тому назад на берегу ручья; коровник переделали в загон для ягнят, а помещение под жилой комнатой было отведено для коровы и лошади. Пол выложили камнями, а в боковой стенке вырезали дверь, через которую выбрасывали навоз…

Несмотря на все разочарования, это было большим событием. На хутор пришли новые люди — строительные рабочие, слывшие мастерами в округе; они сложили стену овчарни из пластов торфа, перекладывая их дерном, так что она походила на полосатый узор для вязанья. Был тут и ученый плотник, с линейкой, карандашом и пилой, хотя по глазам его видно было, что он делает все вычисления в уме.

Запах свежих стружек сливался с терпким запахом осенней грязи и дождя; громкие разговоры за обедом, пахучий жевательный табак, стихи; купцы и потребительское общество, овцы и опять овцы; новости из отдаленных мест, незнакомые обороты речи, ссоры, кофе с сахаром…

— Купец испокон веков вел себя по-свински, он угнетал крестьян, покупал дешево и продавал дорого, лишь бы денежки загребать. Всякому понятно, что купец — заклятый враг крестьян.

— И все-таки купцы многих поддерживали в тяжелое время.

— Эх, недолговечна эта любовь. Стоит вам задолжать больше положенной суммы — и уж по вашему счету не отпустят ни единой горсточки ржаной муки. А уж сколько приходится намаяться крестьянину, пока он упросит кого-нибудь взять для него эту горсточку по его собственному счету.

Теперь потребительское общество ввело выплату процента: они начисляют вам процент на вырученную сумму, если сделка была удачна. Разве купцу приходило в голову платить проценты?

— Да, это похоже на редсмирцев — выдумать проценты! Небось себе отхватят самый большой кус.

— Теперь они еще задумали учредить ссудную кассу во Фьорде. Кто вложит в нее деньги, получит проценты.

— Проценты?

— Да, деньги вроде как плодятся, если вложить их в ссудную кассу… Какой-нибудь солидный

человек берет эти деньги из кассы взаймы и за это платит еще более высокий процент.

— Да, уж редсмирцы пойдут даже на то, чтобы потерять деньги, которые они дали взаймы. Уж они найдут выход и свои убытки покроют.

Бьяртур остался верен своему купцу, несмотря на все уговоры. Он непоколебимо верил в то, что для него выгоднее иметь дело с купцом, чем со старостой; он был твердо убежден, что все эти союзы и другие затеи редсмирцы измыслили только для того, чтобы самим получать проценты и доходы. И Бьяртур тут же сложил в уме несколько строф:

Бабы у нас есть, да нечего есть.

Чем — бог весть — накормлю овец?

Велика ли честь в долг к редсмирцам лезть!

Тут ни встать, ни сесть — все один конец.

Лучше стадо сперва перечесть,

после надо овец перебить,

сдохнуть рады мы, но к редсмирцам лезть? —

лучше с миром подохнуть, чем ред-

смирцем быть.

Но выше всех купцов и потребительских обществ — мечты сердца, особенно осенью, когда приближается вечер, — смотришь на облака, несущиеся над миром, и перед тобой встают удивительные картины. Ауста Соуллилья сидит у маленького окошка и следит за игрой облаков. Внизу Финна разговаривает с коровой и кормит ее, дожидаясь, пока та захочет пить. Бабушка, согнувшись, примостилась на кровати, сидит в темноте и, засунув палец в рот, бормочет псалом. Что за непонятный человек: вдруг оказывается, что у нее сестра на юге.

И вот на небе возникают странные очертания каких-то материков, ярко окрашенные моря с изменчивыми берегами, сказочные страны, города. Из зеленой зеркальной глади моря подымаются пурпурно-красные дворцы, потом они снова погружаются в воду со своими башнями: исчезает и само море, превращаясь в цветущий сад, окруженный причудливыми горами с живыми вершинами, которые кивают и падают в объятия друг друга, пока не расплываются. Раньше Ауста никогда не сиживала у окошка. А теперь она связывала свои мысли о нем с изменчивыми образами, возникающими в облаках.

О нем. Эти сказочные страны, эти моря с плывущими по ним ладьями, эти города и сады, сверкающие великолепием нездешних красок, которые она видит в бегущих облаках, — все это была немая мысль о нем, воспоминания без событий, мечта о будущем без почвы и вне времени. Он, он, он… Ауста слышит, как шумно глотает воду корова, слышит, как мать разговаривает с Букодлой о жизни… а там, в облаках, Ауста вместе с ним владеет целиком странами, как поется в народной песне:

Едет, едет милый мой через лес на коне,

через лес густой, зеленый,

парус вьется над водой —

где бы ни был ты, любимый, я всегда с тобой.

Хоронится милый мой в потайных местах,

не сыскать к нему дороги,

горе минет, дорогой, —

где бы ни был ты, любимый, я всегда с тобой.

Повстречалась, милый мой, милый

мой, в лесу,
как в саду, в лесу весеннем,
повстречалась я с судьбой —
где бы ни был ты, любимый, я всегда с тобой.

Если бы это продолжалось вечно, если бы до скончания веков длилась эта игра изменчивых и ярких красок…

Так Ауста слушает каждый вечер безмолвную музыку неба.

Глава тридцать седьмая
Маленький цветок

Новая овчарня была так просторна, что Бьяртур даже поддался соблазну завести еще овец, несмотря на то что надо было прокормить и корову. Он был рад каждому случаю выпустить овец на подножный корм; мальчики сторожили их тогда на болоте.

Бьяртур любил овец, не переставая думал о своей отаре и славился уменьем ходить за нею, — и все же никогда нельзя было с уверенностью сказать, переживут ли овцы зиму, а главным образом — весну. Много ли надо овце, чтобы вес-

ной расстаться с жизнью! Так было тысячи лет. Это невинное животное обладает удивительной способностью околевать весной.

Зато людям этой зимой жилось легче. Финна впервые за много лет не хворала в зимнюю пору; признаки беременности у нее появились только в начале марта. У нее всегда была слабая грудь, как и у ее матери. От ужасной, вечно дымившей плиты обе женщины кашляли все утро, с той минуты, как начинали разводить огонь, а по вечерам их мучил второй приступ. К тому же на хуторе стоял сильный запах коровьего помета и лошадиной мочи, который тоже вредно действовал на легкие, и Финна все время недомогала.

Она по-прежнему сама ходила за коровой, только ей теперь не разрешали брать сено для Букодлы, слишком щедро расходовала она небольшой запас, накошенный на выгоне; Бьяртур берег его для ягнят и тех маток, которые плохо ели другой корм. Финна кормила и поила корову, подметала хлев, выгребала из него навоз, содержала в чистоте стойло, — коровы всегда отблагодарят за такой уход. Она чесала Букодлу старым гребнем и подолгу задерживалась в хлеву, разговаривая с ней. Часто она давала ей рыбьи кости, которые тайком от Бьяртура ей удавалось

стащить у собаки, изредка клала даже немного теста. Иногда на корову нападала тоска, и она начинала мычать, протяжно и сердито, словно не верила, что когда-нибудь наступит весна. Женщина понимала, что сердце коровы в эти минуты бьется беспокойно и тревожно, жизнь ей кажется пустой и мучительной. Тогда Финна, и сама не знавшая в жизни отрады, среди дня спускалась в хлев, — она корову, говорила, что в жизни рано или поздно побеждает добро; и мало-помалу корова успокаивалась и принималась жевать свою жвачку. Старая Блеси, уже потерявшая надежду избавиться от соседства этого глупого, вечно жующего животного, презрительно фыркала через загородку. Зато дети научились у матери любить корову и ценили ее за то, что она дает молоко, которое радует душу и скрашивает жизнь всей семьи. Старуха Халбера тоже получала молоко; перепадало и собаке. Один Бьяртур не прикасался к этому «пойлу, отбивающему аппетит и вызывающему запоры»; молоком он только лечил больных ягнят, отваривая в нем жевательный табак.

Да, у детей даже зарумянились щеки и в глазах засиял свет здоровой молодости, — а раньше они постоянно простужались и были какими-то

вялыми. Лень исчезла, они уже не ощущали подавленности или безрадостной пустоты в груди, им не казалось, что их распирает, будто все нутро их надуто водой и воздухом. Ауста Соуллилья стала лучше понимать самые туманные места в поэмах, которые ей давал читать отец, училась у него писать буквы на закопченном стекле и сделала успехи в устном счете. Девушка так выросла за эту зиму, что все платья стали ей тесны, приходилось вырезать проймы и вставлять клинья в рукава и бока. Это уже была большая четырнадцатилетняя девочка, с румянцем на лице и развившейся грудью; у нее теперь появлялись странные чувства и ощущения, а временами она недомогала. Да, пришлось пришить к подолу ее платья широкую кайму, так как из-под него стали выглядывать колени, сильные и круглые.

Зимой приехал пастор, велел Аусте почитать и пришел в восторг от ее успехов; она выучила читать и старшего брата. Но что она знает по закону божьему? Оказалось, что она вовсе не учила закона божьего, только изредка молилась богу, ничего не зная о нем.

— Так не годится, — сказал пастор. — Это незаконно. Девушке пора конфирмоваться.

— Что-то не доверяю я этому новомодному

христианству, — сказал Бьяртур. — Прежде у нас был хороший пастор. Кто знал покойного пастора Гудмундура, будет всю жизнь помнить его. Порода овец, которую он вывел, сохранит его имя в наших местах на веки вечные.

Этот новый пастор — тьфу! Тоже — называется пастор! Плешивый юнец! Что он может понимать в овцах? Он, правда, любил поговорить об овцах и уверял, что большой знаток по этой части. Он всегда носился с какими-нибудь теориями, заимствованными из «Сельскохозяйственного вестника», а теперь выдумал, что надо завести специальную книгу, переметить всех овец и каждую записать под номером, чтобы осенью можно было установить родословную каждого ягненка. И он говорил, что было бы смертным грехом перед овцами, перед самим собой и перед семьей оставлять в живых самых слабых ягнят на том основании, что их невыгодно продавать, — ведь тогда родоначальниками будущего потомства как раз окажутся самые хилые экземпляры.

— Пастор Гудмундур никогда не говорил об овцах с другими, — сказал Бьяртур. — Никогда не заводил овечьей книги или какой другой, кроме своей древнееврейской. Но он был великим знатоком овец. Его работники рассказывали, что

он отличал следы своих овец от чужих. У нас в приходе никогда не будет второго такого.

Они договорились, что Ауста подождет с конфирмацией до будущего года, пока не подрастет Хельги, но пастор настаивал, чтобы они уже этой зимой, еще до конфирмации, приходили в поселок учиться закону божьему — хотя бы необходимым основам, да и другим предметам, которые полагается знать в этом возрасте, — географии, зоологии, истории Исландии.

— Ты сказал «география»? Оба они хорошо знают долину, каждый бугорок, каждый утес, все родники на болоте, все извилины ручья; они никогда не заблудятся здесь, в любую погоду. А зоология? Да они же знают каждую овцу на хуторе, они выросли вместе с животными и понимают их. Ну, а насчет истории Исландии? Кто был Гримур Эгир, маленькая Ауста?

Ауста Соуллилья застенчиво ответила:

— Это был враг Хрольва Пешехода.

— Правильно, — сказал Бьяртур. — А куда он попал после смерти?

Ауста Соуллилья смущенно опустила голову.

— В ад, — сказала она.

— Вот видишь, что с ним приключилось, пастор Теодоур, — сказал Бьяртур, громко рассмеявшись,

и немного спустя прибавил: — Прощай, пастор Теодоур. И старайся сам не попасть впросак.

Было начало марта. Бьяртур отправился к болоту за овцами. Погода была изменчивая — то падал мокрый снег, то прояснялось, даже солнце выглядывало. Мальчики по очереди пасли овец. Вдруг Бьяртур заметил, что у одной из овец, по кличке Хетья, вся голова в крови. Сначала он решил, что она сломала рог, но при более тщательном осмотре оказалось, что у овцы на обоих ушах поставлены какие-то метки. Это открытие очень удивило его. Он осторожно ощупал окровавленные уши овцы и попытался выяснить, что это за метка и что здесь вообще произошло. Но уши были так изрезаны, что Бьяртур никак не мог рассмотреть тавро. Вряд ли это несчастный случай. Было о чем задуматься. Бьяртур подробно расспрашивал всех домашних, не заметил ли кто прохожего в долине. Нет, никто не проходил и не проезжал. Тогда Бьяртур сказал:

— Если действительно никого не было в долине, то, значит, в первый раз за все эти годы здесь случилось что-то непонятное. — И он рассказал, что обнаружил на ушах овцы какие-то странные метки.

Хельги неожиданно ответил:

— Мне показалось, что кто-то въехал верхом в озеро, когда шел снег.

— В озеро? Ты с ума сошел, парень! Какой масти был конь?

— Этого я не мог различить, — ответил Хельги. — Мне кажется, что коня не было.

— Ну, а на кого похож был человек, дуралей?

— Этого я не мог видеть из-за густого снега, — сказал мальчик. — Но мне кажется, что на человека он не был похож.

— А на что же?

Мальчик не мог описать виденного — это был какой-то ком, который катился, все катился вперед и свалился в озеро.

Бьяртур тяжело задумался. Задумались и остальные. Старая женщина что-то бормотала над своим вязаньем. Плохая это примета.

— Весной смотри в оба. Все мы кое-что заметили здесь, на хуторе. Знали, что привидение еще покажет себя. Но взять овец из стада да пометить их среди бела дня…

Наступили более мягкие дни, и уныние, вызванное странным происшествием, рассеялось. Дул теплый ветер, шел весенний дождь, и снег в низинах растаял. Из-под снега выглянула желтокоричневая долина с увядшей травой, лощины

быстро зазеленели, да и выгон покрылся зеленью. Река вскрылась, на озере лед тоже тронулся. Финна стояла в дверях и дышала свежим весенним воздухом. Вороны улетели с хутора.

Маленький Нонни вынес овечьи кости на склон. Однажды он явился с важной новостью: у самой изгороди хутора появился одуванчик. Редкое событие в горной долине в это время года — распустившийся одуванчик. Дети и мать вышли посмотреть на маленький цветок, так смело и радостно протянувший свой юный слабенький венчик навстречу зимнему солнцу. Цветок вечности. Они долго-долго с восторгом и умилением смотрели на этого нового друга, этого веселого вестника лета среди зимы. В молчаливом благоговении, как паломники, которым разрешили дотронуться до мощей святого, они касались цветка кончиками пальцев, словно говоря ему: «Ты не один, мы тоже живем, мы тоже стремимся жить». Этот день был озарен особым светом. Ужасы зимы сразу исчезли. На душе было так же безоблачно ясно, как на небе. Это для них был один из самых счастливых дней, и они помнили о нем всю жизнь. Вдруг они услышали ржанку, — а первая песня ржанки звенит особенно: она и робка, и полна благодарности, она преры-

виста, как тяжелое дыхание после избавления от смертельной опасности; и все же в ней звучит спокойная радость.

И молодая девушка, не знавшая закона божьего, тоже забыла о зиме. Но разве она не боялась чего-то в долгие дни непогоды? Да, боялась. Все боялись. Ночи тянулись бесконечно. А дни были даже не похожи на дни. Живешь ради весны, но не веришь в нее, пока она не наступает. Первый одуванчик, первая ржанка — и как будто пришло уже все, ради чего ты живешь, пока не умираешь. Вскоре болото зазеленеет, и жизнь на нем закипит, как в прошлое лето, — цапли снова будут вежливо, как молодые девушки, кланяться, стоя в лужах; маленький водопад в горах потечет наверх, поближе к солнцу. И он — он приедет из далеких краев…

Наступила страстная пятница. В Летней обители все смутно подозревали, что в этот день кто-то был распят — не то бог, не то Иисуспетрус. Впрочем, о распятии у них были весьма туманные представления — они никогда не видели креста и еще меньше могли представить себе распятых людей, да и не проявляли никакого интереса к этому. В поселке — там без конца занимались этими старыми россказнями. И как раз в этот

день похолодало, погода испортилась, к вечеру подул ветер, небо затянуло облаками. Семья уже укладывалась спать, когда пошел снег. Бьяртур из Летней обители тоже нахмурился к вечеру. Около полуночи он надел штаны, обулся и вышел взглянуть на погоду. Снег так и валил, он уже лег на землю густым покровом толщиной в вершок, а наутро поднялась отчаянная метель с сильным морозом.

Бьяртур меньше всех на хуторе радовался ранней весне: приметы весны не умиляли его — он не очень-то доверял цветку или щебетанью птиц. Несмотря на погожие дни, его овцы были в плохом состоянии: сено после дождливого лета оказалось гнилое, снега на полях было мало, и он поддался соблазну и выпускал своих овец чаще, чем это было полезно для них. Но больше всего его беспокоило то, что у овец появились глисты и их обычные спутники — кашель, вялость, понос. Корм, казалось, не шел впрок овцам. Некоторые из них до того отощали, что Бьяртур опасался за них и подумывал, не взять ли их в дом и не начать ли кормить сеном с выгона, а может быть, даже и тестом. А тут еще разразилась пасхальная непогода. Трудно сказать, долго ли она продержится, — а овцы уже привыкли пастись на воле и щипать

весеннюю травку у болотных проток; теперь их нужно опять загнать в хлев, на неопределенное время им придется вернуться к скудной пище.

Погода была ужасная. Разыгралась настоящая снежная вьюга, одна из тех, когда в горе раздавался вой, который несся к хутору, будто тролли взбесились и стали бить в свои барабаны. Собака скулила, дрожа всем телом, на краю чердачного люка. Дети забились в постель беспорядочной кучей. Первый день пасхи был одним из тех редких дней, когда старая Халбера прочитывала весь псалом против непогоды с начала до конца. Этот удивительный псалом о буре и бесноватом был в представлении детей самым мрачным из всех существующих на свете. Жуткий герой псалма, бесноватый, измученный злыми духами, голый, затравленный, разъяренный, продолжал являться им во сне еще много дней спустя после того, как метель улеглась. И в более поздние годы неожиданное воспоминание о нем омрачало им радость даже в летнюю пору. Он врывался в их память, когда они меньше всего ожидали этого, даже тогда, когда им жилось хорошо.

Из оков, из цепей
вырвавшись, на воле

был он зверя свирепей,
и ночами в поле
бесноватый завывал,
путника почуя,
и людей он избивал,
сам себя потом бичуя.

Когда старуха считала необходимым пропеть весь псалом, это было признаком того, что все злые силы в земле и на земле сорвались с цепи. Она читала псалом, отрешившись от всего житейского, охваченная последним ужасом, будто приближался час Страшного суда. Забыв обо всем на свете, она медленно раскачивалась взад и вперед, скрестив на груди свои скрюченные, узловатые руки; голос ее звучал, как скрежет тупого зазубренного клинка по живому мясу.

Никогда зима не кажется такой могущественной, как в такие весенние дни. В безмолвном страхе бились сердца ни в чем не повинных детей перед лицом жестоких сил, окруживших их маленький самостоятельный хутор.

В это пасхальное утро мать сняла башмаки и снова слегла.

Глава тридцать восьмая
Битва

Пять дней бушевала метель — и как ослабели овцы за этот короткий срок! Они не притрагивались к гнилому болотному сену, и Бьяртуру ничего не оставалось, как кормить их сеном с выгона, которое до сих пор получали только корова и ягнята. Но надолго ли хватит этого сена, если им кормить всю скотину? Его уже оставалось совсем немного. Разумеется, в первую очередь надо позаботиться об овцах, но, с другой стороны, нельзя лишать и корову хорошего сена и давать ей гнилую труху: она не дотрагивалась до нее, сердито мычала над полной кормушкой и давала все меньше и меньше молока. Пожалуй, она не дотянет до того времени, когда ее можно будет выпустить на подножный корм; а это когда еще будет — не раньше Иванова дня. Зато, если непогода утихнет и снег на полях растает, можно будет как-нибудь поддержать овец остатками хорошего сена. Надо было сделать выбор между коровой и овцами. И чем дольше длилась метель, тем становилось яснее, что одна сторона должна

победить другую. Вот каким грозным испытанием может стать весенняя метель для маленького хутора в долине. Нет ничего удивительного, что в сердце прокрадывается отчаяние, а бессонные ночи не приносят отрады и утешения. Даже прекраснейшие воспоминания теряют свой блеск, подобно сверкающей серебряной монете, которая стерлась и позеленела. Дети видели, что отец вставал по утрам не выспавшись, с воспаленными глазами, хмурый; видели, что у матери лицо опухло от безмолвного плача по ночам, — она все еще выходила к корове, чтобы почесать и утешить ее.

— Скоро погода улучшится, — говорила Финна. — Скоро для нас с тобой засветит солнышко и снег растает; тогда овцы опять пойдут на болото, и ты наешься всласть хорошего сена. Покажется благословенная зеленая травка, и маленький Нонни вместе с матерью будет стеречь корову на склоне горы. И птиц!

Птиц? Нет. Слова не идут у нее с языка, гнилое сено лежит нетронутым в кормушке, и корова жалобно мычит. Словами тут делу не поможешь, хотя птицы, может быть, и запоют в летние дни. И женщина лишь молча гладит корову. Может ли пение утешить тех, кто стоит перед лицом

смерти? Она в страхе гладила Букодлу. Корова не переставала мычать.

Метель, разыгравшаяся на пасху, в конце концов утихла. Засияло солнце. В эти длинные солнечные дни снег стаял довольно быстро, но погода еще не устоялась, по ночам бывали заморозки. Бьяртур выгнал овец на болото, но молодые побеги осоки наполовину или совсем завяли, из-под снега были видны лишь грязные лощины, сплошь черные. Многие овцы до того ослабели, что их с трудом можно было выгнать в поле, других и вовсе нельзя было поднять. Когда овцы перешли через ручей, им трудно было вскарабкаться на противоположный берег, хотя он высотой доходил им только до колен; передними ногами они еще кое-как зацепились, а задними беспомощно скребли по откосу. А когда Бьяртур их поднял, они легли на берегу и уже не проявляли охоты двигаться. Он брал их за рога, пытался поставить на ноги, но они могли только ползти на коленях. Что же, так было всегда, со времен первых поселенцев. Протащившись немного, овцы опять валились на бок. Внизу, на болоте, они застревали в топких местах, а увязнув хотя бы чуть-чуть, уже не делали никаких попыток выкарабкаться. Вороны снова вернулись на болото,

дожидаясь случая впиться когтями в спину овцы, заживо распотрошить ее, выклевать ей глаза. Однажды три овцы остались лежать на краю выгона, они не поднялись и тогда, когда Бьяртур натравил на них собаку, которая с лаем носилась вокруг, — они только помаргивали. Тогда Бьяртур достал свой карманный нож и, разобрав на них шерсть, перерезал им горло и закопал их.

Овцы почти все сплошь болели глистами. Некоторых Бьяртур взял в дом, чтобы выходить их, но они почти не притрагивались к сену, а по утрам одна или несколько валялись на земле, полуживые или околевшие. Бьяртур приказал жене сделать тесто из ржаной муки. Одни овцы ели его, другие — нет. Запас ржаной муки был ничтожный, и его не могло хватить надолго при таком расходе, хотя люди отказывали себе в хлебе. По вечерам Бьяртур пытался заманить овец в овчарню, пятясь к двери с лепешкой в вытянутой руке, — через два-три шага овце разрешалось откусывать маленький кусочек. Но дело подвигалось очень медленно, надо было заманивать каждую в отдельности, и, раньше чем ему удавалось загнать их, они начинали спотыкаться и падали. Дети делали все возможное, чтобы помочь отцу загонять овец новым способом.

Да, когда глядишь летом на овцу, это гордое животное, украшение горных пастбищ, царицу пустоши, когда видишь, как резво она носится по склонам, пугливо блеет на пригорке или лукаво выглядывает из зарослей тальника, трудно даже вообразить себе, что это то самое жалкое создание, которое видишь на болоте весной.

Каждый день Бьяртуру приходилось резать овец, и все же большая часть стада находилась в хорошем состоянии; здоровые овцы ели с большой охотой, для них необходимо было делать все возможное, не скупиться на хорошее сено, пока оставалась хоть одна былинка. А стог таял с каждым днем. Корова тощала и давала молока все меньше и меньше.

Разумеется, молока теперь не хватало, хотя Бьяртур и установил новый порядок, что было далеко не редкостью в весеннее время: ели только один раз в день; люди и животные голодали. Однажды Финна принялась выстругивать палочку с шишкой на одном конце и прикрепила к ней кисточку из грубой пряжи. Дети удивленно смотрели на это приспособление.

— Что это такое?

— Это мутовка, — сказала Финна. — Жила-была бедная женщина. К ней пришел Иисус, научил

ее сделать вот такой веничек и взбивать молоко, чтобы его было больше.

Финна положила кусок сычужка в ту каплю молока, которую еще можно было выжать из вымени коровы, затем стала сбивать молоко в кастрюле, — и его стало так много, что кастрюля наполнилась до краев; неизвестно, сколько еще получилось бы молока, если бы Финна продолжала сбивать его. Дети получили сбитое молоко и были в восторге от выдумки Иисуса.

Однажды вечером Финна сказала:

— Милый Бьяртур, надо бы спуститься в поселок и достать немного хорошего сена.

Бьяртур в эти дни почти не разговаривал, он ограничивался короткими приказаниями, как шкипер в минуту опасности; но теперь он вдруг взорвался, будто почувствовал острие ножа на голой коже, и спросил:

— Это мне-то? Отправиться в поселок? Мне ничего не причитается в поселке. Ни от кого!

— Но, дорогой мой Бьяртур, у коровы нет молока. Страшно смотреть на ее живот. Бедняга чахнет у меня на глазах.

— Не мое это дело, — ответил он. — Я и не подумаю занимать сено в поселке. Мы самостоятельные люди, я ни от кого не завишу, я свободный

человек и живу на собственной земле.

— Букодла сделала нам так много добра, — проговорила жена.

— Да, знаю, — сказал он. — И еще сделает нам столько добра, что вконец нас угробит, особенно если ей удастся убить всех оставшихся овец.

— Хотя бы немного хорошего сена, — умоляла жена.

— Никакая сила, земная или небесная, не заставит меня изменить овцам ради коровы. Восемнадцать лет я работал, чтобы занести стадо, двенадцать лет я выплачивал долг за хутор, — мои овцы сделали меня самостоятельным человеком. Я никогда никому не поклонюсь. Я не пойду на такой позор — клянчить сено весной. А с коровой, которую мне навязали староста и Союз женщин, чтобы у моих детей пропал аппетит и мои овцы лишились лучшего сена, — с ней расправа будет коротка. Да, коротка.

— Бьяртур, — глухо сказала жена и растерянно посмотрела на него из той необозримой дали, которая иногда разделяет два человеческих существа. — Если ты намерен зарезать Букодлу — убей раньше меня.

Глава тридцать девятая
Смерть весной

Погода не улучшалась. Небо заволокло тучами, завывал ветер, иногда шел град. Весь дом пропитался зловонным запахом, исходившим от больных овец; глисты мучили их все сильнее, их хриплый кашель сливался с мычанием коровы. По утрам одна или несколько овец лежали в хлеву, затоптанные другими, иногда еще подавая слабые признаки жизни. И Бьяртур резал их, а потом тащил в торфяное болото. Закопав овец, он вытирал нож о мох, ругался и проклинал все на свете. Их погибло уже двадцать пять — все молодняк, который он сам пестовал, досконально знал его родословную и помнил каждую овечку, как помнят близкого друга, — и внешность и повадки. С ними были связаны воспоминания о прошедших годах; он знал их бодрыми, обросшими густой волнистой шерстью, когда они спускались с гор осенью, гордясь своими резвыми ягнятами; он помнил, как они облизывали своих новорожденных ягнят по весне в какой-нибудь зеленой лощине. У каждой были свои приметы,

свой нрав, своя стать, начиная с формы рогов. У одной торчал на лбу хохолок, другая была в желтых подпалинах, у третьей болталась на носу кисточка; одна была робка, как стыдливая крестьянка, другая резво перепрыгивала через изгороди и переплывала реку в половодье, а третья любила прятаться по оврагам… И ему пришлось всем им перерезать горло. Из их кровавых ран выползали глисты, легкие были изъедены. Ринга, Скедла, Скесса, Кемпа, Гадла и другие — все эти животные были движущей силой всей его жизни, его опорой. Двадцать пять… Кто на очереди?

Снег падает, овец сегодня опять не придется выпустить. Трех он завтра прирежет: Каупа, Лаудга, Спура. На хуторе все молчат. Верх стога снят, под дерновую покрышку подведены подставки. Корова уже не поднимается. Снег сыплет без перерыва, опять бушует вьюга. Маленькое оконце запорошило снегом. Дым гонит обратно в комнату, нельзя продохнуть от чада и смрада.

А где-то цветут сады, красуются дворцы. Неужели этот маленький хутор в долине забыт всем миром? А эти безвестные люди — неужели никто не прославит их героизм, не напишет о них книги? Неужели они всеми покинуты и заброшены?

Нет, не совсем: у порога гости — сквозь метель

доносится фырканье лошадей, звяканье сбруи, чужие голоса; это разрядка, избавление от безмолвного страха, навалившегося на весь дом, нежданная радость для людей и собаки.

В отверстии люка показалась облепленная снегом женщина, пышные формы которой подчеркивались тесно облегавшими ее рейтузами; у нее были приветливые серо-голубые глаза и раскрасневшиеся от ветра щеки. Стряхнув с себя снег в отверстие люка, она засмеялась, — хи-хи-хи! — показывая крепкие зубы, и слегка выругалась. Ее хлыст казался предметом роскоши в доме, где не было ни одной вещи, за которую можно было бы выручить двадцать пять эйриров. Одур, дочь Йоуна из Мири. Вслед за ней на чердак поднялся ее провожатый, один из работников старосты. Ему приказано было сопровождать ее до Фьорда: завтра она уезжает почтовым пароходом на юг, в более счастливые края.

— Почтеннейшая фрекен, как она раздалась в боках! — сказал Бьяртур, ласково похлопывая ее по бедру. — Ни одной косточки не прощупаешь. Сразу видно, что кормят неплохо. Налейте-ка ей хорошего крепкого кофе, да не жалейте сахару, она не привыкла к бурде. И это та самая крошка, что едва доходила мне до колена, когда я в пер-

вый раз женился!

Дети выстроились в ряд и с восхищением смотрели на гостью. Какая она большая, пышная, веселая! Как она здорово ругается, в какой далекий путь собралась! Одур уже стряхнула с себя снег и стоит, как зрелое плодоносящее деревце, сгибающееся под тяжестью только что распустившихся цветов, что вот-вот пойдут в семя. Нет, немыслимо выйти на пустошь в такую погоду, для женщины это верная смерть. Надо побыть здесь, пока не распогодится. Девушка осмотрелась: где бы ей примоститься? Одеяла на постелях не внушали ей доверия. Наконец она решилась присесть на краешек супружеской кровати. Она просила не обращать на нее внимания, выразила надежду, что к вечеру метель уляжется, и по долгу вежливости осведомилась об овцах.

— Кто-то побывал здесь в начале марта и пометил одну мою овцу, — сказал Бьяртур. — Да ведь у вас в поселке еще и не то делается.

— Да, плохие вести из поселка, — подтвердил работник. — Оулавюр из Истадаля потерял около сорока овец, а уж чего-чего он ни делал, и все по-ученому. А Эйнар из Ундирхлида — больше тридцати. Надо надеяться, что на том свете у них будут лучшие пастбища. Тоурир из Гилтейги да-

же не говорит, сколько овец у него околело. А его младшая дочка родила незаконного младенца.

— Почему же она не вышла замуж за своего милого? — спросила дочь старосты.

Как постелешь, так и поспишь. — И прибавил: — А все коровы. Кончается тем, что эти проклятые обжоры съедают тебя целиком; брюхо у них бездонное, как Средиземное море.

— Зато у Короля гор все обошлось благополучно, — сказал работник. — В Утиредсмири овец кормят тестом, но многие все-таки захирели, как часто бывает весной, и несколько штук пришлось прирезать.

Да, Бьяртур знает, так с давних пор водится в Редсмири. Впрочем, овцой больше или меньше — какое это имеет значение для старосты? Для него главное — хорошо кормить верховых лошадей.

Метель не унималась, и девушка начала нервничать; она то и дело спускалась вниз. Снег мело прямо в дверь, ей в лицо. Никогда снег не бывает таким колючим, как весной. Девушка то бранилась, то задумывалась, потом впала в истерику и наконец совсем вышла из себя.

— Мой брат Ингольв ждет меня сегодня вечером. Он подумает, что я погибла. Боже мой, что будет, если я опоздаю на пароход!

— Ну, ночью распогодится.

— Боже мой, только бы не опоздать на пароход!

— Скоро метель уляжется.

— Иисус всемогущий, что будет, если я не доберусь до парохода?!

— Ну что же, будет другой.

— Если я не поспею на этот пароход?

— На юге все останется на месте, если ты сядешь и на следующий.

— Я должна поспеть на этот, — упрямо твердила она, — даже если я погибну в пустоши. В субботу мне нужно быть на юге!

— Да что такое стряслось?

Ни слова в ответ. Отчаяние. Она жаловалась, что ей здесь нечем дышать, и не хотела ни есть, ни пить. Все же она осталась ночевать в этом доме, полном зловония, — другого выхода не было. Она не разделась, а закуталась в попону и легла на ложе, устроенное из двух составленных вместе ящиков; она и слышать не хотела о том, чтобы улечься в постель. Всю ночь раздавались ее охи и вздохи, она то и дело сползала с лестницы и выходила наружу. Не нужен ли ей ночной горшок, осведомился Бьяртур. Нет, ей нужно взглянуть, не прояснилось ли небо. И ее тошнит... И она

должна быть к субботе в Рейкьявике.

Плохо спалось на хуторе в эту ночь. Что ей надо в Рейкьявике? С кем она хочет встретиться? Разве у Аусты не такой же высокий лоб и изогнутые брови, как у нее? Теперь Ауста уже не долговязый подросток, а настоящая молодая девушка, полная тоски и отчаяния. Его дом, думалось ей, стоит одиноко в лесу, перед домом нет молодой девушки, как на блюде для пирогов. Нет, он стоит одиноко в лесу, как на стенном календаре, упавшем через люк в позапрошлом году и затоптанном овцами. Ауста первая завладела им, он был гостем на их земле — не на земле Одур. Боже мой, как она мечтала о нем всю зиму и даже всю весну, когда смерть пришла на хутор. Сегодня ночью она тоже лежала без сна и мечтала так же страстно, как раньше, еще более страстно. Но одним суждено остаться здесь, лицом к лицу со смертью, а другие уезжают на юг.

Наутро Ауста Соуллилья проснулась рано, после короткого забытья: ее разбудил звонкий, жизнерадостный смех. Погода прояснилась. Дочь старосты была счастлива, она набросилась на свои бутерброды. Нет, она не опоздает на пароход! Правда, ее спутник уверял, что погода ненадежна, но дочь старосты рассмеялась и сказала:

— Да ну ее к черту, не все ли равно! — Она опять стала чертыхаться, вышла к лошадям и беспрестанно звала своего провожатого: — Разве нельзя уже выехать?

А он сидел на чердаке и пил кофе с хозяевами.

— Какой шум и крик!

— Девчонка спешит, — сказал Бьяртур.

— Да, — ответил провожатый, прихлебывая кофе. — Эти бабы все с ума сходят, когда собираются замуж.

— Или я ошибаюсь, или она действительно раздалась в боках? — спросил Бьяртур.

— Мне кажется, это нетрудно разглядеть.

— Кто-то, значит, побывал в ваших краях?

— А ты думаешь, что они охотятся только на твоей земле, эти герои с юга, из потребительского общества?

— А-а, значит, он был из этой своры, черт этакий? — сказал Бьяртур. — Как это я сразу не догадался!

Все же он проводил своих гостей до дороги.

Погода была неспокойная — должно быть, снова выпадет снег. Провалиться бы ему в тартарары! Неужели эти бесенята не могут вовремя вылезти из-под перины? Бьяртур взял два больших ножа, завернутых в кусок мешковины, развернул и

положил ножи на кровать, на ту сторону, где он спал, снял с полки точильный камень, поплевал на него, — раздавшийся звук пронзил все живое и мертвое…

— Хельги, вставай, мальчик, ты мне нужен.

Хельги нехотя поднялся, натянул штаны и начал искать чулки. Отец продолжал точить. Остальные ребята выглядывали из-под перин. Бьяртур выдернул волос из головы и попробовал лезвие, затем достал из ящика заржавленную отвертку, вытер ее о штаны и тоже наточил.

— Оделся ты наконец, лодырь?

— Что я должен делать?

— Что делать? То, что я тебе скажу. Спустись-ка вниз.

Подталкивая мальчика, он спустился следом за ним по лестнице. Жена смотрела безумными глазами на мужа, стоявшего у люка с ножом в каждой руке. Уж не думала ли эта измученная женщина, верившая в победу добра и взбивавшая молоко, как научил ее Иисус Христос, что она сумеет сломить эту непоколебимую волю к завоеванию, на которой строилась свобода и независимость нации целое тысячелетие — тысячелетие существования Исландии!

Она бросилась на шею своему мужу, стоявшему

у люка с ножами в обеих руках.

— Это все равно что убить меня, Гудбьяртур, — сказала она. — Я не могу больше видеть, как голодают дети.

Она вся, от головы до ног, сотрясалась от рыданий. Она была как цветок, окропленный росою слез.

Но он стряхнул ее одним движением плеч. И она смотрела ему вслед безумными глазами. Бьяртур спустился вниз.

Некоторое время внизу слышалась тихая возня. Бьяртур освободил конец свернутой в пучок веревки и сделал из нее петлю, затем поднял корову, — она еле держалась на ногах, издавая жалобные стоны. Он вывел ее из стойла; она тоскливо мычала в открытую дверь…

В это мгновение все рухнуло перед Финной из Летней обители, этой молчаливой женщиной, любившей песни, родившей много детей — на благо родине и для смерти. Она была добра, у нее были друзья среди аульвов, но ее сердце долго билось в страхе и трепете. Жизнь? Казалось, что в эту минуту жизнь вернулась к своему истоку. Ноги у Финны подкосились, и она молча, без единого звука повалилась на руки старой Халберы, — упала как пыль и прах на увядшую грудь

своей матери.

Барселона — Копенгаген
Зима 1933/34 года
(по наброскам 1932 года)

Часть третья
Тяжелые времена
Глава сороковая
У порога дома

Если смерть побывала в доме весной, все лето омрачается воспоминанием о похоронах. А какие мысли таятся в душе осенью, на пороге зимы?

— Что, если в этом году будет длинная зима, — говорит старший брат, сидя на пороге дома, в сумерки, — если зима будет все тянуться, тянуться и кружить, кружить, как собака, когда ее дернут за хвост, — все кружит и не может остановиться, как бы ее ни останавливали? Тогда что?

И сам отвечает:

— Теперь ничего уж больше не может случиться.

— Такой зимы не бывает, — ответил младший брат. — А если бы наступила зима, которая тянулась бы… ну, например, сто лет, — то я за это

время взобрался бы на нашу гору.

— А зачем?

— Чтобы увидеть оттуда другие страны.

— Какие еще страны?

— Страны, о которых мне говорила мама, когда была жива.

— Никаких других стран нет.

— А я говорю — есть. Я часто вижу, как ветер гонит водопад не вниз, а вверх, на вершину горы.

Старший брат, конечно, не соблаговолил ответить на заявление Нонни. Так он ему и поверил! Все это выдумки. Но немного погодя он продолжает начатый разговор:

— А, например, похороны? Если они будут тянуться долго и пастор все будет говорить, говорить, длинно, нудно — ну, знаешь, как дождь с крыши течет, и это никогда не кончится? Если он будет говорить «аминь» сто пятьдесят лет? Тогда что?

— Таких похорон не бывает. Люди возьмут да и уйдут.

— Ну, а гроб-то, болван? Он, по-твоему, тоже уйдет?

— Гроб люди заберут с собой.

— Ты в своем уме? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь посмеет забрать гроб раньше, чем

пастор в последний раз скажет «аминь»?

— Когда маму хоронили, пастор говорил и говорил, но когда ему захотелось кофе, он сам остановился. Я все время знал, что когда-нибудь он кончит.

Старший брат придвинулся к младшему, покровительственно положил руку ему на плечо и сказал:

— Нонни, ты еще такой маленький, и не удивительно, что ты кое-чего не понимаешь.

— Я все понимаю, — возразил младший, стряхивая руку брата с плеча. — Я понимаю все, что ты понимаешь, и даже еще больше.

— Ладно, — ответил старший. — Коли ты так умен, скажи: что такое похороны?

Младший братишка задумался: он твердо решил ответить правильно. Он долго думал, но так ни до чего и не додумался. Нет, ни за что он не сумеет толково ответить на такой простой вопрос.

И старший ответил сам.

— Похороны — это похороны, дуралей! — сказал он.

Нонни был изумлен: как же он сам не мог понять такой простой вещи!

А старший брат продолжал:

— Да, похороны никогда не кончаются… Хотя

бы люди ушли, хотя бы пастор сказал «аминь» в последний-распоследний раз, хотя бы водопад повернул назад, как это будто бы случилось прошлой весной, — хотя это неправда, водопад не может повернуть назад, — да, так вот — похороны никогда, никогда не кончаются. И знаешь, почему?

— Не хочу я тебе отвечать, дурак.

— Это оттого, что покойник уже никогда не оживет.

— Почему ты всегда хочешь, чтобы верх обязательно был твой? Оставь меня в покое, — сказал младший брат и отодвинулся.

— Тебе страшно?

— Нет.

Сумерки сгущались, стало прохладно. На горизонте скоплялись темные гряды туч — должно быть, будет дождь. А бабушка все ждет не дождется новолуния.

— Нонни, послушай-ка, рассказать тебе что-нибудь?

— Не надо, — говорит мальчуган. — Не хочу я слушать.

— А если мы здесь будем сидеть и сидеть целых сто или сто пятьдесят лет, и все будут сумерки, как сейчас, и отец все будет кормить одну и ту

же овцу одним и тем же сеном из одной и той же охапки, и…

— Если бы отец был дома, вам бы здорово попало за то, что вы сидите и болтаете всякий вздор, вместо того чтобы работать, — это сказал Гвендур, средний брат; он подкрался к ним, словно вор.

Но, как ни странно, огрызнулся не тот, кто говорил почти все время, а тот, кто «еще не все понимал».

— А мы не с тобой разговариваем, — ответил младший.

Старший прибавил:

— Мы вовсе не так глупы, чтобы разговаривать с тобой.

Гвендур никогда не раздумывал о том, что такое душа, между тем как эти двое наедине без конца толковали о душе. Это объединяло их против среднего брата, помышлявшего только о работе.

— Отец-то, во всяком случае, скажет, что я умнее вас, — сказал Гвендур.

— Ну и что же? Зато мама нас очень любила.

— Гм, мама! А вы ни одной слезинки не проронили на ее похоронах. Никто из вас. А старая Гудни из Мири сказала, что стыдно смотреть на вас: мать хоронят, а вы таращитесь на пастора, как бараны.

— Неужто ты думаешь, что мы стали бы реветь в угоду отцу? Нет. Совсем нет. Мы хныкать не будем. Мы как викинги из Йомсборга. Ты ревешь, а мы уж скорей будем ругаться.

В самый разгар ссоры Ауста просунула голову в дверь; она взглянула на окутанную сумерками дорогу, вытерла тонкие руки о край юбки и спросила:

— Мальчики, вы видели его?

— Кого это — его?

— Как — кого? Не такие уж вы дурни. Сами знаете, о ком я говорю.

— Ты что думаешь, умер он, что ли?

— И не стыдно вам так говорить про отца?

— Да им только того и нужно, чтобы он умер, — сказал Гвендур. — Они тогда перестали бы работать, торчали бы тут, как собаки, на пороге и тявкали бы день-деньской.

Маленький Нонни возразил:

— Если мы захотим, то уйдем и будем странствовать по свету, а вы здесь останетесь.

— Ну и хорошо, отправляйтесь странствовать. Чем раньше, тем лучше. Никто из нас вам не позавидует, — сказала Ауста, уходя. Она-то по опыту знала, что такое странствия.

Ребята остались сидеть на пороге.

— Она тоже ревела, — сказал наконец вслух Хельги, когда молчать уже стало невмоготу.

— Да она и теперь ревет. Она ревела вчера вечером и позавчера. Другой такой плаксы нет.

— А ты знаешь, Нонни, ей даже не полагается плакать: она ведь не родня маме, да и никому из нас.

— Да, какая там родня!

— Это сразу видно по ее глазам. Один глаз у нее косит.

— Да, она косая.

— Она воображает, что уже взрослая и может распоряжаться здесь, оттого что у нее груди стали, как у женщины… А на самом деле она вовсе не взрослая, и нечего ей здесь командовать. Я вчера все хорошо разглядел, когда она ложилась спать… Ой, как бы она не услышала! А то подслушает и даст подзатыльника, когда и не ждешь.

— Ну, я ее не боюсь. Знаешь, она виновата в маминой смерти: пальто купили ей, а не матери; ей разрешалось два раза в день уходить домой отдыхать, а маме надо было все работать и работать, без отдыха, — больной-то.

— Нонни, а ты помнишь, как мама упала на руки бабушке и не могла подняться? Помнишь, как она дрожала?

Мальчик не посмел ответить.

— Это было в тот день, когда зарезали Букодлу, — продолжал Хельги.

Молчание.

— Нонни, а ты заметил, что некоторые люди еще при жизни мертвы? Ты разве не видишь этого по глазам? Я это сразу вижу. Я сразу отличаю живых от мертвых, стоит мне только взглянуть. В тот день, когда мама упала на руки бабушке, она и умерла, живой она уже больше не была. Вспомни только, какими глазами она на нас глядела по вечерам.

— Замолчи, Хельги. Ну зачем ты всегда мучаешь меня?

— Теперь сбылось все то, что предсказывала старуха Фрида в позапрошлом году. «Все это тиранство мужское! — сказала она. — Угробит он вас всех».

Так говорил старший брат. Некоторые люди наделены странным даром: они слышат поступь рока. Их мысли устремлены в сторону самого непостижимого, они даже видят головокружительные пространства, которые лежат по ту сторону мира и которые бог обычно скрывает от взгляда смертных. Такой дар ясновидения пугал младшего брата, он чувствовал себя растерянным

и беспомощным: ведь сам он ничего не видел, кроме своей мечты.

— Хельги, как мне хочется поскорее стать взрослым, — говорил он, бывало. Своими мечтами, даром покойной матери, он пытался защитить себя от судьбы и от того, что за ней стояло. Как хорошо было бы иметь крылья и взвиться птицей, пронестись через пустошь, через высокую ограду в Утиредсмири, через телеграфные провода… Но, как бы он ни фантазировал, он чувствовал себя бескрылым, как четвероногое животное, и старший брат был для него словно ограда из колючей проволоки; он мог растянуть сумерки, и они превращались в вечность, наполненную одним только возгласом: «аминь!» Даже когда он, Нонни, отодвинулся и сел у самого края порога, послышалось еще более мрачное — гробовое «аминь».

— Послушай, Хельги, — сказал он наконец; ему пришла в голову блестящая мысль. — Почему бы нам не убежать из дома? Помнишь ты мальчишку-приемыша, который воспитывался в Гиле? Он этой весной сбежал. Да, сбежал! И все бежал, бежал — на восток, до самого Вика.

— У него там родители живут, — пояснил старший брат. — Они взяли его к себе, когда он

спустился с горы. А нас кто возьмет? И куда? Никто. Никуда.

Опять они сидят на пороге, и вечерний мрак все сгущается, в особенности над младшим братом, на свою беду лелеющим мечту о светлом будущем. И когда ему становится невтерпеж, он начинает сызнова:

— Когда мама была молода, она дружила с аульвами; это было у нее на родине, в Урдарселе. Она мне о них рассказывала в прошлом году, когда мы с ней сторожили Букодлу, — мы тогда пасли ее на склонах. И мама пела мне песенки. А давно-давно, когда я был еще совсем маленьким, эти аульвы говорили маме, что я буду петь песни…

Он не смел открыть брату, что ему предстояло петь для всего мира, боясь, что брат посмеется над этой хрупкой мечтой, ибо самые заветные желания окутаны глубочайшей печалью. И он скромно сказал:

— Я должен буду петь в церкви Редсмири.

— Чего только не рассказывают маленьким детям, разве ты не знаешь? А почему? Потому, что мы еще малы. Мама мне рассказывала то же самое. Она говорила, что есть феи, живущие в далекой стороне, где все-все совсем другое — и бури, и хорошая погода, и солнце! И самые дни

— другие. А затем она родила ребенка, и он умер, и мама долго-долго болела. И каждый раз, когда она дышала, я чувствовал, как ей больно; и я не спал по ночам и прислушивался к ее боли. Иногда в метель, по вечерам, я убегал из дому. Я подходил к каждому утесу, шептался с ними, скалывал с них ледяную корку, чтобы им было лучше слышно, — я умолял каждый утес помочь матери, потому что в ее сказках скалы помогали людям. Однажды ночью я просил помощи у десяти, а может быть, у тридцати утесов. Я думал, что если в одном нет никаких фей, то, может быть, в другом они есть. Если только там живут феи, они помогут маме и, может быть, нам всем. И все-таки мама умерла. Умерла. Скажи-ка, почему феи не помогли ей? Ведь ты думаешь, что все знаешь. Они не помогли оттого, что их нет. Ни в этой скале и ни в той — ни в какой. Мама рассказывала нам эти сказки, потому что мы были маленькие, а она была добрая.

— Ты говоришь неправду, — чуть не плача сказал Нонни; слова брата его больно задевали.

— А когда я подрос, — продолжал старший, — я часто заходил в комнату, где мама лежала больная, и хотел спросить у нее, правда ли все это. Но ни разу не спросил. «Если это правда, — ду-

мал я, — то феи помогут ей и всем нам. А если неправда — зачем ей знать, что я уже вырос и все понимаю?» Потом приходил отец и прогонял меня.

— Все это враки, враки, враки! — кричал маленький Нонни, молотя кулаками брата, будто это было осязательное доказательство существования другого, лучшего мира.

— Нонни, ты помнишь псалом против непогоды? — спросил старший брат, когда Нонни перестал колотить его. — Нонни, послушай, что я тебе расскажу.

— Не хочу, — сказал младший. — Оставь меня в покое! Не понимаю, почему ты не хочешь оставить меня в покое!

— Ты заметил? Когда что-нибудь случается, бабушка всегда говорит: «Я так и знала», или: «Будет еще хуже… Я еще утром почуяла неладное… дурные приметы», — ну что бы ни случилось! Она никогда не радуется и никогда не горюет. Ты помнишь, что она сказала, когда мама умерла и Ауста накрыла ее? Она поцеловала маму и сказала: «Меня это ничуть не удивляет».

— Это потому, что ей уже сто лет, — тихо заметил младший как бы про себя.

Но старший брат и тут не согласился.

— Нет, — ответил он. — Это потому, что она все понимает, она знает обо всем, что делается между небом и землей. Помнишь бесноватого, который вселялся в зверей? О нем говорится в псалме против непогоды. Кто понимает бабушку, тот понимает все.

— Мама никогда не читала псалмов, — сказал маленький Нонни. — А отец говорит, что нет никаких Иисусов.

— Может быть, их и нет, но бесноватый в том псалме не кто иной, как Колумкилли. Это я наверно знаю. Откуда я знаю? Видел собственными глазами. Когда? Часто. Однажды вечером, когда отец гнал стадо домой, — ты помнишь, у одной из овец было разодранное ухо; тогда еще шел сильный дождь, — я видел своими глазами, как появился Колумкилли. Он подошел к одной из овец и что-то над ней делал — не знаю что. Да, это был он.

— Он? — растерянно переспросил мальчик.

— А прошлой зимой, когда дохли овцы, — это он над ними колдовал. Вот потому они и передохли. Это он. Его семь раз убивали, и всегда он опять воскресал… Он разорил хутор в долине. Семь раз он его разорял, ведь это знает весь приход. Я вижу Колумкилли каждый день.

— Враки это, ничего ты не видишь! — протестовал мальчик и опять начал со слезами колотить брата.

— И знаешь, почему я его вижу? — Старший схватил маленького Нонни за руку и прошептал ему на ухо: — Потому, что я тоже умер. Нонни, посмотри мне прямо в глаза — и ты увидишь, что я неживой.

Два брата — две противоположности; и одна дополняет другую. Вечные противоположности, воплощенные в человеке. Было это осенью на пороге зимы, в сумерках, когда грани между бытием и небытием стираются. Из-за туч взошла новая луна.

Глава сорок первая
Крысы

Рождественский пост. Бьяртур отправляется в овчарню: стоит сильный мороз, и овец нельзя выгнать на пастбище. Бабушка, как обычно, воюет с упрямым огнем в печке, еле двигая онемевшими пальцами. Дети, окутанные дымом, лежат, свернувшись калачиком, спят или уже проснулись и слушают слабый треск хвороста в печи. Так было в прошлом, так было и в позапрошлом году. И

прежде чем бабушка делает первую напрасную попытку разбудить Аусту, маленький Нонни так же безуспешно пытается сосредоточиться на том, что может когда-нибудь произойти, — где-то, как-то, с кем-то. В прошлом году все они мучились, прислушиваясь к тяжелому дыханию, которое теперь смолкло, как лопнувшая струна, о которой поется в песне. Ушла скорбь, в которой есть и своя радость, так как она возрождает все, что умерло в нашей душе. Красивое блюдо тоже давно уже разбилось.

Вдруг, задолго до того как разгорелся огонь и закипела вода, появился отец. Быстро и яростно шагая, он поднялся в дом, схватил нож, которым резал овец, и вынул его из чехла.

— Гм, похоже на то, что он задумал еще кого-нибудь извести, — сказала бабушка.

Со сверкающей сталью в руках отец подошел к детям и поднял их с постели.

— Идите-ка со мной в овчарню и поглядите, что случилось. Тогда и бабушка узнает.

— Кого уж удивишь тем, что здесь происходит, — сказала старуха. — Не меня, во всяком случае.

В этом году овчарня быстро пустеет: лучшие выживают, а слабые погибают, как говорит

Оулавюр, утешая себя и других изречениями, которыми пестрят местные и иностранные газеты. И действительно, в овчарне Бьяртура у кормушек в эту зиму стояли — хотя их было немного — великолепные экземпляры, красавцы! И он крепко полюбил их, — пожалуй, крепче, чем прежде любил всю отару. Не в его привычках было жаловаться на то, что у него большие потери. Некоторым нравится ныть, но, по мнению Бьяртура, надо радоваться тому, что у тебя есть, или, вернее, тому, что у тебя осталось после больших потерь. Глисты — это еще не худшая из тех напастей, какие могут обрушиться на крестьянина, — куда хуже нечистая сила, с которой ничего нельзя поделать! Даже при хорошем запасе сена поголовье уменьшается. Старуха, пожалуй, была права, когда говорила, что не то еще будет. Теперь нечистая сила разбушевалась.

Сегодня утром он отправился в овчарню, чтобы приготовить корм. Что же он увидел? Что там темнеет между ступеньками? Мертвая, с перебитым хребтом, смятая, как лоскут, овца. Она лежит, зацепившись рогом за край лестницы. Бьяртур дал себе волю и разразился всеми проклятиями, какие мог вспомнить в ту минуту, высвободил овцу, положил ее на сугроб и позвал детей. И вот

они стоят над овцой, освещенной голубоватым светом холодного, пасмурного утра. Бывают дни, когда все кажется нелепым и непонятным. А бывают и такие, когда все ясно и просто.

Гвендур сказал, что, видно, овца хотела забраться на сеновал и задохнулась, барахтаясь между ступеньками.

— Дурак, — откликнулся Хельги.

А маленький Нонни схватил брата за руку, но тут же выпустил ее. У Аусты зуб на зуб не попадал.

— Ты не в мать уродилась, — сказал Бьяртур. — Она не пугалась всякого пустяка, как старая баба.

Но Ауста стала уверять, что ни капельки не боится, — ведь бояться стыдно; она попросту озябла.

Это событие два дня волновало обитателей хутора.

Пришло много народу из поселка, какие-то никому неведомые люди, но Бьяртур был в плохом настроении и говорил, что у него нет никакого желания подавать им кофе, да и незачем приваживать всякий сброд и поить его кофе, скорее следовало бы попотчевать их помоями. Кто знает, честные ли это люди? Может быть, они даже

занимаются кражей овец. Прежде такие подонки не знали дороги в Летнюю обитель.

— Что тут случилось? Если вы пришли выспрашивать, что случилось, то передайте другим, что вам ничего не удалось разнюхать. Ничего не случилось!

И гости уходили не солоно хлебавши.

Когда на третий день Бьяртур пошел к ягнятам, он задел головой за что-то свисавшее с крыши. «Это что такое?» — подумал он. И у него вырвалось проклятье: его лучший ягненок висел в петле. Бьяртур срезал веревку и, внимательно осмотрев ее, убедился, что у него такой не было. «Нет, это не мог сотворить человек! — Бьяртур не в состоянии был представить себе человеческое существо, способное на такую низость. — Подумать только, повесить овцу!» Он исследовал снег вокруг овчарни для молодняка — снег был тверд, сверху образовалась ледяная корка — никаких следов. Почему все эти чудеса творились именно у него, у Бьяртура из Летней обители? Он ведь ни во что не верил, ни в сатану, ни в привидения, но на этот раз он дома даже виду не показал, что расстроен: проворчал, что ему пришлось зарезать ягненка, который наелся шерсти. Он не хотел, чтобы кто-нибудь заметил, что взгляды его

изменились и он уже не так твердо, как прежде, отрицает существование всякой нечисти. Ведь эта твердость придавала ему большую моральную силу, какой не было у других. Больше всего ему хотелось скрыть свое волнение от собственных детей. Но события последних дней сильно встревожили его, и, оставаясь один, он хмуро разглядывал своих овец, бурча себе что-то под нос. «К черту, к дьяволу», — бормотал он сотни раз в день. Он ни за что не мог взяться ни в доме, ни во дворе.

— Дай мне пару чистых чулок, девочка, — сказал он Аусте. — Я собираюсь в поселок.

— В поселок?

— Да, — ответил он. — Сдается мне, что в овчарне завелись крысы. — Он придумал это объяснение, как человек, больной раком, порой уверяет, что его лишь мучают колики в животе.

— Крысы? — удивленно спросили его в приходе. — Откуда взялись крысы? Мыши — это еще туда-сюда!

Он заходил к старикам — Оулавюру, Эйнару. Они гадали о погоде, нюхали табак, как принято на рождество. Бьяртур тоже стал нюхать с ними табак и гадать. Они считали, что крысам неоткуда взяться, но Бьяртур возразил, что не видит

большой разницы между крысой и мышью. Эйнар сказал, что его скромное мнение, разумеется, может быть не, принято во внимание, но он всегда думал, что крыса есть крыса, а мышь — мышь. Пока он не забыл, хотелось бы ему передать Бьяртуру стихи, вроде псалма, которые он сочинил осенью, когда кончился сенокос.

— Я, — сказал он, — в свое время сложил стихи о твоей первой жене, так уж я и о второй написал. Обе были прекрасные женщины, цены им не было. Но пути господни неисповедимы.

— А с другой стороны, — сказал Оулавюр, — если завелась мышь и если она набросилась на овцу и вцепилась ей в горло, то, как говорят старые, опытные люди, — хотя в газеты это еще не проникло, — надо прижать ее к ране так сильно, чтобы прилипли внутренности. Это верное средство.

— Поминальные стихи — это как псалмы, а я не люблю псалмов, черт их побери, ни о живых, ни о мертвых, — ответил Бьяртур. — Тебе это должно быть давно известно. Ведь о викингах из Йомсборга псалмов не слагали, а они с честью

пали в бою. И насколько я помню, Греттир[33] был отомщен в Миклагарде без всяких псалмов, а ведь считается же он первейшим человеком в Исландии. И если даже две женщины отправились на тот свет, я все же не знаю, чего ради приплетать сюда псалмы. Всякое божье слово, да и вообще все духовное, нагоняет на меня скуку. Вот если кто-нибудь из вас продаст мне своего кота, то я сочту это за дружескую услугу. Не беда, если кот будет злой.

К вечеру Бьяртур вернулся домой с котом в мешке и выпустил его на пол.

— Что это? — спросили дети.

— Это кот, — ответил Бьяртур; и семья весь вечер радовалась.

Да и весь приход только об этом и говорил — точно о перемене погоды. Из уст в уста передавали: «В Летней обители завелись крысы». И вот на лестнице возле люка стоит кот, серый в полосах; он подозрительно и воинственно поводит глазами, зрачки у него сильно расширены. Вот

---

[33] Примечания: 33

Греттир Сильный, сын Асмунда — прожил девятнадцать лет вне закона. Прославился своей храбростью, выносливостью и веселым нравом. Был убит своими врагами на маленьком островке. Брат Греттира нашел убийцу Греттира в Миклагарде (Константинополе) и убил его. О жизни Греттира рассказывается в «Саге о Греттире», очень популярной в Исландии. *(Прим. Л. Г.).*

он поднял лапку и жалобно мяукнул, — впрочем, вел себя бодро. В Исландии коты, как бы жалобно они ни мяукали, все же не празднуют труса; никто не посмеет сказать, что они трусливы.

— Только присмотрите-ка за ним, как бы он не вцепился в собаку, — сказал Бьяртур, уходя из дому, и вдруг подумал: «Да не спятил ли я? Каково — поверил в кота!»

Итак, на хуторе появился кот. Он сидел среди бела дня на краю люка и внимательно прислушивался к сердитому лаю собаки во дворе. Кот раздражал собаку, стоило коту очутиться где-нибудь поблизости, как шерсть у нее становилась дыбом и она начинала выть. Если собака забиралась в жилую комнату, кот вскакивал на подоконник, для него тут было достаточно места. Некоторое время он внимательно следил за собакой, потом зрачки его сокращались, наконец он с философским видом закрывал глаза. Как только собака исчезала, кот соскакивал на постель старухи, тщательно облизывал себя и ложился, свернувшись клубочком. Старуха никогда не звала кота иначе, как негодяем и плутом. И все же кот к ней льнул — он ценил не столько слова, сколько обращение; а никто никогда не видел, чтобы старуха обидела живое существо.

Удивительно, как кошки тянутся к старым людям. Может быть, потому, что от них не ждешь никаких сюрпризов, с ними чувствуешь себя спокойнее, — это главное достоинство старости. А может быть, их привлекает в стариках то неуловимое, бесцветное нечто, что в христианском учении зовется бессмертной душой?

Глава сорок вторая
Левая щека

Удалось ли «негодяю-коту» положить конец бесчинствам на далеком хуторе в долине?

Вечером Бьяртур брал его под мышку и относил в овчарню. Особого доверия к коту он не питал. Он ложился спать поздно и долго еще возился, после того как засыпали ребята и старуха. Последней ложилась Ауста. Она до поздней ночи суетилась возле плиты, занималась стиркой и починкой, потом мылась, приводила себя в порядок. Ауста уже была в том возрасте, когда девушки заботятся о своей прическе. Иногда она, согрев воду, мыла себе ноги выше колен, шею, плечи и грудь. «Пусть, — думал Бьяртур, — все девушки до страсти увлекаются мытьем; это длится несколько лет. Ведь молодость — пора расцвета.

Разве трава не впитывает в себя росу во время роста? Когда начинают рождаться дети, женщина перестает мыться». Он потушил свет, улегся в постель, сложил руки под головой, но засыпать и не думал. Ауста все еще мылась и причесывалась при свечке; она стояла в нижней юбке и глядела в осколок зеркала, потом, спустив лямки, стала мыть плечи; милое дитя, она становится девушкой. Да, тут уж ничего не поделаешь. Однако Ауста хорошо знала, что отец смотрит на нее; если бы он не смотрел, она помылась бы тщательнее, но в его присутствии это было бы уже непристойно. Странно, но ей хочется убедить его, что даже в мыслях у нее нет ничего дурного, недозволенного. Отчего бы это? Оттого, что еще в раннем детстве, в чужом городе, она однажды прильнула к нему и никак не может забыть об этом. Вспоминая ту ночь, она краснела, особенно пока была жива мачеха. А позже при одной мысли об этом ее охватывал ужас. Удивительно, как живучи заблуждения наивного детства, как долго они тревожат душу. Ведь ничего и не было! Она боялась большого мира, она была еще так мала — а он оттолкнул ее и ушел. Ауста не могла разобраться в этом, у нее сжималось сердце от страха перед чем-то непонятным, и этот страх все

время преследовал ее. Как только она начинала думать, страх разгорался сильнее и особенно мучил ее тогда, когда она твердо решала отогнать от себя эти мысли; порою он проникал даже в ее сновидения, принимая образы странных зверей, призраков, злых людей или ущелий, по которым она блуждала, не находя дороги ни вверх, ни вниз. А чаще всего ей снились груды нечистот, которые ей приходилось убирать, — они все росли и росли. Что было дурного, неправильного в ее поступке? У нее и в мыслях не было ничего плохого. Она была беспомощна и несчастна — вот и все. Эти мысли не оставляли ее и позже. Нет, никогда она не спустит рубашки в присутствии мужчины, и тем более перед отцом.

Бьяртуру видна была ее щека, освещенная отблеском свечки; ему, конечно, даже и в голову не приходило, какие мысли ее мучали. Это была ее левая щека, и он думал, что и душа ее видна ему с левой стороны, с изнанки, — душа старая, несчастная, печальная; она на тысячу лет старше самой девушки; это душа другого века — недоверчивая, с непостоянными желаниями, страстными обетами, тоской и смертельной ненавистью. Полная нижняя губа, так красиво изогнутая, если смотреть на нее справа, отсюда

казалась искривленной. Даже не верилось, что это пятнадцатилетняя девочка. Чудилось, что лицо ее говорит о какой-то утрате, даже какой-то слепоте, — и слепота эта находится в ужасном соответствии с ее внутренним миром, не знающим стремления к другому, лучшему, проникнутым тем презрением к смерти, которое помогает сносить все неудачи, как ни остро их переживаешь.

— Послушай, милое дитя мое, — говорит он, думая: «Что это я — одурел или помешался?»

Девочка быстро подымает лямки на плечи и смотрит на него с ужасом, почти задыхаясь, в глазах у нее что-то бьется и трепещет. В чем же она виновата?

Он только хотел просить ее повернуться к нему другой стороной: ему больше нравится смотреть на человека с правой стороны; он то же самое говорил ее матери, когда ухаживал за ней, а это было много лет тому назад.

— С левой стороны ты совсем другая, словно тебя подменила злая фея, и вместо тебя оставила какого-то уродца. Вот так, теперь хорошо. Смотри не простудись, много плескаться в воде вредно; мойся, когда очень уж нужно. Я-то никогда не полоскался подолгу. Утром помоги бабушке разжечь огонь, ей стало трудно растапливать плиту,

она здорово одряхлела.

Немного позже он поднялся и вышел в овчарню: ему хотелось проверить, все ли в порядке.

Все было в порядке. Зеленые глаза кота светились то в дальнем углу, у кормушки, то на ступенях лестницы. Впрочем, они с котом презирали друг друга. Бьяртур любил собак. Когда он вернулся в дом, Ауста уже легла. Хорошо ли она укрылась, бедняжка? Несмотря на присутствие кота, он все же не был спокоен ночью, два-три раза выходил в овчарню и плевал на все четыре стороны.

Все небо было усыпано звездами. Лаяла собака. Казалось, все было как обычно, — люди спокойно спят, видят сны; им снятся серебряные монеты — то в две кроны, то в пятьдесят эйриров; то им видится необъятное море, то маленькое озерцо.

Глава сорок третья
Разговор со сверхъестественными силами

Во второй половине рождественского поста погода изменилась — выпал густой снег. Он падал и падал, день за днем, спокойно, мягко, настойчиво. Глядишь на эти медленно опускающиеся

хлопья, и начинает казаться, что ты отрезан от всего мира, что ты и сам уже не существуешь.

— Хорошо, когда ничего не случается, — говорил Бьяртур. — Некоторые жалуются на однообразие, им, как ребятам, подавай перемены. Люди разумные перемен не любят.

С другой стороны, не всем дано так легко переносить отсутствие перемен, как кошкам. Под окном вырастают снежные сугробы, как бы окутанные голубовато-серым шерстяным одеялом, а кот все сидит и сидит, все жмурится с забавным выражением важности и коварства. Наконец снег перестал. Погода проясняется, мороз крепчает, и холодный колючий ветер наметает кучи снега. Этой зимой сена было вдоволь, и стихийные бедствия были не страшны. Бушует ли еще нечистая сила? Сейчас как будто унялась. Тревога, погнавшая Бьяртура в поселок за котом, теперь почти утихла. Он погладил кота по спине и сказал: «Как бы он только не сцепился с собакой». Раздумывая обо всем происшедшем, он не мог понять, как же это он поверил, что глупый кот мог справиться с нечистой силой. Все же он перестал вставать по ночам и наведываться в овчарню.

И все-таки нечистая сила не сдавалась; она попросту решила дождаться морозов, чтобы на

снегу не было видно следов. Как-то рано утром Бьяртур, по обыкновению, пошел в овчарню. Войдя туда, он зажег фонарь и огляделся. Его глазам представилось ужасное зрелище: десять овец валялись мертвыми или были при последнем издыхании; они лежали на полу или возле кормушек.

Овцы были зарезаны самым зверским образом: у одних были вспороты глотки, другим вколочены в череп ржавые гвозди, а некоторые, видно, погибли от удара дубинки. Тяжело рассказывать о таких ужасах, может быть, поэтому Гудбьяртур Йоунссон особенно не распространялся о случившемся ни тогда, ни впоследствии. Он совершенно растерялся; сорвав с себя шапку, он крепко охватил обеими руками голову. Он осмотрел одну овцу за другой и прикончил тех, которые еще дышали. Больше он уже не мог сдерживаться: резко повернувшись, он стиснул кулаки и стал изрыгать проклятия, плеваться, он вызывал на поединок злого духа Колумкилли вместе с его потаскухой Гунвер и изливал на них поток языческих и библейских проклятий. Он призывал их сразиться с ним на выгоне перед овчарней. Что еще ему оставалось делать и говорить? Он бросал вызов сразу всем духам: пусть покажут

свое мужество в открытом бою. Если они хоть сколько-нибудь дорожат своей честью, то теперь уж скрываться не будут. «Не велика хитрость грабить и убивать, когда все спят!» — сказал он, грозя кулаками окоченевшей природе и небу. И наконец, не находя больше достаточно крепких слов, громко завыл. Завыла и собака. Все это сплошное кощунство. Нет ему спасения. На востоке слабо забрезжил рассвет.

Ему пришло в голову, что ведь проклятиями злых духов не прогонишь. Вспомнилось старинное сказание о черте, который становился от проклятий еще сильнее. Но что еще он мог придумать? Может быть, старая Халбера приковыляет сюда и прочтет псалмы? Не привести ли пастора? Пусть произнесет имя Иисуса на древнееврейском языке. Это еще не значит, что он, Бьяртур из Летней обители, верит в святого духа, — свободные люди не нуждаются в религии. Он не боится встречи с любым привидением и никогда в жизни не испытывал страха перед темнотой, не говоря уж о других ужасах.

В старинных сказаниях говорилось о том, что привидения склоняются перед силой имени Иисусова, если его произносят на каком-нибудь древнем языке. Впрочем, было мало надежды,

что плешивый молодой человек, пастор Теодоур, своей ученостью одолеет нечистую силу, которую старые пасторы былых времен, хорошо знавшие искусство заклинаний, не раз безуспешно пытались отправить в ад. Единственный человек в тех краях, который имел полную власть над нечистой силой, давным-давно умер.

Дети стояли на снегу и пристально следили за движениями отца: он складывал одну за другой головы мертвых овец на выступ стены. Наконец маленький Нонни нарушил молчание.

— Отец, — сказал он, — нашему Хельги часто чудится что-то около хутора.

Бьяртур выпрямился и, держа окровавленный нож в руке, спросил:

— Что именно?

— Ничего, он врет, — сказал Хельги.

— Вру? Разве ты не помнишь, что рассказывал мне прошлой осенью, когда отец был в городе, а мы сидели на камнях перед домом и говорили про водопад?

Бьяртур, держа нож в руке, подошел к своему старшему сыну и решительно потребовал, чтобы Хельги подробно рассказал ему все без утайки. Но мальчик твердил, что он ничего не видел. Бьяртур схватил сына за плечи и пригрозил ему:

если он сейчас же не скажет, то ему будет плохо. Мальчик испугался; он пролепетал, что видел какого-то мальчишку, или, вернее, парня, с седыми, как у старой бабы, косами.

— Где ты его видел?

— Иногда он бежал от овчарни к дому, и я не раз гнался за ним.

— Почему ты ничего не сказал мне об этом?

— Я знал, что мне никто не поверит.

— Куда он направлялся?

— Не знаю. Он скакал.

Бьяртур все настойчивее требовал, чтобы сын подробно описал этого неизвестного бегуна. Но ответы мальчика становились все более сбивчивыми: иногда ему казалось, что у того человека борода, иногда — косы, и, наконец, ему даже померещилось раз, что на нем была юбка.

— Юбка? — удивленно спросил Бьяртур — Какая еще юбка?

— Красная. И чем-то была обмотана шея.

— Шея? Что же это было?

— Не знаю. Пожалуй, больше всего это напоминало шарф.

— Шарф, черт бы тебя побрал! — сердито рявкнул Бьяртур и влепил ему такую пощечину, что ребенок зашатался. — Вот тебе! Не болтай

чепухи!

Сверхъестественные явления неприятны тем, что сдвигают все человеческие понятия, смешивают их в одну кучу; почва под ногами начинает колебаться, ум витает в чуждых ему сферах — он уже не смеет делать правильные выводы, даже те, которые подсказываются здравым смыслом, — все грани между явлениями, даже противоположными, стираются. Смерть уже не смерть, жизнь не жизнь, как утверждает Эйнар из Ундирхлида. Человек распределяет явления, относя каждое к какой-нибудь группе, словно карты, сложенные по мастям. И вот тайные силы врываются в жизнь и сметают все, подобно тому как потоки осеннего дождя уносят неубранное скошенное сено. По мнению многих, сверхъестественные явления объясняются тем, что бог хочет доказать простым смертным, насколько он мудрее их. Неужели Бьяртур из Летней обители позволит одурачить себя этим таинственным силам? Или обратится за советом к людям? Или будет произносить заклинания и ждать, пока нечистая сила не уничтожит всех овец и не разрушит его хутор, как в 1750 году?

Был тихий вечер, и Бьяртур не спешил загонять овец. Рассеянно бродил он по пастбищу, разгова-

ривая сам с собой, и бранил сверхъестественные силы, не замечая, куда идет. И вдруг он обнаружил, что вышел к западному склону горы. Может быть, он думал встретить Эйнара из Ундирхлида или еще кого-нибудь?

Блеснул молодой месяц. Сумерки сгустились. Многие полагают, что сумерки — самое красивое время дня. На вершине горы, среди спокойного зимнего пейзажа, возвышается усеянный камнями могильный курган — здесь похоронен злой дух Колумкилли. Курган стоит над пропастью, одна его сторона облита лунным светом, другая — в тени; это и не день и не ночь; мягкий лунный свет придает всей картине оттенок невинной прелести и почти возвышенного покоя. Но Бьяртур не чувствовал этого очарования. Он несся как разъяренный зверь, который мчится к своей несчастной жертве, чтобы уничтожить ее. Он ринулся в атаку не сразу. Из мерзлой земли он достал маленький камешек и спрятал его за спину.

— Да, вот где вы оба покоитесь, — сказал он, с невыразимой ненавистью глядя на могилу.

У самого подножия кургана он топнул ногой. Но они не ответили ему. Все же Бьяртур продолжал говорить с ними, утверждая, что он вполне разгадал их умысел. Бьяртур ясно сказал им, что

он обвиняет их в убийстве своих жен и детей. А теперь они, видно, добрались и до его овец.

— Что же, продолжайте, продолжайте, если только посмеете, но покорить меня вам не удастся. Смешно даже думать об этом. Хоть горы обрушьте на мой хутор, но я стою здесь и буду стоять до последнего издыхания. Глупо думать, что я покорюсь.

Ответа не было. Только нежные звезды, сверкая своими чудными очами, посмеивались над земным человеком и его недругами.

Тогда он сказал:

— У меня в руках камень. — И он стал размахивать перед ними камешком. — Но не думайте, что я положу его на вашу могилу. Вы говорите: «А, значит, он испугался, раз явился сюда с камнем!» Вы говорите: «Наконец он принес камень. Он, верно, боится потерять Аусту Соуллилью, как он уже лишился двух своих жен».

Но говорю вам я, Бьяртур из Летней обители, свободный человек, самый вольный исландец со времен первых поселенцев до наших дней: можете обрушить на меня горы, но камня вам от меня не получить!

В знак своего презрения к темным силам Бьяртур швырнул камень в пропасть. Камень стучал

о голые стены ущелья, пока не упал на дно, пробуждая глухое эхо, — будто оттуда доносились голоса древних предков, будто сам тролль и его свита удивлялись тому, что кто-то потревожил их вековой сон. Собака подбежала к краю пропасти и громко залаяла. Меньше всего хотелось Бьяртуру именно сейчас, когда он свел счеты с привидениями, искать поддержки у людей. Сейчас, как никогда, он твердо решил бороться со здешними чудовищами один на один, без посторонней помощи, не на жизнь, а на смерть. Он повернулся и пошел в свою долину.

Глава сорок четвертая
Молебствие

Жители поселка, возвращаясь из города, заглядывали по пути в Летнюю обитель, выведывали у детей новости и с этими новостями шли в поселок. Здесь слухи о привидениях быстро передавались из уст в уста, — в эту глухую пору года, когда нечем занять ум и сердце, за них жадно хватались и стар и млад. И люди с легкостью поверили в нечистую силу и усомнились в том, что всему виною крысы, — ведь все мы склонны допускать невероятное и сомневаться в правдо-

подобном.

Жители поселка стали наведываться к Бьяртуру все чаще. Люди не жалеют сил и времени, когда им хочется проверить слухи о кознях привидений, они жадно подхватывают эти слухи и хранят их в недрах своей души. Бьяртур отвечал любопытным, что, кому охота, пусть гоняются как очумелые за привидениями и изнашивают свои подметки, — это их личное дело; он же не интересуется болтовней о нечистой силе. Вся суть в том, что однажды ночью кот испугал овец, они всполошились, с перепугу бросились к стенам и кормушкам — и поразбивали себе головы, натыкаясь на ржавые гвозди.

Ребятам же доставляло большое удовольствие развлекать гостей… Они стояли с ними возле дома, под стенкой, и рассказывали о нечистой силе; впервые в жизни они чувствовали себя важными особами — их слушали. А хозяйка из Редсмири послала Аусте тайком от Бьяртура кофе, сахар и книгу одного талантливого иностранца под названием «Простой образ жизни». Оказалось, что мальчики своими глазами видели привидения, им даже удавалось разговаривать с ними, в особенности старшему и младшему. Стоило им только забраться в овчарню и пробыть там

некоторое время, как являлось привидение. Они видели его сверкающие в темноте глаза, но плохо понимали его, так как оно говорило гнусавым голосом и невнятно. Все же они разобрали, что привидению наскучило жить забытым и всеми покинутым — вот оно и дает о себе знать. Не успокоится оно до тех пор, пока ему не будут оказаны все почести, какие полагаются, — проповедь, псалмы, молитвы, предпочтительно заупокойные. Некоторые гости подходили к овчарне и тихонько затягивали какой-нибудь псалом или даже бормотали отрывки из «Отче наш». Ауста едва успевала приготовлять кофе. «Да, — говорило привидение, — завтра пусть придет еще больше гостей». Это было не какое-нибудь языческое божество, это был настоящий бог, который требовал у людей: молитвы наши «даждь нам днесь» — ему они, видно, шли на пользу.

Чего только не говорили в приходе о привидении: оно уничтожало дома в долине, скакало по крышам среди бела дня и грозилось обрушить кару на тех, кто не хотел возносить ему молитвы. Этот маленький хутор, ранее ничем не примечательный, привлек к себе внимание всей округи и почти всего края. Люди и даже собаки, которых раньше здесь никто не видел, появлялись

на выгоне, а иногда даже вторгались в комнату. Если бы собрать и записать все легенды об этом привидении, споры, различные мнения, философские и религиозные толкования, то получился бы объемистый том вроде Библии. В поселке образовались различные партии, чуть ли не секты. Некоторые видели в том, что произошло, откровение свыше; другие спрашивали, в чем же оно, это откровение, состоит; а третьи наперекор всему уверяли, что овцы сами перебили друг друга. Кто говорил, что привидение огромного роста, а некоторые доказывали, что оно средней величины или даже рисовали его маленьким сморщенным существом. Кое-кто, опираясь на исторические данные, утверждал, что это привидение — мужчина; другие не менее убедительно доказывали, что оно женского пола; третьи находили, что привидение бесполое, и даже развили на этот счет весьма своеобразную теорию.

Пронесся слух, что на рождество привидение намерено разрушить Летнюю обитель. Эти сведения шли от мальчиков, которые были с ним на короткой ноге. Некоторые из тех, кто хорошо относился к обитателям хутора, обратились к пастору с просьбой подняться на пустошь и помолиться; быть может, такое обращение к злому

духу от имени господа бога заставит этого духа пойти на уступки. Пастор обрадовался. Наконец-то его далеко не богомольные прихожане под влиянием обстоятельств вспомнили о боге! Сам он, с тех пор как получил этот приход, напоминал людям о боге только с церковной кафедры, да и то неохотно: у здешних жителей все духовное вызывало лишь скуку или смех.

Однажды вечером на хуторе собралось столько народу, будто здесь справляли какой-нибудь праздник. Погода была мягкая, небо звездное, светила полная луна. Пришла большая толпа молодых людей. Они стояли среди сугробов с глупым видом, наслаждаясь ожиданием чего-то неведомого и в то же время жуткого — того, что притаилось в этой холодной синей тьме. Молодой человек из Фьорда, работавший зимой на одном из хуторов в горах, развлекал собравшихся, напевая модные песенки, под которые этой зимой танцевала молодежь. И все подтягивали, пытаясь подавить чувство страха. Были здесь не только любители приключений, но и люди пожилые, бывалые, старые верные друзья. Пришел и Король гор, которого два года назад выбрали в приходский совет, — и вот теперь на нем лежит бремя ответственности, особенно тяжелое в такие

плохие времена. Уговорили прийти даже пастора, молодого, плешивого, с экземой на руках. Он считал, что настала пора заняться устройством выставки овец и для этой цели заполучить с юга специалиста овцевода. Пастор ссылался на статьи в «Сельскохозяйственном вестнике» — последнее слово науки. Кое-кто, отозвав в сторону детей, расспрашивал их о привидении: как оно выглядит, о чем говорит. Бьяртур был угрюм и едва отвечал на приветствия гостей; он никого не приглашал и тихонько, в бороду, бормотал какие-то обрывки стихов.

Люди нерешительно топтались на месте — на снегу или в доме, среди ночных теней. Многие чувствовали, что они здесь нежеланные гости. Наконец заговорил Хродлогур из Кельда, дельный и прямой старик, не терпевший бездействия:

— Ну, что же, добрые люди, не пора ли нам начать?

Он имел в виду обход с молитвой вокруг овчарни, который в последнее время превратился в обряд, так что выражение «обход» вошло уже в язык.

Другие торжественно присоединились к его предложению:

— Пора начать!

Послали за мальчиками, собрали молодежь, которая уже разбрелась по склонам, — ибо ночь со своими синими расплывчатыми тенями была заманчивым прикрытием не только для привидения, но и для любви.

Прибежали мальчишки, глаза у них были широко раскрыты от любопытства. Пастор, которому хотелось забыть о таинственных силах, оживленно беседовал о новых теориях, почерпнутых из «Сельскохозяйственного вестника». Он глубоко вздохнул и ответил на предложение Хродлогура:

— Хорошо, начнем во имя божье!

Король гор, Эйнар, Оулавюр шли гуськом, заложив руки за спину; на их лицах застыло какое-то странное выражение; сенная труха застряла у них в бороде. Впереди и сзади людей важно шли собаки, как бы сознавая торжественность минуты. Кое-кто брал девушек под руку; а девушки краснели в ожидании призрака, — хотя Бьяртур думал про себя, что вовсе не за этим они пришли сюда.

— Ребята, пойдите-ка в овчарню и спросите, в какую сторону нам идти, — предложил Хродлогур. — Лучше узнать заранее, а то ведь духи иногда заставляют ходить по солнцу, иногда против солнца.

Хельги взял брата за руку, и они на цыпочках прокрались к дверям овчарни, — никому не дано было разговаривать с привидением, кроме них. Они открыли задвижку и осторожно заглянули в овчарню.

— Тсс! — сказал старший брат, жестом останавливая слишком любопытных гостей. — Не подходите близко.

Овцы, охваченные каким-то неестественным страхом, шарахнулись и забились в самые дальние углы полупустого помещения. Мальчики скрылись в овчарне и заперлись на задвижку. Пожилая женщина из поселка запела «Тебя бога хвалим», многие стали подпевать. Один Хродлогур сказал, что не стоит петь молебствия: он полагал, что это дело, как и всякое другое, надо делать по установленным правилам. Вдруг все переполошились. Мальчики выбежали из овчарни, будто их вытолкнули оттуда, и стали кататься по снегу. По их словам, привидение требовало, чтобы вокруг овчарни обошли девять раз и пропели девять строф.

— Не девять ли строк? — торжественно спросил Эйнар.

Как бы то ни было, молебствие началось. Старики, как умели, напевали псалом под лай и

завывание собак. А молодежь не знала псалмов — она думала совсем о другом. Все были испуганы. Синие тени на снегу слились друг с другом.

Бьяртур стоял в стороне. Он кликнул Титлу, чтобы она не сцепилась с чужими собаками.

Вскоре выяснилось, что молодежь не имела никакого желания кружить вокруг овчарни, — одна группа отделилась от остальных и стала спускаться по склону холма, чтобы еще раз послушать новые песенки, под которые танцевали во Фьорде.

Два смельчака самовольно вошли в овчарню, чтобы взглянуть на привидение, но они недолго оставались там: едва переступив порог, они увидели пару пылающих глаз, которые сверкнули на них из дальнего угла, с сеновала. Они были не менее ужасны, чем глаза тролля в саге о Греттире. Когда-нибудь на старости лет эти два смельчака будут рассказывать внукам, как они сами были очевидцами происшествий, о которых повествуют исландские саги. Но дело не ограничилось одним взглядом: раздался ужасный звук — такой звук не могло бы издать ни одно животное в Исландии, его можно было бы сравнить только с бессмысленным, режущим ухо скрипом какой-нибудь старой ржавой двери. По словам

пастора, на мгновение заглянувшего в овчарню, это был голос существа, осужденного на вечные муки у врат царства небесного; эти желто-зеленые глаза явно никогда не видели и никогда не увидят небесного света. И, воспользовавшись удобным случаем, пастор помолился о том, чтобы врата рая открылись им и они узрели бы свет царствия небесного. В эту минуту сердитая луна скрылась за густым облаком, и бледный синий свет, отражаемый снегом, сразу сменился полной тьмой, еще более таинственной, чем прежде. Очертания ландшафта совсем расплылись, и люди, вышедшие на эту бессмысленную ночную вахту, во мраке казались друг другу ужасными призраками; они невольно брали друг друга за руку из страха очутиться в одиночестве. Что еще можно было сделать? Так они и стояли, держась друг за друга, дрожа от ужаса. Мрак все сгущался и сгущался, было холодно. Хорошо бы напиться сейчас горячего кофе.

Глава сорок пятая
О душе

Кто-то предложил выпить кофе: все охотно согласились. И религиозная церемония закон-

чилась. Гости поднялись в жилую комнату и понемногу, не дожидаясь приглашения, завладели домом. Чуть ли не вся округа собралась у Бьяртура; пол так заскрипел, что казалось — вот-вот рухнет. А молодых людей попросили спуститься. Что им, черт возьми, здесь делать? Не место и не время тут для девичьего визга и других музыкальных упражнений. Кто хочет напиться кофе, пусть подождет внизу. Люди постарше кое-как разместились на кроватях. Женщины старались разжечь огонь.

— Да. Так-то! — произнес один из гостей.

— Дела! — сказал второй.

— То-то и оно-то! — прибавил третий.

Кроме Хродлогура из Кельда, все собравшиеся были охвачены мистическим страхом и никак не могли переключиться на обыкновенное, будничное.

Хродлогур не очень-то верил в нечистую силу. Этот здоровяк принимал жизнь, как она есть, не пугался ни естественного, ни сверхъестественного и думал лишь о том, как поступить в данном случае.

— Дорогой пастор, — сказал он, — как вам известно, у меня есть пара хороших ягнят. Я не решился зарезать их осенью. Может быть, и

прогадал, — ведь кормлю-то я их на авось. Но я мог бы взять за них хорошие деньги, если бы мы залучили сюда кого-нибудь из «Сельскохозяйственного вестника», — пусть бы написал о них высшему начальству.

— Неплохая мысль, — ответил пастор, обрадовавшись, что хоть один человек поверил в его познания по части овцеводства и стремление улучшить породу овец. И он начал подробно распространяться о том, какую пользу принесла народу выставка овец на Западе. О ней много писали газеты, в особенности о мясных овцах.

Тут голос подал Король гор. (Он хоть и пролез в приходский совет, но не сумел выбиться наверх; так и остался середняком. Весь год он был в нерешительности — метался между торговцем и потребительским обществом: ведь когда две сильные стороны борются между собой, надо запастись терпением и выжидать.) Он тоже считал, что в такое тяжелое время было бы очень важно всем понять, как полезно добиваться улучшения породы овец.

— Но, — говорил он, — заметьте, что я не сторонник мясных овец. По моему мнению, в тяжелые времена, как, например, в прошлом году, подтвердилось, что мясная овца не так вынослива,

как уверяют многие специалисты. Образцовая порода — это, по-моему, редсмирская — крепкая, неприхотливая, а уж в том, что она недостаточно упитанна, ее даже враги не попрекнут. С такими овцами можно просуществовать в любые времена. По крайней мере, до тех пор, пока не появится другая, лучшая порода.

Оулавюр из Истадаля, слушая Короля гор, вспомнил, что несколько дней тому назад была разверстка налога, и ему хотелось бы знать, какими налогами обложены бедные крестьяне. В свое время он голосовал за Короля гор и надеялся на него. У него, казалось Оулавюру, есть чувство ответственности, он выполнит свое обещание, постоит за интересы бедного люда. Кроме того, Оулавюр со временем рассчитывал получить небольшой добавочный заработок в качестве помощника собачьего лекаря. Он и в этом деле полагался на Короля гор.

— Да, налоги, — с серьезным видом вздохнул Король гор. — Должен сказать, что в такое время управлять приходом не очень-то весело, дорогой Оулавюр. Староста, судья, да и все правительство — все тебе скажут: в такие тяжелые времена распределять налоги — не в игрушки играть. Уж очень повсюду сильна конкуренция, и никто

толком не знает, кто одержит верх и кто поможет хуторянам. Бруни ли, который печется о разоренных крестьянах, или потребительское общество, которое тоже радеет о них. А может быть, вся надежда на старосту Йоуна. Или же благодетелем нашим станет приход, хотя в приходской кассе хоть шаром покати.

— Да, я всегда это говорил, — откликнулся Оулавюр, стараясь не показать, как разочаровал его член приходского совета, за которого он сам голосовал. — Человеческая жизнь так коротка, что я всегда твердил: коли бы у нас все делалось по справедливости и по науке, коли бы за наш труд мы получали полной мерой и могли покупать для себя в городе хлеб наш насущный… коли б мы могли построить себе здоровое жилье, прежде чем наши дети сгниют от чахотки, как было у меня… Да, черт возьми, что я хотел сказать… Не знаю, избавлюсь ли я от долгов, если даже буду тянуть из себя жилы еще три тысячи лет…

Тут в разговор вмешался Эйнар из Ундирхлида. Он считал, что все эти речи мало подходят для такого серьезного случая, когда нечистая сила стала вмешиваться в жизнь хуторян. Неужели нельзя забыть про собственные беды, голод, болезнь, как велит нам всемогущий бог?

— Не я начал этот разговор, — возразил Оулавюр. — Я всегда говорю, и это всем известно, что лучше обсуждать что-нибудь этакое серьезное, научное, чем зря язык чесать. Но когда дело доходит до науки, нелегко разобраться в ней бедному человеку! Как тут разберешься, когда ты оторван от всего мира, бьешься, как рыба об лед, с больными детьми, с измученной женой. Вот уже десять лет, как мне пришлось выйти из союза «Друзья народа» — это единственное место, где я встречался с людьми; наш так называемый «кружок для чтения» был недолговечен, он давным-давно распался. Некоторые уверяют, что в этом повинны крысы. Но я знаю одно: последние пять лет никто даже не смел открывать книжных шкафов. Так куда женам при таком невежестве разобраться в том, что происходит?

Эйнар сказал:

— Жалко упустить такой случай, тут среди нас есть образованные люди, например пастор. И насколько я знаю пастора, он не гнушается простыми людьми. Покойный пастор Гудмундур никак не мог примириться с нашей необразованностью. Но вот о чем я хотел спросить: как это объяснить, что некоторые души никогда не могут найти покоя ни в небесах, ни на земле, ни

под землей.

— Не оттого ли, что в них вселился бес, — сразу отозвался Круси из Гили.

Пастор еще размышлял, подыскивая подходящий ответ. Многие изложили свое мнение на этот счет, но дело от этого не становилось яснее. Оулавюр даже сослался на книгу, листки которой послужили оберточной бумагой для чашек, присланных его знакомому. Иностранные ученые, говорилось там, решительно отрицают существование злых сил.

— Нет уж, мой дорогой Оулавюр, — сказал Король гор, — это мне и в голову не пришло бы, особенно в нынешние времена. Я всегда думал, что есть и добро и зло. Этому учат и религии, например, персидская, как я слышал от хозяйки Редсмири, образованной женщины. Как вы все знаете, она много раз говорила о добре и зле, даже в своих речах, в Союзе женщин, в нашем округе и в других местах. И если говорить о невидимых силах… думается мне, что они далеко не так добры, как многие полагают, и, должно быть, не так злы. Видно, истину всегда ищи где-то посредине.

Наконец заговорил пастор, у него было достаточно времени обдумать ответ.

— Современному мышлению, — сказал он, —

более соответствует другой взгляд. Я уже изложил его, когда мы стояли возле овчарни. В данном случае, по-видимому, замешаны горемычные души, беспокойно мечущиеся между различными мирами.

Тут уж лопнуло терпение у Эйнара.

— Осмелюсь сказать, — крикнул он, — что вы немножко перехватили, дорогой пастор. И беру это на свою ответственность. Верно, что покойный пастор Гудмундур меня недолюбливал, он обращал мало внимания на мои неискусные стихи, ну что ж, я писал их не славы ради, не для похвал, а для собственного удовольствия. Пастор Гудмундур был строг и мало обращал внимания на неучей, но в вере он был силен. Он не прислушивался ко всякой ерунде, только потому что она современна, и уж никогда не сказал бы, что сатана и его присные — это всего, мол, несчастные, горемычные души. И хотя у него были хорошие бараны и овцы, он твердо знал, в кого верит. И мне кажется, что этого не знает кое-кто из вас, молодых пасторов, хоть вы и гонитесь за новой модой.

Пастор Теодоур изо всех сил старался уверить Эйнара, что молодые пасторы тоже знают, в кого они верят, хотя, может быть, выражают свои

мысли немного иначе, чем старые.

— Разрешите мне задать вопрос, пастор, — сказал осмелевший Эйнар. — Верите ли вы в Ветхий и Новый завет, во все, что там написано, слово в слово?

— Вы можете быть спокойны: я верю в Ветхий и Новый завет, — ответил пастор.

— Разрешите мне спросить вас еще кое о чем. Верите ли вы, например, что Иисус, сын божий, воскресил из мертвых Лазаря[34], когда тот уже начал гнить в могиле? — продолжал Эйнар.

Пастор на мгновение задумался и отер платком пот со лба. Наконец он убежденно ответил:

— Да, я верю, что Иисус, сын божий, воскресил из мертвых Лазаря, после того как тот пролежал в гробу, по крайней мере, три дня. Но я, конечно, считаю, что за это время он не очень-то разложился.

— Начал ли гнить этот бедный старикан или нет, — черт с ним, это не мое дело! — прервал его Оулавюр. — Главное, — продолжал он своей пискливой скороговоркой, — главное — то, что

---

[34] Примечания: 34

Лазарь — библейский персонаж, брат Марфы и Марии, дом которых в Вифании был любимым местом отдыха Иисуса Христа. Иисус Христос любил Лазаря и, когда тот умер, воскресил его из мертвых. *(Прим. Л. Г.).*

Иисус воскресил его. Но поскольку пастор здесь присутствует, а мы дожидаемся кофе… и я вряд ли попаду на свою койку до рассвета, то и мне, как Эйнару, хочется воспользоваться случаем и спросить кое-что у пастора. Какого, собственно говоря, мнения вы придерживаетесь насчет души, пастор Теодоур?

Пастор, склонив голову к плечу, сказал с печальной улыбкой, что своего взгляда на этот счет у него нет: он придерживается старых, добрых взглядов. Да, душа, конечно, бессмертна, не будь она бессмертной, она и душой не была бы.

— Это-то я знаю, — сказал Оулавюр, не удовлетворенный ответом пастора. — То же самое сказали покойному Йоуну Арасону[35], как раз в ту минуту, когда ему собирались отрубить голову. А теперь я вам кое-что расскажу; я это вычитал из одной солидной южной газеты, в прошлом году мне ее одолжил знакомый. А именно: будто бы в столице души умерших знатных людей вселяются в мебель.

---

[35] Примечания: 35

Йоун Арасон (1484–1550) — исландский национальный герой, последний католический священник в Исландии, сопротивлялся с оружием в руках введению лютеранства, означавшего большую зависимость Исландии от Дании, и был казнен в Скаульхольте вместе со своими двумя сыновьями 7 ноября 1550 г. Йоун Арасон был очень образованным человеком, писал религиозные стихи. При нем в Исландии была открыта первая типография. *(Прим. Л. Г.).*

Старый Оулавюр оставался самим собой: не было такой чепухи, в которую он не уверовал бы, если только видел ее напечатанной. Многие покачали головой и рассмеялись.

— Да, вы смеетесь, — сказал Оулавюр. — Ну, это уж дело ваше. Но можете ли вы мне указать хоть один случай, когда я уверял вас в чем-нибудь зря? Да, души высокопоставленных особ в столице вселяются в мебель. Чудаки вы какие-то — вы, да и вообще здешние люди: вы не хотите верить в то, что происходит на расстоянии более чем сто ярдов от вашей овчарни. Да и вообще ни во что не верите — ни в духовное, ни в плотское, а только в то, что видите или не видите в своем хлеву.

Тут на помощь Оулавюру пришел пастор. Он виноватым тоном подтвердил, что такие вещи с мебелью, к сожалению, бывали. И столице некоторые высокопоставленные лица в последнее время заметили эти необыкновенные явления. Но души ли причиной странного поведения мебели — неизвестно. Умные люди объясняют, что, возможно, это заблудшие души, которым не удалось увидеть свет небесный.

Оулавюр горячо продолжал:

— Хотелось бы мне задать пастору еще один вопрос. Что такое душа? Когда отрезают живот-

ному голову, куда девается душа? Выходит через шейные позвонки, что ли, и взлетает к небу? Исчезает, как муха? Что она, эта душа, — вроде блина, который можно свернуть и проглотить, как уверяет Враль Бьярни[36]? Сколько душ у человека? Умер ли Лазарь после воскресения из мертвых? И как это получается, что души — или как их называть — ведут себя учтиво с чиновными особами, а бедным крестьянам, тем, которые ютятся по долинам, причиняют убытки?

Но как раз в эту минуту, в самый разгар беседы о душе, сам хозяин просунул голову в люк и окинул далеко не ласковым взглядом битком набитую комнату; он мигом распутал всю эту запутанную чертовщину — все, что нагородил его старый друг Оулавюр.

— Я и моя семья собираемся ложиться спать, — сказал он. — У нас больше нет терпения выслушивать на рождество весь этот вздор о душах. Если уж вам пришла охота горланить псалмы, то соберитесь где-нибудь в другом месте, подальше от моего дома. А я теперь обратился к правосудию — пускай оно найдет виновного и накажет его. И когда вы уйдете отсюда сегодня ночью, прошу

---

[36] Примечания: 36

Враль Бьярни — персонаж исландских народных сказок. *(Прим. Л. Г.).*

вас считать, что вы здесь не были. Убери с плиты кипяток, Ауста, я не знаю этих людей, и пришли они сюда не затем, чтобы повидать меня.

Сегодня ночью он знать не хотел лучших из своих друзей, он их выгнал. И они, в свою очередь, не узнали своего старого друга — или, вернее, его лица, на котором застыло выражение ярости. Он явился как раз в то мгновение, когда они заблудились в дебрях сверхъестественного, — и именно он, казалось, вдруг все понял и требовал лишь, одного — правосудия. Они вышли гуськом из дому — и старые и новые друзья — глубоко пристыженные, смущенные, как воры, пойманные на месте преступления; забыв даже попрощаться, они перебрались через сугроб и пошли каждый своей дорогой.

Луна скрылась за облаками. Не было ни колдовства, ни кофе — ничего.

И, как ни странно, никто в округе впоследствии не упоминал об этой ночи. Она была вычеркнута из истории прихода, как тот олень, на котором Бьяртур много лет тому назад ездил верхом через Йекуль и по пустоши. В следующие дни эти бородатые солидные люди, встречаясь дома или в другом месте, бросали друг на друга беглый смущенный взгляд, точно парень и девушка, которые

слишком далеко зашли накануне вечером и решили больше этого не повторять. Еще много лет спустя эта ночь вспоминалась жителям поселка как нечто постыдное, и воспоминание о ней пряталось где-то в тайниках души, как игра больного воображения: мертвенно-синие колеблющиеся тени, пылающие глаза какого-то сказочного существа, кощунственное пение псалмов, кофе, которого так и не подали, разговоры о душе — и Бьяртур из Летней обители, отрекшийся от своих друзей, которые собрались, чтобы напасть на его врага Колумкилли.

Глава сорок шестая
Справедливость

После этой победы Гудбьяртура Йоунссона привидение на время перестало появляться. Подобно тому как весенним днем убивают больную овцу, так и он убил той ночью веру в религию, указал на дверь всем соседям и велел детям ложиться спать. Некоторые утверждают, что он и кота повесил. Если привидение воображало, что Бьяртур падет духом, распродаст свое имущество и уйдет в другие места, то оно ошиблось: дьявол старался понапрасну — Бьяртур был тверд, как скала. И

хотя он понес большой урон, но не отступил ни на пядь. То, что случилось позднее, было только отзвуком событий, совершившихся здесь раньше.

Был день солнцестояния. Небо с утра затянуло густыми низкими облаками, повисшими над землей. Беспросветная тьма вокруг; беспросветная тьма в душе. Только к полудню чуть посветлело и сразу же опять стемнело — короткий полдень не мог развеять темноты. Ожидали уездного судью. Бьяртур не дал мальчикам никаких заданий на день: казалось, он хотел сначала дождаться, чтобы власти сами решили, кто же все-таки хозяин на хуторе — он или дьявол. Когда Бьяртур вышел накормить оставшихся овец, Гвендур пошел за ним с собакой. Старший сын сидел у окна, сдвинув колени, и внимательно рассматривал старые царапины на столе; он не отвечал, даже если с ним заговаривали, и не прикасался к веретену. Маленький Нонни, который сидел и вязал рядом с бабушкой, то и дело поглядывал на него: он чувствовал состояние брата тем необъяснимым тонким чутьем, которому не нужны никакие слова. Подойдя к нему, он сказал успокоительным тоном:

— Хельги, плюнь ты на это! Что же судья может поделать с привидением?

Старший брат ничего не ответил. Немного погодя Нонни опять сел возле бабушки. Тишина. Не слышно даже пения псалмов — только тихое монотонное бормотание.

Староста прибыл сверху, с гор, чтобы встретить судью, который должен был приехать снизу, из города, и произвести дознание. Но судья все не приезжал. Пошел снег. Староста был в плохом настроении; он ругался и говорил, что ему некогда заниматься всяким вздором. Он сомневался, чтобы этот чертов судья отважился рискнуть своей драгоценной особой и приехать сюда, в горы, — эти ученые, чуть только засвистит пурга, забираются под перину. Староста улегся на кровати хозяев. На нем были толстые чулки, защищающие от снега, и он позвал Аусту Соуллилью, чтобы она стащила их с него. Оба — и гость и хозяин — были далеко не любезны.

— Всегда у тебя что-нибудь неладно, — сказал гость хозяину, ища свою табакерку. — Если не смерть жены и не падеж скота — то дьяволы и всякая нечисть!

Крестьянин ответил:

— Что касается смерти и дьяволов, то ведь я никого не звал сюда горланить псалмы и нести околесицу насчет души и прочего… на смех богу и

людям и на позор всему приходу. С другой стороны, я требую правосудия, справедливости — того, что каждый свободный человек может требовать в свободной стране. Я знаю только, что каждый год власти обращаются ко мне за налогами и податями, а я сейчас в первый раз обратился к властям, так что я им ничего не должен.

— Послушай, — сказал староста, заложив себе под язык жевательного табаку, — надо бы тебе продать мне обратно этот двор и надуть меня еще раз.

После пережитых за последние дни волнений Бьяртур твердо решил относиться ко всему хладнокровно; нет, старосте не удастся вывести его из себя.

— Да, дорогой Йоун, — сказал он сострадательно, — ты ведь без шуточек ни на шаг.

— Я не понимаю, чего ради тебе мучиться и цепляться за этот несчастный хутор? Две жены твои на том свете, скот пал, почти все дети умерли. Ну на что это похоже?.. И вот там стоит бедняжка Соулбьерт, или как там ее зовут, уже взрослая, но язычница и неграмотная, а насчет ее конфирмации никто еще и не подумал, — сказал староста.

— Вот тебе и на! — ответил Бьяртур. — С каких это пор ты стал таким ревнителем христианской

веры? Видно, подходишь к тому возрасту, когда надо подумать о душе.

— Это не твоя забота. Христианская вера всегда была мне опорой, вот почему я требую, чтобы она была и у других: иначе они не захотят признавать над собой власти закона. Изображение Христа всегда висело в моей комнате, я получил его от своей покойной матери…

— Да, и портрет русского царя, — вставил Бьяртур.

— Да, и портрет царя. Могу только сказать, что царь был весьма почтенным правителем, он всегда хорошо правил своими подданными. И подданные эти, по крайней мере, не были упрямыми язычниками вроде тебя, — из тех, что навлекают на свою голову всевозможные напасти, в виде чудовищ и привидений.

— Хм… — хмыкнул Бьяртур, — вот Греттир сын Асмунда не был таким уж набожным, однако за него мстил весь юг до Миклагарда и был он назван самым великим человеком в Исландии.

Староста не соблаговолил ответить на эти вздорные и неуместные речи, он вынул жвачку изо рта и решил улечься спать, — поговорим, когда проснусь, — поднял ноги на кровать и повернулся лицом к стене.

— Подбрось-ка в плиту несколько навозных лепешек, Соула, дорогая, — сказал Бьяртур и вышел во двор.

Снег повалил сильнее, а день все тянулся и проходил кое-как, а может быть, и никак, — с бесконечным снегопадом и спящим в ожидании судьи старостой.

Самое неприятное в коротких зимних днях — это не темнота; может быть, еще неприятнее то, что эта темнота не так непроглядна, чтобы забыть бесконечность, символом которой является зимний день, — ту бесконечность, что сродни разве только правосудию, и наполняет мир, как правосудие, и неумолима, как оно. Зима и правосудие — две сестры; весной, когда светит солнце, лучше всего понимаешь, что и то и другое — зло. Сегодня — самый короткий день. Возможно, что те, кто переживет этот день, будут спасены. Как бы там ни было, надо надеяться на это. Сегодня — день справедливости, день правосудия. Маленькие люди на маленьком хуторе ждут того правосудия, которое наполняет мир, но лишено способности понимать. Правосудия, справедливости потребовал отец. Справедливость на стороне отца, заготовляющего сено для своих овец, — ведь овцы сама справедливость.

Пусть мать похоронена и дети тоже на кладбище, но для Бьяртура вся жизнь — в овцах, и только в овцах. Из тех ли он, кто заботится, кто думает о душе, или из тех, кто возлагает надежды на мятеж, и правосудие — враг его? Ведь он недостаточно умен, чтобы завоевать мир. А правосудие глупо по самой природе своей. Да и злое оно; нет ничего злее. Достаточно только послушать, как спит староста, чтобы это понять. Достаточно понюхать оладьи, которые пекут для жрецов справедливости.

Сын Бьяртура выходит и закрывает за собой дверь.

Староста все еще спит, громко храпя. Кажется, что этот пожилой человек с резко очерченным сильным лицом ни разу не вздремнул за всю жизнь.

— Соула, девочка, не найдется ли у тебя кусочка грудинки для старосты, когда он проснется? Ведь в Летней обители не нужно экономить мясо этой зимой, все бочки и кадки прямо-таки ломятся от лакомых кусков, которых никто не захотел купить, — это, видите ли, падаль! Какая же это, к черту, падаль? Ничего общего с падалью! Лишь глупость и предрассудок поставили на мясе это клеймо. Но теперь во всем разберется правосудие.

Где Хельги?

Да, где Хельги? Разве не было его здесь, в комнате, совсем недавно? Он придет, сегодня его черед смотреть за лошадью. А староста и не думает просыпаться. Ну, это не наше дело, — пусть себе спит, сколько хочет, старый хрыч. Ведь судья не сунется на пустошь в этакую погоду, все вокруг черным-черно, валит снег, ни зги не видно. Если выглянуть за сугроб, который намело у дверей дома, то покажется, будто мир исчез, — нет ни красок, ни линий. Кажется, что ты ослеп или спишь глубоким сном.

— Куда девался этот мальчишка? Гвендур, сбегай вниз и посмотри. Вряд ли он ушел далеко от дома.

Все наелись, и Бьяртур сам вышел поискать мальчика. Тут проснулся староста и сел в кровати, всклокоченный, протяжно зевая.

— А? — сказал староста.

— Наш Хельги… — сказала Ауста Соуллилья. — Мы не знаем, куда он делся.

— Хельги? — спросил староста.

— Да, — сказала она. — Хельги, мой брат.

— Ага, — отозвался староста, еще не совсем очнувшись, и принялся искать табакерку. — Твой брат Хельги. Послушай-ка, бедняжка, — приба-

вил он, — надо бы тебе сказать Бьяртуру, чтобы он продал хутор. Ты можешь прийти к нам, когда захочешь, тебе и разрешения надо спрашивать. Твои губы ну точь-в-точь как у моей покойной матери.

— А? — отозвалась девушка.

— Тебе, должно быть, пошел шестнадцатый год? Да, ей минуло пятнадцать, месяц назад.

— Конечно, это позор, но что же делать? Нам надо было взять тебя сразу же. Вот что я хотел спросить: это не рыба у тебя там, девочка?

— Нет, мясо.

— Да, верно, в Летней обители на это рождество вволю мяса.

— Я напекла тебе оладий, — сказала она.

— Ну их, — сказал староста. — Я давно уже не ем таких вещей. Я лучше проглочу кусочек мяса. Как это похоже на чертова судью — заманить меня сюда, а самому остаться дома и преспокойно храпеть в своей кровати! Я вижу, что мне сегодня вечером отсюда не выбраться.

Но Ауста Соуллилья слушала рассеянно, она не понимала, куда делся Хельги, ее охватило тяжелое предчувствие, близкое к страху, так что она даже забыла о старосте. Она вышла через люк и забралась на сугроб у дома. А староста остался

сидеть в комнате, со старухой и младшим братом; он рассматривал свой табак, потягивался, чесался и зевал. Время шло, и ему показалось, что надо же в конце концов поговорить и со старухой.

— Ну, дорогая Бера, — произнес он наконец, — какого ты мнения обо всей этой проклятой чепухе?

— А? — сказала она.

— Не кажется тебе, Бера, что и небо и земля взбесились?

Нельзя сказать, чтобы он был неласков со старухой, но, казалось, ответом не очень интересовался: не успел он кончить, как начал громко и протяжно зевать.

— О, мне уже не приходится много думать и говорить, но я всегда знала, что это рано или поздно случится. Или еще что-нибудь похуже. Кто-то орудует на хуторе. Не божьи ангелы, нет. Никогда не были ангелами и никогда не будут.

— Да, никогда не были и никогда не будут, — сказал староста. — А ты ничего не имела бы против, если бы тебя устроили на хорошем хуторе, в поселке… Если только судья хоть раз докажет, что он на что-нибудь годен, и выставит отсюда Бьяртура именем закона…

— О, если власти примут решение, мне уж мно-

го говорить не придется. И не все ли равно, что со мной будет! Староста знает, мы с покойным Тоурарином жили сорок лет в Урдарселе, и за все эти годы ровно ничего не случилось. Там, в горах, у нас были хорошие соседи. Но здесь всегда что-нибудь да стрясется — не одно, так другое. Я не хочу сказать, что все это делается не по воле божьей… Например, то, что я осталась еще жить, — если это можно назвать жизнью, — а моя бедная дочь умерла, оставив дом и семью, при первой засухе, во время сенокоса… Я не говорю уже о гибели овец прошлой весной. А теперь — новые козни дьявола.

— Да, козни дьявола, — сказал староста.

Старуха продолжала бормотать что-то себе под нос.

— А? — спросил староста.

— А? — повторила старуха.

— Да, я хотел спросить, что ты думаешь об этом, — сказал староста, — об этом привидении, что ли?

— Ну, раз уж староста готов меня слушать, — сказала она, — то я скажу тебе, дорогой Йоун, что в мое время был обычай — очень хороший обычай — брызгать старой мочой на место, где бывало неспокойно, — и нечистый рад был ноги

унести. Да, это его пронимало. Но здешний хозяин и слышать ничего не желает обо всем, что относится к христианской вере. Он, Бьяртур, сам по себе, он, видишь, совсем особенный и всегда был таким. А старинные обряды и обычаи теперь что? Оставлены и забыты, на них плюют.

— Да, — сказал староста, — с Бьяртуром не сладишь. Он упрям как бык. И всегда был таким. Детей надо бы взять у него и отдать в хорошие руки, хотя бы и по решению суда. А что касается тебя, моя бедная Бера, то я уверен в том, что Маркус Йоунссон из Гили согласится взять тебя; он двадцать лет присматривает за стариками. Это безобидный человек, я никогда не видел, чтобы он бил старых людей.

— От меня жалобы никто не услышит, — прошамкала старуха, — все делается по воле божьей. Ведь от меня уж почти ничего не осталось, я и не живу — и умереть не могу. Вот, веришь ли, порой никак не могу вспомнить: кто ж это я такая? Но мне было бы приятно знать, что маленький Нонни живет где-нибудь поблизости от меня, потому что у этого ребенка хорошая голова и хорошие руки, и он не заслуживает того, чтобы скитаться в людях, он еще с пеленок спит здесь в углу, возле меня.

— Хорошо, я поговорю об этом с судьей, если будет решено продать дом.

— Да, староста, конечно, поговорит с судьей о том, что ему покажется нужным, так было всегда. Если бы я могла выбирать, я бы, конечно, хотела поехать в Урдарсель. Но я никогда не ждала от жизни чего-нибудь особенного, даже в молодости. И ничего не боялась, ни людей, ни чертей. И если уж такова воля создателя, чтобы этот хутор был навсегда покинут, то ведь этого все ожидали, — все знают, что это за место. А что будет со мной, дорогой староста, не все ли мне равно? Я слепа и глуха; уже и пальцами ничего не нащупаешь, они омертвели. И грудь высохла. Да, все равно — здесь ли, там ли. Но в Урдарселе были красивые закаты…

Староста смотрел на старуху с недоумением: что тут поделаешь с человеком, который уже не человек! По ее собственным словам — и не жива и не мертва. По правде говоря, староста не знал, как продолжать эту беседу. Он погладил подбородок, зевнул и откусил большой кусок жевательного табаку.

— Не дать ли и тебе, бедняжка? — спросил он добродушно. Старуха долго не могла расслышать и понять, о чем он говорит, пока наконец не сооб-

разила, что он предлагает ей табаку.

— Чтобы освежиться, — пояснил он.

Но старуха вежливо отказалась.

— Нет, нет, нет, — пробормотала она, — мне никогда не был нужен табак. Зачем мне табак? Я и так твердо знаю, что все происходит по воле творца и что все к лучшему.

Глава сорок седьмая
Правая щека

Немного нужно времени, чтобы следы ног мальчика занесло снегом, непрерывно падающим снегом, особенно в пору, когда дни самые короткие, а ночи самые длинные. Эти следы занесет сразу же. И снова пустошь одета гладким белым покровом. И никаких нет привидений, кроме одного, живущего в сердце осиротелого мальчика, пока его следы не занесло снегом. Как чувствует себя человек на следующий день после самой длинной ночи?

Не в первый раз на сердце человеческое — и как будто даже на пустошь — наваливается страх и счастье представляется чем-то невозможным и несбыточным. Зато на хуторе теперь было достаточно мяса — и в круглых кадках, и

в четырехугольных ящиках. В поселке говорят: «падаль». Но какая же это падаль? И все же никто не хотел покупать этого мяса, приходилось есть его самим. Это была обыкновенная жирная баранина, какую заготовляют к рождеству. На этом хуторе еще никогда такой не бывало, — здесь по праздникам ели жесткое, как подошва, мясо старых овец. Щеки у детей порозовели, головы отяжелели, все обмякло от расстройства желудка: мясо за утренним кофе, мясо ко второму завтраку, шкварки — как каша, растопленный жир — как вода. Даже собака еле передвигалась от обжорства. Ну что еще нужно человеку?!

И вот настает рождество.

В тот вечер, когда старуха, задолго до того, как ложиться спать, откладывает в сторону вязальные спицы и говорит Аусте Соуллилье: «Ну, теперь, девочка, можешь помыться», — тогда, и только тогда настает рождество. Халбера думала, что Ауста Соуллилья моется только в этот вечер, да и то лишь после того, как ей прикажут. Сама Халбера уже не моется, она слишком стара. И это — весь праздник? Нет, старуха в этот вечер снимает с себя старую изорванную шаль, достает платок и повязывает им голову. Это черный шелковый платок; его середина еще цела, хотя

он переходил в наследство от бабушки к бабушке и залоснился от прикосновения старых жилистых рук, ласково гладивших его, как частицу мирового богатства или как доказательство того, что это богатство существует. Но это еще не все. Рождество — праздник всех драгоценностей. Надев платок, старуха достает серьги. Серьги — это символ цивилизации на пустоши, они тоже передаются по наследству, из поколения в поколение; они в оправе из дорогого серебра, почерневшего от времени. Старуха вдевает их в уши с бормотанием и гримасами, непременно сопутствующими этой операции. И вот тогда рождество окончательно наступает — начинается праздник.

На этот раз Бьяртур велел приготовить целый бараний бок. Сваренную баранину хозяин осматривает в корыте; бок — жирный, ароматный! Бьяртур не может не выразить своего восторга, несмотря на все события последних дней. Он говорит:

— Да, вот это праздник, это настоящее рождество!

Дети никогда раньше не слышали, чтобы он помянул рождество как что-то особенное, а теперь он сказал, что не у всякого есть такие овцы,

чтобы можно было похвастаться на рождество их замечательным мясом. Дети глотали мясо молча, с угрюмым и равнодушным видом. Теперь их осталось всего трое, и оставшиеся все время думали о старшем брате, который исчез в снегу; весь поселок безуспешно искал его два последние дня перед рождеством. Бьяртур из Летней обители не любил долго раздумывать о своих потерях: что потеряно, того назад не вернешь. Он слегка рассердился на детей за то, что они даже на рождество такие же угрюмые, как и в будни. И вот уже пора ложиться спать; и начинается рождественская ночь с ее беспокойным от болей в животе сном или же совсем без сна.

Поздно вечером, после того как все уже улеглись, Ауста Соуллилья причесывается, греет воду и возится при свете коптилки, а Бьяртур, лежа на кровати, смотрит на нее. Вода понемногу кипит в тишине рождественской ночи. Ауста избегает смотреть в его сторону. Не оттого ли, что она плохая девушка?.. Ах, как случилось, что она вновь невольно думает об этом? Она ведь ничего не сделала; но этой зимой вновь и вновь оживало все то же воспоминание, она связывала его со смертью матери: как будто она, Ауста, была соучастницей преступления и по ее вине отец

покупал матери мало лекарств и не подарил ей пальто… И все же, когда она была маленькой — в ту ночь, в чужом городе, — она ничего дурного не думала. Она просто не могла поступить иначе.

Даже в спокойное время, даже в эту рождественскую ночь, в самой средине зимы, на нее вдруг нападает страх: страх от страха перед тем, чего в действительности не было; страх оттого, что ей не простили чего-то; и это «что-то» стоит, мучительно не высказанное, между ней и им; между ней и чем-то неведомым. Быть может, оба они борются с одним и тем же, сами не понимая — с чем? Каждый наедине с самим собой: он — сильный, она — слабая. Да, между ними лежит необъятное море: жизнь Бьяртура была слишком красиво спета, чтобы рифмоваться с ее неспетой безмолвной жизнью, его смелость с ее нежностью. Даже когда исчез мальчик — тот, который жил и дышал здесь несколько дней тому назад, — отец велел им всем молчать. А она плакала ночи напролет, когда он спал. Быть может, Ауста не так уж сильно горевала бы о смерти брата, но ее мучила мысль, что темнота, в которой он исчез, была так ужасна, так беспросветна; она простила мальчика за то, что он при жизни плохо обращался с ней. Но отец? Как могли они когда-нибудь

понять друг друга — он и она? Ведь он спал, когда она плакала. И что еще хуже — как могли они загладить свою вину друг перед другом, раз они не понимают друг друга? Пусть она снимет с себя все, все одежды — и сколько бы ни мылась, никогда не смыть ей тени этой неясной, непонятной вины перед ним, тени, давившей ее душу и тело. А он лежит, прислонившись затылком к спинке кровати, и с удивлением смотрит, как пар и тени играют с этим молодым телом.

Ее правая щека отличалась тем, что никогда не была одинаковой в течение дня. Она выражала то страх, то ожидание, — как летнее небо с его изменчивыми красками: то солнечным светом, то скользящими тенями. Такая щека — как живое существо, беспомощное в своей обостренной чувствительности ко всему, что совершается внутри и снаружи; как будто у девушки и тело и душа — сплошной обнаженный нерв, который не выносит зла, хотя, может быть, ничего иного в жизни и не встретит. И спасает такую душу только ожидание счастья, а не само счастье. Что сталось бы с этой девушкой, если бы у нее не было злой левой щеки, в которой ясно чувствуется сила, способная сопротивляться злу и бороться с ним?..

Бьяртур позвал Аусту и попросил выслушать его. Да, она не ошибается. Она поднялась и подошла к нему. Он предложил ей присесть. Ауста села. Да, он хочет с ней поговорить. Ведь она уже взрослая, разумная девушка. Ауста ничего не ответила. И Бьяртур сказал без всяких предисловий:

— После рождества я уезжаю. Оставляю вас здесь. Вернусь не раньше пасхи.

Она посмотрела на него большими вопрошающими глазами. Что-то погасло в ее лице.

— Я потерял много овец, — продолжал он. — Как говорит О́дин[37]: овцы умирают.

— Да, — отозвалась Ауста.

Ей хотелось сказать ему многое. Что она и ее братья помогут ему завести новых овец… Но раз он уезжает, что же ей сказать ему?

— Я не жалуюсь, — продолжал Бьяртур. — Ведь многие понесли потери в нашей стране. Пословица говорит: «Пока трава зазеленеет, кобыла околеет». Но я-то сам еще живой. Не думай, что я так уж дорожу жизнью. Но я буду бороться до последнего издыхания.

---

[37] Примечания: 37

О́дин — главный бог в скандинавской мифологии, отец всех богов — асов, мудрейший и старейший среди них. Одина всегда сопровождали два ворона. *(Прим. Л. Г.).*

Она смотрела на него, и сердце у нее сильно билось. Она знала, что он говорит о серьезных вещах. Ей даже трудно было понять его. Трудно двум человеческим существам понять друг друга. И нет ничего печальнее, чем напрасная попытка понять друг друга.

— Я говорил тебе в прошлом году, девочка, — а может быть, это было в позапрошлом, — что я собираюсь со временем построить дом. Что сказано, то сказано.

— Дом? — спросила Ауста; она совсем забыла об этом.

— Да, — ответил он. — Именно дом. Я им покажу, я... — И он прибавил, нежно коснувшись рукой, стиснутой в кулак, ее плеча; — Когда у человека есть цветок, ему хочется построить дом.

Густые каштановые волосы Аусты кудрявились, брови были изогнуты, а за длинными ресницами могли прятаться крупные слезы. Он еще раз посмотрел на ее щеку, нежную и выразительную, и она спросила шепотом, едва дыша, опустив голову:

— Ты уезжаешь?

— Я думаю оставить на тебя все, что в доме и возле дома. Завтра я объясню тебе и Гвендуру, как кормить овец.

Ауста начала плакать, ее страх все возрастал, он стал давить ее, как гора. Она впала в отчаяние и предавалась ему с тем странным, почти сладострастным чувством, которое овладевает телом и душой в минуты полной безнадежности. Она даже не знала, что сказать, ведь в ней говорило отчаяние: пусть она лучше заболеет и умрет, как ее покойная мать, — среди зимы, когда на пустоши лежит снег и лед.

— Я прошу бога, чтобы он послал мне смерть. Не нужно мне жизни, не нужно счастья, даже минуты счастливой… Ведь это же я виновата, что моя мачеха умерла… Я недостаточно о ней заботилась… А бедняжка Хельги так любил ее, что думал о ней днем и ночью. И я слышала, как он сказал в начале осени, сидя на пороге, что он уже мертв… И уж лучше бы я заблудилась в темноте и погибла в снегу на пустоши!.. Я уверена, что так хорошо быть мертвой… Ведь если ты уедешь, отец, мне никто уже не поможет… — И она все продолжала плакать, в отчаянии прижавшись к нему, и ее голова вздрагивала у него на груди.

Сначала Бьяртур не нашелся, что сказать. Он никогда не мог понять, почему люди плачут. Он не выносил слез; порой они даже выводили его из себя… но он не мог сердиться на этот цветок

его жизни, на этого невинного ребенка. Вода и юность — неразлучные спутники… и ведь это была ночь перед рождеством. И Бьяртур опять напомнил ей, что обещал построить дом, — неужели она забыла? Это было осенью, после того как отсюда ушла старая Фрида. Лучше бы она и не приходила.

Но оказалось, что у Аусты вовсе нет желания жить непременно в доме, а не в землянке. Может быть, когда-то, давным-давно, такое желание у нее было, но не теперь. Ей довольно и хутора, если только отец останется со своей Соулой, если только он не покинет свою маленькую Аусту Соуллилью!

— Если я буду здесь одна, отец, после всего, что здесь случилось и что может случиться…

Но он уверял ее, что ничего не случится, за это он ручается. Он знает, о чем она говорит, — она говорит о привидениях. Но он скажет ей то, что часто говаривал своей собаке: что ищешь, то и находишь, кто верит в привидения, тот и найдет привидения. Он решил уехать и наняться на работу, чтобы осенью купить еще овец. В первый раз в жизни он будет работать за деньги. Надо думать, что он получит работу у Бруни, если только Бруни еще жив. Может случиться, что дети вовсе

не останутся одни: во Фьорде есть человек… Но он больше ничего не сказал, так как не хотел обещать слишком много.

— Не горюй, девочка, не о чем горевать. Твоя мать была во сто раз более одинока, когда умирала здесь, в этой комнате, много лет тому назад. Нечего, думается мне, жалеть, что ты родилась на свет божий, по крайней мере, тебе представляется случай испытать свои силы. И с тебя за это ничего не возьмут. А жаловаться уж лучше будем на том свете. Вытри глаза и отправляйся спать.

На этом разговор окончился. Бьяртур сел. Ауста, низко опустив голову, подошла к плите. От плача у нее остался в горле ком, но это не важно. Даже если бы она была знаменитым оратором, если бы язык у нее был из золота, все уговоры были бы напрасны.

Отец лег, натянув на себя перину. За окном лежал синий снег, но на стеклах не было узоров. От плиты шел теплый дух. В кастрюле кипела вода, над нею вился пар. Лежали длинные тени, тускло светил огонек, — была ночь перед рождеством. Не было такой силы, жестокой или нежной, которая могла бы поколебать его решение. Нелегко иметь дело с таким отцом. И все же она никогда не пожелала бы себе другого. Она впала в то вялое,

безразличное состояние, которое наступает после отчаянного плача: точно все в тебе перекипело и поднявшиеся испарения висят в воздухе и давят тебя, как пелена тумана. Она еще тяжело дышала, но слезы постепенно высыхали на ее ресницах, даже волнение улеглось. Она стала снимать с себя чулки, затем нижнюю юбку; машинально клала вещь за вещью на скамейку, не глядя ни направо, ни налево. Теперь как бы она ни поступала, все будет правильно. Она долго стояла над дымящейся водой, склонившись, как деревце. Высокая округлая грудь мягко обрисовывалась в слабом свете лампы, бежали тени от пара; губы опухли от плача, на ресницах высыхали соленые слезы.

Глава сорок восьмая
О чистейшее пламя

Повсюду, где только тлеет искра жизни, человеческие скорби, как и радости, бесконечно разнообразны. Дети, чудом уцелевшие на пустоши, перенесли всевозможные несчастья, большие и малые, настигавшие их и в праздники и в будни. Если ваша мать умирает в один из первых погожих дней лета, если отец уезжает на самое рождество, после гибели старшего

сына, — вы познаете горе все в новых и новых его разновидностях. Маленькое горе заглушается большим. После отъезда отца с особенной силой ощущается детьми их сиротство. Мало кто может заменить отца, но никто не заменит матери. В самой середине зимы дети видят в своем воображении тот летний полдень, когда мать лежала на похоронных носилках в овчарне, среди плесени, а солнце продолжало светить как ни в чем не бывало. И большая муха, освещенная жаркими лучами солнца, ударялась об оконную раму и жужжала, заладив одну и ту же ноту; ее ничуть не трогало то, что на хуторе угасла жизнь, полная любви и муки, и на чердаке воцарилось спокойствие смерти, не имеющее ничего общего со спокойствием сердца.

Сегодня, когда окно запорошено снегом, этот звук, этот другой мир, эта единственная неизменная нота, бездушная и чужая опять оживает в памяти детей. Они вспоминают о ней каждый по-своему, не глядя друг на друга. А небо и обледенелые горы ярко освещены солнцем, и вершины Блауфьедля пылают белым пламенем в этот жгучий морозный день. И кажется им, что жизнь их развалилась — сначала рухнули стены, защищавшие их, а затем и стропила. Безмятежно

спокойная овца, стоящая у проруби, глядит, блея, на замерзшую пустошь; она не может передать людям свой характер. В последний раз покормив овец, оба мальчика уселись на сугробе, они вяло глядели вдаль, и каждый думал о своем… Трудно жить, не имея ни минуты отдыха, но еще тяжелее, когда нет никого, кто бы сказал тебе, что ты должен делать. Младший брат вспомнил про бабушку. Она-то все знает, надо только понять ее слова. Он говорит об этом старшему брату: бабушка заранее предсказывает все, что случится, и, предсказав, продолжает вязать как ни в чем не бывало.

— Да, — говорит Гвендур, — когда ей почти сто лет, то это легче всего. Чем же ей заниматься, если не вязать? Но что же делать нам?

Маленький Нонни думал довольно долго и наконец ответил:

— Нам нужен табак.

— Табак? — удивился Гвендур, не понимая хода мысли брата.

— Да, табак. Тому, кто не понимает творца, нужен табак. Я слышал, как бабушка говорила это старосте.

— Творца? — спросил Гвендур. — Какого творца? Ты, верно, сам не знаешь, что говоришь.

— Я говорю, — сказал маленький Нонни, — что когда жуешь табак, то уж ни о чем не печалишься, хотя бы все шло по воле творца, но не так, как тебе хотелось бы.

— Ты сам уж стал плести что-то непонятное, как, бывало, наш покойный брат Хельги. Лучше бы подумал о том, что вот мы вырастем и поможем отцу втрое увеличить стадо и завести большое хозяйство, как в Редсмири. Будем держать коров и строиться. И мало ли что еще.

— Да, я часто думал об этом, — ответил маленький Нонни, — но когда еще это будет? Иногда я думаю о том, как бы уехать, если, например, ничего не случится за сто лет. Потому что уехать можно, хотя наш покойный Хельги и говорил, что ничего из этого не выйдет. Я придумал много способов уехать. Но если ничего не случится и уехать нельзя будет и через пять, и через десять, и через много-много лет, — то тогда можно сделать, чтобы тебе было все равно, хотя бы ты и не стал взрослым, овец бы не прибавилось и коровы не было бы. Надо жевать табак.

Гвендур Гудбьяртурссон не стал слушать этот вздор и молча ушел.

И новый долгий день занялся над глубокими снегами и маленькими боязливыми сердцами

людей. Братья снова стояли на том же сугробе. Вокруг, как и вчера, простирались сплошные снега, без единого темного пятна. Гвендур Гудбьяртурссон без обиняков сказал брату:

— Послушай, Нонни, ты украл табак, что был оставлен для ягнят с прошлого года? Он лежал в ящике со всяким хламом, около двери.

— Мне показалось, — ответил Нонни, — что ты вчера отказался от табака. Почему тебе захотелось его сегодня?

— Если ты сейчас же не дашь мне его, я тебя поколочу, — заявил Гвендур.

В сугробе началась драка, пока наконец старший брат не вытащил из кармана Нонни кусок заплесневелого жевательного табака.

— Ты что же, решил съесть его один, обжора?

Наконец они помирились и начали нюхать табак, пробовать его языком и причмокивать. Они договорились поделить его по-братски между собой и съедать не больше чем одну плиточку в день, пока он еще есть. Но к концу дня они почувствовали себя очень плохо и еле дотащились наверх, с болью в животе. Их рвало, голова кружилась. Аусте Соуллилье пришлось раздеть их и уложить в постель. Но как она ни билась, они ни слова не проронили о том лекарстве, от которого

делается легко на душе, если даже все происходит по воле божьей, но не так, как тебе хочется.

Как не помнить Аусте Соуллилье, которая сидит и расчесывает пряжу, об этих вечерах, так удлиняющих уходящие дни? Она пытается вспомнить, как вчера утром скрипела лестница, когда отец в последний раз спустился с чердака, как зазвенели удила старой Блеси, когда отец надел на нее уздечку и сел верхом, положив поперек седла свои ящики, и как заскрипел под копытами лошади твердый мерзлый снег. Этот отъезд — как первая часть саги. Она долго перебирает все его подробности, чтобы потом еще с большей радостью думать о возвращении отца домой к пасхе. Возможно, что пасха будет «красной»[38], так как рождество было «белым»[39]. И потом, после того как пройдет много-много вечеров, она услышит снова во дворе звяканье удил, он снимет уздечку, и вновь загрохочет лестница под его ногами, — и она увидит, как его лицо и сильные плечи появятся у края люка… И это будет он! Он приехал! Она летит навстречу этому видению будущего

---

[38] Примечания: 38

…пасха будет «красной» — значит, что земля уже не будет покрыта снегом. *(Прим. Л. Г.).*

[39] Примечания: 39

«Белое» рождество — то есть снежное. *(Прим. Л. Г.).*

через неисчислимые бесконечные вечера; в последнюю минуту она чувствует, что в состоянии сделать этот прыжок, и она стоит одна лицом к лицу с бесконечными вечерами, которые должны прийти и пройти, как толпа мертвых проходит через душу живого человека. Так мало надо, чтобы утешить живое существо, чтобы ему было чем жить, — но ей, Аусте, нечем утешиться.

— Ну, а когда этот праздник кончится, что будет тогда, бабушка?

— А? — говорит бабушка. — Разве еще что-нибудь будет? Я думаю, что больше ничего не будет, к счастью.

— Но ведь после Нового года должно же что-нибудь быть, бабушка? «Я хочу сказать, какой-нибудь праздник, поближе к пасхе», — добавила она мысленно, но не посмела сказать.

— О, я думаю, что больших праздников уже не будет. Ну, через неделю крещение; но это вовсе не большой праздник. Нет, большие праздники будут нескоро.

— Да, крещение. — Ауста Соуллилья как раз и хотела это узнать. Праздники — они как ступеньки в будущее, и, считая эти ступеньки, легче забыть бесконечные будничные вечера. — Да, крещение, а дальше?

— А потом скоро наступит месяц Торри. «Месяц Торри», — подумала девушка с тоской, потому что он напомнил ей о снежных вьюгах с морозами и оттепелях, которые чередуются друг с другом и поэтому от них мало пользы. Оттепель, которая сменяется морозом, мороз, который сменяется оттепелью, — и так век за веком.

— Нет, бабушка, не месяц Торри, не он, я имела в виду праздники. Праздники…

— В мое время мы замечали, какая будет погода в день святого Павла и на сретенье. Но тогда больше придерживались старых обычаев.

Ауста Соуллилья ждала среды на первой неделе великого поста: ей помнилось, что тут уж недалеко до пасхи, — но до пасхи оставались еще ни больше ни меньше, как месяц Торри и месяц Гоуа. А затем будет семь недель поста! Семь недель! Кто вынесет это? Ауста все же приободрилась и затаила надежду, что когда наконец кончится семинедельный пост, то сразу будет пасха.

— О, мне кажется, до этого еще будет масленица.

— А затем, бабушка, наступит великий пост, и тогда уж до пасхи рукой подать.

— Пожалуй, — ответила бабушка и опять опустила голову и посмотрела сбоку на спицы. — В

мое время пост начинался со среды на масленице.

— Какой пост?

— Ну, самый великий пост, дитя мое. Да, когда тебе идет шестнадцатый год, то кажется, что пасха наступает после первой недели великого поста… В мое время ты бы прослыла дурочкой, если бы не знала, что такое великий пост и какие за ним идут праздничные дни, — например, благовещение.

— Ну, а страстная пятница, — сказала девушка, — ведь она когда-нибудь наступит?

— О, думается мне, что раньше будет еще месса Магнуса[40], — сказала бабушка, — и великий четверг.

На этом попытка молодой девушки сделать пасху главной темой беседы закончилась. Она сдалась. Она совсем заблудилась в дебрях календаря и потеряла ориентировку. Пряжа в ее пальцах стала влажной, на каждой нитке образовались узлы, которые невозможно было распутать.

Почему молодых людей не может утешить мысль, что все придет со временем, когда того

---

[40] Примечания: 40

Месса Магнуса служится 16 апреля по оркнейскому ярлу Магнусу Святому, умершему в 1115 г. *(Прим. Л. Г.).*

захочет творец?

— Большие праздники не всегда самые лучшие, — сказала бабушка добродушно. — Я хорошо помню, что покойный отец однажды и троицын день выпустил корову, чтобы она могла пощипать увядшую травку, что торчала из-под ледяной коры. Мы укрыли ей спину одеялом и подвязали вымя тряпкой. В мое время бывало нередко и так, что на Иванов день шумела метель.

Глава сорок девятая
Лучшие времена

Что это? Звяканье удил? Не звенит ли это лед под копытами? Не Блеси ли фыркает в темноте, в снегу? Ну да, конечно. Они быстро спустились с чердака и по ходу, прорытому в снегу, поднялись на вершину сугроба.

— Есть здесь кто-нибудь?

— Слава богу, — прошептал кто-то в темноте, совсем рядом с ними. — Значит, лошадь все-таки нашла дорогу. Я здесь. Подойдите поближе.

Дети подошли и увидели, что на снегу стоит человек. Он протянул им холодную руку; и он и они одинаково обрадовались, увидев друг друга.

— Это дверь в дом? — спросил незнакомец.

— Нет, — сказали дети, — это лаз в сугробе.

— Пожалуйста, проводите меня поскорее, — сказал незнакомец. — Мне кажется, что я заболел. Не понимаю, как это я не замерз на пустоши: я попал в такую ужасную пургу.

Пока Гвендур устраивал старую Блеси в хлеву, дети повели незнакомца в дом через лаз в сугробе и помогли ему войти.

— Не так быстро, — сказал он. — Мне ведь приходится опираться на палку.

Незнакомец вскарабкался по лестнице, поздоровался со старухой, и вот он стоит дрожа, весь съежившись, возле люка. Для поездки в горы он был плохо снаряжен, — ясно, что это городской житель. Он сказал, что совсем замерз и, может быть, даже заболел воспалением легких. Позднее они часто вспоминали: как странно, что, увидев его в первый раз у края люка, они приняли его за старика. Потом он оказался совсем молодым. Ни одно его движение, ни одна пуговица на его одежде не ускользнули от их жадных глаз, все так изголодались по событиям в этом отрезанном от всего мира доме, среди бесконечной снежной пустыни. Да, на нем даже городские ботинки, — должно быть, это человек знатный. Бабушка первая очнулась и решила спросить, откуда он

явился.

— Снизу, с фьордов, — сказал он.

— Уж это я соображаю, бедняга, — отозвалась старуха. — Соула, голубушка, помоги ему снять верхнее платье и чулки, да поскорее приготовь чего-нибудь горячего. Ты не откажешься здесь заночевать?

— Да, к счастью, мне не надо ехать дальше, — прошептал незнакомец. — Да, да, — шептал он, как будто это была тайна; чувствовалось, что он не в силах даже с места сдвинуться.

Ауста Соуллилья надеялась, что у него не будет воспаления легких: она боялась, что не сумеет ухаживать за ним. На нее возложена такая большая ответственность — ей доверено все и в доме и за домом; и вот в первый раз у нее гость. Если бы она только знала, что ей нужно сделать для него, что предложить, какие слова сказать ему. Наконец он прерывает молчание и шепчет:

— Нет, сюда и не дальше. Меня послал Гудбьяртур Йоунссон, который, разумеется, шлет вам привет, хоть он и забыл об этом упомянуть. А я — учитель; я должен пробыть у вас всю зиму. Мне самому не верится, но все же это так.

Он снял свое поношенное городское платье и один ботинок, но не снял другого: нога в нем была

совсем неподвижная, неживая, как будто насквозь промерзла. Ауста чуть было не спросила, почему он не снимает второй ботинок — надо же посмотреть, что у него с ногой. Но она не сделала этого. Может быть, молодой девушке не полагается проявлять заботу о мужчине, даже если она и беспокоится, не отморозил ли он ногу? Гость улегся в кровать и попросил Аусту Соуллилью накрыть его чем-нибудь. Она никогда раньше не укрывала мужчину, и сердце у нее сильно забилось, но все же она укутала его до самого подбородка, как, бывало, мальчиков, когда еще нянчила их; только правая нога осталась непокрытой — гость даже не смог подтянуть ее под перину. Ботинок торчал над краем кровати, и девушка не знала, что и думать.

У гостя был высокий лоб, густые волосы, свисавшие на глаза, и правильные черты лица, которое, хотя и было в глубоких складках, становилось все красивее по мере того, как кожа отходила после мороза. Укрывая его, Ауста заметила, что на нем коричневая рубашка. Да, вот опять к ним пришел гость, пришел доверчиво и поселился в их доме. Никто не должен знать об этом, Ауста не будет никого приглашать к себе всю зиму, чтобы об этом не разнеслась молва, — и тогда его не

отнимут у нее, как отняли одного гостя, когда она была маленькой.

— Какие новости? — спросила бабушка.

И тут гость начал говорить о непостижимых путях судьбы, которая посылает больного человека в подобные опасные путешествия глубокой зимой. Это его-то, который прожил десятки лет в шумных городах, в чудесном тепле отапливаемых печами комнат.

Да, да, — сказала старуха, — о них, об этих печах, говорят разное. Я ни разу в жизни не видела такой печи и ни разу ничем не болела за всю свою жизнь, если не считать того, что как-то ночью захворала крапивницей; мне как раз пошел пятнадцатый год. Но поутру я встала и взялась за работу. А все из-за свежей рыбы, которую мальчики выловили в ближнем озере… Это произошло у нас на юге, откуда я родом.

Гость не отвечал и молча раздумывал о жизни этой удивительной старухи, которая ни разу не хворала за последние шестьдесят пять лет и ни разу не видела печки. Наконец он ответил ей, что если хорошенько подумать, то, быть может, пламя, горящее в печи, — этот признак мировой цивилизации, — и есть то самое пламя, которое лишь разжигает неугасимые муки сердца. Да еще

вопрос, не полезнее ли даже и для тела холод, чем пламя печей, созданных цивилизацией. Правда, когда смотришь на мир, то видишь, что в нем много прекрасного, — например, шумящие леса Калифорнии или позолоченные солнцем пальмовые аллеи на берегах Средиземного моря. Но чем ярче сверкает природа, тем холоднее и черствее человеческое сердце.

— И при всем том, бабушка, — сказал он, — я всегда любил природу и старался взять от нее все, что можно.

— Да, — ответила старуха; она расслышала не больше половины умных слов учителя, а остальное истолковала вкривь и вкось. — Поэтому я не понимаю, что это взбрело на ум Бьяртуру: сам уехал, а сюда посылает добрых людей в такую непогоду.

— Не беспокойся обо мне, бабушка. Настала для меня пора немного отдохнуть от болотных огней цивилизации, — кротко сказал он. — Я долго был в большом мире и смотрел на океан человеческой жизни. Когда человек так настрадался, как я, его влечет в маленький мирок, к простой и счастливой жизни — такой, как в этом доме. Однако не всем удается попасть сюда, — мир неохотно выпускает свою добычу. Когда я был в горах, то

думал, что мне уже пришел конец, — как, знаешь, пишется в книгах: бежал от недругов, а попал в руки еще худших недругов, так сказать, из огня да в полымя. «Ну, — думал я, — заболею теперь и умру». Но вот идет милая девушка, цветок жизни, и несет мне кофе, — и вижу я, что мне еще надо пожить немного. Нет, бабушка, человек никогда не бывает настолько несчастлив, чтобы удача ни разу не улыбнулась ему, прежде чем он умрет. — Он с благодарностью приподнялся на кровати навстречу прелестному цветку жизни и взял кофе из рук Аусты.

А обутая в ботинок нога свисала с кровати, как палка; и мальчики не могли отвести глаз от этой необычной ноги: она казалась им самым верным признаком знатности этого человека. Ауста, подавая гостю кусок ржаного хлеба с тресковым жиром, посыпала его сахаром; она никогда ни для кого не делала этого, разве изредка, тайком, для себя. Такое лакомство казалось ей верхом роскоши. Учитель сказал, что никогда не пробовал ничего более вкусного.

— Слава богу, — добавил он, — есть еще на свете девушки, которые могут краснеть, — потому что она краснела всякий раз, когда он благодарил ее. Неужели он действительно благодарен ху-

денькой девочке в поношенном платье с дырой на локте? Это он-то, который видел океан человеческой жизни! Как снисходительны великие люди! Ауста твердо решила угождать ему во всем — ведь он пришел к ним через снежную пустошь, из шумящих лесов Калифорнии и позолоченных солнцем пальмовых аллей Средиземного моря для того, чтобы учить их. Ей всегда было так мучительно просыпаться по утрам, а теперь она с радостью поднималась спозаранку и пекла ему оладьи к утреннему кофе. Нельзя, конечно, сказать, что на его лице всегда светится улыбка, даже тогда, когда губы не улыбаются. И не удивительно — этот гость пришел к ним зимой, а тот, улыбающийся, — летом. Глаза у него были умные, серьезные, в них светилось добродушное веселье, и они глубоко заглядывали ей в душу. Казалось, эти глаза могут разгадать все загадки души и тела; в минуту печали непременно вспомнишь о них, веря, что они утешат тебя. Нет, она уже не смущается, хотя и краснеет немного. Она даже решается спросить его об отце.

— Да, милая моя, — сказал он, — это настоящий викинг. И оказывается, у этого викинга есть маленькая бледная девочка с каштановыми волосами. Это мне и в голову не приходило.

— Я надеюсь, что у Бруни нашлась для него работа? — спросила старуха.

— О нет, — отозвался учитель. — Как бы не так! Миновали дни, когда купцы были монополистами и всем заправляли. Теперь мы наконец достаточно созрели, чтобы пользоваться благами демократии.

— Бредни, — сказала старуха.

— Теперь главный воротила — Ингольв Арнарсон Йоунссон, бабушка, — сказал гость. — Те, кто наживался на вдовах и сиротах, наконец получили по заслугам. Настал другой, новый век, он порождает бурные споры и смело бросает вызов прошлому: он требует справедливости для бедных и угнетенных, он чувствует себя свободным, великим и сильным, как говорится в «Оде новому веку». Власть перешла в руки тех, кто подводит под торговлю здоровый фундамент. В канун рождества Тулиниус Йенсен сел на пароход и уехал. Мы боролись за те принципы торговли, которые проносит Ингольв Арнарсон, и мы победили. Он вернулся в Исландию ил чужих стран, где усвоил гуманные идеалы передовых экономистов; ему удалось облегчить положение тех, кто попал в кабалу к купцам, он предоставил кредит даже таким беднякам, которым целые годы отказы-

вались давать хотя бы горсть ржаной муки. Мы помогли ему завоевать положение. Я знаю отца многочисленного семейства, который бедствует и голодает оттого, что ого влечет к литературе, к книгам иностранных ученых. Ингольв Арнарсон послал ему осенью бесплатно бочонок соленой баранины и большой ящик с разными бакалейными товарами. Что вы на это скажете? Далее он достал ему работу на бойне на две недели. А ведь в наших местах много безработных, которым остается только торчать на перекрестках и играть на дудке. И все потому, что они мирились с самовластием купцов и думали, что все их спасение в этих пиявках, которые высасывали из них все соки. Да, бабушка, Ингольв Арнарсон — великий человек, да и ловкий: он сумел весь мир обвести вокруг пальца, — прежде он занимал важную должность на виду у правительства, но отказался от нее и поставил на карту свою жизнь и репутацию во имя угнетенных. Ведь власть имущие не очень разборчивы в средствах, чего только не пишут они в газетах о тех, кто становится на сторону бедных. И все-таки нам удалось добиться, чтобы он поселился в доме Бруни. Гудбьяртур Йоунссон из Летней обители, когда я видел его в последний раз, перевозил

мебель Ингольва Арнарсона в дом с башнями. Насколько мне известно, Гудбьяртур получил работу на складе потребительского общества.

— Да, знаю, — сказала старуха. — Так уж повелось, что один приходит, другой уходит. Многие поносят купцов. Конечно, трудно удержать деньги, на которые все зарятся. Новая-то метла всегда чисто метет, а старую все ругают. Многих купцов я пережила, мой милый…

Учитель спохватился, что не стоит слишком увлекаться деталями, когда говоришь с древней-предревней старухой, и закончил беседу замечанием, что хотя и поздно, но все же солнце справедливости взойдет. Теперь для всех нас наступят лучшие времена.

— Да, теперь для всех нас наступят лучшие времена! — Это был его припев, который прозвучал как новая, светлая мелодия в темной музыке зимы, чтобы согреть сердца, озябшие от ее холодного дыхания, придавленные законами неумолимого календаря.

И вот оказалось, что праздники уже никого не интересуют и табак уже не является единственным утешением, когда творец, решения которого так непонятны, посылает тебе горе.

Затем он распаковал свои пожитки и позволил

детям стать полукругом поодаль и смотреть.

Из мешка он вынул прежде всего свои личные вещи — те, что крепчайшими узами привязывают человека к жизни или по меньшей мере делают ее сносной. И что же это были за вещи? Залатанная рубашка и один-единственный заштопанный носок! Он взял в руки эти предметы с таинственной серьезностью, будто они обладали какими-то волшебными свойствами, и засунул их, не говоря ни слова, себе под подушку. Так великие люди проявляют себя в малом. Дети смотрели, как эти две вещи исчезли под подушкой. Затем появились предметы, предназначенные непосредственно для самих детей, — учебные принадлежности, которые гость привез им по долгу службы. Любовно погладив четырехугольный пакет, он сказал:

— Да, мои хорошие дети, сейчас вы увидите: в этом пакете скрыта мудрость мира!

Так оно и было: в пакете оказались новые, пахнущие краской книжки; каждая была завернута в яркую глянцевитую бумагу и перевязана белой бечевкой; книжки были всех цветов радуги, с картинками на обложке и внутри, с самыми невероятными рассказами. Одна была о неизвестных породах зверей, вторая о чужих народах и умер-

ших королях, третья о разных странах, четвертая о трудной науке чисел, пятая о долгожданном введении христианства в Исландии, — все-все, чего жаждет душа. Новехонькие книжки, прямо из лавки; чего только из них не узнаешь!

— Все эти знания поднимают человека на более высокую ступень, изгоняют из его жизни мрак и уныние. Да, теперь для всех нас наступят лучшие времена.

Им было разрешено потрогать каждую книгу, но только кончиками пальцев: ведь книги не терпят грязных рук.

— Прежде надо все книги обернуть бумагой, нельзя пачкать переплеты, трепать корешки. Книги — это самое дорогое, что есть у народа. Они спасли жизнь народу во времена монополии[41], эпидемии и извержения вулканов, не говоря уже о глубоких снегах, которыми большую часть года заносило рассеянные по всей стране дома, — и так из года в год, на протяжении тысячи лет. И это хорошо знает ваш отец, хотя у него упрямая баш-

[41] Примечания: 41

…во времена монополии. — С 1602 по 1781 г. право монополии на торговлю с Исландией принадлежало Дании. В 1781 г. монополия была частично отменена и только в 1854 г. была отменена совсем. В связи с этой монополией цены на вывозимые из страны товары были очень низкие, а на ввозимые — непомерно высокие. Монополия способствовала неограниченному произволу датских купцов в Исландии. *(Прим. Л. Г.).*

ка. И вот он послал к вам специального человека с этими книгами. Так научитесь же обращаться с ними аккуратно.

Дети с благодарностью подумали об отце, они были растроганы почти до слез: он уехал, но не забыл о них. Вот какой у них оказался отец! И Ауста Соуллилья сказала мальчикам, что теперь, мол, вы видите сами: у кого еще есть такой отец, который послал бы детям специального человека, чтобы научить их всему?

— Есть тут в книгах что-нибудь о разных странах? — спросил маленький Нонни.

— Да, мой мальчик, о новых и старых странах. О новых странах, что подымаются из моря, словно юные девы, и моют свои драгоценные раковины и яркие кораллы в первых лучах летнего солнца; и о старых — с ароматными рощами и мирно шелестящей листвой, о тысячелетних замках на голубых горах Италии, освещаемых луной, и о белоснежных городах, простирающих свои объятия к спокойному зеленому морю и всегда облитых лучами солнца. Да, как говорит ваша сестра, не всем детям так повезло: не все могут услышать о великих странах от человека, который сам побывал там.

Они еще долго не могли оторваться от книг,

но учитель не разрешил им рассмотреть в этот вечер все картинки сразу, а только по одной в каждой книге — например, вид Рима, огромного, как гора, что над их хутором; и рисунок жирафа, у которого была такая длинная шея, что, если бы он стал в дверях дома, его голова была бы выше дымовой трубы.

И — подумать только! — вечер незаметно кончился; никто не помнил, чтобы вечер когда-либо проходил так незаметно. Дети тщательно завернули книги. Они собирались задать учителю еще сотню вопросов, но он сказал, что на сегодня хватит, — он устал и хочет спать; а они не смели быть расточительными и сразу зачерпнуть слишком много из этого источника мудрости.

Учитель укладывался спать, а мальчики стояли над ним полные благоговения и смотрели, как он раздевается. Только Ауста Соуллилья отошла и села возле бабушки. Свою палку он тоже положил на кровать и покрыл ее периной, — возможно, у палки была душа. Наконец он начал расшнуровывать ботинок на правой ноге; казалось, каждое движение стоило ему больших усилий. Кое-чем он напоминал старосту, а порой — книгопродавца. Ну что за ерунда приходит ей в голову!.. Как сильно он кашляет в платок… Да, все свиде-

тельствует о том, что это человек особенный. А другой ботинок, — что же в нем оказалось? Нога. Но не обычная, живая нога, покрытая белой или, во всяком случае, светлой кожей, поросшая волосами, — нет: особенная нога — темного цвета, отполированная, без мяса и крови, — фабричное изделие. И тут маленький Нонни не мог уже сдержать своих чувств и закричал:

— Да ты пойди и посмотри, что у него за нога, Соула!..

Но Ауста Соуллилья, конечно, не пожелала взглянуть на ногу мужчины: это было бы нескромно с ее стороны.

— Как тебе не стыдно так вести себя, — ответила она, не оборачиваясь. Но она не могла удержаться, чтобы не спросить братьев на следующий день, когда они были в овчарне, что это за нога и что в ней особенного. И мальчики, как только кончили кормить овец, стали рассказывать ей об этой ноге, да и о самом учителе: какой это удивительный человек, и как хорошо будет учиться у него, и как много они будут знать весною, когда обучение кончится. Они говорили о нем без конца. Все, что имело к нему отношение, было интересно и окутано тайной — начиная от его шепчущего голоса и до искусственной ноги

или палки, которая спала рядом с ним, будто у нее была душа. Да, им, детям из Летней обители, привалило счастье: какой человек живет у них в доме! У детей почему-то сложилось убеждение, что именно он отнял дом с башнями у Бруни и передал его Ингольву Арнарсону Йоунссону для того, чтобы бедные люди могли получать в кредит пригоршню ржаной муки. Не странно ли, что знатные и красивые люди, которые приезжают из больших далеких городов, носят коричневые рубашки?..

И вот он лежит в их комнате — он, видевший новые и старые страны, что купаются в лучах утреннего солнца и в лунном свете, видевший так много, так много всего… Если бы только запомнить все, что он говорил, и потом суметь пересказать это… Никто не умеет говорить так, как он. Он лежит здесь, он смотрит на них умными и серьезными глазами, он натягивает на себя перину и отдыхает у них в доме, под их крышей, после трудного и опасного путешествия в горах, — и все это он делает ради них, он — выросший в шелестящих вековых рощах. О, если бы мы могли отплатить ему за все это добром!.. Когда дети пошли спать в этот вечер, им вдруг подумалось, что они могли бы прожить и сто лет

без табака, как их бабушка, и им никогда бы не прискучило каждый вечер раздеваться и каждое утро одеваться. Это было само счастье: с надеждой и радостью ожидать завтрашний день.

— Да, — шептал учитель, — это царство людей простых душою. Как странно, что я попал сюда после того, как побывал на ярмарке тщеславия, в больших городах. — Вздохнув, он прибавил: — Да, да, да, моя нога исходила немало дорог в дальних краях, карабкалась по крутым склонам. Я жил в густонаселенном мире — мире эгоизма, где человеческий дух беспокойно мечется и бьет крыльями, где ледяной холод одиночества подстерегает тебя в болоте повседневной жизни — жизни без целомудрия, без отдыха, без любви. Я чувствую, что теперь мне будет хорошо.

— Ауста Соуллилья, будь добра, поставь возле меня чашку с капелькой кофе — на случай, если у меня разболится сердце ночью. Но я не думаю, чтобы у меня сегодня ночью болело сердце.

Затем мальчики разделись и погасили лампу; мигала только коптилка на бабушкиной полке. Тут девушка вспомнила, что не умывалась с тех пор, как уехал ее отец, и, прежде чем лечь спать, она умылась, украдкой пригладила гребнем волосы и быстро скользнула в кровать, где

спала теперь с Гвендуром. Ее старенькое платье зашумело, когда она снимала его через голову; оно уже совершенно износилось и было ей тесно; снять нижнюю юбку Ауста не посмела, так как стеснялась учителя; так в юбке она и забралась под перину, рядом со своим братом. В это самое мгновенье бабушка погасила коптилку.

— Спокойной ночи, — прошептал учитель в темноте.

Ауста Соуллилья не знала, что ответить на такую любезность, у нее забилось сердце, но после краткого раздумья она прошептала:

— Да…

Гость уже начал всхрапывать, а дети все еще не спали, радуясь предстоящей новой жизни; запах книг все еще щекотал им ноздри.

Мало-помалу мысли у Аусты стали путаться и заплетаться и незаметно соскользнули в какой-то странный, изменчивый мир, — может быть, самый настоящий из всех миров, хотя все в нем казалось неразумным: из труб торчали шеи зверей, а гора превратилась в прекрасную церковь с темными скрипучими лестницами, ведущими на колокольню. Ауста Соуллилья хочет влезть на эту колокольню. Вначале она очень осторожна, она боится, — но раз уж она двинулась в путь,

приходится идти все дальше и дальше, все выше и выше. А лестница все скрипит и скрипит… Она знает, что ее отец находится где-то сзади, и ей страшно: если она повернет назад, то попадет к нему в руки, и он побьет ее. Она все ускоряет шаг, — ей надо первой взобраться на башню. Наконец она совсем задохнулась, она вся охвачена страхом, но ей так радостно бежать одной по темной лестнице, на вершину башни, со ступеньки на ступеньку, проделать весь, весь, весь путь до самой колокольни. Никто об этом не узнает. Вдруг лестница сужается. Ауста задевает за стены, ступени скрипят все сильнее — и страх уже пересиливает радость. О, как это случилось, что она попала в эту церковь, вместо того чтобы спокойно стоять снаружи и ничего не бояться? Ведь отец скоро настигнет ее и даст ей пощечину, если только она не взберется на колокольню раньше, чем он поймает ее. И тут она замечает вверху какую-то щель. Это полуоткрытая дверь, оттуда выглядывает чье-то лицо, оно смотрит на нее. Что это за лицо? Что оно сулит ей — радость? Нет, нет! Ведь это старый, злой, уродливый книгопродавец, у которого столько незаконнорожденных детей, злых и уродливых; он опирается на палку, на нем коричневая рубашка… Где этот безобраз-

ный старик достал себе коричневую рубашку?.. Он ждет ее с книгой в руке: «Сейчас я тебе покажу книгу, новую и очень модную. Загляни-ка в нее, милая фрекен, разве она тебе не нравится?»

Ауста проснулась вся в поту, с влажными руками, охваченная тем необъяснимым ужасом, который сопровождает плохие сны. Этот ужас не проходит всю ночь, а на следующий день от него остается чувство боязни и усталости.

Открыв глаза, Ауста услышала отзвук собственного крика. Она вскочила и глубоко перевела дух. Сердце ее билось, как молот, падающий на раскаленное добела железо. Она провела влажными руками по лбу. Нет, нет, нет, ей ничто не угрожает, это был всего лишь дурной сон. В нескольких шагах от нее спит гость, который пришел для того, чтобы для них настали лучшие времена, чтобы их жизнь стала полнее. Она решила напечь ему утром оладий, чтобы он поправился… Страх ее мало-помалу исчезал. Она прислушивалась к дыханию учителя и желала ему добра. Да, для всех теперь настанут лучшие времена. И Ауста снова легла.

Глава пятидесятая
Поэзия

И засиял свет знания.

Оказалось, что вестники мировой культуры — это не только город Рим и жираф, как дети, может быть, представили себе в первый вечер, но и слон, и Дания, и многое другое. Что ни день — новые звери, новые страны, новые короли и боги, не говоря уж о цифрах, таких маленьких и таких могущественных, с виду мертвых, а на самом деле живущих своей жизнью и имеющих каждая свое значение. Их можно было даже складывать друг с другом и вычитать одну из другой по желанию. И наконец — поэзия, более великая, чем великая страна; поэзия, что высится, как сверкающий дворец. От нее у человека как будто вырастают крылья, его душа парит, как орел, с неба льется свет, шумит ветер.

Дети часто говорили об этом по утрам, когда кормили овец, дивясь, как это в их скучной жизни вдруг появился человек, который не только знает то, что напечатано в книгах, но и своими глазами видел мир, описанный в них, и даже сам

побывал в этом мире. Он не только видел города и зверинцы, но и бродил по лесам, где человек находит радость или по меньшей мере покой; он знает слова, проникающие в самую душу. Если Гвендур довольствовался тем, что размышлял о таких животных, которые полезнее, чем овцы, или пытался перемножить ягнят на овец и вычесть число балок в потолке из числа досок в полу, то маленький Нонни постоянно думал о далеких странах; он только теперь, казалось ему, получил доказательство того, что они действительно существуют, что это не досужая выдумка добрых людей, которым хочется утешить маленьких ребят.

А Ауста Соуллилья? Она мчалась на крыльях поэзии в те края, откуда однажды весенней ночью до нее донеслось как бы далекое эхо, — когда она прочитала о маленькой девочке, перешедшей семь гор; это эхо вдруг прозвучало в ее ушах песней, и в ней девушка увидела самое себя. Счастье, судьба, горе — все стало ей понятно. Когда смотришь на цветок, хрупкий и беспомощный, растущий в пустыне среди сотен тысяч камней, спрашиваешь себя: почему жизнь так упорно пробивается сквозь все препятствия? Не сорвать ли этот стебелек и не прочистить ли им свою

трубку? Нет, не срывайте его: это растеньице тоже думает смутную думу об ограниченности и безграничности жизни и живет, одушевленное любовью к добру, среди сотен тысяч камней, как вы и я. Берегитесь, не вырывайте его: может быть, это маленькая Ауста Соуллилья.

Она рано научилась понимать витиеватый язык скальдов, их песни, и эта предварительная подготовка ей пригодилась. Разница была в том, что эти песни напоминали малоплодородные страны, бедные растительностью, но богатые камнями, — тогда как новая поэзия была наполнена прекрасным дыханием цветов, их печальным ароматом. Учитель читал стихи совсем иначе, чем ее отец; вместо того чтобы делать ударение на рифме, особенно на внутренней рифме, он шептал свои стихи необычайно выразительно, — ведь он сам проник в тайны скальдов; каждая неодушевленная вещь в комнате оживала, у каждой была своя тайна. Когда Ауста проводила рукой по холодному краю кровати, ей казалось теперь, что дерево делается мягким и теплым, будто в нем бьется живое сердце. Учитель знал те слова, которые она пыталась прочесть на облаках, когда в первый раз влюбилась; но тогда она была еще маленькой, могла ли она понимать

облака, — ведь она искала в них то, чего там вовсе не было. Тот, кто в те дни пришел охотиться на их земле, не знал поэзии; он, верно, ничего не понимал в ней. А ведь это самое драгоценное, что есть у человека. Ауста подумала, что, если Одур, дочь Йоуна, и выйдет замуж за этого охотника, она никогда не услышит из его уст поэмы, — и это наполнило ее гордостью.

Правда, лицо охотника казалось улыбающимся даже тогда, когда губы не улыбались, но глаза его не лучились и не сияли, а в голосе не было тех тайных чар, которыми владеет человек; знающий наизусть целые поэмы и умеющий читать их почти шепотом, читать так, чтобы по всему телу шел трепет, чтобы в душе закипали слезы, чтобы оживали мертвые предметы.

Казалось, молодую девушку с далекого хутора больше всего пленит стихотворение о добродетели или, по крайней мере, о жертве, о великих самоотверженных людях, совершивших невероятные подвиги во имя чего-нибудь прекрасного — например, отечества; такие подвиги, которые она сама чувствовала себя способной совершить в ту весеннюю ночь, в прошлом году, когда стояла на пороге дома и мечтала. Но это было не так, совсем не так. Больше всего волновали ее,

вызывая возвышенную грусть и желание обнять весь мир, стихи о том горе, которое ложится на сердце, когда не сбывается мечта, о красоте этого горя; о покинутом корабле, который разбился осенью и лежит на берегу — без руля, без мачт, никому не нужный; о птице, потерявшей оперение, отчаявшейся, гонимой осенним шквалом; об арфе, умолкнувшей потому, что некому играть на ней. Все это было ей близко и понятно. И хотя песня Кольмы с пустоши[42] была без внутренней рифмы, она тут же выучила ее наизусть. Можно ли было представить себе, что ее любимой песней станет песня о том, как девушка и юноша полюбили друг друга на пустоши? Вечером, как только она улеглась в постель, в душе ее зазвенели стихи, посвященные любви, и слезы потекли по ее щекам: она плакала в порыве любви не только над Кольмой, не только над самой собой, но и над всем миром.

Выйди, месяц,
из-за темных туч!
Звездный факел, зажгись!

---

[42] Примечания: 42

Песня Кольмы с пустоши. — Кольма — героиня одной из песен Оссиана, влюбленная девушка, разлученная с любимым и в песне изливающая свою тоску. *(Прим. Л. Г.).*

Озари мне
дорогу туда,
где любимый лежит…

Стихни, вихрь,
не шуми.
Не греми, поток.
Пусть услышит мой зов
и мою печаль
мой любимый.

И Ауста уткнулась лицом в подушку, чтобы скрыть слезы: пусть никто не знает, что она плакала над Оссианом, великому, кроме Аусты Соуллильи, не придет в голову реветь над ним. Но почему же она плакала? Потому что она понимала любовь и пустошь, как Оссиан, потому что тот, кто понимает пустошь, понимает и любовь; а кто понимает любовь, тот понимает и пустошь.

А охотник с берегов Миссисипи… Он изъездил мир. В стихотворении говорится, что он родился в «прекрасной Франции». «Там жили мои благородные родители…» Да, он бродил по всему еноту. Все, чем хороша и мила жизнь, было к его услугам. В детстве он собирал цветы на берегах Сены. Он вырос в Париже, городе чарующего шумного

веселья. Он жил среди любимых братьев, у него были красивые подруги, в тысячу раз красивее, чем Ауста Соуллильи:

Я не забуду ваших глаз прекрасных,
я не забуду ваших нежных губ.

И все же он не находил ни счастья, о котором мечтал, ни покоя, которого жаждал, и Ауста понимала его, она любила его как раз за то, что он не нашел ни счастья, ни покоя; в глубине души она любила его за то, что он бежал оттуда. И теперь он сидит на лесистом холме, там, где Миссисипи с шумом катит свои волны:

Где волчий вой в лесах и щебет птичий,
где от стрелка спасается олень,
где пума-зверь выходит за добычей,
во тьме скользя неслышимо, как тень.

Ауста Соуллилья всегда понимала поэзию по-своему. Например, однажды вечером она разделась, улеглась в постель и прикинулась спящей — как всегда, когда лежала без сна. Она ждала, пока бабушка погасит свет. Время шло. И тут Ауста увидела уголком глаза учителя: он сидел на кровати, подперши щеку рукой, на которую спадали пряди волос. Она всматривается в его

четкий профиль, лохматые брови, ищущие глаза; ей кажется, что эти глаза — сама поэзия с ее пленительной игрой света и красок. Она видит его голую шею, выступающую из ворота рубашки… А он все сидит, неподвижно смотрит в одну точку и думает думу, как в стихотворении:

Из детских грез попавши в мир огромный,
я все моря и все края прошел:
всю жизнь искал душе приют укромный,
и здесь, в лесу, в конце концов нашел.

Гнилая крыша со всеми ее балками превращается в шумящий темный лес с оленями и пантерами, а вой февральской вьюги, наметающей сугробы, — это шум реки Миссисипи. И он, бежавший от прекрасных городов мира, сидит здесь и окидывает взором свою прошлую жизнь:

Увяла роза юности мятежной,
и некогда зеленые листы
покрыла старость пеленою снежной,—
жизнь минула, как минули мечты;
но тени прежних лет мрачат и ныне

покой души, едва я вспомню вновь
и вздор надежд, и бешенство гордыни,
и дружбы ложь, и лживую любовь.

Нет, не герои, и не жертвы, и не добродетели привлекали Аусту, а стихи о желаниях, которые сбылись слишком поздно или вовсе не сбылись, о счастье, которое пришло как гость или совсем не пришло… Она понимала этого человека по-своему, она видела его в сияющем свете поэзии: в лесной тиши он думал свою думу под шум самой глубокой и самой полноводной реки в мире.

Глава пятьдесят первая
Бог

Теперь надо сказать о боге.

Уже больше двух лет как Ауста и мальчики стремились постичь бога, узнать, о чем он думает и где находится: действительно ли он правит миром?

И вот они получили две книги о боге — Библию и катехизис. Был у них и учитель, знавший, очевидно, все самое главное об этом необыкновенном существе, которое выше всех других существ. С самого начала им было очень интерес-

но услышать, как бог создал вселенную, хотя они и не получили никакого ответа на вопрос, для чего он это сделал. Но им было трудно понять, что такое грех, как он появился на свет. Они не понимали, почему женщину так прельстило яблоко: они вообще не могли себе представить, что такое яблоко, — им казалось, что это какой-то сорт картофеля. Еще труднее было им понять всемирный потоп, который был вызван дождем, длившимся сорок дней и сорок ночей, — здесь, на пустоши, бывали годы, когда дождь шел двести дней и двести ночей почти безостановочно, и никакого потопа не было. Когда они начали расспрашивать об этом учителя, он ответил, как им показалось, не без некоторого раздражения: «Ну, я ведь за это не отвечаю!» В Библии говорилось, что однажды бог в сопровождении двух ангелов посетил одного знаменитого человека за границей. Но из этого рассказа не было ясно, как выглядит бог. «Я думаю, что бороды у него нет», — не особенно уверенно сказал учитель. Он лежал на кровати, заложив руки за голову, и рассеянно смотрел в потолок. Маленький Нонни заинтересовался: одет ли бог или он голый.

— Как тебе не стыдно, — сказала Ауста Соуллилья.

Бог послал людям своего единственного сына, этого доброго человека, который рассказывал им притчи и творил чудеса. Но дети каким-то образом связали это с Оулавюром из Истадаля, который вечно интересовался всякими непонятными и таинственными вещами, — что отнюдь не вызывало уважения к нему; а притчи и чудеса и вовсе пропустили мимо ушей — как будто это происходило в очень далеком приходе, который неизвестно где находится. Даже маленькому Нонни, который любил мечтать о дальних странах, не хотелось туда попасть. А когда учитель попытался замять разговор, детям невольно подумалось, что в этих рассказах, наверное, есть нечто не совсем пристойное. Распятие на кресте казалось им чем-то неестественно жестоким, хотя они не имели никакого представления о кресте; они невольно связали этот рассказ с событиями, происшедшими этой зимой, во время рождественского поста, с тем, что даже и назвать нельзя, что бывает лишь в самых ужасных снах, после которых просыпаешься в страхе. Такие сны бывают, когда неудобно лежишь или под тобой сбилась в ком перина; и, проснувшись, смотришь в окно с надеждой, что скоро рассветет.

Ауста Соуллилья с содроганием закрыла книгу:

она показалась ей безобразной; она не хотела, чтобы Нонни, ее брат, читал эту книгу до тех пор, пока не подрастет, — он ведь такой впечатлительный. Она положила книгу на полку.

Так дети и не узнали ни о воскресении Христа, ни о вознесении. Никогда бог не казался им более далеким. Ауста Соуллилья сильно разочаровалась в боге. Однако у нее еще оставалась какая-то смутная вера в него, пока она не начала читать катехизис и раздумывать о прочитанном. Снова и снова пыталась она воскресить из мертвых Христа и задавала нескладные вопросы своему учителю. Но бог от этого не выиграл.

— Молился ли ты когда-нибудь богу? — спросила она однажды.

Учитель долго не хотел отвечать, но наконец выяснилось, что он молился.

— О чем?

Не поднимая глаз, явно через силу, учитель открылся ей: он молился, чтобы бог сохранил ему ногу; в то время он лежал в больнице. Ногу ему отняли.

Ауста Соуллилья сказала:

— Мне кажется, что это красиво — иметь такую ногу, как у тебя.

И в этот день бог перестал существовать. В дру-

гой раз Ауста спросила:

— Тут написано, что бог всемилостив. Он жалеет всех, кто несчастен?

— Думаю, что да, — ответил учитель.

— Тогда он и сам не может быть счастливым.

— Я знаю это, — произнес учитель. И вдруг у него лопнуло терпение: — Тут нет ни слова правды. Это же сплошная чепуха. Это — для слабых духом.

Ауста Соуллилья сказала:

— Мой отец — сильный.

— Да, — согласился учитель. — Он тверд, как утес.

С этих пор они перестали беседовать о боге.

На третий день Ауста сказала:

— Сегодня утром, только я открыла глаза, как вдруг подумала, что бог непременно должен существовать: как могло бы что-нибудь существовать, если бы не было бога?

Учитель прошептал после долгого раздумья:

— Да, что-нибудь такое, пожалуй, существует, но мы не знаем, что именно.

Точка.

На четвертый день она спросила:

— Почему бог допустил, чтобы появился грех?

Казалось, учитель не слышал ее вопроса; он

некоторое время сидел, рассеянно глядя перед собой, — это случалось с ним все чаще и чаще. Наконец он быстро встал, посмотрел большими глазами на девочку и повторил ее вопрос:

— Грех?

Тут на него напал продолжительный приступ кашля — мучительного, глухого, хриплого. Лицо его побагровело, на шее вздулись жилы, на глазах показались слезы. Когда кашель наконец прекратился, он отер слезы и прошептал, задыхаясь:

— Грех — это самый прекрасный дар божий.

Ауста Соуллилья продолжала еще некоторое время смотреть на учителя, но больше ни о чем не посмела спросить его, боясь непредвиденных выводов из размышлений о боге. Кроме того, учитель сегодня особенно тяжело дышал. Ауста встала и незаметно положила свой катехизис на полку, возле Библии.

— Да, — прошептал учитель, — это совершенно неизбежно.

Но и тут девушка не посмела спросить, что именно неизбежно, — лучше не знать о неизбежном, пока оно не наступит. Она продолжала молча думать: быть может, самое неизбежное — это когда два различных взгляда борются в душе человека, пока один из них не победит, подобно

оленю и пантере, которые притаились в лесу, завидев охотника. Под вечер учитель написал изящным почерком письмо, сложил его, написал сверху: «Доктору Финсену» — и заклеил.

— Дорогой Гвендур, — сказал он, когда мальчики вошли в дом. — Если ты увидишь, что кто-нибудь пойдет вниз, попроси его отнести это письмо во Фьорд. Это к старику Финсену, насчет лекарства от кашля.

Вечером Ауста слышала, как учитель вздыхал, зевал и протяжно, жалобно произносил: «Да, да», или: «Ах», или: «О!..». Порой он с отчаянием шептал: «Это ни к чему», или же: «Не все ли равно!..»

Ауста испугалась. Видно, учителю уже надоел их маленький домик с низкими потолками: он понял, что здесь нет никакого счастья и нет даже той невинности, которую он думал здесь найти. Отрывистые слова, которые произносил учитель, пугали ее больше, чем его кашель: с кашлем она свыклась — кашляла ее мачеха, кашляла бабушка с утра до вечера. Ее кольнула в сердце мысль, что ему, наверное, плохо у них, что он хочет уйти от них, покинуть их.

И Ауста спросила, как часто спрашивала свою мачеху:

— Не хочешь ли воды? — Она привыкла предла-

гать воду, если кому-нибудь нехорошо: холодная вода немного освежает.

— Нет, — ответил он; и это слово прозвучало как стон.

Ауста продолжала украдкой смотреть на него. Она ничего, ничего не может сделать для учителя! Что будет, если он уедет? Она делала все, что только было в ее силах: всегда выискивала для него в кастрюле лучший кусок, подавала ему кофе по шесть и по восемь раз в день, так что у нее скоро и кофе не останется, — и все равно это не помогало. Что же ей делать? Он становился с каждым днем все мрачнее, все реже читал им стихи, все с меньшей охотой говорил о мировой культуре, — видно, не мог отделаться от тяжелых дум. Ей очень хотелось сказать ему что-нибудь ласковое. Хоть Ауста была еще очень молода, она знала по собственному опыту, как тяжело чувствовать себя одиноким и как согревает ласковое слово. Но это слово не шло с языка; она отворачивалась от учителя, и глаза ее наполнялись слезами.

Бабушка как-то подошла, еле передвигая ноги, к его кровати и сказала, что у него, видно, плохое здоровье, — она не знает случая, когда здоровый мужчина лежал бы целый день, подложив руки под голову и уставясь в потолок. Некоторое

время он в ужасе смотрел на это старое лицо, не выражавшее ни тени надежды, а лишь одно бесконечное терпение.

— Не хочешь ли табачку? — спросила она.

Но он не хотел табаку; покачав головой, он махнул рукой.

— Садись, бабушка, — прошептал он.

Уже на следующий день после того, как письмо было отослано, он начал спрашивать:

— Вы не видели никого, кто бы шел снизу? Если вы увидите, что кто-нибудь идет, бегите сразу ему навстречу и спросите, не прислал ли мне Финсен что-нибудь от кашля.

По мере того как дни шли, он справлялся об этом все чаще и чаще, порою несколько раз на день, совсем как маленький ребенок. Ауста Соуллилья сочувствовала ему, она много раз на день поднималась на большой сугроб и, прикрывшись ладонью от солнца, смотрела вниз, на поля, — не покажется ли кто-нибудь. Завидев прохожего, она посылала братьев ему навстречу. Но ни у кого не было лекарства для учителя.

И наконец наступило то, чего она опасалась каждый день, с тех пор как заметила его тревогу. Когда она принесла ему кофе, учитель попросил ее посидеть на кровати, пока он выпьет его, затем

отдал ей пустую чашку. Ауста держала чашку на коленях и не знала, вставать ей или нет, — ведь он в первый раз попросил ее сесть рядом с собой. Она не решалась встать, пока он ей не скажет, — он же ее учитель. Наконец он сказал:

— Если завтра ничего не будет от Финсена, мне придется идти самому.

Если бы это был кто-нибудь другой, она бы взглянула на него большими вопрошающими глазами. Что-то в ее лице погасло. Она даже не смеет поднять на него глаза, не отрывает взгляда от чашки, которую держит на коленях. Тяжелое молчание. Учитель смотрит на нее, на ее юные формы, скрытые стареньким полинялым платьем; они говорят его воображению тем больше, чем беднее платье, — она совсем как хрупкий цветочек, который бог создал далеко по ту сторону ледников и затем забыл. Цветок, особенно пленительный среди камней, среди бесконечной бесплодной равнины. Наконец он коснулся ее, как касаются маленького цветка, который одиноко растет за ледниками, среди тысяч камней. Он мягко провел ладонью по ее плечу и спине и на мгновение задержал руку на талии. Когда он снял руку, она наконец подняла глаза — в них было выражение печального и беспомощного вопроса,

как у ребенка, которого побили и одновременно утешили кусочком сахару. Но Ауста ничего не сказала; она только быстро покачала головой, как бы инстинктивно защищаясь, зажмурила глаза и вновь открыла их. Учитель положил свою влажную ладонь на ее руку и попытался заглянуть ей в глаза. Смотришь в ее глаза, пока не перестанешь понимать самого себя.

К ее горлу словно подступил какой-то комок. Она быстро встала, чтобы освободиться от ладони, лежавшей на ее руке.

Разве не понятно было с самого начала, что здесь для него не место? Этот низкий домик, заваленный снегом... Ах, зачем ему понадобилось прийти сюда!.. Зачем он появился здесь? Зачем она заботилась о нем каждый день, как мать о ребенке, засыпала вечером и просыпалась утром с мыслью о нем?.. И все для того, чтобы он ушел? О ком она будет заботиться, когда он уедет?

Глава пятьдесят вторая
Час желаний

Когда маленький Нонни, ликуя, прибежал наверх с бутылочкой лекарства для учителя, Ауста Соуллилья вся засветилась восторгом. Она

посмотрела на учителя с радостным участием и невольно захлопала в ладоши. Но тут же осеклась. Когда она взглянула на него, то не радость прочла на его лице. Он выхватил из рук мальчика пузырек, быстро вскочил с постели и жадно стал рассматривать этикетку, затем засунул пузырек под подушку и спросил, скоро ли будет готова еда. Ауста подложила в плиту хворосту. Наконец она робко спросила, то ли лекарство ему прислали; ей казалось, что от этого зависит все их будущее. Учитель ответил, что сегодня учения не будет и все рано лягут спать.

— Давайте уляжемся пораньше, — сказала Ауста, — чтобы лекарство пошло на пользу учителю.

И они легли спать раньше обычного; только старуха сидела и вязала при маленькой лампе, шамкая что-то про себя, пока ей не захотелось спать. Наконец она потушила свет и отправилась на покой. В это время Ауста давно уже спала и видела сны. Это были такие сны, от которых не хочется просыпаться. Она вновь видит все ту же, ни с чем не сравнимую картину: великолепный лесной ландшафт на старом календаре, затоптанном овцами много лет назад; та же неестественно яркая зелень, тот же лес, возникавший в ее луч-

ших грезах. Она вдыхает аромат дикого тимьяна — такой же, какой иногда несся с гор, особенно по утрам в воскресенье, когда ночная роса быстро высыхает под празднично сияющим солнцем. Она медленно окунается в этот душистый воздух, как птица, парящая над горными вершинами, — неподвижно, без единого взмаха крыльев. В этом сне нет ничего страшного, нет никаких невзгод и огорчений. Она счастлива. Никто за ней не бежит, не настигает ее. Такими счастливыми бывают иногда сны молодости. Ей кажется, будто сама земля под ее ногами или под ее крыльями что-то шепчет ей; что гора, опоясанная скалистыми вершинами, нашептывает ей прекрасные слова поэмы. И она просыпается. Она не знает, долго ли спала, но сон был чудесный. И в сердце ее впервые нет страха, хотя вокруг все темно. Но вот опять до Аусты доносится шепот — это не снилось ей… Да, это поэма. Здесь… в комнате. Это он… читает стихи. Почему же он не спит среди ночи и читает стихи? Она поднялась и слегка кашлянула, и он прочел еще одну строфу.

— Это я, — сказал он.

— Тебе не спится? — спросила она.

И учитель ответил:

Любовь!

в покрове сребротканом,
о, дивная жена,
я вновь
возжаждал в сердце пьяном
тебя и твоего вина,
и кровь
кипит, воспалена,—
во мне Адам проснулся ветхий! —
такая власть тебе дана.

— Что ты читаешь? — удивленно спросила Ауста.

— Это старинная поэма.

— Не встать ли нам? — спросила она, думая, что он, может быть, хочет заняться с ними.

— Время близится, — произнес он, продолжая читать полушепотом. А ей казалось, что он нашептывает что-то ей, Аусте, обращается именно к ней. Это была старинная поэма, она не слышала ее раньше, и он как-то странно читал ее, будто она касается непосредственно ее, Аусты Соуллильи. Она страшно смутилась, не зная, что ей сказать, что делать, — особенно теперь, среди ночи. Ведь стихи полагается читать громко, среди бела дня, хотя постичь их можно только в ночной тиши.

Но как понимать молодой девушке стихи, которые шепчут среди ночи ей одной? Можно ли их принять как песни дня, обращенные ко всем?

Мечты
влекли меня, как к славе,
к тебе, и наконец
черты
лица я вижу в яви
твои, как создал их творец,
и ты,
любви моей венец,
дороже мне, чем Ааронов
бесценный золотой телец.

Нет, должно быть, он читает их только для себя. Должно быть, он считает ее слишком молодой, чтобы понимать такие необыкновенные стихи. Хотя она часто подавала ему кофе и угощала оладьями, она только маленькая девочка; и нет смысла обращаться к ней — только к ней — с такими стихами. Самой-то ей казалось, что она уже большая, взрослая девушка, но Ауста никому не давала этого понять; к тому же она никак не могла себе представить, что кому-нибудь придет на ум упоминать в любовных стихах о теленке,

хотя бы и золотом. При чем здесь теленок? Нет, ото не может быть серьезной поэмой, и не ее он имеет в виду. Что же ему сказать?

Нрав дан
тебе от бога честный,
и весел гордый взгляд,
и стан,
обвитый тканью тесной,
и грудь, и бедра — вешний сад!
Твой ткан
твоей рукой наряд,
прекрасной девы одеянья
на солнце серебром горят.

Нет, слава богу, такая странная поэма не может относиться к ней. Было бы глупо думать, что у нее гордый взгляд, и еще глупее утверждать, что она прекрасная дева. Это, наверное, было написано каким-нибудь скальдом сто лет тому назад для другой девушки. Она никогда не бывала в обществе других девушек: она как былинка, которая одиноко растет среди камней. Ауста всегда была уверена, что другие девушки гораздо красивее ее. К тому же она еще не девушка, а маленькая девочка, — ведь никто не может знать, что на самом

деле Ауста Соуллилья уже большая. Она никогда ни с кем не говорила об этом, только думала так про себя. Что бы, например, сказал отец, узнай он об этом? Ведь она даже еще не конфирмовалась. С каждой строфой Ауста все больше волновалась, она уже не могла больше сдерживаться.

Ты — свет!
Во мраке бури снежной
ты — луч светила дня!
От бед
своей рукою нежной,
любовь, ты защитишь меня.
Согрет
твоим дыханьем я —
и хворь и смерть меня покинут,
бежав от твоего огня.

Почему он все это говорит таким голосом, будто никто не должен слышать эти слова, предназначенные только для одного-единственного человека? Неужели ему неизвестно, что маленькая девочка, о которой еще никто не знает, уже выросла и не может слушать такие стихи среди ночи, — она не выдержит этого, потеряет сознание или, может быть, даже умрет. Он, который

сделал ее мягкой, как воск, он, который так глубоко постиг поэзию и историю, — неужели он не пожалеет ее, беззащитную?

Сама
своей не зная власти,
без слов ты правишь мной.
С ума
готов сойти от страсти,
живу лишь для тебя одной, —
зима
пусть сменится весной,
святилища цветок весенний
раскрой! И будь моей женой.

Ауста в полном смятении вскочила с постели, нашарила спички и зажгла лампу. Тут она спохватилась, что от испуга и волнения забыла надеть юбку. Она торопливо надела ее и разгладила на бедрах. В комнате горит свет — боже мой, подумать только, что он мог ее увидеть!

Она в отчаянии откинула волосы со лба и посмотрела на учителя. Ему стало лучше — он был так бодр, что не мог спать и даже улежать в постели. Он сидел на краю кровати. Щеки его пылали, глаза блестели, и морщины, избороздившие его

лицо, вдруг исчезли, — он походил на юношу. На лице его было выражение почти детской радости. Он сидел с лекарством на коленях и радостно улыбался девушке и свету, который она зажгла. Свет разбудил мальчиков, и они приподнялись, чтобы взглянуть на учителя.

— Вам уже совсем хорошо?

— Да, совсем. И даже больше, чем хорошо. Я счастлив. Я бесконечно счастлив! — сказал учитель и прибавил: — И добр. Бесконечно добр! А все отчего? — Он стал размахивать своим лекарством, как бы бросая вызов всему миру. — Оттого, что сегодня ночью не должно быть никаких страданий. Я их стер с лица земли. И теперь уже нет ни мучений, ни болезней. Сегодня ночью миром правлю я.

Нет больше трепещущих и истерзанных сердец, нет полуголых детей в мрачных хижинах на берегу ручья, исчезающего в песках; овцы мирно пасутся в долине и не страдают от глистов, благородная лошадь самостоятельного человека не гнется под тяжестью груза. Зато есть шумящие леса среди пустынных песков экватора; охотник, олень и пантера на берегах Миссисипи сердечно приветствуют друг друга… Все, чего жаждут ваши сердца, исполнится! Придите в мои объятия, дети

мои, и выбирайте для себя любую мечту, — настал тот час, когда загадывают желания.

Долго дети не могли понять, чему он радуется и не есть ли эта радость продолжение стихов, которым он научил их? Но от его слов сон совершенно слетел с них. Мальчики вылезли из-под перин и подошли к нему, чтобы участвовать в возрождении вселенной. Он посадил их на кровать, обнял за плечи и прижал к себе, произнося отрывки каких-то странных песен.

Эти желания, которые надо было загадать, показались им такой неожиданностью, что они сначала не знали, как им поступить. Они слышали, что в то мгновение, когда надо загадать желание, люди часто теряют дар речи. К тому же люди редко понимают, что этот час уже наступил, — хотя это, может быть, как раз то самое мгновение, которого они ждали всю жизнь. Даже маленький Нонни, который всегда верил, что можно загадать желание и оно исполнится, он — дитя мечты, — даже Нонни, когда наступило это мгновение, спасовал. Ауста же считала, что все это фантазия. Как ни странно, именно Гвендур, трезвый Гвендур, первый очнулся и первый понял, что священный час настал. Он рассуждал совершенно так же, как Хродлогур из Кельда,

который принимал вещи такими, какие они есть, не спрашивая об их природе или происхождении, — и он первый загадал желание.

— Мое желание, — сказал он, — чтобы наши овцы хорошо перенесли зиму и чтобы отец за зиму заработал много денег и к осени купил еще овец.

— Друг мой, — сказал учитель, целуя его, — твое желание исполнится. Овцы будут мирно пастись и приносить двойни; они вернутся в овчарню с лучшими ягнятами во всей округе. Стадо на хуторе увеличится. И в такой же мере увеличится кредит твоего отца во Фьорде. Сюда будет проведена гладкая, как зеркало, дорога, и по ней на пустошь придет мировая культура, а вслед за культурой целой вереницей прикатят большие серебряные монеты. И здесь, на холме, подымется двухэтажный каменный дом, как дворец в сказке, — дом, освещенный самыми мощными электрическими лампочками.

Итак, с первым желанием было покончено. А маленький Нонни решил, что, если даже все это не больше чем сон, все же было бы неосторожно упустить такое мгновенье, — вдруг это все-таки не сон?

Так люди на смертном одре призывают бога — на случай, если все-таки окажется, что он су-

ществует. Какое желание задумать Нонни в этот миг, когда судьба готова исполнить всякое его желание? Некоторые живут только одним желанием — и это счастливцы, ибо одна жизнь может вместить только одно-единственное желание, не больше. Мать в своем страдании вложила в него одну мечту: он хотел увидеть другие страны.

— Какие страны? — спросил учитель.

— Лесистую страну, — сказал он. — Вроде той, где шумит река Миссисипи. Как в песне поется. Там водятся олени, пантеры. Я мечтал о такой стране.

Тогда учитель сказал:

— Подай мне бумагу, перо и чернила.

Он нагнулся над столом и написал письмо крупным размашистым почерком, так что даже перо заскрипело. А мальчуган с удивлением следил за движением его руки и никак не мог понять, во сне это или наяву.

Может быть, все это игра, выдумка? А может быть, эта минута — одна из тех вершин жизни, когда определяется весь жизненный путь.

— Вот, — сказал учитель и движением, полным достоинства, протянул мальчику письмо. — Отправь это письмо во Фьорд при первой возможности. Это волшебное письмо — твое желание

сбудется.

Мальчик с растерянным видом взглянул на адрес. Письмо было адресовано какой-то даме с иностранной фамилией — может быть, живущей в доме уездного судьи. Подробных указаний на конверте не было.

Перед тем как улечься спать, мальчик засунул таинственное письмо на бабушкину полку и ущипнул себя за ухо: не сон ли это? Может быть, завтра окажется, что никакого письма нет?

А поутру, проснувшись, Нонни прежде всего кинулся к полке и стал шарить по ней. Представьте себе — на полке лежал конверт и на нем несколько могущественных слов: адрес иностранной дамы, живущей у судьи. Он захватил с собой конверт и, остановив первого же проезжего, просил его передать письмо по назначению.

Итак, второе желание было загадано. Теперь очередь за третьим.

Учитель сказал мальчикам, что они могут опять лечь.

Когда все уснули, он протянул руку, потушил лампу и обнял Аусту.

Глава пятьдесят третья
Неизбежное

Это было ужасно.

Ничего ужаснее никогда, никогда уже не случится.

Святый боже, спаси и помилуй!
Дай мне силу, господь,
дай мне веру дай мне силу
плоть мою обороть,
и за плотские прегрешенья
иссуши ее, иссуши —
дай душе моей отпущенье
во спасенье души.

Ад кромешный меня поджидает,
смерть меня стережет,
душу грешную огнь обжигает,
язва плоть мою жжет, —
в этом пламени, боже правый,
ты казнишь меня по вине,
грех утробу палит отравой,

страх гнездится во мне.

Ауста стояла у плиты, слушая псалом. У нее были маленькие руки, но огрубелые и посиневшие, с широкими ладонями; суставы были слегка утолщены, но пальцы казались длинными, как у швеи; на большом пальце — набухшая жилка; запястья сильные, как у взрослой женщины. Она выгребла пепел и положила на решетку черные стебли вереска. Тонкие сочные ветви карликовой березы затрещали, как только она поднесла к ним огонь, и Ауста быстро положила сверху лепешки из овечьего помета. В трубу задул ветер, и комната наполнилась дымом.

Да, Ауста уже взрослая девушка; она топит печь. Детство минуло безвозвратно.

Наступил конец марта. В окошке забрезжил свет. Утро было холодное, особенно холодное — после этой ночи. Девушку знобило, и она все время стискивала зубы. Волосы у нее были растрепаны, одна коса расплелась, — Ауста еще не успела причесаться. Старое, тесное платье, которое она надела впопыхах и забыла оправить, пузырилось на талии. Когда Ауста нагибалась, обнажались ее ноги, слишком мускулистые по сравнению с тонкими, неразвитыми детскими коленями, почти грубые, с полными, крепки-

ми икрами. Ауста забыла надеть рубашку; где же она? Чулки не были натянуты, они свисали складками на лодыжки… Но какое это имело значение?.. Аусте казалось, что она вдруг невероятно раздалась, — она, которая всегда была так тонка. Она чувствовала себя, как рыба, которую вспороли и разрезали острым ножом, — да, ножом. У нее болело все — все от головы до пят, и каждое движение отдавалось где-нибудь мучительной болью. Как будто она не только была вспорота, но разрезана на куски, раздавлена. Ей хотелось одного: тихо лежать под толстой периной, чтобы никто не мешал ей спать и спать мертвым сном. Ведь она лишь к утру впала в беспокойную дремоту — и тут же в испуге вскочила. Нет, ничего ужаснее не может случиться, никогда, никогда!

Она даже избегает смотреть на бабушку — и все же видит ее: представляет себе, как она сидит, покачиваясь, с вязаньем на коленях; голова ее трясется, лицо словно исчерчено древними рунами, а глаза беспокойно мигают из-под тяжелых синеватых век; но эти глаза все видят, все знают, они — как сама жизнь, как действительность, в которой есть и бог и дьявол, все то, что надвигается на тебя, когда проходит ночь с ее сновидениями, в которых блуждаешь, как в лесу.

От взлета к небесам, от заветных желаний и грез — к древним бабушкиным псалмам. Задолго до того, как день вступает в свои права, задолго до того, как разгорается равнодушно тлеющий огонек будней, раздается псалом, и от этого псалма пролетевшая минута наслаждения умножается на бесконечную муку, как тысяча умножается на миллион; кажется, что целая жизнь прожита в одну ночь. Ауста чувствовала себя так, будто тело ее разрублено и истекает кровью. Никогда, никогда…

Искушенье меня одолело —
в гневе праведном бог
проклял душу и проклял тело
и геенне меня обрек.
Чашу смерти испить нет мочи,
смерть внушает мне страх.
Что же делать мне, святый отче?—
я погрязла в грехах.

Она старалась подавить кашель, вызванный дымом, чтобы никого не разбудить. Пусть бы никто не проснулся, пусть спят и спят, лишь бы не видели ее, не обращали на нее внимания, не заговаривали с ней. Если бы никогда больше

не занималась заря, если бы вода все стояла, не закипая, если бы огонь не разгорался! Ауста была уверена, что она уже совсем, совсем не та, что была вчера, и, увидев ее, все испугаются и прогонят ее. А братья? Они уже не братья ей, или, вернее, она больше им не сестра. Давно уже знала Ауста, что она не такая, как они; она завидовала им с самого раннего детства, понимала, что они по какой-то таинственной причине выше ее. Чего-то не было ей дано, и вот пришло время расплачиваться за это. Ничего подобного с ними никогда не произойдет, и им так трудно будет понять ее судьбу, что это разъединит их на веки вечные. Нет, никто на всем белом свете не поймет того, что приключилось с ней. Она стояла одна-одинешенька, вне мира, — и это непоправимо, в этом одиночестве она и умрет. Всякая связь с родными оборвалась, для нее теперь начинается другая жизнь. Все оставалось как раньше, изменилась только она. Ни с кем ничего не случилось, только с ней. Отныне день будет ей чужой — каждый день, все дни. И не только чужой — неразрешимая задача, лабиринт, безысходность. Если бы можно было весь век стоять над этой несогретой водой, не дожидаться, чтобы проснулись те, от кого она уже оторвана, с кем ее уже ничто не связывает,

жить — или, вернее, не жить — где-то между бытием и небытием, у чуть тлеющего огня, слушая потрескивание березовых веток, в пасмурном, сером свете раннего утра, не ища объяснения ночным переживаниям, лишь смутно вспоминая незнакомую страшную птицу с хищным клювом, которая только один раз пролетела, хлопая крыльями, над болотом.

Но уже в следующий миг она начала искать объяснение тому, что произошло. Главное — что она сделала? Нет, она ничего не сделала. Она радовалась его радостью, какой-то ток прошел через ее тело, она прильнула к нему, но совершенно невольно — оттого что ток прошел через нее среди ночи, когда он потушил свет. И разве это ее вина? Почему вообще человека пронизывает ток? Это сама жизнь — и тут уж ничего не поделаешь. Разве это запрещено? Но зачем же она тогда родилась? Ничем искра жизни продолжала тлеть в ней, когда она лежала под Гипсом у собаки — теплой собаки, у которой были блохи, а может быть, и глисты? Почему ее отец не взял с собой эту собаку, когда ушел в горы искать овцу? Нет, она не сделала ничего, ничего плохого — с той минуты, как лежала под боком у собаки, до утра. Какой-то непонятный ток пронзил ее…

И все же… Она позволила ему… Почему она позволила ему? Почему она не подумала об отце? Милый отец! Ее резанула ужасная боль, проникшая до самого сердца. Нет, нет, он никогда не узнает, — он, который все доверил ей и в доме и вне дома, который прежде всего научил ее беречь самое себя, который на один короткий миг прижал ее к своей груди…

У нее вырвалось судорожное рыдание. Она никак не могла успокоиться. Слезы текли сквозь ее пальцы и капали в воду, стоявшую на плите. Она прижала локти к бокам, чтобы удержать рыдания. Сегодня ночью он обнял ее, и они были вместе, и ничто не отделяло их друг от друга, и она верила, что это сама радость, и забыла об отце, забыла обо всем на свете… И все же она хотела уйти от этого… но не могла, не могла, не могла. От этого не уйдешь, потому что это сама жизнь. Надо стоять здесь, надо плакать над тлеющим огнем, который ты сама зажгла.

Как под плетью хозяйской сука,
пред тобой я скулю,
протяни мне, господи, руку,
спаси душу мою, молю,
от бесовского наваждения,

от греха, от огня —
дай душе моей отпущенье,
боже, помилуй меня.

Эта вереница благочестивых мыслей, жужжа, проходит где-то позади, словно толпа кающихся грешников, а извечный враг атаковал ее с незащищенного фланга. Целое сонмище врагов, которые выносят ей приговор, ссылаясь на бога. Ее охватила нестерпимая тоска, почти отчаяние. Есть же предел страданиям, на которые обрекает человека христианская мораль. Ауста быстро метнулась мимо бабушки и остановилась у кровати учителя, будто его объятие было верным и священным убежищем. В смертельном страхе она прикоснулась к его щеке, положила свою холодную ладонь под расстегнутый ворот его рубахи… но вместо того чтобы спасать ее, он издал во сне жалобный звук и повернулся к стене; перина соскользнула с него, и он остался обнаженным. Вот где оказалась ее рубашка — она комком лежала возле него. Ауста схватила рубашку и набросила на него перину — все в том же порыве страха и отчаяния: она никогда не видела голого человека. К счастью, не видела и теперь, — ведь сквозь окно проникал такой скупой свет. Что же она сделала?

Кто этот мужчина?

Было уже почти светло, когда Ауста отправилась с братьями в овчарню. Свежий мартовский ветер был ей приятен, и она немножко успокоилась, возясь с овцами и сеном. Но она не решалась смотреть в лицо братьям — из боязни, что они ее не узнают. А учитель все лежал в постели лицом к стене. Ауста зашла, прислушалась — дыхания не было слышно. Она страшно испугалась: уж не умер ли он?

— Не хочешь ли пить? — несколько раз прошептала она. — Кофе горячий.

Нет, он не мертв! Он проснулся, открыл глаза. Ауста очень обрадовалась, хотя он ответил ей только тяжелым стоном, — она надеялась, что это пройдет. Она поднесла ему кофе и помогла сесть.

У учителя было серое, болезненное лицо, поросшее длинной щетиной, волосы растрепаны. Он не смотрел на Аусту. Она села на его кровать, когда он и не просил ее об этом, и провела по его волосам обломком гребня.

— Вот тебе кофе, — тихонько прошептала она, продолжая расчесывать его волосы.

Да, она его причесывала. Это было невероятно. И все же она это делала — делала просто, не задумываясь. Она придвинулась к нему, под-

держивала его, поправляла подушки под его плечами, — все делалось как будто само собой. Вся ее застенчивость исчезла. Она спросила: больно ли ему, не хочется ли ему чего-нибудь? Какое значение имело то, что случилось с ней, по сравнению с тем, что могло случиться с ним.

— Я умираю, — сказал он, глотнув кофе. — Оставь меня, я не заслуживаю этого.

Он не благодарил ее за то, что она причесала его, приняла у него пустую чашку; он со стоном лег, а она заботливо укутала его. У нее пересохло в горле, страшно билось сердце, а он ни разу не взглянул на нее, не сказал ей ни одного ласкового слова, ничего не шепнул.

Так он лежал некоторое время. Она все сидела и смотрела на него нежным и преданным взглядом. Вдруг его губы зашевелились, и он прошептал:

— Боже всемогущий, помоги мне! Боже, прости меня!

Она не могла уйти от этой муки, она все сидела возле него, на краю постели, все прислушивалась к его стонам и вздохам. Лекарство кончилось, склянка была пуста, и, кроме бога, не было никого.

Святый боже, спаси и помилуй!

Воля твоя и власть!
Дай мне веру и дай мне силу,
дай мне духом не пасть.
И на сердце, подпавшее аду,
излей покой и прохладу.

В этот день бог вдруг стал главным действующим лицом на хуторе; и казалось, что они понимают его, — каждый на свой лад. Так вот он каков — бог!..

В этот же день, немного позже, учитель в своем молитвенном порыве превзошел бабушку: ее рифмованные, затверженные молитвы померкли перед его нерифмованным криком души. Он несколько раз садился на постели и широко открытыми, полными отчаяния глазами смотрел прямо перед собой, вытирал пот со лба и вздыхал:

— Боже мой, я погиб! Боже мой, что я сделал… Если ты намерен уничтожить меня — уничтожь сразу и окончательно.

Молодая девушка предложила ему воды: ей почему-то казалось, что холодная вода может исцелить и тело и душу.

Он отпил несколько глотков и опять со стоном лег. Она надеялась, что он заснет. Но когда этого

меньше всего можно было ожидать, он опять поднимался и спрашивал:

— Что я сделал?

Она уже не предлагала ему воды, она склонилась к нему и зашептала:

— Ты ничего не сделал. — И потом еще тише, на ухо ему: — Ты должен был это сделать. Если это нехорошо, то виновата я. Но ничего нехорошего не было, ты не причинил мне горя; можешь опять сделать это, если хочешь. Отец не узнает… Бог вовсе не такой злой, как ты думаешь.

Она обвила рукой его шею, приникла щекой к его лицу и твердо решила идти с ним до самого конца. Чем тяжелее ему было, тем больше она забывала о себе.

Он не отпустил ее руку, даже когда лег: как сладостно прикосновение руки, которая смиряет бурю в твоей душе. Он продолжал смотреть полузакрытыми глазами на лицо, в котором было его спасение, и понемногу успокоился.

Глава пятьдесят четвертая
Когда у тебя есть цветок жизни

Бьяртур всю ночь был в пути. Вышел он в полночь, а к рассвету увидел западный край

пустоши. Было холодное утро страстной недели. Светало, ночь была уже позади. Тысячи шагов, тысячи мыслей — все спуталось, как бывает в долгие бессонные часы, что тянутся во мраке до рассвета. Скоро холодный свет зари прольется на снега пустыни, на скалистые вершины гор, выглядывающие из-под ледяной коры, на блестящие замерзшие следы по дорогам — и все станет золотым. Он смотрит на свои владения, уже не обремененные долгами, приобретенные когда-то, много лет назад, и приветствует свой дом, освещенный лиловым светом зари. После весеннего равноденствия прошло уже две недели. Недели через две начнется лето. Топь еще покрыта тонким льдом., на озере никаких признаков таяния — южная часть пустыни еще вся в белом; над нею высятся синие горы, они стоят в каком-то небесном облачении, словно не имеют ничего общего с землей и со всем земным.

Возле расщелины в горе стоит его, Бьяртура, небольшой дом. Кругом утоптанный снег, а в ущелье, напротив, длинные ледяные сосульки. Отсюда, где он стоит, ясно видны очертания крыши под шапкой снега. Бьяртур снимает свою ношу, кладет ее на землю и стоя озирает свои владения, где живет его маленькая семья и «цветок

жизни», как он неожиданно назвал Аусту зимой перед чужим человеком. Он стоит здесь подобно воину, который отправился в чужие страны, чтобы вести безнадежную войну, и теперь возвращается как победитель, с добычей: с товарами из города и, что всего удивительнее, с кредитом в потребительском обществе.

В этом мире между двумя праздниками могут произойти самые невероятные и неожиданные события. А неожиданность всегда одинаково поражает крестьянина из долины, потому что этот «помощник божий», как выражается фру из Редсмири, скупо одарен даром предвидения и забывает, что от рождества до пасхи земля может перевернуться и упасть кверху тормашками на поверхность моря без предварительного предупреждения и без его разрешения. Купец, с которым Бьяртур из Летней обители вел дела, пользовался его полным доверием. Его богатство — дом, украшенный башней, — не вызывало зависти у Бьяртура. Разве не он твердил: «Какое мне дело, черт возьми, до его дома с башней? Говорят, он высасывает все соки из маленьких людей; но раз этот старый мошенник честно поступает со мной, я большего от него не требую». Таково было его мнение, и никакие доводы, угрозы и обеща-

ния не действовали на Бьяртура. И что же? Вдруг оказалось, что купец исчез. Уехал, перестал существовать, испарился. Лавка пуста, торговые книги неизвестно где, а дом с башнями продан за долги. Так в один прекрасный день рушится фундамент, на котором крестьянин из долины строил свою жизнь. Эти всемогущие великаны-коммерсанты, стоящие одной ногой в Исландии, а другой на континенте, внезапно оказываются стертыми с лица земли. Пропало все, что причиталось Бьяртуру, и некого было привлечь к ответу. Так дела обстояли зимой, когда Бьяртур отправился во Фьорд в поисках работы: Бруни обанкротился и присвоил себе чужие деньги. После гибели овец, после убытков, причиненных привидениями, Бьяртур окончательно сел на мель.

Боги и люди соединенными усилиями не могли бы ужаснее разорить этого независимого человека. И главное — некого было ругать, не на кого было обрушить свой гнев.

Все же Бьяртур отправился к уездному судье.

— Где же ваше хваленое правосудие, — крикнул он, — если вы позволяете отнять все до нитки у человека, когда у него и так голова идет кругом, когда на него, может быть, навалилась нечистая сила? На кой черт мне нужны судьи, если они не

могут отстоять мои деньги, вернуть их мне? Ты побоялся прийти к нам зимой — погода, видите ли, была не совсем хороша. И я потерял из-за тебя старшего сына: он испугался, вышел в пургу, сбился с пути, плутал в горах — в то время как ты нежился дома, в теплой постели. Староста, хоть он и паршивец, и тот явился. Ну, а теперь очередь за тобой: покажи, на что ты годишься. Вытребуй мои деньги, если есть такой закон в вашей чертовой старой книге.

Однако судья стал на сторону Йенсена:

— Фирма обанкротилась, никто не получит ни эйрира, по крайней мере, в течение многих лет. И я тут совершенно ни при чем: королем назначен специальный чиновник, который разберется в этом деле. Если человек обанкротился, тут уж ничего не поделаешь. Нужно учесть все обстоятельства: Бруни нес убытки уже давно; под конец потребительское общество отбило у него всех клиентов. Вот в чем суть. Такие люди, как ты, имели полную возможность взять свои деньги назад. Сам виноват: вместо того чтобы вступить вовремя в потребительское общество, тянул и тянул, пока не стало поздно.

— Вовремя? Самое обидное, — сказал Бьяртур, — что у меня не хватило ума вовремя перерезать

глотку этим чертям!

— Пеняй на себя, — сказал судья.

— Да, жаль, что мы от природы слишком добродушны. Следовало бы придушить этих воров и грабителей еще при рождении.

— Кто это воры и грабители?

— Кто? Он и те, кого ты берешь под защиту. Не пойми меня так, что вы, на мой взгляд, лучше — судьи и всякие начальники, вся ваша чертова свора. Вы держите руку всяких мошенников — этого вы не боитесь, а вот перейти через гору в метель — тут у вас не хватает смелости, даже если от этого зависит спасение человеческой жизни.

— Может быть, ты сядешь, Бьяртур, чтобы мы могли спокойно и разумно обсудить это дело?

— Я сяду, когда мне захочется.

— Ну, тогда не угостишься ли табачком?

— Тебе знать, что предложить, а мне — что принять. После этого Бьяртур отправился к врачу, депутату альтинга.

— Тулиниуса Йенсена все считали честным человеком, — сказал ему доктор Финсен. — Сам я его хорошо знал, и, насколько мне известно, он никого не обманывал. Он скорее сам был обманут, другие подводили Бруни. Все его несчастья начались с того, что крестьяне поверили краснобаям

— заправилам потребительского общества. Это именно и разорило Бруни. Крестьяне обманули его доверие.

— Я хочу получить свои деньги, — сказал Бьяртур. — Вот и все. Бруни провел тебя в альтинг, а я за тебя голосовал с тех пор, как получил право голоса. А почему, ты думаешь, я голосовал за тебя? Ради твоих очков, что ли? Если я не получу своих денег, пусть черт за тебя голосует, а не я. Если же ты, член альтинга, утверждаешь, что разрешается обкрадывать людей, то я, значит, против правительства.

— Послушай, Бьяртур, я уже старый человек, и пора мне отойти от политики. Но раз мы с тобой всегда были добрыми друзьями и членами одной и той же партии, то разреши мне предложить тебе стаканчик настоящей пшеничной водки.

— Я хочу одного: того, что мне принадлежит.

— Времена тяжелые, Бьяртур. За границей сплошные банкротства. То, что люди потеряли здесь, в Исландии, еще ничто по сравнению с потерями американцев.

— Да, да, многое приходится испытать человеку. Ты, значит, не лучше судьи, ты такой же прихвостень воров и разбойников.

— Думается мне, что я всегда старался делать

что-нибудь для народа — и в альтинге, и в своей врачебной практике. Я никогда не брал дорого с тех, кто голосовал за меня. Каждый год я терял сотни и сотни крон на лекарствах, которые приготовлял для больных. И никого совесть не мучает оттого, что они забывали заплатить мне. Но я не жалуюсь.

— Если память мне не изменяет, Бруни всегда за мой счет платил тебе за те ядовитые снадобья, которые глотали мои жены, и обе они отправились на тот свет не без твоей помощи.

— Никогда я не слыхал подобных разговоров, Бьяртур, — сказал доктор. — Может быть, тебе больше посчастливится с новыми людьми, которые теперь хотят подмять под себя всю страну.

— Уж хуже вас, прихвостней Бруни, редсмирцы не будут. Раньше я, правда, так думал. А теперь уж не знаю, что и думать.

Они разговаривали с ним, как со строптивым ребенком. И вот опять он стоит дурак дураком на улице. Осталось одно: обратиться к редсмирцам, броситься в объятия Ингольва Арнарсона Йоунссона. Все другие пути закрыты.

До сих пор он всегда считал Тулиниуса Йенсена своим ангелом-хранителем, а Ингольва Арнарсона всячески чернил. Тридцать лет он гнул спину

ради редсмирцев — сначала батрачил, потом купил у них землю в долг; наконец он обрел свободу, но перемена заключалась только в том, что он надрывался для таких же разбойников. Он считал, что разбойник разбойнику рознь. Но вот Бруни сбежал с его деньгами, оставив его на мели, в полной растерянности: куда же теперь податься? Оказалось в конце концов, что разбойники ничем не отличаются друг от друга; все они на один покрой — живут ли на берегу или в поселке. Одно надо признать за редсмирцами: они-то не удирали в дальние края с деньгами Бьяртура. Значит, тот, кто стремится к свободе и независимости, не может опираться на Тулиниуса Йенсена. Ингольв Арнарсон не может быть хуже Бруни. А с другой стороны, противно искать помощи у потребительского общества. Неужели через редсмирцев можно добыть свободу — настоящую свободу, которая превращает бедного крестьянина из долины в независимого человека?..

— А, явился самостоятельный человек! Пора, пора заглянуть к нам, в наше общество.

— Не из вежливости я пришел, — смущенно сказал Бьяртур.

— Да, Бьяртур дорогой, это мне известно. Ты

расхлебываешь кашу, которую сам заварил. Не послушался моего совета, все цеплялся за Бруни. Ну, так и быть, старина, я на тебя не в обиде. Как живешь?

— Как живу? Я не отвечаю на такие вопросы. Думаю, что никому нет дела до того, как живу я, как живет моя семья. У меня случилась беда: подохли овцы. Но что тут особенного? Ведь такие вещи бывают в Исландии с тех пор, как люди поселились в этой стране. Редсмирцы тоже потеряли овец. Это бывает каждую весну. Мои овцы переносят зиму лучше, чем редсмирские.

— Нет, я разумею странные дела, которые творились у тебя недавно. Ты потерял мальчика…

— Ну, а тебе что? Мальчик был мой…

— Говорят, что это проделки Колумкилли.

— Колумкилли? Это тот самый, который имеет отношение к религии персов?

— Ну, ладно… Что мы можем сделать для тебя?

— Ничего… Меня обокрали. Мне нужна работа. Я никого не прошу делать что-нибудь для меня. Но я готов работать на других за плату.

— Да, дорогой Бьяртур, все, о чем я говорил тебе в прошлом году, сбылось. Не моя вина, если ты не поверил мне. В стране у нас две партии: одна обкрадывает крестьян, другая ставит их на ноги.

Ты верил в первую. И что получилось? Пойми одно: мы хотим власти для того, чтобы управлять страной на благо народа.

— Да, говори, говори, Инги, мой мальчик! Но я ни во что не верю, а меньше всего в твои слова. Поэтому я не прошу милости; ни на что не жалуюсь. Несколько овец у меня осталось. Что же, начну сызнова! Кое-кто скажет: «Что ему еще надо?» Ведь прошло всего несколько лет, как я построил новые помещения для своих овец. Но если кто думает, что мне нужен дом с башнями, то он ошибается. Милый мой Инги, у меня и помыслов таких нет. Но, — продолжал он, — когда у тебя есть цветок жизни…

Тут он спохватился, что сказал слишком много, и вдруг, так и не докончив своей мысли, умолк.

Глава пятьдесят пятая
Весенние дни

Как только снег растаял, овец начали пасти на выгоне. Когда отец и мальчики приходили домой, обед обычно был уже на столе. Но где же Ауста? На речке стирает чулки, или смотрит за бельем, которое висит на веревке, или месит тесто в сенях… Ее почти не видели наверху, а вечером она

ложилась спать, когда все уже спали. Девушка теперь не мылась в присутствии отца и братьев; улегшись в постель, она сразу натягивала на себя перину и лежала неподвижно. Ходила она повесив голову, как будто ей хотелось спрятать лицо от чужих взоров; ее длинные густые ресницы почти закрывали глаза, и она старалась ни на кого не смотреть прямо; отцу она отвечала односложно и при всяком удобном случае старалась от него ускользнуть.

Бьяртур привык к тому, что Ауста смотрела на него широко открытыми, вопрошающими и доверчивыми глазами, а он отмалчивался. Теперь же он смотрел на нее вопросительным взглядом, а она уклонялась от ответа.

Здесь, на хуторе, люди всегда таились друг от друга и никто не знал, о чем думает другой. Может быть, это и не плохо. Казалось бы, обитатели маленького хутора должны быть отлиты все на один образец. Но это далеко не так. Нигде нет людей более разных, чем на маленьком хуторе. Например, двое сыновей Бьяртура: как они могли понять друг друга? Один жаждал достижения определенных целей в определенном месте, а другой — исполнения неясных грез в каких-то далеких странах.

Оттепель. Мокрый снег. Сосульки над ущельем давно уже растаяли. Водопад взбух. Маленький мальчик смотрел как зачарованный на эту работу весны. С юга дул ветер, он гнал водопад назад, через гору.

Делай свое дело, и довольно тебе глазеть, — сказал старший брат.

Они стояли на выгоне и разбрасывали навоз. Этот водопад в ущелье, этот южный ветер, как человеческая душа, меняется вместе с природой, которая накладывает на все свою печать. Нонни говорил об этом с матерью, и она поняла его и рассказала ему о своей мечте. Теперь его уж никто не понимает, но он все еще живет ее мечтой, ее желаниями. Нонни ищет уединения, его наполняет ощущение печали и тоски. Отправляясь к овцам, он поет песни на разные мотивы, которых он раньше никогда не слышал. В его груди есть странный инструмент, но он не умеет на нем играть, он только касается струн и удивленно, с волнением прислушивается к их звукам — иногда весь дрожа, иногда со слезами на глазах. А глаза у него глубокие, серьезные, чистые — как ручей, как серебро на дне родника.

Трава на горах едва пробивалась. И так как Бьяртур опасался, что погода изменится, ему не

хотелось, чтобы овцы уходили далеко от хутора. Он часто отправлялся на южную и восточную окраины пустоши и гнал овец вниз. Чем больше угнетала его тишина в доме, тем милее ему была целительная весенняя прохлада, запах растаявшего и еще тающего снега, освещенные солнцем дали и ощущение вечности, — ибо на пустоши нельзя не ощущать вечности. Мало-помалу снег отступал перед солнцем, начинало пахнуть прелью, вереском и первой травой, пробивающейся из-под снежных сугробов на склонах. Овцы бродили повсюду и хватали все, что они могли найти под снегом, но вдруг неожиданно выскакивали из лощины или ущелья и стремительно бросались длинной вереницей вверх, против ветра, — в бескрайнюю даль, в вечность. Ибо овце тоже свойственно стремление к свободе.

Уже несколько дней, как над ущельем кружил ворон. Бьяртур решил обойти ущелье, чтобы узнать, на что так упорно нацеливается хищник. Вода в реке прибыла, но стояла уже не так высоко, как несколько дней тому назад. Вдруг собака остановилась и залаяла над чем-то, что выбросила река. Ворон, каркая, носился над ущельем. Меньше всего Бьяртур рассчитывал найти здесь мертвечину, так как этой весной овцы не

гибли. И то, что он нашел, не было похоже на животное — скорее это был человеческий труп. Это было тело стройного юноши, который упал, видимо, со скалы зимой и лежал под снегом, а когда вода убыла, остался на песке. Труп уже утратил всякое сходство с человеческим существом, лицо расплылось и было неузнаваемо. Носовая кость обнажилась, а безгубый рот улыбался небу. Глаз не было, лохмотья сгнили, и эта гниль въелась в кости. К тому же и хищники сделали свое дело. Ужасное зрелище. Бьяртур несколько раз дотронулся до трупа палкой, цыкнул на собаку и пробормотал:

— Что посеешь, то и пожнешь. — Он втянул в себя большую щепоть табаку. Собака продолжала лаять. — Заткнись, нечего стараться. Этого тебе все равно не понять. Кое-кто свалит вину на Колумкилли, но не вернее ли, что каждый носит свою судьбу в собственной груди?

И все-таки ему было нелегко признать, что Колумкилли не имеет никакого отношения к человеческой судьбе. Да, все эти россказни о Колумкилли — сплошное вранье, но ему никогда не отделаться от мысли, будто в них кроется больше правды, чем в самой правде. На пустоши живет дьявол, и он пожирает людей. Надо же все-таки

отдать какую-то дань мертвецу, раз он нашел его. И как можно скорее, потому что овцы уже подымаются наверх из ущелья. На Бьяртуре были почти новые варежки, толстые, теплые. Сняв варежку с правой руки, он бросил ее на труп, — ибо считается невежливым уходить от мертвого тела, не почтив его. В следующую минуту Бьяртур уже был на краю ущелья. Как он и предполагал, овцы ринулись наверх. Вожак мчался все выше и выше, вот он показался на самой верхушке отдаленного утеса, и все овцы понеслись на Блауфьедль. Бьяртур погнался за ними, радуясь тому, что его овцы ранней весной, подобно отшельникам, ищут уединения в бескрайних просторах гор.

— Халбера, — сказал он вечером, бросая старухе варежку. — Свяжи мне точно такую же на правую руку.

— А где же вторая? — удивилась старуха; еще не случалось, чтобы хозяин терял варежку.

— Не будем об этом говорить, старая, — сказал он.

— Не будем? — спросила Халбера, подняв свою трясущуюся голову и немного отвернувшись, как она всегда делала, глядя на кого-нибудь; и больше ей не надо было спрашивать — нет, не надо было.

Глава пятьдесят шестая
Старшая сестра

Прошли сильные ливни, казалось, залившие весь мир; сотни весенних ручейков понеслись по склонам гор и смыли снег в море. Когда снова показалось солнце, в долине уже не было снега, горы оделись зеленью, из травы выглядывали лютики, подуло теплым ветром. Ручей, протекавший по выгону, вздулся было, а йотом опять вошел в свои берега, как-то незаметно для младшего сына Бьяртура: года еще не прошло, а ему уже не позволяют гулять на берегу ручья. Он, как дурак, стоит на выгоне и разбрасывает навоз, — он-то, которому аульвы обещали, что он увидит лучшие страны! Он так сжился с этими странами зимой, читая свои книги, — а теперь, весной, они опять удалились от него, растаяли на горизонте. Стоило ему посмотреть на Аусту, чтобы убедиться, как недоступны те страны, которые зимой так ясно рисовались ему на белом фоне беспредельной снежной пустыни. Но душа не хочет сдаваться. Весна — ее птицы, прилетевшие из дальних краев, ее ветры, ее небеса, вечность, — весна зовет и

манит. Каждый раз, когда он выходит из низкой двери и останавливается во дворе, весна зовет его. Зовет и зовет. А он слушает. В нем просыпается тоска по жизни. Он прислушивается к этому зову с тех пор, как уехал учитель, а он уехал незадолго до пасхи. До сих пор Нонни не знал, что Ауста плачет, но однажды в воскресенье, когда стало вечереть, он увидел, ее лежащей на траве в ложбине. Он подошел к ней. Она не шевельнулась, она даже не почувствовала его присутствия. Подойдя еще ближе, он увидел, что плечи ее содрогаются: она плакала, уткнувшись в землю. Он ведь знал, он хорошо знал, что она менее значительное существо, чем он и брат; и все же она была их старшая сестра, и жалость ударила его в сердце. Сам же Нонни теперь плакал гораздо реже, особенно с прошлого лета, — скоро он будет уже совсем взрослым. Он окликнул Аусту. Она вздрогнула, села и краем платья отерла слезы, но они текли все сильнее и сильнее.

— Отчего ты ревешь? — удивился он.

— Ни от чего, — сказала она, всхлипнув.

— Что-нибудь потеряла? — спросил мальчик.

— Да, — ответила Ауста.

— А что же именно?

— Ничего.

— Нечего тебе реветь, — говорит мальчик.

— Вовсе я не реву, — отвечает она, а слезы все текут.

— Отец обидел?

— Да.

— Что он сказал?

— Ничего.

— Он тебя побил?

— Да, однажды. Давно, очень давно. Это не важно. Я уже забыла об этом. Нет, он вовсе и не побил меня.

— Так отчего же ты плачешь? Тебе чего-нибудь очень хочется?

И она отвечает жадно, задыхаясь:

— Да! — и разражается бурным плачем.

— Чего? — спрашивает он.

— Не знаю, не знаю! — И она продолжает отчаянно плакать.

— Соула, милая, ну скажи мне. Может, я тебе добуду это самое, когда вырасту.

— Ты ничего не понимаешь. Ты еще такой маленький… Никто этого не понимает. Я сама этого не понимаю, хотя и думаю об этом днем и ночью.

— Скажи, это потому, что ты не такая, как мы, мальчики? — сказал он, полный сочувствия, зная,

что сейчас они касаются самых сокровенных тайн человеческого тела, на которые даже намекать не принято. Может быть, это и нехорошо с его стороны, но слово сорвалось у него с губ.

— Да, — подумав, тихо ответила она в отчаянии.

— Неважно, Соула, дорогая, — прошептал он с твердым намерением утешить ее и потрепал ее по щеке. — Никто об этом не узнает. Я никому не скажу. Я попрошу Гвендура, чтобы он тоже никому не говорил.

— Значит, ты знаешь? — спросила Ауста, выпустив из рук подол, и посмотрела прямо в глаза брату. — Ты знаешь?

— Нет, Соула, милая, я ничего не знаю. Я не подсматривал. Но это не важно. Все равно это не поможет. И когда я вырасту и построю дом в другой стране, я возьму тебя к себе, и ты будешь есть картошку.

— Картошку? А для чего мне картошка?

— Ну, это как в Библии…

— В Библии не говорится про картошку.

— Я имею в виду то, что та женщина ела.

— Не надо мне того, о чем говорится в Библии, — сказала Ауста, глядя в пространство опухшими от слез глазами. — Бог… он враг души…

Мальчик вдруг спросил ее:

— Скажи, Соула, когда учитель нам велел гадать зимой, что ты загадала?

Соула испытующе посмотрела на него; в эту минуту она сильней обычного косила, — как всегда, когда плакала. Опустив веки, она начала пощипывать стебли травы.

— А ты никому не скажешь?

— Нет, никому. Так чего же ты пожелала?

— Любви, — ответила она и снова разразилась плачем, повторяя сквозь рыдания: — Любви, любви, любви…

— Что это такое?

Она упала на траву, плечи ее тряслись от рыданий, как тогда, когда он подошел к ней.

— Я хочу умереть. Умереть, умереть…

Он не знал, чем помочь такому горю, и тихонько сел около нее на весеннюю траву, такую свежую; и струны, скрытые в его груди, и запели.

Впервые он заглянул в лабиринт человеческой души. Ему еще трудно было понять ее, но важно было то, что он чувствовал и страдал вместе с ней. Много, много позже он воскресил это воспоминание в песне — прекраснейшей песне, какую знал мир.

Понять, как беззащитна душа, понять борьбу

между двумя противоположными силами души — это еще не источник, из которого рождается песня. Источник прекраснейшей песни — это сострадание. Сострадание к Аусте Соуллилье, дочери земли.

Глава пятьдесят седьмая
Мальчик и страны

Самое удивительное в мечтах — это то, что они сбываются. Так всегда было, хотя никто не желает признавать этого. И люди обычно ничуть не удивляются, когда видят, что их мечты сбылись, — как будто они только этого и ждали. Цель, которой ты хочешь достичь, и решение достичь ее сродни друг другу, они дремлют в одном и том же сердце.

Случилось это за день до вознесения. В это время года через долину проходит много разного люда. Лишь немногие, однако, сворачивают с дороги и заглядывают на хутор. Но в тот день один из прохожих зашел в Летнюю обитель. В его наружности не было ничего приметного, ничего такого, что говорило бы о его занятиях и его назначении в жизни. Казалось, у него и не было другого назначения, как передать принесенное

им письмо. Позже, через много лет, Йоун Гудбьяртурссон пытался и никак не мог воскресить в памяти образ того прохожего. Словом, это был самый обычный человек, которого потому и не замечаешь, что он обычный. Он просто вручил Бьяртуру из Летней обители письмо, попрощался и ушел.

Для Бьяртура получение письма было редким, почти единственным в своем роде событием, если не говорить о счетах, — ведь независимые люди не получают писем, такие вещи существуют только для тех, кто зависит от других. Он два раза прочел вслух адрес, повертел письмо в руках, внимательно осмотрел его с обеих сторон. Оба мальчика подкрались ближе к отцу, когда он распечатывал конверт, и следили за выражением его лица, пока он читал. Бьяртур держал листок на некотором расстоянии от себя, чуть-чуть наискось, наморщив брови, откинув голову. По его лицу невозможно было угадать, о чем говорилось в письме. Он прочел его еще раз, раздумчиво почесал затылок и окончательно озадачил детей. Прочел он его и в третий раз, сунул в карман и ушел. Никто не знал, какая новость скрывалась в письме.

Была светлая ночь, над зеленым болотом плы-

ли перистые облака. И птицам пелось так хорошо, что они не умолкали даже вечером. Да, весна шла вперед и вперед, с каждым днем, с каждым вечером все больше вступая в свои права. Бьяртур еще раз пошел на южный край выгона, — чтобы взглянуть на овцу, которая должна была окотиться. И хотя уже пора было спать, он позвал с собой младшего сына.

— Я пойду с тобой, отец. Пусть маленький Нонни ложится спать, — заявил Гвендур.

Отец возразил:

— Я сказал, чтобы пошел маленький Йоун. А ты ложись. Зато я завтра разбужу тебя раньше, чем его.

Отец шел большими шагами к болоту, а мальчишка семенил за ним, прыгая с кочки на кочку. Они спустились вниз. Стройная вика тянулась к небу, рядом росли лютики и хмель. Утки, отдыхавшие на спокойной светло-серой глади вод, уже построили себе гнезда; болтливый кулик следовал за Бьяртуром, рассказывая ему длинную чудесную сагу. А как послушаешь, то начинает казаться, что для такой длинной саги маловато содержания: все хи-хи-хи — и так без конца лет на тысячу.

Но когда-нибудь на дальней стороне вспом-

нится тебе эта сага, и ты вдруг откроешь, что она красивее, пленительнее многих других, может быть, даже самая красивая на свете. И ты надеешься, что услышишь ее еще раз после смерти; что тебе будет разрешено скитаться ночью на болотах в канун вознесения, после твоей смерти, и ты еще раз послушаешь эту полную чудес сагу, — именно эту и никакую другую.

Они нашли овцу на болотном лугу; оказалось, что она уже окотилась. Это хорошо. Бьяртур поймал ягненка и пометил его. Овца подошла к нему и тихонько заблеяла. Он схватил ее и пощупал вымя — достаточно ли у нее молока. Да, молока достаточно. Завтра вознесение, маленькая Соула спустится в поселок и пробудет неделю у пастора, — ведь ей надо конфирмоваться на троицын день. На заре, должно быть, будет сильный дождь, — это хорошо для травы. Бьяртур сел на бугорок, поросший вереском, у самого берега, и смотрел на реку, которая так спокойно текла, на двух уток, плескавшихся у противоположного берега; они плавали взад и вперед, кланяясь ему. Мальчик тоже сидел и смотрел. Все было так тихо, так безмятежно. Казалось, что болото хочет загладить свою вину. Чего только не видела на своем веку эта болотистая равнина! Теперь пу-

стошь прощалась со своим любимцем, которого видела в последний раз.

— Да, маленький Йоун, — сказал отец; он вдруг стал называть его Йоуном; он смотрел не на него, а на реку, скользившую мимо. — Мне надо тебе кое-что сказать, прежде чем мы пойдем домой.

Молчание.

— Внизу, во Фьорде, живет женщина, — сказал Бьяртур. — Я ее не знаю. Знаю только, что такая существует. Должно быть, она в родстве с судьей; но это меня не касается. Как бы то ни было, она родом из большой страны, что лежит где-то на западе… Некоторые называют ее Америкой. Это другая часть света.

— Знаю, — сказал мальчик.

— Гм… ты это знаешь? — спросил отец.

— Да, я это учил.

— Ах, вот оно что, — сказал отец. — Ну, не всему, что учишь, надо верить. Но одно верно — пастбища там много лучше, чем у нас. Болтают, что овец там оставляют пастись круглый год — это, конечно, враки, как и вообще то, что рассказывают о кормлении скота в Америке. Но там, говорят, можно выучиться разным ремеслам. Вот уж это подходящее дело для юноши, который хочет стать самостоятельным.

— Да, — сказал мальчик. — И там есть река.

— Река? Да. Но реки есть и в других местах.

— И города.

— Черт их побери, эти города!.. Не верь всему, что болтают о городах. Ну, в общем, эту женщину просили захватить тебя с собой, когда она отправится в эту большую страну. Твой родственник — он там живет — хочет взять тебя к себе, чтобы ты мог обучиться полезному ремеслу. Как я понял, он послал тебе деньги. Она уезжает в субботу утром. Твоя покойная мать всегда строила особые планы насчет тебя, и я думаю, что тебе надо поехать.

Мальчик ничего не ответил.

— Я повезу тебя во Фьорд завтра вечером, — продолжал отец. — Конечно, если ты и сам этого хочешь.

— Хочешь ехать?

— Да, — сказал мальчик и заплакал.

— А! — отозвался отец и начал подниматься. — Ну, значит, так. Я спрашиваю потому, что, по-моему, надо делать только то, что самому кажется правильным. — Он поднялся и прибавил: — Верь только наполовину тому, что тебе говорят, — не прогадаешь. Остальное выброс из головы. Если будешь делать то, что сам считаешь

правильным, — не прогадаешь.

Когда отец и сын пришли домой, все уже улеглись спать. Маленький Нонни молча разделся и улегся рядом с бабушкой.

Он перестал плакать. С болота доносилось птичье пение. А может быть, это было эхо птичьего пения, — оно звучало в его душе и не желало умолкать в эту тихую, короткую весеннюю ночь. То были звуки, которых никогда не забывала его душа, как бы далеко он ни уезжал и как бы роскошны ни были залы, где его принимали, — пение исландских птиц на болоте в короткую весеннюю ночь.

Да, после суровой зимы на пустошь нисходит мягкая, нежная, чудесная в своей сдержанности весна. И перед взорами мальчика открываются новые страны, которые поднимаются из моря подобно девам, моющим свои драгоценные раковины и яркие кораллы при первом свете летнего солнца; или старые страны, сплошь покрытые благоухающими садами; белоснежные города, простирающие свои объятия к зеленой глади моря; шумящие леса Калифорнии, позлащенные солнцем пальмовые аллеи на берегах Средиземного моря; река Миссисипи с ее берегами, где олень и пантера ищут пристанище в девственных

лесах. А он — он должен петь для всего мира.

Разве не счастье, разве не высшее счастье лежать здесь под крошечным окном, в бабушкиной кровати, и видеть безграничные просторы, для которых он был рожден? Нет, в душе его было спокойствие — спокойствие весенней ночи, ее тишина. Но он не мог спать. Ему казалось, что ему уже никогда не захочется спать, будто вся его жизнь отныне будет бесконечной весенней ночью — после тех ужасных бурь, которые ему, такому юному, уже пришлось пережить. Прошли те дни, когда ему говорили, что за горой нет никаких стран; прошли те ночи, когда кастрюли и сковороды на полках и в шкафу произносили речи, чтобы прогнать скуку и пустоту жизни; когда звуки могучего отцовского храпа вызывали у него представление о странствиях по чужим мирам сквозь бесконечное пространство и неизмеримое время. О каких странствиях? Это он, он сам, отправляется странствовать.

Он не мог даже подумать о том, чтобы сомкнуть глаза. Ему хотелось смотреть на потолок, на тот сучок в дереве, который представлялся ему человеком, хотя и одноглазым. Он шел все дальше — сделал этот сучок своим родственником; и вот этот родственник прислал ему денег… Значит,

все сбывается. Все, что человек создает в своем воображении, превращается в действительность. И в один прекрасный день ты оказываешься во власти этой действительности, которую ты когда-то создал, и тоскуешь по тем дням, когда этой действительности не было, не было почти ничего, кроме праздных домыслов вокруг сучка на потолке. Глаза Нонни уже в эту первую ночь были грустными. «Мама», — подумал он. И она встала в его воображении — она, которая была выше и лучше всех. Он вспомнил ее вздохи, отзывавшиеся болью в его груди, — и боль отныне будет сопровождать его всю жизнь и будет звучать в каждой его песне. В каких бы лесах и чудесных краях он ни был, он никогда ее не забудет, не забудет тех дней, когда кочки на болоте казались такими высокими, что врастали в небеса. Нет, не забудет. Ему казалось, что он смотрит назад, с вершин какой-то неправдоподобной жизни, через моря и страны, через годы и века и вновь видит перед собой эту маленькую теплую комнату, где он прислушивался к стонам матери в ночном мраке и думал: спит она или не спит? В лесах чужих стран встанет перед ним эта маленькая комната.

— Да, мальчик, — сказала наутро бабушка; она

сидела, отложив в сторону вязанье, что случалось крайне редко, и смотрела на него из-под полуопущенных век. — Чего только я не видела на своем веку!

Дневное солнце светило сквозь окошко, и пыльные светлые полосы ложились на пол. Ауста сидела у окна и чинила одежду Нонни; у него не было праздничной куртки. Бабушка связала ему новые чулки и варежки, а Соула сшила новые ботинки для поездки в Америку. Вдруг Нонни вспомнил, что однажды пытался от нечего делать сосчитать все морщинки на лице бабушки. Теперь ему было не до того, он уедет, так и не сосчитав их. Но они навсегда останутся где-то в его душе, все до единой. Он в последний раз стоял у ее постели и молча разглядывал то одну, то другую вещь. Он смотрел на крышу, осевшую между балками и начавшую гнить в стропилах; на два ножа, завернутых в тряпку, на кровати, застеленные одеялами из некрашеной овечьей шерсти; на скамьи, лоснившиеся оттого, что на них сидели уже не один десяток лет; на пол, не очень-то чистый, подававшийся под тяжестью шагов; на маленькое окошко, в котором одно стекло было цело, а другое разбито; на неестественно длинные стебли травы под окном; на угол болота, на

блестящую излучину реки; на маленькую плиту, где все эти годы горел огонь, согревавший всю семью, и где теперь стояла закопченная кастрюля с остатками холодной каши. А там — Ауста, с которой он разговаривал на лугу в зеленой ложбинке… Но он не посмел заговорить с ней еще раз. Бедная старшая сестра: она познала любовь и поэтому жаждала смерти. Да, любовь… Любовь ужасна. И он содрогался при мысли, что оставит здесь Аусту совсем одинокой. Но что же он может сделать? Он получил письмо. И это письмо — его судьба. А она не получила письма: ее мать умерла прежде, чем успела задумать для нее желание. Единственным даром, полученным Соулой, было тепло жалкой собаки; а зимой, в тот час, когда можно было загадывать желания, она загадала любовь, которая, наверно, ужаснее всего на свете. Ауста Соуллилья, я должен уехать. В любви никто не может помочь тебе, кроме тебя самой. Теперь ты спустишься в поселок, пойдешь к пастору и будешь конфирмоваться… А я получил письмо.

Старуха сунула руку под подушку и достала маленький узелок. В нем лежали тщательно свернутые старые лоскутья, остатки вязанья. Она принялась разворачивать их слабыми, дрожащими пальцами.

— Ты еще здесь, постреленок? — спросила она, добравшись наконец до самой середки узла.

— Да, бабушка, — сказал мальчик.

Это были два единственных сокровища, единственные вещи, которыми она владела: косынка и палочка для чистки ушей. Она хотела подарить ему эти сокровища на прощанье, ему, который с самых пеленок был около нее. Ничего лучшего она не могла ему дать.

— Это, конечно, пустяк, — сказала она. — Но косынку ты можешь повязывать на шею по праздникам, в хорошую погоду. А эта палочка давно уже хранится в нашем роду.

Старуха не пела псалмов, не упоминала об Иисусе и не предостерегала его от греха. Она не просила его поклониться сыновьям в Америке — она не могла ощущать свое родство с людьми, жившими где-то на краю света. Даже о маленьком Нонни она никогда не спрашивала после его отъезда.

Но бабушка сказала:

— Я хочу, чтобы ты, когда уедешь, помнил две вещи. — Ее старое, изрезанное морщинами лицо дрожало больше обычного. — Я прошу тебя никогда не быть грубым с теми, кто ниже тебя, и никогда не мучить животных.

— Поблагодари бабушку, милый Нонни, — сказала Ауста. — Она дает тебе единственное, что у нее есть.

Нонни протянул бабушке руку и молча поблагодарил ее, ибо он не знал слов, которыми мог бы выразить благодарность за такой подарок.

Она дала ему в дорогу то, что для нее было неотъемлемо от праздника рождества — самого убогого рождества, какое знал народ в этой стране. И Нонни понял, что отныне она уже не будет праздновать рождество.

Глава пятьдесят восьмая
Хозяйка Редсмири терпит поражение

Накануне троицы Ауста возвращается из поселка. Будем надеяться, что она постигла основы христианства, — ведь завтра ей предстоит конфирмоваться. Но почему она возвращается домой сегодня? Бьяртур договорился в поселке с одной женщиной, чтобы ей сшили платье; он уже вперед заплатил за него. Разве они не порешили, что девочка придет домой лишь после конфирмации, вечером, в самый троицын день? Как бы то ни было, она вернулась в субботу вечером, накануне троицы.

Вот что произошло.

Через болота, верхом на чалой лошади, осторожно пробиравшейся по топкой грязи, приехала женщина в такой широкой юбке, что в ней могла бы уместиться половина прихода. Нет, ее лошадь не какая-нибудь старая хромоногая кляча. Это Сорли из Редсмири, быстрая, легкая, с гордо выгнутой шеей. А сзади, прыгая с кочки на кочку, почти по колено в глине, опустив голову, идет Соула. Она плачет.

Бьяртур, как всегда гостеприимный, вышел на болото им навстречу и приветливо поздоровался с женщиной. Он взял поводья и повел лошадь по самой сухой дорожке на выгон, время от времени оборачиваясь, чтобы пошутить с гостьей.

— Белая ворона, — сказал он, — редко встречается в этих краях.

Во дворе он помог женщине сойти с лошади.

— Вы с каждым днем становитесь все более похожи на настоящую Редсмири, — сказал он, ибо эта женщина была полная и важная, как римский папа. — Гвендур, мальчик, пусть Сорли попасется на краю выгона, а фру побудет здесь со мной, пока приготовят кофе. А ты, Соула, скорей иди в комнату и посмотри, горит ли еще огонь. Мы не очень заботились об огне, пока тебя не

было; в прошлое воскресенье мы наварили рыбы на целую неделю. Но в чем дело, дитя мое? У тебя какой-то хмурый вид, а ведь ты находишься в обществе великой исландской поэтессы.

Соула не ответила отцу. Нагнувшись, чтобы не удариться о притолоку, она уныло вошла в дом. Бьяртур и жена старосты остались во дворе. Они разговаривали о поэтической и практической стороне исландской весны, которую оба они наблюдали в долине, каждый на свой лад.

— Скоро ли кончится окот у старика Йоуна? — спросил Бьяртур.

— Думаю, что да.

— А овцы, конечно, в хорошем состоянии, как и полагается?

— Да, конечно.

— Он потерял немало, но, к счастью, у него еще немало осталось. А трава? Так себе? Да, здесь, на пустоши, она тоже растет неплохо. А лисиц и других хищников этой весной не так уж много? Это хорошо. То же самое могу сказать и про себя. Нечем им тут поживиться, падали нет. Я не видел у себя не то что лисицы, но и чайки. Впрочем, вспоминаю, что однажды я слышал над ущельем карканье ворона. А глисты там у вас не свирепствуют? Здесь их и в помине нет. Окот прошел

как нельзя лучше и кончится сегодня, если старая Капа будет, как всегда, аккуратна. Этой овцой я очень дорожу. Ей сегодня срок котиться, и я как раз собирался на южную сторону болота, чтобы посмотреть, как она справляется.

Ты хочешь что-то сказать мне? Э! А разве мы не говорим? Посидеть за домом? Поближе к горе? Это уже что-то новое. Не в первый раз уважаемая фру предлагает мне свернуть с ней в кустарник, да я нынче уж недостаточно прыток для этого.

Но фру не расположена была шутить. Подобрав платье, чтобы не наступить на подол, она повернула за угол и пошла вдоль ручья к горе. Остановившись наконец, она предложила сесть на одном из бугорков у ручья.

— Собственно говоря, не вам, высокородная фру, а мне полагается просить вас сесть, ведь вы сейчас на моей земле, — сказал Бьяртур все в том же шутливом тоне; но эта шутка была принята так же холодно, как и другие.

Они сели. Фру стала гладить траву, актерским жестом проводя по ней своей холеной рукой, маленькой и пухлой, с ямочками на костяшках. К черту, что это она замышляет? Уж нет ли тут какого подвоха? Еще отнимут у него его клочок земли. Дело, пожалуй, дойдет до того, что и дом

его снесут. Кто знает, что они затевают! Он взял щепоть табаку и втянул в нос.

— Смею ли я предложить вашей милости? — спросил он. — Это поможет вам собраться с мыслями.

Но фру была не охотница до табаку; и до шуток тоже.

— Не знаю, — наконец заговорила она, — заметил ли ты, Бьяртур, что твоя дочь, когда вернулась домой, далеко не сияла от радости?

— Может быть, ей показалось странным, что у тебя не нашлось для нее какой-нибудь старой клячи, чтобы довезти ее до дому? Впрочем, возможно, что все они, кроме верховых, были на торфяном болоте. Ну, это не важно. И я и моя семья привыкли передвигаться на собственных ногах.

— Говоря по правде, ей предлагали лошадь, но она отказалась. Своевольная девчонка! Вся в тебя.

— А может быть, она, негодница, еще не прониклась христианским смирением? Похоже на то, что этот дуралей пастор чем-то ее задел. Она не привыкла, чтобы ее бранили; у нас на хуторе всегда тишь да гладь. А что касается религии, то с такими вещами я к ней никогда не приставал

и, по правде говоря, считаю, что эта религия довольно-таки нудная и бесполезная вещь для общества; правда, покойный пастор Гудмундур знал толк в овцах. Но я ручаюсь, что моя маленькая Соула не глупее других молодых девушек, которые будут завтра конфирмоваться, хотя она не так уж разбирается во всех тонкостях религии. А уж насчет старинных саг… хотел бы я видеть девушку или парня ее возраста, которые могли бы с ней в этом потягаться. Но в одном они все одинаковы: плачут, если их побранят. Что же тут особенного?

— Нет, религия здесь ни при чем, — ответила фру. — К сожалению, я должна сказать тебе вот что. — Она поглаживала рукой траву на бугорке все тем же актерским жестом, как бы погруженная в глубокое раздумье.

Бьяртур прервал ее:

— Не помню, сказал ли я тебе, что у меня есть старая овца, с которой мы немало вместе пережили; она той самой породы, которую вывел покойный пастор Гудмундур. Я ее назвал Капа[43]; у нее как будто накинут на спину плащ. Она как-то странно раздалась в боках, хотя на ребрах

---

[43] Примечания: 43
Капа — плащ *(исл.). (Прим. Л. Г.).*

у нее нет ни капли жиру. И я боюсь, не окотит ли она двойню. Трудно ей будет кормить их. Вот я и собирался пойти вечером на южный край болота — ведь овца может окотиться в любую минуту.

— Бьяртур, милый мой, — сказала женщина. — Я тебя долго не задержу.

И она сразу приступила к делу:

— Первое, что я тебе скажу: Гудни, экономка, всегда принимала особое участие в маленькой Аусте, — на это есть свои причины, — и она решила, что Ауста будет ночевать у нее в те ночи, которые девочка проведет в Редсмири. И вот она заметила уже в первый вечер, что Ауста чем-то расстроена, что на душе у нее какая-то тяжесть, она задумчива и рассеянна. Когда к ней обращаются с вопросом, от нее с трудом можно добиться разумного ответа. Вечером, когда они улеглись, Гудни заметила, что девочка плачет, уткнувшись в подушку; и плакала она до поздней ночи.

Женщина замолчала и продолжала гладить пальцами траву. Она еще не все высказала, но ей хотелось перевести дух, — от тучности она страдала одышкой.

— Ну и что же? — спросил наконец Бьяртур, не умевший ценить искусственные паузы. — Разве это новость, что у молодежи глаза на мокром

месте, особенно у женщин? Как я всегда говорил своей собаке и своим женам: женский пол еще более жалок, чем мужской.

— В первые ночи девушка решительно отказывалась говорить о том, что ее угнетало.

— Да, — сказал Бьяртур, — чего ради людям, приученным к самостоятельности, выбалтывать то, что у них на уме? К тому же, как говорит пословица, сегодня ненастье, завтра ведро.

— Она была так рассеянна, что мы сначала думали, уж не стесняется ли она нас или, может быть, никак не привыкнет к людям. Она даже не хотела участвовать в общих играх молодежи.

— Зачем же портить обувь и скакать без толку? — вставил Бьяртур.

— Гудни заметила, что по утрам девушке нездоровится, она какая-то вялая, угрюмая; у нее даже рвота бывала, когда она одевалась.

— Наверное, ей претила ваша конина.

— Мы никогда не потчуем гостей кониной, дорогой Бьяртур. По крайней мере, я никогда не слыхала даже разговоров об этом. Дети получили накануне великолепное рагу, и экономка подумала: уж не объелась ли девчонка? Ей казалось, что иногда она слишком набрасывалась на еду. Но когда это стало повторяться каждое утро, то у

Гудни невольно явилось подозрение, и она стала внимательнее приглядываться к фигуре Аусты, когда та раздевалась на ночь. Ее поразило, что девочка не по летам развита физически, почти как взрослая женщина, и к тому же, — это мы сразу все заметили, — она до странности толста в талии. А ведь вообще-то она тоненькая. Наконец вчера вечером Гудни сказала, что у нее, верно, не в порядке желудок, и стала ощупывать ей живот. Конечно, она сразу смекнула, в чем дело, и пристала к девочке.

Вначале Ауста ни в чем не хотела сознаться, и Гудни позвала меня. Я, разумеется, все поняла. Я сказала, что нет никакого смысла скрываться от нас. И тогда Ауста призналась, что она уже около четырех месяцев как беременна.

Бьяртур посмотрел на фру, точно лошадь, услышавшая позади себя какой-то непонятный шум: вот она навострила уши, вытянула шею и чуть не понесла. Быстро подняв голову, она делает первый шаг, не сразу осмыслив, что происходит.

Бьяртур глупо рассмеялся и спросил:

— Беременна? Моя Соула? На этот раз вы меня уже не проведете, уважаемая фру.

Фру ответила:

— Выходит, что я разъезжаю по хуторам с раз-

ными небылицами? Меньше всего я ожидала, что встречу такое недоверие к своим словам. Я всегда желала тебе добра, да и вам всем. Мое сердце и мой дом всегда были открыты для вас, крестьян. Я всегда защищала все самое благородное в нашей стране. Работу крестьянина я считала святым делом, заботы крестьянина — своими заботами, его поражение — собственным поражением. Для меня ясно, что упорный труд исландского крестьянина — это тот рычаг, которым можно поднять благосостояние народа.

— Да, Йоуна из Редсмири и других таких же, — сказал Бьяртур зло. — Но это еще не народ, скажу я, хотя я работал на них свыше тридцати лет, а теперь мне даже пришлось вступить в ихнее потребительское общество.

— Да, дорогой Бьяртур, ты можешь остаться при своем мнении, но одно я скажу тебе: каждый раз, когда приходский совет хотел разрушить твой очаг, я всегда заступалась за тебя и говорила: «Благодаря исландскому крестьянину народ продержался тысячи лет. Оставьте вы моего Бьяртура». Но теперь дело приняло такой оборот, что надо признаться: приходский совет был прав. Пятнадцать лет я стояла за тебя горой, несмотря на опасения всего прихода. Да и было чего опа-

саться: сначала так странно умирает твоя первая жена, затем из года в год умирают дети — или при рождении, или в грудном возрасте, и ты, что ни год, являешься к нам с гробиком на спине, чтобы похоронить ребенка на нашем маленьком кладбище. Затем, в прошлом году, умерла твоя вторая жена, — все знают, по какой причине; затем, этой зимой, — гибель твоих овец и кончина старшего сына. И все же я никогда не переставала заступаться за тебя. Но больше я не могу. Самому уехать после тех событий, которые произошли зимой, вместо себя прислать какую-то темную личность, пьянчугу, по которому плачет виселица, который к тому же вместе со своими детьми состоит на иждивении прихода да еще в придачу заразный, чахоточный, — и его-то ты присылаешь присматривать за твоими детьми и маленькой Аустой Соуллильей, уже взрослой девушкой!

— Ну, послушай, госпожа хозяйка, теперь хватит! Убирайся к черту, слышишь? Ты здесь не на своей земле, а на моей… И если ты сегодня пришла сюда ради Аусты, то я тебе скажу, что ты опоздала на пятнадцать лет. Не кто иной, как ты, навязала мне ее, когда она еще находилась в утробе матери. И если она мой ребенок, то это потому,

что ты почти обрекла ее на смерть и продала мне землю, чтобы она умерла на чьей-нибудь чужой земле, лишь бы не на твоей. Неужели ты думаешь, что я не знал с самого начала, чей ребенок родился в моем доме? Я-то в это время скакал верхом на дьяволе и чудом спасся. И если ты уверяешь, что никогда не врала, то я скажу тебе, что ты врала на моей свадьбе, когда в палатке в Нидуркоте произнесла речь, где говорила обо всем на свете — о всяких новомодных бреднях, об иностранных религиях, — после того как ты мне навязала отродье своего сына, чтобы уберечь от дурной славы редсмирцев. И если ты теперь обвиняешь меня в том, что Ауста беременна, то это дело вовсе меня не касается. Во-первых, не от меня она беременна, и во-вторых — не я ей родня и не я несу ответственность за нее. Это ты ей родня — ты и несешь ответственность. Она была зачата у вас в Редсмири, а потом вы отделались от нее. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И скажу я тебе раз навсегда: отправляйтесь в преисподнюю с вашими ублюдками! И пусть они носят ваше имя. Беременны они или нет, мне все равно — это теперь уже не моя забота.

— Послушай, — сказала женщина мягко; она начала ощипывать траву с кочки, где сидел Бьяр-

тур. — Давай поговорим спокойно, как разумные люди, обо всем, что случилось. И, знаешь ли, на время беременности мы охотно предоставим девочке кров.

— К черту! Меня это больше не касается — даете ли вы кров вашим детям или выгоняете их. Знаю только одно, что я свой долг исполнил, в то время как вы отказались исполнить свой — когда ваш ребенок лежал и помирал под брюхом у моей собаки. Вы-то покинули его — пусть умирает! И я взял вашего ребенка, дал ему кров, и он был цветком моей жизни пятнадцать лет. Но теперь мне это надоело. Хватит с меня. Вы хотите разрушить мой очаг и согнать меня с моей земли? Что же, сделайте это, если посмеете, если вы вправе. Но я приказываю вам отправиться к чертям с вашими детьми и оставить меня в покое с моими детьми. И больше нам нечего сказать друг другу. Я иду на южный край выгона — посмотреть, не окотилась ли моя овца.

С этими словами крестьянин из долины ушел через реку на южную сторону болота, не попрощавшись с гостьей. Собака пошла за Бьяртуром. Он не оглянулся. Поэтесса осталась сидеть в недоумении, растерянно глядя вслед Бьяртуру. Он был как непобедимая армия. Поражение по-

терпела она.

Глава пятьдесят девятая
Это я

Когда Бьяртур вернулся домой, был уже поздний вечер. Он долго был в пути — гнал двух овец, из которых одна уже окотилась, а другая все еще нет. У той, которая окотилась, был один ягненок и набухшее вымя. Другая, Капа, была подозрительно тяжела для старой тощей овцы: вымя у нее было почти пустое, вряд ли она сможет выкормить двоих. Было очень трудно гнать овец, они все время норовили удрать. Собака рвалась в бой. Бьяртур то и дело цыкал на нее, он не позволял ей подгонять овец — весной нельзя подгонять овцематку. Та, которая окотилась, убежала с ягненком, и когда Бьяртур наконец поймал ее, Капа тоже ушла, ему пришлось ловить и ее. Овца с ягненком была не прочь воспользоваться случаем и опять унеслась, задрав голову; это повторялось без конца. С трудом удалось с ними справиться. Вот почему Бьяртур так задержался. Но он все-таки добился своего — ведь он был упрямее, чем обе овцы вместе взятые. Он слишком многому научился у овец за свою жизнь, чтобы уступать

им. Наконец овцы были уже на выгоне, и ему оставалось загнать под крышу ту, которая окотилась, чтобы подоить ее.

Дома как будто все вымерли, видно, улеглись спать. Ему не хотелось никого будить, и он продолжал сам возиться с овцой. Она все время кружила по выгону, и Бьяртур описывал круг за кругом вслед за ней. Упрямство обеих сторон казалось совершенно непреодолимым. Но в конце концов овца сдалась — она затрусила в овчарню. Ягненок, быстро и легко перебирая ножками, скакал по двору; перебежав через огород, он взобрался на крышу овчарни и заблеял, затем спрыгнул с крыши в огород и, не переставая блеять, побежал по берегу ручья, по направлению к горе. Бьяртур, зажав голову овцы между ног, стал доить ее в миску. Она отчаянно брыкалась и барахталась, но он все-таки надоил две-три кружки молока. Затем Бьяртур отпустил ее, и она, блея, побежала к своему ягненку. Старая Капа спокойно щипала траву на самом краю выгона.

Ночь была светлая, но не теплая. Над восточной частью пустоши сгустились дождевые тучи, а горы были окутаны дымкой. Птицы на время замолкли, лишь с юга изредка доносился жалобный крик гагары, плакавшей над рекой.

Когда Бьяртур вошел в дом, он увидел, что кто-то сидит, съежившись, на ящике у входа. Это была Ауста. Она сидела в старом платье, из которого выглядывали локти, сложив руки на коленях, — эти уже по-женски округлые руки, с длинными кистями и своеобразно отогнутым назад большим пальцем, как у швеи. У нее были слишком полные икры и слишком широкие для ее возраста бедра. Ясно, что это уже взрослая молодая девушка. Это внучка хозяйки из Редсмири. Ауста не подняла глаз, когда он вошел, не шевельнулась. Спала ли она, свернувшись клубком, опустив голову на грудь? Или боялась взглянуть на него и встретиться с ним взглядом? Бьяртур ударил ее по щеке. Она закачалась и невольно схватилась одной рукой за стенку, чтобы не упасть, потом закрыла глаза и заслонила лицо локтем другой руки, в ожидании нового удара. Но он не стал больше бить ее.

— Это тебе за то, — сказал он, — что ты покрыла позором землю, которую я купил. К счастью, в тебе нет ни единой капли моей крови, и я попрошу тебя родить твоего ублюдка у более близких родственников.

— Хорошо, отец, — сказала Ауста, с силой перевела дух и, все еще пряча лицо в сгибе локтя,

прошла мимо него к дверям. — Я ухожу.

Он прошел через сени, поднялся по лестнице на чердак и запер дверь на задвижку.

Хорошо, что он ударил и выгнал ее. Его удар был лучше, чем страх ожидания. Она знала, что ей причитается, и знала, что уже получила должное. Этот удар снял с нее невероятную тяжесть. Это своего рода конфирмация. Теперь она свободна. Ауста стояла во дворе и смотрела на весеннюю ночь — весеннюю ночь ее жизни, — как человек, который надеется перепрыгнуть через опасную пропасть, чтобы спасти жизнь. Сердце билось сильно, но она не плакала. Было холодно и сыро, над пустошью повисли дождевые тучи, точно черные стены; они вырастали там и сям, поминутно меняясь местами.

Ауста смотрела не на запад, а на восток. Да, отец выбил из нее страх неизвестности, освободил и тело и душу. Для обоих все ясно. Она вдруг, словно по наитию, все поняла. Даже если бы он ей не сказал этого, она все равно поняла бы, что в ней нет ни капли его крови. Пощечина, которую он дал ей на прощанье, была мгновением правды в их жизни. До этого мгновения их совместная жизнь, их отношения были построены на лжи. Она жила у него, точно у тролля, и сама была троллем. И

вот она стоит здесь, за дверьми, и оказывается, что она совсем не из рода троллей. В одно мгновение она освободилась от чар, она стала просто человеком, может быть, даже принцессой, как Белоснежка или другие девочки из сказок; она ничем больше не обязана ему. Прочь отсюда!

Дойдя до восточной части болота, Ауста заметила, что на ней худые ботинки, которые она уже успела промочить, старое платье с продранными локтями, голова не покрыта. Неужто такая замарашка, оборванная девочка из долины, может превратиться в принцессу, как в сказках? Не важно, что она промокла. Она даже не оглянулась назад, на свой дом. Теперь она свободна, как принцесса, и отправляется в путь-дорогу навстречу ему, любимому. Сбывается сказка про девочку из долины, которая любила мечтать. Она ведь принадлежит ему, она останется у него на всю жизнь, она никогда-никогда не покинет его. Его светлый дом стоит на широком лугу у моря. И она увидит, как уходят и приходят корабли. И она с ним уедет за море, в далекие страны, — там есть пальмовые аллеи, позлащенные солнцем. Да, да, да. Ей придется идти всю ночь до зари; и не важно, если ботинки у нее порвутся, — он подарит ей новые. Недолго она будет искать его белый дом

на морском берегу. Она постучится к нему в дверь раньше, чем он встанет. Он услышит ее стук. «Кто там?» — спросит он. И она ответит: «Это я».

Пока она шла по болоту на юг, все в ее груди пело и ликовало. Она не думала, что походка ее еще так легка, она не шла, а летела, и сердце ее тоже будто летело. Она спешила навстречу счастью, свободе и любви. Это была бедная девочка, превратившаяся и принцессу. Нет, она не принадлежит никому, кроме него! И ей все слышался его голос, когда он тихо спрашивает: «Кто там?» И каждый раз она отвечает: «Это я». Легким шагом скользит она по извилистым стежкам на краю пустоши. Это уже не мечтательная девочка, которая искупалась в волшебной росе в сказочную Иванову ночь, — нет, она знала, кто она и куда ей идти. Она была любящая женщина, она сожгла за собой все мосты, чтобы добраться до любимого. Это действительность. Это любовь и пустошь. Все, что отныне произойдет с ней, — это будет уже настоящая жизнь.

Любовь и пустошь. В глубоких долинах еще лежит снег, из-под него проглядывает грязная земля. Навстречу Аусте дует сырой, холодный ветер. Ботинки скоро совсем изорвутся, и ноги у нее очень болят. Хочется пить. И она напилась

из лужи, блестевшей возле снежного сугроба; невкусное это питье. Ауста почувствовала голод и усталость. Вдруг пошел мокрый снег, завихрилась метель, и девушку поглотила темнота. В одно мгновение она промокла до нитки. На нее напал страх: ведь и пустошь страшна, а может быть, страшна и сама жизнь? Она вспомнила о Хельги — о брате, который исчез здесь, на пустоши, зимой и которого так и не удалось найти. Многие погибли на пустоши. Ее отец не мог бы погибнуть здесь… И вдруг она вспомнила, что это вовсе не ее отец, что он — тролль. Потому-то он ничего и не боится. Это она боится, это она может погибнуть. Страх превозмог голод и сонливость. Ауста стала размышлять: может быть, она зря не бросилась ему на шею, когда он ее бил, и не попросила его сжалиться над ней? Нет, нет, нет! Она старалась преодолеть свой страх, думая о белом домике у моря — о каком домике? Может быть, это был тот черный сарай на морском берегу, о котором он однажды упомянул, — тот, где ютятся голодные дети? Нет, это, верно, сверкающий белый дом у моря. Должно быть, его светлый дом на небе и на земле. И скоро ее любимый будет стоять у дверей в лучах утреннего солнца, а по морю будут плыть корабли, и он спросит: «Кто там?»

Но в это мгновение она видит, что где-то вдали на пустоши блеснуло маленькое озеро. Метель кончилась. Должно быть, это то озеро, что снилось ей в страшных снах. О, почему, когда человек одинок и несчастен, ему снится какое-то жалкое озеро, а не безбрежный простор океана? Значит, она прошла только маленький кусок пути — одинокая, с израненными ногами, но с надеждой в душе. Впереди еще долгий путь. Она опять напилась воды из лужицы и с трудом поднялась. И снова она слышит голос любимого, который спрашивает за дверью своего светлого дома: «Кто там?» И она отвечает в тысячный раз: «Это я!»

В эту ночь Бьяртур из Летней обители не раздевался. Каждый час он выходил взглянуть на двух овец, которых оставил на выгоне вечером. После полуночи старая Капа легла и стала жевать жвачку, а другая овца пошла в сторону горы. Там она улеглась вместе с ягненком.

Мир дышал покоем и тишиной. Запели первые утренние птицы; остальные еще молчали.

Да, он был прав. Капа вот-вот должна окотиться.

Ранним утром она принесла трех ягнят. Бедняжки попытались стать на ноги и припасть к ней, а она стояла на краю выгона и облизывала их.

Молодец старуха, родила целую тройню. Много пережила она вместе с Бьяртуром, эта старая овца, все тут было: и глисты, и голод, и привидения. И вот она как ни в чем не бывало принесла ему трех ягнят. Он ценил ее как вожака и потому не убил прошлой осенью. Теперь она отблагодарила его за это! Тройня — большая удача для человека, у которого осталось так мало овец. Но вымя у нее, бедняги, почти пустое; уж слишком она стара. Бьяртур подогрел молоко, оставленное с вечера, и, взяв ягнят под мышку, отправился домой. Овца шла за ним и тревожно блеяла: ведь животные относятся к человеку недоверчиво, даже когда он желает им добра. Бьяртур сел на пороге дома и, зажав ягнят между колен, начал поить их молоком через перышко. Боже мой, какие у них маленькие рты! До чего же они жалки! Хвастать тут нечем, особенно если видеть вещи такими, какие они есть. Овца стояла во дворе поодаль и следила за ним подозрительным взглядом. Она всегда была пугливым созданием и не полагалась на людей: должно быть, пошла в пастора Гудмундура, который вывел эту породу овец. Но, увидев, чем занят Бьяртур, она стала подходить все ближе и ближе и с материнской тревогой уставилась на него своими большими умными

черно-желтыми глазами. Сочувствие не относится к ходячим добродетелям, но когда-нибудь оно восторжествует во всем мире. Может быть, это была не такая уж замечательная пустошь и не такой уж замечательный двор на пустоши, но иногда здесь происходили необыкновенные вещи: человек и животные понимали друг друга. Это было утром в троицын день. Овца подошла совсем близко к Бьяртуру. Вот он сидит и держит на руках трех ее ягнят. Она доверчиво ткнулась носом в его некрасивое лицо, как бы благодаря его, дохнула в его бороду теплой струей воздуха и тихонько заблеяла.

Рим — Ницца
Зима 1934/35 года

Часть четвертая
Годы благоденствия
Глава шестидесятая
Когда убили Фердинанда

Так называемая мировая война — это величайшая, после наполеоновских войн, благодать, ниспосланная господом богом на нашу страну. Эта благословенная мировая война избавила

народ от нужды, избавила нашу культуру от уничтожения, она повысила спрос на рыбу и рыбий жир. Прекрасная мировая война! Дай бог, чтобы поскорее разразилась еще одна такая! Началась она с того, что убили какого-то беднягу иностранца по имени Фердинанд. И злые люди так горевали по этому Фердинанду, что больше четырех лет рубили друг друга, как рубят мясо в корыте.

Так беседовали крестьяне в маленькой комнате Летней обители, перед тем как отправиться в горы на поиски овец. Сами они всю жизнь свою воевали, и их война была посерьезней мировой, да и причина ее поважнее, чем убийство Фердинанда.

— Народ, думается, вздохнул, разделавшись с этим проклятым парнем, — говорит Бьяртур.

— Я ничего не могу об этом сказать, — отвечает Эйнар из Ундирхлида, но ведь кому какое дело до того, что я и мне подобные говорят о мировой истории. Он был, слыхать, королем в очень маленьком государстве, — я никак не могу запомнить, как оно называется. Не знаю, был ли он толковый парень, — мы, исландцы, не придаем значения королям, мы ценим только королей гор; все мы равны перед богом, и пока крестья-

нин называется самостоятельным человеком, а не слугой другого, — он сам себе король. Но Фердинанд, или как там его звали, все же был человеком, бедняга. И не годится христианам говорить о нем плохо. Человек всегда человек.

— Да и не все ли равно, что случилось с этим парнем и как его звали? — говорит Круси из Гили. — Но одного я никак не возьму в толк: чего ради им понадобилось начинать драку из-за этого проклятого Фердинанда.

— Ну и пусть их дерутся, дьяволы! — сказал Бьяртур. — И чем дольше, тем лучше. Теперь они посбавят спеси, когда хлебнут горя. Теперь они едят все; покупают, что им ни предложи. Все растет в цене. Скоро они начнут покупать у нас дерьмо. Ну, и пусть себе кромсают друг друга до тех пор, пока это приносит пользу другим народам. За границей людей достаточно, никто по ним плакать не будет.

— Ну, ведь иногда и за идеал воюют, — сказал в оправдание иностранцев Эйнар из Ундирхлида, которому всегда казалось, что Бьяртур выражается слишком сильно и в стихах и в прозе. — Бьяртур, — прибавил он, — ты старый поэт и должен знать, что где война — там идеал, хотя он, может быть, мало чего стоит в глазах людей, ко-

торым приходится думать о более важных делах.

— Идеал? — удивился Бьяртур непонятному слову.

— Я хочу сказать: смысл, — объяснил Эйнар.

— Ну, я никогда не слыхал, чтобы в наши дни в войне был какой-нибудь смысл, — сказал Бьяртур. — Дерутся только сумасшедшие. В древние времена — другое дело. Тогда викинги отправлялись в далекие страны, чтобы биться за красавицу, которую они считали цветком своей жизни. Но теперь этого нет. Теперь они дерутся не из-за чего-нибудь, а просто по глупости или из упрямства. Но, скажу, и глупость хороша, пока она кому-нибудь приносит пользу.

— По-моему, милый Бьяртур, — сказал Король гор, — нужно посмотреть на дело и с другой стороны. Такая мировая война — это не только благодать, не только, скажем, повышение цен на продукты, которые поставляют крестьяне. От войны — разруха, от нее беды великие в тех странах, где воюют. К примеру, на днях разрушили собор во Франции, большую великолепную церковь, она там стояла, может, больше ста лет.

— А по мне, пусть себе разрушают собор во Франции, — сказал Бьяртур и презрительно фыркнул. — Да сломай они, эти вояки, церковь в

Редсмири, я бы и то не обиделся.

— Да, но, к сожалению, не только собор. Они, случается, и целые города сравнивают с землей. В Париже, в Лондоне много сгинуло добра, и золота, и драгоценных камней, не говоря уж о прекрасных дворцах или библиотеках.

— Не мое это золото и не мои драгоценные камни, — сказал Бьяртур. — И дворцы не мои. А что касается библиотек, то ведь в нашей приходской библиотеке за последние десять лет завелись и черви и плесень, — тут никакой войны не нужно.

— А что ты скажешь о ценных статуях, которые разлетаются вдребезги при обстреле города?

Статуи? Что за черт! Как будто ты когда-нибудь видел статуи!

Тут Король гор волей-неволей замолчал, он действительно никогда не видел настоящей статуи, да и никто из них не имел о них понятия. Правда, фру из Редсмири как-то о них рассказывала, да старшая дочь Тоурира из Гилтейги много лет тому назад купила маленькую фарфоровую собачку.

— Вот насчет фарфора…

— Я так считаю, что большой беды нет, если они крушат этот хлам. К чему он? Только дурачить

и дразнить народ, — сказал Бьяртур, который не нуждался в фарфоре. — И мне ничуть не жаль людей, которые теперь пьют из простых мисок или эмалированных кружек. Я всю свою жизнь пользовался такой посудой, и вреда мне от этого не было.

— А по-моему, — сказал Тоурир из Гилтейги, — воюют все больше из-за того, чтобы всяким распутникам забираться в чужие страны и насиловать иностранных женщин. Слышал я от одного человека, который бывал за границей, что из всех ползающих по земле гадов никто так не гоняется за женщинами, как солдаты и генералы. Я наслышался таких историй об этой сволочи — иностранных солдатах и генералах, что повторять их язык не поворачивается, да и не поверит этому ни один человек в Исландии. У меня у самого три дочери. Я больше ничего не скажу, но за последнее время я часто благодарю судьбу за то, что сюда не пришли какие-нибудь французы или немцы — солдаты и всякие генералы, чтобы куражиться над нашими невинными дочерьми.

— Ну, женщины — они и без войны свое возьмут, — сказал Бьяртур. — Видел я их немало; и думается мне, что большинство женщин не прочь побаловаться. Никому не нравится правда,

но от нее не уйдешь.

Тоурир из Гилтейги возразил, что это слишком уж грубо сказано. Бедные девушки! Он не без волнения думал о своих дочерях. Но что правда, то правда: если бы девушки могли устоять перед коварством и насилием, было бы куда лучше для них.

— Я не вижу большой разницы между коварством и насилием, раз цель одна и та же, — сказал Бьяртур.

Эйнар не принимал участия в беседе: его жена и единственная дочь умерли от чахотки, так что в его доме не могло быть и речи ни о коварстве, ни о насилии.

— Но, — сказал он, опять садясь на своего конька, — я согласен с Королем гор. Если одним глазом посмотреть на идеал, за который воюют, а другим — на мертвецов и калек, что тут можно сказать? Только одно: уж лучше бы больше думать о человеческих жизнях, чем об идеале. Ведь если идеал не в том, чтобы улучшать человеческую жизнь на земле, а в том, чтобы убивать людей миллионами, то не лучше ли обходиться совсем без него? Ведь если идеал — это не жизнь, а жизнь — не идеал, то что такое идеал? И что такое жизнь?

— Ну, если они гонятся за идеалом, пусть пе-

няют на себя, — сказал Бьяртур. — Тот, кто хочет войны, должен идти на то, что его убьют. И если этим дьяволам так нравится вышибать жизнь друг из друга, и все из-за глупости — из-за какого-то идеала, мне это все равно. Я, во всяком случае, об этом жалеть не буду. К черту их всех. И еще раз скажу: пусть дерутся как можно дольше, лишь бы цены на мясо и шерсть росли.

— Ну, а если в конце концов никого не останется? — вмешался Круси.

— Тогда мы, ребята, снарядим шхуну, — ответил Бьяртур, — и поплывем в южные страны. Посмотрим, как там с пастбищами. И уж тогда сообразим, не начать ли разводить овец на юге. Я бы посмеялся, увидев, как внуки Тоурира из Гилтейги собирают одуванчики на развалинах Лондона, после того как там разбили весь ихний проклятый фарфор и статуи в придачу. Кто знает, может быть, я тогда разведу сад на том берегу, где Париж сровняли с землей, ха-ха-ха!

— Я должен согласиться с Эйнаром, — сказал Король гор, — что ты немножко перехватил, милый Бьяртур. Не всегда война начинается из-за чистой глупости. Во всяком случае, мы-то, ты да я, не должны говорить о ней так легкомысленно. От войны у нас достаток, благоденствие, мы что

ни день богатеем. Но, с другой стороны, и Эйнар тоже загнул. Где, говорит, война — там идеал. Знайте, что я говорю сейчас не как член приходского совета, — ведь война не касается прихода. Но лично от себя скажу насчет этой так называемой войны — а что есть война? война есть разлад, несогласие, — так вот скажу, что началось это несогласие, как и всякое несогласие, из-за чистого недоразумения. Насколько я понимаю, борьба идет главным образом между Францией и Германией, как их называют, хотя и Англия тоже играет большую роль, особенно на море — у нее тьма-тьмущая прекрасных военных кораблей, любой народ мог бы гордиться ими, даже если бы они употреблялись для чего-нибудь полезного. Как-то летом, вскоре после того, как началась война, я был у уездного врача во Фьорде. Сидел я у него и попивал кофе: у меня ведь было к нему дело насчет лекарства для скота. Разговорились мы о войне, и он достал какую-то диковинную иностранную книгу и стал показывать мне картинки. И я увидел как на ладони Францию и Германию. Должен сказать, что я рассмотрел эти картинки вдоль и поперек, я добросовестно сравнил их. И что же? Никакой разницы между Францией и Германией нет. Это, по сути дела,

одна страна, между ними даже пролива нет, не то что фьорда. И тут и там леса, горы, поля и города, одна и та же природа — ну ни малейшей разницы! А касательно людей осмелюсь заявить, что по виду они не глупее и не злее всяких других людей, и в Германии ничуть не глупее, чем во Франции. Самые обыкновенные люди, если судить по картинкам, только немцы короче острижены, а многие французы придерживаются старой моды и носят бороду — совершенно так же, как в нашем поселке: некоторые с голым подбородком, а другие с бородой. И, кажется мне, правда в том, что и французы и немцы честные, хорошие люди, совершенно такие же, как в нашем поселке. Вот почему я и думаю — и, если понадобится, могу высказать свое мнение хоть на тинге, — что разногласие между этими двумя народами началось из-за недоразумения. Каждый думает, что он лучше другого, хотя на деле между ними нет никакой разницы, разве только в прическе. Каждый утверждает, что его страна почему-то лучше страны другого, хотя Германия и Франция — ну, совершенно одна и та же страна, и если человек в здравом уме, то никакой разницы между ними не увидит. Но все равно очень трудно брать сторону одного, когда двое дерутся; и самое разумное

держать сторону обоих и хорошо отзываться и о том и о другом. Скажу о себе, что я терпеливо жду, кто из них победит, — мне безразлично, кто именно, но я жду и надеюсь, что один одержит верх, и тогда будет больше надежды на то, что эти страны объединятся и превратятся в одну, — ведь от природы это есть одна страна, — и в будущем разлада и никаких недоразумений не будет из-за того, что это две страны.

Глава шестьдесят первая
Вопросы веры

Мировая война все продолжалась, обогащая страну и народ; и многие — в особенности наивные и добрые люди — называли ее уже не иначе, как благословением божиим. Война длилась уже четыре года — и чем дальше, тем большее вызывала удовлетворение. Все добрые люди желали, чтобы она продолжалась до скончания века: цены на исландские товары за границей все росли, и на континенте целые государства боролись за честь ввозить их к себе. Эти способные, но непонятные для исландцев вояки, раньше так спокойно относившиеся к тому, что исландцы страдают от голода и рабства, от купцов и всяких

других напастей, теперь рвали из рук исландские товары и способствовали росту богатства и благоденствия страны. Многие исландцы стали покупать землю, которую они ранее снимали в аренду — ибо земля единственная истинная ценность; а тот, кто еще до войны бился из последних сил, чтобы приобрести землю, теперь занимался устройством своего дома. Задолжавшим была предоставлена возможность залезть в еще большие долги, а к тем, кто никому ничего не был должен, кредитные учреждения ласково простирали свои объятия. Люди сеяли гораздо больше, чем раньше, увеличивали поголовье скота, даже посылали своих детей в школу. В некоторых крестьянских усадьбах появились фарфоровые собачки всех размеров, а кое-где и музыкальные инструменты. Женщины начали носить металлические кольца, многие накупили себе верхней одежды и сапог, что раньше было недоступно трудовому люду. Правительство наметило обширную программу общественных работ, а в тех поселках, которые выбрали в альтинг какого-нибудь энергичного человеколюбца вроде Ингольва Арнарсона Йоунссона, появились дороги и мосты. Была проложена шоссейная дорога от Фьорда через долину мимо Летней

обители и дальше — до самого Утиредсмири; первые самодвижущиеся телеги мчались по ней с невероятной быстротой, пугая лошадей. Погоня за наживой, избыток денег, которые градом посыпались на усадьбы и поселки, разбросанные по стране, лишали кое-кого способности разумно рассуждать; и нельзя отрицать, что цены на землю были слишком взвинчены, что строительная горячка перешла все границы здравого смысла, что детей в школе учили наспех и слишком многому. Лишь немногие относились ко всему происходящему спокойно, не меняли образа жизни, не покупали фарфоровых собачек, не платили денег за учение детей, а постепенно увеличивали поголовье скота, в меру улучшали хозяйство и потихоньку шли к более высокой цели. К их числу принадлежал и Бьяртур из Летней обители. Роскошь и теперь не прельщала его, но он понемногу прикапливал денег на покупку скота и наем работников. Прежде он вел счет времени с того лета, когда на хуторе появилась проклятая Фрида — воплощенное горе-злосчастье. Но это уже было далекое прошлое. Теперь в его стаде насчитывалось двести пятьдесят овец, две коровы и три лошади; летом у него работали косцы, зимой он держал экономку и батрака; он даже

оборудовал старый овечий загон под жилье людям, — и там, где раньше в стене было отверстие, через которое выбрасывали навоз, теперь появилось оконце с четырьмя маленькими стеклами. Из ручейков образуется большая река, говорит пословица. Это было здоровое движение вперед, без потрясений и переворотов, оно совершалось само по себе. Бьяртур нисколько не изменился: он не признавал никаких роскошеств, разве что позволял себе минут на пять лечь отдохнуть на копну сена, в надежде, что скатится оттуда во сне, и лучше всего в лужу; от батраков он требовал добросовестной работы летом и зимой и, по старой привычке, оставшись наедине, бормотал искусно сложенные стихи. Старуха все еще жила, подобно свече, которую господь бог забыл задуть; она шептала свои псалмы и вязала, не видя ростков нового: она отрицала, что через долину пролегла шоссейная дорога, что самодвижущиеся телеги пробегали за три четверти часа весь путь до Фьорда и за четверть часа до Утиредсмири. Она вообще не верила, что есть какие-то пути, кроме, может быть, путей господних. Люди с радостью сообщали ей, что идет мировая война, и в ответ слышали, что никакой мировой войны нет, а если есть война, то самая обыкновенная — из тех, ко-

торые, помнится ей, всегда ведутся за границей. Мировая война — вот еще выдумали! Она даже не верила тому, что где-то существует какой-то мир. Зато она твердила, что над хутором, где они жили, всегда висело проклятье и рано или поздно все в этом убедятся: Колумкилли редко выпускал из своих когтей тех, кто цеплялся за этот хутор.

— А вот в Урдарселе, где я жила сорок лет, был такой красивый закат, и люди были счастливы.

Она постоянно тосковала по родному дому.

Теперь нам следовало бы рассказать о кооперативных объединениях, о крестьянских потребительских обществах. Там, где они возникают, посредники становятся ненужными и крестьяне продают свои товары за хорошую цену. Создается полезная взаимопомощь в торговле, строительстве, производстве и хозяйстве. Эти союзы призваны спасти крестьянское сословие и сделать бедных крестьян состоятельными, какими, говорят, они стали в Дании. Потребительское общество во Фьорде, как и все потребительские общества, процветало. Паразиты-торговцы один за другим шли ко дну или только-только держались на поверхности. Крестьяне понемногу взяли в свои руки торговлю, сельское хозяйство, стройки, даже электричество. Столичные кре-

стьянские газеты писали, что теперь в Исландии закладывается основа для крупного сельского хозяйства, что это сельское хозяйство будет отвечать требованиям времени, станет основным источником дохода для исландцев, краеугольным камнем свободы народа, гарантией сохранения его национальных особенностей, роста его духовной и физической силы. Тот, кто борется против интересов крестьян, — злейший враг народа. Долой посредников! Потребительские общества на двадцать пять процентов сокращают расходы крестьян. Они созданы для борьбы против засилья капитализма, для защиты мелких производителей и прав народа. Но это еще не самое важное. Потребительские общества ставят перед собой и более высокую цель, чем просто экономическая выгода: они стремятся воспитывать людей, расширяют их кругозор, учат быть сострадательными к слабым.

Столичные газеты вдруг подняли на щит крестьянскую культуру. Все для крестьян! Крестьяне — жизненный нерв, спасение нации! Высокогорная долина — колыбель всего, что есть прекрасного в Исландии. Только жизнь исландских крестьян и является здоровой основой нашего процветания. Крестьянин на горном пастбище

дышит чистым воздухом, и этот воздух растекается таинственной жизненной силой по всему организму, оздоравливая тело и душу. Городские жители и представления не имеют о том мире, который дарует мать-природа; не находя этого мира, душа их ищет удовлетворения в минутных капризах, а это, понятно, создает капризных людей, живущих минутными наслаждениями. Овцевод же преисполнен героизма, его закаляют снежные бураны. Жизнь в деревне прекрасна — это наилучшая основа для воспитания народа. Крестьяне несут на своих плечах деревенскую культуру; предусмотрительность и серьезность они ставят превыше всего, на благо стране и народу. Что было бы с историей страны, если бы ее не создавали при мигающей лампаде, наполненной рыбьим жиром, в долгие зимние вечера? Что было бы с народным просвещением, которое стоит выше просвещения всех цивилизованных народов, если бы крестьянский ребенок не учился читать еще в ту пору, когда он держится за ножку кровати, если бы он не учился писать на закопченном стекле, не внимал бы Евангелию в углу овечьего загона, если бы он не слушал героических саг из уст отца или песенок из уст своей бабушки, если бы он не засыпал по вече-

рам, заучивая стихи Хатльгрима Пьетурссона? А природа? Да, прекрасная исландская природа с ее долинами, водопадами, горами и пригорками! Потому-то люди, живущие в горах, — настоящие люди, дети природы. Смысл их жизни состоит в том, чтобы помогать богу.

До сих пор с публичной проповедью о превосходстве крестьянской культуры и ценности крестьянского сословия изредка выступала лишь фру из Редсмири, — может быть, сожалея о том, что ей пришлось расстаться с городом. Она выступала с такими проповедями главным образом на свадебных торжествах, но в поселках на это обращали не больше внимания, чем на проповеди пастора. А теперь эту мысль вдруг подхватили солидные газеты, которые печатаются в столице и расходятся по всей стране, ее жевали и разжевывали без конца. Казалось, что с каждого газетного столбца на тебя глядит, холодно улыбаясь, фру из Редсмири с ее благостным лицом, напоминающим лицо римского папы. Казалось, будто она победила целиком и полностью, по всей линии. На крестьянскую культуру вдруг появился большой спрос, люди поверили в это Евангелие. Никакой нищеты более не существует, никаких призраков прошлого. Колумкилли? Кто теперь

слушает эту болтовню? Нет, исландский крестьянин пробудился от векового сна, и вопрос еще — спал ли он вообще; во всяком случае, он неожиданно для всех создал свою собственную партию, борющуюся против консерваторов, эгоистов, капиталистов, посредников и воров, — партию кооператоров, мелких производителей, крестьян и энергичных, прогрессивных людей, партию справедливости и идеала. Ингольв Арнарсон Йоунссон был одним из первых, кто пошел в альтинг бороться с несправедливостью, за новый идеал наступавшего золотого века. Бьяртур из Летней обители был одним из тех, кто голосовал за него, и его кредит в потребительском обществе возрастал с каждым годом. Поверил ли Бьяртур из Летней обители в Ингольва Арнарсона и в других редсмирцев? Трудно сказать, но одно достоверно: весной, когда началась постройка моста через расщелину в Редсмири, — именно Ингольв Арнарсон добился в альтинге кредита на постройку шоссе и мостов, — Бьяртур однажды вечером, незадолго до окончания рабочего дня, отправился на запад к перевалу и завел беседу с дорожными рабочими. Эта беседа дает некоторое представление о том, во что верил Бьяртур.

Рабочие вбивали клинья в скалы и дробили

их на мелкие куски, которые затем обтачивали долотом. Мост строили в том месте, где река втекала в узкое ущелье, и нужны были высокие сваи и много камня, чтобы укрепить их.

— Бьете камень, ребята, — сказал Бьяртур, гордясь тем, что скалы, находящиеся на его участке, приносят пользу государству.

— Да, черт возьми, но мы с большим удовольствием целовали бы девушек.

— Ну, я пришел сюда не для того, чтобы говорить с вами, дьяволы, о непристойных вещах.

— Да к чему говорить с тобой о непристойных вещах? У тебя ведь даже не хватило силы народить пару дочерей. А народил бы — было бы и нам веселее.

— Ну, если хотите помериться со мной силами, упражняйтесь на чем-нибудь покрепче, чем этот дрянной щебень. Он мягок, как сыр.

— Что тебе здесь надо? — спросил один из рабочих.

— Не ваше дело задавать вопросы, по крайней мере, здесь, на моей земле, — ответил Бьяртур. — Я буду спрашивать, а вы отвечайте.

— Ну, король, да и только!

— У кого нет долгов — тот и король, — сказал Бьяртур. — Если я возьму парня на работу, то

заплачу ему не меньше, чем государство. Но вот о чем я хотел спросить: не может ли кто из вас, ребята, высечь могильный камень?

— Могильный камень? — Рабочие перестали зубоскалить, они уважали горе. — Мы ведь этому не учились, мы не умеем делать тонкую работу.

— А на что мне тонкая работа? Нужно, чтобы камень был хоть немного похож на могильный — пouже кверху, пошире книзу.

— Это мы сумеем, — подтвердили каменотесы, — но за такую работу мы возьмемся в свободное время и за особую плату.

Бьяртур ответил, что он скаредничать не привык, в особенности в таком деле. Рабочие это хорошо понимали: могилы близких — это святыня, тут не экономят на эйрире.

Начался торг, рядились долго; обе стороны были осторожны, даже вежливы, в особенности рабочие, — обе стороны впервые вели подобный торг. Но наконец сговорились. Бьяртур несколько раз повторил, что тонкая работа тут не нужна. А надпись? Да, надпись придется сделать. Дело осложнилось, рабочие не были особенно искушены в искусстве письма.

— Ничего мудреного мне не нужно, — сказал Бьяртур, — достаточно написать местожитель-

ство, имя покойницы и имя того, кто воздвиг ей камень.

— Это твоя покойная супруга?

— Нет, — ответил Бьяртур. — Не совсем. Но это, во всяком случае, женщина. Женщина, к которой я и другие долго были очень несправедливы. Мы часто не правы в своих суждениях, да, пожалуй, и в поступках, особенно в тяжелые годы. Мы боимся, как бы нам не пришлось есть чужой хлеб.

— Она покоится в Редсмири?

— В Редсмири? Она? — оскорбленно переспросил Бьяртур. И прибавил с гордостью: — Нет, о нет! Она никогда не жаловала жителей Редсмири и их кладбища. Она лежит на моей земле, вон на том холме, на краю скалы.

Рабочие с изумлением смотрели на него, не зная, что сказать. Один из них наконец вымолвил:

— Уж не говоришь ли ты о привидении? А другой прибавил:

— Смеешься ты над нами, дьявол?

Но Бьяртур не смеялся, он никогда не понимал, как это можно смеяться над другими, он говорил совершенно серьезно, он давно решил поставить камень старухе Гунвер. Целые века она пролежала в земле в его владениях, на

нее взвели поклеп, будто она якшается с дьяволом, — он считал, что настало время снять с нее несправедливые обвинения. Это была, думалось ему, просто несчастная женщина, — не менее несчастная, чем весь народ. Он сам знавал тяжкие времена, но что это по сравнению с теми бедствиями, которые обрушивались на страну встарь, — например, голод или торговая монополия, когда, говорят, злой Колумкилли властвовал над людьми. Очень может быть, что женщина была грешна перед людьми, — по кто же не грешен? Говорили, что она убивает людей, — но кто же не убивает людей, если вдуматься? Что такое люди? Люди в тяжелые годы — это меньше, чем прах под вашими ногами. Бьяртур сказал, что считает женщину своей соседкой по пустоши. До сих пор он не оказывал ей никакой помощи, — но вот наступили хорошие времена на суше и на море, и пора загладить свою вину перед непонятой женщиной, положить камень на ее могилу и не поминать старого. Он готов был даже дать ей свое имя вместо суеверной клички, которая к ней пристала, и поручил каменотесам высечь надпись: «Гунвер от Бьяртура».

Глава шестьдесят вторая
Билет

Гвендур вырос.

Это был высокий юноша, похожий на отца, но более мягкий по характеру. Как ни странно, он мало интересовался поэзией и стихосложением. Впрочем, это уже не считалось недостатком, — стихов было предостаточно написано обо всем на свете, и немало очень искусных. К тому же в те времена, когда он рос, люди думали не о поэзии — они думали о мировой войне, о благословении божьем, ниспосланном на море и сушу. Гвендур был парень широкоплечий, плотно сбитый, чуть-чуть неуклюжий, со светлыми волосами, которые он редко подстригал или причесывал. У него было обветренное лицо; в его добрых глазах светилось выражение решимости и воли. Но что такое воля? Он был очень силен.

Его называли единственным сыном крестьянина из Летней обители. И это было большой честью в те времена, когда маленькая овечка стоила тридцать, сорок и больше крон, когда на усадьбе появлялась корова, а затем и другая,

и это не вызывало ни споров, ни возражений — как самое обычное дело; еще недавно бедняк, он начинал нанимать рабочую силу — батраков, которые приходили весной и осенью в любую погоду; и хотя они требовали высокой платы, работая всего четырнадцать часов в сутки, они все же стояли гораздо ниже крестьянского сына на общественной лестнице. В один прекрасный день Гвендур станет наследником этого маленького царства. С детства он работал в усадьбе, во сне и наяву мечтал о хозяйстве, любил землю, даже не сознавая этого, был готов одолевать трудности, не щеголяя идеалами. Он радовался тому, что овцы окотились благополучно и в срок, что они хорошо переносят зиму и к весне выйдут на пастбище, — других радостей у него не было. А может быть, это и есть истинная радость? Он никогда не горевал о том, что дом немного покосился.

Бьяртур считал, что его сын таким и должен быть; он только жалел, что у него нет с полдюжины таких детей. Но что же делать. Мальчику минуло всего семнадцать лет, а у него уже было шесть молочных овец, кожаные башмаки, синий воскресный костюм и часы с цепочкой. Не так-то много найдется исландцев, обладающих таким богатством в семнадцать лет. Но богатство при-

обретается упорным трудом. Ему и в голову не приходило сидеть на пороге и болтать всякий вздор, мечтать и якшаться с привидениями, как делали его братья, — это к добру не приводит. Вот они оба и умерли, каждый по-своему, а он жив и является владельцем шести молочных овец.

В то время в поселках шло брожение, кое-кто называл это распадом, — и немногим было дано устоять перед этим брожением и этим распадом. Нет, немногим. Больше всего это касалось денег: ведь большинство считает, что деньги — единственная сила, управляющая жизнью. Много ли их, мало ли, или ни много, ни мало — от этого зависит вся жизнь человеческая. Люди вдруг сделали открытие, что денег существует вообще гораздо больше, чем они предполагали; тот, кто редко имел дело даже с какими-нибудь двумя кронами, вдруг стал орудовать десятками их, а владельцы десяти — двадцати крон говорили о тысячах так же равнодушно, как о том, чтобы зайти на минутку за угол дома. Даже слезливые старики, уже многие годы не имевшие ни гроша, начали вести коммерческие операции на такие суммы, что невольно вспоминалась астроно-

мическая поэма «Ночь»[44]. Тоурир из Гилтейги купил себе усадьбу и, по слухам, заплатил за нее наличными. Да о чем тут говорить, если даже чахоточный философ Оулавюр из Истадаля подписал купчую на свою маленькую усадебку, говорят, на сорок тысяч! Другие вкладывали деньги во фьордский банк, который обычно связывали с именем утиредсмирского старосты, потому что у него в банке, говорили, лежало сто тысяч; но вряд ли это верно: ведь никто не жаловался так горько на невыносимое бремя долгов, как староста. В этом банке платили большие проценты: говорили, что деньги, как только их вписывали в банковские книги, начинали давать приплод, как крысы. Среди вкладчиков был и Бьяртур из Летней обители; в банке его встречали с почетом и выдавали ему проценты. И выходит, что эти проценты он получал у владельцев Редсмири. Нет, все идет шиворот-навыворот!

Староста появляется во дворе усадьбы с тремя верховыми лошадьми, он в сапогах, полученных, очевидно, в уплату долга, — мировая война одинаково осыпает дарами и великих и малых.

---

[44] Примечания: 44

...астрономическая поэма «Ночь». — Имеется в виду философская поэма «Ночь», написанная в 1842 г. исландским поэтом, математиком и географом Бьёрном Гуннлаугссоном. *(Прим. Л. Г.).*

Он жалуется, что одна из его лошадей потеряла подкову.

— Кстати, — говорит он, — какая досада, что пастбище на болоте пошло прахом из-за этой проклятой дороги!

— Это мое болото, — отвечает Бьяртур.

— Твоя теща еще жива?

— Да, но живет она на мой счет, не на твой. Она еще не ела чужого хлеба, хотя было время, когда ты хотел взять ее отсюда и перевести на иждивение прихода.

— А что с ее усадьбой?

— С какой усадьбой?

— С ее усадьбой, ее собственной.

— Да стоит себе по-прежнему на пустоши Сандгил.

— Ну, ты всегда был упрям, — говорит староста. — Упрям, как осел, черт тебя возьми! От тебя и весной в погожий день не услышишь доброго слова.

— С кем поведешься, от того и наберешься, — сказал Бьяртур.

— Говорят, что ты собираешься эту усадьбу продать и перебраться туда.

— Куда — туда? Это враки.

— Может быть, ты в таком случае построишь

себе приличный дом здесь?

— Построю, если захочу.

— Я только хотел спросить тебя, правда ли это. Ты мог бы продать мне мое старое Зимовье.

— За последние восемнадцать лет эта усадьба называется Летняя обитель, дорогой Йоун, возможно, ты это забыл, мы ведь редко встречаемся. Но я думаю, что скорее Редсмири отойдет к Летней обители, чем Летняя обитель к Редсмири.

— Редсмири продается. Семьдесят тысяч крон на стол — и усадьба твоя.

— Я куплю ее, когда захочу.

— Что ж, подумай, время есть. А пока будешь думать, продай мне Зимовье. Десять тысяч чистоганом.

— Да, и, надо думать, фальшивыми деньгами.

— Пятнадцать тысяч, — выпалил староста.

Но Бьяртур в ответ сказал ему несколько крепких слов, в которых воздал ему по заслугам, как он это делал сотни раз раньше.

К этому времени лошадь старосты подковали, и он вскочил на нее верхом.

— Я сказал — пятнадцать тысяч, — повторил староста, усаживаясь в седле. — И не ручаюсь, что еще раз повторю свое предложение. Но если ты предпочитаешь строиться — дело твое. И

если тебе нужна для этого ссуда из банка, я тебе мешать не стану.

Пятнадцать тысяч крон! Этот живодер в заплатанных штанах, этот скряга, который никогда не мог расстаться с монеткой в два эйрира, не повернув ее четыре раза в руке, говорит «пятнадцать тысяч крон». В уме ли он? Конечно, пачка в пятнадцать тысяч крон — это все равно что фальшивые деньги, раз он их сам не заработал. А такие деньги разве заработаешь? Было бы правильно догнать его и убить, как это сделал Эгиль сын Скаллагрима[45], когда Эйнар Звон Весов[46] оставил в Борге щит, исписанный древними рунами и выложенный золотом и драгоценными камнями. Он предлагает деньги за усадьбу или хотя бы под усадьбу. Почему хозяева Редсмири не могут оста-

---

[45] Примечания: 45

Эгиль сын Скаллагрима — знаменитый исландский скальд и воин, отличавшийся непревзойденной силой и храбростью, жил в X в. Эгиль часто плавал в Норвегию, он враждовал с норвежским конунгом Эйриком Кровавая Секира, сына которого он убил. Однажды, потерпев кораблекрушение, Эгиль попал в руки Эйрика и должен был быть казнен. По совету своего друга Аринбьёрна Эгиль сочинил за ночь хвалебную песнь в честь Эйрика, за что ему была сохранена жизнь. О жизни и подвигах Эгиля рассказывается в «Саге об Эгиле», отрывки из его стихов сохранились в «Саге об Эгиле» и в «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона. *(Прим. Л. Г.).*

[46] Примечания: 46

Звон Весов, или Эйнар Звон Весов, скальд, друг Эгиля. Однажды он приехал к Эгилю в гости, не застал его дома и, прождав три дня, уехал, оставив Эгилю в подарок драгоценный щит. Эгиль, узнав о

подарке, страшно разгневался, решив, что Эйнар подарил ему щит, чтобы Эгиль сочинил в честь дарителя хвалебную песнь. Эгиль хотел догнать Эйнара и убить, но так как сделать это было уже невозможно, Эгиль все же сложил в честь него хвалебную песнь; и они остались друзьями. *(Прим. Л. Г.).*

вить в покое крестьянина из долины? Почему они постоянно соблазняют его выгодными на первый взгляд предложениями? Нет, Бьяртур решил до конца остаться хозяином своей земли, на которой он жил вместе со своими овцами и для своих овец. В один прекрасный день, когда он умрет, так же как умирают овцы, его единственный сын поднимет знамя крестьянина долины и понесет крестьянскую культуру вперед, в будущее, где она будет жить еще тысячи лет. Если же он, Бьяртур, будет строиться, — а он решил, когда придет время, строиться, то уж никак не по указке хозяев Редсмири, а по причине, касающейся только его самого. «Пусть они никогда не соблазнят тебя деньгами, милый Гвендур. И если ты будешь здесь жить, — а я знаю, что ты будешь здесь жить, — то как владелец этой земли». На земле живут овцы, крепкие, здоровые овцы, которые хорошо переносят зиму и покрываются густой шерстью. Растить овец — это и есть подвиг крестьянина. Да, не всякому дано устоять, подобно скале, в эти времена, когда все течет — деньги и взгляды, когда крепчайшие стены между людьми и вещами во времени и пространстве рушатся, когда невозможное становится возможным, когда осуществляются мечты даже тех, кто никогда

не осмеливался пожелать себе чего-либо. Овцы, точно какие-нибудь чиновники, стали питаться хлебом; вкусную сельдь ведрами ставят перед самыми обыкновенными коровами, — и они пожирают это лакомое блюдо, подняв уши и закрыв глаза от избытка блаженства. Исландцы водят свои корабли в Америку, чего они не делали свыше девятисот лет — с тех самых пор, как Лейв Удачливый[47] открыл эту страну и снова ее потерял. Да, во всем чувствовался широкий, мощный размах. И в этом хаосе счастья, среди богатств, рекой льющихся по всем каналам страны, когда люди отвыкли удивляться великим событиям и огорчаться внезапными крушениями, мистер Гудмундур Гудбьяртурссон — то есть Гвендур — получил письмо, за которым ему пришлось отправиться лично в Редсмири, чтобы расписаться в его получении. На письме была марка из Америки. Гвендур не решался открыть его, пока не вернулся к себе на холм, ибо он ни за что на свете не хотел, чтобы хозяева Редсмири пронюхали о его тайне. Он усаживается в ложбинке, где све-

[47] Примечания: 47

Лейв Удачливый — норвежец, сын Эйрика Рыжего, в конце X в. достиг берегов Северной Америки, которую он назвал Винланд — Виноградная страна. О Лейве Удачливом и его плаваниях рассказывается в «Саге о гренландцах» и в «Саге об Эйрике Рыжем». *(Прим. Л. Г.).*

жая трава еще не успела пробиться сквозь сухую прошлогоднюю, было начало мая, — и открывает письмо. Из конверта выпадают две голубые бумажки, на них какие-то незнакомые буквы и мудреные подписи с завитушками. На третьей бумаге, подписанной Нонни, написано отчетливым почерком: «Дядя посылает тебе двести долларов, чтобы ты сейчас же приехал в Америку. Война кончилась, времена сейчас нетрудные, ты можешь стать кем хочешь». Как бы ты ни любил свою землю, ты не настолько привязан к ней, чтобы отказаться уехать в Америку. Люди уезжают в Америку на огромных пароходах через широкое море. Единственное, что мешает, казалось бы, крепко привязанным к земле людям оставить свою землю, — это не сама земля и не любовь к ней, а отсутствие денег на проезд в Америку. Так жители горных долин Исландии — цвет народа, его костяк, его жизненный нерв, его спасение, воплощение крестьянской культуры — в течение сорока лет уезжали в Америку. У них был такой же глупый вид, как у детей Израиля в пустыне: они ехали с деревянными корытами под мышкой, с перинами, пахнущими пухом морских птиц, — будто в Америке нет ни корыт, ни постельных принадлежностей. Так люди, составляющие жиз-

ненный нерв Польши, говорят, эмигрировали в Америку на протяжении пятидесяти или ста лет и эмигрируют до сих пор, если только им представляется возможность, — захватив с собой подушки и колеса от своих любимых телег, из опасения, что в Америке нет колес и подушек. Возьмем, например, юношу исландца, сидящего на увядшей траве, Гудмундура Гудбьяртурссона, семнадцати лет, владельца шести овец, блестящих кожаных башмаков и многого другого. Трудно представить себе человека, который был бы крепче привязан к полоске земли на пустоши, к горе, что высится над усадьбой, к морю, к отчему дому, таящему в себе бесконечные возможности, какие только может нарисовать в весенних мечтах о будущем его еще детский ум. Никто не был так счастлив на груди горной королевы, как говорится в сказках. И вот из конверта выпорхнули две голубые бумажки с непонятными словами — и все кончено. Он уже убежден в том, что в последний раз слышит щебетанье исландских птиц, мысленно он уже начинает прощаться с долиной, родившей его, — той долиной, с которой он слился в единое целое, и твердо решил стать «кем он хочет» в стране, где в стаде ведется счет только крупному рогатому скоту, где никто не говорит о такой безделице,

как молочная овца. Может быть, он даже станет столяром, как тысячи исландцев, перебравшихся за море на Запад, как его дядя. Они стали столярами в Америке, вознаграждая себя за то, что в течение тысячи лет не могли забить ни одного настоящего гвоздя; они строили человеческое жилье в стране, куда приехали искать счастья. Это было своего рода кровавой местью кускам дерна и торфа, над которыми они бились из века в век еще во времена наполеоновских войн.

Когда Гвендур вернулся в долину, в Летнюю обитель, ему показалось — бог тому свидетель, — что отцовский домик как-то смешно покосился и съежился. Он намеревался сказать отцу, что едет в Америку. Две голубые бумажки, много денег… Война кончилась, он может стать кем хочет, — разводить рогатый скот, может стать столяром.

Отец стоял, задумавшись, у порога и смотрел на долину. Может быть, ему виделось в его весенних мечтах о будущем, как растет и расцветает его род. А может быть, у него и не было подобных видений и не было идеала, о котором можно было бы написать; может быть, он не находил ничего поэтического в своем тяжелом труде, — во всяком случае, не больше, чем французы и немцы, перебившие миллион людей без всякой причи-

ны, и, по мнению некоторых, ради собственного удовольствия. Но одно было бесспорно: когда-нибудь он умрет, отправится к черту. Кто же тогда позаботится об овцах? Неужели достаточно двух голубых фальшивых бумажек, чтобы свести с ума здорового крестьянского парня, продолжателя тысячелетнего прошлого своей страны, составляющего единое целое со своей родиной и народом? И вот по пути от холма к хутору он изменяет стране, народу, себе самому, своему прошлому, настоящему и будущему.

Бьяртур только сказал:

— Не верь письмам из Америки. Все, что в них пишут о кормлении скота, — ложь.

— Тогда, может быть, я стану столяром, — сказал юноша.

Отец сплюнул и ответил:

— Я знал многих столяров; они никогда ничего толком не делали — слонялись из поселка в поселок и забивали гвозди для чужих людей. На катящемся камне мох не растет.

Юноша упорно молчал.

Подождав немного, отец продолжал:

— Я потерял почти всех своих сыновей и никогда ничего не говорил. Что было — то прошло. Но ты же умеешь ходить за овцами. Я бы прошелся

по твоей спине плеткой, будь ты на год моложе.

— Если человек получил так много денег, — сказал юноша, — почему же не воспользоваться этим, не отправиться в большую страну?

— Большая страна? Дурацкая болтовня! Летняя обитель — не меньше любой страны. А тот, кто не может быть мужчиной в Летней обители, не станет им ни в какой другой стране. Из тебя нигде не выйдет мужчины. Другое дело твой брат Йоун, у него охота странствовать была в крови с раннего детства, и думал он не об овцах, а о чем-то другом. Но ты? Ты же умеешь разводить. Я тебя никуда не пущу. Тебе я хотел оставить землю. Ты, как добрая земля, мог бы приносить по два урожая в год, — вот что я думал о твоем будущем. Ты был мне самым преданным из всех моих детей; и хоть ты еще безусый, но — кто знает, — может быть, со временем ты мог бы удачно жениться и стать богатым крестьянином.

Юноша медленно ответил:

— Мне исполнилось семнадцать лет, и я сам могу решать свою судьбу. Правда, я всегда любил овец, но если я ничего не говорил вслух, — разве ты знаешь, о чем я думал про себя? Я часто думал, что, если мне представится случай, то я ухвачусь за него. Я уверен, что так думают все

— и молодые и старые. Люди не смеют мечтать, надеяться на что-нибудь и продолжают работать, некоторые до самой смерти. Поэтому я и сам не верил в этот случай, пока не распечатал письма. Но я чего-то ждал, сам не знаю чего. Может быть, один-единственный раз жизнь улыбнулась мне. Я не сумасшедший, но я был бы сумасшедшим, если бы не воспользовался этим единственным случаем, чтобы поехать в широкий мир и стать чем-то в этом мире, как те люди, которые смеют думать вслух.

— Знать я не хочу никаких глупостей, — сказал отец, — слышать не хочу об этом дьявольском мире! Что ты знаешь о нем? Что такое мир? Мир здесь, Летняя обитель, мой хутор, — вот он, мир. И если ты спятил, заболел горячкой и хочешь схватить солнце в руки только потому, что увидел голубые американские деньги, — а ведь они фальшивые, как все незаработанные деньги, — так ты узнаешь рано или поздно, что Летняя обитель — это и есть мир, и тогда ты вспомнишь мои слова.

Наступило холодное молчание.

Глава шестьдесят третья
Сир и гол утес…

Бьяртур не пытался уговаривать сына: ведь это признак слабости; самостоятельный человек думает только о своих делах и не вмешивается в чужие. Он, Бьяртур, сам никогда не позволял уговаривать себя. Но с того дня сын перестал для него существовать: он не обращался к Гвендуру, не отдавал ему приказаний; он копал глубокую канаву на лугу вместе с батраком и работал, как каторжный, целыми днями. Юноша тоже ничего не говорил, но предстоящая разлука давила его тяжелым камнем, наполняла его душу страхом и печалью. Любовь к земле была у него в крови, она не требовала ни слов, ни объяснений, и теперь ему казалось, что он отрывается от земли и уносится куда-то в воздух, в пустое пространство, в неизвестность. Но он не мог ничего изменить. Человек живет в мире действительности, привыкает к ней с детства, мужественно смотрит ей в глаза, — но вот даль поманила его к себе своими невиданными возможностями, у него в руках входной билет — две голубые бумажки, — и он

уже не живет в мире действительности, он уже не в ладу с ней, у него нет мужества смотреть ей в глаза, он во власти гостеприимной дали, манящих надежд, — может быть, на всю жизнь. Может быть, он уже конченый человек.

— Я уезжаю завтра, — сказал Гвендур. Ответа не последовало.

— Не купишь ли ты моих овец?

— Нет, но ради тебя я могу утопить их в торфяном болоте.

— Хорошо, тогда я подарю их Аусте Соуллилье, когда буду проезжать через город.

— Что? — сказал отец. — Ты сошел с ума! Ты едешь? Тебя убьют.

— Ведь уже не воюют, война кончилась. Больше они не сказали ни слова.

— Бабушка, — сказал юноша. — Я уезжаю завтра.

— Ну, не так уж, верно, далеко, мой мальчик, — заметила она.

— В Америку.

Халбера уронила вязанье на колени, поглядела на него искоса и почесала спицей под чепцом.

— Ну, все вши у меня разбежались в разные стороны, — сказала она и снова взялась за вязанье.

Гвендур встал утром совершенно разбитый, по-

прощался с бабушкой; в этом прощанье не было ничего поэтического, она даже не попросила его передать привет родственникам. Отец не дал ему лошади, и юноша отправился пешком на восток. Он надел свой синий костюм; часы с цепочкой и блестящие башмаки он нес в носовом платке под мышкой, а багаж отправил заранее; носки натянул поверх брюк, чтобы не испортить их.

Щебетали птицы. Белый туман лежал на горах. Трава была в росе. На коричневом болоте зеленели сухие полоски земли.

Отец уже работал в канаве. Гвендур направился к нему, чтобы попрощаться. Бьяртур даже не потрудился выбраться из канавы, он только коротко сказал: «Прощай».

— Отец, — смущенно сказал юноша, стоя на краю канавы, — не поминай меня лихом.

— Я боюсь, что тебе придется плохо, сынок, — ответил Бьяртур. — Честным людям там плохо приходится. А здесь ты мог бы стать самостоятельным человеком, как я. Ты отдаешь свое царство ради того, чтобы стать слугой других. Но что толку говорить. Я остаюсь здесь один и буду работать, пока жив. Скажи это и маленькому Нонни. Прощай.

Так он потерял своего последнего ребенка, —

потерял тогда, когда уже стал приближаться к цели после долгой борьбы за самостоятельность; а ведь эта борьба стоила ему всех остальных детей. Теперь он уже ощутимо видел перед собой достаток и самостоятельность. Пусть, кто хочет, уезжает, — может быть, так оно и лучше. Сила в одиночестве. Человек родится и умирает одиноким, — почему же ему не жить одиноким? Выходит, что одиночество — это и есть цель жизни. Бьяртур снова взялся за лопату. Вдруг ему пришла на ум какая-то мысль, он перестал копать и высунул голову из канавы.

— Послушай, — крикнул отец; он побежал за сыном и нагнал его. — Ты что-то сказал вечером об Аусте Соуллилье?

— Я говорил о том, что если ты не купишь моих овец, то я подарю их ей.

— Ах, вот что, — сказал отец. — Ну, тогда прощай. Если даже война и кончилась, все же нет никакой уверенности, что они не убьют тебя по глупости. Эти сумасшедшие провоевали четыре года, — так неужели ты думаешь, что они вдруг поумнели и подобрели только потому, что заключили мир? Нет, сумасшедший — это сумасшедший.

Сын не смог найти подходящего ответа на это

глубокомысленное замечание.

— Вот что я еще хотел сказать, — промолвил отец и снова остановился. — Если ты увидишь Аусту Соуллилью, то скажи ей, что ранней весной я бродил по южной стороне пустоши, и когда я подошел к утесу, мне пришли в голову две строфы. Послушай:

Снежно-сед, угрюм и крут,
сир и гол утес;
с допрежних лет стоит он тут,
будто в дол врос.

В нем жизни нет, не льнет к нему
ни цвет, ни куст, ни злак;
и солнца свет не разгонит тьму —
проклятья густ мрак.

Запомнишь?

— Я могу запомнить все, что понимаю, — ответил сын, — но что означают слова «проклятья густ мрак»?

— Это тебя не касается, это всего-навсего стихи об утесе. Я не верю ни в какие злые силы мрака и никогда не верил. И в доказательство ты можешь сказать Аусте, что я поставил камень на могиле старой Гунвер и написал на нем свое имя. Но в

стихах я могу говорить о чем хочу.

Юноша выучил стихи наизусть и больше ни о чем не спрашивал.

— А вообще передай ей привет и скажи, что все у меня по-старому, — сказал отец, — только вот дом немножко покосился в том году, когда зима была холодная. Но когда я выстрою новый дом, то уж так, чтобы он стоял прочно. И этого ждать недолго.

С этими словами он снова вернулся к своей работе.

Глава шестьдесят четвертая
Беседа о сказочной стране

Уехать в Америку уже не считалось зазорным. А ведь еще недавно существовало мнение, что на это способны лишь отпетые люди, голь перекатная — те, кто рано или поздно попадет на иждивение прихода, а то и в тюрьму. Теперь на поездку в Америку смотрели проще: обыкновенное заграничное путешествие. Отъезжающих уже не называли бездельниками, бродягами, не отпускали по их адресу шуточек: это-де подгнивший товар, экспортируемый приходами. Нет, это были люди с деньгами в кармане, они ехали на

Запад, за море, к своим богатым родственникам и друзьям, весьма почтенным людям. Исландцы, поселившиеся за морем, вдруг стали весьма почтенными людьми: всем было достоверно известно, что у них есть деньги. Гвендур из Летней обители, которым раньше никто во Фьорде не интересовался, теперь явился в город с деньгами в кармане, с сотнями, может быть, с тысячами крон, и вдруг стал здесь уважаемой особой. В ожидании парохода он пил кофе у судьи, пока оформляли его паспорт. Даже жена судьи вышла посмотреть на него — он ведь отправлялся в Америку!

Один образованный человек, которого он совершенно не знал, окликнул его на улице, пригласил к себе на чашку кофе и научил его говорить «йесс», «монни» и «ол райт», чтобы он не растерялся в Америке. А в пароходной конторе ему целый час объясняли, как вести себя в Рейкьявике, кого разыскать, что сказать, кому платить за билет на пароходе. Кто-то угостил его сигарой, и его вырвало тут же на берегу. Многие останавливали его на улице и спрашивали:

— Это ты?

Да, это он.

Женщины выглядывали из окон и, приподняв

занавеску, оглядывали его с ног до головы с романтическим любопытством: они знали, что это — *он*. Ребята прятались за углами домов и кричали ему: «Америка! Америка, гей!» Так, в угаре славы, пролетели два дня. Гвентур купил себе нож и веревку — ведь это самое главное, когда едешь в Америку. Пароход должен был прийти завтра утром. Все приготовления были закончены, у него оставалось еще полдня. «Теперь надо пойти к Аусте Соуллилье», — решил Гвендур. Он разыскал ее: она работала служанкой в семье рыбака; ее дочке было пять лет.

— Ее зовут Бьорт, — сказала Ауста Соуллилья. — Я сама была большим ребенком, когда она родилась, и не могла придумать ничего другого. Большая девочка для своего возраста, еды у нее теперь вдоволь. Она у нас с косинкой, как ее мама.

Ауста поцеловала дочку. Сама она стала теперь высокой молодой женщиной; у нее были длинные ноги, может быть, чересчур широкие бедра и слишком узкие плечи. Она сутулилась, и грудь у нее была не такая высокая, как в тот год, когда ей было пятнадцать. Глаза — серебристо-серые, темные брови, бледная кожа. Линия рта, прежде такая красивая и мягкая, теперь придавала лицу Аусты жесткое выражение; один передний

зуб почернел, глаза косили сильнее, чем раньше, — может быть, от усталости; кисти рук были костлявые и длинные, но хорошей формы, плечи слишком худые; шея еще белая и молодая; голос холодный и резкий, не звонкий. Ауста подстригла волосы, и один локон все время спадал ей на глаза. Во всей ее внешности было что-то сильное и слабое в одно и то же время, притягательное — и отталкивающее. На нее нельзя было не обратить внимания: в ее лице не было ни одной тусклой черты, глаза ее жили и говорили, каждое движение выражало что-то глубоко личное, и все в ней противоречило одно другому — радость и грусть, унижение и гордость одновременно. Ее жизнь сложилась из непрерывных и глубоких страданий. Возникало желание быть добрым к ней, и одновременно оттолкнуть ее от себя, и снова вернуться к ней — потому что ты ее не понял, а может быть, не понял и самого себя. Гвендур сразу почувствовал, что она несравненно выше его, хотя она в смущении стояла над грудой грязного белья, одетая в лохмотья, будто неся на себе позор тысячелетнего унижения целого народа. Вот она стоит, у нее появился испорченный зуб, она держит за руку незаконнорожденного ребенка… И Гвендур удивляется ей, как в ту пору,

когда они все жили дома, в Летней обители, когда она была их старшей сестрой. Нет, они не были родственниками.

— Я еду в Америку, — сказал он.

— Бедный мальчик, — ответила она, но равнодушно, без всякого сочувствия.

— Здесь теперь хорошие времена, но я уверен, что там можно добиться большего.

— Кто послал тебя ко мне?

— Никто. Я хотел только попрощаться с тобой. Она холодно улыбнулась.

— Я думала, что ты единственный из нас всех ни о чем не будешь тосковать. Я думала, ты станешь свободным человеком, точь-в-точь как Бьяртур из Летней обители.

Она выговорила слова «Бьяртур из Летней обители» с холодной улыбкой, без колебаний. Она стала сильнее и отбросила всякую чувствительность.

Гвендур глубоко задумался, он боялся взглянуть на Аусту, чтобы не потерять нить мысли.

— Видишь ли… есть какая-то сила… Она правит нами, держит нас в руках. Я не знаю, что это. У отца твердый характер, но он все же не свободен. Кто-то еще более твердый, чем он, держит его в руках.

Ауста внимательно посмотрела на него, как бы пытаясь проникнуть в его душу: как много он может понять?

— Ты говоришь о Колумкилли? — холодно спросила она. Казалось, они оба удивлялись друг другу.

— Нет, — ответил Гвендур, — это сила, которая никогда не дает покоя и постоянно гонит человека, требует, чтобы он работал.

— Я не узнаю тебя. Ты как будто уже не прежний, Гвендур.

— Это потому, что я получил деньги, а тогда начинаешь на все смотреть другими глазами.

— Ты никогда от него не освободишься.

— От кого?

— От Бьяртура из Летней обители. Если даже ненавидишь его, он живет в тебе. И ты ненавидишь только себя самого. Тот, кто бранит его, — бранит себя.

Этого Гвендур не понял.

— Если поехать в далекую страну, — сказал он, — и начать там новую жизнь, то, может быть, станешь свободным.

Она громко засмеялась холодным смехом.

— Я тоже так думала; это было в ту ночь, когда я ушла от него. Он выгнал меня. Я благодарила

бога за то, что он выгнал меня. Я шла по пустоши, босиком, до утра. Я отправилась в другую страну.

— Ты?

— Да, я отправилась в мою Америку. Поезжай ты в свою. Счастливого тебе пути.

— Ты думаешь, как отец, что там из меня ничего не выйдет?

— Я ничего об этом не говорю, милый Гвендур. Я только знаю, что в тебе живет Бьяртур из Летней обители, да и во мне, хотя я ему и не родня.

— Знаешь, это же хорошо, — сказал юноша. — Отец из тех людей, которые никогда не сдаются. На днях ему предложили пятнадцать тысяч крон, я сам слышал, — и он отказался. При такой твердости он может стать большим человеком, если уедет за море, например, в Америку, где в стаде ведется счет только крупному рогатому скоту.

— Ты же сам только что сказал, что есть кто-то еще потверже и управляет им, держит его в руках.

— Я сказал это просто так, я ведь не верю в Колумкилли.

— Да это и не Колумкилли, — сказала Ауста. — Это та сила, которая управляет миром; называй ее как угодно, милый Гвендур.

— Это бог?

— Да. Если богу угодно, чтобы человек до самой смерти работал, как раб, и был лишен всего, что может дать жизнь, — то это бог. Но мне некогда больше разговаривать с тобой, милый Гвендур, мне надо работать.

— Послушай, — сказал он, не поняв этой слишком глубокой для него мудрости, — мне надо кое-что сказать тебе на прощанье... Я хотел бы подарить тебе своих овец.

Ауста уже сделала движение, чтобы уйти, но резко остановилась и посмотрела на него; во взгляде ее мелькнуло выражение непритворной жалости: так иногда жалеют невероятно глупого человека, выдавшего себя в разговоре. Потом она засмеялась.

— Спасибо, милый Гвендур, но я не принимаю подарков, даже от сына Бьяртура из Летней обители. Не сердись, я не в первый раз отказываюсь от подарков. Прошлой зимой, когда я голодала вместе с моей дочкой в нетопленном подвале у фьорда, ко мне тайно пришел однажды вечером самый могущественный в этих краях человек и сказал, что я его дочь. Он предложил мне много денег. Он даже предложил мне заботиться обо мне и о моей маленькой Бьорт. А я сказала: «Лучше уж ей умереть». — Она снова холодно за-

смеялась и прибавила: — Ведь я и Бьорт, видишь ли, тоже самостоятельные люди, мы тоже свободная страна. Свободу мы любим не меньше, чем Бьяртур, тезка моей дочери. Свободно умереть — все же лучше, чем жить подачками.

Вот она какая была, эта женщина, пришедшая сюда пешком из пустоши весенним утром. Она шла всю ночь, эта юная девушка, шла и мечтала — о самом святом. К утру она осталась босой. Она тоже возлагала надежды на свою Америку. Оставить позади детство и стать зрелым человеком — это и есть открыть Америку. Она гордилась этим перед своим братом, который еще не открыл эту знаменитую страну, предмет своих беспомощных мечтаний. Да, это было утром в троицын день. Ей казалось, что из моря поднимаются новые страны, они моют жемчужные раковины и яркие кораллы в первом свете летнего утра. И старые страны — с благоухающими яблоневыми садами и мирно шумящей листвой. А на лугу у моря стоит его «светлый дом». Этот дом оказался черным сараем, крытым просмоленной бумагой, куски которой свешивались то здесь, то там. В маленьком окошке, выходившем на море, стояли два заржавевших жестяных горшка с землей. Труба над крышей покосилась. К двери вели две

разбитые ступеньки. А лес? Вокруг дома лежали увядшие водоросли, выброшенные прибоем на берег. Неподалеку по песку бежал ручеек, он был шириной в шаг; около него играли два мальчика: они вытаскивали деревянными палочками ил из ручья. Ауста подошла к ручью. Девушка ее возраста, только еще худее, возилась около двери с двумя плакавшими детьми, — оба были больны золотухой, оба были иссиня-бледные. А на пороге стояла хозяйка дома, беременная, как и сама Ауста, она держала на руках грудного ребенка и ругалась. Рифмоплеты, человеконенавистники и лжецы именно для Аусты Соуллильи и ее возлюбленного пишут книги, наполненные солнечным светом и мечтами о чудесных, позлащенных солнцем пальмовых аллеях, пишут для того, чтобы обманывать таких людей, как они, насмехаться над ними, позорить их! У ее возлюбленного не было ничего, кроме этих мечтаний и способности напиваться пьяным.

Гвендур вспомнил, что он еще не выполнил поручения, и попросил Аусту задержаться еще на минутку.

— Отец просил передать тебе, что в Летней обители все по-старому, только он собирается строить новый дом.

Она быстро повернулась и с удивлением крикнула:

— Отец поручил тебе сказать мне об этом?

Юноша понял, что проговорился, и поспешил поправиться:

— Нет, он не просил передать это тебе, но он это сказал. И поручил мне прочесть тебе стихи.

И Гвендур прочел стихи. Она засмеялась.

— Передай ему привет, — сказала она, забыв, что Гвендур едет в Америку, — и скажи, что я наперед знаю, какой он построит овечий хлев, и что я знаю его пустые стихи, которые он сочиняет с такой натугой. А я обручена с одним молодым человеком, который любит меня; он учился в школе, он настоящий поэт, и у него чудесный маленький домик в Сандейре, где он живет вместе с матерью. Два года тому назад он в первый раз предложил мне выйти за него замуж. Он никогда не прогонит меня, потому что любит меня… Скажи это Бьяртуру из Летней обители.

Это были ее последние слова. Вот какой она стала теперь. Победила левая щека. А может быть, она спасла беспомощную правую щеку, которую Ауста однажды в июльскую ночь обратила к Бьяртуру из Летней обители?

Глава шестьдесят пятая
Америка

— Это ты? — спросила она.

— Да, это я, — ответил он.

Так началось их знакомство.

Высокий красивый дом с четырехугольной башней купается в солнце. Вокруг него пышно разросся зеленый сад. День склоняется к вечеру. Зелень в саду сверкает красноватым отблеском заходящего солнца.

— Ты рад? — спрашивает она.

На ней высокие сапоги, узкие до колена и с раструбами вверху; она ведет двух горячих породистых пугливых лошадей, упитанных, с глянцевитой, как шелк, кожей. Солнечный свет и ветер играют ее золотыми волосами и локонами, юная грудь подымается и опускается; у нее тонкая талия, руки оголены до плеч, дуги бровей беззаботно разлетаются, острые глаза напоминают одновременно о небе и о ястребах, парящих в нем; кожа сияет свежим цветом юности, самым лучшим в мире, похожим на цвет густого парного молока, когда оно чуть-чуть отливает

красным, а может быть, чуть-чуть зеленым. Она совершенно свободна. Это — сама красота. Он никогда не видел ничего более красивого. Она говорит немного в нос и заканчивает каждую фразу низкой певучей нотой; она смеется и когда шутит, и когда говорит серьезно. Гвендур совершенно растерялся.

— Ты можешь войти сюда, в сад, — говорит девушка.

Он открывает калитку.

— Можешь подержать моих лошадей, пока я загляну в дом. — И она исчезает.

Гвендур стоит, держа за поводья лошадей; они грызут удила и с нетерпением трутся о него. Он ждет долго-долго; она не показывается. Он уже начинает думать, что девушка не придет, — и вдруг она появляется.

— Хочешь шоколаду? — спрашивает она и дает ему шоколад. — Еще? — И она дает ему еще. — Хотела бы я поехать с тобой. Мне ужасно как хочется в Америку. Послушай, не поехать ли мне с тобой?

Он заливается краской. Увезти с собой такую девушку? Это что-то не совсем правильное. Но все же он соглашается взять ее с собой в Америку — пароход придет сегодня ночью и отойдет зав-

тра рано утром. Она хохочет, ей смешно, что он намерен поехать с ней в Америку.

— Ты такой добрый, — говорит она, смеясь. — Давай лучше покатаемся верхом. Возьми эту рыжую, на ней, правда, только недоуздок. Я хочу проехать в Мири, повидаться с бабушкой и дедушкой. Ничего, что нет седла, до Мири ведь рукой подать, какая-нибудь миля.

Да, да, ему все равно, он может проехать без седла и пятьдесят миль, и он сразу же вскакивает на лошадь. Не успели они сесть, как горячие лошади стремительно понеслись; белая мчала девушку галопом, рыжая ринулась за ней, ее невозможно было сдержать, она только трясла головой и туго натягивала повод. Девушка свернула на шоссе, идущее вверх от торговой площади, рыжая поскакала, фыркая, дергаясь и вскидывая голову, будто она никогда не знала, что такое узда. Девушка иногда оборачивалась к юноше и смеялась; ее локоны развевались по ветру, отливая золотом на солнце. У Гудмундура Гудбьяртурссона никогда не было такой веселой, сказочной, упрямой лошади! На крутой холм они поднялись так, будто шли по ровной местности; лошади мчались по извилистой дороге с быстротой ветра, и юноша ухватился за гриву, чтобы не свалиться.

Вскоре всадники подъехали к вересковой пустоши, к оврагу, за которым раскинулась зеленая ровная ложбина. Когда они проезжали мимо, белая лошадь вдруг сделала крутой поворот, одним махом перескочила через овраг в ложбину и — бух… Девушка лежит на спине, ноги ее болтаются в воздухе. Рыжая, следуя примеру белой, с такой силой вскидывает задние ноги, что Гвендур кувырком летит через голову лошади и тоже падает на землю. Лошади мчатся без седоков по ложбине, тряся гривами, фыркая, наконец останавливаются и начинают щипать траву. Девушка лежит в траве и хохочет.

— Ты не ушиблась? — спросил Гвендур, поднявшись.

Но она продолжала хохотать: никогда в жизни с ней не приключалось ничего подобного. Гвендур пошел к лошадям, чтобы стреножить их; они фыркают и жадно щиплют траву, гремя уздечками.

Когда он вернулся, девушка уже сидела на траве, приводя в порядок волосы. Где-то внизу, как с птичьего полета, виднелась торговая площадь с кофейно-коричневыми клумбами садов и свежевыкрашенными кровлями — свидетельство благоденствия, наступившего здесь в годы войны.

Отсюда видно было и море: зеркально-спокойное, оно простиралось до самого горизонта, как сама вечность. Казалось невероятным, что мир не кончается за этим морем, что там начинается новый, даже лучший мир. Неужели это правда?

— Какой ты счастливый, что поедешь по морю.

— Я испугался, не ушиблась ли ты, — сказал он рыцарски. — Какие горячие лошади.

— Подумаешь! Самые обыкновенные лошади. Вот плыть на корабле в Америку…

— Как тебя зовут? — спросил он.

Но девушка только смотрела на него и смеялась мелодичным смехом, показывая ровные белоснежные зубы.

— Зачем тебе знать, раз ты едешь в Америку?

— Так, я хотел знать.

— Нет, этого я не скажу. Не скажу до тех пор, пока ты не вернешься из Америки. Послушай, кем ты станешь, когда приедешь в Америку?

— Да я еще не знаю, — сказал он, тоже напуская на себя таинственность.

— Ты просто не хочешь сказать.

— В Америке можно стать кем угодно. Например, никто не знает, кем стал мой брат в Америке, — известно только, что у него страшно много денег, всё голубые бумажки. Он прислал

мне целую пачку. В Америке есть страны, сплошь покрытые громадными лесами, где водятся дикие звери.

— Дикие звери, — с волнением повторила она. — Ты собираешься охотиться на диких зверей?

— Да, конечно. — Как это удачно, что он сказал о диких зверях: ведь он действительно собирался на них охотиться.

— Послушай, — сказала она, — нет ли у тебя карточки твоего брата из Америки? — Карточки у него не было. — Как он выглядит? Он, верно, такой… ну, особенный, как настоящий иностранец?

— Он высокий, — сказал Гвендур, — очень высокий. И гораздо сильнее меня. Он и петь умеет. Да еще как! И всегда хорошо одет. Я уверен, что у него два или даже три праздничных костюма. И очень умен. Это ясно видно по его глазам. А уж до чего образован! Чего он только не учил! Он всегда мечтал путешествовать.

— Он тоже охотится на диких зверей?

— Да, в лесу, на оленя и пантеру. Этому лесу конца-краю нет, там он и живет. Я доберусь до него через месяц.

— Подумать только. Мне так хочется в Аме-

рику.

Юноша удивлялся сам себе и тому, что он вел себя, как мужчина, и легко, бойко отвечал на вопросы этой красивой девушки. С ней было так, приятно разговаривать, ни с кем он не чувствовал себя так хорошо, никогда еще слова не шли у него так легко с языка. Казалось, что каждое слово, которое говоришь ей, даже самое незначительное, превращается в цветок. Но его вдруг поразила одна мысль.

— Я не понимаю, — сказал он, — почему тебе хочется уехать в Америку, когда ты живешь в доме с башнями и можешь купить все, что тебе хочется, в потребительской лавке? У тебя есть пара прекрасных лошадей…

Подумав немного, она с ним согласилась:

— Да, конечно, ты совершенно прав. Да, все это ужаснейшая чепуха, — сказала она. — Не хочу я в Америку. Ни за что бы я туда не поехала; разве только с папой. Но когда другие едут в Америку, я сама не своя. Потому что она где-то далеко-далеко, потому что я люблю море — оно такое большое, все это так похоже на сказку… А те, кто возвращается, — они становятся большими людьми, мужчинами. Когда я была маленькая, я думала, что за границу едут только великие люди, как

папа, например. Может быть, это глупо, а может быть, это и верно, не правда ли? Послушай, не забывай меня, когда будешь в Америке.

— Не забуду, — прошептал Гвендур, краснея и не решаясь взглянуть на нее: он чувствовал, что она смотрит на него.

— Знаешь, — сказала девушка, — я влюблена в твоего брата. Расскажи мне о нем побольше. Он никогда сюда не вернется?

— Нет, никогда. А я, может быть, вернусь. — Он набрался мужества и добавил: — Если ты захочешь, я вернусь.

Девушка оглядела его с ног до головы; она мысленно оценивала его, взвешивая его настоящее и будущее, смешивая действительность и фантазию, глядя одним глазом на него и другим на широкое море, по которому он поплывет. Она была влюблена в него потому, что он поплывет через это широкое море; и потому, что он станет большим человеком по другую сторону моря; и потому, что там водятся дикие звери; и потому, что он вернется настоящим мужчиной…

— Я буду ждать твоего возвращения.

Она была юна, очень юна; может быть, ей было пятнадцать, а может быть, не больше четырнадцати. Пожалуй, было бы смешно пытаться точно

определить ее возраст: она была сама юность — та юность, которой не знали дети из Летней обители. Нет, Гвендур никогда еще не встречал такой девушки. Да и она не видела такого юноши.

— Когда ты вернешься, ты будешь выше, чем теперь, но вот здесь — такой же широкий. — И она проводит рукой по его груди и плечам. — Может быть, немного шире. И на тебе будет светло-серый летний костюм и коричневые ботинки. И шляпа. И полосатая рубашка. Да, и у тебя будет много денег. А еще — большой непромокаемый макинтош. И ты расскажешь, как охотился на диких зверей. — Девушка откинула голову назад и, замечтавшись, смотрела на небо. Она засмеялась и наклонилась к нему — он увидел белый пробор в светлых волосах, в золотых волосах, ласкаемых солнцем. Она смеялась, почти лежа в его объятиях. Он был в полнейшем смущении и не верил, что все это происходит наяву. Почему это случилось с ним как раз тогда, когда он собрался уезжать? И он твердо решил, что вернется.

Девушка стала приводить себя в порядок — ведь пора было возвращаться домой. Она сидела в траве и причесывала волосы, склонив голову набок. Юноша смотрел на нее и невольно тоже наклонил голову.

— Нужно поймать лошадей, — сказала она.

И они поймали лошадей, которые фыркали и пытались сбросить уздечки. Каждый из них взял в руки поводья. Она еще раз бросила восхищенный взгляд на море, через которое он поплывет, а он не мог отвести от нее глаз.

— Нам пора расстаться, — с большой грустью сказала девушка и через голову лошади протянула ему руку, такую теплую, такую юную и белую. Гвендур молча взял ее. Девушка поняла, что он хочет еще побыть с ней; ей было и весело и грустно.

— Когда ты вернешься, я встречу тебя, — проронила она, чтобы утешить и себя и его.

Гвендур не ответил. Она остановилась, положила руки на шею белой лошади и смотрела на юношу через ее голову.

— Прекрасные лошади, — сказал Гвендур, лаская белую кобылу.

Девушка засмеялась: все мужчины одинаковы, всегда ищут повода выиграть время.

— Продай их мне, — сказал Гвендур.

— Продать? Ведь ты же уезжаешь. На что тебе лошади?

— Это будут мои лошади. У меня много денег.

— Нет, я подарю их тебе, когда ты вернешься.

— Как тебя зовут?

— Это я тебе скажу, когда ты приедешь.

— Как же я буду жить там, не зная твоего имени?

— Ты собираешься написать мне?

— Да.

— Проедемся еще немного, — сказала она, — и поговорим об этом.

Они тронулись, и лошади снова помчались как бешеные — белая впереди, рыжая сзади — на запад через пустошь. Земля была суха, пыль клубилась вокруг них, как облако, ветер дул им в лицо; они смеялись и летели навстречу заходящему солнцу. Это напоминало скачку фантастических существ, мчавшихся по облакам прямо в пламя. Это было чудеснейшее путешествие в мире. Они мчались во весь опор, не замедляя хода и не разговаривая. Где-то далеко впереди, на пустоши, заблестело озерко, а вокруг — черные скалы, серый мох, белая увядшая трава и красная глина. Далеко на юге лилово-голубая дымка окутала горы, а еще дальше виднелись снежные глетчеры; море уже давно исчезло. Наступал вечер. Испуганные степные птицы с громким криком поднимались с земли, овцы вскакивали и обращались в бегство.

Когда они подъехали к озеру, девушка предоставила своей белой кобыле идти куда ей вздумается; рыжая пошла за белой — сначала по мшистым камням, затем через болото, наконец к озеру, к которому спускался крутой берег, поросший зеленой травой. На озере плавали два лебедя. Девушка соскочила с лошади, Гвендур тоже. Они стояли на самом высоком месте пустоши.

Тени стали гораздо длиннее, солнце было где-то на границе пустоши, становилось прохладно. На седле, позади девушки, был привязан широкий теплый плащ; она развернула его и накинула себе на плечи; из карманов она достала сладости и поделилась с Гвендуром. Затем они расположились на берегу.

— Сядь, — сказала она. И он сел. — Посмотри на лебедей, сказала она. И он стал смотреть на лебедей. — Тебе не холодно?

— Нет.

— Я вижу, что тебе холодно, подвигайся поближе, я дам тебе кусочек плаща. От твоей одежды пахнет дымом и перьями, — сказала она и засмеялась, когда он придвинулся к ней.

— Что? Дымом и перьями?

— Да, — сказала она. — Но у тебя красивые волосы. — Она погладила его волосы своими белыми

руками. — И ты такой широкий здесь и вот здесь. А глаза у тебя, как у настоящего мужчины.

Лебеди подплыли ближе к берегу, поглядывая на них и тихонько курлыкая.

— Посмотри, как красиво они плывут, как прекрасны все их движения.

— Да, — ответил Гвендур; он смотрел на лебедей и видел все, что видела она. Сначала ему казалось, что это обыкновенные птицы, а теперь он понял, что это лебедь и лебедка — не просто птицы, а пара; и в этом был какой-то глубокий смысл.

— Они любят друг друга, — сказала девушка, продолжая смотреть на них.

В ответ Гвендур молча схватил ее руку — невольно, чем же еще ответить ей? Он ощутил тепло ее юной руки. Это была сама жизнь. Он держал ее руку в своей; она не отнимала ее. Он смотрел на лебедей, которые тихо плыли мимо, неподалеку от берега, и все поглядывали на них.

— Разве они не прекрасны? — спросила девушка и, вздрогнув, прижалась к юноше еще теснее; ее волосы щекотали ему лицо. И он прильнул горячими губами к ее щеке.

— А как ты вернешься теперь во Фьорд? — спросила она, лукаво и шаловливо глядя на него.

— Мне некуда спешить, — ответил он, — ночь долга. — И прибавил шепотом: — Я так тебя люблю! Обещаешь, что будешь ждать меня?

— Тсс… не говори, — сказала она и поцеловала его в губы, сначала один раз — и засмеялась, затем два раза — и немножко всхлипнула, задохнувшись долгим горячим поцелуем, будто он был ее собственностью, — и закрыла глаза.

Когда прошло много-много времени и он поднялся с ее большого теплого плаща, солнце уже давно зашло за гору, стало холодно: лебеди вдруг исчезли. Может быть, никогда и не было лебедей? Может быть, это был обман зрения и ночь была обыкновенной весенней ночью над пустошью?

Девушка велела ему найти лошадей, отвернулась от него и спряталась под плащом: она привела в порядок платье, поправила волосы. Ни одной мысли не было в голове Гвендура, он совершенно потерял представление о времени и пространстве. Лошади оказались на другом берегу озера, далеко от них. Рыжей удалось освободиться от уздечки, она не давалась в руки, и юноше стоило больших трудов поймать ее; он попадал в глинистые лужи, увязал чуть ли не по колено в грязи, его блестящие башмаки уже не блестели. Наконец он привел лошадей к девушке.

Она сразу же набросила повод на белую лошадь, вскочила, ударила ее по бокам и понеслась стрелой по кочкам и камням.

С рыжей было сладить еще труднее, чем раньше. После того как юноша взнуздал ее веревкой, она долго скакала, описывая круги и выкидывая всевозможные фокусы; только теперь Гвендур понял, что она еще необъезжена. Когда он наконец выехал на дорогу, силуэт девушки мелькал где-то далеко впереди, она мчалась галопом с холма на холм. Рыжая заржала и понеслась изо всех сил за ней. Но оказалась, что она далеко не вынослива: промчавшись некоторое время галопом, она вся покрылась испариной, а на одном из склонов поскользнулась и упала; Гвендур оцарапал себе щеки и руки. Он вынул часы, чтобы посмотреть, не разбились ли они при падении. Часы не разбились, но они показывали два часа. Девушка все удалялась. Уже два часа, а он заехал слишком далеко — он только-только успеет добраться отсюда до Фьорда к тому времени, когда люди проснутся. А что делать с лошадью? Должен же он вернуть девушке ее лошадь, прежде чем отправиться во Фьорд пешком.

— Э-эй! — закричал он.

Но расстояние между ними было слишком ве-

лико, и вскоре девушка исчезла за холмом. «Надо непременно догнать ее и отдать лошадь», — решил Гвендур. Он завязал веревку двойным узлом, чтобы обуздать рыжую, вскочил на нее еще раз и попытался догнать девушку.

— Гей! — кричал он. — Гей! Твоя лошадь, лошадь!

Но когда он добрался до западного конца пустоши, откуда видна была вся долина вплоть до Летней обители, оказалось, что уже около трех часов, позади него занимался день. Облака пыли клубились от белой лошади далеко, далеко внизу, на западном краю долины, а лошадь мчалась все быстрей и быстрей. Казалось невероятным, что он сможет догнать ее, тем более что рыжая уже устала. Он спешился. Проснувшиеся кроншнепы кричали ему что-то с каждой скалы, с каждого холма. Нужно было решать, что делать. Если он оставит здесь лошадь и пойдет во Фьорд пешком, то вряд ли поспеет к отплытию, разве только пароход запоздает. Было три часа. Он уже устал от бешеной скачки, от падений, к тому же страшно проголодался; и вдруг вспомнил: со вчерашнего утра, когда он позавтракал в гостинице, он ничего не ел, кроме сладостей.

Если он самовольно воспользуется рыжей ло-

шадью и поскачет на ней сейчас во Фьорд, — что было бы простительно в минуту крайней необходимости, — поспеет ли он к пароходу? Он долго ломал голову и наконец решил, что должен попытаться, и никто не упрекнет его в нечестности. Он вскочил на рыжую лошадь, но та отказалась идти. Как юноша ни молотил ее кулаками и ногами, она не трогалась с места — в лучшем случае становилась на дыбы: она знала, что ее товарищ по стойлу умчался на запад, и никакими силами нельзя было заставить ее идти на восток. Наконец ездок отчаялся обуздать лошадь и дал ей волю. Тогда рыжая понеслась в долину; она то и дело открывала рот, чтобы освободиться от веревки, трясла головой, фыркала, ржала. Когда он спустился к болоту, прямо у Летней обители, то увидел на западе, на одном из холмов, силуэт девушки, скакавшей на белой лошади. Значит, она была не очень далеко. Ему удалось заставить лошадь идти по тропинке к хутору. Там он снял с лошади веревку и пустил на луг. Лошадь начала кататься по лужайке, потом вскочила на ноги, встряхнулась и фыркнула еще раз; она была вся в мыле и дрожала. Солнце всходило. Тень от хутора напоминала громадный дворец. Только по утрам, до восхода солнца, и бывает такая торжественная

минута, когда все исполнено тишины, красоты и покоя; теперь над всем миром царили тишина, красота, покой. Мягко и нежно звучало птичье пенье. Чудесно сверкали гладкое как зеркало озеро и серебристая река. Голубые горы глядели в небо, будто они ничего общего не имели с этим миром. Вся долина казалась такой отрешенной от действительности в своей красоте, в своем покое, словно и она не имела ничего общего с этим миром. Бывают такие минуты, когда кажется, что ты не имеешь ничего общего с миром, и человек не может понять себя, — и не понял бы, даже если бы жил вечно.

Никто еще не проснулся в усадьбе, до этого еще было далеко. Никогда юноша не переживал такого дня. Он сел на траву, возле огорода, у самого тына, и начал думать. Он думал об Америке, этой удивительной стране, лежащей по ту сторону моря, об Америке, где каждый может стать кем хочет. Неужели он лишился ее навсегда? Ах, не такая уж это потеря! Любовь лучше. Любовь важнее Америки. Любовь — это единственная настоящая Америка. Правда ли, что она любит его? Истинная правда! Нет ничего, что было бы так непохоже само на себя, как мир, — мир неправдоподобен. Может быть, она ускакала от него потому, что

сидела на одной из знаменитых верховых лошадей из Редсмири, которая понеслась домой? В это несравненное утро он был уверен, что через несколько лет, когда он станет богатым крестьянином, владельцем Летней обители, она станет его женой. Если все так началось, то может ли оно кончиться иначе? Он нашел свое счастье, хотя оно и ускакало от него. Гвендур вновь и вновь оправдывал девушку, так внезапно умчавшуюся, тем, что она не могла сладить с лошадью. Он решил купить себе на свои американские деньги хорошую лошадь — первоклассную верховую лошадь, чтобы в будущем иметь возможность скакать рядом со своей возлюбленной; потом он растянулся на лужайке около своего хутора, глядя вверх, в голубое небо, и сравнивая любовь, которую он пережил, с Америкой, которую потерял. Счастливый Лейв тоже потерял Америку. Да, любовь лучше. Он все еще видел ее перед собой — как она мчалась по холмам пустоши, подобно мареву в светлую ночь, прекрасная, похожая на ястреба женщина. Ее золотые волосы развеваются на ветру, ее плащ хлещет лошадь по бедрам, и он, Гвендур, мчится за ней с холма на холм, пока она не исчезает в голубом просторе. И сам он исчезает в голубом просторе. Он спит.

Глава шестьдесят шестая
Политика

В чем была тайна успеха Ингольва Арнарсона? Какому таланту, какому подвигу он был обязан быстротой своего восхождения на вершину могущества: от безвестности — к славе, от ничтожества — к власти? Еще юношей он стал в один ряд с первыми людьми страны и сделался одной из самых влиятельных фигур в политической жизни; в альтинге он стоял во главе своей партии. Его портрет ежедневно украшал газеты, его имя мелькало в заголовках, набранных жирным шрифтом. Может быть, он поднялся благодаря тому, что неустанно трудился, как великие люди прежних времен? Или же он разведывал, где и что можно купить за бесценок, чтобы потом нажиться на чужой беде, перепродать купленное с большим барышом? Может быть, он прикупал землю здесь и там в тяжелые времена и продавал ее, когда поднимались цены? Или давал людям взаймы сено весной и брал в залог овец? Или в голодное время ссужал продуктами и деньгами под ростовщические проценты? Или урезывал

себя в еде и питье, как сбежавший преступник, который пробирается безлюдными местами и вынужден голодать, или как бедняк крестьянин, который гнет спину по восемнадцать часов в сутки и все же залезает в долг к купцу и лишается кредита? Или, может быть, у него в комнате есть один-единственный стул, да и тот сломанный, может быть, он ходит в рваных и грязных лохмотьях, как нищий или батрак? Не откладывал ли он на дно сундука тысячные бумажки, одну за другой, пока не откроет ссудную кассу и не станет давать деньги в долг за положенный процент, — а бедным людям жаловаться, что он, дескать, нуждается и, пожалуй, придется ему продать свою душу в уплату за долги? Нет, не такой был человек Ингольв Арнарсон; он всегда отличался большим размахом, унаследованным от матери. Но в таком случае он, может быть, владел судами и заставлял бедных рыбаков с опасностью для жизни ловить для него рыбу, а прибыль забирал себе и покупал мебель красного дерева, картины, проводил электрическое освещение, а рыбаки получали гроши и еле сводили концы с концами? Может быть, он получал огромные барыши в Дании и в еще более далеких странах за то, что продавал хлеб насущный людям, которые умирали с голоду? Может

быть, у него была своя лавка и он ползал на брюхе перед богатыми крестьянами, которые сами назначают цены за своих овец, угрожая, что иначе будут торговать с другим купцом, а задолжавших бедняков каждую весну морил голодом и не давал им возможности выйти в люди? Нет, Ингольв Арнарсон шел к почету и уважению не кровавой стезей деревенского ростовщика или купца, не теми путями-дорогами, которые доныне одни только и вели к счастью и почету, — если только говорить о дорогах, признаваемых правосудием и всем исландским обществом.

Великим человеком Ингольва Арнарсона сделали прежде всего его идеалы, его непоколебимая любовь к человечеству, его убеждение в том, что народу нужны лучшие условия жизни и просвещение, его стремление облегчить борьбу за жизнь своим землякам, улучшив систему управления страной, когда правительство должно быть не беспомощным довеском к жестокой власти купцов, а самым могущественным союзником мелких производителей, и в первую очередь крестьян, в их борьбе за жизнь. Нельзя позволять посредникам и другим паразитам жиреть за счет крестьянства. Ингольв стремился поднять жизнь крестьянина на более высокую ступень,

сделать его труд уважаемым и почетным не только на словах, но и на деле. Во имя этого идеала крестьяне уполномочили его быть их представителем в альтинге и других органах, где решался вопрос об их благополучии.

Этот избирательный округ до тех пор был совершенно заброшенным. Нельзя сказать, чтобы старый доктор Финсен, за которым стоял Бруни, не поднимал голоса в альтинге: он целые десятилетия боролся за то, что в его время народ называл «вечным вопросом». Этот «вечный вопрос» заключался в том, чтобы заставить государство построить пристани и молы для торговли во Фьорде. Их строили, и каждой весной их смывало в море. Тогда вопрос ставился заново. И так из года в год.

С тех пор как Ингольв стал депутатом альтинга, вопрос о строительстве этих сооружений ни разу еще не поднимался. Зато Ингольв начал строить дороги и мосты в наиболее населенных частях избирательного округа. И это было только начало. Теперь он собирался организовать в большом объеме распашку новых земель и построить приличные жилища для населения. Он намеревался ликвидировать народный банк в Рейкьявике — этот неиссякаемый источник благ для спеку-

лянтов рыбой, и сделать его государственным сельскохозяйственным банком, — тем более что государство уже являлось гарантом большей части его долгов. Этот сельскохозяйственный банк, по замыслу Ингольва, будет за небольшие проценты ссужать крестьян деньгами на ведение сельского хозяйства и на строительство. Кроме того, Ингольв задумал создать специальный фонд из государственных средств, чтобы выдавать крестьянам ссуды на приобретение сельскохозяйственных орудий: плугов, борон, тракторов, сенокосилок и уборочных машин, даже вязальных машин и сепараторов. И еще один фонд из общественных средств — для строительства навозных цистерн и навесов для компоста в крестьянских дворах: Ингольв был заклятым врагом навозных куч и открытых навозных ям. Так же близка была его сердцу электрификация деревни, — но этот план пока еще отодвигался в туманное будущее. И во сне и наяву он отдавал все свое внимание злободневным сельскохозяйственным вопросам. Хотя он еще числился председателем потребительского общества и считал своим местожительством Фьорд, все же он был там только гостем, а большую часть года работал в столице: редактировал газету своей

партии, возглавлял межсессионные комитеты и занимал другие доверенные ему крестьянами посты. В потребительском обществе у него был заместитель. Арнарсон никогда не думал о своей собственной выгоде. Короче говоря, это был истинный Ингольв Арнарсон нового времени с той только разницей, что его звали Йоунссон.

Весной предстояли новые выборы — и, казалось, можно было не сомневаться в том, что Ингольва снова выберут в альтинг. Казалось бы, ни о ком другом и речи быть не может. Но не тут-то было. Не так-то просто положить конец засилью торговцев и капиталистов, хотя бы они и потерпели кое-где поражение.

За последние годы, в эпоху благоденствия, эгоистические тенденции в торговых городках даже усилились, а в данный избирательный округ входили два таких городка, как Фьорд и Вик. Здесь задавали тон судовладельцы, ремесленники и мелкие торговцы, а также новоиспеченный могущественный коммерсант, объединивший вокруг себя самостоятельных людей из деревни и торгового городка; он даже женился на дочери крестьянина, Короля гор. Говорили, что этот коммерсант в свое время был обыкновенным мошенником, за что понес кару.

В Вике все усиливалось влияние одного учения, проникшего сюда из-за границы, — так называемого социализма. Специально посланные подстрекатели наперебой старались сбить с пути истинного обитателей рыбацких лачуг или несчастных бобылей, не имеющих ни кола ни двора, натравить их одновременно на бога и на людей, как будто бы бог и люди и без того уже не относились к ним с ненавистью.

Ингольв Арнарсон говорил:

— Социализм — сплошная ложь: социалисты соблазняют бедняков бесконечными обещаниями, которые нет возможности выполнить до тех пор, пока род человеческий не достигнет божественного совершенства. А истинная их цель — грабеж и убийство.

Но социалисты не были страшны Ингольву Арнарсону. Опасность грозила ему с другой стороны. Оказалось, что капитализм выдвинул против Ингольва такого кандидата, за которым стоял целый банк, — тот самый народный банк, который Ингольв собирался разрушить до основания, чтобы построить на его месте государственный банк для крестьян, управляемый его сторонниками, если у него только будут на это полномочия. Мошенники из Рейкьявика послали своего чело-

века, директора дышащего на ладан банка, чтобы проповедовать в деревне их евангелие. И что же оказалось? Этот беспринципный посланец капитализма имел наглость посулить крестьянам не только все то, за что боролся Ингольв Арнарсон, но даже еще больше: он пообещал им провести в их избирательном округе электрическое освещение в каждый крестьянский двор уже в самые ближайшие годы, и не только в этом избирательном округе, но и по всей стране. Ингольв Арнарсон на это сказал:

— Разница между обещаниями этого наглеца и обещаниями социалистов заключается только в степени безумия. Правда, директор банка не предлагает грабить и убивать, ведь он не кто иной, как прихлебатель той горстки богачей, которая грабила и убивала с самого напала заселения страны вплоть до наших дней, — для этого ей не надо было проповедовать социализм.

После того как директор банка пообещал крестьянам всю программу, уже обещанную им Ингольвом Арнарсоном, да еще кое-что в придачу, если он будет избран, причем клялся осуществить все это в самые короткие сроки, он обратился к торговым городкам. В Вике он посулил горожанам банк и большую судоходную

контору, а во Фьорде — завод костяной муки и угольную шахту. Естественно, что избирателям приморского края пришлись по душе эти речи, и представитель банка мог рассчитывать на их поддержку. Теперь дорога была каждая минута. Положение Ингольва Арнарсона было неважное. Что же он предпримет? Нет, глубокоуважаемые избиратели, Ингольв Арнарсон не какой-нибудь простачок, он не позволит другим воспользоваться его собственными политическими приманками.

Что же он сказал? Он просто-напросто воскресил из мертвых знаменитый «вечный вопрос» — конек его предшественника, доктора Финсена: старый вопрос о моле. Мало того. Он обещал, если его выберут, не только построить мол и пристань, но и целый порт во Фьорде стоимостью не меньше чем в полмиллиона крон; при такой обширной программе строительства найдется работа не только для жителей Фьорда, но и для рабочих соседнего городка Вика. Да сверх того еще сооружения, которые будут возведены государством после постройки порта; перечисление их заняло бы слишком много времени. Никогда еще эти морские сооружения не были такой жгучей злобой дня, как теперь. Арнарсон переместил

обещанный директором банка завод костяной муки в Вик, а вместо создания крупной судоходной конторы, одного из козырей директора банка, посулил компании мелких судовладельцев в Вике громадную государственную субсидию и другие преимущества, уверяя, что эта компания расцветет пышным цветом, да и все население, до последнего бедняка, поднимется на более высокую ступень благосостояния. А угольную шахту он поделил по-братски между обоими городками, но при условии, что в ней окажется настоящий уголь, а не бурый и не простой песок или земля. Когда дело зашло так далеко, было уже невозможно разобраться, кто обещает больше, и исход выборов зависел уже не от обещаний, а от ораторского искусства, от того, кто сумеет сильнее затронуть сердца избирателей. Говорили, что многие рабочие, в надежде на постоянную работу, уже отказались от социализма: они еще, пожалуй, выбьются в люди и смогут купить себе пай в какой-нибудь компании или фирме.

— Ну, кто знает, как еще все обернется, — сказал Король гор. — Нет, не хорошо слишком крениться на одну сторону — во всяком случае, в политике. Ингольв Арнарсон, конечно, способный малый, как и вся его семья, и превосходный оратор, но

я уже в прошлом году почуял, что он потеряет здесь много голосов: ведь на побережье теперь все, как один, говорят о частной инициативе; поэтому я уже в прошлом году объявил о выходе из потребительского общества. Мои частные дела тут ни при чем; политика — это не частное дело, и я говорю теперь не как частный человек. А с другой стороны, что тут удивляться, если я передал все мои дела своему зятю в Вике? Этим я не хочу набросить тень на жителей Редсмири; от посулов Ингольва Арнарсона, что и говорить, слюнки текут, но что будет, если его не выберут, позвольте спросить? Если его партия потерпит поражение? А ведь многие это предсказывают. Долго тогда придется дожидаться цистерн для навоза и вязальных машин! Да и удобного жилья. А каково будет тем, кто голосовал за Ингольва? Ведь тогда все будет зависеть от директора банка. Этих столичных воротил не так-то легко сбить с ног, и никогда не мешает, чтобы большой человек относился к тебе хорошо.

Одно было ясно: пока Король гор состоял в потребительском обществе, он не осмеливался предпринять то, за что он брался теперь, рассчитывая на своего зятя. Он начал строить дом, к нему завозили целыми грузовиками дерево и

цемент; дом будет готов в июне.

Бьяртур исподлобья посмотрел на него и ответил:

— Гм, не каждому удается выдать дочь за торговца.

— Ну, милый Бьяртур, никто из вас ведь не породнился с семьей Редсмири? — сказал Король гор. — И неизвестно, чего ради вы так держитесь за них?

— Что мне родство? Я голосую за того, с кем веду дела, — ответил несколько задетый Бьяртур. — И голосую до тех пор, пока он ведет дела честно. У тебя, может быть, есть причины носиться со столичными воротилами, которыми ты так хвастаешь, а у меня — нет.

— Говорят, ты собираешься строиться?

— Если даже и собираюсь, то при чем тут политика?

— Как при чем? — ответил Король гор. — По-моему, когда хочешь строиться, не вредно опираться на банк.

— Ну, не думаю, что мне будет трудно получить строительные материалы из потребительского общества, если мне понадобится.

— На одном строительном материале далеко не уедешь, дорогой Бьяртур, — возразил Король

гор. — А расходы на плату рабочим? В кредит столяры и каменщики работать не будут. Не мешает иметь несколько тысяч на руках, когда собираешься строить дом.

— Ну, деньги я добуду без труда, — заявил Бьяртур. — Не так давно здесь был человек, человек не маленький, и он сказал, что и не любую минуту могу получить ссуду в кассе.

— Да, в ссудной кассе, — подхватил Король гор. — Я не говорю ничего плохого о ссудной кассе. Ведь Йоун из Редсмири вместе со мной сидел в приходском совете еще задолго до войны. И что тут говорить — человек он замечательный! И не его вина, если разные ненадежные люди сначала не дают ему прохода — выпрашивают деньги, а потом грозят судиться с ним. А за что? За то, что он дал им ссуду на таких условиях, которые они сами принимали. И я-то уж ничуть не удивляюсь тому, что он основал банк, где его деньги могут быть постоянно в обращении, хотя он и получает за это всего лишь законных шесть процентов. Это будет вернее, чем занимать деньги частным образом, за спиной у власти. Правда, раньше он получал от двенадцати до двадцати пяти процентов, но этак и в тюрьму угодить недолго. Кредитный же банк — дело верное, солидное. И

не плохо иметь в своем приходе ссудную кассу, когда нужна небольшая сумма на какой-нибудь случай. Но только небольшая сумма, и только на случай. Ведь большой суммы никто не возьмет в долг на условиях, которые ставит ссудная касса. Тот, кто строит, предпочтет взять ссуду в большом банке, где рассрочка дается до сорока лет.

— Ну зачем мне такая рассрочка? Расквитаюсь за год-два. Вот все говорили, что цены будут падать, как только наступит мир, — а ведь никогда еще не платили таких цен за шерсть, как этой весной. И я слышал от верных людей, что к осени овцы еще вздорожают.

Король гор задумался, рассеянно гладя бороду. Прежде чем высказать свою мысль, он всегда ворочал ее и так и этак. В его глазах мысль имела цену только тогда, когда ее можно было изложить в письменном виде, когда она укладывалась в официальный документ. Он слишком долго был чиновником, на попечении которого находились животные, люди и священники; и он не позволял себе делать слишком скоропалительные выводы.

— Да, да, — наконец произнес он, — мне только хотелось по дружбе подать тебе совет, милый Бьяртур, хоть это меня и не касается. Ты только

не думай, что я пришел к тебе как официальное лицо. С другой стороны, я не буду уверять, что говорил с тобой только как частное лицо. Нет, я ни то, ни другое. Как тебе известно, я никогда не мог полностью согласиться с кооперативным движением, хотя вижу в этом движении много полезного, благородного и всегда первым признавал хорошие стороны у редсмирцев, и в частности у фру. Правда, я всегда держался золотой середины и поэтому считал, что обе стороны правы, — во всяком случае, до тех пор, пока не будет доказано, что одна из них не права. А теперь я хочу тебе сказать, что уполномочен высокопоставленными лицами, — хотя у меня, правда, нет письменной доверенности, — предложить тебе ссуду на выгодных условиях. Это будет ипотечный заем сроком на сорок лет в столичном банке, если ты хочешь строиться. Но, понятно, лишь в том случае, если ты, как человек самостоятельный, — а я знаю, что любовь к самостоятельности у тебя в крови, — поймешь, чего требует от нас время. Словом, если у тебя хватит ума повернуть, куда нужно.

Глава шестьдесят седьмая
Верховая лошадь

В эту весну имя Гвендура из Летней обители было у всех на устах: во-первых, потому, что он собирался поехать в Америку, и во-вторых, потому, что он отказался от поездки в Америку; в-третьих, он купил себе лошадь — скаковую лошадь! Он купил ее у человека из какого-то отдаленного прихода за большие деньги. Над Гвендуром смеялись. Этот дурак всю ночь гонялся по пустоши за единственной дочерью Ингольва Арнарсона и опоздал на пароход. Умора, да и только! Одни говорили, что парень спятил; другие — что лошадь неважная и уже старовата. Ну и дурень! Раньше никто не замечал Гвендура из Летней обители, теперь он вдруг стал известен везде и повсюду — как глупец и сумасшедший. Проведав, что где-нибудь в окрестностях предстоит собрание, он являлся туда на своей лошади.

Крестьяне встречали его враждебной ухмылкой. Городские жители смеялись и подшучивали над этим деревенским увальнем, который ездил по всем рынкам на дорогой лошади и целую

ночь гонялся за единственной дочерью депутата альтинга. Барышники встречали его на дороге, осматривали зубы лошади и, открыто издеваясь над ее владельцем, решили выманить у него эту лошадь и навязать ему еще худшую.

Однажды в воскресенье, в середине лета, жители прихода были приглашены на предвыборное собрание в Утиредсмири. Пастор воспользовался случаем, чтобы отслужить перед собранием обедню. Кое-кто прибыл слишком рано и попал на богослужение; однако все возрастающий интерес к политике свидетельствовал о том, что простой человек отошел от старых верований и начал понимать, что им управляют с земли, а не с неба.

Гвендур примчался галопом на своей лошади к началу богослужения. Возле лошадиного загона стояла кучка деревенских парней; они встретили Гвендура своей обычной ухмылкой, выражавшей неодобрение тому, что он не уехал в Америку; некоторые осматривали лошадь холодно и недоброжелательно. Гвендур остановился и украдкой бросил быстрый взгляд на большой двухэтажный дом, в особенности на мезонин, надстроенный над вторым этажом, — не заметит ли кто-нибудь, что он прискакал на своей собственной лошади. Но в этом знаменитом доме никто и не собирался

глазеть из окна на всякий сброд, только цветущие растения в горшках, принадлежавшие поэтессе, тянулись своими лепестками навстречу солнечным лучам. Юноша подумал, что семья старосты уже отправилась в церковь, — и сам пошел туда. Он сел у дверей и огляделся вокруг. Она сидела на передней скамье, возле амвона; на ней была красная шляпа. Гвендура и девушку разделяли ряды людей, и он лишь по шляпе нашел ее голову среди множества других голов. Ему показалось, что сквозь него прошел электрический ток, от которого легкие стали слишком большими, сердце слишком маленьким, а уши слишком чувствительными к музыке; псалом оглушал его, глаза застилало туманом. Время шло, а рев, означавший псалмопение, не прекращался. Как добраться до нее? Как незаметно договориться о свиданье? Пожалуй, он легонько толкнет ее локтем, когда она будет проходить мимо, после окончания службы, и шепнет: «Подожди меня на улице за углом». Нет, неприлично, непозволительно останавливать девушку в церкви. Да еще такую девушку. Да еще для того, чтобы встретиться с ней за углом. Другое дело попросить ее пойти с ним в загон для лошадей и взглянуть на его кобылу. Но тут Гвендуру пришло в голову, что

в церкви вряд ли можно говорить о лошади, ибо во всем Священном писании нет ни слова о лошадях, разве что об ослах. Он видел сквозь туман, что пастор вышел из алтаря и запел длинный псалом. Все встали, и она тоже встала. Гвендур заметил, что на ней синее пальто. Ни у кого в мире не было таких красивых плеч; да, эти плечи не созданы для тяжелой ноши. Золотые локоны выглядывали из-под шляпы: это была дорогая шляпа, она соответствовала торжественной минуте их встречи. Девушка казалась такой строгой и гордой. Лишь бы она взглянула в его сторону только на минутку — чтобы его любовь передалась ей — волна любви, исходившей от него. Но что делать, если она не захочет смотреть на чужих лошадей? А не подарить ли ей эту лошадь? Это была дорогая лошадь, она стоила почти тысячу крон, — и все же, если бы она приняла его подарок, он с радостью пошел бы домой пешком, даже пополз бы, прикажи она только. Ему страстно хотелось выразить все это. Он был ее преданным рабом с того мгновения, когда увидел ее впервые; она могла приказать ему все что угодно — ехать верхом, идти, ползти на четвереньках. Он уже принес ей в жертву огромнейшую страну, где человек может стать кем захочет и не должен

работать вечно, бессмысленно… Да, и они лежали на берегу, и на озере плавали два лебедя — лебедь и лебедка. Что с ними стало? Они исчезли? Или все это только привиделось ему? Нет, нет, она любила его, а потом умчалась от него на белой лошади в голубую даль…

— Дорогие братья и сестры во Христе, ибо я беру на себя смелость называть вас братьями и сестрами! Знаете ли вы три буквы, три маленькие буквы, которые воспаряют ввысь?

Пастор наконец взошел на амвон. Пусть бы он начал говорить длинную проповедь, чтобы юноша мог на что-нибудь решиться, чтобы на него снизошло вдохновение…

— Подумайте, дорогие братья и сестры, о трех буквах, всего трех маленьких буквах, которые возвышаются над нами.

Да, он готов подарить ей лошадь. Неизвестно еще, примет ли она ее; но если примет, он будет ей благодарен, он будет в долгу у нее. Может статься, что она скажет: «У меня достаточно лошадей, целая конюшня». Но он надеялся, что она прибавит: «Эта лошадь самая красивая из всех, которых я когда-либо видела. Я принимаю ее от тебя, потому что это твой подарок, потому что ты такой красивый, сильный, такой широкий

вот здесь и вот здесь. Но ведь ты останешься без лошади и тебе придется идти домой пешком». А он ответит: «Это ничего. Я с радостью не только пойду, но поползу на четвереньках. Я даже буду лаять, как собака, если ты только захочешь. Я ведь скоро буду хозяином Летней обители. Теперь мы начинаем строиться, мы думаем построить такой же большой дом, как в Редсмири, двухэтажный и с мезонином. Но мы будем строить из камня, а вы строили только из дерева и железа…» Помоги мне, боже, ведь в церкви нельзя говорить о лошадях, а только об ослах.

— Кого вывели? — торжественно спросил пастор и наклонился над амвоном. И юноша из Летней обители желал и надеялся всем сердцем, что речь шла о лошади, которую вывели.

— Вывели *его*, — сказал пастор, делая ударение на слове «его».

К сожалению, юноша не слышал, о ком шла речь.

— А кто его вывел? — спросил пастор, сделал долгую паузу и окинул взглядом всех молящихся в церкви.

Юношу обуял страх при мысли о том, что ему, может быть, придется отвечать на этот вопрос. Но пастор ответил сам:

— Его вывели воины Пилата. Когда они его вывели? Они вывели его в пять часов. Куда? Под открытое небо. Почему они его вывели? Потому что ему не позволяли оставаться там.

Юноша почувствовал большое облегчение.

Если он сейчас потихоньку выйдет из церкви, не дожидаясь конца проповеди, это вряд ли заметят: он сидит на самой задней скамье; он мог бы встать на колени, а потом прокрасться к выходу. И тогда он выведет из загона свою лошадь, станет с ней, держа ее за повод, у дверей церкви и будет ждать конца обедни. А когда она выйдет из церкви, он вложит повод в ее руку и скажет: «Эта лошадь твоя». Но тут он подумал о людях. Что скажет поселок? Прилично ли, чтобы он — бедный крестьянский юноша — дарил лошадь внучке Йоуна из Утиредсмири? Не будут ли над ним издеваться? И не обидится ли она сама на него за такую дерзость? У него выступил холодный пот при мысли о том, что он станет всеобщим посмешищем. Чем больше он думал, тем больше запутывался.

— Дорогие братья и сестры во Христе, — сказал пастор. — Время идет. — После этих глубокомысленных слов он сделал длинную паузу, наклонился вперед и еще раз окинул взором мо-

лящихся, как бы заглядывая в душу каждому, но больше всего он смотрел на Гвендура из Летней обители. — Время идет, — повторил он наконец. — Вчера была суббота. Сегодня воскресенье. Завтра будет понедельник. Потом наступит вторник. Недавно был час. Сейчас уже два часа. Скоро будет три. Потом четыре.

Юноше казалось, что эти глубокие, полные смысла слова обращены прежде всего к нему; при мысли, что время идет, а он не может найти решения, сердце его сжалось, и крупные капли пота выступили на лбу. Проповедь приближалась к концу. Красная шляпа все еще не двигалась, только чуть-чуть откинулась назад, ибо девушка не отрываясь смотрела на пастора, ее душа впитывала в себя каждое слово, слетавшее с его уст. А бедняга Гвендур слышал только отдельные фразы, и в голове у него был полный сумбур.

— И гора раскололась, дорогие братья и сестры во Христе, и завеса во храме разодралась надвое сверху донизу. И настала тьма по всей земле, да — по всей земле.

Да, поистине настала тьма. Проповедь скоро кончится, вот она уже и кончилась, запели последний псалом. Юноша уже давно ничего не слышал и не видел. Все встали, и он тоже встал.

Ждать ли ему здесь, пока она пройдет мимо, или выйти? Он ждал. Попытаться ли ему взглянуть на нее, когда она пройдет мимо, чтобы этим взглядом передать ей всю свою любовь, или же потупить глаза покорно и в отчаянии? Он смотрел на нее, он старался излить на нее поток любви… И тут только он увидел, что это совсем не она, — это пожилая женщина из поселка, та, что прижила с кем-то ребенка. Это средняя дочь Тоурира из Гилтейги, в отвратительной красной шляпе. Юноша наконец перевел дух. Но ему показалось, что в сердце его стало так пусто, и так пусто стало вокруг. Зря он сидел в церкви и зря переживал душевные муки во время пения псалмов и проповеди.

После богослужения народ высыпал из церкви. Все пошли на собрание. Во дворе, под окном старосты, стоял блестящий автомобиль. Гости с любопытством ходили вокруг него, рассматривая сверкающую машину со всех сторон; они стучали костяшками пальцев по стеклам окон, нажимали на резину колес, чтобы проверить, насколько она тверда. Гвендур тоже постучал по окнам и пощупал покрышки. Депутат альтинга приехал во время обедни и сидел уже в гостиной у своих родителей. К дому подъехал директор банка со

своими сторонниками, машина остановилась на восточной стороне лужайки. Староста пошел им навстречу. На нем была рваная куртка, — можно было подумать, что она уже с год служила подстилкой для собаки, а теперь ее вытащили специально ради такого торжественного случая. Воротник был заколот английской булавкой. Длинные вязаные чулки он натянул поверх брюк. Не удивительно, что почтенные господа в пальто и воротничках с трудом сдержали непроизвольное движение: сунуть ему в руку пять эйриров, пока он приветствовал их. Посетителей попросили пойти в зал и сесть; кандидаты придут, как только выпьют кофе. Гвендур сел на скамейку в углу, положив фуражку на колени. Какой-то парень предложил ему понюшку табаку, и он чихнул. Вошли кандидаты. Ингольв Арнарсон Йоунссон. Другого такого человека на свете не сыщешь. До чего же он великолепен! Высокого роста, широкий в плечах, светловолосый. Это он провел замечательные дороги для бедных крестьян в забытой богом долине. Его лицо, его властный взгляд из-под очков сияют, как солнце, над убогими, изнуренными крестьянами. Он начал говорить звучным, непринужденным голосом, и его маленькие руки, украшенные бе-

лоснежными манжетами, двигались так плавно и красиво, что не было даже надобности вникать в его слова, достаточно было только смотреть на его руки. Юноша из Летней обители удивлялся, что не все с ним соглашаются, и с бьющимся сердцем думал о том, что любит его дочь, — этот могущественный человек, владелец стоявшего под окном автомобиля, был по существу его тестем.

Собрание шло полным ходом. Поднимались все самые насущные для населения вопросы: о потребительских обществах и крестьянах, о засилье купцов и посредников, о крахе банков и убытках судоходных компаний; о кредите крестьянам, о проекте аграрной реформы, о фонде на покупку инвентаря, о цистернах для навоза, об экспорте, о дорогах и мостах, о телефонных линиях, о запашке новых земель, о просвещении и строительстве жилищ, об электрификации деревни. Ингольв Арнарсон вновь и вновь вставал, выпячивая грудь, артистично махал руками и, кивая на своего противника, неопровержимо доказывал, что именно он отвечает за громадные убытки, которые несут банки, за растрату народных денег спекулянтами, за финансовые скандалы, которыми прославились судовладельческие компании;

за туберкулез, этот бич бедноты, ютящейся в лачугах, за падение курса кроны, за бесстыдное ограбление трудящихся, за такую политику в области просвещения, которая низводит исландцев на уровень негров. И теперь, когда крестьянство объединяется для защиты своих прав и завоевания лучших условий жизни, вот этот человек — его противник — снова восстал против крестьян, чтобы унизить то сословие, которое целое тысячелетие несет на своих плечах тяжкое бремя и охраняет культуру страны от посягательств на нее со стороны бесчисленных врагов.

Гвендур во всем соглашался с Ингольвом Арнарсоном, считая себя его зятем. Он восхищался этим гениальным человеком, который не довольствовался тем, что строил дороги и мосты, но хотел, чтобы каждый жил в хорошем доме. Он никак не мог понять, почему кое-кто внимательно прислушивается к тому, что говорит противник Ингольва — толстый человечек, не особенно речистый и до неприличия спокойный, несмотря на все совершенные им преступления. Он даже улыбался при каждом новом обвинении, которое бросал ему в лицо Ингольв. Не странно ли, что он еще не сидит в тюрьме? Наконец, когда оба кандидата расписали в самых ярких красках, как

они будут спасать страну и народ, и говорить уже было не о чем, собрание закрыли, и противники пошли бок о бок по саду; они громко смеялись, будто были закадычными друзьями. Собрание развлекло многих, но никому не было так весело, как этим двум. А люди смотрели на них и, казалось, ждали, что они с остервенением вцепятся друг другу в волосы. У ворот они попрощались, сердечно пожали друг другу руки, долго и выразительно смотрели в глаза один другому, точно любовники после тайной встречи. Директор банка уехал. Люди почесывали головы. Вскоре участники собрания тоже начали расходиться. Они вывели своих лошадей из загона и поскакали группами. Гвендур под разными предлогами мешкал, ходил вокруг дома старосты и украдкой заглядывал в окна; он даже раздумывал: не постучать ли в заднюю дверь, не одолжить ли молоток и колоду, чтобы подковать лошадь? Или попросить стакан воды? Но что толку? К двери подойдет какой-нибудь слуга, и это испортит все дело. Наконец его осенило: он спрячет в загоне свой кнут и сделает вид, что потерял его, а потом он вернется с холма, постучит в дверь и попросит людей, если они найдут кнут, припрятать его. В доме старосты, возможно, будут говорить о том,

что он был здесь, его имя будет названо; а может быть, кто-нибудь тайно выйдет искать кнут; может быть, она найдет его. Гвендур засунул кнут глубоко между камнями в стене загона и поехал своим путем. Добравшись до холма, он повернул и спустился вниз, в Редсмири. Когда Гвендур снова очутился во дворе, загон был уже давно пуст, все разъехались. Он сошел с лошади и пошел прямо к дому. В ту же минуту открылась парадная дверь. Ингольв Арнарсон в широком пальто вышел на крыльцо в сопровождении матери. Он поцеловал ее и сел в автомобиль. Затем вышла девушка в голубом платье, со светлыми волосами, неся пальто на руке. Она кинулась на шею деду и поцеловала его на прощанье; в одну минуту она сбежала вниз по лестнице и села рядом с отцом. Она помахала своей белой ручкой бабушке и дедушке, и Гвендур увидел сквозь стекло ее сияющую улыбку. Это было волшебное видение. Зажужжал мотор, издавая какой-то тикающий звук, глухой и мягкий. И когда автомобиль тронулся, девушка улыбнулась отцу. Солнце сияло на стеклах окон, на лаке, когда они промчались мимо юноши. Его обдало приятным запахом бензина. Никто из сидевших в автомобиле не заметил его. Он смотрел, как удалялась

сверкающая лаком машина, и одиноко стоял на пустой площади перед церковью. Никогда еще Гвендур не ощущал такой пустоты. Он нашел свой кнут в загоне, вскочил на лошадь и помчался. Автомобиль исчез за холмом, через минуту он показался на перевале… Какая безумная мысль — подарить ей лошадь! Он ударил лошадь так, что она заржала. Да это на самом деле старая кляча. Да, совершенно никудышная! Он твердо решил продать ее, если только найдется дурак, который ее купит.

— Подожди минуточку, дружок, — сказал дочери депутат альтинга, — я только загляну вон в ту лачугу, поговорю со стариком. — Он подъехал к краю дороги, затормозил и выключил мотор. — Ты не пойдешь со мной?

— Нет, — сказала она. — Боюсь запачкать туфли.

Она посмотрела вслед отцу. Он пошел к хутору, статный, широкоплечий.

Бьяртур шел навстречу ему по выгону, он назвал его «милый Инге» и пригласил войти в дом. Но Ингольв Арнарсон спешил, он всего лишь на минутку завернул к своему старому приятелю и молочному брату, похлопал его по плечу. На вопрос, почему он не пришел на собрание, Бьяртур

ответил, что ему некогда ездить по собраниям и слушать всякую брехню.

— Ну, не знаю, — возразил член альтинга. — По-моему, послушать спор о насущных вопросах полезно каждому. Это прочищает мозги.

— Ну, это я не считаю спором о насущных вопросах, когда люди в погожий воскресный день посылают друг друга к черту. В прежние времена это не считалось спором. Тогда еще совершались подвиги, в народе были настоящие великие люди, они вызывали друг друга на поединок или же собирали дружину и побивали целые полчища врагов.

У депутата альтинга не было времени слушать о политике, воспеваемой в старинных поэмах. Он слышал, что владелец Летней обители хочет строиться. Если это правда, то когда он думает начать?

— Начну, когда захочу, — сказал Бьяртур.

— Если ты думаешь строиться летом, то лучше договориться об этом сейчас, потому что в середине недели я уеду и возвращусь, очевидно, только после выборов.

— А ты уверен, милый Инге, что мне не предложили где-то более выгодных условий? — спросил Бьяртур.

— Я не предлагаю никаких условий, это недоразумение, — ответил депутат альтинга. — Потребительское общество — это не мелочная лавка, мы не зазываем покупателей, точно какие-нибудь купчишки. Потребительское общество — это твое кровное дело, ты сам определяешь свои условия, — ты сам, а не посторонние люди, определяешь цену на цемент и строительные материалы, ты сам, и никто другой, требуешь платы с самого себя. Я только спрашиваю, какие приказания ты дашь мне? Я твой слуга. Когда ты хочешь получить строительные материалы? Высчитать мне за тебя, какую тебе взять ссуду в кассе, или ты сделаешь это сам?

— Невыгодно брать деньги в ссудной кассе. Лучше идти в обыкновенный банк.

— Да, милый Бьяртур, эти обыкновенные банки так хороши, что я не удивлюсь, если наш Король гор к рождеству лишится своего хутора и всего имущества и станет батраком своего зятя, которого я могу засадить в тюрьму, когда только захочу. Поверь мне, не успеет кончиться лето, как я буду уже распоряжаться судьбой народного банка. И вся эта банда мошенников обанкротится — или я не Ингольв Арнарсон! Тогда, попомни мое слово, нелегко придется тем, кто верил мошенникам и

вложил в их руки свою судьбу. А наша ссудная касса, милый Бьяртур, дело верное, хотя она и не дает долгосрочных ссуд. А какой от них прок? Ведь если хутор обременен долгосрочной ипотекой, он принадлежит владельцу только на бумаге.

Это был вопрос о высоких финансовых делах, и Бьяртур заколебался. Он был простым крестьянином, он боролся со стихией и чудищами голыми руками и все свое образование почерпнул из древних стихов и саг, в которых рассказывается о том, как люди боролись друг с другом, не тратя слов, крушили один другого и складывали трупы штабелями.

— Строительные материалы у нас стоят на одну треть дешевле, чем в Вике, — продолжал председатель. — Летом мы получили цемент для нашего общества прямо из-за границы. Такой случай, может быть, никогда не повторится. А кроме того, похоже, что цены на овец поднимутся к осени до пятидесяти крон.

— Никогда невозможно разобраться, когда вы врете, а когда говорите правду, — сказал Бьяртур. — Но мне думается, что вы всегда врете.

Депутат альтинга похлопал его по плечу и засмеялся. Затем он собрался уходить.

— Так я пришлю тебе первый воз цемента зав-

тра, — сказал он. — Остальное пойдет само собой. Ты можешь посмотреть чертежи у моего заместителя. Столяров и каменщиков у нас в обществе сколько угодно. Что же касается ссуды, то мы приблизительно знаем, сколько тебе нужно. Загляни к нам, и мы поговорим об этом подробнее завтра или послезавтра.

Автомобиль стоял на дороге перед Летней обителью; скаковая лошадь очень испугалась и прижала уши, седок изо всех сил сжимал ее ногами. Наконец ему пришлось спешиться и повести лошадь под уздцы. Блестящая машина сверкала в лучах заходящего солнца, словно фантастическое чудовище; всем своим видом она бросала вызов окружающей природе. Гвендур повел лошадь прямо к ней. Из открытого окна струился голубой дымок. Девушка сидела одна на переднем сиденье и курила. Он увидел ее плечи, белую шею, золотые локоны, щеку; она не смотрела на него, хотя он подошел уже совсем близко. Дымок по-прежнему вылетал из окна и вился кольцами. Гвендур подошел вплотную к машине и сказал:

— Добрый вечер.

Девушка вздрогнула и быстро спрятала папиросу, но потом снова поднесла ее к губам.

— Зачем ты испугал меня? — спросила она сво-

им мелодичным голосом, немного в нос.

— Я хотел показать тебе свою лошадь, — сказал он и широко улыбнулся.

— Лошадь? — спросила она равнодушно, будто никогда и не слыхивала о таком животном.

— Да, — и он указал на лошадь и назвал цену; это ведь была одна из самых дорогих лошадей в округе.

— Вот как, — сказала она, не глядя на лошадь. — А какое мне до этого дело?

— Разве ты не узнаешь меня? — спросил он.

— Не помню, — беззвучно ответила девушка, глядя прямо на дорогу. Гвендур по-прежнему не сводил с нее глаз.

Наконец она повернула голову и посмотрела на него высокомерно. Она спросила таким тоном, будто он нанес ей личное оскорбление:

— Почему ты не в Америке?

— Я опоздал на пароход в ту ночь.

— Почему ты не уехал со следующим пароходом?

— Я предпочел купить лошадь.

— Лошадь?

Он набрался мужества и сказал:

— Я думал, что смогу стать человеком здесь, раз я узнал тебя.

— Бродяга! — сказала она.

В нем поднялось нечто похожее на гнев, он покраснел, его улыбка погасла, лишь верхняя губа напряженно дрожала.

— Я не бродяга, — крикнул он. — Я докажу тебе. Когда-нибудь ты узнаешь.

— Если ты бросил задуманное на полпути, значит, ты бродяга. Бродяга, бездельник и трус. Вот именно — трус. Мне стыдно, стыдно, что я взглянула на тебя и тем более, что говорила с тобой.

Гвендур отошел на шаг, и глаза его заблестели; он сказал, отвечая вызовом на вызов:

— Может случиться, что мы построим такой же дом, как в Редсмири, а может быть, и еще побольше.

Она только презрительно засмеялась в нос.

— Вы, в Редсмири, — крикнул он, — всегда считали, что можете топтать нас! Да, так вы всегда думали! — Он подошел ближе и потряс кулаком прямо перед ее носом. — Но я покажу вам!

— Я с тобой не разговариваю, — сказала она. — Оставь меня в покое.

— Через, несколько лет я стану хозяином Летней обители, таким же богатым крестьянином, как твой дед, а может быть, еще богаче. Ты увидишь.

Она выдохнула струйку дыма и оглядела его, слегка прищурившись.

— Мой папа скоро будет властвовать над всей страной. — Она открыла глаза и, наклонившись, посмотрела на него острым взглядом, словно угрожая. — Над всей Исландией, над всей.

Гвендур съежился и опустил глаза.

— Почему ты теперь так жестока со мной? Ты же знаешь, что я отказался от поездки в Америку только из-за тебя. Я думал, что ты меня любишь.

— Осел, — сказала она. — Может быть, если бы ты уехал, я и любила бы тебя чуточку. — Ей в голову пришла остроумная мысль, и она ее тут же высказала: — Особенно если бы ты больше не вернулся. Ой, папа идет! — Она бросила папиросу в канаву.

— Ты с кем-то разговорилась, дружок? — спросил Ингольв Арнарсон. — Это замечательно.

Он сел в машину и зажег сигару.

— Это парень с хутора, — сказала она. — Он собирался поехать в Америку.

— А, это он, — сказал депутат альтинга, нажимая на стартер. — Правильно сделал, мальчик, что не поехал в Америку. Нам надо бороться с трудностями здесь, на родине, бороться и побеждать. Верь в родную землю, она вознаградит тебя.

Все для Исландии. Сколько тебе лет?

Юноше было всего семнадцать лет, он не имел еще права голоса.

Депутат альтинга нажал на рычаг, сразу утратив интерес к парню с хутора. Он рассеянно приложил один палец к шляпе, как бы в виде приветствия, — машина уже мчалась, и, может быть, он просто поправил шляпу.

Они уехали. Пыль на дороге поднялась столбом, потом улеглась.

Глава шестьдесят восьмая
Современная поэзия

Самые запутанные дела так или иначе улаживаются, хотя многие до поры до времени не верят этому. И мечты наши сбываются, особенно, если мы ничего для этого не делаем. Не успел Бьяртур опомниться, как первая партия цемента была уже во дворе. Говорят, когда человек становится достойным жить в лучшем доме, этот лучший дом вдруг как из-под земли вырастает. Жизнь дает нам все, чего мы достойны. И не только отдельным людям, но и целому народу. Война, например, высоко вознесла некоторых людей и некоторые народы без всяких усилий с

их стороны; сомнительно, чтобы самые мудрые политические деятели могли сделать для исландского народа больше, чем одна-единственная кровопролитная война, разразившаяся где-то далеко-далеко. Став почтенным человеком, Бьяртур склонен был признать, что в Летней обители бывали тяжелые времена. Ну что ж, не претерпев, не спасешься; зато он никогда не ел чужого хлеба. Чужой хлеб — это самый страшный яд для свободного и самостоятельного человека; чужой хлеб — это единственное, что может лишить его самостоятельности и истинной свободы. Было время, когда Бьяртуру хотели подарить корову, но он не из тех, кто принимает дары от своих врагов. И если он через год зарезал корову, то лишь потому, что видел перед собой более высокую цель; он уже тогда сказал, что не намерен зря тратить деньги, они понадобятся ему в будущем: может быть, он построит на них дворец. То же самое он говорил теперь в потребительской лавке: строить так строить, ему нужен большой дом в два этажа, с мезонином. Однако его удалось убедить построить обыкновенный одноэтажный дом с чердаком и подвалом — все равно получится три этажа: под землей, на земле да еще чердак. Он взял ссуду в ссудной кассе. Земля без

постройки не считалась достаточной гарантией для получения долгосрочного кредита, ссуда предоставлялась только на один год. Обычно под первую закладную на землю выдавали только тридцать процентов, да и то при условии поручительства со стороны потребительского общества; а общество потребовало в обмен вторую закладную на землю. Зато касса согласилась выдать Бьяртуру вторую ссуду осенью, когда дом будет построен, — под новую закладную, уже на землю вместе с домом. Из этой ссуды будет погашен долг потребительскому обществу за строительные материалы. Таков сложный механизм высших финансов. В обмен за все эти услуги хуторянин голосовал за Ингольва Арнарсона Йоунссона, чтобы тот мог заседать как его представитель в альтинге и решать важные для народа вопросы. Председатель потребительского общества снова попал в альтинг, и купечеству был нанесен тяжелый удар.

Теперь все голосовавшие за председателя потребительского общества ликовали, а голосовавшие за директора банка горько раскаивались, ибо, во-первых, положение банка пошатнулось и он мог обанкротиться в любое время, а во-вторых — сторонники директора проявляли открытую

враждебность к хозяевам Редсмири, — так к кому же они обратятся в минуту опасности, которую сами на себя накликали? В довершение всего оказалось, что иностранцы не могут больше воевать, поэтому цены на сельскохозяйственные продукты могут упасть в любую минуту.

Котлован для фундамента был вырыт на холме, к югу от старой землянки. Появились каменщики, столяры и начали строить подвал. Подвал получился превосходный. На неделю работу прервали, а потом без промедления принялись за жилой этаж, где предполагалось соорудить четыре комнаты и кухню. Теперь здесь не хватало только детей — маленьких и любопытных, которые резвились бы во дворе, как в былые времена, когда строился хлев для овец; теперь здесь было бы так много интересного — запах дерева и бетона, удары молотков, шум бетономешалки, много рабочих, машин и лошадей, песка и гравия. В ту пору не делали еще двойных стен и не применяли железобетона; стены были простые, но толстые. Ко времени сенокоса не хватало только чердака и крыши. Деньги в ту пору кончились, и Бьяртур поехал в город, чтобы взять еще денег в ссудной кассе. Но Ингольв Арнарсон был в это время в столице, и касса отказала

Бьяртуру в кредите, хотя и обещала выдать ссуду к осени. В потребительском обществе весной не оказалось шифера для крыши и оконных стекол — очень уж многие строились, — и лавка ждала получения очередной партии оконных стекол летом, а шифера — только осенью. «Подождем, как будет с ценами на овец», — говорили там. И вот дом Бьяртура простоял лето недостроенным. Весьма непривлекательная картина. Путники, проезжавшие мимо, напрасно искали взглядом уютную, поросшую зеленью хижину, скрытую теперь этим бесформенным уродом; казалось, здесь пронесся ураган, оставивший после себя одни развалины. Но если кто-либо воображал, что дом Бьяртура так и останется недостроенным, то он заблуждался. К осени оказалось, что война, которая кончилась почти год назад, все еще поднимает цены; о таких высоких ценах в Исландии никто не слыхивал. И осенью фру из Ред-смири сказала на собрании Союза женщин в столице крылатые слова: «Исландия — небесная страна».

Цена на овцу поднялась до пятидесяти крон, и столичные газеты захлебывались от восторга, восхваляя превосходство крестьянской культуры в прошлом и настоящем; особенно превозносились заслуги крестьян. Бьяртур получил деньги

в кассе, а затем лес, стекло, шифер, рабочих, и осенью новый дом стоял уже под крышей. Но когда строили чердак, оказалось, что подвал дает трещины, и десятник заявил, что трещины, надо полагать, появились от землетрясения. Бьяртур возразил, что этим летом не было никаких землетрясений.

— Было землетрясение в Корее, — сказал десятник, — а вообще-то трещины пустячные, их легко заделать.

Несмотря на эти трещины, дом навевал на своего владельца волшебные видения. Бьяртур часто поглядывал на него и что-то шептал про себя.

После осеннего похода в горы за овцами отец и сын отправились во Фьорд на двух лошадях: надо было закупить для дома множество всяких мелочей. Бьяртур всю дорогу молчал, но когда они добрались до восточной стороны пустоши, спросил Гвендура:

— Ты говорил весной, что мои стихи Ауста назвала плохой стряпней, виршами?

— Да, она сказала что-то в этом роде, — ответил Гвендур.

— И что ее друзья предпочитают современную поэзию?

— Да, — сказал Гвендур, — она обручена с од-

ним современным поэтом.

— Ну, писать так, как пишут эти современные поэты, нетрудно, — сказал Бьяртур. — Это похоже на понос. Нет даже внутренней рифмы, одни концевые.

Но Гвендур не умел сочинять стихов и ничего на это не ответил.

Помолчав немного, отец промолвил:

— На случай, если ты опять встретишь в городе Аусту Соуллилью, я прочту тебе современные стихи — три строфы; пусть не говорит, что мне не справиться с такой пустяковиной.

— Если только я их заучу, — ответил Гвендур.

— Никому не говори, парень, что ты неспособен тут же выучить три строфы. — Бьяртур пробормотал что-то про себя и сказал: — Это три строфы о войне:

Слыхал я, будто затеял мир
на десять мильонов кровавый пир,
и всем хватило смерти хлебнуть,
а мне плевать! — счастливый им путь!

Но был поединок куда страшней
на старом утесе среди камней:
цветочек весенний на нем расцветал —

его растоптали, и он увял.

Вот с тех-то пор и зачах мой стих,
и радости нет мне в трудах моих —
на что мне деньги, хозяйство, дом,
коль цветик мой не красуется в нем.

— А не лучше ли тебе самому пойти к ней? — спросил Гвендур.

— Мне? — удивился отец. — Нет. Я не хочу знаться с такими людьми.

— Какими людьми?

— Которые обманули мое доверие. Тот, кто обманул мое доверие, может прийти ко мне и повиниться. Мне не в чем просить прощения. К тому же, — прибавил он, — я ей не родня.

— Все равно, надо бы тебе пойти к ней, — сказал юноша. — Я уверен, что ей приходится туго. И ведь ты выгнал ее из дому, когда она была беременна.

— Тебя не касается, кого я выгнал. Благодари судьбу, что я не выгнал тебя, но я это сделаю, если ты будешь мне дерзить.

— Я уверен, что Соула будет очень рада, если ты навестишь ее.

Бьяртур резко рванул поводья и ответил:

— Нет, живой я никогда не пойду к ней. — По-

молчав, он прибавил, глядя поверх плеча сына: — Но если я умру, передай ей привет и скажи, что она может похоронить меня как полагается.

Ауста Соуллилья недавно перебралась в дом своего жениха в Сандейре. Это был маленький домик. Скорее даже не дом, а землянка, покрытая листом гофрированного железа, — нечто вроде тех хижин, в которых живут негры Центральной Африки. На окошке стояли два заржавевших жестяных горшка с землей, из одного тянулся какой-то цветочный стебелек, он боролся за жизнь. В комнате стояли две кровати, одна для Аусты и ее жениха, а напротив — для матери жениха, ей-то и принадлежала хижина. Жених был безработным. Ауста Соуллилья встретила брата без неприязни, однако ее левый глаз значительно преобладал над правым. Она была бледна, какое-то отчуждение чувствовалось в ней; испорченный зуб был вырван, вместо него зияла дыра. Она вообще немного говорила с братом, не вспоминала и о его несостоявшейся поездке в Америку, — видно, не находила ничего странного в том, что он отказался от поездки; она не верила в Америку. Гвендур сразу же понял, что она беременна. Он смотрел на длинные кисти рук, в которых чувствовалась большая жизненная сила, на ее слишком худые

плечи; она кашляла сухим кашлем.

— Ты простудилась? — спросил Гвендур.

Ауста ответила отрицательно, но сказала, что всегда кашляет, а по утрам с кровью. Тогда он спросил ее, когда она собирается выйти замуж, но она говорила о предстоящей свадьбе совсем уже не так гордо, как весной, когда сообщила сыну Бьяртура, что помолвлена с современным поэтом.

— А разве кому-нибудь из вас интересно, как я живу? — спросила она.

— Отец велел мне сегодня утром выучить три строфы, — сказал Гвендур. — В них говорится о войне, это современные стихи. Прочесть тебе?

— Нет, — сказала она, — мне не интересно.

— Я думаю, что мне все же следует их прочесть, — сказал он и прочел ей все три строфы.

Она слушала, и глаза ее потеплели, черты лица стали мягче — казалось, она вот-вот разразится слезами, а может быть вспылит. Но она ничего не сказала, затаила в себе то, что было на сердце, и отвернулась.

— Новый дом уже стоит под крышей, — заметил Гвендур. — Осенью переберемся.

— Вот как? — сказала она. — А мне какое дело?

— Очень может быть, что у отца свои планы

насчет дома. Я уверен, что он даст тебе большую комнату, если ты придешь.

— Я? — ответила она и гордо вскинула голову. — Я обручена с молодым талантливым юношей, который любит меня.

— И все-таки тебе следовало бы прийти, — сказал Гвендур.

— Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь оставлю человека, который меня любит?

Тут уж старуха, стоявшая у печи, не могла не вмешаться в разговор:

— В таком случае ты могла бы быть подобрее с ним, беднягой, а то, когда он дома, ему от тебя житья нет.

— Неправда, — сказала, вспыхнув, Ауста Соуллилья и повернулась к старухе. — Я люблю его. Да, люблю больше всего на свете. И ты не имеешь права говорить чужим людям, что я не добра к нему. Я к нему добрее, чем он того заслуживает; разве я не ношу его ребенка? И если этот Бьяртур из Летней обители приползет сюда на четвереньках и попросит прощенья за все зло, которое он причинил мне с той минуты, как я родилась, то я все равно не захочу и слышать о его доме, мне и в голову не придет хотя бы один шаг сделать к нему. Передай ему: живая я никогда не приду

к Бьяртуру в Летнюю обитель, но труп мой он может похоронить.

Глава шестьдесят девятая
Когда человек не женат

От нового дома устаешь еще до того, как он построен. Странно, что человеку надо жить в доме, вместо того чтобы довольствоваться обителью своей мечты. Что нового можно сказать о будущем жилище Бьяртура? О нем уже и так много сказано. В Корее, как мы говорили, произошло землетрясение, но дом все-таки достроили. Появились окна и стекла в окнах, крыша и труба на крыше, плита с тремя конфорками в кухне, приобретенная по сходной цене. В заключение сделали высокое крыльцо с пятью ступеньками. Принялись за постройку сеней, потому что в доме, конечно, должны быть сени. В новый дом решили перебраться осенью. Самая большая комната в нем была выложена филенкой. Одни предлагали покрасить ее, другие — наклеить кое-где картинки из иностранных газет, как это делается в городах, но Бьяртур не желал никаких украшений — не станет он заводить мусор в доме. Ранней осенью начались бури, задул штормовой

ветер с востока, пошел снег, и тогда оказалось, что в доме ветер дует почти с такой же силой, как и снаружи. Отчего бы это? Оттого, что забыли навесить двери, не заказали их заблаговременно. А теперь уже поздно: столяры во Фьорде завалены работой, которую нужно кончить к предстоящей зиме.

— Ну, сколоти вместе несколько готовых досок, — сказал Бьяртур столяру.

На это столяр заявил, что в каменном доме от щелястых дверей толку не будет, все равно ветер проберется в комнаты, зато пообещал до отъезда сделать прекрасные пороги.

— Только скажу я тебе, — заявил он, — что для таких порогов нужны первоклассные двери, из особого сорта дерева, на хороших шарнирах.

— Ну, кузнецу недолго изготовить петли, — сказал Бьяртур.

— Нет, — ответил столяр, — петли сюда не подойдут! Это не сундук! Здесь нужны первоклассные шарниры. В хорошие времена все должно быть на шарнирах.

— Да ну его к дьяволу, этот дом! Пусть он катится в ад! — сердито крикнул Бьяртур; он был зол на то, что это каменное чудище поглотило так много денег.

Двери — это еще с полгоря. Правда, дом уже подведен под крышу, но где все то обзаведение, без которого и дом не дом? У крестьянина не было даже кровати. В старой лачуге были нары, вделанные в стены, их невозможно было перенести оттуда. Даже стол и тот был сколочен из нескольких плохо обтесанных досок и прибит к подоконнику. Время давно их обтесало, но оно проделало еще большую работу: доски износились, потемнели, да и какой это стол, просто доски. Не было и шкафа: старая кухонная полка была наглухо прикреплена к стене и прогнила вместе с ней. А стулья? В Летней обители никогда не было ни одного стула или хотя бы скамьи, не говоря уж о такой роскоши, как занавеси или изображение Спасителя, Хатльгрима Пьетурссона или русского царя; не было и фарфоровых собачек. Короче говоря, все, что необходимо для ежедневного обихода или для украшения в настоящем доме, отсутствовало в Летней обители. Таким образом, когда человек достигает высот цивилизации и обзаводится домом, перед ним возникает масса трудностей. Не хватает не только дверей. И Бьяртур решил провести еще одну зиму в старой землянке, тем более что ожидались ранние холода. Он забил досками дверные

проемы. И дом возвышался на холме как воспоминание о хороших временах, являя миру свой удивительный фасад.

Теперь нам придется сказать несколько слов об экономках. Очень трудно заполучить экономку. Экономки во многом отличаются от жен: они проявляют строптивость там, где замужние женщины обязаны подчиняться. Экономка непрерывно чего-то требует, а жены благодарят даже тогда, когда ничего не получают. Экономки жалуются, что им всегда и всего не хватает, а жены довольствуются тем, что у них есть. Экономки ворчливо отказываются от некоторых видов работы, несовместимых с их достоинством, а кто же обращает внимание на жену, если она начинает ворчать? Тем хуже для нее самой. О приступах дурного настроения уже и говорить не приходится. Экономка может загрызть хозяина, если что-нибудь не по ней; хоть женись на ней для того, чтобы иметь право заткнуть ей глотку. «Уж лучше иметь сразу трех жен, чем одну экономку», — говорил Бьяртур, но в этом вопросе был непоследователен, и все-таки предпочитал экономку, какую-нибудь сварливую ведьму, с которой без конца бранился.

В первые три года у него были три экономки

— по одной в год; молодая, средних лет и старая. С молодой было трудно, с пожилой еще труднее, а со старой всего хуже. Наконец он взял экономку неопределенного возраста, и оказалось, что с ней можно ужиться. Ее имя было Брунгильда, но все звали ее Брунья. Она работала в доме уже два года. Ее преимущество перед другими заключалось в доброжелательном отношении к хозяевам. У нее не было, как у молодой, привычки припрятывать лучшие кусочки для батрака, а по ночам миловаться с ним, так что днем он уже ни на что не годился; она не страдала истерическими припадками злобы на бога и людей, как экономка средних лет; она не старалась унизить Бьяртура, как это делала старуха; не сравнивала протекавшую крышу в Летней обители с замечательной крышей в доме пастора, где ей не угрожал ревматизм и где она жила как у Христа за пазухой. Нет, новая экономка была любезна с Бьяртуром и никогда не клеветала на своего хозяина; но и она не была свободна от свойственной женскому полу мелочности. Как все женщины, Брунья полагала, что ей дано далеко не все, что она имеет право требовать от господа бога; она считала себя непонятой, ей всегда казалось, что ее подозревают в воровстве, что к ней несправедливы, и

поэтому она постоянно была настороже и готова к нападению.

— Кофейная гуща пошла теленку, — заявляла Брунья, когда Бьяртур просил подогреть ему утренний кофе.

— Понятное дело, это я украла, — говорила она, когда Бьяртур вежливо спрашивал о рыбьем хвосте, оставленном им с утра.

— Здесь, сдается мне, думают, что я лежу в постели и нежусь, как важная барыня, — говорила она, если Бьяртур замечал, что по утрам коров надо доить раньше.

Брунья никогда не была замужем. По слухам, у нее был в молодости роман с одним человеком, который оказался женатым; и она не могла его забыть. Девушка работала всю свою жизнь, копила деньги и клала их в банк. Говорили, что она богата. Ей принадлежала старая рыжая кобыла, которая так и осталась необъезженной и которую она очень любила. А еще у нее было сокровище, которое возвышало ее над трудовым людом в той округе: кровать, которую можно было складывать, раскладывать и переносить с одного места на другое, словом — мебель. Кроме того, Брунья была владелицей матраца, который ежегодно проветривался в первый же летний день, а еще

наматрасника и перины из тонкого пуха, двух смен простынь и чудесной подушки с вышитыми на ней словами: «Спокойной ночи». В общем это была женщина надежная; гигантского роста и мужской силы. И хотя она была чистоплотна, как кошка, и всегда настаивала на своей правоте, она не гнушалась никакой работой, не привередничала и могла таскать навоз днем и ночью. Руки у нее были сине-красные, цвета овечьей туши, по-видимому, отмороженные; кофта на ней сидела в обтяжку; корсета она не носила и от этого выглядела очень толстой и походила на сильную рабочую лошадь. На ее обветренных щеках играл приятный молодой румянец, переходивший в легкую синеву, когда ей было холодно; глаза ее смотрели ясно, трезво; вокруг рта лежали строгие линии, говорившие о трудолюбии. В мыслях и чувствах своих Брунья была совершенно свободна от современной склонности к критике; говорила она обычно напряженно и холодно, как человек, привлеченный к суду по чьему-либо навету; в глубине души она всегда чувствовала себя обиженной и оскорбленной.

На смену морозам вдруг пришли дожди и оттепель. Летом землянка, в ожидании переезда, не была приведена в порядок, и в комнате безбожно

текло. Бьяртур терпел, пока мог, но под конец перебрался вниз. Однако старуха Халбера не хотела перебираться — она не любила перемен; покрывшись мешком, она лежала не двигаясь, пока погода не установилась. Однажды под вечер Бьяртур сидел в нижнем помещении. Экономка принесла ему кашу. Пока хозяин ужинал, она стояла и поглядывала на него. Бьяртур ел, поставив миску на колени; когда он уже заканчивал свою трапезу, Брунья заговорила, повернувшись к нему спиной, как она обычно делала, разговаривая с ним, — казалось, она шепчет что-то стене.

— Что толку строить большой красивый дом, а самому сидеть на корточках в старой конуре, которая течет, как решето? Какой бы шум поднялся, будь это по моей вине.

— По-моему, если с потолка течет, особенного вреда тут нет — это полезная вода. А вообще-то что тут поделаешь, если двери не готовы.

— Я бы с удовольствием заплатила за дверь для своей каморки, если бы меня вовремя попросили.

— Да, но я так понимаю, что все двери в моем доме должны быть сделаны за мой счет, — сказал Бьяртур. — К тому же не только дверей не хватает: я не успел съездить и купить мебель для

большого дома, а тут уже и зима наступила.

— До сих пор отлично обходились и без мебели, — ответила Брунья. — Но если нужно, я могла бы купить два стула на свои собственные деньги, и кровать я могла бы одолжить или, во всяком случае, делить с другими, если бы можно было договориться хоть с одной живой душой в этом доме.

— Гм, — сказал Бьяртур и посмотрел на экономку.

Кто стал бы отрицать, что это была статная, ловкая в работе женщина, разумная и не тщеславная, без всяких капризов. Он мог бы жениться на ней или просто разделить с ней постель, что она и предлагала ему так неуклюже. У него нет причины сердиться на эту крепкую, как утес, женщину, которую не могли сломить годы, или прикрикнуть на нее, чего она не заслуживала. Он признавался самому себе, что было и невыгодно и нелепо платить ей жалованье, вместо того чтобы залезть к ней в ее великолепную кровать, одну из лучших в округе, — он никогда не спал на такой кровати. Да и к тому же у нее были деньги в банке.

— Видишь ли, дорогая Брунья, если я не переехал в новый дом осенью, то деньги тут ни при

чем. Я мог бы купить достаточно дверей, кроватей, стульев, если бы захотел, а может быть, даже и картинки с изображением бога и русского царя, чтобы повесить на стены.

— Я не спрашиваю — почему, — сказала женщина, — и прибавила шепотом в стену: — Человек ходит и сочиняет стихи для тех, кто не может и не желает их понять, но никогда не скажет доброго слова другим. На других только с крыши капает — только это и достается на их долю.

— Вода с крыши никому не вредит, — повторил Бьяртур. — Хуже, если капает внутри.

Когда человек не женат, ему приходится иногда прибегнуть к иносказаниям, чтобы заставить замолчать экономку.

Глава семидесятая
Проблема процентов

Надо ли удивляться установившемуся мнению, что Бьяртур из Летней обители построился зря?

Но разрешите спросить, а как же с Королем гор? Может быть, ему повезло больше? Нет. По правде говоря, Бьяртур по сравнению с Королем гор еще оказался счастливчиком.

Дом Бьяртура, необитаемый, без мебели, без

дверей, все еще держался ссудой, полученной в кассе, и овцами, которые шли в уплату за проценты, а под домом Короля гор рушились все опоры. Этот дом был так тщательно отделан, так хорошо обставлен, не хуже дома в Редсмири, что в нем не стыдно было жить цивилизованным людям. Но Королю гор пришлось его покинуть. Оказывается, даже у зажиточного крестьянина и даже в хорошие времена не хватает средств, чтобы жить по-людски. Так оно было, так оно и будет. Простому человеку доступно жить только в маленькой хижине и не лучше негров Центральной Африки, — при условии, что купцы будут поддерживать в нем еле тлеющий огонек жизни. Так исландский народ и существовал целое тысячелетие. Выше головы не прыгнешь. В прежние времена было обычным делом должать купцу, а если долг очень уж вырастал — лишаться кредита. И никто не поднимал шума из-за того, что люди умирали от недоедания, — это считалось даже удачей. Уж, во всяком случае, это было лучше, чем попасть в сети банка, как это случается теперь. Крестьяне тогда жили как самостоятельные люди; хоть они и умирали от голода, зато были свободны. Ошибка их была в том, что они сочли милостивые объятия банка безопасными

и спокойными, а на самом деле банк безопасен только для людей с большой задолженностью — на сумму от одного до пяти миллионов. В то самое время, когда Бьяртур продал свою лучшую корову, чтобы заплатить рабочим, и выложил тысячу крон наличными в счет займа и шестьсот крон овцами в счет процентов, Король гор продал свой хутор за ту сумму, под которую он был заложен, и перебрался в город. Он был даже рад, что отделался так легко. Народный банк попал в руки Ингольва Арнарсона и стал государственным банком благодаря колоссальному займу, полученному правительством в Англии. Не могло быть и речи о каких-либо отсрочках или о списании долгов, если только речь шла не о миллионах.

А сельскохозяйственные продукты быстро падали в цене. Да, в ту осень, когда дому Бьяртура из Летней обители исполнился год, цены вдруг начали падать. Мировая война уже не осеняла своей благодатью торговлю и промышленность; теперь иностранцы сами обзаводились овцами, вместо того чтобы убивать друг друга. К сожалению, исландское мясо оказалось ненужным на мировом рынке; никто больше не интересовался исландской шерстью: заграничные овцы сами

стали обрастать шерстью. Бьяртур наблюдал, как сотни несчастных исландских овец исчезали, идя в уплату задолженности по процентам и в покрытие полученных ссуд. Но он переносил это кровопускание с той же стойкостью, какую проявлял ранее, в голодные годы, перед лицом привидения и купцов. Он никому не жаловался. Стены его долговой тюрьмы становились все толще, а цены на его продукты падали все ниже, но Бьяртур был полон решимости биться головой об стену до тех пор, пока в его черепе останется хоть капля мозга. В его вечной борьбе за свободу наступила новая эра — борьба в тех условиях «нормальной» экономики, которые не могли не вернуться, когда кончилось сверхъестественное счастье войны; от чрезмерного оптимизма, который довел бедного крестьянина до такой нелепости, как желание жить в хорошем доме, не осталось и следа.

Когда «бум» кончился, Бьяртур очутился в трясине, которой ему удалось избежать в тяжелые времена. В голодные годы он отстоял свою свободу — в хорошие годы стал рабом процентов. В конце концов в тяжелые времена у него не было долгов, несмотря на смерть детей, жалкое существование в крытой торфом землянке и вечный

голод. Тогда жить было легче, чем в хорошие времена с их легкомысленными ссудными учреждениями, с их строительной лихорадкой.

В то самое время, когда Ингольв Арнарсон восстановил народный банк с помощью нескольких миллионов крон акционерного капитала, полученного от исландского государства — то есть от одного лондонского банка, — во Фьорд прибыл новый председатель потребительского общества. «Полный хаос и невозможная путаница, — со злобой говорил он; и чем больше разбирался в делах, тем становился злее: долги достигали неслыханных размеров. — Что за беспорядок! Надо немедленно принять самые крутые меры». Те, у кого долги превышали стоимость имущества, были прямо объявлены банкротами, и им следовало благодарить бога за то, что они отделались так легко. Тех же, из кого можно было выколотить хоть что-нибудь, держали полузадушенными в петле задолженности, надеясь выжать из них проценты вместе с кровью, — и это, может быть, было хуже, чем обанкротиться и уйти с пустыми руками. Заправилы потребительского общества посадили таких должников на паек, чтобы кое-как поддерживать в них жизнь и получать с них проценты; им выдавали по крупице самые

необходимые для жизни продукты, чтобы они могли влачить нищенское существование ради уплаты процентов, а иногда отказывали даже в самом необходимом, требуя поручительства богатых крестьян. Кофе и сахар отошли в область предания, они существовали только для богатых. Пшеницы выдавали столько, что вся она могла бы уместиться на носу у кошки, а некоторые вообще ничего не получали. Мелочные товары почти не отпускались; одежду строго запретили продавать, в особенности тем, кто наиболее в ней нуждался. Но что касается табака, то здесь правительство проявило большую щедрость: был принят закон о выдаче крестьянам табака бесплатно, за счет государства, — для предохранения овец от заболевания чесоткой и глистами. Ну, это замечательное лекарство — годится и для внутреннего и для наружного употребления! Выдача табака встретила восторженный отклик. Его называли «казна» или «глистный». Его даже староста курил из экономии: тяжелые, мол, времена!

— По-моему, это уж слишком! — сказал Бьяртур, узнав о том пайке, который был ему определен для поддержания жизни на вторую зиму после постройки дома. — Неужели я не могу решать

сам, как свободный человек, что мне надо купить в лавке? Если я не получу того, что мне нужно, то куплю в другом месте.

— Дело твое, — ответили ему. — Но тогда мы наложим арест на твое имущество.

— Что я — собака или раб? — спросил он.

— Не знаем, — ответили ему, — мы поступаем по закону.

Он получил полмешка ржаной муки, столько же овсяной, большое количество рыбных отбросов, которыми были завалены склады потребительского общества, и целую кучу табака «казна». Впервые с тех пор, как он стал самостоятельным человеком, ему отказали в горсти белой муки для оладий, на случай, если к нему заглянет гость. О кофе и сахаре не могло быть и речи — их можно было купить только за наличные. Раньше Бьяртур не задумался бы сказать крепкое словцо о тех, кто зажал в тиски бедного крестьянина, но кого он мог выругать теперь? Законы?

И все же осенью, наперекор всему и всем, он поселился в доме. Правда, многого в этом доме не хватало, но самую большую комнату на втором этаже привели в некоторый порядок, кухню тоже, навесили три двери — наружную и две внутренние, все на шарнирах и с ручками. Бьяр-

тур купил во Фьорде подержанную кровать для себя и Гвендура, сбил из досок кровать для тещи, а также соорудил что-то вроде стола и маленькой скамейки; до сих пор никто и не подозревал, что он умеет столярничать. И вот перебрались в новый дом, все в одну комнату. И тут же обнаружили, что печка отказывается служить и беспрерывно дымит, наполняя весь дом чадом и смрадом. Звали разных знатоков, совещались, высказывали много интереснейших теорий. Во всем винили трубу: одни считали ее недостаточно высокой, другие предлагали укоротить ее; одни находили, что она чересчур широка, другие — что она слишком узка, оттого, мол, и не пропускает дыма. Некоторые ссылались даже на научную теорию, о которой писали в газетах: если трубы выложены во время прилива, с ними не оберешься хлопот. Судя по всему, эта труба была выложена во время прилива. А дым валил в помещение, несмотря на все философские споры. Несомненно, нужен был дорогостоящий ремонт, чтобы привести печь в порядок, а тратиться на нее не имело смысла — она поглощала неслыханное количество топлива.

Наконец Бьяртур купил подержанный примус для приготовления пищи, а плита с тремя кон-

форками красовалась в кухне как своего рода украшение.

Глава семьдесят первая
Великаны осенью

У экономки Бруньи было в обычае каждую осень ездить на своей кобыле в город за покупками; она исчезала на целую неделю. Это было ее отпуском; у нее ведь, как у всех людей, были свои знакомые. Краснощекая и статная, возвращалась она домой, труся рысцой на своей рыжей кобыле; вокруг седла висело множество свертков: мелочные товары, отрезки ситца, нитки, печенье, которое можно было погрызть в торжественных случаях, угощая им порядочных людей, щепотка кофе, немножко сахару. Но в эту осень Брунья приехала не верхом, а вела свою кобылу под уздцы; на седле возвышалась гора покупок. Экономка была в лучшем настроении, чем обычно, позвала Бьяртура и попросила его помочь ей снять поклажу и внести ее в дом.

— Чего это ты накупила? — спросил он.

— О, так, мелочи! И говорить о них не стоит, — ответила Брунья.

Она не хотела сразу сказать все и чуть-чуть

важничала, была немножко счастлива, немножко горда, — может быть, радовалась в глубине души, когда шла по пустоши, что Бьяртур будет с любопытством расспрашивать ее о покупках. Но он не выказывал ни малейших признаков любопытства: не в его привычках было докучать людям вопросами; что бы она ни купила — это уж ее дело. Молча сложил он ее покупки в сенях, кобылу пустил на болото и подтолкнул ее кулаком. Был темный осенний вечер.

Бьяртур нашел себе какое-то занятие во дворе и в доме появился только тогда, когда уже пора было ложиться спать: он опасался, что, если придет раньше, экономка угостит его печеньем: она всегда это делала, возвращаясь из отпуска. На этот раз ему меньше чем когда-либо хотелось печенья — он боялся того, что может за этим последовать, еще начнется какая-нибудь перепалка. Но, войдя в дом, он не мог удержаться и зажег свечу в сенях, чтобы рассмотреть покупки Бруньи. Здесь было полмешка белой муки, пакет с крупой, целая голова сахара и ящик, от которого пахло бакалейными товарами — кофе, изюмом и еще чем-то, — все товары, которые самостоятельным людям, залезшим в долги, было запрещено покупать в свободной стране. Бьяртур

сорвал одну доску с крышки, заглянул в ящик — и увидел… Что же это такое? Благоухающая пачка жевательного табака! Человек, целый месяц не видевший ничего, кроме «казенного» табака, разозлился, он не хотел знать, что еще находится в ящике! Быстро потушив свечу, Бьяртур вошел в комнату.

Старуха заснула. Гвендур тоже лег и повернулся к стене. Брунья сидела одна на своей кровати, в праздничном платье, и распаковывала разные вещи; она разглядывала их и разочарованно откладывала в сторону. На Бьяртура она не взглянула. Минуту назад она сияла гордостью, важничала, а теперь сразу поникла — радость ожидания погасла в ней.

— Жгут масло почем зря! — сказал Бьяртур и привернул фитиль больше чем вдвое.

Брунья против обыкновения ничего не ответила и только через некоторое время чуть слышно всхлипнула. Бьяртур начал расшнуровывать ботинки; он надеялся, что успеет раздеться и натянуть перину на голову, прежде чем Брунья предложит ему печенье. Он избегал смотреть на нее, но размышлял о ее поведении. Что она, спятила? Ведь она всегда была разумная женщина! Кажись, не молодая, не пристало ей мотовство и

легкомыслие. Всю жизнь копила и скряжничала, не позволяя себе ничего лишнего, кроме фунта печенья один раз в год, а вот сидит и дуется оттого, что он не лишился чувств от восторга, когда она приволокла целый вьюк товаров в его дом, в его большой новый дом. Конечно, она женщина преданная, честная, не трещотка; ничего дурного о ней не скажешь, кроме того, что однажды, в прошлом году, она вмешалась не в свое дело. Да и статная она женщина, сильная, румяная, в теле. Надень на нее очки, и она будет такой же видной, какой была фру из Редсмири в расцвете сил, несколько лет тому назад. Брунья к тому же чистоплотна, на ней никогда не увидишь какой-нибудь рвани, она не заметает сор в углы, вкусно стряпает, работы не боится, готова таскать навоз днем и ночью; не в ее обычае лежать и нежиться, разыгрывать из себя барыню. Да и состоятельна: в банке у нее лежит капиталец. И если кобыла ее не слишком резва, то ведь кобыла всегда кобыла. А чего стоит ее роскошная кровать, самая замечательная вещь в новом доме Бьяртура. Вряд ли хозяйка Редсмири когда-либо спала на более мягкой постели…

Нет, по-видимому, у Бруньи не было охоты угощать Бьяртура печеньем; но она еще долго си-

дела на своей кровати, положив руки на колени. Как странно беспомощны были эти руки, когда им нечего было делать. Бьяртур поглядывал на нее в полумраке.

По лицу Бруньи пробежала тень. Наконец она сгребла в одну кучу свои покупки и бросила их все вместе в сундук, как негодные тряпки, потом слегка вздохнула, сняла покрывало с постели, по привычке аккуратно сложила его, откинула перину в красном клетчатом чехле и белоснежную простыню, села на край кровати и начала раздеваться; расстегнула лифчик, кофточку, сняла юбку, все тщательно сложила и сунула в сундук. На ней было толстое шерстяное нижнее белье, которое она сама связала; казалось, что ее тело растет, распускается, освобождаясь от облегавшей его одежды. Крепкие, сильные бедра еще гибки, она еще, видно, способна рожать детей; колени и ляжки мощные, шея молодая и крепкая, груди — как у юной девушки, упругие, высокие, чашами. Она сняла рубашку. Да, это женщина-великан. Но ведь и он великан, и у него богатырские плечи и могучая грудь, которая может выдержать все. Брунья надела на себя ночную рубашку и только тогда потушила свет. Когда она улеглась, кровать под ней заскрипела.

Бьяртур не мог заснуть и ворочался с боку на бок, завидуя своему сыну, который давно уже храпел. Он несколько раз ругнулся вполголоса, злясь, что бесполезные мысли не дают ему заснуть. Ему так хотелось настоящего табака! «Проклятая „казна“, — думал он, — проклятое потребительское общество, проклятая ссудная касса, проклятый дом!» В этом новом доме устоялся какой-то отвратительный запах, и Бьяртуру казалось, что он тут задохнется. Если бы хоть немножко табака вместо этой дьявольской «казны»! Что ему делать? Старые люди советуют от бессонницы читать стихи, и он начал бормотать песенку:

Лишь это зелье тоску уймет,
коль душу долгая ночь гнетет,—
лишь великанов сладимый мед,
слов созвучья, душа моя пьет.

После этого ему в голову стали приходить только непристойные песни, они обступали его целым сонмищем, заслоняя собой самые совершенные стихи, написанные сложнейшими рифмами.

Все уже давно заснули, а он никак не может сомкнуть глаз, ворочается в постели, ругается, страдая любовным томлением; и по-прежнему ему непреоборимо хочется табака. «Черт побе-

ри! Сбегаю-ка я в сени, отломлю кусочек табаку, чтобы успокоиться, и пожую его за неимением чего-нибудь получше».

Он натягивает штаны, вылезает из постели и всовывает ноги в башмаки, стараясь делать все это как можно тише. Но осенняя ночь черным-черна, а ему нужно пробраться к двери; по дороге ему попадается что-то круглое, вроде шишки. Что же это такое? Он протягивает руку и натыкается на лицо Бруньи: видно, он набрел на изголовье ее кровати.

— Кто это? — слышит он шепот во мраке.

— Я разбудил тебя? — спрашивает он, думая, что она уже заснула.

— Это ты? — шепчет Брунья.

Кровать заскрипела: видно, она повернулась к нему и стала подниматься.

— Гм, — говорит Бьяртур, — нет.

Бьяртур двинулся ощупью вдоль кровати и наконец нашел дверь. В нос ему ударил запах дорогих и лакомых бакалейных товаров, но он уже забыл, что ему хотелось табака, — он помнил только, что эта чужая женщина накупила товаров и принесла их в его дом. Что он, собака, раб? Впервые в его дом был принесен чужой хлеб!

Бьяртур вышел во двор. Мела поземка, было

очень холодно, но он не замечал этого. Отправив нужду в углу участка, он стоял в башмаках на босу ногу, в одних штанах и радостно вдыхал свежий воздух после запаха сырости и кирпича, которым пропах дом. Поистине нездорово было жить в этом доме. Какого черта он его построил?

Ну вот, он подышал свежим воздухом, теперь надо спать. Он вернулся в дом, поднялся ощупью по пяти ступенькам, вошел в сени. И опять в нос ему ударил запах бакалейных товаров — благоухающих, обильных, купленных за наличные. Нет, это в последний раз чужие люди приносят хлеб в его дом!

Утром Бьяртур встал рано, поработал немного и вошел в дом, чтобы выпить кипятку. Брунья стала наливать ему кофе в большую чашку. Душистый пар вкусного напитка ударил ему в нос — ни одна из его жен не умела варить кофе так, как Брунья; по его мнению, она варила кофе лучше всех в поселке; все кушанья, которые она готовила, были как-то особенно вкусны. Она стояла к нему спиной и, лишь подавая кофе, на мгновение повернулась лицом к нему. Ответила ли ему Брунья, когда он сказал «добрый день»? А может быть, он не сказал «добрый день»? Несколько мгновений он смотрел на чашку… да, он всегда

очень любил кофе. Наконец он отставил чашку, не дотронувшись до кофе, и сказал без обиняков:

— Брунгильда, я хочу, чтобы ты уехала.

Она посмотрела на него. Уехала? У нее было далеко не старое лицо и не уродливое, у нее было лицо молодой женщины, и она в страхе смотрела на него.

— Ты, верно, думаешь… — пролепетала она и замолчала…

Женщина-великан съежилась, как от удара, черты ее лица исказились; она положила голову на руку и заплакала глубоким, протяжным плачем, как маленькая девочка. Бьяртур закрыл за собой дверь и пошел работать.

Весь день она ходила заплаканная, с распухшими от слез глазами, но ничего не говорила. На другой день она уехала.

Глава семьдесят вторая
Когда идеалы претворяются в жизнь

Неужели идеалы Ингольва Арнарсона никогда не осуществлялись? Как же! Они осуществлялись всегда и во всех областях. Закон о сельском хозяйстве вступил в силу, люди получали высокие премии за возделывание больших посевных

площадей и даже несколько крон за распашку маленького куска земли; выдавались премии за постройку прекрасных скотных дворов и сеновалов из бетона, пособия на покупку дорогих сельскохозяйственных машин: тракторов, плугов, борон, жнеек, сеноуборочных машин и даже вязальных; вопрос о цистернах для навоза был благополучно разрешен, крестьяне получали пособие на постройку настоящих цистерн для навоза и ям для компоста. В народном банке было открыто специальное отделение по выдаче ссуд на строительство жилищ в деревнях; многие депутаты альтинга были избраны именно потому, что обещали добиться кредита на строительство. И действительно, им стали выдавать долгосрочные ссуды за небольшие проценты, при условии, что они на своих участках будут строить великолепные современные дома: в них полагалось возводить двойные стены из армированного бетона, обитые фанерой, полы выстилать линолеумом, проводить водопровод, канализацию, центральное отопление и даже электрическое освещение. Рекомендовалось сооружать только первоклассные дома, ибо опыт показал, что строить дешевое, плохо оборудованное жилье невыгодно. Наконец был принят закон о система-

тическом списании крупных долгов с крестьян, и все владельцы больших поместий были счастливы, что они могут сделать гигантские долги. Потребительские общества процветали — как торговые предприятия, основанные на братских началах, куда посредники и другие лица, тайно паразитирующие на производителях, не имели никакого доступа. Крестьянам выплачивали премию в размере от нескольких крон до тысячи, в зависимости от того, кто сколько поставил продуктов. Староста из Утиредсмири получил премию в несколько тысяч крон; ему выплачивали высокие премии и за ведение сельского хозяйства: он запахивал большие площади и построил великолепный скотный двор. Кроме того, он получил пособие из сельскохозяйственного фонда на покупку трактора, новых плугов, новых борон, новой жнейки, новой сеноуборочной машины и других дорогих орудий, даже вязальной машины; он получил также пособие из фонда строительства цистерн для навоза и выстроил самые великолепные во всем приходе цистерны. Затем оказалось, что дом его начал гнить, и он взял ссуду из «фонда строительства» и соорудил большой, прочный дом с погребом, двумя этажами и мезонином, — все из армированного бетона,

с двойными стенами, обшитыми фанерой, а пол был покрыт линолеумом; в доме имелась ванная комната для фру, центральное отопление, горячая и холодная вода, электричество. Такие люди, как староста или тот мошенник, который спас Короля гор, — гордость нации! Мошенник? Да нет, он просто современный финансист, которому пришло в голову заняться сельским хозяйством. Ведь этот Король гор был недотепой и ни в чем не знал меры, хотя постоянно говорил о золотой середине; он-то никогда не был финансистом. И вот теперь, на старости лет, он стал поденщиком в городе и жил из милости у своего зятя. Нет, новый владелец дома Короля гор был отнюдь не мошенник: он сразу же пришел в приходский совет, сразу же получил пособие на покупку современных сельскохозяйственных машин, построил великолепный скотный двор и получил премию; получил пособие на строительство цистерны для навоза, премию за свои продукты, провел электричество в дом Короля гор. Как подумаешь о таких людях, приходишь к выводу, что мировая война велась не напрасно.

А как же Бьяртур и его друзья?

Начнем с Тоурира из Гилтейги, отца веселых дочерей, которые в свое время были неравнодушны

к длинным тонким чулкам. У него все обошлось гораздо лучше, чем можно было ожидать. Младшая дочь даже вышла замуж за состоятельного человека и жила в городе. А сам Тоурир задолжал не так много, чтобы большие долги сделали его большим человеком, но и не так уж мало, чтобы ему грозила распродажа с молотка. После войны он стал средним крестьянином. Жители поселка выбрали его Королем гор. Он ловил в горах овец и лечил собак — ответственность немалая, но и жалованье приличное. Его избрали пономарем. Он хорошо справлялся со своими обязанностями, перестал жаловаться на ветреность женщин и явно метил в члены приходского совета. Как это ни странно, но в эти трудные годы его спасли заблудшие дочери, которые по особым причинам оставались под отцовской кровлей, работали на него в годы войны и даже детей своих заставили работать. Тоурир не рискнул строить дом для своих домочадцев, он построил лишь помещение для овец — и правильно: ведь горький опыт подсказывает, что самое верное — как можно меньше делать для людей.

А другие? Они тянули лямку, как и прежде, страдая от налогов и расходов на покупку корма, от долгов за продукты питания, долгов за рас-

пашку земли, от эпидемий, которые поражали их стада, от болезней и смерти, — оттого, что идеи Ингольва Арнарсона претворялись в жизнь, и оттого, что всевозможные блага и льготы так и сыпались на богатых крестьян.

Оулавюр из Истадаля подписал купчую на свой хутор, но жил все в той же торфяной хижине, которая стоила жизни его жене и детям. Человеческая жизнь не так уж долга, чтобы бедный крестьянин успел стать зажиточным, — говорят, что это даже написано в книге одного ученого за границей.

Хродлогур из Кельда долго жил на хуторе, который он арендовал у старосты, а в конце благословенной войны ему удалось даже купить его; и теперь у него полон рот хлопот с уплатой процентов. Но не успел он построиться, как стал ждать следующей войны, — хотя, может быть, к тому времени староста успеет отобрать у него хутор в покрытие неуплаченных процентов. Пусть все идет своим чередом. Хродлогур так и не научился отличать естественное от сверхъестественного, принимал все, что выпадало на его долю, примет и разорение, если до этого дойдет.

Эйнар из Ундирхлида несколько уменьшил свою задолженность за один-два года, но так и

не стал владельцем хутора и не выстроил дома. Долги уже давно начали опять расти. Если выручки за овец хватит, чтобы уплатить налоги и купить корм, то это будет большая удача. Долги за лекарства подождут, можно подождать и с покупкой рыбных отбросов. Человеческая жизнь — это человеческая жизнь. Каждый раз, когда кто-либо умирал, Эйнар, как и прежде, сочинял красивое поминальное стихотворение и был глубоко убежден, что господь бог в будущей жизни будет более милостив к крестьянам, чем в этой, и тогда они насладятся всеми благами, какие причитаются обладателям бессмертной души.

Неужели простым людям ничего не перепадало от того, что идеалы Ингольва претворялись в жизнь? Что тут сказать? Все дело ведь в том, что нет никакого смысла предлагать какому-нибудь крестьянину-бедняку пособие из государственной кассы на покупку тракторов и современных жнеек, или долгосрочный кредит на постройку каменного дома с двойными стенами и фанерой, линолеумом и электричеством, или премию за продукты, или премию за распашку больших участков земли, или великолепную цистерну для навоза от единственной в хозяйстве коровы. Нет никакого смысла предлагать льготы и

преимущества кому-либо, кроме богатых людей. Только богатые люди и могут получать льготы и преимущества. Бедность тем и отличается, что бедняк не в состоянии принять щедрот, которые сыплются на богатых. Быть бедным крестьянином — это значит никогда не иметь возможности воспользоваться теми привилегиями, которые предлагают или обещают политические деятели, это значит быть отданным во власть «идеалов», делающих богатых еще богаче, а бедных — еще беднее.

Бьяртур живет зиму и лето в своем новом доме. Это самый худший дом в мире и невероятно холодный. Перед рождеством Халбера уже перестала вставать, и Бьяртур перенес ее кровать в пустой овечий хлев, чтобы она не умерла от холода. Холод мучил и самого Бьяртура так жестоко, что он стал бояться, уж не стареет ли он, но утешал себя тем, что его сын, находившийся в расцвете сил, страдает так же тяжело. Комната никогда не просыхала, в мороз она вся покрывалась льдом, окна никогда не оттаивали, ветер гулял по дому, снег проникал в комнату. Отец и сын этой зимой сами готовили пищу, что было не очень весело; зато никто уж не ворчал на хуторе, никто не доказывал свою правоту.

Летом Бьяртур еще раз нанял людей косить сено для своих исландских овец, несмотря на то что ни один потребитель в мире, если не считать лисиц и глистов, не хотел знать исландских овец. Цены на продукты осенью продолжали падать, никому не нужны были исландские овцы, да и никогда они не были нужны. Правительство отказалось от преимущественного права на основной источник народного дохода — рыболовство, но зато иностранцы закупили некоторое количество бочек тухлой солонины, которая потом гнила в чужих портах и наконец выбрасывалась в море. Все, что Бьяртур выручил осенью за овец, пошло на жалованье работникам и муниципальные налоги; на уплату процентов и на погашение задолженности ничего не оставалось. И если бы он даже продал всех овец — это было бы каплей в море. Он пытался добиться отсрочки в ссудной кассе, но там не с кем было говорить, кроме чахоточного, изможденного, похожего на мощи человека, который вяло перелистал гроссбух и сообщил, что он не имеет права давать отсрочку: решено, видите ли, открыть осенью филиал народного банка в Вике, фьордская ссудная касса сольется с ним; теперь только сам директор банка Ингольв Арнарсон имеет право предоставлять

отсрочки. И банковский служащий равнодушно посоветовал Бьяртуру поехать в Рейкьявик, найти директора и сделать попытку договориться с ним. Бьяртур отправился домой, чтобы «подумать». Может быть, и думать не стоило, ведь все равно — думай не думай, все они жулики. Но пока он раздумывал, по стране разнеслась новость: Ингольв Арнарсон покинул пост директора народного банка и стал премьер-министром.

Глава семьдесят третья
Собаки, души и т. д

«Аукцион. Сим объявляется, что, по требованию филиала народного банка в Вике, хутор Летняя обитель в приходе Редсмири продается с аукциона для покрытия долгов, а также процентов и расходов по продаже. Аукцион назначен на 29 мая, начало в три часа пополудни.

Председатель уездного суда».

Это извещение в начале весны было расклеено и в Вике и во Фьорде и напечатано в «Юридическом вестнике», а несколько позже о предстоящей продаже Летней обители был извещен и Бьяртур. Он ничего не сказал. Не в его привычках было

жалеть о том, чего он лишался; он никогда не носился со своим горем: «Если ты потерял то, чем владел, то довольствуйся тем, что тебе осталось». Он был достаточно умен, чтобы как можно дольше держаться за овец, у него их было еще сто штук, да корова, да три рабочих лошади, а также желтая сука — четвертое поколение по женской линии от его первой суки.

В этот вечер, войдя в старую овчарню, Бьяртур остановился около кровати, в которой лежала старуха, и заговорил с ней:

— Может быть, ты помнишь, что у тебя был хутор на севере, на пустоши Сандгил, милая Бера? — сказал он.

— Хутор? — Она не могла дать ясного ответа на этот вопрос, она уже давно ничего не помнила.

— Во всяком случае, он ведь стоит все на том же месте, — сказал Бьяртур.

— Это был славный хуторок, — откликнулась Халбера, — я жила в нем сорок лет. Там никогда ничего не случалось. А здесь постоянно что-то случается.

— Теперь нам придется расстаться с Летней обителью, — продолжал Бьяртур.

— Так я и думала, — сказала Халбера. — Этот проклятый дьявол всегда был здесь и останется

здесь навсегда. Колумкилли редко выпускал из своих когтей того, кто держался за этот хутор. Я-то никогда не считала Летнюю обитель своим домом.

Но Бьяртур не поддержал разговора о привидении — он никогда не верил в привидения и вообще в сверхъестественные существа, кроме тех, о которых говорится в поэзии. И он приступил сразу к делу:

— Как ты думаешь, не могла бы ты сдать мне весной Урдарсель, милая Бера?

— В Урдарселе красивые закаты, — сказала старуха. — Когда блаженной памяти Тоурарин надевал праздничную рубашку и скакал по пустоши, он ловил овец и стриг с них шерсть на месте, — там, где ему удавалось их поймать. Правда, у него были хорошие собаки.

— Да, это верно, милая Бера, — у него были хорошие собаки, у покойного Тоурарина, — сказал Бьяртур. — Я помню его коричневого пса. Ну и пес! Он видел в темноте так же хорошо, как другие при свете. Редкостное животное. У меня тоже водились хорошие собаки, милая Бера, преданные, они никогда не изменяли мне. Однажды у меня была желтая сука, прабабка нынешней, — такую днем с огнем не сыщешь. Мне порой казалось,

что она властна над жизнью и смертью.

Как бы там ни было, у человека остаются хотя бы воспоминания о собаках, их никто отнять не может, хотя мировая война и вслед за ней «идеалы» великого человека оказались пыльным вихрем, застлавшим горизонт бедного крестьянина.

— Да, милый Бьяртур, вот как оно обернулось, — сказал с оттенком сожаления в голосе Тоурир из Гилтейги.

Была ранняя весна, и несколько крестьян уселись рядышком на изгороди овечьего загона; они только что пометили своих овец, и руки у них были в крови. Овцы отчаянно блеяли у их ног.

— Следующая очередь твоя, — сказал Бьяртур. — Ведь все мы видели, что быть собачьим лекарем — это еще никого ни от чего по спасает.

— Не знаю, милый Бьяртур, — сказал Тоурир с некоторым раздражением, — я не могу отвечать за собак. Но думается мне, что главное — это верить в своих детей, что бы там ни случилось. И я всегда верил в них. Что бы ни случилось с моими детьми, я никогда их не выгонял, — и они работали на меня и в то же время на себя. Верить в детей — это то же самое, что верить в родину.

Да, он стал крестьянином-середняком, это легко

можно было понять по его тону. Он выбился в люди оттого, что дочери сделали его дедушкой и остались под кровом отца со своими незаконнорожденными детьми. В годы войны у него была бесплатная рабочая сила, он добился почета и уважения и поэтому начал верить в родину — все для Исландии!

— Мои дети никогда не позорили отца, — сказал Бьяртур. — Они были самостоятельны, мои дети.

Но крестьяне сразу же поняли, к чему дело клонится: один шаг — и пойдет такая перепалка, что уж добра не жди. Наступило тягостное молчание. И тут Оулавюр из Истадаля воспользовался случаем и вставил словечко; он знал по опыту, что если упустишь случай, то уж после его не поймаешь.

— Вообще я считаю, — сказал он, — что по нынешним временам — да и всегда так было — построить себе дом — это еще не значит стать самостоятельным человеком. В Исландии от самого ее заселения и до сих пор еще не случалось, чтобы трудящийся человек построил себе дом, который можно было бы назвать домом. Так и теперь — от этого толку не будет! Хватит с нас и землянки. Да и вообще что тут особенного — прожить свою жизнь в землянке? Ведь эта жизнь, если ее можно назвать жизнью, так коротка. Дру-

гое дело, если бы мы были бессмертны — тогда был бы какой-то смысл строить себе дом.

Эйнар из Ундирхлида сказал:

— Я не Оулавюр: если я изредка и высказываюсь, то не могу говорить по-научному; я только скажу, что думаю о самом себе. Я знаю — душа существует, и она бессмертна; и именно поэтому мне безразлично, что я проживу в землянке тот короткий срок, когда душа должна томиться на земле. Если жизнь бедна, дом мал, долги тяжелы, средств не хватает, чтобы есть досыта, а от болезней никуда не денешься, то все-таки душа — это душа. Душа была и останется бессмертной душой; и ее место в лучшем мире.

— А, иди ты к черту со своей чепухой о душе! — презрительно сказал Бьяртур и спрыгнул с изгороди.

Хродлогур из Кельда перевел разговор на глистов.

Глава семьдесят четвертая
Конец саги
Чужой хлеб

В ту весну, когда Бьяртур отстроил землянку в Урдарселе по образцу той, какую он однажды

соорудил — такие землянки строятся как бог на душу положит, — староста в Утиредсмири купил свое старое Зимовье за ту сумму, за которую был заложен хутор. Все считали, что это хорошая покупка. Он собирался устроить здесь большой лисий питомник — ведь оказалось, что злейшим врагом человека является не лиса, а овцы. Бьяртур перегнал своих овец и перевез свое имущество к северу, на пустошь Сандгил, а на старом его пепелище осталась только Халбера: ее он собирался взять с собой на север, когда вернется из города. Под именем Бьяртура из Урдарселя он отправился в город впервые; с ним был и его сын. Бьяртур так задолжал в потребительском обществе, что не мог получить даже горсти ржаной муки на свое имя; ему разрешили взять продукты на имя вдовы Халберы, дочери Йоуна, по ее доверенности. Бессмысленно было грозить, браниться, чтобы отвести душу: никто этого все равно не слушал и никто не имел времени на это отвечать; в лучшем случае мальчик на складе сказал бы: «Заткни глотку». И бессмысленно было хватить кого-либо кулаком по физиономии — ведь попадешь всегда не по той физиономии, по какой нужно. Он отдал двух лучших своих лошадей в уплату за материал для новой комнаты в Урдарселе, и у него

осталась только двадцатишестилетняя кляча Блеси. Мы знаем ее по прошлым дням, когда мы присутствовали на похоронах в Летней обители. Как давно это было! Зимний день. Блеси, привязанная к косяку двери, заглядывает в овчарню, а Тоурдур из Нидуркота поет псалом. Многое может пережить лошадь. Эта лошадь пережила все, что пережил ее хозяин — крестьянин из Летней обители. Она была его единственной лошадью в тяжелые времена, одной из многих в хорошие, а теперь опять стала единственной. Это была тощая кляча, изнуренная, чесоточная, слепая на один глаз, закрытый бельмом. Бедный старый конь! Но у него была такая же выносливая грудь, как и у Бьяртура.

Во Фьорд прибыли поздно. Бьяртур не решался сразу же тронуться в обратный путь, боясь переутомить лошадь, и пустил ее пастись. Но у нее были плохие зубы, и ей нужно было много времени, чтобы насытиться: пришлось дожидаться утра, пока она вдоволь поест. Был поздний вечер. Потребительскую лавку уже закрыли. Отец и сын уладили свои дела, и им ничего не оставалось, как ждать утра. Они вышли на улицу. Оба были голодны, оба ничего не ели весь день, у обоих не было денег, пойти они никуда не могли. Обоим

мучительно хотелось кофе, но они об этом не заговаривали. Стоял туман, с моря дул холодный ветер, но дождя не было.

— Ну, ночью дождя не будет, — сказал Бьяртур, разглядывая небо. — Мы ляжем на часок-другой возле какой-нибудь садовой изгороди.

В городе были какие-то беспорядки, но Бьяртуру из Урдарселя приходилось думать о более серьезных вещах. Дело в том, что «идеалы» Ингольва Арнарсона осуществлялись и во Фьорде. Две недели тому назад здесь приступили к постройке большого порта: в свое время программа строительства была выдвинута нынешним премьер-министром в ходе избирательной кампании, а потом была принята альтингом в качестве закона. О, это был не такой человек, чтобы отступаться от своих обещаний. Помимо местного населения, многие жители Вика тоже получили работу на этом большом строительстве. Они оставили свои семьи и перебрались сюда, в старые сараи, где раньше производилась очистка рыбы: теперь эти сараи были приспособлены под бараки для рабочих; ставки были обещаны такие, какие обычно платят в отдаленных местностях. Снова восстанавливался знаменитый мол, и для этого требовалось много камня и бетона. Рабочие

проработали неделю, взрывая и перевозя камни. Наступил день первой получки. Оказалось, что у них были преувеличенные представления о ставках в отдаленных местностях: оказалось, что они не смогут даже прокормить себя и свои семьи на этот заработок. И прощай мечта выбиться «в люди»! Они назвали подобную плату голодной, подобную политику наступлением на рабочих и объявили себя противниками такого общественного порядка, при котором трудящемуся люду нечего есть. Будто этот общественный порядок был чем-то новым! Они потребовали более высоких ставок. Но ни у кого не было полномочий платить более высокие ставки в такие тяжелые времена: кому какое дело, что их семьям нечего есть? Общественный порядок исландцев священен. Тогда рабочие прекратили работу и объявили забастовку. Ранее в этом городке никогда не было забастовок, но во главе движения стали жители Вика — они-то однажды уже бастовали у себя в Вике, и успешно; их семьи некоторое время после забастовки получали и ржаной хлеб, и рыбные отбросы. Среди жителей Фьорда мнения разделились: многие решили бастовать, а многие вышли из игры, они — уж так и быть! — принесут себя в жертву исланд-

ской независимости! Десятники продолжали набирать рабочих за ту плату, которая вызвала такой протест. Мелкие судовладельцы и другие мелкие буржуа предложили свои услуги, притом бесплатно, — ведь они спасали независимость народа и общественный порядок исландцев. Но бастующие отказались уйти с места работы; мало того, они расставили пикеты и не пускали добровольцев. Происходили драки между теми, кто был достаточно богат, чтобы защищать самостоятельность Исландии, и теми, кто хотел избавить свою семью от голода. Люди колотили друг друга, как колотят вяленую треску, кое у кого оказались даже переломы костей. Появились слова и мысли, неизвестные ранее в этой местности, — сюда пришли бесстыдные чужаки, чтобы нарушить мир и покой. Они прямо говорили, что хотят создать новый общественный порядок, при котором трудящихся не будут морить голодом. В городке не было полиции, которая могла бы выбить из их головы эти глупости, и старый общественный порядок, а с ним и независимость народа оказались под угрозой. Наконец председатель уездного суда позвонил властям и попросил прислать полицейских для охраны тех, кто желал работать, и для расправы с чужаками, с крамольниками,

которые незаконно им препятствовали. Правительство охотно откликнулось на эту просьбу: отряд полицейских был отправлен во Фьорд на катере. Говорили, что забастовщики подготовились к обороне и что нужно ожидать схватки. Городок был охвачен страхом и смятением.

Так надо ли удивляться, что никому не было дела до Бьяртура из Летней обители? Все думали только о том, что их ждет завтра.

Был уже поздний вечер, беспокойные голоса рабочих утихли и сменились резкими криками морских ласточек. Ночь окутала город прозрачной пеленой. Крестьянин из долины и его сын сели у дороги, перед темным, уснувшим домом; они жевали травинки и долго молчали.

Первым заговорил сын:

— Не пойти ли нам к Аусте Соуллилье? — спросил он. — Я слышал, что она больна.

Ответа не последовало.

— Не пойдем ли мы к Аусте Соуллилье? — повторил сын. — Говорят, что ее бросил жених.

Снова молчание.

— Отец, я уверен, что Ауста Соуллилья очень обрадуется нам. Я уверен, что она угостит нас кофе.

Наконец отец потерял терпение, гневно посмотрел на сына и ответил:

— Замолчи! Или ты хочешь, чтобы я избил тебя, проклятый бродяга, который никогда не станет мужчиной!

И на этом разговор кончился.

Долго сидели они и наконец заметили, что по дороге медленно бредет человек — высокий, тощий, в нанковых штанах и рубашке, в сдвинутой на затылок шапке; время от времени он останавливался и смотрел на дом. Вдруг он увидел Бьяртура и его сына, — тогда он перестал рассматривать дом, медленно направился в их сторону и остановился в нескольких шагах. Он вынул окурок из кармана и смотрел попеременно то на окурок, то на них, потом засмеялся, зажег окурок и подошел к ним.

— Добрый вечер, братья, — сказал он.

Они лениво ответили на его приветствие и по-прежнему неподвижно сидели, держа травинки в зубах и глядя на канаву. Человек взглянул вверх.

— К вечеру небо заволокло.

Они не ответили.

— Проклятая дыра, — сказал человек. — До чего хочется домой. Хотя, по правде говоря, и дома сейчас не лучше.

— Откуда ты? — спросил Бьяртур.

— Из Вика. Думал, что тут будет полегче, но

оказалось, ничуть не лучше. Подняли трезвон, а на поверку выходит — одно надувательство. Послушай, — сказал он вдруг и взглянул на Бьяртура, будто его осенило. — Не продашь ли ты мне хлеба?

— Продать тебе хлеба? В уме ли ты? Нет. У меня нет хлеба на продажу.

— Вот как, — сказал человек и улыбнулся. — Впрочем, что ж... Мне ведь все равно платить нечем.

Наступило короткое молчание. Потом прохожий сказал:

— Все это сплошной обман, проклятье. К черту все!.. В какой книге это сказано?

— Кажется, в Священном писании, — ответил Бьяртур.

— Да, что ж это я, — сказал человек, — конечно, в Священном писании.

— Ты забастовщик? — спросил Бьяртур. — Как вам не стыдно! Лучше бы вы работали.

— А какой прок в работе, если нас обманули? Надеюсь, ты не из тех, кто хочет продолжать работать.

— Из тех, — сказал Бьяртур. — Я всегда трудился, но я ни у кого не батрачу. Я самостоятельный человек пока еще.

— Завтра, говорят, будет полиция, — сказал пришелец. — Надеюсь, ты не голосовал за Ингольва Йоунссона, этого кровавого пса?

Но Бьяртур не пожелал отвечать на этот вопрос.

— Черт подери, как трудно купить кусок хлеба, — сказал человек. — Ребята послали меня достать хлеба, мы собирались сварить кофе.

— Ты же сказал, что у тебя нет денег, — сказал Бьяртур.

Человек снова взглянул на него, причмокнул языком и улыбнулся.

— Я и не думал покупать, я хотел пошарить в булочной.

— Булочная давно закрыта, — сказал Бьяртур.

— Это не важно, если только хлеб не спрятали.

— Спрятали?

— Да, да, спрятали. Я видел такие чудные караваи часов в семь — настоящий ржаной хлеб!

Он докурил свой окурок.

— Как ты думаешь, дождь будет? — спросил он и снова взглянул на небо.

— Не думаю, — ответил Бьяртур.

— Да мне-то это все равно, пусть идет, — сказал прохожий. — Ну и жизнь! Знаешь, я чертовски давно не был с женщиной.

— Вот как, — сказал Бьяртур.

— Впрочем, тем лучше, — сказал человек. — Надо беречь силы. Если эти мерзавцы привезут завтра полицию… Послушай, может быть, и вы пойдете с нами?

— Против кого?

— Конечно, против этого черта Ингольва Йоунссона.

Бьяртур подумал и ответил:

— Я уже не гожусь для драки.

— У нас ручки от мотыг, палки…

— Вот оно что, — ответил Бьяртур.

— Но если эти дьяволы приедут с ружьями, мы, конечно, сдадимся, — сказал человек. — Так мы порешили. У многих из нас есть дети. Не будь у меня детей, мне было бы море по колено. Пусть себе стреляют. Слушайте, чего вы тут дожидаетесь? Чего-нибудь особенного?

— Нет, — ответил Бьяртур. — Дожидаюсь, чтобы моя лошадь набила себе брюхо, ей уже больше двадцати пяти лет. Нам надо ехать домой по пустоши; мы двинемся рано утром.

— Не уйдете же вы раньше, чем кончится потасовка, братья? Послушайте, какого черта вы тут сидите? Почему вам не пойти со мной и не выпить горячего кофе с хлебом?

— У тебя есть хлеб?

— Хлеб? — удивленно переспросил человек. — Да, да, хлеба будет достаточно. Пойдемте.

Он был так словоохотлив, говорил так простодушно, по-товарищески, что оба крестьянина встали и пошли за ним. Но он шел не по прямой линии, а как-то странно, зигзагами, — останавливаясь, куда-то заглядывая. Два раза он попросил их подождать его, а сам забегал куда-то за дом.

— Черт, до чего смешно! — сказал он. — Все так напуганы, бабы даже запирают двери своих кухонь.

Должно быть, он действительно видел в этом что-то забавное, потому что громко рассмеялся. Но Бьяртура и его сына это ничуть не рассмешило. Незнакомец продолжал говорить о полиции, о погоде, о женщинах и обо всем, что ни приходило ему в голову.

— По-моему, — заметил он, — надо быть дураком, чтобы в паше время жениться.

— Разве? — спросил Бьяртур.

— Да, дураком, — подтвердил незнакомец и, по своей привычке, щелкнул языком.

— Так не женился бы, — сказал Бьяртур.

— Послушай, я тут разговаривал как-то с одним боевым парнем, так он сказал: «Уж лучше бы

власти убивали людей, чем оставляли их жить в такой нищете».

— Чепуху ты городишь, — сказал Бьяртур.

— Нет, нет, — быстро ответил прохожий, — это сущая правда. Я тоже так думаю. Простые люди недостаточно преступны, чтобы приспособиться к нынешним порядкам. Только мошенникам житье.

Бьяртуру трудно было понять такие речи, и он ничего не ответил.

— И оружия у нас нет, — продолжал человек. — Будь у нас оружие, совсем бы другой разговор был. Приходится красть у них рукоятки от лопат, чтобы их же бить. Но если у них будут ружья, тогда, конечно… Подождите, здесь живет одна баба…

Он молниеносно исчез за невысоким домом. На окнах стояли цветы. Рядом находился курятник. Через некоторое время прохожий вынырнул откуда-то с большим караваем черного хлеба.

— Я оцарапался, — сказал он и полизал ранку на руке, — но это пустяки. Пойдем.

— Надеюсь, ты не украл этот хлеб?

— Есть о чем говорить! — сказал человек, щелкнул языком и засунул хлеб под штаны, натянув рубашку сверху. — Ничего, у нее несколько хуторов, это вдова пастора.

Бьяртур остановился и сказал:

— Дальше я не иду.

— Пойдешь, — сказал человек. — Пойдешь и будешь пить кофе. Это чудный хлеб. И бабе он совершенно не нужен.

— Я никогда не воровал, — сказал Бьяртур, — и никогда не укрывал воров.

— И я тоже, — сказал человек. — Но что делать, когда тебя кругом обкрадывают да вдобавок еще могут пристрелить. Ведь капитализм убил на войне ради собственного удовольствия десять миллионов человек, так авось не заметит пропажи одного каравая хлеба. Капитализм наказывает гораздо строже тех, кто не крадет, — так отчего же не красть? Кто сидел в тюрьме, рассказывает, что лучше всего им жилось там. А эта баба только и знает, что собирать арендную плату со своих хуторов. Я уверен, что гораздо лучше сидеть в тюрьме, чем быть владельцем хутора вроде тебя. Я уверен, что в тюрьме человек чувствует себя гораздо более самостоятельным. Пойдемте, братья. Кофе уже, думается мне, готов, и никаких воров, кроме капитализма, нет.

В бараке было десять — двенадцать рабочих, они варили кофе на чадившей керосинке, вода уже закипела, и вновь пришедшие невольно

вдыхали в себя запах ароматного напитка.

— Что это за парни?

— Они сидели у дороги и жевали табак, — сказал незнакомец, что было не совсем точно, так как они жевали всего лишь траву, — и я пригласил их выпить кофе.

— Ты принес хлеба?

— Да, да, хлеба хватит. Входите, братья!.. Вы можете спокойно принять их, они против капитализма.

Хозяева пригласили гостей сесть на нары и начали их рассматривать. Кое-кто слышал о Бьяртуре из Летней обители и знал, что он строился, что его хутор несколько дней назад был продан с молотка на покрытие долгов; им хотелось поподробнее узнать об этом, но Бьяртур отмалчивался. Ему предложили кружку кофе, и он взял ее с благодарностью, но когда дело дошло до хлеба, в нем снова поднялся глухой гнев: это был чужой хлеб. А он дорого дал бы за кусок хлеба. Гвендур взял большой ломоть и посмотрел на отца.

— За это ты отвечаешь, не я, — сказал Бьяртур.

— Скажи, Бьяртур, — спросил какой-то молодой человек с удивительно открытым взглядом и живыми чертами лица. — Знаешь ли ты, что сделали русские крестьяне?

Он не ответил.

— С незапамятных времен они жили самостоятельно, как дикие кошки, или, вернее сказать, как исландские хуторяне вроде тебя. Капитализм грабил и убивал их. Восемь лет тому назад капитализм развязал войну и начал убивать их, как собак, ради собственного удовольствия; и так он кромсал их три года, в иные дни убивали до двухсот тысяч душ зараз. Наконец русским крестьянам это надоело, и они объединились со своими товарищами — рабочими в городах, свергли капитализм и убили царя. Они взяли все то, что капитализм украл у них, и создали новое общество, где никто не может наживаться на труде другого. Это называется коллективное общество.

— Вот оно что, — вдруг засмеялся Бьяртур. — Значит, русскому царю крышка?

И он стал рассказывать присутствующим о своей жизни и даже о том, как у него все украли.

— Дайте-ка и мне, пожалуйста, кусок хлеба, ребята, — наконец сказал он, видя, что все жуют, у всех хороший аппетит и от каравая осталась только половина. Ему отрезали толстый ломоть. Хлеб был чудесный.

— Да, может быть, они отомстят за меня, —

сказал Бьяртур, набив полный рот, — подобно тому как за Греттира Сильного отомстили где-то далеко на востоке, в Миклагарде, но зато его и считают величайшим человеком в Исландии.

— Ты еще не умер, — сказал один из рабочих, — и завтра будешь драться вместе с нами.

— Нет, — ответил Бьяртур. — Я перебираюсь на другой участок, и у меня нет времени драться здесь, на фьордах.

— В один прекрасный день трудящиеся скинут с себя воров и убийц, — сказал кто-то. — Тогда ты раскаешься, что не подал нам руку помощи.

— Я всегда был самостоятельным человеком, — сказал Бьяртур. — Я хочу иметь свою землю. Завтра рано утром, как только кобыла наестся досыта, я отправлюсь в Урдарсель. Это решено. Мой Гвендур может остаться у вас. И если вы побьете проклятых редсмирцев, я плакать не буду. Слушай, ты можешь остаться с этими парнями, Гвендур. Кто знает, может, именно они дадут тебе твою Америку, по которой ты так тосковал весь этот год.

Когда выпили кофе, кто-то запел, другие стали укладываться. Они ложились на койки, не раздеваясь, по двое-трое на одну. На койках валялись лохмотья, которыми едва можно было прикрыть-

ся. Гвендуру тоже предложили лечь.

— Если мы победим, у него будет работа, — сказали рабочие, — мы запишем его в наш союз.

Вскоре все затихло, все улеглись. И Бьяртур тоже. Его мутило, он боялся, что его вырвет, — конечно, это от хлеба. Но постепенно тошнота улеглась. Он не мог сомкнуть глаз, в голове вихрем кружились мысли: не попал ли он в общество воров? Это же насильники, разбойники, они хотят свергнуть власть и ограбить страну. Не слишком ли он поторопился, когда решил оставить сына у этих разбойников? Что общего у него, свободного человека, с этой бандой или у его детей? Почему, черт возьми, он попал к ним, — он, самостоятельный человек, только что получивший новый хутор? Но, с другой стороны, может быть, они справедливые люди? А если это так, то это единственные справедливые люди, которых он когда-либо видел. Ведь одно из двух: либо власти справедливы — и тогда эти люди преступны, либо эти люди справедливы — и тогда преступны власти. Нелегко было решить этот вопрос за одну короткую ночь, и Бьяртур очень сожалел, что попал сюда. У него болел живот от краденого хлеба; ему казалось, что он потерпел самое большое поражение в своей жизни; ему

было так стыдно, что кровь приливала у него к лицу. Вот он встанет, и за дверью его вырвет этим хлебом унижения. Но он все же не встал, а продолжал лежать. Вокруг него уже давно раздавался храп.

Глава семьдесят пятая
Русский царь пал

Наконец Бьяртур уснул. Когда он открыл глаза, в бараке было совсем светло. Утреннее солнце заглядывало в открытую дверь. Он встал и посмотрел на солнце. Должно быть, сейчас около шести; он проспал три часа. Рабочие еще храпели. Хлеб, съеденный им накануне, и разговор за кружкой кофе остались в его памяти как что-то призрачное, — будто ему приснилось нечто недостойное его. Как странно, что это случилось именно с ним. У него болела спина, все члены онемели. Разговор еще ничего, мало ли что слышишь... если бы только он не ел этого проклятого хлеба. И вдруг он вспомнил, что отдал им своего сына. Где у него была голова? Или ему подсыпали в кофе какого-нибудь зелья? Стоя на пороге барака, он то выглядывал наружу, то смотрел на спящих и соображал, как бы забрать своего сына.

Потом он тихонько прошел через комнату, чтобы незаметно разбудить сына. Юноша спал спокойно между двумя рабочими, — это были крупные, ловкие парни, широкоплечие, с энергичными подбородками, с мозолистыми грубыми руками. У стены стояло несколько рукояток от мотыг. И Бьяртур подумал, что его сыну так хорошо спится среди этих двух сильных людей, что не стоит его будить и, пожалуй, не стоит уводить от них. Когда он проснется, ему тоже будет хорошо среди них. Разве они не стоят того, чтобы стать владельцами своей страны и управлять ею? Но если молодцы, вызванные Ингольвом Арнарсоном, прибудут с ружьями и убьют их и его сына тоже — что тогда? Не лучше ли разбудить парня и увезти в горы, чем позволить застрелить его, как собаку, посреди улицы? Он всегда любил этого мальчика, хотя никогда этого не показывал. Правда, Гвендур чуть-чуть не уехал в Америку, но верх взяла в нем любовь к самостоятельности, и он решил вместе с отцом преодолевать трудности у себя на родине. «Ну что ж, — подумал Бьяртур, — я ведь терял сыновей и раньше». И он вспомнил младенцев, которых он нес в ящике на спине в поселок, чтобы похоронить на кладбище в Редсмири, и тех детей, которых он потерял в своей

борьбе за самостоятельность. Не лучше ли, если и с последним произойдет то же самое! Если у тебя не хватает мужества быть одиноким, то ты не самостоятельный человек. Греттир сын Асмунда был бездомным разбойником с большой дороги, девятнадцать лет он скитался по горам Исландии, пока его не убили на Дрангейе. Но за него отомстили в Миклагарде, — а это был самый большой город в мире. «Может быть, со временем отомстят и за меня, — думал Бьяртур. — И, может быть, даже в каком-нибудь большом городе». Он вдруг вспомнил, что русскому царю — крышка, и это его обрадовало. Что сказал бы об этом старый Йоун из Утиредсмири?

Бьяртур решил не будить сына и тихо вышел из барака.

Пора бы забрать кобылу с пастбища и тронуться в путь, а он бродит по безлюдному рыбацкому поселку и рассеянно отвечает на приветствия старых рыбаков, которые уже встали и копаются в своих крошечных садиках — развешивают сети на лужайках, сушат их на утреннем солнышке или чинят. Вдруг Бьяртур решительно повернул к предместью Фьорда, где теснились самые жалкие хижины. Эта часть города называлась Сандейр. Бьяртур никогда не был здесь, но знал кое-кого

из жителей этого района. Многие женщины уже встали и выбивали мешки о стены домов. Возле одной из хижин он увидел кучку рабочих, но никто из них не обратил внимания на Бьяртура. Очевидно, это было собрание.

У дороги сидит тоненькая девочка и делает пирожки из глины. Как раз в ту минуту, когда он проходит мимо, девочка поднимается и вытирает руку о живот; у нее длинные для ее возраста ноги, длинные руки, недетское личико, уже отмеченное печатью знания. Она глядит на Бьяртура, и он сразу же узнает эти глаза — и прямой и косящий. Он резко останавливается и смотрит на нее. Это же Ауста Соуллилья!

— Что? — спрашивает он, ему почудилось, что девочка что-то ему сказала.

— Я ничего не сказала, — отвечает девочка.

— Как рано ты встала, бедняжка, ведь всего только шесть часов.

— Я не могла спать, у меня коклюш. Мама говорит, что мне лучше быть на улице.

— Вот оно что, у тебя коклюш. Да как тебе и не кашлять, уж очень у тебя тонкое платьице.

Девочка не ответила и снова занялась своими пирожками. Бьяртур почесал голову.

— Вот как, милая моя Соула, — сказал он. — Эх

ты, бедняжка!

— Меня зовут не Соула, — возразила девочка.

— А как же тебя зовут?

— Меня зовут Бьорт, — с гордостью сказала она.

— Ну хорошо, милая Бьорт, — сказал он, — разница не велика.

Бьяртур сел у дороги и продолжал смотреть на ребенка.

Бьорт наложила песку в старую эмалированную кружку и поставила на камень печься.

— Это рождественский пирог, — сказала она и улыбнулась, чтобы поддержать разговор.

Он ничего не ответил и все смотрел на девочку.

Наконец она встала и спросила:

— Почему ты здесь сидишь? Почему ты на меня смотришь?

— А не пора ли нам пойти к твоей маме и выпить кофе?

— У нас нет кофе, — ответила Бьорт, — только вода.

— Ну, теперь многие пробавляются водой.

У девочки начался приступ кашля, она посинела и легла на землю, пока припадок не кончился.

— А почему ты все здесь, — спросила она, при-

ходя в себя после припадка. — Почему ты не уходишь?

— Я хочу выпить с вами воды, — сказал Бьяртур без обиняков.

Девочка испытующе посмотрела на него и сказала:

— Ну, тогда пойдем.

Если он сегодня ночью ел чужой хлеб, да еще краденый, так почему же ему не выпить воды у этой девочки? Он перелез через изгородь и пошел вместе с девочкой к хижине.

Никогда Бьяртур не был так слаб духом, как в эту ночь, которая уже кончилась, и в это солнечное утро. И даже сомнительно, мог ли он еще называться самостоятельным человеком.

Окно в четыре квадрата было открыто настежь, и только в одном из этих квадратов было целое стекло — два были заложены мешками, а четвертый забит досками. Бьорт шла впереди. Комната была когда-то оклеена обоями, по-городскому, но они уже давно почернели от плесени и свисали клочьями. На одной из кроватей лежала хозяйка дома, старая женщина, на другой спала Ауста Соуллилья с младшим ребенком. У окна стоял ящик, сломанный стул и стол. На столе — керосинка.

— Ты уже вернулась? — спросила Ауста Со-

уллилья, увидев в дверях дочь, и поднялась на постели; в вырезе шерстяной рубашки виднелись обвисшие груди; волосы были в беспорядке. Она очень похудела и побледнела. Когда она увидела Бьяртура, ее глаза расширились, она тряхнула головой, как бы для того, чтобы прогнать видение. Но это было не видение: Бьяртур стоял в комнате, это был он.

— Отец, — крикнула Ауста и жадно глотнула воздух; она смотрела на него, открыв рот, глаза ее округлились, зрачки расширились, черты лица стали мягче, — казалось, она пополнела и помолодела за одну-единственную минуту.

Она закричала вне себя:

— Отец!

Ауста схватила юбку, поспешно натянула ее на себя, оправила на бедрах и, вскочив с постели, ринулась к нему босиком и бросилась в его объятия; она обхватила его шею и спрятала лицо у него на груди, под бородой.

Да, это был он. Ауста снова прижалась щекой к этому местечку. Он пришел! Наконец она подняла голову, посмотрела ему в лицо и вздохнула.

— Я уже думала, что ты никогда не придешь.

— Послушай, бедняжка моя, — сказал он, — надо торопиться. Вскипяти воды и одень ребят. Я

беру тебя с собой!

— Отец! — повторила она, не отрывая глаз от его лица, и все стояла, как будто приросла к полу. — Нет, я не верю, что это ты!

Он подошел к ее кровати, а она повернулась и смотрела на него как зачарованная. Бьяртур уставился на спящего ребенка. Каждый раз, когда он видел грудного младенца, сердце его наполнялось жалостью.

— Какой же он маленький, тоненький, — сказал он. — Да, род человеческий слаб. Вот когда видишь его, как он есть, только тогда и понимаешь, до чего он слаб.

— Я еще не верю, — сказала Ауста Соуллилья и снова подошла к нему.

— Надень платье, детка, — сказал Бьяртур. — Путь наш будет долгий.

Ауста начала одеваться. Она кашляла.

— Зря ты не вернулась раньше, чем начала маяться грудью, — сказал он. — Я построил тебе дом, как обещал, но в этом нет уже никакой радости — все пошло прахом. Теперь старая Халбера сдала мне в аренду Урдарсель.

— Отец, — проговорила она. Больше она ничего не могла сказать.

— Я всегда считал, что, пока человек жив, он не

должен сдаваться, хотя бы у него украли все, — ведь воздух у него не отнимут. Да, девочка моя! А ночью я ел краденый хлеб и оставил своего сына у людей, которые хотят свергнуть власть. Так я решил, что уж могу сегодня утром прийти и к тебе.

Глава семьдесят шестая
Кровь на траве

— Как тебя давно не было, девочка, — сказала бабушка вечером, когда Ауста Соуллилья осталась наедине с ней. Это была последняя ночь в Летней обители. Бьяртур уехал отвозить продукты в Урдарсель. — Я думала, что ты умерла.

— Да, я умерла, бабушка, — ответила Ауста.

— Чудно! Все умирают, кроме меня.

— Да, но я восстала из мертвых, бабушка.

— Что? — спросила Халбера.

— Я восстала из мертвых.

— О нет, девочка, из мертвых никто не восстает.

Халбера отвернулась и оглядела петли на спицах, затем стала читать про себя псалом о воскресении из мертвых.

Вечером Ауста пошла со своими детьми к ручью. Она с удивлением оглядывала уродливый

дом с острыми углами, со следами цемента на окнах; кое-где были выбиты стекла, земля вокруг дома взрыта. Это новое строение походило на развалины здания, разрушенного войной. Так это и есть тот дворец, который он выстроил в надежде, что она, Ауста, придет? Она тоже некогда мечтала о светлом доме на далеком лугу, возле моря. А теперь ей будет не хватать только маленькой хижины в Летней обители, с ее округлыми линиями и гармоничными пропорциями. С этой хижиной была связана память о самых священных страданиях, о самых дорогих надеждах. И все же как отрадно вновь увидеть старые горы. Они все еще стоят на своем месте, а казалось, столетия прошли с тех пор, как она рассталась с ними.

И озеро на том же месте. И болото. И тихая речка, текущая через болото. Однажды летней ночью, накануне Ивана Купалы, Ауста вышла на пустошь, чтобы увидеть широкий мир. Однажды чужой человек посмотрел на нее, и ей показалось, что душа ее вечно будет упиваться этим взглядом. Жизнь ее была разбита раньше, чем началась, — разбита, как дом Гудбьяртура Йоунссона и его мечта о самостоятельности. Она мать двоих детей, может быть троих, — но до этого никому нет дела.

Ауста привела сюда детей и сказала: «Посмотрите на мой старый ручеек», — и поцеловала их. Она была подобна незащищенной горной породе, которую разрушают ветры, ибо никто и ничто не защищало ее — ни бог, ни люди. Люди — те даже друг друга не защищают. А бог? Это узнаешь, когда умрешь от чахотки. Может быть, всемогущий запомнил все, что она выстрадала? Как бы то ни было, в этот вечер ей казалось, что она еще не стара и может мечтать о будущем, о новом будущем. Надеяться — значит жить!

На другой день Бьяртур повез в Урдарсель своих домочадцев. На спине старой Блеси он поместил две корзины: одну для старухи, которой было уже за девяносто, другую для детей, и повел лошадь. Ауста Соуллилья шла рядом с ним. Они направлялись на запад, через холмы. Собака бежала сзади, беспечно принюхиваясь ко всему, что попадалось ей на дороге, как это всегда делают собаки в благоухающий весенний день. Путники молчали. Они были похожи на странников, вставших после случайного ночлега на пустоши. Это была пустошь жизни. Путь ведет к еще более далекой пустоши. Никаких жалоб! Не носись со своей печалью, не оплакивай того, что потерял! Поднявшись на холм, Бьяртур даже не оглянулся на

свою долину. Но когда они проходили мимо кургана Гунвер, он остановился и сошел с дороги. Он обхватил руками памятник, который воздвиг ей несколько лет назад, и опрокинул его в ущелье.

Теперь он знал наверное, что незачем отделять ее от Колумкилли: она была с ним и в тяжкие и в хорошие времена, она и сейчас с ним. Еще раз они разрушили дом бедного крестьянина. Они все те же, из века в век. И по простой причине: потому что бедный крестьянин все тот же из века в век. Война, происходящая за границей, может на несколько лет облегчить его участь; но это только кажущееся облегчение, мираж. Бедный крестьянин никогда, во веки веков, не выберется из нужды. Он будет жить в нищете, пока человек человеку не защитник, а злейший враг. Жизнь бедного крестьянина, жизнь самостоятельного человека — это по природе своей вечное бегство от других людей, которые хотят убить его. Из одной ночлежки — в другую, худшую. Вот переселяется семья бедного крестьянина, целых четыре поколения из тех тридцати, которые тысячу лет поддерживали жизнь в этой стране. Для кого? Во всяком случае, не для себя и своих родных. Бедные крестьяне похожи на беженцев, бредущих по разоренной неприятелем стране, где долго

свирепствовала война; на людей, объявленных вне закона. В какой стране? Во всяком случае, не в своей собственной. В иностранных книгах рассказывается легенда о человеке, который обрел необычайную силу, потому что ночью засевал поле своего врага. Сага о Бьяртуре из Летней обители — это сага о человеке, который в течение всей своей жизни, днем и ночью, засевал поле своего врага. Это сага о самостоятельном человеке.

Пустошь. Болота. Слышен какой-то жуткий звук. Это громыхает памятник, падая в ущелье.

Несколько дальше на перевале, откуда можно видеть Утиредсмири, путники сошли с большой дороги и повернули на север, направляясь по непроезжим тропинкам к пустоши Сандгил. Скрипели вьюки. Ребенок заснул. Старуха держалась синими высохшими руками за седло; она ехала домой после случайного ночлега на пустоши.

Когда они прошли дальше на север, идти стало еще трудней — оползни, расщелины, болота, камни. Силы Аусты Соуллильи иссякли, она упала на траву, сотрясаемая ужасным приступом кашля: когда кашель прекратился, она застонала, — у нее не было сил подняться. Бьяртур снял вьюки и

пустил лошадь пастись. Он вынул ребенка из корзины и помог старухе сойти на землю. Маленькая Бьорт стояла, засунув палец в рот, и смотрела на свою мать, а старуха села около нее, баюкая грудного ребенка на коленях:

Где Гунвер, кровь течет рекой.

Ты спи-усни, малютка мой.

Всех поразило, что трава окрасилась кровью, — как в песне. Все ждали, пока Ауста Соуллилья соберется с силами. Растерянный Бьяртур отошел, а девочка спрашивала мать, не больно ли ей. Нет, ей не больно, она просто устала, она не может больше идти. Ауста лежала на траве, изо рта у нее текла кровь, она тихонько стонала, закрыв глаза. Старуха наклонилась и искоса взглянула на нее.

— Да, — пробормотала она, — так я и думала. Мне придется целовать еще одного покойника.

Бьяртур понял, что молодая женщина не в состоянии больше идти. Он усадил детей и старуху в корзины и поднял их на спину лошади, потом взял Аусту Соуллилью на руки и повел лошадь дальше. Когда они поднялись на крутой холм, она прошептала:

— Снова с тобой.

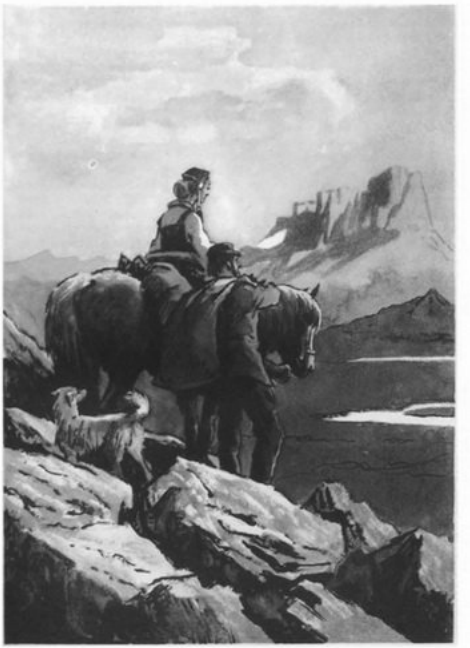
И он ответил:

— Держись крепче за шею, цветочек мой.

— Да, — прошептала она. — Всегда, пока я жива. Единственный цветок твой. Цветок твоей жизни. И я еще не скоро умру, нет, не очень скоро.

Они снова двинулись в путь.

Рейкьяхлид — Лауарватн
Весна 1935 года



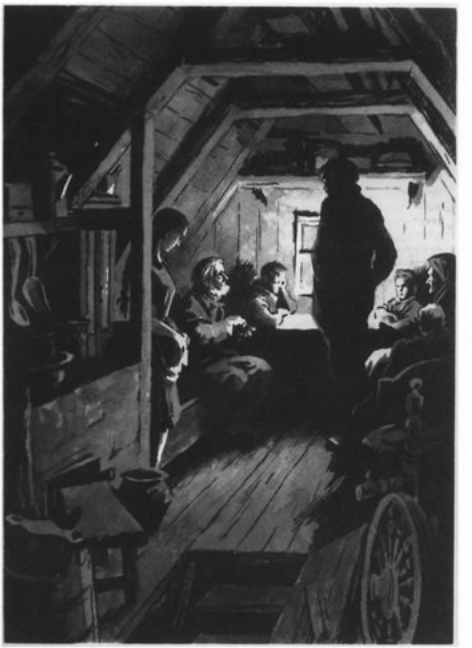
«Самостоятельные люди»



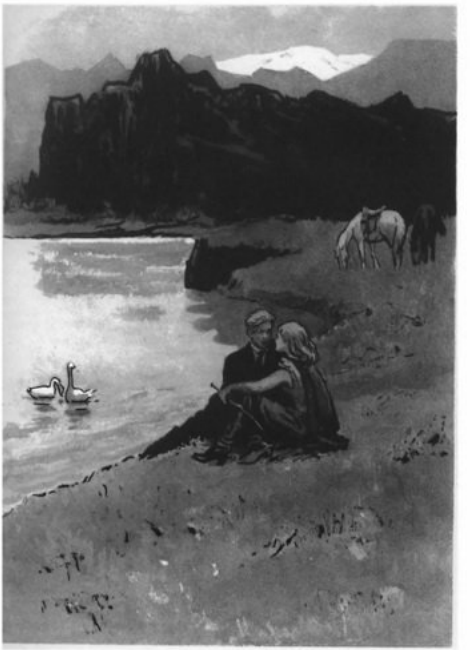
«Самостоятельные люди»



«Самостоятельные люди»



«Самостоятельные люди»



«Самостоятельные люди»



«Самостоятельные люди»

Исландский колокол
Роман
Часть первая
Исландский колокол
Глава первая

Было такое время, говорится в древних летописях, когда исландский народ владел одним-единственным достоянием, единственной ценностью — колоколом. Колокол висел на здании суда в Тингведлире[48] на реке Эхсарау, под коньком островерхой крыши. В него били, созывая народ на суд или на казнь. Колокол был такой древний, что никто не знал толком, сколько веков назад его отлили. Но еще задолго до того времени, к которому относится эта повесть, в нем появилась трещина, и старики уверяли, что раньше он звучал гораздо чище. Однако он был по-прежнему дорог народу. Часто в тихий летний день, когда со склонов Сулура дул ветерок, а с пустоши Блоскуг доносился запах берез, можно было слышать

[48] Примечания: 48

Тингведлир (Поля Тинга). — На Полях Тинга ежегодно, начиная с 930 г., в июне месяце на две недели собирался альтинг — всеисландское народное собрание. На тинге принимались законы и производился суд по делам, которые не могли решить местные тинги. *(Прим. Л. Г.).*

звон колокола, сливавшийся с шумом реки. В него били, когда в присутствии королевского чиновника и судьи палач готовился обезглавить мужчину или утопить женщину.

Но в тот год, когда король издал указ, чтобы жители Исландии сдали в казну всю медь и бронзу, ибо приходилось восстанавливать Копенгаген, разрушенный войной[49], были посланы люди в Тингведлир на реке Эхсарау, чтобы снять старый колокол.

Через несколько дней после окончания тинга по старой дороге с запада берегом озера ехали два всадника, ведя в поводу вьючных лошадей; они спустились по склону к устью реки и переехали ее вброд. Приблизившись к зданию верховного суда, всадники спешились и сели на краю лавового поля. Один из них был толстяк с бледным одутловатым лицом и маленькими глазками; он слегка оттопыривал локти, как делают дети, изображая важных лиц. Одет он был в поношенное господское платье, слишком тесное для него. Второй был черномазый, уродливый оборванец.

На лавовом поле показался какой-то старик

---

[49] Примечания: 49

...восстанавливать Копенгаген, разрушенный войной. — Зимой 1658/59 г. шведы тщетно осаждали героически сопротивлявшийся Копенгаген. *(Прим. Л. Г.).*

с собакой, он подошел к приезжим и спросил: — Что за люди?

— Я королевский судья и палач, — ответил толстяк.

— Ну, ну, — пробормотал старик хриплым голосом, как будто доносившимся издалека, — у нас один судья — господь бог.

— У меня и грамота есть, — сказал королевский чиновник.

— Да, уж надо думать, что есть, — согласился старик. — Нынче грамот развелось много. Только грамоты бывают разные.

— Не хочешь ли ты сказать, что я лгу, старый черт?

Старик не осмелился подойти ближе, он сел на ветхую изгородь перед зданием суда и не спускал глаз с приезжих. С виду это был самый обыкновенный старик: седая борода, красные глаза, островерхая шапчонка, искривленные подагрой ноги. Склонив трясущуюся голову, он оперся подбородком на клюку, которую крепко сжимал посиневшими руками. Собака прыгала возле изгороди, обнюхивала приезжих, но не лаяла, — видно, это был хитрый пес.

— В старину не было никаких грамот, — пробормотал старик себе под нос.

— Верно, дружище! — воскликнул черномазый оборванец. — У Гуннара из Хлидаренди[50] не было никаких грамот.

— А ты кто такой? — спросил старик.

— Да всего-навсего вор из Акранеса. Он украл леску и с самой пасхи сидел за это в Бессастадире[51], в «Гробу для рабов», — ответил королевский палач и пнул собаку ногой.

Оборванец засмеялся, сверкнув белыми зубами.

— А это королевский палач из Бессастадира. На него мочатся все собаки.

Старик промолчал, лицо его ничего не выражало. Он все смотрел на приезжих, покачивая трясущейся головой.

— Заберись-ка на крышу вон того дома, Йоун

---

[50] Примечания: 50

Гуннар из Хлидаренди — любимый герой исландского народа, живший в конце X в. В саге о нем говорится, что он был «человек рослый, сильный и очень искусный в бою. Он рубил мечом обеими руками и в то же время метал копья, если хотел... Он мог подпрыгнуть в полном вооружении больше чем на высоту своего роста и прыгал назад не хуже, чем вперед... О нем говорили, что ловкостью он превосходит всех... Он прекрасно знал правила обхождения, был вынослив, щедр и сдержан, верен в дружбе и строг в выборе друзей». Другом его был известный знаток законов Ньяль. О Гуннаре из Хлидаренди рассказывается в «Саге о Ньяле» (см. «Исландские саги. Ирландский эпос», М., 1973, с. 192). *(Прим. Л. Г.).*

[51] Примечания: 51

Бессастадир — первая усадьба в Исландии, которая в XIII в. стала принадлежать норвежскому королю Хакону Хаконарссону. С XV в.

Бессастадир — резиденция датских чиновников во время их приездов в Исландию и постоянное местожительство ландфугта. В настоящее время Бессастадир — резиденция президента Исландии. *(Прим. Л. Г.).*

Хреггвидссон, негодяй ты этакий, — приказал королевский палач, — и перережь канат, на котором висит колокол. Приятно сознавать, что когда мой всемилостивейший монарх прикажет вздернуть тебя на этом самом месте, то уж ни в какой колокол звонить не будут!

— Не ведите пустых речей, добрые люди, — вымолвил старик. — Это древний колокол.

— Если тебя подослал пастор, — сказал королевский палач, — передай ему от меня, что тут уговоры не помогут. У нас грамота на снятие восемнадцати колоколов, а этот девятнадцатый. Мы разбиваем их и отвозим на корабль. Я в ответе только перед королем.

Он взял понюшку табаку, но и не подумал угостить своего спутника.

— Бог да благословит короля, — промолвил старик. — Все церковные колокола, которые раньше принадлежали папе, стали теперь собственностью короля. Но этот колокол не церковный. Он принадлежит всей стране. Я ведь и родился здесь, на пустоши Блоскуг.

— Есть у тебя табак? — спросил черномазый. — Чертов палач не даст и понюшки.

— Нет, — ответил старик. — В нашей семье табак никогда не водился. Нынешний год был

тяжелый. Весной умерли два моих внука. Я старый человек. Этот колокол всегда принадлежал народу.

— А у кого грамота на него? — спросил палач.

— И отец мой родился на пустоши Блоскуг, — ответил старик.

— На всякую собственность должна быть грамота, — изрек королевский палач.

— Помнится, в старых книгах написано, что когда норвежцы прибыли сюда, в еще не заселенную страну, они нашли в пещере у моря этот колокол, а также крест, который потом исчез, — сказал старик.

— Я же тебе сказал, у меня королевская грамота, — повторил палач. — Взбирайся на крышу, Йоун Хреггвидссон, черномазый вор.

Старик встал.

— Этот колокол нельзя разбивать, — упрямо твердил он. — Его нельзя увозить на корабле. Он висит здесь с того самого дня, как первый раз собрался альтинг. Это было задолго до короля, а кое-кто говорит, что и еще раньше, до папских времен.

— Это к делу не относится, — возразил королевский палач. — Нужно отстраивать Копенгаген. Была война, и проклятые шведы, эти слуги дья-

вола, бомбардировали город.

— Мой дед жил в Фифлведлире, это за пустошью Блоскуг, — заговорил старик, как бы готовясь начать длинное повествование. Но ему пришлось умолкнуть.

Деву красы несравненной,
Деву красы несравненной
Не станет король обнимать…

Черномазый вор Йоун Хреггвидссон, усевшись верхом на коньке крыши, болтал ногами и распевал старинные римы о Понтусе[52]. Колокол висел под крышей на толстом канате. Хреггвидссон топором обрубил канат, и колокол упал на каменные плиты перед дверью.

Деву красы несравненной
Не станет король обнимать,
Коль денег с той девы не взять[53].

— А теперь мой всемилостивейший монарх — король — взял себе третью наложницу, — крикнул он с крыши, как бы сообщая новость старику,

---

[52] Примечания: 52

Римы о Понтусе — самое значительное произведение поэта Магнуса Йоунссона Гордого, жившего с 1532 по 1591 г. *(Прим. Л. Г.).*

[53] Примечания: 53

Все стихи в романе «Исландский колокол» переведены А. Сиповичем.

и внимательно оглядел острие топора. — Говорят, она самая толстая из всех. Не то что Сигге Сноррасон или я.

Старик ничего не ответил.

— Ты дорого заплатишь за эти слова, Йоун Хреггвидссон, — пригрозил палач.

— Гуннар из Хлидаренди не испугался бы толстобрюхого палача из Альфтанеса, — сказал Йоун Хреггвидссон.

Судья, человек с бледным лицом, вынул из мешка молоток, положил старинный исландский колокол на порог суда, размахнулся и изо всех сил ударил по нему. Но колокол, чуть слышно звякнув, только откатился в сторону.

Йоун Хреггвидссон крикнул с крыши:

— Костей не переломишь, приятель, не положив их на что-нибудь твердое, — так сказал Аксларбьорн, когда его колесовали.

Тогда палач, положив колокол на порог, ударил по нему изнутри, и колокол раскололся надвое — как раз в том месте, где была трещина. А старик все сидел на изгороди. Он смотрел куда-то вдаль, голова его тряслась, худые жилистые руки сжимали клюку.

Палач снова взял понюшку табаку. Снизу ему видны были подошвы Йоуна Хреггвидссона, си-

девшего на крыше.

— Ты что же, на целый день оседлал крышу? — крикнул палач вору.

А Йоун Хреггвидссон ответил на это, слезая с крыши:

Деву красы несравненной,
Деву красы несравненной
Не стал бы и я обнимать,
Коль денег с той девы не взять.

Они уложили разбитый колокол в кожаный мешок, навьючили его на лошадь, приторочив для равновесия молот и топор, и сели на своих коней. Вьючных лошадей вел в поводу черномазый.

— Прощай, старый дьявол из Блоскуга. Поклонись от меня тингведлирскому пастору и скажи ему, что здесь был палач и чиновник его королевского величества Сигурдур Сноррасон.

Йоун Хреггвидссон пел:

На коне, прегромко ржущем,
Вместе с девами младыми,
Вместе с девами младыми,
Вместе с девами младыми
Сам король наш едет, всемогущий.

Они отправились назад той же дорогой, возле устья Эхсарау перешли реку вброд, поднялись вверх по склону и двинулись обычным путем вдоль озера на запад, к пустоши Мосфьедль-схейди.

Глава вторая

Йоуна Хреггвидссона, как всегда, нельзя было ни в чем уличить, но, как всегда, он должен был понести наказание. Вообще-то в голодные весны каждый пытался стянуть что-нибудь из рыбацких сараев в Скаги — кто рыбу, кто веревку для сетей. А голодными были все весны. Но в Бессастадире часто не хватало рабочих рук, и фугт[54] был рад, когда судья посылал ему людей в работный дом, именуемый также «Гробом для рабов», где и совершившие преступление, и только подозреваемые в них были одинаково желанными гостями. Но в начале сенокоса власти в Боргарфьорде обратились к фугту с просьбой освободить Йоуна и отправить его домой на хутор Рейн в Акранесе, ибо его семья осталась без кормильца и ей приходится туго.

---

[54] Примечания: 54

Фугт — судебное должностное лицо. *(Прим. Л. Г.).*

Хутор приютился у подножья горы — место было опасное, всегда под угрозой обвала или снежной лавины. Владельцем хутора, стоимостью в шесть коров, был сам Иисус Христос. Один епископ в Скаульхольте[55] в стародавние времена отказал эту землю Христу с тем, чтобы здесь могла поселиться какая-нибудь многодетная семья или благочестивая и добродетельная вдова. Если же в приходе Акранес таковых не окажется, надо будет поискать в приходе Скоррадаль. Но вот уже много лет ни в одном из этих приходов не находилось благочестивой вдовы, и Йоун Хреггвидссон взял хутор в аренду у его владельца Иисуса Христа.

Как могли обстоять дела на хуторе, если все его обитатели были прокаженные или скудоумные или же и то и другое вместе. Йоун Хреггвидссон был изрядно пьян, когда вернулся домой, и тут же принялся колотить жену и придурковатого сына. Четырнадцатилетнюю дочь, которая стала над ним смеяться, и старуху мать, обнявшую его со слезами на глазах, он только слегка стукнул. Сестра его и свояченица, обе больные проказой — одна совсем лысая и полупарализованная, другая

---

[55] Примечания: 55

Скаульхольт — резиденция одного из двух исландских епископов. Резиденция второго епископа находилась в Хоуларе. *(Прим. Л. Г.).*

же вся в нарывах и язвах, — сидели на корточках, возле кучи сухого овечьего помета, закутанные в черные платки, и, держась за руки, славили бога.

На следующее утро Йоун наточил косу и начал косить, во все горло распевая римы о Понтусе. Обе прокаженные в черных платках пытались сгребать сено. Дурачок сидел на кочке, держа возле себя собаку. Дочь вышла из дому босая, в рваной нижней юбке и остановилась на пороге, вдыхая запах свежескошенной травы. Была она черноволосая, белолицая, стройная. Из трубы валил дым.

Прошло несколько дней. Но вот в Рейн прискакал верхом юноша и с важным видом сообщил Йоуну Хреггвидссону, что через неделю ему надлежит явиться в Скаги к окружному судье. В назначенный день Йоун оседлал свою клячу и отправился в Скаги.

Палач Сигурдур Сноррасон был уже там. Их обоих угостили кислым снятым молоком. Суд собрался в доме окружного судьи, в большой горнице. Йоуна Хреггвидссона судили за то, что, приехав в Тингведлир на реке Эхсарау, он оскорбил его высочество герцога Гольштинского, нашего всемилостивейшего короля, отозвавшись о нем непристойно и насмешливо, утверждая, что

наш король взял, помимо своей супруги, еще трех наложниц. Йоун Хреггвидссон решительно отрицал, что когда-либо произносил подобные слова о своем любимом короле, его всемилостивейшем высочестве герцоге Гольштинском, и потребовал свидетелей. Тогда Сигурдур Сноррасон поклялся в том, что Йоун Хреггвидссон действительно говорил все это. Йоун Хреггвидссон потребовал, чтобы и ему разрешили принести клятву, — он твердо помнит, что ничего подобного не говорил. Но приносить по одному и тому же делу противоречивые клятвы не разрешалось. Раз уж Йоуну не удалось принести клятву, он признался, что в самом деле говорил эти слова, но ведь в бессастадирском «Гробу для рабов» про это знают все и каждый. Йоун и в мыслях не имел оскорбить своего короля, наоборот, он хотел воздать должное его отменной силе — ведь он при супруге держит еще трех наложниц. Да и сболтнул-то он это просто так, чтобы посмеяться над своим приятелем Сигурдуром Сноррасоном, который, как известно, никогда не знал женщин. Но хотя все это относилось к самому всемилостивейшему королю и повелителю, Йоун питал надежду, что его величество в милости своей простит невежественного бедняка и скудоумного нищего за

глупую болтовню. На этом судебное разбирательство закончилось. Приговор гласил, что Йоун Хреггвидссон обязан в течение месяца уплатить королю три ригсдалера, в случае же неуплаты он будет наказан плетьми. Приговор был написан на латинском языке, и в нем говорилось, что он вынесен «не столько на основании числа свидетельских показаний, сколько в силу их тяжести». С тем Йоун Хреггвидссон и уехал домой.

Больше никаких событий за время сенокоса не произошло. Но крестьянин и не помышлял о том, чтобы уплатить королю наложенный на него штраф.

Осенью собрался тинг в Кьялардале. Йоуна Хреггвидссона вызвали на тинг, и окружной судья прислал за ним двух крестьян. Перед отъездом Йоуна мать починила ему башмаки. Кобыла его хромала, и потому они ехали медленно и прибыли в Кьялардаль поздно вечером, накануне окончания тинга. Оказалось, что Йоуну Хреггвидссону должны дать двадцать четыре удара плетьми на самом тинге. Сигурдур Сноррасон явился на тинг в плаще палача со связкой кожаных плетей. Многие крестьяне уже разъехались, но молодые парни с близлежащих хуторов остались поглазеть на порку. Секли обычно в овечьем

загоне, где летом доили маток. Преступника, над которым совершалось правосудие, клали поперек ясель, стоявших посреди загона. Наиболее уважаемые люди должны были стоять по обе стороны ясель, а дети, собаки и бродяги — наблюдать за происходящим с окружающих холмов.

Когда Йоуна Хреггвидссона привели в загон, там уже собралось несколько человек. Сигурдур Сноррасон наглухо застегнул свой плащ и прочел «Отче наш». Символ веры он читал только тогда, когда ему приходилось отрубать кому-нибудь голову. В ожидании окружного судьи и свидетелей — членов тинга, он развязал кожаные плети, почтительно и нежно погладил их и с озабоченным видом попробовал рукоятку — крепка ли? Руки у него были мясистые, синие, с обломанными ногтями. Двое крестьян держали Йоуна Хреггвидссона, а Сигурдур все гладил свои плети. Шел дождь. Вид у собравшихся был растерянный, какой бывает у людей, поливаемых дождем; насквозь промокшие молодые парни тупо глядели перед собой, собаки носились вокруг, обезумев от течки. Йоуну Хреггвидссону все это наконец надоело.

— Наложницы слишком многого хотят от меня и от Сигге Сноррасона, — проговорил он.

По лицам некоторых зрителей скользнула какая-то безрадостная улыбка.

— Я прочитал «Отче наш», — спокойно сказал палач.

— Послушаем-ка и символ веры, приятель, — ответил Йоун Хреггвидссон.

— Не сегодня, — засмеялся Сигурдур Сноррасон, — в другой раз, пожалуй.

Он осторожно и нежно поглаживал плети.

— Завяжи хотя бы узлы на кончиках плетей, Сигге, — попросил Йоун Хреггвидссон, — в честь королевы.

Палач промолчал.

— Не подобает такому верному слуге короля, как Сигурдур Сноррасон, выслушивать от Йоуна Хреггвидссона столь дерзкие речи, — сказал языком древних саг один из бродяг, стоявших на холме.

— Наш горячо любимый король! — воскликнул Йоун Хреггвидссон.

Сигурдур Сноррасон закусил губу и завязал узел на одной из плетей.

Йоун Хреггвидссон захохотал, лукаво сверкнув глазами, его белые зубы ослепительно блеснули в черной бороде.

— Это он завязал узел за первую наложницу, —

сказал Йоун. — Он не робкого десятка, этот Сигге Сноррасон. Завяжи-ка второй узел, приятель.

Зрители несколько оживились, словно они следили за игроками, делающими крупные ставки.

— О ты, его величества слуга, о боге вспомни, — назидательным тоном произнес тот же человек, что ранее говорил языком древних саг. Палачу показалось, что все стоящие вокруг держат его сторону, а значит — сторону короля, он с улыбкой огляделся и завязал еще один узел на плети. Зубы у него были мелкие, редкие, и, когда он улыбался, обнажались десны.

— Вот теперь наступила очередь последней — самой толстой, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Многие добрые люди испускали дух, когда их ударяли этим третьим узлом.

В эту минуту появился окружной судья с двумя свидетелями — зажиточными крестьянами. Они оттеснили толпившихся у входа людей и вошли в загон. Увидев, что палач завязывает узлы на плетях, судья заявил, что здесь не шутки шутят, а вершат правосудие, и приказал развязать узлы. Затем он предложил палачу приступить к делу.

Крестьянину велели расстегнуть одежду, на ясли постелили грубое домотканое сукно, и Йоуна положили на них ничком. Сигурдур Сноррасон

стянул с него штаны, а рубаху задрал ему на голову. Крестьянин был худ, но хорошо сложен, при каждом его движении крепкие мускулы буграми вздувались под кожей. Тело у него было белое, только на упругих ляжках курчавились черные волосы.

Сигурдур Сноррасон осенил себя крестным знамением, поплевал на руки и приступил к делу.

При первых ударах Йоун Хреггвидссон не шевельнулся, но после четвертого и пятого тело его стало судорожно извиваться, он выгнулся, приподняв голову и ноги, и казалось, будто он держится только на предельно напрягшемся животе. Руки его сжались в кулаки, ноги вытянулись, все мускулы словно одеревенели. На подметках башмаков видны были новехонькие заплаты. Собаки сбились в кучу у загона и бешено лаяли. После восьмого удара окружной судья велел палачу остановиться: преступник, сказал он, имеет право передохнуть. Хотя на спине у Йоуна уже выступили красные полосы, он отказался от передышки и глухо кричал из-под рубахи, закрывавшей ему лицо:

— Лупи во имя дьявола, приятель!

И палач принялся снова стегать его.

После двенадцатого удара вся спина у Йоуна

была покрыта красными полосами, после шестнадцатого на плечах и на пояснице выступила кровь. Собаки на холме лаяли как бешеные, преступник же лежал неподвижно, словно окаменел.

— Во имя дьявола, во имя дьявола, во имя дьявола!..

Королевский палач поплевал еще раз на руки и покрепче взялся за рукоятку.

— Теперь он ему всыплет за последнюю, самую толстую, — крикнул человек на холме и захохотал как одержимый.

Сигурдур Сноррасон выставил вперед левую ногу, а правой попытался как можно крепче упереться в скользкую землю и, прикусив губу, замахнулся плетью. Его чуть прищуренные глаза горели; лицо посинело от напряжения, видно было, что он всей душой отдается своему делу. Собаки не унимались. После двадцатого удара вся спина крестьянина была в крови, плети намокли и осклизли, а немного погодя кровь уже фонтаном брызгала во все стороны, попадая даже на лица зрителей. Последние удары окровавленных плетей жгли, как огнем, и спина крестьянина превратилась в сплошную кровоточащую рану. Но когда судья дал знак кончить, Йоун и виду не

подал, что ему плохо, он даже не захотел, чтобы ему помогли натянуть штаны. Блестящими, смеющимися глазами смотрел он на мужчин, детишек, собак, толпившихся на холмах, и его белые зубы сверкали в черной бороде. Натягивая штаны, он во всю глотку распевал римы о Понтусе:

Устроил папа пиршество какое!
Сам император был среди гостей,
Сидело рядом трое королей,
Вино искрилось и текло рекою.

День клонился к вечеру, все, кто еще оставался на тинге, начали разъезжаться по домам. Последними уехали окружной судья и два свидетеля — богатые крестьяне Сиверт Магнуссен и Бендикс Йоунссон, а также несколько крестьян из Скаги и с ними палач Сигурдур Сноррасон и Йоун Хреггвидссон из Рейна. Бендикс Йоунссон жил в Галтархольте, и, поскольку тем, кто ехал в Скаги, предстоял еще долгий путь, он пригласил всех к себе, пообещав угостить. У Бендикса в сарае стояла бочка водки, ведь он был знатным человеком и старостой. Он сказал Йоуну Хреггвидссону, что даст ему взаймы длинную веревку. И это был не пустяк — в тот год ведь люди так нуждались в

снастях для рыбной ловли и голод душил страну.

В сарае был отдельный закуток, куда богатый крестьянин отвел окружного судью, королевского палача и Сиверта Магнуссена, а остальные, — не столь важные лица, — и наказанный крестьянин разместились в другой части сарая на седлах и ларях с мукой. Бендикс старательно наполнял кубки, и в сарае воцарилось шумное веселье. Вскоре перегородка, разделявшая сарай на две части, оказалась ненужной, все уселись в кружок и стали рассказывать о героических подвигах, состязались в остроумии, складывали песни, — словом, развлекались, как могли. Забыты были все неприятности, пошли клятвы в дружбе, рукопожатия и объятья. Королевский палач улегся на пол и со слезами на глазах целовал ноги Йоуна Хреггвидссона, а тот, высоко подняв кубок, распевал песни. Из всей компании только староста Бендикс был трезв, как и подобает умному хозяину.

Темной ночью сильно захмелевшие гости покинули Галтархольт. Выехав с хутора, они заблудились и каким-то образом попали на поросшее мхом бездонное болото, где глубокие озера перемежались с торфяными ямами. Казалось, что этой болотистой равнине не будет

конца, и путники почти всю ночь проплутали в этом преддверии ада. Сиверт Магнуссен вместе с конем свалился в торфяную яму и вопил оттуда, призывая на помощь бога. Обычно в таких ямах топили собак. Спутникам долго не удавалось вытащить Сиверта, поскольку они никак не могли разглядеть, где живой человек, а где дохлая собака. Наконец с божьей помощью им удалось вытащить Сиверта Магнуссена на край ямы, и он тут же заснул. Последнее, что запечатлелось в памяти Йоуна Хреггвидссона, это как он, вытащив Сиверта Магнуссена из торфяной ямы, пытался взобраться на свою кобылу. Но седло у него было без стремян, к тому же ему почудилось, что кобыла стала много выше, чем раньше, и беспрерывно брыкается. Взобрался ли он на нее или что-то в кромешной тьме осенней ночи помешало ему это сделать, он потом никак не мог вспомнить.

На рассвете он разбудил жителей хутора Галтархольт. Вид у него был жалкий: он весь промок и с головы до ног был покрыт грязью. Стуча зубами от холода, он спросил старосту Бендикса. Приехал он на лошади палача и в шапке палача. Бендикс помог ему слезть с седла, ввел в дом, раздел и уложил спать. Все тело у Йоуна болело, спина распухла, он лег на живот и сразу же

заснул.

Проснувшись часов в девять, Йоун попросил Бендикса пойти с ним на болото, он-де потерял там шапку, рукавицы, кнут, взятую взаймы веревку и свою кобылу.

Кобылу он вскоре нашел неподалеку от хутора среди других лошадей, седло у нее сползло под самое брюхо. Болото было совсем не таким большим, каким показалось ночью. Поискав некоторое время на берегу ручья, у которого, как помнилось Йоуну Хреггвидссону, он заснул, они действительно нашли потерянные вещи: кнут лежал в рукавице, как бы зажатый ее большим пальцем, рядом валялась веревка. Несколькими шагами дальше они обнаружили труп палача. Палач стоял на коленях в воде, запрудив своим телом узкий ручей. Выше по течению образовался бочажок, вода в ручейке, обычно не достигавшая и колен, теперь доходила мертвецу до подмышек. Глаза, рот и ноздри у него были закрыты. Бендикс оглядел покойника, перевел взгляд на Йоуна Хреггвидссона и спросил:

— Почему на тебе его шапка?

— Когда я проснулся, голова у меня была не покрыта, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Я прошел несколько шагов и вдруг увидел эту шапку. Я

громко закричал «го-го-го», но никто не отозвался, и тогда я надел ее.

— Почему у него закрыты глаза, ноздри и рот? — спросил староста Бендикс.

— А дьявол его знает, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Я их не закрывал.

Он хотел было взять кнут, рукавицы и веревку, но Бендикс остановил его, сказав:

— На твоем месте я бы позвал шестерых свидетелей.

Было воскресенье. Дело кончилось тем, что Йоун Хреггвидссон отправился в Саурбайр и пригласил нескольких человек из тех, кто приехал в церковь, осмотреть труп палача Сигурдура Сноррасона. Многие пошли с ним из любопытства, чтобы взглянуть на мертвого палача, а шестеро согласились принести клятву в том, что не обнаружили на трупе никаких признаков насилия или убийства, не считая того, что глаза, ноздри и рот у него были закрыты[56].

Труп палача отвезли в Галтархольт, и все разъехались по домам.

---

[56] Примечания: 56

Глаза, ноздри и рот у него были закрыты. — В Исландии существовал обычай закрывать мертвецам глаза и рот и сжимать им ноздри. *(Прим. Л. Г.).*

Глава третья

На следующий день погода была ясная, тихая, люди занимались своими делами — кто на суше, кто на море, а Йоун Хреггвидссон лежал в постели на животе, проклинал жену и, тяжело вздыхая, молил бога послать ему табаку, водки и трех наложниц. Дурачок сидел на полу, разбирал шерсть и хохотал во все горло. Едкий запах, исходивший от прокаженных, господствовал в хижине над всеми другими запахами.

Вдруг собака залилась отчаянным лаем, и в то же мгновение издали донесся стук лошадиных копыт. Вскоре на дворе послышалось звяканье сбруи и чьи-то голоса. Кто-то властным тоном отдавал приказания слугам. Йоун Хреггвидссон даже не шевельнулся. Жена, запыхавшись, вбежала в хижину и воскликнула:

— Господи Иисусе, помилуй меня, приехали господа.

— Господа? — удивился Йоун Хреггвидссон. — Да ведь они уже содрали с меня шкуру! Что же им еще нужно?

Но разговаривать им долго не пришлось. Шуршанье одежды, шаги, голоса слышались все

ближе.

Порог жилища Йоуна Хреггвидссона переступил сначала высокий краснолицый вельможа в широком плаще, в шляпе, завязанной лентами под подбородком, с массивным перстнем на пальце и серебряным крестом на груди; в руке он сжимал дорогой хлыст. Вместе с ним вошла женщина в высокой островерхой шапочке с золотым шитьем, в коричневом на шелковой подкладке-плаще для верховой езды и красной шелковой шали. Ее свежее лицо говорило о том, что она еще не достигла среднего возраста, но начавшая полнеть фигура уже утратила девичью гибкость, и на всем ее облике лежал отпечаток чего-то земного. Вошедшая за нею девушка, хоть она и походила на первую гостью, как ее двойник, вся светилась юностью. Голова ее была непокрыта, и распущенные волосы отливали золотом. В ее грациозной фигуре было что-то еще по-детски мягкое, голубые, как небо, глаза казались неземными. Она успела ощутить лишь красоту вещей, но еще не постигла их житейского назначения, и потому, когда она вошла в этот дом, в улыбке ее было нечто совсем не похожее на улыбку других людей. На ней был синий плащ с высокой талией, схваченный на шее серебряной пряжкой. Она

придерживала его своими тонкими пальчиками. Из-под плаща виднелись красные полосатые чулки.

Последним в числе знатных гостей был спокойный, задумчивый, сосредоточенный человек. Трудно было определить, сколько ему лет. Он отличался привлекательной внешностью — хорошим сложением, правильными чертами лица. Рот, и мягкий и печальный, почти женственный, отнюдь не свидетельствовал о слабохарактерности. Его уверенные движения говорили о годами выработанном умении владеть собой. Несмотря на твердый и спокойный взгляд, глаза его, большие и ясные, были широко и доверчиво открыты, казалось, ему дано видеть больше, чем другим людям, и мало что может укрыться от его взора. Эти глаза, похожие на спокойные озера, охватывали взглядом все, не стараясь это делать, не любопытствуя, а просто потому, что они были созданы всевидящими. Именно они говорили о высоком благородстве гостя. Если бы не одежда, его скорее можно было бы принять за мудреца из народа, чем за вельможу, привыкшего повелевать людьми. Обычно вельможу узнают по манерам, этого же отличал тонкий и изысканный вкус. Каждый шов, каждая складка его одежды,

весь ее покрой говорили о высокой требовательности. Сапоги на нем были из тонкой английской кожи. Парик под широкополой шляпой, которого он не снимал, даже посещая крестьян и нищих, был прекрасной работы и так великолепно завит, словно его владелец собирался на аудиенцию к королю.

Несколько поодаль от этого важного общества держался духовный пастырь Йоуна Хреггвидссона, священник из Гардара, за ним бежала его собака, виляя закрученным в колечко хвостом. Хижина была слишком тесна для стольких знатных гостей, и жена Йоуна Хреггвидссона заставила сидевшего на полу дурачка взобраться на постель, иначе господам было бы негде встать.

— Да, да, Йоун Хреггвидссон из Рейна, вот какая честь выпала на твою долю, — сказал пастор. — К тебе пожаловал сам скаульхольтский епископ со своей супругой Йорун и ее сестра — цветок среди дев — йомфру Снайфридур, — обе они дочери судьи Эйдалина. И, наконец, правая рука нашего всемилостивейшего монарха — асессор Арнас Арнэус, профессор Копенгагенского университета, тоже переступил порог твоей хижины.

Йоун Хреггвидссон только фыркнул в ответ.

— Хозяин болен? — спросил епископ, един-

ственный из гостей, кто протянул Йоуну руку с массивным золотым перстнем.

— Вряд ли можно назвать меня больным, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Просто меня вчера пороли.

— Он врет, пороли его позавчера. А вчера он, несчастный, убил человека, — вдруг выпалила жена Йоуна и, взвизгнув, быстро выскользнула из комнаты.

Тогда Йоун Хреггвидссон промолвил:

— Я прошу высокородных господ не обращать никакого внимания на эту женщину. Чего она стоит, сразу видно по ее выродку, — вон он сидит на постели. Убирайся, дурак, чтобы добрые люди тебя не видели! Гунна, милая Гунна! Где моя Гунна, она-то хоть унаследовала мои глаза!

Но девушка не откликалась. Епископ повернулся к пастору и спросил, освободили ли этого бедняка от судебных издержек, и услышал в ответ, что об этом никто не просил. Супруга епископа взяла мужа под руку и прильнула к нему. Снайфридур Эйдалин взглянула на своего молчаливого спутника, и ее ясная улыбка постепенно угасла, сменившись выражением ужаса.

Епископ попросил пастора Торстена объяснить, ради чего пришел сюда асессор, а затем

созвать всех членов семьи, чтобы он мог их благословить.

Начав речь, пастор Торстен подчеркнул, что сюда прибыл из большого города Копенгагена высокоученый муж Арнас Арнэус, друг короля, равный графам и баронам, человек, защищающий честь и правду нашей бедной страны перед другими народами. Он скупает лоскуты телячьей кожи, обрывки бумаги, тряпки, любую рвань, лишь бы на ней были древние письмена, — словом, все, что только походит на книгу или на листки из книги, что гниет в тайниках у нищих и жалких жителей нашей бедной страны, ибо от голода и других бедствий, ниспосланных им господом богом в наказание за грехи, за неблагодарность Христу, они уже не в состоянии понять смысл этих рукописей. Для этих книг, сказал пастор, асессор устроил хранилище в своем большом дворце в городе Копенгагене, где они и будут пребывать во веки веков, свидетельствуя перед учеными всего мира, что в Исландии некогда жили настоящие люди, подобные Гуннару из

Хлидаренди, крестьянину Ньялю[57] и его сыновьям. Затем пастор Торстен сообщил, что его господину, обладающему божественным даром предвидения, который присущ только высокоученым людям, ведомо, что у неразумного Йоуна Хреггвидссона из Рейна имеется несколько старинных кожаных лоскутов с письменами эпохи папства. Поэтому высокие гости, направляющиеся в Скаульхольт к западу от Эйдаля, сделали крюк, заехав сюда, в Акранес, чтобы побеседовать с жалким арендатором Иисуса Христа, валяющимся здесь в своем жилище со свежими следами плетей на спине. Если эти куски кожи еще целы, асессор желает взглянуть на них, взять их на время, если позволит хозяин, или купить, если он готов их продать.

Йоун Хреггвидссон и понятия не имел о том, что у него где-то завалялись куски кожи, лоскутья или обрывки, хранящие память о людях, живших в стародавние времена. Он глубоко сожалеет, сказал он, что такое именитое общество напрасно

[57] Примечания: 57

Ньяль сын Торгейра — богатый бонд, живший в конце X в. В саге про него говорится: «Он был такой знаток законов, что не было ему равных. Он был мудр и ясновидящ и всегда давал хорошие советы. Он был доброжелателен, обходителен, великодушен, прозорлив и памятлив и никому не отказывал в помощи, кто бы ни обращался к нему» («Исландские саги. Ирландский эпос». М., 1973, с. 193). История его жизни и смерти рассказывается в «Саге о Ньяле». *(Прим. Л. Г.).*

проделало столь долгий путь. В его доме нет ни одной книги, кроме ветхого псалтыря с псалмами царя Давида да плохо зарифмованными псалмами пастора Халлдора из Престхоулара, — вряд ли Гуннар из Хлидаренди стал бы сочинять такие псалмы. Здесь на хуторе никто не умеет бегло читать, кроме его матери, она научилась этому искусству у своего отца, служившего переплетчиком у блаженной памяти пастора Гудмундура в Хольте, тот возился с книгами до самой смерти. Сам он, заявил Йоун Хреггвидссон, никогда не читает, если только его не заставят, но от матери он узнал все саги и римы, которые необходимо знать, а также родословные героев и считает себя потомком Харальда Боезуба[58], короля данов. Он сказал, что никогда не забудет таких замечательных мужей древних времен, как Гуннар из Хлидаренди, король Понтус и Орвар Одд[59], все они были двенадцати локтей росту и доживали до трехсот лет, если с ними ничего не случалось. И будь у него такая книга, он немедля послал бы ее королю и графам, совершенно безвозмездно,

---

[58] Примечания: 58

Харальд Боезуб — легендарный датский король, живший примерно в VI–VII вв. *(Прим. Л. Г.).*

[59] Примечания: 59

Орвар Одд — см. прим. 29. *(Прим. Л. Г.).*

в доказательство того, что в Исландии когда-то жили настоящие мужи. По его мнению, исландцы впали в нищету вовсе не потому, что закоснели в грехах и не каялись. А когда каялся Гуннар из Хлидаренди? Никогда! Йоун поведал, что его мать постоянно поет покаянные псалмы пастора Халлдора из Престхоулара, но пользы от этого никакой. Исландцам не хватает снастей для рыбной ловли, а это куда хуже для исландского народа, чем нежелание каяться, ведь все его, Йоуна, несчастья начались с того, что он соблазнился леской. Однако никто, в том числе и господин епископ, не должен думать, что он не исполнен благодарности к Иисусу или может допустить, чтобы его земля пришла в запустение. Наоборот, владелец земли, небесный крестьянин, всегда был добр к своему бедному арендатору, и они прекрасно уживаются.

Пока хозяин говорил, подходили члены его семьи, чтобы принять благословение от епископа из Скаульхольта. Свояченица Йоуна, вся распухшая, с обнажившимися от болезни костями, и его сестра, с открытыми язвами и изъеденным проказой лицом, успокоились только тогда, когда протиснулись к гостям и стали лицом к лицу со знатнейшими мира сего. Несчастные уроды

склонны, хотя и меньше, чем прокаженные, выставлять свое уродство напоказ, особенно перед влиятельными людьми. Они делают это с вызывающей гордостью, которая обезоруживает даже смельчака, а красавца делает смешным в собственных глазах. Смотрите, вот что господь ниспослал мне в милости своей, вот мои заслуги перед ним, — как бы говорят эти создания и тем самым вопрошают: а каковы твои заслуги, чем господь оказал тебе свое благоволение? Или просто: господь поразил меня этими язвами ради тебя!

Дурачок всегда очень ревниво относился к прокаженным и потому не мог стерпеть, чтобы они оказались ближе к центру событий, чем он сам. Всячески пытаясь оттеснить их, он толкал их, щипал и плевался. Йоун Хреггвидссон то и дело кричал, чтобы он убирался. Собака пастора Торстена, поджав хвост, выбежала во двор. Супруга епископа пыталась доброжелательно улыбаться обеим прокаженным, поднявшим к ней свои черные лица, но юная Снайфридур, вскрикнув, отвернулась от этого зрелища и, не отдавая себе отчета в том, что делает, положила руки на плечи Арнэуса, стоявшего рядом с ней, и, дрожа, быстрым движением спрятала голову у него на груди.

Потом отстранилась от него и, пытаясь овладеть собой, спросила тихим, глухим голосом:

— Друг мой, зачем ты привел меня в этот ужасный дом?

Теперь все домочадцы — мать, дочь, жена — собрались, чтобы принять благословение. Старуха мать упала на колени перед епископом и, по старинному обычаю, поцеловала перстень на его руке, а его преосвященство помог ей подняться. Единственным украшением дома были черные глаза дочери Йоуна Хреггвидссона — выпуклые, сверкающие, испуганные. Хозяйка, остроносая и визгливая, стояла в дверях, готовая в любую минуту исчезнуть.

— Похоже, что здесь больших сокровищ не найдешь, как я уже не раз говорил этому милостивому господину, — сказал пастор Торстен. — Даже господь в милосердии своем отвернулся от этого дома, хоть он и призрел другие дома прихода.

Только на одного человека в этом знатном обществе отвратительное зрелище не производило никакого впечатления, его никогда и ничем нельзя было удивить ни здесь, ни в каком-либо другом месте, ничем нельзя было поколебать его самообладания светского человека. Выражение лица Арнаса Арнэуса говорило лишь о том, что

чувствует он себя в этом доме прекрасно. Он начал беседовать со старухой, говорил неторопливо и просто, словно человек из пустынной долины, живущий в одиночестве и много размышляющий. Его низкий, мягкий голос казался бархатным. И, как это ни странно, именно он, друг короля и сотрапезник графов, честь и слава страны, исландец, какие бывают только в мечтах или в сагах, прекрасно знал родословную ничтожной старухи, знал даже ее родичей на западе. Улыбаясь, он рассказал ей, что не раз держал в руках книги, которые ее отец переплетал для пастора Гудмундура, умершего сто лет назад.

— К сожалению, — прибавил он, взглянув на епископа, — к сожалению, блаженной памяти пастор Гудмундур в Хольте имел привычку рвать старые пергаментные книги, содержавшие славные древние сказания. А каждая страница такой книги, даже полстраницы, даже любой обрывок — ценнее золота; если отдать за любой из них целый хутор, и то не будет слишком дорого. Пастор же этими листами пергамента переплетал молитвенники и псалтыри, которые он получал из печатни в Хоуларе непереплетенными, и потом выменивал их на рыбу у своих прихожан.

И он снова обратился к старухе:

— Прошу вас, почтенная матушка, разрешите мне поискать, нет ли чего под постелью, в кухне, в хлеву или на чердаке, ведь бывает же, что там заваляется лоскут от кожаных штанов или изношенные башмаки. Я бы заглянул и в овечий загон, нет ли там каких-нибудь лохмотьев между потолком и стеной, потому что зимой щели иногда затыкают старыми тряпками, чтобы не намело снега. А может быть, у вас есть старый кожаный мешок или старый ларь, где бы я мог порыться и вдруг да нашел бы клочок от какого-нибудь книжного переплета времен пастора Гудмундура из Хольта.

Но на хуторе не было ни кожаного мешка, ни ларя, ни хлева. Однако асессор явно не собирался отступать, и, хотя епископ начал торопиться и хотел покончить с благословением как можно скорее, друг короля все так же любезно улыбался собравшимся.

— Единственно, где можно поискать, так это под постелью моей матери, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— Вот именно, ведь чего только не кладут туда наши добродетельные старухи, — сказал асессор. Он вынул из кармана табакерку и предложил всем угоститься, даже дурачку и прокаженным.

Получив понюшку прекрасного табаку, Йоун Хреггвидссон сразу же вспомнил, что где-то валяются лоскуты старой кожи, оказавшиеся негодными даже на то, чтобы весной залатать его штаны.

Поднялась страшная пыль и вонь, когда разворошили постель старухи, набитую старым сгнившим сеном. А в сене оказалось множество самой невероятной рухляди — башмаки без подметок, лоскуты кожи, изношенные паголинки, истлевшие шерстяные тряпки, обрывки шнурков и веревок от сетей, обломки подков, рогов, куски рыбьих жабр и хвостов, всевозможные щепочки и палочки, камешки, ракушки и морские звезды. И среди всего этого мусора попадались не только еще годные к употреблению, но прямотаки замечательные вещи, — например, медные пряжки от подпруги, камни, облегчающие роды, насечки для хлыста, старинные медные монеты.

Даже Йоун Хреггвидссон встал со своего ложа, чтобы помочь профессору antiquitatum рыться в постели его матери. Красавицы вышли на свежий воздух, а прокаженные по-прежнему жались к епископу. Старуха стояла поодаль, на щеках ее выступил румянец. Когда начали копаться в ее постели, зрачки ее расширились,

и чем больше рылись искавшие, чем больше вещей трогали, тем сильнее она волновалась и наконец, задрожав всем телом, прижала к глазам подол и беззвучно заплакала. Епископ, скептически наблюдавший за асессором, заметил, что старуха плачет, и с истинно христианской добротой погладил ее по мокрой морщинистой щеке, заверяя в том, что у нее не возьмут ничего дорогого для нее.

После долгих и тщательных поисков знатный гость наконец извлек из прогнившего сена несколько слипшихся вместе кожаных лоскутов, таких сморщенных, высохших и жестких, что их невозможно было даже разгладить.

Любезная и словно просившая о снисхождении улыбка знатного гостя, рывшегося во всем этом мусоре, вдруг исчезла, сменившись самозабвенной сосредоточенностью ученого. Он поднес находку к затянутому бычьим пузырем окну, из которого струился слабый свет, осторожно подул на кожу, с нежностью осмотрел ее, вынул из нагрудного кармана шелковый носовой платок и обтер каждый лоскут.

— Membranum[60], — сказал он наконец, бросив

---

[60] Примечания: 60
Пергамент *(лат.)*.

быстрый взгляд на своего друга-епископа. Они вместе стали рассматривать находку: это были куски телячьей кожи, сложенные вдвое и сшитые в тетрадь, однако нитки, скреплявшие их, давно поистерлись или сгнили. Но хотя сверху кожа почернела и заскорузла от грязи, на ней все же легко можно было различить знаки старинного готского письма. Епископ и асессор прикасались к сморщенным кожаным лоскутам почти благоговейно и так осторожно, словно это был новорожденный младенец, шепча латинские слова pretiosissima[61], thesaurus[62] и cimelium[63].

— Письмо относится примерно к тринадцатому веку, — сказал Арнас Арнэус. — По-моему, это не что иное, как страницы из самой «Скальды»[64].

Он повернулся к старухе, сказал ей, что тут шесть листов из древней рукописи, и спросил, сколько их было, когда они попали к ней в руки.

Убедившись, что гости не посягают на более

---

[61] Примечания: 61
Драгоценнейший *(лат.)*.

[62] Примечания: 62
Сокровище *(лат.)*.

[63] Примечания: 63
Истлевшее *(лат.)*.

[64] Примечания: 64
«*Скальда*» — название этой рукописи вымышленное. *(Прим. Л. Г.)*.

ценные предметы из недр ее ложа, старуха перестала плакать и ответила, что был еще только один лист. Она хорошо помнит, что когда-то давно размочила эти кожаные лоскуты и вырвала один, чтобы залатать Йоуну штаны, но лоскут никуда не годился, нитка в нем не держалась.

На вопрос гостя — куда девался лоскут, старуха ответила, что никогда еще не выбрасывала ничего, что могло бы пригодиться, тем более кожу, — ведь всю жизнь она не могла наготовиться обуви на свою многочисленную семью. Но этот лоскут поистине никуда не годился — даже в те тяжелые годы, когда многие ели свои башмаки. Ведь и кусок башмачного ремня можно засунуть в рот ребенку, чтобы он его сосал. Пусть господа не думают, что она не старалась пустить эти лоскутки в дело.

Старуха, всхлипывая, вытирала слезы, епископ и асессор молча смотрели на нее. Арнас Арнэус тихо сказал другу:

— Семь лет я искал, расспрашивал людей по всей стране, не знают ли они, где найти хотя бы minutissima particula[65] из тех четырнадцати листов, которых недостает в «Скальде», ибо в

[65] Примечания: 65
Крохотную частицу *(лат.)*.

этой удивительнейшей рукописи содержатся прекраснейшие песни северной части мира. Здесь нашлось шесть листов, правда, съежившихся, разобрать их будет трудно, но все же sine exemplo[66].

Епископ поздравил друга, пожав ему руку.

Повысив голос, Арнас Арнэус обратился к старухе.

— Так я возьму эту негодную рвань, — сказал он. — Ведь этими лоскутами все равно нельзя починить штаны или залатать старые башмаки. И вряд ли Исландию поразит такой голод, что они сгодятся в пищу. А за причиненное беспокойство, добрая женщина, я дам тебе серебряный далер.

Он завернул находку в шелковый носовой платок и положил на грудь, а пастору Торстену сказал веселым и товарищески непринужденным тоном, каким обращаются к услужливому спутнику, с которым вообще-то не имеют ничего общего:

— Вот, дорогой пастор, что сталось с народом, у которого была когда-то самая великая после античности литература. Теперь он предпочитает обуваться в телячью кожу, есть старую телячью

---

[66] Примечания: 66
Не имеющих себе равных *(лат.)*.

кожу, а не читать древние письмена на телячьей коже.

Затем епископ благословил всех жителей хутора.

Знатные дамы, ожидавшие своих спутников во дворе, любуясь закатом, с улыбкой пошли им навстречу. Лошади — их было около двадцати, — фыркая, щипали траву на выгоне. Конюхи подвели четырех лошадей к крыльцу. Господа вскочили в седла, и кони поскакали галопом по каменистой тропе, выбивая копытами искры.

Глава четвертая

Через несколько дней после этого события Йоун Хреггвидссон отправился верхом собирать «лисий налог» — жители окрестных хуторов платили ему за то, что он уничтожал лисьи норы. По обычаю, он и на сей раз получил эту дань рыбой, но у него, как всегда, не было веревки, и ему пришло в голову зайти к местному судье занять кусок веревки, чтобы связать рыбу. Когда Йоун Хреггвидссон въехал во двор со своей рыбой, у дверей дома стояли судья и трое крестьян из Скаги.

— Мир вам, — сказал Йоун Хреггвидссон.

Они едва ответили на его приветствие.

— Я хотел попросить власть имущих одолжить мне кусок веревки, — обратился к ним Йоун.

— Скоро тебе достанется целая веревка, Йоун Хреггвидссон, — сказал судья, — и, повернувшись к окружавшим его крестьянам, приказал: — Хватайте его, во имя Иисуса!

Крестьян было трое, все старые знакомые Йоуна. Двое сделали попытку схватить его, третий стоял в стороне. Йоун сразу же стал яростно защищаться, кидался то на одного, то на другого крестьянина, молотил их кулаками и вскоре сбил с ног. Они никак не могли с ним справиться, пока на помощь не подоспел судья — здоровенный детина, и через некоторое время всем троим удалось осилить Йоуна. Рыба во время потасовки рассыпалась по двору, и ее затоптали в грязь. Судья надел на Йоуна колодки, заявив, что он может не беспокоиться — теперь у него всегда будет казенное жилье. Арестованного отвели в дом судьи и поместили рядом с людской, в сенях, через которые с утра до ночи взад и вперед сновали слуги. Две недели просидел он там в колодках под стражей. Его заставляли чесать конский волос, молоть зерно, а слуги судьи по очереди сторожили его. Спал он на ларе. Парни и девушки, проходя мимо, дразнили его, смеялись над ним, а

одна старуха как-то вылила на него содержимое ночного горшка за то, что по ночам он пел римы о Понтусе и не давал людям покоя. Только одна бедная вдова и ее двое детей чувствовали к нему сострадание и угощали горячим свиным салом со шкварками.

Наконец Йоуна отвезли в Кьялардаль, где по его делу был созван тинг. Судья установил, что арестовали Йоуна вполне законно, поскольку он обвиняется в убийстве палача Сигурдура Сноррасона. От обвиняемого потребовали, чтобы он доказал свою невиновность клятвой двенадцати свидетелей, а найти этих двенадцать свидетелей должен он сам. Шесть прихожан из Саурбайра поклялись, что когда они увидели в ручье тело Сигурдура Сноррасона, глаза, ноздри и рот у него были закрыты. Сиверт Магнуссен, тот человек, которого Йоун вытащил из торфяной ямы, поклялся, что в ту ночь палач и Йоун Хреггвидссон ускакали вперед, оторвавшись от своих спутников. Ни один человек не дал показаний в пользу Йоуна Хреггвидссона. Суд длился два дня, и обвиняемого приговорили к смертной казни за убийство Сигурдура Сноррасона, но разрешили обжаловать приговор суда в альтинге.

Стояла поздняя осень. Обратно все, кроме судьи

и его писца, шли пешком по твердому снежному насту. На пути в Скаги судья сделал крюк и заехал в Рейн. Арестованный в кандалах и под стражей стоял неподалеку от хутора, а судья вошел в дом.

Домочадцы Йоуна Хреггвидссона сразу же узнали, кто приехал, его мать подоила корову и вынесла сыну парного молока в деревянной чашке. Когда он выпил, она откинула ему волосы со лба, чтобы они не падали на глаза. Дочь Йоуна тоже вышла из дому и стояла возле отца.

Судья вошел в горницу без стука.

— Твоего мужа осудили за убийство, — сказал он хозяйке.

— Да, он разбойник, — ответила женщина, — это я всегда говорила.

— Где его ружье? — спросил судья. — В этом доме не должно быть орудий убийства.

— Ума не приложу, как это он не пристрелил нас всех из своего ружья, — сказала жена Йоуна, отдавая ружье судье.

Потом она вынула новую, старательно сложенную шерстяную рубашку и протянула ее судье.

— Всякий видит, что мне недолго осталось до родов, к тому же я больна и дурна собой, он, наверно, и смотреть-то на меня не захочет. Я прошу судью передать ему эту рубашку. На тот случай,

если он не скоро вернется домой, — она теплая.

Судья выхватил у нее из рук рубашку, хлестнул женщину по лицу и, бросив рубашку на пол, крикнул:

— Я не слуга всякой сволочи из Рейна.

Дурачок залился смехом, его всегда смешило, когда обижали мать. Прокаженные сидели рядышком на постели — одна сплошь в буграх, другая в язвах — и, дрожа всем телом, возносили хвалу богу.

Началась зима, а окончательного приговора по делу Йоуна Хреггвидссона можно было ждать только летом, когда соберется альтинг. Содержать же заключенного длительное время было негде, кроме как в Бессастадире, куда и решили отправить Йоуна. Под охраной нескольких человек его повезли на боте в Альфтанес. Погода была холодная, ветреная, бот заливало водой. Люди в боте согревались тем, что гребли и вычерпывали воду. Йоун Хреггвидссон, сидя на корме, распевал старинные римы о Понтусе. Когда спутники смотрели на него, он переставал петь, вызывающе хохотал им в лицо, глаза его сверкали, и белые зубы блестели в черной бороде. Потом он снова принимался петь.

В Бессастадире заключенного приняли управи-

тель ландфугта, писец и двое слуг-датчан. На этот раз его поместили не в «Гроб для рабов», а бросили в яму. В невысокой земляной насыпи, похожей на колодец, было отверстие, закрытое тяжелой дверью с крепким замком и засовом. Под ней открывалась глубокая яма с оштукатуренными стенами. Туда по веревочной лестнице спустили Йоуна, а когда он добрался до самого дна, за ним полезли слуги ландфугта, чтобы надеть на него кандалы. В яме только и было что узкая скамья, покрытая овечьей шкурой, деревянная бадья для отправления естественных надобностей да колода, а на ней отличный топор и глиняный кувшин с водой.

На одно мгновение фонарь управителя осветил эти предметы: колоду, топор и глиняный кувшин, затем слуги вылезли наверх, вытащили за собой веревочную лестницу и заперли дверь на замок. Все смолкло. Воцарилась такая кромешная тьма, что нельзя было разглядеть даже собственную руку. Йоун Хреггвидссон пел:

Был герой тот стремительно скор:
На постели ее распростер.
Страсть горит горячей, чем костер,
Страсть горит горячей, чем костер,

Но она оказала отпор.

В этой яме всю зиму, до самого лета, Йоун Хреггвидссон распевал старинные римы о Понтусе.

Время в яме не делилось ни на часы, ни на сутки. Разницы между днем и ночью не было. Пищу Йоуну опускали в корзине раз, иногда два раза в день. Общество у него было немногочисленное, да и то лишь изредка.

В сущности, он уже забыл, как выглядят люди, когда к нему спустили первых постояльцев. Он приветствовал их с радостью. Их было двое, оба в подавленном настроении, они еле ответили на его приветствие. Он спросил, как их зовут, откуда они родом, но они не торопились с ответом. Наконец он выпытал у них, что один, по имени Асбьорн Йоукимссон — из Сельтярнарнеса, другой, Хольмфастур Гудмундссон, — из Храуна.

— Да, — сказал Йоун Хреггвидссон, — парни из Храуна всегда были мошенниками. А вот жителей Сельтярнарнеса я прежде считал порядочными людьми.

Обоих заключенных ожидало телесное наказание.

По тому, как они медлили с ответами на вопросы, как взвешивали каждое свое слово, как серьезно воспринимали выпавший на их долю

жребий, легко можно было догадаться, что это почтенные люди. Йоун Хреггвидссон, не унимаясь, расспрашивал и болтал. Выяснилось, что Асбьорн Йоукимссон отказался перевезти посланца ландфугта через фьорд Скерья. А Хольмфастур Гудмундссон был приговорен к порке за то, что обменял четырех рыб на кусок веревки в Хафнарфьорде, вместо того чтобы отдать этих рыб купцу в Кефлавике. Дело в том, что, согласно недавнему указу короля, вся страна была разделена на торговые округи, а хутор Гудмундссона находился как раз в округе, где всей торговлей ворочал этот купец.

— А что мешало тебе продать рыбу в той округе, в которой тебе указано торговать нашим всемилостивейшим монархом? — спросил Йоун Хреггвидссон.

Хольмфастур рассказал, что у того купца, которому королевским указом отвели Кефлавик как торговую округу, нельзя было раздобыть веревки, по правде говоря, и у купца в Хафнарфьорде ее тоже не было, но один добрый человек из его лавки дал исландцу кусочек веревки за эти четыре рыбы.

— И это должно было случиться именно со мной — Хольмфастуром Гудмундссоном, — за-

ключил рассказчик.

— Лучше бы тебе повеситься на этой веревке, — высказал свое мнение Йоун Хреггвидссон.

Асбьорн Йоукимссон был еще менее разговорчив, чем его товарищ по несчастью.

— Я устал, — сказал он. — Нельзя ли где-нибудь сесть?

— Нет, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Здесь тебе не гостиная. На этой скамье мне и самому тесно, и я никому ее не уступлю. И не мельтешись около колоды, а то опрокинешь кувшин с водой.

Вновь воцарившееся молчание было прервано тяжким вздохом:

— Это меня-то — Хольмфастура Гудмундссона!

— Ну и что? — отозвался второй. — Как будто у меня нет имени? Разве не у каждого человека есть имя? Я хотел сказать, не все ли равно, как нас зовут.

— Читал ли кто-нибудь в древних книгах, чтобы датчане приговорили человека с таким именем к порке, да еще на его родине, в Исландии?

— Датчане обезглавили самого епископа Йоуна Арасона[67], — сказал Асбьорн Йоукимссон.

— Пусть только кто-нибудь посмеет оскорбить

---

[67] Примечания: 67

Йоун Арасон — см. прим. 35. *(Прим. Л. Г.).*

моего потомственного короля, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Я его потомственный слуга.

После этих слов молчание продолжалось долго. Потом человек из Храуна снова прошептал во мраке свое имя:

— Хольмфастур Гудмундссон.

Он повторил его почти беззвучно, как будто это был сложный для толкования ответ оракула: Хольмфастур Гудмундссон. И снова стало тихо.

— А кто сказал, что датчане обезглавили епископа Йоуна Арасона? — вдруг спросил Хольмфастур Гудмундссон.

— Я, — ответил Асбьорн Йоукимссон. — А если датчане отрубили голову Йоуну Арасону, то королю и вовсе нипочем приказать выпороть таких простых крестьян, как мы.

— Быть обезглавленным — это почетно, — проговорил Хольмфастур Гудмундссон. — Даже простой смертный становится почтенным человеком, когда ему отрубают голову. Простой человек, когда его поведут на плаху, может читать стихи, подобно Туре Йокелю, который читал стихи и которому отрубили голову. Его имя будет жить, пока в его стране будут жить люди. А порка унижает. Самый знатный человек станет посмешищем, если его выпорют. — И он тихо

прибавил: — Хольмфастур Гудмундссон — слышал ли кто-нибудь более исландское имя? И это исландское имя из века в век будут связывать с воспоминанием о датской плетке! Ведь исландский народ все записывает в книги и никогда ничего не забывает.

— Меня порка ничуть не унизила, — сказал Йоун Хреггвидссон. — И никто надо мной не смеялся. Если кто и хохотал, так только я!

— Может быть, самому человеку и не важно, что его порют, — возразил Асбьорн Йоукимссон. — Однако я не отрицаю, что детям, когда они вырастут, пожалуй, будет не очень-то приятно узнать, что их отца пороли. Другие дети будут указывать на них пальцем и говорить: твоего отца пороли. У меня три маленькие дочки. Но в третьем и четвертом поколении это забудется, во всяком случае, я не считаю свое имя — Асбьорн Йоукимссон — таким замечательным, чтобы оно удостоилось чести быть занесенным в книги на вечные времена. Отнюдь нет. Я такой же, как и множество других простых людей, здоровье мое уже никуда не годится, и я скоро умру. Зато исландский народ будет жить вечно, если только перестанет уступать. Это правда, я отказался перевезти королевского чиновника через фьорд

Скерья. Я сказал: не перевезу тебя, ни живого, ни мертвого. Меня будут пороть, и прекрасно. Но если бы я уступил хотя бы только один-единственный раз, если бы все всегда и всюду уступали, уступали купцу и фуг-ту, призракам и дьяволу, чуме и оспе, королю и палачу — где бы тогда нашлось прибежище для исландского народа? Даже ад был бы слишком хорош для него!

Хольмфастур ничего не ответил, он все потихоньку повторял свое имя. Йоун Хреггвидссон твердо решил не пускать чужаков на свою скамью. Вскоре его кандалы перестали звенеть, послышался храп, сначала тихий, потом все более громкий и ровный.

В конце зимы к Йоуну Хреггвидссону часто спускали воров, иногда по нескольку человек кряду. Их держали в яме одну ночь перед тем, как заклеймить или отрубить им руки. Боясь, чтобы они не украли кувшин или, чего доброго, топор, Йоун вертелся как на иголках. Спускали к нему на недолгое время и других осужденных, большей частью жителей прихода Гуллбрингу.

Один арендатор отказался дать ландфугту свою лошадь, заявив, что человеку, который не может сдвинуться с места, пока ему не подадут сотню лошадей, а сам не держит ни одной, лучше бы

сидеть дома. Гуннар из Хлидаренди никогда ни у кого не просил коня. Другой крестьянин — Халлдор Финнбогасон из Мюрара отказался принять причастие и обвинялся в богоотступничестве и богохульстве. Обоим вынесли одинаковый приговор — вырвать языки. Халлдор Финнбогасон ругался и шумел всю ночь перед наказанием, проклинал отца и мать и не давал Йоуну Хреггвидссону покоя. Йоун наконец рассвирепел и заявил, что всякий, кто не принимает причастия, — дурак, и начал петь римы об Иисусе, но знал он их плохо. Кроме воров, в яму нередко бросали людей, нарушавших королевский указ о торговле. У одного нашли английский табак, другой подмешал песку в шерсть. Некоторые тайком пробирались в Эйрарбакки, чтобы купить там муки, потому что в Кефлавике мука была плесневелая и кишела червями. Кто-то обругал купца вором, и так далее, и тому подобное. Всех их подвергали телесному наказанию. Королевская плеть беспрерывно свистела над голыми изможденными телами исландцев. Наконец в яму бросили нескольких закоренелых преступников, вроде Йоуна Хреггвидссона. Их должны были либо казнить, либо отправить на каторгу

в Бремерхольм[68] — в далекой Дании не было места, более известного исландскому народу, чем это.

За двадцать четыре недели Йоун Хреггвидссон ни разу не видел дневного света, разве только на рождество и на пасху, когда его водили в церковь слушать слово божие. В эти праздники в яму спускались слуги фугта, надевали ему на голову мешок, снимали с него кандалы и вели в церковь. Там его сажали на скамью у самой двери между двумя рослыми парнями, а для пущей верности мешка не снимали. Так, с мешком на голове, он и слушал проповедь. Однако веревку у него на шее затягивали не так уж туго, и он, сидя в доме божьем, мог, приноровившись, разглядеть свою руку. Больше он ничего в ту зиму не видел.

Незадолго до пасхи к нему спустили человека из Восточной Исландии. Его должны были отправить в Бремерхольм за самое ужасное преступление, какое только может совершить исландец: он поднялся на борт голландского рыболовного судна и купил там ниток. Приговор по его делу был вынесен осенью, а весной его

---

[68] Примечания: 68

Бремерхольм — остров недалеко от Копенгагена, на котором находилась крепость и верфь, где до 1741 г. содержались особо важные преступники. *(Прим. Л. Г.).*

собирались отправить в Судурнес и оттуда на зимовавшем там корабле — в Данию. Его гоняли по всей стране от одного окружного судьи к другому, пока он не попал в это уютное местечко.

— Нет, — сказал Гуттормур Гуттормссон, — у них не было никаких улик против меня, кроме одной катушки, но слуги купца проследили, как я поднимался на борт голландской шхуны. В моей округе все бывают на иноземных кораблях. Кто никогда не видел голландского золотого дуката, не знает, что такое жизнь.

Человек говорил взволнованно, у него перехватывало дыхание, как только он упоминал о голландских дукатах.

— Они вот такие большие, — сказал он и, схватив Йоуна Хреггвидссона за плечо, начертил в темноте круг у него на лбу.

— Мне никогда бы и в голову не пришло предать моего любимого короля за эти иудины деньги, — заявил Йоун Хреггвидссон.

— Голландцы — народ денежный, — продолжал Гуттормссон. — Когда я, проснувшись ночью, не могу больше уснуть, я думаю об этих благословенных монетах, и на душе у меня становится так хорошо. Какие они большие! Какие тяжелые! Какие блестящие!

— Много их у тебя? — спросил Йоун Хреггвидссон.

— Много ли их у меня или мало, тебя это не касается, дружище, я-то знаю, что такое жизнь. Я прожил много счастливых дней. Вам тут, в Судурнесе, и не видать ни одного счастливого дня.

— Ложь, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Мы любим и чтим нашего короля.

— Люди, живущие у Восточных фьордов, никогда не были рабами, — возразил Гуттормур Гуттормссон.

Когда они сошлись поближе, Гуттормссон понемногу сознался, что, хотя он совершил только одно преступление — купил катушку ниток у голландских матросов (ведь преступлением считается лишь то, в чем тебя уличили), он в течение многих лет торговал с голландцами и делал большие дела. Зимой его жена вязала для них шерстяные вещи, а летом он продавал им масло, сыр, телят, молочных ягнят и детей. Получал же он за все это отличную муку, ковкое железо, крючки и снасти для рыбной ловли, табак, шейные платки, красное вино, хлебную водку, а за детей — золотые, дукаты.

— За детей? — удивился Йоун Хреггвидссон.

— Да, один дукат за девочку и два — за мальчи-

ка, — объяснил Гуттормур Гуттормссон.

Вот уже почти сто лет, как жители восточного побережья продают детей иноземным морякам, поэтому детей здесь убивают гораздо реже, чем в какой-либо другой части Исландии. Гуттормур Гуттормссон продал голландцам двоих детей — семилетнего мальчика и белокурую пятилетнюю девочку.

— Значит, у тебя всего-навсего три дуката, — заключил Йоун Хреггвидссон.

— А сколько их у тебя? — спросил Гуттормур Гуттормссон.

— Два, — ответил Йоун Хреггвидссон. — У меня на хуторе Рейн в Акранесе два дуката, два живых дуката, они так и глядят на меня.

— За что ты их получил?

— Ежели ты думаешь, что я получил их за наживку, то ты ошибаешься, дружище, — ответил Йоун Хреггвидссон.

Из бумаг Гуттормссона было видно, что он отменный кузнец, поэтому его скоро вывели из ямы и посадили в «Гроб для рабов» — пусть приносит хоть какую-то пользу, пока его не отправят на корабле в Бремерхольм. Больше Йоун Хреггвидссон ничего не слышал об этом замечательном человеке.

Зато к весне у него появился новый постоянный товарищ — колдун с западного побережья по имени Йоун Теофилуссон. Это был тощий человек, которому перевалило за сорок. Вдвоем со своей пожилой сестрой он хозяйничал на маленьком хуторе в отдаленной долине. Он не пользовался успехом у женщин прежде всего потому, что у него не было овец. И он возмечтал добиться и любви и овец посредством колдовства, которое с давних пор вошло в обычай на западе, хотя и не всегда приносило успех. Другой крестьянин — богатый овцевод — завоевал сердце пасторской дочки, по которой тосковал Йоун Теофилуссон. Он попытался наслать на соперника привидение. Но стряслась беда: привидение напало на корову пастора и убило ее. Вскоре после этого жеребенок соперника утонул в каком-то заколдованном болоте. Тогда схватили Йоуна Теофилуссона и нашли у него колдовские орудия — талисман, насылающий на людей вздутие кишок, и заклинание, которое пишется на штанах мертвеца. Пока велось дознание, заболел и умер брат соперника. Дьявол, которого колдун называл Покур, явился этому человеку, лежавшему на смертном одре, и поведал, что Йоун Теофилуссон продался ему, что по вине колдуна приключились все

несчастья — гибель коровы и жеребенка, а также его собственная болезнь. Все это умирающий подтвердил клятвенно в день своей смерти. Таким образом, в деле Йоуна Теофилуссона дьявол выступал главным свидетелем и именно его показания привели Йоуна в яму.

Йоун Теофилуссон очень боялся, что его сожгут, и часто шепотом говорил об этом. Он предпочитал, чтобы ему отрубили голову.

— Зачем они притащили тебя, мерзавца, сюда, на юг, почему не сожгли в твоей родной округе — на западе? — спросил Йоун Хреггвидссон.

— Жители не дали дров.

— Вот так новость! Выходит, у жителей юга избыток топлива и они могут разбазаривать его на другие округи? — сказал Йоун Хреггвидссон. — Попроси, чтобы тебе отрубили голову вместе со мной, и лучше всего — вот на этой колоде. Мне думается, что во всей стране лучшей колоды не сыщешь. Зимой от скуки я пробовал класть на нее голову.

— Я всю зиму молил бога, чтобы мне отрубили голову, а не сжигали.

— А почему ты не молишь дьявола, парень? — спросил Йоун Хреггвидссон.

— Он покинул меня, — ответил Йоун Теофилус-

сон и всхлипнул. — Человек, которого предает Покур, начинает молиться богу.

— Ты просто жалкий трус, перестань реветь, лучше научи меня заклинаньям, — попросил Йоун Хреггвидссон.

— Я и сам их не знаю, — плача, ответил Теофилуссон.

— Научи меня, по крайней мере, вызывать дьявола.

— Мне и самому-то никогда не удавалось его вызвать. И хотя Покур утверждает обратное и обвинил меня перед судом, это ложь. Зато я раздобыл талисман и пытался его волшебной силой приворожить девушку. Кроме того, у меня была и руна, которая пишется на штанах мертвеца.

— Что? — воскликнул Йоун Хреггвидссон. — Талисман? Чтобы приворожить девушку?

— Да, — ответил Теофилуссон. — Но ничего не вышло.

— А талисман при тебе? — спросил Йоун Хреггвидссон. — Ведь можно попытаться еще разок. Хорошо бы с его помощью вызвать сюда женщину. Женщина часто бывает нужна, а теперь без нее просто не обойтись.

Но оказалось, что стража отобрала у Теофилуссона его талисман.

— А не попробовать ли самим сделать талисман, — предложил Йоун Хреггвидссон. — Мы можем острием топора вырезать заклинание на колоде, и, быть может, нам удастся заполучить сюда на ночь пригожую, толстенькую бабенку, а еще лучше — целых трех.

Но такое заклинание — дело не шуточное. Для этого нужно проникнуть в царство животных, вступить в союз с силами природы, а в тюрьме это невозможно. Заклинание пишется желчью ворона на внутренней стороне шкуры пегой собаки, затем написанное поливают кровью черного кота, которому в полнолуние перерезала горло невинная дева.

— А как тебе удалось найти невинную деву, которая согласилась перерезать горло черному коту? — спросил Йоун Хреггвидссон.

— Это сделала моя сестра, — ответил Теофилуссон. — У нас ушло целых три года на то, чтобы раздобыть желчь ворона. Но в первую же ночь, когда я взобрался на крышу над спальней пасторской дочки и произносил заклинания, сдохла корова, и меня схватили.

— А девушка?

— Спала с тем парнем, — ответил, плача, Теофилуссон.

Йоун Хреггвидссон покачал головой.

— Но ты ничего не сказал о штанах мертвеца. Как ты мог оплошать, раз у тебя были штаны покойника? Говорят, если хорошенько поискать, в них всегда находятся деньги.

— Я раздобыл руну, которая пишется на штанах мертвеца, и украл деньги у вдовы, чтобы положить в штаны. Но самих штанов достать не смог, потому что человек, с которым я договорился, еще не умер, хотя ему почти уже девяносто лет. А потом было уже слишком поздно: корова сдохла и жеребенок утонул в болоте. И вскоре Покур явился покойному Сигурдуру, когда тот лежал на смертном одре, и дал показания против меня.

Наступило молчание. Слышно было только, как во мраке всхлипывает колдун. Через некоторое время Йоун Хреггвидссон сказал:

— Тебя наверняка сожгут.

Колдун продолжал всхлипывать.

Глава пятая

Старой женщине во что бы то ни стало надо переправиться через фьорд.

По утрам, в те часы, когда рыбаки уходят в море, она сидит на берегу. Просит то одного, то другого

взять ее с собой, ей непременно надо попасть в восточную округу. И хотя все отказали ей сегодня, назавтра она приходит опять. На женщине новые башмаки, голова ее повязана коричневым платком — виднеется только кончик носа. В руках у нее кожаный мешок и палка, юбку она подобрала, как это и подобает странствующей женщине.

— Какая беда случится от того, что вы переправите бедную старуху через фьорд и высадите ее на мысу? — говорит она.

— На южном мысу и без того много бродяг, — отвечают ей.

Время идет. Весна в разгаре — работникам пора переходить на новые места. А женщина по-прежнему каждое утро бродит по берегу — ей во что бы то ни стало надо уехать. Наконец один шкипер сдается, ругаясь, берет ее на свой бот и высаживает на берег у Гротта. Гребцы снова берутся за весла, и бот уходит. Старуха карабкается по покрытым водорослями скалам, по выщербленным морем камням, пока наконец не выбирается на зеленую лужайку. Ну вот, значит, она и переправилась через фьорд. Вдали — там, откуда она ушла, синеют горы Акрафьедль и пустошь Скардсхейди.

Она направилась в глубь страны. Стоял по-ве-

сеннему ясный и тихий день. Женщина шла по гребню возвышенности, разделявшей мыс на две части: она хотела видеть все, что делается вокруг. Хижины теснились одна к другой среди водорослей вплоть до самого берега, до самой низкой черты на шесте, отмечающем высоту прилива. По другую сторону фьорда, к югу от мыса, сиял на солнце белый дом в Бессастадире, где жили люди короля. На северной стороне мыса к плоским, выступавшим в море скалам лепились низкие строения, на рейде стоял корабль, — здесь раскинулся торговый город. А где-то далеко-далеко синели плоскогорья, замкнувшие в кольцо невысокие горы с зелеными склонами.

Почти весь день старая женщина брела вдоль фьорда по каменистой земле, по мокрым мхам, пока не дошла до реки, впадавшей в залив двумя бурными рукавами. Бело-голубой поток бурлил и пенился. Мало было надежды, что она сумеет переправиться через него без посторонней помощи. Крепкий на ноги человек в расцвете сил, быть может, снял бы чулки и перешел реку вброд, но она была стара. Она села и забормотала покаянный псалом пастора Халлдора из Престхоулара. Вынув из мешка хвост сушеной рыбы, старуха принялась его обгладывать, не переставая бормотать

псалом, потом, зачерпнув рукой речной воды, напилась, и при этом все вспоминала, какая строфа должна следовать за какой, ибо господь бог наш требует, чтобы строфы правильно чередовались, только в этом случае он услышит молитву. Она старалась также произносить псалом, как положено, читала каждую вторую строку нараспев и в конце каждого стиха понижала голос, — он звучал печально и походил на звук струны, которой коснулись одним пальцем.

Едва она кончила петь, как увидела, что с восточной стороны приближаются люди с навьюченными лошадьми. Когда они подошли к ней, она плача стала просить их во имя Иисуса помочь бедной старухе переправиться через реку, но они ответили, что на том берегу и без нее хватает бродяжек. Путники скрылись. Старуха перестала плакать и вновь затянула покаянный псалом. Появились путники с запада, они везли вяленую треску. Со слезами на глазах она стала молить их помочь ей, бедной старухе, но они были здорово пьяны и пригрозили засечь ее кнутами, если она не вернется туда, откуда пришла. Вода из-под копыт лошадей, переходивших реку вброд, обрызгала старуху. Она перестала плакать и вновь начала читать псалом. К вечеру с хутора

на западном берегу реки выехала девушка верхом на лошади. Она пасла овец и коров, щипавших траву на заливном лугу. Старуха попросила девушку переправить ее на другую сторону — бог воздаст ей за это. Девушка ничего не ответила, но остановила коня у пригорка, чтобы старухе легче было взобраться в седло, переехала через один, потом через другой рукав реки и, остановившись снова у пригорка, подождала, пока старуха слезет с лошади. Та поцеловала девушку на прощанье, моля господа благословить ее и все ее потомство.

Наступил вечер.

Толпы путников заполнили хутор к западу от пустоши. Здесь были скупщики вяленой трески с вьючными лошадьми — многие прибыли из далекой восточной округи; богатые крестьяне, приехавшие верхом для сделок с купцами в Бессастадире или Холь-мене, — им ночлег предоставлялся в первую очередь. Собралось здесь и много всякого другого люда, а больше всего бедняков, которых судьба беспрестанно гоняла с места на место в поисках куска хлеба. Среди этого множества людей было немало прокаженных и других калек, были здесь скальды, клейменые воры, юродивые, девки, священнослужители, уроды, сумасшедшие и даже скрипач. Одна семья

— муж, жена и пятеро детей — пришла из восточной округи, из Рангарведлира, они съели весь свой скот и теперь направлялись к родственникам в Лейру, надеясь получить там рыбы. Один ребенок был при смерти. Они рассказывали, что в восточной округе у дверей домов повсюду лежат трупы бродяг. В Рангарведлире этой зимой заклеймили девятнадцать воров, а одного повесили.

Владельцам вьючных лошадей приходилось по ночам сторожить свой товар. Бродяги расположились на камнях и на заборах, предлагая желающим всевозможные развлечения. Прокаженные обнажали свои язвы и возносили хвалу господу. Какой-то сумасшедший забрался на крышу, распевал там песни и непристойно кривлялся, требуя за это скильдинг.

Пономарь, облачившись в женский плащ, за пару тресковых жабр читал, подражая епископу из Скаульхольта, нечто богохульственное, так называемое «евангелие от Марка из Мидхуса, написанное им для его зятьев, о двух дочерях и двух бочках китового жира: тот, кто обидит моих дочерей на рождество, не увидит их прелестей и на па-а-асху». Потом он запел голосом епископа из Хоулара: «Мышь с длинным хвостом и в красных

ба-а-аш-маках вскочила на алтарь и вцепилась зубами в свечку». И, наконец, своим голосом:

Вэ́зенис, тэ́зенис, тэ́ра!
Есть ли для вздора здесь мера?
Ха́ллара, ста́ллара — эта
Песня моржами пропета.

Не выступал только скрипач, да его бы никто и не стал слушать, к тому же на его скрипке полопались все струны.

Старуха спросила у собравшихся, как пройти через пустошь в восточную округу, и сказала, что ночью собирается в путь.

— А куда ты идешь? — спросили ее.

Она ответила, что у нее есть небольшое дело к супруге епископа в Скаульхольте.

Никто не полюбопытствовал, что за дело у старухи. Кто-то сказал:

— А разве в пасхальную ночь на пустоши Хеллис не пропали две старухи странницы?

А еще кто-то напомнил, что окружной судья запретил перевозить бродяг через реку в восточную округу.

Третий, сам похожий на бродягу, заявил:

— Эти скряги в восточной округе только и мечтают о том, как бы убить побольше народу, милая

моя бабушка.

К вечеру стало душно, пошел дождь. У старухи болели ноги. Стояла белая ночь. Птицы весело щебетали, а теплый мох, покрывавший лаву, был такой свежий и зеленый, что светился сквозь туман. Старуха шла так долго, что перестала ощущать боль в ногах, они совсем онемели. Она забралась в маленькую пещеру в скале у дороги, растерла ноги, потом вынула кусок сухой трески и забормотала покаянный псалом.

— Да, да, значит, те две старухи пропали в пасхальную ночь, — шептала она вперемежку со стихами псалма. — Да-да-да, вот оно как, бедняжки.

Вскоре она заснула, уткнувшись подбородком в колени.

Но к концу следующего дня, когда она добралась до реки Эльфусау на восточном краю пустоши, оказалось, что на западном краю говорили правду: у подозрительных лиц требовали разрешения на переправу. На песчаной отмели, окруженные стаями чаек, ожидали переправы шесть бродяг, возле них лежал труп. Паромщик отказался перевезти их. Один из бродяг рассказывал, что он попросил молока на ближайшем хуторе, но ему не дали, заявив, что коров выдаивают лососи. То-

гда он пообещал в награду за молоко рассказать занятную историю, ибо он был скальдом и знал больше тысячи разных историй, но в этот тяжкий год никто ни за какую цену не хотел пожертвовать и плошкой снятого молока.

— Что сказал бы Гуннар из Хлидаренди о таких людях? — промолвил скальд. — Или Эгиль сын Скаллагрима[69]?

— Было время, когда я чеканил серебро для вельмож, — сказал слепой старик, державший за руку голубоглазого мальчика. — А теперь я выпрашиваю у людей рыбьи жабры.

Это было сказано невпопад. Так часто бывает, когда в разговор вступают слепые. Нить беседы прервалась, если эта нить вообще существовала. Нищие долго молча смотрели на реку, катившую свои мутные воды, — река была похожа на глетчер. Возле бродяг лежал труп молодой девушки. Его заботливо положили на отмель больше о нем не вспоминали. Говорили, что девушка эта была сумасшедшей. Если откинуть у нее волосы со лба, то можно увидеть клеймо.

— Два ворона давно уже летают взад и вперед над восточным берегом реки, — сказал голубо-

---

[69] Примечания: 69

Эгиль сын Скаллагрима — см. прим. 45. *(Прим. Л. Г.).*

глазый мальчик, поводырь слепца.

— Ворон — птица, любимая всеми богами, — промолвил скальд. — Это птица Одина[70] и птица Иисуса Христа. Он станет любимой птицей и родившегося еще бога Скандилана. Тот, кого растерзают вороны, обретет вечное блаженство.

— А морская ласточка? — спросил мальчик.

— Некоторым птицам господь наш, кроме неба, даровал еще и всю землю, — объяснил скальд. — Растянись на земле вот так, как я, юноша, наблюдай за полетом птиц и молчи.

Мимо них по-прежнему текла река, сероватая, как глетчер. Опухший нищий, который сидел на берегу, уставившись в землю, вдруг поднял сонные глаза и спросил:

— Почему серебро? Почему не золото?

— Я делал и золотые вещи, — ответил слепец.

— Почему же ты сразу не сказал про золото?

— Серебро мне больше нравится, чем золото.

— Мне-то больше нравится золото, — заявил опухший.

— Я заметил, что мало кто любит золото ради самого золота, — возразил слепой. — Я же люблю серебро ради него самого.

---

[70] Примечания: 70

Один — см. прим. 37. *(Прим. Л. Г.).*

Нищий повернулся к скальду и спросил:

— Где в сагах говорится о серебре?

— Будь ты незамужней девушкой, — сказал скальд, — за кого бы ты предпочел выйти замуж — за мужчину или за тридцать китов?

— Что это, загадка? — спросил опухший.

— Моя девушка вышла за тридцать китов, — сказал скальд.

— От злых людей охрани нас, parce nobis, Domine[71], — прошептала какая-то старуха, сидевшая спиной к остальным, — должно быть, католичка.

— Она не захотела выйти за меня, — продолжал скальд, — а ведь я был тогда в расцвете сил. В тот год свирепствовал такой же голод, как и теперь. И в ту весну на берег, к хутору семидесятилетнего вдовца, прибило тридцать китов.

— Золото ценится не потому, что оно лучше серебра, — сказал слепой, — золото ценится потому, что оно похоже на солнце. Серебро же похоже на лунный свет.

Два влиятельных человека, прибывшие из восточной округи, походатайствовали за слепца и его поводыря, и их переправили через реку.

---

[71] Примечания: 71
Пощади нас, господи *(лат.)*.

Кто-то упросил перевезти и набожную старуху католичку. Оказалось, что у опухшего нищего в Кальдарнесе живет прокаженный брат, перевезли и его. Но никто не хотел просить за скальда, за труп или за старуху, прибывшую из Скаги. Она плакала и заклинала крестьян именем Иисуса, но все было напрасно. Все вошли на паром, и гребец взялся за весла. На берегу остались трое — двое живых и одна мертвая.

— Добрая женщина, — обратился скальд к старухе, — ты, видно, только еще начинаешь бродяжить, если веришь в милосердие божье. Когда наступают тяжелые времена, то первым умирает милосердие божье. Если бы в Исландии можно было чего-нибудь добиться слезами, то нищих не только перевозили бы через реку, они бы на крыльях перелетали через моря.

Старуха ничего не ответила. Взяв свою палку и мешок, она побрела вдоль берега вверх по течению. Ведь должен же где-то бурный поток превратиться в маленький ручеек, через который перейдет и ребенок.

Скальд и мертвая девушка остались одни.

Глава шестая

Цель ее путешествия — Скаульхольт, резиденция епископа, где находится также и семинария, неприветливо встречает пришельца массой своих торфяных строений. Была уже поздняя весна, и грязь на улицах засохла. Никто не обращал внимания на странницу, никому не было дела до невзрачной гостьи, люди скользили мимо, подобно теням или немым призракам, ни о чем не спрашивая. И все же было так приятно дышать воздухом этого местечка — смесью кухонного чада, запаха рыбы, навоза и зловония отбросов. Торфяных домиков можно было насчитать не одну сотню, некоторые из них покосились, обветшали от старости, другие же были совсем новые, крепенькие, из поросших травой крыш шел дым. Над всеми этими лачугами возвышался построенный из просмоленных бревен собор с колокольней и высокими стрельчатыми окнами.

Старуха спросила, где жилище епископа. Это оказался большой двухэтажный дом, сложенный тоже из торфяника, но обращенный к собору побеленным бревенчатым фронтоном. Чуть выше каменного фундамента по фасаду шел ряд окон,

разделенных переплетами на четыре квадрата. С каменных плит двора можно было через окна заглянуть в комнату. Свет падал на кувшины и кружки из серебра, олова и меди, на красиво расписанные лари, на великолепную резьбу, но в комнате не было ни одной живой души. Двери были двойные — наружная, приоткрытая, потемнела от непогоды, вторую дверь из дорогого дерева украшали резные драконы, над замком висело медное кольцо. До верхних окон можно было достать рукой с земли, они были разделены только одной перекладиной, и на них висели светлые занавеси, соединенные вверху и расходившиеся книзу.

Цель путешествия была достигнута — странница стояла перед епископским домом в Скаульхольте, оставалось только постучать в дверь, но тут-то она и заколебалась. Она опустилась на каменные ступени у дверей епископского дома, уронив голову на грудь, и вытянула искривленные болезнью ноги. Она устала. Через некоторое время по двору прошла женщина и спросила старуху, что ей нужно. Старуха медленно подняла голову и протянула руку для приветствия.

— Здесь не место для бродяг, — сказала женщина.

Старуха с трудом поднялась и спросила, можно ли увидеть супругу епископа.

— Нищие могут обращаться к управителю, — сказала женщина — статная вдова в расцвете лет. Видно было, что от нее здесь многое зависит и что ей хорошо живется.

— Супруга епископа меня знает, — сказала старуха.

— Как может супруга епископа знать тебя? Супруга епископа не якшается с нищими.

— Бог помогает мне, — утверждала старуха, — и потому я могу говорить с супругой скаульхольтского епископа.

— Так говорят все бродяги, — возразила женщина, по видимости экономка. — Но я уверена, что бог помогает только богатым, а не беднякам. И супруга епископа знает, что если бы она снисходила до бесед с бедняками, то у нее не осталось бы времени ни для чего другого и резиденция епископа пришла бы в запустение.

— Но она все же была у меня, в моей хижине, в прошлом году и беседовала со мной, — сказала старуха. — А если вы считаете, что я бедна, добрая мадам, — я не знаю, кто вы и как вас зовут, — то я вам кое-что покажу.

Она сунула руку за пазуху, вынула серебряный

далер, тщательно завернутый в тряпку, и показала его женщине.

— Супруги епископа нет дома, — сказала тогда экономка. — Она уехала вместе с епископом к своей матери, чтобы немного прийти в себя после этой ужасной весны. Случалось, что люди, просыпаясь, по утрам находили здесь трупы. Она вернется только в середине лета, когда епископ закончит объезд западной округи.

Рука, державшая далер, опустилась. Старуха, проделавшая такой длинный путь, воззрилась на женщину. Голова ее тряслась, в горле давно уже пересохло от бормотания покаянных псалмов пастора Халлдора из Престхоулара.

— Может быть, как раз теперь на альтинге отрубают людям головы? — спросила она наконец.

— Отрубают головы? Кому? — спросила женщина.

— Беднякам, — сказала прибывшая.

— Откуда я могу знать, когда отрубают головы преступникам на альтинге? — сказала женщина. — Кто ты, женщина, какое у тебя дело? И откуда у тебя этот далер?

— А нет ли сейчас здесь знатного господина из Копенгагена, того, кто в прошлом году приезжал с епископом в Акранес?

— Ты говоришь, конечно, об Арнасе Арнэусе, добрая женщина? Где же ему и быть со своими книгами, как не у себя дома в Копенгагене? Да ты, может, тоже одна из тех, кто ждет, что придет корабль в Эйрарбакки и привезет утешителя, ха-ха-ха-ха!

— А где та тоненькая девушка, которую он привел в нашу хижину в Рейне в прошлом году?

Женщина указала на верхний ряд окон и понизила голос, этот вопрос явно развязал ей язык:

— Если ты спрашиваешь о дочери судьи, йомфру Снайфридур, добрая женщина, то она здесь, в Скаульхольте. Ходят слухи, что она помолвлена. Говорят даже, что со временем она будет вращаться в обществе графинь. Во всяком случае, теперь она изучает латынь, историю, астрономию и многое другое, чем никогда не занимались женщины Исландии. Сама она намекнула весной, что ждет кое-кого, кто прибудет на корабле в Эйрарбакки, и потому не поехала с сестрой в западную округу, несмотря на то что любит путешествовать. Но корабль пришел в Эйрарбакки вот уже неделю тому назад, а ничего не произошло. Зато теперь тут некоторые скачут по двору среди бела дня, а зимой пробирались сюда тайком поздними вечерами. Теперь все реже посылают за учителем.

Высоко взберешься, низко упадешь. Уж так устроен мир, добрая женщина. Жизнь научила меня, что лучше придерживаться во всем середины.

Наконец старуху провели на второй этаж епископского дома в комнату дочери судьи — Снайфридур. На Снайфридур было шелковое платье, затканное цветами, она сидела и вышивала пояс. Девушка была невероятно тонка, почти еще ребенок. Ее яркий золотистый загар давно сменился нежной бледностью, но голубые глаза были еще яснее, чем в ту осень. В лице ее не было радости, взгляд где-то блуждал, крепко сжатые губы затаили загадочную, одной ей свойственную улыбку. Казалось, ее гнетет какая-то тяжесть. Она смотрела, словно из бесконечной дали, на грязную дряхлую старуху со сбитыми в кровь ногами, которая жалась у дверей с пустым мешком в руках.

— Что нужно этой старой женщине? — спросила она наконец.

— Моя йомфру не узнает старой женщины? — спросила странница.

— Как можно отличить старых исландок одну от другой? — сказала йомфру. — Кто ты?

— Моя йомфру не помнит маленькой хижины у подножья горы на берегу моря?

— Сотни, — сказала йомфру. — Тысячи. Кто отличит одну от другой?

— Прославленная и знатная йомфру входит однажды осенью в эту хижину, опираясь на руку самого могущественного человека в стране, лучшего друга короля. «Мой друг, — говорит она, — зачем ты привел меня в этот ужасный дом?» Это был дом моего сына — Йоуна Хрегг-видссона.

Йомфру отложила шитье и откинулась на подушки — отдохнуть. Ее тонкие пальчики, лежавшие на резных ручках кресла, были почти прозрачны, казалось, они еще не коснулись настоящей жизни. На одном пальце сверкало массивное золотое кольцо. Воздух в комнате был насыщен ароматом мускуса и нарда.

— Чего ты хочешь от меня, женщина? — устало спросила Снайфридур после долгого молчания.

— Редко случалось, чтобы женщины из моей округи уходили так далеко на восток, — сказала старуха. — Я прошла весь этот длинный путь, чтобы попросить йомфру спасти моего сына.

— Меня? Спасти твоего сына? От чего?

— От топора.

— От какого топора?

— Моя йомфру, конечно, не станет насмехаться

над старой женщиной, к тому же еще и глупой.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, добрая женщина.

— Говорят, что ваш отец приказал отрубить голову моему сыну в Тингведлире на Эхсарау.

— Это меня не касается, — сказала йомфру. — Он велит казнить многих.

— У моей йомфру, может быть, тоже когда-нибудь родится сын, который будет прекраснее всех исландцев.

— Ты пришла, чтобы напророчить мне несчастье?

— Боже сохрани меня предсказывать моей йомфру несчастье, — сказала старуха. — Я и не думала, что увижу мою йомфру. Я прошла весь этот длинный путь, чтобы увидеть супругу епископа, ведь какой бы знатной ни была женщина, она всегда поймет другую женщину. Я надеялась, что она — дочь судьи и супруга епископа — вспомнит, что переступала порог моего дома, и почувствует сострадание ко мне теперь, когда моего сына собираются обезглавить. Но она уехала, и никто не в силах мне помочь, кроме моей йомфру.

— Как могло тебе прийти в голову, что моя сестра и я — две неразумные женщины — можем как-то повлиять на закон и судей, — сказала

молодая девушка. — Вряд ли твоего сына казнят безвинно. И моего сына, если бы он был виновен, не пощадили бы, будь он даже самым прекрасным из всех исландцев. Да и меня тоже. Разве не отрубили голову шотландской королеве?

— Моя йомфру может влиять на закон и судей, — сказала старуха. — Друзья короля — друзья моей йомфру.

— Мне не место на государственной арене, там правят сильные мужи, одни — оружием, другие — мудростью, — сказала девушка. — Они называют меня златокудрой девой и говорят, что мое царство — ночь.

— Говорят, что ночь господствует над днем, — сказала старуха. — Деву надо славить утром.

— Меня будут славить после того, как сожгут, — сказала девушка. — Возвращайся, дорогая матушка, туда, откуда пришла.

В эту минуту кто-то въехал во двор, послышался грубый голос, отдававший приказания конюху. Йомфру вздрогнула и прижала руку к щеке.

— Он приехал, — прошептала она. — А я одна.

Все произошло в одно мгновение — слышно было, как по лестнице быстро, звеня шпорами, взбежал мужчина, дверь распахнулась прежде, чем девушка успела поправить платье и волосы

и придать своему лицо подобающее выражение.

Он был высок, статен, широкоплеч, но чуть-чуть сутуловат, словно считал зазорным для себя держаться прямо. Взгляд у него был хитроватый и злой, как у быка. Двигался он как-то неохотно и вяло.

— Добрый день, — сказал он высоким резким голосом, с брезгливой гримасой франта, которому ничем не угодишь, — для него и лучшая в стране невеста — нехороша. От него слегка пахло водкой. На нем были высокие сапоги с двойной подошвой, грязные брыжи, синий камзол с пышными рукавами, густой и длинный парик, какие носили датские франты, такой высокий, что шляпу ему приходилось держать в руке. Вместо того чтобы склониться перед йомфру и поцеловать ей руку, он указал на незнакомку и спросил, не меняя тона:

— Что это за старуха?

Йомфру застывшим взглядом смотрела куда-то в пространство, лицо ее было сурово и не выдавало того, что делалось в сердце. Поэтому кавалер направился прямо к оборванной старой женщине, которая стояла, опершись на клюку, приставил ей к груди рукоятку хлыста и спросил:

— Кто ты, старуха?

— Не обижай ее, — сказала дочь судьи. — Она беседовала со мной. Я беседовала с ней. Как я уже сказала тебе, старая женщина, даже шотландская королева была обезглавлена. Могущественные короли были обезглавлены, и их лучшие друзья тоже. Ни один человек не может спасти другого от топора. Каждый должен сам спасаться от топора, или его обезглавят. Магнус из Брайдратунги, дай этой женщине далер и выпусти ее.

Кавалер молча вынул из кошелька монету, протянул женщине, выпустил ее и закрыл за ней дверь.

Глава седьмая

Было пасмурное утро, когда Йоуна Хреггвидссона и колдуна вытащили из ямы в Бессастадире, посадили на лошадей и отправили в Тингведлир на реке Эхсарау, где собрался альтинг. Начался дождь. Они прибыли на место поздно вечером, насквозь промокшие. По отношению к Йоуну Хреггвидссону, убившему королевского палача, были приняты особые предосторожности. Он считался более опасным, чем другие преступники, и ему отвели отдельную палатку за жилищем

ландфугта, откуда он получал пищу. Сразу же по приезде его заковали в кандалы. Сторожили его денно и нощно. У входа в палатку на камне сидел человек гигантского роста, он курил трубку, внимательно следя, чтобы не потухла горевшая около него жаровня. Он искоса поглядывал на Йоуна Хреггвидссона и что есть мочи затягивался.

— Дай мне разок затянуться, — попросил Йоун Хреггвидссон.

— Мне никто не дает даром, я плачу за табак, — ответил страж.

— Так я куплю его у тебя.

— А где у тебя деньги?

— Осенью ты получишь ягненка.

— Нет. Может быть, я бы и сунул тебе трубку в рот за наличные, — сказал страж, — но не могу же я предъявлять счет обезглавленному, это так же верно, как то, что меня зовут Йоун Йоунссон.

Йоун Хреггвидссон испытующе посмотрел на него и расхохотался, блеснув глазами, его белые зубы сверкнули, и цепи зазвенели. И он начал петь римы.

На следующий день судья с членами суда и королевским чиновником уселись за шаткий стол в прогнившем, сыром и холодном здании, с которого в прошлом году сняли колокол. Только у двух

господ хорошие плащи — у судьи Эйдалина и у ландфугта из Бессастадира, к тому же ландфугт, единственный из всех, носит плоеный воротник. Остальные повязали шею шерстяными платками. Они одеты в старомодные камзолы, двух окружных судей бледные, тонкие лица, белые, холеные руки, у большинства же лица багрово-синие от непогоды и ветра, с загрубелой, словно дубленой кожей, а мозолистые руки покрыты рубцами. Люди эти не похожи друг на друга, но все некрасивые, все сутулые. Среди них есть и высокие, и малорослые, и широкоскулые, и узколицые, и белокурые, и темноволосые, по у всех этих людей, представляющих самые различные расы, есть один общий, объединяющий их признак: у всех у них плохая обувь. Даже у судьи Эйдалина, одетого в новый датский плащ, — старые сапоги, потрескавшиеся, стоптанные и сморщенные от плохого ухода, с худыми подметками и въевшейся в них застарелой грязью. Один только ландфугт — датчанин — обут в блестящие высокие ботфорты из мягкой, красивой коричневой кожи, только что смазанные жиром, с блестящими серебряными шпорами и с отворотами, прикрывающими колени. Перед вельможами стоит человек в рваном кафтане, подпоясанном веревкой из конского

волоса, с черными от грязи босыми ногами, с опухшими и израненными цепями запястьями. У него маленькие руки, черные как смоль волосы и борода, землисто-серое лицо, карие глаза; весь он исполнен упорства и решимости.

Перед судом лежат бумаги по его делу, что слушалось прошлой осенью в Кьялардале. Тогда окружной суд в Тверотинге вынес Йоуну смертный приговор, который тот обжаловал в альтинг. Этот приговор был основан на свидетельских показаниях шести человек — церковных прихожан из Саурбайра, видевших мертвого Сигурдура Сноррасона в ручье в первое зимнее воскресенье. Свидетели поклялись, что труп палача уже закоченел, когда они обнаружили его в ручье, текущем на восток от Мидфельдсланда в приходе Страндар в Тверотинге; что глаза, нос и рот у него были закрыты, а голова приподнята и что лежал он в неестественной позе. Свидетели показали также, что накануне, когда покойный собирался пороть Йоуна Хреггвидссона в Кьялардале, последний вел себя вызывающе и угрожал палачу, хотя и в туманных выражениях, заклинал его именем дьявола и заявлял, что ему дорого обойдется, если он не завяжет узел в честь последней и самой толстой наложницы. Затем зачитали

подтвержденное клятвой показание мосье Сиверта Магнуссена, что Йоун Хреггвидссон и Сигурдур Сноррасон в ночь убийства поехали из Гальтархольта другой дорогой, чем их спутники; наконец было доказано, что Йоун Хреггвидссон на заре прискакал в Галтархольт верхом на кобыле Сигурдура Сноррасона и в его шапке. Двенадцать человек были вызваны на тинг в Кьялардале, чтобы под присягой заявить, виновен или не виновен Йоун Хреггвидссон в смерти Сигурдура Сноррасона, и свидетели дали клятву в том, что рот, ноздри и глаза Сигурдура Сноррасона были закрыты рукой человека и что человеком этим был скорее всего Йоун Хреггвидссон.

Судья сидел в шляпе и парике, глаза у него были красные, заспанные, он еле подавлял зевоту, задавая обвиняемому вопрос: может ли тот добавить что-либо к своим прежним показаниям, данным в Кьялардале. Йоун Хреггвидссон повторил: он не помнит того, что клятвенно подтверждают другие — ни своего вызывающего поведения, ни угроз Сигурдуру Сноррасону перед поркой, ни того, что ночью они вместе ускакали от остальных спутников. Об этой ночной поездке он помнит лишь, что в темноте они въехали в большое болото и что при немалых его — Йоуна

Хреггвидссона — стараниях мосье Сиверт Магнуссен был вытащен из торфяной ямы, — ведь этого благородного человека, надежду и гордость всего прихода, угораздило упасть в яму, где он барахтался среди дохлых собак. Обвиняемый повторил, что он, несомненно, спас этого бесценного человека. Совершив же сей подвиг, он вознамерился влезть на свою клячу. Последнее, что он помнит, что кобыла начала лягаться, к тому же в ночном мраке она почему-то невероятно выросла и на нее никак нельзя было взобраться. Он не может вспомнить, удалось ли ему влезть на лошадь. О том, что сталось с его спутниками, он не имеет понятия, все они к тому времени куда-то исчезли. Должно быть, он сразу же свалился с лошади и заснул. Он проснулся, когда уже начало светать. Поднявшись, он увидел в траве какую-то ветошь и поднял ее. Это оказалась шапка Сигурдура Сноррасона, и он надел ее, поскольку свою шапчонку потерял. Неподалеку он заметил какое-то четвероногое и направился к нему. Это была лошадь палача, на ней-то он и поскакал в Галтархольт. Вот и все, что Йоун Хреггвидссон мог сказать о событиях той ночи, а что еще случилось в упомянутую ночь, ему неведомо.

— А в свидетели, — сказал он, — я призываю

бога, создавшего мою душу и тело и соединившего их воедино…

— Нет, нет, нет, Йоун Хреггвидссон, — прервал его судья Эйдалин. — Не подобает тебе призывать в свидетели господа бога. — И он приказал увести заключенного.

Страж привел Йоуна Хреггвидссона в палатку, а сам снова уселся на камне у входа, раздул огонь в жаровне и закурил.

— Сунь мне трубку в пасть, дьявол ты этакий, ты получишь за это овцу, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— А где овца?

— В горах, я дам тебе обязательство.

— А где писец?

— Достань бумаги, я напишу сам.

— И я буду ловить овцу в горах на эту бумажку?

— Чего же ты хочешь?

— Я продаю только за наличные, — сказал страж, — и, уж во всяком случае, не смертникам. Это так же верно, как то, что меня зовут Йоун Йоунов сын. А теперь замолчи.

— Нам нужно поподробнее поговорить, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— Я больше ничего не скажу, — ответил страж.

— Тебя, наверно, зовут Пес Песий Сын, — сказал Йоун Хреггвидссон.

Был последний день тинга.

Вечером по делу был вынесен приговор, и к полуночи Йоуна Хреггвидссона снова вызвали в суд, чтобы объявить ему его участь.

Приговор гласил: «После тщательного дознания и допроса свидетелей, на чьи показания о многочисленных злодеяниях Йоуна Хреггвидссона можно положиться, судья и члены суда, воззвав к благости святого духа, пришли к единодушному заключению, что Йоун Хреггвидссон виновен в убийстве Сигурдура Сноррасона. Суд альтинга подтверждает во всех частях приговор окружного суда, каковой надлежит немедленно привести в исполнение».

Но поскольку наступила ночь и людям следовало отдохнуть после тяжких трудов, судья предложил отложить казнь до утра. Однако палачу и его помощникам он вменил в обязанность за ночь привести все их орудия в наилучший вид. Йоуна Хреггвидссона опять отвели в палатку за жилищем ландфугта и на эту последнюю ночь заковали в кандалы. Страж Йоун Йоунссон сел у входа, вдвинув в палатку свой огромный зад, и закурил.

Белки глаз Йоуна Хреггвидссона были необыкновенно красны, он поругивался в бороду, но страж не обращал на это никакого внимания.

Наконец крестьянину стало невмоготу молчать, и он дал себе волю.

— Нечего сказать, порядки, — перед казнью и то не дадут покурить.

— Лучше тебе помолиться да лечь, — сказал страж, — пастор придет на заре.

Смертник не ответил, и оба долго молчали. Слышался только равномерный стук топора. Скала откликалась на этот стук глухим металлическим эхом в ночной тишине.

— Что это рубят? — спросил Йоун Хреггвидссон.

— Завтра рано утром будут сжигать колдуна из западной округи, — сказал страж. — Вот и рубят дрова для костра.

И снова воцарилось молчание.

— Я отдам тебе свою корову за табак, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— Брось вздор молоть, — возразил Йоун Йоунссон. — На что тебе табак, ведь ты уже почти мертвец.

— Ты получишь все, что у меня есть, — настаивал Йоун Хреггвидссон. — Достань бумаги, я

напишу завещание.

— Все говорят, что ты негодяй, — сказал Йоун Йоунссон. — Да к тому же еще и хитрец.

— У меня есть дочь, — сообщил Йоун Хрегг-видссон. — Молоденькая дочь.

— Даже если ты такой хитрец, как говорят, все равно тебе не провести меня, — сказал Йоун Йоунссон.

— У нее блестящие глаза. Выпуклые. И высокая грудь. Йоун Хреггвидссон из Рейна клянется владельцем своего хутора — Иисусом Христом, что его последняя воля — отдать дочь за тебя, Йоун Йоунссон.

— Какого табаку ты хочешь? — медленно проговорил страж, повернулся и заглянул одним глазом в палатку. — А?

— Я прошу, конечно, того самого табаку, который только и может помочь приговоренному к смерти. Того самого табаку, который ты один можешь продать мне при нынешнем моем положении.

— Тогда вместо тебя отрубят голову мне, — сказал страж. — И вообще неизвестно, согласится ли девчонка, даже если мне удастся избегнуть топора.

— Если она получит от меня письмо, она

сделает все, как там написано, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Она любит и чтит своего отца превыше всего.

— Хватит с меня моей старой карги дома, в Кьёсе, — сказал страж.

— О ней я позабочусь сегодня же ночью, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Не беспокойся.

— Так ты грозишься убить мою жену, дьявол, — воскликнул страж. — И меня подвести под плаху. Твои посулы — обман, как все, что исходит от дьявола. Счастье еще, что такой архинегодяй не доживет до седых волос.

Глава восьмая

В дверях стоит невысокий, хорошо сложенный человек, в пасторском таларе, смуглый, с черными бровями и ярко-красным ртом. У него медлительные движения, и он немного щурится от света.

— Добрый день, мадемуазель, — говорит он так же медлительно, взвешивая слова.

Ее густые локоны обрамляют щеки и спадают на плечи. В утреннем свете спокойная небесная синева ее глаз напоминает о бескрайних просторах.

— Каноник! А я только что встала и даже не успела надеть парик.

— Прошу прощения, мадемуазель. Надевайте его. Я отвернусь. Пусть мадемуазель не стесняется.

Но она не спешит надеть парик.

— А разве я стесняюсь каноника?

— Глаза мадемуазель безучастно, словно издалека, наблюдают за тем, что происходит в мире. По правде сказать, на земле сейчас творятся жестокие дела. А у мадемуазель глаза не земные.

— Разве я умерла, дорогой Сигурдур?

— Некоторым дарована вечная жизнь здесь, на земле, мадемуазель.

— Зато мосье прямо создан для своего собора, только глаза, пожалуй, другие… простите меня! Когда я была маленькой и впервые приехала сюда в Скаульхольт, я услышала проповедь мосье, и мне показалось, что заговорила одна из раскрашенных статуй апостолов. Ваша покойная добрая супруга дала мне меду. Правда ли, что вы тайком читаете «Ave Maria», пастор Сигурдур?

— Credo in unum Deum[72], мадемуазель.

— Ах, к чему щеголять латынью перед дев-

---

[72] Примечания: 72
Верую в бога единого *(лат.)*.

чонкой? Но знаете, пастор Сигурдур, я могу проспрягать глагол amo[73] почти во всех mobis[74] и temporibus[75].

— Я часто возносил хвалу господу за то, что цветы в этой стране прекрасны и благословенны, — сказал настоятель собора. — С тех пор как люди покорились своей участи, цветы остались для нас единственным упованием. Возьмем незабудку. Незабудка хрупкий цветок, но она владеет даром любви, и потому ее глаза прекрасны. Когда вы впервые появились в Скаульхольте…

— Я не люблю хрупких цветов, я хотела бы иметь большой цветок с пряным ароматом, — прервала его девушка.

Но собеседник не обратил на это внимания и продолжал:

— Когда вы приехали сюда в первый раз маленькой девочкой, вместе с вашей сестрой, замечательной женщиной, которой предстояло стать хозяйкой в епископском доме, мне показалось тогда, что вошла живая незабудка.

---

[73] Примечания: 73
Люблю *(лат.)*.

[74] Примечания: 74
Наклонениях *(лат.)*.

[75] Примечания: 75
Временах *(лат.)*.

— Да, вы известный поэт, пастор Сигурдур, — сказала девушка. — Но вы, кажется, забыли, что незабудку зовут также кошачьим глазом.

— Я пришел к вам с восходом солнца, приветствую вас именем Иисуса и говорю: «Незабудка!» Другие придут к вам в другое время, в другом настроении и шепнут вам на ушко другое слово.

Сказав это, он посмотрел на девушку темным, горячим взглядом, и уголки его рта чуть-чуть задрожали.

Она не отвела глаз и холодно спросила:

— Что вы хотите сказать?

Он ответил:

— Я терпеливый жених. Вы разрешили мне называть себя так.

— Вот как, — сказала она. — Именем Иисуса? Да, может быть, да. Гм…

— Вы юная девушка, Снайфридур, вам всего семнадцать лет. Безрассудство юности — это самое прекрасное, что есть в мире, да еще разве смирение. Мне тридцать восемь лет.

— Да, пастор Сигурдур, я знаю, что вы опытный, одаренный и высокоученый человек, к тому же вдовец. Я очень ценю вас. Но кто бы ни пришел ко мне, когда бы ни пришел и что бы ни говорил, я люблю только одного человека, это знаете.

— Вашему терпеливому жениху это известно. Он также прекрасно знает, что есть только один человек исландского происхождения, достойный вас. Тот, кто любит вас больше всего на свете, не может пожелать вам лучшего мужа, чем он. Когда он появится, я исчезну. Но пока его нет, — не сердитесь на меня за это, йомфру Снайфридур, — я прислушиваюсь, я выжидаю, я сторожу. Может быть, я слышу ночью стук копыт…

— Я не терплю намеков. Что вы хотите сказать?

— Короче говоря, мадемуазель, я влюблен.

— Что может быть смешнее влюбленного каноника! Нет, не обижайтесь на меня, хотя я и говорю вам обидные вещи. И обещайте мне не говорить больше об этом, пока не придут все корабли, пастор Сигурдур.

— Все корабли пришли.

— Нет, нет, нет, пастор Сигурдур, не говорите так. Даже если все корабли пришли в Эйрарбакки, еще могут прийти корабли в восточные или западные порты. И никому не известно, кто может прибыть на этих кораблях.

— Прибытие этого человека не осталось бы тайной, в какой бы части страны он ни высадился. А если бы вы были уверены, что он приедет, вы не

принимали бы другого гостя.

Она встала и топнула ногой:

— Если я блудница, то я требую, чтобы вы утопили меня в Эхсарау.

— Боже упаси вас, мадемуазель, произносить это постыдное слово, один звук его пятнает ту оболочку, в которую небесному милосердию благоугодно было облечь ваше целомудрие.

— А кому какое дело до моих гостей? Вы прокрадываетесь сюда по утрам во имя Иисуса. Другие приезжают верхом по вечерам во имя дьявола. Я человек. Свидетельствуйте против меня и прикажите утопить меня, если посмеете. — И она снова топнула ногой.

— Милое дитя, — сказал он и протянул руку. — Я знаю, что вы гневаетесь не на меня. Вы слышите голос своей совести.

— Я люблю только одного человека, — сказала она, — и вы это знаете. Я люблю его, когда бодрствую. Когда сплю. Живая. Мертвая. Люблю его. И если он не будет моим, значит, бога нет, пастор Сигурдур, значит, нет ни вас, каноник, ни епископа, ни моего отца, ни Иисуса Христа. Нет ничего, кроме зла. Боже всемогущий, помоги мне.

Она упала на подушки и закрыла лицо руками. Но отчаяние сковало ее, словно льдом, она подня-

ла сухие глаза на каноника и тихо сказала:

— Простите меня.

Он воздел лицо к небу, закрыл глаза и со слезами обратился к богу, гладя ее волосы. Погрузившись в свои мысли, она безотчетно склонилась к нему, но вдруг встала, прошла в угол, отыскала свой парик и надела его. Каноник продолжал свои набожные, полные утешений речи.

— Да, кстати, — холодно прервала она его благочестивые излияния. Ей явно пришло в голову что-то другое. — Существует ли человек по имени Йоун Хреггвидссон?

— Йоун Хреггвидссон, — повторил каноник и открыл глаза. — Мадемуазель не гнушается произносить это имя?

— Значит, такой человек есть. А я думала, что все это мне приснилось. Что он сделал?

— Почему мадемуазель угодно говорить со мной об этом жалком нищем? Я знаю только, что осенью он был приговорен к смерти в Боргарфьорде за то, что однажды ночью убил палача из Бессастадира. Приговор должен быть на днях утвержден альтингом.

Она расхохоталась, и настоятель посмотрел на нее с изумлением. Ей показалось смешным, сказала она в ответ на его вопрос, что королевский

палач был убит каким-то ничтожным человеком. Это ведь все равно как если бы простой бедный грешник начал читать проповедь настоятелю собора! Или, может быть, убить человека — не такое уж искусство?

Уж не обидело ли каноника ее сравнение? Он не засмеялся вместе с ней. Смиренному слуге божьему, воспитанному на незыблемой богословской истине о свободе человеческой воли, свободе выбора между добром и злом, не понять легкомыслия юной девушки из рода цветов, для которой человеческие поступки независимы от закона. Не только грехи, но даже тягчайшие преступления вызывают у нее смех или побуждают задать вопрос — требуется ли искусство для того, чтобы их совершить? Она не слушала того, что он говорил, а продолжала прибирать в комнате и вновь стала серьезной. Наконец промолвила, как во сне:

— Я изменила свои намерения. Мне больше некогда ждать. Будьте добры, попросите управителя подать хороших лошадей. Мне скучно. Я поеду на запад, в Далир, домой.

Глава девятая

— Дитя мое, — сказал судья Эйдалин, посмотрев на йомфру Снайфридур с не меньшим изумлением, чем его собутыльники. В платье для верховой езды она появилась светлой ночью в дверях судейской комнаты перед самым закрытием тинга. Все замолкли.

— Добро пожаловать, дитя. Но что тебе нужно? Что случилось?

Он встает, несколько нетвердым шагом идет ей навстречу, целует.

— Что случилось, дитя мое?

— Где моя сестра Йорун?

— Епископ с супругой уехали на запад к твоей матери. Они передали мне привет от тебя и сказали, что этим летом ты решила не покидать Скаульхольта. Они сказали, что оставили тебя на попечение школьного учителя и его супруги. Что случилось?

— Случилось? Ты спросил меня об этом трижды, отец. Если бы что-нибудь случилось, меня бы здесь не было. Но ничего не случилось, и потому я здесь. Почему мне нельзя приехать на тинг?

Халльгерд Длинноногая[76] ездила на тинг.

— Халльгерд Длинноногая? Я не понимаю тебя, дитя мое.

— Разве я не человек, отец?

— Ты знаешь, твоей матери не нравятся своевольные девушки.

— А может быть, я вдруг изменила свои намерения. Может быть, что-нибудь и случилось…

— Что же случилось?

— Или, вернее сказать, ничего не случилось. Может, я затосковала вдруг по дому, по моему отцу. Я ведь все-таки еще дитя. Или я уже не дитя?

— Дитя, что мне с тобой делать? Тут нет гостиницы для женщин. Тинг закончился, и мы сидим здесь — несколько добрых приятелей, и собираемся бодрствовать до восхода солнца. Утром мне нужно присутствовать при казни двух преступников. А потом я поеду на юг, в Бессастадир. Как ты думаешь, что скажет твоя мать…

Кавалер в ботфортах со шпорами и при шпаге, с длинной остроконечной бородой, в парике, ниспадавшем на кружевной воротник, встал из-за стола с торжественной и самодовольной миной

---

[76] Примечания: 76

Халльгерд Длинноногая — жена Гуннара из Хлидаренди, женщина с тяжелым, вздорным характером, была причиной гибели Гуннара. *(Прим. Л. Г.).*

слегка подвыпившего человека. Он вышел на середину комнаты, щелкнул на немецкий манер каблуками, низко склонился перед йомфру, поднес к губам ее руку и заговорил по-немецки. Поскольку он является гостем высокородного отца милостивой йомфру и будет находиться здесь до утра, когда собравшиеся пойдут исправлять свои служебные обязанности, он сердечно просит милостивую йомфру располагать его комнатами и всем, что в них находится. Он сейчас же разбудит своего повара и камердинера, чтобы они прислуживали ей. Сам он, королевский ландфугт в Бессастадире, покорнейший слуга йомфру. Она взглянула на него с улыбкой, а он сказал, что в глазах ее — ночь, и, склонившись перед ней, вновь поцеловал ей руку.

— Я очень хочу увидеть Дреккингархуль — омут, где топят женщин, — сказала девушка, когда они с отцом вышли на волю и направились к дому ландфугта. Судья считал излишним делать крюк, но она стояла на своем, а на его вопросы отвечала, что давно мечтала увидеть то место, где топят преступных женщин. Наконец она добилась своего. Откуда-то из ущелья доносился стук, которому скалы отвечали глухим эхом. Когда они подошли к омуту, девушка сказала:

— Посмотри, на дне омута золото. Видишь, как оно сверкает.

— Это луна, — возразил отец.

— А если бы я была преступной женщиной, меня бы тоже утопили здесь? — спросила она.

— Не шути с правосудием, дитя.

— Разве бог не милосерден?

— Конечно, дитя мое, он милосерден, как луна, отражающаяся в Дреккингархуле, — ответил судья. — Пойдем отсюда.

— Покажи мне виселицы, отец.

— Это зрелище не для юных девушек. И мне нельзя надолго оставлять моих гостей.

— О дорогой отец, — жалобно сказала она и, схватив его за руку, прижалась к нему. — Мне так хочется посмотреть на казнь.

— Ах, бедное дитя, ты не сделала никаких успехов в Скаульхольте, — сказал он.

— О, неужели ты не хочешь показать мне, как казнят людей, отец? — молила девушка. — Неужели ты меня совсем, совсем не любишь?

Он согласился показать ей виселицы при условии, что потом она пойдет и ляжет спать. В ночной тишине они миновали Альманнагья — Скалу Закона, и вышли на поляну, покрытую сочной зеленой травой и окруженную как сте-

нами крутыми скалами. Через расселину была перекинута балка, под ней стояла лестница. Две петли из новых веревок были привязаны к балке.

— Нет, какие чудесные веревки, — воскликнула девушка. — А часто говорят, что в Исландии не хватает рыболовных снастей. Кого будут вешать?

— Двух бродяг, — сказал судья.

— Это ты их осудил?

— Их осудил окружной суд. Альтинг подтвердил приговор.

— А что за колода там на холме?

— Колода? Это не колода. Это плаха, дитя мое.

— Кого собираются обезглавить?

— Одного разбойника из Скаги.

— Наверно, того, который убил палача. Мне эта история всегда казалась очень смешной.

— Чему ты научилась в Скаульхольте за эту зиму, дитя мое? — спросил судья.

— Amo, amas, amat[77], — ответила она. — Но что это за ровные, частые удары, которые отдаются таким странным эхом в тишине?

— Неужели ты не можешь сосредоточиться

---

[77] Примечания: 77
Люблю, любишь, любит *(лат.)*.

на чем-нибудь другом? Хорошо воспитанные женщины, как и ученые люди, всегда ведут степенные разговоры. Это рубят дрова.

— О чем мы говорили? Разве не об убийстве?

— Что за чепуха! Мы говорили о том, чему ты научилась в Скаульхольте.

— Отец, ты приказал бы отрубить мне голову, если бы я убила палача?

— Дочь судьи не может стать убийцей.

— Нет, но она может стать блудницей.

Судья резко остановился и посмотрел на дочь. В присутствии этого загадочного юного создания хмель сошел с него, — вот она стоит перед ним, тоненькая, с глазами семилетнего ребенка, с сияющими золотом волосами. Он хотел что-то сказать, но промолчал.

— Почему ты не отвечаешь? — спросила она.

— Есть такие девушки, которые все вокруг себя — воздух, землю, воду — превращают во что-то зыбкое, — сказал он, пытаясь улыбнуться.

— Это потому, отец, что в них горит огонь, — сразу же ответила она. — Только поэтому.

— Замолчи, — сказал отец. — Не говори ерунды!

— Не замолчу, пока ты не ответишь мне, отец.

Они молча сделали несколько шагов, он от-

кашлялся.

— Сам по себе блуд, дорогое дитя, — сказал он спокойным тоном чиновника, — сам по себе блуд — дело совести каждого человека, но часто он является началом и причиной других преступлений. Впрочем, дочери судьи не совершают преступлений.

— Их отцы, судьи, поторопились бы скрыть это.

— Правосудие ничего не скрывает.

— И ты бы не скрыл моего преступления, отец?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, дитя мое. Никто не может скрыться от правосудия.

— Неужели ты потребуешь от меня, чтобы я принесла ложную клятву, как этого потребовал епископ Брюньольв[78] от своей дочери?

— Ошибка епископа Брюньольва заключалась в том, что он ставил свою дочь вровень с, девушкой из народа. В нашем сословии этого не случается…

---

[78] Примечания: 78

Епископ Брюньольв Свейнссон (1605–1675) — очень просвещенный для своего времени человек, интересовался древностью, собирал и изучал старинные рукописи. В 1643 г. нашел пергамент с текстом «Старшей Эдды». После его смерти большая часть его библиотеки попала к Ауртни Магнуссону. О дочери епископа Брюньольва, Рагнейдур, в летописи того времени говорится, что она на тинге принесла клятву, будто не состояла в преступной связи с одним человеком, однако через сорок недель Рагнейдур родила сына. *(Прим. Л. Г.).*

— …даже если случается, — прибавила девушка.

— Да, мое дитя. Даже если случается. Ты происходишь из знатнейшего рода Исландии. Ты и твоя сестра — единственные люди в стране, у кого родословное дерево благороднее моего.

— Значит, епископ Брюньольв неправильно понимал правосудие, — сказала девушка. — Он думал, что оно одинаково для всех.

— Остерегайся романтики, свойственной роду твоей матери, — сказал судья.

— Дорогой отец, — прошептала она. — Я устала, можно мне опереться на тебя?

Они направились к дому ландфугта: он — сильный, краснолицый, в широком плаще, из рукавов которого выглядывали маленькие, белые, холеные руки; она семенила рядом, опершись на его руку и подавшись вперед, тоненькая, в длинном платье для верховой езды, в высокой островерхой шапочке. Сбоку от них отвесной стеной поднималась гора.

— Лес, который ты видишь, называют Блоскуг, или вересковой пустошью. Гора по ту сторону леса — это Храфнабьорг, и, говорят, она отбрасывает красивую тень. Дальше идут другие горы, и смотри — вон там, вдали, вырисовывается плоский

свод, словно далекая картина, это Скьяльдбрейдур, самая высокая из всех гор, гораздо выше самой Ботснулур, венчающей на западе горы Арманнсфьедль, и это нетрудно доказать…

— О отец мой, — сказала девушка.

— Что с тобой, милое дитя?

— Я боюсь этих гор.

— Да, я забыл тебе сказать, что скала, возле которой мы стоим, называется Альманнагья.

— Почему здесь такая жуткая тишина?

— Тишина? Разве ты не слышишь, что я говорю с тобой, дитя?

— Нет.

— Я говорю, если смотреть на гору Сулур, которая кажется очень высокой, потому что находится близко от нас, а потом перевести взгляд на гору Скьяльдбрейдур…

— Отец, ты не получал письма?

— Какого письма? Я получаю сотни писем.

— И ни в одном из них не было мне привета?

— Гм, да, правда, асессор Арнэус просил передать привет твоей матери и вам — сестрам.

— И это все?

— Он просил узнать, не уцелели ли случайно какие-нибудь обрывки древних книг из разрушенного монастыря на горе Хельга.

— И больше он ничего не написал?

— Он написал, что эти книги ценнее самых богатых родовых поместий в Брейдафьорде.

— И он ничего не написал о себе? Почему он не приехал в Исландию на корабле, прибывшем в Эйрарбакки, как собирался осенью?

— Он писал о том, что у него множество всяких дел.

— Каких дел?

— Я знаю из достоверных источников, что его собрание рукописей и печатных книг о древней истории Исландии и Норвегии в опасности. Они могут погибнуть из-за плохого хранения. Кроме того, у асессора такие большие долги, что он может лишиться всего.

Она нетерпеливо схватила отца за рукав и спросила:

— Да, но ведь он друг короля?

— Есть множество примеров тому, как друзья короля лишаются своих должностей и как их бросают в долговую тюрьму. Ни у кого нет столь многочисленных врагов, как у друзей короля.

Девушка отдернула руку и остановилась; резко выпрямившись, она подняла глаза на отца.

— Дорогой отец, — сказала она, — не можем ли мы ему помочь?

— Пойдем, дитя мое, — сказал он. — Мне надо вернуться к гостям.

— Ведь у меня есть усадьбы, — сказала она.

— Да, ты и твоя сестра получили кое-какие поместья «на зубок», — сказал он, снова взял ее под руку, и они пошли дальше.

— Не могу ли я продать их?

— Хотя исландцу и кажется, что несколько хуторов — это целое богатство, за границей они ничего не стоят, дитя мое. Драгоценный камень в кольце какого-нибудь графа в Копенгагене дороже целой округи в Исландии. Мой новый плащ стоит больше денег, чем я получаю от своих арендаторов за много-много лет. Мы, исландцы, не имеем права ни торговать, ни заниматься мореходством, поэтому мы так бедны. Мы не только угнетенный народ, мы — на краю гибели.

— Арнас отдал все, что имел, на книги, чтобы имя Исландии жило в веках, даже если все мы погибнем. Что же, мы будем спокойно смотреть на то, как его бросят в долговую тюрьму за преданность Исландии?

— Любовь к ближнему прекрасна, дитя мое. И надо любить ближнего. Но в минуту смертельной опасности каждый думает о своем спасении.

— И мы ничего не можем сделать?

— Для нас важно, дитя мое, чтобы король был расположен ко мне. У меня много завистников, они беспрестанно наушничают графам, клевещут на меня, чтобы помешать мне получить от короля должность судьи альтинга. Это высший пост в Исландии, хотя он ничто по сравнению с должностью подметальщика пола в королевской канцелярии, если только человек, ее занимающий, ведет свой род от какого-нибудь немецкого бродяги или мошенника.

— И что же дальше, отец?

— Назначение на эту должность дает множество привилегий. Мы можем стать владельцами еще нескольких более крупных поместий. Ты станешь еще более завидной партией. Знатные люди будут добиваться твоей руки.

— Нет, отец. Меня возьмет тролль, чудовище в образе красивого зверя, которого мне захочется приласкать, а он заманит меня в лес и растерзает. Разве ты забыл сказки, которые сам мне рассказывал?

— Это не сказка, а дурной сон. Зато твоя сестра рассказала мне о тебе нечто, что, я уверен, огорчит твою мать.

— Вот как.

— Она сказала, что знатный человек просил

зимой твоей руки, но ты наотрез отказала ему.

— Каноник, — сказала девушка и холодно засмеялась.

— Он из знатнейшего рода Исландии, — высокоученый муж и скальд, богатый и добрый. Какого еще жениха ты ждешь, если такое предложение не считаешь достаточно почетным?

— Арнас Арнэус — самый замечательный изо всех исландцев, — сказала йомфру Снайфридур. — С этим согласны все. Женщине, знавшей замечательного человека, просто хороший человек кажется жалким.

— Что знаешь ты о чувствах женщины, дитя? — спросил судья.

— Лучше самый последний, чем средний! — ответила девушка.

Глава десятая

Палатка ландфугта в Тингведлире убрана коврами. Деревянный пол вымыт дочиста. В глубине — альков, посредине — стол, скамьи и два мягких кресла. На полке — статуэтка: его всемилостивейшее величество верхом на коне. За жилищем ландфугта, неподалеку от скалы, раскинуты еще две палатки: одна — большая и добротная, из

нее только что вышли двое говорящих по-датски слуг; другая — маленькая, из коричневого войлока, под самой скалой. Перед второй палаткой сидит человек гигантского роста, в кожаных штанах и с трубкой во рту.

Послав за людьми, ландфугт велел им приготовить постель для дочери судьи и прислуживать ей за столом. Жаркое и вино появились как раз в тот момент, когда судья прощался с дочерью и собирался вернуться к гостям.

Йомфру, очень бледная, стояла в дверях и, пока слуги накрывали на стол, смотрела на восток, на облака, которые уже золотило восходящее солнце. Она окинула взглядом также угрюмые скалы, бурлящую реку, холмы, лес и озеро.

— Зачем этот большой человек сидит там, перед маленькой палаткой? — спросила она.

— Это страж, — ответили ей слуги.

— Какой страж?

— В палатке сидит в цепях преступник, которого мы привезли из Бессастадира. Но завтра утром его, слава богу, казнят!

— Ох, как бы мне хотелось поглядеть на него! — воскликнула йомфру, оживившись. — Любопытно взглянуть на человека, которому завтра отрубят голову.

— Йомфру изволит шутить, наша йомфру может испугаться. Ведь это черный дьявол Йоун Регвидсен, тот, что украл леску, оскорбил его величество и убил королевского палача.

— Пойди к ландфугту и скажи, что я боюсь. Передай ему от меня: я хочу, чтобы, пока я сплю, перед моей дверью стоял страж.

Она едва притронулась к мясу, съела немного каши и слегка пригубила вино. Однако она долго полоскала пальцы в серебряной чаше и смачивала себе лоб. Затем пригладила волосы и освежилась мускусом.

Вернулся слуга, он получил приказ, чтобы милостивую йомфру, пока она спит, охранял Йоун Йоунсен.

— Пусть он сидит у меня на пороге, — приказала она.

Слуги позвали стража и велели ему охранять милостивую йомфру, ибо она желает почивать.

— А как же убийца?

— Что значит мерзкий убийца в сравнении с честью благородной йомфру, — возразили они.

Человек лениво поднялся и перенес свою жаровню к двери йомфру. Он присел на порог и продолжал курить. Йомфру отослала слуг и велела им ложиться спать.

— Ты исландец? — спросила она стража.

— Что? Я из Кьёса.

— А что это — Кьёс?

— Кьёс — это Кьёс.

— У тебя есть оружие?

— Еще чего не хватало!

— А что же ты собираешься делать, если на меня нападут?

Он показал ей свои огромные ручищи, сначала тыльную сторону, потом ладони, и сжал кулаки. Затем он сплюнул и снова затянулся.

Йомфру вошла к себе и заперла дверь. Кругом было тихо. Слышалось журчание Эхсарау, растворявшееся в тишине, да равномерные удары топора: кто-то спокойно и старательно колол дрова.

В скором времени, когда все стихло, дочь судьи стремительно поднялась со своего ложа, приоткрыла дверь и выглянула. Страж по-прежнему сидел на пороге и курил.

— Я хотела посмотреть, здесь ли ты, — тихо проговорила она.

— Как? — переспросил он. — Что такое?

— Ты мой слуга.

— Ложись-ка спать.

— Как ты смеешь говорить мне «ты»? Разве ты

не знаешь, кто я?

— Гм. Подумаешь, какая персона!

Он широко зевнул.

— Послушай-ка, сильный Йоун, о чем ты думаешь?

— Меня вовсе не зовут сильный Йоун.

— Хочешь войти сюда и присесть ко мне на край постели?

— Кто? Я?

Он медленно повернул голову и взглянул на нее, прищурившись, сквозь клубы дыма.

— Нет, черт меня подери, — прибавил он, сплюнув, и снова засунул трубку в рот.

— Тебе не нужно табаку?

— Мне? Табаку? Нет.

— А что тебе нужно?

— Трубки.

— Какие трубки?

— Из глины.

— Но у меня же нет глины.

Он промолчал.

— Зато у меня есть серебро.

— Вот как.

— Какой же ты неразговорчивый!

— Ложитесь-ка спать, дорогая мадам.

— Вовсе я не мадам. Я — йомфру. И у меня есть

золото.

— Ну и что с того? Пусть себе.

Он снова медленно повернул голову и еще раз взглянул на нее.

— Ты мой слуга. Хочешь золота?

— Нет.

— Почему?

— Меня повесят.

— А серебра?

— Это другой разговор, — если только оно в монетах, тогда никто ничего не заметит.

Она вынула из кошелька серебряную монету и подала ему.

— Ступай к палатке, что у самой скалы, и освободи того человека.

— Как? Человека? Кого же это? Йоуна Хрегг-видссона? Нет!

— Дать тебе еще серебра?

Он сплюнул.

— Мы освободим его, — сказала она и дала ему еще серебра, потом схватила его за руку и заставила подняться.

— Мне отрубят голову.

— С тобой ничего не случится. Я — дочь судьи.

— Гм, — промолвил он и заглянул в свою трубку: она погасла.

Йомфру чуть не силой тащила его за собой, она сама приоткрыла палатку и заглянула внутрь. Йоун Хреггвидссон в лохмотьях, черный как смоль, лежал ничком на голой земле и спал. Руки у него были скованы за спиной, а на ножных кандалах висели тяжелые болты. Только плечи его слегка приподнимались при каждом вздохе. Возле него стояла миска с остатками еды. Девушка вошла в палатку и внимательно посмотрела на черного человека, спавшего таким мирным сном, несмотря на то что суставы у него опухли, а лодыжки были до крови стерты кандалами. Его густые волосы и длинная борода были всклокочены.

— Так, значит, он спит, — прошептала девушка.

Страж с трудом протиснулся в палатку.

— Да-а, — протянул он, очутившись наконец внутри и став на колени, чтобы не задевать головой верх палатки.

Йоун Хреггвидссон все не просыпался.

— Я думала, что в таких случаях не спят.

— У него нет души, — заметил сильный Йоун.

— Разбуди-ка его.

Сильный Йоун наклонился и дал такого пинка спящему, что тот сразу очнулся. Йоун Хреггвидссон подскочил, подобно развернувшейся

пружине, и в недоумении уставился на вошедших. Однако кандалы на ногах не пускали его, и он снова упал.

— Ты пришел, чтобы отвести меня на плаху, сатана? — спросил он. — А что надо здесь этой бабе?

— Тсс, — произнесла девушка и приложила ему палец к губам. Она велела стражу снять кандалы с узника. Страж вытащил ключ из кисета и отомкнул их. Но хотя с Хреггвидссона и сняли оковы, он все еще стоял на коленях, изрыгая проклятия. Руки он по-прежнему держал за спиной.

— Вставай, — приказала девушка и, обернувшись к стражу, добавила: — А ты уходи!

Оставшись наедине с приговоренным, она стянула с пальца золотое кольцо и протянула Йоуну. Это была змейка, кусавшая собственный хвост.

— Постарайся добраться на корабле до Голландии. Затем ты отправишься в Копенгаген, разыщешь там друга короля Арнаса Арнэуса и попросишь его ради меня заняться твоим делом. Если он подумает, что ты украл кольцо, передай ему привет от златокудрой девы, от стройной аульвы. Этих слов не знает никто, кроме него. Скажи ему вот что: если только мой повелитель может спасти честь Исландии даже ценой бес-

честья своей златокудрой девы, образ его будет неизменно окружен сиянием в ее глазах.

Она вынула из кошелька серебряный далер, дала его Хреггвидссону и исчезла.

На Полях Тинга снова наступила тишина; слышалось только журчание потока да удары топора, разносимые гулким эхом.

Глава одиннадцатая

Йоун Хреггвидссон поднялся и облизал опухшие запястья. Он выглянул из палатки, но не увидел и не услышал ничего подозрительного. Тогда он вышел. Трава была влажная. Йоун огляделся. В эту пору года ночь уже не могла служить защитой преступникам. На скале сидел бекас. Человек взобрался вверх по Альманнагья, в том месте, где недавно прошел оползень, и укрылся в расщелине, чтобы как следует поразмыслить.

Затем Йоун двинулся в путь. Он решил добраться до пустоши, лежавшей на восток от Сулна, потом повернуть на север, через Уксахрюггир. Он пробирался ложбинами и ущельями, стараясь держаться подальше от проезжей дороги. Ноги у него были крепкие, а царапин от камней и колючего кустарника он не боялся. Теперь в ссадины

забивался чистый песок, а не грязь, которой он набрался в яме. Он спешил со всех ног, останавливаясь только у родников, чтобы глотнуть воды. Над его головой кружили степные птицы. Взошло солнце и осветило человека и вершины гор.

Около девяти часов утра он подошел к одинокому хутору над долиной Люндаррейкья. Назвавшись конюхом из Скагафьорда, он сказал, что ищет двух вьючных лошадей, которые отбились по дороге близ Халлбьярнарвердура. Ему вынесли большую миску скира[79] и кварту овечьего молока. Старая крестьянка подарила ему пару поношенных башмаков. Поев, он двинулся дальше к селению. Но, отойдя на достаточно большое расстояние от хутора, он обогнул долину, свернул к Оку и поднялся на глетчер. Он хотел немного остыть и поразмыслить, куда ему теперь направиться, так как с вершины глетчера перед ним открывалась вся дорога на север.

К полудню он уже стал различать очертания пасторского дома в Хусафьедле. Дом стоял в долине, между горами, и оттуда по лощине можно было спуститься на проезжую дорогу.

Скир, съеденный им на хуторе, ненадолго на-

---

[79] Примечания: 79

Скир — кислый молочный продукт кремообразной консистенции, исландское национальное блюдо. *(Прим. Л. Г.).*

сытил Йоуна, и крестьянин ощущал пустоту в желудке. По другую сторону низменности начинались обширные пустоши — Арнарватн и Твидегра, — отделявшие северную часть страны от южной. Путник был голоден, и у него не было никаких припасов. Все же он не решался зайти в пасторский дом, стоявший у самой дороги, где беглеца могла подстерегать конная стража. Он спросил у попавшегося ему навстречу подпаска, не проезжали ли через Калдадаль люди с юга. Пастух ответил, что нынче здесь никого не было с юга и лишь сегодня к вечеру ожидают оттуда гостей. Крестьянин смекнул, что, выйдя спозаранку, он намного опередил людей из Тингведлира, возвращавшихся к себе домой на север. К тому же он шел почти все время напрямик.

За домом несколько служанок укладывали дрова и торф. Йоун Хреггвидссон повторил им ту же басню о конюхе из Скагафьорда и о двух вьючных лошадях из Кьяларнеса и Халлбьярнарвердура. Он знал эти названия лишь понаслышке. Служанки тотчас бросились в дом к пастору, который у себя в комнате слагал римы об Иллуги Гридарфостри, сидевшем на черепичной крыше, и сообщили ему, что явился какой-то изгнанник. Пастор, седой великан, положил мел, подтянул

штаны и, что-то напевая, вышел во двор.

— Если ты из Скагафьорда, то спой мне стих о том, как пить пиво и приударять за женщинами. Тогда ты честно заработаешь свой хлеб.

Йоун Хреггвидссон запел:

Владычица песен, привет!
На землю спускается вечер.
Мед в кубках и факелов свет.
Кровь храбрых прольется здесь в сече.

— Ни напев, ни стихи не имеют отношения к Скагафьорду. Сдается мне, что это из вступления к древним римам о Понтусе, автор коих поступил бы умнее, утопившись в торфяной яме. Но поскольку ты ловко вывернулся, пусть уж тебя накормят, кто бы ты ни был.

Йоуна Хреггвидссона впустили в дом. Он все же постарался устроиться поближе к двери. Внесли кашу из исландского мха, кусок баранины, тресковые головы, кислое молоко и жесткое, как камень, прозрачное мясо акулы.

Пастор громовым голосом пел гостю свои римы, в которых шла речь об одних великаншах: они назывались там коварными морщинистыми старухами, мерзкими рожами и горными ведьмами. Пока гость ел, хозяин не заговаривал с ним.

Выслушав римы и наевшись, крестьянин поцеловал пастора и сказал:

— Награди вас господь. — Он прибавил, что не может больше задерживаться.

— Я провожу тебя до загона, сын мой, — ответил пастор, — и покажу тебе камень, возле которого отец моей матери прикончил семерых преступников, а я сам семьдесят один раз наложил на них заклятье.

Он вывел гостя со двора, крепко сжав своими сильными пальцами его исхудалую руку выше локтя и подталкивая его перед собой. Две женщины, старая и молодая, раскладывали на каменной кладбищенской ограде шерсть для просушки. На одной из могил спал дворовый пес. Пастор окликнул женщин и велел им сопровождать его и гостя до загона к востоку от хутора.

— Моей матушке восемьдесят пять зим, а дочери четырнадцать. Они привыкли иметь дело с кровью.

Обе женщины выглядели величественно, но держались просто, без высокомерия.

К востоку от хутора, в открытом поле, находился загон для скота, обнесенный каменной оградой в форме сердца. Загон был разделен на две части с двумя воротами: одни выходили на

север, другие — на юг. Можно было подумать, что сама природа — высокие глетчеры, лесистые склоны гор и ущелья, по которым струились ручьи, — обрела здесь покой. Казалось, что именно здесь родина Исландии. На южной стороне вход в загон закрывал огромный валун, и пастор сказал, что этот камень отлично может служить плахой для преступников или надгробием для сатаны.

Йоун Хреггвидссон подумал про себя, что тут не хватает только топора. Перед входом в загон лежал другой камень. Пастор назвал его осколком и попросил гостя, в признательность за гостеприимство, положить этот осколок на большой валун.

Йоун Хреггвидссон нагнулся над камнем, но это была отшлифованная водой базальтовая глыба, за которую невозможно было ухватиться. Он не сумел даже оторвать ее от земли и лишь поставил камень на ребро и перевернул. Обе женщины держались поодаль и с каменными лицами смотрели на Йоуна. Наконец гость сказал, что ему пора идти.

— Милая матушка, — обратился пастор к старшей из женщин, — не обойдешь ли ты с этим осколком вокруг загона? Покажи этому человеку, что в Исландии еще не перевелись настоящие

женщины.

Старуха была грузная. На ее крупном лице с двойным подбородком выделялись густые брови. Кожа была синеватая, как у ощипанной птицы. Старуха подошла к камню, склонилась над ним и, чуть согнув ноги в коленях, подняла камень сперва на ляжку, а затем на грудь и обошла с ним вокруг загона. В ней не чувствовалось никакого напряжения, и только походка ее стала чуть медленней. Затем она осторожно опустила свою ношу на большой валун. При этом зрелище у гостя закипела кровь в жилах. Он забыл, что ему надо уходить, и снова попытался приподнять камень. Но как он ни напрягался, все было тщетно. Пасторская дочка следила за ним невозмутимым взглядом. Щеки у нее были сизые, а лицо — шириной в добрую сажень, как говорится в старых сагах, повествующих о юных великаншах. Но наконец ее каменное лицо дрогнуло от смеха. Ее бабка хрипло захохотала. Йоун Хреггвидссон распрямил спину и выругался.

— Доченька, — продолжал пастор, — покажи-ка этому молодцу, что в Исландии еще есть молодые девицы. Обеги с этим камешком два-три раза вокруг загона.

Девушка нагнулась над камнем. И хотя ей не ме-

шало еще подрасти, ноги у нее были мускулистые и, пожалуй, ни одна йомфру на Боргарфьорде не могла бы похвалиться такими крепкими икрами. Поднимая камень, она даже не согнула ноги в коленях и трижды, смеясь, обежала вокруг загона, слегка придерживая свою ношу, словно мешок с шерстью. Затем она положила камень на большой валун.

И тут пастор заговорил:

— Ступай себе с богом, Йоун Хреггвидссон из Рейна. Ты уже достаточно наказан здесь, в Хусафьедле.

Много лет спустя Йоун Хреггвидссон рассказывал, что никогда, ни до, ни после этого, он не чувствовал себя таким униженным перед богом и людьми. Он пустился бежать что было мочи, а пес провожал его заливистым лаем до самой реки, которая текла на север.

Глава двенадцатая

Он шел весь день и всю следующую ночь, часто останавливаясь, чтобы напиться воды, — благо на пустоши Твидегра не было недостатка в озерах. Он сторонился проезжей дороги и старался двигаться на север, чтобы выйти к морю. Стояла

тихая, ясная погода. Часто до него доносились крики диких лебедей, и он не раз замечал стаи этих зловещих птиц, более многочисленные, чем иная отара.

Поздно вечером, когда взошла луна, Йоун Хрегг-видссон все еще шел, хотя ноги уже отказывались служить ему. Но он не замечал усталости, пока не упал. Не в силах подняться, он лежал на теплой болотистой земле. Сначала он лежал на животе, потом перевернулся на спину. Проснулся он уже днем. Земля все больше нагревалась. Открыв глаза, он заметил, что солнце стоит уже высоко. Вокруг него расположилась стая воронов, видимо собиравшихся выклевать ему глаза. Должно быть, они приняли его за мертвеца. У него ныли все кости, но жажды он не испытывал. Зато он горько раскаивался, что мало съел в Хусафьедле акульего мяса. Пока он спал, пустошь не стала меньше.

Шел он теперь с бóльшим трудом, чем раньше. Вчера он еще был в силах оглядываться по сторонам, а сегодня пустошь представлялась ему бесконечной. Чем больше он углублялся в нее, тем дальше, казалось, отодвигался северный край. Внезапно он заметил трех бородатых всадников, которые везли в ящиках форелей. Старший из

них был богатый хуторянин из Боргарфьорда. Люди эти возвращались домой с рыбной ловли на озерах пустоши Арнарватн. Заметив Йоуна, они спешились, и хуторянин спросил его, кто он такой, человек или призрак. Оба его работника даже не решались подойти близко. Но Йоун со слезами на глазах поцеловал всех троих. Он рассказал им, что он бродяга с севера и что на юге его должны были заклеймить за кражу в Бискупстунгуре, но ему удалось бежать. Он плакал навзрыд и слезно молил бога и людей сжалиться над ним во имя святой троицы. Крестьяне дали ему поесть. Он подкрепился и уже собрался было тем же плаксивым тоном благодарить их, как хуторянин вдруг сказал:

— Брось эти глупости, Йоун Хреггвидссон.

Йоун сразу перестал плакать и, взглянув на своего собеседника, удивленно спросил:

— Что такое?

— Ты что же, воображаешь, будто мы, жители Боргарфьорда, не способны узнать человека, которого мы секли? И надо сказать, что нам еще не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь держался так храбро.

Услышав эти слова, оба работника вскочили. Встал и Йоун Хреггвидссон.

— Может, ребята, вам хочется померяться с ним силами? — спросил хуторянин.

— Это тот человек, что убил бессастадирского палача? — поинтересовались они.

— Да. Он убил королевского палача. Можете теперь расквитаться с ним за это убийство.

Парни переглянулись, и один из них произнес:

— Король найдет себе другого палача.

— Я-то не пойду в королевские палачи, — заметил второй.

После этого хуторянин заявил, что раз уж они повстречались на пустоши, где не действует ни право, ни закон, ни десять заповедей господних, то самое лучшее им всем — сесть и выпить по глотку. Все трое опустились на землю, и Йоун Хреггвидссон последовал их примеру. Он больше не плакал и не молился, а лишь разглядывал свои босые ноги и смачивал слюной царапины.

К тому времени, когда он наконец распрощался с людьми из Боргарфьорда, погода испортилась, и после теплого дня с севера надвинулся густой туман. Начал моросить холодный дождь. Туман быстро растекался подобно идущему в бой войску и напоминал красный дым, вырвавшийся из раскаленной печи. Становилось все темнее и темнее. Солнце померкло, и наконец наступила

кромешная тьма. Некоторое время человек пробирался все в том же направлении, откуда, как ему казалось, надвигался дождь. Но, наткнувшись в третий раз на одну и ту же груду камней возле скалы, он понял, что дело плохо. Он присел на камень и задумался.

Он сидел долго; пустошь была окутана тьмой. Промокнув насквозь, он снова запел римы о Понтусе, а закончив их, заметил: «Ну, теперь-то уж бессастадирские вши на теле Йоуна Хрегг-видссона наверняка померзнут». Он засмеялся, выругался, потом встал и начал размахивать руками, пытаясь согреться. Затем он опять опустился на землю и привалился спиной к камням. Когда он сидел так, ему вдруг почудилось, что с пустоши на него надвигается что-то большое и бесформенное. Казалось, что к нему приближается всадник на черном коне. Некоторое время Йоун напряженно вглядывался в этот призрак, затем встал и нерешительно двинулся прочь от скалы в глубь пустоши. Загадочное существо пугало его. А призрак все приближался и рос. Йоун хотел остановиться и окликнуть привидение, но едва он раскрыл рот, как дикий страх сжал ему горло, и он остался на пустоши с разинутым ртом. Фигура все приближалась и увеличивалась. На-

конец она подошла так близко, что, несмотря на туман, можно было различить ее контуры. Перед ним стояла великанша. Он не мог бы поклясться, что это была мать или дочь хусафьедльского пастора, но она бесспорно принадлежала к их роду. Лицо у нее было шириной в сажень, не меньше были и челюсти. Из-под короткой юбки выступали настоящие колоды. Ляжки у нее были под стать кобыле, отъевшейся на горном пастбище. Она уперлась в бока дюжими кулаками и не слишком приветливо разглядывала крестьянина. Он понимал, что если попытается удрать, она мигом догонит его, свалит на землю, размозжит ему хребет о камень, оторвет руки и ноги и вопьется зубами в тело. На этом истории Йоуна Хреггвидссона пришел бы конец.

Стоя в нерешительности, он вдруг ощутил прилив сил и храбрости. Его охватила ярость, и он услышал, как кто-то произнес его голосом:

— Раз в Исландии есть настоящие женщины, то заруби себе на носу, мерзкое чудовище, что здесь не перевелись и настоящие мужчины.

Он стремительно бросился на великаншу, и между ними завязалась борьба. Она была долгой и упорной, и противники не щадили себя. Йоун сразу почувствовал, что она сильнее, но не такая

ловкая и быстрая. Она оттесняла его все дальше в глубь пустоши; земля у них под ногами была вся изрыта. Схватка продолжалась до поздней ночи. Они молотили друг друга кулаками, царапались, щипались. Наконец Йоун изловчился и изо всех сил ударил великаншу в бок. Ведьма свалилась навзничь, увлекая за собой Йоуна. Она нагло и яростно заорала ему в ухо:

— Если ты мужчина, Йоун Хреггвидссон, то воспользуйся случаем.

Когда Йоун пришел в себя, дул южный ветер, отогнавший туман с пустоши. Прямо перед собой он увидел длинные узкие челюсти Хрутафьорда и синевшие вдалеке горы Страндир. И в эту минуту он подумал, что дела его не так уж плохи.

Он не останавливался, пока не достиг отрогов Страндира на северном побережье. Он шел то пустошами, то горными тропами, называя себя разными именами и придумывая себе разные занятия. Но пока он не добрался до Трекюлисвика, он ничего не слышал о голландцах.

Ни одно преступление не каралось в те времена так тяжко, как торговля с иноземными шкиперами. Поэтому очень трудно было снискать доверие людей, занимавшихся этим промыслом. Когда Йоун пытался расспрашивать, ему указывали

на видневшиеся у берега коричневые паруса, поднятые на кораблях этого проклятого народа. Когда же он заговаривал здесь, на севере, о своем намерении добраться до Голландии, всем казалось, что дело его безнадежно.

На эти корабли, рассказывали ему, никогда не берут пассажиров, разве иногда детей, по преимуществу рыжих мальчиков, которых голландцы покупают здесь, чтобы, как они сами говорят, воспитать их по-своему. И только узнав всю правду о Йоуне Хреггвидссоне, о том, что ему довелось пережить и какой он тяжкий преступник, люди решили помочь ему. Однажды ночью, когда голландские шхуны стояли довольно далеко от берега, один крестьянин переправил к ним осужденного преступника на своей лодке. Шкипер презрительно оглядел чумазого нищего, так отощавшего в Бессастадире, что он не годился даже на приманку акулам. Но когда крестьянин из Трекюлисвика объяснил голландцам, что этот человек убил одного из палачей датского короля, они смекнули, в чем дело, и стали громко выражать ему свое одобрение и обнимать его. Датский король нередко посылал сюда военные корабли, чтобы топить, по возможности, голландские шхуны или захватывать их по подозрению в

контрабанде. Поэтому ни к кому голландцы не питали такой лютой ненависти, как к датскому королю.

Йоуна взяли на борт и дали ему леску, чтобы ловить рыбу. Судно было уже почти нагружено. Йоун не понимал ни слова из того, что говорили эти люди. Но когда они принесли полную до краев деревянную миску, он широко ухмыльнулся и жадно набросился на еду. Вечером голландцы поставили перед ним ведро морской воды. Он подумал, что над ним смеются, обиделся и толкнул ведро, так что оно перевернулось. Тогда голландцы набросились на него, связали и сорвали с него одежду. Они подстригли ему бороду и волосы и смазали голову чем-то похожим на деготь. С шумом и ревом без конца окатывали они голого Йоуна морской водой, а двое матросов в деревянных башмаках приплясывали вокруг него; один из них даже наигрывал на флейте. Позднее Йоун Хреггвидссон рассказывал, что никогда еще не был так уверен в том, что наступил его последний час.

Кончив мыть Йоуна, они развязали его и дали ему полотенце. Потом ему выдали белье, фризовые штаны, куртку и деревянные башмаки, но чулок он не получил. Затем голландцы сунули

ему в зубы деревянную трубку и дали прикурить. В благодарность Йоун спел им свои римы.

На следующий день Йоун обнаружил, что судно уже вышло в открытое море. Вдали виднелись лишь вершины гор. Он посылал проклятья этой стране и молил дьявола погрузить ее в морскую пучину.

Потом он вновь запел римы о Понтусе.

Глава тринадцатая

Роттердам — большой город на Маасе, весь изрезанный сетью каналов, которые здесь зовутся грахтами. Многие грахты используются как гавани, поскольку здесь полным-полно рыбаков и большинство из них торгует, ибо в Голландии свободная торговля. Купцам не возбраняется разъезжать на своих кораблях по всему свету, ежели у них есть на то охота; одни закупают товары, другие ловят рыбу. Страной этой правит знаменитый герцог.

В гавани теснилось много оснащенных судов. Одни просмоленные, другие покрашенные, но все, вплоть до маленьких лодок, в прекрасном состоянии. По всему было видно, что народ здесь живет дельный и рачительный.

Шкипер спросил у Йоуна, что тот собирается делать теперь, когда они наконец прибыли на место. Йоун ответил только одним словом: «Копенгаген». Голландцы попытались объяснить ему жестами, что там ему отрубят голову. Йоун упал на колени и со слезами твердил имя датского короля, пытаясь втолковать голландцам, что хочет дойти до всемилостивейшего монарха и просить его о помиловании. Этого они не могли понять. Им понравился этот человек, и они думали взять его в новый рейс в Исландию. Они надеялись, что он выучит их язык и они сумеют использовать его как переводчика при своих сделках с исландцами. Но он упрямо стоял на своем.

Голландцы спросили его, убил ли он королевского палача. Йоун ответил: «Нет».

Тогда они решили, что он надул их. Они-то считали его врагом своего врага, датского короля, а теперь оказалось, что он хочет нанести визит этому разбойнику. Нашлись люди, которые предложили протащить Йоуна под килем судна или пропустить сквозь строй. В конце концов голландцы пригрозили снести ему голову, если он немедленно не уберется. Он поторопился сойти на берег и был очень доволен, что у него не отобрали штанов, куртки и деревянных башмаков.

Улицы в этом городе извивались подобно ходам, которые оставляют древоточцы в стволах деревьев. Дома, все с островерхими: крышами, тесно жались друг к другу. Коньки их напоминали горные пики. Люди кишмя кишели на улицах, словно черви в гнилом мясе. То и дело встречались лошади, впряженные в повозки. Поначалу Йоуну показалось, что все спешат, как на пожар. Особенно он дивился на здешних лошадей, так как после китов это были самые крупные животные, каких ему только довелось видеть.

В Голландии, может, и не все были господами, но все, как один, выглядели щеголями. Чуть ли не на каждом шагу попадались люди, которые, судя по их платью, были по меньшей мере окружными судьями. Повсюду виднелись парики, шляпы с перьями, испанские брыжи, датские башмаки и плащи, такие широкие, что одного вполне хватило бы, чтобы одеть едва ли не всех детей в Акранесе. Встречались здесь и столь важные особы, что ездили в великолепных покрытых лаком каретах, украшенных затейливой резьбой, с занавесками на окнах. По улицам прогуливались знатные матроны и изящные йомфру в богатых нарядах. На плечах у них были кружевные косынки, они носили широкополые шляпы, широкие,

в складку, юбки и ботинки на высоких каблуках, с золотыми пряжками. Девицы жеманно приподнимали платье, слегка открывая ножку.

Йоун Хреггвидссон приехал в Голландию с одним серебряным далером в кармане. К вечеру он стал подыскивать себе ночлег. С наступлением сумерек улицы осветились фонарями, висевшими над дверьми некоторых домов. В узком переулке, где стояли старые покосившиеся дома, он заметил у ворот женщину с очень белым лицом. Она приветливо заговорила с Йоуном и стала расспрашивать его о новостях. Он поболтал с ней, и затем женщина предложила ему зайти к ней закусить. Чтобы попасть к ней, нужно было пройти через весь дом по узкому, выложенному плитами коридору и затем через двор, где у каждой двери сидели кошки, молча выгибавшие спины горбом и делавшие вид, что им нет никакого дела друг до друга.

Введя гостя в комнату, женщина пригласила его сесть на скамью, а затем устроилась рядом с ним и запустила руку ему в карман, где нащупала кошелек с далером. Это открытие нисколько не охладило ее. Она то и дело вытаскивала далер из его кармана и приговаривала, что это чудесная монета. Ему казалось, что эта женщина ни в чем

не уступает самым красивым исландкам. К тому же она была очень любезна и обходительна и от нее исходил сильный запах мускуса. Йоун думал, что это, по крайней мере, жена пастора или местного пробста. Так как она тесно прижималась к нему, он решил, что она глуховата, и возвысил голос, стараясь объяснить, что очень голоден, но она приложила ему палец к губам, показывая, что нет никакой надобности кричать так громко. Затем она отправилась в кладовую, принесла оттуда жареную телятину, сыр, какой-то странный кисло-сладкий плод красного цвета и кувшин вина. Йоун подумал про себя, что никогда еще не пробовал таких яств. Женщина ела с ним за компанию. Потом они легли вместе. На корабле он плохо спал, потому что моряки заставляли его работать через силу, и теперь, после такого угощения, голова у него отяжелела. Вскоре он крепко заснул рядом с женщиной. А ночью явились двое грубых парней и принялись избивать Йоуна.

Когда он пришел в себя, они вытащили его из дома и выбросили, как куль, на мостовую. Так Йоун Хреггвидссон лишился своего далера.

Он не знал, куда ему теперь деваться, и, когда рассвело, вышел за город, направляясь на север. Он думал, что где-то там должна быть земля дат-

ского короля. Голландия показалась ему плоской, как лепешка, вокруг ни одного холмика, не то что горы. Лишь кое-где возвышались церкви да ветряные мельницы. Зато земля здесь была плодородная и пригодная для посевов. На пастбищах виднелись стада коров. Это был прекрасный скот, но жители этой страны, как видно, были не очень искусными овцеводами. Йоун замечал богатые усадьбы, и кое-где красовались высокие, как в Бессастадире, дома. Но попадались и небольшие хутора, и глинобитные с соломенными крышами хижины. Во дворах рылись куры — птицы, которые кричат, как лебеди, но не умеют летать. Здесь же расхаживали еще какие-то большие, похожие на лебедей, птицы, но с шеей покороче и очень злые. Йоун догадался, что это гуси, о которых поется в древних песнях. При виде чужих эти отвратительные создания важно выпячивали грудь и со страшным гоготом бросались в атаку. Свирепые на вид псы сидели, к счастью, на цепи. Страдная пора была в полном разгаре. Йоун Хреггвидссон был поражен, когда увидел, что крестьяне возят снопы на телегах, запряженных волами. Но он встречал и немало людей, таскавших хлеб на собственном горбу. И всюду ощущалась близость моря. Море вливалось в пру-

ды и глубокие каналы, и вся местность походила на огромное легкое, пронизанное кровеносными сосудами.

По каналам плыли плоскодонные баржи. Их тянули медленно шествовавшие по берегу быки или лошади. Баржи были доверху нагружены различными товарами; на каждой стоял дом с крышей и окнами, на которых красовались занавески и цветы. Из трубы на крыше вился дымок, так как женщины стряпали тут же, на борту. На носу сидел мужчина с трубкой в зубах. Он подгонял быка и управлял баржей. На палубе играли дети, а иногда Йоун видел, как загорелые девицы с голыми руками и дородные женщины ощипывают птицу. Здесь, верно, приятно быть отцом семейства. Дороги в этой стране совсем не походили на исландские. Они были вымощены руками людей, а не протоптаны конскими копытами, и по ним ездили в повозках. Йоуну встречалось множество экипажей и важных чиновников, разъезжавших верхом в развевающихся плащах, и целые кавалькады всадников, вооруженных ружьями и саблями. Дорога часто разветвлялась, но Йоун Хреггвидссон все время шел на север. Однако дни здесь были совсем не такие, как в Исландии. Скоро Йоун потерял счет времени и

не знал, куда ему идти дальше. Его деревянные башмаки остались у пасторши. Впрочем, это было не так уж важно — ведь ходил же он босиком по жесткой Исландии, так почему бы ему не ходить по мягкой Голландии? Но в этот жаркий, сухой день путника томила жажда, а вода в илистых каналах была соленая. Мужчина, поивший скот во дворе, и женщина у колодца дали ему напиться. Но оба они посматривали на него с опаской. Наконец Йоун миновал столько перекрестков, что совсем заблудился и не знал, какая дорога ведет в землю датского короля. Он сел, отер пот с лица и, вытянув ноги, с любопытством взглянул на них. Какой-то парень, проезжая мимо, бросил ему несколько насмешливых слов. Другой взмахнул кнутом над его головой. Подъехала повозка, на которой сидели двое пожилых крестьян, они везли на продажу в город капусту и другие овощи. Йоун Хреггвидссон поднялся и спросил их, где находится Дания. Они остановили повозку и удивленно взглянули на него. Такой страны они не знали.

— Дания, — повторил он, указывая на дорогу, — Дания, Копенгаген.

Крестьяне переглянулись и покачали головами. Им никогда не приходилось слышать о стране

и городе с такими названиями.

— Король Христиан, — произнес Йоун Хреггвидссон.

Мужчины вновь переглянулись. Тогда Йоуну вдруг пришло в голову, что он, должно быть, спутал имя его всемилостивейшего величества. Спеша поправиться, он воскликнул:

— Король Фредерик! Король Фредерик!

Но они не знали ни короля Христиана, ни короля Фредерика.

Йоун обращался ко многим прохожим и проезжим, но редко кто удостаивал его ответа. Большинство ускоряло шаги либо погоняло своих лошадей, как только этот чумазый дикарь приближался к ним. А те немногие, кто останавливался, обычно ничего не знали о датском короле. Вдруг Йоун увидел в роскошной карете какого-то важного господина в парике, шляпе с высокой тульей, в брыжах и широком плаще. Его сизые щеки свисали чуть не до самых плеч, а на толстом животе он держал молитвенник. Если это был не сам голландский епископ, то, уж наверное, роттердамский пробст. Йоун Хреггвидссон подошел к нему и горько заплакал. Проезжий велел кучеру остановиться и сказал Йоуну несколько слов, в которых чувствовался

укор, но не гнев. И заблудившемуся крестьянину показалось, что его спрашивают, кто он такой и почему он бродит в таком виде по дорогам Голландии.

— Исландия, — сказал Йоун, указывая на себя, и, утирая слезы, повторил: — Исландия. — Знатный господин почесал у себя за ухом. Он, видимо, не понял, но Йоун продолжал: — Исландия. Гуннар из Хлидаренди.

Вдруг епископа осенило, и на лице его появилось испуганное выражение.

— Гекенфельд[80]? — спросил он со страхом. Однако Йоун не знал, что такое Гекенфельд, и решил снова попытаться назвать имя датского короля.

— Христиан, — сказал он.

— Христианин, — повторил знатный господин, и лицо его прояснилось, ибо он подумал, что хотя этот дикий человек родом из Гекенфельда, но все же он христианин.

— Иисус Христос, — добавил он, милостиво кивнув нищему. Йоун Хреггвидссон тоже был доволен, что наконец-то названо имя, известное и здесь, в Голландии. Поэтому он не задал мучив-

---

[80] Примечания: 80

Гекенфельд — название исландского вулкана Гекла, переделанное на немецкий лад. *(Прим. Л. Г.).*

шего его вопроса, а лишь повторил имя своего помещика:

— Иисус Христос.

Затем он перекрестился, помянув святую троицу, чтобы показать, что и он раб господень. Тут знатный господин отвязал от пояса кошелек и вынул из него мелкую серебряную монету. Он протянул ее Йоуну и уехал.

К заходу солнца Йоун забрел на постоялый двор. Ему казалось, что здесь живут радушные хозяева. Во дворе теснилось множество телег, лошадей, конюхов. Дородные, хорошо одетые путешественники из далеких краев прогуливались по двору и удовлетворенно поглаживали себя по животу после сытного обеда. Некоторые курили длинные трубки. Один из конюхов заметил Йоуна и стал его поддразнивать. Подошло еще несколько слуг. Йоун сказал, что он исландец, но его никто не понял. Мало-помалу вокруг него собралась большая толпа. Все заговаривали с ним на разных языках. Наконец ему пришло в голову повторить те слова, которые произвели такое действие на знатного господина в карете: «Гекенфельд. Иисус Христос». Услышав это, одни приняли его за еретика и богохульника из Италии, другие воскликнули: «Иисус, Мария!»— и

погрозили ему кулаком. Но Йоун Хреггвидссон снова повторил: «Иисус Христос, Гекенфельд», — и перекрестился. Подходили все новые люди: здоровые широкобедрые служанки в коротких юбках и чепцах, повара в кожаных передниках, толстобрюхие господа в платье с пышными рукавами, в париках и шляпах, украшенных перьями. Они подходили, чтобы узнать, что здесь происходит, но оказывалось, что это всего-навсего нищий чужеземец, который ведет богохульные речи. Вдруг статный человек в шляпе с перьями и высоких ботфортах шпагой проложил себе путь через толпу. Он взмахнул хлыстом, и на Йоуна Хреггвидссона посыпался град ударов. Первый пришелся по лицу, остальные по шее и плечам. Наконец Йоун опустился на колени и, закрыв лицо руками, упал навзничь. Тогда знатный вельможа приказал всем разойтись и взяться за работу. Некоторые, правда, немногие, прежде чем уйти, пинали Йоуна ногой. Когда толпа рассеялась, Йоун ощупал лицо, чтобы узнать, не залито ли оно кровью. Крови не было, но лицо сильно распухло. Затем он побрел дальше.

Вечером его накормили крестьяне — муж и жена, все достояние которых составлял клочок земли. Йоун подарил их ребенку свою монетку,

так как они не хотели брать с него денег. Наевшись, он улегся под изгородью, чтобы немного соснуть. Погода стояла мягкая, и не похоже было, что она переменится. Но голландец указал ему на сеновал над конюшней, и Йоун Хреггвидссон проспал всю ночь на соломе. Под утро его разбудила странная птица, которая носилась перед окном, хлопая крыльями и свесив длинные ноги. На крыше было ее гнездо, и она пронзительно кричала. Голландец уже встал, и Йоун отправился с ним в поле. Весь день без передышки они перетаскивали хлеб с поля. Голландец показал Йоуну знаками, что считает его очень сильным. Йоун глубоко огорчился, что не может рассказать ему о Гуннаре из Хлидаренди. Два дня Йоун Хреггвидссон таскал снопы, а на третий выучился управляться с цепом и грохотом. Его сытно кормили, но когда он заикнулся о деньгах, то оказалось, что голландцу нечем платить батраку. Вся семья плакала, жалея, что это немое двуногое существо покидает их. Йоун Хреггвидссон тоже немного поплакал, но больше из вежливости, поцеловал всех и распрощался. Хозяин подарил ему пару деревянных башмаков, хозяйка — чулки, а малыш — голубую бусинку.

Йоун шел в прежнем направлении. Однако по-

дарки этих славных людей не слишком ускорили его путешествие, и через два дня ему вновь пришлось наняться на работу. На сей раз к важному графу, которому принадлежали земли чуть ли не всей провинции. У него были тысячи оброчных крестьян, крепостных и полукрепостных, свои надсмотрщики и управители. Сам граф не показывался, и говорили, что он живет в Испании. У графа Йоун проработал весь остаток лета. Он брался за любой труд, требовавший силы и выносливости. Он настолько выучился говорить по-голландски, что мог уже объяснить людям, что привело его сюда, на этот край света. Все голландцы знали про вулкан Гекенфельд в Исландии, в глубине которого пылает ад. Им очень хотелось узнать о нем побольше. Йоуна они прозвали Ван Гекенфельд.

Невидимый граф в Испании обманул Йоуна и не заплатил ему, а управитель советовал поблагодарить бога за то, что Йоуна не вздернули на сук. Но несколько бедных набожных голландцев собрали для него немного медяков и серебра, чтобы Ван Гекенфельд мог продолжать свой путь к датскому королю.

Йоун отправился дальше. Монетки он запрятал в один чулок, а другим, вывернутым наизнанку,

обвязал себе шею, как это делают пастухи, чтобы не сбиться с пути. Башмаки он связал и перекинул через плечо, а бусинка куда-то закатилась.

Глава четырнадцатая
Приключение у немцев

Была уже зима, когда Йоун Хреггвидссон добрался до немецкой земли. Много раз приходилось ему наниматься к голландцам в качестве вьючного животного, чтобы заработать себе на хлеб. Платили ему гроши. Хотя у голландцев всего имелось вдоволь, они были скуповаты, как все зажиточные крестьяне, и скудно вознаграждали своих батраков. Зато при случае здесь можно было кое-что стащить. Благодаря своему богатству голландцы не так боятся воров, как исландцы. Йоуну Хреггвидссону удалось таким способом раздобыть себе пару крепких сапог у какого-то герцога, владельца трех поместий. У этого герцога, незримого, как и большинство голландской знати, Йоун батрачил некоторое время, но сбежал, так как кормили там из рук вон плохо. Богачи везде, в Голландии и Исландии, одинаково жалеют лишний кусок батраку. Сапоги Йоун разыскал среди старого хлама и

зарыл их под терновым кустом за две недели до своего побега. Он нес их в мешке за спиной и, лишь отойдя миль на десять, решился надеть. Погода все портилась, а вместе с ней портилась и дорога, так что сапоги пришлись весьма кстати. Хоть почва в Голландии и мягкая, слякоть там холодная, особенно ранней осенью.

Моросил дождь. Вечерело. Путник вымок до нитки, а герцогские сапоги набухли и отяжелели от налипшей на них грязи. Перед ним, окутанная мглистым туманным сумраком, лежала Германия — страна знаменитейших воинов. А у Йоуна не было даже палки. Его мучил голод. В пограничной деревушке была лишь одна улица, церковь да постоялый двор, где путники могли подкрепиться и переночевать. У ворот стояли запряженные восьмеркой большие крытые рыдваны, которые еще до наступления ночи должны были отправиться в глубь империи; в них сидели сытые нарядные путешественники, с толстой мошной разъезжавшие по свету в сопровождении красивых женщин. Закутанные в шали пассажирки устроились на мягких сиденьях. Их спутники повесили на крюки свои пояса, плащи, шпаги и шляпы с перьями. Все это были важные господа, и вскоре они укатили. Йоун думал было взять себе

кружку чаю, этого необыкновенного ароматного напитка из Азии, который он впервые отведал в Голландии, — у него еще оставалось немного мелочи. Но его даже не впустили в харчевню.

Он стоял перед церковью и тихо ругался, как вдруг до него донесся запах горячего хлеба. Йоун огляделся и пошел на запах, который привел его прямо к пекарне, где булочник со своей женой как раз вынимал из печи хлебы. Йоун купил себе хлебец, выпросил в доме победнее немного пива и присел закусить на крыльцо. Люди поняли, что он вор и убийца, и не пустили его в дом. Из кухни слышался заливистый лай щенка, разбудивший кур во дворе. Громко загорланил их повелитель — петух. Остаток хлеба Йоун сунул за пазуху, пожелал хозяевам доброй ночи и бодро двинулся в путь под дождем, следом за почтовой каретой. Колея вела через арку на дороге, у которой стояли два голландских солдата с аркебузами, пропускавшие всех желающих. По ту сторону арки виднелась рощица, а за ней, на открытой поляне, — окруженная рвом крепость. Через ров был перекинут мост, и дорога, проходившая по мосту, вела прямо в крепость. В черных остроконечных фонарях перед большими каменными воротами слабо мерцали свечи, отливавшие под

дождем то синим, то желтым. Дорога была вымощена камнем, и из-под обитых железом колес вылетали искры. Крыша крепости была плоская, с бруствером, в котором были прорезаны бойницы для мушкетов и пушек. Это были ворота Германии.

У ворот стояли вооруженные до зубов солдаты, а за ними какие-то господа в пестрых камзолах с бумагами и гусиными перьями; всех проезжающих они заносили в большие свитки. Почтовые кареты проехали. Все немецкие воины были огромного роста, на головах у них красовались причудливые остроконечные шлемы, а усы закручивались, как бараньи рога.

Йоун остановился перед стражей, заглянул в ворота и хотел продолжать свой путь. Но внезапно два скрещенных копья преградили ему дорогу. С Йоуном заговорили по-немецки, и ему трудно было растолковать солдатам, кто он такой. Его обыскали, но не нашли ничего, кроме нескольких мелких голландских монет, которые солдаты тут же поделили между собой. Затем они затрубили в рог, и на зов явился какой-то мрачный великан. Солдаты хотели передать ему Йоуна, но великан пришел в ярость. Завязалась перебранка, из которой Йоун понял только одно слово: «Повесить».

Кончилось тем, что человек этот все же увел с собою Йоуна. Подталкивая его концом сабли, страж повел его по едва освещенной широкой лестнице в крепость. Они долго шли по лестницам и коридорам, пока не очутились в большом зале с зияющими в стенах открытыми бойницами, сквозь которые проникали ветер и дождь. Гигант так толкнул Йоуна в бок, что тот стремглав влетел в дверь. Было темно, как в могиле, и только фонарь в руке великана отбрасывал на пол матовый круг. Но когда великан уже хотел закрыть двери, Йоун поставил на порог ногу и, заговорив с ним по-голландски, потребовал у него объяснений. Как и большинство жителей пограничных селений, страж, когда хотел, понимал оба языка. Он пробурчал, что из этих дверей Йоуну уже не выйти.

— К сожалению, — прибавил он, — нынче не дозовешься парня, который вешает. За день он перевешал столько народу, что уморился и теперь дрыхнет со своим подручным.

Затем этот здоровенный олух ткнул Йоуна острием сабли в живот, заставив отскочить от двери, и пожелал ему доброй ночи.

— Эй, — крикнул Йоун, чтобы только продолжить беседу. — Почему бы тебе самому не взяться

за это? Я бы тебе охотно помог.

Великан объяснил, что он всего-навсего страж и не обладает правами и полномочиями палача. Да и никто на свете — даже сам господь бог не заставит его выполнять чужие обязанности. Но уж он ни за что не станет уклоняться от выполнения своего долга, возложенного на него самим императором.

— А что у тебя под курткой? — поинтересовался он.

— Убери лапы, это мой хлеб.

— На кой черт тебе хлеб, раз тебя завтра повесят. Я его конфискую именем императора, — Страж приставил саблю к груди Йоуна и вытащил у него хлеб из-за пазухи. Сунув саблю в ножны, он принялся жевать.

— Чертовски вкусный хлеб! Где ты его взял?

— В Голландии.

— Вы, голландцы, — трусы. Только и думаете, что о хлебе. Вот мы, немцы, о нем не думаем. Пушки куда важнее хлеба. Послушай-ка, а у тебя не найдется сыру?

Продолжая уплетать хлеб, он вновь обследовал куртку Йоуна, но ничего не нашел.

— Придет время, и мы, немцы, покажем вам, голландским обжорам, что значит думать только

о хлебе. Мы сделаем из вас кашу, сровняем с землей, сотрем в порошок… А может, у тебя водятся деньжата?

Йоун честно ответил, что последние скильдинги у него отняли люди в цветных камзолах.

— Ну, этому-то я верю. Разве эти прохвосты таможенники оставят что-нибудь бедному отцу семейства!

Снаружи кто-то закричал:

— Эй, Фриц фон Блиц, мы что же, больше не сразимся в кости?

— Иду, — отозвался страж. — Ты останешься здесь до прихода палача. А если попробуешь выпрыгнуть в окно, то все равно свернешь себе шею. Сейчас мне недосуг, меня зовут играть в кости.

С этими словами великан исчез, захлопнув за собой тяжелую дубовую дверь. Йоун стоял и ругался то громко, то тихо. Затем он начал осторожно обследовать зал, где ему предстояло провести ночь. Он то и дело наталкивался на какие-то свисавшие с потолка странные предметы, напоминавшие подвешенные в коптильне овечьи туши. Когда он прикасался к ним, они начинали раскачиваться. Однако ему повезло. Как раз в это время сквозь тучи проглянула луна, и ее бледный луч осветил трупы, висевшие на

балках. Головы у многих были свернуты набок, лица распухли, глаза закатились так, что виднелись одни белки. Руки у них были связаны за спиной, а пальцы на ногах безжизненно свисали. Но все это выглядело до того нелепо, что у Йоуна даже не возникло желания перерезать веревки, наоборот, — ему захотелось подтолкнуть тела, чтобы посмотреть, как они начнут раскачиваться. Йоун обошел всех повешенных и ощупал им ноги: может, у кого-нибудь еще крепкие башмаки. Он сделал это скорее по старой крестьянской привычке, совсем не думая о том, что обувь может еще пригодиться. Да и башмаки на них были незавидные.

Крестьянин ломал голову, как бы скоротать время в этом мрачном месте. Даже римы о Понтусе здесь казались ему неуместными. Все же он вспомнил, что если сесть под повешенным, вернее, под виселицей, это может принести счастье. Так поступали некогда король Один и другие великие мужи древности! Многое открывалось им, когда они сидели под виселицей. Йоун решил последовать их примеру. Он выбрал покойника, висевшего с краю. Здесь Йоун мог прислониться к стене и ждать, пока на него снизойдет откровение. Он чувствовал себя разбитым и едва

опустился на каменный пол, как впал в оцепенение. Так он некоторое время сидел в полусне под повешенными, прижавшись спиной к стене и свесив голову на грудь. Луна опять скрылась, и в зале стояла кромешная тьма. Вдруг Йоуна разбудил какой-то шум. Повешенный выбрался из петли и быстро слез по веревке вниз. Он бросился на Йоуна и принялся топтать его, корча гримасы, которые только мертвец и мог состроить. Он все сильнее топтал крестьянина, напевая при этом:

В зале, где призраки бродят,
Страшно висеть на крюке,
Если повешен впервые,
Впрочем, еще никому
Дважды повешенным быть
Не случалось на свете.
Висел бы он чинно и тихо,
И сердце в груди
Было б, как желудь, мертво —
Хреггвидссоново сердце.

— Хватит топтать меня, — закричал Йоун, который чуть не задохнулся. Ему удалось вырваться из рук призрака и схватиться с ним врукопашную. Завязалась такая борьба, что

камни раскалывались под их ногами. Другие повешенные тоже спускались со своих веревок, танцевали вокруг них пляску смерти, горланили непристойные песни, ругались и вообще вели себя неподобающе. Это продолжалось довольно долго. Йоуну казалось, что никогда еще ему не приходилось так туго. Под конец призрак стал брать верх, и Йоун решил, что ему ни за что не сладить со своим врагом. К тому же живой дрался с покойником, а повешенного второй раз не убьешь. Йоуну оставалось лишь одно — попытаться как-нибудь вырваться из когтей призрака и дать тягу. А поскольку покойники не очень ловки, какой бы мертвой ни была их хватка, то крестьянину в конце концов удалось освободиться. Он подбежал к стене, подтянулся к слуховому окну, прорезанному на высоте человеческого роста, и бросился вниз, не думая, куда упадет. Ров был наполнен водой, доходившей до основания крепостной стены. Йоун долго опускался, потом вынырнул и стал барахтаться. Ему показалось, что он снова угодил в торфяную яму. Только вместо дохлых собак здесь плавали разложившиеся человеческие тела. Барахтаясь как собака, Йоун переплыл ров и выкарабкался наверх. Его рвало, и у него зуб на зуб не попадал. Он осмотрелся и,

сообразив, куда попал, решил лучше двинуться обратно в Голландию, чем оставаться у немцев, рискуя нарваться на новое приключение.

Глава пятнадцатая

Йоун добрел до Амстердама — города, раскинувшегося на берегу большого залива, который голландцы называют Зюйдерзее. Это огромный торговый порт, откуда суда уплывают в далекую Азию. Теперь Йоун уже довольно бегло изъяснялся по-голландски, и ему удалось наняться носильщиком в торговый дом, у которого на одном из каналов были амбары и склады. Ему разрешили спать вместе с человеком, кормившим сторожевого пса. По ночам собака нередко заливалась яростным лаем, а иногда до рассвета не смолкал ее вой.

— Твой пес брешет громче всех собак в округе, — заметил как-то Йоун этому человеку.

— Это оттого, что он всех умнее.

— Какой уж тут ум! Воют одни суки. В сагах говорится, что в древности королем выбирали того, у кого был самый злой, а не самый брехливый пес.

— А что проку от пса датского короля?

— Собака твоего герцога просто сука.

— Ну, моя сука еще потягается с твоим кобелем.

— Может, пес у меня и не очень-то важный, зато немцы — а они знаменитые воины и настоящие мужчины — не долго бы раздумывали, как им поступить с твоей сучкой.

Йоун часто упоминал о немцах, которые отнимают у людей хлеб, а потом вздергивают их на виселицу, если, конечно, палач окажется под рукой. Он питал к этим удивительным людям уважение, смешанное со страхом. И все же немало гордился тем, что познакомился с ними.

Собака не переставала выть. Однажды на заре Йоун вышел из сарая и, отыскав обрывок веревки, задушил пса и бросил его в канал.

Потом Йоун долго шел вдоль канала, переходя один мост за другим. Жители еще спали; бодрствовали одни рыбаки да паромщики. Над баржей, стоявшей на канале, вился дымок, — там пили чай. Йоун окликнул людей на барже и попросил угостить его. Они спросили, кто он такой, и Йоун рассказал им, что прибыл из Исландии, где находится ад. Они пригласили Йоуна к себе, напоили чаем и завели с ним разговор о вулкане Гекла. Йоун сообщил им, что он родился и вы-

рос у подножья Геклы и поэтому его зовут Ван Гекенфельд. Люди хотели знать, виден ли ад с вершины Геклы и не мешают ли заглядывать в адское пекло свирепые птицы, которые с диким гомоном носятся над кратером. Йоун ответил, что не мешают и что однажды он поймал багром такую птицу. Они похожи на воронов, только клюв и когти у них железные. Люди поинтересовались, годятся ли эти твари в пищу. Йоун лишь посмеялся над их глупостью. Он добавил, что когти птиц можно употреблять вместо крючков, а клювы — вместо четырехпалой кошки.

— А почему не вместо клещей? — спросили Йоуна его собеседники.

— И впрямь, — согласился Йоун, — почему бы не вместо клещей?

Ему налили еще чаю, и один из слушателей спросил, не съездит ли он с ними нынче вечером в Исландию. Йоун отказался, заявив, что путь его лежит в Данию, где он непременно дойдет до самого монарха. Они пожелали, чтобы этого монарха побрали черти, и выразили надежду, что их герцог скоро пойдет на него войной.

— Пусть он остережется, — заявил Йоун.

Но они возразили, что будут биться за своего герцога до последней капли крови и не отступят

ни на шаг.

— Вон на канале стоит датский корабль. Хорошо бы потопить его! — добавили они.

Йоун поблагодарил голландцев за угощение и распрощался с ними. Он направился в гавань, поднялся на борт датского судна и почтительно поздоровался с матросами. Выяснилось, что все они из Гольштинии, а сюда приехали за хлебом и солодом. Поначалу они были довольно приветливы. Йоун попросил позволения повидаться со шкипером. Он — исландец, объяснил Йоун, и хочет попросить их взять его с собой. Узнав, что перед ними исландец, матросы принялись издеваться над ним, ибо для датчан нет более презренного народа, чем исландцы. Йоун упал на колени перед шкипером и плача поцеловал ему руку. Но шкипер ответил, что ему никто не нужен меньше всего исландец. А впрочем, пусть Йоун завтра придет.

Матросы накормили его, сказав, что исландцы всегда живут подачками других народов, иначе они все передохли бы.

Йоун вежливо их поблагодарил. Весь день он околачивался возле канала, ибо, с тех пор как он отправил пса на тот свет, он чувствовал себя в Голландии не слишком-то уютно. Ему разрешили

переночевать на палубе, под парусами. Но крестьянину повезло и на сей раз. Той же ночью два матроса с этого судна отправились повеселиться в город. Одного из них убили, а другого покалечили. После этого шкипер милостиво уступил мольбам Йоуна взять его на место убитого. Следующую ночь ему уже разрешили спать в трюме, а с рассветом они вышли в море.

Йоуну пришлось претерпеть немало издевательств, и все из-за того, что он был исландец. Когда неподалеку от Фрисландии судно попало в шторм и было унесено в открытое море, виновником бури сочли Йоуна. Его уже хотели связать и бросить за борт в надежде усмирить бурю. Спас Йоуна юнга, которому, возможно, пришлось бы лететь за борт следом за Йоуном. Он умолил шкипера не губить этого беднягу.

Когда буря улеглась, Йоун воспрянул духом. Он чувствовал, что здесь ему не помогли бы никакие россказни об аде, горящем в кратере Геклы. Датчанам не было никакого дела до ада, находящегося в Исландии. Зато он описал морякам своего прародителя Гуннара из Хлидаренди, который был ростом в двенадцать локтей, прожил триста лет и мог в полном вооружении прыгнуть на двенадцать локтей вперед и назад. Йоун

спросил, бывали ли такие люди среди датчан. В старое время, сказали они, и в Дании водились великаны.

— Да, — заметил Йоун, — разве что Харальд Боезуб, да и он ведь тоже мой предок.

Но вот они прибыли к месту назначения — в гольштинский город Глюкштадт на Эльбе. Наконец-то Йоун очутился на земле своего милостивого короля и повелителя. Вечером он легким шагом сошел на берег. Йоун, конечно, дал бы юнге скильдинг за свое спасение, если бы шкипер не прогнал его с судна, пригрозив побоями вместо жалованья.

Глюкштадт не мог произвести большого впечатления на человека, который исходил пешком всю Голландию. Хуже всего было то, что Йоун перезабыл все языки, а приходя в ярость, мог ругаться только по-голландски. До сих пор он был уверен, что сумеет отличить датский от всех прочих языков. Оказалось же, что он совершенно не понимает местного говора. Выпал иней. У Йоуна нашлась завалявшаяся голландская монетка. В поисках ночлега он показывал ее людям, но его отовсюду гнали с руганью, говоря, что деньги у него фальшивые. Кое-кто даже хотел потащить его в суд. Йоуна мучил голод. На улице было

скользко. Жители закрывали слуховые окна и спокойно ужинали у себя за столом. Когда навстречу Йоуну попадался человек с фонарем, то издали свет казался сперва клочком серой шерсти, затем вокруг него появлялся голубой нимб, как у луны, а вблизи фонарь походил уже на яичный желток. Из домов до него то и дело доносился дразнящий запах жаркого, а из трактиров пахло пряностями, табаком и вином. Йоун решил попытать счастья и там, — может, его пустят в конюшню или на сеновал.

Бродя в поисках ночлега, он внезапно натолкнулся на какого-то человека с фонарем. Это был дюжий бородач в шляпе с пером, плаще и ботфортах. От него за версту разило водкой. Он по-приятельски поздоровался с Йоуном. Друг друга они не понимали, но под конец Йоун догадался, что человек хочет ему добра и даже предлагает кружку пива. Йоун решил, что так оно и должно быть, поскольку он находился на земле своего короля, которая была целью его долгого странствия. Вдвоем они направились в большой трактир, где за массивными дубовыми столами бражничали солдаты. Настроены они были весело, но не слишком миролюбиво. Человек указал Йоуну на лавку в углу и сам сел рядом с ним. Хозяин — здоро-

венный детина с черными, как вороново крыло, волосами, не дожидаясь просьб, поставил перед ними пиво. Кружка, стоявшая перед его новым знакомым, была гораздо меньше той, что подали Йоуну. К тому же она вся была изукрашена причудливыми узорами и закрывалась серебряной крышкой, тогда как Йоуну пришлось пить из простого глиняного сосуда. Затем хозяин принес им водку: Йоуну — в оловянном стакане, а тому человеку — в маленькой серебряной стопке.

Было совершенно ясно, что языка этих людей Йоун не понимал. Поэтому хозяин и бородач некоторое время разглядывали своего гостя и шептались, словно сомневаясь, тот ли это человек, который им нужен. Это не мешало им, однако, беспрестанно подливать ему вина, и Йоуну было совершенно все равно, за кого они его принимают. Он продолжал пить и был в преотличном расположении духа, не думая о том, зовут ли его Йоун Хреггвидссон или еще как-нибудь. Кружка и стакан ни минуты не пустовали, и Йоун запел во все горло римы о Понтусе:

По одежде чужеземцев
Наши копья пустим в пляс…

Тут новый знакомый Йоуна вытащил из

кармана какую-то бумагу, положил ее перед крестьянином и велел ему поставить внизу крест, а хозяин придвинул чернильницу и новое гусиное перо. Йоун прикинул в уме, что вряд ли такие важные особы стали бы просить его подписать что-либо хорошее. Поэтому он твердо решил продолжать пить, пока в кружке остается хоть капля, и на все их уговоры отвечал одним словом: «Вешать», — проводя пальцем по шее. Этим он давал им понять, что они могут его повесить и так, независимо от того, подпишет ли он их бумагу. Если же тут имеется в виду нечто другое, а не виселица или еще какая-нибудь штука в том же роде, то он согласен, но только без подписи. Бородач подал знак солдатам, которые сидели на другом конце стола и не принимали участия в беседе. Они тут же встали и набросились на Йоуна. Крестьянин по старой привычке наградил их тумаками, но петь не перестал. Во время драки его белые зубы так и сверкали в черной бороде.

По одежде чужеземцев
Наши копья пустим в пляс.
И посмотрим, как он прочен,
И посмотрим, как он прочен,
Этот бархат и атлас.

Двоим нападавшим он хорошенько дал в зубы, а третьего ткнул кулаком в живот, но они все же одолели его, засунули ему в рот кляп и связали. Как только они свалили его наземь, Йоун крепко заснул и совершенно не помнил, что было потом.

Наутро его разбудил звук трубы. Он лежал в сарае, с потолка свешивались фонари, тускло освещавшие помещение. Он увидел вокруг других людей, не хуже и не лучше себя. Они валялись на сене, а какой-то офицер поднимал их палкой. Другой офицер подошел к Йоуну, осмотрел нового рекрута и при виде его лохмотьев ругнулся, как француз, помянув Иисуса и божью матерь. Йоуна потащили в церковь, которая служила теперь цейхгаузом. Там на него надели мундир, штаны и сапоги, нахлобучили на голову шапку и опоясали ремнем. Затем смотритель цейхгауза спросил у Йоуна его имя и национальность. Все это занесли в книгу. То же самое написали на куске холста, который прикрепили к одежде Йоуна. Теперь он именовался Иоганном Реквицем из Исландии. Йоуну и его товарищам дали хлеба и пива и вручили ружья и сабли.

На заре их погнали в поле. Стоял такой же туман, как накануне вечером. Пока они марши-

ровали по полю, все обходилось благополучно, хотя на них здорово орали. Но когда начались экзерциции со всеми тонкостями, предусмотренными военным искусством, тут Йоун спасовал и все делал невпопад. Вскоре резкие окрики сменились сердитыми угрозами, да еще на непонятном языке, а под конец на Йоуна посыпался град оплеух. Однако здесь Йоун не считал разумным платить той же монетой. Правда, от полученных побоев приказы не сделались понятнее. В конце концов офицеру все это надоело, и он бросил свирепый взгляд на кусок холста, нашитый на куртке Йоуна. Тут выяснилось, что Йоун исландец, и все принялись насмехаться над ним. После долгих мучений их вновь погнали в город, где они получили по миске горячей похлебки.

Три дня подряд Йоуна Хреггвидссона били и ругали на все лады, а на четвертый определили на кухню, где ему приходилось таскать воду, колоть дрова, выносить золу и помои и вообще выполнять всю черную работу. Хотя главный повар и его помощник были немцы, которых совершенно не интересовало, существует ли на свете страна, именуемая Исландией или еще бог весть как, но плиту растапливали датчане, и у вертела также стоял датчанин, жаривший мясо

для господ офицеров, датчанам же доставляло особое удовольствие сообщать Йоуну по всякому поводу и без повода, что Исландия вообще не страна, а исландцы — не люди. Датчане говорили, что вокруг адского кратера ютится вшивое племя рабов, которое питается затхлой ворванью и гнилой акулятиной да еще королевскими подачками. Йоун отвечал, что у них в стране и в самом деле есть дыра, ведущая в ад, и что оттуда отчетливо доносится датская речь, но при этом утверждал, что кое в чем эта страна может дать десять очков вперед всем прочим, ибо там живут одни высокородные герои и скальды. Датчане звали его не иначе как черный пес.

К счастью, иногда они говорили о другом, особенно о том, сколько им задолжали жалованья. В армии, кроме датчан, были люди разных национальностей и званий: саксонцы, эсты, венды, поляки, богемцы, разбойники, крестьяне и бродяги. Многие сомневались, что им заплатят раньше, чем армия одержит множество побед и завоюет новые земли.

Мало-помалу Йоун узнал, что войска, расквартированные в Глюкштадте, должны двинуться на юг, в страну, где есть высокие горы, которые зовутся Карпатами. Там солдаты будут воевать за

германского императора.[81] Одна датская армия уже отправилась туда и сражалась во многих местах, а теперь ей потребовались подкрепления. Поэтому датский король приказал поскорее послать ей на подмогу две тысячи солдат из Глюкштадта. Оказывается, король Дании и германский император — друзья. Человек, который присматривал за жарким на вертеле, утверждал, что войска в Карпатах покроют себя славой. Но обер-кухмистер припомнил, что случилось совсем недавно, когда датская армия вот так же воевала за германского императора, только в Испании. Тогда император посулил возвратить датскому королю старый долг в сто тысяч луидоров и уплатить сверх того сто тысяч гульденов, как только будет одержана победа.

— И что же, разве император завоевал Испанию? — спросил обер-кухмистер.

— Нет! — хором ответили его помощники.

— А эти луидоры? Были они выплачены?

— Нет!

— А сто тысяч гульденов?

---

[81] Примечания: 81

Там солдаты будут воевать за германского императора. — Нуждаясь в деньгах, датский король отдавал свои войска в наем германскому императору, воевавшему за испанское наследство, а также собиравшему войско для подавления венгерских мятежников, возглавляемых Ракоци. *(Прим. Л. Г.).*

— Нет!

— А где та армия, которая должна была получить жалованье?

— В земле!

— Это был неудачный поход, — заметил человек у вертела. — На войне бывают удачи и неудачи. Та датская армия, которая в прошлом году выступила в Ломбардию, покрыла себя славой. О ее подвигах поют песни. Она сражалась под Кремоной, где стояли французы, и теперь этих датских солдат называют кремонскими соколами.

— Что за чушь! — сказал обер-кухмистер. — Итальянский монах заманил их в сточную канаву, которая впадает в реку По. Говорили, что там произошло что-то вроде сражения и кое-кому даже удалось выбраться оттуда живым. Но позвольте спросить вас, что получили кремонские соколы, которые не сложили там свои головы? Мне рассказывал об этом один немец, побывавший там, так что я это знаю наверняка. Когда уцелевшим должны были уже выплатить жалованье, их офицер граф Шлибен в Венеции проиграл в кости все причитавшиеся им деньги. Домой им не на что было добраться, и их, точно баранов, погнали в Карпаты и велели воевать с диким племенем

мадьяров. А теперь нас снова уверяют, что им обещано жалованье, а королю — сто тысяч луидоров, если войска переправятся через Карпаты. Только одна награда ждет этих смертников, если они переправятся через горы, — еще две тысячи трупов.

— А мне страсть как хочется увидеть горы, — сказал человек у вертела. — Должно быть, здорово там воевать. Уж лучше потерпеть поражение в горах, чем одержать победу в сточной канаве.

Тут обер-кухмистер спросил:

— А что думает об этом Йоун Регвидсен[82], воевавший с сатаной и призраками на Гекле?

Но Йоун сказал только одно: ему-то ясно, кому достались денежки.

— Получай за это, — закричал человек у вертела, отвешивая оплеуху Йоуну, который сидел на колоде. Удар был такой сильный, что Йоун растянулся на полу.

На следующий день в кухне снова завязалась перепалка, и тут Йоун кинулся на своего начальника, который так рвался воевать в горах, стащил с него штаны и хорошенько ему всыпал. Протрубили сигнал тревоги. Полковая стража схватила

---

[82] Примечания: 82

Йоун Регвидсен — имя Йоуна Хреггвидссона, переделанное на датский лад. *(Прим. Л. Г.).*

крестьянина и потащила его к начальству. Офицеры — все до одного немцы — готовились к выступлению на юг, в Карпаты, и хлопот у них было вдоволь. К тому же почти все офицеры были изрядно навеселе и никак не могли столковаться между собой, как им быть с преступником. Одни хотели тут же четвертовать его, не теряя времени, то есть вырезать ему сначала сердце, наказать плетьми, а уж потом переломать кости, как и надлежит поступать по закону со всяким нарушившим субординацию в королевских войсках. Другие же настаивали на точном соблюдении параграфов закона, ибо справедливость нужна всегда, как бы люди ни были заняты. Наконец дело дошло до самого полковника, который по велению датского короля завербовал это войско, как и многие другие, и был облечен властью вершить в нем суд и расправу.

Так случилось, что крестьянин из Скаги отстал от своего полка, и на сей раз ему не довелось повоевать на юге за своего всемилостивейшего монарха.

Полковник, о котором упоминалось выше, был знатный и ученый дворянин, граф, барон и юнкер из Померании. Жил он неподалеку в рыцарском замке, куда и повели Йоуна Хреггвидссона. У во-

рот замка стояла стража с саблями наголо. В зале с большими окнами, через которые виднелись цветущие яблони в саду, сидел худощавый кавалер в шитом золотом мундире, в парике, опоясанный саблей, с белоснежными кружевными манжетами, в желтых шелковых панталонах и красных ботфортах, которые у колен образовывали двойные складки. Поверх всего был накинут синий бархатный плащ, такой длинный, что полы его лежали на ковре. Одну руку, согнутую в локте, он поставил на стол, подперев указательным пальцем бледную щеку, а другой перелистывал страницы толстого фолианта. Это и был сам полковник. Рядом с ним сидел неподвижный, как столб, адъютант, уставившийся в одну точку прямо перед собой, а напротив низко склонился над столом писец.

Страж Йоуна объяснил привратнику, что он привел некоего Иоганна Реквица из Исландии, который задал взбучку старшему по чину. Привратник доложил адъютанту. Все это время начальник не отрывал глаз от книги. Одну руку он положил на эфес сабли, а другой по-прежнему подпирал щеку. Адъютант передал ему, что привели исландца. Полковник велел Йоуну не переступать порога, а слугам приказал распах-

нуть настежь все окна. По залу загулял сквозняк. С минуту полковник молча с усмешкой разглядывал Хреггвидссона. Затем вдруг запахнул плащ, вскочил и быстро прошелся по залу, потягивая носом в сторону крестьянина. Потом снова сел, взял не торопясь понюшку из серебряной табакерки и предложил остальным последовать его примеру. Потом, все еще не отводя пристального взгляда от Йоуна, произнес несколько слов по-немецки, которые расслышал только адъютант. Не двигаясь с места, адъютант отрывисто сказал Йоуну по-датски:

— Мой господин вычитал в знаменитых фолиантах, будто от исландцев пахнет столь дурно, что, разговаривая с ними, следует держаться с наветренной стороны.

Йоун не ответил ни слова, и адъютант продолжал:

— Мой господин прочел там же, что в Исландии, в горе, которая зовется Геклой, находится обиталище самого дьявола и осужденных грешников. Это верно?

Йоун ответил, что не станет отрицать, и адъютант заговорил снова:

— Мой господин вычитал из книг, что, primo, в Исландии больше привидений, чудовищ и

чертей, нежели людей; secundo, что исландцы закапывают акулье мясо в навозные кучи, а потом жрут его; tertio, что исландцы, когда они голодны, снимают с себя башмаки и жуют их, как оладьи; quarto, что исландцы живут в землянках; quinto, они ни на что не годны; sexto, исландцы предлагают своих дочерей чужеземцам, чтобы те спали с ними; septimo, исландская девушка считается непорочной, пока у нее не родится седьмой внебрачный ребенок.

Йоун Хреггвидссон слушал, разинув рот, а адъютант продолжал:

— Мой господин прочел в ученых книгах, что исландцы, primo, нечисты на руку; secundo, лживы; tertio, хвастливы; quarto, вшивы; quinto, пьяницы, sexto, развратники, septimo, трусы, непригодные к военной службе.

Все это адъютант произносил с каменным лицом, а полковник продолжал скалить зубы, не отводя глаз от Йоуна.

— Это верно? — спросил адъютант.

Йоун Хреггвидссон сглотнул слюну, чтобы смочить пересохшую глотку. Адъютант повысил голос и повторил:

— Верно это?

Йоун выпрямился и ответил:

— В моем предке Гуннаре из Хлидаренди было двенадцать локтей росту.

Полковник что-то сказал адъютанту, после чего тот громко произнес:

— Мой полковник говорит, что если солдат, принесший присягу, лжет, он заслуживает колесования.

— Двенадцать локтей, — повторил Йоун. — Я от своих слов не отказываюсь. И жил он триста лет. На лбу он носил золотой обруч, а такого певучего копья не было ни у кого на всем севере. А наши девы, юные и стройные, приходят по ночам, чтобы снять с мужчин оковы. Их зовут златокудрыми, и говорят, что они похожи на аульвов.

Глава шестнадцатая

В Копенгагене, у дверей богатого дома, остановился солдат в почти новом мундире, опоясанный ремнем, в ботфортах, в черной треуголке, но без оружия. Постояв несколько минут, он начал нерешительно прохаживаться перед входом. Потом огляделся и медленно поднялся по лестнице. На верхней ступеньке он остановился. Слегка согнув ноги в коленях, закинув голову и сжав кулаки, разглядывал он высокий фронтон.

На двери висело металлическое кольцо, к нему был прикреплен дверной молоток, под которым помещалась маленькая наковальня. Когда тянули за кольцо, молоточек сильно ударял по наковальне и производил резкий звук, слышный во всем доме. Но солдат не умел пользоваться этим приспособлением и потому постучал кулаком. Убедившись, что никто не подходит, он заколотил сильнее, но снова без всякого успеха. Наконец солдат пришел в ярость и начал бешено молотить кулаками дубовую дверь.

Вдруг она распахнулась, и на пороге появилась похожая на карлицу горбатая женщина с выдающейся нижней челюстью. Подбородок ее упирался в грудь, руки были худые и непомерно длинные. Она зло взглянула на солдата. Он поздоровался с ней по-голландски. В ответ женщина обозвала его черным дьяволом и велела убираться подобру-поздорову.

— Арнэус дома? — спросил он.

Женщина на миг остолбенела, услышав, что какой-то солдат смеет произносить имя такого человека, да еще в его собственном доме. Немного опомнившись, она заговорила с солдатом на нижненемецком наречии, и ему показалось, что она и на этом языке обзывает его черным дьяволом.

Она собиралась было захлопнуть дверь у него перед носом, но он подставил ногу. С минуту она тянула дверь к себе, но вскоре поняла, что сила не на ее стороне, и исчезла в доме. Солдат убрал ногу. Однако у него не хватило духу последовать за женщиной. Так прошло некоторое время.

В доме было тихо, и солдат не двигался с места. Наконец он услышал негромкий разговор за дверью. Сначала он увидел чей-то глаз, потом тонкий нос и расслышал, как кто-то прошипел по-исландски:

— Что это здесь происходит?

Солдат сперва даже не понял, что к нему обращаются по-исландски, и сказал по-датски:

— Добрый день.

— Что случилось? — переспросил тот же голос.

— Да ничего, — ответил солдат на этот раз уже по-исландски.

Дверь сразу отворилась. На пороге стоял рыжеватый исландец с длинным лицом, прядями жидких волос на голове и глупыми бараньими глазами. Ресницы у него были белесые, а брови совсем редкие. Его била мелкая дрожь. Кафтан его был на рукавах изрядно потерт. Человек этот явно не годился для того, чтобы служить у столь высокопоставленного господина, хотя повадки

у него были не как у простых людей. Он сопел, чихал, мигал глазами, тряс головой, словно желая отогнать надоедливую муху, и все время тер нос указательным пальцем, а потом стал вдруг почесывать одной ногой другую. Трудно было понять, сколько ему лет.

— Ты кто такой? — спросил исландец.

— Меня зовут Йоун Хреггвидссон. Я из Рейна, что в Акранесе, — ответил солдат.

— Привет, Йоун, — сказал исландец, подавая ему руку. — Подумать только, ты позволил завербовать себя в солдаты!

— Я долго странствовал, и они забрали меня в Глюкштадте, в Гольштинии.

— Да, они здорово охотятся за бродягами. Уж лучше оставаться в Акранесе. Ну, ладно. Кстати, ты не родич Йоуна Мартейнссона?

Йоун Хреггвидссон покачал головой. Такого человека он не знал. Зато, сказал он, у него важное поручение к Арнасу Арнэусу.

— Ах, так ты не знаешь Йоуна Мартейнссона? Это хорошо. А сам ты родом из Скаги. Ну, что нового в Акранесе?

— Да ничего особенного.

— Кто-нибудь видел вещие сны?

— Сколько я помню, нет. Я знаю, что лишь дети

видят то, что произойдет завтра. А у баб перед переменой ветра ноют кости. А ты кто будешь?

— Йоун Гудмундссон из Гриндавика, по прозвищу Гринвицензис. Меня считают doctus in veteri lingua septentrionali[83]. Но главная моя слабость — это scientia mirabilium rerum[84]. Ну, да ладно, как я уже сказал. Ты случайно не привез нам чего-нибудь новенького? Неужели ты ничего не заметил особенного и ничего не слыхал о диковинных существах, обитающих на берегу Вальфьярдара?

— Вроде нет. Зато в Акранесе иной раз можно видеть морских чудищ, порою очень страшных. Ну, это, правда, не новость, даже если людям приходится вступать в единоборство с ними. Кстати, раз уж разговор зашел о чудищах, то здесь, в этих дверях, я видел пугало. Помесь тролля с карлицей, хоть и в образе женщины. Сроду не знавал такого страха перед живым существом. Когда я спросил про вашего хозяина, она обозвала меня по-немецки черным дьяволом.

Услышав это, исландец, которого звали Гринвицензис, вновь засопел, задергался и зачесал

---

[83] Примечания: 83
Знатоком древнего северного языка *(лат.)*.

[84] Примечания: 84
Наука о чудесах *(лат.)*.

правой ногой левую, а потом левой правую. Успокоившись наконец, он сказал:

— Могу ли я обратить внимание своего дорогого соотечественника на то, что если он хочет разговаривать с моим господином и повелителем, то ему надлежит помнить, что господин мой не крестьянин, как большинство жителей Исландии, хотя он, конечно, исландец. Он — благородный и знатный господин assessor in consistorio, Professor philosophiae et antiquitatum Danicarum[85] и высокоученый архивариус его королевского величества. Отсюда следует, что его возлюбленнейшая супруга, моя госпожа, — дама знатного рода, и ее надлежит величать подобающими и пристойными словами, а не подвергать насмешкам и глумлению. Но кто же тебя, простого солдата, мог послать к моему господину?

— Это уж моя тайна, — ответил Йоун.

— Пусть так. Но ведь у тебя есть на руках какая-нибудь бумага или свидетельство от знатного лица, из коих было бы видно, что тебе поручается говорить с моим господином.

— У меня есть такое свидетельство, которому он поверит.

---

[85] Примечания: 85

Асессор консистории, профессор философии и древней истории Дании *(лат.)*.

— Да, но, может быть, это все проделки того разбойника и висельника Йоуна Мартейнссона, чтобы выманить у нас книги и деньги, — возразил Гринвицензис. — И может, мне, Famulus in antiquitatibus[86] моего господина, будет дозволено взглянуть хоть глазком на эти доказательства.

— Я их покажу только ему. В Трекюлисвике я зашил их в свои лохмотья, а став солдатом, спрятал в сапог. Эти разбойники считали меня самым презренным ничтожеством, и никому и в голову не могло прийти, что у меня хранится такая ценность. Можешь передать это своему господину. Я мог не раз за нее откупиться, но предпочел терпеть голод и побои в Голландии, едва не угодил на виселицу в Германии, а в Глюкштадте позволил напялить на себя эту смирительную рубашку.

Тут ученый исландец вышел на лестницу, закрыл за собой дверь и попросил Йоуна пройти за дом. Они вошли в сад, где тихо стояли высокие деревья с голыми ветвями, опушенными инеем. Гринвицензис предложил гостю присесть на обледенелую скамью, а сам заглянул за угол и обшарил все кусты: он хотел убедиться, что поблизости нет врага. Лишь после этого он сел

---

[86] Примечания: 86
Ученику в древней истории *(лат.)*.

на скамью.

— Ну так и быть, — произнес он наставительным тоном, весь поглощенный своей страстью к науке. К сожалению, говорил он, ему не представился случай самому повидать мир, если не считать того времени, когда он еще учился в школе и ездил из Гриндавика в Скаульхольт. Дорогой он всегда старался примечать все диковинное и непонятное, особенно в Круссувике, Хердисарвике и Сельвогуре. С другой стороны, он всегда старался понабраться знаний и опыта у бывалых людей как низкого, так и высокого звания. К тому же у него много книг об этих предметах. И поскольку он убедился, что Йоун Хреггвидссон хорошо знает Германию, то хотел бы услышать от него: правда ли, что в лесных дебрях этой страны еще обитают полулюди-полукони, которых называют кентаврами.

Йоун Хреггвидссон ответил, что такие существа ему никогда не попадались, но зато в Германии он дрался с повешенным. Однако ученый исландец перебил его, сказав, что такого рода вещи уже доставили ему немало неприятностей. Ученые попугаи здесь, в Копенгагене, в том числе и Йоун Мартейнссон, называют людей, верящих в привидения, суеверными лжецами. Впрочем,

явление мертвецов на землю не относится к естественным наукам или даже к области чудесного. Это уже дело богословов. Но ему хотелось спросить у Йоуна, не встречался ли тот с великанами, ибо на эту тему Гринвицензис пишет как раз небольшой латинский трактат. Не слыхал ли крестьянин о костях великанов, найденных на горных пастбищах и на пустошах Норгарфьорда. Ведь чужеземцы в своих трудах придают большой вес вещественным доказательствам.

Йоун Хреггвидссон ответил, что не слыхал. Быть может, заметил он, кости великанов внутри мягкие и потому быстро распадаются. Зато крестьянин рассказал своему собеседнику, что сам он не далее как в прошлом году столкнулся на пустоши Твидегра с живой великаншей. Он самым подробным образом описал эту встречу и даже рассказал, как великанша подзадоривала его доказать свою мужскую доблесть. Ученый исландец нашел все это весьма интересным. Видно было, что солдат сразу вырос в его глазах. Он заверил Йоуна, что дословно занесет его рассказ в свою книгу «De gigantibus Islandiae»[87].

— Кстати, может, ты слыхал что-нибудь о ре-

[87] Примечания: 87
О великанах Исландии *(лат.)*.

бенке — если его вообще можно так назвать, — у которого рот на груди и который два года тому назад появился на свет в Эрлекьярселе во Флое?

Но об этом Йоуну решительно ничего не было известно. Зато он мог сообщить о ягненке с птичьим клювом, родившемся тому уже три года в Белькхольте на полуострове Мюрар. Ученый исландец по достоинству оценил столь интересную новость и добавил, что упомянет о ней в своей «Physica Islandica»[88]. Он заметил, что хотя Йоун и простого звания, но много знает и понимает и даже, как видно, довольно честный человек.

— Но, — добавил он, — боюсь, что мой господин не пожелает говорить с человеком столь низкого рода. Все же я попытаюсь помочь тебе, если ты еще не выбросил это из головы.

Так как Йоун не отказался от своего намерения, то Гринвицензис, засопев и согнувшись под тяжестью огромной ответственности, исчез в парадной двери, чтобы доложить о госте. Не успел он уйти, как Йоун услышал, что рядом на скамейке кто-то зевает. Обернувшись, он увидел, что возле него сидит невесть откуда взявшийся человек. Можно было подумать, что он свалился

---

[88] Примечания: 88
Природе Исландии *(лат.)*.

с неба вместе с инеем. Йоун не заметил, чтобы он вошел через калитку, вышел из дому или перелез через садовую ограду. Да и ученый Гринвицензис своими глазами убедился, что ни в кустах, ни за деревьями никого не было. С минуту они молча глазели друг на друга. Человек этот, как видно, озяб и засунул руки в рукава.

— Проклятая страна! Даже в мороз льет дождь, — заметил упавший с неба, пососав нижней губой верхнюю.

— Кто вы такой? — спросил Йоун.

— Погоди. Всему свой черед, — ответил незнакомец, ощупывая сапоги крестьянина. — Давай-ка меняться сапогами. В придачу получишь нож.

— Эти сапоги — собственность его величества.

— Плевать я хотел на его величество, — ответил человек совершенно равнодушным тоном.

— Плюй себе на здоровье.

— Тогда давай меняться ножами, все лучше, чем ничего. Втемную и без придачи.

— Я ничего не покупаю втемную.

— Я покажу тебе черенок своего ножа.

После этого они поменялись. Нож незнакомца был великолепен, а Йоун отдал ему просто кусок ржавого железа.

— Вечно я остаюсь в дураках. Все на меня плю-

ют. Ну, да это не важно. Пойдем-ка к докторовой Кирстен и выменяем нож на кружку пива.

— Какой нож? — спросил Йоун.

— Мой.

— Он ведь теперь мой, а я не собираюсь пропивать свой нож. Зато ты можешь пить сколько влезет на твой ржавый кусок железа.

— Выходит, что о тебе говорят правду, Йоун Хреггвидссон из Рейна. Ты и впрямь не только убийца и вор, но и сущий разбойник. Хотелось бы мне знать, какого черта ты околачиваешься вокруг этой нищей лачуги?

— Сам ты нищий. Скажи-ка лучше, что у тебя такое на ногах? Разве это башмаки? И чего ты суешь свои лапы в рукава? Твой-то дом где?

— Мой дом — роскошный замок по сравнению с этим, — ответил незнакомец так вяло и безучастно, словно он был не человек, а какая-нибудь старая кляча.

— Сдается мне, что ни у одного исландца со времен заселения страны не было такого прекрасного дома. А мы знаем из саг, что многие имели неплохое жилье.

Но незнакомец не дал сбить себя. У него была потребность высказаться. Говорил он быстро и невнятно, высоким, немного плаксивым голо-

сом. Казалось, будто он монотонно читает вслух древнюю книгу.

— Некоторые короли в сказках отдавали все свое достояние за какую-нибудь жемчужину и не один смелый юноша рисковал жизнью ради прекрасной принцессы или пускался в опасное плавание, чтобы добыть себе королевство. Допустим, что викингам и варягам, когда их заносило на север к берегам Естрикаланда[89] и Етунхейма[90], доводилось спать с ведьмами. Так было со славными героями Хальвданом Брёнуфостри[91], Иллуги Гридарфостри[92] и даже с Орваром Оддом. И это не повредило их славе. Но отдавать свою жемчужину, принцессу и королевство в придачу за ведьму — такого еще не бывало во всей истории.

---

[89] Примечания: 89

Естрикаланд — область на севере Швеции. *(Прим. Л. Г.).*

[90] Примечания: 90

Етунхейм — по скандинавской мифологии, страна, где обитали великаны; считалось, что она находится где-то на севере. *(Прим. Л. Г.).*

[91] Примечания: 91

Хальвдан Брёнуфостри — сын датского конунга, так же как Иллуги Гридарфостри — герой «лживой» саги, тоже сражался с великанами. О его подвигах рассказывается в «Саге о Хальвдане Брёнуфостри». *(Прим. Л. Г.).*

[92] Примечания: 92

Иллуги Гридарфостри — герой одной из так называемых «лживых» саг — саг фантастических по содержанию. Иллуги Гридарфостри прославился тем, что сражался с великанами и ведьмами. О его

приключениях рассказывается в «Саге об Иллуги Гридарфостри», относящейся к XIV в. *(Прим. Л. Г.).*

В этот момент из дома вышел ученый исландец Гринвицензис. Увидев, кто сидит рядом с Йоуном, он в ужасе воздел руки к небу и затем беспомощно опустил их, словно вконец растерявшись.

— И как я об этом не подумал! — воскликнул он. — Йоун Мартейнссон, изволь тотчас вернуть мне мою «Historiam litterariam»[93], которую ты стащил в праздник. А ты, Йоун Хреггвидссон, можешь повидать моего господина в библиотеке. Но прежде ты должен рассказать мне, какие еще каверзы затеял этот зловещий ворон.

— Мы обменялись ножами, — ответил Йоун, показывая свое приобретение.

— Так я и знал. Тот самый нож, которого недосчитался нынче утром мой господин.

С этими словами Гринвицензис вырвал нож у Йоуна. Во время этой сцены Йоун Мартейнссон зевал так, словно все происходящее его совершенно не касалось.

Уже войдя в дом, Йоун Хреггвидссон услышал, как он стал клянчить у Гринвицензиса на кружку пива.

---

[93] Примечания: 93
«Историю литературы» *(лат.)*.

Глава семнадцатая

— Добро пожаловать, Йоун Хреггвидссон, — спокойно и внятно произнес Арнас Арнэус низким голосом, казалось, исходившим от некоего всеведущего существа, которое в ясный летний день обращается к путнику с черной скалы и знает все, что тому довелось испытать в пути. Правда, крестьянин не уловил, слышалась ли в этом звучном голосе насмешка или только радушие.

Комната, куда его привели, была просторная и высокая. По стенам, от пола до потолка, тянулись книжные полки. Чтобы достичь самых верхних, приходилось взбираться по лестнице, как на сеновал. Окна находились очень высоко, под самым потолком. Крошечные стекла с свинцовым переплетом пропускали так мало света, что комната освещалась еще тонкой свечой, горевшей на бюро. В темном углу, вокруг массивного дубового стола стояли стулья с высокими спинками, а на столе — кувшин и несколько глиняных кружек. В другом углу высилась статуя какого-то человека или бога, а в третьем — жарко натопленная кафельная печь.

Хозяин дома заставил гостя сесть. В углу, на

подставке, стоял маленький бочонок. Арнэус вытащил втулку, нацедил в одну из кружек пенистого ростокского пива и поставил ее перед крестьянином.

— Промочи-ка себе горло, Йоун Хреггвидссон, — сказал он.

Йоун поблагодарил и выпил. Его мучила страшная жажда, и, когда пивной дух ударил ему в нос, Йоун радостно вздохнул и облизал бороду. Арнас Арнэус разглядывал его.

Видя, что гость не торопится выкладывать свое дело, Арнэус спросил его:

— Что тебе надо от меня, Йоун Хреггвидссон?

Вместо ответа Йоун нагнулся и принялся стаскивать сапог.

— Ты промочил ноги? — спросил Арнэус.

— Нет.

— Значит, ты поранил ногу?

— Нет.

Нога Йоуна была обернута тряпками, и, когда он размотал их, оказалось, что на один из пальцев надето золотое кольцо. Йоун снял его, вытер о штаны и протянул хозяину.

Арнэус холодно взглянул на кольцо, но тон его стал чуть более сдержанным. И когда он спросил гостя, как попало к нему кольцо, казалось, будто

сам он вдруг отодвинулся куда-то далеко.

— Златокудрая дева просила меня передать…

— Довольно, — перебил Арнэус и положил кольцо на стол перед гостем.

— Златокудрая дева просила меня передать… — повторил гость, но хозяин вновь не дал ему договорить.

— Не надо! — сказал он.

Йоун Хреггвидссон поднял глаза на Арнэуса и, должно быть, впервые в жизни оробел. Во всяком случае, ясно было одно: после такого долгого путешествия он не решался теперь выполнить поручение, которое все эти дни хранил в своем сердце. Он молчал, не осмеливаясь передать доверенные ему слова.

— Я слышал, ты убил человека, Йоун Хреггвидссон. Это верно?

Йоун Хреггвидссон привстал и ответил:

— Убил ли я человека или нет? Кто убил и кто не убил человека? Когда убивают и когда не убивают человека? Разрази меня гром, я никого не убивал. И все-таки…

— Странные речи, — заметил Арнэус без тени улыбки. На кольцо он больше не смотрел, но не отводил глаз от Йоуна.

— А сам ты считаешь себя убийцей? — спросил

он наконец.

— Как когда, я чуть было не сказал — не всегда.

— Не понимаю. В бумагах, присланных из Исландии, сказано, что ты обвиняешься в убийстве и в прошлом году был осужден на альтинге, но каким-то образом бежал из-под стражи. Теперь я спрашиваю тебя, что здесь правда, — и снова ничего не могу понять.

Тут Йоун Хреггвидссон повел рассказ о всех своих делах с богом и королем с того самого дня, когда голодной весной он украл леску, чтобы сделать себе удочку. Он рассказывал, как угодил в тюрьму, как два года назад помог разбить исландский колокол по приказу нашего всемилостивейшего короля. Как не сумел держать язык за зубами в разговоре с королевским палачом и был наказан за это плетьми, о чем господину Арнэусу уже известно, ибо после этого наказания он сам посетил Йоуна в его лачуге в Рейне. Он сообщил Арнэусу о внезапной смерти Сигурдура Сноррасона и о том, как сам он проснулся в подозрительной близости от мертвого тела. Он говорил о своем пребывании в Бессастадире; о сплошной темной ночи, когда он месяцами не видел света божьего, кроме как на рождество и на пасху; о приговоре, который ему вынесли в Тингведлире на Эхсарау, в том

месте, где бедному люду Исландии приходилось терпеть горькие муки и унижения; о ночи перед казнью, когда с него сняли цепи и когда он получил кольцо и приказ разыскать милостивого господина и молить его о спасении. О том, как он скитался после того, как потерял из виду берега Исландии и как проклинал эту страну. И как, наконец, после долгих скитаний по разным землям и странам, он — простой маленький человек из Скаги — притащился в этот зал и хочет умолить его всемилостивейшее величество, чтобы тот дозволил Йоуну мирно трудиться на своем жалком клочке земли.

Арнас Арнэус внимательно выслушал этот рассказ. Затем он раз-другой прошелся по комнате, откашлялся и снова сел в кресло.

— Все это так, — начал он медленно, глядя мимо гостя, словно мысли его витали где-то далеко. — Когда осенью я читал здесь, в канцелярии, копии судебных актов по твоему делу, мне было трудно на основании свидетельских показаний составить себе правильное представление о твоей виновности. Я не уловил ясной связи между следствием и приговором. Иными словами, мне показалось, что это один из тех замечательных приговоров, которые наши мудрые мужи и стол-

пы общества выносят по каким-то более важным мотивам, нежели справедливость.

Тут Йоун Хреггвидссон спросил, не может ли друг короля, человек, который сидит за одним столом с графами, добиться, чтобы его дело было пересмотрено и чтобы здесь, в Копенгагене, был вынесен другой, более справедливый приговор.

Арнас Арнэус вновь прошелся по комнате.

— К сожалению, — сказал он, — ты обратился не по адресу. В этом королевстве я не являюсь блюстителем закона и справедливости ни по своему роду занятий, ни по должности. Я всего-навсего жалкий книжный червь.

Он указал рукой на стены, уставленные книгами, и, посмотрев на крестьянина странно заблестевшими глазами, прибавил:

— Эти книги я купил.

Йоун Хреггвидссон глядел на книги, разинув рот.

— Если можно было купить так много книг, то неужто трудно замолвить слово, которое выкупит жизнь Йоуна Хреггвидссона? — произнес он наконец.

— В твоем деле Йоун Хреггвидссон ни при чем, — ответил, улыбаясь, Арнэус.

— То есть как это?

— Дело вовсе не в тебе. Все гораздо сложнее. Какое значение может иметь жизнь или смерть одного нищего? Целый народ не может жить милостью короля.

— Своя рубашка ближе к телу. Я знаю, что в доброе старое время не считалось достойным просить пощады. Но разве может бесприютный нищий бороться за свою жизнь против всего мира?

Арнэус снова внимательно посмотрел на этого человека, которого наказывали плетьми в Кьялардале, заковывали в кандалы в Бессастадире, приговорили к смерти на Эхсарау, колотили на дорогах Голландии, едва не повесили в Германии, а в Глюкштадте облачили в солдатский мундир. Теперь он сидел в гостях у него, Арнэуса, поставив рядом с собой свои, или, вернее, казенные, сапоги. Он хотел жить.

— Если твое дело так запутали, то лучше всего тебе самому исхлопотать аудиенцию у короля и устно изложить свою просьбу о пересмотре. Король не прочь лично видеть своих подданных и охотно и милостиво выполняет их просьбы, если считает таковые справедливыми. Но меня в это дело не вмешивай, ибо, спасая тебя, я не спасу ничего, и никому не будет пользы, если, занимая

этот пост, я стану просить о мелочах.

— Н-да, — вздохнул Йоун Хреггвидссон. — Значит, конец. Выходит, зря сидел я под повешенным. Но вот передо мной лежит это кольцо, которое мне велели передать, и я думаю, будет не слишком дерзко с моей стороны попросить еще кружку пива.

Арнэус налил ему полную кружку и подождал, пока он выпьет.

— Я к тебе зла не питаю, Йоун Хреггвидссон, и еще более теплое чувство я испытываю к твоей матери. Она сохранила шесть листов из «Скальды». И тебе благодаря этому кое-что перепадет, хотя и не так уж много. Кольцо, которое ты видишь перед собой, некогда украшало руку знатной дамы с юга. Как-то летней ночью в Брейдафьорде мне довелось надеть его на палец другой королеве. Теперь она вернула его мне, а я дарю его тебе. Эту драгоценность, которой любовались королевы, этого дракона, кусающего себе хвост, я дарю тебе, Йоун Хреггвидссон. Купи себе на него пива.

— Что нужно здесь этому солдату? Разве я не прогнала его?

В комнате стояла горбатая ведьма. Прическа наподобие башни и острый подбородок, напо-

минающий скалистый мыс, удлиняли ее и без того вытянутое лицо; и казалось, что рот у нее приходится где-то на середине груди. Ее визгливый, резкий голос нарушил тишину, царившую в библиотеке.

— Дорогая моя, — обратился к ней Арнэус. Он подошел к женщине и ласково потрепал ее по щеке. — Как хорошо, что ты пришла!

— Почему этот солдат снял здесь сапоги?

— Они ему, наверное, жмут, дорогая, — ответил супруг, продолжая ласкать ее. — Этот человек исландец, и он хотел навестить меня.

— Конечно, он исландец. От него по всему дому вонь пошла. И, уж разумеется, он пришел за подаянием, как это делают все исландцы у себя дома и в других странах, — что бы они ни носили — шерстяную ли куртку, плащ или солдатский мундир. Неужели, мой дорогой, вы недостаточно натерпелись с этим сумасшедшим Иоганном Гриндевигеном и этим сущим дьяволом Мартинсеном? Вчера этот проклятый Мартинсен украл у меня двух петушков, а сегодня я видела, как он прокрадывался в сад. А теперь вы пустили к себе еще одного из этих ужасных исландцев, За те полгода, что я ваша жена, мне пришлось истратить на лаванду больше, чем за все время

моего счастливого первого брака.

— Но, дорогая моя, таков уж мой несчастный народ, — заметил высокоученый архивариус, Assessor consistorii et Professor antiquitatum Danicarum. И он продолжал, хотя и с немного грустным видом, ласкать свою супругу.

Глава восемнадцатая

Йоун Хреггвидссон бродил по улицам, не зная, как убить время: его отпустили на целый день. Было бы не плохо заглянуть в погребок, чтобы утолить жажду, но у него оставалось лишь немного мелочи. Йоун нерешительно остановился на углу, а люди проходили мимо него. И вдруг один из прохожих заговорил с ним.

— Что? — удивился Йоун Хреггвидссон.

— Говорил я тебе, что толку ты не добьешься, — сказал ему человек равнодушным тоном.

Йоун промолчал.

— Я-то вижу его насквозь, — продолжал тот.

— Кого это?

— Кого же еще, как не этого плута Арнэуса.

— Ты украл кур у его жены.

— Подумаешь! После первого мужа ей досталось в наследство огромное поместье в Зеландии

и в придачу еще дома, корабли и бочка золота, — сказал Йоун Мартейнссон. — Послушай, приятель, какой смысл околачиваться здесь на улице. Пойдем-ка выпьем по кружке пива у докторовой Кирстен.

— Я и сам об этом подумывал, да боюсь, денег не хватит.

— У докторовой Кирстен человеку всегда подадут, лишь бы на нем были приличные сапоги.

Они спустились в погребок, и им подали любекского пива. Исландцы, жившие в Копенгагене, были, оказывается, хорошо осведомлены о деле Йоуна Хреггвидссона и его бегстве из Тингведлира на Эхсарау прошлой весной. Зато о его дальнейшей судьбе мало что было известно, пока он сам не явился сюда в мундире солдата, имя которого было занесено в воинский реестр королевской армии. За кружкой пива Йоун поведал о своих странствиях. Он умолчал, однако, о том, кто освободил его от цепей. Он никого не хотел предавать и сказал лишь, что знатная женщина вручила ему вот это красивое золотое кольцо, велев передать его самому знатному из исландцев, и человек этот должен был помочь Йоуну получить помилование. Затем Йоун рассказал своему новому другу, чем кончилась его встреча

с этим знатным господином. Он даже разрешил Йоуну Мартейнссону поглядеть на кольцо, и тот взвесил его на руке, чтобы прикинуть ценность этого сокровища.

— Хм, — заметил Йоун Мартейнссон, — я-то знался со знатными дамами и даже с епископскими дочками. Все девки на один покрой. Давай-ка лучше выпьем водки.

Когда они выпили, Мартейнссон снова предложил:

— Давай спросим французского вина и супу. Все одно, Исландия погрузилась в море.

— По мне, пусть сгинет хоть сотню раз.

— Вот она и сгинула.

Потом они запели:

Ай да Йоун, пьян с утра,
Пил и нынче и вчера.

Какой-то посетитель погребка заметил:

— Сразу можно услышать, что это исландцы.

А другой прибавил ему в тон:

— Не только услышать, но и почуять.

— Не плохо было бы, если б она сгинула, — повторил Йоун Хреггвидссон.

— Я же тебе сказал, что сгинула.

И они продолжали пить водку и горланить:

Ай да Йоун, пьян с утра,
Пил и нынче и вчера.

В конце концов Йоун Хреггвидссон попросил своего нового приятеля Йоуна Мартейнссона походатайствовать за него перед графом и королем.

— Спросим дичи и французского вина.

Им подали и то и другое. Посидев так некоторое время, Йоун Хреггвидссон вдруг с размаху всадил свой нож в стол и сказал:

— Вот когда я наелся досыта. Теперь Исландия снова начинает понемногу всплывать.

Йоун Мартейнссон жадно набросился на еду.

— Она погрузилась, — сказал он. — Она начала погружаться еще тогда, когда была поставлена точка в конце саги о Ньяле. Никогда еще ни одна страна не опускалась так глубоко, и ей ни за что не всплыть.

Йоун Хреггвидссон сказал:

— В Рейне жил однажды человек, которого наказали плетьми. И вот пришла Снайфридур, Солнце Исландии, и стала об руку с благороднейшим рыцарем этой страны, который знал

наперечет все саги о древних конунгах[94]. Но за ее спиной виднеются во мраке лица прокаженных, родные мне лица. Жил однажды человек, которого в Тингведлире на реке Эхсарау приговорили к смертной казни. «Завтра тебя обезглавят», — сказали ему. Я открываю глаза, а она стоит надо мной, светлая, вся в золотом сиянии, тонкая, как тростинка, и с такими синими глазами. А я — черный, чумазый. Она победила ночь и освободила меня. Она всегда останется настоящей королевой и златокудрой девой, светлой аульвой, даже если ее предадут. А я — черный, чумазый.

— Кончишь ты наконец свои vanitates[95]. Не мешай мне, пока я ем дичь и пью бургундское.

Они снова принялись за еду. Когда они наконец справились с жарким и вином и хозяйка поставила перед ними пунш, Йоун Мартейнссон сказал:

— Теперь я расскажу тебе, как переспать с епископской дочкой. — Он придвинулся к Хреггвидссону и шепотом растолковал крестьянину, что надо делать. Затем он выпрямился, хлопнул

---

[94] Примечания: 94

Саги о древних конунгах. — Саги о норвежских конунгах, в том числе знаменитая «Хеймскрингла», написанная в XIII в. крупнейшим исландским автором, историком и политическим деятелем Снорри Стурлусоном. *(Прим. Л. Г.).*

[95] Примечания: 95

Пустую болтовню *(лат.).*

ладонью по столу и заявил: — Вот и все.

На Йоуна Хреггвидссона это не произвело особого впечатления.

— Когда он вернул мне кольцо, я сказал себе: «Кто из нас больше достоин жалости? Он или ты, Йоун Хреггвидссон из Рейна?» Я бы не удивился, узнав, что с таким человеком стряслась большая беда.

Тут Йоун Мартейнссон вдруг вскочил со стула будто ужаленный. Он угрожающе сжал худые кулаки и вплотную придвинулся к Йоуну. Все его равнодушие как рукой сняло.

— Ну ты, дьявол этакий! Ты что же, хочешь накликать беду? Посмей только произнести имя, которое у тебя на уме, и больше тебе не жить.

Йоун Хреггвидссон вытаращил глаза.

— Да ты же его только что обозвал плутом, а про его дом говорил, что это жалкая лачуга.

— Только посмей произнести его имя, — шипел Мартейнссон.

— Заткнись лучше, не то я плюну тебе в морду, — сказал Йоун Хреггвидссон.

Но так как больше он ничего не говорил, Мартейнссон попросту отодвинулся от него.

— Никогда не принимай всерьез трезвого исландца. Милосердный бог открыл исландцам

лишь одну истину — водку.

И они снова затянули:

Ай да Йоун, пьян с утра,

Пил нынче и вчера.

Другие посетители погребка смотрели на них с ужасом и отвращением. Но вот Мартейнссон вновь нагнулся к Хреггвидссону и шепнул ему:

— Я хочу поверить тебе тайну.

— А я не желаю ничего больше слышать об этих треклятых епископских дочках.

— Вот, ей-богу, совсем не про них.

Он еще ближе подсел к Хреггвидссону и шепнул ему на ухо:

— У нас есть всего-навсего один человек!

— Всего один? Кто же это?

— Вот он один и есть. А кроме него — никого и ничего.

— Не пойму я тебя.

— Он все разыскал, — ответил Мартейнссон. — Все, что имеет хоть мало-мальскую ценность. То, чего он не нашел сам на чердаках церквей, в кухонных чуланах и в захламленных постелях, он скупал у знати и богатых хуторян за землю и за деньги, пока не разорил всю свою родню. Ведь он знатного рода. А за теми книгами, что были

вывезены из страны, он гонялся по всему свету, пока не нашел их, — одни в Швеции, другие в Норвегии, в Саксонии, Богемии, Голландии, Англии, Шотландии и Франции — и так до самого Рима. Чтобы расплатиться за них, он брал золото у ростовщиков мешками и бочками, и никто никогда не слыхал, чтобы он торговался. Некоторые книги он покупал у епископов и аббатов, у графов, герцогов, курфюрстов и королей, а кое-какие даже у самого папы. В конце концов он увяз в долгах, и ему грозила тюрьма. Только та Исландия, которую Арнас Арнэус купил ценой своей жизни, и есть настоящая, другой же никогда не было и не будет.

По лицу Йоуна Мартейнссона катились слезы.

Солнце клонилось к закату.

— А теперь я покажу тебе Копенгаген, город, который датчанам подарили исландцы, — сказал Йоуну Хреггвидссону его новый покровитель и проводник поздним вечером, когда они расплатились золотым кольцом за свою пирушку в погребке. Они получили даже сдачу и на эти деньги решили заглянуть к девицам.

— Этот город не только построен на исландские деньги, но и освещается исландской ворванью, — сказал Йоун Мартейнссон.

Йоун Хреггвидссон пропел строфу из древних рим о Понтусе:

Там, где бочка с винной влагой,
Там скупиться, друг, грешно!
Пей с веселою ватагой,
Пей с веселою ватагой,
Чтоб увидеть бочки дно!

— А вот это — королевский парк, где благородные господа в соболях встречаются с полураздетыми знатными дамами, которые носят золотые пряжки на туфлях, в то время как другие люди слезно вымаливают себе железные крючки и снасти.

— Может, ты думаешь, я не знаю, что не хватает лесок и крючков? — сказал Йоун Хреггвидссон. — Но теперь я хочу к девкам.

Они двинулись по набережной и свернули в центр города. Потеплело. Погода стояла мягкая, и на помощь исландской ворвани, тускло освещавшей улицы, пришла луна. По одну сторону улицы высились дома знатных господ, — один лучше другого. У них был тот холодный неприступный вид, который и является истинным признаком богатства. Перед этими внушительными зданиями красовались ворота из дорогого дерева, всегда

крепко запертые на замок. Йоун Мартейнссон продолжал просвещать приезжего.

— В этом доме, — сказал он, — живет благословенная Мария фон Хамбс, у которой самая большая доля в исландской торговле[96]. Боясь угодить в ад, она пожертвовала недавно уйму денег, чтобы бедняки могли раз в день получать миску похлебки, и теперь исландской торговлей живет не только треть населения этого города, то есть люди состоятельные, но ею кормятся и несчастные горемыки, которые бродили прежде по улицам с пустыми желудками, а когда околевали с голоду, то их бросали в канал. А вон тот освещенный дом во фруктовом саду, откуда слышатся музыка и пение, принадлежит Хинрику Муллеру, владельцу пристани у восточного фьорда. Кроме нас с тобой, дружище, нынче кутят еще многие. А домом с ангелом над дверью владеет один из самых богатых кавалеров города — Педер Педерсен, владелец пристаней в Батсендаре и Кефлавике. Говорят, ему стоит лишь поднять на ближайшем пиру платок короля, чтобы сделать-

[96] Примечания: 96

...доля в исландской торговле. — Имеется в виду доля в Исландской компании, образованной в 1602 г. С 1620 г. Исландская компания владела безраздельно правом монополии на торговлю с Исландией. *(Прим. Л. Г.).*

ся настоящим дворянином с приставкой «фон» и длинной немецкой фамилией.

Наконец они подошли к большому парку, обнесенному высокой оградой. Они посмотрели сквозь решетку. Стволы деревьев обледенели, а газоны искрились от инея. Весь этот ледяной ландшафт был залит лунным светом, который отбрасывал золотые блики на пруды парка. В ночной тиши пара белых лебедей скользила по воде, величественно выгибая шеи.

Посреди парка, под сенью могучих дубов, высился совсем недавно выстроенный роскошный дворец с островерхой крышей, скульптурным фронтоном, с эркерами из красного песчаника и нишами, в которых стояли на пьедесталах статуи. Каждая из четырех дворцовых башен с балконами завершалась шпилем. Дворец был почти готов, — достраивалась последняя башня. Луна золотила медные крыши.

Йоун Мартейнссон продолжал:

— Этот замок отделан с особой роскошью, чтобы поразить чужеземных послов и князей. Денег на это не пожалели. Камень возили издалека. Строил замок голландский зодчий; украшал — итальянский ваятель, залы были убраны французскими художниками и резчиками по дереву.

Йоун Хреггвидссон не мог оторвать глаз от всего этого великолепия. Белый, словно фарфоровый, лес, блестящая крыша, озаренная луной, пруд с лебедями, которые плыли по тихой воде, величественно выгибая шеи. Все это казалось сном.

— Этот дворец, — монотонно продолжал Йоун Мартейнссон с равнодушием человека, которому все это давно приелось, — этот дворец принадлежит родичу короля Ульрику Кристиану Гюльденлеве[97] — он же граф Самсё, барон Марселисборг, кавалер, адмирал, генерал-лейтенант, главный почтмейстер Норвегии, губернатор Исландии. Чрезвычайно благочестивый и добрый господин.

Вдруг Йоун Хреггвидссон словно очнулся от своего оцепенения. Он больше не смотрел в сад. Засунув пальцы под шапку, он почесывал себе голову. Придя в себя, он сказал:

— Ха, убил я его или не убил?

— Ты пьян.

— Хотелось бы мне, чтобы я его убил.

---

[97] Примечания: 97

Ульрик Кристиан Гюльденлеве. — Гюльденлеве — имя побочных детей некоторых датских королей. Ульрик Кристиан Гюльденлеве (1678–1719) — сын короля Христиана V, граф Самсе, барон Марселисборг, адмирал, командовавший датским флотом, а также Генеральный почтмейстер Норвегии и губернатор Исландии. *(Прим. Л. Г.).*

Глава девятнадцатая

Вот уже более ста лет народ по ту сторону Эресунна, в стране, которая зовется Швецией, жил в постоянной вражде с датчанами. Шведы не раз нападали на Данию, вторгались в ее пределы, подкупали крестьян, вымогали деньги у датского короля, бесчестили женщин и обстреливали из пушек Копенгаген[98]. Вдобавок они отняли у датчан плодородную землю Сконе.[99] Часто шведы объединялись с другими народами против датчан, но иной раз и датчанам удавалось с божьей помощью натравить на шведов далекие народы,[100] например, народ великого князя Московского.

---

[98] Примечания: 98

...обстреливали из пушек Копенгаген — см. прим. 49. *(Прим. Л. Г.).*

[99] Примечания: 99

...отняли у датчан плодородную землю Сконе. — В середине XVII в. шведы завоевали и присоединили к территории Швеции датские провинции Сконе, Халланд и Блекинге. *(Прим. Л. Г.).*

[100] Примечания: 100

...датчанам удавалось натравить на шведов далекие народы... — В самом конце XVII в. датский король Фредрик IV (1699–1730) отправил своего посланника в Москву, чтобы договориться с Петром I о совместных действиях против шведов. В 1699 г. была организована Северная лига — антишведская коалиция, в которую вошли Дания, Саксония и Россия. *(Прим. Л. Г.).*

Теперь, как и раньше, между соседями часто возникали нелады, причем и те и другие искали помощи в дальних странах.

В тот вечер, когда Йоун Хреггвидссон на пару с Йоуном Мартейнссоном пропил золотое кольцо и отправился ночевать к своему новому другу, он был в самом воинственном настроении и готов был сцепиться с этими негодяями, которые никогда не уставали мучить нищих исландцев. К сожалению, повода для драки так и не нашлось. Стража в городе была усилена, и жители получили приказ поддерживать строгий порядок: ожидалась высадка шведов. Йоун, правда, влепил прохожим несколько затрещин, но потасовка не завязалась, просто он получил в ответ два-три увесистых тумака. Все думали только о войне. Кто-то сказал, что шведам, конечно, мало одной Сконе. Теперь наступит черед Зеландии, а там они заберут остров Фюн и Ютландию. Какой-то человек спросил, где же флот, разве корабли не охраняют Зунд?

Другой сказал, что англичане и голландцы прибыли сюда на военных кораблях и делают вид, будто собираются прогуляться в Московию и поговорить с царем. Вот почему наш адмирал Гюльденлеве сошел на берег и остановился во

дворце, чтобы облапить на прощание свою возлюбленную Амалию-Розу.

По этому поводу Йоун Хреггвидссон спел строфу из древних рим о Понтусе:

Владычица песен, прощай!
Ночные рассеяны тени.
Пылает пожаром наш край.
Погибель трусливой измене!

На следующий день солдаты привели в порядок сапоги и плащи. А на заре забили барабаны, запели рожки и трубы и войско выступило в поход, чтобы ударить на врага. Каждый солдат нес на спине пятьдесят фунтов клади. Моросил мелкий дождь, дорога превратилась в сплошное грязное месиво. Многие, в том числе и Йоун Хреггвидссон, с трудом держали шаг. Основательно подвыпившие немецкие офицеры ехали сбоку, размахивая пистолетами и хлыстами.

Музыка давно уже смолкла, — у музыкантов онемели пальцы. Лишь трубач слабо блеял на своей трубе. Кто-то сказал, что шведы на больших кораблях подошли к берегу и выслали вперед разведчиков, которые уже завязали перестрелку с датским авангардом.

Йоун Хреггвидссон был голоден, как и его то-

варищ — южанин, шагавший рядом. Дождь шел не переставая. Над черными голыми деревьями с карканьем кружили в тумане стаи ворон. Войска проходили мимо крестьянских хуторов, длинных строений, в которых люди и животные ютились под одной крышей. Хлевы у датчан служили как бы продолжением человеческого жилья. На лугах паслись лошади и овцы. Соломенные крыши нависали так низко, что солдаты едва не задевали их плечом, на маленьких застекленных окошках висели занавески, и из-за них выглядывали молодые девушки; они пялили глаза на воинов, которые собирались расправиться со шведами именем короля. Однако вымокшим до нитки, измученным солдатам было не до девиц.

В одной из таких деревень к их роте подъехали три драгуна с хлыстами. Они о чем-то переговорили с ротным офицером, который скомандовал солдатам «стой». Драгуны проехали по рядам, пристально вглядываясь в лица солдат. Перед Йоуном Хреггвидссоном они остановились, и один из них указал на него хлыстом. Потом его окликнули тем немецким именем, которое дали ему на военной службе:

— Йоганн Реквиц!

Сначала Йоун не принял это на свой счет, но

когда его окликнули второй раз, товарищ толкнул его в бок, давая понять, что зовут именно его. Тогда Йоун поднес руку к шапке, как положено солдату. Ему приказали выйти из строя. Поскольку офицеры опознали в нем человека, которого искали, они подозвали двух возниц, связали Йоуна и бросили его в телегу, а затем его под эскортом конных драгун отправили назад в Копенгаген. По прибытии туда его потащили в какой-то дом, и там немецкие офицеры учинили ему допрос. Немцы были усатые, в нарядных мундирах, сбоку у них висели сабли, а на шлемах красовались султаны. Йоуна спросили, он ли будет Йоганн Реквиц из Исландии. Крестьянин, обросший, грязный, промокший до нитки и к тому же еще привязанный к двум вооруженным стражам, ответил:

— Я Йоун Хреггвидссон из Исландии.

— Ты убийца, — сказали офицеры.

— Да? Кто вам это сказал?

— Он еще смеет спрашивать, — удивился один из офицеров и приказал принести плеть и отстегать Йоуна. Плеть принесли, и Йоуна начали хлестать по спине и по лицу.

Потом офицер остановил порку и снова спросил Йоуна, убийца ли он.

— Пустое дело бить исландца, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Нам это не больнее, чем укус вши.

— Значит, ты не убийца? — повторил офицер.

Тогда офицер велел принести «патерностер». Как убедился вскоре Йоун, этот патерностер представлял собой веревку со множеством узлов. Ее надевали на голову и затем с помощью деревяшки закручивали до тех пор, пока узлы не впивались в череп так, что глаза чуть не выскакивали из орбит. Йоун решил, что запираться не стоит, и признал, что он убийца. Тогда с него сняли патерностер.

После этого Йоуна Хреггвидссона потащили в Синюю башню, куда согнали детоубийц и воров. Его раздели и напялили на него рубашку из мешковины. Затем его приковали к стене. С нее свисала тяжелая цепь с тремя кольцами. Одно из них надели Йоуну на лодыжку, другое замкнули вокруг пояса, а третье — на шее. Кольцо на шее закреплялось болтом, который назывался королевским. Кандалы тоже были королевские.

Был уже поздний вечер, а Йоун за весь этот день еще ничего не ел. Когда люди, которые приковали его, ушли и унесли фонари, он утешился тем, что вновь запел одну из древних рим о Понтусе:

Лишь из желудка и кишок
Идут запасы сил телесных.
Сокрыт в еде волшебный сок,
Сокрыт в еде волшебный сок,
Сильней всех сил чудесных!

Другие узники, заточенные в этой башне, проснулись и громко выругали его. Завязалась перебранка. Все орали, бранились, насмехались над ним. Однако Йоун Хреггвидссон сказал, что он исландец и ему плевать, нравится им это или нет. Он продолжал петь. Тогда они поняли, что ничего не поделаешь, и молча смирились со своей участью.

Глава двадцатая

Йоуну Хреггвидссону редко доводилось видеть такое сборище безродных нищих, ничего не смыслящих в сагах, как люди в этой башне. Сидя на привязи, подобно скотине, они дотемна теребили пеньку, и, кроме ругани и проклятий, ничего не было слышно. Йоун Хреггвидссон потребовал, чтобы его, как королевского солдата, перевели в крепость, где помещалась военная тюрьма и где бы он мог находиться в обществе

порядочных людей. Тюремщик насмешливо спросил, неужели это общество недостаточно хорошо для исландца.

Йоун спрашивал, на основании какого закона его поместили здесь и где приговор. Ему ответили, что король справедлив. Некоторые из узников, услышав это, стали проклинать короля, он-де только и делает, что развлекается со своей Катриной.

Казалось, из этой башни не было ни законного, ни незаконного возврата к человеческой жизни. Окна ее были забраны крепкими железными решетками и находились так высоко, что никому еще не удавалось заглянуть в них. Единственным развлечением узников были изредка пробегавшие по стене тени больших птиц.

Староста камеры, преступник, который просидел здесь чуть ли не целый век, рассказал, что однажды ему разрешили поглядеть в это окно. Он утверждал, что башня стоит на пустынном острове, далеко в море, а быть может, она так высока, что, когда смотришь с нее, берегов не видно.

Однажды в башню привели нового преступника, и он принес известие, что война кончилась, по крайней мере на время. Шведы высадились

у Хумлебекка[101] и одержали победу, а датчане потерпели поражение. Битва была не слишком кровопролитная, убитых и раненых оказалось сравнительно немного. Зато наш всемилостивейший король был вынужден принять крайне тяжелые условия мира. Все важнейшие крепости пришлось оставить, а новых строить теперь не разрешают. Но самое ужасное то, что нужно выплатить шведскому королю двести тысяч далеров звонкой монетой. Один из преступников удивился, как это король в столь тяжелое время сумеет наскрести такую кучу денег. Кто не знает, что у короля одни долги и нет денег даже на курево.

— Это уж дело немецкого графа фон Розенфалька, — заметил новый преступник. — Когда враг стал показывать зубы и потребовал деньги, король послал за этим молодым красавцем, и тот немедля выдал золото из своих подвалов.

— А кто этот граф фон Розенфальк? — спросил первый преступник.

— Да ведь это Педер Педерсен, — заметил вто-

---

[101] Примечания: 101

Шведы высадились у Хумлебекка. — В 1700 г. юный шведский король Карл XII (1697–1718) под прикрытием флота своих союзников Англии и Голландии высадился с войсками на острове Зеландия у рыбацкого поселка Хумлебекк, чтобы вынудить датского короля заключить перемирие, и в 1700 г. был заключен Травендальский мир, по которому Дания осталась без потерь. *(Прим. Л. Г.).*

рой.

— Какой еще Педер Педерсен?

— Сын старого Педера Педерсена.

Тогда все спросили хором, кто такой, черт возьми, Педер Педерсен.

Йоун Хреггвидссон ответил:

— Это тот, что взял в аренду пристани в Батсендаре и Кефлавике. Я когда-то знавал человека по имени Хольмфастур Гудмундссон. Так вот, он торговал и со старым и с молодым Педером Педерсеном.

Хотя Йоун Хреггвидссон изо дня в день, из недели в неделю то слезно умолял стражу, то яростно требовал передать начальнику тюрьмы, который здесь назывался комендантом крепости, чтобы его дело вновь рассмотрел хоть какой-нибудь суд, все было напрасно. Ни один суд не хотел этим заниматься. Трудно было также установить, как крестьянин очутился в этой тюрьме и кто его сюда засадил.

Однажды утром тюремщик, который приносил узникам похлебку, подошел к Йоуну Хреггвидссону, пнул его ногой и сказал:

— Вот тебе, чертов исландец!

— Дорогой мой, — отозвался Йоун Хреггвидссон с улыбкой, — как хорошо, что ты пришел.

— Вчера вечером я пьянствовал с твоим земляком, в погребке докторовой Кирстен, и во время кутежа он выманил у меня сапоги. Мне пришлось возвращаться домой босиком. Чтоб вас всех черт побрал!

Но случилось невероятное. С того вечера, когда Йоун Мартейнссон кутил с тюремщиком из Синей башни, прошло всего несколько дней. И вот однажды утром в тюрьму явился немецкий офицер в сопровождении двух городских стражников. Офицер распорядился немедленно расковать Йоуна Хреггвидссона. Затем они повели его с собой.

— Меня наконец обезглавят? — обрадованно спросил Йоун.

Они ничего не ответили. Сначала Йоуна Хреггвидссона повели к коменданту крепости. Тот перелистал книги и нашел в них Йоганна Реквица из Исландии. Офицер и комендант взглянули на Йоуна, что-то сказали друг другу по-немецки, и оба кивнули головой. Затем его привели в глубокий погреб, где среди густых клубов пара склонились над лоханями две прачки. Этим женщинам было приказано вымыть Йоуна с головы до пят и натереть ему голову щелоком. Йоуну казалось, что, с тех пор как голландцы обливали его водой на своем корабле, ему не приходилось

терпеть горших мук. Затем ему вернули все его обмундирование, вымытое и вычищенное, и те самые сапоги, которые ему удалось уберечь от Йоуна Мартейнссона. После этого послали в город за цирюльником, и тот так искусно подстриг ему волосы и бороду, что крестьянин стал походить на прихожанина в воскресный день. Йоун думал, что его ждет красивая, хорошо обставленная казнь в присутствии двора и знати.

— А женщины тоже будут? — спросил Йоун Хреггвидссон, но его вопроса никто не понял.

На улице их ждала карета, запряженная парой. Немец сел на заднее сиденье, а Йоуна Хреггвидссона со стражами по бокам посадили напротив. Усевшись, немец не подавал никаких признаков жизни и только время от времени рыгал. Стражники тоже сидели как истуканы. Вскоре карета подъехала к большому каменному дому с широкой парадной лестницей, где на каменных цоколях восседали два грозных каменных льва. Над дверью была прибита высеченная из камня уродливая маска, похожая не то на зверя, не то на человека, не то на дьявола. На лестнице стояли рослые солдаты в парадной форме, неподвижные, будто изваяния, с нахмуренными лицами.

Сначала Йоуна Хреггвидссона повели по лест-

нице, затем через высокую темную прихожую, где горела всего одна свеча. Здесь он поскользнулся и едва не упал на холодный каменный пол. Затем пришлось подняться по еще более крутой лестнице, где он все-таки упал. Отсюда они прошли по настоящему лабиринту коридоров и зал, где сидели знатные господа в черном и о чем-то совещались между собой. Согбенные седовласые старцы с морщинистыми лицами, в долгополых одеяниях, склонялись над своими бюро и писали суровые приговоры другим людям. Крестьянину казалось, что он попал в высшее судилище мира, вознесенное высоко над всеми прочими судами.

Наконец они пришли в зал, не очень большой, но лучше освещенный. Окно, доходившее чуть не до пола, было занавешено тяжелыми шторами, которые отбрасывали серые тени, так что комната была погружена в полумрак, придававший всему призрачный вид. На стене висел портрет его всемилостивейшего величества в юности, написанный яркими красками. Король был изображен в парике до плеч и в мантии с меховой опушкой, такой длинной, что шлейф в три локтя лежал на полу. Рядом висели портрет его покойного отца и портреты обеих королев.

За дубовым столом в середине зала сидели че-

тыре дворянина в белых мантиях, в белоснежных париках и с большими воротниками, а также генерал в шитом золотом мундире, с золотыми шпорами и при шпаге, эфес которой был усыпан бриллиантами. Лицо у него было синее, а кончики усов загибались почти до самых глаз.

У окна, полускрытые тяжелыми занавесями, тихо беседовали двое знатных господ, не обращая ни малейшего внимания на четверых, сидевших за столом. Казалось, что эти двое не имели никакого отношения к делам, которые решались здесь, и все же их присутствие было необходимым. Они не оборачивались, когда в комнату заходили новые люди, и силуэты их четко вырисовывались в луче яркого света, проникавшего с улицы. Йоуну Хреггвидссону показалось, что в одном из них он узнал Арнаса Арнэуса.

Писцу было приказано достать книги, и снова началась церемония, которая состояла в выяснении вопроса о том, действительно ли этот человек — Йоун Хреггвидссон. Когда это было сделано, почтенные господа начали просматривать бумаги. Один из них важно вскинул подбородок и торжественным тоном обратился к крестьянину. Затем генерал с синим лицом и бриллиантами на шпаге также сказал ему несколько слов, прав-

да, более резко. Йоун Хреггвидссон решительно ничего не понял. После этого один из знатных господ, стоявших у окна, человек с усталым грустным лицом и ласковыми глазами, подошел к Йоуну и обратился к нему по-исландски. Он говорил медленно, приглушенным голосом.

— В течение зимы выяснилось, что под знаменами короля служит человек из Исландии, который является беглым преступником и прошлой весной был приговорен альтингом на Эхсарау к смертной казни. Как только это стало известно властям, был издан указ срочно задержать этого человека и немедля привести приговор в исполнение. Это едва не случилось. Однако в последний момент один знатный исландец обратил внимание короля на то, что, по его мнению, в судебном решении обоих тингов по этому делу был допущен ряд неточностей.

Затем исландец попросил трех главных судей передать ему собственноручное письмо его величества и оттуда прочел крестьянину несколько мест, где говорилось, что, поскольку не представляется возможным выяснить, на каком основании был вынесен вышеуказанный приговор, ходатайство Йоуна Хреггвидссона удовлетворяется. Ему дозволяется, под нашим

покровительством, беспрепятственно вернуться в нашу страну Исландию, дабы лично явиться к своему законному судье в альтинге на Эхсарау и, поскольку он сам того желает, просить о пересмотре своего дела в верховном суде здесь, в нашей резиденции в Копенгагене. Мы также обещаем ему наше всемилостивейшее покровительство и дозволяем вернуться в качестве свободного человека из нашей страны Исландии в Копенгаген, чтобы здесь дожидаться приговора или оправдания, согласно нашим законам и усмотрению нашего верховного суда.

Генерал передал исландцу и другое письмо, которое по-латыни называлось salvum conductum, то есть охранная грамота. Оно гласило, что Йоганну Реквицу, родом из Исландии, пехотинцу взвода капитана Троа, генералом Шенфельдом предоставлен отпуск на четыре месяца для поездки в Исландию, чтобы он мог на месте добиться справедливого решения своего дела, а затем вернуться в главную королевскую резиденцию — Копенгаген и продолжать свою службу под знаменами короля. После этого исландский чиновник передал оба письма — охранную грамоту короля с предложением явиться в верховный суд и salvum conductum датского командования

— Йоуну Хреггвидссону.

Затем Арнэус вновь вернулся к окну. Одна сторона его лица была освещена, другая оставалась в тени. Он задумчиво смотрел на улицу, и казалось, что он не имеет никакого отношения ко всему происходящему здесь. Больше он ни разу не взглянул на Йоуна Хреггвидссона.

Впоследствии крестьянину так и не удалось вспомнить, как он выбрался из этого большого дома. Внезапно он очутился на базарной площади, а оба льва и страшная маска остались у него за спиной. Стражники, которые привели его сюда, исчезли. Исчез и немецкий офицер, словно снег, растаявший под лучами солнца. Небо было ясное, и крестьянин вдруг увидел, что на дворе весна, так как деревья оделись зеленой листвой. Пахло лесом, и в тишине безветренного дня неумолчно щебетали птицы.

Хверадалир, Хеллисхейди
Зима 1942/43 года

Часть вторая
Златокудрая дева

Глава первая

Спокойно и плавно несет свои воды глубокий Тунгу. Восточнее Скаульхольта Тунгу впадает в Хвитау — реку, вытекающую из глетчера. В междуречье по берегу тянутся сперва поросшие тростником болота, а там, где местность слегка поднимается, широко раскинулось большое селение. Посреди него, на самом высоком месте, расположена усадьба, окруженная со всех сторон дворами арендаторов. Это Брайдратунга. Здесь, в Брайдратунге, сидит у себя в комнате синеглазая женщина с золотыми волосами и вышивает по покрывалу древнюю сагу о Сигурде из рода Вёльсунга, который одолел дракона Фафнира и завладел его золотом.

Окна в ее комнате чисто вымыты, и сквозь них видно, чем заняты люди в селении. По сухим, заросшим травой берегам реки вьются проселочные дороги. На реке мелькают снующие во всех направлениях лодки перевозчиков, но Скаульхольта не видно — он скрыт холмом Лангхольт. Женщина сидит в резном кресле, обложенная со всех сторон подушками с бахромой, ноги она поставила на маленькую скамеечку. Альков с ее постелью завешен пологом, на котором вытканы

фигуры героев древних сказаний. У противоположной стены, под скатом, стоят зеленый ларь с ее одеждой и массивный буковый поставец. Ближе к дверям висит на крюке роскошное седло с множеством латунных украшений, — здесь переплелись в битве тела драконов, людей и ангелов. На седле выгравированы имя владелицы, число, месяц и год. Все седло обтянуто тисненой кожей, прикрепленной латунными гвоздиками, а сверху лежит свернутый чепрак тонкой работы. На луке седла висит уздечка. Можно подумать, что женщина собирается в дорогу. В комнате стоит странный, чуть удушливый запах.

С юга, со стороны переправы через реку Хвитау, откуда дорога тянется вниз на Эйрарбакки, поднимаются несколько человек.

Трое из них верхами. Двое всадников поддерживают третьего, едущего посредине. Четвертый идет пешком и ведет под уздцы лошадь среднего всадника, который, видимо, старший в этой компании. Голова его свесилась на грудь, шляпа сбилась на лицо, из кармана плаща высовывается парик. Похоже на то, что его выволокли из болота, а может, и откуда-нибудь похуже. Мужчины держат путь в Брайдратунгу.

Если смотреть на усадьбу с дороги, она кажется

великолепной: пятнадцать домов с островерхими крышами, не считая других строений, иногда даже двухэтажных, обращены фасадами на юго-запад. Фасадные стены ближайшего к дороге дома — деревянные. В такой ясный весенний день, как сегодня, когда солнце золотит крыши и бревенчатые стены, господская усадьба, возвышающаяся над зеленеющей равниной, выглядит очень богатой.

Но едва путник подходит ближе, чары рассеиваются и вся картина словно меняется на глазах. Вблизи усадьба сильно теряет, ибо находится в состоянии полного упадка: все строения обветшали, стены покосились или обрушились. Можно подумать, что здесь прошел оползень. Сквозь худые торфяные крыши проросла трава, из стен вывалились камни, и во многих домах и хижинах обитают вместо людей грибы или животные. Сени, дверные рамы и другие деревянные части сгнили или рассохлись, самые большие трещины в стенах заткнуты торфом. Зачастую во всем доме найдется лишь одна целая оконная рама. Кожа, которой затянуты окна, во многих местах потрескалась, и отверстия заткнуты рогожами или мешковиной с сеном. Каменные плиты двора либо ушли в землю, либо в беспорядке разброса-

ны по двору. Удивительно, что в такой большой усадьбе почти не видно людей. У забора, накрыв шапками лицо, спят в полуденной тишине два рослых батрака. Над ними щебечут птицы. Старуха на негнущихся ногах, видных из-под короткой юбки, пытается собрать граблями навоз, разбросанный по двору, но все ее старания тщетны, так как сквозь навоз уже успела прорасти трава.

В дом стучится экономка. Она приоткрывает дверь и обращается к хозяйке:

— Снайфридур, дорогая, юнкер вернулся. Его привезли крестьяне из Флоя.

Хозяйка не подняла глаз от работы, таким маловажным нашла она это известие, и ответила столь невозмутимо, словно речь шла о теленке:

— Пусть его отнесут к нему в комнату. Поставь ему кувшин с кислым молоком и закрой дверь на засов.

— А если он выскочит в окно? — спросила экономка.

— Значит, наше молоко ему не по вкусу.

— А людям ничего не давать?

— Предложи им, если они хотят пить, кувшин молока пополам с водой. Мне надоело угощать всякого, кто его притащит.

Вскоре провожатые съехали со двора, руга-

ясь, отплевываясь и всячески выказывая свое презрение к хозяевам. Тот, который раньше вел лошадь, сидел теперь верхом, а всадник, ехавший посредине, остался в доме. Мужчины пронеслись галопом через выгон, примяв траву копытами своих лошадей. Батраки по-прежнему спали у забора. Из дому доносилось не то какое-то мычание, не то вой.

Немного погодя кто-то стал, спотыкаясь, взбираться по лестнице наверх, и дверь в комнату распахнулась настежь.

Хозяйка еще ниже склонилась над рукодельем и стала упорно выдергивать нитку, которую вовсе не надо было дергать. В дверях стоял мужчина и смеялся. Она не мешала ему смеяться и лишь через некоторое время подняла на него глаза. Он, как видно, уже добрую неделю не брился и весь оброс, под глазом у него красовался синяк, а через все лицо, пересекая нос, тянулся шрам, покрытый запекшейся кровью. У него не хватало двух передних зубов; руки были в ссадинах. Он продолжал смеяться, корчил страшные гримасы и раскачивался взад и вперед, так что трудно было угадать, куда он упадет — в комнату или за дверь.

— Я многое простила бы тебе, Магнус, — сказала

она, — если бы ты не позволил выбить себе эти два зуба в прошлом году.

Затем она вновь опустила глаза.

— Как ты смеешь так разговаривать с юнкером из Брайдратунги? Ты что за шлюха?

— Твоя жена, — ответила она, продолжая вышивать.

Он ввалился в комнату и, обмякнув, словно пустой мешок, плюхнулся на ларь. Полежав немного, он набрался сил и поднял голову. На его синем распухшем лице глаза казались совсем белесыми, лишенными всякого осмысленного выражения.

— Разве я не самый знатный человек в этой части страны? Разве я не сын судьи из Брайдратунги, самого богатого человека в трех приходах? А моя мать — разве она не весила больше двухсот фунтов?

Снайфридур молчала.

— Может быть, твой род знатней моего, но зато ты женщина без души, да и без тела.

Она не отвечала.

— В Брайдратунге матроны всегда отличались дородностью, — сказал он. — А у моей матери была к тому же еще и душа. Она научила меня

читать «Семь слов спасителя на кресте»[102]. А ты что такое? Красивая аульва. Обман чувств. Мираж. Что мне, рыцарю, юнкеру и кавалеру, прикажешь делать с этими узкими бедрами и длинными ляжками? И к тому же я взял тебя из отцовского дома обесчещенной, это в шестнадцать-то лет! А та, что грешила в детстве, так и останется развратной. Убирайся к чертям. Мне нужна настоящая баба. Катись отсюда! Пошла.

— Попробуй пойти к себе в комнату и проспаться, Магнус, — заметила она.

— В другой раз, когда у меня не будет на водку, я продам тебя.

— Что ж, продай.

— Почему ты никогда не спрашиваешь у меня, что нового?

— Когда ты проспишься, я спрошу тебя, если ты только не будешь слишком горько плакать.

— Разве ты не хочешь знать, кто приехал?

— Я знаю, что ты приехал.

— Врешь, я-то уехал, а приехал кто-то другой. — Затем он заорал: — Он приехал! — И снова повалился на ларь, словно вложив в этот вопль

---

[102] Примечания: 102

«Семь слов Спасителя на кресте» — одна из распространенных преимущественно у католиков медитаций на тему страстей господних. *(Прим. Л. Г.).*

свои последние силы. Опустив голову на грудь, он бормотал в полусне: — Наконец-то он прибыл — в Эйрарбакки, на корабле.

Она вздрогнула, подняла глаза и спросила:

— Кто прибыл?

Он продолжал бормотать что-то себе под нос и вдруг заревел:

— Кто же еще, как не тот, который должен отменить все приговоры. Кто же, как не тот, который любил дочь судьи. Тот, из любви к которому эта бездушная женщина наставляет мне рога, тот, с которым эта распутница спала в родительском доме еще совсем девчонкой. Тот, кого эта девка… тот, кого ей не видать как своих ушей, — он-то и прибыл.

Она посмотрела на него и улыбнулась.

— Дорогой Магнус, утешайся тем, что я пошла за тебя не из нужды. Я могла выбирать среди самых знатных женихов.

— Шлюха, — сказал он, — все то время, что ты жила со мной, ты любила другого…

Он поднялся, качаясь, вырвал у нее из рук покрывало и хотел ударить ее по лицу. Однако он был слишком пьян для этого.

Она оттолкнула его и сказала:

— Не бей меня, милый Магнус, а то, когда ты

придешь в себя, ты еще сильнее будешь плакать.

Он упал навзничь на ларь, и вскоре его грубая ругань затихла. Лежал он под самым скатом, подбородок его опустился на грудь, рот приоткрылся; через несколько минут он захрапел. Она смотрела на спящего, и ни одна черточка на ее лице не выдавала ее мыслей. Наконец она отодвинула от себя пяльцы и встала.

Она принесла таз с водой и мыло и положила мужа так, что ноги его свешивались с ларя.

Затем она стащила с него сапоги, осторожно переворачивая с боку на бок, раздела и тщательно обмыла ему тело и ноги.

Покончив с этим, она придвинула ларь вместе с лежавшим на нем мужем к алькову, отдернула полог, сняла с постели покрывало, взбила пуховую перину, перекатила мужа в постель на белоснежные простыни и укрыла его. Затем она задвинула ларь на место, задернула полог, села в свое кресло и вновь принялась вышивать.

Глава вторая

На другой день после возвращения юнкера домой в усадьбу нагрянули гости: окружной судья из Хьяльмхольта, богач Вигфус Тораринссон, его

зять Йоун из Ватну, втайне торговавший водкой: когда у самого управителя фактории в Эйрарбакки выходила вся водка, Йоун продавал ее за деньги или в обмен на землю, — и еще двое зажиточных крестьян. Их сопровождало несколько конюхов.

Гости вели себя немного странно, словно находились у себя дома. Они спешились на выгоне перед усадьбой, приказали слугам пустить лошадей на пастбище неподалеку от того места, где, как вчера и позавчера, спали на солнце оба батрака, и прошли к амбарам. Они поковыряли пальцами трухлявое дерево, сокрушенно покачали головами при виде пустых дверных рам и направились к дому, где произвели такой же осмотр. Затем они без стука вошли в сени.

Хозяйка стояла у окна. Она обернулась к больному мужу, лежавшему в ее постели, и спросила его:

— Что нужно здесь судье?

— Верно, я что-нибудь натворил, — пробормотал юнкер, не двигаясь с места.

— Я-то ему, во всяком случае, не нужна.

Юнкер с трудом вылез из ее белоснежной постели. Он походил на покойника, долго пролежавшего в гробу. Она подала ему одежду, и он

сошел вниз к гостям. Тут выяснилось, что юнкер продал зятю судьи Йоуну из Ватну свою вотчину Брайдратунгу вместе со всем движимым и недвижимым имуществом. Теперь новый владелец заехал сюда по пути на альтинг, прихватив с собой двух оценщиков, чтобы оценить скот и хозяйственные постройки, относительно которых при продаже не было достигнуто окончательной договоренности. Часть денег уже была выплачена, на что у Йоуна из Ватну имелась расписка Магнуса Сигурдссона. Как они договорились, он привез с собой еще денег для очередного взноса. Они прошли в комнату юнкера, стены которой были обшиты панелями. Потолок кое-где обвалился, а в стенах зияли трещины и щели. Сквозь одну из дыр в комнату попадали земля, щебень и вода. Гости расселись на ларе и кровати, вытащили документы и показали хозяину.

Сделка была заключена по всем правилам в Эйрарбакки, там же подписана купчая и заверена свидетелями. Юнкер продал усадьбу, восемьдесят соток земли, за сто шестьдесят рейхсталеров, из коих сорок были уже выплачены, еще сорок выплачивались при передаче усадьбы, что должно было произойти сегодня, а остальное подлежало уплате в течение последующих десяти лет. Кроме

того, крестьянин из Ватну имел право купить скот и хозяйственные постройки по цене, установленной оценщиками. Теперь они обратились к юнкеру с вопросами насчет этого имущества, однако он дал весьма невразумительный ответ. Не в его привычках, сказал он, считать свой скот. Насчет коров они могут спросить скотницу, овец же, коль им охота, пусть сосчитают на выгоне.

Они предложили ему водки, но он поблагодарил и отказался. С незапамятных времен усадьба Брайдратунга была вотчиной одной и той же зажиточной крестьянской семьи, из которой вышло немало священников, судей и других королевских чиновников. Некоторые из них получили дворянство и титул юнкера, чем члены этого семейства не прочь были похвастаться, когда бывали навеселе.

Когда после кончины отца, члена альтинга, Магнус Сигурдссон вступил во владение усадьбой, здесь еще оставались немалые богатства. Но род уже начал вырождаться. Сестры и братья юнкера Магнуса умерли в юности от чахотки. Сам он рос в отцовском доме балованным и своенравным ребенком, и, когда его отправили в семинарию в Скаульхольт, он не смог выдержать ни царивших там строгих порядков, ни тех напряженных уси-

лий, которых науки требуют от сынов Минервы. Юноша покатился по наклонной плоскости: стал ленив и апатичен и избегал всякого напряжения. Он отличался привлекательной внешностью: хорошее сложение, красивое цветущее лицо, гладкая кожа — признаки сытой жизни. Но с юных лет он усвоил привычку ходить с поникшей головой, опустив глаза, словно ему было неприятно смотреть на людей. Он был угрюм, и от всего его существа веяло холодностью, а в грубом голосе часто слышались жалобные нотки. Женщины находили, что у него необыкновенно красивые глаза. Он был состоятельным человеком. Но в этой стране, где каждую весну сотни людей умирают от голода, нет человека, на котором не лежала бы печать присущего всему народу бессилия, — сколько бы бочек с маслом и сыром ни стояло у него в кладовой.

Узнав от школьного наставника, что сын его вряд ли овладеет книжной премудростью, но что у юноши, видимо, имеются некоторые художественные наклонности, отец решил отправить его в Копенгаген, дабы он изучил там какое-нибудь ремесло, как это делали сыновья знатных исландцев еще в древние героические времена.

В роду владельцев Брайдратунги насчитыва-

лось немало искусных мастеров, хотя, по обычаю своего времени, они и посвящали себя наукам. Вскоре по прибытии в Копенгаген сей юный отпрыск знатной исландской семьи узнал от местных щеголей, с которыми не преминул свести знакомство, что за границей ремесло уже не считается достойным занятием для людей знатных — в отличие от былых времен, когда скальды не гнушались заниматься кузнечным делом. Теперь же, напротив, на учившихся ремеслу смотрели как на последних бродяг и нищих, ибо в известной степени они были рабами своего мастера. Им только по воскресеньям давали штоф водки, в будни же они поднимались с зарей, пасли свиней и делали свою работу по дому, ложились позже всех, терпели побои мастера и ругань подмастерьев.

Зиму Магнус из Брайдратунги провел сначала в ученье у шорника, а потом у серебряных дел мастера. Два года после этого он то пьянствовал, то хворал, а через три года вернулся на родину. Но и то, что он успел узнать за короткое время ученья у двух мастеров, позднее немало ему пригодилось. В первый год своей супружеской жизни, когда он спокойно сидел дома между двумя запоями, он мог заняться изготовлением седел или латунных

украшений. Он работал старательно и с усердием, нередко отличающим искусного любителя от опытного мастера. К тому же он обладал врожденным художественным вкусом. Этой работой, за которую он принимался в промежутке между запоями словно для покаяния, он снискал себе даже более широкую известность, чем настоящие серебряных дел мастера или шорники. С годами эти промежутки стали очень короткими, так что он едва успевал привести в порядок хозяйственные постройки и инструмент, чему он, впрочем, также уделял не слишком много времени.

Дома он был неизменно трезв. Каждый запой начинался с того, что он исчезал из дому. Обычно он ссылался при этом на какие-нибудь неотложные дела в Эйрарбакки. В дни этих вылазок он проводил время с датчанами, которые надолго приезжали в Исландию по торговым делам, а часто оставались и насовсем. В первый день он пил с управителем фактории, на второй — с его помощником, на третий компанию ему составляли уже приказчики или даже грузчики со складов. Чем больше длился запой, тем менее разборчив он становился, пока наконец не докатывался до какого-нибудь спившегося пастора из Флоя или Хреппара. Но и они скоро бросали его, и тогда

наступал черед бедных арендаторов Эйрарбакки и других горемык; а за ними следовали бродяги. Порою, выпив, он странным образом забредал в другие округи. Когда он бывал во хмелю, какая-то неведомая сила гнала его с места на место, в такие уголки, которые ему и во сне не снились. Он мог очутиться в совершенно чужом приходе, где-нибудь на отмели или под забором или же у какой-нибудь отвесной скалы, и, бывало, проходили целые сутки, прежде чем ему удавалось сообразить, в какой стороне его дом. Иногда он валялся поперек дороги и приходил в себя от того, что какой-нибудь бездомный пес мочился ему в лицо. Случалось ему очнуться в ручье или в луже или же на берегу реки. Бывало и так, что ему везло: тогда он приходил в себя в какой-нибудь убогой хижине, лежа на голом полу в собственной, а то и в чужой блевотине. Другой раз он просыпался в постели какого-нибудь бедняка, нередко прокаженного, рядом с невесть откуда взявшейся бабой, а несколько раз — божьей милостью — на чужом брачном ложе.

После столь утомительных вылазок он в конце концов возвращался домой. Иногда сердобольные люди доставляли его на носилках или на лошади. Своих собственных лошадей он терял ли-

бо менял на водку. Порой, однако, он приползал ночью на карачках, промокший, часто больной или избитый, иногда с переломами и почти всегда кишевший вшами.

Обычно его встречала сама хозяйка. Она обмывала его, словно вещь, обирала с него вшей и провожала в комнату с панелями, которую затем запирала на ключ. Если он был очень слаб, она сперва ненадолго укладывала его у себя наверху. Очнувшись, он еще долго чувствовал себя совершенно разбитым, и она поила его отваром из трав и другими целебными настоями, чтобы унять его плач. Через несколько дней он словно воскресал из мертвых: бледный, обросший, с просветленным лицом и страдальческим блеском в глазах, он походил на человека, которому приоткрылась завеса смерти; на лики святых, которые висят в алтаре. Он всегда был скуп на слова, и язык у него развязывался лишь после третьего кубка, который называют кубком Гилария[103] в обычное же время, особенно после очередной вылазки, из него нельзя было слова вытянуть.

Весна всегда была тяжелым временем. Овцы тощали после долгой зимы; худые, как скелет,

---

[103] Примечания: 103
Гиларий (Hilarius) — веселый, радостный *(лат.)*.

коровы приносили жалких телят и оставались лежать, не в силах подняться, и почти все лето не давали ни капли молока; лошади не годились даже на то, чтобы возить треску. Откуда же было взяться деньгам? Слуги, доносившие юнкеру о состоянии хозяйства, неизменно получали один и тот же ответ: «Разве ты не скотник, не пастух? А ты разве не скотница? Попросите трески у экономки. Не я выдаю харчи».

Экономка Гудридур Йоунсдоутир была прислана в Брайдратунгу еще в первый год замужества Снайфридур супругой судьи Эйдалина, приказавшей Гудридур следить за тем, чтобы ее молодой госпоже не пришлось пойти с сумой. Гудридур считала, что только в этом и состоит ее долг как перед богом, так и перед людьми. Однако хотя Гудридур и рассматривала себя как служанку, или, лучше сказать, как посланницу супруги судьи, на ее плечи легли все заботы по хозяйству, ибо сама Снайфридур не интересовалась ничем, кроме своего рукоделия, и никогда не вмешивалась в домашние дела. Так эта женщина из Далира, присланная сюда издалека, была вынуждена взять на себя управление этой прославленной усадьбой на юге страны. Ведь иначе она не смогла бы выполнить наказ своей госпожи, супруги судьи,

которая велела ей следить за тем, чтобы у ее дочери было вдоволь еды, чтобы ей прислуживали за столом, чтобы комната ее была защищена от ветра и непогоды, а с наступлением холодов обогревалась небольшой печуркой.

Едва только к юнкеру возвращались силы после его вылазок, он внимательно осматривал комнату жены, лазил на крышу проверить, плотно ли уложен торф, и забивал щели в стенах. Ибо в глубине души он любил жену, и ничто не страшило его так, как угроза Гудридур увезти ее.

Время от времени, до очередного запоя, юнкеру удавалось даже починить некоторые службы, но, к несчастью, дела его были обычно настолько плохи, что у него не оказывалось под рукой нужных материалов.

После своих вылазок юнкеру редко удавалось пожить в покое. Через два-три дня в усадьбу являлись представители власти — окружной судья, староста, пастор, судебный чиновник. У всех было к нему одно дело — привлечь его к ответу за какие-нибудь проделки, совершенные им во время последней вылазки, или заставить выполнить взятые им обязательства. Иногда ему даже предъявляли законные документы, подписанные им во время очередного странствия. При этом

не раз оказывалось, что он сбыл с рук один из своих хуторов, — большую часть их он уже продал. Зимой прошлого года он даже не пощадил и усадьбу, продав один из ее участков, сданный в аренду. Иногда он продавал лошадей или скот. Полученный им задаток обычно исчезал необъяснимым образом к тому времени, когда он узнавал о заключенной им сделке из составленных по всем правилам документов, скрепленных его подписью. Всякий раз он продавал свою шляпу и сапоги, и бывало, что возвращался домой без штанов. Случалось, что он покупал мимоходом лошадей, коров, или овец, или даже целые хутора, после чего к нему являлись люди с неразборчиво написанными бумагами и требовали свои деньги. Сплошь да рядом с него взыскивали денежное возмещение за причиненный ущерб, — он часто сбивал с людей шляпы или рвал на них одежду. Порой у него требовали компенсации за то, что он врывался в дома к каким-нибудь беднякам в Эйрарбакки и насиловал их жен. Другие жаловались, что он обзывал их собаками или ворами и даже живодерами и в присутствии свидетелей угрожал убить их. За все это его постоянно привлекали к суду и штрафовали.

В трезвом состоянии Магнус Сигурдссон был,

в сущности, очень застенчив, избегал ссор и чурался людей, как животное, которое прячется в своей норе. Трезвый, он готов был сохранить мир любыми средствами: заплатить за весь ущерб, причиненный им во время запоя, особенно если это можно было сделать без дальних слов. Он охотно платил обиженным, если бывал при деньгах, без рассуждений раздавал им свое движимое и недвижимое имущество; он даже вырывал орудия из рук своих людей и отдавал их пострадавшим, если требования не шли дальше этого. Он охотно одаривал охапкой сена человека, с чьей женой он поступил не в полном согласии с десятью заповедями; молча снимал с себя платье, чтобы отдать какому-нибудь жителю Эйрарбакки или Флоя, которого он обругал вором или собакой. Иные были готовы удовольствоваться его публичным покаянием, но как раз это было для него горше всего. Когда пострадавшие уходили, он нередко поднимался в комнату жены и плакал, не говоря ни слова, иногда дни и ночи напролет.

— Он продал усадьбу, — воскликнула экономка Гудридур, подслушивая у двери, и в полном отчаянии бросилась наверх к хозяйке. — Я знаю, моя госпожа в Эйдале никогда не простит мне этого.

— Мой муж всегда был предприимчивым человеком, — ответила Снайфридур.

— Он не оставил вам ни одной коровы. Проклятый судья явился собственной персоной, чтобы оценить скотину, и нам придется нынче же покинуть усадьбу. Вас выбрасывают на улицу. Как я покажусь теперь на глаза моей почтенной госпоже?

— Мне уже давно хотелось стать бродяжкой, — сказала Снайфридур. — Хорошо, должно быть, спать на лугу рядом с новорожденными ягнятами.

— А мне остается пойти и утопиться, — продолжала Гудридур. — Видит бог, она мне строго-настрого наказывала приглядеть за тем, чтобы вас не пустили по миру, а теперь вот вас выгоняют на улицу и довели до нищенской сумы. Как же я оправдаюсь перед своей госпожой?

— Может быть, и она следом за мной пойдет по миру, — сказала Снайфридур.

Экономка оставила без внимания столь неразумные речи и продолжала:

— Сколько раз мне приходилось прятать, точно краденое, ту малость, что я отложила для вас: свежее масло, вяленую камбалу, свежие яйца и баранину, чтобы он не вздумал отдать это в

искупление вины какому-нибудь дурню из Флоя или девке из Эльвеса за то, что переспал с ней. Да вот хотя бы прошлой зимой: поздно ночью кто-то взломал и очистил мои лари, и, если бы я тогда же не сбегала в Скаульхольт к вашей сестре, вы остались бы на следующий день без завтрака. Но это всего лишь ничтожный пример той борьбы, что мне изо дня в день приходится вести с этим тираном, которого господь покарал ранами и язвами. А теперь дошло до того, что у вас нет ни пяди земли на юге. Думаю, что нам с вами остается лишь одно: отправиться домой, на запад.

— Что угодно, но только не это, — спокойно возразила Снайфридур глухим голосом. — Что угодно, но только не это.

— Молю бога, чтобы эта ужасная река здесь на юге унесла в море мой труп и мне не пришлось бы с таким позором явиться на глаза моей почтенной госпоже, — проговорила, едва не плача, эта большая, сильная женщина.

Дочь судьи встала и поцеловала ее в лоб.

— Ну, ну, милая Гудда, — сказала она, — не надо слез. Ступай теперь к судье и скажи ему, что хозяйка хотела бы приветствовать старого друга.

Это был один из тех старых почтенных чиновников, которые каждую весну съезжаются

на альтинг. На его обветренном морщинистом лице с бесцветными глазами застыло сонное выражение. Брови его были высоко подняты, как у человека, который тщетно борется со сном во время скучной речи противника. Он был совершенно глух к доводам других, особенно к таким доводам, которые зиждятся на человеческих слабостях. С незапамятных времен женщины из рода Снайфридур привыкли к хладнокровному покровительству таких мужчин.

Она встретила его улыбкой, стоя в дверях своей комнаты, приветствовала как гостя и собрата своего отца и сказала, что ее всегда огорчает, если большие господа проезжают мимо, не удостоив вниманием слабую женщину. Она, дочь судьи, сказала Снайфридур, жена которого всегда славилась своим гостеприимством, могла бы рассчитывать на другое отношение.

Он поцеловал ее, и она пригласила его сесть. Достав из поставца бутылку ароматного кларета, она наполнила кубки. Он погладил свои седые баки, медленно откинулся назад и так шумно вздохнул, что могло показаться, будто он стонет.

— Верно, верно, истинная правда, — вымолвил он наконец. — Гм, гм, я еще хорошо помню прабабку вашей милости. Она родилась в папистские

времена и до самой своей смерти оставалась стройной и белокурой, а пятидесяти лет, уже будучи вдовой двух судей, вышла замуж за покойного пастора Магнуса из Рипа. В Исландии были красивые женщины. Правда, в иные времена их мало, вот как сейчас, потому что прекрасное всегда умирает раньше всего остального. Но кое-где они живут и здравствуют. Quod felix![104] Истинная правда! Ваше здоровье.

— К несчастью, дорогой господин Вигфус Тоурариннссон, — ответила хозяйка дома, — теперь и рыцарей стало меньше, чем в дни вашей юности.

— Бабка вашей милости тоже была замечательная женщина. Гм… гм… Она была одной из тех царственных матрон, которыми всегда славился Брейдафьорд. Истинная дочь своей страны, она не только знала латынь и умела слагать стихи, но и получила в наследство усадьбу стоимостью в двенадцать тысяч коров. Она взяла себе в супруги человека с востока, из Тингмули, уехала с ним в Голландию, где он выучился на брадобрея, а потом сделала его правой рукой губернатора и величайшим версификатором на всем севере.

---

[104] Примечания: 104
Какое счастье! *(лат.)*

У нее были такие же синие глаза и пушистые светлые волосы, только совсем не золотые. Когда я был еще мальчишкой, о ней говорили как о самой знатной даме на западе страны. Истинная правда! Исландия всегда славилась своими женщинами. За ваше здоровье!

— За здоровье старых великодушных рыцарей, которые чтили красавиц и были готовы броситься в огонь и в воду, чтобы защитить нашу честь.

— Ваша славная матушка Гудрун из Эйдаля была и осталась поистине знатной дамой, хотя она и не так красива, как ее бабушка. Она — женщина моего поколения, и я уверен, что она, не в пример многим своим сверстницам, не ударила бы лицом в грязь при любом королевском дворе, где некогда и исландцев считали людьми. И все же эта благородная женщина пользуется горячей любовью простого народа. Она отличается щедростью истинной высокородной христианки и любит своих детей, как это и подобает женщине, которая ни в чем не уступит своим сестрам — героиням нашего великого прошлого. Ее честолюбие и любовь к мужу безграничны, и она бы не знала покоя, будь ее мужем даже не столь важная персона, как мой друг Эйдалин, — не знала бы покоя до тех пор, пока он не стал бы первым среди

могущественнейших людей Исландии. Гордые женщины прославили нашу страну. Но теперь она приходит в упадок. Ваше здоровье!

— Я счастлива, что у меня нет дочери, — сказала Снайфридур. — Что станется с исландскими женщинами? Ведь судьба обрекла их любить только лучших, только великих мужчин, которые, не щадя себя, бились с драконами, как Сигурд Убийца Фафнира[105], вышитый здесь, на моем покрывале.

— Я всегда знал, что вы, моя милая, одна из великих женщин Исландии. Я слышал также от вашей матушки, когда последний раз гостил у нее, что она не спит ночами, столь тревожится она, что нет ныне таких женщин, какие встречались среди ваших предков, в те далекие времена, гм, гм, когда Брюнхильд[106] спала на вершине скалы. А теперь, моя милая, мне пора. Вечереет. Спасибо за угощение. Спасибо дочери моих друзей за то, что она позвала меня к себе. Я уже стар,

---

[105] Примечания: 105

Сигурд Убийца Фафнира — легендарный герой нескольких песен «Старшей Эдды» и «Саги о Вёльсунгах», возникшей около 1260 г. В молодости Сигурд совершил славный подвиг, убив дракона Фафнира, который охранял заклятое сокровище. *(Прим. Л. Г.).*

[106] Примечания: 106

Брюнхильд — валькирия, усыпленная Одином за непослушание. Сигурд, убийца дракона Фафнира, нашел Брюнхильд спящей в шатре на высокой горе и разбудил ее. *(Прим. Л. Г.).*

и меня никогда не считали щедрым. Истинная правда! Но я вижу, что у вас, моя милая, чудесное седло, так не позволите ли вы мне — старому почитателю вашей матери и бабушки — оставить во дворе моего лучшего коня. Я приобрел его в прошлом году на западе, в Далире, и он знает дорогу туда.

Вигфус Тоурариссон поднял последний раз свой кубок, тяжело встал со стула, погладил Снайфридур в знак благодарности своей синей ручищей и попросил господа бога не оставить нас своей милостью.

Вскоре она услышала, что мужчины ускакали на восток в сторону Тунгу.

Магнус притащился наверх и подошел с опущенной головой к жене. Не проронив ни слова, он повалился ничком на ее постель.

Она спросила:

— Мы должны сегодня отсюда уехать?

— Нет. После того как он побывал у тебя, он сказал, что мы можем остаться еще на десять дней.

— Я не просила его об отсрочке.

— Я тоже.

— Почему ты не хочешь уехать отсюда немедленно?

— Ты никогда не спрашивала меня ни о чем. Не

спрашивай и теперь.

— Прости, — сказала она.

Затем она сошла вниз.

Дверь его обшитой панелями комнаты была приоткрыта, и она увидела на столе два столбика серебряных монет в два далера и рядом с ними какие-то документы. Она вышла из дому и направилась во двор. Солнце отражалось в Тунгу, и ветер приносил с собой аромат трав. К камню был привязан гнедой конь. Он нервно вздрагивал, так как его оставили одного в незнакомом месте. Увидев женщину, он рванулся, повел на нее молодым горячим взглядом и робко заржал. Он только что слинял после зимы, и теперь его гладкая шерсть лоснилась, а морда была мягкая как шелк. Это было стройное животное с пышной гривой на длинной шее и сильными ногами.

Оба батрака все еще спали у изгороди, накрыв шапками лица, и старуха с негнущимися ногами продолжала собирать навоз.

Хозяйка подошла к батракам и разбудила их.

— Возьмите нож, — сказала она, — и заколите лошадь, привязанную к тому камню. А потом

насадите ее голову на шест[107], так чтобы она смотрела на юг, в сторону Хьяльмхольта.

Батраки вскочили как встрепанные и протерли глаза, — никогда еще им не случалось получать приказаний от своей хозяйки.

Глава третья

На следующий день Снайфридур поехала в Скаульхольт. Она хотела поговорить со своей сестрой Йорун, супругой епископа.

Каждую весну, к открытию альтинга, мадам Йорун уезжала на запад в Эйдаль, чтобы погостить дней десять у своей матери. В этом году она намеревалась сделать то же самое.

— Может быть, ты поедешь со мной, сестра? — спросила Йорун. — Нашей матушке приятнее повидать один раз тебя, чем десять раз меня.

— Мы с матерью во многом схожи, и все же нам с ней трудно ужиться, — ответила Снайфридур. — Поэтому, сестра Йорун, я думаю, что еще много воды утечет, прежде чем притчу о блудном

---

[107] Примечания: 107

...насадите ее голову на шест. — В древности считалось, что череп лошади, насаженный на шест, на котором рунами вырезано заклятие, обладает магическим действием. Это сооружение называлось «нид». *(Прим. Л. Г.).*

сыне можно будет применить к одной из женщин нашего рода, до тех пор покуда одна из женщин этого рода походит на свою мать. У меня есть небольшое дело к отцу, но я не могу поехать сама в Тингведлир, чтобы повидаться с ним. Не едешь ли ты на альтинг, сестра?

Оказалось, что Йорун и в самом деле едет. Она собиралась, вместе со своим супругом епископом, остановиться на одну ночь в Тингведлире, а затем отправиться с провожатыми дальше на запад.

— Для меня было бы лучше, если бы отец приехал сюда, — продолжала Снайфридур. — Но я понимаю, что отец обременен годами и не станет ездить зря, тем более что и нам в Брайдратунге нечем принять знатных гостей. Поэтому я прошу тебя передать ему мою просьбу.

Затем она без обиняков рассказала сестре о случившемся: ее муж Магнус продал усадьбу двум богачам — окружному судье Вигфусу Тоурариннссону и его зятю Йоуну, виноторговцу из Ватну, и новые владельцы требуют, чтобы они тотчас покинули усадьбу.

Услышав это, Йорун со слезами на глазах подошла к сестре и поцеловала ее, но Снайфридур посоветовала ей успокоиться. Она хочет просить отца, сказала она, чтобы тот переговорил

с Вигфусом Тораринссоном и выкупил у него усадьбу, потому что сама она не имеет достаточного влияния на судью и не сможет уговорить его расторгнуть сделку, но высшие исландские чиновники хорошо знают друг друга, и один всегда имеет оружие против другого и может принудить его к чему угодно.

— Я знаю, дорогая сестра, ты не думаешь так об отце, — сказала Йорун. — Слыхано ли, чтобы какой-нибудь чиновник здесь, в нашей стране, мог заставить его сделать то, что в глубине души он считает несправедливым?

Снайфридур сказала, что спорить не станет. Ей известно, однако, что их отец имеет большую власть над многими высокопоставленными чиновниками, чем кто-либо другой, и, по крайней мере, сейчас легко может навязать им свою волю. Она уверена, что если бы он захотел, то смог бы выкупить усадьбу у богача Вигфуса Тоураринссона, и притом за ту цену, которую сам назначит. И когда усадьба будет принадлежать ее отцу, она выменяет ее на свои земли на западе и на севере, — ее приданое, которого она так и не получила из-за того, что вышла замуж против воли родных, когда ей еще не исполнилось двадцати лет.

Йорун окинула сестру сострадательным взгля-

дом, ибо на Снайфридур не лежала печать того душевного и физического довольства, которое является признаком обеспеченности. Напротив, в свои тридцать два года Снайфридур оставалась стройной и золотоволосой, как девушка, с горячей кровью и гибким станом.

— Но почему же, сестра, почему? — вдруг спросила Йорун.

— О чем ты?

— Ах, я не знаю, дорогая сестра. Но на твоем месте я возблагодарила бы создателя за то, что Магнус из Брайдратунги довел тебя до нищенской сумы и ты можешь со спокойной душой и чистой совестью идти своим путем.

— Куда, собственно?

— Все равно куда. Наша матушка…

— Знаю, ты хочешь сказать мне, что она заколет упитанного тельца. Благодарю покорно. Нет, уж поезжай ты домой, к своей матушке, Йорун, когда епископ продаст за твоей спиной Скаульхольт.

— Прости, сестра, если я говорила с тобой не так, как следовало. Я знаю, ты больше меня походишь на женщин нашего рода. Но именно поэтому, Снайфридур, именно поэтому все это так грустно, так бесконечно, до слез печально.

— О чем ты?

— Мне казалось, тебе не нужно пояснять то, о чем давно уже идут толки по всей стране. Ты хорошо знаешь, что наша матушка, эта гордая женщина, теперь не так здорова, как прежде.

— Ах, вот что! Ну, она еще переживет всех своих сверстников, — сказала Снайфридур. — Епископство Скаульхольт служит ей утешением, если даже от нищей Брайдратунги у нее иногда и разыгрывается подагра.

— Я знаю, дорогая сестра, что господь ниспосылает утешение в любом горе и того, кого постигает несчастье, он наделяет сильной душой. Но все же будем остерегаться, дабы очерствелая душа не осталась глухой к благодати господней, а смирение не уступило место презрению к всевышнему, к людям и даже к собственным родителям.

— На всем свете, дорогая сестра, ты не сыщешь такой счастливицы, как я. Сомневаюсь, чтобы в Исландии нашлось много женщин счастливее меня, и меньше всего я хотела бы поменяться местами с тобой.

— Ты не в себе, дорогая сестра… Давай лучше оставим этот разговор.

— В прошлом году, в день благовещения, вдова из Лекура седьмой раз разрешилась от бремени. Это был ее третий внебрачный ребенок. Через

несколько дней ее будут судить на альтинге и утопят в Эхсарау. Прошлым летом ее дети еще кормились кониной и супом из трав. Этой весной, в одно дождливое воскресенье, трое из них очутились со своей дряхлой бабкой во дворе Брайдратунги. Изнуренные и опухшие от голода, стояли они и глазели на меня, когда я появилась в окне. Остальные уже умерли. Я счастливая женщина, дорогая сестра.

— Да, милая Снайфридур, неисповедимы пути господни, — ответила супруга епископа. — Надо думать, наш народ вел в прошлом легкую жизнь, и вот теперь он расплачивается за это. Мы часто слышим об этом от наших духовных пастырей… да снидет на них благословение божие. И нельзя винить бога, если человек, родившийся по его неизреченной милости в хорошей семье, сам себя губит.

— Этой весной — у нас, в Исландии, все беды случаются весной — на зеленом лугу, неподалеку от Хвитау, нашли двух девчушек, лежавших на подушке, набитой козьей шерстью. Дом их был разрушен, наследство поделено, и эта подушка из козьей шерсти была единственным достоянием близнецов. Они положили головки на подушку и так умерли. Их исклевали стервятники. Никто не

позаботился об их останках. Я приказала их похоронить. Ведь они могли быть моими дочерьми. Нет, сестрица, я очень счастливая женщина.

— Зачем ты терзаешь себя такими мрачными историями, милая сестра, — сказала Йорун, лицо которой, несмотря на все ее благодушие, выражало некоторое нетерпение.

— В мае, перед самым церковным праздником, народ в Краукуре решил повесить овцекрада. Его судили уже не раз и даже отрубили ему руку, но от этого он не исправился и только стал воровать еще больше овец, чем прежде. После казни люди из верхнего Тунгура привязали его поперек седла и, проезжая мимо его хижины, швырнули труп в дверь, к жене и детям… Нет, милая сестра, если есть в Исландии счастливая женщина, то это я. Ибо я тку ковры с изображениями героев минувших времен, вышиваю покровы на алтари и облачения для пастырей и коплю серебро у себя в ларе. К тому же господь сделал меня бесплодной, а это, пожалуй, величайшее счастье, какое только может выпасть на долю исландской женщины.

— Не будем спорить, сестра. Думаю все же, что творец вложил в душу каждой женщины желание родить здорового сына. Сколько радостей было у меня, когда мои сыновья были еще

маленькими. И если женщина остается в браке бесплодной, то это не ее вина, а божья воля. Но если женщина знатного рода сравнивает свою жизнь с жизнью бродяг, она грешит перед господом. Должно быть, ты сильно изменилась, если довольствуешься такой жалкой долей.

— Всю свою жизнь я никогда ничем не была довольна. Поэтому я сама избрала свою участь и примирилась с ней.

— Тот, кто предается причудливым фантазиям, слишком поздно сознает, игрушкой каких чуждых сил он стал, — изрекла старшая сестра. — Ты вышла замуж против воли родителей, вопреки всем законам, божеским и человеческим. И только чтобы спасти тебя от еще большего позора, наш отец не расторг твоего брака. Вероятно, он хорошенько подумает, прежде чем отдать тебе родовое имение Магнуса Сигурдссона в обмен на твои владения, которые он не захотел дать за тобой. Но я знаю одного человека, нашего верного друга, он очень скромен, но никогда не устает говорить о твоем благополучии и денно и нощно молит бога о том, чтобы он позволил ему взять на себя заботы о тебе. Этот человек имеет не меньшее влияние на Вигфуса и его зятя, чем наш отец. Это твой духовник, знаменитый поэт

и ученый, смиренный служитель божий пастор Сигурдур Свейнссон, один из самых богатых служителей церкви.

— У меня были другие намерения на случай, если отец откажет мне в моей просьбе.

Супруга епископа поинтересовалась, что же имела в виду ее сестра.

— Говорят, — ответила та, — что после долгого отсутствия вернулся один друг.

Мгновенно от мягкой, снисходительной улыбки старшей сестры не осталось и следа. Вся кровь бросилась ей в лицо, глаза метали молнии. Йорун словно преобразилась. Она хотела что-то сказать, но смолчала.

Через минуту супруга епископа спросила глухим голосом:

— Откуда ты знаешь, что он приехал?

— Мы с тобой женщины, милая сестра, — ответила Снайфридур, — а у женщин бывают порой предчувствия. Мы узнаем о некоторых вещах, хотя бы и не слышали о них собственными ушами.

— И ты, значит, надумала разыскать его в Бессастадире или даже здесь, в Скаульхольте, и попросить, чтобы он выкупил Брайдратунгу для Магнуса Сигурдссона и для тебя? Неужели ты в самом деле такой ребенок? И мир и все, что в нем

происходит, остались для тебя книгой за семью печатями? Или, может быть, дорогая сестра, ты смеешься надо мной?

— Нет, я вовсе не собираюсь просить его купить для меня усадьбу. Поговаривают, впрочем, что он приехал, чтобы проверить, как представители власти выполняют здесь свой долг. Быть может, контракт между окружным судьей и контрабандным торговцем спиртным, с одной стороны, и моим мужем — с другой, покажется небезынтересным человеку, который собирает документы, касающиеся исландцев. Так думается мне.

— А знаешь ли ты, что за человек Арнас Арнэус, сестра? — серьезно спросила Йорун.

— Я знаю, — сказала Снайфридур, — что человека средней руки, которого ты и остальные члены моей семьи хотели выбрать для меня, я презираю сильнее, чем самого последнего из людей. Такова моя натура.

— Я не стану пытаться разгадать темный смысл твоих слов, сестра, но я никогда не поверила бы, что женщина из нашей семьи, здесь, в Исландии, может встать на сторону преступника против своего старого, ничем не запятнанного отца, на сторону того, кто натравливает осужденных против их праведного судьи, простой люд против

его господ и хочет уничтожить патриархальные христианские нравы народа.

— А кто так поступает?

— Арнас Арнэус и те, кто его поддерживает.

— Я полагала, что Арнас Арнэус лишь потому вернулся на родину, что его полномочия превышают полномочия всех прочих людей в Исландии, вместе взятых.

— Несомненно, он прибыл в альтинг с письмом, подписанным самим королем, — заметила Йорун. — Говорят еще, что он будет творить суд и расправу над купцами, вторгнется в их фактории на юге страны, прикажет сбрасывать в море их товары или опечатывать именем короля их лавки, и тогда беднякам придется обращаться к нему за горстью муки или щепоткой табаку. Он, говорят, вступается за мошенников и обвиняет знатных лиц. Люди сведущие считают, что он послан теми, кто в Копенгагене изгнал из королевского совета высокородных дворян и посадил на их место ремесленников, пивоваров и бродяг. И не успел дойти до нас слух о его прибытии, как ты уже собираешься дать ему в руки улики против нашего славного отца. Разреши мне, сестра, напомнить тебе, что Дидрик из Муэндэ, который тоже уверял, будто у него имеются королевские

грамоты, теперь лежит под грудой камней на том берегу реки.

Взглянув на сестру, Снайфридур заметила, что ее лицо все еще в красных пятнах.

— Не говори мне больше об Арнэусе, дорогая сестра, так же как и о судье Эйдалине. Прости меня, дорогая, но я думаю, что мы проявляем мало любви к отцу, сравнивая его нравственные качества с плутнями какого-нибудь контрабандиста, да еще представляя врагом судьи Эйдалина человека, сомневающегося в законности махинаций такого ничтожества, как Вигфус.

— Я не говорила, что власть имущие не могут поступать несправедливо. Мы знаем, что все люди — грешники. Но я говорю — и со мной согласятся все честные люди, — что Исландия недолго просуществует, если исландские правители будут унижены и брошены в Бремерхольм. Вместе с ними исчезнут с лица земли лучшие люди нашей страны. Как же назвать человека, который явился разрушить обычаи и порядки нашей страны, до сих пор не допускавшие наш народ превратиться в шайку отчаянных воров и убийц, человека, который опечатывает у бедных людей муку и табак и не доверяет нашим славным купцам? Это им-то, которые пускаются в бурное море, пренебрегая

смертельной опасностью! Как назвать такого человека? Прости меня, сестра, но я не нахожу слов, когда ты говоришь о доверии к такому человеку. А раз ты даешь мне понять, что знаешь его столь же хорошо, как и своего отца, то разреши мне спросить: как это могло случиться, что ты так хорошо знаешь этого человека? Правда, как-то летом он гостил у наших родителей на западе. Он старался собрать и вывезти из страны все книги, в которых рассказывается о наших славных предках. Мне вспоминается, что мой муж и я вместе с тобой провожали его из Скаульхольта на корабль. Неужто он на всю жизнь вскружил тебе голову? Я всегда отвергала эти слухи. Ведь ты в ту пору была еще ребенком и смыслила в мужчинах не больше, чем кошка в звездах. Кроме того, не прошло и года, как он женился в Дании на богатой горбунье. Но все же мне хотелось бы знать, что произошло между вами, если через шестнадцать лет ты все еще предпочитаешь прибегнуть к содействию этого изменника и не желаешь принять бескорыстную помощь своего истинного друга.

— Если мой отец — один из столпов Исландии — откажется удовлетворить мою просьбу, которую я прошу тебя передать ему, — сказала

Снайфридур, — и если тот человек, которого ты называешь изменником, обманет мое доверие и откажется расторгнуть договор с богачом Вигфусом, тогда, клянусь тебе, милая сестра, я разведусь с юнкером Магнусом и выйду за моего доброго друга и терпеливого жениха каноника Сигурдура. Но не раньше.

Вскоре сестры закончили беседу, во время которой одна разволновалась, а другая оставалась совершенно спокойной. Супруга епископа обещала передать отцу на альтинге просьбу сестры, и Снайфридур вернулась в Брайдратунгу.

Глава четвертая

К началу сенокоса юнкера вновь охватило беспокойство, всегда предвещавшее у него одно и то же: запой со всем сопутствующим ему бахвальством и омерзительным поведением. Он поднимался с зарей, но ничего не делал. В сарае, в куче стружек, лежал его инструмент и утварь, которую он собирался починить. Как-то ранним прохладным утром он стоял в сарае и смотрел на улицу. Затем он спустился к реке, — возможно, чтобы встретить проезжих. Через некоторое время можно было услышать, как он что-то на-

певает в сенях. Он приказал привести верховых лошадей, заботливо осмотрел их копыта, направился в кузницу и подковал одну из лошадей. Он долго расчесывал лошадям гривы, счищал с них скребницей грязь, гладил их и при этом дружески разговаривал с ними, а затем снова отпустил их на волю, не теряя, однако, из виду. Потом он зашел в хижину бедного арендатора, выругал ее несчастного обитателя и стал беспокойно слоняться по двору.

Экономка Гудридур накрыла ему на стол в комнате с панелями, так как он никогда не ел вместе с людьми. Она подала ему скир, треску и масло.

Он сморщил нос и спросил:

— Разве у нас нет баранины?

— Не помню, чтобы моя госпожа, супруга судьи из Эйдалина, что-нибудь говорила на этот счет, — сказала экономка.

— А вымя в уксусе?

— У овец, что околели этой весной от голода, не было ни мяса, ни вымени, которые годились бы в пищу.

— А разве наши хутора на севере больше не платят оброка?

— Этого я не знаю, но зато у нас имеется снятое кислое молоко из вашей родовой усадьбы.

— Ну давай сюда молоко, да смотри, чтобы оно и вправду было холодное и кислое.

— Скажите, пожалуйста, должна ли госпожа ждать, пока ее вынесут мертвой, или она может по доброй воле уйти отсюда?

— Об этом, любезная, спроси судью Эйдалина, — ответил юнкер. — Он вот уже пятнадцать лет не отдает мне хуторов, которые его дочь должна была принести мне в приданое.

Когда через несколько минут экономка принесла молоко, юнкера уже и след простыл.

Он исчез, как исчезают птицы перед смертью. Никто не знал, куда он девался. Его не видели на тропинке, которая вела от усадьбы к проезжей дороге. Говорили, что он тихонько пробрался задворками, когда людей сморил послеобеденный сон. Никто не знал точно, когда он ушел, однако в усадьбе его не было. На одном из подоконников еще лежали топор и молоток: он собирался затянуть окно кожей и починить раму. В траве под окном валялись стружки.

На этот раз он прихватил с собой серебро, и, случись даже, что склад фактории окажется опечатанным, за плату он добудет себе водку. Да, компания на сей раз пришлась по душе юнкеру: купец, капитан корабля и другие датчане.

Этой компании было о чем поговорить. Особенно занимало их известие о том, что королевский посол Арнэус, прибывший на корабле в Хольмен, посетил большую часть факторий в южной части страны, а затем поехал верхом в Эйрарбакки. Повсюду он объявлял товары купцов негодными; он приказал сбросить в море более тысячи тунн[108] муки, потому что в ней кишели черви и клещи; сказал, что строительный лес годится только на дрова, что все железо проржавело и ничего не стоит, такелаж сгнил, а вместо табака торгуют обыкновенной травой. Он также усомнился в правильности мер и весов. Изголодавшиеся бедняки со слезами на глазах смотрели, как сбрасывают в море муку, и боялись, что теперь уже ни один купец не захочет приехать в столь неблагодарную страну.

— Нужно подать жалобу в верховный суд, — говорили купцы. — Пусть нам все возместит казна. Будет вполне справедливо, если король пострадает из-за этих исландцев: ведь торговля с ними не сулит ничего, кроме позора. И ни один чужеземный король, император или купец не даст за эту землю ни полушки, сколько бы раз его

---

[108] Примечания: 108

Тунна — исландская мера жидких и сыпучих тел. *(Прим. Л. Г.).*

величество ни предлагал им купить ее.

Услышав, как унижают его страну, юнкер пришел в ярость, ибо он вспомнил вдруг, что принадлежит к исландской знати. А чтобы доказать, какие исландцы храбрецы и герои, он сунул руки в карманы и, вытащив полные пригоршни блестящих серебряных далеров, стал разбрасывать их вокруг себя. Он кричал, чтобы ему подали жаркого, и заявил, что обязательно переспит со служанкой. В конце концов он вышел, хлопнув дверью, и купил в Сельвогуре небольшой участок земли. Так продолжалось два дня, и, несмотря на все бахвальство юнкера, датчане не прониклись большим уважением к Исландии, а кошелек его вскоре опустел. Под конец ему осталось доказывать героизм и храбрость исландцев только кулаками. Очень скоро датчане потеряли всякую охоту водить с ним компанию. Не успел он оглянуться, как лежал уже, растянувшись во весь рост, в грязи на площади перед факторией. Была ночь. Придя в себя, он попытался вломиться к купцу, но тщетно, ибо дверь была очень массивная. Он звал служанку, но и она не желала знаться с таким человеком. Он грозил поджечь дом, но либо в Эйрарбакки нельзя было раздобыть огня, либо юнкер был неискусным поджигателем, только

дом остался стоять, как стоял.

Юнкер бушевал без перерыва с полуночи до утра, и наконец в одном из окон показался в нижнем белье приказчик.

— Водки! — потребовал юнкер.

— А деньги? — спросил тот.

Но в кармане у юнкера была лишь купчая на небольшой хутор в Сельвогуре.

— Я тебя пристрелю, — закричал юнкер.

Приказчик захлопнул ставни и лег спать, а у юнкера не было ружья.

К утру юнкеру удалось разбудить младшего приказчика.

— Давай деньги, — сказал приказчик.

— Заткни глотку! — заявил юнкер.

На этом беседа закончилась. Всю ночь напролет юнкер ревел, ругался и вымещал свою злость на соседних домах. Мало-помалу он протрезвел и разыскал своих лошадей.

В девять часов утра, когда он заявился в Ватну к Йоуну Йоунссону, он был уже совершенно трезв, но жаждал опохмелиться. Йоунссон с батраками косил траву на выгоне перед домом.

Юнкер подъехал к нему, но крестьянин был не в духе. Он назвал его бездельником и велел убираться с некошеной травы.

— У тебя есть водка? — спросил юнкер.

— Есть-то есть, — ответил Йоун из Ватну, — да не про твою честь.

Юнкер попросил продать ему водки, сказал, что готов заплатить любую цену, но только сейчас у него нет при себе наличных.

— Если бы даже все моря нашей страны по одному моему слову превратились в целое море водки, а вся суша — в серебро, с вензелем Магнуса Сигурдссона из Брайдратунги, то лучше бы мне лежать мертвым, чем обменять стакан моей водки на унцию твоего серебра.

Юнкер сказал, что до сих пор он не слишком-то нажился на торговле с Йоуном, а не так давно по милости его водки и вовсе лишился своего достояния, и, быть может, в эту самую минуту его жену выгоняют из Брайдратунги.

Тут раскрылось, почему Йоун из Ватну так зол на юнкера: два дня назад его тесть Вигфус Тоурариссон вызвал его на альтинг, и сам судья Эйдалин угрозами принудил их обоих за смехотворную цену уступить ему Брайдратунгу. После этого судья передал усадьбу в дар своей дочери Снайфридур.

Не помогло и то, что юнкер предъявил купчую на участок земли в Сельвогуре. Йоун не хотел

больше порочить свое доброе имя сделкой с зятем судьи.

Юнкер сел в траву и заплакал. Йоун продолжал косить. Подойдя вплотную к юнкеру, он вновь попросил его отправиться восвояси, но юнкер взмолился:

— Ради Христа, снеси мне голову косой.

Виноторговец почувствовал жалость к нему. Он повел юнкера в амбар, нацедил ему кружку водки и отрезал кусок рыбы.

Юнкер мгновенно ожил. Он тут же вспомнил, что его отец был нотариусом, управителем монастырских угодий и еще бог весть чем, что предки его как с отцовской, так и с материнской стороны были именитые люди, а некоторые даже дворяне. Поэтому он заявил, что не привык есть в амбаре рыбу, да еще руками, словно какой-нибудь нищий. Он потребовал, чтобы его отвели в комнаты и чтобы там его, как человека столь знатного рода, потчевала за столом сама хозяйка или ее дочери. Йоун напомнил, что только сейчас Магнус сидел в траве и умолял снести ему голову. Это повело к новым пререканиям между гостем и хозяином, и гость полез было в драку из-за того, что ему не оказали должного уважения. Поскольку хозяин был слабее гостя и к тому же не охотник

до драк, он кликнул своих батраков и приказал им связать гостя и засунуть его в мешок. Они впихнули юнкера в мешок, завязали и поволокли на выгон. Юнкер вопил и барахтался, пока не заснул. К вечеру Магнуса развязали, посадили на лошадь и натравили на него четырех злых псов.

Поздно вечером юнкер снова очутился в Эйрарбакки. Он постучался было к купцу и его приказчику, чтобы попросить их перевезти его на торговое судно к капитану, но датчане не желали с ним больше знаться. Даже младший приказчик не удостоил его вниманием.

Юнкер был очень голоден, но в Эйрарбакки, как и во всей округе, царил голод. Какая-то бедная вдова вынесла ему в деревянной миске немного снятого молока, горсть водорослей и голову сушеной трески, которую женщина сама ему очистила, ибо он вдруг вспомнил, что такому знатному человеку не пристало чистить рыбу самому.

Лавка купца все еще была на запоре, и крестьяне из дальних округов сваливали привезенную шерсть и другие товары прямо перед факторией. Сам купец в это время сидел взаперти и поедал жаркое, запивая его вином. Некоторые крестьяне стояли перед амбаром и разглядывали

королевскую печать, другие — большей частью молодые батраки и набежавшие откуда-то бродяги — ругались и шумели; третьи столпились в сторонке и рассуждали, не подать ли им жалобу. Многие стояли на берегу моря, состязались в складыванье стихов или пробовали силу, поднимая разбросанные кругом большие камни. Крестьяне из Эрефи, расположенного в тринадцати днях пути, невозмутимо повели своих навьюченных лошадей на юг, через пустошь, в надежде что в Батсендаре им откроют амбары. Здесь водкой и не пахло. Кое-кто из крестьян запасся спиртным, и юнкеру дали глоток. Но это только разохотило его. После полуночи площадь опустела, так как все разбрелись в поисках ночлега. Некоторые заночевали вместе со своими голодными собаками под забором. Юнкер остался наедине с луной — над морем висел ее серп. Но водки не было ни капли.

Внезапно на площадь быстрым шагом вышел Тоурдур Нарфасон, или, как его еще звали, Туре Нарвесен. У него были белые зубы, красные глаза, кривой нос и могучие кулаки. Лицо его было выпачкано смолой… Он сдернул с головы поношенную вязаную шапку и упал на колени перед юнкером. В юности Туре состоял на службе

у епископа в Скаульхольте, но был изгнан за любовные похождения. С той поры у него остались в памяти кое-какие латинские слова. Он убил свою возлюбленную, а некоторые уверяли, что и двух, но возможно, что не он один был виновен в этом. Как бы то ни было, он избежал казни, но долго просидел в Бремерхольме. Это был мастер на все руки, скальд и писец, веселый собутыльник и прославленный сердцеед. К тому же он так легко изъяснялся по-датски, что датчане почитали его за своего. Он был на побегушках в фактории, и ему разрешали спать в хлеву со свиньями. Осенью он благодаря своей ловкости помогал бочару и в обществе исландцев именовал себя бондарем, но датчане не принимали его всерьез. Сейчас Туре Нарвесен был на этой площади чем-то вроде стража его королевского величества и должен был также нести охрану по ночам, дабы задерживать людей, подозреваемых в намерении поджечь дома или сорвать королевскую печать.

Юнкер пнул ногой в грудь человека, стоявшего перед ним на коленях. Ведь это был грязный соблазнитель, убивший исландскую девушку, которая называла его своим ангелом.

— Давай сюда водку, сатана, — сказал юнкер.

— Ваша милость! Водку? В такое тяжелое вре-

мя? — визгливым голосом отозвался Нарвесен.

— Ты что, хочешь, чтобы я тебя убил?

— Ах, ваша милость, почему бы и нет? Все равно, конец света не за горами.

— Я подарю тебе лошадь, — сказал юнкер.

— Господин юнкер хочет дать мне лошадь! — воскликнул Туре Нарвесен. Он поднялся на ноги и обнял юнкера. — Многая лета моему господину.

Затем он собрался идти дальше.

— Ты получишь участок в Сельвогуре, — сказал юнкер, хватая Туре Нарвесена за разорванный камзол и держа его изо всех сил. Увидев, что вырваться не удастся, Туре снова обнял юнкера и поцеловал его.

— Разве не говорил я всегда, что мягкое слово кость ломит. И поскольку дело, видно, важное, то я могу предложить лишь разыскать свинопаса.

Юнкер отправился с Туре Нарвесеном к свинопасу, чьим заботам были вверены животные, которые одни только во всей Исландии жили в довольстве и почете, хотя бы потому, что по приказу королевского посланца двуногим созданиям было строго-настрого запрещено есть червей и клещей. Иногда крестьянам в знак милости разрешалось поглядеть через дощатый забор на этих удивительных зверей. Нередко их при этом

мутило, потому что своей окраской эти животные напоминали голых людей: своей упитанностью они походили на богачей, но у них были понимающие глаза бедняков. Многих рвало желчью при этом зрелище.

Хлев был деревянный и просмоленный, словно господский дом. В одном его конце спал человек, сторoживший животных, некто Йес Лоу, подручный в фактории, друг и приятель Туре Нарвесена по Бремерхольму. Простой народ косо смотрел на человека, который кормил подобных животных в стране, где каждую весну умирали от голода тысячи взрослых и детей.

Туре Нарвесен постучал условным стуком в дверь хлева, и друг тотчас открыл ему. Юнкер остался ожидать снаружи. Они долго совещались в хлеву, и юнкер начал терять терпение. Так как дверь была заперта на задвижку, он вновь принялся бушевать и грозить убийством и поджогом.

Наконец Туре Нарвесен вышел. Вид у него был удрученный; он сказал, что Йес Лоу весьма несговорчив: по приказу короля здесь все закрыто и опечатано и водки не получишь даже за золото. Он кланяется Магнусу и советует обоим исландцам обратиться за водкой к их земляку

Арнесену. Юнкер просил передать свинопасу, что тот получит хутор в Сельвогуре, на это Туре ответил, что у свинопаса нет никакого желания стать владельцем хутора. Пусть, ответил юнкер, свинопас скажет ему, чего бы он хотел. Туре Нарвесен уступил, словно нехотя, уговорам юнкера и согласился еще раз попытаться умилостивить свинопаса. Юнкер воспользовался случаем, чтобы протиснуться вслед за ним в хлев. Он был исполнен решимости добиться своего.

Тучностью Йес Лоу напоминал тех животных, за которыми он ходил, и воняло от него точно так же. Он лежал на нарах, а по другую сторону дощатой перегородки, совсем рядом с ним, помещались животные. В одном закуте — боров, в другом — свинья с двенадцатью поросятами и в третьем — крупный молодняк.

Животные проснулись и захрюкали. Ни один исландец не мог выносить их запаха, но юнкер ничего не чувствовал. Он прижал свинопаса к груди и поцеловал его. Дверь осталась открытой, и снаружи были море и луна.

Свинопас сказал, что в лавку не проникнет даже самый ловкий вор, так как этот проклятый исландский пес Арнесен снабдил наверняка фальшивыми печатями все двери, кроме потайной

двери в винный погреб, ключ от которой купец держит у себя под подушкой. Магнус Сигурдссон вновь предлагал хутора и другую недвижимость, но все было напрасно: никто не верил больше, что он еще чем-то владеет. Никто не знал, кому принадлежит теперь его усадьба и другое имущество: ему ли самому, виноторговцам в разных концах света или, может быть, его тестю, судье. Юнкеру пришло в голову, что самое лучшее было бы убить их обоих, но в этот момент Туре Нарвесен обменялся многозначительным взглядом с Йесом Лоу и сказал своим визгливым голосом, которому постарался придать льстивый оттенок:

— Брат мой узнал, что у вашей милости имеется еще одна драгоценность, до сих пор не заложенная и не проданная, — ваша благородная и добродетельная супруга.

При упоминании о жене юнкер взорвался и без дальних слов ударил Туре Нарвесена кулаком прямо в нос. Здесь Туре отбросил всякую вежливость и ответил на удар. Началась потасовка. В драке Магнус Сигурдссон был беспощаден и всегда старался изувечить своего противника. Йес Лоу выкарабкался из соломы, подтянул штаны и тоже бросился на юнкера. Некоторое время все они колотили друг друга, но в конце концов Туре

и свинопасу удалось одолеть юнкера. Однако он так разбушевался, что его невозможно было утихомирить и им пришлось связать его. Они оторвали кусок от большой веревки и не без труда связали юнкеру руки и ноги. Затем они перебросили его через перегородку к свиньям. Кавалер бешено ревел и катался в навозе, но не мог освободиться. Свинопас дал убийце Нарвесену нож и попросил его последить за этим негодяем, пока он сходит кой-куда. Туре Нар-весен стал около перегородки. Он вырвал у себя клок волос, попробовал на нем лезвие и осторожно провел им по ладони. Теперь он был снова воплощенной вежливостью. Он начал восхвалять юнкера и его супругу, воспевал ее добродетели, безупречную скромность и знатность, а связанный юнкер катался в это время в навозе и ревел. Свиньи испуганно сбились в кучу в одном из углов хлева.

Наконец свинопас вернулся и принес с собой бутылку и восьмилитровый бочонок водки, который он поставил у перегородки рядом со своими нарами. Оба стали по очереди прикладываться к бутылке, но юнкеру не перепало ни капли.

После того как оба приятеля вдосталь угостились, Туре сказал юнкеру:

— Наш друг Йес Лоу готов продать этот бочонок

вашей милости, но сперва следует заключить небольшой контрактик. Ведь теперь водка на вес золота, и тот, кто ею торгует, рискует угодить под плети или очутиться в Бремерхольме.

— Дайте мне глотнуть, — хрипло проговорил юнкер, перестав реветь, — а потом можете перерезать мне глотку.

— О, подобная сделка нас не устраивает даже в такое тяжелое время, и без крайней нужды мы не станем так шутить с дворянином, — сказал Туре Нарвесен. — Напротив, я набросаю на бумаге небольшой договор, который мы затем скрепим своими подписями.

Йес Лоу вытащил письменные принадлежности, которые он раздобыл одновременно с водкой, и Туре Нарвесен долго сидел, положив на колени доску, и писал. Йес Лоу примостился возле него и время от времени утолял жажду. Наконец контракт был готов. Туре встал и начал зачитывать его, а толстый свинопас стоял у него за спиной и ухмылялся.

Документ начинался следующими словами: «In nomine domini, amen, salutem, ex officio»[109]. Это доказывало, что писавший сие состоял некогда на

---

[109] Примечания: 109

Именем господа, аминь, во спасение, официально *(искаж. лат.)*.

службе у епископа. Дальнейшее было изложено тем торжественным, вежливым и богобоязненным стилем, который был столь характерен для этого убийцы. Ниже следовало, что в году такомто после рождества Христова в стране Исландии, в местности по названию Эйрарбакки, в хлеву купца встретились три достойных человека: кавалер и юнкер из Брайдратунги, мосье Магнус Сивертсен, уважаемый и почтенный датчанин Йес Лоу, торговец, помощник управителя и начальник, ведающий в данном месте особыми датскими животными, а также объездивший весь свет художник и высокоученый скальд Туре Нарвесен, бывший семинарист из Скаульхольта, а ныне королевский бочар и полицмейстер при королевской торговой монополии. Они пришли между собой к нижеследующему недвусмысленному соглашению, имеющему законную силу, и составили договор, который они, призвав на себя милость святого духа, решили выполнить, для чего скрепили его рукопожатием и клятвой. Настоящий договор не может быть расторгнут никем, кроме нашего всемилостивейшего короля и его королевского совета. Он гласит: бочонок с водкой, стоящий на полу между партнерами, перейдет в законную и неотчуждаемую

собственность названного выше кавалера и юнкера М. Сивертсена, взамен чего упомянутый кавалер и юнкер, по подписании настоящего документа, должен выполнить по отношению к вышеназванным датчанам следующие условия: по доброй воле и согласию передать упомянутым честным и почтенным датчанам Йесу Лоу и Туре Нарвесену все супружеские права на три дня и три ночи на свою, юнкера Сивертсена, славящуюся красотой, рукоделием и знатностью, всеми добродетелями украшенную венчанную жену и супругу госпожу Снайфридур Эйдалин, Бьорнсдоутир. Одновременно с этим документом кавалер мосье М. Сивертсен должен заготовить соответствующее свидетельство и письмо, обращенное к его вышеописанной жене. Когда чтец дошел до этих слов, послышался голос кавалера:

— Небеса отражаются в ее глазах. Я знаю, что связанный валяюсь в грязи.

Поскольку, говорилось далее в документе, водка в упомянутом бочонке является настоящей и чистой, достаточно крепкой и неразбавленной, супруга юнкера Сивертсена должна точно так же принять подателей настоящего письма со всей добротой и христианским смирением, не выказывать недоброжелательства и грубости, быть с

ними покорной, благосклонной и кроткой, угощать их всем, что найдется в доме, прежде всего бараниной, выменем в уксусе и свежим маслом, как если бы она была добродетельной, законной, очаровательной супругой каждого из них…

— Звезды сплели венок вокруг этого чела, — сказал вдруг кавалер. — Я знаю, что я и есть сама прокаженная, завшивевшая Исландия.

Достойные господа не обращали внимания на замечания юнкера, и Туре Нарвесен продолжал читать. В заключение в документе говорилось, что настоящее соглашение должно сохраняться в тайне, как это и подобает договорам между благородными людьми, с тем чтобы всякая чернь, чего доброго, не подняла на смех трех партнеров и их доброе имя не пострадало бы из-за пересудов и сплетен всяких посторонних людей. Единственный экземпляр контракта останется на хранении у его составителя. «В чем мы и подписуемся в доказательство и подкрепление всего вышенаписанного…»

Связанный перестал плакать, реветь и кататься по земле и лежал молча и неподвижно на полу хлева. Бочонок стоял по другую сторону перегородки на расстоянии вытянутой руки. Наконец юнкер приподнялся, закинул голову назад, взгля-

нул с искаженным лицом на потолок и сказал тому, кто обитает там, наверху:

— Боже, если даже в страстную пятницу на пороге церкви я плюну тебе в лицо, я буду знать, что на все твоя воля!

Затем он снова упал в навоз и тихо сказал:

— Давайте сюда бочонок…

Они ответили, что сделают это лишь при условии, если он поставит свое имя под контрактом. Он согласился, и тогда они развязали его. Он подписал, так сильно нажав на перо, что брызнули чернила. Туре Нарвесен вторым поставил свою изящную роспись, которая никак не вязалась с его огромными ручищами. Йес Лоу поставил крест, ибо, подобно большинству датчан, он был неграмотен. Туре подписал внизу его имя. После этого они наконец вручили бочонок кавалеру, который тотчас поднес его ко рту.

Утолив жажду, он оглянулся, но его собутыльники исчезли. И тут с ним случилось то, что так часто бывает со многими людьми, достигшими предела своих мечтаний: он не испытывал никакой радости. Он словно оцепенел. Пошатываясь, он выбрался из хлева, держа бочонок под мышкой, и стал спускаться к берегу. Пахло водорослями. Взошла бледная луна. Он крикнул,

но приятелей нигде не было видно. Он бросился было бежать, но не знал куда. Ноги у него подкашивались, земля ходила под ним ходуном. Он растянулся на земле ничком, даже не заметив, что упал. Земля снова закачалась под ним. Он старался двигаться медленно, но земля то поднималась, то опускалась. Наконец он сел возле какого-то дома, прислонился к стене и стал ждать, пока остановится земля. Он свесил голову на грудь и бормотал про себя имена воителей, рыцарей, судей, скальдов, крестоносцев и блюстителей закона, которых он с полным правом причислял к сонму своих предков. Сам он не походил на человека, но и не был животным. Он твердил себе, что он самое жалкое существо на земле и величайший человек в Исландии. Под конец он начал распевать мрачные заупокойные молитвы, которым учила его в детстве мать.

Обратимся теперь к двум счастливцам, купившим супругу юнкера. Они убежали с документом в руках. Ночь была тихая. Крошечные хижины из торфяника глубоко ушли в землю, словно хотели спрятаться. Где-то лаяли собаки. Свинопас сунул бутылку водки под камзол. Им приходилось часто подкрепляться, впереди ждала нелегкая работа. Они решили этой же ночью поспешить

с купчей прямиком в Брайдратунгу. Датчанин сказал, что по утрам женщины особенно теплые. Оба находились в том блаженном состоянии, когда выполнение задуманного кажется столь же легким, как и само решение. Теперь дело было только за лошадьми. К счастью, на лугу их было хоть отбавляй. Приятели тотчас стали выбирать себе скакунов. На берегу ручья паслись вьючные лошади из отдаленных местностей, клячи со стреноженными передними ногами, а также табун необъезженных лошадей. Лошадям не понравились люди, особенно датчанин, и они не давались им в руки. Наконец Туре Нарвесену удалось поймать и взнуздать двух коней. Седел не было, и поэтому всадникам пришлось сесть прямо на круп лошадям. Конечно, исландец, наряду с многими другими искусствами, изучал и искусство верховой езды, но датчанин никогда еще не ездил верхом ни с седлом, ни без седла, а так как он был тучен и уже не молод, да к тому же еще и пьян, то ему стоило немалого труда взобраться на лошадь. Наконец ему удалось сделать это, подведя коня к пригорку. Но едва он взгромоздился на лошадь, у него закружилась голова и он почти протрезвился. Ему казалось, что животное вот-вот свалится на бок, или перекувырнется,

или пустится в галоп, и тогда всаднику конец. Каждое движение лошади казалось ему опасным для жизни. Он заклинал своего спутника ехать потише, наклонился вперед и обнял своего скакуна за шею. Им еще далеко ехать, заметил Туре Нарвесен, и поэтому нужно спешить. К тому же им предстоит переправиться через широкий поток, чтобы сократить путь, коли они хотят попасть в Брайдратунгу рано утром, пока их общая возлюбленная супруга еще нежится в постели.

— Я падаю, — заявил датчанин.

— Может, ты останешься и придешь потом пешком? — предложил Туре Нарвесен.

— Похоже, что ты хочешь меня надуть, — сказал датчанин. — А ведь водку-то достал я. Ты же знаешь, что я слаб на ноги и не могу ходить пешком по Исландии.

— Дорогой брат, — ответил Туре Нарвесен, — я лишь думал, что, может быть, я поеду вперед, передам от тебя привет и скажу, что ты будешь к обеду.

— А как я один найду дорогу? Мне никогда в жизни не добраться до Брайдратунги. Я даже не знаю, в какую сторону ехать. Вдруг я заблужусь, свалюсь с лошади и сломаю себе шею, а ты приедешь вперед, получишь бабенку и предашь

своего приятеля. А водку-то я украл.

— Не забывай, дорогой брат и друг, что я зато составил купчую. Датчане — великие люди у себя на родине, но здесь все зависит от того, умеешь ли ты писать, ходить и ездить верхом. Кто придет первый, тот и получит женщину.

Йес Лоу больше не мог держаться на лошади, и Туре Нарвесен почувствовал жалость к нему. А поскольку лошадь датчанина была с норовом, то Туре решил подъехать к нему поближе. Но, на беду, датчанин сидел на кобыле, которая ревниво оберегала свою добродетель, и, как только Туре подъехал к ней на своем коне, она заржала и начала лягаться. Тотчас датчанин, сделав грациозный пируэт, перелетел вверх тормашками через голову своей кобылы.

— Оно и видно, на что вы, датчане, годны, — промолвил Тоурдур Нарфасон, спешился и пнул своего спутника ногой.

— Вот мерзавец! Ударить меня, когда я ранен и лежу без сознания! — воскликнул датчанин.

Тоурдур Нарфасон положил датчанина на спину, ощупал его всего и заметил, что он насквозь промок, так как бутылка с водкой разбилась. Сам Йес был, однако, цел и невредим.

— Ну, вот, ты разбил бутылку, и теперь ты мне

ни к черту не нужен, — сказал Тоурдур Нарфасон. — Наша дружба врозь. Я тебя бросаю. Теперь — каждый за себя. Кто первый придет, тому и достанется женщина.

Тут свинопас схватил Нарфасона за ногу и заявил:

— Я честно служил своему купцу и королю, я украл водку, и женщина моя.

— Н-да, несчастный вы народ, датчане, — заявил Тоурдур Нарфасон, награждая своего друга новыми тумаками, — неужто вы воображаете, что придет день, когда Снайфридур, Солнце Исландии, достанется вам?

Тут терпение датчанина лопнуло, и он попытался подставить ножку своему приятелю-убийце, теперь открыто ставшему его соперником. Началась драка. Когда дело дошло до схватки, у толстого честного датчанина нашлось порядочно сил, и оказалось, что он знает кое-какие приемы, удивившие исландца. Исландец хотел драться стоя, в обхват, но датчанин предпочел померяться с ним силами лежа, чтобы использовать вес своего тела. Они долго боролись, в клочья изорвали друг на друге одежду, так что под конец они уже полуголые царапали и молотили друг друга, пока у них не хлынула кровь изо рта и из

носа. Оружия ни у кого не оказалось, но под конец Тоурдуру Нарфасону удалось нанести своему приятелю такой ловкий удар, что тот свалился замертво. Голова свинопаса бессильно запрокинулась, язык вывалился изо рта, глаза закрылись. Нарфасон, вконец измученный, сел неподалеку от него. Занималась заря. Водки не было. Он увидел лежавший на земле договор и подобрал его. Он вывихнул себе ногу и теперь прихрамывал. Ярость его понемногу улеглась, а боль во всем теле усиливалась. На болоте было еще тихо. Слышалось лишь журчание реки. Время высиживания птенцов уже миновало. Он увидел неподалеку свою лошадь, дотащился до нее и, взобравшись ей на круп, продолжал путь. Лошадь очень устала и двигалась, лишь пока всадник молотил ее изо всех сил пятками. Но под конец и это перестало действовать. Она заартачилась и не желала трогаться с места. Всадник спешился, дал лошади пинка и, улегшись на пригорке, стал смотреть на небо. Солнце уже сияло, но луна еще не зашла. Он вытащил из-за пояса документ и письмо к женщине, внимательно перечитал их, но нигде не обнаружил грубых ошибок.

— Слава богу, что я ученый человек и скальд, — сказал он. Один глаз у него болел при чтении, и

ему трудно было держать его открытым, так как глаз все больше заплывал. Туре попытался было подняться, но у него закружилась голова. Он еще ничего не добился, хотя и избил датчанина до полусмерти. И Брайдратунга, и теплая женщина были еще далеко. Его томила жажда, не было сил встать.

— Пожалуй, лучше всего немного вздремнуть, — пробормотал он и лег. Так он и заснул с контрактом в руке.

Глава пятая

На другой день после описанных событий Снайфридур Эйдалин Бьорнсдоутир в третьем часу пополудни шла в сопровождении какой-то женщины по лужайке к дому. Через плечо у Снайфридур висел на тесьме деревянный короб с собранными ею кореньями и травами. Как и все женщины ее рода, она знала толк в полезных растениях и умела приготовлять из них замечательные целебные настои и краски. Некоторые травы она брала ради их чудесного запаха. На ней был старый синий плащ. Она шла с непокрытой головой, обнаженной шеей и распущенными волосами. Ее лицо и руки сильно загорели. Снай-

фридур каждый день ходила за травами, и от нее словно исходило золотое сияние.

Еще издали она увидела, что к камню перед домом привязана большая черная лошадь и по двору расхаживает, стиснув руки, маленький тощий человек в черном. Это был скаульхольтский каноник. Завидев хозяйку дома, он снял шляпу с высокой тульей и, держа ее в руке, пошел по лужайке навстречу Снайфридур.

— Вот неожиданная честь, — сказала она, кланяясь ему с улыбкой, и, подойдя ближе, протянула свою загорелую, немного выпачканную в земле руку. От нее шел сильный запах чабреца, душистого колоска, земли и вереска. Он избегал смотреть ей в лицо. Он поздоровался с ней, возблагодарил бога за то, что видит ее в добром здравии, и, вновь водрузив шляпу на свой воскресный парик, стиснул, как прежде, свои синеватые, чуть распухшие дряблые руки и стал внимательно их разглядывать.

— День выдался такой погожий, что я не мог отказать себе в удовольствии проехаться верхом на моем вороном, — сказал он, словно желая извиниться за свое появление.

— Хвостовертки как раз и летают в самое жаркое время года, — заметила она. — В эту пору

меня всегда тянет в горы, словно какую-нибудь бродяжку.

— В нашей бедной стране, где все гибнет, эти дни имеют что-то общее с вечностью. Это арех perfectionis[110].

— Меня глубоко радует встреча со слугой божиим на этой лужайке. Добро пожаловать.

— Нет, нет, — возразил он, — я вовсе не собирался вести еретические речи, и пусть мадам не думает, что если я восхваляю творение прежде творца, то значит я впадаю в язычество. Я хотел лишь сказать: благословенны те дни, когда молитва как бы сама собой превращается в благодарение. Хочешь молиться, и незаметно начинаешь благодарить.

— Я убеждена, дорогой пастор Сигурдур, что, когда вы приедете ко мне в следующий раз, вы расскажете, что встретили красивую девушку и она показалась вам summum bonum[111], самой вечной жизнью. И к тому же я слыхала, что вы

---

[110] Примечания: 110
Верх совершенства *(лат.)*.

[111] Примечания: 111
Высшее благо *(лат.)*.

нашли среди развалин безобразное распятие[112] и тайно поклоняетесь ему.

— Credo in unum Deum[113], мадам.

— Не думайте, дорогой пастор, что я подозреваю вас в ереси, даже если у вас есть образ.

— Важно отношение человека к образу, а не самый образ. Самое главное, верить в истину, которую может нести в себе даже весьма несовершенный образ, и жить ради нее.

— Да, — сказала она. — На том месте, где у Авраамова барана был правый рог, мне пришлось вышить на покрывале вензель и число. Но разве кому-нибудь придет из-за этого в голову, что баран сломал один рог в чаще? Нет, всем известно, что у барана, посланного богом, было два великолепных рога.

— Раз уж мы заговорили об образах, я хотел бы изложить вам все, что думаю. Есть один образ, стоящий над всеми, — это наша жизнь, творцами которой являемся мы сами. Другие образы хороши, если они показывают нам наши недо-

---

[112] Примечания: 112

Безобразное распятие. — Имеется в виду католическое распятие, оставшееся с тех времен, когда в Исландии господствовал католицизм. *(Прим. Л. Г.).*

[113] Примечания: 113

Верую в бога единого *(лат.).*

статки и наставляют нас, как лучше построить свою жизнь. Вот почему я сохранил найденное при раскопках старинное изображение Христа, оставшееся от папистских времен.

— Вы умный человек, пастор Сигурдур, но я все же не знаю, захочется ли мне вышивать на покрывале все те прекрасные образы, о которых вы говорите.

— Ведь доказано, — и это можно прочитать у всех ученых мужей, — что та истина, которая проявляется в добродетельной жизни, есть самый прекрасный из всех образов.

— Могу ли я попросить doctorem angelicum[114], воскресшего во Флое, переступить порог моего бедного жилища и отведать безобидное питье, которое я сама сварила? — спросила хозяйка дома.

— Хвала богу, — сказал он. — Счастлив тот человек, который удостаивается насмешки мадам. Но подобно тому как хвостовертка одиннадцать месяцев ползает по земле, а на двенадцатый летает в сиянии солнца, так и смиренный пастор дождется своего часа. Не будет ли мне дозволено прогуляться с мадам по лужайке и поговорить кое о чем, что занимает мои мысли.

---

[114] Примечания: 114

Doctor angelicus — почетный титул средневекового философа-схоласта Фомы Аквинского (1225–1274). *(Прим. Л. Г.).*

Они вышли на лужайку. Однако он и тут не поднял глаз и ступал осторожно, словно взвешивая, как отразится каждый его шаг на земле и на нем самом. Он был чуть ниже ее ростом.

— Мы тут говорили об образах, — начал он, продолжая держать руки так, словно собирался читать проповедь. — Об образах истинных и ложных, о тех образах, которые мы рисуем себе правильно или, напротив, неправильно, хотя все они внушены нам господом богом. Я знаю, вы удивляетесь, зачем я приехал к вам с такой болтовней. Но ведь я ваш духовник, и у меня такое чувство, словно сам господь повелевает мне говорить. И я молил его просветить меня. Я чувствую, он хочет, чтобы я обратился к вам с этими словами: «Снайфридур, отец небесный даровал вам больше, чем вы пожелали принять».

— Это упрек? — спросила она.

— Не мне упрекать вас в чем-либо.

— Кому же тогда? Может быть, я была несправедлива к кому-нибудь?

— Вы несправедливы к самой себе. Так говорит господь, и об этом знает вся страна, хотя никому не дано знать это лучше вас. Жизнь, которую вы вели все эти годы, не пристала вам — красе и гордости женского пола.

Он наконец бросил на нее быстрый взгляд, и углы рта у него дрогнули. Но его черные глаза не вынесли золотого сияния ее волос.

Она рассеянно улыбнулась и ответила равнодушным глухим голосом, словно речь шла о пушинке на ее рукаве:

— О, разве Христова невеста отныне принимает участие в столь незначительной безделице, как моя жизнь?

— Я не думал, что на мою долю выпадет такое испытание: посетить знатную даму, — да еще такую, как вы, мадам, которую никак нельзя заподозрить в том, что она погрешила против гражданских или церковных законов, — и вести с ней серьезную беседу о ее жизни.

— Вы меня пугаете, дорогой пастор. Надеюсь, перед тем как вы собирались ко мне, вы не начитались предсказаний Мерлина[115] или видений

[115] Примечания: 115

Предсказания Мерлина. — Мерлин — колдун из Уэлса, о котором упоминается в старинных источниках IX в. Прославился своим умением предсказывать будущее. Из произведений под его именем самое известное «Предсказания Мерлина» о будущем Англии, которое в XIII в. было переведено на исландский язык. *(Прим. Л. Г.).*

Дуггала[116]. Много бы я дала, чтобы правильно понять вас.

— Я был бы счастлив найти путь к вашему сердцу. Но простому священнику не под силу разобраться в столь сложном лабиринте, тем более что сами вы не желаете понять того, что вам говорят. Мой долг, однако, поговорить с вами, даже если вы окружили себя стеной, сквозь которую не проникнуть бездарному стихоплету.

— Продолжайте, дорогой пастор.

— Да будет мадам известно, что, когда я говорю с ней, я полностью отдаю себе отчет в том, к кому я обращаюсь. Вы — одна из самых знатных женщин на севере, высокоученая, как те женщины, которых в Исландии некогда прозвали вещими. Вы с малых лет изучали науки и настолько искусны в рукоделии, что ваши работы высоко ценятся в иноземных соборах. И к тому же ваша красота, милостию матери божьей, пронизана таким благоуханием жизни, что одно ваше существование в этой стране, рядом с нашими скромными цветами, служит нам залогом того,

---

[116] Примечания: 116

Видения Дуггала. — Под этим названием в XII в. в Норвегии была нереведена с латыни рукопись ирландского рыцаря Тундала, который впал в трехдневный летаргический сон и, проснувшись, описал свои приключения в потустороннем мире. *(Прим. Л. Г.).*

что сын божий, невзирая на праведный гнев отца своего, не оставит эту несчастную страну своим покровительством. В эти жестокие времена на тех немногих людей в нашей стране, которые еще не потеряли чувства человеческого достоинства, ложатся тяжелые обязанности. И такой женщине, как вы, бог не дал права губить свою жизнь в союзе с человеком, позорящим честь ее родины. Возможно, вам странно слышать из уст пастора осуждение того, что соединено богом. Но я бодрствовал и молился. Я взывал к святому духу. И я пришел к убеждению, что ваш брак необходимо расторгнуть. Я уверен, что даже сам папа, хотя он и объявил брачные узы нерушимыми, позволил бы вам расторгнуть ваше супружество, ибо оно позорнее всякого блуда.

— О, я чуть не забыла, пастор Сигурдур, что вы мой терпеливый жених. Вы полагаете, что я должна развестись с Магнусом и выйти за каноника. Но, видите ли, дорогой мой, если я это сделаю, вы уже не будете женихом, а после невест ведь женихи — счастливейшие люди на свете. И потом, что сказал бы Христос, которого вы извлекли из кучи мусора?

— Я всегда знал, что наши предки заимствовали свои поэтические образы у язычников. Что

могу ответить на это я, мягкосердечный пастор, которому не положено много думать, а тем более говорить. Все же я давно уже слишком хорошо знаю, что, несмотря на забытые ныне шутки, помыслы дочери судьи всегда были далеки от меня. Яснее всего я понял это по выбору, сделанному ею, когда ее отверг знатный мирянин, которого она любила. Еще менее может бедный служитель божий мечтать о такой женщине теперь, на склоне лет, будь она даже свободна, — теперь, когда человек этот вновь объявился в нашей стране. Ведь я и в молодости не помышлял соперничать с ним.

Она начала проявлять признаки нетерпения.

— Ах, зачем говорить о нелепых причудах, которыми некогда, еще в родительском доме, забивала себе голову неразумная девочка и о которых она вспоминает сейчас лишь со снисходительной улыбкой.

— Шутите вы или говорите серьезно, мадам, пусть это останется на вашей совести. Зато я ясно помню, как взрослая женщина говорила мне о том, что любит его наяву и во сне, живая и мертвая. И меня не удивило бы, если бы нити, из коих соткана ткань вашей жизни, вновь свели вас вместе. Разве не этот вельможа, почти чужеземец,

первый толкнул вас ступить неверной ногой на эту скользкую скалу над пропастью, на которой вы сейчас стоите? Он был спутником князей и графов по ту сторону океана, ходил в английских ботфортах, каждую неделю менял свои испанские брыжи, мог перечесть по пальцам учения всех ересиархов и диспуты язычников, знал нынешнюю литературу, подобно всем тем, кто глумится над установленными богом законами. Господь подчас ослепляет людей странными видениями. Он позволил искусителю блуждать по земле в светлых одеждах. Как это случается в сказках, ослепленные своим желанием, вы потеряли разум и очнулись в плену у злого духа, каким являются все светские люди перед лицом бога. Правда, у этого нет графства по ту сторону моря — вместо моря здесь река Тунгу, и у него только одни-единственные брыжи, да и те грязные. Однако он не хуже других умеет насмехаться, как велит злой дух, над всем, что свято, а это для господа бога равносильно чтению французских книг и языческих диспутов. Здесь, впрочем, их заменяет водка.

— Я подумала было, что вы приехали, чтобы посеять раздор между Магнусом и мною, но теперь я слышу, что вас занимает совсем другой

человек, тот самый, про которого вы когда-то сказали, что лучшего мужа мне нельзя пожелать. Если же он, как вы говорите, искуситель в образе человеческом, ваше пожелание никак не назовешь добрым.

— Тридцати с лишним лет, оставаясь все же слабым юнцом, стоял я перед земной оболочкой той славной любвеобильной женщины, которая была для меня одновременно сестрой, матерью и возлюбленной, моей путеводной звездой и ангелом-хранителем. Она была на двадцать пять лет старше меня. Я находился на распутье; дерзкая жажда жизни переполняла меня. Исполненный восторга, я видел, как высекают копытами искры лошади всадников, разъезжавших по стране с важными поручениями. Моим глазам открылось все великолепие мира, и оно заслонило Христа от меня, грешного Адама. И я был терпеливым женихом юной дочери судьи, но она сказала, что меня опередил другой. И мимо меня проскакал тот единственный из всех людей, которому я завидовал, тот, кому первому была отдана ваша любовь. Я знал, что он никогда не будет вашим. Я знал, что он не вернется.

— И вы находите, что теперь, когда он вернулся на родину, настало самое время высказать свое

мнение о нем?

— Вы говорите уже не с влюбленным женихом, мадам, а с умудренным жизненным опытом отшельником, который, как вы сказали, извлек своего Христа из кучи мусора и который уже не робеет перед вельможей. Но пусть я старый отшельник, вы-то ведь — молодая женщина, у вас впереди долгая жизнь и есть обязанности перед отчизной и богом. И мне надлежит позаботиться во славу бога о вашей прекрасной душе.

— Могу я спросить, какую же судьбу вы уготовили мне во славу бога?

— Я твердо убежден, что ваша сестра, супруга епископа, была бы рада, если бы вы погостили у нее год в Скаульхольте, до тех пор пока брак между вами и Магнусом не будет расторгнут. А за это время вы сумеете обдумать свое положение.

— А что потом?

— Я уже говорил, что вы еще молодая женщина, — сказал он.

— Понимаю. Но если не говорить о вас, дорогой пастор, то какого же мужлана или балбеса пастора прочите вы мне потом в мужья во славу бога?

— У вас есть выбор между богатыми помещиками и важными сановниками, — сказал каноник.

— Я знаю, кого бы взяла. Старого Вигфуса То-

ураринссона, конечно, если бы он не отверг меня. Он не только крупный помещик, но у него еще и серебро водится. К тому же он один из немногих мужчин в Исландии, умеющих разговаривать со знатными дамами.

— Может быть, за год в Скаульхольте появится кто-нибудь другой, познатнее.

— Теперь я уже ничего не понимаю. Надеюсь, господин каноник, вы не предназначаете мою душу дьяволу во славу бога?

— Умная женщина, оберегающая свою добродетель и пекущаяся о чести и неподкупности своих близких, то есть о тех качествах, которые сделали вашего отца первым человеком в стране, обладает большей властью и силой, нежели все королевские грамоты. Быть может, господь предначертал вам, подобно Юдифи, одолеть лаской врагов отца своего.

— Нетрудно расточать то, чего у тебя нет, и простите мне, дорогой пастор, если я скажу, что ваши слова несколько напоминают мне детскую игру, которая также начинается словами: «Мой корабль прибыл…» Я не буду пытаться разгадать ваши туманные намеки насчет моего отца и тем более ваши суждения о посланце короля. Но поскольку вы и супруга епископа Йорун хотите

сделать из меня нечто среднее между девкой и нищей, то позвольте напомнить вам, что я — хозяйка Брайдратунги и люблю своего мужа не меньше, чем моя сестра Йорун любит своего супруга — епископа. И поэтому я не вижу для нас необходимости оказывать услуги друг другу. Мне думается, она это знала, давая вам подобное поручение.

Когда разговор зашел так далеко, каноник разжал руки, и было видно, что они дрожат. Он откашлялся, чтобы придать голосу больше твердости.

— Хотя я знал вас еще ребенком, Снайфридур, но, видно, мне, бездарному стихоплету, не дано изыскать слова, которые тронули бы ваше сердце, а посему мы закончим наш разговор. Но так как слова бессильны, мне остается лишь одно: представить вам доказательства, которые я предпочел бы утаить от вас.

Он сунул руку в карман и вытащил грязный и измятый лист бумаги. Расправив его дрожащими руками, он протянул ей документ. Это была купчая, составленная прошлой ночью в хлеву в Эйрарбакки, согласно которой ее муж-юнкер за бочонок водки уступил свои супружеские права на три ночи свинопасу-датчанину и убийце-ис-

ландцу. Она взяла эту бумагу и прочла ее. Пока она читала, он не отрывал глаз от ее лица. Но оно оставалось непроницаемым. Губы были плотно сжаты, и у нее появилось то отсутствующее выражение, которое было свойственно ей с самого детства, когда она не улыбалась. Дважды внимательно прочитав документ, она засмеялась.

— Вы смеетесь? — удивился он.

— Да, — ответила она. Прочла еще раз и снова рассмеялась.

— Пусть я настолько глуп, что заслуживаю от вас лишь насмешки вместо дружеской и откровенной беседы. Но все же я знаю, что гордой женщине не до смеха при таком неслыханном позоре, даже если она и смеется.

— Я одного не понимаю: каким образом вы, дорогой пастор, стали участником этой истории. Какую же сделку вы, со своей стороны, заключили со свинопасом и убийцей?

— Вы же знаете, что я не подделал этот чудовищный документ.

— Это мне и не могло прийти в голову. Поэтому вы должны представить мне доказательства, что вы причастны к этой сделке. В противном случае рабыня должна ждать, пока явится ее законный властелин.

Глава шестая

Через несколько дней Магнус вернулся в Брайдратунгу. Утром он появился перед дверью Снайфридур, промокший до нитки, так как на дворе шел дождь, окровавленный, грязный, вонючий, с лицом, заросшим давно не бритой щетиной. Он не поднял глаз и не двинулся с места, когда она прошла мимо, но согнулся, словно нищий, пробравшийся ночью в чужой дом. Она отвела его к себе и ухаживала за ним, и он плакал три дня подряд, как обычно. Затем он поднялся.

Первое время он никуда не исчезал, а отправлялся в полдень на луг и косил, почти всегда один, далеко от своих батраков. Он ни с кем не заговаривал и возвращался домой затемно, чтобы поесть перед сном у себя в комнате. Он часто заходил в кузницу и чинил инструменты своих работников, отбивал косы, выковывал грабли, но все это делал молча.

Пора сенокоса миновала, но юнкер пока не порывался уйти из дому и продолжал работать по хозяйству, подолгу не покидая своей мастерской. Он чинил всевозможную домашнюю утварь: деревянные чашки, корыта, бочки, ведра, прялки,

ящики — или же приводил в порядок дом. К нему вернулся его обычный цвет лица. Теперь он брился и надевал платье, отутюженное и вычищенное его женой. После пригона овец с высокогорных пастбищ осенние дожди прекратились, и наступила ясная погода с легкими заморозками по ночам. Лужи обрастали по краям ледяной кромкой, а на траву садился иней.

Однажды Гудридур поднялась наверх к Снайфридур и сказала ей, что внизу стоит какой-то старик, который хочет поговорить с хозяйкой. Он сказал, что явился с запада, из округи Тверотинга.

— Что ему нужно, дорогая Гудридур? Я никогда не принимаю нищих. Если у тебя найдется для него немного масла и кусок сыра, дай ему. Я не хочу, чтобы меня беспокоили.

Но оказалось, что человек этот не просил милостыни. Это был путник, направлявшийся в Скаульхольт, и у него было важное дело к хозяйке Брайдратунги. Он уверял, что она узнает его, когда увидит. Его провели наверх к ней.

Это был пожилой человек. Он встал у порога, снял вязаную шапчонку и приветствовал ее как старый знакомый. Брови у него были еще черные, но волосы уже поседели. Она взглянула на него,

холодно ответила на его поклон и спросила, что ему нужно.

— Вы не узнаете меня? — спросил он. — Впрочем, это не удивительно.

— Нет, — сказала она. — Ты служил когда-нибудь у моего отца?

— Недолго. К несчастью, однажды весной я слишком близко поднес к нему свою голову.

— Как тебя зовут?

— Йоун… Хреггвидссон.

Она его не узнавала.

Он все смотрел на нее и ухмылялся. Глаза у него были черные, но, когда в них падал свет, они отливали красным.

— Я тот самый, что отправился в Голландию.

— В Голландию? — переспросила она.

— Я давно задолжал вам далер.

Он сунул руку под камзол и вынул из кожаного кошелька завернутую в шерстяную тряпку серебряную монету.

— О, — сказала она, — так это ты, Йоун Хреггвидссон. Мне помнится, что раньше волосы у тебя были черные.

— Я уже стар, — ответил он.

— Убери свой далер, дорогой Йоун, садись вот туда на ларь и расскажи мне, что нового. Где ты

теперь живешь?

— Я по-прежнему арендую землю у старика Христа. Хутор зовется Рейн. Я всегда хорошо ладил со стариком, и это потому, что мы друг другу никогда не были должны. Зато вам я слишком долго не возвращал этот далер.

— Хочешь сыворотки или молока? — спросила она.

— О, я пью все. Все, что течет. Но этот далер я хочу вам вернуть. Если когда-нибудь, упаси боже, мне вновь придется пуститься в дальний путь, мне бы не хотелось, чтобы долг помешал мне прийти к вам еще раз.

— Ты никогда не приходил ко мне, Йоун Хрегг-видссон. Это я пришла к тебе. Я была тогда совсем девчонкой, и мне захотелось увидеть человека, которому должны отрубить голову. Твоя мать пришла в Скаульхольт издалека, с запада. Тогда у тебя были черные волосы. Теперь ты седой.

— Все меняется, кроме моей йомфру.

— Я уже пятнадцать лет замужем. Не смейся надо мной.

— Моя йомфру не меняется, — сказал он.

— Не меняюсь?

— Да, йомфру не меняется… Йомфру…

Она взглянула в окно.

— Помнится, я давала тебе поручение?

— Я передал кольцо.

— Почему же ты не принес мне ответ?

— Мне было приказано молчать, да никакого ответа и не было. Все же меня не казнили… тогда. У этой женщины рот чуть ли не на середине груди. Он вернул мне кольцо.

Она посмотрела на гостя словно издалека.

— Что ты теперь хочешь от меня? — спросила она.

— О, я даже не знаю. Вы уж простите глупого старика.

— Не выпьешь ли чего-нибудь?

— Я пью, когда меня угощают. Все, что течет, — божий дар. Когда я сидел в Бессастадире, у меня была вода в кувшине и топор. Острый топор — славное орудие. Но виселицу я всегда терпеть не мог, особенно после того, как мне пришлось драться с повешенным.

Ее синие глаза смотрели на него словно из бездны. Губы были плотно сжаты. Затем она поднялась, позвала служанку и велела ей угостить этого человека.

— Всегда хорошо чем-то утолить жажду, — сказал он. — Хотя мои старые друзья-копенгагенцы назвали бы этот напиток жидковатым.

— Такова твоя благодарность?

— Старому крестьянину из Скаги не забыть той кружки пива, которую поднес мне его милость, когда я пришел из Глюкштадта в королевских сапогах.

— О ком ты говоришь?

— О том, к кому вы меня посылали и к кому я сейчас опять должен идти.

— Куда ты собираешься идти?

Он снова засунул руку в кожаный кошелек, вытащил из него письмо со сломанной печатью и протянул его хозяйке дома.

Письмо было написано четким красивым почерком. Она прочла первые слова: «Привет тебе, Йоун Хреггвидссон», доступные пониманию человека из народа, затем собственноручную подпись: «Арнас Арнэус», поставленную тупым мягким пером. Эта размашистая и в то же время твердая подпись столь странно походила на его голос, что при чтении ей казалось, будто она его слышит. Она побледнела.

Ей понадобилось до странности много времени, чтобы прочесть это коротенькое письмо. Глаза ее словно застилал туман. Наконец до нее дошел его смысл. Письмо было написано в середине лета в Хоуларе, в северной Исландии, и в нем говори-

лось, что Арнас Арнэус вызывает крестьянина из Рейна к определенному дню в конце сентября в Скаульхольт, куда он сам должен приехать с востока. Он намерен поговорить с Йоуном об его старом деле, которое, видимо, так и не было решено по закону в согласии с грамотами, данными в свое время нашим всемилостивейшим монархом.

Автор письма уведомлял Йоуна Хреггвидссона, что король, радея о благе народа, поручил Арнэусу расследовать в Исландии все те дела, которые в течение минувших лет не нашли своего законного решения у судей страны, и попытаться восстановить справедливость с тем, чтобы в будущем среди народа царили спокойствие и уверенность.

Она выглянула в окно и увидела отцветший луг и солнечные блики на реке.

— Он в Скаульхольте, на том берегу реки? — спросила она наконец.

— Он вызвал меня туда. Поэтому-то я и пришел к вам.

— Ко мне?

— Когда в Тингведлире вы сняли с меня цепи, я был еще молод и мне ничего не стоило исколесить чуть ли не весь свет. Но теперь я стар и

ноги отказываются служить мне. Теперь я уже не решился бы бродить даже по мягкой земле Голландии, не говоря уже о каменистой Исландии.

— Чего ты боишься? — спросила она. — Разве много лет назад король не даровал тебе свободу?

— Вот потому-то я и боюсь. Простой человек никогда не может быть уверен, принадлежит ли ему голова, сидящая у него на плечах. А теперь случилось именно то, чего я всегда боялся: они снова грызутся из-за моего дела.

— А чего ты хочешь от меня?

— Сам не знаю. Может быть, вас где-нибудь послушают.

— Никто меня не послушает, да я ничего и не скажу.

— Ну, как бы там ни было, кому бы ни принадлежала эта уродливая седая голова, которую вы сейчас видите, но ведь это благодаря вам она еще сидит на плечах. Помните, я спал. Назавтра мне должны были отрубить голову. Вы разбудили меня и сняли с меня цепи. Это очень грустная история. А теперь судьи снова займутся ею.

— Конечно, освободив тебя, я нарушила закон страны. А что ты, собственно, натворил? Ты разбойник или убийца?

— Добрая йомфру, я украл леску, — сказал Йоун

Хреггвидссон.

— Да, — промолвила она. — Я была взбалмошная девчонка. Лучше бы тебя казнили.

— Потом они обвинили меня в оскорблении величества и в убийстве палача. А под конец приплели еще, будто я убил собственного сына. Но это все пустяки. Власти не вмешиваются, когда в тяжелое время люди убивают своих детей, если только это обделывается достаточно ловко. Нищих и без того хватает. Все эти годы меня мучили только грамоты.

— Грамоты? — спросила она рассеянно.

Тогда он рассказал ей, что много лет назад он вернулся в Исландию с двумя королевскими грамотами и пустился в дальний путь в родные места — в Акранес, или, как его еще называют, Скаги. Там он узнал, что его дом постигла божья кара: его шестнадцатилетняя дочь с лучистыми глазами покоилась на смертном одре, а придурковатый сын сидел рядом и смеялся. Две прокаженные родственницы, одна вся в буграх, другая в язвах, возносили хвалу господу, а дряхлая мать пела нескладные псалмы пастора Халлдора из Престхоулара. Его несчастная жена держала на руках двухлетнего ребенка и уверяла, что Йоун — отец этого ребенка. Но это было ничто в сравнении с

теми бедами, которые в его отсутствие постигли его скот. Его собственную скотину суд забрал и передал казне в наказание за совершенные им преступления. Но скот, который он арендовал вместе с хутором у Христа, околел от голода, ибо, пока Йоун сражался на чужбине за своего короля, эта несчастная семья только и делала, что восхваляла бога, забывая заготовлять сено для животных.

Затем он рассказал Снайфридур, как ему пришлось строить голыми руками новую жизнь, когда ему было уже под пятьдесят, и вдобавок привыкать к новым детям, ибо старшие все перемерли. Но он говорил сам себе: разве я не потомок Гуннара из Хлидаренди?

К тому же Иисус Христос уже давно получил своих коров. А ему, Йоуну Хреггвидссону, пришлось выстроить себе новую хижину у моря. Он назвал ее «Кров в непогоду» и ходил рыбачить на восьмивесельной шлюпке.

— Только грамоты омрачали мою жизнь, — сказал он наконец.

Но она почти ничего не знала об этих грамотах, омрачавших существование крестьянина из Скаги, и он подробно рассказал ей, как его вызвали в верховный суд Копенгагена и дали грамоту,

сообщив, что она должна быть оглашена на альтинге. Затем он упомянул еще об одной грамоте — охранной, которая обеспечивала ему безопасность и на четыре месяца освобождала его от службы под королевскими знаменами, чтобы за это время он уладил свои дела в Исландии.

— Что же дальше? — спросила она.

— Эти грамоты так и не были оглашены.

— Ну, а потом?

— Вот и все.

— Почему же они тебя не обезглавили, если уж решили не оглашать грамоты?

— Это опять рука господина судьи, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— Мой отец никогда ничего не замалчивает.

— Я тоже надеюсь на это, и Йоуну Хреггвидссону не в чем упрекнуть почтенного судью, разве что в излишней мягкости к нему и другим. На его месте я бы не позволил Йоуну Хреггвидссону второй раз унести свою голову.

Затем он подробно описал, как по возвращении на родину раздобыл себе лошадь, чтобы отвезти грамоты судье Эйдалину на альтинг, собравшийся у реки Эхсарау. Как и следовало ожидать, судья не ответил на поклон человека, приговоренного им к смерти. Однако он внимательно прочел обе

грамоты, вернул их Йоуну и велел захватить с собой на суд, где их непременно огласят.

Три дня подряд Йоун Хреггвидссон являлся с грамотами на альтинг. Там он увидел тех самых людей, которые двумя годами ранее осудили его на казнь. Он сидел на скамье, рядом с другими, чьи дела разбирались на суде, но его так и не вызвали. На третий день судья прислал за ним, и посланный отвел Йоуна к судье, который сказал ему следующее: «Йоун Хреггвидссон, советую тебе быть потише и поменьше хвастаться этими бумагами. Знай, что в моей власти приказать обезглавить тебя тут же на альтинге. Да запомни хорошенько: если твое дело еще раз попадет в верховный суд в Копенгагене, тебе уже не сносить головы. Правда, один раз тебе удалось заполучить документы с помощью этих насмешников из Копенгагена, желавших не столько помочь нищему и убийце, сколько выставить нас на посмеяние, по обычаю этих мошенников. Зато теперь мы позаботимся о том, чтобы ты не смог вторично натравить этих хвастунов и крючкотворов на здешние власти».

— Мой отец не угрожает людям. Он судит их, если они виновны, — возразила дочь судьи.

— Я вспомнил о Копенгагене и об исландском

сановнике, очень скромном человеке, которого я видел в большом доме, где заседает их верховный суд. Он объяснил мне содержание этих грамот в тот самый день, когда меня хорошенько вымыли, и я совсем было решил, что уж теперь меня казнят. Но чуть подальше, у большого окна с тяжелыми занавесями, я заметил своего друга Арнаса Арнэуса. Он не смотрел на меня и не поздоровался со мной, но хорошо знал обо всем, ибо все происходившее было делом его рук. И поэтому я ответил судье, отцу моей госпожи: «Вы самый могущественный человек в Исландии, — сказал я, — и, конечно, можете приказать отрубить мне голову, но грамоты эти подписаны нашим всемилостивейшим королем». Когда же высокородный господин судья увидел, что я не боюсь его и рассчитываю на помощь друга, он не разгневался на меня.

— Отец не даст запугать себя, — сказала Снайфридур.

— О, это я хорошо знаю. Но мой друг и друг моей йомфру не менее важный человек, чем судья, отец моей йомфру.

Минуту Снайфридур рассеянно смотрела на Йоуна словно издалека. Но вдруг ей показалось, что этот человек совсем близко от нее, и она

рассмеялась.

— Судья Эйдалин сказал: «Я верну тебе твой скот и возмещу сторицей все твое добро и возмещу тебе потери. Ты же отдай мне грамоты, и все будет по-старому». Он добавил еще кое-что, но я не хочу это повторять, так как при этом не было свидетелей.

Все же я спросил: «А что скажет мой король, если грамоты не будут оглашены?» — «Об этом, — ответил он, — позабочусь я, ты лишь отдай их завтра на альтинге, как только тебя вызовут».

Она спросила, что было потом. Он ответил, что, сверх ожидания, все сошло гладко, ибо, когда его скот пригнали обратно в Рейн, оказалось, что стадо выросло вдвое.

— Мой отец не занимается подкупами, — возразила она. — А что же грамоты?

Он рассказал, что, когда на следующий день его наконец вызвали и спросили, какое у него дело, он ответил, что у него имеются грамоты нашего всемилостивейшего короля и он просит огласить их. Тогда окружной судья Гудмундур Йоунссон из Скаги подошел к нему, взял у него из рук грамоты и, внимательно просмотрев их вместе с фуггом Бессастадира, передал судье. Последний предложил Йоунссону прочесть одну из них. Это

была как раз охранная грамота. Едва закончилось чтение, как судья заявил, что этого достаточно и что Йоуну Хреггвидссону была явлена большая милость, а теперь он может отправляться восвояси и больше не питать злобы к своим ближним.

Крестьянин замолчал, и, когда Снайфридур спросила его, что же было дальше, он ответил, что теперь у него на руках осталось только письмо, подписанное четырнадцать лет спустя Арнасом Арнэусом.

— А чего ты хочешь от меня? — спросила она.

— Я уже стар, — сказал Йоун, — и у меня снова есть пятнадцатилетняя дочь.

— Ну и что же?

— Я пришел просить вас передать ему, что некогда Йоун Хреггвидссон был молодой, черноволосый и ничего не боялся. Но это время миновало. Передайте ему, что к вам приходил плачущий седовласый старик.

— Не вижу, чтобы ты плакал. И волосы у тебя еще не совсем седые. К тому же я не понимаю, чего тебе, ни в чем не повинному человеку, бояться пересмотра твоего дела. Если оказалось, что в тот раз суд тебя осудил неправильно, то ведь это говорит в твою пользу, хотя, конечно, теперь уже несколько поздно признавать твою

невиновность.

— Мне все равно, виновен я или нет, лишь бы меня и моих овец оставили в покое.

— Неужели? — спросила она. — Зачем же ты исколесил полмира? Разве не в надежде на правосудие?

— Я простой старик и понимаю лишь то, что могу потрогать своими руками. Я знаю, что такое топор и вода в кружке. Бедняк должен почитать себя счастливым, если ему оставят жизнь.

— А ты никогда не думал, что жизнь и правосудие — дети одной матери и что цель правосудия — облегчить жизнь беднякам?

— Я всегда знал одно: что цель правосудия — отнимать жизнь у бедняков. А так как вы умеете разговаривать с большими людьми, то я прошу вас спасти Йоуна Хреггвидссона от правосудия.

— Ты ошибся, Йоун Хреггвидссон. Я не умею разговаривать с большими людьми. В наше время не принято прислушиваться к женской болтовне. Насколько я понимаю, твое дело в верных руках. Ты, кажется, уже все выпил. Если ты утолил жажду, то лучше ступай теперь домой.

Йоун встал, подал ей свою маленькую загрубелую руку и сказал:

— Благослови вас бог за угощение.

Однако он продолжал топтаться на месте, словно не решаясь уйти.

— Я хорошо знаю, что в наших древних сагах самые презренные существа — это те, которые просят о милости. Один не прощает человеку, просящему милости. Что до меня — то пусть уж скатится с плеч эта уродливая седая голова, но что скажет йомфру, если в то же время топор опустится и на шеи людей поважнее?

— О, теперь-то я наконец понимаю, что привело тебя сюда, — улыбнулась она. — Ты пришел пригрозить мне, что твоя голова скатится вместе с моей, потому что я тебя тогда освободила. Ну, что ж, дорогой мой сообщник! Ты поистине веселый старый плут.

При этих словах Йоун упал перед ней на колени и заплакал, прикрывая глаза рукой. Ни одно из несчастий, которые ему довелось пережить за свою жизнь, пробормотал он, всхлипывая, не ранило так его сердце, как эти ее слова.

Она встала и подошла к нему.

— Дай я потрогаю твои глаза.

Этого-то он как раз и не хотел: они ведь были сухие!

— Не так уж важно, кто кого убивает: Йоун Хреггвидссон палача или палач Йоуна Хрегг-

видссона, — сказал он. — Но если шестнадцать лет назад судья Эйдалин правильно осудил меня, то моему благодетелю Арнэусу, возможно, придется отправиться в тюрьму за то, что он обманул короля. Если же, напротив, Йоун Хреггвидссон невиновен, тогда, значит, исландскому судье грозит опасность утратить то, что для больших людей важнее собственной головы, — честь.

У него была холодная наглая усмешка. Его белые зубы, сверкавшие в седой бороде, делали его похожим на собаку, которая продолжает скалить зубы, когда ее побили. От внимания Снайфридур не укрылось, что вокруг пояса у него была обмотана новая веревка.

Глава седьмая

Спустя несколько дней юнкер исчез. Должно быть, он уехал ночью, ибо в одно прекрасное утро из кузницы уже не доносились удары молота. Топор лежал в куче стружек. Пошел дождь и лил весь день и всю ночь напролет. Дул сильный ветер. Все реки вышли из берегов. Земляные стены и крыши из торфа пропитались водой и превратились в сплошное вязкое месиво. В домах пахло плесенью, от стен веяло промозглой сыростью;

было холоднее, чем в зимнюю стужу. В сенях и перед парадным крыльцом стояли лужи, нельзя было даже выйти во двор. Хозяйка плотнее укрывалась пуховой периной и не вставала. Ночи были темные и долгие. Однажды ночью с потолка ее комнаты так полило, что ей пришлось набросить на кровать шкуру. Но вода продолжала лить и застаивалась в складках шкуры, образуя целые озера. Затем дождь перестал. Как-то в сумерках распогодилось, и на небе проглянули луна и звезды. В этот вечер Магнус вернулся домой. Услышав звяканье уздечки, она поняла, что он, по крайней мере, лошадь не продал. Через несколько минут он легко поднялся по лестнице. Он постучал в дверь и подождал разрешения войти. Снайфридур вышивала при свете висевшего на стене светильника. Она подняла глаза на Магнуса, и он поцеловал ее. От него не разило водкой, но он был охвачен каким-то странным возбуждением, что совсем не было свойственно ему в трезвом состоянии. В глазах у него застыло дикое выражение, словно у лунатика, который совершенно не отдает себе отчета в своих действиях и, просыпаясь, начисто забывает обо всем.

— Мне нужно было съездить на юг, в Сельвогур, — сказал он, словно желая извиниться за

свое исчезновение. — Я сторговал у одного человека хутор.

— Хутор? — переспросила она.

— Да. Ты разве не считаешь, что нам пора приобретать хутора? Нельзя же продавать, не покупая. Я наконец решился покупать хутора и приобрел усадьбу в Сельвогуре.

— А сколько она стоит?

— Об этом-то я и хотел поговорить с тобой, милая Снайфридур, — сказал он, целуя ее. — Как приятно возвращаться домой к своей жене, особенно когда из-за дождей пришлось задержаться на лишних четыре дня.

— Ты кстати заговорил о дожде. Я тут чуть было не утонула.

— Теперь я хорошенько заделаю все дыры, все приведу в порядок, больше нигде не будет течь. Но сперва давай купим хутора.

— Дорогой Магнус, если уж ты задумал покупать хутора, то почему бы тебе не заключить сначала сделку со мной? Не хочется ли тебе купить усадьбу у меня? Брайдратунга продается.

— Кто породнился со знатью, тому не нужно платить за право спать со своей женой, да и тестю не пристало мешкать с вручением приданого.

— Вот как? Тогда покупай себе другие хутора.

— Муж и жена — одна душа и одна плоть, — ответил Магнус. — Хутора, которые покупаю я, принадлежат тебе, а те, что дает тебе твой отец, принадлежат мне. У любящих все должно быть общим. Твой отец заставил богача Вигфуса уступить ему Брайдратунгу и передал ее тебе по дарственной. Ты меня любишь, значит, Брайдратунга моя. Я задумал купить усадьбу в Сельвогуре, а так как я тебя люблю, то сельвогурская усадьба будет принадлежать и тебе.

— Это неравная игра. С одной стороны, богатый мужчина, а с другой — бедная слабая женщина. Пусть я люблю тебя во сто крат сильнее, чем ты меня, ты все равно останешься в проигрыше.

— Все говорят, что я сделал самую выгодную партию в Исландии, — сказал он.

— Это не так уж мало. Но я совсем забыла: тебе дали поесть?

Юнкер не снизошел до ответа на столь низменный вопрос.

— Дорогая Снайфридур, дело в том, что я уже обо всем договорился. Осталось лишь внести сто далеров серебром, и хутор уже нынче ночью будет наш. Владелец ждет меня на южном берегу.

— Я уверена, что ты выпутаешься, как всегда.

— Послушай, жена, ведь ты не носишь и де-

сятой части драгоценностей, которые хранятся в твоих ларях. Докажи, что ты любишь мужа, и выложи свое золото и серебро, чтобы мы могли купить хутор. Тебе ведь известно, что Брайдратунгу у меня выманили, а я не могу допустить, чтобы на мое имя не было записано ни одного хутора. Как может юнкер или кавалер смотреть в глаза людям, если у него нет хуторов? Поцелуй же меня, дорогая, и скажи, что у меня будет хутор.

— В детстве мне говорили, что тот, кто сумеет проглотить коленную чашку, будет владеть хутором. Ты пробовал это сделать? Проглоти коленную чашку овцы, получишь маленький хуторок. Сумеешь проглотить коленную чашку коровы, — у тебя будет целая усадьба.

— Я знаю место, где ты охотно помогла бы мне приобрести участок, — на кладбище. Уверен, что ты хочешь моей смерти.

— Я прежде не заметила, что ты пьян, дорогой Магнус. А теперь убедилась в этом. Оставим этот разговор. Ступай вниз и скажи Гудридур, чтобы она дала тебе поесть.

— Я ем, что хочу, когда хочу и у кого хочу.

Она промолчала.

Он находился в таком состоянии, что трудно было предугадать, чем все это может кончиться.

— Ты знаешь, дорогая, — сказал он нежно, снова подходя к ней, — серебро копят скряги, а не знатные люди. Когда его держат в ларях, оно никому не доставляет радости и только тускнеет.

— Кому-то нравилось сидеть по ночам дома и начищать до блеска свои далеры при лунном свете, — сказала она.

— Да… но что это за знатный человек без хуторов? А мы ведь знатные люди.

— Ты, но не я.

— Ты всегда была так добра ко мне, милая, дорогая Сньока. Подари мне старинный серебряный пояс, какой-нибудь головной убор и три-четыре шейных кольца, хотя бы далеров на пятьдесят.

— Хотя я всего лишь ничтожная женщина, мое серебро принадлежало некогда моим прародительницам — великим женщинам Исландии. Они надевали его по праздникам еще в XI веке. Руки их касались этих украшений, в которых до сих пор живет душа того времени. Поэтому ныне, как и тогда, они принадлежат им, а я всего лишь хранительница, и стоимость этих украшений не имеет ровно никакого значения.

— Я покажу тебе купчую на мой новый хутор, чтобы ты не думала, будто я собираюсь пропить твои драгоценности. Знай, дорогая Снайфридур,

что я бросил пить, и это истинная правда. Я ненавижу водку, по крайней мере, она больше не доставляет мне никакой радости. Единственная моя радость — быть дома, возле тебя. Бог свидетель! Дорогая Снайфридур… один старинный головной убор, одно шейное кольцо… хотя бы на двадцать пять далеров…

— Ложился бы ты спать, дорогой Магнус. А завтра мы поговорим.

— …Ну, хоть пару старых серебряных ложек, сохранившихся еще со времен черной смерти — оспы, лишь бы они увидели серебро и поняли, что у меня найдется чем платить, что я мужчина и у меня есть жена.

— Я не уверена в том, что ты мужчина, дорогой Магнус, и не знаю, есть ли у тебя жена.

Он отшатнулся от нее, а она смотрела на него словно издалека, как на чужого, но без всякого удивления.

— Открой ларь, — сказал он.

— У тебя сегодня какие-то чужие глаза, милый Магнус, да и голос не твой.

— Я знаю, что в твоем ларе мужчина.

Она пристально смотрела на него.

— Я видел, как он въехал на выгон. Я узнал его. Приказываю тебе открыть ларь.

— Лучше оставим этого человека в покое. Он устал.

— Никогда ему не знать покоя, — сказал юнкер. — Я убью его, я растерзаю его на куски.

— Ладно, друг мой. Сделай это. Но сперва надо пойти лечь спать.

Он шагнул к ларю, пнул его изо всех сил ногой и закричал:

— Вор, собака, собачий вор!

Однако ларь был дубовый и прочный, и Магнус с таким же успехом мог пнуть скалу.

— Давай сюда недописанную книгу, которую ты украл у меня, выбросив переплет, — кричал он человеку в ларе, не переставая толкать ларь ногой.

Человек в ларе не отзывался.

— Я требую свою книгу.

Молчание.

— Ты вырвал и уничтожил все позолоченные, раскрашенные картинки, все чудесные песни, да и чистые страницы тоже, такие белые и гладкие, а мне оставил один пустой переплет. Чудовище, верни мне мою книгу!

Он продолжал неистовствовать, колотил ногами ларь и выкрикивал угрозы и ругательства, осыпая ими человека в ларе, но ларь стоял по-

прежнему неподвижно.

— Магнус, — тихо произнесла его жена, — сядь ко мне.

Он утих и взглянул на нее исподлобья. Глаза у него налились кровью, как у быка, яростно взрывающего землю. Ничто не трогало его сильнее, чем ее голос. Когда она говорила с ним тихо и мягко, приглушенным сдержанным тоном, серебристый звук ее голоса проникал ему в самую душу, и он становился бессильным и покорным.

Он заплакал, а она погладила его своей тонкой рукой, безучастно и рассеянно, как гладят животное. Понемногу он успокоился и затянул старую песню:

— Дорогая Снайфридур, одолжи мне хоть одно несчастное колечко, пусть оно стоит всего два далера. Я задолжал одному человеку в Эйрарбакки за подковы, и от того, погашу ли я этот долг нынче ночью, зависит мое доброе имя и честь. Я знаю, Снайфридур, ты еще знатнее меня и не потерпишь, чтобы меня унизили.

— Переночуй дома, Магнус, а завтра мы рассчитаемся за подковы.

— Заклинаю тебя, — умолял он. — Хоть несколько скильдингов, чтобы я мог швырнуть их в лицо этим негодяям, обругавшим на дороге меня, че-

ловека знатного рода.

— Переспим эту ночь, а утром мы поедем в Эйрарбакки и швырнем скильдинги в лицо тем самым негодяям, которые ругают нас.

Он плакал и тяжело вздыхал. Вдруг он спросил сквозь слезы:

— Есть ли на свете более нищий человек, чем я?

— Нет, — сказала она.

Он рыдал без удержу.

Ночь была лунная. Юнкер давно спустился в свою комнату, но к Снайфридур сон все не шел. Она беспокойно металась на постели. На пол легла лунная дорожка. Снайфридур села в постели и взглянула в окно. Было тихо. Блестели луга, еще недавно влажные, а теперь покрытые изморозью. Потом она снова легла. Через некоторое время она услышала, что поскрипывают ступени, как это бывает только по ночам, когда кто-нибудь украдкой ходит по дому. Слух ее обострился от бессонницы, и в ее ушах этот скрип в ветхом доме отдавался страшным шумом. Наконец она услышала, как кто-то неловко повернул ручку, и этот звук в ночной тишине показался ей трубным гласом. Дверь растворилась, и она увидела Магнуса. Он был в одном белье и мягких домашних

туфлях. В руках он держал топор. Он озирался в залитой лунным светом комнате, и она видела его лицо и выражение его глаз. Но он ее не видел. Ей казалось, что он тут же убьет ее, но она ошиблась. В этот момент всеми его помыслами владел ларь. Он опустился на колени и, ощупав крышку и замок, обнаружил, что ларь закрыт наглухо. Он искал щель, куда можно было бы просунуть лезвие топора, чтобы взломать крышку. Наконец Снайфридур показалось, что ему удалось всунуть лезвие и что крышка подалась.

— Оставь ларь, Магнус, — сказала она.

Он остановился, взглянул на нее искоса, и она вновь увидела, что глаза его налились кровью. Он медленно поднялся, вытащил топор из скважины и замахнулся, но скорее как плотник, чем как убийца. Одним прыжком очутился он в алькове, где лежала его жена.

Все произошло в одно мгновение. Полог был слегка отодвинут, и в алькове было темно. Магнусу пришлось нагнуться, чтобы занести топор в низком проеме алькова, но он не учел, что альков открыт с двух сторон. В тот самый миг, когда топор просвистел в воздухе, он почувствовал, что его схватили сзади и набросили ему на голову одеяло. Это сделала его жена, которую, как ему

казалось, он только что убил. Она громко позвала Гудридур, которая спала в другом конце дома вместе с еще одной служанкой. Когда обе они появились на поле битвы, юнкеру уже удалось освободиться, и он пытался задушить свою жену. Топор выскользнул у него из рук. Однако он не успел осуществить свое намерение. Женщины бросились на него, и через некоторое время он уже сидел на ларе, словно мешок с сеном, — разбитый, свесив голову на грудь.

— Все у меня здесь не клеится, но такой беды еще не бывало, — сказала Гудридур. — Не сомневаюсь, что мадам, моя госпожа, никогда мне этого не простит. Уж лучше мне уехать домой и прямо положить свою голову на плаху.

Когда Снайфридур попыталась выяснить, в чем же, собственно, провинилась Гудридур, последняя сказала только:

— Не моя заслуга, если дочь моей дорогой мадам осталась в живых. — Она хочет поехать на запад и упросить госпожу, чтобы та послала своей дочери более преданную служанку. Вытерев слезы, Гудридур попросила милосердного бога простить ей этот грех.

— Я уезжаю, милая Гудридур, — сказала ей хозяйка, — а ты останешься здесь и присмотришь

за усадьбой. Уложи мои лучшие платья и драгоценности, а все остальное сбереги для меня. Я немного погощу в Скаульхольте. Разбуди слуг, вели им оседлать лошадей. Этой же ночью они поедут со мной в Скаульхольт.

Глава восьмая

В конце лета Арнас Арнэус дал знать, чтобы его ждали в Скаульхольте ко времени пригона овец с летних пастбищ. Зиму он собирался провести в доме епископа. Епископ немедля приказал позвать плотников и привести в порядок лучшие покои — зеленый зал и две небольшие комнаты позади него, куда обычно помещали знатных гостей. Чинили, красили и лакировали панели, проверяли замки и дверные петли, перекладывали кафельные печи. В задней комнате поставили кровать с пуховой периной и горой подушек. Постель завесили красивым пологом. Передняя комната была обставлена как гостиная. Там стояли большой шкаф, бюро, табуреты, два мягких кресла с резными спинками и ларь для платья. Начищались до блеска все металлические предметы: оловянные кувшины, медная посуда и столовое серебро. Весь дом, сверху донизу, был

вымыт, даже наружные двери. В парадной комнате жгли для аромата ветки можжевельника.

В конце сентября один из слуг королевского посла доставил с запада на вьючных лошадях его поклажу. Сам Арнэус прибыл несколькими днями позже в сопровождении тридцати лошадей, писцов, конюхов и провожатых. Он привез с собой множество книг и рукописей, заполнивших все комнаты. Хотя королевский посол был спокойный скромный человек, но едва только он привел в порядок свою библиотеку, как вокруг него закипела жизнь. Он рассылал во все стороны гонцов с письмами и вызывал к себе людей из разных мест. Являлись к нему и без приглашения, нередко издалека. Всем не терпелось разузнать о целях его приезда. Было известно, что король поручил ему тщательно изучить положение в стране и представить затем прожект, как облегчить бедственную участь народа. Из привезенных им грамот, особенно из тех, которые были оглашены на альтинге, явствовало, что ему дано неограниченное право знакомиться с документами и изучать все, что он пожелает. Кроме того, он был облечен властью пересматривать все дела, вызвавшие сомнение в королевской канцелярии в Копенгагене. Он мог

требовать пересмотра дел, по которым, на его взгляд, было вынесено неправильное решение, и привлекать к ответу даже чиновных лиц. Однако, хотя он охотно беседовал с людьми по разным вопросам и подробно расспрашивал их, он не был склонен распространяться о своих намерениях. Он очень скупо говорил о своих полномочиях, зато держался весьма приветливо и просто. Как старый знакомый, расспрашивал он людей обо всем, словно большую часть своей жизни прожил бок о бок с ними. Он был так же хорошо осведомлен о жизни воров и шлюх, как и о делах судей альтинга, ученых мужей и им подобных. Но он ни разу не дал понять, что знает и видел больше других. Чувствовалось, что охотнее всего он беседует о старых книгах и памятниках древности. Люди, видевшие в нем строгого судью, который приехал взыскать с них за тяжкие прегрешения, поражались, когда оказывалось, что весь разговор сводится к древним кожаным свиткам и ветхим фолиантам.

В этот осенний день в Скаульхольте было тихо, и никто не знал, что случилось нечто необычайное. Начало подмораживать, и поэтому здесь уже не пахло так гнилью и нечистотами, что всегда отличало это место. Снайфридур приехала на

рассвете, когда сон у людей особенно крепок. Так как места эти были ей хорошо знакомы, ей не пришлось никого беспокоить, и она подъехала прямо к окну, за которым, как она знала, помещалась спальня ее сестры. Она постучала в окно рукояткой хлыста. Супруга епископа проснулась, выглянула и увидела гостью. Когда она сошла вниз, провожатые уже уехали, и Снайфридур стояла одна со своими вещами. Потом они тихо беседовали наверху, в комнате супруги епископа, пока не зашла луна и прислуга внизу не начала хлопать дверьми и разводить огонь. Часов в девять утра, когда супруга епископа сошла вниз, Снайфридур только заснула. Она проспала весь день, и никто в доме не знал, что прибыла еще одна гостья.

Но когда супруга епископа послала сказать канонику, чтобы вечернюю трапезу он вкусил не со своими учениками, а за столом епископа, ученый пастор кое о чем догадался. Он надел свой поношенный воскресный талар с заплатами на рукавах, вытащил из-под кровати пару запыленных покоробившихся сапог и натянул их.

Когда в назначенный час он явился в зал, он не застал никого, кроме юной Гудрун, старшей дочери епископской четы. Она беспрерывно

бегала взад и вперед, а завидев каноника, стала потягивать носом, словно учуяла скверный запах. На покрытом скатертью столе были расставлены блестящие тарелки и кружки и стояло два тройных канделябра с зажженными свечами. Вскоре явился писец асессора, бакалавр Копенгагенского университета, приписанный к Хоулару. Он увидел каноника, но не поздоровался с ним и начал расхаживать по залу, щелкая пальцами по панелям и бормоча себе под нос латинские вирши.

Каноник умышленно не поднял глаз, но откашлялся и тихо воскликнул:

— O tempora, o mores![117]

Затем выплыл сам достопочтенный епископ. Это был дородный краснощекий человек с крестом на груди, приветливый и сияющий. Он словно жаждал с поистине евангельской добротой раскрыть свои объятья каждому верующему и разгладить все морщины на его челе, ибо разве не ради нашего счастья страдал Христос? Он был другом всех, кто обращал молитвы свои к господу, ибо епископ радел о каждой душе и толковал в хорошую сторону слова каждого, памятуя, что благодать святого духа может осенить любого.

---

[117] Примечания: 117
О времена, о нравы! *(лат.)*

Но когда надо было принять решение, его серые глаза смотрели холодно, а от улыбки оставались лишь складки, подобно следам, оставляемым приливом на песке. И тут епископ изрекал слова, которых от него меньше всего ожидали.

Арнэус почти бесшумно вышел из своих апартаментов и поздоровался с присутствующими. Он был бледен, а вертикальная складка на его подбородке обозначалась еще отчетливее, нежели шестнадцать лет назад. Веки стали как будто еще тяжелее, но парик был по-прежнему тщательно завит, и платье отличалось столь же изящным покроем. Казалось, что, рассматривая какой-нибудь предмет, он видит не только все вокруг, но даже и сквозь него. Очевидно, он не подозревал, что здесь случилось что-то необычайное. Он тотчас сел за стол, и хозяин дома последовал его примеру, как бы полностью соглашаясь с ним, и пригласил каноника занять место напротив асессора.

В эту минуту в зал вошла супруга епископа со своей сестрой Снайфридур. Арнэус сидел как раз напротив двери и видел, как они вошли. Когда он понял, кто перед ним, он тут же поднялся и пошел навстречу Снайфридур. Она осталась такой же стройной, хотя грациозные, порывистые, как у

жеребенка, движения, отличавшие ее в юности, уступили место сдержанности зрелой женщины. Волосы у нее были по-прежнему пышные и вьющиеся, хотя и стали немного темнее, так же как брови. Но ему показалось, что изгиб их стал круче, некогда приоткрытые губы теперь были плотно сжаты, а в сияющей синеве ее глаз притаилась грусть. На ней было светло-желтое платье, отделанное цветной вышивкой, в которой переплетались красные и синие тона.

Он протянул ей обе руки и сказал мягким грудным голосом, как шестнадцать лет назад:

— Йомфру Снайфридур!

Она подала ему руку, вежливо поклонилась, не выказывая радости, и взглянула на него своими гордыми синими глазами. И он поспешил добавить:

— Я знаю, мой друг, вы простите мне эту шутку. Но вы были так молоды, когда мы расстались, и мне кажется, будто это было вчера.

— Сестра приехала к нам погостить, — сказала, улыбаясь, супруга епископа. — Она думает пробыть у нас несколько дней.

Снайфридур всем подавала руку, и мужчины поднимались один за другим, чтобы поздороваться с ней. Ее зять епископ обнял и поцеловал ее.

— Такой гостье нужно устроить торжественную встречу, — заметил Арнэус, когда епископ целовал ее. — Мы должны выпить за ее здоровье… с позволения фру Йорун.

Та ответила, что не осмеливается предложить гостям, тем более асессору и его старым и новым друзьям, свое скверное вино, зная, что в доме имеется его знаменитый кларет. Тогда асессор велел писцу послать слугу за кувшином кларета.

Не помогло и то, что Снайфридур отказывалась от такой чести, говоря, что знатным людям не подобает пить за бедных крестьянок. Асессор просил ее не беспокоиться, — здесь не станут, сказал он, пить за здоровье бедных хуторянок. С этими словами он поднял свой бокал и выпил за ее здоровье. Его примеру последовали все сотрапезники, за исключением каноника, который налил себе лишь немного снятого кислого молока. Он сказал, что никогда не пьет вина, тем более вечером, однако желает добра всем, кто от чистого сердца осушит свой кубок во славу бога.

Подняв глаза, гостья сказала, что пьет за здоровье всех присутствующих, и пригубила вино. При этом она вежливо улыбнулась, но в этой улыбке таилась столь свойственная ей бессознательная насмешка. Зубы у нее чуть выдавались вперед,

но все еще были ослепительно белые и такие же ровные, как раньше. После того как выпили за ее здоровье, говорить больше было не о чем, и епископ закрыл глаза, сложил руки и прочел застольную молитву. Остальные молча склонили голову, а дочь епископа чихнула. Затем все сказали «аминь», и хозяйка положила всем из блестящей миски густой каши с изюмом в маленькие разрисованные цветами чашки. И хотя для каждого у нее нашлась ласковая материнская улыбка, зрачки ее глаз были расширены, а на лице выступили красные пятна. Взгляд асессора упал на каноника, который с унылым аскетическим видом сидел над своим кислым молоком.

— Вашему преподобию не повредило бы, если бы вы немного согрели себе кровь, — заметил он шутливо. — Особенно вечером. Это очень полезно.

— Благодарю господина эмиссара, — ответил каноник. — Хотя я и не пью вина, у меня хватает пороков, с которыми мне приходится вести борьбу.

— Учитель сказал, однако, ресса fortiter[118], — заметил с улыбкой Арнэус.

---

[118] Примечания: 118
Грешите, сколько можете *(лат.)*.

— Другие наставления Лютера ближе моему сердцу, нежели это, — сказал каноник, не поднимая глаз, словно перед ним лежала книга, по которой он читал. — Я не пью сегодня ваше вино, эмиссар, не потому, что боюсь согрешить.

— Слабый мочевой пузырь тоже может послужить причиной большой святости, — вставил бакалавр.

Все, однако, сделали вид, что не слышали этого замечания. Только маленькая Гудрун быстро зажала себе нос, а епископ важно заметил:

— Нашему другу не повредит, если он в этом деле последует совету эмиссара, ибо ему не приходится бояться греха, как большинству из нас. Порой, когда я думаю о его суровой жизни и долгих ночных бдениях, мне кажется, анабаптисты правы, — по их мнению, некоторые люди достигают в этой жизни такого statum perfectionis[119], что их уже нельзя ввести в искушение.

— Позвольте спросить, — сказал бакалавр, — разве церковь не учит, что дьявол никогда не искушает тех, кого считает своей верной добычей?

— Нет, молодой человек, — ответил, смеясь,

---

[119] Примечания: 119
Состояния совершенства *(лат.)*.

епископ. — Это кальвинистская ересь.

Это вызвало общее оживление за столом и особенно рассмешило эмиссара, который сказал своему писцу:

— Ты получил по заслугам. Последуй моему совету, юноша, и не открывай больше рта за этой трапезой.

Разумеется, пастор Сигурдур даже не улыбнулся, а продолжал с невозмутимой серьезностью есть кашу. Когда же другие вдоволь посмеялись, он снова возвысил голос:

— Я, конечно, не обладаю добродетелями анабаптистов, о которых упомянул мой друг епископ, и не могу похвалиться святостью своих слов и деяний, которую в наш просвещенный век объясняют всецело состоянием мочевого пузыря. Надеюсь также, что naturaliter[120] я не исчадие ада, как намекал здесь за столом сей светский молодой человек, поверенный королевского посла. С другой стороны, я не могу отрицать, что мне часто доводится думать о бедняках, особенно когда я нахожусь в высоком обществе. И тогда изысканные блюда уже не прельщают меня, да и вино тоже.

---

[120] Примечания: 120
По своей природе *(лат.)*.

— Вы молвили истинную правду, — сказала супруга епископа. — Из-за сих пасынков господних наш достойный пастор Сигурдур часто ест всего один раз в сутки. Когда же я огорчаюсь, что, должно быть, мой гороховый суп недостаточно хорош, он отвечает, что суп даже слишком вкусен…

— А по пятницам потихоньку кладет мясо обратно в миску, — поспешила добавить дочь епископа.

— Гудрун, — сказала супруга епископа, — выйди сейчас же из-за стола. Простите нам, асессор, невоспитанность наших детей, но мы здесь, в Исландии, ничего не можем с ними поделать.

— Пусть Гудрун останется, мадам, — сказал каноник, вновь уставившись в пустоту. — Она говорит правду. Иногда я кладу мясо обратно в миску. Но то, что это бывает по пятницам, как заведено у папистов, она могла слышать только от моих юнцов.

— Вовсе нет, — воскликнула девочка, покраснев до корней волос. Ибо юную дочь епископа меньше всего можно было заподозрить в том, что она водится с какими-то семинаристами.

— Я хотел бы задать вашему преподобию вопрос, — сказал Арнэус, обернувшись к канонику, — ибо в вас, несомненно, сияет тот

внутренний свет, который один только делает сладостной всякую ученость. Угодны ли бедняки богу и должны ли мы стараться походить на них? Или бедность — это бич божий, ниспосланный народу в наказание за его прегрешения и леность его веры? Быть может, следует держаться старого правила, что бедность вправе восхвалять только бедняки?

— Господин эмиссар заблуждается, — ответил каноник, — полагая, что я хотел превзойти своей ученостью всех мудрецов и таким образом распространить больше, чем нужно, свои imperfectiones[121]. Напротив, каждому христианину надлежит знать то, что можно слышать во всех проповедях и читать во всех христианских книгах: бедность рождает душевную простоту, которая более угодна богу и ближе к statui perfectionis, нежели светская роскошь и мирская мудрость. Спаситель причислил нищих духом к сонму блаженных, он сказал: «Нищих всегда имеете с собою»[122].

Посланец короля ответил:

---

[121] Примечания: 121

Несовершенные знания *(лат.)*.

[122] Примечания: 122

Нищих всегда имеете с собою. — Евангелие от Иоанна, гл. 12, ст. 8. *(Прим. Л. Г.)*.

— Если господу угодно, чтобы на свете были бедняки, дабы христиане имели их под боком и дабы бедность их служила назиданием, то, быть может, облегчать их нужду — значит поступать вопреки божьей воле. И если наступит такой день, когда у бедняков всего станет вдоволь — и пищи и платья, с кого тогда будут христиане брать пример? Где научатся они тогда той душевной простоте, которая угодна богу?

— Подобно тому, как господь создал бедных, с тем чтобы богатые могли учиться у них смирению, — сказал каноник, — точно так же он взял под свое особое покровительство высшее сословие и приказал богатым творить милостыню и молиться о спасении своих душ.

— У нас, в Скаульхольте, давно пора возродить искусство застольных диспутов, — прервал собеседников епископ. — Особенно в наше время необходимо давать правильное толкование притчам, изложенным в священных книгах. Не будем, однако, слишком засиживаться за кашей, мои praeclari et illustrissimi[123], а то как бы у нас не пропал аппетит, когда мы перейдем к жаркому.

Епископ оглянулся, желая убедиться, что все

---

[123] Примечания: 123
Светлейшие и знатнейшие *(лат.)*.

смеются, но, кроме эмиссара, никто не засмеялся.

— У нас, буршей, — сказал он и улыбнулся, обернувшись к сестрам, он явно предпочитал это шутливое определение, — у нас, буршей, имеется одна слабость: когда рядом с нами прекрасные дамы, то вместо того, чтобы слушать их милые речи, мы стараемся казаться умнее, чем на самом деле, если только это возможно.

— Не знаю, насколько милы наши речи, — ответила супруга епископа. — Но раз уж заговорили о бедных, мне пришло на память одно событие, связанное со Скаульхольтом. Одна из моих предшественниц приказала разрушить каменный мост, перекинутый самой природой через Бруарау, и тем самым отрезала бедным путь в Скаульхольт. Это ужасное событие порой волновало меня так, словно я сама была причастна к этому. Я часто думала, что надо бы восстановить мост, тогда бы нищим не приходилось умирать на другом берегу. Несомненно, разрушить мост христианской любви, который по воле бога был воздвигнут между бедными и богатыми, — значит совершить страшный грех. И все же, когда я размышляю над этим, мне кажется, что у моей предшественницы было одно оправдание: вряд ли то послужило бы к чести Исландии, если бы

епископа изгнали из Скаульхольта и шайка бродяг захватила бы его резиденцию.

Красные пятна на лице супруги епископа слились в сплошной румянец, и, хотя она приветливо улыбалась своим гостям, по глазам ее можно было легко угадать, что она держала свою речь не из одной любви к философии.

Ее сестра положила свой нож и посмотрела на нее отсутствующим взглядом.

— А что думает Снайфридур? — спросил эмиссар.

Она вздрогнула, когда он произнес ее имя, и поспешила ответить:

— Прошу прощения. Я целый день спала и все еще не совсем проснулась. Я вижу сон.

Епископ, однако, обратился к своей жене:

— Скажи мне, любимая, кто же не нищ перед лицом Спасителя? Как часто завидовал я босоногому бродяге, беззаботно спавшему на краю дороги, и мне хотелось навсегда смешаться с толпой нищих, которые расположились неподалеку от водопада, глядели на птиц, молились богу и никому не должны были давать отчета. Тяжко бремя, которое господь возложил на нас, правителей этого бедного народа, in temporilibus

не меньше, чем in spiritualibus[124], хоть мы и не видим от него благодарности.

Арнэус спросил:

— Но как же должен наш король отнестись к залитым слезами челобитным, которые почти непрерывно поступают из этой страны, если бродяги и нищие еще счастливее, чем их властители?

— Все живое ропщет и стонет, дорогой господин эмиссар, — ответил епископ. — Такова жизнь.

— Каждый плачется своему богу, и все плачутся про себя, хотя мы знаем, что причина всего хорошего и плохого, что выпадает нам на долю, таится в нас самих, — сказал каноник. — Не людское это дело облегчать нужду народа, который господь захотел покарать в своем праведном гневе. Народ этот просит о таких вещах, которых ему не в силах добыть никакое людское заступничество, пока не исполнится мера наказания за его прегрешения. Inexorabilia[125] — вот что правит его жизнью.

— Вы правы, пастор Сигурдур, — заметил эмиссар. — Люди не должны воображать, что они в силах отвратить божественное правосудие, хотя

---

[124] Примечания: 124
В вопросах светских не менее, чем в духовных *(лат.)*.

[125] Примечания: 125
Неумолимое *(лат.)*.

они часто пытаются это сделать. Но я никак не могу согласиться — и вы, несомненно, такого же мнения, — что подобное толкование снимает с нас долг вершить людское правосудие. В согласии со всеми христианскими учениями, сотворив мир, господь даровал также человеку разум, чтобы он мог отличать добро от зла. Честные люди обратили внимание нашего короля на то, что не Саваоф продает исландцам гнилые продукты, от которых они умирают, и не он слишком мягко судит злоупотребления богатых и слишком сурово — проступки бедных: одному отрубает руки, другому велит вырвать язык, третьего вешает, а четвертого приказывает сжечь, — и все лишь потому, что бедняки беспомощны и за них некому заступиться. И коль скоро существует людское правосудие, то не будет вопреки воле божией, если король прикажет выбросить испорченную муку и пересмотреть слишком мягкие и слишком суровые приговоры. Напротив, это значит действовать в согласии с разумом, дарованным нам нашим творцом, для того чтобы мы отличали добро от зла и по собственному усмотрению строили нашу жизнь на честных началах.

— Дорогой мой эмиссар, вы заслуживаете всемерной благодарности за ваши серьезные упреки

по адресу купцов. Правда, многие из них мои хорошие друзья, а некоторые даже пользуются моим искренним расположением, — сказал епископ. — К сожалению, они грешные люди, впрочем, как и все мы, жители этой страны. И дай бог, чтобы благодаря вашему вмешательству мы получили в будущем году лучшую муку и штраф наличными деньгами за плохую муку.

Вскоре после этого трапеза закончилась, и епископ приступил к благодарственной молитве, в которой он сказал:

— Возвысим души, вдохновившись речами нашего высокоученого дорогого сотрапезника, моего друга каноника, который молит о том, чтобы свершилось правосудие божие, а также моего друга, чрезвычайного эмиссара его всемилостивейшего величества, который просит о людском правосудии для датчан и исландцев, ученых и неучей, знатных и простолюдинов…

— …и чтобы благородные люди, поддерживающие в трудную годину честь и славу нашей бедной страны, высоко несли свою голову, равно как их добродетельные жены, нерушимо до своего смертного часа…

Эти слова вставила в молитву своим елейным голосом супруга епископа. Она склонила голову,

закрыла глаза и молитвенно сложила руки.

— И как просит моя горячо любимая супруга, — подхватил епископ, — пусть господь не оставит своей милостью благородных и знатных людей, поддерживающих честь нашей бедной страны. В заключение прочтем хором нехитрые вирши нашего блаженного пастора Оулавюра из Сандара[126], которым учили нас наши матери, когда мы еще сидели у них на коленях:

Иисус Христос, господь благой,
В юдоли нас храни земной!
Утешь в печали и слезах,
Развей сомнения и страх,
Сейчас и впредь, и здесь и там,
Щитом надежным будь ты нам.
Когда ж пробьет наш смертный час,
Небесный рай раскрой для нас.

Глава девятая

На другой день, в полдень, Арнас Арнэус под-

[126] Примечания: 126

Пастор Оулавюр из Сандара (1560–1627) — писал религиозные стихи и псалмы. Автор первой в исландской поэзии застольной песни. *(Прим. Л. Г.).*

нялся в покои супруги епископа. У нее сидела и ее сестра Снайфридур. Лучи осеннего солнца освещали сестер, склонившихся над работой. Он дружески приветствовал их и сказал, что пришел извиниться перед фру Йорун за то, что накануне вечером затеял за столом необдуманный разговор. Вероятно, он обидел такого прекрасного человека, как их друг каноник Сигурдур, ибо привел рискованную цитату из Лютера, дав тем самым самоуверенному молодому человеку, своему писцу, повод к легкомысленному подтруниванию над этим достойным служителем божиим. Арнэус сказал, что люди, чьи помыслы устремлены к мирскому, лишь в зрелом возрасте начинают понимать, как надлежит держать себя с человеком, презирающим сей мир. Супруга епископа милостиво приняла его извинение. Она никак не думала, сказала фру Йорун, что приближенным короля может казаться, будто они проявляют в Исландии недостаточную учтивость. Что же касается бакалавра, то молодежь, естественно, склонна смеяться над людьми, отрешившимися от мира, и столь умудренный опытом человек, как пастор Сигурдур, это, несомненно, понимает. Однако Снайфридур возразила, что такие столпы веры, как пастор Сигурдур, которые готовы резать

людям языки, не должны удивляться, когда это оружие обращается против них и им подобных, покуда эти языки еще на своих местах.

Асессор сказал, что он, конечно, хорошо знаком с предложением каноника Сигурдура, которое часто оглашалось на церковных соборах и на альтинге и в котором, с помощью глубокого толкования Священного писания и двусмысленных законоположений, доказывалось, что еретиков следует подвергать пыткам, а ведьм — сжигать. Тем не менее асессор считал, что это не дает основания быть невежливым с пастором Сигурдуром.

Все это время Арнэус стоял посреди комнаты. Но теперь супруга епископа попросила его оказать честь двум простым женщинам и немного посидеть в их обществе.

— Только ни слова больше о нашем друге, благочестивом гонителе еретиков и высокоученом вырывателе языков, господине пасторе Сигурдуре! Лучше расскажите нам что-нибудь о чужих странах. — Снайфридур сказала это легким тоном, с искренней улыбкой и ясными глазами. Сейчас она была совсем не такая, как накануне вечером, когда пили за ее здоровье.

Собственно, ответил Арнэус, ему некогда сидеть здесь, так как внизу его ждут люди, прибывшие

издалека. Но ему не хотелось отклонять столь любезное приглашение, и поэтому он занял место, указанное ему хозяйкой дома. Тотчас Снайфридур встала и подвинула ему под ноги скамеечку.

— Мне неведомы те чудесные края, о которых вы жаждете услышать. Но вы можете выбрать одну из тех стран, которые я знаю, — сказал он, вытащив небольшую золотую табакерку и поднося им. По обычаю знатных дам, они взяли крошечную понюшку, и Снайфридур чихнула, рассмеялась и быстро вытерла платком нос и рот. — Я знаю лишь те страны, куда я попал, гонимый моим демоном, — продолжал он, — любовью к моей родной стране. Демон этот не давал мне покоя.

— Моя сестра очень начитанна. Пусть она первая изберет страну, — предложила супруга епископа. — Может быть, она выберет за нас обеих.

— Мы хотим услышать о всех тех странах, где знатные дамы умеют брать понюшку, — сказала Снайфридур.

— Думаю, что столь знатным дамам я едва ли смогу угодить чем-либо меньшим, нежели Рим, — ответил королевский эмиссар.

Снайфридур эта мысль понравилась. Напротив,

сестра ее, супруга епископа, полагала, что этот город находится слишком далеко от нас, и потому заметила, обратившись к сестре:

— Ах, милая Снайфридур, ты хочешь услышать об этом противном папе?

Эмиссар же полагал, что с чего-то надо начать, и сказал, что теперь он придерживается иных взглядов, нежели супруга епископа, ибо, по его мнению, не многие города Исландии столь близки нам, как Рим, и не так давно он был нам ближе всех городов, даже ближе горнего града Сиона[127]. Арнэус не хотел спорить с дамами насчет папы, но нельзя отрицать, сказал он, что чем дальше продвигаешься по северному полушарию на юг, тем более понятным и близким кажется собор святого Петра.

— Я уверена, что вы не станете утверждать, будто существуют две истины: одна для южного и другая для северного мира.

Из осторожности Арнас Арнэус ответил в шутливом тоне, обойдя, как всегда, существо вопроса. Подчас эту его привычку можно было отнести за счет рассеянности, но он никогда не ставил под

---

[127] Примечания: 127

Горний град Сион. — Библейский царь Давид завоевал Сион и сделал его своей столицей. Сион стоит на горе, носящей то же название. *(Прим. Л. Г.).*

удар свои взгляды.

— На Севере, в Кинне, есть гора. Люди, которые смотрят на нее с востока, называют ее Бакранги, а те, что с запада — Огаунгу. Мореходы же, которые видят ее с моря, зовут ее Гальти. К своему стыду, я должен признаться, что я отправился в Рим не для того, чтобы искать истину, хотя мне, как и многим другим, было тяжело уезжать оттуда, не найдя ее. Но теперь я чувствую, что вы, сударыни, не понимаете меня. Поэтому я хочу рассказать вам, как все происходило. Я направился в Рим, чтобы отыскать три книги. Особенно интересовала меня одна из них. Все три касаются Исландии, но главным образом одна, ибо она яснее fabulae nebulosae[128], которым мы так верим, описывает, как наши земляки открыли Americam terram, как около тысячного года они поселились там и как потом покинули эту страну.

Поскольку дамам хотелось знать подробности, он рассказал им следующее:

— В одном письме, составленном еще в средние века, а ныне хранящемся в Париже, говорится, что в собрании рукописей старого римского монастыря должен находиться кодекс, содержащий

---

[128] Примечания: 128
Туманных басен *(лат.)*.

исповедь старой женщины из «Hislant terra»[129]. Эта женщина по имени Гудрид[130] пришла в тысяча двадцать пятом году в Рим в числе других паломников. Когда женщина, сказано в этой рукописи, начала исповедоваться монаху, выяснилось, что она, несомненно, побывала в таких дальних краях, куда в ту пору не добиралась ни одна христианка. Будучи еще молодой, она вместе со своим мужем и несколькими земляками десять лет прожила к западу от мирового океана, на самом краю света, и родила там детей. Однако какие-то странные существа так отравляли им жизнь там, что она с одним малолетним сыном покинула страну. То, что эта женщина сообщила перед лицом господа, было столь удивительно, что монахи решили записать ее рассказ. Еще долгое время спустя эти записи можно было прочесть в монастыре. Позднее, когда монастырь пришел в упадок, рукописи затерялись. Однако несколько столетий спустя некоторые из них удалось разыскать и собрать, так как после возвращения папы

---

[129] Примечания: 129

«Земли Исландии» *(лат.)*.

[130] Примечания: 130

Гудрид. — О жизни Гудрид дочери Торбьёрна и ее поездках в Винланд — Северную Америку — рассказывается в «Саге о гренландцах» и в «Саге об Эйрике Рыжем». *(Прим. Л. Г.)*.

из пленения[131] ему начали заново составлять библиотеку.

Две другие книги, которые Арнэус разыскивал в тайных хранилищах папы, были: «Liber islandorum»[132], — более объемистое собрание, нежели то, которое составил на исландском языке Ари Мудрый[133], — с родословными и жизнеописаниями королей, а также «Breviarium Holense»[134], первая книга, напечатанная в Исландии по приказанию Йоуна Арасона. Насколько известно, последний экземпляр этой книги был положен в гроб Торлаукуру[135].

— Папа, — продолжал Арнэус, — большой любитель книг, и нет никакого сомнения в том, что эти книги хранились у него, а быть может, хранятся и по сей день. Но за долгие годы у старика

---

[131] Примечания: 131

Авиньонское *пленение* — вынужденное пребывание римских пап в Авиньоне в политической зависимости от французских королей длилось с 1305 по 1378 г. *(Прим. Л. Г.).*

[132] Примечания: 132

«Исландские книги» *(лат.).*

[133] Примечания: 133

Ари Мудрый — священник Ари Торгильссон (1067–1148), автор знаменитого исторического труда «Книги об исландцах», Ари Мудрого называют «отцом исландской историографии». *(Прим. Л. Г.).*

[134] Примечания: 134

«Холарский требник» *(лат.).*

[135] Примечания: 135

Торлаукур — епископ Торлаукур Скуласон (1597–1656), был епископом в Хоуларе, интересовался изучением старины, по его приказу было переписано много рукописей, исправил и отредактировал исландскую Библию по датской. *(Прим. Л. Г.).*

было украдено много великолепных фолиантов, и поэтому он с недоверием относится к людям, которые приезжают рыться в его ветхих сокровищах.

Несколько лет Арнэус старался заручиться ходатайством сановников — послов, князей, архиепископов и кардиналов, без чего он не мог бы проникнуть в темный лес, как называют папское собрание рукописей. И все же ему не доверяли, — все то время, пока он находился в этих легендарных подвалах, возле него сидел монах, а сзади помещался вооруженный швейцарец. Они следили, чтобы он не унес какого-нибудь клочка пергамента или не делал без разрешения выписок, которые могли бы быть использованы лютеранами в их неустанной борьбе против наместника бога на земле.

Он так сжился с теми давно минувшими столетиями, что настоящее казалось ему далеким сном. Многие папки с документами и письмами, которыми забиты залы и своды подземелья, покрылись толстым слоем пыли и были изъедены молью, из некоторых выползали черви и другие насекомые. По мере того как он рылся в книгах, в легких у него оседала пыль, как у исландского крестьянина, который долго воро-

шит в сарае гнилое сено и под конец начинает задыхаться. Ему попадались и очень важные, и совсем неинтересные рукописи, излагающие историю событий с начала христианской эры, повествующие обо всем на свете, ему попадалось все, что угодно, кроме книг «Liber Islandorum», «Breviarium Holense» и исповеди женщины Гудрид из «Hislant terra». Срок, предоставленный ему его милостивым монархом — датским королем — для этого путешествия, давно истек. Наконец он пришел к убеждению, что даже если он посвятит поискам всю свою жизнь, — будь она короткой или длинной, — то и в свой смертный час он будет не ближе к поставленной цели. И все же он был так же твердо уверен, что книги находятся именно там, как один помешанный бродяга, которого он помнил с детства, не сомневался, что под камнями скрыты сокровища. Но, видимо, у него было отнято утешение, которое заключено в словах господних: «Ищущий да обрящет».

— Значит, вы ничего не нашли? — спросила Снайфридур, которая отложила свое рукоделье и смотрела на Арнэуса. — Совсем ничего?

— Я знаю, — промолвил он, взглянув на супругу епископа, — что грешно убавлять что бы то ни было в Священном писании или прибавлять к

нему, но первородный грех — это страшное бремя — всегда дает себя знать, и меня долгое время мучило подозрение, что то место из Священного писания, которое я только что привел, должно звучать так: «Ищите да обрящете… — все, кроме того, что вы ищете». А теперь я попрошу извинения за свою болтливость и думаю, что на сей раз довольно.

Он поднялся было, чтобы уйти.

— Но вы забыли рассказать нам о Риме, — напомнила Снайфридур. — Мы выбрали этот город, а теперь вы собираетесь обмануть нас.

Супруга епископа также учтиво попросила его не покидать их столь скоро. Он остался сидеть. В действительности он вовсе не спешил и, может быть, даже не думал уходить. Ему захотелось посмотреть на их работу. Он развернул вышивку, полюбовался ею и выказал себя знатоком женского рукоделья. Руки у него были маленькие, с несколько заостренными пальцами и тонкими запястьями. Тыльная сторона была гладкая, покрытая мягкими тонкими волосами. Он откинулся на стуле, но не поставил ноги на скамеечку.

— Рим, — сказал он, задумчиво улыбнувшись, словно всматриваясь во что-то вдали. — Там я

видел двух мужчин и одну женщину. Конечно, кроме того, и многих других. Но все время с утра до поздней ночи — двух исландцев и одну исландку.

У дам широко раскрылись глаза от удивления: исландцы и исландка?

Тогда он описал им маленькую хрупкую женщину средних лет, которая шла в толпе паломников, направлявшихся в Рим. Это было незаметное существо среди серой людской массы, которая казалась еще более серой в сравнении с обитателями города, взиравшими на нее столь же равнодушно, как на стаю птиц. Даже римские нищие и чернь казались знатными людьми в сравнении с этими чужеземцами. И в этой серой толпе шла эта обыкновенная незаметная женщина, в темном суконном плаще с капюшоном, какие носила вся Европа в начале XI столетия, когда христиане по бедности своей еще вели себя, как дикари. Но в небольшом узелке, который эта простая босоногая женщина держала под мышкой, находилась пара новых башмаков. Она давно носила их с собой. Они были сшиты из удивительно мягкой крашеной кожи. Носки и подошвы у них были закруглены; по шву они были прошиты кожаными шнурками, а верх украшали

цветные узоры. Таких башмаков христианский мир еще не видел и не увидит еще четыре столетия, таких не было даже у древних римлян или во времена великих цивилизаций древности. Она несла эти редкие башмаки, подобных которым не было во всем мире, как символ проделанного ею пути, чтобы отдать их папе во искупление грехов, совершенных ею в стране, где она получила эту обувь, а именно в Винланде. Я попытался заглянуть в глаза единственной смертной женщине, отыскавшей Новый Свет. Но это были просто глаза утомленного, много повидавшего человека. Когда же я прислушался, мне показалось, что она говорит со своими спутниками на нижненемецком наречии, которое в то время было языком мореходов. Эта женщина была Гудрид из «Hislant terra», Гудридур Торбьярнардоутир из Глатумбае на Скагафьорде в Исландии. Она много лет прожила в Винланде и родила там сына Снорри, чьим отцом был Торфинн Карлсефни[136] — родоначальник многих исландских родов.

Затем он рассказал им о двух других исланд-

[136] Примечания: 136

Торфинн Карлсефни — жил в конце X и в начале XI в. О его жизни рассказывается в «Саге о гренландцах» и в «Саге об Эйрике Рыжем». В сагах говорится, что Торфинн стал родоначальником большого рода и что среди его потомков было три епископа. *(Прим. Л. Г.).*

цах, которых он видел в Риме. Один из них, по обычаю знати, приехал на юг на великолепном коне в обществе других знатных лиц, которые везли с собой золото и серебро и для защиты от разбойников наняли вооруженную свиту. Это был энергичный белокурый человек с ясными наивными глазами, в которых светилось ребяческое любопытство. Все в его облике говорило о том, что он знает себе цену. Он был из породы людей, которые немало странствуют по свету, подобно купцам, которые плавали в Миклагард[137] и страны халифа в те времена, когда в Европе еще царило варварство; подобно тем, кто осаждал Париж и Севилью, основывал королевства во Франции и Италии, плавал на своих кораблях к берегам Страумфьорда в Винланде и пел «Прорицание Вёльвы»[138]. Теперь он, повергнув в прах своих родичей и навлекши на страну Ра-

[137] Примечания: 137

Миклагард — Константинополь. *(Прим. Л. Г.).*

[138] Примечания: 138

«*Прорицание вёльвы*» — одна из главнейших песен «Старшей Эдды». Вёльва — прорицательница — по просьбе Одина рассказывает, как возник мир, как он погибнет и возродится вновь. *(Прим. Л. Г.).*

гнарёк[139],[140] как говорится в песне, приехал в Рим, чтобы папа наложил на него эпитимью — сорокадневный пост. Его водили босиком между церквами Рима, и перед четырьмя главными бичевали, а народ стоял кругом и, исполненный удивления, сетовал, что такому видному человеку приходится переносить столь жестокую кару. Этот человек был Стурла Сигхватсон[141].

Другой, конечно, никогда не бывал в Риме,[142] но он получил от папы письмо, в котором ему поручалось огнем и мечом защищать церкви Исландии и их богатства от посягательств лютеранских королей. В те времена, как и в наши дни, легко хватались за меч. К Риму были обращены до последней минуты все помыслы этого исландца, жившего в недалеком прошлом.

---

[139] Примечания: 139

Рагнарёк — по скандинавской мифологии, гибель богов, то есть конец мира. *(Прим. Л. Г.).*

[140] Примечания: 140

...повергнув в прах своих родичей и навлекши на свою страну Рагнарёк... — Имеется в виду, что в результате междоусобных распрей, в которых Стурла Сигхватссон принимал живейшее участие, погибли многие из рода Стурлунгов и в частности его дядя Снорри Стурлусон, а также что эти распри ослабили Исландию и привели ее к зависимости от Норвегии в середине XIII в. *(Прим. Л. Г.).*

[141] Примечания: 141

Стурла Сигхватссон (1199–1238) — исландский хёвдинг, принадлежал к могущественному роду Стурлунгов, сыгравшему решающую роль в общественной жизни Исландии конца XII и первой половины XIII в.

Стурла Сигхватссон ездил к норвежскому конунгу Хакону IV, был в Риме и погиб в результате междоусобных распрей в битве при Эрлихсстадире. О роде Стурлунгов рассказывается в «Саге о Стурлунгах» — главном источнике по истории Исландии того времени. *(Прим. Л. Г.).*

[142] Примечания: 142

Другой, конечно, никогда не бывал в Риме… — Речь идет о последнем католическом епископе Исландии Йоуне Арасоне (см. прим. 35).

Арнас Арнэус сказал, что образ этого человека часто являлся ему как видение, но в Риме он увидел этого старца так ясно, что действительные события стали казаться ему нереальными.

— В Скаульхольте ночь. Он спит вместе со своими двумя сыновьями. Они выглядят старше и дряхлее своего престарелого отца. Несчастье придало столько силы его плечам, что их не согнет никакое бремя, а шея у него была такая короткая, что вообще не могла сгибаться. Наступило утро седьмого ноября. Выпавший за ночь снег посеребрил вершины гор, а на траве лежал иней… Вот этих людей я видел.

— И больше никого? — спросила Снайфридур.

— Как же, — ответил он тихо, взглянув на нее, и засмеялся. — После этого я видел весь мир.

— Никто не усомнится в том, — вымолвила супруга епископа, — что Йоун Арасон был великим воителем и великим исландцем. Но разве вас не бросает в дрожь при мысли о том, что если бы этот насильник победил, то вместе с ним победила бы и папистская ересь? Господи, спаси и помилуй меня!

— В бытность мою в Риме там праздновали юбилейный год христианства, — сказал Арнас Арнэус. — Однажды я бродил возле реки. Не стану

отрицать, что настроение у меня было подавленное, какое бывает у человека, когда он приходит к выводу, что большая часть его короткой жизни прошла впустую, напрасно потрачены труд и деньги, здоровье подорвано, и, может быть, из-за своего упрямства он лишился дружбы достойных людей. Я ломал себе голову, как мне оправдаться перед моим повелителем и королем: ведь я слишком долго уклонялся от выполнения своего долга. Когда я бродил так, погруженный в свои заботы, я натолкнулся случайно на огромную толпу, которая медленно двигалась к мосту через Тибр. Ни прежде, ни потом мне не доводилось видеть подобного сборища. Переулки и улицы были запружены народом. Трудно было понять, кто в этой процессии зрители, а кто паломники. Все они пели. Я стал рядом с группой римлян, так как мне хотелось понаблюдать за этим людским потоком. Это были паломники из разных стран, которые пришли на юг, чтобы в этот особенно счастливый для христиан год получить отпущение грехов. Толпа состояла из множества небольших отрядов, и каждый из них шествовал под знаменем с изображением святого патрона их графства или же нес в раке мощи какого-нибудь избранника божьего — своего земляка, или

образ святого из их собора. Чаще всего это было изваяние девы Марии, и в каждом отдельном местечке — иное. Ибо в папистских странах столько же Марий, сколько городов; некоторые из них получают свои имена по названиям цветов, другие по утесам, третьи по целебным источникам, собору святой девы, образу младенца или по цвету ее одежды… В молодости, когда я жил на Брейдафьорде, мне было невдомек, что мир населяет столько разных народов. Здесь были люди из многих городов — государств и графств Италии: миланцы, неаполитанцы и сицилийцы, сардинцы, савойцы, венецианцы и тосканцы и вдобавок римляне. Здесь можно было видеть людей из шести испанских королевств: кастильцев, арагонцев, каталонцев, валенсианцев, майорканцев и наваррцев. Были представлены различные народности из германской империи, даже из стран, воспринявших новое учение Лютера: богемцы, немцы, хорваты, франконцы, вестфальцы, рейнландцы, саксы, бургунды, франки, валлонцы, австрийцы и жители Истрии. Но к чему перечислять названия всех этих народов? И все же так оно было — я видел лица идущих мимо меня людей, сынов и дочерей народов, о которых я ничего не знал, не знал даже, какую одежду они носят. Я

видел эти изможденные лица с горящими глазами, исполненными жажды жизни. Но особенно запомнились мне их ноги, обутые и босые, всегда усталые. И все же этих людей окрыляло чувство радостной надежды. Помню я и древний гимн крестоносцев, который они наигрывали на лютнях или других струнных инструментах, а также на своих родных флейтах. Великолепна земля, великолепны небеса господни. И вдруг я заметил, что Гудридур Торбьярнардоутир исчезла. Там не было больше ни одного исландца.

Теперь и супруга епископа отложила свое рукоделье и взглянула на рассказчика.

— Слава богу, что там не было ни одного исландца, — сказала она. — Разве, по-вашему, не печально думать о всех этих простых заблудших людях, которым не спасти свои души с помощью веры, ибо папа не позволяет им внять заповедям христовым?

— Когда видишь столько идущих ног, невольно спрашиваешь себя: куда же ведет их путь? Они идут через Тибр и останавливаются на площади перед базиликой святого Петра. Как только папа показывается на балконе своего дома, они

затягивают «Te Deum laudamus»[143], а колокола всех римских церквей начинают звонить. Хорошо ли это или плохо, этого я не знаю, мадам. Весьма осведомленные авторы утверждали, что богач Джованни Медичи, которого звали также Львом X[144], был ученым язычником, последователем Эпикура и что ему никогда не приходило на ум верить в существование души, хотя он и торговал индульгенциями. Быть может, он именно поэтому и торговал ими. Порой кажется, что Мартин Лютер, споря с подобным человеком относительно свободы духа, уподобляется какому-нибудь мужлану из глухого местечка.

— Но, дорогой господин эмиссар, разве не грешно так думать о нашем учителе Лютере? — спросила супруга епископа.

— Не знаю, мадам, — ответил Арнас Арнэус. — Возможно, что и так. Но одно несомненно: внезапно мне показалось, что высокоученые, просвещенные реформаторы — бесконечно далеко на севере. Ибо, глядя на ноги паломников,

---

[143] Примечания: 143
«Тебя бога хвалим» *(лат.)*.

[144] Примечания: 144
Папа Лев X (1513–1521) — был щедрым меценатом, его именем называют иногда «золотой век» итальянской культуры. Вел широкую торговлю индульгенциями, которая послужила ближайшим поводом к реформации. *(Прим. Л. Г.)*.

я говорил себе: последуй за этим шествием, куда бы оно ни направилось. И вот в толпе, переходившей через Тибр, оказался один исландец. Мы остановились перед базиликой святого Петра: звонили римские колокола, папа в тиаре и с посохом вышел на балкон, а мы все пели: «Te Deum». Я разыскивал старые исландские книги, и меня очень опечалило то, что я их не нашел. И вдруг я понял, что это не имеет ровно никакого значения. На следующий день я покинул Рим.

Женщины сердечно поблагодарили асессора за то, что он рассказал им о городе великих исландцев Гудрид Торбьярнардоутир, Стурлы Сигхватссона и Йоуна Арасона. Но так как внизу его ждали гости, прибывшие издалека, то на этот раз у него уже не было времени рассказывать о других городах. Супруга епископа, которая была ревностной протестанткой и поэтому не находила большого удовольствия в рассказе о папской резиденции, попросила у асессора разрешения в следующий раз самой избрать город. Он сказал, что им дозволяется избрать любой город, какой им только захочется, простился и направился к двери.

— Я только что вспомнила, асессор, — сказала, поспешно поднимаясь, Снайфридур, — что

у меня есть к вам небольшое дело. Я чуть было не забыла о нем. Но должна заметить, что оно касается не меня.

— Речь идет о книге? — спросил он, обернувшись на пороге и взглянув ей в глаза.

— Нет, о человеке, — ответила она.

Он сказал, что с удовольствием выслушает ее, когда она только пожелает.

Затем он ушел.

Глава десятая

Арнэус попросил ее сесть. Она заняла место напротив него, сложила руки на коленях и взглянула словно издалека. Теперь она вновь держалась скованно.

— Я не пришла бы, не попроси меня о том один старик. Я сказала ему, что меня это все не касается, и, однако, я пришла именно поэтому. Не думайте, что я пришла по какой-нибудь другой причине.

— Добро пожаловать, Снайфридур, — сказал он во второй или в третий раз.

— Да, — заметила она, — я знаю, вам известны все прекрасные обычаи большого света. И все же, как говорится, я тут ничего не могу поделать:

пусть я не знаю этого старика и он не имеет ко мне ровно никакого отношения, но у меня такое чувство, словно я всегда его знала, и он дорог мне. Его зовут Йоун Хреггвидссон.

— А, старый Йоун Хреггвидссон, — сказал Арнас Арнэус. — Его мать сохранила редчайшее сокровище севера.

— Да, — ответила Снайфридур, — свое сердце…

— Нет, несколько старых пергаментов, — прервал ее Арнас Арнэус.

— Прошу прощения.

— Мы все в долгу у Йоуна Хреггвидссона… из-за его матери, — продолжал Арнэус. — Поэтому, Снайфридур, когда он мне принес кольцо, я решил подарить ему эту вещицу, чтобы он мог хорошенько повеселиться.

— О, не будем говорить теперь, спустя пятнадцать лет, о таких пустяках, — возразила Снайфридур. — При мысли о том, что все мы были когда-то молоды, можно лишь смеяться и краснеть.

Он облокотился о свое бюро. Позади него лежали большие книги и связки рукописей. Некоторые папки он уже развернул. На нем был длинный и широкий черный кафтан с белыми манжетами. Он сцепил указательные пальцы

рук, и она снова услышала его голос:

— Когда в тот раз я исчез и не вернулся, несмотря на свое обещание, ибо, как говорится в исландских сагах, судьба сильнее человеческой воли, я утешал себя мыслью, что, когда я снова увижу златокудрую деву, она станет совсем другой. Исчезнут ее молодость и красота, этот дар юности. Наши мудрые предки учили, что нарушение любовной клятвы — единственная измена, на которую боги смотрят снисходительно: Venus haec perjuria ridet[145]. Когда вчера вечером, после стольких лет, вы вошли в зал, я увидел, что богиня не станет снисходительно смеяться надо мной.

— Оставим эти бесполезные речи, асессор, — сказала она, разняла руки и на мгновение поднесла их к лицу, словно желая защититься. — Ради бога!

— В молодости все люди поэты, но потом это проходит. Точно так же, пока мы молоды, мы очень недолго бываем красивы. И то и другое — удел юности. Но некоторых, в знак особой милости, боги награждают этими дарами от колыбели до могилы, сколько бы лет, много или мало, ни длилась их жизнь.

---

[145] Примечания: 145

Венера смеется над таким клятвопреступлением *(лат.)*.

— Да вы поэт, асессор.

— Мне хочется, чтобы эти мои слова послужили вступлением к нашей беседе.

Она сидела неподвижно, глядя в пространство, словно позабыв о своем деле. Все ее существо было пронизано таким возвышенным неземным покоем, что казалось, будто она дитя воздуха, а не земли. Наконец она опустила глаза.

— Йоун Хреггвидссон, — начала она, — я хочу говорить с вами только о нем. Говорят, что подающий милостыню попадает во власть нищего. Вот так и Йоун Хреггвидссон является через пятнадцать лет и начинает отдавать мне приказания.

— Мне думалось, вы гордитесь тем, что сохранили голову старому Йоуну Хреггвидссону, который убил палача.

— Мой отец заслужил с моей стороны иного отношения. А я вместо того освободила осужденного им преступника. Отец всегда желал мне только добра. Вы, друг короля, также должны были бы разгневаться на меня, ибо вы сами сказали, что Йоун убил человека, слугу короля.

— Он, несомненно, это сделал, — ответил Арнас Арнэус. — Но мы с вами оба невиновны перед своим королем, хотя и протянули руку помощи этому человеку. Против него не было никаких

улик.

— Мой отец всегда судит справедливо, — сказала она.

— Откуда вы это знаете?

— Я — частица его, и он живет во мне. Мне кажется, что я сама по всей справедливости осудила этого преступника. Поэтому меня терзают угрызения совести из-за того, что я освободила его.

— Совесть человека — ненадежный судья в том, что касается справедливости и несправедливости. Ее можно сравнить с более или менее выдрессированным псом, который слушается приказов своего хозяина. Волею судеб этот хозяин может быть хорошим или плохим, а иногда даже негодяем. Поэтому пусть вас не мучает совесть из-за Йоуна Хреггвидссона. Вы не безгрешны, а значит, и ваш отец тоже. Считайте всегда, что суд ошибся, пока не доказано обратное.

— В случае если суд совершил ошибку и Йоун Хреггвидссон невиновен, то разве правосудие не важнее головы какого-нибудь нищего, хотя бы время от времени оно и выносило неправильные приговоры?

— Если суду удастся доказать виновность человека, тот должен лишиться головы, хотя бы он и не совершал преступления. Это суровая догма,

однако без этого у нас не было бы правосудия. Вот поэтому-то суд допустил ошибку в деле Йоуна Хреггвидссона, как и в отношении многих других мнимых преступлений в этой стране.

— Пусть так, — согласилась она. — Но я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь усомнился в том, что Йоун Хреггвидссон убил человека. И вы сами это говорите. Да и он не испытывал бы сейчас никакого страха, будь у него совесть чиста.

— Было бы очень просто схватить Йоуна Хреггвидссона и обезглавить его, ибо почти двадцать лет он жил у себя на хуторе в Рейне, под самым носом у властей. Однако никто не тронул и волоса у него на голове.

— Мой отец не судит человека дважды за одно и то же преступление. Кроме того, этот человек вернулся на родину с какой-то королевской грамотой.

— К сожалению, эта грамота не гарантирует ему вечной жизни, — сказал Арнас Арнэус и засмеялся.

— С грамотой о помиловании.

— С грамотой о пересмотре дела. Но она так и не была оглашена, и дело не пересматривалось.

— Мой отец никогда ничего не замалчивает, он человек милосердный и, видимо, сжалился

над беднягой.

— Разве справедливо быть милосердным? — спросил Арнас Арнэус и снова засмеялся.

— Я знаю, что я глупа, — ответила она, — так глупа, что барахтаюсь перед вами, словно упавшая на спину букашка, которая никак не может подняться и убежать.

— Губы у вас такие же пухлые, как прежде. Они словно две личинки, — сказал он.

— Я убеждена, что Йоун Хреггвидссон убил человека.

— Вы послали его ко мне, чтобы я помог ему и защитил его.

— Это было кокетство. Мне было семнадцать лет.

— Он рассказал мне, что его мать была у вас.

— Что с того? — возразила она. — У меня нет сердца.

— Не могу ли я проверить это?

— Нет.

— Все же ваши щеки пылают.

— Я знаю, сударь, что кажусь смешной, но вам незачем давать мне это чувствовать.

— Снайфридур!

— Нет. Сделайте одолжение и не зовите меня по имени. Скажите мне только одно: неужели надо

снова поднимать это дело? Разве не все равно, что станется с Йоуном Хреггвидссоном?

Арнэус перестал улыбаться и отвечал уклончиво и безразлично, словно по долгу службы:

— Определенных решений еще нет, но ряд старых дел нуждается в пересмотре. Король на этом настаивает. Йоун Хреггвидссон недавно был здесь. Мы беседовали почти целый день обо всем на свете. Дела его обстоят неважно. Но что бы с ним ни случилось, я считаю, что в интересах будущего страны и блага ее народа его дело необходимо пересмотреть.

— А если он будет признан виновным… через столько лет?

— Он не может быть признан более виновным, чем по старому приговору.

— А если он вовсе не виновен?

— Гм… Чего хотел Йоун Хреггвидссон от вас?

Она не ответила на его вопрос, но спросила, взглянув королевскому эмиссару прямо в глаза:

— Король — враг моего отца?

— Думаю, что, не беря на себя излишнюю смелость, могу ответить отрицательно. Полагаю, что наш всемилостивейший король и мой высокородный друг судья одинаково чтут правосудие.

Она поднялась.

— Благодарю вас, — сказала она. — Вы говорите, как надлежит придворному: ничего не выдаете и угощаете занимательными историями вроде той, что вы рассказали нам сегодня о Риме.

— Снайфридур, — сказал он, когда она уже хотела уйти, и внезапно подошел к ней совсем близко. — Мог ли я поступить иначе и не отдавать Йоуну Хреггвидссону кольца?

— Нет, асессор, — ответила она.

— Я был несвободен. Мною полностью завладели Исландия и старые книги, которые я хранил в Копенгагене. Их демон был моим демоном, их Исландия — моей Исландией, другой Исландии не существовало. Если бы я, как обещал, вернулся в ту весну на корабле в Эйрарбакки, я тем самым продал бы Исландию. Каждая из моих книг, каждый листок и документ попали бы в руки ростовщиков, моих кредиторов. Мы оба сидели бы в запущенной усадьбе, двое нищих отпрысков знатных родов. Я впал бы в пьянство и продал бы тебя за водку, а может быть, убил бы…

Она повернулась, взглянула на него и вдруг обняла его, прижалась на мгновение лицом к его груди и прошептала:

— Аурни.

Больше она ничего не сказала, и он погладил

ее пышные светлые волосы и затем отпустил ее, как она хотела.

Глава одиннадцатая

Однажды осенним днем перед крыльцом епископского дома стоит бедный человек с посиневшим от холода лицом, промокший до нитки. Он пытается заговорить со слугами, но на него никто не обращает внимания. Одет он в изрядно поношенное платье, хотя видно, что оно шилось на человека состоятельного. Порыжевшие сапоги искривлены, как и следует ожидать в стране, где у всех жителей только и есть общего что сбитая обувь. По-видимому, он трезв. Лицо его нельзя назвать карикатурой на человеческое, ибо оно еще хранит следы былой мужественной красоты. По его манере держать себя видно, что он знавал лучшие дни. Он не обращается к челяди, не смешивается с толпой и желает иметь дело только с хозяевами. Когда он первый раз постучался в дверь епископа, то прямо спросил свою жену, но дверь захлопнули у него перед носом. Он простоял перед закрытой дверью несколько часов. Когда следующий раз отворили дверь, чтобы впустить других гостей, ему не разрешили

войти. Он остался стоять и время от времени тихо стучал в дверь, но люди в доме знали, что это он, и не открывали. Он прошел к заднему крыльцу, чтобы попытаться проникнуть к епископу через людскую, но встретил в сенях грубых служанок, которые заявили, что гости епископа здесь не ходят. После нескольких безуспешных попыток ему удалось поговорить с горничной супруги епископа, и та наконец объяснила ему, что сестра мадам нездорова, а сама мадам очень занята. Он попросил допустить его к епископу, но оказалось, что епископ беседует с пасторами.

На следующий день гость явился снова, и все повторилось, как накануне, с той лишь разницей, что на этот раз дул юго-западный ветер и шел крупный град; при сильных порывах ветра, раздувавших его платье, можно было видеть, что у гостя худые ноги и кривые колени. Вероятно, сапоги его, высохнув, казались еще более стоптанными. Рукавиц у него не было, и он тер себе нос замерзшими пальцами. Придя еще раз, он передал у главного входа письмо, адресованное епископу, и к вечеру получил ответ, что может пройти к нему в парадные покои. Епископ назвал его «милым Магнусом», улыбаясь, с полным достоинства видом взял его холодную руку и вовсе

не гневался, а держался отечески. Он полагал, сказал он, что Магнус слишком хорошего рода, чтобы ему могло прийти в голову такое рискованное дело, как жалоба в суд на родню жены, о чем он пишет в своем письме. Когда Магнус выразил желание поговорить со своей женой, епископ ответил, что это всецело зависит от нее самой. На содержащееся в письме требование, чтобы епископ употребил свою духовную власть и авторитет своего сана, дабы убедить ее вернуться к мужу, епископ возразил, что его свояченица может оставаться в его доме сколько пожелает. Магнус из Брайдратунги заявил, что он всем сердцем любит свою жену и что постыдно разлучать ее с ним. Епископ разъяснил, что он непричастен к этому, и попросил свояка не сердиться: он, епископ, не желает вмешиваться в сердечные дела, пока между супругами не произошло ничего такого, что требовало бы его вмешательства.

Тем не менее Магнус упорно продолжал посещать епископский дом и торчал там с утра до вечера, стараясь быть полезным управителю и другим слугам, так как к хозяевам его больше не пускали. Он даже взялся изготовить упряжь и по приказу управителя работал в кузнице. Все это время он оставался трезвым, хотя вокруг него

было много пьяных. И когда те из челяди, кто был посмелее, вернувшись из Эйрарбакки, где они пополняли свой запас спиртного, устраивали общую попойку, он решительно отказывался примкнуть к ним и отправлялся восвояси.

В одно воскресное утро он хотел подстеречь ее у входа в церковь, но она не появилась, хотя он долго ждал на паперти. Войдя наконец в церковь, он увидел, что она сидит рядом с сестрой среди других знатных дам, на скамье, отведенной для женщин. Она не поднимала глаз и слушала, не шевелясь, проповедь пастора прокаженных. Магнус опоздал к началу службы, так как слишком долго ждал на улице. Когда он захотел сесть на хорах, оказалось, что там все места заняты, — здесь сидели Арнас Арнэус со своей свитой и несколько знатных людей из других приходов. Поэтому юнкеру пришлось вернуться и стать у двери. После того как пастор пропел заключительную молитву, Магнус увидел, что Снайфридур и супруга епископа вместе с женой управителя и горничной поднялись и собрались уходить. Но вместо того чтобы пройти через церковь, они взошли на хоры и направились мимо алтаря в ризницу. Оттуда в дом епископа вел подземный ход, которым пользовались в плохую погоду. Чтобы войти туда,

ей пришлось снять свою островерхую шапочку.

Вскоре после этого Магнусу однажды пришло в голову навестить Арнэуса. Его провели в комнату Арнэуса, который сидел за работой вместе с двумя писцами. В печи горел огонь. Покинутый супруг вложил свои влажные пальцы в теплую мягкую руку королевского посланца. Арнэус приветливо принял гостя и попросил его сесть. Магнус застенчиво присел. Выражение лица у него было глупое и растерянное. В обществе истинно знатного человека, ощущая за своей спиной раскаленную печь, в окружении книг и красивых резных стульев гость походил на неотесанного недоросля, который не совсем уверен в том, что стал уже мужчиной, но все же ведет себя развязно.

— Чем могу служить? — поинтересовался Арнэус.

— Я хотел бы сказать несколько слов ва… вашей светлости, — ответил он.

— Privatim?[146] — спросил Арнэус.

Гость взглянул на него и усмехнулся, показав два ряда гнилых зубов.

— Да, именно так. Я уже давно не имел дела с латынью: privatim.

---

[146] Примечания: 146
С глазу на глаз? *(лат.)*

Арнэус попросил своих писцов выйти на время беседы.

Улыбка гостя стала еще более застенчивой и в то же время наглой, и он сказал не без ехидства:

— Я думал предложить вам кое-какие старые книги, если только они не совсем сгнили у меня в сарае. Они оставлены мне моим блаженной памяти дедом.

Арнэус сказал, что всегда рад получить сведения об opera antiquaria[147] и спросил, что это за книги. Об этом юнкер не сумел толком ничего сообщить и признался, что ему никогда не доставляло удовольствия рыться в старых сагах о Гуннаре из Хлидаренди и Греттире сыне Асмунда или в разбойничьих историях, сочиненных некогда в этой стране. Затем он сказал, что охотно подарит его светлости эти изорванные книжонки, если только тот позволит. Арнэус поклонился, не вставая со стула, и поблагодарил за подарок.

Наступила пауза. Магнус перестал пялить глаза и сидел теперь упрямый и замкнутый, опустив голову, а Арнас Арнэус молча смотрел на широкий плоский лоб гостя, похожий на лоб быка. Наконец молчание стало невыносимым, и он спросил:

---

[147] Примечания: 147
Древние сочинения *(лат.)*.

— У вас есть еще какое-нибудь дело ко мне?

Гость как будто очнулся.

— Я хотел бы попросить вас, асессор, помочь мне в одном небольшом деле.

— Мой долг, — ответил Арнас Арнэус, — помогать по мере сил каждому в справедливом деле.

Помедлив, гость заговорил. Он сказал, что женат на прекрасной, удивительно умной женщине, которую он горячо любит. По его словам выходило, что он всегда берег эту женщину как зеницу ока, носил ее на руках, позволил ей, словно принцессе, жить в башне, где она хранила свои золотые и серебряные украшения, среди прекрасных тканей. В ее комнате были застекленные окна и кафельная печь, тогда как сам он, по ее требованию, спал в дальнем углу дома. Он считал, что для этой женщины ничто не может быть достаточно хорошим. К тому же она родом из очень знатной семьи и многие находят ее прекраснейшей женщиной Исландии. Но таковы уж женщины: без всякой на то причины она вдруг не захотела оставаться у своего мужа и убежала от него.

Пока этот человек говорил, Арнэус пристально смотрел на него. Ему было не ясно, рассказывал ли тот свою историю по простоте душевной, рас-

считывая, что чиновник, прибывший издалека, не может знать ее во всех подробностях, или же он просто издевался над ним, и строил из себя дурака, чтобы испытать своего бывшего соперника. Хотя по лицу гостя все еще можно было прочесть, что некогда он был кавалером и сердцеедом, однако взгляд его был удивительно пустым. Это были глаза пленника или животного, и казалось сомнительным, принадлежат ли они вообще человеческому существу.

— Кто ответчик в этом деле, сама женщина или кто-нибудь другой? — спросил Арнас Арнэус.

— Епископ, — ответил муж.

Это потребовало разъяснения: по словам Магнуса, выходило, что его деверь, епископ, и весь его род издавна стремились оклеветать Магнуса в глазах его жены. В конце концов эти люди добились своего. Они хитростью отняли у него жену и теперь держат ее здесь в доме, будто в тюрьме, и стерегут денно и нощно, так что ее законный перед богом и людьми супруг не может видеться с ней. Магнус сказал, что он попытался переговорить с епископом, но услышал в ответ лишь пустые отговорки. Теперь он просит королевского посланца, чтобы тот помог ему через суд найти управу на епископа и вернуть свою жену с

помощью закона.

Арнэус любезно улыбнулся, но заявил, что не станет возбуждать судебное дело против епископа, своего хозяина и друга, из-за чужой жены, если не будет доказано, что в данном случае имело место тяжкое преступление; что же касается старых книг, сказал он, то он готов посмотреть их при случае и выяснить, какую ценность они представляют. Затем он поднялся, взял понюшку, угостил юнкера и отпустил его.

Шел снег. Ледяной ветер насквозь пронизывал бездомного человека, который стоял вечером во дворе перед крыльцом епископа. Он повернулся спиной к ветру, как это делают лошади на лугу, и придерживал ворот окоченевшей рукой, словно носить шейный платок было ниже его достоинства. Он не отрывал глаз от окна над залом. Однако занавеси были спущены и свет погашен, так как в эту пору в доме все уже спали. Так он стоял и дрожал от холода, как вдруг из-за дома показался человек со сворой собак. Он окликнул его и сказал, что если этот негодяй Магнус из Брайдратунги не уберется немедленно из Скаульхольта, он натравит на него собак. Если же он и после этого будет торчать здесь с утра до ночи, его привяжут к столбу и накажут плетьми.

Очевидно, управитель, который прежде неплохо относился к Магнусу и время от времени поручал ему мелкие работы, получил приказание, чтобы впредь ни он сам, ни слуги не давали спуску этому бродяге. Магнус смолчал. Он был слишком знатный юнкер, чтобы ему могла прийти в голову мысль в трезвом виде пререкаться с таким грубияном. К тому же он был очень голоден. Он побрел навстречу холодному ветру, к амбарам и хлевам. Ветер рвал на нем одежду, и ноги его казались еще более худыми, а колени особенно кривыми. Некогда прекрасными весенними ночами он скакал на коне по этому лугу, ибо днем подобные вылазки были опасны. Теперь у него не было ни одной верховой лошади. Зато навстречу ему двигался всадник на подкованном коне, которого он объезжал ночью на льду. Магнус сделал вид, что не замечает его, и продолжал идти против ветра, но всадник натянул поводья своего горячего коня, который с пеной у рта грыз трензеля, повернулся в седле и крикнул путнику:

— Ты пьян?

— Нет, — ответил юнкер.

— Ты меня хотел видеть?

— Нет.

— А кого же?

— Свою жену.

— Значит, она еще здесь, в Скаульхольте. Надеюсь, что моей славной приятельнице там весело живется.

— Тебе лучше знать, как вам тут, в Скаульхольте, живется, — заносчиво ответил Магнус всаднику, который был когда-то его школьным товарищем. — Им удалось разлучить меня с женой, и здесь не обошлось без твоего участия.

— Вот уж никогда не мечтал отбить жену у такого покорителя сердец.

— Мне точно известно, что летом ты имел с ней долгую беседу на лужайке.

— Но, Магнус, что же тут плохого, если мы, пасторы, беседуем со своими дорогими духовными чадами у всех на виду и средь бела дня. Будь я на твоем месте, меня бы больше беспокоили беседы, которые ведутся не у всех на виду и не средь бела дня.

— Мне холодно, и я проголодался. Я болен, и у меня нет никакой охоты слушать на морозе твою болтовню. Будь здоров. Я ухожу.

— Впрочем, нет смысла делать тайну из того, о чем я прошлым летом беседовал с твоей женой, — сказал пастор Сигурдур. — Если хочешь,

милый Магнус, я могу тебе сейчас рассказать.

— Ну?

— Летом прошел слух, что ты любишь водку. И я навестил твою жену, чтобы узнать, верно ли это.

— Что еще? — спросил юнкер. — Тебе-то какое дело, пью я или нет? А кто не пьет?

— Не все люди одинаково жалуют водку, — ответил пастор. — Ты это сам знаешь, дорогой Магнус. Некоторых она вообще не прельщает, других лишь в очень небольшой мере, а третьи пьют, чтобы только поднять настроение, и дальше этого не идут. Наконец, есть и такие, которые время от времени напиваются до бесчувствия, но все же и они не настолько любят водку, чтобы променять на нее то, что им особенно дорого. Эти люди не находят, что водка так уж хороша.

— Я вижу, ты, как прежде, умеешь увиливать от ответа. Могу тебе сказать, что я не понимаю тебя и никогда не понимал. Я тебя спросил, кому какое дело до того, пил я раньше водку или нет? Никто не знает этого лучше моей жены, а она ни разу за все время не упрекнула меня.

— Тот, кто не любит водки, — возразил пастор Сигурдур, — не станет продавать свою жену, самую прекрасную женщину в Исландии, и детей, если они есть, и бросать свой разоренный очаг.

— Это ложь, — сказал Магнус. — Если я что и ненавижу, так это водку.

— Тебе не кажется, что это не твои слова, дорогой Магнус, и что в тебе говорит глас божий? Нужно отличать одно от другого. Не на словах, а на деле познается, какому голосу внимает человек.

— Я дал торжественный обет, что никогда не омочу уст в водке, — ответил Магнус, вплотную придвигаясь к лошади. Он схватился обеими руками за гриву и впился взглядом в сидевшего в седле пастора.

— С тех пор как моя жена покинула дом, я ночи напролет бодрствовал и молился богу. Можешь верить этому или нет. Моя мать научила меня читать «Семь слов Спасителя на кресте», и теперь у меня пропала всякая охота пить водку. За это время меня несколько раз угощали. И что, ты думаешь, я сделал бы охотнее всего? Плюнул бы в нее. Скажи об этом Снайфридур, если у вас зайдет обо мне разговор.

— Я нахожу, что лучше тебе самому рассказать ей это, дорогой Магнус. Если ты захочешь ей что-нибудь передать, для этого найдутся более подходящие люди, чем я.

— Все они выставили меня за дверь. Под конец

я пошел к эмиссару, который теперь выше самого хозяина дома, а когда я вышел от него, на меня натравили собак и пригрозили высечь, если я опять покажусь им на глаза.

— Уж эти мне светские люди, — заметил пастор. Юнкер прижался к шее лошади, поднял на всадника свои горящие глаза и спросил:

— Ответь мне по совести, дорогой пастор Сигурдур. Ты веришь, что между ними что-то есть?

Но пастор Сигурдур уже отпустил поводья.

— Прости, что я задержал тебя, — сказал он, трогая лошадь. — Мне казалось, что, может быть, тебе что-нибудь нужно от меня. Раз уж я тебя встретил, то охотно скажу тебе: не далее как в сенокос Снайфридур была готова простить тебе все твои проделки и сказала, что больше любит человека, который согласился дешево продать ее, чем того, кто пытается купить ее за дорогую цену.

Юнкер остался стоять среди снежной метели и крикнул вслед пастору:

— Сигге, Сигге, послушай! Я хочу еще поговорить с тобой.

— Я часто бодрствую по ночам, когда собаки давно уже спят. Я впущу тебя, если ты осторожно постучишься ко мне в окно.

Глава двенадцатая

— В Брейдафьорде есть прекрасные усадьбы: в бухтах фьорда полно гагар, на утесах спят тюлени, в водопадах резвятся лососи, на островах гнездятся морские птицы. Зеленые луга тянутся до самого моря. Горные склоны поросли кустарником. Плато покрыты травой. По широко раскинувшимся пустошам текут реки и струятся быстрые горные потоки. На зеленых холмах, средь лугов, приютились крестьянские хижины, из окон которых открывается чудесный вид на фьорд. В тихую погоду холмы и шхеры принимают столь мягкие дрожащие очертания, что кажутся прозрачными, словно отражения в родниковой воде.

Так говорил ей однажды вечером Арнэус. Она пришла узнать, что понадобилось от него ее мужу.

— Если я не ошибаюсь, одна из таких усадеб принадлежит тебе?

— Зачем ты это спрашиваешь?

— Если ты решишь поселиться там, я пришлю тебе камень и лес для постройки.

— О, неужто знаменитый асессор все еще такой ребенок?

— Да, ребенок. Первое впечатление всегда живет очень долго. В такой усадьбе я впервые увидел тебя и в мыслях всегда вижу тебя на фоне Брейдафьорда, вижу тамошних людей, которых не может сломить горе и чьи благородные лица не могут омрачить никакие невзгоды.

— Я не знаю, откуда я, — сказала она равнодушно.

— Позволь мне рассказать тебе кое-что.

Она кивнула, но мысли ее витали где-то далеко.

— Однажды в Брейдафьорде справляли свадьбу. Весна была уже на исходе. Это было время летнего солнцестояния, когда все, что есть еще живого в Исландии, пробуждается от сна. Поздно вечером во двор въехали двое мужчин. Их не хотели отпускать без угощения. На лугу была раскинута палатка, в которой весело пировал простой народ. Но приезжих провели в дом, где сидели со своими женами более именитые крестьяне. Им прислуживали молодые девушки. Эти незваные гости, принявшие участие в ночном пиршестве, были братьями. Один принадлежал к власть имущим и был судьей на другом берегу Брейдафьорда. Другой был молодой человек, успевший, однако, провести лет десять на чуж-

бине. Старший брат встретил его на пристани в Стюккисхольмуре. Они собирались той же ночью двинуться дальше. Вернувшийся на родину вновь увидел изможденные лица людей своего народа, которые он так хорошо помнил с детства. Веселье лишь подчеркивало их изнуренный вид, и бедность особенно бросалась в глаза. Многие напились до потери сознания и, еле держась на ногах, топтались на лугу. Оба гостя уже какое-то время пробыли в доме, как вдруг приезжий заметил существо, чье лицо столь пленило его с первой же минуты, что рядом с ним все прочие показались лишь бледными тенями. Хотя ему приходилось бывать и в королевских апартаментах, ему казалось, что все пережитое им до сих пор не может идти ни в какое сравнение с этим мгновением.

— Ты меня пугаешь, — сказала она.

— Я знаю, как нелепо и неразумно говорить так, и все же сколько бы этот гость впоследствии ни возвращался мыслями к той встрече, ему ни разу не удавалось найти подобающие слова для описания той волшебной ночи. Он неизменно задавал себе один и тот же вопрос: «Неужели это возможно? Как может возникнуть подобная пропасть между обликом этого единственного

человеческого существа и всеми остальными людьми?» Впоследствии он укорял себя, говоря, неужели ты, встречавший на своем пути стольких прелестных женщин, не мог устоять перед взглядом какой-то йомфру с Брейдафьорда? В твоей душе царят растерянность и смятение, тобой завладели сладкие чары, которым поддалась душа, достигшая высшего блаженства, хотя бы разум и тщился найти некие внешние причины этого. Однако время научило этого путешественника, что все женщины мира, сколь бы горды и прекрасны они ни были, неизбежно меркнут в его воспоминаниях и как бы уходят в царство теней. Но эта, одна-единственная, оставалась.

— А разве приезжий гость, столько повидавший на своем веку, не удивился больше всего тому, какие большие глаза сделала девушка с Брейдафьорда, впервые увидев мужчину?

Эта реплика не нарушила хода его мыслей.

— В жизни каждого человека бывает мгновение, которое живет затем вечно. Оно правит нашими хорошими и дурными поступками, ведет нас сквозь битву жизни, хотя весь дальнейший путь человека как будто противоречит тому мгновению. Бесспорно одно: отныне над этим самым мгновением царит пара глаз, чью красоту

призваны воспевать поэты. Но поэту этих глаз не суждено заявить о себе, ибо в тот самый миг, когда он назвал бы ее имя, мир рухнул бы. Что же, собственно, произошло? Что было сказано? В такие мгновения ничего не случается и ни о чем не говорится. Только оба они оказались вдруг на лугу, возле устья полноводной реки. Ее окружало золотое облачко, ночной ветерок играл ее светлыми кудрями, шелковистые ланиты, подобные розовому лепестку, чуть краснели, словно на них занималась заря.

— Как это другу королевы взбрело на ум просить глупую девочку сопровождать его на луг? Ей было всего пятнадцать лет.

— Пятнадцать весен.

— Она еще плохо знала себя. Она воображала, что знатный гость попросит ее передать привет ее отцу, уже покинувшему это позднее пиршество. Лишь назавтра она поняла, что получила от него в подарок кольцо… не кто иной, а она…

— Что могла она думать о столь странном человеке?

— Она ведь была дочерью судьи, а богатым все делают подарки. Поэтому она не удивилась.

— Когда же кольцо вернулось к нему, он подарил его Йоуну Хреггвидссону, чтобы тот пропил

его. Он сжег за собой корабли. Обещания, клятвы, его искреннее желание — все развеялось как дым. Он променял чудесный розовый лепесток той весенней ночи на сморщенные пергаменты. Такова была его жизнь.

— Ты и раньше говорил мне об этом, но кое-что ты все же пропустил. Ты пропустил два лета.

— Расскажи ты, Снайфридур.

— У меня для этого нет слов.

— У кого есть только слова, тот ничего не сумеет рассказать. Рассказывать умеет лишь тот, кто дышит полной грудью. Дыши и ты!

Она сидела, устремив взгляд вдаль, и дышала полной грудью.

— Мне помнится, что, когда ты остановился у нас, чтобы разобрать отцовские книги, я не чувствовала радости. Может быть, я испытывала некоторое любопытство. Я не посмела рассказать матери, что чужой человек подарил мне кольцо, ибо она запретила мне принимать без ее разрешения подарки от чужих. Ей казалось, что чужой, делающий подарки ребенку высокопоставленного отца, замышляет недоброе. Правда, девушки не очень-то верят тому, что говорят матери, но мне было крайне важно, чтобы мать не узнала обо мне ничего такого, что сочла бы дурным, и

поэтому я спрятала кольцо.

— Ты не хочешь продолжать? — спросил он.

— А что продолжать? Разве я начала что-то рассказывать?

— Я не стану прерывать тебя.

Она опустила глаза и тихо, задумчиво сказала:

— Что произошло? Ты приехал. Мне было всего пятнадцать лет. Потом ты уехал, и больше не было ничего.

— В то лето я прожил у твоего отца две недели и рылся у него в книгах. У него было много рукописей и несколько ценных документов. Кое-что я выписал, часть приобрел у него, а часть он мне подарил. Он ученый человек, каких немало в Исландии, и хорошо разбирается в родословных. Летними вечерами мы часто подолгу беседовали о людях, живших в этой стране.

— Я нередко подслушивала. Раньше у меня никогда не было желания прислушиваться к речам взрослых. Но тогда я не могла оторваться, хотя почти не понимала, о чем вы беседовали. Но как хотелось мне смотреть на этого человека, видеть, во что он одет, какие у него сапоги, как он держит себя, наконец, просто слышать его голос, не вникая в то, что он говорит.

Потом ты уехал, и дом опустел. «Хорошо, что

только на тот берег фьорда, а не дальше», — думала эта маленькая дурочка. Кого же она теперь будет подслушивать по вечерам?

Однажды осенью кто-то сказал, что он отплыл из Стюккисхольмура.

— В ту зиму король послал меня на юг в Саксонию, чтобы посмотреть книги, которые он собирался приобрести. Я жил в графском замке. Но в этой стране даже простой человек был сыт и доволен и после работы, за несколько шиллингов, мог посетить концерт или сходить в воскресенье в церковь, где исполнялись кантаты великих мастеров. А мысли гостя витали в это время в единственной в Европе стране, где тогда свирепствовал голод, в стране, народ которой ученые называли gens paene barbara[148]. Я разглядывал роскошные фолианты, изготовленные руками великих печатников: одни — руками Плантена[149], другие — самого Гутенберга[150], — все эти книги

---

[148] Примечания: 148

Почти варварами *(лат.)*.

[149] Примечания: 149

Плантен Христофор (1520–1589) — известный нидерландский печатник. В 1555 г. открыл в Антверпене типографию, которую в 1876 г. городской муниципалитет приобрел у его потомков и превратил в музей по истории печатного дела. *(Прим. Л. Г.)*.

[150] Примечания: 150

Гутенберг — изобретатель книгопечатания, жил в первой половине XV в., умер в 1468 г. *(Прим. Л. Г.)*.

с великолепными рисунками, в чудесных кожаных переплетах и с серебряными застежками, которые мой повелитель хотел приобрести для своей копенгагенской библиотеки. А в это время всеми моими помыслами владела страна, где стояла колыбель редчайшего сокровища севера, а ныне оно потихоньку догнивало в какой-нибудь земляной хижине. Каждый вечер перед сном меня неотступно преследовала одна и та же мысль: нынче плесень разъела еще одну страницу из книги «Скальда».

— А на Брейдафьорде маленькая девочка протосковала все зимние месяцы. К счастью, ты об этом не думал.

— В наших старинных сагах часто говорится, что к концу зимы исландец, состоящий при королевском дворе, становится неразговорчивым и замкнутым. Поэтому я решил с первым же весенним кораблем выехать из Глюкштадта в Исландию.

— Она не знала почему, но один человек завладел всеми ее думами. Старому скряге из Грундафьорда не спится по ночам: он лежит без сна, не отводя глаз от золотого дуката. Может быть, и она, подобно этому несчастному, лишилась рассудка. Откуда это беспокойство, этот трепет, эта

боязнь оказаться покинутой из-за того, что он не сможет вернуться на родину, как это случилось некогда с исландцами в Гренландии. В людской допоздна сидела за работой, когда все другие уже спали, старая Хельга Альфсдоутир. Она давно уже не рассказывала мне саг, так как считала меня взрослой. Зато теперь она чаще говорила мне о превратностях, постигающих людей. Она знала родословные многих семей в стране, и ничто в жизни людей не было чуждо ей, ничто не могло ее удивить. Когда она рассказывала, казалось, будто перед ее глазами столетие за столетием проходила жизнь целого народа. Однажды вечером я тихонько проскользнула к ней в альков, набралась духу и попросила ее задернуть полог, ибо я собиралась доверить ей тайну. Я призналась ей, что меня что-то гнетет и я ни в чем не нахожу радости. Я просила ее не обращаться ко мне как к дочери судьи, а звать меня «мое дитя». Она спросила, что же случилось с ее дитятей.

— Это все из-за одного мужчины, — сказала я.

— Кто же он?

— Взрослый человек, которому до меня нет никакого дела и которого я не знаю. Наверное, я сошла с ума.

— Господи, храни и помилуй нас, — воскликну-

ла старая Хельга Альфсдоутир, — надеюсь, это не какой-нибудь бродяга?

— Это человек в ботфортах, — ответила я, ибо мне никогда раньше не доводилось видеть человека в начищенных сапогах. Я показала ей кольцо, которое ты подарил мне в вечер нашей встречи, а затем рассказала, как этот человек, которому нет до меня дела и которого я, наверно, больше не увижу, ни днем, ни ночью не идет у меня из ума и как тревожно у меня на душе. И когда я шепотом призналась ей во всем, она положила свою руку на мою, наклонилась ко мне и прошептала на ухо так тихо, что я поняла ее слова лишь после того, как она уже выпрямилась. «Не бойся, дитя мое, это — любовь». Вероятно, у меня потемнело в глазах. Не помню, как я выбралась из ее каморки. Любовь — ведь это было запретное слово. У нас в семье даже никогда не намекали на что-либо похожее. Мы не знали о существовании чего-либо подобного, и, когда семью годами ранее моя сестра Йорун вышла замуж за скаульхольтского епископа, никому и в голову не пришло, что тут замешана любовь. Когда же по соседству люди справляли свадьбы, это было самое обычное дело, обычное житейское событие, а все прочие мотивы совершенно не

касались нашей семьи. Мой добрый отец учил меня переводить речи Цицерона[151], и, когда я принялась за «Энеиду» — дальше я у себя дома в науках не пошла, — мне даже в голову не приходило, что любовь Дидоны[152] может быть чем-либо иным, как не поэтическим вымыслом, в действительности же любви вовсе не существует. Не удивительно, что, когда я узнала от старой Хельги, что со мной стряслось, я была совершенно ошеломлена. Я пробралась к себе в комнату и как следует выплакалась в подушку. Потом я прочла все молитвы пастора Бьярни и епископа Тоурдура и, наконец, так как ничто мне не помогало, двенадцать раз повторила латинскую молитву «Ave Maria» из старой папистской книги: «Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae»[153]. И тогда мне полегчало.

Арнэус сказал:

— Я понял это в первый же день, когда снова

---

[151] Примечания: 151

Цицерон (106–43 гг. до н. э.) — римский оратор, философ и государственный деятель. *(Прим. Л. Г.).*

[152] Примечания: 152

Дидона — царица Карфагена. Снайфридур говорит о поэме римского поэта Вергилия *«Энеида»*, в которой повествуется о приключениях Энея и о его любви к Дидоне. Эней — один из героев древней Трои. *(Прим. Л. Г.).*

[153] Примечания: 153

«Заступись за нас, грешных, и ныне, и в наш смертный час» *(лат.).*

вернулся к тебе на Брейдафьорд и наши взгляды встретились. Мы оба знали это. Все прочее в тот день казалось ничтожным и лишним.

— И вот, — сказала она, — я первый раз пришла к тебе. Никто не знал этого. Я пришла, потому что ты так велел. У меня не было собственной воли. Если бы мне пришлось перейти бурлящий поток или совершить преступление, я все равно пришла бы. И вот я пришла… к тебе. Я не знала, что ты со мной сделал, не знала, что произошло, не знала ничего, кроме одного, — я была твоей. Поэтому все было хорошо, все было правильно.

— Я хорошо помню, как ты спросила меня: «Разве ты не лучший человек в мире?» — спросила и взглянула на меня, чтобы убедиться, что тебе нечего бояться. Больше ты ничего не сказала.

— А помнишь, осенью, когда ты уехал и мы простились вот тут, в Скаульхольте, я говорила тебе: «Мне незачем спрашивать. Я знаю».

— Моя комнатка была залита лунным светом. Я клялся тебе всем, чем только может клясться мужчина. Я еще не взошел на борт корабля.

— Да. Мне следовало бы знать это, — ответила она.

— Я понимаю, о чем ты думаешь. Nulla viro

juranti femina credat[154]. Но корабли запаздывают и все же прибывают, Снайфридур.

— Когда корабли наконец прибыли в Гренландию, там уже давно не было людей, селение опустело.

— Рок правит кораблями, а их путями — боги, — сказал он. — Так говорится в исландских сагах.

— Да, к счастью, существуют рок и боги.

— Я не был лучшим из людей.

— Был, иначе я не вышла бы за юнкера из Брайдратунги. Меня выдали бы за скаульхольтского каноника.

— Это было осенью. Мы, ты и я, вместе с твоим зятем и его женой возвращались верхом с запада в Скаульхольт. Через несколько дней я должен был уехать. Стоял такой ясный день, какие редко выпадают даже весной. На тебе были красные чулки. Мне чудилось, что я среди аульвов, как это всегда бывало, когда я находился поблизости от тебя. И мир по ту сторону океана, тот мир, которому я отдался всей душой, был забыт и исчез. Мы ехали через Хафнарскуг, и, видя эту великолепную, залитую солнцем землю и реки, вдыхая аромат лугов, странник неизменно за-

---

[154] Примечания: 154

Женщина не должна верить клятвам мужчин *(лат.)*.

бывал, что здесь царит нужда. Ему мнилось, что маленькие, заросшие травой хижины объяты глубоким волшебным сном. На тебе был синий плащ. Ты ехала впереди, ветер играл твоими кудрями, и я понял: здесь все еще живет одна из тех женщин, ради которых отдавали свою жизнь герои, она бессмертна, эта женщина древних саг. «Ей нельзя изменить, пусть даже все пойдет прахом», — говорил человек, ехавший за ней по лесу. Я решил никогда не оставлять тебя. Я знал, что могу получить от короля любую должность в Исландии, какую я только пожелаю. Тогда было как раз свободно место судьи. И все же была на свете книга, которая называлась «Скальда». Много лет она была мне дороже всех других книг. Я разослал по всей стране людей, которые должны были разыскать эту книгу, листок за листком. Сто лет назад она досталась наследникам разорившегося знатного человека, и они разделили ее на множество частей, которые с тех пор находились в руках безвестных нищих во всех концах страны. С огромным трудом мне удалось разыскать значительную часть книги. Но мне не хватало четырнадцати страниц, а они-то казались мне самыми важными. Я подозревал втайне, что в одном маленьком местечке в Акранесе можно

найти остатки этой древней рукописи, и ты согласилась заехать туда. Хутор этот назывался Рейн.

Она сказала:

— Я припоминаю, что ты водил меня туда.

— Это действительно было неподходящее место для женщины из героических саг. Я хорошо помню, как ты на глазах у всех прижалась ко мне и спросила: «Мой друг, зачем ты привел меня в этот ужасный дом и потом исчез».

— Ты забыл обо мне.

— В этой хижине я нашел листки из «Скальды», те самые, которые были мне дороже всего на свете. Мы искали, пока наконец не нашли это сокровище под тряпьем в постели старой женщины. Я вспоминаю тот час, когда я стоял там в комнате, держа в руке эти листки и разглядывая людей, которые сохранили жемчужину поэзии северных стран: дряхлую старуху и хитрого крестьянина, этого похитителя лесок и богохульника, едва умевшего читать, спина у него распухла от плетей палача, за убийство которого его судили; изнуренную девочку с большими глазами и двух женщин с изъеденными проказой лицами. Но ты исчезла. Я знал, что уеду и не вернусь. В тот момент я изменил тебе. Ничто не могло убедить меня стать правителем

загубленного народа. Книги Исландии вновь завладели мной.

Йомфру Снайфридур встала.

— Я никогда не упрекала тебя, Аурни, — сказала она, — ни мыслью, ни словом. Ты должен был понять это из тех слов, которые я просила передать тебе вместе с кольцом.

— Я не дал Йоуну Хреггвидссону говорить, — ответил он. — Я так и не узнал, что ты хотела мне передать.

— Я уехала из Скаульхольта и ночью совсем одна прибыла в Тингведлир. Я решила послать к тебе этого преступника. Его мать пришла ко мне через реки и горы. Я знала, что ты не вернешься, но я не винила тебя: накануне ночью я добровольно убила свою любовь — впервые отдалась Магнусу из Брайдратунги. Всю ночь на пути в Тингведлир я пыталась найти слова, которые я хотела бы передать тебе, а ты не пожелал их выслушать, ибо ты не доверял мне. Но все же ты должен их выслушать теперь, и я прошу тебя, чтобы это были последние слова между нами как сегодня вечером, так и во все вечера, вплоть до самого последнего.

Затем она повторила ему те самые слова, которые много лет назад доверила узнику, при-

говоренному ее отцом к смертной казни. Этот человек должен был принести их из Тингведлира ее возлюбленному: «Если только мой повелитель может спасти честь Исландии даже ценой бесчестья своей златокудрой девы, образ его будет неизменно окружен сиянием в ее глазах».

Глава тринадцатая

Как-то раз супруга епископа зашла к сестре, чтобы справиться о ее здоровье и полюбоваться ее вышивками, так как у Снайфридур всегда была под рукой какая-нибудь изящная работа. Щеки Йорун горели, в глазах появился странный блеск и выражение тревоги. Она спросила сестру вскользь, хорошо ли та спит по ночам и не раздражает ли ее своим шумом и возней племянница Гудрун, спавшая в одной комнате со Снайфридур. Если девочка мешает ей, сказала Йорун, она переселит дочь в другое место. Всякий раз, когда сестра проявляла подобную заботу, Снайфридур настораживалась. Она ответила, что ни в чем не нуждается, что же касается девочки, то она доставляет ей лишь радость.

— И засыпает вовремя? — спросила супруга епископа.

— Обычно раньше меня.

— А я думала, что ты всегда ложишься очень рано, дорогая Снайфридур.

— Меня обычно рано клонит ко сну.

— Одна из служанок рассказывала в ткацкой, что иногда тебя видят поздно вечером внизу, — заметила супруга епископа.

— Служанкам не мешало бы больше спать по ночам и меньше болтать днем.

Немного помедлив, супруга епископа продолжала:

— Раз уж мы заговорили на эту тему, то я хочу, пока не забыла, рассказать тебе последнюю новость: с некоторых пор мы получаем из округи подметные письма, в которых людей из Скаульхольта обвиняют в ночных похождениях и грозят им судом.

Снайфридур, понятно, захотелось узнать больше об этих письмах и об их происхождении, и в ответ она услышала, что одно письмо направлено против королевского посланца Арнэуса, он является одной из сторон, подозреваемых в недостойном поведении. Другой стороной является сама Снайфридур, сестра супруги епископа. К тому же, — сказала Йорун, — она полагает, что ее сестра лучше знает, что могло послужить пово-

дом для этих писем. Снайфридур возразила, что до сих пор она ничего об этом не слыхала.

Дело началось с того, что недавно Арнэус показал епископу письмо, написанное Магнусом из Брайдратунги. В письме содержались намеки на то, что королевский эмиссар вступил в предосудительную связь с супругой автора письма и стал уже притчей во языцех. Далее Магнус писал, что ему доподлинно известно, что его супруга постоянно навещает Арнэуса, как только тот остается один в своих покоях. Это бывает примерно в полдень, когда хитрецы чувствуют себя в наибольшей безопасности, или поздно вечером, когда другие, по их расчетам, уже легли спать. Затем она проводит у него несколько часов за закрытыми дверьми. Кроме того, Магнус намекнул, что много лет назад его супруга, еще будучи совсем юной, уже состояла в связи с королевским эмиссаром, в ту пору асессором консистории, и что теперь старая связь возобновилась. Весной, как только стало известно о прибытии Арнэуса, жена вдруг перестала выказывать покорность своему мужу. В довершение Магнус из Брайдратунги утверждал, что ему приходилось терпеть насилие от рук своих родичей, высокопоставленных особ, которые минувшей осенью разлучили

его жену с ним, законным супругом. Теперь он молит, чтобы господь поддержал его в борьбе против злых козней этих высоких сановников и покарал их за наглое издевательство над бедным и беззащитным человеком.

Не в силах больше сдерживаться, Снайфридур громко расхохоталась. Супруга епископа взглянула на нее с удивлением.

— Ты смеешься, сестра?

— Как же мне не смеяться?

— Правосудие еще не утратило силы в нашей стране.

— Нас наверняка всех колесуют, — сказала Снайфридур.

— Достаточно того, — сказала супруга епископа, — что жалоба Магнуса на нарушение супружеской верности благородными людьми, живущими в епископской резиденции, дает повод для потехи батракам и служанкам. Это дорого обойдется всем нам.

Снайфридур перестала смеяться. Посмотрев на сестру, она заметила, что с лица этой женщины исчезли последние следы напускной кротости.

А так как Снайфридур не отвечала, Йорун спросила:

— Что прикажешь думать мне, твоей сестре,

жене скаульхольтского епископа?

— Думай что хочешь, дорогая моя, — ответила Снайфридур.

— Это известие поразило меня как громом.

— Если я собираюсь что-то скрыть от тебя, сестра, то неразумно задавать вопросы. Тебе следовало бы лучше знать свою семью и весь свой род.

— Я здесь, в Скаульхольте, хозяйка и к тому же — твоя старшая сестра. Перед богом и людьми я вправе и должна знать, верно ли то, в чем тебя обвиняют.

— Я полагала, что мы слишком знатного рода, чтобы нам можно было задавать такие вопросы.

— А ты думаешь, меня заботит что-либо иное, кроме твоей и моей чести, равно как и чести всех нас?

— Чтобы в Скаульхольте принимали близко к сердцу слова Магнуса Сигурдссона — это уже нечто новое, — заметила Снайфридур.

— Никто не знает, на что может решиться отчаявшийся человек. Мы понимаем пьяниц, когда они пьяны, но не когда они трезвы. Но, не зная, что творится у меня под носом, как я могу отстаивать честь своего дома, если дело дойдет до суда и придется давать клятву?

— Какая разница, в чем я поклянусь — сейчас или позже? Запомни, сестра Йорун, женщина поклянется в чем угодно и перед кем угодно, если она хочет скрыть то, что ей дороже истины.

— Сохрани меня боже! Твои слова вселяют ужас в меня. Ведь я жена духовного лица.

— Рагнейдур[155], дочь епископа, клялась на алтаре перед лицом господа.

— Я могла бы рассказать тебе все о себе и поклясться как в малом, так и в большом без всяких уверток. Но тот, кто пытается отделаться пустыми словами, наводит на подозрение, что у него не чиста совесть, а это между сестрами недопустимо. Они должны поверять друг другу все свои горести.

— Жила-была старая женщина, которая умерла от угрызений совести, — сказала Снайфридур. — Она забыла накормить своего теленка; наверное, у нее не было сестры.

— Это кощунственные речи, дорогая Снайфридур.

— Меня мучает совесть из-за одного дела, которое я когда-то совершила. Это был столь постыдный поступок, что своей дорогой сестре я

---

[155] Примечания: 155

Рагнейдур — дочь епископа Брюньольва; см. прим. 78. *(Прим. Л. Г.).*

могу лишь намекнуть о нем: я спасла человека.

— Ты укрываешься за пустой болтовней. Но я прошу тебя сказать не ради себя или меня, а ради нашей доброй матери и нашего отца: имеются ли у наших недоброжелателей какие-либо основания для таких подозрений?

— Этой осенью, сестра, я приехала ночью сюда, к тебе. Я сказала тебе, что дело идет о моей жизни. Однако в ту ночь мне грозила не большая опасность, чем каждую ночь в течение прошлых пятнадцати лет. Как ни ловок Магнус, в пьяном виде он не может убить человека, во всяком случае, меня. Я не сомневаюсь, что, едва только хмель у него улетучился, он нашел странным, что этой осенью я уехала в Скаульхольт, тогда как в прошедшие годы я этого не делала. Может быть, это действительно странно. Я не знаю, что я за женщина и что со мной происходит, и при всем желании не могу себя понять. По своей натуре я не откровенна. Возможно — хотя я и не припоминаю этого, — что в тех редких случаях, когда у меня были важные дела к королевскому послу, я задерживалась у него. Ты сама знаешь, какой он мастер вести увлекательную беседу даже с необразованными людьми, будь это мужчина или женщина. Вполне вероятно также, что, когда мы

беседовали, поблизости находились его писцы, хотя я не помню этого точно.

— Едва ли, — сказала супруга епископа, и при этом возле рта у нее образовались жесткие складки. — Разве ты не знаешь, что он отчаянный бабник.

Снайфридур залилась краской, и лицо ее на мгновение дрогнуло. Она схватила свою работу и сказала несколько тише, чем раньше:

— Увольте меня от ваших vulgaria[156], госпожа епископша.

— Я не сильна в латыни, дорогая Снайфридур.

Наступила долгая пауза. Снайфридур не отрывала глаз от работы и неутомимо вышивала. Наконец сестра подошла к ней, поцеловала ее в лоб и вновь ласково заговорила:

— Одно мне все же хочется знать — неужели моего мужа притянут к ответу из-за поведения людей, пользующихся его гостеприимством? — Тут она наклонилась к сестре и прошептала: — Кто-нибудь знает об этом?

Снайфридур холодно взглянула на сестру словно издалека и равнодушно ответила:

— Клянусь, что ничего не было.

---

[156] Примечания: 156
Грубостей *(лат.)*.

Вскоре после этого беседа закончилась.

Несколькими днями позже Снайфридур понадобилось поговорить как-то вечером с послом. Она упомянула о письме, которое он, как ей стало известно, получил от Магнуса Сигурдссона. Арнэус сказал, что ему, возможно, по долгу службы придется заняться этим письмом более внимательно. Вообще же таким бумажкам не стоит придавать значения до тех пор, пока ничего не случилось.

— А разве ничего не случилось?

— Пока ничего не доказано, значит, ничего и не случилось.

— Все же мы порой долго засиживались здесь одни по вечерам.

— В древней Исландии люди были не так уж глупы. Правда, они ввели христианство, но при этом не запрещали народу кровавых жертвоприношений, если это совершалось втайне. В Персии не возбранялось лгать, и всякий мог это сделать, лишь бы его не уличили во лжи. Уличенного считали дураком. Если он попадался вторично, его считали негодяем, а на третий раз ему отрезали язык. Подобные же законы были изданы властителями Египта. Там не только не запрещалось воровать, но воровство даже поощрялось.

Но если вора ловили на месте преступления, ему отрубали обе руки по самые плечи.

— Неужто наше краткое знакомство вечно будут приравнивать к преступлению?

Придворный разом утратил всю свою находчивость и ответил глухим голосом:

— А разве человеческое счастье когда-нибудь не считалось преступным? И кто же наслаждался им иначе как втайне, вопреки всем божеским и человеческим законам?

Она долго смотрела на него. Наконец она подошла к нему и сказала:

— Ты устал, мой друг.

Когда она ушла от него, было уже поздно. В доме все давно спали. В прихожей перед залом всегда оставляли на ночь слабый огонь на тот случай, если кому-нибудь понадобится выйти. Так было и сейчас.

Прямо напротив выхода была еще одна дверь в коридор, который вел в кухню и кладовую. За ними помещалась людская.

Из прихожей вела наверх лестница. Когда Снайфридур вышла из зала и Арнэус, провожавший ее, остановился на пороге и пожелал ей доброй ночи, она заметила, что тусклый свет падает на лицо человека, стоящего за слегка приоткрытой вход-

ной дверью. Человек этот не двинулся с места, хотя тоже заметил ее, но в упор посмотрел на нее горящими черными глазами. Он был бледен от бессонной ночи, под глазами легли темные круги, а в складках лица — глубокие тени. Снайфридур мгновение смотрела на него и затем бросила быстрый взгляд на асессора. Но он шепнул лишь:

— Иди осторожно.

Она сделала вид, будто ничего не заметила, прошла к лестнице и молча поднялась наверх.

Арнас закрыл дверь в зал и вернулся к себе в комнату. Человек, стоявший за дверью, осторожно прикрыл ее. В доме было тихо.

Глава четырнадцатая

Ученики перестали драться и молча смотрели вслед стройной женщине в плаще, которая легкой походкой шла через их комнату к канонику.

Окно в его комнате заиндевело. Он сидел за своим бюро, низко склонившись над книгами. Услышав стук в дверь, он хмуро пробормотал «Deo gratias»[157], но не поднял глаз и продолжал читать. Она остановилась на пороге, с удивлени-

---

[157] Примечания: 157
Благодарение богу *(лат.)*.

ем взглянула на висевшее над бюро уродливое деревянное распятие и непринужденно, хотя и благочестивым тоном произнесла:

— Да ниспошлет вам господь счастливый день.

Услышав этот голос, он растерянно поднял глаза, словно только что проснувшись, не понимая, что происходит. Когда свет падал так, как сейчас, его черные глаза, казалось, горели диким огнем. Он встал, поклонился и придвинул ей кресло, а сам уселся так, чтобы быть между ней и распятием.

— Мне, бедному человеку, впервые выпала такая честь, — начал он.

Этот визит застал его настолько врасплох, что все изысканные обороты, принятые в таких случаях, вылетели у него из головы. Ему пришлось откашляться, чтобы скрыть смущение.

— Не называйте себя бедным, дорогой пастор Сигурдур. Ведь вам принадлежит столько богатых хуторов. Как жаль, что в такую стужу у вас нет печки. Вы, наверное, простудились. Впрочем, я у вас не первый раз. Я была у вас однажды, еще при жизни вашей покойной жены. Она угощала меня медом из чаши. Вы, должно быть, забыли об этом. А теперь вот вы завели себе это ужасное изображение.

Она тяжело вздохнула, глядя на распятие.

— Вы и вправду верите, что нашему благословенному Спасителю пришлось столько страдать?

— In cruce latebat sola deitas at hie latet simul humanitas[158], — пробормотал каноник.

— Это стихи? — спросила она. — Я совершенно забыла и то немногое, что знала по-латыни. Но мне кажется, что deitas означает божественную сущность, а humanitas — человеческую, и они как будто враждуют между собой. Не так ли? Скажите, пастор Сигурдур, по-вашему, всякий раз, когда согрешишь, следует читать псалмы девы Марии или же нужно поступать, как наш дорогой Лютер, который женился на богобоязненной женщине?

— Я мог бы лучше ответить вам, знай я, что побуждает вас задавать такие вопросы, — сказал каноник. — Вы только что напомнили мне о моей славной супруге. Однако, когда я смотрю на эти раны, сердце мое преисполняется благодарности к господу за ту милость, которую он оказал мне, лишив меня земного утешения.

— Не пугайте меня понапрасну, дорогой пастор, — возразила она, переводя взгляд с распятия на него самого. — У вас еще остается сытый конь

---

[158] Примечания: 158

На кресте скрывается лишь божественное, а здесь — человеческое *(лат.)*.

и хутора. Зовите меня, как прежде, «мадемуазель» и будьте снова моим приятелем… и моим терпеливым женихом.

Он еще плотнее закутался в свой плащ и крепче сжал губы.

— Не мудрено, что вы мерзнете: у вас даже окно не оттаивает.

— Гм, — произнес он.

— Не обижайтесь. Вы, вероятно, знаете, как мне трудно сказать, что привело меня сюда. Вы ведь понимаете, что не так-то легко говорить о своих слабостях с человеком, который одерживает победу за победой перед лицом господа.

— Некогда я мнил, что мне суждено протянуть вам руку. Но пути господни неисповедимы.

Внезапно она спросила:

— Зачем вы позавчера вечером стояли под дверью епископского дома и почему не поздоровались со мной?

— Было поздно, — ответил он. — Было очень поздно.

— Для меня было не поздно, да и вы еще были на ногах, хотя, вероятно, устали. Я ждала, что вы мне поклонитесь.

— Я беседовал в людской с больной женщиной и задержался. Я хотел было выйти через парад-

ную дверь, но она оказалась запертой. Поэтому я вернулся.

— Наутро я сразу же рассказала об этом сестре. «Что теперь подумает о тебе пастор Сигурдур?» — спросила она. Я же ответила ей, что он, возможно, поверит всей этой отвратительной лжи, и сказала, что поговорю с ним сама.

— Не важно, что думают люди. Важно лишь то, что ведает бог.

— Я как-то не боюсь того, что ведомо обо мне богу, но мне не безразлично, что думают люди. И не в меньшей мере меня интересует, что думаете вы, мой духовник и друг. Мне было бы очень досадно, если бы по вине такой жалкой нищей, как я, снискал худую славу столь благородный человек, как Арнэус. Поэтому я позавчера вечером зашла к нему и спросила: «Арнас, не лучше ли мне покинуть Скаульхольт и вернуться к мужу? Я не могу вынести, чтобы из-за меня о вас говорили дурно, хоть вы ни в чем не виновны».

— Если вы что-то хотите сказать мне, то поведайте сами все, что у вас на душе, как вы это делали в юности, и не обращайтесь ко мне со словами, внушенными вам другими, а тем более человеком с раздвоенным языком змеи, о котором вы только что упоминали.

— Как можете вы, столь любящий Христа, так ненавидеть человека?

— Христиане ненавидят речи и деяния человека, продавшего душу дьяволу. Самого же человека они жалеют.

— Если бы я не знала, что вы — святой, дорогой пастор, я бы заподозрила, что вы ревнуете, а это должно льстить мне, ведь я скоро буду старухой.

— Я отчасти в долгу перед вами, Снайфридур, за то, что излюбленными моими словами стали теперь мольбы о ранах и кресте: fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari[159].

— И при этом вы, еще в прошлом году, когда муж был в отлучке, посетили замужнюю женщину и чуть ли не сватались к ней. По крайней мере, иначе она не могла понять истинный смысл всех ваших ученых речей.

— Я возражаю, мадам. Мой визит к вам минувшим летом был свободен от грешных помыслов. Может быть, раньше к моему чувству к вам и примешивалось греховное желание, но ведь с тех пор утекло много воды. Любовь одной души к другой — вот чувство, которое царит сейчас во

---

[159] Примечания: 159

Дай бичом мне уязвиться, крестной мукою упиться *(лат.)*.

Fac me plagis vulnerari… — Цитата из католического гимна «Stabat mater» Якопоне да Тоди (1230–1306). *(Прим. Л. Г.)*.

мне. Я молюсь лишь о том, чтобы с ваших глаз спала ослепляющая их зловещая пелена. Дорогая Снайфридур, отдаете ли вы себе отчет в том, какие ужасные слова вы только что произнесли, говоря, что не страшитесь зрящих вас очей господних? Думали ли вы когда-либо, сколь дорога господу ваша душа? Знаете ли вы, что в сравнении с нею весь мир для него — всего лишь пылинка. И задумывались ли вы над тем, что человек, не любящий свою душу, ненавидит бога? «Душа моя, прекрасная душа моя», — говорит творец наших псалмов, обращаясь к душе. Он хорошо знал, что душа — та часть человека, ради спасения которой господь наш родился в яслях и умер на кресте.

— Неужели, пастор Сигурдур, вы не можете хоть раз обойтись без своей богословской премудрости? Не можете положить руку на сердце и, вместо того чтобы пялить глаза на продырявленную деревянную ногу, взглянуть на миг в лицо живому человеку и ответить на вопрос: кто больше страдал в этом мире: бог во имя людей или люди во имя бога?

— Такой вопрос задает лишь человек, падкий до греха. Молю, чтобы вас миновала сия чаша с ядом, на дне которой скрыта вечная погибель.

— Вижу, что вы не имеете ни малейшего по-

нятия о моих делах. Вы поддерживаете всю эту досужую болтовню служанок и дурную молву обо мне скорее из злого умысла, нежели по каким-либо основательным причинам.

— Это жестокие слова, — сказал пастор.

— Однако я не угрожаю вам вечной погибелью, что, как я слышала, на вашем языке означает ад, — ответила она и засмеялась.

У него дрогнуло лицо.

— Женщина, которая приходит ночью к мужчине… — начал он, но запнулся, взглянул ей в глаза горящим взором и сказал: — Я почти застиг вас на месте преступления. Это уже не болтовня служанок.

— Я знала, что вы так думаете. И я пришла сказать вам, что вы заблуждаетесь. Я хочу предостеречь вас против клеветы на него. Слава его будет жить долго после того, как перестанут смеяться над вами и надо мной. Он готов был пожертвовать жизнью и счастьем, чтобы возвысить свою бедную страну. Такому человеку не придет в голову обесчестить покинутую женщину, которая обращается к нему со своим делом.

— У женщины, которая навещает ночью мужчину, может быть лишь одно дело, — сказал каноник.

— Тому, кто не в силах возвыситься в мыслях над своей жалкой плотью, кто вечно держит ее у себя перед глазами, на стене, в виде идола с пробитыми конечностями, или ищет в священных книгах оправдания своей жалкой похоти, тому никогда не понять человека, который посвятил себя душой и телом служению беззащитным людям и добивается справедливости для своего народа.

— Сатана принимает разные обличья, дабы соблазнить женщину. Первый раз он предстал в виде змея, чтобы искусить ее яблоком. Он не сам подал ей яблоко, а своими речами заставил ее забыть божью заповедь и сорвать яблоко. Не в его обычаях самому делать грязную работу, а то бы люди избежали его. Его потому и называют искусителем, что он соблазном подчиняет себе волю человека. В этой книге, «De operatione daemonum»[160], что лежит раскрытая перед нами, содержится множество примеров, подтверждающих это. Вот девица в страхе обращается к нечистому после того, как он разжег в ней плотское вожделение, а потом покинул ее. «Quid ergo exigis, — говорит она, — carnale conjugium, quod

---

[160] Примечания: 160
«О деяниях дьявола» *(лат.)*.

naturae tuae dinoscitur esse contrarium?» — то есть: почто ты искушаешь меня, если сам ты не из плоти? А он ответствует ей: «Tu tanturn mihi consenti, nihil aliud a te nisi copulae consensum requiro», — ты согласилась вступить со мною в блуд, а мне ничего и не нужно было, кроме твоего согласия.

После того как каноник растолковал ей таким образом этот пример на двух языках, гостья оставалась у него недолго. Несколько мгновений она смотрела на каноника с немым удивлением, казалось, она не может понять его. Затем она встала, рассеянно улыбнулась, поклонилась и сказала на прощание:

— Благодарю моего доброго друга и духовника за эту веселую скабрезную историю.

В пасхальную неделю в Скаульхольте был собор, на котором присутствовали монастырские экономы, доверенные лица и члены приходских советов. Обсуждались самые разнообразные вопросы: об арендной плате и скоте, о лечении прокаженных, содержании больниц, расселении бедняков, о мерах против тех арендаторов церковных земель, которые съели скот, отданный им в аренду, о похоронах бездомных, иной раз умиравших массами на дорогах; обсуждалась к тому же ежегодная челобитная королю касатель-

но нехватки церковного вина и снастей. Из-за нехватки лесок людям трудно было ловить рыбу в церковных прудах, а недостаток вина затруднял плавание в море милосердия божьего. Но это была лишь ничтожная частица всех тех дел, которыми приходилось заниматься духовным лицам.

К концу третьего дня епископ, сидевший в кругу своих пасторов, поднялся на кафедру и лишний раз напомнил им об основных догматах истинной веры, облекая свою речь в слова, которые всем очень нравились и ровно никого не удивляли.

Все были готовы к отъезду. На дорогу собравшиеся укрепили себя хоралом «Господь, даруй нам силу». Когда исполнялся последний стих этого песнопения, пастор Сигурдур Свейнссон покинул свое место, прислонился к двери и стал с самым серьезным видом ждать конца. Едва только отзвучало в нетопленной церкви хриплое пение, он вытащил из кармана распечатанное письмо, разгладил его дрожащими руками и сказал, что он не мог отказать в просьбе одному из своих прихожан, достойному и уважаемому человеку, который вручил ему письмо к собору. Каноник присовокупил, что, насколько ему известно, ав-

тор письма не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего, а поэтому он, каноник, считает себя тем более обязанным выполнить его просьбу. Затем он зачитал вслух пространное путаное письмо, составленное настолько витиевато, что слушатели долго не могли уразуметь, в чем, собственно, было дело. Вначале составитель письма пространно восхвалял чистоту нравов и описывал, как надлежит вести себя людям высшего сословия и как служители церкви должны поощрять добронравие высших классов, дабы оно могло служить примером простому народу. Затем приводились прискорбные случаи, рисовавшие ужасающее падение нравов в стране, и в особенности среди знати, будь то мужчины или женщины. Далее указывалось, что духовенство замалчивает и покрывает подобное поведение, хотя оно оказывает тлетворное влияние на нравы простого народа, о которых всякий может прочитать в книге «Семь слов Спасителя на кресте». Далее все шло в том же духе.

Поначалу некоторые слушали, разинув рты, широко раскрыв глаза и выпятив подбородки, а старые глуховатые пасторы прикладывали руку к уху, чтобы лучше слышать. Но так как поток красноречия не иссякал и никто не мог уловить

существа дела, то скоро все устали, и на лицах слушателей появилось тупое и сонное выражение, делавшее их похожими на вяленую треску.

Под конец автор спустился с небес на землю и перешел к описанию прискорбного случая, который затрагивал его особенно близко. Оказалось, что минувшей осенью его законная супруга Снайфридур Бьорнсдоутир, поддавшись уговорам неких лиц, покинула свой дом. Затем он изложил весьма напыщенным слогом историю отъезда жены, столь часто повторявшуюся им кстати и некстати, поделился сплетнями насчет ее прежнего знакомства с Арнасом Арнэусом и привел новые слухи о том, что ее тайная преступная связь с ним возобновилась в Скаульхольте. Рассказал он и о своих попытках уговорить высокопоставленных особ выступить в роли посредников и убедить ее вернуться домой и утверждал, что все остались глухи к его мольбам. Затем в письме говорилось, что когда он последний раз хотел поделиться в Скаульхольте своими горестями, на него натравили собак и даже грозили ему телесным наказанием. Все же он выражал уверенность, что эти угрозы исходили не от хозяев Скаульхольта; он еще больше утвердился в подозрении, что зачинщиками являются лица,

занимающие в настоящий момент еще более высокое положение, нежели хозяева Скаульхольта. Автор письма обращался к достойному собору со слезной просьбой принять меры, дабы положить конец предосудительному поведению его супруги и помочь вытащить ее из болота, в коем она завязла перед лицом господа и всех праведных христиан. Письмо заканчивалось ссылкой на книгу «Семь слов Спасителя на кресте», высокопарными благочестивыми фразами и молитвой святой троице о воскрешении добрых нравов в стране. И, наконец, в самом низу стояло: «Аминь, аминь, Магнус Сигурдссон».

По выражению лиц слушателей было совершенно невозможно угадать, что они думают об этом сочинении. Их обветренные лица походили на причудливые выступы на скалах, творимые самой природой и отдаленно напоминающие своими очертаниями человеческие физиономии. Правда, подбородки и носы у них были слишком длинные, а волосы чересчур косматые, но ни солнце, ни град не могли изменить выражения их лиц. Каноник сунул письмо обратно в карман и вышел. На этом служба закончилась, и все встали. Кое-кто из молодых капелланов украдкой посматривал на своих наставников, но взгляды

эти остались без ответа. Лишь выйдя из церкви, они завели разговор о менее серьезных делах.

Арнэусу было доложено обо всем случившемся. Он немедля послал к канонику своего писца, чтобы тот снял копию с письма Магнуса Сигурдссона. Затем Арнэус прочел его вслух своим людям и посмеялся над всей этой историей. Это не помешало ему, однако, послать за окружным судьей Хьяльмхольта Вигфусом и принести жалобу на автора письма. Своим слугам Арнэус приказал упаковать к утру все вещи и позаботиться о том, чтобы лошади были подкованы.

Дни стали длиннее, но погода стояла морозная, как это обычно бывает в конце зимы.

В одно ясное холодное утро двор заполнило множество лошадей. Одни предназначались для всадников, другие для перевозки поклажи. Вещи гостя уже были вынесены во двор, и лошадей навьючивали одну за другой. Целью путешествия была королевская усадьба в Бессастадире.

Последним из дома вышел сам Арнэус. На нем была длинная русская меховая шуба и высокие сапоги. Он расцеловался на прощанье с епископской четой, сел на лошадь и, приказав писцам следовать за ним, тронулся в путь.

Покои Арнэуса позади зала опустели; опустел

и сам зал. Вошла служанка, чтобы прибрать со стола. По дому разносился запах жаркого. На дне кубка осталось немного недопитого красного вина.

Глава пятнадцатая

«Эмиссар его королевского величества и чрезвычайный судья по особым делам Арнас Арнэус приглашает вас, благородного и достойного господина судью Эйдалина, явиться 12 июня в Тингведлир на Эхсарау. Вам надлежит оправдать перед моим судом и судом моих коллег некоторые свои прежние и недавние судебные решения и приговоры, в том числе к смертной казни за разбой, прелюбодеяние, колдовство и т. п., к долгосрочным каторжным работам, к наказанию плетьми у позорного столба, клеймению и увечью несчастных людей, вынесенные за недостаточно доказанные преступления, в особенности за нарушение правил торговли, как-то: контрабанду, сделки с чужеземными моряками и торговлю за пределами округи, — пока этот закон еще оставался в силе, — а также за отказ крестьян от барщины на землевладельца вообще и на губернатора в особенности. В общем, вы

обвиняетесь в чрезмерной строгости по отношению к беднякам, вследствие чего все то время, что вы были судьей, простому народу было очень трудно отстаивать свои права против богатых, в особенности, когда противной стороной оказывалась церковь, купцы или власти. Некоторые из ваших приговоров не только противоречат закону, но целиком и полностью являются sine allegationibus juris vel rationum[161]. Ныне по воле нашего всемилостивейшего монарха, ясно выраженной в моих полномочиях, такие приговоры подлежат пересмотру, и его величество король поручил мне возбудить дело против должностных лиц, подозреваемых в нарушении закона и неправильном применении оного; отменить приговоры, вынесенные судьями ради того, чтобы снискать благосклонность сильных мира сего, а не во имя людской справедливости, в согласии с законами страны, установленными нашими предками, и, наконец, привлечь к ответственности тех должностных лиц, кои будут признаны виновными».

Далее приводились примеры и перечислялись пункты обвинения. Судебные преследования,

[161] Примечания: 161
Противоречащими всякому праву и разуму *(лат.)*.

предпринятые Арнэусом против купцов минувшей осенью, вызвали большой шум в стране. Однако все это были пустяки в сравнении с известием о том, что королевский эмиссар возбудил этой весной дело против нескольких виднейших сановников страны, венцом которого явилась жалоба на самого судью альтинга.

Как-то весенним днем супруга епископа пришла к сестре. В руках у нее было два письма: копия жалобы Арнэуса на их отца и письмо их матери.

Снайфридур внимательно, пункт за пунктом, прочла жалобу. В числе прочих был пункт, согласно которому ее отец должен был держать ответ за устную или письменную сделку на альтинге с Йоуном Хреггвидссоном из Рейна, приговоренным ранее к смертной казни за убийство. Этому Йоуну было дозволено проживать в округе, примыкавшей к округе судьи Эйдалина, а за это упомянутый Йоун обязался не требовать оглашения королевской грамоты, в которой содержалось решение верховного суда касательно означенного приговора.

Затем Снайфридур пробежала глазами письмо матери, адресованное Йорун. Вначале хозяйка Эйдаля в подобающих выражениях благодарила

господа за ниспосланное ей здоровье и душевную бодрость, коими она могла похвалиться, невзирая на свой преклонный возраст. Сразу после этого она перешла к грозовым тучам, нависшим на склоне лет над безмятежной жизнью супружеской четы. Она намекнула, что, в награду за долгую бескорыстную службу своему отечеству и королю, ее супруга из-за злонамеренных показаний какого-то проходимца привлекают теперь к суду, словно какого-нибудь пьянчугу. Его собираются лишить чести и доброго имени, а может быть, даже заковать немощного старца в кандалы и отправить на каторгу. Хотя положение представляется довольно серьезным, исход дела не внушает ей никаких опасений. Она писала, что те, кто честно прожил свою жизнь, не позволят запугать себя, сколько бы искателей приключений, своих или чужих, ни являлось из Копенгагена с подозрительными бумагами на руках. Такие гости бывали здесь и раньше, но провидение всегда хранило Исландию от подобных бродяг, и следует уповать, что так будет и впредь. Ангел-хранитель не оставит в беде достойнейших людей страны и не лишит их своей поддержки и опоры. Он неустанно печется об их благополучии и в свое время возвысит их, обуздав произвол их врагов.

Гораздо больше знатная матрона тревожилась о той, которая была особенно близка ее сердцу благодаря узам крови и любви и которая своим поведением давала повод к излишним кривотолкам среди простонародья. Она не станет отрицать, что до нее дошли слухи о ее бедной многострадальной дочери Снайфридур, которую обвиняют в постыдной связи с ненавистным человеком. Ни судья, ни его супруга не намерены принимать на веру россказни Магнуса Сигурдссона, будь то устные или письменные. Но здесь речь идет не о том, доказуемо ли все это или нет. Одно то, что знатная женщина служит предметом толков среди простонародья, уже пятнает ее честь. Дочь ее навлекла на себя несчастье, поехав в такое место, где ее могли, справедливо или ложно, заподозрить в преступной связи с клеветником, оговорившим ее отца, — с человеком, который для ее родины такой же бич, как долгая голодная зима или огнедышащие вулканы. Она, говорилось в письме, столь близко принимает к сердцу все невзгоды, преследующие ее дитя, что не успокоится, пока не узнает, что же произошло на самом деле. Она просит Йорун написать ей обо всем без утайки и предлагает прислать лошадей и провожатых для Снайфридур на случай, если

той захочется поехать на запад в Брейдафьорд. В заключение она уверяла обеих дочерей в своей неизменной любви, — независимо от того, будут ли их преследовать невзгоды или же им улыбнется обманчивое счастье этого мира. Она просила простить ей следы слез на письме и небрежность и подписывалась: «Искренне любящая тебя мать».

Снайфридур долго смотрела в окно: снег уже стаял, и реки начали освобождаться ото льда.

— Ну, что ты скажешь? — спросила супруга епископа.

Младшая сестра очнулась, и взгляд ее упал на письмо матери, лежавшее на столе. Она щелчком сбросила его прямо на колени сестре.

— Это ведь письмо нашей матери, — заметила супруга епископа.

— Мы — женщины из рода скальдов — хорошо знаем, как пишутся такие письма.

— Неужели у тебя не найдется и слова сострадания отцу?

— Сдается мне, что наш отец совершил нечто такое, за что ему придется дорого поплатиться на старости лет.

— Сестра, неужели мне доведется услышать, что ты плохого мнения об отце?

— Очень плохого… раз у него одни дочери.

— Человек, который привез письмо, возвращается завтра утром на запад. Что мне ответить?

— Передай привет, — сказала Снайфридур.

— И только?

— Передай нашей матери, что я замужняя женщина, дом мой в Брайдратунге и на запад я не поеду. Но если того хочет отец, я приеду к нему двенадцатого июня в Тингведлир на Эхсарау.

В тот же день она сняла с пялец свое рукоделье, сложила одеяла и упаковала привезенные осенью драгоценности. Она управилась как раз к тому моменту, когда супруга епископа кончила писать письма.

— Ну, что же, сестра, — сказала ей Снайфридур. — Мое пребывание у тебя пришло к концу. Спасибо за все. Ты — гостеприимная женщина. Поцелуй от меня епископа и передай ему, что из-за меня его не призовут к ответу. Думаю, что ты одолжишь мне лошадей и провожатых для недолгого пути домой через Тунгу.

Глава шестнадцатая

Давно уже дома в Брайдратунге не были в таком хорошем состоянии. Всю зиму Магнус вместе

с подручным чинил деревянные строения, а как только наступила весна и земля оттаяла, он нанял второго подручного, чтобы возвести сплошную ограду вокруг усадьбы. Теперь оставалось только привести в порядок главный вход. Внезапно работающие заметили нескольких человек, ехавших со стороны скаулькольтского парома. Магнус, у которого было хорошее зрение, тотчас узнал приезжих. Он спрыгнул с ограды, где укладывал торфяные плиты, вошел в дом, поспешно умылся, надел свежую рубашку и чистые штаны, пригладил волосы и вышел.

Его жена уже въезжала во двор.

— Добро пожаловать, моя Снайфридур, — сказал он, снимая ее с лошади и целуя. Затем он проводил ее в дом. В ее комнате наверху все было в том же виде, как она оставила, но крыша была покрыта заново и стены, через которые осенью просачивалась дождевая вода, починены. В окно была вставлена новая рама, и в комнате пахло свежеструганым деревом. Пол был чисто выскоблен. Она приподняла покрывало. Там лежали белоснежные льняные простыни со свежими складками. Полог у кровати был выветрен и вычищен, так что яснее проступили вытканные на нем фигуры. Ларь был заново окрашен, и розы на

нем ярко горели. Снайфридур поцеловала свою экономку Гудридур.

— Моя госпожа еще не приказывала мне, чтобы я перестала убирать комнату, — сказала она с достоинством.

Хозяйка велела принести наверх вещи, открыла ларь и поставец и сложила туда серебро, прочие драгоценности, рукоделье и платья. В тот же день она установила свой ткацкий станок, чтобы соткать покров на алтарь для соборной церкви в знак благочестивой благодарности от женщины, покинувшей свой очаг, гостившей в Скаульхольте, но вернувшейся домой.

Никто не умел так глубоко раскаиваться, как Магнус Сигурдссон, и никто не понимал лучше раскаяния других. Он ни единым словом не обмолвился о происшедшем. Никто из них не просил прощения у другого. Можно было подумать, что ничего и не случилось. Много часов он проводил в ее комнате, не говоря ни слова и не сводя с нее пристального боязливого взгляда. Он походил на ребенка, который упал в лужу и был за это наказан, но давно уже перестал плакать и сидел теперь тихий и присмиревший. Через несколько дней после возвращения домой она послала слугу сказать господину Вигфусу Тоура-

ринссону, что хотела бы переговорить с ним. И вскоре сей испытанный друг знатных дам уже стоял в дверях ее комнаты, являя свое вытянутое лицо с толстой верхней губой, седой щетиной, пробивавшейся кое-где на подбородке, и черными густыми бровями над светло-серыми, вечно слезящимися глазами. Он почтительно поцеловал хозяйку, и она спросила его, что нового.

— Я привел коня обратно, — сказал он.

— Какого коня?

Он ответил, что не сведущ в том, что полагается дарить знатным дамам, но ее бабки никогда не считали зазорным для себя принять в подарок от доброго друга верховую лошадь. Тут она вспомнила о лошади, которую он некогда оставил привязанной к камню во дворе, и поблагодарила его за подарок, сказав, однако, что, насколько ей известно, эту лошадь зарезали и скормили бродягам, так как время было тяжелое. Он ответил, что эта лошадь — с запада, с Брейдафьорда. В прошлом году она убежала из Брайдратунги, а затем ее вновь привели к нему, так как люди не знали, что он ее подарил. Всю зиму он кормил коня вместе со своими верховыми лошадьми, и, может быть, теперь, весной, он ей пригодится.

Она ответила, что бедной женщине отрадно

иметь такого рыцаря, но теперь она не хочет больше говорить о лошадях и полагает, что ей пора изложить свое дело.

Сначала она вспомнила счастливый день, выпавший на долю ее мужа, благодаря зятю Вигфуса Йоуну из Ватну, который не только купил Брайдратунгу, но даже заплатил наличными деньгами. Другие же выманили у Магнуса все имущество, спаивая его водкой, обыгрывая в кости и прибегая ко всяким другим мошенническим проделкам, на которые так легко поймать беззащитных людей. Остальное ей незачем рассказывать судье, он сам лучше знает, как он и ее отец договорились на альтинге насчет усадьбы. Ей лично известно одно: усадьба была законным порядком передана ей по дарственной ее отцом, и бумаги, удостоверяющие это, находятся у нее. Осенью произошли известные всем события — она покинула своего мужа, втайне решив не возвращаться до тех пор, пока она не убедится, что Магнус оставил привычки, делавшие совместную жизнь с ним такой тяжелой. Она провела в Скаульхольте больше шести месяцев и получила достоверные вести, что за все это время Магнус ни разу не запил, и поэтому она вернулась, решив вновь связать порванные нити

в надежде, что ее муж начал новую жизнь. Поэтому она просит судью расторгнуть прошлогоднее соглашение, в силу которого усадьба, отцовское наследие и аллод[162] Магнуса Сигурдссона, стала ее собственностью. Теперь она предпочитает, чтобы усадьба была отдана в полное распоряжение ее мужу, как это принято в отношении всякого имущества, принадлежащего супругам, если только на этот счет не имеется каких-либо других письменных соглашений.

Господин Вигфус Тоурариссон недовольно прикрыл глаза и, слегка раскачиваясь, погладил костлявыми руками подбородок.

— Должен сказать, моя милая, — вымолвил он наконец, — что хотя судья Эйдалин и я не всегда имели счастье придерживаться одного мнения на альтинге, все же я не составляю исключения среди чиновников, питающих неизменное почтение к нашему доброму другу и начальнику, который двадцать лет назад, будучи обедневшим чиновником бедной округи, вступил на должность судьи. Ныне же он принадлежит к богатейшим людям страны, ибо он приобрел

[162] Примечания: 162

Аллод — право свободных бондов (крестьян) владеть своей землей, составляющей их наследственную собственность, свободную от ленных повинностей. *(Прим. Л. Г.).*

несколько хуторов у казны на таких выгодных условиях, какие выпадают не каждому исландцу, если он не епископ. И поскольку вы оказали мне честь пригласить к себе на беседу, я хотел бы дать вам хороший совет: поговорите с вашим превосходным высокоученым отцом, прежде чем отменять решение, принятое им летом касательно этой усадьбы.

Она ответила, что не хочет обращаться с этим делом к отцу, к тому же она уже давно не ребенок. Кроме того, отец ее прошлым летом занялся этим делом лишь потому, что его упрекали, что он уже пятнадцать лет не отдает дочери ее приданого.

Тогда окружной судья спросил, важно ли уладить это дело до того, как снова соберется альтинг…

Она сказала, что это очень важно.

Тут Вигфус Тоурариссон затянул старую песню:

— Над страной нависла опасность. В Дании вспыхнула эпидемия оспы, власть знатных людей свергнута, а монархию охраняют надменные выскочки, которые благодаря этому имеют большое влияние на короля. Здесь же, в Исландии, слугам приходится плясать под дудку хозяина.

«Расколото небо»[163], как говорится в древней песни; дело дошло до того, что никто не знает, что ждет страну. Дух времени сказывается в том, что теперь высокопоставленных лиц будут отдавать под суд, а всякого, кто заденет королевского посла хоть пальцем, лишат жизни и чести.

Вигфус сказал далее, что сейчас поднято одно такое дело об оскорблении королевского посла, который требует, чтобы решение по нему было вынесено незамедлительно, теперь же. Все же, заявил он, добродетель его приятельницы, дочери судьи, столь велика, что обвинение, зачитанное по просьбе ее супруга в скаульхольтской церкви никогда не будет доказано. И поэтому с хозяина Брайдратунги взыщут большой штраф за клевету на высокопоставленную особу.

Тогда Снайфридур сказала:

— В этом-то и суть, мой дорогой судья. Поэтому я и прошу тотчас расторгнуть эту сделку, пока

---

[163] Примечания: 163

«Расколото небо» — слова из мифологической песни «Прорицание вёльвы»:

...рушатся горы,
мрут великанши;
в Хель идут люди,
расколото небо.

(«Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах». М., 1975, с. 188). *(Прим. Л. Г.).*

дело о клевете, возбужденное против него, еще не рассматривается не только на альтинге, но и здесь в округе, перед вашим судейским креслом. Я хочу, чтобы в тот день, когда моего мужа заставят отвечать имуществом за свои слова, он мог бы держать речь как мужчина, а не как нищий.

Он ответил, что все будет так, как она хочет. Он намерен, однако, снова забрать с собой на некоторое время ее коня, чтобы подкормить его, пока он не подрастет. После этого они позвали наверх Магнуса Сигурдссона и в присутствии свидетелей снова передали ему в законное владение Брайдратунгу. Затем судья поцеловал Снайфридур на прощанье и отправился восвояси.

В Исландии была весна, то самое время между выгоном скота на пастбища и сенокосом, когда животные часто погибают от голода. Бродяги вновь потянулись на восток. Первых из них уже нашли мертвыми в Ландейясандуре. Это были мужчина и женщина, заблудившиеся в тумане. Птицы указали путь к их трупам.

Хозяин Брайдратунги каждое утро поднимался чуть свет и будил своих людей. Он заставлял их свозить плоские камни. Весь путь через двор до главного входа он собирался вымостить каменными плитами. Он уже разобрал почти целиком

сени, и теперь в дом можно было проникнуть лишь через отверстие в кухне, через которое подавали торф, плитки кизяка и сбрасывали золу.

Однажды утром, когда он с самой зари трудился не покладая рук, ему вдруг захотелось посмотреть на лошадей и он тотчас приказал привести их. Он нашел, что они отощали и вряд ли в состоянии таскать вьюки, и приказал подковать двух из них, а затем пустить их пастись на луг и поить молоком.

Экономка сообщила хозяйке об этом странном решении.

— Что-нибудь слышно о прибытии кораблей? — спросила Снайфридур. Действительно, оказалось, что, по слухам, в Кефлавик прибыл корабль, а значит, и датская водка.

— Что сказала бы благословенная мадам, узнав, что та капля молока, которую я сберегла, чтобы поддержать силы людей, достанется лошадям? — сказала домоправительница.

— Владелец Брайдратунги — человек знатного происхождения, и ему не подобает иметь тощих лошадей, — ответила Снайфридур.

Итак, лошадей стали поить молоком.

Вечером юнкер пожаловался в присутствии жены, что какой-то негодяй стащил у него кусок

меди, который он хранил в кузнице. Из этой меди он хотел сделать кольцо для новой двери. Теперь он вынужден поехать на юг в Эльвес к одному знакомому, у которого есть медь, чтобы тот помог ему в беде.

— Скоро минет шестнадцать лет, как мы живем здесь, и до сих пор мы прекрасно обходились даже без железного кольца на двери, не говоря уже о медном.

— Мне хорошо известно, что ты и без этого умеешь уходить из дома.

— А ты — входить в дом, — сказала она.

На следующий день он подстриг гривы и холки своим лошадям и вычистил их скребницей. Он все время находил, что каменные плиты уложены недостаточно хорошо, и все снова и снова приказывал выкапывать их из земли. Людям он велел лазить через отверстие в кухонной стене. Экономка заявила, что только на юге знатные люди имеют обычай пробираться в дом через дыру. Юнкер возразил, что, если она имеет в виду себя, это не так уж важно. Он не станет жалеть ее и ей подобных из-за того, что им приходится лазить через дыры в стенах.

Вечером он дважды прокатился верхом, и можно было слышать, как он мурлычет во дворе

какую-то песню. Небо было багровое. На следующий день он уехал. В сенях еще лежали кучи земли, сорванную крышу так и не покрыли заново торфом, входной двери не было совсем. В куче стружек валялись молоток и топор.

Глава семнадцатая

К вечеру с юга надвинулась гроза и полил дождь. Дождь шел всю ночь и весь следующий день. Вход в дом превратился в сплошное грязное месиво, так что люди не могли им пользоваться. Только ветер и вода беспрепятственно проникали внутрь. Потом погода прояснилась.

Прошло несколько дней, и в усадьбу приехал на черном сытом коне какой-то гость. Он попросил разрешения поговорить с хозяйкой дома. Узнав, кто прибыл, она передала, что не совсем здорова и не может принимать гостей, но распорядилась подать пастору кислого молока. Он ответил, что приехал не для развлечения и что, если хозяйка не может встать, он охотно подымется к ней в комнату. На это она сказала, что лучше всего будет протащить пастора через дыру в кухне, а затем провести в комнату с панелями. Она еще долго сидела за ткацким станком. Когда она

наконец спустилась к нему, на ней был плащ, расшитый по низу и на обшлагах золотом, а под ним виднелся золотой пояс.

Молоко стояло нетронутое перед гостем на столе, куда его поставила служанка. Когда Снайфридур вошла, он поднялся и поклонился.

— Рад убедиться, что подруга моего детства чувствует себя не так уж плохо, — сказал пастор.

Она поздоровалась с ним и выразила сожаление, что его нельзя было впустить через парадную дверь. Если бы она знала, что пастор навестит ее, она велела бы убрать мусор из сеней. Но он приехал раньше, чем она ожидала. Затем она пригласила его сесть. Он чуть согнулся и кашлянул. Глаза его блуждали по комнате, но не поднимались выше пола и колен. Наконец взгляд его остановился на кувшине, стоявшем перед ним на столе.

— Не прикажете ли убрать это молоко? — попросил он.

Она тотчас взяла кувшин и выплеснула молоко через дверь.

Он продолжал сидеть и озираться.

Она присела.

— Гм, — произнес он. — Мне казалось, что я знаю, с чего начать. Однако сейчас я не нахожу

слов… Когда видишь вас, невольно забываешь, что хотел сказать.

— Очевидно, ничего важного.

— Как раз важное, — возразил он.

— Ну, не беда, если вы забыли, с чего начать. Я плохо понимаю предисловия. Чего вы хотите?

— Мне очень тяжело, — сказал он. — Но я здесь, и поэтому я должен говорить.

— Очень остроумно, — заметила Снайфридур. — Sum, ergo loquor[164].

— Не стоит издеваться надо мной, даже если я и заслужил это. Вы же знаете, что ваш ледяной тон обезоруживает меня. Я решился приехать к вам после долгих бессонных ночей.

— По ночам следует спать.

— Я должен извиниться перед вами, — пробормотал он, — за то письмо, которое я согласился зачитать в церкви перед пастором. Однако я не поступил опрометчиво. Я долго беседовал с богом, который, видимо, лишил вас своей милости, но одарил красотой, возвеличивающей нашу несчастную страну.

Она молча смотрела на него отсутствующим взглядом, как смотрят на жука, беспомощно ба-

---

[164] Примечания: 164

Я существую, значит, я говорю *(лат.)*.

рахтающегося на спине.

Вскоре он вновь собрался с духом, но избегал смотреть в ее сторону, чтобы не забыть, что хотел сказать.

Он должен ее заверить в том, начал он, что все, что он говорил прошлой зимой об искусителе и об отношении к нему женщин, было сказано совсем не в укор ей. Слова эти были вызваны глубокой печалью или, вернее, горечью, которую он испытывает при мысли о том, что она, Солнце Исландии, забавы ради подвергает опасности свою душу, столь близко соприкасаясь с грехом. Но, несмотря на всю печаль и горечь, испытываемые им, он твердо уверен, что она не сделала в Скаульхольте ничего такого, что могло бы обесчестить благородную женщину и чего господь не мог бы простить в своем неизреченном милосердии, особенно когда человек исполнен веры и раскаяния. Затем он снова вернулся к письму.

— Итак, — сказал он, — вы считаете, что ваш духовник вмешался в это дело по злобе, тогда как в действительности им двигала лишь забота о вашей прекрасной душе. Но если даже ему суждено оставить всякую надежду вернуть ваше благоволение, он, уповая на бога, готов заплатить и эту цену, лишь бы очистить от греха вашу душу,

которая ему дороже любой другой, что бы ни случилось после оглашения письма.

По его словам, дальнейшие события подтвердили его правоту, но она всегда избегала его наставлений. В качестве примера он привел недавнее посягательство на честь Исландии — жалобу на мудрых богоугодных мужей, наших правителей.

Здесь он почувствовал себя увереннее и повел речь о том, что будет со страной, откуда изгоняют христианских властителей, державших в узде чернь, все помыслы которой обращены на удовлетворение своих порочных наклонностей и которая только и ждет случая, чтобы возвыситься с помощью противозаконных деяний и уничтожения добрых нравов. Он доказал ссылками на doctoribus et autoribus[165], что на тысячу человек найдется только один, чью душу стоило бы спасти, и то лишь если на то будет милость господня. При этом он сослался на греков и римлян, указав, каким ужасающим способом у них утвердилась власть черни. Отсюда ясно, заметил он, что станется с нашим несчастным народом, если верх возьмут воры, убийцы и нищие, а благочестивые

---

[165] Примечания: 165
Ученых мужей и авторов *(лат.)*.

правители будут обездолены и лишены имущества, чести и доброго имени. Всякий раз, когда чернь поднимается против своих господ, это дело рук посланца дьявола: он старается ввести в заблуждение простаков и строит козни против короля. Никто не отнимает у Арнаса Арнэуса его дарований, тем не менее прибытие его сюда есть зло. Он хочет сровнять с землей свою несчастную родину и не брезгует никакими средствами. Сперва он лишил страну всех памятников золотого века, выманив у бедных ученых их драгоценные рукописи — наше величайшее сокровище — за деньги или за подарки, но в большинстве случаев за жалкую подачку — какой-нибудь старый плащ или негодный парик. Он увез их с собой или велел прислать в Копенгаген. Но ныне настала очередь древних законов наших отцов, и вот злой дух вновь появился, на сей раз в роли судьи, какого еще не видывали в нашей стране. К тому же он запасся грамотами, в подлинности которых никто не смеет усомниться. Он вправе назначать судебных заседателей, как ему заблагорассудится, и по собственному разумению выносить приговоры. Чиновники будут смещены, высокопоставленные особы лишатся своего достояния, доброго имени и чести, уже вынесен-

ные приговоры будут отменены, а преступники и всякий сброд возвысятся. Ныне уже ясно, кто первый будет повергнут в прах к ногам черни.

— Я бы очень обманулась в своих ожиданиях, — сказала она, — если бы мой отец стал тревожиться из-за того, что король прислал человека проверить, как чиновники отправляют свою должность. Он с честью выйдет из этого испытания, если даже обнаружится какой-нибудь незначительный промах, — это может случиться с каждым, и после стольких лет службы это никому нельзя поставить в укор.

— Через несколько недель ваш отец лишится чести и состояния, — произнес дрожащими губами пастор, бросив быстрый взгляд на Снайфридур.

Наступило молчание. Лицо у него непрерывно дергалось.

— Чего вы от меня хотите? — спросила она.

— Я первый претендент на вашу руку, если не считать одного человека.

— Я вернулась к своему мужу, Магнусу.

— Магнус Сигурдссон уже осужден окружным судьей за свое письмо. Он обесчещенный человек. Его имущество отойдет в казну вместе с этой усадьбой, которую вы ему подарили.

— Хорошо, что у него есть что отдавать.

— Вчера ко мне явился посланный из Флоя. Он просил меня позаботиться о том, чтобы с Магнуса Сигурдссона взыскали мзду за его проделки во Флое, где он провел минувшую ночь. Я не первый раз выступаю посредником в такого рода делах, и все это ради особы, которая считает меня ничтожнейшим из людей.

— Ради меня?

— Ради вас добрые люди иногда платили выкуп жалким крестьянам, дабы такие дела не получали огласки. Вполне вероятно, однако, что подобную снисходительность отнесут к тем ненужным благодеяниям, которые с точки зрения философии равнозначны греху. — Здесь пастор сообщил супруге Магнуса, что прошлой ночью ее муж ворвался в крестьянскую хижину, согнал хозяина с постели и согрешил с его женой.

Снайфридур улыбнулась и сказала, что деньги, уплаченные за то, чтобы утаить от нее хорошие вести, истрачены впустую. Ее муж Магнус всегда был галантным кавалером.

— Я горжусь, — сказала она, — что мой муж после всей водки, выпитой им за тридцать лет, еще в состоянии грешить с женщинами.

Пастор неподвижно уставился в угол, словно

он и не слышал этого легкомысленного ответа.

— Дорогой пастор Сигурдур, почему вы никогда не улыбаетесь?

— Этот так называемый брак — бельмо на глазу у многих достойных людей нашей страны — давно пора расторгнуть по милости господней и с одобрения церкви.

— Не понимаю, что от этого изменится. В глазах народа я все равно совершила прелюбодеяние, и я не в силах опровергнуть эти сплетни. И мне нисколько не поможет, если я разведусь с обесчещенным мужем, лишившимся всего своего имущества. Искать защиты у моего отца бесполезно, ибо, как вы говорите, ему на склоне лет также придется пойти по миру, подобно какому-нибудь обесчещенному человеку, о котором идет худая слава.

— Зимними ночами, часто в метель и стужу, я в волнении простаивал под вашими окнами. Я предлагаю вам все свое состояние и жизнь. Если вы хотите, я отдам все до последней пяди земли, чтобы восстановить честь вашего отца.

— А что скажет тот продырявленный тролль, которого вы хотели сделать моим судьей?

Ее богохульство, видимо, уже не трогало его.

— Бессмертный проповедник учения нашего

Спасителя пастор Хатльгрим Пьетурссон был женат на язычнице. Мне будет не хуже, чем ему.

— А как отнесутся к этому высшие церковные власти, которые смотрят на это строже, чем распятый на кресте? — спросила она. — Как долго будут терпеть пастора, который женится на женщине, сбежавшей от своего мужа и к тому же обвиняемой в прелюбодеянии?

— Могу я сказать вам по секрету два слова?

— Если хотите.

— Я приехал сюда с согласия человека, который, после вашего отца, лучше всех олицетворяет нашу честь. В надежные руки этого высокопоставленного лица и вы и я можем спокойно вверить нашу судьбу.

— Вы имеете в виду епископа?

— Да, мужа вашей сестры.

Снайфридур холодно рассмеялась.

— Отправляйтесь-ка к своему троллю, пастор Сигурдур. Нам с сестрой Йорун лучше говорить без посредников.

Через несколько дней юнкера доставили домой на носилках, привязанных к двум лошадям. Он был весь покрыт запекшейся кровью и явно получил какие-то внутренние повреждения. Во всяком случае, у него были сломаны ребра. Он

не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой и был не в состоянии говорить. Его втащили в дом через отверстие в кухне и уложили в постель в его комнате.

Вид у него был ужасный.

Когда к нему вернулись сознание и речь, он первым делом справился о жене. Ему ответили, что она больна. Тогда он попросил отнести его к ней, но в ответ услышал, что она приказала приделать к двери задвижку.

— Это неважно, — возразил он. — Она все же откроет.

Однако, узнав, что Гудридур не отходит от нее ни днем ни ночью, он призадумался. Он поинтересовался, чем больна его жена, и ему ответили, что неделю тому назад она сошла вниз в нарядном платье, чтобы принять гостя. Она беседовала с ним некоторое время и простилась в хорошем настроении. С тех пор она не показывалась. Она не выносит дневного света и щебетания птиц, которые в эту пору года не замолкают ни на минуту. Поэтому она велела завесить окна черной шерстяной тканью.

Глава восемнадцатая

Возле Альманнагья по обе стороны скалы стоят две старые палатки, очень грязные и продранные во многих местах. Тем не менее на них красуется корона — печать нашего всемилостивейшего короля. В одной из палаток, поставленной возле ущелья, в котором жгут приговоренных к костру, ютятся мужчины, а в другой — той, что стоит на берегу пруда, куда бросают приговоренных к потоплению, — женщины, имевшие внебрачных детей.

Некоторых из обитателей палаток вызвали на суд в Тингведлир в качестве свидетелей, но в большинстве — это всё осужденные преступники, подвергшиеся телесным наказаниям, одни недавно, другие уже порядочно времени тому назад. Здесь можно видеть клейменых, наказанных плетьми, людей с отрубленными руками. На сей раз они вызваны сюда чрезвычайным королевским эмиссаром для пересмотра их дел.

Они ждут, когда повар из Бессастадира раздаст им казенную похлебку.

— Мне сдается, что эта компания сильно встревожена, хотя с ними собираются наконец

поступить по справедливости, — говорит один из мужчин. — Удивительно, что никто даже не читает стихов.

Большинство этих людей — в лохмотьях: ноги у них босые или обернуты тряпками, лица заросли щетиной. Надетое на них тряпье подвязано обрывками веревки или грубой шерстяной пряжи. Те из них, у кого сохранились руки, держат вместо посоха обломки грабель. Встречаются здесь и люди, имеющие собственных коров. Это — недовольные, которых власти когда-то незаслуженно обидели и которые с той поры не могут забыть об этом ни днем ни ночью. Они не переставая ноют, сетуют на свою судьбу и ссорятся. Один из их числа даже почувствовал себя восстановленным в правах и заявил:

— Я с них потребую, пусть мне заплатят за все то время, что я проторчу здесь вместо того, чтобы пахать свою землю.

По словам другого, не стоило ездить в Тингведлир, если его окружного судью не накажут плетьми у позорного столба.

Нищенствующий монах, которого заклеймили за то, что он вскрыл кружку для подаяний, сказал:

— А мне думается, те, кто предъявляет такие

требования, просто не сочувствуют людям, которые были сожжены в этом ущелье, повешены на скале Виселицы или брошены в пруд, — потому ли, что не смогли опровергнуть несправедливого обвинения, или же потому, что им явился в образе пса сам сатана и дал показания против них. Разве нам хуже, чем им? Почему этого не случилось со мной и с тобой?

Здесь поднял свой голос Йоун Хреггвидссон, сидевший у входа в палатку. Борода у него уже поседела. На нем были выпачканные глиной сапоги из сыромятной кожи и толстая куртка из грубой шерсти, весь он был покрыт конским волосом и подпоясан веревкой.

— Однажды меня вели с запада на восток, через пустошь, вместе с человеком по имени Йоун Теофилуссон. Против него свидетельствовал дьявол, и поэтому Йоуна сожгли. Должен сказать, однако, что молодчик, который способен всю ночь провозиться на крыше с флюгером, в то время как его девчонка спит внизу с другим, не заслуживает ничего лучшего. Я не раз говорил ему в тюрьме: «Тебя наверняка сожгут, мой бедный Йоун».

— Многие полагают также, что если бы тебе в свое время отрубили голову, Йоун Хреггвидссон, страна не оделась бы в траур, — вмешался вор с

отрубленными руками.

— Почему меня не казнили? Почему меня не повесили? Я был нисколько не лучше тех, других, — промолвил монах, укравший деньги из кружки.

Тут взял слово человек с тонким голосом, которого едва не казнили за кровосмешение.

— Все знают, что мою сестру утопили, а мне, по милости божьей, удалось бежать к разбойникам, на другой конец страны, где я и жил под чужим именем. Первым делом я пошел к окружному судье, выдал ему разбойников. Их схватили и побили камнями. Меня, конечно, в конце концов опознали, и в течение десяти лет всем было известно, что я за человек. И все эти десять лет я ходил из дома в дом и каялся и все давно считали меня преступником перед богом и людьми. А теперь, спустя десять лет, выяснилось, что ребенка произвела на свет совсем другая пара, а мою сестру утопили за то, что она якобы прижила его со мной. Кем же я был все эти десять лет? И что станется со мной теперь? Разве теперь кто-нибудь подаст мне милостыню? Пожалеет ли кто меня? Нет! Вся Исландия будет смеяться надо мной. Мне не швырнут даже завалящего рыбьего хвоста. На меня станут натравливать собак. Господи, зачем

ты отнял у меня это преступление?

— В детстве меня учили почитать знатных, — сказал со слезами в голосе старый бродяга. — А теперь вот, на склоне лет, я вижу, как четырех добрых начальников, которые наказывали меня плетьми, волокут на суд. А если никто не будет сечь нас, кого же нам тогда почитать?

— Бога, — произнес кто-то.

— Мне кое-что пришло в голову, — промолвил слепой преступник. — Что хотел сказать пастор Оулавюр из Сандара, который в своих чудесных стихах просит Иисуса Христа быть опорой властей?

— Я и не подумаю одинаково уважать всех представителей власти, — возразил человек с отрубленными руками. — В Рангведлире меня наказали плетьми за то, за что мне перед тем на южном берегу отрубили руки.

— Значит ли это, — продолжал слепец, — что он просит Спасителя поддерживать лишь тех представителей власти, которые довольствуются тем, что наказывают людей плетьми, а не отрубают им руки? Думается мне, однако, что этот славный человек в своих чудесных стихах не делает ни для кого исключения. Он просит Спасителя поддержать равно всех представителей власти: тех, кто

отрубает руки, не в меньшей степени, чем тех, кто приговаривает лишь к наказанию плетьми.

— Пусть твой пастор Оулавюр из Сандара жрет собственное дерьмо, — отозвался один из мужчин.

— Пастор Оулавюр из Сандара может жрать что угодно, — возразил слепой преступник, — но я слыхал, что когда учитель Брюньольв слишком одряхлел, чтобы понимать по-гречески и по-древнееврейски, забыл всю свою диалектику и астрологию и не мог даже просклонять слово mensa[166], он все же читал те стихи пастора Оулавюра из Сандара, которым мать учила его еще в колыбели.

— Кто полагается на власти, тот не мужчина, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Я бежал в Голландию.

— Наш король справедлив, — заметил старый бродяга, которого много раз наказывали плетьми.

— Чего человек не найдет у себя, того он не найдет нигде, — возразил Йоун Хреггвидссон. — Мне довелось побывать и у немцев.

— Блажен муж, иже принял свое наказание, —

---

[166] Примечания: 166
Стол *(лат.)*.

промолвил старый бродяга.

— Мне наплевать на великих мира сего, если они судят неправедно, — продолжал Йоун Хреггвидссон, — и мне тем более наплевать на них, если они судят праведно, ибо, значит, они трусят. Мне ли не знать нашего короля и его палача? Я сбросил исландский колокол. В Глюкштадте на меня напялили смирительную рубашку. В Копенгагене я уже читал «Отходную». Когда я воротился домой, моя дочь лежала при смерти. Ни за что я не поверю, что великие мира сего могут перенести через ручей невинное дитя, не утопив его.

— Йоун Хреггвидссон — воплощенный дьявол, — сказал бродяга, задрожав как осиновый лист. — Господи, будь милосерд ко мне, грешному.

Слепой преступник заявил:

— Не ссорьтесь, добрые братья, в ожидании казенной похлебки. Ведь мы с вами — чернь, ничтожнейшие существа на земле. Будем молиться о ниспослании счастья каждому могущественному человеку, который хочет заступиться за нас, беззащитных. Но правосудия не будет до тех пор, пока мы сами не станем людьми, а до этого пройдут века. Подачки, брошенные нам последним

королем, будут отняты у нас следующим. Но день придет, и в тот день, когда мы станем настоящими людьми, господь сойдет к нам и будет нашим заступником.

Глава девятнадцатая

В тот самый день, когда в Тингведлире на Эхсарау бедные жалобщики ждали раздачи казенной похлебки, хозяйка Брайдратунги поднялась с постели, позвала своих батраков и велела им оседлать лошадей, так как она собиралась уехать. Слуги сказали, что юнкер опять отбыл, а ни одна из оставшихся лошадей не годится под седло.

— Помните того коня, который в прошлом году стоял здесь привязанный к камню? Я еще приказала вам зарезать его.

Они взглянули друг на друга и ухмыльнулись.

— Отправляйтесь в Хьяльмхольт, разыщите эту лошадь на выгоне у судьи и возвращайтесь с нею ко мне.

Они явились с лошадью незадолго до полуночи.

Снайфридур была уже готова к отъезду. Приказав принести седло и надеть его на лошадь, Снайфридур закуталась в широкий шерстяной

плащ с плотным капюшоном, ибо дождь шел не переставая, и велела одному из слуг помочь ей переправиться через реку. Ночью она собиралась ехать дальше одна. Погода была тихая и нехолодная, но моросил частый дождь. Едва только провожатый повернул обратно от широкой реки Бруарау, как лошадь заартачилась. Когда всадница пустила в ход хлыст, лошадь внезапно понесла, и Снайфридур едва не вылетела из седла. Лошадь бесилась довольно долго, и всаднице пришлось собрать все силы, чтобы удержаться в седле. Она судорожно ухватилась за луку седла, пока лошадь в конце концов не вырвала у нее из рук узду и, добежав до пустоши, не остановилась. Всадница била животное хлыстом, но лошадь лишь храпела, а когда ей надоело сносить удары, махнула хвостом и попыталась встать на дыбы. Наконец она снова понесла и вскоре опять принялась за старое: кидалась из стороны в сторону и чуть не сбросила всадницу. Снайфридур спешилась и погладила коня, но это не помогло. Все же всаднице удалось заставить его сдвинуться с места, однако по нраву ему был только галоп, причем время от времени он останавливался как вкопанный. Возможно, что Снайфридур была плохой наездницей. Внезапно перед лощиной, в которую

впадал ручей, лошадь бросилась в сторону и затем прыгнула вниз. Всадница не удержалась в седле и перелетела через голову животного. Не успела она моргнуть, как уже лежала на земле. Она тут же поднялась и стряхнула с себя грязь и ил. Сама она, впрочем, не пострадала. В тумане громко и резко свистел кулик. Лошадь паслась на берегу ручья. Всадница снова, правда не без опаски, взобралась на лошадь, натянула поводья, похлопала животное по крупу и причмокнула. Но все было тщетно. Может быть, Снайфридур не умела обращаться с хлыстом. Одно было ясно: лошадь не двигалась с места. Она, казалось, ни за что не желала продолжать путь в этом направлении: артачилась и вставала на дыбы. Всадница снова спешилась, подошла к краю лощины и, сев на небольшой заросший мхом пригорок, обратилась к лошади:

— Ясно, чего и ждать от скотины, полученной от разбойника в возмещение убытков?

К счастью, никто не видел ее позора. Было раннее утро. Земля спала, но туман понемногу рассеивался. Солнце, видимо, уже взошло. Снайфридур подобрала юбки и двинулась в путь. От тумана пустошь казалась белесой, по-прежнему моросил дождь. Полураспустившаяся листва мо-

лодой березовой поросли так сильно благоухала в теплом влажном воздухе, что почти причиняла боль. Обувь Снайфридур не годилась для такого путешествия, ботинки ее пропускали воду. Юбки ее отяжелели от дождя, а мокрые березовые ветки путались у нее в ногах. Она часто спотыкалась и падала, но всякий раз вставала и брела дальше. На пустоши Блоскуг она промокла до нитки.

Когда она добралась до Эхсарау, было так рано, что даже пьяницы еще спали. И хотя она стояла на самом берегу, журчание холодной реки звучало в утренних сумерках приглушенно, словно издалека. На пастбище виднелось несколько стреноженных лошадей, стоявших с поникшими головами. Лошади спали.

Вокруг здания суда было раскинуто несколько палаток. Над жилищем судьи она увидела навес из парусины. Туда она и направилась. Стены были выложены заново, внутрь вела красивая дверь со створками из корабельных панелей, а к двери вели три ступеньки. Парусиновый навес над домом был двойной. Она постучала. На стук вышел заспанный слуга ее отца, и она попросила его разбудить судью. Старый судья проснулся, и она услышала его хриплый голос: он спрашивал, кто пришел.

— Это я, дорогой отец, — сказала она тихо и прислонилась к косяку двери.

Под парусиновой крышей было сухо, несмотря на дождь. Вместо пола были настланы нестру-ганые доски. Отец полулежал на подушках в кожаном спальном мешке. От подушек пахло сеном — это был благородный запах весной, когда сена ни у кого уже не было и в помине. На нем была ночная рубашка из плотной шерсти, шею он повязал платком. Лицо у старика было синее, а голова совершенно лысая. На лице выделялись слишком большой нос и мохнатые брови. К старости он совсем высох; щеки были изрезаны морщинами, а там, где некогда находился двойной подбородок, свисала складками кожа. Он спокойно взглянул на дочь.

— Что тебе надобно, дитя? — спросил он.

— Я хотела бы поговорить с тобой с глазу на глаз, дорогой отец, — ответила она также тихо, не глядя на него и не отходя от двери, к которой она устало прислонилась.

Он отправил слугу в палатку для челяди, а дочь попросил подождать немного на пороге, пока он оденется. Когда через некоторое время она вошла в комнату, отец уже встал. На нем были сапоги и толстый плащ. Голову украшал парик,

а на безымянном пальце сверкало массивное золотое кольцо. Он взял понюшку из серебряной табакерки. Снайфридур подошла прямо к отцу и поцеловала его.

— Ну, ну, — сказал он.

— Я пришла к тебе, дорогой отец, вот и все.

— Ко мне? — переспросил он.

— Да, ведь человеку нужна опора, иначе он погибает.

— Ты всегда была своевольным ребенком.

— Дорогой отец, разреши мне помочь тебе.

— Дорогое мое дитя, ведь ты уже не ребенок.

— Я была больна, дорогой отец.

— Я слыхал об этом, но вижу, что ты поправилась.

— Как-то весной, отец, мои глаза застлала непроглядная тьма. Она окутала меня со всех сторон. Я потеряла силы и едва не умерла. Я не видела ничего, кроме тьмы. И все же я не умерла. Как это могло случиться, дорогой отец, что я осталась жива?

— Весной многие простужаются и все же выживают, дитя мое.

— Вчера какой-то голос шепнул мне, что я должна поехать к тебе. Кто-то сказал мне, что сегодня будут оглашены приговоры. И вдруг я

совершенно выздоровела и встала. Дорогой отец, ведь, несмотря на это ужасное несчастье, наш род все же чего-то стоит? Не так ли?

— Разумеется, стоит, — сказал он. — Мои предки были превосходные люди. Твоя мать, благодарение господу, еще более знатного рода.

— Им не удалось согнуть нас, мы еще стоим на ногах, мы — настоящие люди. Или, быть может, это не так, дорогой отец? Если на мне лежит какой-то долг, то это долг по отношению к тебе.

— Ты была тяжким испытанием для своей матери, дитя.

— Теперь я собираюсь поехать к ней вместе с тобой, как она и просила меня.

Он отвел глаза.

— Дорогой отец, — продолжала она, — надеюсь, что судебное решение еще не вынесено.

Ему неизвестно, ответил он, что она подразумевает под судебным решением, ибо настало такое время, когда никто в этой несчастной стране уже не понимает, что такое право. Он сам не знает, как назвать этот балаган, который здесь затеяли. Затем он спросил ее, как это ей взбрело на ум передать Брайдратунгу Магнусу Сигурдссону после того, как всем стало известно, что ложные обвинения против нее окончательно погубили

его; вместо этого она должна была бы развестись с ним по всем правилам закона.

— Ты ведь знала, что здесь угрожают лишить имени и имущества людей, которые были куда осторожнее Магнуса и у которых было меньше недоразумений с новым начальством. — Затем он рассказал ей, что для вынесения приговора по этому делу назначены временно исполняющий обязанности судьи и еще два чиновника, ибо Арнэус требует, чтобы нанесенное ему оскорбление рассматривалось не только окружным судом, но и альтингом. До этого он не приступит к своим обязанностям.

— Дорогой отец, — спросила она, — какое наказание грозило бы мне, если бы обвинение Магнуса подтвердилось?

— Если женатый человек согрешит с замужней женщиной, — ответил он, — это карается лишением доброго имени и чести и с обеих взыскивают большой штраф в пользу короля. Если же у них нет денег, их наказывают плетьми.

— Ты разрешишь мне, дорогой отец, сказать на суде несколько слов?

— Тут слова не помогут. Что ты задумала?

— Я хочу так запутать дело, чтобы суд распустили и назначили новых судей, а тем временем

честные люди успели бы послать к королю надежного гонца. Может быть, если того человека снимут, на его место не сразу найдется другой, который решится выдвинуть против тебя обвинение и лишить чести.

— Не пойму, о чем ты грезишь, дитя мое.

— Я намерена просить слова и потребовать, чтобы меня выслушали как свидетельницу по делу Магнуса. Я хочу признать на суде, что Магнус сказал правду в своем письме, зачитанном в скаульхольтской церкви.

— Ужасно слышать такие вещи, — сказал судья Эйдалин. — Твоя сестра и ее муж епископ написали твоей матери, что эти обвинения — грубейшая ложь, да это и так каждому ясно. Да и кто подтвердит такое показание?

— Я попрошу, чтобы мне разрешили дать клятву.

— Я полагаю, что честь моя не выиграет, если, спасая ее от когтей врагов, я приплету к этим юридическим кляузам репутацию моей дочери. Тем более что клятва, которую ты хочешь принести во вред Арнэусу, будет ложной.

— Это дело не твое личное, а всей нашей родины. Если с вами, теми немногими, кто не пал духом в годину бедствий, станут обращаться как

с какими-то отщепенцами, если род наш повергнут в прах, если в Исландии не будет больше настоящих людей, то скажи, зачем тогда были все эти страдания на протяжении многих веков?

— Плохо ты знаешь своего отца, если воображаешь, будто в моих правилах прибегать к лжесвидетельству, чтобы выиграть дело. Мне страшно слышать, что мое дитя предлагает мне такую помощь, которой не принял бы последний из негодяев. Разумным мужчинам не понять, до чего может додуматься несчастная женщина. Я охотно признаю, что по своему несовершенству допускал подчас ошибки. Но я христианин, а христианин выше всего ставит спасение своей души. Если кто-либо, с ведома другого лица, приносит в его пользу ложную клятву, оба навсегда лишаются вечного блаженства.

— Даже если они своим преступлением могут спасти честь родины?

— Да, даже если бы им так казалось.

— Ты когда-то учил меня, дорогой отец, что такая скрупулезность называется arts casuistica[167]. К черту такое искусство!

Голос его звучал холодно и хрипло:

---

[167] Примечания: 167
Искусством казуистики *(лат.)*.

— Я рассматриваю твои слова как плод фантазии жалкого существа, которое по собственной вине упустило свое счастье и поэтому не в состоянии уже отличать позорное от честного и которым движет лишь desperatio vitae[168]. Покончим с такими речами, дорогое дитя. Но раз уж ты прибыла сюда — одному богу ведомо зачем, — то я позову своих людей, велю им развести огонь и приготовить нам чай, ибо утро уже настало.

— Дорогой отец, — взмолилась она. — Подожди, не зови никого. Я еще не все сказала тебе. Я еще не сказала тебе правды, а теперь я это сделаю. Мне не придется лжесвидетельствовать. Всю ту зиму, что я провела в Скаульхольте, я состояла в преступной связи с Арнэусом. Я приходила к нему по ночам. — Она говорила медленно и глухо, съежившись у двери и не поднимая глаз.

Он откашлялся и пробормотал еще более хрипло:

— Такое показание не имеет силы в суде, и тебе не разрешат принести клятву. Женатые люди часто лгут в подобных случаях, чтобы добиться развода. Тут нужны свидетели.

— Весной, — продолжала она, — с ведома мо-

---

[168] Примечания: 168
Отчаяние *(лат.)*.

ей сестры и зятя, ко мне явился человек, чтобы поговорить со мной об этом деле. Это была высокопоставленная особа — тот самый человек, который потом зачитал в церкви обвинение против меня. Я бы не удивилась, узнав, что он сам писал это письмо, не без ведома и одобрения моей сестры Йорун. Во всяком случае, пастор Сигурдур Свейнссон слишком умный человек, чтобы согласиться прочитать в святом месте документ, не имея на то веских оснований, и он знал, что делал. Однажды ночью он чуть не поймал меня на месте преступления. К тому же я еще зимой поняла со слов сестры, что она платила служанкам, чтобы те следили за Арнэусом. Так что этих свидетелей легко представить.

Судья долго молчал, прежде чем ответить. Наконец он сказал:

— Я старый человек и твой отец. В нашем роду подобного еще не слыхивали, но в роду твоей матери было несколько безумных, и если ты не прекратишь эти речи, то тебя, мне думается, придется причислить к ним.

— Аурни не станет опровергать мои показания. Он сложит с себя обязанности судьи.

— Если бы даже Арнас Арнэус был отцом твоего сына и если бы его застали на месте преступле-

ния не только пастор и служанки, но и епископ и супруга епископа, то и тогда такой человек не успокоился бы, пока не добыл бы у князей, императоров и пап свидетельства, что ты прижила ребенка с каким-нибудь бродягой. Я хорошо знаю его род.

— Дорогой отец, — сказала она, взглянув на него, — неужели ты хочешь, чтобы я не раскрывала рта? Разве твоя честь тебе совершенно безразлична? Неужто ты не дорожишь своими шестьюдесятью хуторами?

— По-моему, не столь позорно стоять с поднятой головой средь бела дня перед негодяем, сколь иметь дочь, которая согрешила с этим негодяем во тьме ночной, хотя бы она и наводила на себя поклеп. Ты знаешь, дитя, что, когда ты убежала из дому и вышла замуж на юге за ничтожнейшего человека — хотя твоей руки просил один из самых богатых пасторов, высокоученый версификатор Сигурдур Свейнссон, — я молчал. А когда Магнус пропил свою родовую усадьбу и пустил тебя по миру, я молча откупил ее. Точно так же, когда твоя мать узнала, что он продал тебя за водку датчанам и затем угрожал тебе топором, я запретил ей говорить мне подобные глупости. Даже когда ты вернулась к своему палачу и подарила ему

усадьбу, которую я передал тебе, я ни перед кем не раскрывал уст, а тем более сердца. Нынче, как и вчера, мне придется сносить в Тингведлире на Эхсарау упреки негодяев. Это не страшит меня: пройдет время, и уже никто не будет смеяться над этим. Но после всего того позора, который ты навлекла на мать и на меня, тебе бы следовало умолчать о последнем наитягчайшем позоре, если только ты не хочешь сделать свой род посмешищем на много веков вперед в будущем нашей несчастной страны.

Сидя, он еще производил впечатление сильного человека, но, когда он встал и, взяв палку, вышел, чтобы позвать слуг, стало заметно, как он одряхлел. Он передвигался медленными короткими шагами, сильно волоча ноги, и так согнулся, что плащ его тащился за ним по полу. Он корчил гримасы, чтобы превозмочь подагрические боли, обострившиеся после этой весенней ночи, проведенной в сырой землянке.

Глава двадцатая

Вскоре после того как судья ушел к слугам, его дочь также поднялась и покинула дом. Ночное странствие под дождем утомило ее: она вымокла

до нитки и ее стало знобить. Она торопилась уйти подальше от дома, где остановился ее отец, и не успела оглянуться, как очутилась у Альманнагья, у самого края скалы. Ущелье сомкнулось вокруг нее. Вершина горы терялась высоко в тумане. Некоторое время она ощупью двигалась вдоль каменной стены. Ноги у нее болели. В глубине ущелья паслись лошади. Шерсть их была взъерошена от дождя, копыта четко отпечатывались на мокрой траве. Где-то совсем рядом, в тумане, слышалось журчанье реки, и вскоре Снайфридур стояла уже на берегу большого пруда, который река образует, вырываясь из ущелья. Это был омут, куда бросали осужденных женщин. Взглянув на холодную бурлящую воду, похожую в этот утренний час на черный бархат, Снайфридур почувствовала, что у нее пересохло во рту.

Вдруг она расслышала сквозь журчанье реки звук ударов и заметила на плоском камне у воды женщину в сером платье, голова и рот которой были замотаны платком. Женщина била деревянной колотушкой по лежавшим на камне чулкам. Снайфридур подошла к ней и поздоровалась.

— Ты здешняя? — спросила она женщину.

— И да и нет, — ответила та. — Меня должны были утопить вот в этом пруду.

— Я слыхала, что иногда здесь отражается луна, — сказала Снайфридур.

Женщина разогнула спину и взглянула на Снайфридур. Она окинула взглядом ее широкий темно-коричневый плащ из добротной шерсти, а подойдя вплотную, приподняла край плаща и увидела, что на Снайфридур нарядное синее платье из заморской ткани и серебряный пояс с длинными подвесками. Ноги ее были обуты в английские сапожки, правда, забрызганные грязью, но, наверное, стоившие не меньше двух-трех соток земли. Затем женщина посмотрела на ее лицо и заглянула в глаза.

— Ты, верно, аульва, — промолвила женщина в сером.

— Я устала, — ответила незнакомка.

Женщина в сером рассказала, что здесь в палатке живут три женщины, все из одного прихода. Одна из них была заклеймена за то, что бежала с вором. Другую должны были утопить: она клялась на Библии, что невинна, а на самом деле была брюхата; третья вытравила плод, но так как было маловероятно, что ребенок родится живым, то ее отправили в Копенгаген и после шести лет исправительных работ освободили, когда наш всемилостивейший король сочетался браком со

своей королевой. Теперь этим женщинам приказали явиться сюда, чтобы послушать, как будут лишать чести ниспосланных богом начальников. Они собирались сегодня же отправиться домой.

— Но раз ты зачем-то пришла к людям и ищешь приюта, — добавила женщина в сером, — войди в нашу палатку.

Женщины в благоговейном молчании рассматривали аульву, и Снайфридур разрешила им коснуться ее. Они наперебой старались услужить ей, ибо доброта к аульвам приносила счастье. Им не терпелось рассказать о себе — желание, столь свойственное простодушным людям в присутствии сверхъестественных существ или знатных людей, — но она слушала их столь же безучастно, как прислушиваются к завываниям ветра, дующего где-то по ту сторону горы. Время от времени по телу ее пробегала дрожь. Женщины спросили, зачем она покинула свой невидимый мир и пришла к ним.

— Я осуждена, — сказала она.

— Обратись к Арнэусу, сестра. Он оправдает тебя, в чем бы ты ни провинилась.

— Ни у аульвов, ни у людей нет такого суда, который мог бы оправдать меня.

— Верно, он есть на небе, — заметила женщина,

вытравившая свой плод и побывавшая в исправительном заведении.

— Нет, даже и на небе его нет, — ответила Снайфридур.

Они молча и с ужасом смотрели на преступницу, которую не мог оправдать ни земной, ни небесный суд.

— Не горюй, — попыталась утешить ее эта женщина. — Счастливы лишь те женщины, которые побывали в гостях у утопленниц в этом пруду.

Женщины собрали себе мха для постелей, а грубые одеяла им выдала казна. Теперь они соорудили постель и для Снайфридур, а так как она промокла до нитки, то они поделились с ней своим платьем. Одна уступила ей кофту, другая юбку, третья — рубашку. Женщина из исправительного заведения сняла с себя платок и повязала ей на голову. У повара из Бессастадира они раздобыли хлеба и чая и угостили ее. Затем они уложили ее, накрыли казенным одеялом и подоткнули мох.

Вскоре она заснула. Ведь этой тяжелой весной она больше всего страдала от того, что не могла забыться и во сне. Но теперь она наконец заснула. Она спала долго, глубоким, спокойным сном.

Когда она наконец проснулась, оказалось, что женщины исчезли со всеми ее вещами. Палатка

была пуста. Она приподнялась и выглянула наружу. Трава давно высохла, небо было ясное, солнце клонилось к западу. Она проспала весь день. Последний раз она видела солнце в прошлом году, но теперь она увидела, как оно сияет над Тингведлиром на Эхсарау, над Скальдбрейдур, над пустошью Блоскуг, над устьем реки, над озером и горой Хенгиль. Кожа под платьем у нее зудела, и, взглянув, она убедилась, что на ней все еще надеты лохмотья трех женщин: серая кофта с белыми костяными пуговицами, без пояса, короткая, рваная и грязная юбка с оборванным подолом и дырявые грубые чулки с надвязанными носками. Башмаки были из сыромятной кожи, потертые и лопнувшие по швам. На голове у нее был серый грубошерстный платок. Короткая юбка едва доходила ей до колен, а рукава еле прикрывали локти. От тряпья на нее пахнуло едким запахом, столь свойственным беднякам, смесью копоти, конины, рыбьего жира и людского пота. Когда же она захотела узнать, отчего так зудит ее тело, оказалось, что вся кожа покраснела и вздулась от укусов вшей…

Вшивая женщина в грязных отрепьях сошла со своего ложа. Она остановилась у реки и напилась из горсти, а затем снова надвинула платок на

лицо. Потом она побрела по направлению к площади альтинга, но не осмелилась приблизиться к самому зданию. Свернув с тропинки, она присела на кочку возле пасшейся неподалеку лошади. Здание верховного суда Исландии совсем обветшало. Торфяные стены кое-где пообвалились, деревянные части сгнили, флюгера сломались. Вся постройка завалилась набок, двери соскочили с петель, в полу зияли щели. И колокола больше не было. Во дворе грызлось несколько собак. Вечернее солнце золотило распускавшийся кустарник.

Наконец в доме зазвонил колокольчик: суд окончился. Сперва из дома вышло трое мужчин в плащах, шляпах с перьями и высоких ботфортах, — один даже при шпаге. Это был ландфугт. Двое других были: помощник судьи и эмиссар нашего всемилостивейшего короля Арнас Арнэус, assessor consistorii, professor philosophiae et antiquitatum Danicarum. Вслед за этими тремя знатными особами шли их писцы и адъютанты. Шествие замыкало несколько вооруженных телохранителей-датчан. Помощник судьи и ландфугт беседовали между собой по-датски, а Арнас Арнэус молча следовал за ними размеренным шагом, с документами под мышкой.

Затем из здания альтинга вышел нетвердыми шагами, поддерживаемый слугой судья Эйдалин. Он превратился в дряхлого старца и, как ребенок, протянул руку человеку, который хотел помочь ему сойти, — вместо того, чтобы взять провожатого под руку. Плащ его волочился по земле.

Затем показалось несколько пожилых чиновников. Они были явно возбуждены и громко бранились. Некоторые были сильно пьяны и спотыкались. Последними появились люди, оправданные судом. Некогда все они были приговорены к тяжким наказаниям и лишь случайно избежали смертной казни. Однако на их лицах не было и признака радости, — как, впрочем, и на лицах всех остальных, выходивших из этого здания.

Один из этих людей свернул с дороги в ту сторону, где сидела на земле оборванная женщина. Он сыпал ругательствами, Женщина приняла его за пьяного и боялась, что он замышляет недоброе против нее, но он даже не взглянул в ее сторону, а подошел к пасшейся вблизи лошади. Пугливая лошадь некоторое время не подпускала к себе хозяина, но то, видимо, был с ее стороны лишь каприз, так как через несколько минут он уже взнуздал ее и запел древние римы о Понтусе.

Затем он распутал веревку, которой была стреножена лошадь.

— Йоун Хреггвидссон, — позвала она.

— Кто ты? — спросил он.

— Что там решили?

— Горек их неправедный суд и еще горше — их правосудие. Они велели мне получить от короля новый вызов в верховный суд в Копенгагене, да еще угрожали исправительной тюрьмой за то, что я не представил старый. Ты что же, одна из оправданных?

— Нет, — сказала она, — я одна из осужденных. Оправданные украли мой плащ.

— Я верю лишь в свое собственное правосудие, — сказал он.

— А что решено по делу юнкера из Брайдратунги?

— Эти люди сами себя осудили. Они заявили, что я убил своего сына. Что с того? Разве он не был моим сыном? Есть лишь одно преступление, которое несет в себе свое собственное возмездие: это когда предают аульвов.

— Не понимаю, — отозвалась она.

— Два знатных человека стоят друг против друга и осуждают один другого. Им невдомек, что оба они осуждены. Оба они предали злато-

кудрую деву, стройную аульву. Юнкер в церкви объявил эмиссара прелюбодеем, а эмиссар в ответ на это отписал в свою пользу и в пользу казны все имущество юнкера. А где же богатство моего господина Арнэуса? Йоун Хреггвидссон стал богатым человеком с тех пор, как побывал в том доме. Если хочешь, добрая женщина, садись впереди меня на лошадь, и я отвезу тебя на запад в Скаги и оставлю у себя поденщицей на время уборки урожая.

Она, однако, не приняла его предложения, сказав:

— Лучше уж я буду просить милостыню, чем работать. Я из таких. Расскажи-ка мне побольше новостей, чтобы я могла позабавить тех, с кем я буду проводить ночь. Как решили поступить с властями?

Он сказал, что судью Эйдалина и трех окружных судей лишили чести и всех должностей, а их имущество отписали в казну.

— От судьи Эйдалина только и осталось что нос да голос. Неприятно чувствовать жалость к человеку, тем более к знатному, но когда нынче меня усадили рядом с этим жалким старцем, — на мне был новый камзол, а на нем тот самый старый плащ, в котором он в свое время судил меня, — я

подумал про себя: «Было бы только справедливо, если бы ты получил уродливую голову Йоуна Хреггвидссона».

— Ты убил того человека?

— Убил ли я? Либо ты его убиваешь, либо он тебя. Когда-то волосы у меня были черные, теперь вот я поседел, а скоро стану белым как лунь. Но черный я, седой или белый, мне одинаково плевать на всякое правосудие. Я признаю лишь то правосудие, что живет во мне самом, Йоуне Хреггвидссоне из Рейна, да еще то, что ждет нас на том свете. Вот тебе от меня далер, добрая женщина, но голову твою я не могу выкупить.

Он вынул из кошеля серебряную монету, бросил на колени женщине и сел на лошадь. Затем он уехал, а нищенка еще долго сидела на земле, рассеянно вертя в руках далер. Затем она встала, старательно прикрывая лицо платком. Ей было не по себе в короткой юбке, из-под которой виднелись не только ступни с высоким подъемом, тонкими щиколотками и узкими, продолговатыми пятками, но и полные крепкие икры, подобных которым еще не видел свет. Женщине казалось, что она совсем обнаженная. Но мужчины, попадавшиеся ей на пути, были слишком заняты своими мыслями, чтобы заме-

тить, что у какой-то бродяжки юбка на несколько дюймов короче, чем положено. Увидев, что мужчины думают не о ней, а о себе, она обернулась и спросила:

— Вы не встречали Магнуса из Брайдратунги?

Но это были знатные люди, видимо, принимавшие участие в суде. Они сочли себя оскорбленными тем, что какая-то бродяжка осмелилась обратиться к ним и справляться о человеке — если только его вообще можно было назвать человеком, — которого они, может быть, в этот же самый день лишили имущества и чести за клевету. Поэтому они не ответили ей, и только один, совсем еще юный, ожидавший на берегу с двумя оседланными лошадьми, пока отец его прощался с другими знатными людьми, и не столь поглощенный своими мыслями, сказал:

— Юнкер из Брайдратунги как раз подходящий человек, чтобы переспать с такой, как ты. Недаром он сочинил в церкви басню о нарушении супружеской верности его женой Снайфридур, Солнцем Исландии.

После этого она уже не осмеливалась справляться о юнкере. Но когда она встретила старого седобородого конюха, ей пришло в голову спросить о лошадях Магнуса Сигурдссона.

— Магнуса Сигурдссона? — переспросил тот. — Это не тот ли, который продал свою жену за водку одному датчанину?

— Совершенно верно.

— А потом собирался зарубить ее топором?

— Да.

— А затем обвинил ее в скаульхольтской церкви в том, что она спала с врагом своего отца?

— Да, это он, — сказала женщина.

— Ну, мне сдается, что слуги из Бессастадира уже позаботились о его лошадях, — ответил бородатый конюх. — И если ты собираешься пойти за ними, ты вряд ли их получишь.

Некоторое время она еще прохаживалась в этом священном месте, Тингведлире на Эхсарау, где так терзали несчастных людей, что даже камни начинали роптать. Черные скалы ущелья сверкали под лучами солнца, струи пара от горячих источников по ту сторону озера подымались высоко в воздух. Где-то неподалеку протяжно и тонко выла собака. Время от времени она обрывала вой и начинала скулить. Может быть, этот жалобный вой продолжался уже давно, но Снайфридур просто не замечала его. Теперь она увидела, что собака сидит на пригорке под скалой. Уши у нее были прижаты, глаза полу-

закрыты. Она подняла вверх морду и выла на солнце, почти не раскрывая пасти. За ней лежал в траве какой-то человек, возможно мертвый. Когда женщина подошла ближе, собака перестала выть, но несколько раз широко раскрыла пасть от тоски, которую способны ощущать лишь собаки. Затем пес встал и подошел к женщине. Брюхо у него ввалилось от голода. Однако, когда он подошел совсем близко, он, несмотря на ее одеяние, узнал Снайфридур и бросился к ней. Тут она увидела, что это собака из Брайдратунги.

Юнкер лежал в траве и спал. Он весь был покрыт кровью и грязью, лицо у него распухло от ударов, одежда была разорвана, и сквозь дыры просвечивало голое тело. Она наклонилась над ним, и собака лизнула ее в щеку. Шляпа его лежала на траве. Снайфридур подняла ее и зачерпнула воды из реки, чтобы умыть мужа. Он очнулся и попытался приподняться, но вскрикнул и снова упал.

— Дай мне спокойно околеть, — прорычал он.

Присмотревшись, она увидела, что одна нога у него сломана и не действует.

— А ты что за шлюха? — спросил он.

Тогда она приподняла платок, и он увидел золотистые кудри и синие глаза, равных которым

не было на всем севере.

— Я твоя жена, Снайфридур, — сказала она. И она продолжала ухаживать за мужем.

Акурейри, гостиница «Годафосс»

Лето 1944 года

Часть третья
Пожар в Копенгагене
Глава первая

В Охотничьем замке праздник.

Королева дает пир в честь своего супруга — короля, своей матери — немецкой принцессы и своего брата — герцога Ганноверского. На этот пир приглашены знатнейшие люди страны и знаменитейшие иностранцы.

Королева приказала изготовить в Гамбурге свыше пятидесяти роскошных луков и по сорок стрел к каждому луку, ибо сегодня король должен свалить оленя.

К вечеру именитые гости собрались на лужайке, окруженной высокими буками, где были разбиты шатры. Когда знать заняла места, появился всемилостивейший монарх — его королевское величество в красном охотничьем костюме, на его черном бархатном берете колыхалось длин-

ное — в аршин — перо. Затем вошла королева вместе со своим высокородным братом. А за ними выступали придворные и другие знатные дамы — все в охотничьих костюмах.

На правой стороне арены воздвигли нечто вроде прилавка в сто футов длиною, где были разложены серебряные призы, предназначавшиеся в награду победителям. На одном конце прилавка между двумя деревьями натянули зеленое полотно, а напротив расставили кресла для самых высокопоставленных лиц, их супруг и придворных дам. Но кавалеры должны были стоять так же, как и чужестранные гости с черными бородами в остроконечных шапках и с широкими ножами на боку. Это были посланцы татар.

Но вот затрубили рога. Зеленый занавес поднялся, между деревьями показался и запрыгал деревянный олень. Татары стреляли первыми, но их стрелы пролетали далеко от цели. Затем за луки взялись нарядные придворные дамы, приведя в восхищенье всех присутствующих изяществом своих манер. После них стреляли кавалеры, и многие почти попадали в цель, но все-таки только почти. Присутствующие очень над этим потешались. Последними стреляли король и королева. Коротко говоря, король попал в оленя

с первого выстрела и завоевал титул лучшего стрелка северных стран. Остальные призы были поделены между кавалерами и дамами, и только королева из вежливости отказалась от приза.

Неподалеку от арены с удивительным искусством был насыпан холм. К вершине его вела аллея из апельсиновых и лимонных деревьев, на стволах которых были вырезаны вензеля короля и королевы. Над аллеей был натянут синий тент, изображавший небо, — и на нем выведены те же вензеля. На вершине холма блестел живописный пруд, где плавало множество рыбы, ручных уток и другой птицы. Посреди пруда высилась скала, а из нее били четыре струи воды, поднимаясь на высоту половины копья и дугою падая в пруд. Вокруг пруда шла дерновая скамья, покрытая скатертью и превращенная в пиршественный стол. Сиденья были расставлены таким образом, что места именитых людей приходились под тронным балдахином. Послы, дворяне и придворные сидели за столом друг против друга. Чиновники, видные горожане с женами и остальные гости — купцы и татары — вкушали пищу на лужайке у подножья холма. За королевским столом подавалось около двухсот блюд и до двухсот сортов варений и фруктов в золоченых вазах. И с одной,

и с другой стороны стол, насколько хватал глаз, был уставлен всевозможными яствами. Прекрасное зрелище.

— Ein Land vom lieben Gott gesegnet[169].

Немецкий чиновник с громадным животом, поздоровавшийся с assessor consistorii et professor antiquitatum Danicarum во время охоты на оленя и представившийся как коммерции советник Уффелен из Гамбурга, оказался теперь рядом с ним за столом и вежливо пытался завязать разговор.

— Наша милостивая королева, ваша землячка, очень гостеприимна, — сказал Арнас Арнэус. — В летнем замке ее величества, который она называет летним домиком, она и ее придворные дамы часто одеваются лесными нимфами и эльфами. И по вечерам они танцуют, как простые крестьянки, под звуки скрипок и флейт или волынок и свирелей. При лунном свете катаются на лодках по маленькому, но капризному озеру Фуресё. И вечер заканчивается фейерверком.

— Я вижу, — сказал немец, — что вы, милостивый государь, пользуетесь такой милостью, какая редко или, вернее, никогда не оказывалась простому немецкому купцу его землячкой. Однако

---

[169] Примечания: 169
Благословенная богом страна *(нем.)*.

мне посчастливилось побывать во дворце обеих королевских дочерей на Амагере, — я привез для их вольеров двух колибри. Но оказалось, что давно прошли те времена, когда молодые принцессы любили маленьких птичек. Их высочества заявили, что им угодно иметь не маленьких птичек, а крокодила, о котором они давно мечтают.

— Ach ja, mein Herr, das Leben ist schwer[170], — сказал Арнас Арнэус.

— И все же мне и моим спутникам была оказана высокая честь: его величество пригласил нас на завтрак после охоты в его летней резиденции Хьяртхольме, — сказал немец. — Мы кушали в великолепном зале-беседке, площадь которого равняется пятидесяти квадратным футам. Купол его покоится на двадцати колоннах и украшен изнутри золотом, бархатом и тафтой. С потолка свешивается свыше восьмисот искусственных лимонов и апельсинов. Только далеко на юге, где-нибудь во Франции или Италии, можно встретить что-либо подобное.

— Моя королева — ваша землячка, получила удивительную обезьяну, за которую заплачено двести далеров, — сказал Арнас Арнэус, — не

---

[170] Примечания: 170

О да, милостивый государь, жизнь тяжела *(нем.)*.

говоря уже о замечательных попугаях. Вам, милостивый государь, вместо того чтобы дарить двух маленьких птичек принцессам, следовало бы преподнести вашей землячке двух испанских лошадей, подобных тем, которые были куплены для нее в прошлом году за две тысячи далеров. Эти деньги взяты в Эйрарбакки — там находится крупнейшее торговое предприятие датского государства. Тогда печаль королевы из-за того, что у нее нет четверки лошадей, улеглась бы. И вы, милостивый государь, смогли бы пережить незабываемый вечер с лесными нимфами в домике на озере Фуресё, а на прощанье в вашу честь был бы дан фейерверк.

— Я рад, что у моей землячки есть поклонник в Исландии, считающий, что ни одно земное существо не может стоить слишком дорого, если оно способно доставить ей настоящую радость, — сказал немец.

Арнас Арнэус ответил:

— Конечно, мы, исландцы, подарили бы ее величеству упряжку из четырех голубых китов, если бы мы не чтили другую королеву еще выше.

Немец озадаченно посмотрел на professor antiquitatum Danicarum.

— Королева, о которой вы говорите, долж-

но быть, владеет неземным царством, раз вы осмеливаетесь посадить мою землячку на одну ступень ниже за ее же собственным пиршественным столом.

— Вы угадали, — засмеялся Арнас Арнэус. — Это королева Исландии.

Заплывшие жиром глазки немца иронически поглядывали на соседа по столу. Немец ел не переставая, ни одно лакомство не обошел он своим вниманием и, видимо, думал не о том, что говорил, когда произнес, отрывая клешню у краба:

— Разве не пришло время, чтобы та, о которой вы говорите, спустилась из воздушного замка фантазии на землю?

— Время суровое, — ответил исландец. — Королева, о которой я говорю, чувствует себя там счастливее, чем на земле.

— Я слышал, что в Исландии свирепствовала чума, — сказал немец.

— Страна была не в силах с ней бороться, — ответил Арнас Арнэус. — Чума явилась следом за голодом.

— Я слышал, что епископ в Скаульхольте и его супруга тоже умерли, — сказал немец.

Арнас Арнэус с удивлением взглянул на чужестранца.

— Совершенно справедливо, — сказал он, — мои друзья, хозяева и благородные земляки, епископ и его супруга в Скаульхольте прошлой зимой погибли от чумы, и в их усадьбе умерло еще двадцать пять человек.

— Соболезную вашему горю, милостивый государь, — сказал немец. — Эта страна заслуживает лучшей доли.

— Приятно слышать такие слова, — сказал Арнэус. — Исландец всегда испытывает чувство благодарности к чужестранцу, знающему о существовании его родины. И еще большую благодарность за слова о том, что она заслуживает чего-то хорошего. Но обратите внимание, милостивый государь, что наискось от нас, перед серебряным блюдом с куском жареной свинины, сидит бургомистр Копенгагена, бывший когда-то юнгой на исландском корабле, а ныне первый человек в Компании — объединении купцов, торгующих с исландцами. Не стоит в этом приятном обществе раздражать его громким разговором об Исландии. Его ведь присудили к уплате штрафа в несколько тысяч далеров за то, что он продал исландцам муку с червями, да притом еще неполным весом.

— Надеюсь, что не будет дерзостью с моей сто-

роны, — сказал немец, — вспомнить о прошлом, когда мои земляки и предшественники — ганзейцы — плавали к острову Исландии. Тогда были другие времена. Может быть, когда мы встанем из-за стола, мы найдем уголок, где старый гамбуржец мог бы поделиться приятными воспоминаниями с исландцем, которого датские купцы, торгующие с исландцами, называют дьяволом в человеческом образе. И лучше всего там, где наши друзья не могли бы нас услышать.

— Немало найдется людей в Исландии, которые дорого бы дали, чтобы мнение датских купцов обо мне было бы не совсем ложным, — сказал Арнас. — Но, к великому сожалению для моих земляков, я потерпел поражение. Я дракон, оказавшийся под пятой датских купцов. Правда, их присудили к уплате штрафа за муку, и сколько-то семян для посева король вынужден будет посылать, пока царит голод. Но я боролся не за штраф и не за посевное зерно для моего народа, а за более справедливые условия торговли.

Королева приказала, чтобы на этом пиру за столом не было крепких вин, чтобы подавались, да и то в меру, только легкие французские вина, чтобы этот праздник как можно менее был отмечен грубостью, характерной, по ее мнению,

для северных народов и проявляющейся всегда, когда люди пьют.

С заходом солнца гости встали из-за стола. Для их развлечения в пруд на холме было брошено множество маленьких собачек, чтобы они могли помериться силами, плавая наперегонки, при этом они загрызли немало ручных уток и другой плавающей там птицы. Их королевские величества и высокородные гости очень развлекались этой игрой.

Затем все гурьбой направились в охотничий замок, где вскоре должны были начаться танцы. Это был семейный бал, и потому никто не надевал ни масок, ни карнавальных костюмов, как это обычно бывает при дворе. Только королева и ее фрейлины перед танцами переоделись в черное.

После трапезы начались беседы между гостями. Но произошло нечто странное: Арнасу Арнэусу, который, благодаря своей учености, всегда бывал желанным гостем во всяком высоком обществе, теперь показалось, что разные важные и высокоученые лица, с которыми он был хорошо знаком, то забывали с ним поздороваться, то исчезали из поля его зрения до встречи с ним. Конечно, он понимал, что некоторые почетные члены магистрата, подобно бургомистру — совладель-

цу Компании, не могли и словом обменяться с человеком, по вине которого их совсем недавно осудили за обман и недовес. Но ему показалось более странным, что двое судей-дворян из верховного суда его королевского величества поспешили отвернуться и испариться в ту минуту, когда им неизбежно пришлось бы ответить на его поклон. Еще менее мог он понять, почему двое его коллег по духовной консистории так смутились при виде его. А его товарищ по работе и старый друг — учитель короля, библиотекарь Вормс — был рассеян и неспокоен, беседуя с ним, и при первой возможности поторопился уйти. Он не мог не видеть, что некоторые кавалеры при его появлении перешептывались и посмеивались совершенно так же, как всегда посмеивались в Скандинавских странах над исландцами, но чего за последнее время никто не позволял себе в отношении Арнаса Арнэуса.

Увлекаемый потоком гостей, он вошел в замок. И когда он стоял в зале среди других гостей, музыканты задули в свои трубы, король и его свита проследовали в бальный зал, и тут взгляд нашего всемилостивейшего монарха упал на исландца. По благороднейшему лицу юного короля с птичьим носом и насмешливыми бегающими

глазками сладострастного старца скользнула усмешка, и он изрек на северогерманском диалекте, которому научился у своих нянек, нечто, обозначавшее:

— А-а, великий исландец, великий охотник за дамскими юбками!

Где-то послышался хохот.

Гости в зале склонялись перед его величеством, когда мимо них следовала высочайшая чета. Исландец по-прежнему стоял в одиночестве. А когда он оглянулся на других гостей, они сделали вид, что не заметили происшедшего. И все-таки он еще не понимал, кем же он был в глазах этого общества или какое положение он, в сущности, занимал, пока толстый гамбуржец с мягким голосом снова не появился возле него.

— Прошу прощения, но вы, милостивый государь, не отказались побеседовать со мной о некоторых мелочах в таком месте, где бы никто не мог прислушиваться к нашим словам. Если сударю угодно…

Вместо того чтобы продолжать путь во внутренние залы, они вышли из галереи во фруктовый сад. Арнас Арнэус молчал, говорил немец. Он говорил о датском зерне и скоте, о завидном расположении Копенгагена и о великолепном

алебастре, привезенном сюда из Азии, упомянул множество великолепных дворцов короля и сказал, что его величество такой галантный человек, что равного ему не найти ни в одной христианской стране, разве только среди магометан. Он привел в пример один восхитивший всех случай, — это произошло, когда в честь короля давалось большое празднество в Венеции. На этом празднестве его величество танцевал шестнадцать часов подряд, кавалеры же и послы из трех царств и четырех королевств, а также гости, прибывшие из городов и княжеств, побледнели от усталости или же лишились дара речи. А на рассвете были посланы слуги в город, чтобы разбудить наиболее сильных женщин, привыкших таскать на рынок капусту или носить бочонки с рыбой на голове. Их разодели в шелка, золото и павлиньи перья, чтобы они могли танцевать с королем из страны белых медведей — так там называют Данию, — ибо к тому времени те венецианские дамы, которые еще не свалились с ног, были близки к бесчувствию.

— Но, как говорится, — продолжал немец, — за удовольствия приходится расплачиваться даже королю. Я знаю, что вам, милостивый государь, лучше, нежели мне, известно финансовое поло-

жение этого государства. И не к чему сообщать вам о том, что все труднее становится добиться в государственном совете утверждения ассигнований на маскарады, которые не только растут в числе, но и с каждым годом обходятся все дороже. У нас в Гамбурге достоверно известно, что доходы от торговли с Исландией за последние годы шли на покрытие расходов по увеселениям двора. Но теперь корову выдоили так, что вместо молока течет кровь, да к тому же корова эта голодает, что вам, милостивый государь, известно лучше, чем кому бы то ни было, так что за последние годы с трудом удавалось выжать из Компании и губернатора потребную королю арендную плату. А теперь после наложения штрафа за муку купцы собираются прекратить судоходство, чтобы еще тяжелее наказать ваш народ. Но как бы то ни было, балы должны продолжаться, нужно строить новые дворцы, королеве нужна еще пара испанских лошадей, их высочествам принцессам — крокодил. А главное — нужно готовиться к войне. Теперь добрые советы дороги.

— Боюсь, что не совсем понимаю, к чему вы клоните, господин коммерции советник, — сказал Арнас Арнэус, — уж не поручили ли вам король или датское казначейство раздобыть денег?

— Мне предложили купить Исландию, — ответил немец.

— Кто, разрешите спросить?

— Король Дании.

— Приятно слышать, что человек, продающий свою страну, не может быть обвинен в государственной измене, — сказал Арнас Арнэус. Голос его внезапно стал веселым. Он засмеялся. — Подкреплено ли это предложение документом?

Немец вынул из-под плаща бумагу с подписью и печатью его королевского величества, в которой нескольким купцам из Гамбурга предлагалось купить остров, называемый Исландией и находящийся между Норвегией и Гренландией, а одновременно и все права и привилегии, связанные с полным и свободным правом собственности, от которого король и его потомки полностью отказывались на вечные времена. Цена устанавливалась в пять бочек золота, и деньги должны были быть вручены Королевскому казначейству при подписании контракта.

Арнас Арнэус пробежал документ при свете фонаря во фруктовом саду и со словами благодарности возвратил его Уффелену.

— Я уверен, мне не нужно подчеркивать, — сказал немец, — что, знакомя вас с этим письмом,

я хотел только оказать вам, самому знатному исландцу в датском государстве, особое доверие.

— Наступило время, — сказал Арнас Арнэус, — когда мое имя так низко котируется в датском государстве, что я последним узнаю новости, касающиеся жизни и блага Исландии. Мое несчастье в том, что я хотел блага моей родине, а такой человек считается врагом датского государства: это рок обеих стран. Правда, в Дании, в хорошем обществе всегда считалось признаком дурного тона упоминать об Исландии. Но поскольку мною владело стремление пробудить исландский народ к новой жизни, вместо того чтобы довольствоваться древними книгами моей родины, мои друзья прекратили знакомство со мной. А его величество всемилостивейший король оскорбляет меня публично.

— Могу я надеяться, что предлагаемая сделка не неприятна вам, если исходить из избранной вами точки зрения?

— К сожалению, я думаю, что совершенно безразлично, какую сторону я возьму в этом вопросе.

— И все же, состоится эта покупка или нет, зависит от вас.

— Каким образом, милостивый государь? Я

ведь никак не причастен к этому делу.

— Без вашего согласия Исландия не будет куплена…

— Я благодарю за оказанное мне доверие и посвящение в тайну. Но у меня нет возможности оказать какое-либо влияние в подобном вопросе — ни словом, ни делом.

— Хотите ли вы блага Исландии? — спросил немецкий купец.

— Конечно, — ответил Арнас Арнэус.

— Никто лучше вас не знает, что для исландцев не может быть худшей участи, чем оставаться дойной коровой короля данов и его наймитов — губернаторов и купцов-монополистов, которым он препоручает страну.

— Это не мои слова.

— Вы хорошо знаете, что богатства, собранные здесь, в Копенгагене, возникли благодаря многим десятилетиям торговли с Исландией. Путь к власти в датской столице всегда лежал через исландскую торговлю. Вряд ли найдется такая семья в этом городе, в которой хотя бы один человек не получал куска хлеба от Компании. И здесь считают, что Исландия может быть ленным владением только высокородных дворян, лучше всего лиц королевского происхождения. Ислан-

дия — добрая страна. Ни одна другая страна не содержит такое большое число богачей датчан, как Исландия.

— Редко можно встретить иностранца, рассуждающего с таким знанием дела, — сказал Арнас Арнэус.

— Я знаю еще больше, — сказал немец. — Я знаю, что исландцы всегда дружественно относились к нам, жителям Гамбурга, и это не удивительно, ибо из старых прейскурантов видно, что в тот самый год, когда король данов изгнал Ганзу с острова и захватил для себя и своих людей монопольное право торговли с Исландией, цены на производимые в стране вывозные товары были снижены на шестьдесят процентов, а на иностранные повышены на четыреста.

Помолчав, он продолжал:

— Я бы не посмел раскрывать все это перед вашим высокородием, если бы моя совесть христианина не убеждала меня в том, что мы, гамбуржцы, сможем предложить вашим землякам лучшие условия, чем наш всемилостивейший монарх и хозяин.

Некоторое время они молча шли по саду. Арнэус вновь погрузился в свои думы. Внезапно он прервал молчание:

— Бывали ли вы, милостивый государь, в Исландии?

— Нет, а что?

— Вы, милостивый государь, не видели, как после долгого и трудного морского пути из моря выступает Исландия.

Купец не понимал, в чем дело.

— Из бурного моря всплывают избитые непогодой скалы и вершины глетчеров, окруженные грозовыми тучами, — сказал профессор antiquitatum Danicarum.

— И что же?

— Я стоял с подветренной стороны на шхуне, шедшей тем же путем, каким некогда ходили норвежские морские разбойники. Непогода заставила нас долго блуждать по морю, пока вдруг перед нами не возникла эта картина.

— Понимаю, — сказал немец.

— Нет более величественного зрелища, чем Исландия, выступающая из моря, — сказал Арнас Арнэус.

— Право, не знаю, — с некоторым удивлением произнес немец.

— Только увидев это зрелище, человек может постичь тайну, почему именно здесь были написаны самые замечательные во всем христи-

анском мире книги, — сказал Арнас Арнэус.

— Пусть так.

— Я знаю, вы поняли теперь, что Исландию нельзя купить.

Немец сказал, подумав:

— Я только простой купец, но мне кажется, я почти понимаю, о чем говорит такой ученый человек. Прошу прощения, если я не во всем согласен с вами. Конечно, нельзя ни купить, ни продать страшного и величественного духа, обитающего на вершинах глетчеров, как и замечательные труды ученых мужей или песни, распеваемые народом. Ни один купец не взялся бы за это. Мы, купцы, интересуемся только полезностью вещей. Несмотря на то что в Исландии высокие горы и изрыгающая яд Гекла, которая наводит страх на весь мир, несмотря на то что исландцы в древние времена создали удивитель-

нейшие эдды[171] и саги[172], им все же нужно есть, пить и одеваться. Вопрос заключается только в том, что им выгоднее — чтобы остров Исландия был датским работным домом или же самостоятельным герцогством.

— ...под покровительством императора, — добавил Арнас Арнэус.

— Эта мысль не казалась ранее столь нелепой властителям Исландии, — сказал Уффелен. — В Гамбурге хранятся замечательные древние исландские письма. Император, без сомнения, обещал бы исландскому герцогству мир; так же, как и король Англии. А исландские власти предоставили бы Гамбургской Компании рыболовные гавани и право на торговлю.

— А герцог?

— Герцог Арнас Арнэус будет жить на острове,

---

[171] Примечания: 171

Эдды, — «Старшая Эдда» — см. прим. 31. «Младшая Эдда» написана в 1222–1225 гг. самым знаменитым исландским автором Снорри Стурлусоном (1178–1241). В «Младшей Эдде» пересказана скандинавская мифология, а также дан трактат о поэзии скальдов с примерами скальдической поэзии. *(Прим. Л. Г.).*

[172] Примечания: 172

Саги — самобытные по жанру произведения древней исландской литературы, которые начали писать в Исландии во второй половине XII в. Саги делятся на «родовые саги», или «саги об исландцах», «королевские саги» — повествования о жизни норвежских конунгов, «саги о древних временах» — повествования о легендарных временах истории Скандинавии и др. *(Прим. Л. Г.).*

где ему заблагорассудится.

— Вы, милостивый государь, веселый купец.

— Я бы хотел, чтобы достопочтенный господин не счел мои слова болтовней. У меня нет никаких оснований шутить.

— Вряд ли есть такая должность в Исландии, которую мне не предлагал бы король данов, — сказал Арнас Арнэус. — В течение двух лет я обладал величайшими полномочиями, которые когда-либо предоставлялись исландцам: мне подчинялся исландский отдел канцелярии, Компания, судьи, ландфугт, а до некоторой степени и сам губернатор. Кроме того, мною владело искреннейшее желание содействовать благу моей родины. А чем окончились все мои усилия? Голодом, милостивый государь. Еще более жестоким голодом. Исландия — побежденная страна. Герцог такой страны стал бы посмешищем в глазах всего мира, даже если бы он был исправным слугой добрых граждан Гамбурга.

— Конечно, — ответил Уффелен, — вы были представителем короля в Исландии в различных сферах, но вы сами только что сказали, чего вам недоставало: у вас не было полномочия на самое главное — на изгнание из страны королевских торговцев, пользующихся привилегиями и моно-

полией, и на ведение честной торговли.

— Уже неоднократно его всемилостивейшее величество рассылал послов, чтобы они посещали чужеземных князей и со слезами на глазах просили их купить у него Исландию или хотя бы одолжить ему под нее денег, — сказал Арнас Арнэус. — Всякий раз, когда Компании становились известны подобные планы, она предлагала королю платить более высокую аренду за исландскую торговлю.

— Мне бы хотелось, — сказал Уффелен, — как можно скорее завершить эту сделку, чтобы исландские купцы не пронюхали о ней, прежде чем все будет улажено. Все теперь зависит от того, хотите ли вы стать нашим человеком в Исландии. Если вы дадите мне обещание сегодня, покупка будет завершена завтра.

— Вначале нужно выяснить, — сказал Арнэус, — не является ли это предложение только уловкой короля с целью выжать побольше денег из купцов, торгующих с Исландией, к тому времени, когда понадобится много денег на самое важное после танцев дело — на войну. Но если мне предстоит дать ответ, то не будет вреда в том, чтобы подождать до завтра.

Глава вторая

Странное поведение именитых людей по отношению к Арнасу Арнэусу на празднике королевы объяснилось очень скоро. Вернувшись ночью домой, он увидел на столе документ. Он был осужден. Решение верховного суда по так называемому «делу Брайдратунги», тянувшемуся почти два года, гласило, что обвинения, предъявленные Магнусу Сигурдссону, неосновательны.

Поводом для процесса послужили два письма, написанные указанным Магнусом в Исландии. Одно из них было жалобой на Арнэуса — на его якобы частые встречи с женой жалобщика. Второе предназначалось для прочтения на соборе в Скаульхольте. В нем автор письма обвинял свою жену в незаконной связи с королевским эмиссаром и призывал церковные власти вмешаться в это дело. Королевский посол счел себя оскорбленным этим письмом и обвинил жалобщика в распространении ложных слухов. Приговор был вынесен окружным судьей Вигфусом Тоурариссоном через две недели после того, как последнее письмо было зачитано в церкви, и Магнус Сигурдссон был приговорен к лишению

чести и имущества за позорную клевету на Арнэуса. Эмиссар передал дело в более высокую судебную инстанцию — альтинг на реке Эхсарау, и создал специальный суд для слушания этого дела, поскольку тогдашний судья Эйдалин в силу родства с ответчиком не имел права судить его.

Этот суд на реке Эхсарау вынес еще более суровый вердикт, нежели окружной суд, и Магнус Сигурдссон был приговорен, помимо отчуждения от него усадьбы Брайдратунга, к уплате королевскому эмиссару трехсот далеров в возмещение ущерба, нанесенного его письмом, а также некоторых сумм судьям в силу особых трудностей, связанных с этим делом.

В решении верховного суда все это было опровергнуто. В преамбуле говорилось, что с беднягой Магнусом Сигурдссоном жестоко и не по-христиански обошлись actor Arnas Arnaeum и судьи. Его судили за то, что он написал письмо во имя восстановления своей чести, а затем второе, предназначенное для оглашения на церковном соборе с той целью, чтобы дать Арнэусу возможность в зародыше задушить необоснованные слухи и сплетни, порочившие не только матрону из Брайдратунги и ее супруга, но также и епископство в Скаульхольте, поскольку очагом слухов о

распущенной жизни явился этот маяк христианской добродетели и твердыня добрых нравов. О том, что эти письма были написаны не случайно и не напрасно были сделаны достоянием гласности, свидетельствовал тот факт, что уже на другой день после прочтения последних Арнэус уехал из епископской усадьбы и переселился в Бессастадир. Преамбула гласила: трудно себе представить, чтобы эти письма могли оправдать безжалостное преследование бедного человека, Магнуса, наложение на него сурового наказания и большого штрафа. Очевидно, господин Сивертсен[173] имел все основания писать свои письма, чтобы тем самым заставить замолчать упорные слухи о неверности его жены, ходившие в стране. Его супруга воспользовалась его пьянством, как предлогом, чтобы встречаться с Арнэусом, по вине коего она уже в ранней своей юности не могла считаться невинной девушкой, а теперь, находясь в течение целой зимы под одной кровлей с бывшим своим любовником, вновь вступила с ним в преступную связь, ибо, согласно свидетельским показаниям, вела частые беседы с глазу на глаз с эмиссаром как среди бела дня, так

[173] Примечания: 173

Сивертсен — имя Сигурдссона, переделанное на датский лад. *(Прим. Л. Г.).*

и темной ночью за закрытыми дверями. Трудно было, следовательно, усмотреть что-либо иное в письмах супруга, кроме justo dolore[174], явившейся причиной составления их именно в таких выражениях. Согласно двадцать седьмой главе уложения о наказаниях, говорящей об оскорблении чести, нет никаких оснований для такого наказания Сивертсена, к которому приговорил его альтинг на Эхсарау, ибо одно из двух: либо его обвинения соответствуют истине, либо, если это не так, они должны были бы содержать и нечто иное, кроме известных всем фактов — бесед Арнэуса с женщиной с глазу на глаз. В связи с этим несправедливый и нехристианский приговор, порочащий честь и доброе имя Магнуса Сивертсена, должен быть отменен и забыт. А поскольку Арнас Арнэус в соответствии с этим приговором распорядился описать и конфисковать усадьбу и имущество ответчика, опись и конфискацию считать недействительными, а собственность — движимую и недвижимую — вернуть Магнусу Сивертсену с полным возмещением убытков и процентов за время конфискации. А поскольку Арнас Арнэус является первопричиной ревно-

[174] Примечания: 174
Справедливой скорби *(лат.)*.

сти супруга, а также вынесенного против него неправильного судебного приговора, считать справедливым возложить на Арнаса Арнэуса, оговорившего Магнуса Сивертсена, судебные издержки, а за оскорбления и поношения обязать его уплатить, согласно приговору верховного суда, такую же сумму, какая была присуждена ему прежде альтингом из имущества Магнуса. А поскольку Арнас Арнэус своим нехристианским поведением во всем этом деле, несправедливостью и насилием нанес большой вред Исландии, опорочив репутацию королевских властей на острове, впредь запретить указанному лицу на неопределенный срок приезжать в Исландию или пребывать на этом острове без особого на то разрешения нашего всемилостивейшего короля.

На другое утро после пира Арнас Арнэус встал бледный от бессонницы в тот час, когда первые повозки загремели по каменной мостовой и раздались крики зеленщика у черного хода дома. Он вошел в свою библиотеку. Там сидел у своего стола его писец, studiosus antiquitatum[175], Иоанн Гринвицензис и плакал. Он не заметил вначале появления своего господина и продол-

[175] Примечания: 175
Изучающий древность *(лат.)*.

жал плакать. Господин покашлял, чтобы отвлечь студиозуса от этого занятия. Писец в изумлении быстро оглянулся, но, увидев своего господина, впал в совершеннейшее отчаяние, стал биться головой о стол и плакать еще горше, его плечи, согбенные ученостью и ответственностью, дрожали.

Арнас Арнэус сделал несколько шагов по комнате, наблюдая с легким нетерпением необычное и странное зрелище — плачущего человека в безмолвной тиши библиотеки. Но поскольку рыдания не утихали, он сказал резко:

— Что это значит?

Через некоторое время ученый муж простонал сквозь слезы:

— Йо-о-оун Мартейнссон. — Он повторял эти слова, не будучи в состоянии произнести еще что-либо.

— Ты выпил? — спросил его господин.

— О-он был здесь, — простонал ученый из Гриндавика. — Он, certe[176], был здесь. Боже, помоги мне.

— Вот оно что, — сказал Арнас Арнэус. — Опять что-нибудь пропало?

---

[176] Примечания: 176
Конечно *(лат.)*.

— Боже, смилуйся надо мной, бедным грешным человеком, — сказал почтенный уроженец Гриндавика.

— Чего не хватает? — спросил Арнас Арнэус.

Йоун Гудмундссон Гриндвикинг поднялся со скамьи у стола, бросился на колени перед своим учителем и признался, что пропала книга из книг, драгоценность из драгоценностей — «Скальда».

Арнас Арнэус отвернулся от плачущего, подошел к шкафу в боковой нише, где были заперты самые ценные сокровища, вынул ключ, открыл шкаф и взглянул на то место, где он хранил сокровище, самое ценное, по его мнению, на северном полушарии — книгу древних сказаний ушедших поколений, написанную на их подлинном языке. Там, где она стояла, зияло пустое место.

Арнас Арнэус некоторое время смотрел в открытый шкаф, на пустое место. Потом закрыл дверцы. Он прошелся по залу, повернулся, остановился, наблюдая за старым studiosus antiquitatum, который по-прежнему стоял на коленях, закрыв лицо костлявыми руками, и дрожал. Его заплатанные башмаки свалились с ног, обнажив дырявые чулки.

— Встаньте-ка, я дам вам выпить, — сказал Арнас Арнэус, открыв маленький угловой шкаф,

налил что-то из бутылки в старую оловянную стопку, помог своему секретарю подняться и дал ему выпить.

— Бог да вознаградит вас, — прошептал Йоун Гудмундссон Гриндвикинг, и только после того, как он осушил стопку, у него хватило мужества посмотреть своему господину в лицо.

— А я-то ведь почти не сплю по ночам, — сказал он. — И когда я на рассвете спустился сюда, чтобы переписывать для вас сагу о Марии, и, как всегда, заглянул в шкаф, «Скальды» там не было. Она исчезла. Он был здесь в тот единственный час, после полуночи, когда я спал. Но как он проник сюда?

Арнас Арнэус, стоя с бутылкой в руке, принял пустую стопку от писца.

— Хочешь еще, старина? — спросил он.

— Господин мой, я не должен пить так много, дабы не смешать вино с истинным утешением, каковое дарует дух богини учености, — сказал он. — Еще одну маленькую стопку, дорогой господин. Я ведь скорее заслужил от вас розги за то, что этот дьявол в человеческом образе смог еще раз прокрасться мимо меня, пока я спал. Я вспомнил, что мне рассказывали вчера: что этого мошенника и висельника видели несколько дней тому

назад. Он ехал вместе с графом Бертельшельдом, разодетый в новое платье, и направлялся ни больше, ни меньше как к погребку ратуши. Говорят, что граф заказал ему там жареных куропаток на вертеле. Что мне делать?

— Еще одну? — предложил Арнас Арнэус.

— Бог да вознаградит вас за вашу доброту к бедняку из Гриндавика, — сказал секретарь.

— Vivat, crescat, floreat[177] Мартиниус, — сказал Арнэус, подняв руки, пока секретарь пил. Затем он заткнул бутылку пробкой и запер ее и оловянную стопку в угловой шкаф.

— Я знаю, что мой господин шутит, а сердце у него истекает кровью, — сказал секретарь. — Но скажите мне откровенно: неужели городская стража и жандармерия не сильнее Йоуна Мартейнссона? Неужели соборный капитул, священники и воины не в состоянии все сообща возбудить дело против него? Мой господин, вас так высоко ставят в суде, вы могли бы засадить такого человека в тюрьму.

— К сожалению, я полагаю, что больше меня нигде высоко не ставят, — сказал Арнас Арнэус, — даже в суде. Йоун Мартейнссон побеждает меня

---

[177] Примечания: 177
Да здравствует, растет, процветает *(лат.)*.

всюду. Теперь он выиграл еще и процесс по делу Брайдратунги, который он вел против меня на деньги исландских купцов.

Гриндвикинг сначала был так ошеломлен, что, как рыба, раз за разом открывал рот, из которого не вырывалось ни звука, наконец он простонал:

— Неужели это воля Христа, чтобы дьявол захватил власть над всем миром.

— Деньги исландских купцов высоко котируются, — сказал Арнас Арнэус.

— Нет ничего удивительного в том, что он продался исландским купцам, чтобы вести нечестивый процесс против человека, который неоднократно оказывал ему благодеяния, против оплота нашей родины, — ведь он дошел до того, что отправился в Исландию скупать книги и рукописи для шведов. Из всех зол, которые могут постигнуть исландцев, самое худшее — это служить шведам, отрицающим, что мы — народ, и утверждающим, что исландские книги принадлежат готам и вестготам. Неужели и «Скальда» теперь попадет в их руки и будет называться сагой вестготов?

Арнас Арнэус опустился на скамью и откинулся назад, лицо его было бледно, глаза полузакрыты, он рассеянно провел рукой по своим небритым

щекам и зевнул.

— Я устал, — сказал он.

Писец все еще стоял на том же самом месте, наклонившись вперед и съежив плечи. Он шмыгнул носом и посмотрел испытующе на своего господина и учителя. Затем потер нос и поднял ногу. Но слезы вновь полились из глаз бедного ученого, он забыл обо всех своих нелепых повадках, которые отличали его от других людей, и вновь закрыл лицо узловатой, грубой рукой кузнеца.

— Что такое еще, Йоун? — спросил Арнас Арнэус.

И Йоун Гудмундссон Гриндвикинг ответил сквозь слезы:

— У моего господина нет друзей.

Глава третья

Около девяти часов утра, когда зеленщик уже обошел все дворы и охрип от крика, вязальщик метел здорово напился, а точильщик из породы мошенников бродил со своим точилом от двери к двери, по главной улице Копенгагена шел человек. На нем был ветхий кафтан, очень старая шляпа с высокой тульей и стоптанные башмаки.

Он шел большими шагами и такой странной походкой, которая, по-видимому, свидетельствовала о его безупречной нравственности. Лицо его было чуждо всему окружающему, казалось, он вовсе не видел города с его башнями и человеческим муравейником, не ощущал времени.

Его не интересовало ни мертвое, ни живое, — таким пустым миражем был для него этот город, который случаю было угодно сделать местом его жительства.

— Вот идет безумный Гриндевиген, — шептали соседи друг другу, когда он проходил мимо.

В переулке, выходившем на канал, почтенный человек остановился и огляделся, как бы желая убедиться, что он на верном пути. Затем направился к воротам, прошел через двор, вступил в темные сени и, найдя нужную ему дверь, постучал несколько раз. За дверью долго не подавали никаких признаков жизни, но Гриндвикинг все продолжал стучать, пока не потерял терпения и не закричал в замочную скважину:

— Я же знаю, шельма, что ты не спишь, а только притворяешься!

Как только хозяин комнаты узнал голос, он сразу же открыл дверь. В комнате было темно, и сильный запах тления ударил в нос вошедшему.

— Неужели это акула, — сказал Гриндвикинг, втянул в себя воздух и потер нос. Ему показалось, что он вдыхает аромат изысканного исландского блюда — акулы, которая должна пролежать в земле двенадцать лет и еще одну зиму, прежде чем ее подадут к столу.

Хозяин стоял в дверях в грязной ночной рубашке, он притянул к себе гостя и, стоя на пороге, крепко поцеловал его, а затем сплюнул. Ученый Гриндвикинг вытер место поцелуя рукавом и вошел в комнату, не снимая шляпы. Хозяин выбил огонь и зажег свечу, так что в комнате стало светлее. В одном углу лежала постель из шкур исландских баранов, а перед ней красовался большой ночной горшок. Характерная черта хозяина заключалась в том, что он не держал своих богатств на виду у всех, а прятал их в кожаных мешках и пакетах. На полу стояла большая лужа, грозившая наводнением, и Гриндвикинг вначале подумал, что содержимое ночного горшка вышло из берегов. Но, привыкнув к полумраку, он убедился, что это предположение неверно. Оказалось, что вода текла с дубового стола, прислоненного к стене. На этом столе лежал мокрый утопленник, и с него стекала вода, — больше всего с головы и с ног. Голова с мокрым хохлом

волос свисала с одной стороны стола, а ноги болтались с другой. Очевидно, когда утопленника притащили сюда, его сапоги были полны воды. Несмотря на все, что было у гостя на сердце, несмотря на ту горькую речь, которую он сочинил по дороге и которой собирался усовестить Йоуна Мартейнссона, этот висельник, как часто случалось и раньше, ошеломил его.

— За-зачем тебе этот труп? — спросил Гриндвикинг и невольно обнажил голову перед лицом смерти.

Йоун Мартейнссон приложил палец к губам в знак того, что говорить надо шепотом, и осторожно закрыл дверь.

— Я собираюсь его съесть, — прошептал он.

Дрожь ужаса пробежала по телу ученого Гриндвикинга, и он со страхом взглянул на хозяина.

— Я-то думал, что пахнет акулой, а оказывается, трупом, — сказал он и сердито фыркнул, волнение еще усиливало дрожь. — Нужно открыть дверь!

— Не шуми так, парень, — сказал Йоун Мартейнссон. — Неужели ты думаешь, эта чертовщина может пахнуть, когда я только на рассвете выловил его, еще тепленького, из канала. Но если

тебе кажется, что пахнет, так это у меня ноги потеют.

— Зачем ты вылавливаешь мертвецов из канала? — спросил гость.

— Мне было жаль, что он лежит там мертвый, это наш земляк, — сказал Йоун Мартейнссон и вновь улегся на свое ложе. — Сказать по правде, я замерз оттого, что встал так рано. Что тебе нужно?

— Ты говоришь, это наш земляк? И ты считаешь себя вправе красть мертвых и потом ложиться спать?

— Возьми его, — сказал Йоун Мартейнссон. — Забирай его с собой, если хочешь. Иди с ним, куда тебе угодно. Убирайся с ним к черту.

Уроженец Гриндавика взял свечку, подошел к трупу и осветил его лицо. Это был высокий, пожилой человек с седеющими волосами, на нем была приличная одежда и хорошие сапоги. Черты лица сгладились, как это бывает с утопленниками, веки были полуоткрыты, поскольку голова перевешивалась через край стола, виднелись белки глаз. Вода по-прежнему текла из носа и рта мертвеца на пол.

Гриндвикинг фыркнул, потер нос указательным пальцем свободной руки, почесал левую

ногу правой ногой, затем правую левой.

— Магнус из Брайдратунги, — сказал он. — Как это случилось, что он лежит здесь мертвый?

— Он пировал, понимаешь, — сказал Йоун Мартейнссон. — Вчера он выиграл процесс и пошел в кабак погулять.

— Понятно, — сказал Гриндвикинг. — Ты утопил его.

— Я выиграл дело ему живому и вытащил его мертвого, — сказал Йоун Мартейнссон. — Хотел бы я посмотреть, кто лучше обращается с земляком.

— Сущий дьявол — дьявол для всех, хотя бы ты и делал вид, что кому-то помогаешь, — сказал Гриндвикинг. — Ты сперва пырнул его ножом.

— А хотя бы и так, — сказал Йоун Мартейнссон. — Пора было оказать услуги и бедняге Аурни. Теперь Снайфридур Бьорнсдоутир овдовела, и он может распрощаться со своей Гилитрутт[178], жениться на Снайфридур и поселиться в Брайдратунге, законной наследницей которой она теперь стала благодаря мне.

— Да возьмет тебя сатана на веки вечные за то,

---

[178] Примечания: 178

Гилитрутт — имя безобразной и злой великанши, живущей в горах и заманивающей к себе людей. Персонаж исландских народных сказок. *(Прим. Л. Г.).*

что ты вступил в заговор с датчанами против твоего земляка и благодетеля, за то, что ты добился осуждения моего господина и учителя, сделав его посмешищем для мошенников.

— А если Аурни захочет, я отменю решение верховного суда, — сказал Йоун Мартейнссон. — Если бы у тебя были деньги на пиво, но у тебя их никогда нет. Поди пощупай, не найдешь ли ты чего-нибудь в карманах у мертвеца.

— Проси пива у Компании, проси у шведов, — сказал Гриндвикинг. — Или ты думаешь, тебе одному хочется пива в этом городе? Ты можешь, пожалуй, втянуть меня в любое злое дело, но мародером по твоему приказу я никогда не стану.

— Если он припрятал несколько скильдингов, так он мне их задолжал. Той небольшой честью, которая осталась у этого человека, он обязан мне — я ведь восстановил ее своими бесконечными петициями и апелляциями. — С этими словами Йоун Мартейнссон встал и начал обыскивать труп. — Неужели ты думаешь, я могу питать какое-нибудь уважение к мертвецу, который при жизни дошел до того, что лишился и чести и поместья? — сказал он.

— А я считаю, что самое малое, чего можно требовать от убийцы, это чтобы он уважительно

отзывался о том, кого убил, — сказал Гриндвикинг. — Во всяком случае, так говорится в древних сагах. Даже самые плохие люди не отзывались плохо о тех, кого они убивали. И хотя этот человек в жизни был врагом моего учителя, ты не заставишь меня сказать что-либо оскорбительное над его прахом. Requiescas, — говорю я, — quis quis es, in pace, amen[179]. И наконец, чтобы приступить к делу: что ты сделал с книгой «Scaldica majora»[180], которую ты украл из библиотеки моего господина?

— «Скальда», — сказал Йоун Мартейнссон. — Она пропала?

— Мой учитель хорошо знает, что никто, кроме тебя, не мог этого сделать, — сказал Гриндвикинг.

— Ни один здравомыслящий человек не стал бы красть эту книгу, любой, у кого ее найдут, будет схвачен, — сказал Йоун Мартейнссон.

— Чего только не украдет сатана, чтобы продать шведам? — спросил Гриндвикинг.

— Мой друг Аурни слишком прост: он думал, что накормит исландцев, нападая на Компанию,

---

[179] Примечания: 179
Покойся в мире, кто бы ты ни был, аминь *(лат.)*.

[180] Примечания: 180
«Старшая скальда» *(лат.)*.

он думал, что уничтожит слухи о Снайфридур, Солнце Исландии, позоря ее близких; он думал, что спасет честь родины, выманивая у голодных дураков Исландии те немногие книги, которые там еще не сгнили, и собирая их в кучу в Копенгагене, где они могут сгореть в одну-единственную ночь. А теперь он думает, что шведы не так хитры, как он. Я тебе вот что скажу: они гораздо хитрее его, они так хитры, что никакая сила на свете не заставит их поверить, что кучка называющих себя исландцами вшивых нищих в богом забытом углу севера, которые, слава богу, скоро вымрут, написали древние саги. Я знаю, Аурни зол на меня за то, что я не бросаю в его пасть любую бумажку, которая может подвернуться мне под руку. Почему бы ему не утешиться тем, что он раздобыл ценнейшие книги? Я всего-навсего только и сделал, что продал несколько не имеющих никакой цены тряпок фон Оксеншерну и дю Бертельшельду, да еще де ля Розенквист просил меня достать родословную, чтобы доказать, что его предки восходят к троллям.

— Тебя все равно будут звать вором «Скальды», хотя в Лунде ее и называют древней сагой вестготов. Говори, где книга, иначе я напишу одному человеку в Арнарфьорде, который знает толк в

волшебных рунах.

— Тогда тебя сожгут, — сказал Йоун Мартейнссон.

К этому времени он нашел в карманах мертвеца почти два далера; рассчитывая найти еще, он положил деньги на окно, которое было плотно закрыто, и начал стаскивать с покойника сапоги. Гриндвикинг понял, как понимал и раньше, что слова мало действуют на Йоуна Мартейнссона, и ограничился тем, что открыл и снова закрыл рот, глядя на него.

Окончив поиски, Йоун Мартейнссон начал натягивать на себя одежду. Вместо того чтобы умыться, он втер в волосы пахучую мазь. В заключение он надел плащ, широкий, как балахон звонаря. В каждый карман он засунул по сапогу Магнуса из Брайдратунги. Потом он достал шляпу. На ней виднелось несколько полузасохших грязных пятен, он поплевал на них, затем вытер рукавом. Пригладил немного волосы на затылке и надел шляпу. У него сильно выдавалась вперед нижняя челюсть, в верхней давно уже не было зубов, и подбородок его все больше стремился к тому, чтобы поцеловать кончик носа. Морщины по обеим щекам спускались к подбородку. Глаза были удивительной силы, и стоило их облада-

телю только выспаться, как они вновь обретали свой блеск. Говорил он всегда ворчливым, по-исландски небрежным тоном.

— Разве ты не сообщишь об утопленнике, парень? — спросил Гриндвикинг, когда Йоун Мартейнссон запер за ними дверь.

— Не к спеху, — ответил тот, — ему еще долго придется лежать. Живым нужно пить. Если вспомню, расскажу им сегодня вечером, что я нашел исландца в канале. Вряд ли они будут торопиться хоронить его.

Затем оба пошли в кабак.

Глава четвертая

Ученые люди в своих книгах много писали о разнообразных знамениях, появлявшихся в Исландии перед чумой. Прежде всего следует назвать голод и неурожай, которые царили во всех частях страны и унесли множество жизней — особенно среди бедняков. Ощущалась острая нехватка в снастях для рыбной ловли. К тому же участились грабежи и воровство, а также кровосмесительные связи, и в южной части страны произошло землетрясение. Случилось много странных вещей. Осенью перед чумой восьми-

десятилетняя женщина в Эйрарбакки вышла замуж за человека, которому было немногим более двадцати, а весной она хотела его бросить impotentiae causa[181]. Семнадцатого мая люди видели семь солнц. Той же весной овца в Баккакоте в Скуррадале принесла ягненка с головой и щетиной свиньи, верхней челюсти у него совсем не было, язык свисал над нижней челюстью, не соединявшейся с черепом, глаз не было и в помине; уши у него были длинные, как у охотничьей собаки. Из головы торчал маленький сосок с отверстием.

Когда ягненок родился, люди ясно слышали, как он сказал: «Могуч дьявол в детях неверия». В зиму перед чумой из монастыря Киркьюбайар распространилась весть о том, что монастырский эконом и еще один человек, идя вечером по кладбищу, слышали, как под ногами у них раздавались стоны. В Кьяларнестинге в воздухе что-то шумело. В Скагафьорде из моря вытащили рыбу-ската. Когда ее бросили в бот, она начала жалобно пищать и биться, а когда на берегу ее резали на части, каждая часть также кричала и жаловалась, и даже мелкие кусочки, когда их

[181] Примечания: 181
По причине бессилия *(лат.)*.

принесли домой, продолжали визжать и ныть, так что пришлось опять побросать их в море. В воздухе вдруг появлялись какие-то люди. В заключение следует упомянуть яйцо, снесенное курицей во Фьядле на Скейдаре, на котором можно было ясно различить темный знак, это был перевернутый знак Сатурна, означающий, что omnium rerum vicissitudo veniet[182].

Когда в страну пришла великая чума, исполнилось ровно тридцать лет со времени последней чумы и пятьдесят со времени предпоследней. Большинство жителей страны старше тридцати лет еще носили на себе следы прошлой чумы, у одних были высохшие руки или ноги, у других выпученные глаза или какие-нибудь увечья лица и головы. Кроме того, большинство людей страдало обычными болезнями бедняков: они были согнуты и скрючены английской болезнью, покрыты рубцами и ранами от проказы, ходили со вздутыми от глистов животами или еле двигались, пожираемые чахоткой. Из-за непрерывного голода мужчины были низкорослые, каждый, кому удавалось вырасти повыше, становился героем народных сказаний и счи-

[182] Примечания: 182
Все переменится *(лат.)*.

тался равным Гуннару из Хлидаренди и другим древним исландцам. Люди верили, что такой может померяться силой даже с неграми, которых иногда привозили датчане на своих кораблях.

На этот народ чума снова обрушила свой бич, на сей раз с небывалой силой, теперь ее можно было сравнить только с черной смертью. Болезнь завезло в страну торговое судно, прибывшее в Эйрарбакки весной, в конце мая; через неделю три хутора в этой: местности совершенно опустели, а на четвертом остался в живых только семилетний ребенок. Коров не доили. Через десять дней сорок человек погибли в этом нищем местечке.

Смерть косила людей. Иногда в маленькой церкви хоронили сразу тридцать человек. В более населенных приходах умирало по двести человек и больше. Чума поражала священников, и богослужения не отправлялись. Многие супруги ложились в могилу в одни и тот же день; некоторые теряли всех своих детей, и бывало так, что в многодетной семье выживал только один слабоумный ребенок. Многие впадали в неистовство или теряли рассудок. В большинстве умирали люди, не достигшие пятидесяти лет, самые молодые, здоровые и сильные, а старики и инвалиды выживали. Одни лишались зрения или

слуха, другие оставались подолгу прикованными к постели. В ту пору епископство в Скаульхольте лишилось своей главы, а эта глава — своей короны, поскольку болезнь унесла яркий светоч веры, друга бедняков — епископа, а через неделю — его богобоязненную и щедрую на милостыню любезную супругу. Они были положены в одну могилу.

Это случилось через два года после того, как его королевское величество послал в эту страну своего чрезвычайного эмиссара с широчайшими полномочиями, дабы по возможности улучшить условия жизни народа. Когда Арнас Арнэус вернулся в Копенгаген, страну постигло несчастье — наш тогдашний властелин и король лежал на смертном одре, и вельможи готовились короновать нового. Простых людей в день коронации угощали на площади перед дворцом супом и жарким, а также пивом и красным вином. В Дании началась новая эпоха. То доброжелательство к Исландии, которое Арнэус за годы своего пребывания при дворе сумел пробудить в его величестве, умерло в Дании вместе с прежним королем. Отчеты Арнэуса о положении в Исландии, так же как и его предложения по улучшению торговли, экономики, судопроизводства и управления страной, встречали холодный прием в

канцелярии, вряд ли их даже читали. Всем было известно, что новый король стремился к более славным делам, нежели забота об исландцах. Настало время снова начать войну со шведами. Чиновники были заинтересованы только в сохранении своих постов после вступления на престол молодого короля. Забота об Исландии давно уже никому не приносила славы, — и вообще мало кого из добрых датчан привлекала эта отдаленная часть Дании, одно название которой вызывало отвращение у копенгагенцев, хотя именно оттуда текла ворвань, нужная для освещения города.

Об исландцах можно сказать, что хотя преступники в этой стране были друзьями Арнэуса (правда, не все, даже не все клейменые, чье клеймение он признал несправедливым) и хотя многие бедняки с радостью приветствовали штрафы за поставку червивой муки, наложенные на купцов его стараниями, а также присланное в Исландию зерно, которое ему удалось выжать из казны, и хотя многие были ему благодарны за то, что он пожелал довести до всемилостивейшего сердца его величества их прошения о снастях для рыбной ловли, ковком железе и вине для причастия, а также о снижении цен, каковые прошения губернатор семь лет держал под сукном, — все же

вражда высокопоставленных лиц к Арнэусу на его родине была отнюдь не меньше, чем в Дании. После того как купцы увезли Магнуса Сигурдссона из Брайдратунги в Копенгаген и в течение двух лет раздували его дело, чтобы отомстить Арнэусу, поползли слухи, что исландские судьи готовят против него процесс с целью отменить его приговоры в альтинге — так называемые эмиссарские приговоры, — вернуть себе имущество, отнятое у них в силу этих приговоров, а также восстановить свою честь, которой их лишили опять-таки в силу этих приговоров.

Этот книжник, который на некоторое время оторвался от книг, повинуясь своему призванию — во имя справедливости стать ангелом-хранителем своей родины, — пожинал теперь, что посеял, получая ту же награду, что и бессмертный Рыцарь Печального Образа. Для человека, послушного этому призванию, нет больше возврата к книге, которая когда-то была для него всем. И потому в то утро, когда ему сообщили об исчезновении той книги, которая была жемчужиной среди всех его книг, он, бледный от бессонницы, опустился на скамью и произнес только:

— Я устал.

Он долго сидел так после ухода Гриндвикинга,

впав в дремоту. Наконец он пришел в себя и поднялся. Он не раздевался ночью, вернувшись с пира королевы. Теперь он умылся, привел себя в порядок, сменил одежду. Он приказал кучеру заложить коляску и уехал.

Глава пятая

Арнэус часто заглядывал в канцелярию, чтобы следить за ходом дела, поскольку он был посредником во множестве вопросов, касавшихся исландцев.

Государственный советник, занимавшийся исландскими делами, вызвал к себе в канцелярию брадобрея, но часто во время бритья вставал, чтобы полакомиться вареньем из банки, стоявшей на столе среди присланных из Исландии бумаг — копий приговоров к наказанию плетьми, клеймению и повешению. В комнате стоял удушливый запах парикмахерских снадобий.

Когда профессор antiquitatum Danicarum открыл дверь, государственный советник бросил на него взгляд из-под ножа и сказал «мин херрё» не то на немецком, не то на нижненемецком наречии и указал гостю на стул. Затем он продолжал по-датски:

— Говорят, что в Исландии много красивых девушек.

— Да, ваша милость, — ответил Арнас Арнэус.

— Хотя говорят, что кожа их пахнет рыбьим жиром, — сказал главный чиновник по делам Исландии.

— Я никогда об этом не слышал, — промолвил Арнас Арнэус и вынул короткую глиняную трубку.

— В книгах пишут, что там нет ни одной невинной девушки, — продолжал государственный советник.

— Где об этом написано? — спросил профессор antiquitatum Danicarum.

— Это говорит превосходный автор Блефкен[183].

— Должно быть, это какое-то заблуждение известного автора, — сказал Арнэус. — У знаменитейших авторов можно прочесть, что исландские девушки считаются невинными, пока не родят седьмого ребенка, ваша милость.

---

[183] Примечания: 183

Блефкен издал в 1607 г. в Лейдене книгу, написанную по-латыни и рассказывающую различные небылицы, о том, что якобы происходит в Исландии: что люди там живут до 150 лет и т. п. В 1612 г. исландский пастор и ученый Арнгрим Йоунссон (1568–1648) написал произведение, в котором пункт за пунктом опроверг все утверждения Блефкена, однако за границей Блефкен еще долгой время считался знатоком Исландии. *(Прим. Л. Г.).*

Государственный советник сидел неподвижно, как мертвый, пока ему брили кадык.

Когда эта операция была закончена, он поднялся со стула, но не для того, чтобы съесть варенья, а чтобы выразить свое глубокое недовольство ходом одного дела:

Хотя нам с вами не удается достичь единства по большинству вопросов, касающихся Исландии, я не могу отрицать одного: мне непонятно, как честный суд может осудить такого высокородного человека за то, что он спал с бесстыдной женщиной. Das ist eine Schweinerei[184]. Вот тут у меня документы по одному позапрошлогоднему делу: исландскую девушку в Кеблевиге изнасиловали двое немцев. Когда фугт присудил их к уплате штрафа и к наказанию плетьми, мать девушки рыдала и просила бога поразить судью огнем.

Арнас Арнэус закурил.

— Мое мнение таково, — веско сказал государственный советник, сидя под ножом. — Если почтенным, высокородным мужчинам нельзя иметь любовниц, замужних или незамужних, то к чему тогда жить? Нельзя же требовать, чтобы

---

[184] Примечания: 184
Это свинство *(нем.)*.

человек был verliebt[185] в свою жену. Милостивый государь, вы изучали классиков и лучше меня знаете, что древним это было чуждо: жену они держали по долгу, любовницу из потребности, а для удовольствия — мальчика.

Профессор antiquitatum Danicarum удобно откинулся на стуле, он наблюдал за колечками дыма из своей трубки, и лицо его выражало полное спокойствие.

— Да-а, а что скажет брадобрей? — спросил он.

— Будучи простым горожанином, брадобрей не ведает о подобных дурных нравах, — сказал государственный советник. — Как раз перед тем как вы, милостивый государь, вошли в дверь, он рассказывал такую новость: нашего всемилостивейшего монарха сегодня утром видели в «Золотом льве» — доме, пользующемся дурной репутацией, где он вместе с сопровождавшими его кавалерами учинил дебош, который окончился дракой со сторожами.

— Этого я никогда бы не сказал в присутствии двух свидетелей, — заявил брадобрей. — Но когда ваша милость спросили меня о новостях, а случаю было угодно, чтобы я как раз пришел

---

[185] Примечания: 185
Влюблен *(нем.)*.

от барона, где находились два сильно пьяных генерал-лейтенанта, которые были в упомянутом доме и вместе с его величеством дрались со сторожами, то… простите меня, ваша милость, если я бываю в домах высокопоставленных лиц, как же моим ушам не научиться понимать по-немецки?

— Дайте благовония и помаду, — сказал государственный советник.

Брадобрей замолчал, отвесил очень искусный поклон, открыл банки с благовониями и стал опрыскивать ими государственного советника.

Арнэус все сидел на своем стуле и курил, пока брадобрей опрыскивал государственного советника и натирал мазями.

— Переменим тему, — сказал он и перешел прямо к делу, продолжая наблюдать за дымом из своей трубки. — Прибыли ли на корабле в Хольмен веревки для снастей, о которых я говорил с вами в последний раз?

— Почему король всегда должен беспокоиться о том, чтобы добыть этим людям все больше и больше веревок? Тут лежит еще одно прошение о веревках. Зачем исландцам столько веревок?

— Да, я слышал, что прошение к королю, которое я в позапрошлом году обнаружил у Гюльденлеве, пролежав у него семь лет, наконец

попало сюда.

— Мы не желаем, чтобы исландцы ловили больше рыбы, чем нам нужно. Когда мы снова будем воевать со шведами, они получат больше веревок и даже крючки в придачу.

— Ваша милость предпочитает, чтобы король покупал зерно для народа в неурожайный год, но не разрешал этому народу ловить рыбу?

— Я никогда этого не говорил, — сказал государственный советник. — Я считаю, что в Исландии у нас никогда не было достаточно твердой власти, чтобы раз и навсегда покончить с бродящей по стране распущенной сволочью и чтобы позволить тем немногим порядочным людям, которые там есть, не боясь нищих и воров, беспрепятственно ловить рыбу, нужную Компании, и добывать ворвань, нужную Копенгагену.

— Могу я сообщить это альтингу от имени вашей милости?

— Вы можете здесь, в канцелярии, клеветать на нас перед лицом исландцев, сколько вам заблагорассудится. Безразлично, что говорят или думают исландцы. Никто лучше вас, милостивый государь, не знает, что исландцы — бесчестный народ. Разрешите предложить вам, высокородный господин, варенья?

— Благодарю, ваша милость, — сказал Арнас Арнэус. — Но если мой народ лишился чести, то к чему мне варенье?

— Ни один человек, когда-либо посланный в Исландию королем, не лишал этого народа чести в такой степени, как вы, милостивый государь.

— Я стремился к тому, чтобы исландцы пользовались законом и правом, — сказал Арнас Арнэус.

— Ах, не все ли равно, по каким законам судят исландцев? Канцелярия имеет доказательства, что это плохой народ, все его лучшие представители в древние времена поубивали друг друга, пока не осталась кучка попрошаек, воров, прокаженных, завшивевших и пьяниц.

Арнэус продолжал курить с отсутствующим выражением лица, он тихонько бормотал про себя латинские слова, как бы в рассеянности цитируя строки стихотворения:

— Non facile emergunt quorum virtutibus obstat res angusta domi[186].

— Да, я знаю, что в Исландии не найдется ни одного нищего священника, не знающего на-

---

[186] Примечания: 186

Трудно выбиться тем, чьим доблестям служит преградой скудость дома родного *(лат.)*.
Стих из Ювенала, Сатиры, III, 164–165. (Прим. Л. Г.).

изусть «Donat» и днем и ночью не призывающего классиков в свидетели. Их прошения к его величеству до такой степени напичканы ненужной ученостью, что сам черт не поймет, что нужна-то им всего-навсего веревка. По-моему, человеку, у которого нет веревки, не нужна латынь. Вернусь к тому, что я хотел сказать: немногих порядочных людей, еще оставшихся в Исландии, вы лишили доброго имени, подобно старому честному Эйдалину; он был верен своему королю, а вы сделали его на старости лет бесчестным нищим, и это свело его в могилу.

— Это правда, мой приезд туда привел к тому, что некоторые исландцы — сторонники короля — лишились чести, зато беззащитные вновь обрели свою честь. Если бы народ умел удерживать выигранную победу, ему не пришлось бы в будущем так трепетать перед властями и бояться за свою жизнь.

— И все же вы, милостивый государь, недовольны. Помимо всего прочего, вы принялись различными высосанными из пальца процессами преследовать даже благодетелей острова, честных датских граждан, благочестивых купцов, подвергающих свою жизнь опасности, ради того чтобы привезти этому народу все необхо-

димое для жизни, многие из них погибают в пучинах моря, окружающего эту пустынную страну. Распространяется клевета, — и главный ее источник — вы, — будто бы цель торговли с исландцами — получение прибыли. Простите нас, милостивый государь, за то, что мы, будучи лучше осведомлены, придерживаемся другого мнения. Мы, датчане, всегда вели торговлю с исландцами только из чувства сострадания. И когда его величество взял себе монопольное право на исландскую торговлю, то исключительно ради того, чтобы воспрепятствовать иностранцам держать в экономическом угнетении этот нищий народ.

Пока государственный советник говорил, брадобрей продолжал натирать его лицо одной мазью за другой, гость же сидел, чувствуя себя в высшей степени удобно, и, покуривая, наблюдал за процедурой.

— Это правда, — сказал он наконец своим спокойным голосом, почти равнодушно, — в старые времена цены гамбуржцев не всегда считались выгодными в Исландии. Однако знающие люди полагают, что положение с тех пор не улучшилось, а скорее ухудшилось, — как при благочестивых купцах из Хельсингёра, так и при Компании.

А что касается господ коллег и компаньонов по исландской торговле, то излишне сожалеть об их судьбе, поскольку они держат в своей свите тех исландцев, которых особенно ценят.

— Мы не держим ни в свите, ни на службе никаких особых исландцев, которых мы предпочитали бы другим, мы стремимся быть верными слугами и истинными помощниками всего острова.

— Гм, — заметил Арнас Арнэус. — Йоуну Мартейнссону сейчас хорошо живется.

— Йоун Мортенсен, — произнес государственный советник. — Я никогда не слышал этого имени.

— Датчане не знают, о ком речь, когда называешь его имя, — сказал Арнас Арнэус. — Но он — единственный исландец, к которому они находят путь. Некоторые другие нации — тоже.

— Разве в датских книгах сказано, что исландцы ведут свой род от предателей родины и морских разбойников, если не от ирландских рабов, — это, очевидно, написано в ваших собственных книгах, — сказал государственный советник, откинувшись еще удобнее и наслаждаясь притираниями. — Но что у вас на сердце, милостивый государь?

— Мне предложили быть штатгальтером Исландии, — сказал Арнас Арнэус.

— Парикмахер, — сказал государственный советник, с трудом поднимаясь. — Довольно! Убери свои мази! От них воняет. Убирайся! Чего ты ждешь? Для кого ты шпионишь?

Брадобрей испугался, поспешно обтер государственного советника, сложил свои банки и все время кланялся, заверяя, что он простой человек, который ничего не слышал и не видел, а если бы даже и хотел слышать, то ничего бы не понял. Когда он исчез, пятясь задом, государственный советник поднялся со стула, повернулся к спокойно и упрямо сидевшему профессору датской древней истории и спросил наконец, что за новость сообщил ему гость.

— Что вы сказали, мосье?

— По-моему, я ничего особенного не сказал, — ответил Арнас Арнэус. — Мы говорили о Йоуне Мартейнссоне, поверенном исландских купцов, великом победителе.

— Что вы сказали о штатгальтере? Кто будет штатгальтером и чьим?

— Вашей милости это известно лучше, чем мне, — ответил Арнас Арнэус.

— Я ничего не знаю, — крикнул государствен-

ный советник, стоя посреди комнаты.

Поскольку Арнас Арнэус явно не собирался больше говорить, что еще больше разожгло любопытство высокопоставленного вельможи, он всплеснул руками, выражая сочувствие себе самому.

— Я ничего не знаю, — повторил он. — Мы в канцелярии никогда ничего не знаем. Все совершается в государственном совете и в германском военном совете или в спальне королевы. Мы даже не получаем жалованья. Я ежегодно выкидываю пятнадцать — шестнадцать сотен риксдалеров на свое содержание и за три года не получил от короля и гроша ломаного. Нас обманывают, за нашими спинами в городе плетутся всевозможные козни. Могу себе представить, что однажды утром, проснувшись, мы узнаем, что король продал нас.

— Как известно вашей милости, его величество неоднократно пытался продать и заложить пресловутый остров Исландию, — сказал Арнас Арнэус. — Так, например, он дважды за десятилетие посылал с таким поручением посла к английскому королю, об этом свидетельствуют документы. Богатый гамбуржец Уффелен сообщил мне вчера, что наш всемилостивейший

король еще раз по доброте сердца решил продать эту богом забытую страну.

При этой новости государственный советник рухнул на стул. Он сидел, уставясь глазами в одну точку перед собой. Затем простонал в глубокой печали:

— Это произвол, обман, черное дело.

Арнас Арнэус продолжал курить. Наконец государственному советнику удалось собрать силы и подняться. Он вынул из поставца бутылку и налил вино в бокалы — себе и гостю. Проглотив вино, он сказал:

— Я позволяю себе усомниться в праве короля продать страну без ведома канцелярии. Это означало бы украсть страну, и не только у канцелярии, но и у Компании. А что говорит казначейство? Или Гюльденлеве, губернатор?

— Вашей милости должно быть известно, — возразил Арнас Арнэус, — что после поражения папы и введения лютеранского вероисповедания король стал владельцем всей церковной собственности в своем государстве. Все крупные земельные угодья в Исландии и тысячи мелких отошли к нему. Еще один указ — и все оставшиеся владения перейдут в его собственность. А что наш всемилостивейший король делает со

своей собственностью, это никого не касается. И разве не свалился бы тяжелый груз с высокой канцелярии, если бы ее совесть была освобождена от забот об этой жалкой, богом проклятой стране? Купцам больше не пришлось бы погибать на опасных морских путях. И Компании не пришлось бы из милосердия заботиться о моем народе, пребывающем в нужде.

Государственный советник начинал беситься. Он остановился перед своим гостем, поднес дрожащий кулак к его лицу и сказал:

— Это опять ваша проклятая хитрость, обман, козни, удар в спину. Вы ввели короля в заблуждение. Нет такого датского советника и министра, который посоветовал бы королю продать Исландию по той простой причине, что, сколь высока ни была бы цена, путем разумной торговли он смог бы со временем получить большую выгоду от этой страны.

— Нужно прежде всего покрывать наиболее жгучие потребности, — сказал Арнас Арнэус. — Нужно устраивать маскарады, а это стоит денег. Хороший маскарад поглощает годовое обложение всех исландских монастырей, ваша милость. Кроме того, его величество будет теперь воевать со шведами, чтобы возвысить славу Дании, это

тоже стоит денег.

— А сами исландцы? — уныло спросил государственный советник, колеблясь между гневом и страхом. — Что говорят они?

— Исландцы, — сказал Арнэус. — А кто же спрашивает бесчестный народ? Их единственная задача заключается в том, чтобы сохранить в памяти свою историю до лучших времен.

— Да извинит меня ваша милость, — сказал наконец государственный советник, — но в городе меня ждут важные дела. Я нашел себе новую наложницу. Может быть, вы, милостивый государь, проедетесь со мной немного?

Арнас Арнэус встал, кончив курить.

— Моя коляска меня ждет, — сказал он.

— Да, кстати, о грузе веревок на корабле в Хольмен, — сказал государственный советник, надевая плащ, — я расследую это дело. Канцелярия всегда готова рассмотреть прошения исландцев о ковком железе, вине для причастия и веревках. Может быть, в этом году удастся послать больше кораблей, чем в прошлом.

Глава шестая

В первую весну после чумы на альтинг приехало так мало народу, что приговоры не выносились. Из многих округ ни один человек не явился на тинг, приходилось откладывать казнь преступников, поскольку палачи-христиане тоже погибли от чумы, а ненадежных мошенников, предлагавших свои услуги, чтобы отрубать головы мужчинам и топить женщин ради собственного удовольствия, не допускали к реке, носившей название Топора правосудия[187]. И все же на тинге была казнена Хальфридур из Мюлатинга, родившая ребенка от того самого Ульвара, который был казнен в прошлом году. Дело в том, что на альтинг из Мюлатинга прибыл только один человек, приведший с собой Хальфридур, и он наотрез отказался тащить ее живой обратно через всю страну, через множество рек. Тогда добрые люди собрались с силами и утопили женщину в пруду.

Теперь наша повесть возвращается к старому Йоуну Хреггвидссону, жившему на своем хуто-

---

[187] Примечания: 187
Топор правосудия. — Эхсарау — Река Топора *(исл.). (Прим. Л. Г.).*

ре в Рейне. Нет ничего удивительного, что он в это время тоже отложил попытку добиться нового вызова в верховный суд, как это было ему предписано эмиссарским судом. Его голова была занята другими делами. А те немногие представители власти, которые не умерли и не были похоронены, тоже были заняты не Йоуном Хреггвидссоном, а чем-то другим. Годы шли. Но когда мор прекратился и людям стало немного легче, до Йоуна дошел слух, что высшие власти, пришедшие на смену умершим, как будто не совсем забыли его старое дело. В стране никто не сомневался, что должность эмиссара была совершенно особой, он был поставлен судьей над судьями, и его приговоры обжалованию не подлежали. Те, кого он осудил, не питали надежды на помилование. А с теми, кого он оправдал, не могло случиться ничего плохого. Но когда он закончил свою миссию, оказалось, что легче установить, кто осужден, чем кто оправдан. Оправданные исчезли. Оправдание их не имело никаких последствий. Человек, унизивший высокопоставленных, чтобы поднять униженных, не получал никаких доказательств народной благодарности. Напротив того: люди горевали об унижении и падении судьи Эйдалина.

Йоун Хреггвидссон был одним из тех, кто вернулся домой в полной растерянности после приговора эмиссарского суда на Эхсарау[188] весной перед чумой. Он был одновременно оправдан и осужден. Его дело, несомненно, явилось причиной серьезнейших обвинений против Эйдалина, и ничто не сыграло такой большой роли в падении судьи, как смертный приговор, давным-давно вынесенный этому человеку на основании доказательств, которые в лучшем случае можно было назвать подозрениями. Однако эмиссару не удалось доказать обвинение Эйдалина в том, что тот шестнадцать лет назад вступил в сговор с Йоуном Хреггвидссоном не оглашать на альтинге вызов в верховный суд, который он привез с собой из Копенгагена. Никаких свидетельских показаний о таком сговоре не было, и Йоуну — бедному крестьянину-арендатору — было вменено в обязанность получить новый вызов в верховный суд и просить заново пересмотреть свое старое дело.

Когда Эйдалин пал, а чума лишила Скаульхольт его украшения и чести, поскольку епископ и его супруга — дочь судьи — скончались и, кроме того,

---

[188] Примечания: 188
Эхсарау — см. прим. 187.

исчезли и другие важные лица, которые, возможно, захотели бы продолжать процесс, Йоун Хреггвидссон подумал, что вряд ли кто посетует на него за то, что он медлит с новым вызовом. Но дело обернулось иначе, чем он себе представлял.

На другую весну после чумы можно было снова созвать тинг на Эхсарау, вновь было достаточно людей, чтобы казнить преступников и составить новую петицию королю. Председательствовали на альтинге тогда заместитель главного судьи и окружной судья Йоун Эйольфссон и ландфугт Бейер из Бессастадира.

Тинг подходил к концу, и ничто не указывало на то, что будет пересматриваться старое дело. Весна была суровая, холодная, и те немногие члены суда, которые взяли на себя труд ехать на тинг через наполовину вымершие поселки, где немногие выжившие еще ходили, шатаясь, после перенесенного тяжелого удара, были измучены и подавлены. Но однажды ночью, незадолго до конца тинга, когда члены его уже забрались под свои овечьи шкуры, в Тингведлир прискакал незваный гость. Это была женщина. Она ехала верхом в сопровождении трех слуг и множества коней через каменистую пустыню Кальдидаль, образующую границу между двумя частями стра-

ны. Эта женщина сошла с коня у дома окружного судьи и сразу же направилась к ландфугту Бейеру. После того как она пробыла там некоторое время, Бейер послал за окружным судьей. Его разбудили, и он направился к дому Бейера. Никаких свидетелей того, что говорилось на этой встрече, не было. Вскоре после этого неизвестная женщина ускакала из Тингведлира.

В ту же ночь были разбужены двое слуг окружного судьи: их послали с письмом на запад в Скаги, чтобы они нашли крестьянина Йоуна Хреггвидссона из Рейна и привезли его с собой на тинг.

На другой день после этого довольно жалкий суд начал рассматривать дело крестьянина-арендатора в этом злосчастном месте — Тингведлире на Эхсарау. Здесь даже дом ландфугта совсем развалился, как будто королевская власть более не считала нужным поддерживать чиновный блеск в Исландии с ее непогодой, бурями и градом, постоянными спутниками исландцев — этих скрюченных и вымирающих уродцев в человеческом образе. Исландская непогода — это мельница, смалывающая все, кроме базальтовых скал, съедающая и доводящая до гниения все, созданное рукой человека, лишающая все не только

цвета, но и формы. Резные ставни на окнах этого королевского здания были либо сломаны, либо разбиты, все железные предметы заржавели, двери рассохлись и покосились, оконные рамы были сорваны с петель, стекла повылетели, королевский герб почти стерся. А датский ландфугт Бейер был мертвецки пьян каждый день в течение всего тинга.

Исландский верховный суд заседал в ветхой лачуге, которая когда-то называлась домом правосудия. Земля, осыпавшаяся с торфяных стен на жалкий дощатый пол, никем не убиралась. По этому полу, хромая, шел Йоун Хреггвидссон из Рейна, седой, стонущий, с одышкой.

Заместитель главного судьи Йоун Эйольфссон спросил, как это получилось, что он не выполнил обязательства, возложенного на него два года назад особым королевским судом на Эхсарау, и не передал свое дело в верховный суд.

Йоун Хреггвидссон снял свою вязаную шапчонку, и все увидели его белые волосы. Он стоял, смиренно склонясь перед судьями, не осмеливаясь взглянуть на них. Он сказал, что он старый человек, которому изменяют и зрение и слух, которого мучит подагра, и что те небольшие умственные способности, которые были у него

в молодости, теперь совсем пропали. Ввиду того что он не в состоянии защищаться, он просил назначить ему защитника. На эту просьбу не обратили никакого внимания, но занесли ее в протокол и быстро перешли к следующему делу, поскольку был последний день тинга и надо было пропустить как можно больше дел, пока судьи не напьются, что неизменно случалось каждый день после полудня. Йоун Хреггвидссон решил, что на этом тинге его дело больше слушаться не будет, сел на своего одра и поехал к северу вдоль Леггьяброут домой. Когда снова нашлось время для его дела, он исчез. Тогда дело начали слушать в его отсутствие, без всякого соблюдения судебных норм, и приговор гласил: поскольку этот Йоун известен своим дурным и непристойным поведением, поскольку он, будучи обвинен в убийстве, тем не менее не передал по назначению двух охранных грамот королевского величества и грамоты о представлении ему отпуска королевской милицией, а также не предъявил прежнего вызова в верховный суд и, наконец, не удосужился получить новый, как это было предписано ему приговором эмиссарского суда; поскольку он ушел с тинга, не желая в силу своей виновности отвечать по своему делу, следует указанного

Йоуна Хреггвидссона схватить и отдать под надзор окружного судьи в Тверотинге и в то же лето, как только это станет возможным, отправить на копенгагенском корабле в каторжную тюрьму Бремерхольм, где заставить работать на каторжных работах в крепости. Половину же его имущества передать в собственность его королевского величества.

Глава седьмая

Йоун Хреггвидссон в подштанниках косил траву у себя на лугу в Рейне, как вдруг показались два всадника, скакавшие к нему по нескошенной траве. Крестьянин перестал косить, бросился им навстречу, занеся косу и грозя их убить за то, что они топчут траву. Выбежала и его злая собака. Но всадники не испугались. Они сказали, что их послал судья в Скаги, дабы схватить его. Тогда он воткнул косу в землю, подошел к ним и протянул им обе сложенные вместе руки.

— Я готов, — проговорил он.

Они сказали, что пока не собираются заковывать его в кандалы.

— Чего же вы ждете? — спросил он, поскольку приехавшие не торопились, как это было приня-

то в стране, и спокойно стояли на лугу.

— Что же ты, так и поедешь в подштанниках? — сказали они.

— Это мое дело, — ответил он. — На какой лошади мне ехать?

— Ты не простишься с домашними?

— Это не ваше дело. Поехали!

Это был совсем другой человек, не похожий на того, который стоял согнувшись, дрожа, тяжело вздыхая, почти плача перед судьями в альтинге.

И он вскочил на лошадь, которую они привели с собой. Собака укусила лошадь за ногу.

— Мы не собираемся тебя похищать, — заявил старший из приехавших и сказал, что они поедут на хутор и объяснят свое дело родственникам крестьянина.

Хутор приютился у подножья горы, его окошко, как глаз, выглядывало из толстой, поросшей травой торфяной стены. Перед низенькой дверью, в которую можно было войти только согнувшись, был каменный порог. Из дымохода шел дым. Жена Йоуна давно умерла. Дурачка тоже давно не было в живых, и люди считали, что убил его отец. Прокаженные давным-давно скончались, и на хуторе больше некому было славить бога. Но у Йоуна, когда он был за границей, родилась другая

дочь вместо умершей. Теперь девушка вышла из кухни и остановилась на пороге. Она была почти уже невеста — лицо ее было в саже и покрыто рубцами от оспы. У нее были темные брови и ресницы, а блеск черных глаз напоминал отца. Она стояла загорелая, босая, в короткой рубашке, из-под которой виднелись широкие колени, ее одежду украшала зола, куски сухого овечьего помета и иголки можжевельника.

Старший сказал:

— Мы получили приказ взять твоего отца и отвезти его на корабль в Улафсвик.

Собака забеспокоилась, шерсть на ней поднялась дыбом, и она, тявкая, помочилась на стену.

— Лучше бы вас убили, — ответила девушка. — Разве вы не видите, что это старый человек с седыми волосами.

— Молчи, девчонка, — сказал Йоун Хрегг-видссон.

— Отец, ты не наденешь штаны?

— Нет, но принеси мне веревку.

Она знала, где он прятал веревку, и через некоторое время вернулась с великолепным куском этого сокровища. Всадники взирали на это с удивлением. Она принесла также плащ, доходивший ему до ляжек, он сумел надеть его, сидя

на лошади, а затем быстрыми движениями рук несколько раз обвязал себя веревкой вокруг пояса. Дочь смотрела на него. Он завязал веревку узлом и был готов.

— Отец, что мне делать, когда ты уедешь? — спросила девушка.

— Запри собаку, — сердито сказал он.

Она позвала собаку, но та, почуяв, что ее хотят обмануть, не подходила к хозяйке и поджала хвост. Девушка попыталась поймать собаку, но та выбежала на луг, зажав хвост между ног.

— Я убью тебя, Коль, если ты не остановишься, — крикнула девушка.

Собака легла и задрожала. Девушка подошла, схватила визжащую собаку за загривок, потащила ее к сараю, бросила туда и заперла. Когда она обернулась, всадники уже уехали.

— Прощай, отец! — крикнула она, но Йоун не слышал.

Всадники ровной рысью ехали по тропе, ее отец ехал впереди, болтая ногами. Работавшие на лугу люди бросали работу и молча наблюдали, как увозили Йоуна.

Они переночевали в Андакиле у деревенского старосты и заперли арестанта в сарай. Вечером они захотели поговорить с ним, но он сказал, что

уже стар и что люди ему надоели. Он сожалел, что не все люди погибли от чумы.

Его спросили, не знает ли он рим.

— Не для того, чтобы веселить других, — ответил он.

На следующий день они спозаранку отправились дальше. Они держали путь на запад, через Мюрар, Снефелльснес и Фроудархейди к Улафсвику. Когда они прибыли туда поздно ночью, пошел дождь. В гавани стоял торговый корабль. Они сошли с коней, поговорили со слугами купца, показали свои грамоты и послали за капитаном. Тот заставил себя долго ждать и, придя, спросил, чего они хотят. Они ответили, что они посланы судьей из Тверотинги и везут преступника, которого нужно отправить на каторжные работы в Бремерхольм, и передали капитану письмо судьи. Шкипер был большой, толстый человек, читать он не умел, но позвал людей, которые прочитали ему написанное. Тогда он спросил: где же приговор суда?

Этого они не знали.

Датчанин указал на Йоуна Хреггвидссона и спросил хриплым и злым голосом:

— Что сделал этот человек?

— Он убил королевского палача, — ответили

сопровождавшие.

— Этот старик? — удивился датчанин. — Где это написано?

Они ответили, что, по-видимому, все это написано в письме судьи. Но, как ни читали письмо, там не было сказано ничего, что подтверждало бы это. Датчанин заявил, что ни один судья в Исландии не может заставить его брать на корабль людей, совершающих увеселительную прогулку.

— Что такое увеселительная прогулка? — спросили сопровождавшие.

Капитан объяснил, что когда исландец плавает на его корабле, причем нельзя доказать, что он вор или убийца, то это он называет увеселительной прогулкой. Другое дело, сказал он, если у этого человека есть судебный приговор с печатью, приложенной к нему чиновниками из Бессестеда[189], и гарантия приходской кассы, что за перевозку будет уплачено. Что же касается старика, которого они сюда притащили, то нигде ни слова не сказано о том, что он украл хотя бы овцу, и еще меньше о том, что он убил человека.

Шкипера поколебать было невозможно. Он соглашался принять человека только на том

---

[189] Примечания: 189

Бессестед — датское название Бессастадира. *(Прим. Л. Г.).*

условии, что сопровождающие сначала съездят в Бессастадир и привезут соответствующий документ. И он ушел.

От Улафсвика до Бессастадира три полных дня пути, поэтому стражники решили обратиться к высшим властям округи Снефелльснес, в которой они находились, и, если удастся, получить от них доказательство, что человек, которого они везут с собой, осужден альтингом. Они стали искать ночлега в Улафсвике, но в Снефелльснесе царила нужда, гостеприимство могли оказать им только в тех малочисленных домах, где в кладовой имелись рыба и масло. Многие же хутора совсем обезлюдели после чумы, все их обитатели погибли и были похоронены.

Только у Компании в Снефелльснесе был деревянный дом, а не землянка. Дом, как правило, стоял пустой, с закрытыми ставнями, за исключением нескольких летних недель, когда велась торговля. Стражники Йоуна Хреггвидссона послали за купцом и спросили, не примет ли он на ночлег арестанта и двух человек. Купец ответил, что датчане не обязаны давать приют исландцам, если не доказано, что они преступники. В данном случае такого доказательства не было. Они явно глупцы и лжецы и пусть сами о себе позаботят-

ся. Они спросили, нельзя ли сунуть арестанта в какую-нибудь лачугу или сарай, поскольку идет дождь. Купец ответил, что у исландцев в обычае отправлять свои нужды — большие и малые — там, где они находятся. Кроме того, они оставляют после себя вшей, и такой народ нельзя пускать в датские сараи. С тем купец и ушел, но добрый датский батрак дал исландцам жевательного табаку, так как еды у них не было. Время было позднее. Вскоре капитан отправился на корабль спать. Дом купца был заперт. Стражники посовещались на каменной площадке перед лавкой купца. Арестант стоял неподалеку от них, опоясанный своей веревкой, вязаная шапчонка на его седых волосах промокла насквозь. Перед лавкой лежал большой камень с железным крюком, к которому привязывают лошадей. Наконец стражники повернулись к арестанту, дали ему знак подойти к камню и сказали:

— Здесь мы хотим тебя привязать.

Они сняли со старика веревку, связали его по рукам и ногам, а свободным концом привязали к железному крюку и ушли. Когда они ушли, крестьянин прислонился к камню с подветренной стороны, но не пытался отвязаться, хотя это было бы не трудно, поскольку его путы носили скорее

символический характер. Он уже не был таким отчаянным беглецом, как двадцать лет назад, и по ночам ему уже не снилось, будто он спит с женщинами-троллями. Сон свалил усталого человека тут же, у камня, перед домом датчанина. А пока он спал у камня под дождем, его посетил теплый и добрый вестник, подобно тому, как в книгах рассказывается об ангелах, приходящих к связанным людям сквозь стену; он дышал ему в бороду и лизнул его закрытые глаза. Это была собака.

— Ах, ты прибежала сюда, дьявол, — сказал Йоун, а мокрая собака все прыгала на него, виляла хвостом и, повизгивая, лизала его в лицо. Он был связан и не мог отогнать ее.

— Ты сожрала жеребенка, дьявол, — сказал Йоун Хреггвидссон, а ничего худшего нельзя сказать о собаке. Но собаке это было безразлично. Наконец она начала бегать вокруг камня, к которому был привязан человек.

Утром человек все еще спал, прижавшись к камню, а собака — прижавшись к человеку. Между тем люди и собаки проснулись и пришли в движение. Высокомерные датчане вышли на крыльцо, довольные и сытые после завтрака и утренней рюмки водки, а жалкие потомки

викингов Олафа[190] слонялись возле дома, низкорослые, вислозадые и оборванные. Они равнодушно смотрели на собаку и человека. Один знал пленника и его род, другой не мог удержаться, чтобы не заговорить о веревке, которой он был привязан, оба говорили хриплым визгливым фальцетом, непохожим на человеческий голос. Датчане, стоявшие в дверях дома, отпускали шутки и зычно хохотали.

Стражников нигде нельзя было найти, и их местопребывание было покрыто тайной. Вскоре датчане отправились по своим делам, а исландцы все еще стояли, лениво наблюдая за человеком и собакой. Они были так же далеки от мысли подойти поближе и отвязать человека, как никому не может прийти в голову мысль освободить волка Фенриса[191] или взяться за какое-нибудь другое занятие, которое под силу только богам. Зато датчанин-приказчик в лавке хотел освобо-

---

[190] Примечания: 190

Викинги Олафа — викинги норвежского конунга Олафа Трюгвасона (994–1000), которые в X в. переселились из Норвегии в Исландию. *(Прим. Л. Г.).*

[191] Примечания: 191

Волк Фенрис, или Фенрир — по скандинавской мифологии, чудовищный волк, сын бога огня Локи. Одину предсказали, что Фенрир проглотит солнце, и тогда боги, обманув волка, связали его особыми путами. Когда волк порвет свои путы, начнется гибель богов — конец мира. *(Прим. Л. Г.).*

дить человека, чтобы сыграть шутку с властями и посмотреть, как он побежит, но когда он подошел поближе, собака оскалилась, показав, что будет защищать и человека, и связывающие его узы. На корабль начали грузить сушеную треску, доставленную крестьянами, и люди перестали интересоваться привязанным к камню убийцей. Только одна бедная женщина подошла к нему и поднесла к его рту плошку с молоком, а собаке дала кусок сухой и сморщенной рыбьей кожи, ради бога милосердного.

Поздно вечером погрузка прекратилась, корабль был готов к отплытию. Стражники вернулись и развязали крестьянина. Они все стояли у стены лавки в Улафсвике в надежде, что получат какую-нибудь бумагу от какого-либо представителя королевской власти, которую признает капитан, ибо накануне ночью они послали нарочного к судье в Снефелльснес с просьбой выдать документ, удостоверяющий, что Йоун Хреггвидссон преступник.

В полночь собака арестанта залаяла, немного погодя послышался стук копыт большого отряда всадников. Стражники вытянулись в надежде, что прибыл судья. Но на каменную площадку въехала знатная женщина в темном платье и

в надвинутом на глаза капюшоне. Ее окружало много всадников, кони их были в мыле. Она без посторонней помощи соскочила с седла, подобрала свое длинное платье, чтобы не наступить на шлейф, легкими шагами прошла через площадку и, не постучав в дверь, исчезла в доме купца, где жили датчане. Ее спутники держали лошадей, чтобы дать им возможность попастись, пока она будет в доме.

Женщина оставалась там недолго. Выйдя оттуда, она отбросила капюшон, и ночной ветер растрепал ее волосы. Купец и капитан проводили ее до дверей, низко кланяясь. Она смеялась, и зубы ее блестели в ночном мраке. Спутники подвели к ней коня и держали его, пока она садилась, в нескольких шагах от того места, где Йоун Хреггвидссон сидел на камне.

Тогда арестант заговорил:

— Йомфру сидит сегодня ночью выше, чем тогда, когда Йоун Хреггвидссон бросил ей на колени далер.

Она ответила не задумываясь:

— Человек, которому подаешь милостыню, твой враг.

— Почему мне не могли отрубить голову двадцать лет назад, пока она была еще черноволосая

и шея достаточно крепкая, чтобы годиться для топора твоего отца и короля, — сказал он.

Она ответила:

— Из милосердия делаешь добро нищему, но когда отворачиваешься от него, оказывается, что ты продал право первородства. В этом была моя ошибка. Я подарила тебе твою голову, как милостыню, и голова моего отца, голова страны скатилась в бесчестье. Теперь я буду бороться, насколько хватит моих слабых сил.

— Я старый человек, — сказал он.

— В этой стране ты не будешь торжествовать над моим отцом, — сказала она.

— Я не прошу милости, — сказал он и вдруг поднялся с камня, в вязаной шапчонке на белых волосах, подпоясанный веревкой. — Йомфру знает, что у меня есть друг, его подруга — аульва.

— Его подруга шлюха, — поправила она, засмеялась и ускакала.

Когда она уехала, капитан кликнул стражников и сказал им, чтобы они связали арестованного и отвели на корабль.

Глава восьмая

Когда в августе они прибыли в Копенгаген, капитан послал сообщить городским властям, что у него на борту преступник из Исландии. Сразу же из крепости были присланы вооруженные стражники, чтобы забрать человека и следующие с ним документы и отправить его в то место в Дании, которое обычно предназначается для исландцев. Крепость Бремерхольм[192], как явствует из ее названия, расположена на острове около города, ее окружают толстые стены, поднимающиеся прямо из воды, ее глубокие подземелья наполнены водой, а над ней возвышается башня, где стоят пушки, чтобы стрелять в шведов. Помещение для заключенных в крепости годилось только для мужчин, по ночам они спали все вместе в больших камерах, а днем выходили на каторжные работы. Если заключенные вели себя хорошо, они завоевывали доверие своих тюремщиков и им разрешали по ночам спать без кандалов, но, если они были дерзки и за словом в карман не лезли, тюремщики сразу же надевали на них цепи и на

[192] Примечания: 192
Хольм — остров *(датск.)*.

ночь приковывали каждого к стене.

Вскоре до исландцев, живших в городе, дошел слух, явно пущенный из канцелярии, что приговор, вынесенный судом на Эхсарау — отправить крестьянина из Рейна в Бремерхольм, неправилен, что дело против этого крестьянина, о котором столько было толков, слушалось в Исландии очень небрежно. И когда один человек взял на себя труд проверить документы, оказалось, что это были не заверенные печатью копии небрежно и поспешно составленного приговора. В его бумагах говорилось, что поскольку крестьянин всем известен своим дурным поведением и, кроме того, обвинялся в убийстве, да к тому же сбежал с тинга, чтобы увильнуть от ответственности, его следует отправить в Бремерхольм. Вот и все.

Как правило, из крепости Бремерхольм был только один выход — в могилу. Немногие выдерживали сколько-нибудь продолжительное время те муки, на которые они были обречены во имя правосудия в этой крепости. Несколько исландцев, сидевших там за проступки различной тяжести, считали, что самое время Йоуну Хреггвидссону остаться с ними навсегда, и невероятно, чтобы этот старый, скользкий как угорь,

мошенник сумел выйти из крепости, раз уж удалось его туда запрятать. Поэтому не удивительно, что заключенные широко раскрыли глаза, когда начальник тюрьмы однажды вошел к ним в помещение для каторжных работ и позвал Регвидсена, этого мошенника, который убил палача — правую руку нашего всемилостивейшего повелителя, — и приказал следовать за ним.

Йоуна Хреггвидссона высадили на берег не со стороны Дюбена, а перевезли на крепостном пароме через Островной канал. Датчане выдали ему пару ветхих штанов, чтобы надеть на подштанники, в которых его схватили в Исландии, но веревку у него отобрали. И пока он ругался с перевозчиком, требуя свою веревку, его с проклятиями выбросили на городской стороне канала. Там стоял длинный человек в заплатанном кафтане, сутулый и дрожащий. Он пошел навстречу крестьянину, — причем вид у него был донельзя серьезный, хотя, может быть, немного рассеянный, — и протянул ему свою синюю руку с узловатыми пальцами кузнеца.

— Добрый день, Йоун, — сказал длинный кафтан по-исландски.

Йоун Хреггвидссон, гримасничая, смотрел на этого человека и скреб себе голову:

— Кто ты?

— Студиозус антиквитатум, меня зовут Иоанн Гринвицензис, Йоун Гудмундссон из Гриндавика.

— Конечно, мне следовало бы сразу узнать тебя, ведь это ты вышел из двери знатного дома, когда перед нею стоял королевский солдат. Добрый день, и бог да пребудет с тобой, мой Йоун.

Ученый из Гриндавика фыркнул несколько раз и немного потер свой нос.

— Мой господин и учитель хочет оказать тебе милость, Йоун Хреггвидссон, — сказал он. — И вот по его приказу я стою здесь с утра, с тех пор как на башне церкви святого Николая играли песнь ангелов. А скоро настанет время для песни святого духа. Ты понимаешь, что я замерз и хочу выпить.

— Меня забрали с сенокоса в одних подштанниках, у меня нет и скильдинга на пиво, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Датчане даже украли мою веревку.

— Ладно, ладно, — сказал ученый, меняя тему разговора. — Во имя Иисуса будем беседовать с сухой глоткой. Что нового в Исландии?

— А у нас неплохо, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Только во время рыбной ловли в

прошлом году были штормы. Зато трава летом была хороша.

— Ладно, — промолвил ученый. И после некоторого раздумья добавил: — Я слышал, что ты по-прежнему все такой же злодей.

— Конечно, нет, — ответил Йоун Хреггвидссон.

— Это верно? — спросил Гриндвикинг.

— Я считаю, что я святой, — заявил Йоун Хреггвидссон.

Ученый из Гриндавика не понял шутки.

— Очень нехорошо быть преступником, — сказал он тоном зрелого моралиста.

— Собственно говоря, я всего-навсего вор, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— Не надо быть вором.

— Я украл леску у одного человека добрых двадцать лет назад.

— Этого нельзя делать.

И тогда Йоун Хреггвидссон изрек:

— А найдется ли какой настоящий святой, который вначале не был вором?

Ученый фыркнул, долго набирал воздух в легкие и остановился, чтобы почесать левую икру правой ногой.

— Как я уже сказал, ладно, — проговорил он назидательным тоном. — Но о чем это бишь я:

ничего такого не случилось в Исландии, ничего не произошло?

— Не помню, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Во всяком случае, ничего особенного за эти годы не произошло.

— Ничего не наблюдалось? — настаивал ученый из Гриндавика.

— Нет, в Исландии давно ничего не наблюдалось. Ничего. Если только не считать новостью, что в позапрошлом году из Скагафьорда был вытащен воющий скат.

— Это не такая уж малая новость, — сказал ученый. — Ты говоришь, он выл?

— Так, может быть, ты, товарищ, даже не слышал, что в позапрошлом году в Исландии в воздухе были видны люди? — спросил Йоун Хреггвидссон.

— Видны были люди в воздухе, — повторил ученый, но уже тише. — Хорошо. — И, проделав несколько раз все свои штуки, в частности сильно потерев нос, он наконец выпалил:

— Я разрешу себе указать моему земляку, что раз ты, простой человек, беседуешь с ученым — хотя я, говоря словами брата Бергура Соккассона, и являюсь смиренным учеником господа нашего Иисуса, — все же негоже тебе обращаться со мной

как с ровней, говорить мне «ты», как собаке, и называть меня товарищем. И я говорю не от своего имени, ибо я знаю, что мой хозяин и господин никогда не потерпит, чтобы чернь так вела себя в отношении ученого сословия. И когда в этом году он посылал меня в Исландию, чтобы переписать в Скарде апостольскую сагу[193] одиннадцатого века, с которой люди не хотят расстаться даже за золото, то он мне дал с собой письмо, в котором было сказано, что меня следует величать не иначе как мосье.

— Я всего только глупый крестьянин-арендатор, никогда не знавший ни одного настоящего человека, кроме моего хозяина Иисуса Христа, ибо я не хочу называть человеком черную собаку, которая последовала за мной на запад, где я был привязан к камню для лошадей возле лавки в Улафсвике. И если ваша высокоученая, высокородная милость хоть сколько-нибудь мне верит, я обещаю отныне вести себя в соответствии с вашей ученостью, если только мое безнадежное неразумие мне не помешает.

Гриндвикинг сказал:

---

[193] Примечания: 193

Апостольская сага — жизнеописание апостолов; имеются переводы XII в., в некоторых случаях делались двойные переводы — латынь, норвежский, исландский. *(Прим. Л. Г.).*

— Хотя ты и тебе подобные поражены глупостью, мой учитель не ставит это тебе в упрек, ибо он чувствует признательность к твоей матери, хранившей то, что другие по невежеству своему растрачивали. Поэтому он с большим трудом и после серьезных споров с властями вызволил тебя из крепости, откуда никто живым не возвращается, и приглашает тебя к себе. Теперь посмотрим, что ты за птица. Но я с самого начала хочу предупредить тебя об одном, от чего зависит спасение твоего тела и души: берегись связываться с Йоуном Мартейнссоном, пока ты здесь, в городе.

— Ай, что говорит ваша ученость, неужели этот дьявол, стащивший у меня королевские сапоги, когда я служил в солдатах, еще ходит по земле, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— Да, и к тому же он украл «Скальду», ту книгу, четырнадцать страниц из которой были найдены в постели твоей покойной матушки в Рейне, в Акранесе.

— Надеюсь, что этому мошеннику иногда удавалось красть что-нибудь поценнее, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Моя мать не могла этими кожаными тряпками даже залатать мою куртку.

— Мой учитель предложил Йоуну Мартейнс-

сону уплатить за книгу золотом, равным ее весу, лишь бы он вернул украденное. Он предложил дать ему большое поместье и найти службу в Исландии. Он посылал шпионов следить за вором, когда тот был пьян, чтобы хоть тогда выведать у него что-нибудь о книге. Но все тщетно.

— Гм, — проговорил Йоун Хреггвидссон, — я подумал, что, может быть, смогу заработать себе кусок хлеба, став вором здесь, в Копенгагене…

Ученый из Гриндавика несколько раз, подобно рыбе, открывал рот, но не произносил ни слова.

— …раз таким людям предлагают золото, службу, поместье, да еще дают им водки, — продолжал Йоун Хреггвидссон.

— Тот, кто продался сатане, конечно, может быть удачливым вором, пока не настанет день, когда трубный глас пробудит людей, — сказал ученый. — Почему никто не может застать Йоуна Мартейнссона врасплох в постели? Потому что он носит штаны мертвеца.

— Ай, ай, бедняга, не мне плохо говорить о нем, хотя он и стащил с меня казенные сапоги, ведь он помог вызволить меня из Синей Башни. И в Исландии говорят, будто ему удалось добиться, что бедняга Магнус из Брайдратунги, против которого ополчились и бог и люди, был признан

невиновным.

— А я говорю, что он утопил его в канале в тот же вечер, как добился признания его невиновности, — сказал Гриндвикинг. — Человек, которого спасет Йоун Мартейнссон, погибнет.

— Но мне помнится, что ваша ученость не брезговала ходить с ним в погребок, — напомнил Йоун Хреггвидссон.

— Хорошо, хорошо, — сказал ученый из Гриндавика и проделал все свои штуки по порядку: фыркнул, зевнул, потер нос с обеих сторон, остановился, почесал правую икру левой ногой и наоборот — левую правой.

— Я хочу на минутку зайти в церковь святого Николая и помолиться, — сказал он. — Подожди меня здесь и постарайся думать о чем-нибудь хорошем.

Вскоре ученый вышел из церкви и на паперти надел шляпу.

— Ты говоришь, что в Исландии видели в воздухе людей? — спросил он.

— Да, и даже птиц, — ответил Йоун Хреггвидссон.

— Птиц? В воздухе? — повторил ученый. — Это

странно. Sine dubio[194], с железными когтями. Это я должен записать. Но если ты говоришь, что я ходил в погребок с Йоуном Мартейнссоном, то nec didnum neque justum[195], что простой узник из Бремерхольма так говорит scribae et famulo[196] моего господина. А я тебе скажу, что мой господин — такой господин и учитель, который всегда прощает слабости своему слуге, ибо знает, что у меня денег нет, а Йоун Мартейнссон разгуливает в штанах дьявола.

Глава девятая

Странная тяжесть нависла над низкими, зелеными поселками в долинах тихих рек южной Исландии. Глаза людей словно заволокло туманом, мешающим им видеть, голоса их беззвучны, как писк пролетающей птицы, движения медленны и нерешительны, дети не смеют смеяться, люди боятся, как бы кто не заметил, что они существуют, — не надо раздражать власти, —

---

[194] Примечания: 194
Без сомнения *(лат.)*.

[195] Примечания: 195
Недостойно и несправедливо *(лат.)*.

[196] Примечания: 196
Писцу и слуге *(лат.)*.

двигаться можно только крадучись, говорить шепотом, ведь, может быть, бог еще недостаточно покарал, может быть, где-то есть еще незамоленный грех, может быть, где-то еще ползет червяк, которого следует раздавить.

Духовный оплот страны, венец и слава нации — епископство Скаульхольт близко к упадку. Население на юге бывало более или менее довольно своим епископством, в зависимости от того, кто его возглавлял. Но при всех обстоятельствах здесь находилось епископство, слава которого ничуть не померкла, когда воссияла слава короля, здесь находилась семинария, очаг духовного и ученого сословия, сюда стекалась арендная плата со всех епископских поместий, здесь подавалась милостыня странникам, если им удавалось переправиться через реки. И даже, когда супруга епископа приказала разрушить каменный мост через реку Хвитау, бедные люди и странники на восточном берегу умирали, веря, что свет христианства сияет на западном берегу реки.

Но ныне грехи людей стали так велики, что бог не пощадил и этого места. В гневе своем бог поразил и епископство. Если бы только простые бедные люди пали жертвой карающей десницы, это было бы понятно. Но когда она по-

разила и священников, и высокоученых людей, и многообещающих учеников семинарии, и добродетельных дев, и даже отца христиан епископа и когда, наконец, честь и слава нашей страны — супруга епископа, которая в своем лице объединяла знатнейшие роды Исландии, погибла во цвете лет, тогда стало ясно, что в этом греховном граде роза ценится не больше травы. Все, что с таким усердием твердили священники о грехе человеческом и гневе божьем, свершилось.

На соборе оставшиеся в живых священники поручили канонику Сигурдуру Свейнссону временно исполнять обязанности епископа, и он перенес в дом епископа свои книги и другие вещи из холодной каморки в семинарии. Уродливое деревянное распятие красуется теперь в лучшей комнате — зеленом зале.

Осенью дни стояли ясные, по ночам выпадали заморозки. Однажды на лужайке перед жилищем епископа остановились храпящие лошади. Когда всадники спешились и бросили поводья, кони в нетерпении стали грызть удила. В дверь не стучат. Прибыл гость, который входит в дома без стука. Наружная дверь распахивается, как от внезапного порыва ветра, в передней раздаются легкие шаги, широко раскрывается дверь в зе-

леный зал.

— Добрый день.

Она стоит в дверях, стройная и тонкая, в темно-коричневом платье, к которому пристал конский волос, подол немного запачкан глиной, в руках у нее хлыст. Лицо зрелой женщины уже не напоминает цветка, зубы у нее слишком выдаются вперед, чтобы рот можно было назвать безупречным. Но ее осанка приобрела такую властность, которая возникает тогда, когда кончается своеобразие и начинается общепринятое. И, как всегда, там, где сияют ее глаза, меркнет дневной свет.

Electus[197] поднял глаза от книг и посмотрел на нее. Затем пошел ей навстречу и торжественно ее приветствовал.

— Какие bona auguria!..[198] — сказал он.

Она сообщила, что неделю тому назад ездила в Хьяльмхольт по приглашению старого судьи Вигфуса Тоураринссона, а теперь возвращается на запад, домой в Брейдафьорд. И поскольку она все равно ехала мимо, она сочла уместным заехать к своему старому другу и терпеливому жениху.

— А кроме того, — прибавила она, — у меня к

---

[197] Примечания: 197
Избранный *(лат.)*.

[198] Примечания: 198
Добрые предзнаменования!.. *(лат.)*

вам маленькое дело, пастор Сигурдур.

Он сказал, что тот день, когда она захочет воспользоваться его услугами, будет счастливейшим днем в его жизни, спросил о ее здоровье, о душевном состоянии и выразил свое соболезнование в связи со смертью ее мужа, упомянул о том, что летом сюда дошло известие, что его школьный товарищ и добрый друг Магнус, этот несчастный человек, умер в Копенгагене после того, как выиграл процесс.

Она засмеялась.

— Кто-то проиграл этот процесс, — сказала она. — Но теперь не такое время, чтобы говорить о пустяках. Я ведь даже не пыталась найти свидетелей, которые своими клятвенными показаниями могли бы снять с меня обвинение в преступлении, которое предъявил мне верховный суд. А вы, пастор Сигурдур, считаете, что мой позор даже не заслуживает того, чтобы вы призвали меня к ответу по церковным законам и утопили в реке Эхсарау.

— Те проступки, в которых человек раскаялся, не существуют более, — сказал викарий. — Тут всякое человеческое наказание напрасно, ибо бог вычеркнул их из своей книги.

— Не будем говорить о пустяках, — сказа-

ла она. — С другой стороны, этот укус собаки доставил мне хотя бы то удовольствие, что Брайдратунга, лежащая к востоку от реки, отчуждена от короля, вместе со всем движимым и недвижимым имуществом. Старый Вигфус дал мне законную грамоту на все это.

— Поражение сил, кротко выполняющих божью волю, это только обман зрения, — сказал викарий. — Это дело, несомненно, приняло теперь такой оборот, который более согласуется с волей господа, чем это было ранее. Может быть, чаша, которую господь отмерил бедной стране, ныне переполнилась.

— Без сомнения, — сказала она, — поскольку я, урод в семье, должна была пережить всю свою родню.

— Странствующий скальд спрятал маленькую девочку в своей арфе, — сказал викарий. — Ее благородный род был уничтожен. И когда девочка плакала, странствующий скальд ударял по арфе. Он знал, что ее удел — возвысить честь своего рода.

— Я только надеюсь, что вы, мой пастор, прячете в вашей латинской арфе не старую вдову с лицом, тронутым оспой, да еще виновную в блуде, — сказала она.

— Истинный скальд любит розу роз, девственницу девственниц, — сказал викарий, — ту, которую мой учитель Лютер не увидел ни наяву, ни во сне, ни в откровении: ее любит скальд, ее одну, вечную rosam rosarum, virginem virginum, которая virgo est ante partum, in partu, post partum[199]. Господь да поможет мне во имя Иисуса.

Гостья сказала:

— Я давно поняла, что нет более непристойной науки, чем теология, если только верно то, чему она учит. Я, старая вдова, краснею. Во имя Иисуса, помогите мне снова спуститься на землю, дорогой пастор Сигурдур.

Он начал ходить взад и вперед по комнате, сжав руки. Его черные глаза блестели.

Она заговорила снова:

— Однажды вы пришли ко мне за реку, пастор Сигурдур, с тех пор прошло добрых три года, и вы сказали слова, на которые я тогда не обратила внимания. Но с того времени произошли события, которые подтверждают старую пословицу, что наибольшие преувеличения ближе всего к истине. Вы были уверены в том, что моего отца лишат чести и состояния. Я смеялась. И тогда вы

---

[199] Примечания: 199

Розу роз, девственницу девственниц, непорочную до рождения ребенка, во время и после рождения *(лат.)*.

сказали эти слова.

Он спросил, что это были за слова.

— Я предлагаю вам свое имение и жизнь, все, что у меня есть, — сказали вы.

— Чего вы от меня хотите? — спросил он.

— Мне нужны деньги, звонкая монета, серебро, золото.

— Для чего? — спросил он.

— Мне думается, что моему другу, тем более другу моего отца, не нужно об этом спрашивать.

— Однажды я понял вас так, что у вас у самой есть деньги.

— У меня было немного чеканного серебра. Когда здесь узнали о смерти Магнуса, да к тому же о том, что он выиграл процесс, ко мне стали отовсюду приходить люди, требуя уплаты. Я платила все, что с меня требовали. Это уже составило большую сумму. И до сих пор кредиторы моего покойного мужа все приходят ко мне.

— Это излюбленный обычай: когда люди узнают, что у женщины нет защитника, ее стремятся ограбить, — сказал викарий. — Нужно было бы проверить эти требования. Вам следовало бы прийти ко мне раньше. Откровенно говоря, я сомневаюсь, что именно вы должны платить некоторые долги, сделанные покойным Маг-

нусом.

Ей явно не хотелось говорить на эту тему, она только сказала, что у нее есть такие долги, по сравнению с которыми все остальное — пустяки. И перешла к тому, зачем приехала.

Она хотела, чтобы дело ее отца было пересмотрено, чтобы было начато новое расследование по так называемым эмиссарским приговорам, то есть по делам тех бродяг и мошенников, за которые ее отца обвиняли в излишней строгости. Большинство из этих людей, если они не умерли, такие ничтожества, что их нечего принимать в расчет, за исключением убийцы Йоуна Хрегг-видссона, ибо его дело как раз сыграло большую роль в осуждении ее отца. Люди, сведущие в законах, говорили ей, что нет никакого сомнения в его вине, хотя процесс против него и был плохо подготовлен. И если бы удалось добиться совершения правосудия в отношении Хрегтвидссона, это явилось бы важным поводом к пересмотру дела Эйдалина. Она поведала избраннику, что с помощью взяток ей удалось добиться, чтобы альтинг допросил Йоуна прошлой весной, но он, конечно, ускользнул из их рук, как и раньше, без допроса. Для видимости они вынесли ему приговор, осуждающий его на каторжные работы в

Бремерхольме. Но, как и следовало ожидать, это жалкое сборище пьяниц не сумело правильно записать свое решение, и, когда осужденного привели на корабль, у датчан из имевшегося при нем документа создалось такое впечатление, будто он отправляется в увеселительную поездку. Посоветовавшись с властями в округе Снефелльснес, я ночью отправилась в Улафсвик, — рассказывала Снайфридур, — и там подкупила датчан, чтобы они взяли его с собой.

Она рассказала викарию о последних новостях по делу старика, доставленных недавно прибывшим кораблем. В Копенгагене за дело взялись, как и много лет назад, важные лица, стремящиеся обелить этого старого преступника, за мягкость к которому ее отец поплатился своей честью и честью страны. Йоун Хреггвидссон не провел и нескольких ночей в Бремерхольмской крепости, как этим лицам удалось освободить его оттуда, и, по последним сведениям, он чувствует себя как нельзя лучше, находясь в одном богатом доме в Копенгагене. Все, чего она с таким трудом добилась, оказалось напрасным. Перевес был на стороне тех сил, которые хотели обвинить ее отца и оправдать Йоуна Хреггвидссона.

Короче говоря, она намеревалась, как только

представится случай, оставить родину и отправиться в Данию, чтобы посетить того человека, которому Исландия дана в удел королем и который, по ее мнению, был их другом, и просить его добиться у короля пересмотра дела судьи Эйдалина в верховном суде, но, сказала она, для такого дорогостоящего путешествия мне нужны деньги.

Викарий слушал ее, опустив голову. Иногда он поднимал глаза на Снайфридур, но не выше ее колен. Вновь и вновь непроизвольная дрожь возникала вокруг его рта и носа. Он так крепко сжимал пальцы, что суставы на синих руках побелели.

Когда она закончила, он с глубокой сосредоточенностью откашлялся, разнял руки и снова сжал их. Он бросил на нее быстрый взгляд своих горящих глаз, лицо его дрожало, он был похож на зверя, который вот-вот завоет. Но когда он наконец заговорил, речь его была спокойна, уверенна и так глубоко серьезна, какой она только и может быть, когда приводишь самый последний довод.

— Простите, — сказал он, — что неизменно любящий вашу душу, во имя господа нашего, спросит вас прежде всего об одном: дали ли вы когда-либо Арнасу Арнэусу так называемый третий поцелуй, поцелуй, который писатели называют

suavium.

Она посмотрела на него с видом человека, который проделал большой путь по пустынным песчаным равнинам и наконец очутился перед бурной рекой Фулилайкур. Закусив губы, она отвернулась к окну, за которым ее спутники на дворе держали лошадей, ожидая ее. Затем повернулась снова и улыбнулась.

— Прошу ваше преподобие не понимать меня так, будто я защищаю свою слабую плоть, — сказала она. — Несколько дней и ночей — и этого праха больше не существует. Но, дорогой пастор Сигурдур, вы любите мою душу, а у души нет губ, так не все ли равно, целовал ли прах первым, вторым или третьим поцелуем?

— Заклинаю вас еще раз, возлюбленная душа, не отвечать так, чтобы ответ был еще большим грехом, чем тот грех, который вы отрицаете, даже если он и был совершен.

— Когда беседуешь с таким святым человеком, как ваше преподобие, то сразу становишься маленьким дьяволом с когтями, пастор Сигурдур. Я давно знаю: чем больше слов я говорю, тем больше шагов я делаю к глубочайшему аду. И все же я пришла к вам.

— Моя любовь к вам была и останется все той

же, — сказал Electus.

— Я пришла к вам потому, что никто не может более твердо уповать на прибежище у вашего распятого Христа, чем самое грешное исчадие ада. И если я когда-либо отзывалась недостойно об образе божьем в вашем присутствии, так не потому, что сомневалась в его власти. Я глубоко и искренне верю, что если этот страшный спаситель и живет где-то в нашей стране, так только в вашей груди.

— Вы вступили в союз со всем тем, что восстает против меня, — сказал он и изо всех сил сжал руки. — Вы заставили даже цветы на лугу составить заговор против меня. Даже солнце, светящее с ясного неба, вы сделали врагом моей души.

— Простите, пастор Сигурдур, — сказала она. — Я считала вас другом моего отца и от всего сердца повторила слова, сказанные когда-то вами. Теперь я вижу, что ошиблась. Я только привела вас в дурное настроение. Я сейчас же уеду. И забудем все.

Он загородил ей путь:

— Какой же минуты ждал я все эти годы, как не той, когда самая знатная женщина страны посетит бедного отшельника?

— Самая жалкая женщина, — сказала она, —

истинный образ жалкой женщины: женский пол, с которым борется ваша теология. Отпустите это отребье продолжать свой путь, мой дорогой пастор Сигурдур.

— В-в-в бочонке в стене, — прошептал он, загораживая ей путь широко раскинутыми руками. — И еще в ящике на чердаке кое-что найдется. Вот ключи. И двести далеров в этой шкатулке. Берите это причастие сатаны, эти faeces diaboli[200], которые слишком долго отягощали мою совесть, уезжай, отправляйся на юг, чтобы встретиться со своим любовником. Но если кто и погубил свою душу — все равно, правильно или неправильно я поступил, — так это я.

Глава десятая

Гюльденлеве, родственник короля, барон Марселисборг, генеральный почтмейстер Норвегии, губернатор и сборщик налогов Исландии, или, как он сам себя титуловал: Gouverneur von Ijsland[201] был владельцем множества ве-

---

[200] Примечания: 200
Экскременты дьявола *(лат.)*.

[201] Примечания: 201
Губернатор Исландии *(нем.)*.

ликолепных земельных угодий и прекрасных дворцов в Дании. Летом он предпочитал жить во дворце Фредхольм, где был богатый дичью лес, начинавшийся сразу же за дворцовым рвом. Он переименовал этот дворец и назвал его Chateau au Bon Soleil, что означает Дворец доброго солнца. Расстояние от проезжей дороги до дворцового моста составляло почти милю. Длина пути от дороги до ворот дворца говорит о знатности человека. Только высокопоставленные гости в колясках посещают такие места.

В прекрасный летний день по этой великолепной дворцовой дороге едет старая карета, плохо вычищенная и плохо смазанная, в нескольких местах скрепленная веревками, скрипучая. И бог знает, не хромает ли одна из лошадей.

У подъемного моста стоит драгун с ружьем и саблей, его жеребец — неподалеку от него, у конюшни. Драгун спрашивает: кто едет. Кучер открывает дверцы кареты, там сидит бледная женщина в темном плаще, совсем простом, если не считать того, что на шее под белым воротником он заколот старинной серебряной брошью. На ней седой парик, такой чистый и свежезавитой, будто он куплен только вчера, может быть, специально для этой поездки, а на нем простая

шляпа с широкими полями, словно после того, как она купила дорогой парик, денег на красивую шляпу не хватило. У этой женщины гордая осанка. Услышав, что она с трудом говорит по-датски, драгун низко ей поклонился и сказал, что он хорошо понимает немецкий, язык благородных людей, она преспокойно может говорить на этом языке. Затем, взяв ружье на плечо, он промаршировал перед коляской по мосту и на площади перед дворцом заиграл на трубе. Появился краснолицый старый слуга и помог женщине выйти из коляски. Она сказала:

— Доложи барону, что приехала та женщина, которая ему писала, я привезла с собой письмо от ландфугта Бейера.

Две необычайно высокие башни, — одна круглая, другая четырехугольная, — соединялись четырехэтажным зданием с такими большими воротами посредине, что через них можно было проехать в коляске. Гостью повели через маленькую дверь в одной из башен по винтовой лестнице до тесной темной площадки, где открылась боковая дверь, и ее пригласили войти в большой зал. Он находился почти в центре дворца, и окно выходило во двор. В зале был сводчатый потолок и каменный пол. Богатая

коллекция оружия украшала зал, на стенах висели не только всевозможные ружья, фитили, пороховницы, но и копья, мечи и шпаги, связанные вместе, подобно букетам цветов, рыцарские доспехи со шлемами стояли по углам, щиты с изображенными на них драконами, хищными птицами и другими страшными дикими зверями висели над дверьми и окнами. На окнах, состоявших из сотен мелких стекол со свинцовыми переплетами, были изображены рыцари на конях с толстыми ляжками, ведущие славные бои. На стенах были развешаны громадные оленьи рога, некоторые с удивительным множеством ответвлений. Рога крепко сидели на черепах животных. Вдоль стен шли массивные деревянные скамьи и стояли обитые железом лари, перед ними — тяжелые дубовые столы. На полках над сиденьями красовались блестящие медные кувшины и большие каменные кружки с рельефно выбитыми на них словами непристойных песен и молитв на немецком языке. На одном из столов лежали две толстые книги — Библия с медными застежками и такая же толстая, если не толще, врачебная книга о средствах против лошадиных болезней, на книгах — перчатки и хлыст для собак.

Пока женщина стояла и рассматривала зал,

вошел одетый в шелковое платье с золотыми шнурами человек и торжественно возвестил гостье, что приближается Durchlaucht[202].

Гюльденлеве, барон Марселисборг и губернатор Исландии был высокий сутулый человек с большим животом и такими тонкими ляжками, обтянутыми тонкими узкими панталонами, что они казались двумя спичками, воткнутыми в шар. У него было длинное лицо с отвислыми щеками, локоны зеленоватого парика ниспадали на плечи, на вышитый золотом камзол, покрытый пятнами жира и вина. У него были характерные для его рода прозрачные, не глупые, но грустные глаза, похожие на глаза свиньи, он был застенчив, почти нелюдим. Выглядел он усталым и несколько мрачным, в руке держал шомпол. Изъяснялся он на каком-то странном наречье, — основу его составлял тот немецкий язык, на котором принято ругать солдат, но в него входили разные слова из других языков. Он говорил пропитым басом, причем в его речи раскатистое «р» звучало так, словно в горло ему вонзили нож.

— Bonjour, madame, — сказал губернатор Исландии. — Na, du bist ein isländisch Wif, hombre, hew

[202] Примечания: 202
Его светлость *(нем.)*.

nie een seihn, — что означало: «Здравствуй, мадам, ты, значит, исландка, боже мой, такой я еще никогда не видел».

Затем он подошел к ней и негнущимися пальцами пощупал ее платье. Спросил, где она купила материю и кто шил это платье, что за серебряная брошь на ней, он никогда ранее не видел подобного серебра, чеканят ли его в Исландии? Откуда же там берут серебро? Боже мой, я поистине удивлен, не отдашь ли ты мне это украшение?

Она сказала, что все ее серебро — его, если он захочет, но не сделала никакого движения, чтобы отколоть брошь от ворота и протянуть ему, а сразу же перешла к делу и вручила ему письмо от ландфугта Бейера из Бессастадира. Но как только он увидел письмо, им овладела усталость и чиновная скука и он спросил унылым голосом:

— Почему не передать это через канцелярию? Я занимаюсь только такими делами, которые проходят через канцелярию. Сейчас я охочусь на диких зверей.

— В этом письме особое дело, — сказала она.

— Я уже давно ничего не читаю, кроме врачебной книги, когда что-нибудь случается с лошадьми, — сказал он. — Да и читать мне здесь некому. И вообще все, что мне пишут из Ислан-

дии, похоже одно на другое, — это все вопли о снастях, все время о снастях. Но здесь, в Дании, немногим нужна рыба, мы не заинтересованы в том, чтобы исландцы ловили бесконечное количество рыбы и требовали бесконечное количество снастей.

— Я, — сказала она, — дочь судьи Исландии, которого на старости лет безвинно присудили к лишению чести и состояния. Ваше превосходительство — губернатор Исландии.

— Да, мой старый друг, ваш отец, был хитрым законником, — сказал Гюльденлеве, — и все-таки дело кончилось для него печально. Нашелся другой, еще более хитрый законник. Так всегда было в Исландии. Мне надоело думать об исландцах.

— Я проделала этот долгий путь, чтобы увидеть ваше превосходительство, — сказала она.

— Ты красивая женщина, — сказал он и снова просветлел, рассматривая ее и перестав думать о службе. — В таком платье я бы не поехал обратно в Исландию. На твоем месте я бы остался здесь и вышел замуж. Здесь у нас хорошо и весело. За последнее время число зверей в лесу увеличилось больше, чем на триста голов. Посмотри хотя бы на эту голову — разве она не прекрасна? — Он встал, чтобы показать ей самую большую оле-

нью голову на стене. — У рогов двадцать девять ответвлений, боже мой. Этого зверя я сам убил. Даже мой родственник, его величество, не убивал оленей с большим количеством ответвлений.

— Да, это прекрасная голова, — сказала гостья. — И все же я знаю зверя, у которого еще больше ответвлений. Это правосудие. Я приехала сюда во имя правосудия, касающегося всей страны, вашей страны.

— Исландия моя страна? Pfui Deibel![203] — сказал Гюльденлеве, барон Марселисборг.

Все же он снизошел до того, чтобы послушать, что написано в письме его слуги в Бессастадире, если она сама ему прочтет.

В письме говорилось, что женщина — подательница письма, единственный потомок знатного рода, самого знатного в Исландии. Автор письма напоминал о вопиющем факте, имевшем место на острове, когда отец этой женщины, самый уважаемый там человек, к тому же верный и любезный слуга его королевского величества, был унижен странным послом Арнэусом, посланным блаженной памяти покойным королем с чрезвычайными полномочиями в Исландию. В

---

[203] Примечания: 203
Фу, дьявол! *(нем. диалект)*

письме рассказывалось о поведении этого Арнэя, о том, как он унижал старого судью и некоторых его соратников, как он не признал приговоров судьи, конфисковал его имущество и сделал этого старца, верного слугу короля, лишенным чести рабом и бедняком. Старик вскоре умер.

Далее ландфугт писал, что епископ в Скаульхольте, зять старого судьи, решил поехать в Данию и там у высших властей страны добиться восстановления справедливости. Но страну поразила чума, уложившая в могилу добрую треть населения, в частности, большую часть духовного сословия, и епископ в Скаульхольте, один из лучших друзей короля, оказался среди погибших, вместе со своей уважаемой супругой, высокообразованной мадам Иоорен.

Таким образом, от всего рода осталась одна молодая женщина Снайфридур, вдова знатного, но несчастного Магнуса Сивертсена, которая выступает в защиту своего отца. Эта женщина посетила ландфугта в Бессастадире и объяснила, что она — бедная, одинокая вдова, подвигнутая своей честью, собирается переправиться через бурное море, чтобы вручить губернатору или даже его величеству свою всепокорнейшую просьбу передать так называемый эмиссарский

приговор по делу ее отца на пересмотр в верховный суд. Рекомендуя эту честную женщину всемилостивейшему благожелательству барона Марселисборга и губернатора Исландии, прося его проверить и расследовать опасную практику, введенную в Исландии эмиссаром Арнэем, и воспрепятствовать тому, чтобы авантюристы возвысились и стали топтать авторитеты, унижать слуг короля и обманывать народ, я остаюсь вашим всепокорнейшим, готовым к услугам и très obeissant serviteur[204].

Гюльденлеве всунул шомпол в сапог, чтобы почесать икру. Он сказал:

— Я всегда говорю моему родственнику, его величеству: отправь исландцев в Ютландию, там достаточно веревок для их овец, боже мой, и продай Исландию немцам, англичанам или даже голландцам, — и чем скорее, тем лучше, — за какую-нибудь приличную сумму, а деньги используй для войны со шведами, которые отобрали у тебя твою прекрасную землю Сконе.

Она долго молчала после этих слов и наконец сказала:

---

[204] Примечания: 204
Покорным слугой *(франц.)*.

— В одной древней исландской песне[205] есть такие строки: если человек лишается имущества, родственников и, наконец, сам умирает, то это ничего не значит, лишь бы он оставил по себе славу.

— Hew ick nich verstahn[206], — сказал барон Марселисборг, губернатор Исландии.

Она продолжала сначала нерешительно, но потом все с большим жаром:

— Я спрашиваю, ваше превосходительство: почему нас лишают чести, прежде чем лишить жизни? Почему король Дании не хочет оставить нам нашу славу? Ведь мы никогда не сделали ему ничего дурного. Мы не менее знатны, чем он. Мои предки были королями на суше и на воде, они плавали на кораблях по бурным морям

---

[205] Примечания: 205

В одной древней исландской песне... — Снайфридур пересказывает строфы из песни «Речи Высокого» — дидактической песни из мифологической части «Старшей Эдды»:

Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая слава
деяний достойных.
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;

но знаю одно,

что вечно бессмертно:

умершего слава.

(«Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах». М., 1975, с. 196) *(Прим. Л. Г.).*

[206] Примечания: 206

Не понимаю *(искаж. нем.)*.

и прибыли в Исландию тогда, когда ни один другой народ еще не знал мореплавания. Наши скальды слагали стихи и рассказывали саги на языке самого короля Одина из Асгарда[207] в то время, когда Европа говорила на языке рабов. Где стихи, где саги, сложенные датчанами? Даже ваших древних героев мы, исландцы, воскресили в наших книгах. Мы сохраняем ваш древний язык, датский язык, который вы забыли. Пожалуйста, возьмите серебро моих прабабок. — Она откололо брошь от ворота, и черный плащ упал, открыв ее синее платье с золотым поясом. — Берите все. Продайте нас, как скот. Перевезите нас на ютландские пустоши, где растет вереск. Или, если вам так нравится, продолжайте бить нас плетьми на нашей родине: надо надеяться, что мы это заслужили. Датский топор на вечные времена засел в шее епископа Йоуна Арасона, и это хорошо. Слава богу, что он заслужил все семь ударов, которые понадобились для того, чтобы отделить от тела его седую голову с короткой толстой шеей, не умевшей склоняться. Простите, что я привожу этот пример, простите, что мы знаем свою историю и не можем ничего забыть.

---

[207] Примечания: 207

Асгард — по скандинавской мифологии, жилище асов (богов). *(Прим. Л. Г.).*

Не поймите меня так, будто я на словах или в мыслях сожалею о том, что произошло. Может быть, самое лучшее для побежденного народа — чтобы его уничтожили: ни одним словом я не буду просить о милости для нас, исландцев. Мы, исландцы, поистине достойны смерти. И жизнь для нас уже давно не имеет никакой цены. Только одного мы не можем лишиться, пока останется хотя бы один человек — богатый или бедный — из этого народа. Мы даже не можем умереть без этого. И об этом-то и говорится в старой песне, это мы и называем славой: чтобы моего отца и мать и после смерти не лишили доброго имени.

Барон Марселисборг вынул из кошелька пустой патрон и посмотрел в него одним глазом.

— Если кто-либо лишил исландцев чести, то лишь они сами, ma chère madame[208], — сказал он и засмеялся так, что глаза совсем спрятались и обнажились неровные желтые зубы. — Когда ваша лень и пьянство доводят вас до голода, тогда мой родственник, его величество, вынужден помогать вам зерном. А если вам кажется, что зерна недостаточно, вы затеваете процессы и требуете золота и серебра. А что касается правосудия,

---

[208] Примечания: 208
Дорогая мадам *(франц.)*.

ma chère, то я знаю только одно: что исландцы получили того человека, которого сами считали лучше всех. И я знаю, что именно этот вельможа присудил старого, честного судью, вашего отца, к лишению чести и состояния. Так уж повелось в Исландии. Ученые рассказывали мне, в ваших книгах говорится, что в древние времена все знатные люди Исландии занимались тем, что убивали друг друга, пока не остались одни пьяницы и варвары. Впервые в моей жизни ко мне приходит исландская женщина, да еще с золотым поясом, и просит о правосудии. Разве странно, что я спрашиваю: wat schall ick maken?[209]

— Я не прошу ни о чем другом, кроме того, чтобы честь и имущество моего отца были посмертно возвращены ему, — сказала она.

Гюльденлеве отложил шомпол и вынул золотую табакерку.

— В датском государстве есть две силы, — сказал он. — Когда господствует та, что смотрит сквозь пальцы на колдунов и воров, тогда многие порядочные люди вынуждены унижаться. Но если при моем новом родственнике снова придут к власти те, кто требует привилегий для поря-

---

[209] Примечания: 209
Что мне делать? *(голл.)*

дочных и высокородных людей, тогда жить будет легче. Может быть, тогда, с божьей помощью, вздернут некоторых мерзавцев и вольнодумцев. Никакое примирение невозможно между плохими и хорошими людьми. Но, к сожалению, ma chère, многим придется долго ждать, пока их время придет.

— Исландский преступник по имени Йоун Хрегвидссон, — сказала она, — убил королевского палача. Это знает вся страна. Мой отец приговорил его к смерти двадцать лет назад, но один ребенок, забавляясь, отпустил его в ночь перед казнью. До сих пор никому не удалось добиться, чтобы преступник получил по заслугам. Королевский эмиссар обвинил моего отца на основании этого дела и признал преступника невиновным. На последнем альтинге это дело было рассмотрено вновь, и старика присудили к каторжным работам в Бремерхольме. Но не успел он прибыть в крепость, как важный человек освобождает его оттуда и заботится о нем. И этот неоднократно осужденный каторжник, убийца королевского слуги, живет припеваючи в столице, а мои родители лежат в могиле, заклейменные как воры.

— Известно, что исландцы хитры и хорошо умеют пролезать во все щели закона, — сказал

губернатор. — Они не остановятся ни перед чем, чтобы доказать, что тот параграф закона, по которому они осуждены, взят из свода законов, отмененного неким глупым норвежским королем еще много сотен лет назад; или же из датского закона, который никогда не действовал в Исландии; или же он противоречит некоему действующему параграфу в законе святого Олафа[210]: или же взят из их древнего языческого устава «Серый Гусь»[211]. Они говорят, что у них действуют только те законы, которые оправдывают их, какие бы преступления они ни совершили. Могу вас заверить, мадам, что над делом заядлого исландского мошенника Регвидсена попотели многие добрые датские чиновники.

Он объяснил ей, — и мина усталого чиновника снова сменила мину охотника, — что мало кто лучше него знает, какие заслуги имел ее покойный отец перед королем и правительством, хотя, быть может, он и был слишком уж упорен, защищая свои интересы в налоговой палате, и

---

[210] Примечания: 210

Святой Олаф — конунг Норвегии Олаф Харальдссон (1013–1028), при котором в Норвегии было введено христианство. *(Прим. Л. Г.).*

[211] Примечания: 211

«Серый Гусь» — древнеисландский свод законов, действовавший в Исландии до потери ею самостоятельности в XIII в. *(Прим. Л. Г.).*

благодаря этому ему удалось за бесценок приобрести несколько крупных поместий, которые во время реформации отошли во владение датского короля. Но в Копенгагене смотрели сквозь пальцы на доброго старого господина, поскольку на него можно было положиться. И его друзья в этом городе пребывали в большой печали, узнав о том суде, который ему пришлось пережить на старости лет. Гюльденлеве выразил пожелание, чтобы дочь судьи поняла и согласилась с тем, что ни правительство, ни он, Гюльденлеве, ни какой-либо подчиненный ему чиновник не повинны в этом. Но, как он выразился, в этом виноват лишь один человек, которого мадам знает лучше него.

— Хотя мое имя позорным образом связали с именем человека, упомянутого вашим превосходительством, — сказала она, — из-за процесса, который некоторые купцы обманным путем заставили вести моего бедного супруга, так называемого дела Брайдратунги, я не знаю Арнаса Арнэуса. Тот позор, которым хотели покрыть мое имя, меня не трогает, я даже не снисхожу до того, чтобы опровергать эту пьяную болтовню, которая не стала менее нелепой от того, что фигурирует в судебных актах здесь, в Копенгагене. Я хочу, чтобы вы, ваше превосходительство, поняли, что

я приехала сюда не ради себя.

Когда Гюльденлеве услышал, как эта чужеземная женщина говорит об Арнэусе, у него развязался язык, и он рассказал, что этот опасный враг исполнен ненависти и лжи. В течение долгого времени он выдавал себя за друга короля, но всегда стремился обмануть его и в душе его ненавидел. Ему — губернатору — достоверно известно, что Арнэус при свидетелях заявил, что в Исландии никогда не было других преступников, кроме датского короля. Он сказал, что Арнэус ненавидит всех честных датчан, а также тех своих земляков, которые искренне и честно служили его королевскому величеству, он желал смерти всем друзьям короля, где бы они ни находились, и повесил бы их всех, если бы представилась возможность, чтобы потом вместе со своими сообщниками править страной ad arbitrium[212]. Он выразил уверенность в том, что ее покойный отец не будет оправдан, пока этот человек и его шайка не попадут на виселицу. Один из них был неправ in principio[213], — сказал он, — ваш отец или Арнас Арнэус. — В заключение он спросил

[212] Примечания: 212
По своему произволу *(лат.)*.

[213] Примечания: 213
В основном *(лат.)*.

гостью — так ли высоко она ставит честь своего отца, что готова просить его — Гюльденлеве — добиться падения этого человека? И поможет ли она правосудию своими показаниями и клятвой?

После некоторого раздумья она ответила своим глубоким, низким, голосом:

— Но я не дам ложных показаний против кого бы то ни было.

Глава одиннадцатая

Прошло уже больше года с того дня, как крестьянин Йоун Хреггвидссон из Рейна был освобожден из крепости и из закованного в кандалы преступника превратился в мирного водовоза и дровокола в доме самого асессора духовного суда и профессора древней истории Дании. Когда ученый из Гриндавика привел его из крепости в дом, высокоученый Арнэус приветствовал его и, улыбнувшись, сказал, что пока в его дело не будет внесена ясность, он получит здесь пищу и кров, но только на том условии, что он будет вести себя честно во всем, иначе его пошлют под знамена драться в чужих странах вместе с королевскими солдатами.

Каждый раз, когда его земляк и хозяин встречал

Йоуна на дворе или когда он шел с ведрами от колодца, он здоровался с ним, называл его по имени, спрашивал по-товарищески, как он поживает, и угощал табаком. Зато жившие в доме датчане не проявляли к нему особого уважения. Поскольку датчане считают, что от исландцев дурно пахнет и поэтому почти невозможно находиться с ними под одной кровлей, управитель приказал Йоуну Хреггвидссону спать на сеновале над хлевом. Кучер же, со своей стороны, запретил ему подходить слишком близко к лошадям, опасаясь, чтобы с исландского крестьянина на животных не переползли вши или другие насекомые. Этот кучер так заботился о своих четвероногих, с утра до ночи мыл их, стриг и причесывал, что едва ли дочери знатных людей в Исландии, считающиеся там завидными невестами, были более выхолены, разодеты и разукрашены. Крестьянин с самого начала, к облегчению остальных, отказался есть за одним столом со слугами, ибо в Исландии простые люди едят за столом только в большие праздники. Обычно каждый сидит со своей миской на кровати. Поэтому к нему в дровяной сарай, где он обретался днем, посылали служанку с чашкой еды, или же он присоединялся к нищим, оборванцам и бродягам, которых два

раза в неделю кормили в сенях у главного входа, ради оказания помощи королю.

Однажды осенью этому крестьянину была оказана неожиданная честь, в сарае его посетил не кто иной, как хозяйка дома, его госпожа, добродетельная и почтенная супруга асессора, фру Метта. Она поздоровалась с исландцем. С той поры как эта знатная женщина двадцать лет назад на солдатском немецком языке сказала Йоуну Хреггвидссону, чтобы он убирался ко всем чертям, ее подбородок опустился еще ниже, а жиру на этой женщине стало столько, что она напоминала глиняную фигуру, упавшую до обжига с полки и превратившуюся в бесформенный комок. Лицо ее было посыпано белой пудрой, на голове красовались черные кружева, спадавшие на горб, она была в черном платье, очень широком, очень длинном и очень мятом. Йоун Хреггвидссон сорвал с себя рваную шапчонку, вытер нос и вознес хвалу богу. Хозяйским глазом она осмотрела его работу. Он спросил, не предпочитает ли она, чтобы поленья были короче трех пядей, что, с позволения сказать, равняется известному органу жеребца средней длины. Она ответила, что длина достаточная. Относительно воды он спросил ее, хочет ли она, чтобы он брал

ее из западного колодца, где в прошлом году утонул датский ребенок, или из восточного, откуда весной был выловлен труп немецкой женщины.

Она сказала, что не может сделать ему никаких упреков ни насчет воды, ни насчет дров, но что еще более важно: в доме о нем не сложилось плохого мнения. У ее мужа, Арнэуса, привычка наблюдать за всяким новым слугой в доме, и, если он оказывается ненадежным или нечистым на руку, его сразу же прогоняют. Поскольку за Регвидсеном ничего такого не было замечено в течение почти целого года, она сочла своевременным прийти и узнать, как он поживает.

Йоун Хреггвидссон ответил, что он живет ни хорошо, ни плохо, но ведь он исландец. Все зависит от того, чего хочет король. Он выразил надежду, что добрый король, да будет благословенно его имя, не позволит неразумному крестьянину из Скаги на вечные времена стать обузой христианских графинь и баронесс Дании, а также их мужей, что легко может привести к тому, что у благородных и почтенных лошадей в Дании заведутся вши.

Трудно сказать, поняла ли мадам хоть что-либо из любезностей крестьянина. Ясно было одно, что она хочет с ним побеседовать, в частности,

потому, что ее господин и супруг принадлежит к той же нации. Она сказала, что давно уже хотела расспросить Регвидсена о новостях из Исландии, этой удивительной страны. Некоторые люди даже утверждают, что в этой стране находится ад, но, поскольку ее возлюбленный супруг хоть и исландец, но добрый христианин, она не хочет этому верить, пока не получит более точных сведений на этот счет.

Он ответил все так же вежливо: что касается его родины, то пусть высокородная графиня, баронесса и мадам поверит, что на этой проклятой собачьей заднице, которую называют Исландией, нет ничего, о чем стоило бы рассказывать, кроме старой истины, которая всегда остается истиной, хотя добрые люди и избегают говорить об этом, — что ад был и на веки вечные останется в этой стране для тех, кто заслужил адские муки.

— А как поживают исландцы, — спросила мадам, — после того, как господь бог послал им милостивую и благословенную чуму?

— О, они издыхали, как голодные овцы, и отправлялись к черту, — сказал Йоун Хрегг-видссон.

— Им следовало бы пустить кровь, — сказала женщина.

— О, кровь давно уж вытекла из этих бедняков, добрая женщина, — сказал Йоун Хреггвидссон. — С той поры как они убили моего родича Гуннара из Хлидаренди, крови в Исландии нет.

— Кто его убил?

Он отвернулся в сторону и почесал голову.

— Я не хочу рассказывать эту историю в других приходах, — сказал он. — Если человек умер, так он умер и отправился к черту. Нечего по нем горевать. Но Гуннар из Хлидаренди всю свою жизнь был человеком чести.

— Вы, исландцы, считаете, что мы, датчане, убиваем вас всех, — сказала женщина. — Но разрешите спросить, кто хотел убить моего мужа магистра Арнэуса, когда он приехал туда, чтобы помочь вам. Не датчане, а сами исландцы.

— Да, вот видите, что это за народ, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Сначала я украл леску, потом, когда мне надоел мой сын, я его убил. Кое-кто даже говорит, что я утопил в луже королевского чиновника.

— Хотя мой муж и исландец, он такой же добрый христианин как любой датчанин, — сказала женщина.

— Да, ему же хуже, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Он из кожи вон лез, чтобы спасти

исландцев — кого от веревки, кого от топора или от того, чтобы есть датских червей. Я-то считаю, что эти черви достаточно хороши для них и даже слишком хороши, если они не хотят их есть. А что он получил за это? Позор и дерьмо. Нет, женщина, не думай, что я сочувствую исландцам. Сам я всегда старался беречь лески для рыбной ловли. Это ведь самое главное. В Иннрахольмсланде я наперекор местным жителям стал ловить рыбу с лодки, с шестивесельной, по три весла с каждой стороны, женщина, одно, два, три, четыре, пять, шесть. Я назвал место Хретбуггья, понимаешь, женщина? По-датски Реетбюгге. Это потому, что на том берегу свирепствует зюйд-вест. На Скаги, моя добрая женщина, понимаешь? Акранес, Рейн — у подножья горы, перед Иннрахольмсландом, которым владеют иннрахольмцы. Какие же еще новости я могу рассказать? Да, дважды у меня родились дочери. Первая, большеглазая, лежала в гробу, когда я пришел с войны. Вторая как будто жива, чума ее не убила. Она уже начала иногда по ночам спать с парнями, а когда я уезжал, стояла в дверях. Но она не уследила за собакой, и та бежала за мной до Улафсвика. Это Христов хутор. Его владелец Иисус Христос, понимаешь, женщина?

— Ты очень хорошо говоришь, что владелец

двора Иисус Христос, — сказала женщина. — Это показывает, что в сердце своем ты раскаиваешься. Тому, кто раскаивается, простятся его грехи.

— Грехи, — вспыхнул Йоун Хреггвидссон. — Я никогда не грешил. Я честный преступник.

— Бог да простит всех, кто признает себя преступником, — сказала женщина. — Кухарка мне тоже как-то говорила, что ты ни разу не взял ни одного эре, когда тебя посылали на рынок. Поэтому я и говорю с тобой, как с честным человеком, хотя ты и исландец. Что-то я еще хотела сказать? Да, кстати, что это за шлюха вавилонская приехала из Исландии в Копенгаген?

Йоун Хреггвидссон несколько глуповато посмотрел в сторону, пытаясь отгадать загадку, но не мог найти связи с тем, о чем шел разговор прежде, и отказался от этой попытки.

— Вавилонская, — сказал он. — Ну вы мне сделали мат в два хода, мадам. Я кончил врать.

— Ах, уж эта женщина из Исландии! — сказала она. — По сравнению с ней убийство моего мужа было бы пустяком. Да, исландцам было известно, что она хуже убийства, и они продолжали связывать его имя с ее именем, пока сам король не поверил этому и не приказал судить этого доброго христианина, который мог бы быть датчанином

или даже немцем. Это та самая женщина. Что она за баба? И как мог мой супруг, этот добрый христианин, проводящий все ночи за книгами, даже подумать о том, чтобы бегать за ней?

Йоун Хреггвидссон почесал себя во всех вероятных и невероятных местах, пытаясь раскумекать это дело, и наконец предпринял робкую попытку ответить.

— Хотя в моем роду по линии матери давно водились книги, я никогда не прочел ни одной из них, — сказал он. — Да и писать я могу только печатными буквами. Но я не упрекаю того, кто захочет поменять книгу на женщину, хотя бы он и сидел и изучал книги по ночам, ибо нет двух других вещей, которые изучались бы столь одинаково, как эти обе.

— Ничто не может извинить неверность исландского мужа датской жене, — сказала она. — Но, к счастью, как говорит мой супруг, то, чего нельзя доказать, неверно, и, значит, это неверно.

— Да, что касается меня, то, когда я был в Роттердаме, — это в Голландии, откуда приходят рыбаки на шхунах, — то я однажды встретился ночью с пасторской дочкой. Ну, что тут скажешь? А дома в Исландии у меня уродливая и скучная жена…

— Если ты намекаешь на то, что я уродлива и скучна, чтобы оправдать моего мужа, который спит с вавилонской шлюхой, то я должна тебе сказать, Регвидсен, что, хотя асессор Арнэус считает себя мужчиной, он не приведет в дом преступника из Бремерхольмской крепости без моего на то разрешения. И еще я скажу тебе, исландцу, от которого воняет акулой, ворванью и всем исландским дерьмом так, что вся лаванда Дании ничто в сравнении с этой вонью и только чуть-чуть благоухает: мой первый муж, а он был настоящим мужчиной, хотя его и не приглашали к королевскому столу, говорил, что я очень даже гожусь для брака. А что было бы с тем, кто теперь изображает моего мужа, не будь у меня денег и дома, коляски и лошадей? У него не было бы ни одной книги. Поэтому я имею полное право знать, что за женщина, говорят, прибыла из Исландии в Копенгаген?

— Она стройна, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— Стройна? — спросила женщина.

— Она почти невесома.

— Как это — невесома? — спросила женщина.

Он подмигнул одним глазом и посмотрел на женщину.

— Как тростник, самое гибкое и тонкое из всех

растений.

— Не хочешь ли ты сказать, что я толста? — сказала женщина. — Или она должна стать розгой для меня?

— Моя благородная фру хозяйка и баронесса не должна думать, что у исландского каторжника больше ума, чем есть на самом деле, и не должна сердиться на его глупую болтовню. Если бы у этого бедняка был рот, — а разве можно назвать ртом то, что неоднократно произносило вероломные клятвы перед богом и людьми, — то он бы поцеловал ваши высокородные ноги.

— Что за ерунду ты болтал о тростнике? — спросила женщина.

— Я только говорил о стебле, который не ломается, когда его гнешь, а отпустишь руку, он снова поднимается — тонкий и стройный, как и прежде.

— Я приказываю тебе отвечать, — сказала женщина.

— Лучше спросить Йоуна из Гриндавика, — сказал Йоун Хреггвидссон, — он ученый и мудрый человек.

— Сумасшедший Йон Гриндевиген, — сказала она. — Таких людей, которых исландцы называют учеными и мудрыми, здесь в Дании зовут

деревенскими идиотами, и закон запрещает им выезжать из своих местечек.

— Тогда Йоуна Мартейнссона, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Он знает женщин и в Исландии и в Дании, потому что он спал с дочерью епископа. А меня даже не считают человеком.

— Мой дом — христианский дом, куда воры, крадущие кур, не смеют сунуть нос, — заявила хозяйка. — И если ты без обиняков не расскажешь мне все об этой женщине, ты сам пойдешь к Мартинсену и пусть он о тебе заботится.

— Я знаю об этой женщине только то, что она развязала меня, и спасла от топора у реки Эхсарау, и привязала к камню, к которому привязывают лошадей в Улафсвике.

— Есть у нее деньги? Как она одета?

— Ты сказала — деньги. У нее больше денег, чем у любой женщины в Дании. Ей принадлежат все деньги в Исландии. У нее серебро и золото, накопленное веками. Ей принадлежат все крупные поместья и хутора Исландии, независимо от того, удастся ли ей украсть их у короля и вернуть себе или нет; леса и реки, в которых водятся лососи; земли на берегу моря, поросшие лесами, — одного большого дерева оттуда достаточно, чтобы построить Константинополь, если только най-

дется пила; заливные луга и болота, где растет тростник; земли с обильными рыбой озерами и пастбищами вплоть до самых глетчеров; острова на бездонном море с бесчисленным множеством птиц, где ходишь по колено в пуху; птичьи скалы, отвесно спускающиеся в море, где можно в Иванову ночь услышать, как ругается веселый птицелов, повисший на веревке на высоте шестидесяти футов. И все это только самая малость из ее владений, я никогда не смог бы перечислить их. Но богаче всего она все же была в тот день, когда суд лишил ее всего и Йоун Хреггвидссон бросил ей, сидевшей у дороги, далер. Как она одета? На ней золотой пояс, на котором горит красное пламя, моя добрая женщина. Она одета так, как всегда были одеты женщины-аульвы в Исландии. Она пришла в синем платье, шитом золотом и серебром, туда, где лежал в цепях убийца. И все же лучше всего она была одета в тот день, когда ее обрядили в грубые чулки и платье нищенок и шлюх, и она смотрела на Йоуна Хреггвидссона своими синими глазами, которые будут владычествовать в Исландии и тогда, когда весь остальной мир погибнет от своих злодеяний.

Глава двенадцатая

В гостинице «Дом золотых дел мастера» в Нюхауне, знатная дама вместе со своей камеристкой готовится к отъезду. Поздний осенний вечер. Корабли, прибывшие из далеких мест, медленно покачиваются на своих канатах в узком канале напротив дома, то ударяясь о каменную стену причала, то вновь плавно отходя от нее. Женщины укладывают вещи, драгоценности и платья в ящики и сундуки, госпожа указывает место для каждой вещи, но вид у нее отсутствующий, она даже иногда забывает, что она делает, отворачивается и, задумавшись, смотрит в окно. Тогда ее пожилая камеристка также прерывает свое занятие и исподтишка с участием смотрит на свою госпожу.

Наконец все уложено за исключением одной вещи. На подоконнике еще лежит, наполовину завернутая в красный шелковый платок, старинная рукопись — листы сморщенной кожи, черные от сажи, запачканные жирными пальцами людей, умерших так давно, что от них не осталось никаких следов, кроме этих отпечатков пальцев. Вновь и вновь камеристка вертит в руках эту

древность, нерешительно развязывает красный шелк и снова завязывает или перекладывает книгу и опять кладет ее туда, где она лежала с самого начала. Госпожа еще не сказала, куда положить эту книгу, никто из них не обмолвился о ней ни единым словом, Наступает ночь, на улице воцаряется тишина, стаи чаек летают взад и вперед над кораблями, а госпожа все стоит и глядит в окно.

Наконец камеристка прерывает молчание:

— Не пойти ли мне в город, хотя уже поздно, и не отдать ли книгу туда, где ей надлежит быть?

— А ты разве знаешь, где ей надлежит быть? — спрашивает ее хозяйка низким грудным голосом.

— Перед отъездом из Исландии я слышала, как вы сказали, что эта книга должна быть только в одном месте, гм… у одного человека.

— Этот человек еще дальше от нас осенью в Копенгагене, чем был весной в Исландии, — сказала госпожа.

Камеристка занялась каким-то делом и ответила, не поднимая глаз:

— Моя покойная госпожа, ваша матушка, да благословит бог ее память, часто рассказывала нам, девушкам, историю одной из ваших праба-

бушек, которая никого не целовала так горячо, как врага своего отца, никому не оказывала такого гостеприимства и никого на прощанье не одаряла такими роскошными подарками, как его, а когда он уехал, послала ему вслед человека, чтобы его убить.

Снайфридур даже не взглянула на камеристку и ответила, медленно выходя из задумчивости:

— Может быть, моя прабабушка сначала одаряла врага своего отца подарками, а потом убила его. Но она не убила его прежде, чем одарить подарками.

— Дочь моей покойной госпожи никого еще не убила, — сказала камеристка. — Мы проведем только одну ночь в городе, да и то не целиком, наступила осень, нужно быть готовым ко всякой погоде, а рано утром мы отправимся в плаванье по бушующему морю, которое можно сравнить только с реками на юге Исландии. Потерпим ли мы кораблекрушение или нет, все равно это последние минуты. И если госпожа не решится и не воспользуется этой последней ночью, она никогда не передаст ему книгу, его книгу.

— Не знаю, о чем ты говоришь, — сказала госпожа, удивленно посмотрев на камеристку. — Не намекаешь ли ты на канатчика, который ходит

взад и вперед, взад и вперед, сегодня, как вчера и позавчера, и днем и ночью по ту сторону канала?

Камеристка ничего не ответила, она низко нагнулась над открытым сундуком, тяжело переводя дыхание, а когда хозяйка обернулась, она увидела у нее на глазах слезы.

— Мне удалось добиться, чтобы его судили мои друзья, Бейер и Йоун Эйольфссон, в альтинге на Эхсарау весной, — холодно сказала знатная женщина. — Рескрипт короля у меня в сундуке.

— Он еще не осужден, — сказала камеристка. — Документ прибыл только сегодня. Он не узнает об этом до нашего отъезда. Вы можете сегодня вручить ему подарок.

— Ты ребенок, Гудридур, хоть ты и на двадцать пять лет старше меня, — сказала знатная женщина. — Неужели ты воображаешь, будто он не знает всего, что я делала с той минуты, как сошла летом на берег. Льстивые дары не могут его обмануть.

— Но вы же знали, зачем вы летом взяли с собой эту книгу из Исландии, — сказала камеристка.

— Если бы я возвращалась в Исландию, не выполнив своей миссии, устав от просьб, может быть, я бы отдала ему эту книгу. Но победитель

не делает подарков побежденному. Я чуть было не отдала ее этому сатане Йоуну Мартейнссону, который вторгся сюда сегодня, пока тебя не было. Он хотел выудить ее у меня: говорил, что я должна отблагодарить его за Брайдратунгу.

— Боже, будь милостив к нам! Что сказала бы ваша покойная мать! — воскликнула камеристка, вытирая слезы. — Не хватало еще, чтобы вы делали подарки этому мошеннику, который написал ваше имя на бесчисленном количестве бумаг здесь, в Дании, на посмешище датчанам.

— Пусть датчане смеются. Гудридур, положи книгу в сундук и хорошенько его закрой. Женщинам, отправляющимся в далекий путь, пора ложиться спать.

Лампа начала гаснуть, но не было смысла подвертывать фитиль, скоро они совсем погасят ее и лягут, завтра утром они уедут. Их покои состояли из двух комнат. Стены в первой комнате были до половины обшиты окрашенной в зеленый цвет панелью, а выше побелены. На стенах висели медные чаши с рельефными изображениями, раскрашенные и покрытые глазурью блюда, две гравюры на меди: на одной были изображены римские богини, на другой — собор святого Марка в Венеции. В открытом стенном шкафу на

полках стояли их тарелки, чашки, кувшины и другая посуда, так как госпожа кушала дома, а не за общим столом в гостинице. В спальне у окна стояла постель госпожи, камеристка спала на диване у двери.

Хотя госпожа и сказала, что пора ложиться, она все еще в задумчивости стояла у окна, а камеристка нашла себе какое-то дело, чтобы не ложиться первой. Наступила глубокая ночь. Стало совсем тихо. Тем более они удивились, когда раздался стук в дверь и коридорный сообщил госпоже, что с ее милостью хочет говорить чужестранец.

Она побледнела, зрачки ее расширились:

— Спроси, меня ли он на самом деле ищет. И если меня — проведи его сюда.

Его появление в дверях ее покоев в копенгагенской гостинице, в этот последний вечер, после такого долгого отсутствия и такого множества событий, казалось столь простым и естественным, как будто он только недавно ушел от нее, чтобы, воспользовавшись хорошей погодой, прогуляться в королевском парке.

— Добрый вечер, — сказал он.

Он держал шляпу в руках. Платье его, как всегда, было прекрасно сшито. Но он располнел, черты лица стали более резкими, блеск глаз

потускнел, словно от усталости. На нем был серебристо-седой, тщательно завитой парик.

Она не сразу ответила на приветствие гостя, продолжая стоять у окна, бросила быстрый взгляд на камеристку и сказала ей:

— Спустись к твоей подруге-кухарке и попрощайся с ней.

Он ждал у порога, пока камеристка пройдет мимо, потом сделал несколько шагов вперед. Она заперла дверь, подошла к гостю и поцеловала его, не говоря ни слова, обвила руками его шею и прижалась лицом к его щеке. Он погладил ее светлые, густые волосы, начавшие уже блекнуть. Она спрятала лицо у него на груди, потом подняла глаза и посмотрела на него.

— Я не думала, что ты придешь, Аурни, — сказала она. — И все же я знала, что ты придешь.

— Некоторые люди приходят поздно, — сказал он.

— У меня есть книга для тебя, — сказала она.

— Это на тебя похоже, — ответил он.

Она предложила ему сесть на диван, открыла сундук, где сверху под самой крышкой лежала завернутая в красный шелк книга, и протянула ему.

— Это была самая любимая книга моего покой-

ного отца, — сказала она.

Он нежно и медленно развертывал платок, она с любопытством ожидала вновь увидеть в его глазах тот блеск, который ранее зажигала в них каждая древняя книга. Вдруг он перестал развертывать платок, взглянул на нее, улыбнулся и сказал:

— Я потерял мою самую любимую книгу.

— Какую?

— Ту, которую мы нашли с тобой вместе в доме Йоуна Хреггвидссона.

И он спокойно и просто рассказал ей, как пропала «Скальда».

— Это большая потеря, — сказала она.

— Тяжелее всего потерять любовь, которую ты питал к драгоценным книгам.

— Я думала, что пропавшую драгоценность любишь больше всего, тоскуешь по ней, — сказала она.

— Не чувствуешь, когда исчезает тоска, — сказал он. — Это похоже на то, как излечивается рана, или на смерть. Не чувствуешь той минуты, когда рана перестает болеть, не чувствуешь, что умираешь. Вдруг ты выздоровел; вдруг — умер.

Она смотрела на него как бы издали и наконец сказала:

— Ты похож на мертвеца, который является своему другу во сне: это он, и все-таки не он.

Он улыбнулся. Наступило молчание, и он снова стал развертывать платок.

— Я узнаю ее, — сказал он, развернув платок. — За этот несчастный свод законов я предлагал твоему отцу поместье Хольт у Энунзарфьорда, он ведь считается одним из самых замечательных древних памятников германских народов, он даже более замечателен, чем древний lex salica[214] франков. Да, это было в те времена, когда мои слова считались важнее жужжанья мухи в налоговой палате. Я хотел даже предложить ему Видэй, если бы он счел Хольт недостаточной платой за книгу. Но хотя он редко отказывался от земельной собственности, которую можно было получить на выгодных условиях, он знал так же хорошо, как и я, что все крупнейшие поместья в Исландии гораздо менее ценны, чем древние исландские рукописи, и поэтому так и не уступил мне ее. Позднее я написал ему и предлагал уплатить здесь, в Компании, любую сумму, ко-

---

[214] Примечания: 214

Салический закон *(лат.)*.

Салический закон, или салическая правда — свод законов германского племени салических франков, одна из древнейших варварских правд. Ее основным содержанием является установление штрафов за различные преступления и проступки. *(Прим. Л. Г.)*.

торую он укажет, в золоте или серебре, за эти старые лоскутья. Следующей весной он прислал мне подарок — копию книги, сделанную так, как их обычно делают в Исландии: если писец сам читает правильно, то он непременно стремится исправить своего предшественника. У меня было много лучших копий этой книги.

— Ты по-прежнему считаешь, что нет иной Исландии, кроме той, которая живет в старых книгах? — спросила она. — А мы, обитающие там, лишь боль в твоей груди, от которой ты любым способом хочешь отделаться, а может быть, мы для тебя и вовсе ничего не значим?

— Душа северных народов, — ответил он, — скрыта в исландских книгах, а не в тех людях, которые сейчас живут в северных странах или в самой Исландии. Но прорицательница предсказала, что золотые тавлеи начала времен[215] будут найдены в траве, когда наступит конец мира.

— Я слышала, что нас хотят переселить на ютландские пустоши, — сказала она.

— Если ты хочешь, я помешаю этому, — ответил

---

[215] Примечания: 215

Золотые тавлеи начала времен — золотые шашки, в которые боги играли в начале мира («Старшая Эдда», песнь «Прорицание вёльвы») и которые по предсказанию вёльвы, когда мир возродится, должны снова найтись на лугу в высокой траве. *(Прим. Л. Г.).*

он и улыбнулся.

— Если я хочу, — повторила она. — Что может сделать бедная женщина? В последний раз, когда я тебя видела, я была нищенкой в Тингведлире на Эхсарау.

— Я был слугой беззащитных, — сказал он, — Я видел, как ты сидела у дороги…

— …в лохмотьях тех, кого ты оправдал, — добавила она.

Он сидел мрачно, с почти отсутствующим взглядом. Казалось, он шепчет про себя слова древней песни.

— Где то пламя, которое я хотел раздуть? Оно стало еще слабее, чем когда бы то ни было. А беззащитные, которых я хотел защитить? Даже их вздохов не слышно более.

— У тебя есть Йоун Хреггвидссон, — сказала она.

— Да. У меня есть Йоун Хреггвидссон. Но это все. И, может быть, его отнимут у меня и повесят еще до окончания зимы.

— Нет, — сказала она и придвинулась ближе к нему. — Мы должны говорить не о Йоуне Хреггвидссоне. Прости, что я упомянула это имя. Я пойду разбужу хозяина, чтобы он принес нам кувшин вина.

— Нет, — сказал он. — Не надо хозяйского вина. Не надо ничего ни от кого. Пока мы сидим так, у нас есть все.

Она откинулась на диване и тихо повторила последнее слово:

— Все.

— В нашей жизни, что бы ни случилось, существует лишь одно.

Она прошептала:

— Одно.

— Ты знаешь, почему я пришел? — спросил он.

— Да, — ответила она, — чтобы никогда больше не разлучаться со мной.

Она встала, подошла к обитому железом сундуку и вынула из него несколько документов большого формата с висящей на них королевской печатью.

Она держала документы большим и указательным пальцем подальше от себя, как держат за хвост крысу.

— Эти рескрипты, — сказала она, — указы, вызовы и лицензии — не что иное, как тщеславие и притворство.

Он подошел к ней и тем же движением, каким подставляют руку под паука, говоря: вверх, вверх, если ты предсказываешь добро, вниз, вниз, если

ты предсказываешь плохое, — взвесил на ладони королевскую печать, свисавшую на шнуре с одного из документов.

— Ты многого добилась, — сказал он.

— Я приехала сюда в надежде встретить тебя, — сказала она. — Все остальное не имеет никакого значения. Я разорву на клочки эти бумажки.

— Безразлично, — сказал он, — целы или порваны эти документы. Все указы датского короля все равно потеряют силу до того, как новый альтинг соберется на Эхсарау.

— Ты думаешь, что отныне нашими законами будут мечты и саги, — сказала она, и лицо ее покрылось тенью.

— Я могу стать лордом Исландии, — сказал он. — А ты будешь моей леди. Я пришел для того, чтобы сказать тебе это.

— Измена родине? — тихо спросила она.

— Нет. Король хочет продать Исландию. Датским королям всегда очень хотелось продать эту недвижимость, но дело в том, что иностранные князья находили в ней кое-какие изъяны, пока наконец не нашелся покупатель. Немцы в Гамбурге намерены купить ее. Но они считают, что им не удержать ее, если они не найдут штатгальтера, которого любит народ. И вот они думают,

что я и есть подходящий человек.

Она долго смотрела на него.

— Что ты собираешься делать? — спросила она.

— Управлять страной, — ответил он и улыбнулся. — Первым шагом будет восстановление наших национальных прав почти на той же основе, которая в свое время определила трактат, заключенный со старым Хоконом в Норвегии.

— А судебная власть?

— Моим вторым делом будет снятие с постов всех чиновников датского короля и высылка некоторых из страны, в частности, ландфугта Пауля Бейера, а также заместителя судьи Йоуна Эйольфссона. Нужно очистить законы от датского вмешательства и создать новые.

— А где будет твоя резиденция?

— Где ты хочешь?

— В Бессастадире.

— Как ты хочешь, — сказал он. — Дом будет выстроен не менее великолепный, чем любой королевский дворец в Дании. Я построю каменную библиотеку и водворю туда все драгоценные книги, которые я спас от гниения в лачугах в эпоху разрушений, причиненных датчанами.

— У нас будет большой пиршественный зал, —

сказала она. — На стенах будут висеть гербы и щиты древних воинов. Твои друзья будут по вечерам сидеть с тобой за дубовым столом, рассказывать о древних событиях и пить пиво из кружек.

— Наших земляков не будут больше пороть за то, что они ведут выгодную торговлю, — сказал Арнас Арнэус. — Вокруг гаваней вырастут торговые города по образцу чужестранных, будет создан рыболовный флот, и мы станем продавать сушеную рыбу и шерсть городам на материке, как в старые времена, как при Йоуне Арасоне, а взамен покупать те товары, которые нужны цивилизованным людям. Из недр земли будут добываться ее сокровища, император покажет кулак королю Дании и потребует, чтобы он вернул исландцам те драгоценности, которые по его приказу были украдены из собора в Хоуларе, из Мункатверо, Мэдруведлира и Тингейрара. Будут возвращены также старые поместья, которые датская корона захватила после падения исландской церкви. В Исландии будет создан прекрасный университет и коллегия, исландские ученые снова заживут как люди.

— Мы построим дворец, — сказала она, — не хуже того, который барон Гюльденлеве построил

себе в Дании на исландские деньги.

— В Тингведлире, — добавил он, — будет построено величественное здание суда и повешен другой колокол, больше и звучнее того, который король повелел увезти, а Йоун Хреггвидссон сбросил по приказу палача.

— Холодный лунный свет, сверкающий в пруду, где топят женщин, не будет более единственным милосердием для бедных исландок, — сказала она.

— А изголодавшихся нищих не будут больше вешать у Альманнагья во имя правосудия, — сказал он.

— Все будут нашими друзьями, — сказала она, — ведь народ будет хорошо жить.

— И тюрьма для рабов в Бессастадире будет снесена, — сказал он. — Ибо в стране, где народ живет хорошо, не совершаются преступления.

— И мы будем разъезжать по стране на белых конях, — сказала она.

Глава тринадцатая

Чайки по-прежнему без помех летали над улицами и каналами, а город был погружен в сон, когда послышался стук тяжелых конских копыт

и шум колес кареты, которая со скрипом остановилась. Вскоре в дверь осторожно постучали. Снайфридур в одной ночной сорочке выглянула наружу. Лицо у нее разрумянилось, глаза сияли мягким блеском, волосы волнами рассыпались по плечам.

— Ты стучишь, но не входишь, — сказала она. — Почему ты не входишь?

— Я боюсь помешать, — ответила камеристка.

— Кому?

— Вы одни?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Компания прислала карету за вещами.

— Где же ты была всю ночь?

— Вы же сказали мне вчера вечером, чтобы я пошла к своей приятельнице Трине, — сказала камеристка. — Я не посмела больше войти. Я думала, что здесь кто-то есть.

— О ком ты говоришь? Кто должен быть здесь?

— Я не слышала, чтобы кто-то вышел.

— А кто должен был выйти?

— Тот, кто пришел, чтобы взять книгу.

— Какую книгу?

— Ту книгу.

— Никто не приходил за книгой: если ты посмотришь, ты увидишь, что она лежит в сундуке

на самом верху, куда ты ее вчера положила.

В подтверждение своих слов госпожа открыла сундук перед камеристкой, и действительно книга лежала там, завернутая в красный шелк.

— Я никогда бы не подумала, что он может забыть книгу, — сказала служанка.

— Я не знаю, о ком ты говоришь, — сказала госпожа.

— О человеке, который стоял здесь на пороге, когда вы вчера вечером приказали мне выйти!

— Да, правда, я попросила тебя вчера вечером спуститься и попрощаться с кухаркой хозяина, твоей хорошей приятельницей. Но не вздумай рассказывать кому-нибудь, что ты видела здесь мужчину. Люди могут подумать, что у тебя не все дома.

Большое здание Компании по торговле с Исландией у Слоттсхольмена отчетливо вырисовывалось в свете зари. Там стоял на якоре исландский корабль, который отправлялся в Исландию с зерном — помощью короля голодающим.

Несмотря на ранний час, все в «Доме золотых дел мастера» были уже на ногах. Мальчишки носили багаж гостьи в карету, а хозяйка помогала ей надеть дорожное платье и лила слезы о том, что женщина с такими глазами пускается в

путь по ужасному морю, где не на что надеяться, кроме как на господа бога, да еще в такое время, когда уже зима на носу, и едет-то она в страну, где адский огонь горит подо льдом.

В это утро асессор Арнас Арнэус раньше обычного вошел в свою библиотеку. Он разбудил служанку и приказал ей разжечь печку, подать ему горячего чаю, а также подмести и убрать в комнате, так как утром он ждал гостя.

Побрившись, причесав парик и натерев себя мазями и духами, как приличествует знатному человеку, он закурил большую трубку и стал ходить по комнате, как это в обычае у исландцев.

Около девяти часов у ворот остановилась иностранная карета, из нее вышел громадного роста человек в невиданно широком плаще, неся свое огромное брюхо, щеки его висели до самых плеч. Это был гамбуржец Уффелен. Его провели в библиотеку асессора. Немец начал кланяться уже у входной двери. Арнас Арнэус встретил его и предложил сесть. Они осведомились друг у друга о хорошо известных новостях и обменялись положенными любезностями. Затем гость приступил к делу. Он приехал сюда снова, как они об этом договорились год назад, чтобы получить окончательный ответ по тому делу, ко-

торое он неоднократно обсуждал с милостивым государем, — касательно его родины — острова Исландии. В особенности же ответ на тот вопрос, о котором посол его величества датского короля постоянно вел переговоры с гамбуржцами и на который теперь требовался неукоснительный ответ, поскольку, по-видимому, войну со шведами нельзя уже больше откладывать. Гамбуржцы тщательно изучили различные связи этой страны, насколько это было возможно, и снова подтвердили свое прежнее решение — вступить в сделку с датским королем, но лишь при одном условии, что их штатгальтером в Исландии будет такой человек, которому они доверяют и которого будет слушаться бедный народ. Этот человек к тому же должен обладать многими достоинствами, чтобы выступать в качестве представителя будущей республики перед императором, который номинально будет главой Исландского государства, так же, как и других более или менее связанных между собой стран в Священной империи. Уффелен сказал, что он сам и его коллеги пытались по совету асессора найти другого человека среди исландцев, который был бы более или, во всяком случае, не менее подходящей кандидатурой, чем он, но с

большей охотой принял бы пост штатгальтера. Такого человека им найти не удалось. Они не хотели ни полагаться на какого-либо бывшего чиновника датского короля на острове, ни возводить в этот сан какого-нибудь невежественного крестьянина, хорошо зная, что все власти на острове по старой традиции, будучи подкуплены или надеясь на привилегии, преисполнены неискоренимой верности датскому королю. Зато у них есть точные сведения о том, что господин асессор консистории является любимцем несчастных бедняков, населяющих упомянутый остров и не способных самостоятельно добиться нравственного подъема.

Арнас Арнэус, ходивший по комнате, пока немец говорил, спросил — не ставили ли датчане на обсуждение проект, очень импонирующий некоторым господам из канцелярии, — хотя этому и нет письменных подтверждений, — о том, чтобы переселить голодающее население Исландии, которое еще не вымерло, на ютландские пустоши, а затем продать незаселенный остров. Уффелен ответил, что с немецкой стороны этот проект не будет поддержан, да и вообще гамбуржцы не имеют никакой возможности раздобыть людей для заселения острова. В Исландии, как

они ни искали, они не нашли никаких годных для жилья строений. Народ, живущий там, обладает преимуществом, неизвестным другим народам, — он может жить в торфяных хижинах и в землянках, а не в домах. По всей вероятности, никто другой не смог бы жить там, кроме уроженцев этого острова. Гамбуржцы будут стараться улучшить жизнь исландского народа и как можно скорее создать там условия, не хуже тех, которые существовали во времена, когда Ганза вела там торговлю.

Арнас Арнэус спросил, не думали ли гамбуржцы о том, чтобы посадить в Исландии немецкого штатгальтера, если удастся найти на эту должность мягкого и справедливого человека. Уффелен сказал, что на это он даст такой же ответ, какой можно найти в письмах и заметках Генриха VIII и его советников касательно неоднократных предложений короля данов английскому королю купить упомянутую островную страну. Англичане на это отвечали, что не хотят покупать такую страну, как Исландия, где им придется завести дорогостоящую стражу для охраны жизни и безопасности иноземных властей. Судя по тем изысканиям в истории острова, которые предприняли советники английского короля,

островитяне издавна были известны своими злодеяниями против иноземных чиновников, пришедшихся им не по душе. В течение долгого времени это была главная причина, почему королю данов так трудно было продать страну. Уффелен знал имена славных иностранцев, убитых исландцами без суда и следствия, — это были королевские послы и эмиссары правительств, штатгальтеры, епископы и фугты, среди них много людей знатного рода. Исландские женщины всегда были зачинщицами в подобного рода делах. Не так давно одна исландка сварила очень знатного датского вельможу и его шестнадцать слуг в котлах, и королю данов так и не удалось добиться ни возмещения за это злодеяние, ни осуждения убийцы. Говорят, что один немецкий барон, состоявший на службе у датского короля, тоже лежит под камнями, зарытый, как собака, неподалеку от огорода скаульхольтского епископства. Известный высокородный шведский архиепископ, дворянский герб которого все еще можно видеть в соборе в Упсале, был назначен епископом в Исландию, но население утопило его в мешке, как собаку.

— Королевское высокомерие, — сказал Уффелен, — не про нас, гамбуржцев, мы осторожные

купцы, благожелательно относящиеся к исландцам, и желаем осуществлять связи с ними через их собственных друзей.

Тут Арнас Арнэус остановился перед немцем и сказал:

— Есть одна причина, делающая для меня невозможным выполнять в Исландии ту миссию, которую вы на меня возлагаете. Дело в том, что тот, кто предлагает купить страну, не является ее владельцем. Это правда, что я, хотя и не добиваясь этого лично, все же принял пост из рук короля, которого неотвратимые события и несчастья задолго до меня сделали властителем моей родины. Но было бы гораздо хуже, если бы я согласился стать доверенным лицом тех, кому он хочет продать страну, не имея на то никакого права.

— Знаете ли вы, милостивый государь, — ответил гамбуржец, — что в Гамбурге в тайном архиве хранятся письма двух очень известных в свое время людей — епископа Аугмундуса и Йона Арониса,[216] которые они, независимо друг от друга, писали нашему блаженной памяти им-

[216] Примечания: 216

Аугмундус и Йон Аронис — переделанные на латинский лад имена исландских католических епископов Эгмунда и Йоуна Арасона, боровшихся против введения в Исландии лютеранства. Епископ Эгмунд Паульссон умер в Скаульхольте в 1541 г. *(Прим. Л. Г.).*

ператору Карлу Пятому. Они просили о помощи против короля данов, ибо этот король послал тогда разбойников на военных кораблях, чтобы вывезти из Исландии имущество и драгоценности исландцев и конфисковать земли исландской церкви. В своих письмах исландские епископы просили императора взять страну под свою защиту либо как союзное государство в составе Священной империи, либо как члена ганзейского союза свободных государств с соответствующими обязанностями и правами. Ваша работа под покровительством немцев явится только продолжением стремлений этих достойных исландских патриотов тех славных времен, когда еще не удалось надеть на островитян ярмо датской короны.

Арнас Арнэус сказал, что тогда положение было совершенно иное: тогда датскому королю приходилось бороться с серьезной силой в Исландии, с исландской церковью, являвшейся своего рода отражением и средоточием исландского вольнолюбия и в то же время тесно связанной с международным христианством в лице римской церкви. Таким образом, германский император был союзником исландской церкви, поскольку в силу самой природы возникновения империи был в союзе со святым престолом. Исландской

церкви не существует более, ибо король данов уничтожил ее как светскую власть и выкорчевал ее из людских сердец как моральную силу, введя на смену ей так называемое учение Лютера, стремящееся объявить грабежи и разбой князей божьим законом.

— И, таким образом, у меня, — сказал Арнэус, — в Исландии не будет никакой силы, никакого учреждения, общественного мнения или иной помощи, которая поддерживала бы меня морально или юридически оправдывала бы мою службу новой чужеземной власти.

Уффелен сказал, что исландцу следовало бы помнить, что оба старика — знаменитые в свое время исландцы, искавшие помощи у императора Карла V, были схвачены посланцами короля данов, один из них — слепой и дряхлый — был выслан в чужую страну, другому, семидесятилетнему, датчане в его собственной стране отрубили голову.

— Господин Уффелен! — сказал Арнас Арнэус. — Меня очень трогает то, что иностранец так хорошо знает события, происходившие в Исландии. Но хотя наш Спаситель и лишил нас многих даров своей любви, все же я не могу упрекнуть моих земляков в отсутствии памяти. Судьба епи-

скопов Эгмунда в Скаульхольте и Йоуна Арасона в Хоуларе всегда будет жить в сердце каждого исландца. И хотя датскому королю, правда, вопреки его воле, до сих пор не удалось продать нас, как рабов, все же он сделал достаточно для того, чтобы его всемилостивейшее сердце заняло заслуженное место в исландской истории.

Человек, который хочет задушить в кулаке крохотного зверька, в конце концов устает. Он держит его на вытянутой руке и изо всех сил сжимает ему горло, но зверек не умирает; он смотрит на человека; он выпускает когти. Зверек не ждет помощи, даже если бы появился тролль и с дружеским видом предложил освободить его. Его надежда остаться в живых покоится на том, что время работает на него и ослабляет силу врага.

Если маленький беззащитный народ при всех своих несчастьях так счастлив, что имеет достаточно сильного врага, то время вступит в союз с этим народом, как с тем животным, которого я привел в пример. А если он в нужде своей прибегнет к защите тролля, тот проглотит его в мгновение ока. Я знаю, что вы, гамбуржцы, будете посылать нам, исландцам, зерно без червей и сочтете зазорным для себя обмеривать и обвешивать нас. Но когда на берегах Исландии

вырастут немецкие торговые города и рыбацкие поселки, то много ли пройдет времени, пока там, скажем, появятся также и немецкие крепости, и наемные войска? Какова же будет судьба народа, создавшего славные книги? Исландцы в лучшем случае станут жирными слугами в немецком вассальном государстве. А жирный слуга не может быть великим человеком. Избиваемый же раб — великий человек, ибо в сердце его живет свобода.

Глава четырнадцатая

В эту осень и зиму Арнаса Арнэуса не так часто видели в его библиотеке, как раньше. Он всегда рано вставал, нередко уже в восемь или немного позже начинал работать, но обычно говорил, что этих утренних часов вряд ли хватит, чтобы сделать необходимые записи для потомков о содержании, происхождении и авторстве тысяч хранившихся у него больших и малых исландских древних рукописей. Теперь же случалось, что он заходил в библиотеку только к вечеру, а то и совсем не заходил, а если кто-либо спрашивал его, слуги отвечали, что он болен или поздно лег вчера и еще не вставал. Случалось, они отвечали,

что его не было дома со вчерашнего дня, и не могли сказать, где он. Он мало интересовался тем, что происходит и в духовном суде, и в консистории, и в университете.

В библиотеке за столом сидит studiosus antiquitatum Гринвицензис, он переписывает истрепанные кожаные книги, но часто вынужден отрываться, чтобы сделать заметки и записи для тех ученых трудов, которые он в свободное время пишет сам о многочисленных природных явлениях в Исландии, в особенности о ее тайных силах. Кроме того, он выполняет доверительное поручение, налагающее на него тяжелую ответственность и не дающее ему покоя ни днем ни ночью — следит, чтобы в дом не проник Йоун Мартейнссон. Времени для работы у ученого мало, ибо, как только слышится шум в сенях или коридоре или шаги за окнами, он вынужден вскакивать из-за стола, чтобы подслушивать и подглядывать. В течение многих ночей, когда он подозревал, что этот непрошеный гость бродит поблизости, он не раздевался и не уходил спать в свою комнату, а ложился на полу в библиотеке, подложив под голову толстый фолиант, завернувшись в теплое одеяло, и спал очень чутко или же бодрствовал возле книг, являющихся жизнью

Исландии и душой севера.

Однажды вечером он сидел за своим большим трудом по истории языка и стремился доказать, что исландский, другими словами датский, язык не существовал в раю, а был создан греками и кельтами после потопа; от всей этой учености ему захотелось спать, и он положил голову на руки. В этот вечер дул западный ветер, холодный и пронизывающий. Падали редкие капли дождя, печка остыла, и в доме было холодно. Хлопала плохо закрытая калитка в соседнем дворе, иногда слышен был глухой стук копыт и шум карет, едущих по другой улице, — это военные направлялись домой или король ехал развлекаться. Ничего подозрительного. Но вдруг со двора послышались странные вопли — резкие, грубые и хриплые. Гриндвикинг сразу же проснулся.

— Неужели какая-нибудь собака выйдет на улицу в такую непогоду, — проговорил studiosus antiquitatum и невольно забормотал строки старого псалма для утешения в тяжелую минуту, выученные им еще тогда, когда он сидел на коленях у матери:

Там, в черной бездне преисподней,
Где властелином сатана —

Зубовный скрежет, серный смрад.
В святой обители ж господней —
Высоко в небесах она —
Напевы ангелов звучат.

Затем он осенил себя крестным знамением, отгоняя призраков, и, выбежав из библиотеки, открыл дверь и выглянул во двор. И, конечно, там стоял не кто иной, как Йоун Мартейнссон.

Увидев, кто это, studiosus antiquitatum прошипел в дверь, навстречу ветру:

— Abi, scurra![217]

— Копенгаген горит, — пробормотал пришедший, пригнув голову к груди, и ветер унес его слова. Но как раз тогда, когда ученый собирался произнести подходящие к случаю латинские стихи и открыл было рот, струя ветра ворвалась в приоткрытую дверь и донесла до него обрывки слов пришельца. Еще раз Йоуну Мартейнссону удалось ошеломить Йоуна Гудмундссона.

— Что, что ты говоришь? — спросил он.

— Ничего. Я только сказал, что Копенгаген горит. Пожар в Копенгагене.

— Я знаю, что ты лжешь, негодяй, если только

---

[217] Примечания: 217
Убирайся, мошенник! *(лат.)*

ты сам не поджег его, — сказал Гриндвикинг.

— Передай это Аурни от меня и скажи, что я хочу получить награду за то, что сообщил ему эту новость.

— Покажи сначала «Скальду», которую ты наверное продал шведам за водку.

В эту минуту на небе взвилось пламя. Пожар был где-то поблизости.

— Никакой водки, — сказал Йоун Мартейнссон. — Я замерз, стоя на валу и наблюдая. Было уже за полночь. Я заглянул в «Золотого льва» и спросил, нет ли там Аурни, но мне ответили, что сегодня ночью он собирался пить дома, ибо утром его увезли оттуда спящим.

— Если ты еще раз посмеешь связать имя моего господина и учителя с этим домом разврата, я позову городскую стражу, — сказал studiosus antiquitatum.

— Это, во всяком случае, не такой плохой дом, раз король только что поехал туда верхом на четырех лошадях, ты вряд ли видел лучшие места в Гриндавике, — сказал Йоун Мартейнссон.

— Король не ездит верхом на четырех лошадях, а ездит в карете, запряженной четверкой лошадей, — сказал Гриндвикиыг. — Тот, кто дурно отзывается о короле, получает восемьдесят

плетей.

Отсветы пламени все еще горели на небосводе, а на западе можно было видеть крыши ближайших домов и колокольню церкви Божьей матери, — они резко вырисовывались в ночном мраке на темно-красном фоне тлеющего пепла.

Гриндвикинг осторожно закрыл дверь и повернул ключ. Но он пошел не к учителю, чтобы рассказать ему эту новость, а туда, где спал Йоун Хреггвидссон. Разбудив его, он попросил его немедленно встать и идти в сад следить за Йоуном Мартейнссоном, который поджег Копенгаген, а теперь хочет воспользоваться всеобщей суматохой, чтобы украсть книги у хозяина и цыплят у хозяйки. Он сказал крестьянину, что пламя достигло колокольни церкви Божьей матери.

Затем Гриндвикинг поднялся по лестнице и остановился у спальни асессора. Дверь была заперта. Он постучал несколько раз, но, поскольку никто не отозвался, он закричал в замочную скважину:

— Мой господин, мой господин, пришел Йоун Мартейнссон. Церковь Божьей матери в огне. Копенгаген горит.

Наконец ключ в двери повернулся, и дверь открылась. В спальне горел слабый свет. Арнэус

стоял в двери сонный, но одетый. Он был небрит и без парика. Из спальни доносился запах вина и остывшего табачного дыма. Арнэус как бы издалека смотрел на человека, стоявшего в дверях, и, казалось, не слышал и не понимал, о чем тот говорит.

— Мой господин, — сказал его слуга еще раз, — Йоун Мартейнссон поджег город.

— Какое мне до этого дело, — низким голосом ответил Арнас Арнэус.

— Пожар в Копенгагене, — сказал Гриндвикинг.

— А это не очередная ложь Йоуна Мартейнссона?

Гриндвикинг не задумываясь ответил:

— Мой господин сам хорошо знает, что Йоун Мартейнссон никогда не лжет.

— Это как сказать, — ответил Арнас Арнэус.

— Зато я совершенно уверен в том, что он поджег город. Я сам видел красные отсветы за церковью Божьей матери. Я разбудил Йоуна Хреггвидссона и сказал ему, чтобы он следил за Йоуном Мартейнссоном.

— Прекрати свою болтовню о Йоуне Мартейнссоне, — сказал асессор, собираясь закрыть дверь.

— Книги, книги, — простонал фальцетом

Гриндвикинг и начал всхлипывать. — Во имя господа нашего Иисуса, драгоценные рукописи, жизнь Исландии.

— Книги, — сказал Арнэус, — какое тебе до них дело? Драгоценные рукописи, оставь их в покое.

— Они сгорят, — сказал Гриндвикинг.

— Вряд ли сегодня ночью, — сказал Арнас Арнэус — Разве ты не сказал, что видел пламя по ту сторону церкви Божьей матери?

— Но ветер дует с запада, мой господин. Не попытаться ли сейчас же перевезти самые дорогие книги через канал?

— «Скальда» попала к ворам, — сказал Арнас Арнэус. — Ценную книгу судьи я не взял, хотя мне предложили ее в подарок. Пусть боги решают. Я устал.

— Если огонь все же достигнет церкви Божьей матери, то оттуда до нас рукой подать, — сказал его слуга.

— Пусть горит церковь Божьей матери, — сказал Арнас Арнэус. — Иди в свою комнату и ложись спать.

Глава пятнадцатая

Пожар возник в девять часов вечера в среду в Западной Гавани, из-за неосторожного обращения ребенка со свечой. Пожарные быстро прибыли туда, но был сильный ветер, и огонь разгорался так быстро, что люди оказались беспомощными. В узких уличках огонь перекидывался с дома на дом. Вначале пожар распространялся в северном направлении — от вала к городу. Но около десяти часов ветер переменился, теперь он дул с севера и гнал огонь прямо в центр города по Вестергаде и Студиестрэде, и справиться с ним было уже не в человеческих силах. По непонятным причинам пожары вспыхнули теперь еще в нескольких местах. Так, например, ночью загорелась пивоварня на Нэррегаде, и этот новый пожар также быстро распространился в обе стороны, и чем больше он разгорался, тем труднее приходилось пожарным. Утром в четверг горели уже дома по обе стороны от Нэррегаде. Дул северо-западный ветер, и огонь добрался уже до центра города. Та огненная ветвь, которая полыхала на Вестергаде, превратила в пепел всю эту улицу и соседние с ней улицы вплоть до Старой площади. Примерно в то же

время огонь достиг епископского дома и оттуда перекинулся на церковь святого Петра. Многие жители думали, что господь пощадит храмы, и поэтому снесли туда все свои пожитки, забив ими церкви и тем самым дав огню еще больше пищи. В девять часов утра загорелись ратуша и сиротский дом. Детей перевели в королевские конюшни, лошадей же оттуда — во дворец Фредериксберг. Примерно через полтора часа огонь достиг церкви Божьей матери. Люди не успели оглянуться, как столб дыма окутал ее высокую башню, и из этого столба сразу же вырвалось огромное пламя. Вскоре башня со шпилем рухнула. Загорелись академия и школа, а значит, огонь достиг квартала, где жили ученые. К трем часам дня можно было видеть, как пламя пожирает великолепные старинные здания — студенческий интернат, коллегию — и так продолжалось весь день. К шести часам занялась церковь святой Троицы, а вскоре после этого библиотека Академии, где хранились уникальные книги, затем храм Святого духа с его замечательным органом. Всю следующую ночь огонь бушевал на Кэбмагергаде, а затем в обширном районе южной части города вплоть до Старой набережной, где его удалось остановить водой из крепостного рва.

Люди, обезумев от страха, метались по городу, подобно тому как в Исландии множество червей выползает из гнилой баранины, которую пастух поджаривает на углях. Одни бежали, неся на руках детей, другие — мешки с вещами, третьи бродили голые, голодные, некоторые лишились рассудка и оглашали воздух жалобами и причитаниями. Одной женщине удалось спасти только ухват, и она стояла голая, держа его в руках. Многие лежали, как скот, на валу и около него, а также в Королевском парке, несмотря на бурю, и быть может, никогда бы не встали, если бы его королевское величество не сжалился над муками и горем несчастных. Милосердный король сам лично отправился верхом туда, где люди плача лежали на земле, и приказал выдать им хлеба и пива.

На другой день после начала пожара несколько исландцев пришли к Арнасу Арнэусу. Тут были и сыновья знатных людей, учившиеся в университете, и бедные подмастерья, и даже один нищий моряк. Они попросили разрешения поговорить с асессором, сказали, что огонь быстро приближается к церкви Божьей матери, и предложили свою помощь, чтобы перенести книги в безопасное место.

Арнас Арнэус отклонил это предложение, сказав, что пожар скоро потухнет, и хотел угостить их пивом. Но они были в большой тревоге и не захотели пить. Однако им не хватило решимости осуществить свое намерение наперекор воле высокоученого и знатного человека, и они ушли, потерпев поражение, но не отошли далеко, а бродили поблизости от дома асессора, несмотря на жар от огня, и наблюдали, как пожар перекидывался с дома на дом и подходил все ближе. Когда пламя вырвалось из башни церкви Божьей матери и начало лизать церковную крышу, юноши снова пришли во двор дома Арнэуса и на этот раз, не соблюдая никаких приличий, ворвались в дом с черного хода, промчались мимо перепуганной кухарки и остановились только в библиотеке, где нашли Йоуна Гудмундссона из Гриндавика в слезах, распевающего латинские псалмы. Один из юношей пошел искать хозяина и нашел его в одной из комнат второго этажа, — он стоял у окна и наблюдал за пожаром. Юноша сказал, что он и его товарищи пришли, чтобы спасти книги. В это время хозяйка дома и слуги уже выносили вещи. Наконец Арнэус взял себя в руки и сказал юноше: спасайте, что хотите и что можете.

В библиотеке было множество полок от пола

до потолка. Кроме того, книги хранились в двух нишах. Туда и бросились исландцы, ибо знали: в этих нишах в закрытых шкафах хранятся только драгоценные книги. Но тут, как это бывает в кошмаре, оказалось, что ключей нет на месте. Сам Арнэус отправился их искать. Жар уже начал проникать сквозь стены дома, исландцы испугались, что дом загорится до того, как асессор найдет ключи, и начали ломать шкафы. Взломав, они попросили писца указать им наиболее ценные книги, схватили в охапку самые знаменитые рукописи, в которых содержатся саги о древних исландцах и норвежских конунгах, и понесли их. Им удалось это сделать только один раз. Когда они хотели войти в дом во второй раз, он уже был объят пламенем. Синий дым вырывался из обеих ниш, и скоро из дыма стали прорываться багровые языки пламени. Юноши хотели взять то, что было на ближайших полках библиотеки, пока ее еще не всю охватил огонь, но в эту минуту Арнас Арнэус принес ключи от шкафов, подойти к которым было уже невозможно. Он остановился в дверях своей библиотеки и, загородив двери руками, помешал юношам войти. Подобно прибою, ударяющемуся о крутую скалу, или подобно росткам пармелия, которые вдруг

пускают корень и молниеносно разрастаются во всех направлениях, но гниют в том месте, где начали расти, языки огня лизали дорогие книги, покрывавшие стены библиотеки. Арнас Арнэус стоял в дверях и смотрел: исландцы в отчаянии сбились в кучу за его спиной. Он повернулся к ним, указал рукой на горящие книжные полки и сказал:

— Это книги, подобных которым не сыскать нигде до самого Судного дня.

Глава шестнадцатая

Ночь. Два исландца, два Йоуна бродят бездомные по горящему городу. Ученый Гриндвикинг плачет, как ребенок. Крестьянин из Рейна молча тащится сзади. Огонь Копенгагена преследует их по пятам. Безвольно плетутся они по направлению к Северному порту. За ними на фоне огня живыми теневыми картинами вырисовываются люди, спешащие, бегущие.

— Чего ты скулишь? — спросил крестьянин из Скаги, совершенно забыв, что надо говорить «вы» своему ученому спутнику. — Ведь вряд ли тебе жаль Копенгагена.

— Город, построенный на крови моего бедного

народа, должен погибнуть, — ответил ученый. — Бог справедлив.

— Тогда ты должен воздать ему хвалу, — сказал Йоун Хреггвидссон.

— Я бы очень хотел не уметь читать, как ты, Хреггвидссон, — промолвил ученый.

— Я думаю, что в мире осталось еще достаточно книжного хлама, хотя твои фантазии и развеялись как дым. Вот этого-то тебе и жаль, — возразил крестьянин.

— Хотя погибло дело всей моей жизни, — сказал studiosus antiquitatum, — сгорели книги, которые я в течение четырех десятков лет наполнял своей ученостью, главным образом по ночам, по окончании своего трудового дня, — я не оплакиваю бедных книг бедного человека. Я оплакиваю книги моего господина. В его книгах, которые теперь сгорели, были скрыты жизнь и душа северного народа, говорившего на датском языке со времен потопа и до тех пор, пока он не забыл своего происхождения и не онемечился. Я плачу потому, что нет больше книг на датском языке. У севера нет больше души. Я плачу над горем моего учителя.

Люди, слыша по их речи, что они иностранцы, приняли их за шведских шпионов и хотели тут же повесить.

Но вдруг они столкнулись с человеком во фраке и в цилиндре, несшим мешок за спиной. Йоун Хреггвидссон по-товарищески поздоровался с ним, но ученый из Гриндавика сделал вид, что не заметил этого человека, и плача продолжал свой путь.

— Глупец из Гриндавика, — крикнул ему Йоун Мартейнссон. — Не хочешь ли пива и хлеба?

Третий Йоун, примкнувший к их обществу, знал все ходы и выходы. И здесь, на Нэрреволле, у него была знакомая женщина, у которой можно было купить пива и хлеба.

— Но предупреждаю вас с самого начала, — сказал он, — что если вы не будете смотреть на меня, как побитые собаки, пока будете пить пиво, которое я собираюсь раздобыть, я велю отобрать его у вас.

Он привел их на кухню к какой-то женщине и усадил на скамью. Йоун Хреггвидссон строил всевозможные гримасы, но ученый из Гриндавика не поднимал глаз.

Женщина плакала и причитала, сетуя на пожар в Копенгагене, перемежая причитания словами молитв, но Йоун Мартейнссон ущипнул ее за ногу повыше колена и сказал:

— Подай-ка этим мужикам выдохшееся пиво в

простом кувшине и водки в оловянных стопках, а мне — свежего ростокского пива в глиняной кружке с глазурью, хорошо бы с серебряной крышкой и выгравированными на ней изречениями Лютера, и водку в серебряной стопке.

Женщина похлопала его по щеке и несколько повеселела.

— За ваше здоровье, парни, и поврите о чем-нибудь, — сказал Йоун Мартейнссон. — А ты, моя милая, принеси хлеба и колбасы.

Они стали пить пиво.

— Ужасно, — сказала женщина, намазывая хлеб маслом, — какое несчастье господь ниспослал благословенному королю.

— Плюю я на короля, — сказал Йоун Мартейнссон.

— У исландцев нет сердца, — промолвила женщина.

— Дай-ка нам хороший кусок копченой ветчины, — приказал Йоун Мартейнссон.

Утолив немного жажду, он продолжал:

— Так, так, значит, другу Аурни удалось сжечь все исландские книги…

Ученый из Гриндавика взглянул на врага мокрыми от слез глазами и произнес только одно слово: «Сатана».

— ...за исключением тех, которые мне удалось спасти и передать шведскому графу дю Бертельшельду и его друзьям.

— Ты имеешь дело с людьми, которые называют исландские книги вестготскими, — сказал Гриндвикинг.

— У меня в мешке есть, во всяком случае, кое-что, что сделает имя Йоуна Мартейнссона бессмертным, пока существует мир, — ответил Мартейнссон.

Они молча продолжали есть и пить. Йоун Мартейнссон жевал и любезничал с женщиной. Ученый из Гриндавика перестал плакать, но на кончике его носа висела капля. Когда они пили третью кружку, Йоун Хрегвидссон несколько оживился и начал вспоминать стихи из старых рим о Понтусе.

Но когда они поели и попили и счастливые минуты стали приближаться к концу, Йоун Мартейнссон, угощавший их, стал часто с подозрением заглядывать под стол, рассматривая обувь своих гостей, но у них обоих она была типично исландской. Он осмотрел также пуговицы на их куртках, но они были не жестяные и не серебряные, а просто костяные. Йоун Мартейнссон попросил женщину принести им какую-либо иг-

ру или кости. Однако оба гостя отказались играть с ним в кости. Тогда Йоун Хреггвидссон сказал, что они, во всяком случае, могут померяться силой. Он чувствовал себя настолько трезвым, что, несмотря на свою старость, был в силах побить любого, кого Йоун Мартейнссон подошлет, чтобы снять с него обувь. Толстая женщина с кривыми ногами и плоскими ступнями, с лицом, распухшим от слез, смотрела на мужчин, сидя у очага. Но вскоре она поняла, в чем дело, перестала оплакивать несчастье короля и заявила, что исландцы всегда верны себе, несчастен тот человек, который протянет им палец, ибо они схватят всю руку, несмотря на пожар в городе и разверстые врата ада. Она сказала, что, даже если мир погибнет, их уловкам и хитростям не будет конца. Больше она не даст водить себя за нос, — заявила она, несмотря на то, что Йоун Мартейнссон пытался ущипнуть ее, — и позовет городскую стражу.

Наконец Йоун Мартейнссон нашел, что пришла пора открыть мешок и предложить его содержимое в качестве оплаты или залога за угощение. Он вынул довольно большую древнюю рукопись на коже и показал ее женщине.

— Что мне с этим делать, — сказала женщина,

подозрительно при слабом свете масляной лампы рассматривая связку черных, изношенных и сморщенных кожаных лоскутков, — на них не скипятить ни одного котла. Да еще хорошо, если они не заражены чумой.

Но тут оба Йоуна широко раскрыли глаза. Один узнал исчезнувшую драгоценность своего учителя, другой — кожаные лоскуты своей покойной матери. Это была «Скальда». И оба молча сняли башмаки.

Глава семнадцатая

Альтинг присудил Йоуна Хреггвидссона к каторжным работам в Бремерхольме за то, что он когда-то не представил вместе с королевской грамотой вызова в верховный суд. Арнэусу удалось вызволить его из крепости, одновременно он добился того, что дело крестьянина наконец вновь было назначено на пересмотр в верховном суде. В течение зимы, пока крестьянин находился в Копенгагене, да и летом обвинительный акт и показания подсудимого снова пересматривались. Однако самого крестьянина только один-единственный раз вызвали в суд. Он знал назубок все ответы на старые обвинения, поколебать его бы-

ло невозможно. Кроме того, он сумел прекрасно воспользоваться своим жалким видом. Старый седой крестьянин с согбенной спиной, с глазами, полными слез, дрожа стоял перед чужеземными судьями в далекой стране, сломленный долгими и трудными странствиями, в которые он не раз пускался из-за постигшего его несчастья, из-за того, что он, не совершив никакого преступления, стал яблоком раздора между двумя могущественными сторонами.

Дело шло своим чередом, однако не столько из-за царившего в Дании интереса к судьбе крестьянина из Акранеса, сколько потому, что оно являлось звеном в той борьбе, которая велась между двумя группировками в государстве, по силе почти не уступавшими одна другой. Арнэус выступал по делу Йоуна Хреггвидссона с той неопровержимой логикой и ученой педантичностью, которые всегда составляли силу исландцев в отношении датских судов. В таком деле, где обвинение было составлено очень давно, на основании лишь весьма сомнительных улик, без требуемых законом доказательств вины обвиняемого, Арнэусу было легко отклонить обвинение при помощи философии и логики. Документов по этому делу — старых и новых, говоривших за и

против обвиняемого — накопилось так много, что казалось, они являются воплощением зловредной склонности исландцев к разным хитростям и крючкотворству. Казалось, ни одному человеку не удастся найти в этих документах правду и понять, утопил ли вышеуказанный Регвидсен двадцать лет назад своего палача в черной луже, черной ночью, в черной Исландии или нет.

Прошлым летом создалось впечатление, что дело это еще больше раздувается, становясь ареной ожесточенной борьбы между обеими сторонами и превращаясь в такой клубок, который, казалось, распутать невозможно.

Причина заключалась в том, что дочь судьи Эйдалина хотела, чтобы дело Йоуна Хреггвидссона стало доказательством справедливости ее отца как судьи. И высшие власти стремились распутать этот узел. Эти два дела были отделены одно от другого указом короля: верховный суд должен был рассматривать дело крестьянина из Рейна, а суровые приговоры эмиссара покойному Эйдалину и другим представителям власти были переданы на рассмотрение альтинга на Эхсарау. Теперь, когда приближалась весна и жизнь в Копенгагене после пожара начала входить в обычную колею, многим, и в особенности исланд-

цам, трудно было поверить, что верховный суд его величества сможет вынести окончательное решение по делу Йоуна Регвидсена из Скаги, затянувшемуся до бесконечности. За недостатком улик он был оправдан по старому обвинению в убийстве палача Сиверта Снорресена и тем самым был освобожден от тех наказаний, к которым его присудили за это преступление. Ему было заявлено, что он может беспрепятственно вернуться на родину — в страну нашего королевского величества — Исландию.

И вот однажды весной Арнас Арнэус, живший теперь в очень скромной квартире на улице Лаксегаде, пригласил своего дровокола к себе, дал ему новую куртку, штаны, сапоги и надел на седые вихры старика новую шапку. Он сказал, что сегодня они едут в Драгэр.

Первый раз в жизни Йоун Хреггвидссон ехал не на козлах с кучером. Он восседал в коляске рядом с ученым из Гриндавика, а против них сидел их учитель и господин, он угощал их табаком, шутил, но все же был несколько рассеян.

— Я прочту тебе строки из старых рим о Понтусе, которых ты еще никогда не слышал, — сказал он. И произнес:

Люд исландский удивится,

Прибежит со всех сторон
Посмотреть, как возвратится
Седовласый Хреггвидссон.

Когда оба Йоуна выучили стихи, все замолчали. Коляска накренялась то вправо, то влево на размокшей дороге.

Через некоторое время асессор вышел из задумчивости, посмотрел на крестьянина из Рейна, улыбнулся и сказал:

— Йоун Мартейнссон позаботился о «Скальде». И только тебя одного пришлось спасать мне.

— Не должен ли я что-либо сделать, господин? — спросил Йоун Хреггвидссон.

— Вот далер для твоей дочери в Рейне, которая стояла в дверях, когда ты уезжал, — сказал Арнас Арнэус.

— Не понимаю, как это девчонка выпустила собаку, — удивлялся Йоун Хреггвидссон. — Я же ей сказал, чтобы она последила за ней.

— Будем надеяться, что собака нашла дорогу домой, — сказал Арнас Арнэус.

— Если в приходе Саурбайр что-нибудь произойдет, — сказал ученый из Гриндавика, — обнаружатся странные сны, тролли, аульвы, чудовища или какие-либо другие удивительные

выродки, передай пастору Торстену привет от меня и попроси его записывать все это и посылать мне, чтобы я смог включить это в мою новую книгу «De mirabilibus Islandiae» — «О чудесах Исландии».

Они прибыли в торговый город Драгэр. Исландский корабль покачивался на рейде и уже поднял паруса.

— Хорошее предзнаменование — начинать свой путь в Исландию из Драгэра, — сказал Арнас Арнэус и протянул Йоуну Хреггвидссону руку на прощанье, когда тот готовился сойти в лодку, чтобы плыть на корабль. — Здесь живут старые друзья исландцев. Бывало, святой Улаф одалживал свой корабль исландцам, когда других кораблей уже не было, в особенности если он считал важным, чтобы наши земляки вовремя прибыли на альтинг. Если святому Улафу будет угодно, чтобы ты успел вернуться домой до тридцатой недели лета, тогда передай привет собравшимся на альтинг у Эхсарау.

— Что мне им сказать?

— Скажи им от моего имени, что Исландию на этот раз не продали. Они поймут это позже. А потом передай им решение по твоему делу.

— А не должен ли я передать кому-нибудь при-

вет? — спросил Йоун Хреггвидссон.

— Это и есть мой привет, старая твоя голова, — ответил professor antiquitatum Danicarum.

Легкий бриз Эресунна развевал седую гриву старого исландского мошенника — Йоуна Хреггвидссона. Он стоял на корме лодки между сушей и кораблем, направляясь на родину, и махал на прощанье шляпой усталому человеку, оставшемуся на чужбине.

Глава восемнадцатая

Возле Альманнагья Эхсарау меняет русло, как будто оно ей надоело, и пробивает себе путь через скалу. Так возник большой пруд, в котором топят женщин, — Дреккингархуль, а чуть подальше виднеется тропинка, поднимающаяся по крутому склону горы.

На траве у пруда под горой ранним утром несколько преступников, просыпаясь, протирают глаза. В палатках знатных людей все еще спят. Но с восточного края луга к палатке епископа ведут вороных коней. Человек в датской куртке, в шляпе, с висящими за спиной сапогами, поднимается с южной стороны, где скала ниже, и смотрит, как солнце освещает сонных преступ-

ников у пруда Дреккингархуль.

Они широко раскрывают глаза, — неужели это Йоун Хреггвидссон возвращается домой от короля, в новой шляпе, в куртке?

Он прибыл в Эйрарбакки вчера и, когда узнал, что до окончания тинга на Эхсарау остался всего один день, купил башмаки во Флое, повесил сапоги за спину и ночью отправился в путь.

Ему казалось, что звезда, если можно так выразиться, его старых друзей-преступников закатилась, поскольку они теперь лежали под открытым небом. В прошлый раз, когда он ночевал здесь в их обществе, они жили в королевских палатках с отпечатанными на них коронами и королевские слуги подавали им чай.

Но они не жаловались. Бог был к ним милостив, как и раньше. Вчера были вынесены приговоры в альтинге. Новая хозяйка Скаульхольта, будущая законная супруга епископа Сигурдура Свейнссона и дочь покойного судьи, добилась прошлым летом согласия короля на то, чтобы дело ее отца было пересмотрено верховным судом Исландии. Вчера Бейер — ландфугт в Бессастадире и заместитель судьи вместе с двадцатью четырьмя другими важными лицами вынесли решение по этому делу. Покойный Эйдалин был оправдан по всем

пунктам обвинения королевского эмиссара Арнэя и post mortem[218] был восстановлен в правах, ему были возвращены все земельные угодья, в том числе шестьдесят поместий, которые ранее были конфискованы в пользу короля, а следовательно, их законной наследницей стала Снайфридур, супруга епископа. Так называемый эмиссарский приговор был объявлен недействительным, а сам эмиссар Арнас Арнэус приговорен к штрафу в пользу короля за нарушение закона. Большинство людей, оправданных Арнэусом в верховном суде Исландии, были вновь объявлены виновными, за исключением Йоуна Хреггвидссона, у которого были beneficia paupertatis[219], чтобы обжаловать свое дело в верховном суде Дании. Приговоры Эйдалина по так называемым исключительным делам, отмененные эмиссаром, либо были объявлены имеющими законную силу, либо как неподведомственные светской власти, в частности, дело той женщины, которая, будучи беременной, присягнула в том, что она девственница, переданы в духовный суд. Приговоры же, вынесенные покойным судьей в вопросах, нахо-

[218] Примечания: 218
Посмертно *(лат.)*.

[219] Примечания: 219
Привилегии бедняка *(лат.)*.

дившихся фактически вне его юрисдикции, были объявлены недействительными.

— Слава богу, что снова есть власть, — сказал старый печальный преступник, который несколько лет назад огорчался по поводу того, что добрые окружные судьи, присудившие его к порке, были отданы под суд.

Монах, укравший деньги из кружки для бедных, сказал:

— Блажен лишь тот, кто отбыл свое наказание…

— …и тот, которому вернули его преступление, — сказал человек, на некоторое время лишившийся своего преступления.

После того как этот человек в течение десяти лет считался преступником, власти заявили, что совсем другая женщина и от совершенно другого мужчины родила ребенка, а вовсе не его сестра, которую утопили за то, что она якобы родила от него. До этого решения все подавали ему милостыню. Но с тех пор как он был оправдан, вся Исландия смеялась над ним. Ему не бросали даже рыбьих хвостов. Его травили собаками. Теперь дело было пересмотрено новым судом, постановившим, что он, несомненно, совершил это страшное преступление и теперь вновь являлся

истинным злодеем перед богом и людьми.

— Теперь никто не смеется надо мной в Исландии, — сказал он. — Меня не будут травить собаками, а будут бросать мне рыбьи хвосты. Хвала богу.

Слепой преступник, сидевший молча поодаль от остальных, произнес свои прежние слова:

— Наше преступление в том, что мы не люди, хотя нас называют людьми. А что скажет Йоун Хреггвидссон?

— Только то, что я собираюсь перейти сегодня Леггьяброут и отправиться домой, — ответил тот. — Когда я ушел из дому в первый раз, моя дочь лежала в гробу. Может быть, та, которая стояла на пороге, когда я его покинул во второй раз, жива. Может быть, она родила сына, который расскажет своему внуку о его прадеде Йоуне Хреггвидссоне из Рейна и его друге, господине и учителе Арнасе Арнэусе.

За восточным выступом скалы послышался стук копыт, и когда преступники подошли к скалам, они увидели мужчину и женщину, ехавших верхом. Их сопровождало множество слуг на лошадях. Они направлялись по тропинке через луга к долине Калдадаль — границе между югом и западом Исландии. Оба они были в темных

одеждах, и все их лошади — черные.

— Кто это едет? — спросил слепой.

Ему ответили:

— Едет Снайфридур — Солнце Исландии, и ее законный супруг — скальд, латинский поэт Сигурдур Свейнссон, избранный епископом в Скаульхольте. Они едут на запад, чтобы вступить во владение ее отцовским наследством, которое ей удалось отсудить у короля.

Преступники стояли у подножья скал и смотрели, как едет епископская чета. Черные кони, покрытые росой, блестели в лучах утреннего солнца.

Эйрарбакки, 22 июня 1945 года

Глюфрастейн, 9 марта 1946 года



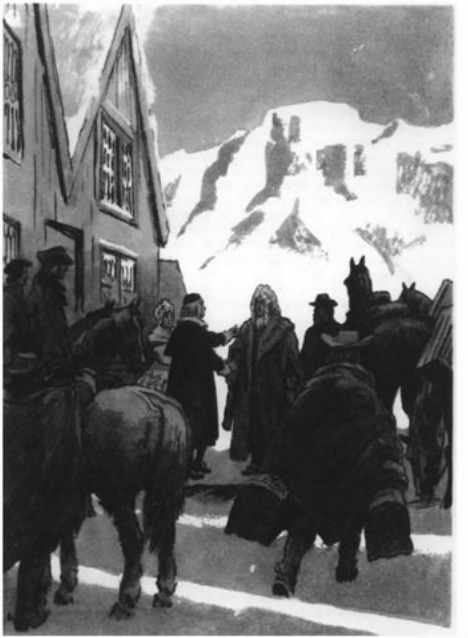
«Исландский колокол»



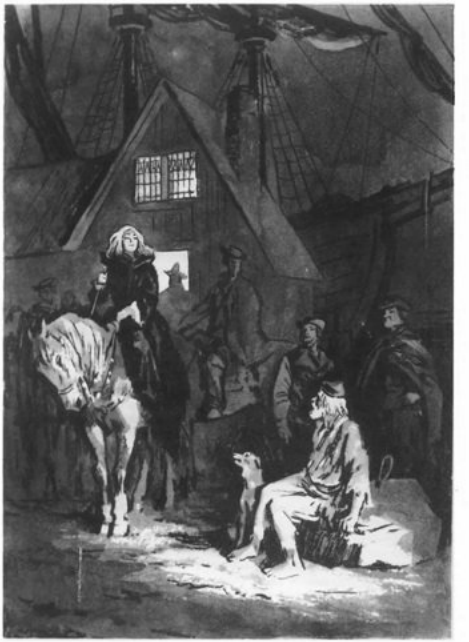
«Исландский колокол»



«Исландский колокол»



«Исландский колокол»



«Исландский колокол»

Примечания
Самостоятельные люди

Роман «Самостоятельные люди» был опубликован в Исландии в 1933–1935 годах. В то время Лакснесс был уже известным писателем. Известность ему принес роман «Салка Валка», вышедший в 1931–1932 годах (на русском языке — в 1959 г.). Образ Салки Валки, сильной, гордой и независимой женщины, — первый в большой серии портретов, созданных Лакснессом в его крупных эпических произведениях. Следом за Салкой Валкой идут Бьяртур из Летней обители (роман «Самостоятельные люди») — независимый, несгибаемый человек, который хочет свободно трудиться на принадлежащей ему земле и не соглашается ни на какие компромиссы, и нищий скальд Оулавюр Каурасон, герой знаменитой тетралогии Лакснесса «Свет мира», написанной в 1937–1940 годах (на русском языке — в 1969 г.). Оулавюр Каурасон — беспомощный, беззащитный чудак, сохранивший мечту о прекрасном среди торжества бесчеловечности, скальд, который хотя и не обрел славы, но вы-

ражал чувства и мысли своего народа, и так же как Бьяртур из Летней обители, не соглашался на компромиссы.

На русском языке роман «Самостоятельные люди» издавался в 1954 и в 1962 годах.

Исландский колокол

Трилогия «Исландский колокол» была опубликована в 1943–1946 годах. Через год после выхода в свет первой части этой трилогии, 17 июня 1944 года, Исландия порвала многовековую унию с Данией и была объявлена республикой. Протест против датского владычества, попирающего человеческое достоинство, составляет пафос трилогии Лакснесса.

Действие трилогии происходит в конце XVII и начале XVIII веков во времена правления датских королей Христиана V (1670–1699) и его сына Фредрика IV (1699–1730), причем некоторые исторические события, как это часто бывает в исторических романах, несколько смещены. Описываемый Лакснессом период был наиболее тяжелым в истории Исландии: после введения в стране лютеранства и открытия в Дании Исландской компании, получившей монополию на

торговлю с Исландией, произвол датских чиновников и купцов в Исландии стал особенно силен, а жизнь простого народа — особенно тяжела.

Однако именно в это время в Исландии пробудился интерес к национальной старине, к истории своей страны. Исландцы начинают собирать, переписывать и изучать стринные рукописи. Так, в 1643 году епископ Скаульхольта Брюньольв Свейнссон нашел знаменитую рукопись «Старшей Эдды». В это же время были найдены и многие другие ценные рукописи. Самую большую коллекцию древних рукописных книг собрал исландец Ауртни Магнуссон, или, как его звали на латинский лад, Арнас Магнеус, потомок знаменитого Снорри Стурлусона. Ауртни Магнуссон собирал древние рукописи, не пропуская ни одного обрывка. Более сорока лет жизни положил он на эти розыски, стремясь уберечь ог гибели даже самый маленький клочок пергамента. Сам Ауртни жил в Копенгагене. Там в 1728 году во время большого пожара Копенгагена часть его коллекции сгорела. Собранные рукописи Ауртни Магнуссон завещал Копенгагенскому университету, где они хранятся и поныне. Его коллекция, называемая Арнамагнеанским собранием, считается наиболее полным и значи-

тельным собранием древних исландских книг.

Ауртни Магнуссон явился прообразом одного из главных героев трилогии Лакснесса — Арнаса Арнэуса, которого, так же как и Ауртни Магнуссона, интересовали только древние рукописи. Так же как Ауртни Магнуссон, Арнас Арнэус женился на богатой вдове, чтобы с помощью ее денег умножить свое собрание. Также как Ауртни Магнуссон, он жил в Копенгагене и часть его собрания тоже сгорела во время пожара Копенгагена. И конечно, оба они были одинаково движимы любовью к родине, которую хотели бы видеть не униженной датским владычеством, а гордой и свободной, какой она предстает в древних книгах.

На русском языке трилогия Лакснесса была опубликована впервые в 1963 году.